

В.В.КРЕСТОВСКИЙ

**ТЬМА ЕГИПЕТСКАЯ**

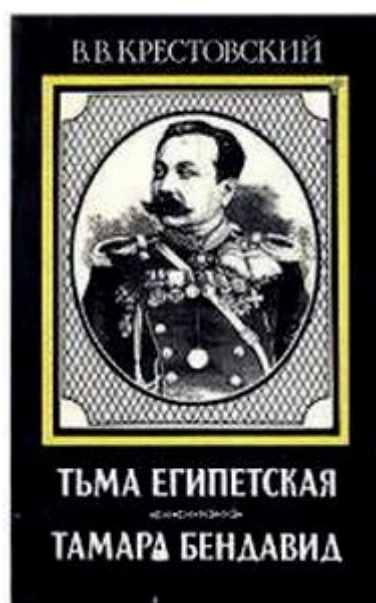
РОМАН

**ТАМАРА БЕНДАВИД**

РОМАН

Продолжение романа «Тьма Египетская»

Том1



Москва 1993

ББК 84Р1  
К 80

Крестовский В.  
к80 Тьма Египетская. Тамара Бендавид. Торжество  
Ваала. Роман-трилогия. Деды. Историческая повесть:  
В 2 т. Том 1: Тьма Египетская. Тамара Бендавид.  
— М.: «Камея», 1993.— 592 с.

В.В. Крестовский (1840 — 1895) — замечательный русский писатель, автор широко известного романа «Петербургские трущобы». Трилогия «Тьма Египетская», опубликованная в конце 80-х годов XIX в., долгое время считалась тенденциозной и не издавалась в советское время.

Драматические события жизни главной героини Тамары Бендавид, наследницы богатой еврейской семьи, принявшей христианство ради возлюбленного и обманутой им, разворачиваются на фоне исторических событий в России 70-х годов прошлого века, изображенных автором с подлинным знанием материала. Живой образный язык, захватывающий сюжет вызывают глубокий интерес у читателя, которому самому предстоит сделать вывод о «тенденциозности» романа.

«Деды» — историческая повесть из времен правления Павла I о выдающемся полковнике А.В. Суворове.

# Тьма Египетская

РОМАН

Се темнота покроеет землю  
и мрак народы.  
Исайя, гл. LX, ст.2.

И уцелевший остаток дома  
Иудина опять пустит корни  
внизу и принесет плод на  
верху.  
Исайя, гл. XXXVII, ст. 31.

## I. ШАББОС-КОДЕШ<sup>1</sup>

«И был вечер, и было утро — день шестой».

Так думал каждый добрый израильтянин из обывателей западно-русского губернского города Украинска, во едину от пятниц, месяца Сивана (по нашему — мая), в лето от сотворения мира 5636, от Рождества же Христова год 1876.

«И был вечер, и было утро — день шестой». Так, впрочем, испокон веков думают и молитвенно повторяют израильтяне в любую из пятниц, ибо в этот благодатный день недели к каждому еврею нисходит с небес вселюбезная, всерадостная, всесветлая, общая в Израиле невеста Шаббос, которую в просторечии русские и польские гойим<sup>2</sup> столь непоэтично называют жидовским шабашем, извращая при этом самый пол прекрасной невесты, как будто вселюбезная Шаббос — особа мужского рода.

Итак, многочисленные еврейские обыватели города Украинска готовились к шабашу.

Еще с раннего утра все добрые балбосты<sup>3</sup>, «они же находят милость в глазах Бога и людей», были уже на ногах, совершили омовение, затопили печи, исполнили обряд хале<sup>4</sup>, сплели по три шабашовых калача, халас<sup>5</sup>, устроили каждая по два пирога, один на коровьем, другой на деревянном масле, в вос-

---

<sup>1</sup> Шаббос-кодеш — священная суббота. (Здесь и далее прим. автора с сокращ.).

<sup>2</sup> Гойим — иноплеменники, неверные, христиане.

<sup>3</sup> Балбоста — хозяйка дома, мать семейства.

<sup>4</sup> Хале — обряд, установленный Моисеем (Числа, гл. 15).

<sup>5</sup> Халас — свежий пшеничный хлеб домашнего приготовления.

поминание того, что Иегова в пустыне отпускал евреям на субботний день двойную порцию манны.

Затем балбосты сбегали на базар закупить кашерной<sup>1</sup> говядины и рыбы, преимущественно щупаков<sup>2</sup>, которых будут начинять перцово-луковым фаршем и варить на отдельном огне их благочестивые супруги, потому что по закону каждый еврей обязан самолично пожертвовать некоторым трудом рук своих в честь наступающей Шаббос-кодеш. Никто не жалел денежных издержек и хозяйственных расходов, так как в Талмуде сказано, что чем больше расходует еврей в шабаш и праздники, тем более Бог прибавляет ему дохода<sup>3</sup>.

Балбосты, промеж стряпни и работы, всласть наругались и насудачились с соседками, ибо к шабашу надлежит покончить все злобы дня и свести мирские расчеты. Те балбосты, что по-спорое, уже заранее приняли себе шаббос-гоим<sup>4</sup>, саморучно накрошили локшен и поставили ее вариться, устроили кугель, смастерили цымис, приготовили на завтрашний день шолент<sup>5</sup> и замазали глиной заслон жарко вытопленной печи, где этот шолент нерушимо должен храниться до завтрашней трапезы, под непосредственным наблюдением и охраной малохим, то есть ангелов, которые оберегают шолент от «трефного» действия шед — нечистой силы.

Но вряд ли где справлялся шабаш с большим удовольствием и задушевностью, чем в старинном доме местного гвира — богача аристократа — достопочтенного рабби Соломона Бендавида. Это был самый почтенный, самый родовитый и самый богатый человек во всем кагале города Украинска.— «Иихус мишпохе!» знаменитый род, знатная фамилия! — с уважением в глаза и за глаза отзывались о его семействе все сограждане украинского гвира. Ему уже исполнилось шестьдесят лет, и если бы Бог Сарры и Ревекки благословил плод чрева его маститой супруги несколько большей долготой дней, то нет сомнения, что рабби Соломон мог бы теперь быть уже прапрадедом. Но роковая бритва Малох-гавумеса<sup>6</sup> устроила так, что на склоне дней рабби Соломона семья его, если не считать какой-то бедной родственницы-приживалки и какого-то дальнего родственника гимназиста,

---

<sup>1</sup> Кошерное — чистое, здесь мясо разделанное по целому ряду правил и постановлений, предназначенное для продажи только евреям, в отличие от трэфного, т.е. поганого, идущего в пищу всем остальным.

<sup>2</sup> Щупак — щука, рыба, наиболее любимая евреями в Западной Украине.

<sup>3</sup> Ойрах-хаим, гл. 242, стр.3.

<sup>4</sup> Шаббос-гой — христианский батрак, нанимаемый на время шабаша для носки тяжестей, дров, воды, зажигания свеч, купли и продажи и т.п.

<sup>5</sup> Локшен — лапша, кугель — запеченные макаронны, цымис — нечто вроде компота или соуса из фруктов, сладких кореньев и пряностей с медом и жиром. Все эти блюда необходимо являются в смысле неизменного шабаш-шового теппи в каждом мало-мальски зажиточном доме. Шолент — горячее, т.е. те же кушанья оставляемые в печи до завтра.

<sup>6</sup> Малох-гавумес — ангел смерти, который пресекает жизнь евреев не косой, а бритвой.

Айзика Шацкера, состояла лишь из его почтенной супруги Сарры и девятнадцатилетней внучки, осиротевшей два года тому назад. Имя этой девушки было Тамара.

Рабби Соломон Бендавид исполнил сегодня все, что подобает исполнить всякому добропорядочному еврею в пятницу до наступления шабаша. Он, по обычаю, с утра еще покушал только что испеченного, горячего и хрусткого на зубах пшеничного калача, артистически вкусно макая каждый его кусочек в росл-флейш<sup>1</sup>, затем сходил в общественную еврейскую баню и троекратно окунулся с головой в очистительную микву<sup>2</sup>, а возвратившись домой, помог своей жене и ее батрачкам нафаршировать щупака, сам вычистил, в честь возлюбленной Шаббос, пару старинных серебряных шандалов, принял и проверил отчеты от приказчиков по трем, своим лавкам — бакалейной, галантерейной и москательной, а также по мельнице, лабазу и дровяному складу, тщательно подвел на счетах недельный итог в приходе-расходной хозяйственной книге, опустил в три свои жестяные кружки еженедельную «лепту милосердия» и, по исполнении всех этих обязанностей, методически принялся обрезать себе ногти, строго соблюдая при сем талмудическое правило, повелевающее во время стрижки переходить с первого пальца на третий, сперва на левой, потом на правой руке, и непременно стричь ногти в пятницу, дабы дать им отдых в шабаш, так как, по замечанию Талмуда, ногти начинают отрастать лишь на третий день и, стало-быть, если остричь их в четверг, то им придется противозаконно расти в субботу. После стрижки рабби Соломон тщательно собрал обрезки ногтей, аккуратно завернул их в бумажку и закопал в цветочный горшок, во избежание того, чтобы на эти обрезки не наступили как-нибудь женщины; рабби Соломон очень хорошо знает, что кто не соблюдает сего постановления, тот, по Талмуду, подвергается потере памяти, детей и состояния и становится роше — грешником, нарушителем закона, потому что если женщина нечаянно наступит на разбросанные по полу обрезки ногтей, то может родить, мертвого ребенка, что, в свои черед, составляет хет годул — великий грех против важнейшей заповеди во Израиле: «плодитесь и множитесь»<sup>3</sup>.

Окончив операцию ногтей и слегка подщипав особенными щипчиками кое-какие отбившиеся, неправильно выросшие волоски своей длинной библейски-патриархальной бороды, достопочтенный рабби Соломон тщательно вытряхнул из карманов своего платья все соринки и крошки, так как по закону не допускается в шабаш иметь на себе какую бы то ни было ношу и тяжесть,— и тогда уже с молитвой стал облачаться в праздничный костюм: надел на себя белые чулки, башмаки и

---

<sup>1</sup> Росл-флейш — соус, приготовленный из лука, перца и мяса.

<sup>2</sup> Миква — водоем при бане, предназначенный для обрядного очистительного омовения (Левит, гл. 12, 15).

<sup>3</sup> По толкованию Талмуда пришествие Мессии, а с ним и окончательное господство евреев над земным миром, совершится тогда, когда не останется опасных душ для новорожденных на небесах.

нанковые палевые панталоны, осмотрел, в порядке ли спасительные кисти «цыциса» на его арбе-канфосе<sup>1</sup>, называемом в просторечии «лапсердаком», опоясался широким шелковым поясом и, наконец, облекся в длинный шелковый кафтан немецко-еврейского старинного покроя, с бархатным отложным воротником и такими же обшлагами.

Рабби Соломон Бендавид, несколько дородный, высокого роста человек, несмотря на свой шестидесятилетний возраст, успел еще сохранить в себе много бодрости, свежести и той величественной старческой красоты, которой мы любуемся в произведениях кисти старинных мастеров, изображающих нам библейских патриархов, пророков, апостолов. В этом старце все дышало строгим и в то же время благодущным сознанием собственного достоинства, все было полно светлой простоты и серьезности, что в совокупности с первого же взгляда на него невольно возбуждало в каждом чувство почтения к этому человеку.

Принарядившись и оглядевшись, рабби Соломон протер стекла своих круглых очков в роговой и серебряной оправе, поправил на голове бархатную ермолку и с довольным видом человека, исполнившего все, законом ему положенное, уселся в своем кабинете, у письменного стола, в глубокое кожаное кресло с высокой спинкой и, в ожидании часа, когда раздастся на улице призыв шульклепера<sup>2</sup> к предвечерней молитве, погрузился в чтение какого-то еврейского фолианта в толстом кожаном переплете.

Уютно, тихо и прохладно было в кабинете рабби Соломона, где все дышало солидной стариной, благочестием и серьезностью. Каждый кабинет всегда более или менее рисует характер или душу своего хозяина; поэтому, пока в квартире нашего рабби кипит суета шабашовых приготовлений, пока там бегают по комнатам босоногие батрачки, шумливо двигая мебелью, подмывая полы, очищая пыль и сметая паутину; пока на кухне стучат ножи, чистится посуда, заправляются свечи и идет усердная ошипка, ошпаривание и потрошение кур и гуся; пока продолжается беготня с надворной галереи на погреб, с погреба наверх и раздастся везде и повсюду резкий, недовольный, повелительный голос почтенной Сарры.— Пока продолжается вся эта обычная суетня, полагаю, будет не лишним бросить взгляд на кабинет почтенного Бендавида именно для того, чтобы поближе ознакомиться с внутренними свойствами этого человека.

Это была довольно просторная и опрятно содержимая комната, в красном углу которой, на самом видном месте, помещался,

---

<sup>1</sup> Арбе-канфос — род жилета, выкроенного внизу четырьмя углами с проколотыми дырочками и продетыми нитями цыциса, сметенными в кисти наподобие плетки. Носится в знак страха Божия (Числа, гл. 15).

<sup>2</sup> Шульклепер — служитель синагоги шамес, призывающий евреев в синагогу в дни праздника громким голосом, а в будничные дни постукиванием в ставни деревянным молотком. При советах старейшин — бейсах, исполняющих и роль судов, существуют шамесы — делопроизводители, нота-риусы и т.п.

в виде киота или висячего шкафчика, орн-пакодеш — кивот завета, задернутый синей шелковой занавеской пораухес, с золотой бахромой. Синий цвет — издревле национальный цвет евреев. По середине занавески красовался нашитый из золотого позумента государственный герб еврейских полководцев-царей — два равнобедренные треугольника, в виде шестиугольной звезды, которую и поныне каждый еврейский мальчуган, пребывающий на первом курсе первоначального хедера (училища), непременно умеет начертить быстро и с одного почерка. В кивоте, как святыня, хранятся у рабби Соломона пергаментные свитки Торы — Пятикнижия Моисея — фамильная драгоценность, завещанная в нисходящие поколения Бендавидов одним из их предков, славным раввином Шкловским, который в свое время был ламдан годул, великий ученый, ав беис-динь — глава раввината и, наконец, мекадеш гашем — человек, прославивший имя Божие.

После кивота самое видное место в кабинете занимали книжные полки, где в большом порядке помещались книги Ветхого Завета с комментариями, Талмуд Иерусалимский и Талмуд Вавилонский, в изданиях амстердамском и франкфуртском, все Торы (сборник законов) в полном венском издании, затем бесчисленное множество разных комментариев на Тору и Талмуд, трактатов богословских и юридических, под названием «Шаалот уте Шубот». К этому основному фонду древней, чисто еврейской библиотеки, присоединялось немалое количество разных старых и новых книг научного содержания на еврейском и немецком языках; тут были сочинения по части медицины, географии и астрономии, о которых старик, как автодидакт, любил иногда поговорить на досуге с каким-нибудь знакомым еврейским ламданом (ученым). Но превыше и пречетнее всех изданий этой библиотеки была у рабби Соломона одна заветная книга, неизменно пребывавшая не на полке, а на самом видном месте его письменного стола. То была «книга книг», «книга создания», где вписаны все имена ангелов и все от начала века роды и поколения и семейства человеков, прошедшие, настоящие и будущие до скончания мира, — книга Зоар (свет, сияние), источник и основание мистического учения Кабаллы, записанная некогда по вдохновению свыше ученым рабби Шимоном Бен-Иехаи. К этой книге, в часы полного уединения, любил иногда прибегать рабби Соломон и погружаться душой в пучины ее мистических загадок.

Против книжных полок, у другой стенки, помещался массивный шкаф, где за стекольчатými створками хранилась серебряная и золотая посуда, разные фарфоровые вещи и безделушки, древние драгоценные кубки, стопы и чарки. На шкафу стоял массивный серебряный седмисвещник, работы XVII века, с рельефными на его подножии изображениями братьев Маккавеев и их сподвижников. В этом седмисвещнике ежегодно в месяц тевет (ноябрь) зажигаются и горят в продолжение семи дней восковые свечи, в память победы Иуды Маккавея над Антиохом Епифаном и восстановления храмового канука — жертвенника.

Над письменным столом красовался в рамке под стеклом затейливый рисунок, испещренный самыми фантастическими арабесками, обрамлявшими собой центр рисунка, где по-еврейски изображено: «Бога всегда имею пред собой»! По краям рисунка, в завитках, гирляндах и зигзагах виднелись изображения леопарда, орла, оленя и льва с подписью: «Будь храбр как леопард, легок как орел, быстр как олень и мужествен как лев, при исполнении воли Отца твоего небесного». Подобные аллегорические картинки служат неизменным украшением комнат благочестивых еврейских гвиров, но занимают почетное место и в синагоге, над омедом — аналоем, пред которым кантор воспеваает гимны — брохес, шфилос и бакошос — благословения, молитвы и просьбы за себя и за народ израильский.

Свободные пространства стен кабинета рабби Соломона украшались старинными гравированными портретами еврейских знаменитостей, как например, рабби Иезекииля Ляндау, рабби Ионафана Эйбешиц, рабби Ильи Гаона и современного нам, признанного евреями за своего насси (князя) Моисея Монтсфиорс с супругой, изображенных в том самом виде, как они молились в виленской синагоге. Среди этих портретов висела прекрасная масляная копия с известной картины Поля Делароша «Евреи, молящиеся у стены древнего иерусалимского храма». Но что более всего бросалось в глаза при выходе из кабинета, это сплошной черный прямоугольник, выведенный на стене над самой дверью, и в нем две белые буквы, служащие инициалами слов «Захер Лахурбан», что значит «в память падения храма и царства». Эта траурная надпись должна вечно напоминать еврею об утраченном величии его древней родины и о необходимости восстановления отечества не только в прежнем блеске, но еще в наибольшем могуществе и славе.

В остальной мебелировке этого кабинета замечалось несколько вещей хотя и сборной, но замечательно хорошей старинной мебели, скупленной некогда по случаю, разновременно и поштучно из отживших свое время дворцов Сaner, Чарторыйских и Четвертинских. Но последнюю оригинальную особенность кабинета достопочтенного Бендавида составляли три жестяные кружки, приколотенные рядом к стенке и запечатанные печатью самого хозяина. В эти кружки он, по крайней мере раз в неделю, опускал «грош обета и милостыни». В первую кружку опускалась лепта в пользу бедных братьев-евреев во Святой Земле, во вторую — пособие для еврейских юношей, изучающих Тору и Талмуд в знаменитых эшеботах<sup>1</sup> земли Литовско-Русской, пребывающих в местечках Воложине, Мире, Копиле и Эйшишках. Наконец, на третьей кружке значилась надпись: «В пользу Мейера Баал-Гамеса», и эта последняя лепта употреблялась на неугасимую лампаду над гробницей сего знаменитого еврейского чудотворца.

Таков был кабинет рабби Соломона Бендавида, кабинет,

---

<sup>1</sup> Эшеботы — талмудические университеты, где проходится высший курс всех Тор (законоположений) и Талмуда со всеми комментариями на оный.



известный не только всему еврейскому Украинску, но и прославленный далеко по всей обширной округе, как некое святилище мудрого ученого, шейне-морейне<sup>1</sup>, гвира и благотворителя и как собрание разных шейнес кунштшюкес.

Итак, рабби Соломон сидел над большим фолиантом. Сквозь запертую дверь кабинета доносились до его слуха отголоски суетливых хлопот его супруги, внучки, приживалки и двух батрачек, накрывавших стол шабашовой трапезы. Но ни шик посуды, ни стук ножей и вилок, ни ворчливые возгласы почтенной Сарры, ни даже грузный топот торопливых шагов босоногих батрачек, шагов, от которых скрипели половицы и дрожала вся мебель в комнате,— ничто не могло рассеять сосредоточенного внимания рабби Соломона. И чем дальше читал он, тем все больше и больше углублялся всем своим внутренним существом в смысл читаемой книги.

Но вот на улице громко раздался знакомый голос синагогального шульклепера: «Ин шуль арайн!»

Но и это не вывело мысль рабби Соломона из ее напряжённой сосредоточенности. Рабби продолжал читать, пока шульклепер не подошел вплотную под раскрытое окошко и, по обычаю, трижды стукнув деревянным молотком в ставню, повторил свое условное «ин шуль арайн» чуть не над самым ухом рабби Соломона.

Старик вздрогнул, как бы очнувшись, ласково кивнул головой удалявшемуся шульклеперу — слышу, дескать, спасибо,— затем положил между листов фолианта широкую алую ленту, служившую ему закладкой и, прежде чем захлопнуть книгу, набожно поцеловал прочтенную страницу.

Он все любил делать по старине, как делалось в былые счастливые времена, до 1844 года, когда в силу гзейрас и малхус, т.е. царского указа, русско-польским евреям предстала горькая необходимость обрезать свои «святые пейсы»<sup>2</sup>, снять меховые шапки — штраймеле, и нарядиться в кургутное немецкое платье. Хотя и пришлось рабби Соломону подчиниться этому богопротивному насилию над своей наружностью, тем не менее, у себя дома, а со временем даже и вне дома, он по возможности соблюдал старый костюм и старый обычай. Таким образом, отправляясь в бейс-гамидраш<sup>3</sup> на молитву, он продолжал, как и во время оно, надевать поверх кафтана старозаконную деле — длинный плащ с маленьким стоячим воротником и чуть не до самой земли ниспадающими

---

<sup>1</sup> Морейне — особого рода титул, даваемый по особому постановлению беис-дина (совета старейшин) тем из евреев, которые получили полное талмудическое образование, и дающий право войти в члены кагала, в отличие от хабора — неуча, простолюдина; шейне — прекрасный.

<sup>2</sup> Пейсы — нависочные локоны, называются у евреев святыми, так как ношение их установлено самим Моисеем: «Не остригайте висков на голове вашей кругом и не уничтожай боков бороды твоей» (Левит, гл. 19, ст. 27).

<sup>3</sup> Бейс-гамидраш или бет-гамидраш — общественный молитвенный дом, в котором, кроме богослужения, целые ученые братства занимаются изучением Талмуда.

рукавами. Он, впрочем, ухитрялся носить контрабандным образом и некое подобие пейсов, не в. прежнем, конечно, роскошном виде, когда эти пейсы, бывало, в каждую пятницу завивались щипцами, умащались елеем и ниспадали до самого подбородка двумя лоснящимися локонами, но все-таки у него и теперь сохранились, так сказать, полу пейсы, которые рабби Соломон, выходя на улицу, зачесывал с висков за уши, а приходя домой или в синагогу, выпускал их из зависочного плена на надлежащее, по святому закону подобающее им место. Полицейские чины в прежнее строгое время, благодаря довольно щедрым подачкам украинского гвира, смотрели сквозь пальцы на его косвенные попытки нарушения высочайшего указа, ибо раз пейсы находятся за висками, они уже не пейсы,— и вот таким образом рабби Соломон и царскому гзейрасу не перечил, и Моисееву заповедь сохранял. Так было и теперь. Заложив пейсы за уши и накинув на себя деле, он захватил под мышку толстый «Сидур»<sup>1</sup> и степенной походкой направился в ближайший бейс-гамидраш совершить в мужском собрании пятничную минхе<sup>2</sup>. В этом бейс-гамидраше у него, как у человека богатого и давно уже почтенного титулом морейне, было раз навсегда откуплено у кагала самое почетное место, первое в первом ряду, место на мизрахе, т.е. на восточной стороне, ибо пришествие Мессии ожидается с востока.

Старая Сарра, почтительно проводив мужа до порога, еще поспешнее занялась теперь последними приготовлениями к шабашу, которые, в силу закона, должны быть окончены к закату солнца. Обеденный стол был уже накрыт двумя белыми скатертями, в память двойного отпуска субботней манны и в честь Шаббос «удваивающей душу»<sup>3</sup>. Пред столовым прибором главы дома положены два священные хлеба — хала и поставлен старый серебряный кубок, в виде чаши, для совершения кидуша<sup>4</sup>, ради чего тут же стояла и бутылка кашерного вина, до которого никогда не касалась трэфная рука гойя.

Окончив все приготовления по части стола, женщины занялись своим праздничным туалетом. Почтенная Сарра облеклась в шелковое клетчатое платье, украсила голову высоким убором штерн-тыхл, который весь был роскошно унизан рядами жемчуга, и сверху платья надела нагрудник, вышитый золотом и серебром в самом затейливом узоре. В этом-то наряде вновь появись в столовой она самолично зажгла шабашовые свечи — за души «взятых родителей, родственников и детей сперва в старинной яйцеобразной медной люстре, осве-

---

<sup>1</sup> Сидур — молитвенник, заключающей в себе сборник молитв на библейском языке, в отличие от Тхино, такого же молитвенника, составленного на немецко-еврейском жаргоне.

<sup>2</sup> Минхе — предвечерняя молитва.

<sup>3</sup> По учению Талмуда, еврей в шабаш, живет удвоенной жизнью, удвоенной душой.

<sup>4</sup> Кидуш — обряд благословения субботнего вина и угощения всей семьи и сотрапезников из общей чаши.

щавшей с потолка всю комнату, а затем в настольных, высоких серебряных шандалах, произнося при этом условные слова «благословения» Богу, повелевшему израильским женщинам возжигать субботние свечи. После этого, протянув к напольным свечам руки, она плавным кругообразным движением сверху вниз обвела их около огней, «осенила огонь» и, закрыв пальцами глаза, произнесла вполголоса молитву за себя, за мужа, за внучку и всех домочадцев — молитву, сопровождаемую воззванием к четырем великим женам Ветхого Завета: «Сорре, Ривке, Рохль вой Лейэ». По исполнении этого обряда, искони совершаемого исключительно хозяйками дома, к бобе<sup>1</sup> Сорре подошла ее внучка Тамара, уже успевшая принарядиться в легкое серенькое платьице из какой-то легкой материи, и почтительно преклонила перед старухой красивую головку. Бобе Сорре возложила на эту головку свои руки и дала внучке обычное благословение. После этого, бросив вокруг себя последний внимательный взгляд, дабы убедиться, что исполнено уже все достодолжное, что все в полном порядке и в наилучшем праздничном виде, обе они вышли на крылечко и — как требует обычай — уселись на пороге ожидать возвращения хозяина дома из бейс-гамидраша.

Над городом тихо воцарились ясные, теплые сумерки. На западе догорала длинная полоса заката, как бы млея своими последними все более и более слабеющими переливами пурпурно-золотистого света. Весенняя кудрявая зелень начинала принимать сплошную сероватую окраску, свойственную ночи, и только на светлом фоне заката еще отчетливо вырезывалась она своими прихотливыми очертаниями и от контраста с этим светом казалась и резче, и чернее. Дневная жара уже спала и стих дневной гомон. Лавки только что заперлись и улицы Украинска вдруг опустели, как и во всяком еврейском городе при восходе шабаша. Только изредка виднелись на мостовой исключительно христианские прохожие; зато у каждого еврейского порога чинно восседали разряженные балбосты с кучами чад и домочадцев. Из раскрытых окон ближайшего бейс-гамидраша, вместе с духотой, насыщенной смешанным запахом чеснока и чернушки, далеко неслись в тихом воздухе виртуозно-затейливые рулады синагогального кантора, а порой, когда эти рулады затихали, то из тех же окон, словно изнутри переполненного рою улья, исходил глухой жужжащий гул геморонигена, этого мурлычливого речитатива, который в обычае у евреев при чтении Торы и молитв, как в одиночку, так и целым кагалом. Синагога была битком набита народом. Сквозь окна, изнутри залитые светом, виднелось множество мужских голов в шапках, покрытых белыми шерстяными талисами<sup>2</sup> с черными каймами и серебро-галунными налобниками. Эти выразительные лица, искаженные фанатическим исступлением и полные то скорбного отчаяния, то молитвенного экстаза, казались мертвенно бледными от блеска

---

<sup>1</sup> Бобе — бабушка, в звательном падеже — бобеле.

<sup>2</sup> Талис — род савана или белой шерстяной простыни с черными либо с темно-синими каймами.

многочисленных свечей. Сонм белых фигур молящихся израильтян порой то затихал, как бы замирая в изнеможении, то вдруг по знаку кантора или по удару кожаной хлопушки на альеморе<sup>1</sup>, начинал испускать неистовые дикие вопли, вскрики, взвизги,— и вся молитвенная зала наполнялась нестройным, оглушительным «галласом». Биение себя в грудь кулаками, мерные раскачивания всем корпусом наад и и перед, закатывание зрачков, почти конвульсивное подергивание всеми членами тела, отплеивание<sup>2</sup> в сторону и подпрыгивание на месте, дабы в патетических моментах молитвы наиболее приблизиться к Богу,— все это более походило на какое-то фантастическое сонмище оживленных посредством гальванизма мертвецов в белых саванах, чем на живых людей, собравшихся для молитвы.

Но ни для бобе Сорре, ни для ее внучки, это зрелище, как дело давно знакомое, нимало не представлялось интересным. Звуки, жужжавшие из синагоги, летели мимо их слуха, не оставляя по себе никакого впечатления: привычное ухо даже и не замечало их. Мысли почтенной Сарры вращались около предстоявшего обеда — все ли в нем будет удачно, так как она знала, что у них сегодня обедают трое посторонних: один странствующий ламдан<sup>3</sup>, он же и магид, еще вчера приглашенный рабби Соломоном, один нищий еврей и один молодой бохер-эшеботник<sup>4</sup>, получившие на нынешний шабаш «плеты» от «плетен-тайлера» к столу Бендавида. Где были мысли Тамары, о том знало только ее сердце; добрая же бобе и не догадывалась. «Да и о чем, в самом деле, может думать этот ребенок? О новом платье? О сладких пирожках? О вечеринке с подругами?.. Мысли ее, как бутон розы, благоуханны и незрелы в своей невинности». — Так всегда думала почтенная Сарра о своей внучке. И действительно, взглянув на беспечно покойный взор девушки, устремленный в эту минуту на ясную полосу заката, ничего иного и не могло бы прийти в голову ее бабушке.

Но спустя лишь несколько мгновений, со взором и лицом Тамары произошла какая-то перемена. Впрочем, бабушка Сарра, погруженная в заботливый вопрос о предстоящем обеде с гостями, и не заметила, как ее внучка слегка вздрогнула и как на ее мгновенно побледневшем лице отразилась внутренняя тревога,

---

<sup>1</sup> Альемора — возвышенная эстрада посредине синагоги, с которой читается Тора.

<sup>2</sup> Моление свое как в будничные, так и в праздничные дни, евреи заключают молитвой «Улейны лойшабойах», т.е. благодарением Богу за то, что он не создал их гойями и не сравнял их с такими племенами, что поклоняются суете ничтожной и молятся такому богу, который их не спасет. Договорив эти слова, они плюют, добавляя: «тфу! имах шмой войзых-рой!» — да исчезнут имя его и память, или «тфу! имах шмом войзых-ром!» — да исчезнут их имена и память о них. В первом случае это относится ко Христу Спасителю, во втором же вообще к христианам.

<sup>3</sup> Ламдан — ученый и проповедник.

<sup>4</sup> Бохер или бахур-эшеботник — ученик, студент эшебота.

полная и смущения и затаенной радости. Взор молодой девушки, оторвавшись от заката, почти инстинктивно перекинулся вдруг совсем в другую сторону, к дощатому тротуару, по которому в эту самую минуту приближался к дому Бендавида высокий, статный мужчина, в элегантном летнем костюме.

Он шел обыкновенным шагом, слегка опираясь на изящную трость с золотым набалдашником. Рядом с ним шагал репкой породы громадный датский пес на стальной цепочке. В наружности прохожего все, начиная с манер и кончая малейшими мелочами костюма, изобличало хорошо усвоенную претензию на жанр настоящего джентльмена. Его несколько небрежная походка и выражение красивого лица, украшенного небольшой продолговатой бородкой — так называемой американской — и длинными русыми, выхолненными усами, были исполнены не столько сознанием действительного внутреннею достоинства, сколько выражали собой безграничную самоуверенность, не знавшую доселе еще никакой существенной преграды, никакого отпора. Тем не менее, общее впечатление его наружности было вполне изящное, даже солидное. На взгляд ему казалось между тридцатью и тридцатью пятью годами.

Проходя мимо Тамары, он на одно лишь мгновение, но почти в упор выразительно бросил на нее многозначительный пытливый взгляд и слегка приподнял шляпу, не без желанья придать своему поклону некоторую почтительность.

Почувствовав на себе этот вопрошающий твердый взгляд, девушка смутилась еще более и поспешила глубоко потупиться. Растерянно и вся зардевшись, ответила она на его поклон, показавшийся ей не совсем-то уместным в присутствии бабушки. Легкое движение досады чуть заметно дрогнуло у нее в какой-то жилке над бровями.

Джентльмен, ни на йоту не изменив себе, с полным спокойствием прошел мимо.

— Кто это? — спросила вослед ему Сарра, удивленная поклоном, адресованным ее Тамаре.

— Граф Каржоль де Нотрек, — ответила внучка, сделав над собой немалое усилие, чтобы придать своему голосу тон совершенно равнодушного спокойствия.

— Ах, это тот, что какую-то компанию здесь учреждает, водопровод или газопровод, так что ли... концессии какие-то?

— Да, кажется и то, и другое, — с легкой улыбкой подтвердила Тамара.

— Гм... Так вот он каков!.. Видный мужчина, — процедила сквозь зубы бабушка. — А ты разве с ним знакома? — вдруг спросила она.

— Как видите. — Я иногда встречаюсь с ним в обществе, особенности в доме у моей гимназической подруги, Ольги ховой.

— Видный мужчина, — как бы про себя повторила бабушка. — Только зачем нам все эти его заводы да водопроводы!.. Графское ли дело!.. Отцы и деды, слава Богу, кажись, жили себе и без этого и не хуже нас, право... Все это, сдается мне,

одна только глупая новая мода, новый способ шахровать<sup>1</sup> на счет обывательских карманов.

Тамара ничего не ответила на это несколько брезгливое замечание бабушки, и разговор их на том и прекратился.

Но долго еще не улеглось внутреннее волнение, возбужденное в девушке неожиданным появлением графа, хотя она и довольно удачно постаралась замаскировать свое чувство во время разговора с бабушкой. Вздохнул ее в особенности этот пристальный, хотя и мимолетный взгляд,— взгляд настойчивый, как бы повелевающий и ждущий неуклонно-подтвердительного ответа на нечто, заранее условленное.

«Что, как если вдруг бабушка заметила?.. Что, если в нее вдруг закрадется какое-нибудь подозрение?»

Но, взглянув на Сарру, девушка не могла не убедиться тотчас же, что добродушная и доверчивая бобе Сорре не заметила ровно ничего, кроме поклона, которого, конечно, нельзя было не заметить даже и ее подслеповатыми глазами.

— Однако минха уже кончилась,— заметила Сарра через минуту.— А вон никак и хозяин мой идет с гостями. Погляди-ка, Тамаре-лебен<sup>2</sup>, так ли?

И действительно, народ повалил из бейс-гамидраша с праздничным говором, быстро расходясь группами в разные стороны.

Вот идет и рабби Соломон. По правую его руку, прихрамывая, ковыляет жидкий, как гнуткая жердина, армер ламдам, рабби Ионафан, по левую — убогий старик-нищий, а сзади молодой бохер-эшеботник рядом с таким же юношей гимназистом, Айзиком Шацкером.

Тамара хорошо помнила свою обычную обязанность встретить дедушку на пороге столовой залы и подать ему субботнюю меховую шапку «штраймеле», под покровом которой дедушка, по обычаю всякого благочестивого еврея, совершает в течение шабаша сто благословений и сто раз произносит имя Господа.

Но прежде чем переступить порог и принять штраймеле, рабби Соломон прикоснулся правой рукой к мезизе<sup>3</sup>, прибитой к косяку входной двери, и поцеловал пергаментный сверток этого талисмана, произнеся про себя положенную краткую молитву о сохранении себя от всякого зла. Армер ламдан сделал почти то же, с той лишь разницей, что вместо самой мезизе поцеловал свой собственный, коснувшийся до нее указательный палец, а за ним сему же примеру последовали и остальные мужчины.

— Гит шабес! гит шабес!<sup>4</sup> — ласково произнес рабби Соломон

---

<sup>1</sup> Шахровать — выражение специально еврейское, означающее отчасти спекулировать, отчасти заниматься разными не совсем-гпо чистыми делами.

<sup>2</sup> Лебен — душа, жизнь — ласкательный эпитет.

<sup>3</sup> Мезизе — пергаментный сверток с текстом из Торы, приколачиваемый к косяку ворот в охранение от нечистой силы.

<sup>4</sup> Гит-шабес — добрый шабаш (нем.-евр. жаргон).

приветствуя всех домашних, которые ответили ему тем же, после чего, приняв из рук Тамары штраймеле, он наложил на склоненную голову внучки свои руки и дал ей субботнее благословение в словах: «Да будешь ты матерью многих миллионов людей израильских!»

За сим приступили к приветствию ангелов небесных, которые, по учению Талмуда, невидимо присутствуют на шабаше каждого благочестивого еврея, если в этот день в его доме царствует семейное согласие и спокойствие.

— Шелом алейхем, малохай гашурйс! — торжественно Мйрл в полный голос рабби Соломон, предварительно надев ни себя штраймеле.— Привет вам, ангелы, служители Всевышнего, Царя царей и святого Бога, да будет благословен Он! Приветствую вход ваш, ангелы мира! Благословите нас миром вы, ангелы мира, ангелы Всевышнего, Царя царей, да будет благословен Он!

Каждый стих приветствия ангелам повторялся троекратно, после чего хозяин дома, по уставу, проговорил заключительную главу «Притчей Соломона» о жене доброй, что многоценнее жемчуга. Все присутствующие и в особенности женщины старались при этом выразить на лицах радость и спокойствие, и держать себя как можно тише и скромнее, чтобы каким-либо неподходящим взглядом, движением или помыслом не удалить ангелов и не накликать демонов. Затем благоговейно приблизились все ко главе семейства — выслушать из его уст и повторить за ним слово в слово «освящение субботы», выражаемое молитвой «кидуш», что произносится над чашей. Для него рабби Соломон наполнил доверху стоявший пред его прибором кубок и, взяв его за донце в правую руку, произнес как бы про себя, тише чем вполголоса:

— «И был вечер, и было утро — день шестой. Благословен Ты, предвечный Боже наш, сотворивший плод виноградный! Благословен Ты, Царю вселенный, производящий хлеб из земли!»

И затем, благословив Бога за дарование евреям субботы и на предпочтение народа израильского всем другим земным народам, рабби Соломон отхлебнул из благословенного кубка и дал пригубить от него, по очереди старшинства и гостеприимства всем присутствовавшим.

Тем часом служанка внесла кувшин воды, покрытый чистым полотенцем, и медный, отлично вычищенный таз, над которым и был теперь совершен обряд общего омовения рук — «нетилат ядаим», после чего все уселись за стол самым чинным образом. Армер ламдан, как уважаемый гость, конечно, занял место по правую руку хозяина.

Но и тут обычные обряды еще не окончились. Надо было благословить хлебы, без чего невозможно приняться за субботнюю трапезу. Поэтому рабби Соломон обеими руками приподнял вверх священный хлеб халас, прочел краткое благословение над хлебом, разрезал его на части и роздал по куску всем присутствующим, не исключая и домашней прислуги, Таким образом был исполнен обряд еврейского причащения вином и хлебом, по окончании которого уже не

препятствовало приступить и к самому ужину.

Первым блюдом принесли фаршированного шупака с пряностями — и все вслед за хозяином запели: «Лехо доди ликрас кала» — выходи, друг, навстречу невесте! Примем весело Субботу! — Принесли «локшен», затем говядину из супа и вареных цыплят, жареного гуся и «кугель» и наконец, в смысле венца-венцов и блюда-блюд всего субботнего пиршества, появился на столе вселюбезный «цымис» жирный, пряный и сладкий.

Между кушаньями всем хором распевались субботние песни земирот. Тут пели и Мнухо всимхо, и излюбленную Маюфис, и вообще все эти заветные застольные песни, воспевающие великое значение еврейского народа в мире и значение святости субботнего дня, как внутренней связи еврейства,— песни, выражающие общую надежду израильтян на скорейшее собрание евреев в родной земле, на восстановление храма и жертвенника, а главное,— на восстановление скипетра Иуды и царя Давида, который будет господствовать над всеми народами земными.

## II. СЛОВО РАББИ ИОНАФАНА

— Рабби Ионафан! — обратился хозяин к своему гостю.— Наша скромная трапеза, благодарение Богу, окончена. Но мы, прежде чем сказать нашу общую благодарственную молитву, конечно, можем учинить маленький «кидуш»<sup>1</sup>. Вы не будете против? А потому позвольте-ка ваш стакан! Мы его наполним до края и выпьем.

— Мазель-тов! В час добрый! — приятно улыбаясь проговорил гость, и с удовольствием подставил свой стакан под горлышко бутылки.

И все мужчины чокнулись, проговорив взаимно «лехаим!» на здооовье:

— Но, рабби Ионафан,— продолжал хозяин,— я хочу получить с вас маленькую взятку. Вы такой «харифл» и «маггид»<sup>2</sup> вы сумели вполне усвоить себе «дерех эрец»<sup>3</sup>, хотя, к вашей чести будь сказано, и придерживаетесь старых обычаев, не подражая нынешним модам, тогда как увы! — кто из нас не делает им больших уступок!.. Не будете, рабби, так любезны, сказать нам какое-нибудь маленькое словцо? Это так приятно в шаббос!.. Я, конечно, не претендую на большую дрош<sup>4</sup> это значило бы злоупотреблять вашей любезностью, но какой-нибудь легкий муссар<sup>5</sup> вместо десерта, если это не затруднит вас!

---

<sup>1</sup> Кидуш в переносном смысле означает выпивку.

<sup>2</sup> Харифл и магид — остроумный талмудист и проповедник.

<sup>3</sup> Дерех эрец — религиозная ученость и светское образование.

<sup>4</sup> Дрош — проповедь.

<sup>5</sup> Муссар — нравоучение.



- С удовольствием! — согласился армер ламдан и затем озабоченно потер свой лоб рукой, как бы придумывая тему — С удовольствием! — продолжал он.— Только не ждите от меня «харифус и маггидус»<sup>1</sup> на талмудические темы... Нет, я не коснусь Талмуда; я не расположен к этому сегодня. Мое словцо будет spolна построено лишь на подборе посуков<sup>2</sup> нашей вселюбезной Торы и наших пророков. Мы слушаем,— покорно склонил свою голову хозяин, Пригласив жестом и всех остальных ко вниманию.

Рабби Ионафан еще раз потер рукой наморщенный лоб, подумал с минуту и, вскинув на всех вдохновившийся взор, и приступил к делу.

— Господа! — начал он с приятной улыбкой.— Я буду говорить на тему наиболее любезную, наиболее сочувственную каждому еврейскому патриоту в голусе<sup>3</sup>. Я буду говорить о задачах и значении еврейства в мире и о нашей будущности, поколику указывает на них наше священное писание.

— Мы слушаем! Внемли, Израиль! — с благочестивым видом и почти шепотом повторил хозяин.

— Господа! — продолжал армер ламдан,— я напому нам шестидесятую главу пророка Исаяи. О! сколь горячо было любить свой народ, сколь глубоко верить в его будущность, чтобы начертать эти великие строфы!.. Пророк говорит: «Встань, осветись, ибо пришел свет твой и слава Господня воссияла над тобой. Се темнота покроет землю и мрак народы». Рабби Соломон! Вы, убеленный опытом житейской мудрости, вы, человек большого опыта, вдумайтесь, разве это не так? Разве в наши дни не воочию сбываются слова пророка? Разве не покрыла землю темнота мелкой себялюбивой суетности, неверия и нечестия? Разве не мрак объемлет теперь народы хотя бы одной лишь Европы, и в особенности народ, среди которого мы здесь живем? Мрак и тем паче мрак, сугубый мрак, что этот народ воображает себе, будто он идет ко свету, будто он подымается на подвиг выполнения своих якобы великих исторических задач! Да, господа, се темнота покрыла землю и мрак народы. И это так, ибо вне еврейства нет спасения ничему существу! Ибо сказано. «И пойдут народы к твоему свету и цари к лучам твоего сияния». К чьему это свету и к лучам чьего сияния? Пророк на это указывает ясно: К Израилеву свету к Израилеву сиянию. Далее: «Тогда ты (Израиль) увидишь и просияешь от радости; вострепещет и расширится сердце твое, потому что богатства моря обратятся к тебе и достояние народов пойдет к тебе... Тогда сыны иноземцев воздвигнут стены твои и цари их будут служить тебе... И постоянно будут открыты врата твои и не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимы были тебе со-

---

<sup>1</sup> Харифус и маггидус — остроумный разбор и ловкое истолкование текстов Торы, Талмуда и вообще религиозных узаконений.

<sup>2</sup> Посуки — стихи, изречения Св. Писания.

<sup>3</sup> Голуса — изгнание. Иго голуса началось для евреев после окончательного разрушения иерусалимского храма и рассеяния по лицу земли народа еврейского.

кровища народов и приводимы цари их; ибо народ и царство, которые не станут служить тебе — погибнут, и такие народы совершенно истребятся... Ты будешь питаться туком народов и наслаждаться царским изобилием... Вместо меди я буду снабжать тебя золотом, вместо железа стану доставлять серебро, вместо дерева медь, и вместо камней железо... Да! твое солнце уже не закатится и дни плача твоего кончатся». — Так говорит пророк, один из величайших патриотов еврейских. И какая светлая, какая завидная будущность сулится нам в этих строфах!.. Наши цели не в загробной жизни, какой стараются утешить себя лучшие люди из «акимов верующих в цейль»<sup>1</sup>, — наши цели все осязательные, все здесь, на земле, которая самим Всевышним — хваление ему — обещана нам в наследие. Небо и загробная жизнь уже без того принадлежат нам, в силу того, что мы — евреи, народ избранный Богом, и доколе мы будем оставаться верными и добрыми евреями, нам нечего особенно о них заботиться: они наши! Наше призвание, повторяю, — здесь, на земле, и оно вполне земное, реальное, как и указывает на то многократно священное Писание, не говоря уже о Талмуде. Хотите проследить со мной, исключительно по посукам Писания, нашу великую земную программу? — Вот она! Но... предварительно одно маленькое отступление. Гоим укоряют нас, что мы любим золото (как будто они сами не любят его!). Да, мы любим золото, мы обязаны любить его! Ибо золото сила! Мы любим золото, потому что это металл чистый и твердый, как должна быть чиста и тверда душа еврея. Благородный металл — и душа благородная! Замечательно, что уже в самом начале нашей достохвальной Торы, при описании Рая первых человеков, упоминается, что «и золото той земли хорошее»<sup>2</sup>, и упоминается о нем, как об одном из несомненно важных, даже, пожалуй, важнейшем из преимуществ земли, данной в поселение нашим прародителям. Казалось бы, на что, к чему им золото, когда они не нуждались даже в покровах для своего тела, когда и без того уже они жили в золотом веке? Но тут, может быть, даже бессознательно сказала самая суть нашей природы. Первобытный бытоописатель наш уже инстинктом постиг и оценил качество этого благородного металла. «И золото той земли хорошее», — заметьте: «хорошее». Не кроется ли в этих словах таинственное указание, что вот где и вот в чем источник вашей силы, вашего господства над человечеством? Уже в то первобытное время, значит, еврей обратил внимание на существеннейший корень и рычаг жизни; уже и тогда постиг он силу и значение золота. И это упоминание о золоте в самом начале нашего учения весьма важно и характерно: оно есть, говорю, первоначальное указание на то, что наши цели и задачи должны быть земными, материальными, ибо небо, повторяю, и без того уже принадлежит нам от века, как евреям. Итак, возвращаюсь к задачам и целям еврейства. Наше писание везде и постоянно придает весьма

---

<sup>1</sup> Аким — одно из названий, даваемых христианам, цейль — крест.

<sup>2</sup> Бытия, гл. 2.

важное значение материальному благосостоянию. Так, например, о великом праотце Аврааме — да будет благословенна его память — упоминается, что был он «очень богат скотом и серебром, и золотом»<sup>1</sup>. Далее: «И сказал Он Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей. Но над народом, у которого они будут находиться в порабощении, Я произведу суд; после сего они выйдут с великим имуществом»<sup>2</sup>. Заметьте это «с великим имуществом», — это воздаяние за порабощение. Так и акимы: они, этот современный нам гордый Фараон, это «христианство», мнящее себя царем земного мира, разве не тщилось оно в течение восемнадцати столетий держать нас в политическом порабощении, не допускать нас до сравнения в гражданских правах с собой? И что же в конце концов мы видим? Постепенное с течением веков накопление богатств всего мира в руках евреев, постепенное овладение рынками и биржами Старого и Нового света, пока наконец не сделались мы финансовыми владыками вселенной. Банкирский дом баронов Ротшильдов — вот достойный ответ Израиля акимам на все их вековые неправды и утеснения народа, избранного Богом. И пускай-ка попробует любая из так называемых «великих держав» поспорить с другой, объявить ей войну, если этого не захочет Ротшильд! «А что скажет Ротшильд? А как взглянет Ротшильд? А пожелает ли Ротшильд гарантировать своим авторитетом реализацию займа, потребного на ведение войны?» Так ныне поневоле думает каждый из земных владык царств и народов, прежде чем отважится объявить войну своему соседу. Захочет этот капризный Ротшильд — ладно, а не захочет, так и без войны он может одной какой-нибудь игрой на понижение в самое мирное время, при наилучших экономических и политических условиях любого госудаства, шлепнуть его бумаги до нуля, довести его до полного банкротства. Стало быть, кто же выходит действительным владыкой мира — гордые ли фараоны христианского мира, или он, этот «ничтожный», презираемый жид Ротшильд? — Вот она где, эта ветхозаветная мудрость Израиля!

— Таким образом, мы видим, что и в наши дни опять воочию сбывается предреченное праотцу Аврааму: после восемнадцати веков угнетения, в течение коих еврей все богател и богател, мы, как и наши предки из Египта, начинаем выходить на мировой простор «с великим имуществом». Так- то!.. Но пойдём далее! Праотцу нашему Исааку сказано: «будь пришельцем в этой земле и Я буду с тобой и благословлю тебя, потому что тебе и потомству твоему дам все эти земли»<sup>3</sup>. «Будь пришельцем!..» И действительно, всегда, везде и повсюду мы были только пришельцами, и — зачем скрывать от самих себя! — пришельцами нежелаемыми, повсюду отвергаемыми, пришельцами злыми, жестокосердными. Вспомните, еще древле, где хитростью и коварством, где открытым

---

<sup>1</sup> Бытия, гл. 13.

<sup>2</sup> То же, гл. 15.

<sup>3</sup> То же. гл. 26.

насильством врываются евреи в земли чуждых им оседлых народов. Врываются они во владения Эдома, и Эдом не впускает их ибо знает, чем грозит прикосновение Израиля. И Сихон, подобно Эдому, не впускает к себе евреев, и Ог, царь Вассанский, и Валак, царь Моавитский, тоже, все боятся нашествия евреев, все жаждут от них избавиться. Почему так? Ответ находится в той же книге «Чисел»: «И сказали моавитяне старейшинам мадиамским: «этот сонм (израиль-тян) поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую»<sup>1</sup>. Вот Почему! Мы шли, по-видимому, на чужое и им постепенно овладевали; но это потому, что в сущности для нас нет чужого на земле: все чужое — наше, ибо и вся земля по обету Всевышнего наша, нам завещана, нам принадлежит, как лучшим, как избраннейшим сынам Божиим. «Да послужат тебе народы и да поклонятся племена. Проклинающие тебя прокляты, благословляющие, тебя благословенны»<sup>2</sup>. «И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к западу и к востоку, и к северу, и к полудню»<sup>3</sup>. «Отныне имя твое Израиль, потому что ты боролся с Богом и людьми и одолел»<sup>4</sup>. Колико же мощен духом великий представитель нашего племени, если он мог бороться не только с людьми, но даже с самим Богом — да благословится имя Его — и одолеть Его, в чем, по писанию, сознается и Сам Тот, чьего имени неумытыми устами и произнести не смею! Кто же еще есть другой столь дерзновенный во человецех?.. Не даром же сказано еще издревле, что «дерзновеннейший между племенами — Израиль». И кому же как не Израилю, после того довлеет обладать целым миром? Да, это наше право, наше преимущество, ибо сказано: «Иуда! тебя восхвалят братья твои; рука твоя на хребте врагов твоих. Не отойдет скиптр от Иуды и жезл от ног его, дондеже не придет покой, и ему покорность народов»<sup>5</sup>.

Рабби Ионафан приостановился, чтобы перевести дух. Сухощавое, болезненно желтоватое лицо его было оживлено до необычайности, а глубокие глаза исподлобья сверкали как угли, и горел в них огонь вдохновения. По всему было видно, что это в своем роде поэт, человек увлекающийся, но глубоко убежденный в том, что он высказывает. И сила его внутреннего убеждения как бы посредством электрического тока невольно передавалась слушателям.

Одна только Тамара казалась несколько рассеянной, как будто в ней копошились совсем иные думы, иные чувства. Она почасту взглядывала на стенные часы, висевшие как раз против ее места, и на ее нервном личике порой прорывалось наружу выражение какой-то озабоченности, нетерпения и досады. Хорошо, что внимание бобе Сорре в эти минуты до самозабвения

---

<sup>1</sup> Числа, гл. 2.

<sup>2</sup> Бытия, ел 27.

<sup>3</sup> То же, гл. 28.

<sup>4</sup> То же. гл. 32.

<sup>5</sup> То же, гл. 49.

было поглощено словом рабби Ионафана, а то не избежать бы Тамаре ее замечаний и даже серьезного выговора за рассеянность и неприличие.

—Продолжайте, достопочтенный рабби, продолжайте — восторженно умоляющим шепотом проговорила бобе Сорре, судорожно сжимая пальцы своих рук, сложенных в комочек. На ее лице отражалось не только простосердечное наслаждение, но полное упоение речью ламдана-маггида.

Соломон Бендавид подлил маггиду в стакан вина и тоже просительным образом подмигнул ему глазами — продолжайте, дескать, почтеннейший.

Рабби Ионафан освежился глотком вина, глубоко вздохнул и, собравшись с мыслями, начал.

— И вот, народ Израильский в Египте. Здесь, как известно, сыны Израилевы «расплодились и размножились, и увеличились, и усилились чрезвычайно и наполнилась ими земля та»<sup>1</sup>. И не надо думать, будто им было уж так особенно дурно и Египте — вовсе нет! Я готов сказать даже напротив,— хорошо; в известной степени даже привлекательно было евреям в земле Фараонов, очутившейся у них, благодаря мудрым государственным мерам Иосифа, можно сказать, на откуп. «Книга Бытия», когда хочет похвалить долину Иорданскую, говорит, что хороша она, «как сад Господен, как земля Египетская»<sup>2</sup>. И наконец, при скверном житье-бытье, известное дело, особенно не расплодишься и не усилишься. А во время странствий по пустыне сколько раз, бывало, и с каким сердечным сожалением вспоминали евреи о земле Египетской, о ее приволье, изобилии, богатстве, и как горько, и как много и часто упрекали Моисея с Аароном за то, что они вывели их из этого рая земного! Конечно, народу египетскому, обезземеленному и закрепощенному Иосифом<sup>3</sup>, было нелегко под евреями, но Фараону, исправно получавшему с народа свои подати и богатства чрез посредство евреев, напротив, было прекрасно. Оттого-то Фараон так и упорствовал в нежелании своем отпустить народ израильский из Египта, вопреки воле народа египетского, умолявшего, да избавит его поскорее от этих пришельцев. В чем же дело? Зачем понадобилось вдруг покидать этот прекрасный край? А дело в том, что времена переменились: умножился, усилился, расширился народ Божий, а вместе с этим расширился и кругозор его политических задач, его стремлений не только к самостоятельному, независимому существованию, но и к господству над другими народами. И тогда Всевышний обещает евреям, что пойдут они «не с пустыми руками», «но испросит каждая женщина у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд, и вы положите все это на сыновей ваших и на дочерей ваших и оберете египтян»<sup>4</sup>. Так сказал

---

<sup>1</sup> Исход, гл. 1.

<sup>2</sup> Бытия, гл. 13.

<sup>3</sup> То же, гл. 47.

<sup>4</sup> Исход, гл. 3.

Господь. И затем еще сказал Он Моисею: «Я поставил тебя Богом Фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком»<sup>1</sup>. Какая великая миссия! Смертный и вдобавок раб, по воле Бога, сам становится богом для другого смертного, но уже не для раба, а для царя, для гордого Фараона Египетского! Ни до того, ни после того в человечестве не было примера подобной миссии. Римские цезари, почитаемые за богов рабами,— это совсем не то! Это только безобразный апогей рабственности, презренного и льстивого низкопоклонства, и больше ничего. И сказал Бог Моисею: «Я наложу руку мою на Египет»,— и наложил. И наслал на него десять казней. И была между ними девятой казнью тьма египетская. Вспомните это слово: «и будет тьма на всей земле, осязаемая тьма». Это слово, не в физическом, конечно, смысле, повторяется и в наши дни. Десятая казнь — смерть первородных. Для нашего времени она еще в будущем. Ныне враги, нас окружающие, находятся пока еще в периоде тьмы египетской. «И был вопль великий по всей земле Египетской, какого не было и какого не будет более. И сказали рабы Фараона ему: доколе этот человек будет вредить нам? Отпусти этих людей... Неужели ты еще не видишь, что гибнет Египет?! — И сделали сыны Израилсвы по слову Моисея: испросили у египтян вещей серебряных и вещей золотых, и одежд. Господь дал милость народу своему в глазах египтян, и обобрал он египтян»<sup>3</sup>. Да, обобрал, и это справедливо, ибо заповедано нам оплачивать «око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб»<sup>4</sup>. Этого мы не должны, не смеем забывать и ныне, и вовеки. И вот, народ израильский идет в землю Обетованную, и Господь говорит ему: «Ужас мой пошлю пред тобой и в смятение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и обращу всех врагов твоих к тебе тылом... Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не запустела и не умножились бы против тебя звери полевые; но мало-помалу буду прогонять их от лица твоего, пока ты не расплодишься и не завладеешь землей этой. Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа этой земли, потому что он достанется вам на съедение»<sup>5</sup>. Если же вы не прогоните жителей земли от лица своего, то уцелевшие из них ,будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы поселитесь»<sup>6</sup>. Итак, вот задача: ослаблять и, по возможности, искоренять, истреблять тех, среди которых мы, пришельцы, поселяемся. Для этого мы должны строго блюсти законы братства и круговой поддержки между собой и не вступать ни в какое общение и соглашение

---

<sup>1</sup> Исход, гл. 7.

<sup>2</sup> Моисей.

<sup>3</sup> Исход, гл. 12.

<sup>4</sup> То же, гл. 21.

<sup>5</sup> Числа, гл. 14.

<sup>6</sup> То же. гл. 33.

с неевреями, а наипаче всего быть твердыми в вере нашей. Мы должны не налагать на брата своего еврея никакой работы, приличествующей рабам. «Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. А раб твой и рабыня твоя, которые могут быть у тебя, должны быть из народов, которые вокруг вас». «От них покупайте раба и рабыню; также и детей поселенцев, водворившихся у вас, можете покупать, и из племени их,— они могут быть вашей собственностью, и можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе как имение. Вечно владейте ими, как рабами»<sup>1</sup>. Вот откуда, стало быть, истекает наше священное общеврейское право меропии и казаки, право тайной кабалы над личностью и имуществом движимым и недвижимым каждого нееврея.

— Мы должны в конце каждого седьмого (юбилейного) года прощать денежные и иные долги ближним и братьям своим и не взыскивать с них; но под «ближним» и «братом» надо понимать только еврея, потому что нам сказано: «С иноплеменика взыскивай, а что будет твое у брата твоего — прости»<sup>2</sup>. Мы должны не отдавать в рост брату своему, еврею, ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо иного.— «Иноплеменнику же отдавай в рост для того, чтобы Бог благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую тыходишь, чтобы овладеть ею»<sup>3</sup>. Мы должны не есть ничего сомнительного, ибо сказано: «Не ешьте никакой мертвечины; иноземцу, который в городах твоих, отдай ее,— он пусть ест ее, или продай ее иноплеменнику, потому что ты народ святой у Господа Бога твоего»<sup>4</sup>. Отсюда, как видите, истекает не только наше право, но и священный долг наш сбывать всякий трэф гойям, на скорейшую их погибель, во славу Господа. Далее нам сказано: «Из среды братьев твоих поставь над собой царя; не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе»<sup>5</sup>. Из сего вы видите, что если мы и вынуждены как бы покоряться чуждой власти той страны, в которой живем, то это только наружно, для виду, для собственного спокойствия: в душе же мы свято обязаны чтить только наш закон и сообразные с ним веления и решения Верховного Совета нашего «Всемирного Кагала». Только сии веления и решения суть для нас, после Торы и Талмуда, закон непререкаемый и священный. Паче же всего должны мы пребывать твердыми в вере. «Если будет внушать тебе тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоём, или друг твой, который для тебя как душа твоя, говоря пойдем и будем служить иным, которых не знал ты и отцы твои, то не соглашайся с ним и не слушай его и да не пощадит его глаз твой, не жалея его и не прикрывая его, но

---

<sup>1</sup> Левит, гл. 25.

<sup>2</sup> Второзаконие, гл. 15.

<sup>3</sup> То же, гл. 23.

<sup>4</sup> То же, гл. 14.

<sup>5</sup> То же, гл. 17.

убей его; твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки всего народа. Побей его камнями до смерти»<sup>1</sup>.

При этих словах писания, произнесенных грозным голосом, раздался вдруг резкий стук ложки, упавшей из руки Тамары на тарелку. Рабби Ионафан приостановился, как человек, которого речь неожиданно перебили. Старая Сарра вздрогнула и вскинула глаза на внучку.

— Что с тобой?.. Ты бледна, как полотно... ты расстроена... Ты нездорова? — спросила она вполголоса.

И, действительно, лицо Тамары было бледно, грудь дышала взволнованно, а глаза с выражением ужаса глядели на проповедника. Это падение ложки произошло совсем невольно, нечаянно и столь резко нарушило собой тишину общего напряженного внимания, что все моментально вскинули взгляды в сторону девушки. Она была, что называется; захвачена на месте, так что выражение ужаса на ее лице не успело ускользнуть от внимания бабушки, сидевшей рядом с ней.

Угадав, что бабушка заметила что с ней, Тамара на мгновение смутилась еще более, но в тот же миг постаралась овладеть собой и улыбнуться.

— Нет, милая бобе, я ничего, я здорова,— поспешила она уверить бабушку.— Это оттого, что я так заслушалась... Так увлеклась до самозабвения словами почтенного ламдана... Я прошу Рабби Ионафана извинить мне мою неосторожность.

Армер ламдан самодовольно улыбнулся и, послав девушке снисходительно приветливый поклон кивком головы, воспользовался неожиданным перерывом его речи, чтобы с наслаждением потянуть винца из своего стакана. Рабби Соломон, в качестве гостеприимного хозяина, тотчас же предупредительно наполнил его снова.

— А впрочем, бобе, я действительно несколько устала,— заметила девушка на ухо старухе, бросив пред тем мимолетный взгляд на стенные часы.— Я бы, пожалуй, не прочь уйти к себе, если вы мне позволите.

Сарра несколько поморщилась на это.

— Мм... неловко,— шепотом заметила она внучке.— Как же это так вставать раньше старших!.. Потерпи уж! Ничего!

И вслед за тем, с улыбкой наслаждения повернулась к проповеднику.

— Продолжайте, достопочтеннейший рабби! Мы с нетерпением ожидаем продолжения ваших мудрых слов, которые для нас слаще меда. Поучайте нас, продолжайте! Слушать вас — это удовольствие, это значит совершать одно из благих дел «таряг мицвес»<sup>2</sup>. Продолжайте!

— Итак! — со вздохом начал рабби Ионафан.— Вот, раббосай, существеннейшие из постановлений, которые должны мы неуклонно соблюдать для достижения великих целей,

---

<sup>1</sup> Второзаконие, гл. 13.

<sup>2</sup> Таряг мицвес — свод шестисот тринадцати дел, обязательных для каждого еврея.



свыше завещанных еврейству. Но помните и запечатлейте в сердцах ваших что сказано: «Я Господь Бог твой, Бог ревнивый, за вину отцов наказующий детей до третьего и четверти) рода!»<sup>1</sup> И вот на рубеже земли Аморреев, первоначальной из всех земель, и царств, и стран нашей планеты, предоставленных нам «на съедение», Господь сказал нам: «Начинай овладевать землей!.. С сего дня Я начну распространять страх и ужас пред тобой на народы под всем небом; те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя»<sup>2</sup>. Я научил вас уставам и постановлениям, дабы поступать так в земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Храните же и исполняйте их, потому что в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые услышат о всех этих уставах и скажут: вполне мудрый и разумный народ этот, великий народ»<sup>3</sup>. Но помни, что «Господь бог твой есть огонь поедающий, Бог ревнитель»<sup>4</sup>.— «Вывел тебя Он Сам великой силой своей из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народы, которые больше и сильнее тебя и дать тебе землю их в удел, как ныне». Соблюдай же уставы Его и заповеди Его, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя и чтобы ты долготелен был на земле, которую Господь Бог дает тебе навсегда»<sup>5</sup>. «И введет тебя Господь Бог твой в землю, которую Он клялся отцам твоим дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнил, и с колодцами, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не насаждал, и будешь есть и насытишься»<sup>6</sup>.

— Толково сказано! — восторженно выпалил вдруг гимназист Айзик Шацкер, не сумевший превозмочь своего чувства. Рабби Ионафану хотя и не совсем-то понравилось, что его прерывают, но, взглянув на этот, чуть не захлебывающийся восторг юноши, он тотчас же сменил гнев на милость и обратился к нему с полным благоволением убогатворенного самолюбия.

— Вы находите, бохер?

— О, да, мой рабби! И хотя жалкие акимы обзывают нас эксплуататорами чужого труда и достояния, но клянусь! быть евреем — это такое преимущество, такое даже блаженство, что я никогда не сделаюсь отступником. Мамзель Тамара, вы как об этом думаете?

При этом неожиданном обращении девушка даже вздрогнула, словно ее что ужалило. Удивленным и пытливо беспокойным взглядом вскинулась она на Айзика, как бы желая разгадать, в каком смысле и с какой целью предложен ей

---

<sup>1</sup> Исход, гл. 20.

<sup>2</sup> Второзаконие, гл. 2.

<sup>3</sup> То же, гл. 4.

<sup>4</sup> То же, гл. 4.

<sup>5</sup> То же, гл. 4.

<sup>6</sup> То же, гл. 6.

вдруг этот неуместный вопрос? Но затем, как бы от боли закусив на мгновение свою нижнюю губу и глубоко потупив глаза в тарелку, она ответила ему тихо и значительно,

— Я думаю только одно, что мне очень хочется слушать далее рабой Ионафана.

— И без перерывов,— вставила со своей стороны замечание бабушка Сарра, особенно подчеркнув это слово, чтобы дать понять молодому человеку всю неуместность и даже неприличие его выходки, сделанной быть может вследствие некоторой возбужденности от излишне выпитого стакана. Почтенная Сарра никогда и нигде не забывала, что она жена богача и родовитого аристократа, в доме которого все обязаны переполняться глубочайшим к ней уважением и отнюдь не нарушать уставов строгой благопристойности.

Айзик понял ее замечание и сконфузился, и в свою очередь закусил себе губу.

— Славный малый! — снисходительно похвалил его ламдан, обращаясь умиловительным взором к почтенной Сарре и тем самым как бы приглашая ее к снисхождению.— Славный малый! Он не шойте, хотя и не хахом годаул покамест<sup>1</sup>. Но пшат<sup>2</sup> у него в порядке, и конечно он не смыслил бы миколь шекен если бы не сделал замечания насчет нашего якобы эксплуататорства. Пускай, впрочем, молодой человек, называют нас как угодно — мы должны быть к этому равнодушны; более того: мы должны презирать это и идти своей дорогой. Но, с вашего позволения, раббосай, я продолжаю мое слово.

— Ах, пожалуйста! Просим! — воскликнули зараз все слушатели.

Маггид откашлялся, сосредоточенно подумал над своим стаканом и, вспомнив надлежащий текст, продолжал поучающим голосом:

— «Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит Он от лица твоего многочисленные народы, и предаст их тебе и поразишь их,— тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их. Но поступите с ними так: жертвенники их разорите и столбы их разрушьте, и священные деревья их вырубите, и истуканы их сожгите огнем, потому что ты — народ святой у Господа Бога нашего; тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, что на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов возжелал вас Господь и избрал вас — ведь вы малочисленнее всех народов — но из любви к вам Господа и ради соблюдения им клятвы, которой Он клялся отцам вашим». И потому-то «благословен ты будешь больше всех народов; не будет ни бесплодного, ни бесплодной ни у тебя, ни в скоте твоём. И ты истребишь все народы, которые Господь Бог твой отдает тебе; да не пощадит их глаз твой! То же соделает

---

<sup>1</sup> Шойте — дурень, дурак. Хахом годаул — особенно умный человек.

<sup>2</sup> Пшат — смысл.

<sup>3</sup> Миколь шекен — а ни аза, ни бельмеса.

Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься. И будет вытеснять Господь Бог твой пред тобой эти народы мало-помалу; не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя дикие звери. И предаст Господь Бог твой эти народы тебе, и приведет их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной: не устоит никто против тебя, пока не искоренишь их»<sup>1</sup>. «И тогда размножится крупный и мелкий скот твой — и будет у тебя много серебра и золота, и всего у тебя будет много; помни Господа Бога твоего, потому что Он Тот, Который дает тебе силу приобретать богатство, чтобы исполнить, как ныне, завет Свой, которым Он клялся отцам твоим»<sup>2</sup>.— «Знай же, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть этой доброй землей, потому что ты — народ жестоковыйный»<sup>3</sup>.— Еще Моисею в пустыне сказал Господь: «Вижу этот народ и се — народ жестоковыйный; ты знаешь этот народ, что он зол»,— и увидел Моисей, что этот народ необузданный»<sup>4</sup>. Тем не менее, Бог предает нам «на съедение и истребление» все народы земные, ибо Он верен Своему слову, Своей клятве. И вот, вспомни, что «в семидесяти душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь Бог твой соделал тебя многочисленным, как звезды небесные»<sup>5</sup>, ибо Он верен Своему слову, клятве Своей. И знайте, потомки Израиля, что «всякое место, на которое ступить нога ваша, будет ваше. Никто не устоит против вас, ибо Господь Бог ваш наведет страх пред вами и трепет пред вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам»<sup>6</sup>, потому что Он верен Своему слову, Своей клятве, Своему контракту, заключенному с вами в лице нашего Израиля в Вефиле.— «Господь Бог твой благословит тебя, как Он говорил тебе», изрек нам Моисей, наш учитель: — «и ты будешь давать займы многим народам, а сам не будешь брать займы, а господствовать будешь над народами, а они над тобой не будут господствовать»<sup>7</sup>.— «А в городах этих народов, которые Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но истреби их»<sup>8</sup>.— «Не желай им мира и благополучия во все дни твои, во веки»<sup>9</sup>.— «Дочерей своих не выдавайте за сыновей их и дочерей их не берите за сыновей своих и не ищите мира им и блага им во веки, дабы вам укрепиться и питаться благами земли этой и предать ее в наследие сынам нашим во веки. Неужели же мы опять стали бы нарушать заповеди

---

<sup>1</sup> Второзаконие, гл. 7.

<sup>2</sup> То же, гл. 8.

<sup>3</sup> То же, гл. 9.

<sup>4</sup> Исход, гл. 32.

<sup>5</sup> Второзаконие, гл. 10.

<sup>6</sup> То же, гл. 11.

<sup>7</sup> То же, гл. 15.

<sup>8</sup> То же, гл. 20.

<sup>9</sup> То же, гл. 23.

Твои и вступать в родство с этими мерзкими народами?» восклицает пророк наш Эздра. «Не прогневался ли бы Ты на нас, говорит он, даже до истребления нас, так что не было бы ни уцелевших, ни избавления!»<sup>1</sup>

С началом последней тирады, как только рабби Ионафан заговорил о воспрещении дочерям и сынам Израиля брачиться с иноверными, Айзик Шацкер не без злорадства чуть заметно улыбнулся про себя, как бы в ответ какой-то своей собственной затаенной мысли, и многозначительным пристальным взглядом уставился вдруг на Тамару и ни на миг не свел с нее глаз во все продолжение этой тирады, словно пытал ее, так что девушка не могла наконец не почувствовать на себя его взгляда.

С беспокойством раза два взметнув на Лйзика взглядом, она однако же постаралась и успела придать себе равнодушное выражение недоумевающего вопроса, между тем как рука ее нервно и досадливо мяла конец лежавшей на столе салфетки. Это машинальное движение невольно выдавало ее истинное настроение, которое не ускользнуло от Айзика: он тут же постарался дать ей заметить, что понимает ее внутреннее состояние и потому, в ответ на вопросительный взгляд девушки, с легкой язвительной улыбкой перевел глаза на ее пальцы, мявшие салфетку.

Тамара сняла со стола руку и, как бы с намерением показать Айзику, что не желает удостаивать его дальнейшим вниманием, холодно отвернулась от него в сторону проповедника.

Этот обоюдный разговор глазами, благодаря тому, что внимание остальных сослуживцев всецело было отдано ламдану, остался никем незамеченным.

— Итак,— продолжал между тем рабби Ионафан,— мы, евреи, как видно из вышесделанного свода священных посуков, должны твердо держаться нашей религиозной и общественной обособленности и строго поддерживать чистоту нашей расы, отнюдь не мешая ее кровью рас нечистых, «мерзких», по выражению пророка,— и вот тогда «Бог поставит тебя превыше, всех народов, которые Он сотворил в чести, славе и великолепии»<sup>2</sup>. «И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя. И будешь давать займы многим народам, а сам не будешь брать займы (заметьте себе, обетование это дается нам вторично,— стало быть, сколь оно важно!); соделает тебя Господь главой, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу»<sup>3</sup>.— «И соберет Господь разбросанных израильтян — говорит пророк Исаяя — и соединит рассеянных иудеев от четырех концов земли... Полетят они к пределам филистимлян, к морю, и ограбят всех сынов Востока, наложат руку свою на Эдома и Моава, и сыны Аммона будут покорны им»<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Эздра, гл. 9.

<sup>2</sup> Второзаконие, гл. 26.

<sup>3</sup> То же. гл. 28.

<sup>4</sup> Исаяя, гл. 11.

— «И уцелевший остаток дома Иудина опять пустит корни внизу и принесет плод наверху»<sup>1</sup>.— «Вы будете питаться богатствами народов и вместо них прославитесь»<sup>2</sup>.— «Мясо сильных будете пожирать и станете пить кровь князей земных, как бы кровь баранов, ягнят, козлов и тельцов: И досыта нажретесь жиру и допьяна напьетесь кровью жертвы Моей, которую Я заколю для вас»<sup>3</sup>.— «И будет остаток Иакова среди народов, среди многочисленных племен, как лев среди стада в лесу, как львичищ среди стада овец, который лишь выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него. Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены»<sup>4</sup>.— «Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и страшен его гнев»<sup>5</sup>.— «Пред лицом Его идет язва, по стопам Его убийственный зной»<sup>6</sup>.— Устами пророка Аггея возведено: «Слово Мое, которое Я заключил с вами по исходе вашем из Египта, и дух Мой пребывают среди вас: не бойтесь... Я поколеблю небо и землю, и ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств и народов, ниспровергну колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечем другого»<sup>7</sup>.— Устами пророка Захарии возведено: «И укреплю дом Иудин и спасу дом Иосифов, и опять водворю их. И они будут как сильный Ефрем. Они умножатся, как умножились некогда. И рассею их между народами, и в отдаленных странах они возвестят обо мне. Их соделаю сильными»<sup>8</sup>.— Устами пророка Малахии возведено: «И вы выступите и возрастете, как тельцы упитанные, и будете попирает нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который Я устрою. Помните же закон Моисея, равно как и правила, и уставы»<sup>9</sup>.— «Всякое место, на которое вступит стопа ноги вашей, Я отдаю вам, как Я сказал Моисею»<sup>10</sup>.

— Итак, раббосай! — вдохновенно воздел свои руки проповедник,— всемирное господство — вот задача и конечная цель еврейства. Она, как видите, совсем земная и притом ясно указана нам в Торе и пророках. К ней мы должны стремиться!.. И в самом деле, подумайте только: что стали бы делать мы, если б, узко поняв свою задачу, стремились к одной лишь Палестине и восстановлению царства еврейского в его скромных пределах? Нас на земле всего только шесть миллионов.

---

<sup>1</sup> То же, гл. 37.

<sup>2</sup> То же, гл. 61.

<sup>3</sup> Иезекииль, гл. 39.

<sup>4</sup> Михей, гл. 5.

<sup>5</sup> Наум, гл. 1.

<sup>6</sup> Аввакум, гл. 3.

<sup>7</sup> Аггей, гл. 2.

<sup>8</sup> Захария, гл. 10.

<sup>9</sup> Малахия, гл. 3.

<sup>10</sup> Иисус, сын Навина, гл. 1.

Представьте себе, что все эти шесть миллионов, по природе своей малоспособные к земледельческому труду, вдруг очутились бы на берегах Иордана, на этой узкой, бесплодной, сожженной солнцем полоске земли,— что они стали бы там делать и что такое, какую политическую силу они изображали бы собою? Нечто вроде жалкой, ничтожной Румынии, с той лишь разницей, что Румыния хлебородна, а Палестина бесплодна. Да они там с голоду подошли бы! Они пропали бы, задохлись бы в своей безвыходности! Они друг друга перегрызли бы в одной лишь междоусобной борьбе за существование!.. Нет, это была бы смерть еврейской идеи, смерть еврейства, ибо ограниченное пределами маленькой Палестины, оно явилось бы сущим ничтожеством в среде могущественных держав и народов. Потому-то и сказано «расселю их между народами», чтобы мы были среди них действительной силой. Сеть еврейства должна опутать собой все обитаемые страны. Еврей в Канаде, еврей в Самарканде, еврей в Новой Зеландии и еврей в Эйшишках должен быть повсюду один и тот же: братственный как единоутробный, цепкий как репейник, липкий как камедь между собой, взаимно друг друга поддерживающий, защищающий, охраняющий, покрывающий взаимные грехи и прорехи, и стремящийся к одной и той же заветной цели, которая в наши дни, по благодати Господа, уже начинает осуществляться. В том порукой нам великие имена князя Монтефиоре, Ротшильдов, Кремье и д'Израели, создавших и скрепивших всемирный союз еврейского братства, который, конечно, уже и теперь несравненно крепче и могущественнее даже самого могучего союза у гойев-католиков — союза иезуитского. «Хабура Кол Израсль Хаберим», «Союз всех еврейских союзов», кагал кагалов,— словом, «Alliance Israelite universelle» есть наш первый, вполне прочный шаг на пути к осуществлению свыше дарованной нам цели. Каждый еврей обязан быть членом этого союза и ежегодно вносить на пользу общего дела свою посильную лепту, сколь бы мала и скудна она ни была. Оно так и есть — и великий всемирный союз наш, основанный еще так недавно, растет и крепнет с каждым годом. Это, однако, не исключает для нас возможности вступать членами и во всевозможные иные, не еврейские союзы, явные и тайные, консервативные и революционные, лишь бы мы имели при этом в виду единственную главнейшую нашу цель: незаметно подчинять и направлять действия подобных союзов к нашим еврейским пользам и выгодам. Прав!.. Прав!.. Уравнения и расширения наших гражданских прав и свободы должны мы требовать и добиваться от правительств и народов, во имя справедливости, цивилизации, прогресса и гуманности; но пользоваться этими правами обязаны не иначе, как стараясь всяческими путями сохранять свою индивидуальность, свою национальную обособленность. Для этого, в случае надобности, мы можем поступиться, пожалуй, нашими внешними особенностями, даже (ужасно вымолвить!) принять по наружности другую религию (тьфу!). И это даже нам разрешается, в крайнем случае, но мы должны при этом свято сохранить тайник своей внутренней сущности, ни на миг не переставая

в душе быть евреем, быть верным рабом еврейства. Для этого паче всего старайтесь и заботьтесь о преумножении своих богатств, своего материального благосостояния: овладевайте всегда, везде и повсюду биржей и торговлей; арендуйте земли, угодья, дома, заводы и фабрики, арендуйте и, коли можно и насколько можно, высасывайте из них все, все, не жалея,— все равно, ведь не ваше пока! Рядом с этим овладевайте печатью, журналистикой, овладевайте законодательством и для этого стремитесь, в качестве представителей и инако проникать в парламенты, в палаты; обходите или подкупайте закон и администрацию; где можно, проползайте сами в нее и становитесь у кормила власти; где нельзя — разлагайте ее тайно подкупом, инсинуацией, смутой и мало ли чем еще!.. Вместе с финансами всех стран и народов, забирайте в свои руки всякие акцизы, откупа, монополии, железные дороги, пароходства, акционерные компании, подряды и поставки на правительство на флот, на армию и даже самую армию — и в нее проникайте! Забирайте себе суд, адвокатуру, науку и искусство во всех его видах и формах — словом сказать, действуйте во всех направлениях и всяческими путями если не к убеждению в свою пользу, то к разложению всего того, что лежит бревном к осуществлению нашей конечной цели, и знайте, что если блаженной памяти еврей Лассаль подымает в Германии социальный рабочий вопрос, если банкирский дом Блейхредер и К<sup>о</sup> играет на повышение или понижение в Берлине, если Беньямин д'Израели произносит патриотический спич на банкете у лорда-мера, если какой-нибудь медицинский студент Гирш Шмулевич фигурирует в политическом процессе с русскими нигилистами, а Лейба Соловейчик попадает на контрабанде или с фальшивыми кредитками, если Гейнрих Гейне поет свои страстно капризные, больные и едкие песни, а рабби Оффенбах ставит на подмостки всего мира свою бесшабашно-веселую, невольню подкупающую «Прекрасную Елену» или «Герцогиню Герольштейнскую» — знайте, что все они, в сущности, заняты одним и тем же делом: все они, сознательно или бессознательно, служат одной и той же великой цели и задаче еврейства; все они, так или иначе, каждый на своем поприще, действуют разлагающим образом на этот ненавистный христианский мир, лежащий главнейшим бревном на пути к нашей цели. Борьба с ним возможна, а потому обязательна. Замечается даже, что с течением времени она становится все легче и легче. «не железом, а золотом, не мечом, а карманом» — вот, что должно быть нашим общим, разумным и вечным девизом. Аминь.

— Аминь! Аминь! Да будет! — восторженно воскликнул юный Айзик и, схватив руку проповедника, запечатлел на ней звонкий поцелуй.

— Ор ла иегудим! Свет всего иудейства!<sup>1</sup> Свет и истина в словах ваших, рабби! — качая головой и посылая жестами

---

<sup>1</sup> Ор ла иегудим — свет всего иудейства. Это своего рода титул и любезный комплимент, обращаемый к ученому человеку.

благословения проповеднику, со слезами на глазах, восклицала растроганная Сарра.

— Так предопределено небом! — разводи руками и с фаталистической покорностью склоняй голову, отозвался ламдан.

— Благословен Ты Господи, Боже мой, что не сотворил меня иноверцем! — в виде обычной молитвенной формулы произнес со вздохом наслаждения сам рабби Соломон Бендавид и отплюнулся, как подобает по уставу.

— Всякого блага желаю вам, рабби Ионафан, за эту великолепную проповедь,— смиренно лепетала родственница- приживалка.

Одна только Тамара ни словом, ни взглядом, ни иным каким-либо движением не выразила впечатлений, произведенных на нее проповедью ламдана. На ее лице слегка проскальзывало порой одно лишь нетерпеливое желание, одна лишь мысль: «скоро ли же все это кончится!»

А юный Айзик Шацкер, несмотря на все свои восторги, не переставал таки подмечать за ней, исподтишка бросая на нее время от времени косвенные взгляды, и наконец не выдержал.

— Фрейлен Тамаре! — тихо, под шумок общего разговора обратился он к девушке.— Неужели вы не разделяете нашего общего восторга и удивления?!

— Почему вы так думаете, бохер? — отозвалась она, смерив его холодно удивленным взглядом.

— Потому... потому, что хотелось бы видеть проявление этих чувств.

— Почему вы знаете,— усмехнулась Тамара.— Быть может мои впечатления так сильны, что для них не находится внешних изъявлений. Довольны ли вы, сударь?

Айзик не нашелся что ей ответить и только постарался многозначительно улыбнуться: понимаем, дескать, все понимаем!

Тамара в ответ на это, не стесняясь, бросила ему в лицо презрительную усмешку и отвернулась.

Оскорбленный Айзик только губы закусил себе от злости и досады на это равнодушное и даже холодно презрительное отношение к нему девушки, которая еще так недавно была подругой его детства. Он чуть не плакал, чувствуя, что в одно и то же время готов наделать ей и множество всяческих оскорблений, даже прибить ее, как бывало иногда в детстве, но точно также готов и рыдая упасть пред ней на колени с мольбой простить его, не отвергать его, изменить с ним свое нынешнее обращение, быть с ним как прежде, по-старому, и позволить ему целовать без счета эти ручки и глазки, как бывало иногда в годы их счастливого детства, когда они, среди густых кустов большого тенистого сада, играли в жениха и невесту. Увы! Неужели это золотое время для него безвозвратно миновало?

Трапеза была окончена, последние стаканы выпиты за здоровье ламдана и хозяина. Батрачка давно уже выжидала за полупритворенной дверью удобную минуту, чтобы войти с маим ахройным, т.е. с так называемой «последней водой»



в серебряном кувшине и с медным тазом, над которым каждый из состольннков, по обязательному в Израиле обычаю, обмыл себе концы пальцев и мокрыми пальцами вытер себе рот. Тогда торжественно была сказана молитва благодарения и благословения Бога за виноград и плод его, за древо и плод его, и пищу и питание, за произрастения полей и за «прелестную, добрую, просторную землю», которую Бог отдал в удел Израилю, и заключилось все это всеобщим воплем ко Господу, да сжалится Он наконец над народом своим, над Иерусалимом и над Сионом, над жертвенником и храмом.

Гости и все домашние, поблагодарив хозяина с хозяйкой, простились с ними и разошлись восвояси. Армер ламдан побрел в ахсание<sup>1</sup>, где он остановился по приезде в город, нищий — в гакдеш<sup>2</sup>, бохер-эшеботник — на свою общественную ученическую квартиру, а Айзик Шацкер, ради прохлады, отправился спать на сеновал, тут же, во дворе Бендавида. Удалились наконец и хозяева в спальню, ушла и Тамара в свою девическую комнатку, где заблаговременно, еще до наступления шабаша, была у нее на столе зажжена ночная лампа.

### III. ДА ИЛИ НЕТ

Первый час ночи.

Тамара не раздевается. Она сидит над толстой тетрадкой в корешковом переплете и рассеянно перелистывает ее, останавливаясь иногда над кое-какими строками. Это ее заветная тетрадка, которую тщательно и ревниво хранит она от всякого домашнего глаза; это ее интимные, «секретные» записки, — Дневник, начатый ею, по примеру подруг-гимназисток, еще в последнем классе Украинской женской гимназии. Чтобы никто из домашних не мог заглянуть в него нескромным глазом и познакомиться с содержанием рукописи, Тамара вела свой Дневник на русском языке, которому, за время семилетнего пребывания своего в гимназии, выучилась, можно сказать, в совершенстве, так что местный учитель русского языка и словесности нередко ставил ее, еврейку, даже в пример иным ученицам чисто русского происхождения. Писать по-русски было спокойнее: как-нибудь случайно попавшись эта тетрадка на глаза бабушке, не понимающей по-русски, всегда можно с успехом «отвертеться», что это, мол, ученические записки по какому-нибудь научному предмету.

Вообще же, для избежания контроля бабушки, самое лучшее — держать Дневник между своими старыми ученическими тетрадками и вытаскивать его на свет Божий лишь ночью, когда уже вполне безопасно можно и читать и писать.

---

<sup>1</sup> Ахсание – еврейский постоялый, или, как выражаются в Западном крае, «заездный» дом.

<sup>2</sup> Гакдеш - общественная богадельня.

Старухе никогда и в голову не придет следить за внучкой по ночам и самолично справляться, что такое делает она в своей комнате: раз улеглась старуха в постель, она уже не расстанется до утра с нежащими объятиями своих мягких и теплых пуховых бебехов.

Но на этот раз Тамара скорее по привычке, скорее машинально, чем сознательно взялась за свою заветную тетрадку. Мысли ее были далеко от всяких «записок» и дневных впечатлений и еще дальше от потребности записывать их сегодня. Именно сегодня-то она и не могла бы записать, ровно ничего, потому что не чувствовала себя в состоянии на такое дело. Ей просто надо было как-нибудь и над чем-нибудь убить ненавистное время, которое, кажется, будто нарочно длится теперь так бесконечно долго. Весь вечер она притворялась до последней возможности, желая казаться как можно спокойнее, чтобы, Боже сохрани! — никому не подать ни малейших подозрений; весь вечер томилась она внутренней тоской ожидания, которого тайная причина понятна и сердечно близка была только ей одной, томилась нетерпением и досадой на этот скучный, бесконечный вечерний стол с его песнями и поучениями, и хотя до условного, ей одной известного часа было еще далеко, тем не менее Тамара изнывала внутренне. Ей казалось, что вся эта пятничная обычная процедура, со всеми ее шабашевыми обрядами и тонкостями никогда, никогда не кончится, что проповедь ламдана затянется в бесконечность, и она, бедная Тамара, поневоле просрочит, пропустит свое условное время.

А тут еще этот противный Айзик.

Как странно, как дерзко вел себя в отношении ее сегодня этот ничтожный, но заносчивый мальчишка, этот бедный, из милости призренный, дальний родственник ее деда! И неужели же смеет он, жалкий еврейчик, мечтать, чтобы она, миллионная наследница своего отца (не говоря уже о громадном и ей одной достающемся состоянии деда), чтобы она, девушка, получившая светское образование в России и докончившая его за границей, чтобы она, Тамара Бендавид, кровная аристократка, ведущая свой род ни более, ни менее как от самого царя Давида, вдруг сделалась женой какого-то Айзика Шацкера!.. Положим, почему бы и нет, если бы этот Айзик, некогда друг и товарищ ее детства, серьезно ей нравился; но в том-то и дело, что Айзик никогда, решительно никогда ни на одну минуту не нравился ей сердечным образом, хотя они и играли когда-то вдвоем в жениха и невесту, но... это было так давно, это были одни лишь детские игры, детские глупости. И после этих ребяческих глупостей Тамаре довелось увидеть так много «света», ближайшим образом познакомиться с этим «светом» за границей, войти в него не только равноправным, но уважаемым «имущественным» членом, довелось еще в Европе вкусить и познать все сладости роли «миллионной невесты», что конечно не какой-нибудь жалкий, безвестный гимназист Айзик Шацкер осмелился бы мечтать о праве на ее сердце и руку. Какая смешная, какая жалкая идея — быть женой Айзика Шацкера! Нет, Тамара любит не Айзека, ее идеал не тот, совсем не тот!

Не в здешнем, не в жалком еврейском мире какого-то жидовского города Украинска кроется этот заветный ее идеал, хотя временно и проживает он в этом самом Украинске... Этот человек совсем иного склада, иного мира, иного общества, и вот его то гордо называть пред всеми своим мужем — о, какое это было бы блаженство, какая завидная доля... Подобные идеалы она иногда встречала только на Западе, в Европе, и вдруг точно такой же нежданно-негаданно является здесь, в Украинске! Кто бы мог ожидать этого, но... так случилось. К нему, к этому желанному человеку летят теперь все помыслы, все чувства Тамары, и летят затаенно от всех, потому что ни дедушка, ни бабушка, как добрые евреи, никогда не одобрили бы, никогда не снабдили бы своим благословением подобный брак,— разве уж что-нибудь особенное, выходящее из обычного ряда их установившейся еврейско-общественной жизни и крайне льстящее их самолюбию подвигло бы их на согласие; но ничего такого и быть не может. Тем не менее, вопреки всем традициям и взглядам, и чувствам своих ближайших родственников, Тамара любит, Тамара увлечена; без их согласия и разрешения. Что изо всего этого выйдет — она не знает, она не думает, она почти вовсе не задается этой мыслью: она увлечена подхватившим ее потоком первого горячего чувства: в девятнадцать лет ей слепо кажется и слепо верится, будто все это счастливо устроится как-нибудь так, само собой, к общему благу, как ее самой, так и бабушки, и дедушки, и всех, всех на свете, и что в конце концов все будут довольны и счастливы,— счастливы потому, что прежде всего и прежде всех будет счастлива она, сама Тамара. Но этот Айзик! Но эти его выходки за нынешним ужином, выходки, понятные только ей одной!.. Надо его остерегаться: он, кажется, догадывается, кажется, подозревает что-то... Но не все-ли равно! Ведь Айзик в нее влюблен, ведь ему в сущности надо только немножко ласки, а для самой Тамары — немножко уменья повести себя с Айзиком, и тогда он будет слеп! Не надо только разбивать его радужные надежды. Но не в этом главное дело. А вот,— скоро ли заснет дедушка?.. Бабушка, обыкновенно, засыпает скоро и крепко, бабушка не помеха, но он, этот несносный, добрый дедушка,— он имеет привычку долго и громко молиться на сон грядущий и иногда страдает бессонницей. Впрочем, сегодня, благодаря проповеди ламдана, кажется, и дедушка хватил лишний стаканчик,— значит, надо думать, бессонница не угрожает ему этой ночью.

Только удалясь в свою комнату, Тамара перестала притворяться. Только здесь, наедине сама с собой, могла она наконец дать волю своим действительным чувствам, не опасаясь ни взглядов, ни расспросов заботливой бабушки. Она была крайне взволнована; ее била лихорадка, сердце колотилось и замирало в груди ноющим беспокойным ощущением, в котором боролись между собой и страх, и ожидание. Лицо ее было ледно, руки дрожали. Нетерпеливо взглядывала она на часы, всматривалась сквозь раскрытое настежь окно в глубину тихого, темного сада, то чутко прислушивалась ко внешним звукам

ночи и к набожному бормотанию дедушки, внятно доносившемуся до нее в тишине сквозь стену смежной комнаты.

Дедушка творил свои последние молитвы на сон грядущий.

— «Не спит, не дремлет страж Израиля!» - возглашал он трижды.— «На Твое спасение уповаю, Боже! Уповаю, Боже, на спасение Твое! Боже, на спасение Твое уповаю!»

— А, дедушка уже «лишуосхо» произносит! — мысленно сказала себе Тамара, с некоторым напряжением уха прислушавшись к застенному бормотанию.— Теперь, значит, остается только «Бешейм», «Ригзу» и «— Адон-олом». Слава Богу, скоро конец!

— «Во имя предвечного Бога, Бога Израилева!» — взывал между тем Соломон Бендавид! — «Одееную меня Михаэль, ошуюю Габриэль, предо мной Уриэль, в тылу у меня Рафаэль, а надо мной, над изголовьем моим Дух Божий, все величие Господне!»

Но прошло еще минут семь, прежде чем дедушка произнес заключительные слова молитвы «Адон-олом»: «Господь со мной, никого не боюсь».

В это самое время в саду, под окном Тамары, послышался вдруг шорох ветвей и хрустнула сухая ветка, словно кто-то, пробираясь сквозь кусты, нечаянно наступил на нее ногой.

Тамара вздрогнула и мгновенно побледнела. Как кошка, беззвучно легкими шагами прокравшись на цыпочках к окну и осторожно подняв указательный пальчик, она уставилась тревожным взглядом в темноту сада, видимо стараясь кого-то там разглядеть и предостеречь, что еще не время.

И действительно, под самым окном из ветвей цветущей сирени выделился вдруг чей-то мужской облик, едва озаренный слабым отблеском света, падавшего сюда сквозь окно из комнаты Тамары.

Погрозив и указав ему пальцем в направлении спальни своих стариков, что тише, мол, там еще не спят! — девушка облокотилась на подоконник и страстным влюбленным взором стала любоваться темным обликом мужчины, притаившегося под самым ее окошком, между кустом и стеной.

Тихо отошла Тамара от окна ко внутренней стене, отделявшей спальню стариков от ее комнаты и напряженно стала у нее прислушиваться. В соседней горнице все тихо. Дедушка кончил свои молитвы и, кажется, засыпает... Бабушка,— та уже давно сладко всхрапывает с легким носовым высвистом (Тамара знает этот бабушкин высвист, и в нем она не ошибется), но дедушкиного сопенья не слышать еще. «Господи! что же это будет, если его вдруг и сегодня бессонница одолеет?» Но нет, дедушка не ворочается с боку на бок, не кряхтит, не вздыхает, не кашляет — верный признак того, что засыпает... Только скоро ли?.. Сколь томительно долгими кажутся Тамаре эти, в сущности, немногие минуты!.. Но вот послышалось наконец и дедушкино сопенье, составившее вместе с бабушкиным высвистом довольно своеобразный и даже согласный дуэт, каковым в сущности была и вся жизнь этой образцовой во Израиле пары. Итак, старики успокоились, спят... Они спят и не подозревают, и во сне им даже не снится того, что в эту самую минуту проделывает их любимая внучка,

единственная пока прямая представительница во Израиле нисходящего поколения знаменитого рода Бендавидов.

Значительно ослабив огонь своей лампы, Тамара, словно преступник, задумавший бежать из своей тюрьмы, тихо, осторожно взобралась на подоконник, перенесла свои маленькие, изящно выточенные и еще изящнее обутые ножки за окно, спустила их вниз и через мгновение упала на сильные руки ожидавшего ее мужчины. Тот принял девушку в свои объятия и бережно опустил ее на землю.

Осторожно, чтобы не наделать лишнего шума, продрались они сквозь кусты на дорожку и беззвучными шагами торопливо пошли на противоположный конец громадного запущенного сада, в самую его глубину, чтобы быть подальше от дома. Там, в густых кустах орешника и жимолости, под нависшими ветвями старорослых ясеней и грабов, среди роскошного хмеля, сплошь опутавшего решетку дранчатых стен старой беседки, можно сидеть и говорить спокойнее и безопаснее, чем в каком-либо ином месте этого сада; хотя, впрочем, какая же опасность могла бы встретиться для них и во всем-том саду в такое глухое время ночи!..

Но Тамару манило именно сюда, в самое глухое, укромное место, потому что именно в этой одичало-укрытой беседке царствует по ночам какая-то особенная фантастичность: в ней все так таинственно темно и тихо, что от этой тишины и тьмы даже на душу веет каким-то сладостно жутким, трепетным ощущением. Тамара любила такую обстановку, потому что она как нельзя более отвечала ее романтически-влюбленному настроению, ее ищущему, пылливому духу, всем поэтическим струнам ее горячего сердца.

— Тамара! милая! — убедительно страстным шепотом говорил ее спутник, горячо сжимая ее руки.— Надо же наконец решаться! Так нельзя!.. Я больше так не могу... Я люблю тебя выше всего на свете, как никогда и никого еще не любил, но... повторяю, я не могу выносить долее подобного положения... Я люблю тебя честно и потому хочу открыто, пред целым миром назвать тебя своей женой. Я хочу на тебе жениться... да, да! Я наконец высказываю это прямо и жду от тебя такого же прямого ответа.

Тамара безнадежно опустила на грудь голову.

— Ведь это же невозможно! — тоскливо прошептала она.— Вы христианин, я еврейка... Ни ваши, ни наши законы никогда этого не допустят... Неужели же...

— Что неужели... стремительно перебил ее мужчина.— Неужели же принимать христианство, хочешь сказать ты? Да, Тамара, принимать, принимать!.. Я уже неоднократно говорил тебе это и теперь опять повторяю, прошу, молю тебя об этом!.. Я знаю, это величайшая жертва; но ради нашей любви, которая для нас ведь выше всяких религий на свете, разве нельзя принести такую жертву? Подумай!.. Я сам охотно принял бы ради тебя иудейство, мне это решительно все равно,— быть ли христианином, быть ли иудеем; но ведь ты же знаешь, я не могу принять его: я с этим потерял бы все:

имя, права, положение в свете; наконец, просто попал бы на скамью подсудимых, как уголовный преступник. Ты же ничего не теряешь. Напротив, закон наш в этом случае еще более берет тебя под свое покровительство, все гражданские права остаются за тобой, никто не смеет посягнуть на них.

Тамара отрицательно покачала головой.

— Я теряю не права, но больше, чем права,— грустно сказала она.— Разве еврейство простит мне отступничество? Разве мои родные помирятся с моей изменой их вере?

Душа и сердце Тамары уже давно склонились в этом отношении на сторону ее друга, которого доводы и убеждения еще и прежде отвечали этому сердцу ближе и симпатичнее, чем доводы ее собственного рассудка, почерпнутые из повседневной практической морали еврейских отношений и быта и построенные на сознании грозного гнета, которым еврейский кагал рабски оковывает жизнь и волю и мысль каждого еврея. Так и теперь, Тамара высказывала своему другу все эти доводы, давно ею продуманные и уже далеко не казавшиеся ей в душе неизбежно состоятельными, но высказывала лишь для того, чтобы снова услышать против них из уст любимого человека еще и еще новые, более горячие, более веские опровержения и убеждения, которые прочнее утвердили бы ее саму в тех рискованных, но заманчивых намерениях, к каким и без того уже втайне стремилось ее влюбленное сердце. Она искала и жаждала таких убеждений, которые укрепили бы ее все еще колеблющуюся решимость.

— Родные...— продолжала Тамара.— Да они проклянут меня!.. А если и нет, то ведь я убью их этим, я в гроб уложу несчастного старика и старуху...

— О, какое заблуждение! — принялся собеседник утешать и убеждать Тамару.— «Проклянут», «убьют» и... еще что такое?.. Полноте!.. Вы развитая девушка и можете говорить серьезно о таком вздоре!.. Еще если бы с этим проклятием связывались какие-нибудь материальные потери и лишение, ну, тогда я понимаю. Но у вас есть свое собственное, независимое от дедушек и бабушек состояние, стало быть что же? проклянут,— ну, и на здоровье!

— Зачем вы мерите это дело на один лишь аршин материальных средств,— с дружеской укоризной и не без горечи заметила Тамара.— Дело не в деньгах, не в наследстве и даже не в слове «проклинаяю тебя...» Как вы не понимаете этого!

— Не понимаю, виноват! — пробормотал несколько опешенный собеседник; — и если дело не в этом, то в чем же?

— А в том, что каково будет их сердцу перенести этот удар; какое страшное горе нанесу я им, какой позор положу на их седые головы,— вот в чем!

На минуту между ними водворилось раздумчивое молчание, пока тот, собравшись с мыслями, не заговорил первый.

— Прежде всего, друг мой,— начал он доказательным и отчасти лекторским тоном,— прежде всего надо жить для себя, для собственного личного счастья, а не для бессмысленного подчинения себя каким-то фанатическим фанабериям какого-то кагала и не для людей, и без того уже глядящих в могилу.

Оставим мертвым хоронить своих мертвых! Ваши родные... Но ведь тут даже не они собственно будут вопить против вас, а только их предрассудки,— так неужели же так-таки и пожертвовать своим собственным счастьем ради чьих-то чужих предрассудков?!..

Тамара сидела глубоко понурясь и не отвечала ни слова.

— Что же вы молчите? — нежно и тихо взял собеседник ее руку.— О чем вы думаете?.. Тамара! Ведь вы же девушка умная, развитая; вы должны трезвыми глазами смотреть на вещи, искать и требовать от жизни трезвой правды и одной лишь правды, а ваше чувство, ваша любовь ко мне, разве оно не правда? Ведь оно-то и есть самая живая, настоящая правда! Не бегите же от нее, не противоречьте сами себе, будьте последовательны!..

— Вот с этой-то теорией эгоистического счастья и не могу я помириться,— возразила наконец девушка.— Я люблю моих стариков,— что ж с этим делать!.. Не думайте, впрочем,— продолжала она,— чтоб я уж так особенно была предана нашей вере; нет, эта вера, если хотите знать откровенно, во многом даже тяготит меня, и именно этим сухим своим формализмом. Я же ведь училась кое-чему, я читала кое-что, я думала над многими вещами, сравнивала их, и из всего этого я знаю теперь, что христианство в идее своей шире, любовнее, человечнее, ну, словом... да, оно выше еврейства; я сознаю это, но... если б я была одна,— из глубины души вздохнула Тамара,— да, совсем одна на свете, круглой сиротой; если б у меня не существовало ни родных, ни отношений к моим единоверцам, так, чтобы мое отступничество никому, никому не причинило ни малейшей боли, горя, стыда,— о!.. тогда бы совсем другое дело!.. тогда я ни минуты не задумалась бы над этим шагом. Но теперь...

— Но теперь, Тамара,— перебил ее собеседник,— теперь надо взвесить обе эти вещи и бесповоротно выбрать одну из них. Кто вам дороже: я ли и наша любовь, или ваши старики? Если старики, тогда нам не о чем больше говорить и незачем мучить себя! Тогда лучше не видеться больше; лучше теперь же, раз навсегда оборвать, кончить, сказать «прости» друг другу и расстаться навеки, чем бесцельно продолжать эту бесконечную муку!.. Ведь пойми ты, что я люблю тебя не только нравственно, не только душу твою, но и тело... Да, тело, это дивное тело! — страстным шепотом продолжал он, притягивая девушку в свои объятия.— Я хочу обладать тобой вечно, ненасытно... Но — я честный человек, Тамара, это прежде всего,— и потому я буду обладать тобой не иначе, как если ты сделаешься моей законной женой. Неужели это так преступно?!

— Но старики... старики мои! — шепотом простонала Тамара.

— О, Боже мой! Опять эти старики! — досадливо пожал он плечами.— Ну и старики! Ну и что ж из того?.. Поплачут и утешатся... Ну, наконец, положим, лишит тебя дед наследства (извини, что я опять поневоле возвращаюсь к той же теме!), пускай так; что ж из того? У тебя, слава Богу, и без дедовского

свое есть, от отца с матерью, законное, которого никто не вправе отнять у тебя.

— Вы полагаете?— спросила Тамара. —Вы значит не знаете, что такое еврейский кагал!.. Кагал может лишить меня всего, всего до последней копейки, до последней сорочки моей: у него на это есть тысячи своих путей и способов, и ваши же русские власти сами первые бессознательно помогут ему в этом.

— В наше-то время! — с глубокой уверенностью и совсем как на пустые слова усмехнулся собеседник. Мой ангел, что это вы говорите!.. Да вам стоит только найти какого-нибудь Плеваку, а то и самого Спасовича, так они нам не только все ваши кагалы, а и все наши российские законы одним языком своим вокруг десяти пальцев обернут и вывернут!.. Полноте, пожалуйста! Слыханная ли вещь, чтобы мог кто лишить законную наследницу ее бесспорного имущества! Оно и теперь уже ваше. Дедушкина опека не помеха. Вы по закону имеете право требовать себе другого опекуна или попечителя, по собственному вашему выбору. Да наконец, не в этом дело,— как бы спохватясь, нетерпеливо перебил он самого себя.— Я не понимаю даже, с какой стати заводите нам подобный разговор об имуществе! Разве я ищу ваших денег?

— Разговор не разговор, а просто к слову пришлось,— возразила Тамара.— И наконец, это вовсе не маловажно: я не желала бы всей своей тяжестью лечь на плечи мужа.

— Почему же?

— Да потому, во-первых, что это нравственно принижало бы, подчиняло бы меня чужой воле, делало бы мое положение зависимым и неравноправным,— отрапортовала девушка словно заученный по книжке урок.

— А во-вторых?

— Во-вторых?., и во-вторых то же самое.

— А вы любите независимость? — с усмешкой спросил ее собеседник.

— Разумеется!

— Но ведь в еврейской семье и замужем за евреем вы никогда иметь ее не будете и не можете иметь, при своих богатствах.

— О, не говорите мне о евреях!— перебила его Тамара.— Никогда и никакой еврей не будет моим мужем, никогда!.. Мне душно в этом еврействе, я задыхаюсь в нем!.. Я хочу света, жизни, простора!.. А вы мне вдруг о еврейском муже!.. Да наконец, уж если так, то Бог с ним, с этим моим состоянием: я сумею и без него обойтись! Я кое-что знаю, кое- что умею делать, я могу сама работать, чтобы не быть в тягость мужу. Деньги, разумеется, не составят для меня уж такого особенного, непреодолимого препятствия, но.. .опять-таки повторяю вам, старики мои, их любовь ко мне, вот что! С этим как быть-то?

— Надо пожертвовать ими.

— Легко сказать, пожертвовать!.. А совесть?

— А любовь? А счастье, спрошу я?.. Старики ваши уж и без того



в могилу смотрят. Днем раньше, днем позже, им все равно один конец...

— Да... так и подождемте до их конца, потерпим, не так ли?— стремительно сжала Тамара руки своего друга. Ей показалось, будто желанный, примиряющий, средний исход из ее нынешнего безвыходного положения наконец-то найден: стоит только подождать до смерти стариков и тогда все само собой развяжется и устроится.

Собеседник ее на это только с грустной усмешкой покачал головой.

— Вы, полагаете,— сказал он,— старики, прежде чем умереть, не постараются пристроить вас замуж?

— Очень может быть,— согласилась девушка.— Но я могу ведь и не пойти, я могу не захотеть этого.

— Гм!.. не захотеть!.. Как будто кто-нибудь станет еще справляться с вашим хотеньем!.. Сколько я знаю, у евреев это не принято: девушке помимо ее воли, а то и помимо ведома, находят жениха и просто, без разговора выдают ее замуж. Вам уже девятнадцать лет — еще год, другой девичества, и старикам вашим, по еврейскому же обычаю, станет зазорно, что вы все еще сидите в девках, и тогда они, без сомнения, постараются выдать вас за первого мало-мальского подходящего человека. Разве не правда? Отвечайте откровенно!

— Правда,— тихо вздохнула Тамара.

— Ну, вот то-то же! А они могут прожить еще и не год, не два, а двадцать лет, тогда что?.. Их-то век уже кончен, а пред вами ведь целая жизнь впереди... Целая жизнь!.. А вы так жаждете жизни и света,— вы только что сами сказали это. Ведь, подумайте, оставаться со стариками, чтобы ждать у моря погоды — это значит отказаться навеки и от жизни, и от простора; это значит убить, погрести свою душу и сердце и обречь себя на глупую жизнь, на растительное прозябание с каким-нибудь еврейским мужем, которого даже не вы сами себе выберете.

— О, да!.. Это правда!.. Грубая, жесткая правда!.. Я не хочу этого!— скорбно закрыла Тамара лицо руками.

— В таком случае надо решиться на мое предложение. Иного выхода нет.

— Да, но как решиться!..

— Очень просто. Я говорил уже вам, да вы и сами знаете, что в нашем городе есть очень почтенная женщина — мать игуменья Серафима. К ней, под ее крыло! Она нам поможет все это обделать и устроить как нельзя лучше!

— Я вас не понимаю,— вопросительно взглянула на него Тамара.

— Чего ж тут не понимать! Все это очень просто. Вот видите ли,— принялся разьяснять собеседник.— Надо вам сказать, что, по моим хорошим отношениям к здешней губернаторше, я у этой матери Серафимы в большом фаворе; ну, а Серафима — особа с весом, и не только здесь, но и в Петербурге, как бывшая фрейлина. Она ведь нарочно с той целью и посажена на окраине, чтобы «насаждать» и «укреплять» здесь православие. Стало быть и для матери Серафимы такая прозелитка,

как вы, как раз на руку. С ее стороны, полагаю, ни в каком случае отказа не будет! Я хоть завтра же съезжу к ней, переговорю откровенно и подготовлю заранее, так что когда вы явитесь к ней, то все уже будет готово к вашему приему и вас там встретят с распростертыми объятиями.

— ну и что же,— недоуменно спросила девушка.— Далее-то что?

— Далее? Монастырь даст вам надежный, спокойный и безопасный приют до крещения, а вслед за крещением, я хоть в тот же день обвенчаюсь с вами. Все это может совершиться очень скоро: ведь при ваших знаниях и способностях вам не надо много времени, чтобы ознакомиться с нашим катехизисом и выучить наизусть Символ веры. Все это может устроиться через неделю, а еще через неделю вы уже будете моей женой.

— Две недели!— ужаснулась Тамара.— Целые две недели!.. А что может произойти за эти две недели! Подумайте!..

— Что там произойдет или может произойти, об этом нечего думать,— нетерпеливо махнул рукой собеседник,— надо только решаться на то или другое. Да наконец даже и такого срока не надо: я хоть завтра добуду вам катехизис, и вы постарайтесь только в течение этих дней прочесть его, и вытвердив наизусть «Верую»,— тогда ваше крещение мы устроим в монастыре через день-два, не далее.

— Страшно... такой шаг!— закрыв глаза и отрицательно качая головой, с тоской произнесла девушка.

— Тамара! Вы опять за ту же песню!— с нетерпеливой досадой укорил ее собеседник, дернув и крепко сжав ее руку.— Этак мы никогда не кончим!.. Я наконец требую от вас решительного ответа. Да или нет? и если нет, то прощайте, нечего дольше мучиться!

Глубоко погруженная в раздумья, девушка молчала.

— Да или нет, Тамара, да или нет?— настойчиво повторял он, продолжая порывами стискивать ее руку.

Но ответом с ее стороны оставалось все то же неопределенное молчание, исполненное внутренней борьбы и скорби. Ее грудь высоко и медленно вздымалась под напором тяжелых затрудненных вздохов, как будто ей не хватало воздуха.

Мужчина еще около минуты выжидал молча.

— Ну, Тамара, прощайте,— с грустью и отчаянием в голосе проговорил он, наконец, в последний раз пожав и быстро выпустив ее руку.— Бог с вами!.. Не поминайте лихом и будьте счастливы!

И с этим последним словом он решительными шагами пошел вон из беседки.

Тамара стремительно кинулась за ним вдогонку и удержала его у входа.

— Да... да!— прошептала она,— останьтесь. Да!

И, припав к его плечу, девушка зарыдала горько, но тихо и сдержанно, как бы боясь нарушить звуком этих рыданий тишину ночи и тайну их свидания.

Он дал ей выплакаться и, бережно взяв за талию, молча довел до скамейки и снова усадил на нее, продолжая тихо и

нежно ласкать и гладить головку девушки, пока не уgomонились ее слезы.

— Я верю в твою любовь, Тамара,— заговорил он, наконец, когда она успокоилась и оправилась несколько.— Да, я верю в нее, но, Боже, я не знаю, что дал бы, чтоб окончательно убедиться, что это твое да не есть минутная вспышка, что вся нерешительность, все сомнения и колебания твои уже миновали вместе с этим да и более не повторятся. Вот чего, убеждения-то этого мне и не хватает... А вдруг ты опять раздумаешь... тогда что?

Тамара взяла его руку и глянула ему прямо в глаза.

— Мне трудно было решиться,— сказала она, к удивлению его, серьезно твердым и убежденным тоном.— Да, крайне трудно и тяжело. Но раз, что я решилась — это у меня уже бесповоротно. Никаким сомнениям нет более места. Можете твердо верить этому.

Он порывисто привлек ее к себе и радостно стал осыпать своими страстными поцелуями ее лоб, глаза и щеки. Но девушка высвободилась из его объятий и мягко, но решительно отстранила от себя рукой его лицо.

— Нет... нет... этого не надо... не надо,— прошептала она с мольбой и болью в голосе.

Он как бы опомнился и, стараясь овладеть самим собою, провел себе по лбу ладонью.

— Простите этот невольный порыв!— со вздохом сказал он, смущенно глядя в землю,— но вы видите, что он искренен. Он только доказывает как безумно люблю я вас, какое счастье подарили вы мне как воскресили меня, одним лишь своим словом, своим да, Тамара!.. Итак, это бесповоротно?

— Я уже сказала,— подтвердила девушка.

— В таком случае вот что: надо условиться,— предложил он,— в течение недели едва ли нам придется свидеться иначе как только в обществе, при посторонних; поэтому уговоримся теперь же. Я завтра же пойду к игуменьи и, конечно, под строжайшей тайной предупрежу ее о вашем желании, разумеется, не называя имени,— а она уже в течение этих дней успеет приготовить все к вашему приему. Уйти из дома,— продолжал он,— мне кажется, всего удобнее будет вам в шабаш, в пятницу, в такое время как вот теперь; по крайней мере, вы не рискуете встретиться на улице ни с одним евреем. Я явлюсь сюда, а моя карета будет ожидать нас в вашем глухом переулке, и я отвезу вас прямо к Серафиме. Согласны?

— Я свое уже сказала; теперь — ваше дело и ваша воля,— проговорила девушка, подымаясь со скамейки.

— Стало быть в пятницу ночью? Так? Решено?

— Когда хотите. Я исполню все, что вы скажете. Однако пора уже...

Простимся,— добавила она, протягивая ему руку, к которой тот прильнул горячим, долгим поцелуем, и они вышли из беседки.

Задний конец сада выходил на глухой, безлюдный переулок, где не было ничего, кроме покосившихся ветхих заборов да убогих плетней, окаймленных изобильными зарослями бурьяна, будягов, лопушника и крапивы. На этот переулок,

нестерпимо пыльный в ведро и до невылазности грязный в ненастье, выходили с обеих сторон только окраины садов да задворки и огороды каких-то убогих мещанских мазанок и домишек. Там и днем-то за редкость было повстречать человека, а по ночам даже и собаки не лаяли.

Тамара проводила своего спутника до калитки, проделанной в заборе и, простясь задвинула вслед за ним железную замычку, которая была сегодня пред шабашем осторожно отомкнута ее же предусмотрительною рукой.

Оставшись одна, девушка с минуту еще простояла в раздумье у забора, прислушиваясь к слабому шелесту удалявшихся шагов ее друга, и затем вышла из бурьяна на дорожку, направляясь к дому.

#### IV. ТЕПЕРЬ ИЛИ НИКОГДА

Она шла под темным, почти сплошным навесом ветвей старорослых лип и грабов и уже почти поравнялась со своей заветной беседкой, как вдруг навстречу ей из-за ближайшего куста выступила и стала поперек пути чья-то мужская фигура.

Тамара в испуге отшатнулась назад.

— Не пугайтесь, фрейлен, это я,— не без иронии предупредил ее мужской голос, по звуку которого она узнала Айзика Шацкера.

— Что вы здесь делаете, бохер?— взволнованно спросила она, чуя упавшим сердцем что-то недоброе.

— То же, что и вы, фрейлен,— насмешливо ответил гимназист,— вероятно, подобно вам, наслаждаюсь поэзией ночи. Но мне-то оно сподручнее сползти сюда с сеновала,— продолжал он,— а вот вы, скажите, какими путями попали сюда? Конечно, не в дверь, а через окошко?

— Предположите, что и так, если угодно,— сухо оборвала его Тамара.

— Увы, фрейлен,— ядовито вздохнул Айзик,— это не предположение, а к несчастью факт, которому сам я был очевидным свидетелем.

— Что ж из того? я вас не понимаю, сударь.

— Полноте! Что тут притворяться!— с горечью воскликнул Айзик и, чего давно уже не смел он себе позволить, вдруг довольно бесцеремонно взял ее за руку.— Я знаю все, Тамара,— произнес он значительным веским тоном,— понимаете ли, все! Я все видел и слышал.

— Подслушивали?— уязвила его девушка.— Гм... что ж, тем хуже для вас.

— Не для вас ли скорее. фрейлен?— возразил Айзик.— Вы сейчас сидели в этой беседке с графом Каржолем,— продолжал он.— Не вздрагивайте, чего это вы так вздрогнули вдруг? Ведь я же предупредил вас, что мне все известно.

Тамара слегка скользнула по нему испытующим взглядом.

для того, чтобы разъяснить себе, точно ли говорит он правду, или же только хитрит с намерением поддеть ее на удочку и таким способом выведать то, что ему нужно.

— Да, вы сидели с ним,— продолжал гимназист тоном твердого убеждения и не без торжествующей иронии.— А теперь не угодно ли посидеть со мной. Я требую этого, фрейлен. Понимаете, что вы теперь в моих руках: в моей воле и спасти, и погубить вас. Мне надо объясниться с вами. Пойдемте!

Сраженная этой бедой, столь внезапно обрушившейся на ее голову, Тамара не успев еще сообразить, как ей быть теперь, машинально последовала в беседку за Айзиком, который почти тащил ее туда насильно, не выпуская из своей руки ее руку.

— Сядьте!— повелительно предложил он, садясь и сам рядом с ней на скамейку.— Сядьте и постарайтесь выслушать меня хладнокровнее.

И он как-то инквизиторски примолк на мгновение с нарочным расчетом усилить посредством этого молчания «громоподобность» последующего поступления того, что он скажет, и затем, не без некоторой театральности скрестив на груди руки и в упор устремив пылкий взгляд на девушку, спросил ее вдруг чуть не верховным тоном допроса, в котором, однако же, кроме возмущенности его собственного духа, слышалась еще и доля сострадания.

— Скажите, Бога ради, что это вы задумали, несчастная?!

— Айзик,— предупредила она, решаясь и потому стараясь говорить как можно сдержаннее и спокойнее.— Это дело моей совести; но вам-то что до того?

— Как что до того? Мне-то?.. Ха-ха! Да ведь я, кажется, пока еще еврей, благодарение Богу!.. Это не личное мое, а общее еврейское дело; каждый из нас обязан сделать то же. Вы забываете, кто вы и что вы!

— Но у меня есть свой рассудок и своя воля, Айзик.

— Своя воля, свой рассудок!— укоризненно негодующим тоном повторил гимназист.— И они вам указывают изменить вере отцов!.. Вы хотите от нее отступить? Этому не бывать, Тамара, не бывать!., я не допущу до этого! Я сегодня же утром открою все рабби Соломону. Я мог бы это сделать сию же минуту, но воздерживаюсь, в надежде, что может быть еще удастся повлиять на вас во благую сторону.

При этих последних словах, счастливая (как показалось ей) мысль озарила вдруг голову Тамары. Обмануть Айзика, показать ему, что он действительно убедил ее, пожалуй, приласкать его и тем убаюкать его подозрительность,— такова была эта мысль, и девушка глубоко затаила ее в своем сердце. Прежде всего она решилась дружелюбно и покорно выслушать все, что ни сказал бы ей Айзик.

— Скажите,— продолжал меж тем гимназист.— Что привлекло вас к этому человеку? Красота его, изящество? Но разве между евреями нет и красивее и изящнее? Поезжайте опять в Вену, вы встретите там в тысячу раз лучше его, и притом чистых, чистокровных евреев. Богатство его, что ли?

Но зачем оно вам, коли вы сами и теперь уже богаче не только его самого, но пожалуй, и всех предков его в совокупности; да еще вопрос крайне сомнительный,— какое это богатство у графа Каржоля и есть ли оно в действительности? Не пыль ли он пускает в глаза одному лишь городу Украинску? Ну, наконец, прельщает вас имя его, графский титул, аристократическое происхождение? Но, Бог мой! Вам ли, Тамаре Бендавид, кровной аристократке во Израиле, прямой потомственной отрасли царя Давида, вам ли гоняться за жалким титулом какого-то эмигрантского графчика Каржоль де Нотрека, род которого доходит до времен... ну, положим какого-нибудь Людовика Святого; но допустим, до самого даже Карла Великого.— Боже мой, что такое все эти Людовики и Карлы пред любым из наших Коганов, которые ведут свое древо от самого Аарона, брата Моисеева! Кто же более аристократы — они или мы?.. Да не только я, Айзик Шацкер, а каждый «пархатый жид», ам-гаарец<sup>1</sup> конечно, в тысячу раз более родовит и кровно аристократичен, чем любой из потомков всех этих Людовиков и Карлов. И вам ли, вам ли — дочери Бендавидов, опускаться до каких-то жалких Каржолей!.. Какой позор! Какое унижение!

— Бохер, мне кажется, вы все это слишком преувеличиваете, заметила Тамара, уже успевшая овладеть собой настолько, чтобы придать себе и вид, и тон наибольшего спокойствия и хладнокровия.

— Как; Я? Я преувеличиваю?— взволновался Айзик.— Фрейлен! Да самый тот факт, что вы теперь в саду,— что это такое, позвольте спросить вас?

— Что бы то ни было, бохер, но... во всяком случае не вы цензор моих поступков.

— Ошибаетесь, фрейлен. Не только я, ваш родственник и некогда друг ваш, но каждый еврей имеет право и долг удержать вас от пагубного шага.

— Но с чего вы взяли, что я делаю какие-то «шаги», да еще «пагубные»?— как бы с недоумением усмехнулась девушка.

— Фрейлен, опомнитесь!— укоризненно остановил ее Айзик.— С чего я взял!.. Выпрыгивать ночью из окна для свидания с женщиной, да еще с гойем, это ничего по-вашему?.. Я подозревал вас уже давно; я нарочно пошел сегодня спать на сеновал, чтоб иметь возможность сойти сюда и убедиться собственными глазами, и... к несчастью, убедился.

— Ну, положим,— согласилась Тамара.— Я поступила несколько легкомысленно, я увлеклась немножко, мне просто захотелось иметь свой маленький роман; но неужели же в самом деле думаете, что из всего этого может выйти что-нибудь серьезное?

— Так бежать с Каржолем из родного дома к Серафиме, это не серьезное?— с негодованием воскликнул гимназист.— Изменить своей вере, своему народу, это тоже ничего?

---

<sup>1</sup> Ам-гаарец — плебей, невежда, лишенный талмудического образования.

— Успокойтесь, бохер, ничего этого не будет,— решительно и твердо сказала Тамара.— Ни к какой Серафиме я не убегу и никакой измены вере и народу не сделаю.

— Тогда, что ж это?— недоуменно пробормотал Айзик, чувствуя, что его сбивают с толку.— Уши мои обманули меня? Галлюцинации слуха подвержен я, что ли?

— Нет, не то,— продолжала Тамара с выдержкой прежнего спокойствия.— Ваш слух несколько не обманул вас! все это действительно говорилось, но... одно дело говорить, а другое дело действительно сделать. В этом есть маленькая разница, бохер.

— Но... если не сделать, то тогда для чего же и говорить.

— Гм... для чего!.. Предположите, что хотя бы для романа, для того маленького своего собственного романа, о котором я вам уже сказала.

— Фрейлен!— с недоверием отрицательно покачал головой Айзик.— Я не верю вам; вы меня вышучиваете, вы смеетесь надо мной!

— Я и не заставляю вас верить,— равнодушно заметила девушка.— Верите вы или нет — для меня это решительно все равно; смеяться же над вами мне тоже нет ни надобности, ни охоты.

Наступило мгновение обоюдного молчания, исполненного для юноши мучительных духовных колебаний.

— Тамара! Скажите, вы меня очень презираете?— спросил он вдруг порывисто, с какою-то лихорадочной тоской и трепетом.

— Вас?— удивленно взглянула на него девушка.— Почему вы это думаете?

— По всему, фрейлен... Я это вижу... вижу по тому, как вы говорите со мной, как вы смотрите на меня... Я чувствую это... Я для вас менее чем ничто!.. А между тем... ведь я люблю вас, Тамара!.. Я мучаюсь, злюсь и тоскую... Я готов порою черт знает что сделать и себе, и вам... Этот тон ваш, который вы в последнее время берете в отношении меня, он мне невыносим... невыносим!.. Он меня бесит!.. Это презрительное равнодушие ваше ко мне... Господи! Да хоть разозлитесь же на меня наконец! Ну, оттолкните меня ногой, как собачонку — я хоть укушу вас за это!

— И толкать вас не буду, и укусить вам меня не удастся,— спокойно усмехнулась Тамара.— Вы сами виноваты, Айзик,— продолжала она совершенно мирным, почти дружеским тоном.— Мы с вами могли бы быть большими друзьями, если бы вы были со мной иным, не таким, например, как сегодня за ужином.

— Боже мой! Но не могу же я!., не могу!— ломая руки, воскликнул Айзик.— Поймите же вы, что я злюсь, я ревную вас и не могу подавить в себе этого чувства, как вспоминаю об этом проклятом человеке... Ведь вы любите его, Тамара?

— Да, он мне нравится.

— Нет, вы его любите.

— Если хотите, пожалуй да... Люблю немножко.

— Нет, не немножко — вы вся, вся в нем, вы увлечены,

вы тонете в этом чувстве.

— Если вам это более нравится, думайте и так.

— Тамара, к чему же опять такие загадки— с мольбой и страданием в голосе укорил ее Айзик.— Ну хорошо... Ну, положим, я вам верю,— поспешил он согласиться, впадая опять в тон примирения.— Верю, что тут ничего серьезного нет, что все это говорилось и делалось вами только для «романа», что этот человек вам нравится, только нравится и то немножко — пусть так: все-таки чем это кончится?

— Вернее всего, что ничем,— с видом равнодушия ответила девушка.

— Но ваше увлечение...

— Вероятно, пройдет со временем, как и все на свете.

— О, если бы это было так!— с сомнением вздохнул юноша.— Если бы можно было поверить этому!.. Но пусть так. Хорошо. Положим, я верю вам... Я предлагаю вам мою дружбу,— хотите, Тамара?

— Охотно, Айзик; отчего и нет!

— Хорошо. В таком случае я буду говорить как друг. Уезжайте отсюда, Тамара, уезжайте поскорее... Завтра или послезавтра, только поскорее. Умоляю вас!

— Зачем и куда, бохер?

— Да хоть в Вену, опять к тетке. Уезжайте с ней в Париж, в Неаполь, куда хотите, только чтобы здесь вас не было, чтобы не видеть более Каржоля, пока не пройдет это ваше увлечение.

— Оно может пройти и так, без выезда из Украинска.

— А, так стало быть вы не желаете ехать?— опять ехидно обозлился Айзик.— Значит, это чувство побольше, чем «маленькое увлечение»!.. Господи!— воскликнул он со страстью и злобой.— Я, кажется, в состоянии убить этого ненавистного человека! Я убью его!.. Я изобью его! Я ему скандалу наделаю... Публично... такого скандалу, что он сам должен будет уехать отсюда!

— Не советую, бохер,— усмехнулась Тамара с прежним своим презрительным равнодушием.— С ним всегда ходит на цепочке презлая датская собака.

Айзик окончательно обозлился.

— Вы издеваетесь надо мной... Хорошо. Смейтесь,— погрозился он.— Смейтесь!.. Я посмотрю, каково-то посмеетесь вы завтра, когда я при вас открою рабби Соломону все, чему сам я был свидетелем этой ночью... я посмотрю тогда!

— Дедушка не поверит вам,— сказала Тамара спокойным тоном, хотя на душе у нее при этой угрозе стало далеко не спокойно.— И тем более не поверит,— продолжала она,— если я скажу ему, что все это ложь, что вам, вероятно, все это просто приснилось.

— Н-ну, поверит ли, не поверит ли,— злорадно возразил Айзик,— а все-таки за вами после этого, на всякий случай, станут приглядывать позорче, и клянусь вам, что ни в следующую, ни в последующую пятницы вам не удастся сбежать к Серафиме!.. Я сам буду иметь честь караулить вас... Я спущу с цепи обеих наших собак и подыму такой гвалт, устрою такую травлю,



что у сиятельного графа только пятки засверкают!

— Вы мелкодушный и злой мальчишка. Я не боюсь вас и не хочу более говорить с вами!— резко, но все-таки с кажущимся спокойствием сказала Тамара, поднявшись со скамейки, и быстрыми шагами пошла вон из беседки по направлению к дому.

Айзик постоял несколько мгновений в мучительном раздумье и затем быстро поспешил вслед за девушкой.

Вскоре он догнал ее и несколько времени молча шел на шаг позади, только грудь его взволнованно вздымалась частым порывистым дыханием.

— Тамара!— робко произнес он наконец молящим и почти задышающимся голосом.— Фрейлен Тамара!

Девушка шла не оборачиваясь.

— Фрейлен Тамара... постойте... остановитесь... умоляю вас... фрейлен!.. Простите меня... простите!.. Я оскорбил вас, я сам не помнил, что говорил... Да, я злой, мелкодушный мальчишка, я не стою вас... я сам себя презираю, но... Бога ради!., простите, простите меня!

И схватив ее за руку, Айзик упал перед ней на колени и вдруг разрыдался.

Досадливо подергав плечами, Тамара приостановилась, намереваясь холодно и сухо попросить его оставить ее в покое; но услышав этот рыдающий и молящий шепот, ей стало жалко бедного юношу.

— Бог с вами, бохер... Я не сержусь на вас,— проговорила она почти без горечи, ровным, миролюбивым тоном.

— Нет, это не то... не так,— сокрушался Айзик.— Когда прощают от души, говорят не так... От души простите меня, Тамара!

— Ну, чего ж вам еще, Айзик?.. Ну, вот, я жму вашу руку — достаточно ли так?.. Хорошо?.. Ну, я прощаю вас... Ну, чем же доказать вам еще?

Юноша, продолжая стоять на коленях, покрывал поцелуями протянутую ему руку.

— Ну, проводите меня до дому и поспособите взобраться на окошко; уж если прошу этого, значит не сержусь,— улыбнулась девушка.

Айзик радостно вскочил на ноги и с прояснившимся духом пошел рядом с Тамарой, бессвязно нашептывая ей какие-то слова восторга, любви и благодарности.

Под окном Тамары давно уже лежала старая заброшенная колода, служившая некогда ульем. При помощи этой своеобразной приступки было очень легко и удобно вылезать и влезать в окно, так что в помощи Айзика Шацкера, собственно говоря, не было никакой надобности, но девушка позвала его нарочно, с тем расчетом, чтобы, во-первых, дать ему этой интимной просьбой доказательство ее прощения и, во-вторых, чтобы Айзик убедился, что она не останется дольше в саду и более не предпримет на сей раз ничего предосудительного.

Осторожно раздвинув полные ночной влаги душистые ветви цветущей сирени, Айзик пропустил под ними вперед Тамару

и затем подсадил ее за талию на подоконник. Девушка ловко и бесшумно очутилась в своей комнате и, перегнувшись за окно, протянула гимназисту руку.

— Спокойной ночи, Айзик! Благодарю вас,— ласково прошептала она, с дружеским пожатием.— Ступайте себе спать и не думайте больше обо мне таких глупостей.

Айзик давно уже не видал Тамару такой ласковой, как в эту минуту.

В последний раз горячо, хотя и беззвучно, поцеловал он ее руку и, успокоенный, даже умиленный, прокрался сквозь кусты и осторожными шагами побрел во двор, к своему сеновалу.

Тамара между тем, стоя у окошка, напряженно и с чувством недоверия прислушивалась к шелесту его удалявшихся шагов, чтоб убедиться, точно ли пойдет он теперь на сеновал, а не останется еще подкарауливать ее и бродить по саду.

Как быть ей дальше — она решила себе еще в беседке, во время объяснения с Айзиком. Для нес теперь вполне стало ясно, что на него ни в коем случае нельзя положиться. Хотя она и примирилась с ним, но может ли это иметь какое-нибудь значение, при свойствах такого неустойчивого и впечатлительного характера, как у Айзика? Где ручательство, что Айзик завтра же, быть может, даже без всякого повода с ее стороны, не вздумает снова подозревать и ревновать ее и что под влиянием этих чувств не выдаст ее с головой старикам? Да и во всяком случае Айзик будет теперь зорко следить за каждым ее шагом, так что о следующей пятнице нечего и думать! Нет, если решаться, то надо решаться теперь же, сейчас, не теряя ни одной лишней минуты,— теперь или никогда!

Притворство в течение всего вечера, за ужином, потом сцена с графом Каржолем в беседке, наконец, игра в равнодушное спокойствие при последнем столкновении с Айзиком, тогда как в душе в это самое время подымался чуть не взрыв совсем иных чувств и ощущений,— все это крайне измучило, истерзало душевно Тамару, и в то же время все это натянуло ее нервы до той степени напряженности, что сделать самый решительный шаг какого бы то ни было рода для нее теперь было нетрудно. Чем более притворялась и таила она в себе свои истинные ощущения, тем сильнее сказывалась ее нервная возбужденность. И именно теперь-то, пока еще не упала вся эта возбужденность ее нервов, Тамаре и казалось необходимым решиться. Завтра, быть может, она передумала бы, потому что при спокойном, освежившемся состоянии духа естественно явились бы опять разные сомнения, раздумье, заговорил бы в душе голос здравой житейской логики, сказались бы опасения и страх перед рискованным шагом, за которым уже нет возврата к прошлому; но теперь ей казалось, будто для нее нет никаких выходов, кроме одного, самого решительного и бесповоротного. В том состоянии, в каком она находилась в эти минуты, в ее душе, под угнетающим давлением известного впечатления, уже не осталось места раздумьям и сомнениям.

Что Айзик точно ушел на сеновал, Тамаре нетрудно было убедиться

по легкому скрипу калитки, ведущей из сада во двор, и по лаю пары цепных собак, разбуженных этим скрипом. Она было испугалась, как бы этот лай не разбудил дедушку, но на ее счастье — собаки, узнав Айзика, тотчас же замолкли. Девушка прислушалась сквозь стену, что в соседней комнате, но слава Богу, там продолжает раздаваться согласный дуэт бабушкиного носового высвиста с легким дедушкиным всхрапыванием. Это успокоило Тамару.

Осторожно, чтоб не наделать шума, отворив свой комод, она достала несколько необходимого белья да кое-какие вещи, связала все это в небольшой узелок, куда кстати заодно уже сунула и свой заветный Дневник; затем надела шляпу, опустив на лицо густую черную вуаль, покрылась широкою шалью и, минутою спустя, прежним своим путем, через окошко, очутилась уже в саду, в его темной, сыроватой и нежащей прохладе.

Ни раздумья, хотя бы мгновенного; над своим решительным шагом, ни сожаления, хотя бы легкого, о покидаемом доме, ни грусти о своих стариках, о которых еще так недавно сокрушалась, как о главнейшей сердечной преграде к осуществлению своих влюбленных целен и стремлений,— ничего такого, под давлением все того же всепоглощающего впечатления, не шевельнулось в ее душе даже и в эти последние роковые минуты. Напротив, все существо ее как бы слилось в одну лишь мысль, в одно стремление, «скорее! скорее и осторожнее, чтобы кто не помешал, чтобы никому не попасться!» она пошла теперь не по кратчайшей прямой дорожке, а свернула в сторону, к забору, где кусты были гуще и аллеи темнее, и чем дальше отходила от дома, тем тревожнее билось ее сердце и тем быстрее становился шаг, так что, приближаясь к своей беседке, она уже не шла, а почти бежала, пугливо озираясь вокруг и чутко прислушиваясь к звуку собственных шагов: ей все казалось, что Айзик не то погонится за ней, не то вдруг снова вынырнет из-за какого-нибудь куста и загородит ей своей фигурой дорогу.

Но, слава Богу, вот и калитка, в которую час тому назад она выпустила Каржолу. Дрожащей рукой отомкнула Тамара замочку, крайне боясь, чтобы как-нибудь неосторожно не звякнуть ей и, с замирающим сердцем, переступив высокий порог, пустилась бежать по пустому переулку...

## **V. ДВА СЮРПРИЗА**

Спокойно и беззаботно возвращался к себе домой граф Валентин Николаевич Каржоль де Нотрек после свидания с Тамарой. Он был вполне доволен и счастлив: доволен собой, своей удачей, своим умом и умением внушить к себе чувство такой любви, как у Тамары, и счастлив перспективой близкого осуществления своих самых заветных желаний и стремлений, всегда составлявших любимейшую мечту, задачу и цель всей его жизни. И вдруг теперь все это осуществляется; уже

близится минута, когда мечта превратится в осязательный факт. Конечно, до наступления этой блаженной минуты, быть может, предстоит еще немало затруднений и препятствий, но с его умом и изворотливостью, с его энергией и умением действовать настойчиво, ему ли не победить этих затруднений и препятствий, если главное уже достигнуто, а это главное — более половины всего дела! Так думал о себе самом граф Каржоль, возвращаясь в радужном настроении от Тамары. Впрочем, такое самомнение и такая самоуверенность не составляли принадлежности исключительно данной минуты: они являли собою черту, всегда присущую его характеру.

Он жил недалеко от Бендавидов, но на этот раз пошел домой не кратчайшей дорогой, а избрал окольный и длиннейший путь, так как ему хотелось пройтись, прогуляться, чтобы дать время остыть и успокоиться своему радужному, чуть не ликующему волнению, и в то же время помечтать о будущем в полном уединении, среди поэтической тишины весенней ночи.

Граф нанимал небольшой и совершенно отдельный, с барскими удобствами построенный домик, с садом, сараями и конюшней, расположенный в глубине обширного двора, посредине которого был разбит большой газон с кустами сирени и цветочными клумбами. Этот дом принадлежал проживавшим постоянно в деревне наследникам какого-то польского пана, не то сосланного в Самару, не то бежавшего за границу, и Каржолю было тем удобнее нанять его, что в нем он нашел готовое, вполне комфортабельное убранство. Граф хотя и жил на холостую ногу, но, по роду деятельности, ему постоянно являлась надобность принимать у себя разного рода «нужных людей» и губернских «тузов», иногда устраивать для них холостые обеды, иногда задавать карточные вечера с роскошными ужинами и вообще «располагать» к себе, показывая «умение жить» на широкую ногу и заставляя предполагать у себя очень большие средства. Поэтому подобного рода домашняя обстановка была для него вполне необходима. «Внешняя обстановка, это почти все для умного и практического человека» — таково было убеждение графа.

Мурлыча какую-то шикарную шансонетку, с легким духом после хорошей и довольно продолжительной прогулки, подошел он в эту ночь к воротам своего обиталища, проскользнул согнувшись под цепь полурастворенной калитки и, уже подходя к самому дому, вдруг, к немалому удивлению, заметил сквозь щели ставен свет в своем кабинете.

Его это даже озадачило. — Неужели гости? Но кто же бы мог быть в такую пору?

— Что это за свет у нас? — спросил он у камердинера, отворившего ему дверь с парадного крыльца.

— Барышня там дожидаются, — доложил тот, с некоторой таинственностью понизив голос.

— Какая барышня?

— Госпожа Ухова, Ольга Семеновна-с.

— Что такое! — как бы про себя пробормотал граф, окончательно уже озадаченный.

— И давно ждет уже?

— Давно-с; около часа будет.

Нельзя сказать, чтобы неожиданный поздний визит пришелся по сердцу графу. Недоумевая, зачем она здесь и что все это значит, с чувством некоторой тревоги в душе вошел он в дверь своего кабинета.

Навстречу ему поднялась из кресла высокая, стройная блондинка, с неправильно красивым и несколько капризным типом лица, которое вместо приветствия выражало в эту минуту одно только утомление и недовольство.

— Ольга!.. Какими судьбами?.. В такую пору... Что это значит?— заговорил он, протягивая руку.

— Необходимость заставила,— с плохо скрытой раздражительностью пожала она плечами.— Я ждала вас третьего дня, ждала вчера, наконец сегодня утром нарочно послала с кучером письмо, прося вас заехать хоть на минутку, и вместо того ни вас, ни ответа!.. Пришлось крадучись идти самой и дожидаться...

— Бога ради, извини меня, милая, дорогая моя!— целуя руки своей гостью, стал оправдываться граф.— Мне крайне совестно,— говорил он.— Но если бы знала ты, какая у меня масса дел, и самого нетерпящего дела, и сколько еще неприятностей при этом! Просто голова кругом идет!.. Я крайне виноват перед тобой, но ей-Богу, клянусь тебе — вот до сей самой поры ни минуты не было свободной.

— Будто?— недоверчиво и зло усмехнулась девушка.

— Верь, не лгу,— горячо уверял Каржоль.— Я не отвечал тебе, потому что рассчитывал непременно заехать вечером, но, видит Бог, не мог, не успел, задержали... В чем дело однако?— доспросил он с озабоченной торопливостью.

— Дело очень серьезное,— веским и размеренным тоном сказала девушка.

Каржоль вопросительно вскинул на нее встревоженный взгляд, предчувствуя нечто скверное. Этот тон и несколько раздраженное, недовольное выражение лица Ольги казались ему подозрительными: уж не проведала ли она чего-нибудь насчет Тамары? И граф на всякий случай приготовился возражать уверениями и клятвами.

— Что такое?— спросил он, серьезно сдвинув брови.

— Я беременна,— объявила девушка.

У Каржоля, что называется, опустились руки.

— Не может быть!— испуганно пробормотал он.— Ты, верно, ошибаешься, Ольга...

— Нет,— отрицательно качнула она головой.— В этом не осталось более ни малейших сомнений...

Каржоль закусил себе губы и глядел на нее растерянными, чуть не бессмысленными глазами.

— Но что же тебя так поражает тут?— продолжала Ольга, удивленная в нем этим испугом и растерянностью, которых, по-видимому, никак от него не ожидала.— Что с тобой, Валентин?.. Ты испуган?.. Ты как будто недоволен даже?..

— Признаюсь, я не ожидал этого... Но что же теперь мы будем делать однако?— пробормотал он сквозь зубы, принимаясь

озабоченно шагать по комнате.

Девушка, прежде чем ответить что-либо, несколько времени следила за ним все тем же недоумевающим, удивленным взглядом.

— Мне кажется,— заговорила она наконец,— остается только одно: объявить отцу все как есть, всю правду. Я беру это на себя; ты же приезжай завтра просить моей руки.

— Завтра?!— переспросил Каржоль, круто повернувшись на ходу и остановясь с таким видом, как будто его вдруг по лбу ошаршили.

— Да, не иначе; непременно завтра,— подтвердила Ольга.— И сколь отцу ни неприятно это,— продолжала она,— ты знаешь, он тебя очень не жалуется,— но, конечно, ввиду такого обстоятельства, поневоле должен будет согласиться.

— Ты думаешь?— оборонил он с каким-то рассеянным видом.

— Разумеется. Не подвергать же свое имя публичному скандалу!.. Мы, наконец, вместе можем объявить ему, и, я уверена, отказа не будет... Теперь отказ невозможен, немислим.

Каржоль в молчаливом раздумье раза два прошелся по комнате.

«Положение, однако, черт возьми! И не распутаясь!» А как был бы он доволен таким положением не далее как три месяца тому назад, когда только что началась его тайная связь с Ольгой Уховой, когда он еще не знал, что существует на свете Тамара, в то время еще не возвращавшаяся из заграницы, и когда эта самая Ольга Ухова, дочь почтенного кавказского генерала, вдовца, невеста со стотысячным приданым, казалась ему отличной партией, которая дала бы ему блестящий выход из его нынешнего, все еще шикарного, но в сущности уже очень надорванного и стесненного положения, три месяца назад эта беременность лучше всего могла бы повести к такому счастливому результату, волей-неволей вынудив у строптивного, несговорчивого старика-генерала согласие на брак Ольги с Каржолем. Но жениться на Ольге теперь, когда миллионная Тамара не сегодня-завтра может сделаться его женой, да это было бы просто безумием!.. Каржоль перестал бы уважать себя за это; он стал бы презирать себя!.. Упустить Тамару! Нет, это невозможно! Каржоль решится на все и все принесет в жертву, но этого он не сделает. Что ж делать однако? Каким образом выйти из этого невозможного положения?— вот о чем более всего думал теперь граф Каржоль де Нотрек, и единственное что удалось ему придумать и на что он пока решился, это выиграть время, время и время прежде всего! Выиграть его настолько, чтоб успеть привести в исполнение задуманный план относительно Тамары, а там уже будь что будет! Там уж он придумает, как быть ему далее. Но вот на эти роковые полторы, две недели надо во что бы то ни стало убаюкать, усыпить Ольгу Ухову.

— Хорошо!— согласился он наконец, в ответ на ее предложение.— Хорошо, пускай по-твоему! Но... как ты думаешь,

не лучше ли будет приготовить старика постепенно, сроднить его мало-помалу с мыслью о твоём выходе замуж за меня?

— Каким же образом?— недоуменно пожала плечами Ольга.— Ведь четыре месяца назад ты уже делал предложение и получил отказ?

— Да, но об этом отказе, кроме нас троих, никто в городе не знает,— подхватил Каржоль.— Ведь ещё тогда старик согласился дать мне слово, что отказ останется между нами, и он ведь не болтун, насколько я его знаю; стало быть, новое согласие на брак ни пред кем не поставит его в неловкое положение: почему же сперва отказал, а теперь вдруг согласился? И ведь в сущности,— продолжал граф,— вся эта его антипатия ко мне просто глупа и совершенно беспричинна. Её то вот и надо прежде всего постараться как-нибудь побороть, рассеять, а для этого, мне кажется, следует действовать исподволь и нет надобности открывать ему всю правду.

— Без этой правды он не согласится,— уверенно возразила Ольга.— Только страх огласки и скандала может заставить его не перечить нашей свадьбе. Я то ведь, поверь, лучше тебя его знаю!

— Хорошо!— согласился Каржоль и на это.— Пусть так, но только, что касается завтрашнего дня, то уж извини: ни завтра, ни послезавтра я решительно не могу этого сделать.

Тень недоверия и подозрения, что уж не отвиливает ли граф от женитьбы, смутно дрогнула в какой-то жилке над бровями Ольги. Она окинула его испытующим взглядом и спросила, почему это он не может?

— О, Боже мой!— возразил он со вспышкой некоторой досады.— Ведь жениться, полагаю, не то что надеть пару перчаток! Для этого мне прежде всего необходимо устроить свои дела, и дела весьма важные, на которых строится все благосостояние моей дальнейшей жизни! Не могу же я вести мою жену на неопределённое и необеспеченное положение в будущем!

— У меня есть свои сто тысяч,— заметила Ольга.

— Покорнейше благодарю!— иронически поклонился граф. — Они при вас и останутся! Неужели мне нужны ваши деньги! Уж не думаете ли вы, что я на них хоть сколько-нибудь рассчитывал?.. Сто тысяч, моя милая, в наше время не есть ещё нечто существенное; сто тысяч годятся разве жене на одни лишь её тряпки, а нам надо жить, и вот потому-то, как честный человек, я и обязан сперва позаботиться об обеспеченных средствах к жизни. Для этого мне потребуется около двух недель времени, не более. Но что такое две недели! Ведь ровно ничего не стоит переждать их! Ведь в две недели ничто ещё не успеет у тебя обнаружиться, и никто ничего не заметит. Бога ради!— нежно стал он пред ней на колени, сжимая её руки.— Я умоляю тебя, ради нашего же собственного, общего блага, не торопись ты пока с этим делом! Дай мне этот срок, и тогда я сделаю все что хочешь, все что ты прикажешь.

Ольга не успела сказать на это ни да, ни нет, как в прихожей раздался вдруг чей-то громкий, порывистый звонок.

Это было так неожиданно, что оба они вздрогнули и всполошились, наскоро хватая и пряча Ольгины вещи: перчатки, платок, соломенную шляпку... Решительно невозможно было не только предположить, но даже и понять, кто и зачем мог быть в такую пору. Каржоль, ради предосторожности, предложил Ольге удалиться в его спальню, из которой он рассчитывал, в случае надобности, провести ее по небольшому боковому коридору в диванную, откуда уже можно было незаметно вывести ее сквозь стеклянную дверь на террасу в сад, а из сада дорога домой уже не представила бы никаких затруднений. Едва Ольга скрылась за портьерой, он поспешил к двери кабинета, и чутко насторожил под ней ухо, в расчете — не узнает ли предварительно, хотя бы по голосам, что там такое? Но едва успел он это исполнить, как двери осторожно приотворились, и камердинер Каржоль, видимо озадаченный и даже смущенный чем-то, не без таинственности вызвал его в прихожую. Там, на пороге раскрытой половинки наружных дверей, первое что бросилось графу в глаза — была женская фигура, под вуалью и с узелком в руках. По общему очертанию он узнал в ней Тamarу.

— *Tout est decouvert!.. On nous a ecoute... Sauvez moi!*<sup>1</sup>— едва успела проговорить она задыхающимся голосом, как Каржоль успел остановить ее.

— Тсс... У меня посторонние!— предупредил он шепотом, указывая на дверь кабинета.— Я сейчас их спроважу,— продолжал он.— Войдите пока сюда, налево, в столовую, и подождите меня одну минуту... Только тише, Бога ради!

И введя Тamarу в комнату, он плотно запер за ней дверь, а сам поспешил к Ольге.

Слегка держась за портьеру, девица Ухова сторожко, что называется, начеку стояла на пороге спальни и кабинета, готовая каждое мгновение отпрянуть внутрь и спрятаться за драпировкой от постороннего глаза. На ее лице выражалось не одно лишь сильно возбужденное любопытство и опасение за себя, но и тревожное чувство ревнивой подозрительности.

— Уходи, Бога ради, скорее!.. Сию минуту!— быстро подходя к ней на цыпочках, прошептал Каржоль умоляющим голосом.

— Там женщина?— подозрительно спросила Ольга.

— Какая женщина!?!.. Где?!.. Что это тебе чудится!— досадливо проговорил встревоженный граф.— Умоляю тебя, уходи Бога ради!

— Нет... Я слышала там женский голос... Ты сейчас говорил с женщиной.

— Ольга, не дури!— строго остановил он девушку.— Уходи, говорю тебе! Пощади и себя, и меня... Иначе ты рискуешь страшно скомпрометировать себя.

— Нет, я не уйду. Скажите, кто там? Кто эта женщина?

— Фу, ты, Господи!— схватился он за виски.— Женщина!.. Компаньон мой только что вернулся из Петербурга,

---

<sup>1</sup> Все открыто!.. Нас подслушали!.. Спасите меня! (фр.)



с важнейшими известиями... Нам надо сейчас же переговорить о деле.

— Из Петербурга... Ночью?.. Да на каком же это поезде?— с явным недоверием спросила Ольга.

— Ах, да не на поезде!.. Он с поезда сперва тут в одно имение проехал, а теперь из имения сюда... На лошадях.

Барышня Ухова сомнительно качнула головой.

— Кто ж этот компаньон ваш с таким женским голосом? И что это за дела в три часа ночи?

— Ольга!— отчаянно метнулся граф, почти теряя всякое терпение.— Это глупо, наконец!.. Мне некогда объяснять вам подробно, завтра узнаете; завтра скажу вам все, но теперь уходите: ведь человек там стоит, ждет... Я просил его обождать лишь одну минуту... Ну что он может подумать!.. Это наконец не деликатно с вашей стороны... В какое положение вы меня ставите!.. Я должен чуть не выгонять вас...

А Ольга, словно наслаждаясь этим неприятным, безвыходным его положением, с улыбкой смотрела на него каким-то странным, не то явно недоумевающим, не то явно презрительным взглядом, и не трогалась с места.

— Да уйдете ли вы, наконец!— в бешенстве прохрипел Каржоль сквозь стиснутые зубы.— Это черт знает что такое!..Что же вы хотите, чтобы я насилie употребил над вами, что ли?

— Насилie?.. А ну-ка, попытайтесь!.. Я закричу!— возразила та вызывающим тоном.

Граф обессиленно опустил руки и тоскливо огляделся вокруг, словно ищучи, где же, наконец, и в чем найти ему свой камень спасения.

— Извольте, оставайтесь, если вам хочется,— вздохнул он, как бы сдаваясь.— Только сидите же смирно, не выдайте вашего присутствия ни малейшим шорохом... Позвольте затворить дверь, и помните, что если вас застанет здесь утро, то я не виноват в этом... А для большей предосторожности замкните, пожалуйста, дверь на ключ.

— Зачем это?— возразила Ольга.

— На всякий случай. Неравно компаньон не вздумал бы заглянуть в спальню.

— Да разве вы намерены долго сидеть с ним?

— Не знаю: это не от меня зависит... Извините, однако, мне некогда...

Прощайте.

И граф решительно затворил за собой дверь. «Сиди же коли так, черт тебя возьми!»— злобно подумал он и, захватив в прихожей шляпу да надежную трость с кастетом, осторожно, чтобы не слышала Ольга, замкнул дверь из кабинета в прихожую, опустил ключ к себе в карман и, рассчитывая вернуться домой минут через десять-пятнадцать, внушительно шепнул человеку:

— До моего возвращения не выпускать госпожу Ухову из дома ни под каким видом и ни в какие с ней разговоры не вступать. Понимаешь?

Отлично дрессированный, привычный и безмолвный исполнитель приказаний своего барина только поклонился в знак

готовности безусловно исполнить его волю.

Затем, приотворив дверь столовой, граф жестом позвал Тамару и осторожно вышел с ней из дома.

— Я не могу вас принять у себя,— объяснил он, идя с ней по двору,— ко мне сейчас приехал из имения один из моих компаньонов и ночует у меня... Он не спит еще... Я не хотел вас компрометировать... В чем дело однако?

Тамара в двух словах рассказала ему все, что произошло после их свидания.

— Что же теперь делать?— невольно воскликнул граф, у которого действительно голова пошла наконец кругом от сплетения всех этих неожиданностей.— Что делать, Тамара?

— Проводите меня в монастырь,— решительно предложила она,— и пойдем сейчас же, пока еще не рассвело. Домой я не вернусь, а другого ничего не остается.

— Да, вы правы,— согласился Каржоль.— Так что ж, я к вашим услугам. Поспешимте.

И, подав Тамаре руку, он быстрыми шагами направился с ней со двора по улице, держа путь к Свято-Троицкой женской обители.

## VI. БОЖЬЯ ВОЛЯ

Начинало светать, когда они подошли к монастырским святым воротам, расписанным живописью *al fresco*, в византийском стиле. Строгие, темноватые лики божьих угодников, иерархов, иноков и страсотерпцев глядели своими нарисованными очами с каменных стен и с обоих широких створ святых ворот на подошедшую к ним в столь необычный час мирскую пару. Каржолю показалось, что эти продолговатые, изможденные образы, в черных схимах, смотрят на него из своих золотых венчиков как-то особенно сурово, словно требуют отчета, так что его даже покорило немного, и хотя он вообще был человеком без предрассудков и насчет религии вполне беззаботен, тем не менее ему невольно стало как-то неприятно, жутко глядеть на эти лики, и он отвернулся от них в сторону.

Мигающий красноватый свет большой лампы, висевшей пред надвратным образом Святой Троицы, все более утрачивал свою силу, уступая белесоватому, прозрачному свету небосклона, предвестнику скорого восхода. Звезды уже потухли и только одна лишь утренняя звезда ярко сверкала в вышине, как чистая алмазная слезинка.

Каржоль брякнул большим железным кольцом в скобу монастырской калитки, но на этот стук отозвались ему не скоро, так что пришлось постучать посильнее и подольше, во второй и в третий раз, пока наконец не скрипнула дверь подворотной сторожки, и не послышались чьи-то старческие шаги, кряхтенье и зевки, сопровождаемые молитвенным присловьем.

Старик сторож однако отворил не сразу, а сначала обляялся,— кого-де носит нелегкая по ночам в обитель? Проходи, мол, своей дорогой!— а затем, в ответ на настойчивую просьбу графа, приступил

к долгим, раздумчивым и обстоятельным расспросам,— кто, мол, стучит, какой человек, из каких он будет, зачем так рано, к кому и для чего и за какой надобностью? Приходи, мол, позднее, как ударят к заутрене, тогда и ворота растворим, а теперь мать-игуменья почивает еще и сестры спят, нельзя отворять-то.

Между тем понятно, насколько была дорога и опасна для Каржоля каждая лишняя минута. «Приходи позднее»... Но куда он денется, где проскитается, пока настанет это «позднее»? Домой вернуться нельзя: там сидит взаперти Ольга, которая теперь, вероятно, рвет и мечет от злости. Бродить по улицам? Но если, как на грех, кто-нибудь встретит или из окна увидит — сейчас же поднимутся толки, сплетни, всяческая грязь всевозможных догадок и хихиканья, скандал... Нет, это невозможно! Остаться и ждать у монастыря, пред воротами? Но евреи обыкновенно встают рано; большая часть из них привыкла подниматься с рассветом; какой-нибудь Шмулька, живя по соседству, легко может увидеть и узнать его с Тamarой, и тогда все пропало! Тогда скандал еще хуже, еще неприятнее: ее просто отобьют у него на улице, не дадут и ввести под монастырские ворота... О, тогда подымется целая история, из которой еще черт знает как и выпутаешься!..

— Я заплачу тебе, голубчик... Возьми пять рублей, только впусти, Бога ради,— умолял граф и, для наибольшего убеждения несговорчивого сторожа, опустился на колени, просунул ему в скважину подворотни пятирублевую кредитку.

Вероятно, соблазняясь столь щедрым даянием, тот наконец снял с крючка железный болт, поослабил слегка калиточную цепь и осторожно оглядел в один глаз, кто там просится и много ли их, но убедясь по внешности Каржоля и Тamarы, что люди, должно быть, не лихие и что их только двое, уже без недоверия пропустил обоих в калитку.

— Есть у вас тут какая-нибудь дежурная монахиня, что ли?— спросил Каржоль.

— Дежурная,— зашамкал сторож.— Что ты, мой батюшка! Какая у нас дежурная, зачем?.. Господь Бог над нами, зачем нам?.. Помилуй Бог!.. Мы живем просто, по Божьему, что нам!

— Но кто же может разбудить игуменью?

— А пошто ее будить-то!.. Пушай почивает матушка. Будить ее не для чего, не время... Ее колокол взбудит: как ударят к заутрене, так и сама проснется.

— Да нам необходимо сейчас же, сию минуту— убеждал его граф.— Поди, пожалуйста, голубчик дедушка, сам ты и разбуди кого-нибудь... Я заплачу тебе.

— Зачем же, мы и так много довольны, а только мне нельзя... От ворот я отлучаться не могу... Не мое это дело инокинь будить, сами свой час знают... А вы лучше посидите малость, пообождите до заутрени-то; вот, по двору, по кладбищу погуляйте: проснутся инокини, тогда о вас матушке и доложат... сами доложат... это точно. А я не могу; мое дело сторожевское, мужское, разве я смею по кельям-то ходить?.. Мне никак невозможно.

Очевидно, что дальше толковать со сторожем было нечего. Да Каржоль и тем уже был доволен, что, слава Богу, удалось кое-как проникнуть хотя бы за монастырскую ограду: здесь все-таки приют, здесь безопасно.

Низенькие, одноэтажные флигеля монашеских келий, соединенные наподобие коридора общей стекольчатой галереей; высокий храм, переделанный некогда из католического костела, и широкий монастырский двор, обсаженный купами старорослых каштанов, да аллеями пирамидальных тополей, все это еще было пусто, безлюдно и беззвучно, и стояло в своей отшельнической ограде словно проникнутое таинственной и нежной тишиной, словно благоговейно и недвижно погруженное в какую-то глубокую, не от мира сего ночную думу. Дерновые могилки с каменными плитами, белые кресты и намогильные памятники около церкви, с их чугунными решетками, венками из иммортелей, завившимся плющом и пестрыми цветниками, все это еще дремало, увлажненное ночной росой; но ласточки уже начинали выглядывать из гнезд, прилепившихся под церковным карнизом, и проснувшиеся воробьи там и сям поднимали в каштановых ветвях свое задорное чириканье. Повеяло резким утренним холодком; из монастырской пекарни вдруг потянуло в воздух вкусным запахом свежих, только что вынутых из печи просфор, и вскоре на золоченных, узорчато-прорезных крестах двух церковных башенок заиграли первые розоватые лучи восходящего солнца.

Но долго еще пришлось Каржолю просидеть на каменных ступенях паперти, бережно кутая несколько продрогшую Тамару в ее широкую шаль, прежде чем людское население монастыря стало просыпаться. Тамара успела за эти часы во всех подробностях рассказать ему свое приключение с Айзиком и переговорить о многом касательно своего будущего. Много гадательных планов и предположений развернулось и пронеслось перед ней: много ласк, и уверений, и клятв, и нежных слов любви и страсти выслушала она от своего друга... Но расточая свои ласки, Каржоль мог только бесконечно удивляться в душе этой замечательной в ее годы выдержке ее характера и еще более этой твердой решимости ее намерений и взглядов на свою будущую судьбу, какова бы она ни была, решимости, какая и теперь в эти томительные часы неизвестности и ожидания на церковной паперти, ни на минуту не покинула девушку. Ни раздумья, ни сомнений, ни тени какого-либо колебания ни разу не проскользнуло не только в ее словах, но даже и во взоре. Напротив, судя по ее виду, Каржоль мог смело заключить, что тут действительно все уже продумано до конца и решено бесповоротно. И в самом деле, Тамара чувствовала себя гораздо цельнее, чем Каржоль, и успокаивала даже его самого, когда в нем прорывались нетерпеливая досада и ропот на это сонное монастырское царство.

Но вот, в шесть часов утра, на колокольне раздался первый удар благовеста, и вскоре после этого несколько темных женских фигур, словно движущиеся тени, показались в разных углах здания, и во дворе, и вдоль по стекольчатой галерее.

Каржоль обратился к одной из монахинь, прося доложить о нем матери игуменьи.

— А это вы уже к ее послушнице, к Наталье... Это она вам все может,— отвечала инокиня и, не вступая в дальнейшие расспросы, радушно предложила графу проводить его до дверей настоятельской квартиры и вызвать к нему послушницу Наталью.

Граф предварительно достал свою визитную карточку и на изысканном французском языке написал карандашом о своей настоятельнейшей надобности видеть мать Серафиму немедленно, по крайне важному, безотлагательному делу.

Через пять минут молодая, шустрая послушница, у которой носик был уточкой, а глаза как две вишенки, довольно развязно заявила ему, что матушка теперь только что встали с постельки и облачаться изволят, а потому просят обождать немного.

Все эти ожидания и проволочки времени только раздражали графа и усиливали его внутреннюю тревогу. Он крайне беспокоился о том, что выделяет теперь в его квартире запертая Ольга Ухова, какова-то выйдет его неизбежно предстоящая встреча с ней, и какими бы судьбами уйти ей среди бела дня из его квартиры, без скандала, да и удастся ли еще проскользнуть никем не замеченною?.. А тут еще этот старый дурак генерал, пожалуй хватится утром, где дочь, поднимет целую бурю, переполох, весь дом вверх дном... И опять-таки скандал, история, опять-таки толки и сплетни... Господи!.. Каржоль обзывал себя мысленно дураком за то, что не догадался оставить ключ от кабинета своему камердинеру и не приказал ему выпустить Ольгу через полчаса после своего ухода... Но мог ли тогда он предвидеть, зачем пришла к нему Тамара, мог бы предполагать, что ему придется немедленно же идти с ней к Серафиме? Он рассчитывал, что объяснение его с Тамарой продлится на дворе или на улице не более минут десяти, а вместо того... О, Господи! Нужно же такое непредвиденное, просто дьявольское сплетение обстоятельств!.. Впрочем, у Каржоля оставалась еще одна маленькая надежда, что авось Ольга, отыскивая себе выход, проникнет из спальни по коридорчику в диванную и там уже догадается уйти через стеклянную дверь на террасу, в сад и так далее. Одна только эта гадательная надежда и успокаивала немножко графа.

Спустя около получаса, та же шустрая послушница ввела его в приемный покой настоятельницы. Тамара, по его же совету, осталась пока в стекольчатом коридоре одна, пред дверью Серафимы, чтобы не затруднить и не стеснить своим присутствием его объяснения с игуменьей.

Обстановка настоятельской приемной была в высшей степени проста, почти сурова: штукатурные стены без обоев, окна без занавесок, с одними лишь шторами, на подоконниках ни одного цветочного горшка; в красном углу большой старинный образ без ризы и украшений; старинного фасона красноедеревые жесткие стулья в строгом порядке вдоль стен, такой же диван с гарусной на нем подушкой, перед диваном овальный стол с керосиновой, довольно убогого вида

лампой; у одного из окон большой мольберт и на нем начатая масляными красками картина духовного содержания (Серафима занималась живописью); на стенах — в простейших рамках под стеклом, литографированные виды каких-то обитателей, изображения государя и нескольких иерархов российской церкви, да два-три фотографических портрета высоких особ, очевидно, покровительниц Серафимы, с их собственноручными подписями: «в знак памяти такой-то от таких-то, тогда-то».

Каржоль не успел еще хорошенько рассмотреть все эти предметы, как к нему уже вышла высокая, несколько дородная женщина, лет пятидесяти, с лицом, еще сохранившим черты породистости и красоты уже поблекшей, одетая в строгий и суровый костюм полной монахини. Она встретила графа как старого знакомого, приветливо, хотя и с невольным выражением в глазах несколько недоумевающего вопроса, и пригласила его садиться.

— *Pour sur, madame, vous etes bien surprise de me voir a cette heure matinale mais...* почтительно начал было извиняться граф, но игуменья без дальних околичностей, тотчас же перебила его прямым вопросом, в чем дело?

— Я привез к вам прозелитку,— объявил Каржоль,— прозелитку, которая настолько жаждет принять православие, что решила для этого даже убежать из дома своих родных. Она обратилась к моей помощи и конечно, как русский человек и христианин, я не счел себя вправе отказать ей, и вот привез ее вам, под вашу защиту и покровительство. Помогите ей, Бога ради!

Игуменья, к удивлению Каржоля, не только не выразила при этом стремительной готовности исполнить его просьбу, но раздумчиво поджав губы, как будто даже поморщилась с некоторым неудовольствием.

— Она совершеннолетняя?— спросила наконец Серафима.

— Н-нет... Но впрочем ей уже двадцатый год пошел.

— Католичка?

— Нет, еврейка. Но *pardon!*— поспешил предупредить Каржоль.— Мне кажется, вы как будто сомневаетесь в чем- то...

— Нет, не то,— перебила его Серафима.— Не то... Но скажу вам откровенно, я крайне боюсь этих еврейских прозелиток... Их у меня перебивало уже несколько, и при этом каждый раз приходится иметь столько всевозможных неприятностей с их родными, с кагалом, и даже с нашими властями, что и не приведи Бог!..

— Возможно ли!— воскликнул граф.— Мне кажется,— продолжал он,— наши власти в таких случаях, напротив, должны бы оказывать и вам, и прозелиткам всяческое содействие.

— Н-да, это так кажется; но ведь кагалы очень богаты. И потом это принятие православия... — продолжала игуменья.— Вы знаете, ведь оно нередко выходит из них из побуждений очень мутных: один еврей, например, недавно еще крестился четыре раза в разных епархиях ради того, что ему

за это каждый раз дарили от тридцати до пятидесяти рублей вспоможения.

— О, нет, в данном случае ничего такого и быть не может!— поспешил граф разуверить монахиню.— Напротив, эта девушка имеет свои собственные богатые средства, которыми могла бы даже служить на пользу разных богоугодных целей... Это ей ничего не стоит...

Серафима поморщилась: в последних слова Каржоль ей заподозрилось как будто некоторое намерение соблазнить ее на согласие возможностью хорошего вклада в ее обитель со стороны будущей неофитки.

— И кроме того,— продолжала она, как бы вовсе пропустив без внимания его слова,— если тут и нет иногда прямого расчета на «гешефт», то к крещению очень часто прибегают в расчете как на спасительное средство люди порочные, неблагонадежные... Уж тут так и гляди, что он либо в чем-нибудь жестоко провинился перед своей общиной, даже какое-нибудь преступление сделал, либо же ищет себе в христианстве просто ширму, чтоб удобнее прожить, где ему вздумается и легче обдeldывать свои темные делишки.

Каржоль, конечно, поспешил протестовать и против этих последних предположений игуменьи, убеждая и доказывая, что его прозелитка вовсе не из таких, что она достаточно хорошо ему известна и он может даже поручиться, чем угодно, что ее влечет к Христу не какой-либо расчет, а одно лишь искреннее глубокое убеждение.

— Может быть... Охотно готова вам верить,— сказала ему на это Серафима.— Но если оно так, то для меня тем хуже...

Каржоль на это только выпучил на нее глаза с видом удивления и вопроса.

— Да, тем хуже— подтвердила игуменья.— Чем чище побуждения прозелитки, тем цепче ухватываются за нее и родные, и кагал, чтобы вырвать ее у нас и возвратить еврейству. Тут сейчас же пойдут у них разные доносы, жалобы, кляузы... начнут нас со всех сторон и от разных властей бомбардировать запросами, поднимутся переписки и отписки... А сколько сплетен и дрызг еще при этом!.. Боже мой!.. Я уже знаю все это, испытала достаточно и потому, сознаюсь вам, всячески избегаю этих еврейских прозелиток... От них обитель каждый раз только покоя лишается на несколько месяцев!

— Пусть так,— со вздохом согласился Каржоль,— конечно, все это крайне... крайне грустно и даже прискорбно, но... мать Серафима!— попросил он вдруг тем особым интимно дружеским тоном, дескать «для меня!», на который обыкновенно не ожидается отказа.— Сколь ни тяжело вам, но уж на этот-то раз (только на этот!) не откажите, Бога ради!.. Сделайте маленькое исключение... Принесите такую жертву в последний раз, не откажите принять эту девушку... Ей-Богу, хорошая девушка! Я бы не стал и просить иначе!.. Вы этим делаете такое доброе дело, за которое, конечно, и в сей, и в будущей жизни... Бога ради!..

— Нет, граф,— убедительно, тоном просьбы перебила его мать Серафима,— избавьте меня, если возможно, от этого нового бремени... Обратитесь лучше к преосвященному, к губернатору, к супруге начальника края, к кому знаете, но только не ко мне, Бога ради!

— К сожалению,— заявил Каржоль,— это дело не терпит ни малейшего отлагательства, Ей надо дать немедленно же приют, успокоить, укрыть ее... Она, говорю вам, только что сейчас убежала из дома... Оставить ее у себя я не могу, это ее скомпрометирует, а она девушка честная, вполне достойная, образованная... Она ищет христианства, повторяю, не из выгод, а по глубокому убеждению... Церковь не вправе отказывать стучащимся в ее двери!.. Мать Серафима!— воскликнул он наконец, от всей души и для большей экспрессивности стискивая самому себе руки.— Ведь это же ваша миссия, ведь вы для этого сюда и посланы. Во имя Христа Спасителя заклинаю вас!.. Молю вас как христианку, как женщину, не откажите!.. Не оттолкните эту несчастную!.. Подумайте, куда же ей, бедной, деваться?.. Отказать вы не можете, это было бы бесчеловечно!

Каржоль говорил горячо, с убеждением и даже со слезами.

Игуменя начала несколько сдаваться.

— Право, уж и не знаю,— раздумчиво разводя руками и видимо колеблясь в душе, говорила она.— Я бы, поверьте, от всего сердца... мне самой очень жаль... Конечно, наш долг, но... если бы она еще была совершеннолетней или из другого какого места, а то ведь она здешняя, не так ли?

— Да, она здешняя,— подтвердил граф.

— Гм! Ведь это значит, кагал сегодня же спохватится, не успеешь и мер никаких принять.

— Но ведь сегодня шабаш,— напомнил Каржоль.

— Это ничего не значит. Для такого дела они и шабашом поступятся, закон разрешает... У нас однажды уже было такое дело, и как раз в шабаш. А кто такая?— спросила Серафима.— Фамилия се как?

— Тамара Бендавид,— объявил граф с некоторой, затаенной впрочем, неохотой и колебанием, опасаясь, как бы из этого не возникло еще новых препятствий.

— Бендавид? Ни за что!— энергически воскликнула Серафима, отрицательно простирая вперед свои руки, словно бы желала этим жестом защититься или оттолкнуть от себя нечто.— Ни за что, граф! И не просите... Все, что угодно, но этого я вам никогда не сделаю... Ни за что на свете! Ни под каким видом!

— Но отчего же?.. Отчего?— повторял Каржоль, пораженный и смущенный непреклонной решительностью этого отказа.

— Будь еще это какая-нибудь простая, бедная евреечка,— продолжала Серафима,— будь она сирота, бездомная, я бы, пожалуй, и согласилась. Но внучка известного богача... О, вы не знаете, что тут подымется! Вы и представить себе не сможете!.. Тут уже не только все здешние евреи, а и в Петербурге, и за границей поднимут гвалт, пустят в ход разные влияния, клевету, интригу...



Тут сейчас явятся все эти адвокаты разные, корреспонденции, статьи газетные; выйдет целый скандал для нашего монастыря... И Бог знает, как еще взглянут на все это там, свыше, в Петербурге? Да, Боже мой, тут и не оберешься самых ужасных дрязг, и грязи, и неприятностей!.. Нет, граф, извините, но... я вынуждена отказать вам самым решительным образом.

— Но что же теперь делать этой несчастной!— воскликнул глубоко огорченный и взволнованный Каржоль.— Войдите в ее положение: домой вернуться нельзя; ей и говорить об этом нечего, она не согласится. Что ж остается ей?.. С моста да в воду?.. Подумайте!

Серафима, не находя слов ответить что-либо, только плечами пожала как-то неопределенно.

— И вы, христианка, монахиня,— укоризненно продолжал граф,— вы являетесь такой эгоисткой! Простите, я поневоле говорю, быть может, резко, но неужели же вы в самом деле настолько предпочитаете ваше собственное спокойствие, что решаетесь равнодушно закрыть глаза на ужасную судьбу беспомощной девушки, обрекая ее тем самым, быть может, на самоубийство!.. Если молчит в вас сердце, то рассудком хотя бы пощадите достоинство вашего сана!

Всю эту горячую и даже дерзкую речь монахиня, сверх ожиданий самого Каржоля, выслушала довольно хладнокровно, с подобающим смирением.

— Упреки ваши, граф, быть может, и справедливы отчасти,— проговорила она очень сдержанным тоном,— но что же делать, если печальный опыт наш неоднократно был таков, что мне поневоле приходится вам отказывать. Что же с этим делать, если у нас и христианский долг, и сан, духовные дела, и все на свете облечено в такой стеснительный чиновничий формализм!..

— Поезжайте к преосвященному,— посоветовала она Каржолю,— объяснитесь с ним, попросите его, пусть он пришлет мне формальную бумагу, предписание что ли: это, по крайней мере, будет мой оправдательный документ, и тогда я приму вашу protegee тотчас же... Я сделаю все, что возможно к ее пользе и благу, но принять ее так, как вы теперь предлагаете, этого я, извините, несмотря на всю тяжесть ваших горьких и справедливых упреков, решительно не могу... Не могу, граф!

И мать Серафима сделала легкий, исполненный скромного достоинства поклон, давая тем понять Каржолю, что аудиенция ее кончена.

Каржоль замялся было, чувствуя, что почва как бы ускользает из-под его ног и не зная, что предпринять ему. Выйти из стен монастыря вместе с Тamarой теперь, когда город уже проснулся, окончательно невозможно: это погубило бы все дело.

Но раздумье графа продолжалось не более одного мгновенья.

Порывисто метнулся он вон из комнаты, выбежал в коридор и, схватив Тamarу за руку, втащил ее в приемную.

Все это случилось так быстро, что Серафима и опомниться не успела.

— Мать игуменя не хочет принять вас,— говорил Тамаре Каржоль, весь бледный и взволнованный до нервной дрожи, с выражением какой-то отчаянности в лице,— она не хочет... Я истощил все усилия, все просьбы, доводы, она не соглашается... Простите, но я ничего больше не могу сделать!.. Вы знаете сами весь ужас вашего положения, просите ее сами, умоляйте сжалиться над вами...

Тамара испуганно взглянула на Каржоля, взглянула на Серафиму, и, бледная как полотно, с каким-то лютым выражением мольбы, страдания и отчаяния в глазах, молча упала вдруг с земным поклоном перед монахиней.

— Примите... Спасите меня!— простонала она, надрываясь от прилива рыданий, вдруг заклокотавших в ее груди.

Неожиданность такого оборота дела и сама внезапность появления Тамары, самый вид молодой девушки, исполненный такого страдания и скорби, этот молящий стон, прорвавшийся из глубины сердца, и эти судорожные рыдания так потрясли Серафиму, что она смутилась и, взглянув на образ, висевший в углу, словно испрашивая себе свыше помощи и решения, как поступить, вдруг покорно склонила голову и проговорила со вздохом:

— Ну, видно уж так угодно Богу... Его святая воля!

И нагнувшись к Тамаре, она подняла ее с помощью графа.

— Встаньте, дитя мое... Я принимаю вас... Успокойтесь... Господь над вами!..

До глубины души потрясенная слезами и восторгом благодарного чувства, которое вдруг сменило в ее душе весь гнев отчаяния и скорби, Тамара склонилась к благословившей ее руке монахини.

Серафима ласково положила эту руку на голову девушке и поцеловала ее в лоб.

— Божья воля... Божья воля,— взволнованно повторяла она.— Что же делать, оставайтесь... Так видно надо. Вам тут покойно будет... И не бойтесь: мы не обидим и не выдадим вас. А вы граф,— обратилась игуменя к Каржолю,— все-таки поезжайте сейчас же к преосвященному... Сейчас же, не медля ни минуты, и сделайте то, что я вам говорила... Непременно, а иначе я не могу... Я только на время даю приют ей... Понимаете?

Каржоль поклонился в знак безусловного подчинения ее воле.

— Наташа!— позвала она свою послушницу,— Подай мне мантию и посох... Заутреня началась уже. Да вот что: приготовь-ка сейчас, же келейку для них вот, рядом с моей, и прикажи привратнику ворота и калитку сейчас же на запор, на заднем дворе тоже, и никаких евреев и евреек ни под каким видом, без доклада мне, в монастырь не пропускать... Скажи: матушка-де настрого приказали. А вы не бойтесь, милая,— снова обратилась она к Тамаре,— мы вас оградим... Оставайтесь пока у меня, располагайтесь в этой комнате, вам успокоиться надо: отдохните, пока я вернусь из церкви... А если что понадобится, Наташа будет здесь... Господь с вами!

И опираясь на длинный посох, игуменя, в широкой мантии со шлейфом и ниспадающей с клобука длинной вуалью из черного флера, как некий призрак, величественный и строгий, в сопровождении нескольких ожидавших ее в коридоре старших монахинь, пошла по стекольчатой галерее ко храму своей неслышною, как бы плывущей походкой.

## **VII. ДЕЛА ИДУТ НА ЛАД**

Каржоль, почтительно откланявшись, направился вслед за Серафимой и, проведив ее до паперти, вернулся снова к стекольчатой галерее. Он еще выходя от игуменьи успел исподтишка выразительно кивнуть ее шустрой послушнице, что надо, мол, сказать одно слово. Догадливая белица поняла этот кивок и потому, провозжая «матушку», замедлилась зачем-то на галерее, где и застал ее теперь граф.

— Вот что, сестрица,— сказал он, сунув ей в руку красненькую кредитку,— если мне неравно понадобится известить о чем-нибудь эту евреечку, могу я рассчитывать на вас, передать ей через вас письмо например?

— Отчего же-с! Спаси Господи! С большим удовольствием даже!— согласилась приветливая послушница.

— Только как же нам устроить это так, чтобы другие-то не знали?.. А уж вас я буду очень, очень благодарить потом,— поспешил он предупредить ее, в особенности напирая на «вас» и «очень».— Уж вы только постарайтесь, а я не забуду... Я и еще, и еще раз поблагодарю, поверьте!

— Помилуй, Господи! Зачем же-с!— занервничала та, опуская свои глазки-вишенки.— Мы и так уже много довольны вашею милостью, спаси вас Господи! И вы, ежели что, присылайте, а то лучше и сами приносите письмецо привратнику, на мое имя: послушнице Наталье... Я уж, не беспокойтесь, предупрежу его, а там мое дело... Все будет исполнено в самой точности, будьте благонадсжны-с. Господь с вами, сударь!

Таким образом, заручившись на случай надобности содействием шустрой белицы, Каржоль усталый, размаянный всеми передрягами этой бессонной ночи, вышел из монастыря на улицу и, оглянувшись, нет ли где поблизости извозчика, к счастью своему заметил одиноко стоявшего на углу ваньку-христианина, который нарочно выехал сегодня пораньше, чтобы в отсутствии еврейской конкуренции побольше заработать в шабаш. Граф тотчас же порядил его, однако не домой: графу пока еще было не до отдыха и даже не до Ольги Уховой. Следуя правилу «куй железо пока горячо», он преодолел на время усталость, постарался даже удвоить в себе необходимую энергию и бодрость, и приказал извозчику гнать поскорей к архиерейскому дому.

«Прежде всего надо кончить это, главное, чтобы там у Серафимы уже никаких сомнений, без сучка и задоринки...

А с Ольгой как-нибудь обделаем!» Так думал граф Каржоль, подпрыгивая на тряских, дребезжащих дрожках. Он чувствовал себя в некотором роде полководцем, который открывает первый огонь генерального сражения.

— Владыка не принимают,— заявил ему какой-то семинарообразный субъект, встретивший его в обширных сенях архиерейского дома.

Граф начал было объяснять, что ему надо видеть владыку по самой неотложной, настоятельнейшей надобности.

— Все равно не принимают. Они воды пьют и по саду теперь прогуливаются. А вы, ежели что по делу какому, к секретарю пожалуйте.

Каржоль даже обрадовался этому «секретарю», ибо вспомнил как нельзя более кстати, что, по городским слухам и сплетням, всеми делами, да чуть ли и не самим владыкой ворочает его секретарь, господин Горизонтов. Поэтому Каржоль, поблагодарив за указание, прямо к нему и направился, благо ходить пришлось недалеко, так как секретарь проживал тут же, по коридору, первая дверь направо.

Отворила ему какая-то средних лет баба, в розовом ситцевом сарафане в мушку, по внешнему виду — кухарка из приезжих великороссов из себя весьма румяная и дебелая, кровь с молоком, с рожи ничего себе, зато телеса — что называется «бобер»!

— Вам кого-ста? Митрофана Николаевича?— спросила она с лениво-медлительным распевцем (граф на всякий случай постарался с ее слов схватить и запомнить это имя и отчество).— Сождите малость, не одемшись ишшо.

И впустив Каржоля в приемную, он же и кабинет, толстуха на цыпочках, с медвежатым перевальцем, прошла в смежную комнату, очевидно спальную, и осторожно, но неуклюже притворила за собой дверь.

В надежде разгадать по некоторым внешним признакам, с какого рода человеком придется иметь дело, граф принялся пока оглядывать окружавшую его обстановку, которая, собственно, невесть почему, но почти безусловно верно сразу изобличала в хозяине человека холостого. Это чувствовалось как-то. На всем был заметен беспорядок, но далеко не живописный: на полу разный сор и окурки, повсюду пыль и папиросная зола, на подоконнике и в углу пустые пивные бутылки, на стульях бумаги, газеты и кое-какие принадлежности туалета; вообще сказывалась расхлестанность какая-то. Видно было, что в комнате давно не мыли, не прибирали и что никто особенно не заботился о порядке. Над зеленым клеенчатым диваном висели под стеклом, в узеньких черных рамках, чьи-то два литографированных портрета. Каржоль нагнулся к ним и прочел под одним подпись Добролюбов, под другим Писарев. На этажерке и на забрызганном чернилами письменном столе, между кипами деловых бумаг, валялись растрепанные книжки журнала «Дело».

Не прошло и двух минут, как к Каржолю как-то сутоловато-понуро, плечами вперед, вышел из спальни господин Горизонтов, в пиджачке и сереньких брючках, но в грязной рубашке и без галстука. На вид это был средних лет золотушно-невзрачный мужчишка плюгаво-семинарскою пошиба, с характерно выдвинутой вперед нижней челюстью, что придавало его лицу какое-то заостренное щучье выражение. Геморроидально-сероватый цвет его лица как нельзя более гармонировал с тонкими, бесцветными, растянутыми губами, которым Горизонтов, очевидно, силился придать саркастическую улыбку, что впрочем успело у него от долгой практики обратиться даже в привычку. Белобрысые, жидковатые волосенки его вились на кончиках в мелкие кудерки, усики существовали тоже, но не более как в виде намека, а вместо бороды из-под ворота сорочки выползала наружу какая-то короткая рыжеватая шерстина, которую господин Горизонтов видимо желал себе устроить по-добролюбовски. Очки в золотой оправе отчасти прикрывали жесткое выражение его водянисто-бесцветных и вечно прищуренных глазок. Каржоль сразу же подметил в его лице особого рода тик: при разговоре Горизонтов беспристанно поправлял свои очки, вилообразно хватаясь за их окрайки большим и средним пальцами правой руки, причем, глядя исподлобья мимо очков, как-то мазал, именно мазал косящимися глазами в стороны и выделявал ртом особую, не поддающуюся описанию гримасу.

Каржоль отрекомендовался ему с полным своим титулом, но семинар, к удивлению его, слегка лишь кивнул головой, буркнул сквозь зубы одно только «знаю-с, в одном городе живем», и затем ни сам не сел, ни гостю своему не предложил стул, так что все последующее объяснение происходило между ними стоя.

— В чем дело-с?— сухо и с какой-то напускной угрюмостью спросил Горизонтов, как будто счел за должное принять такой замкнутый вид потому, что перед ним было произнесено аристократическое, да еще и титулованное имя.

Граф, отчасти озадаченный таким приемом, напрямик объяснил ему, что сейчас только доставил к Серафиме внучку известного Бендавида, желающую креститься, и что Серафима совсем согласна на это, но только стесняется действовать без архипастырского формального разрешения или благословения на принятие к себе прозелитки, что ей нужно форменное предписание; поэтому будьте столь любезны, помогите устроить это.

— Какое же тут предписание?— недоуменно пожав плечами еще суше возразил Горизонтов.— Это добрая воля самой игуменьи Серафимы принять или не принять к себе кою ей угодно. На это никаких предписаний не требуется, да и примера такого у нас никогда не было.

— Этого я уже не знаю,— с удвоенной любезностью заметил Каржоль, думая тем смягчить угрюмую сухость хозяина.— Я передаю вам, — продолжал он,— только то, что мне поручила мать игуменья, и если она нашла нужным дать

подобное поручение, то, согласитесь, вероятно у нее есть на то и достаточные основания.

— Никаких таких оснований я не знаю,— еще круче и резче пожал плечами Горизонтов, как-то нагло-недоверчиво глядя на Каржоль,— и... извините меня, милостивый государь, но... если это действительно так, то... я думаю, что матушка в этом деле затеяла суший вздор-с.

Граф только вскинулся на него вопрошающим взглядом, ожидая дальнейших разъяснений.

— Именно, вздор-с,— подтвердил секретарь, поправив себе очки своей рогулькой.— Окрестить прозелита,— объяснил он,— имеет полное право любой священник, а уж тем паче такое духовное учреждение, как монастырь. Сами вы посудите, какие тут разрешения!.. Тут одна только добрая воля крещаемого и больше ничего-с.

— Да, это конечно, в рассуждении ординарных прозелитов оно так,— скороговоркой заметил Каржоль.— Но тут, видите ли, дело вовсе не ординарное: тут ведь хочет креститься внучка известного богача и, в своем роде, очень влиятельного человека. Это тоже надо взять в соображение.

— Ну, так что же?.. Коли хочет, пусть ее и крестится, мы не препятствуем... И при чем же тут, я не понимаю, соображения о богатстве и влиятельности Бендавида? Какое нам до этого дело?

— То есть... Я полагаю,— пояснил Каржоль,— мне так кажется, что в этом разе игуменья хочет только гарантировать себя на случай, если бы возникли какие-нибудь недоразумения со стороны властей, что при наших милых порядках (вставляя в речь и подчеркивая эти «милые порядки», граф вспомнил оба наддиванные портрета и подумал, что это словцо должно угодить хозяину), сами вы знаете, что возможно, коль скоро Бендавид захочет пустить в ход свои средства, хотя бы, положим, в Петербурге... Тут ведь могут возникнуть разные запросы, истории... вообще неприятности и мало ли что!

— Н-да-с. Так вот оно что!— саркастически-нагло усмехнулся господин Горизонтов, подтопывая ножкой.— Другими словами, это значит,— продолжал он с иронией,— что матушке-игуменье желательно бы свернуть это дело с больной головы на здоровую?.. Тэ-эк-с!.. Понимаем!.. Только зачем же-с?— ехидно вздохнул он с лукавым смиренством.— Коль уж сама заварила кашу, пушай сама и расхлебывает. Нам-то из-за чего же соваться, сами подумайте?

— Но... я полагаю, что это дело общее,— сказал Каржоль.— Интересы православия в этом крае безразлично и равно должны быть дороги всем правительственным органам. Поэтому, мне кажется, ваша даже обязанность оказать Серафиме всяческое содействие.

— Это все конечно-с,— согласился Горизонтов.— И разве мы отказываемся?.. Помилуйте-с!.. Ежели потребуется окрестить эту госпожу Бендавид, то владыка может совершить обряд даже самолично, со всей торжественностью, в сослужении целого собора, мы очень рады-с!

Каржоль почувствовал себя в некотором роде в положении живого пескаря, которого поджаривают на сковородке то с одного, то с другого бока: и так нехорошо, и эдак скверно, и всячески не везет! Он ясно уразумел, что с господином Горизонтовым на такой почве ничего не поделаешь, что тут надо играть совсем на других струнках, пускать в ход совсем иные ресурсы: на честолюбие, что ли, подействовать, или взятку, например, хорошую предложить. Но с другой стороны — как предложишь, коль у него на стене вон Писарев с Добролюбовым висят? Дело щекотливое!.. Надо это как-нибудь с подходцем, половчее, поосторожнее...

— Видите ли, — приступил к нему граф, несколько подумав. — Должен вам сказать, что эта девушка желает принять христианство по глубокому внутреннему убеждению... Она просто жаждет этого... И вы понимаете, что одно уже ее положение в еврейской среде произведет в этом случае громадное впечатление и влияние...

— То есть какое же влияние! — недоверчиво и с ужимкой хихикнул Горизонтов.

— А то, что ее примеру могут последовать многие... Пример внушительный

— Ну, так что же-с? — продолжал тот, все так же недоверчиво глядя мимо очков на графа.

— Как что?! Развитие прозелитизма! — убеждающим тоном подхватил Каржоль. — Помилуйте, да на такую миссионерскую деятельность здешней епархии, мне кажется, и высшее ваше начальство поневоле обратит благосклонное внимание... Такая благотворная деятельность во всяком случае не останется без поощрения и награды, тем более, что и мы, с своей стороны, приложим все старания, чтобы это дело стало известно даже и в высших правительственных сферах.

— Нам это безразлично-с, — заложив руки в кармашки брючек и покачиваясь с ноги на ногу, равнодушно усмехнулся Горизонтов. — Мы знаем только свое, чтобы значит ровненько и аккуратно исполнить свое формальное дело, что положено-с, а там что до угождения начальству, Бог с ним! — махнул он рукой. — Это тоже ведь как взглянуть, дело сомнительное... Палка, сами изволите знать, о двух концах бывает...

Видит Каржоль, что и на струнку честолюбия не подденешь господина Горизонтова. Остается одно: предложить ему взятку.

— Кроме того, — продолжал он, — вы без сомнения знаете, что эта Бендавид очень богата.

— Как не знать-с! — мотнул головой Горизонтов. — В одном, кажись, городе живем; только причем же это в данном случае?.. Нам ведь это решительно все равно: мы тут люди посторонние.

— Как вам сказать, — возразил на это Каржоль, несколько поеживаясь. — Оно конечно посторонние, но... с другой стороны и не совсем-таки посторонние... Если, например, принять в соображение, что эта девушка, при своем пламенном рвении к религии, охотно пожертвует значительные суммы на

различные богоугодные цели, на монастырь, например, и прочее... насколько я знаю,— с некоторым ударением добавил граф,— она не постоит за этим.

— Тэ-эк-с!— заметил семинар опять все с той же своей подло-иронической ухмылочкой, которая в иных обстоятельствах могла бы просто вывести из себя и взбесить Каржоль.— Понимаем-с!.. Оно точно, что хоть и журавль в небе, н-но... для матери Серафимы дело не без заманчивости и стоит иной синицы... Только ради чего же нам-то собственно помогать ей?— спросил он, отступив на шаг и по-наполеоновски скрещивая на груди руки.— У нее, слава Богу, и своих связей довольно... да напиши она хоть прямо в Питер, хоть к этим, к высоким своим покровителькам, так и Господи помилуй! — ей и помимо нас пришлют сколько угодно и разрешений, и благословлений прямо из Синода... Мы тут опять же совсем в стороне, нам-то что?

— Написать в Петербург, конечно, можно бы,— заметил граф,— но это все очень долгая процедура, а тут между тем надо сделать дело как можно скорее, не теряя времени... Вот почему я собственно к вам и обращаюсь... Помогите, батюшка! Выручите!— бухнул ему прямо Каржоль, с поклоном расставляя руки.— Уж я вам за это просто и не знаю, как буду благодарен... Поверьте, что труды ваши не останутся без солидного вознаграждения.

Господин Горизонтов даже подпрыгнул как-то на месте, словно бы его неожиданно шилом сзади кольнули, и вдруг изобразил на лице своем чувство благородного негодования.

— Если бы, милостивый государь, здесь были свидетели,— размеренно сказал он оскорбленным и внушительным тоном,— то я, конечно, пригласил бы их к составлению протокола; но мы одни, а потому, что же мне остается?.. На дверь указать вам, что ли?

И он сделал подобающий жест по направлению к двери.

Каржоль совсем опешил.. Все его дело, все махинации готовы были рухнуть сию же минуту. Поэтому он поспешил принять, до испуга ужаснувшийся вид человека, который вдруг и якобы невзначай совершил непростительный промах.

— Извините меня, Бога ради!— заговорил он с самым предупредительным видом.— Но вы, ей-Богу, не так меня поняли... Я вовсе не имел в виду... Поверьте, господин Горизонтов, я отнюдь не желал оскорбить вас... И в мыслях даже не имел!.. Бога ради!..

И говоря это, граф протягивал вперед обе свои длани, ловя для пожатия руки Горизонтова, пока наконец удалось поймать ее.

— Конечно, я охотно извиняю, и прошу извинить также и мне,— сказал тот, успокоившись и не отказав Каржолу в пожатии.— Что делать! Самолюбие-с!.. Оно, знаете, в моем положении даже странно и оскорбляться-то... Эти наши гнусные консистории да попы так уж приучили к взяткам и всякой мерзости, что общество не привыкло еще видеть порядочного человека на подобных местах... Разумеется, назвался груздем, полезай в кузов.



Граф, обрадованный этой смягченностью, опять рассыпался в подходящих уверениях.

— Я не сержусь,— продолжал Горизонтов,— и со своей стороны могу только обещать вам позабыть, что вы мне сказали.

«Слава Тебе, Господи!» отлегло на сердце у Каржоль. «Однако же гусь, должно быть!»— подумалось ему.— «Гусь несомненный!.. Потому, если бы взаправду оскорбился, то не стал бы разводиться дальнейшие разводы. Тут, как видно, пустяками не отделаешься. Н-нет!.. Раскрывай мощну пошире!»

— От всей души благодарю вас,— с особенным чувством еще раз потряс Каржоль его руку,— от всей души!..И вы не поверите, как я рад, что судьба посылает мне возможность вести это дело именно с таким человеком, как вы... Позвольте мне присесть и закурить папироску?

— Сделайте одолжение,— буркнул на это Горизонтов, указав на стул и подвинув спичечницу.

Граф достал серебряный портсигар и любезно предложил папироску хозяину.

— Не прикажете ли?

Семинар запустил в папиросник свои гнуткие, тонкие узловатые пальцы с обкусанными чуть не до крови ногтями и достал себе курева. Граф предупредительно поднес ему первому и зажженную спичку. Закурили. Горизонтов, видя, что гость уже сидит, и сам опустил в свое рабочее кресло.

— Итак, многоуважаемый... Митрофан... Николаевич, кажется,— с заигрывающей любезностью заговорил Каржоль.

— Николаевич,— кивнул головой Горизонтов.

— Мм... да-с. Так вот будьте столь добры, многоуважаемый Митрофан Николаевич, не откажите помочь нам!.. Я обращаюсь к вам именно как порядочный человек к порядочному человеку... Помогите!

— Хорошо-с,— уже значительно мягче отозвался Горизонтов.— Только я, право, не понимаю, в чем может заключаться моя помощь?

— Да вот, все насчет предписания...

— То есть какое же тут предписание? На это и формы канцелярской у нас не имеется.

— Но ведь форма уж не такая помеха... Для такого опытного дельца, как вы, ничего не стоит и создать надлежащую форму, если потребуется.

— Оно конечно... Но как ее создашь-то!— поежился Горизонтов, впрочем с таким видом, который ясно намекал, что создать для него левое дело, было бы из-за чего трудиться.

— Ну, уж не мне же учить вас... Я в этих делах пас!— преклонился перед ним Каржоль головой и плечами,— я пас и отдаюсь вполне вашему авторитету. Предписание ли, разрешение, благословение, или, как там оно называется... Надо только написать без недомолвок и неясностей, чтобы никаких потом недоразумений и закорючек ни с чьей стороны, ни с вашей, ни с монастырской.

— Хм?.. Оно конечно,— раздумался несколько Горизонтов,

выпячивая вперед свои каучуковые губы,— только мудрено ведь это... Очень мудрено... Да скажите пожалуйста,— спросил он вдруг,— я все время думаю, причем вы-то тут? Из-за чего вы-то собственно хлопчете?

— Я?.. То есть, как вам сказать!.. Конечно, из участия к этой девушке... Я принимаю в ней большое участие,— пояснил граф, давно ожидавший столь прямого вопроса и очень о нем беспокоившийся, именно о том, что отвечать ему.

— Я вижу, что участие,— ухмыльнулся себе на уме секретарь,— да ради чего же однако?

— Собственно как ее хороший знакомый... Кроме меня, ей не к кому было обратиться...

— Тэ-эк-с... Ну, а родные ее разве останутся безучастны?... Ведь это дело, поди-ка чай, без их согласия варганится?

— Разумеется,— подтвердил Каржоль.

— Тэ-эк-с. Но почему же девица эта так уже вдруг восчувствовала сладость православия? Что ей так приспичило?

— Так... убеждение... — замялся граф, затрудняясь подходящим ответом.

— Полноте, какие тут убеждения!— усмехнулся секретарь совсем как на пустые слова.— Да и что же, в самом деле, в православии такого уж ахти-как заманчивого, особенно для еврейки?.. Вы бы ее отговорили... Пускай лучше чем-нибудь дельным займется, полезнее будет.

— Да чем же?— пожал Каржоль плечами.

— Мало ли есть!.. Пусть на медицинские курсы поступает, или в Цюрих едет. Вот на этот счет господин Шелгунов в журнале «Дело» отлично говорит... Не читали?

Каржоль на этот вопрос сделал только безмолвный жест, который в одно и то же время выражал и извинение, и сожаление, что не читал статьи господина Шелгунова. Он чувствовал, что всеми этими Цюрихами да Шелгуновами господин Горизонтов, кажись, намеревается всю душу из него выматывать, чтобы затягивать свой решительный ответ и стачку по делу.

— Не читали? Жаль-с. Нынче мало кто так дельно пишет. Так вот-с, вы бы этой девице и посоветовали глупость-то бросить, а заняться практически настоящим, реальным делом. Право-с!

— Ей теперь не до советов,— заметил граф.— Она в таком положении, что кроме крещения выходов нет.

— Что же так? Али замуж за христианина захотелось?

— Мм... да, она, кажется, предполагает выйти замуж.

— Тэк-с... Понимаем. Но в рассуждении родных-то?.. Ведь тут пойдут ой-ой какие серьезные истории!.. Вам бы лучше отстраниться загодя, коли вы человек посторонний. Чего вам путаться!.. Неприятностей только наживаете себе, ей-Богу, больших неприятностей!

— Видите ли, Митрофан Николаич,— после некоторого колебания и видя, что с ним ничего не поделаешь, с задушевым вздохом приступил к нему Каржоль.— Вы мне позвольте говорить с вами совсем откровенно?

— Коли хотите, говорите...

— Ну, так вот что. Я в этом деле человек не посторонний... Госпожа Бендавид моя невеста... Я женюсь на ней.

Секретарь, конечно, не удивился, только искося как-то прищурился на графа каким-то испытующим, оценочным взглядом.

— Без согласия ее родных, разумеется?— спросил он наконец ухмыльнувшись.

— Разумеется,— подтвердил тот.— Теперь вы понимаете?

— Понимаем-с... Как не понять!.. Цыплятинка хорошая!— лукаво хихикнул он себе под нос.

Эта «цыплятинка», и в особенности холуйски наглый тон, каким она была сказана, внутренне покорила графа, тем более, что он уже и раньше чувствовал, как господин Горизонтов, Бог весть почему, все сильнее и сильнее забирает над ним какую-то оскорбительную доминирующую ноту, вследствие которой он, граф Каржоль де Нотрек, светский джентльмен, в некотором роде особа, должен пред этим семинарским прохвостом улыбаться и заискивать. Однако же граф не выдал своих внутренних ощущений, напротив, счел за лучшее тоже хихикнуть совершенно под лад господину Горизонтову.

— Так вот, Митрофан Николаич,— вздохнул Каржоль, ласково улещая и как бы глядя его масляными глазами,— теперь вы знаете все. Помогите... Бога ради!

Секретарь почесал всей пятерней свою подбородную шерстину.

— Подумать надо... Дело-то ведь какое,— с ужимкой процедил он сквозь зубы.

— Что же дело? Дело самое обыкновенное.

— Хм!.. Обыкновенное... Вы полагаете?.. Такие, батюшка, дела не часто встречаются... Вам то что! Вы свое клюнули да и упорхнули отсюда, а нам-то ведь здесь оставаться... Тут жидовье гвалт подымут, а я из-за вас потом своими боками отдувайся... Эдак-то ведь нельзя-с!

— Поверьте, Митрофан Николаич,— заговорил Каржоль с благородным видом и не менее благородной интонацией,— поверьте, это уже мой нравственный долг не допустить ни до чего подобного.

— Хм!.. Не допустить... Да как же это вы не допустите?

— О, Боже мои, для человека состоятельного и притом со связями на это есть множество способов!.. На этот счет уж можете быть совершенно покойны.

— Не в беспокойстве дело. А только... Срок-то уж вы больно короткий хотите.

— Бога ради!— с умоляющим видом сложил свои руки Каржоль.— Бога ради!.. Вы понимаете, тут все именно в срок... Медлить невозможно.

— Н-да-с... А между тем надо бы предварительно справочки забрать кое-какие; это уж порядок,— продолжал уклончиво мяться господин Горизонтов.— Так скоро нельзя-с... Пока в докладе, пока резолюция, пока что, на все это время-с... Я бы и готов, но... подумать надо... Дело-то ведь это,

повторяю вам, острое-с, об него и порезаться можно, сами понимаете.

— Не телеграфировать ли к начальнику края или к митрополиту, как вы полагаете?— подумав, попробовал еще якобы посоветоваться Каржоль; — они меня знают, и тот и другой... Губернатор тоже, пожалуй, напишет...

— Это уж ваше дело; я тут ничего не могу сказать вам,— безразлично пожал плечами Горизонтов.

Видя, что и последний маневр не выгорает и что прижимистый семинар, очевидно, намерен чем дальше, тем все больше и больше выматывать из него душу, граф взмолился к нему снова.

— Помогите же, батюшка, ради самого Господа!— воскликнул он, схватывая и с чувством пожимая обеими руками его холодно-потную руку.— Вы мне просто благодеяние сделаете... То есть такое благодеяние, что и слов нет!.. Выручите!.. Я по весь век мой ваш неоплатный должник... Нравственный должник... Моя совесть, поверьте...

— Да в чем помогать-то?— перебил его Горизонтов.— Вы мне скажите, наконец, толком, в чем помогать вам?

— Боже мой, да все в том же... Ну, посоветуйте, научите... насчет разрешения-то...

— Да хорошо-с!.. Насчет разрешения... Так ведь тут нужен документ, а мы с вами вот уже целый час только пустыми словами язык околачиваем. Документ пожалуйста.

— То-есть, как документ?.. Какого рода?— недоумевая, заморгал глазами Каржоль. При слове документ в его мозгу сейчас же возникло представление о векселе или расписке в виде заручки, либо задатка Горизонтову.— Я готов... С удовольствием даже!— пробормотал он, и рука его уже сделала было понятное движение за пазуху, к боковому карману.— С величайшим удовольствием, но... извините, какого именно рода документы вы желали бы?

— Как какого рода?— выпучил на него глаза секретарь, словно бы на дурня какого.— Заявление, конечно! Формальное заявление-с.

Все еще не вполне уразумев, Каржоль вопросительно продолжал глядеть на Горизонтова с каким-то глупо подчиненным и даже извиняющимся видом, словно бы прося у него и снисхождения к своему непониманию, и разжевания себе сути его требований. Странное дело! С каждою дальнейшею минутой, он, к стыду своему, все более и более начинал чувствовать в душе, как, черт его знает почему, невольно как-то пасует нравственно перед своеобразною наглостью этого грубого и нечистоплотного хама, презирая его в то же время до полной ненависти, но не столько за его хамский вид, сколько за это самое свое пред ним пасованье. Досадуя и оскорбляясь на самого себя, граф тем не менее сдавался, как будто покорно признавал в лице Горизонтова какую-то силу, не вполне ему понятную, но несомненно более действительную и стойкую, чем его собственная нравственная сила. Поэтому он, чуть не до жгучей боли, сам пред собой сознавал вполне ясно, как его чувство собственного достоинства и вся его обычная

самоуверенность, все самолюбие, вся эта французски-гордая «noblesse» его внешности и даже самая манера держать себя, как все это вдруг слабеет, испаряется, улетучивается куда-то, тогда как этот «хам плюгавый» стоит аки гранит и господствует над ним во всей своей великой хамской несокрушимости. И он, граф Каржоль де Нотрек, должен пред ним лебезить и заискивать... О, никогда еще не переживал он подобного унижения! Но... все эти чувства пришлось запрятать в самый отдаленный и темный карман своего сердца и вместо них все время покорно вызывать на лицо любезную, искательную улыбку.

— Неужто непонятно?— дивясь, воскликнул между тем господин Горизонтов и с улыбочкой принялся объяснять ему по пальцам.— Ведь для того, чтобы нам иметь законный повод пустить такое предписание матери-игуменье,— говорил он,— должны же мы на чем-нибудь основаться! Не святым же духом узнали мы!.. Это раз. Понимаете?

Каржоль утвердительно кивнул головой.

— Прекрасно-с. Поэтому вам нужно,— продолжал секретарь,— подать нам на имя преосвященного маленькое заявленьице от своего лица, что такого-то, мол, числа доставив в Свято-Троицкую Украинскую женскую обитель новокрещаемую еврейского закона такую-то, честь имею покорнейше просить архипастырского благословения вашего преосвященства на принятие означенной обителью оной новокрещаемой девицы, и прочее... Тогда мы сейчас же заготовим бумажку и пустим в доклад.

— Так это так просто!— не воздержался от невольного восклицания обрадованный граф, чувствуя, что с его плеч словно бы гиря многопудовая свалилась и под ногами снова почва кое-какая начинает ощущаться.

А торжествующий про себя семинар только поглядывал на него полунасмешливым, полупрезрительным, но во всяком случае довольно снисходительным взглядом: дескать, дурак, ты братец, аристократишка несмысленный, а туда же с форсом!

— Господи!— воскликнул между тем Каржоль.— Как мне благодарить вас?.. Уж будьте так добры, позвольте клочочек бумажки,— я здесь же присяду и, не теряя времени, настрочу все, что требуется... Вы уж продиктуйте мне, Митрофан Николаевич, будьте такой добрый!

— Пож...жалуй,— как бы нехотя, но уж так и быть, из милости только, согласился секретарь, указав графу на исключанный чернилами стол и подвинув ближе к нему своими заgreбистыми, узловатыми пальцами тетрадку чистой бумаги да баночку чернил с воткнутым в ее горлышко стальным пером на изгрызанной деревянной ручке. На каждое из этих его движений Каржоль безмолвно отвечал короткими, но признательными поклонцами, словно бы уж и не знал, как благодарить за подобную милость и снисхождение.

Заложив руки в кармашки брючек и выставив несколько ножку, обутую в неуклюжую, стоптанную гарусную туфлю, Горизонтов единым взмахом закинул голову назад, якобы

многодумно и потому усиленно прищурил глазки и наконец, подумав несколько, принялся за диктовку таким вдолбляжно методическим тоном, упоминая где запятая, где тире, где точка, как будто бы ему пришлось диктовать какому-нибудь ученику из самых отъявленных олухов.

Каржоль все это чувствовал, но покорялся и послушно писал все, что лишь соблаговолил продиктовать ему многоопытный учитель.

— Готово, что ли, у вас?

— Готово... Вот только росчерк...

— Ну, слава тебе, тетереву!— Чего там еще росчерк! Давайте сюда.

И явно не доверяя грамотности графа, он самолично, с пером в руке, принялся проверять написанное, причем со сдержанно досадливым цмоктом и кряктом проставил две недостающие запятые, да одно ошибочно написанное е вместо ять (отчего Каржоль внутренне даже сконфузился) и наконец, читая про себя с легким бормотаньем, «...всепочтительнейше прошу вас, преосвященнейший владыка...»— э-эх!— сказал секретарь и начал было переделывать а в о.

Каржоль при этом нашел даже нужным немножко постоять за себя.

— Тут,— заметил он,— написано, кажись, как вы сказали, владыка.

— Вижу, что владыка,— отозвался не глядя на него Горизонтов и окончательно переправил а в о.

— Ну, да, владыка... В чем же неправильность?— недоумевал граф, которому стало уже казаться, что этот прохвост просто блажит и самодурствует над ним.— Владыка!..

— То-то, что ка !— подфыркнул Горизонтов.— Потому и поправляю.

— То есть, как же это?.. Владыка!

— Да не владыка, а владыко,— понимаете ли, ко! Ко, а не ка, потому звательный падеж...

— Ах, звательный!— опять сконфузился Каржоль.— Я и забыл совсем, извините, пожалуйста...

— Н-да «звательный»... Оно вот и видно, что русской-то грамоте плохо учились, а все больше насчет бонжура происходили.

Каржоль, нечего делать, проглотил последнюю уже не пилюлю, а начисто дерзкую грубость: очень уж он был доволен, когда секретарь, окончив вслед за сим проверку бумаги, нашел, наконец, что теперь ничего, все как след, в надлежащем виде и порядке, только вот надо бы марки законные приложить, без чего дело не может получить надлежащего хода.

— Сколько следует?— предупредительно осведомился граф.

— Шестигривенныс-с. Одну на прошение, другую на ответ. Рубль двадцать, а ежели в табачной взять — рубль тридцать копеек.

Граф достал свой бумажник. Там лежала одна рублевая и одна сторублевая бумажка.

«Сейчас пробу пера сделаю», лукаво подумалось графу.

— У меня мелочи нет,— деликатно и якобы в явном затруднении проговорил он, с каким-то извиняющимся видом, вытаскивая эту сторублевку.

— Хм!.. Как же быть-то?.. Разменять бы, да только еще рано, и к тому же шабаш,— заметил Горизонтов.

— Все равно-с!— поспешил Каржоль сунуть ему на стол радужную бумажку.— Это решительно всё равно!.. Там же, вероятно, придутся и еще какие-нибудь другие расходы... Потом сочтемся как-нибудь, право!..

— Да когда же потом-то?— нахмурился несколько Горизонтов, показывая вид, что это обстоятельство ему даже совсем неприятно.— Пойдите, попытаюсь послать к отцу казначею.

— Ах, Боже мой, это такие пустяки!.. Стоит ли, право, беспокоиться!— скороговоркой и с отнекивающимся видом забормотал Каржоль.— Ведь это такое дело, я же понимаю... И потом не кончаем же мы с вами на этом, и не в последний, конечно, раз видимся. Без расходов нельзя же!

— Ну, какие же там расходы!.. Разве уж так, консистерской братие на молитву?— с циническим смешком заметил Горизонтов.— На молитву можно; передам,— равнодушно согласился он, даже и не взглянув хотя бы искоса на оставленную ему бумажку.

— Так могу быть в надежде?— уже откланиваясь, в последний раз пустил Каржоль в ход лебезяще-просительный тон и заискивающую улыбку.

— Сегодня же пустим в доклад,— удостоверил семинар, уже значительно мягче.— Сегодня же... А вечером я, может быть, постараюсь и сам завернуть к вам с ответом.

И протянув на сей раз уже первым свою руку, секретарь простер любезность до того, что проводил графа даже до дверей прихожей.

Только покончив с Горизонтовым и выйдя от него на свежий воздух, наконец-то мог Каржоль вздохнуть облегченной грудью. Главное сделано, можно и отдохнуть. Он взглянул на часы — было уже без пяти минут девять. Теперь оставался один лишь смущающий вопрос об Ольге, о встрече и объяснении с ней. Но неужели ж она настолько глупа, чтобы не догадаться уйти через стеклянную дверь? И Каржоль, размышляя об этом, все более склонялся в пользу предположения об уходе. Оно казалось ему и естественным, и логичным, почти до полной уверенности, что он уже не застанет у себя Ольгу. Что же касается оправданий и объяснения ей своего ночного поступка, то «вечер мудренее утра, когда человеку прежде всего выспаться надо; к вечеру что-нибудь и придумаем», решил себе граф, подъезжая к воротам своего дома.

Но здесь, еще за несколько десятков шагов, он совершенно неожиданно был озадачен одним обстоятельством, которое показалось ему не только странным, но и подозрительным.

У самых ворот его дома стояла кучка евреев, которые словно ожидали чего-то. Эти евреи, завидев его, как-то оживились, зашевелились, зашумели между собой и вдруг рассыпались в разные стороны по улице, словно бы они и ничего,

«так себе», за исключением двух человек, которые остались у ворот молча и неподвижно.

«Не проехать ли мимо?» мелькнуло в уме Каржоля, но почему-то вдруг стало совестно: «еще, пожалуй, подумают, каналы, что струсил!» и он остановил извозчика перед воротами. Расплатясь с ним и при этом взглянув мимоходом на двух оставшихся евреев, графу показалось, что они как бы открыто следят за ним и смотрят на него чуть ли не в упор довольно нагло, явно - враждебными и злобно подозрительными взглядами.

Тем не менее, показав вид, будто не удостоивает их ни малейшим вниманием, он прошел в калитку, но и здесь: новое удивление! Человек до пятнадцати евреев, преимущественно из молодежи, явно в ожидании чего-то, частью сидели на ступенях его крыльца, частью стояли и ходили мимо окон, все еще закрытых ставнями, а двое молодых еврейчиков виднелись даже в саду, у калитки. Вся эта компания, при появлении Каржоля, вдруг всполошилась, сошлась в одну кучку и перед самым крыльцом стала ему навстречу.

«Что ж это, однако?» невольно екнул тревожный вопрос в сердце Каржоля. Он очутился как бы в западне: евреи у крыльца, евреи у калитки, ни в дом, ни со двора. «Неужели пронюхали, каналы?»

### **VIII. ЦОРЕС ГРЕЙСЕ! - ВЕЛИКИЕ БЕДЫ!**

Айзик Шацкер, расставшись с Тамарой, благополучно добравшись до сеновала и, успокоенный, умиленный, даже счастливый, завалился на душистое сено. Но спалось ему плохо. Возбужденная мысль его работала даже и во сне, который от этого был прерывчат и краток. Это скорее было какое-то полулихорадочное забытьё, нечто среднее между сном и бдением, чем настоящий сон здорового человека. Айзику порой казалось, что в него забралась клипа — нечистая сила в соблазнительно прелестном образе богини-дьяволицы Лилис, этой еврейской Венеры, которая прокрадывается к людским изголовьям во время сна и навеивает на добрых евреев сладострастные грезы и грешные мысли. Уж не Лец ли шельмец, этот сатир еврейских поверий, коварно подстроил ему на смех такие штуки.— Грезится вдруг бедному Айзику, что он уже не бедный безызвестный Айзик, а ламдан-годул и талмуд-хухем, великий ученый, мудрец-талмудист, успевший приобрести себе шем, т.е. имя, славу и знаменитость, так что его во всем Израиле называют не иначе как «гордостью века», гаон гадор, и он вступает с самыми знаменитыми мудрецами-раввинами в торжественный пильпул<sup>1</sup>, показывает на удивление

---

<sup>1</sup> Пильпул — религиозный казуистический или юридический диспут всех ученых бейс-гамидраша.



всем такой харифус маггидус<sup>1</sup>, не оставляя ничего даже на долю тейку<sup>2</sup>, что перед ним преклоняются не только свои, но и нееврейские ученые, которых он впрочем от души презирает, хотя и охотно принимает от них поклоны и льстивые выражения их похвал, восторга и почтения. Евреи признают его даже цади́ком, святым человеком, и в качестве цади́ка он разъезжает по всем еврейским палестинам России, Польши, Австрии и Румынии, со свитой учеников и помощников, трубящих и возвещающих его славу, лечит от неплодия, исцеляет с одного нашепту всяческие недуга, решает семейные дела и споры, судит и рядит, учит и проповедует, и повсюду собирает обильную дань в виде рублей, дукатов, гульденов и левов... Хорошо. дали-Буг, прекрасно Айзику Шацкеру!.. Но для его самолюбия мало этого. Он чувствует себя великим человеком, он переустраивает вселенную по своему социально-политическому плану: наверху евреи, над евреями — он, а внизу — все остальное... Он второй Лассаль, у которого все эти великие Бебели и Ласкеры даже и сапог снять недостойны! И кроме всего этого Айзик еще лично счастлив: у него есть своя подруга юности, даже почище тех немецких аристократок, что Лассалья любили, которой он дарит свою первую юношескую любовь! Ее лицо и тело для него слаще меда, источник вечной радости, праздника души, именин его сердца, и он знает, он уверен, что она будет вполне набожною, честной женой в Израиле. Он — раввин, она — его будущая раббецене<sup>3</sup>. И вот, он уже настолько вознесся и возвеличился, что сам рабби Соломон Бендавид почтительно является к нему — о, удивление!— в роли свата и предлагает руку Тамары со всеми ее миллионами, да заодно уж и со своими в придачу!.. Этих миллионов, просто, несчетное количество! Боже мой! Тут и голланчики, и лабанчики, и червончики, гинеи и соверены, дублоны и дукаты, лиры и наполеондоры, просто дух захватывает!.. Золотой дождь на него так и сыплется, так и льется, и весь этот дождь принадлежит ему; он, его единственный, исключительный обладатель. У, какие крупные проекты и гешефты, какие банковые операции и биржевые спекуляции мерещатся ему в тумане!.. Словно в дивной фантазмагории миллиарды калейдоскопически как-то и радужно сменяются миллиардами, а ему все нипочем, потому неиссякаемый источник!.. И вот он подписывает брачный контракт с Тамарой. Теперь они жених и невеста. Начинается хассуно, свадьба; их ведут в торжественной процессии к венцу, ставят на сорное сметье, под великолепным венчальным балдахином, и совершают свадебный обряд. Милейшие еврейские музыканты гремят в честь им обычную поздравительную кантату Мазел-тов. Молодых сажают за свадебный стол и угощают рисовым супом,

---

<sup>1</sup> Харифус маггидус — остроумный разбор (Галаха) религиозных узаконений, и ловкость в свободном истолковании избранных текстов (Агада).

<sup>2</sup> Тейку — талмудическое восклицание употребляется обыкновенно при неподдающихся разрешению спорных вопросах теологического или философского характера.

<sup>3</sup> Раббецене — жена раввина.

этой «золотою свадебною ухой»; батхан<sup>1</sup> импровизирует для них под музыку веселые куплеты; дедушка с бабушкой, став в надлежащую позу, деликатно, цирлих- манирлих танцуют хуппо-менуэт, и просто умилительно глядеть на этот их деликатный стариковский танец!.. Выплясывают и прочие гости особые свадебные танцы — луюлов и эсрог.— «Ты понимаешь ли, шелопут ты этакий», говорит Айзику рабби Соломон, «какую тебе все добрые люди оказывают честь, почет! Это тебе воздаяние за твои заслуги и за заслуги твоих предков». И все гости приносят Айзику поздравления и пожелания счастья и благополучия... Наконец, вот сюрприз-то! Вот куда проникла его слава! Сам Гамбетта и сам Кремье и Ротшильд, и Монтефиоре шлют ему поздравительные телеграммы. Все знаменитые адвокаты и ходатаи, господа Бинштоки и Пупштоки, Куперники и Муперники, братья Гантоверы и Пассоверы со всем остальным своим сонмом и кагалом наперерыв, чуть не до драки между собой, предлагают ему свои услуги для ведения всевозможных его гражданских исков, дел и процессов, а коли и нет их, так и выдумаем! Рабби Оффенбах посвящает ему свою новую оперетку, Блейхредер и все остальные банкиры, берлинские, гамбургские, бременские, амстердамские и прочие, и прочие, и прочие приглашают его в свои компаньоны, в почетные директора своих банков; отовсюду предлагают ему всевозможные акции, облигации, ценные бумаги; на всех биржах гремит одно только имя Айзека Шацкера; газеты посвящают ему сочувственные передовые статьи, телеграфное агентство Вульфа аккуратно извещает о том, с кем он виделся и что замечательного сказал. Персидский шах присылает ему орден Льва и Солнца. Производят его, наконец, сразу в чин действительного статского советника и жалуют баронский титул. Генералы с петушьими перьями и даже министры в звездах терпеливо ожидают в приемной, пока их не соблаговолит поодиночке пригласить на аудиенцию в его кабинет. Да что ему все эти министры, если одно его собственное «Правление» равняется четырем министерствам! Какая масса людей у него служит, а в «Совете» его заседают все генералы, все бывшие сановники, губернаторы, директоры департаментов, и он всем им платит жалованье и отпускает наградные деньги. Он сам живет и дает жить другим,— таков принцип Айзика Шацкера. Он берет миллионные подряды, получает выгоднейшие концессии, дает за это в департаментах, канцеляриях и будуарах солидные взятки в целые сотни тысяч; строит здания, мосты, железные дороги, поставляет на армию сухари и подметки, жертвует сто тысяч!— на реальное училище (черт с ним, куда ни шло!) и, наконец, открывает «Всемирную Гласную Кассу Ссуд», рассуждая при этом, что если существует «Всемирный еврейский Союз», то отчего не быть и «Всемирной Гласной Кассе». Тут уже благодарное человечество положительно вне себя от восторга и само заказывает художнику Маковскому

---

<sup>1</sup> Батхан — импровизатор и шут, необходимое лицо на всех еврейских свадьбах.

портрет благородного Айзика, причем Айзик на этом портрете, по собственному своему желанию, заранее уже пишется в Станиславской ленте через плечо. А скульптор Антокольский, в поучение и на память благодарному потомству, высекает из каррарского мрамора благородные черты физиономии Айзика... Известные писатели посвящают ему оды, предлагают в полное его распоряжение свои «честные органы печати», газеты и журналы, и заранее поступают в гувернеры его будущих детей, и он уже не Айзик, нет, не Айзик! Он теперь его превосходительство барон Анзельм Исаевич Шацкер фон Украинцев. Он золотой телец, он Молох, он Ваал нашего времени, вот он кто! И хотя Айзик принимает все эти почести и фимиамы довольно благосклонно, как должную законную дань, однако ему на них просто наплевать, потому что он, в сущности, новый Лассаль, потому что он мир переустраивает по- своему и всем равно благодетельствует (одна уже «Всемирная Гласная Касса» чего стоит!) и всех равно презирает.— «Черт с вами! Все вы не стоите моих о вас забот и попечений, тем не менее я, по великодушию своему, согласен быть вашим благодетелем. Получите и убирайтесь!» А свадебная музыка между тем гремит в честь его куранты (концерты), батхан провозглашает тост за тостом, экспромт за экспромтом. И вот, пред тем, как отправиться на свою брачную постель, приготовленную как бы ручками самой соблазнительной богини Лилис, Айзик в башмаках и белых чулках подает своей раббецене Тамаре руку, деликатно берется, как и она, кончиками пальцев за кончик ее носового платка и, по обычаю, начинают они вдвоем последний официальный полонез, амицвантанц — благочестивый, кашерный танец... И тут уже наступает момент ореола. Айзика и Тамару окружает величие и слава, как бы самого Ротшильда или Бениамина д'Израэли, с их законными подругами жизни. Но что ж это такое? «Ф-фе! Каково паскудство!» — Сквозь лучи ореола начинает вдруг прорисовываться статная, изящная, но крайне для него неприятная фигура, с огромной датской собакой на цепочке... Айзик узнает знакомые черты и приходит в бешенство, хочет броситься на этого проклятого человека, и не может, собственные руки и ноги его не слушаются, словно бы какая-то посторонняя невидимая сила приковывает его к месту и парализует малейшее движение.— «Ай, ду шейгец!» через силу вскрикивает он диким голосом и просыпается.

Сон этот, впрочем, не оставил в нем надолго неприятного впечатления, потому что действительность, после примирения с Тамарой, улыбалась ему в самых розовых красках. Айзик около часу проворочался с боку на бок, однако уже более не заснул. Вскоре первый солнечный луч заглянул к нему на сеновал сквозь щели дощатой стены; со двора слышалось гоготанье молодых гусей, из сада доносился щебет всякой мелкой пташки; утро вступило уже в свои права, и Айзик потягиваясь поднялся со своего ложа.

Каждый сын Израиля обязан прямо с постели приступить к омовению рук, без чего не смеет прикоснуться ни до рта, чтобы не сделаться немым, ни до глаз, чтобы не ослепнуть,

ни до ушей, чтобы не оглохнуть, ни до носа, чтобы не получить насморк, ни даже до воды, приготовленной для умывания, потому что иначе она уже будет нечистой. Айзик знал по Талмуду, что прежде омовения нельзя сделать по комнате и четырех шагов, не рискуя смертной казнью свыше, потому что оставшаяся в его руках нечистая сила, шед, оскорбляет святость Бога, господствующего над ним, но так как он ночевал не в комнате, а на сеновале, насчет которого в Талмуде он не помнит, чтобы имелись прямые указания, то потому и счел себя вправе сделать не только четыре шага, а и сойти вниз, во двор, к колодцу, где у него еще с вечера был приготовлен наполненный водой кувшин, специально на случаи утреннего омовения. И Айзик, по обрядовой привычке, взял эту посудину в правую руку и передал в левую, после чего облил водой сперва правую кисть, потом левую, потом опять правую, потом опять левую; и так до трех раз, пока нечистая сила не удалась. Не то чтоб Айзик верил в нее,— «сын века», он скорее ни во что не верил, но он исполнил обряд по привычке, унаследованной и вкоренившейся с детства, равно как по привычке же тотчас после омовения перешел и к другому обряду тфилин, для чего надел себе на лоб шел-рош, а на левую руку шел-яд<sup>1</sup> обмотав себе идущим от него ремешком семь раз запястье и три средние пальца, после чего приступил к утренней молитве, взывая между прочим: «Боже отмщений, Боже отмщений, явися! Возвысься Судия земли, отмерь возмездие надменным!» Не то чтоб он чувствовал потребность в молитве,— в Бога Айзик тоже не совсем-то верил или по крайней мере сильно сомневался в Его бытии,— но будучи большим еврейским патриотом, он полагал свою гордость и долг, как еврея, в неуклонном исполнении всех обрядов религии, столь резко отличающей избранную расу от остальной мирской нечисти, называемой человечеством. Он, по учению своих ламданов новейшего покроя, твердо придерживался этой обрядовой стороны собственно потому, что, веря в великое земное призвание всепокоряющего еврейства, смотрел на обряд как на цемент, как на силу, скрепляющую и объединяющую людей его расы. Притом же его самолюбию было и лестно, и приятно, когда посторонние, видя, сколь пунктуально исполняет он обряды, с похвалой называли его добрым, истинным евреем. Это, конечно, было своего рода фарисейство; но Айзик находил, что и фарисейство не только не лишнее, а напротив, очень хорошее, вполне необходимое дело для практических житейских целей. Рассеянно пробормотав положенные молитвы, он наконец покончил с утренними обрядами, убрал в карман свои шел-рош и шел-яд и отправился помечтать да погулять по саду.

Утро было великолепное. Длинные тени от деревьев и кустарников бежали и пятнами рассыпались по свежей зелени еще нескошенных лужаек, ярко озаренных солнцем и словно бы

---

<sup>1</sup> Шел-рош и шел-яд — кожаные коробочки величиной с вершок, в которые вкладываются выдержки из Пятикнижия (Исход, гл. 13, Впюрозаконие, гл. П.)

омытых росой. При взгляде на эти лужайки просто в глазах рябило от массы одуванчиков, рассыпанных в светло-зеленой траве, из которых одни уж отцвели и торчали белопуховыми шапками, а другие только что распускались и махровились ярко-желтыми, золотистыми звездочками. «Точно червонцы рассыпаны!» невольно и с удовольствием подумалось Айзику. По клумбам, окаймленным резедой, маргаритками и гвоздичкой, рдели роскошные пионы, высились оранжево-красные лилии, лиловые колокольчики, а по краям дорожек сирень благоухала изобильными гроздьями лиловых и белых цветов. Весенний аромат всех этих цветущих растений и трав, только что пригретых солнышком, носился тонкими струями в утреннем воздухе. Черный дрозд, малиновки и пеночки где-то в ближних ветвях оглашали сад своими мелодическими высвистами..; Поэтически хорошо и привольно почувствовал себя влюбленный бохер в эту пору в запущенном вековом саду Бендавида. «Вот тут-то любить и быть любимым,— о, какое счастье!» мечталось ему, когда, сорвав мимоходом лиловую ветку сирени, он с наслаждением упивался ее ароматом. Вот и то место, где давеча ночью в слезах он упал перед Тамарой на колени, где она сказала ему первое ласковое слово и протянула руку.— Ах, если бы удалось ему наконец победить ее гордое сердце!.. Какое счастье и какие богатые перспективы открылись бы тогда ему в будущем! Какая широкая финансовая деятельность!..

А вот и беседка, вот и тот самый куст, у которого он стоял и подслушивал... О, проклятый, ненавистный человек!.. Лучше не вспоминать о нем... Зачем не он, Айзик, на его месте!.. Но ведь она сама же сказала, что все это только так; пустяки, легкая шалость... Роман, вишь, свой маленький иметь захотелось...

— Эге!.. Однако, что ж это такое?!

И Айзик, незаметно дойдя до конца сада, в крайнем изумлении остановился перед калиткой, той самой, в которую Тамара выпустила Каржоля.

Калитка стояла растворенной настезь.

Что это значит? Как и чем объяснить себе такое странное обстоятельство? Ведь он сам, насколько было возможно в сумраке ночи, очень хорошо видел, как Тамара вслед за Каржолем затворила ее и даже замкнула на железную замочку. Скрип ржавых петель и звяк этой замочки он слышал ясно, отчетливо, в этом нет сомнения; он точно слышал его и ошибиться не может.

— Боже мой, неужели же?!...

И страшное подозрение, как змея, невольно заползло в душу Айзика.

Почти бегом пустился он назад, к дому, и, раздвинув сиреневые кусты, очутился перед раскрытым настезь окном Тамары. Заглянул в ее комнату,— пусто... Постель не смята, лампа не потушена, шкаф раскрыт и ящики комода наполовину выдвинуты; некоторые вещи, выброшенные из них, валяются кое-как на полу, на столе, на кресле. Очевидно, все это вынута было второпях да так и покинуто.

Побледневший Айзик в отчаянии только хлопнул себя о полы бессильно повисшими руками. Сомнений для него уже не осталось, все иллюзии рассеялись разом, и страшная действительность безмолвно, но убедительно свидетельствовала лишь один ужасающий факт: Тамары нет, Тамара убежала.

Первой мыслью Айзика было броситься будить стариков, чтоб им первым сообщить ужасную весть. Он побежал было к крыльцу, но тут нашло на него внезапное раздумье: поразишь их ударом, а пользы из того никакой не будет. Надо прежде всего, пока еще не поздно, вырвать Тамару из рук Каржоля. Если силу придется для того употребить, то брать и силой. Но что и как сделать, об этом лучше всего посоветоваться с армер-ламданом, рабби Ионафаном; он, конечно, живейшим образом примет к сердцу все дело и даст самый разумный совет. И Айзик бросился в ахсание.

— Цорес грейсе! Великие беды! — восклицал он, влетая в номер ламдана, который еще покоился сладким сном и, пробужденный Айзиком, сразу никак не мог взять себе в толк, чего надо бохеру и в чем собственно эти его «цорес» да еще и «грейсе», но наконец понял.

— Старики знают? — было его первым вопросом..

— Сохрани Боже! — поднял Айзик к вискам ладони.— Зачем прежде времени!.. Может, еще все и так устроится... Никто не знает,— заявил он,— никто!.. К вам первому прихожу за советом и помощью.

— И хорошо сделал,— похвалил ламдан.— Оно и точно, что незачем пугать их до времени. А где эта Тамара? — спросил он, подумав.— Как ты полагаешь, куда именно могла она скрыться.

Айзик объяснил, что больше некуда как к Каржолю.

— Хорошо. В таком случае,— присоветовал ламдан тоном приказания,— сию же минуту, сын мой, собери десятка полтора-два наших молодцов и окружи с ними дом этого бездельника, чтоб он никуда не успел увезти ее. А я сейчас же даю знать старшинам и тубам...<sup>1</sup> Надо собрать бейс-дин...<sup>2</sup> О, такое дело... Это все равно, что смертельная опасность, тут можно и шаббос по боку!.. Живее, друг, живее!

Айзик в ту же минуту побежал на общественную ученическую квартиру, поднял там несколько знакомых бохеров-гиборров, силачей из старшего курса, да забежал по пути к трем своим приятелям, приказчикам из галантерейного магазина рабби Соломона, и со всей этой компанией осадил квартиру Каржоля. С одной стороны, благодаря Айзику, с другой — рабби Ионафану, слух о побеге Тамары и об экспедиции Айзика Шацкера к дому графа очень быстро распространился в еврейской среде, так что к семи часам утра большая часть Украинского Израиля уже знала в чем дело и всполошилась и заволновалась, принимая эту историю очень близко к сердцу. Пред квартирой графа к этому времени собралось уже достаточное количество никем незванных и несланных добровольцев, готовых принять участие в отбитии Тамары.

В это-то время и подъехал Каржоль к воротам своего дома.

---

<sup>1</sup> Туб — представитель общины, заседающий в кагалыюм совете.

<sup>2</sup> Бейс-дин или бет-дин — дом суда.

## IX. НЕ ТА

— Что вам здесь надобно? — далеко не любезным образом спросил он всю эту компанию.

Жидки переглянулись между собой.

— Ми до вас дело имеем,— заявил один из наиболее бойких, который поэтому и взял на себя почин переговоров.

Айзик, весь бледный, с искаженным от злобы лицом, сверкая на Каржоль полными ненависти глазами, рванулся было вперед, но двое приятелей-приказчиков успели вовремя удержать его за руки, уговаривая вполголоса быть как можно спокойнее и благоразумнее.

Каржоль, при этом вызывающем движении Айзика, только крепче сжал в руке свою палку с кастетом.

— Какое дело? — нахмурился он, изображая якобы недоумение.

— Извините, здесь неудобно объясняться,— вежливо, но значительным тоном заметил переговорщик.— Для вас же самих неудобно будет. Ми лучше войдем у ваша квартира.

— Это вздор. У меня с жидками никаких дел нет, если вы не подрядчики,— довольно резко возразил Каржоль.— Коли нужно что, говори здесь.

— Здесь неловко.

— А неловко, так можешь и убираться.

— Однако, ваше сиятельство, позвольте!.. Что такова?.. Зачиво?.. Зачем? — зароптали вдруг голоса в еврейской кучке.

— К черту!.. Дайте мне дорогу!

— Нет, извините, так не можно!.. Позвольте пожалуйста без скандал!.. Для вас самих же лучше!

— Какой скандал и что такое лучше? В чем объясняться мне?

Переговорщик опять решительно выступил вперед.

— Извините,— сказал он.— У вас скрывается одна наша девица.

Каржоль принял в высшей степени удивленный вид.

— Девица?.. У меня?.. Ваша девица? Что за вздор такой!

— Так. То же не вздор... Одна благородная еврейская девица. Ми знаем наверно.

— Да вы с ума сошли!

— Зачем с ума! Отдайте нам наша девица и кончим без скандалов.

— Но уверяю вас честью, у меня никого нет.

— Пфэ!.. Зачем честь, когда ми знаем что есть!.. Ми знаем!.. Ви эта девица хотите на православье наvertать... Н-ну, отдайте лучше без скандал... Оставьте это дело... С такой штука кепськи интерес выйдет, вам же хуже будет.

— Однако мне это надоело. Проваливайте! — порешил с ними Каржоль и сделал попытку решительного движения к крыльцу. Но жидки снова преградили ему дорогу и снова загалдели что-то все разом.

— К черту! — гневно возвысил граф голос, замахнувшись палкой.— Прочь!.. Жидки мгновенно расступились.

Пользуясь этой минутой, он взбежал на крыльцо и сильно, обычной своей хозяйской манерой, дважды дернул ручку звонка. Но жидки столь же мгновенно обступили его снова.

В это время камердинер, узнав хозяйский звонок, поспешно отворил дверь, и не успел граф переступить порог, как человек шесть евреев вместе с ним насильно ворвались в прихожую.

— Это что такое?!.. Гони их вон,— крикнул он лакею.

— Но-но!.. Зачем вон... Не пойдем ми вон... Отдайте нам наша девица!

Между тем в прихожую один за другим набиралось все больше и больше евреев.

— Вон, говорю, гони!.. В шею!..

— В шея?.. Го-го! — загалдели жидки все разом.— Извините, нонче нельзя в шея! Не то время!.. Ми объясниться с вам желаем, ми в своем праве!

Шум и гомон еврейской кучки разрастался все больше, становясь и громче, и резче, и настойчивее.

— Вон, мерзавцы! — топнул на них Каржоль, опять замахнувшись палкой. Но на этот раз такая угроза уже не подействовала.

— Извините, не пойдем ми вон!.. И вы не замахивайтесь на нас из ваших палков!.. Ми не испугаемся!.. Отдайте нашу девицу!

— Я наконец пошлю за полицией, черт возьми! — пригрозился граф.

— За полиция? Очень даже хорошо! Ми и сами пойдем за полиция! Пускай приходит, будем дожидаться.

В эту самую минуту изнутри кабинета раздался энергичный стук в дверь и сильно задергалась замочная ручка.

Каржоль побледнел и выразительно взглянул на своего человека.

— Разве там еще? — с беспокойством спросил он его вполголоса.

— Там-с. Я, как вы приказать изволили, не пустил их, и даже стеклянную дверь с террасы нарочно колом подпер, что- бы не вышли... Очень плакали и стучались.

— Болван! — в бессильно-бешеной досаде прохрипел ему граф.

«Господи! Что ж это будет теперь? что это будет!?» думалось ему. «Увидит вся эта сволочь,— скандал на целый город»...

А стук из кабинета между тем продолжается порывисто, нервно, не прерываясь ни на мгновение.

— Отворите!.. Отворите мне двери! — отчаянно кричал оттуда вне себя до исступления раздраженный женский голос.



Евреи всполошились еще более.

— Ага!.. Это она!.. Она самая и есть!.. Она! — завопили они на все лады уже заранее торжествуя свою победу.— А что, не наша правда?.. Это так-то честью клянусь, что никого нет?»... Ха-ха!.. Хорошо честью!.. Н-ну, теперь и ми пошлем за полиция, пускай она сама отворяет!..

Этого только бы и не доставало в довершение всей прелести и без того уже великого скандала. Допустить, чтобы полиция открыла здесь Ольгу, Каржоль, разумеется, не мог и потому поспешил остановить одного из наиболее юных и юрких жидков, который уже собрался было бежать к полицеймейстеру.

— Не надо. Я сам отворю,— сказал он евреям,— и вы сейчас увидите, та ли.

Ключ повернулся в замке но пред изумленной кучкой в распахнутой двери предстала бледная, негодующая, глубоко потрясенная дочь генерала Ухова, столь хорошо знакомая в лицо всему Украинску.

Для евреев это было до того неожиданно и такое постигло их разочарование, что они сразу смутились и даже сконфузились до последней степени, как только можно себе представить.

— Не та!.. Что же это такое? — в полном недоумении переглядывались они между собой.

— Теперь вы убедились?.. Довольно с вас? — обратился к ним граф.— Довольно? Ну, так вон, сию же минуту!

— Что вон!.. Зачем вон, когда, может быть, там еще есть наша девица? — наконец-то очнувшись заговорили в кучке, но уже далеко не с прежней бойкостью и уверенностью.— Может-быть, она запрятана в другую комнату?.. Что мы знаем!.. Надо обиск на поверка сделать...

Но тут, к крайнему удивлению графа, к евреям выступила вдруг сама Ольга.

— Здесь нет никакой вашей девицы,— сказала она голосом, дрожащим от волнения,— теперь по крайней мере нет больше... Но ночью был кто-то... Это наверное... Я слышала женский голос... И этот человек,— указала Ольга на графа,— ночью же увел ее куда-то.

— Шма Изроэль!.. О, значит она в манаштнре!.. Ваймир!.. Она в манаштире вже! — в смятении всполошились и загалдели евреи.

— Бохерим! — горестно воскликнул Айзик, с мольбой обращаясь к товарищам и в отчаянии ломая себе руки.

И кучка вслед за Айзиком опрометью кинулась вон из прихожей, а через минуту уже ни души еврейской не осталось не только во дворе, но и у ворот на улице. Все это гурьбой хлынуло к монастырю, в самом тревожном и злобном возбуждении.

## Х. ВЫВЕРНУЛСЯ

Даже и не взглянув больше на графа, Ольга пошла было вслед за евреями вон из его дома.

Но Каржоль не мог отпустить ее не объяснившись. По его расчетам, для него теперь нужнее всего было примириться с Ольгой, для того чтобы сейчас же, что называется, втереть ей розовые очки, обезоружить ее гнев, обмануть подозрительность, усыпить на известное время ревность и вернуть к себе ее доверие,— нет! мало доверие, прежнюю веру в него, пока не обработается окончательно то дело. Поэтому он тотчас же бросился вслед за ней и, нагнав ее уже на последней ступеньке крыльца, успел выше кисти схватить ее руку и насильно не ввел, а почти втащил ее обратно в кабинет.

— Не сумасшествуйте!.. Вам невозможно идти в таком виде!— заговорил он твердо и строго, постаравшись придать себе возможно больше спокойствия.

Граф понимал, что в предстоящем объяснении ему прежде всего необходимо вполне владеть собой.

Между тем Ольга молча и мрачно глядела на него мало что с ненавистью, а даже с каким-то отвращением.

— Сейчас запрягут мою карету и отвезут вас,— продолжал он.— Сядьте... Успокойтесь прежде.

Вместо всякого ответа девушка лишь сделала попытку вырвать от него свою руку.

— Напрасно, Ольга: я не пущу вас. Пока не успокоитесь, вы не выйдете отсюда.

— Пустите руку! — повелительно крикнула она, сделав новое порывистое движение.— Не держите меня!.. Вы мне гадки!

— Извольте,— согласился Каржоль, освобождая ее руку.— Но из этой комнаты вы все-таки не выйдете.— Прикажи сейчас же запрягать карету, запри подъезд и никого не впускать сюда! — крикнул он человеку.

— Не к чему! — отозвалась Ольга.— Не удерживайте меня. Я пойду.

— Нет, Ольга... Бога ради...

— Я пойду, говорю вам!

— Но ведь вас увидят...

— Так что же?.. Меня уже видели, мне все равно теперь.

— Не делайте глупостей, Ольга! Не компрометируйте себя еще более!

— Я уже скомпрометирована... Все равно!

— Нет, не все равно!.. Не все равно, Ольга!.. Во всяком случае, я не пущу вас так.

— Ах, да поймите же,— раздраженно крикнула она с нервными слезами в голосе,— поймите вы, что после такого гнусного вашего поступка, мне мерзко оставаться с вами, мерзко глядеть на вас, мерзко дышать одним воздухом... Не могу я больше!.. Не могу!

— Если уж кого винить, то вините себя,— пожал Каржоль плечами.— Вы сами пожелали этого. Я предупредил вас, я предлагал вам уходить тогда же.

— Да, для того чтобы самому остаться с другой женщиной,— язвительно сказала девушка, обдав его презрительной усмешкой.

— Поберегите вашу ревность, Ольга, до другого случая,— спокойно заметил граф,— здесь она ни при чем и ни с какой женщиной я не оставался.

— Как!.. Вы отпираетесь?.. Вы еще лгать хотите? Лгать предо мной! — яростно накинулась она на Каржоля, потеряв уже последнее терпение.— И вы смеете мне говорить это! Вы можете еще смотреть мне прямо в глаза!.. Мне?!.. Гнусный, бессовестный, бесчестный вы человек после этого!

— Перестаньте, Ольга. Брань вам вовсе не к лицу, и тем более что лгать пред вами мне нет никакой надобности.

— Так у вас не было никакой женщины?.. Не было?.. Отвечайте же!.. Я вас спрашиваю, никакой?.. Вы чисты и невинны? И стало быть это я лгу?

— Нет, женщина приходила,— спокойно и даже апатично как-то возразил граф.— И что она была здесь, доказательство вам эти евреи. Но не имел же я возможности объяснять вам все это дело тогда же!.. Ведь я обещал, что после все скажу. Да и наконец, это была чужая тайна... Открывать ее раньше времени я не имел даже права. Теперь другое дело, она в монастыре уже.

— Кто это она? О ком говорите вы?

— О вашей приятельнице, Тамаре Бендавид.

Изумленная Ольга даже вскочила с места.

—"Как?.. Тамара Бендавид?!.. Да что вы за вздор говорите!

— Отнюдь не вздор. И с какой же стати я стал бы вдруг злоупотреблять именем честной девушки? Подумайте!

— Так это она приходила к вам? Тамара?

— Да. Тамара. Она задумала креститься в православную веру и обратилась ко мне с просьбой помочь ей устроить все это дело.

— Ну? — нетерпеливо перебила Ольга с крайне изумленным, жадным любопытством.

— Я дал слово,— продолжал граф.— Быть может, это была неосторожность, но... делать нечего!.. Пришлось, разумеется, исполнить. Было условлено, что в эту ночь я отвезу ее в монастырь, к Серафиме.

— Ну?!

— Ну, и вы чуть было не помешали всему этому. Ведь я же не рассчитывал найти вас у себя чуть не в три часа ночи! Ну и подумайте, как было бы красиво, если бы вдруг она застала здесь вас... среди ночи! В хорошем свете, нечего сказать, оба мы предстали бы пред ней!

— Вы должны были тотчас же предупредить меня,— заметила Ольга.

— Да когда же, подумайте! И до того ли мне было, когда вы сразу огорошили меня таким сюрпризом, да и наконец, повторяю, я не имел тогда права выдавать чужую тайну, и не показалось ли бы вам все это слишком невероятным, если даже и теперь-то вы едва верите?

— Хорошо, но где же вы до сих пор пропадали и к чему было запирать меня на замок таким предательским образом? — все еще раздраженно и подозрительно спросила девушка.

— К тому, что не запри я вас, вы, с вашей взбалмошной натурой и с этой ревностью бесшабашной, наверное выбежали бы вслед за нами и наделали бы только величайших скандалов и ей, и мне, и себе... Что же мне оставалось, коли вы добром не уходите?! Я рассчитывал вернуться вскоре, но вмѣсто того в монастыре, да у архиерея задержали. Теперь, слава Богу, она уже принята.

Это открытие относительно Тамары, когда наконец Ольга вполне поверила словам Каржолья, так поразило ее, что несколько времени она не могла сказать ни слова и только во все глаза глядела на графа.

— Ну и скажите же, милая Ольга,— заговорил он после некоторого молчания.— Убеждаетесь ли вы хоть теперь-то, что все это дело гораздо проще и честнее, чем вам вообразилось?

— Боже мой! — схватилась она за голову.— Каких же я глупостей наделала!..

— Да, и преогромных, к сожалению,— несколько менторским тоном заметил граф,— но... вините свою собственную взбалмошность. Мне же более всего прискорбно, что теперь я убедился, насколько мало вы в меня верите. Печальное убеждение, Ольга, для будущей супружеской жизни,— прибавил он со вздохом.

— Да, но... вот что однако,— заговорила она в раздумье, как бы соображая нечто,— все это хорошо, но... с какой стати Тамара с этим делом обратилась к вам? Почему к вам именно.

— А уж это вы ее спросите,— с легкой усмешкой пожал Каржоль плечами.— Это уж ее дело... Но полагаю потому, вероятно, что я более других внушал ей доверие.

— Да, но что же вы за миссионер такой? Откуда вдруг этакое рвение к религии в вас-то, в воас?! Подумайте, ведь это курам на смех!

— Что ж вас так удивляет? — невольно усмехнулся Каржоль (внутренне ему и самому, в самом деле, сделалось очень смешно).— *Mais non, dites serieusement*, отчего бы и не помочь человеку, коли уж у него такое искреннее рвение, как вы сказали? Да тут и всякий на моем месте помог бы просто из гуманности и... наконец, как русский человек, коли хотите. В этом крае оно даже и политически кстати. Ведь я же русский: как вы полагаете? Но это в сторону,— небрежно махнул он рукой.— Меня заботит совсем другое, гораздо более важное для нас с вами.

— То есть что ж именно? — спросила Ольга.

— А то, что творит теперь дома ваш батюшка и чем объясните вы ему свое странное отсутствие.

Ольга несколько насупилась, но ненадолго. Через минуту ее чувственно крупные, всегда полуоткрытые губы, позволявшие видеть ряд жемчужно-белых зубов, опять сложились в спокойно-самоуверенную

и даже беспечную улыбку, которая необыкновенно шла к ее капризно-красивому, мило-неправильному лицу и вообще ко всей ладно сложенной, довольно крупной и развитой фигуре.

— Что же,— подняв брови, мотнула она головой,— так и скажу, что была у вас, и всем скажу то же.

— Однако?

Каржоль в недоумении от ее слов даже несколько смутился.

— Разумеется,— подтвердила Ольга, другого ничего не остается и тем более, что эти жида меня видели.

— Но ведь тогда весь город заорет, что ты моя любовница.

— А пусть его орет на здоровье!

— Ну, нет, мой друг! Je vous demande pardon!.. Разве для тебя это так безразлично?

— Как сказать тебе? И да, и нет. Но разве нельзя найти приличного объяснения?

— «Приличного объяснения?!» — возразил граф, недоумевая.— Объяснения такому невероятному факту, что в девять часов утра целый жидовский кагал находит тебя в квартире холостого человека, которого, вдобавок, и дома-то сначала не оказалось.

— Вот это-то и хорошо, что не оказалось. Оно и кстати.

— Pardon chere, но я тебя решительно не понимаю. Ведь жида видели, что ты была заперта на ключ; ты при них ломилась в дверь и кричала благим матом: отворите! Ты сама, наконец, сказала им, что была здесь ночью, слышала женский голос... Стало быть, весь город будет знать, что ты именно ночью была у меня!

— Да, именно ночью. Что ж из того? Скажу, что причиной всему та же Тамара, если только вы не лжете мне, что это была она.

— Нет, Ольга, видит Бог, я не лгу, действительно она,— искренно подтвердил граф.— Но, грешный человек, чем дальше, тем все меньше начинаю я понимать тебя. Или уж от всей этой передрыги да от бессонной ночи мой мозг устал наконец работать, я не знаю, но только объясни, Бога ради, какими судьбами ты находишь возможным приплести сюда еще и эту бедную евреечку?

— Я скажу всем, что участвовала в ее тайне, даже лично помогла ей уйти из дому, сама привела ее сюда, потому что между нами троими это уже заранее было так условлено, и когда ты повел ее в монастырь, я осталась здесь ожидать твоего возвращения, чтоб узнать о результате, ну и в ожидании заснула на диване да и проспала до утра, пока не испугал меня какой-то гвалт жидовский. Весь этот шум я наделала от перепуга, спросонья, это так понятно!

— Хорошо, хорошо!.. Превосходно! «Понял Михайло Васильевич! Понял!» — комически воскликнул граф знаменитой фразой Расплюева, радостно потирая себе руки.— Однако ты, моя прелесть, просто Наполеон в юбке, ей-богу!

— Ну, пожалуйста, нельзя ли без подобных сравнений! — слегка оборвала его Ольга, несколько задетая за живое этой,

как показалось ей, неуместной шуткой.— Мне вовсе не до смеха,— прибавила она не без горечи,— да и радоваться здесь, право, нечему.

Каржоль осекся и немножко задумался.

— Это хорошо придумано,— сказал он уже серьезным тоном.— Даже очень хорошо, мой друг, и, пожалуй, вполне правдоподобно, но все-таки есть и в этом своя маленькая закорючка.

— Какая еще?.. Что за закорючка? — досадливо сдвинула брови девица Ухова.

— Да то, что ведь ты же сама выдала ее жидам чуть не головой,— пояснил Каржоль.— Ты засвидетельствовала им, что здесь была какая-то женщина, что ты слышала ее голос и прочее; стало быть, сама ты ее не видела и не знаешь, кто именно. Ведь это тоже распространится, ну и стало быть, ты была у меня совсем независимо от Тамары, вот что!

— Хм!., мало ли какие выдумки и сплетни распространяются! — презрительно двинула губой Ольга.— Кто же станет проверять это? И кому какая нужда справляться?.. Будут говорить, конечно, так и этак. Но ведь вопрос: в какой среде оно распространится? Между жидами? Так ведь нам, полагаю, важны не жида, а общество. А для общества всегда можно подобрать достаточно убедительное доказательство.

— Воля твоя, я не вижу его,— сомнительно двинул граф приподнятыми бровями и плечами.

— Не видишь?.. Гм!.. Убогий ты человек, как я погляжу! — с добродушной иронией покачала она головой.— А еще «деятель практический» называешься, «современный деятель». Ну, и какие же вы «деятели», коли даже девчонки, как я, должны не только думать за вас, а даже жевать и в рот вам класть!.. Дело очевидное,— пояснила Ухова.— Для этого стоит только мне самой написать к этой бедной Тамаре. Я признаюсь ей, что я твоя невеста, что я была у тебя в то время, как она приходила, одним словом, расскажу откровенно все, что случилось, и попрошу ее подтвердить в случае надобности и мое тоже участие в ее деле. Она девушка с сердцем и, конечно, для старой подруги не откажет, да если даже не для меня лично, то хотя бы из благодарности к тебе, за твою услугу. Ты и сам, кроме того, можешь попросить ее.

Внутренно Каржоль очень испугался этого проекта. Объяснить Тамаре, что Ольга его невеста — как раз кстати, что и говорить!..

— Н-нет, моя милая,— сказал он сообразившись.— К чему тебе самой выдавать на себя такие документы? Мало ли что в жизни случается! Сегодня друзья, завтра враги. Это у вас промеж женщин так легко делается. Да и Бог знает еще, попадет ли твое письмо непосредственно в руки Тамары: ведь в монастыре есть тоже своя цензура, и очень даже строгая. А лучше уж предоставь мне, я сам скажу ей все это и попрошу ее.

— И то правда,— согласилась Ольга.— В самом деле, скажи; этак даже лучше. А затем,— продолжала она с несколько циничною усмешкой истинно житейской практичности,

— где там еще да и кому разбирать, что правда, что нет: добрые души поверят, а кто и не поверит, так наплевать!

— «Наплевать!» — весело изобразил Каржоль всей фигурой своей комический ужас.— «Наплевать»... Что за выражение?.. Барышня, благовоспитанная барышня!.. Генеральская дочка!.. От вас ли это слышу я?

— Ах, оставьте, пожалуйста! — досадливо дернулась Ольга.— Стану я еще с вами-то выбирать теперь мои выражения! Как сказало, так и сказала. Мне, ей-Богу, не до шуток!.. Я хочу,— добавила она,— сказать только одно, что в глаза мне высказать этого никто, конечно, не посмеет, а если и найдется кто, то ведь так оборву, что и своих не узнает. А за глаза пусть себе болтают, что хотят! Про всех говорят ведь и всех однако же принимают и уважают, и никому от этих разговоров не теплее, ни холоднее.

— О, да ты у меня, в самом деле, что называется, козырь-девка! — с видом напускного восторга воздел свои руки Каржоль.— Ей-богу! И знаешь, все это придумано тобой вовсе недурно, даже очень хорошо! Прекрасно придумано! И я могу только изумляться такой находчивости. Именно, так и говорить: ждала, мол, у Каржоля. И чем откровеннее, тем лучше: по крайней мере, грязных подозрений меньше будет.

Раза два он прошелся по комнате и снова остановился пред нею.

— Только, пожалуйста, рассказывай об этом с самым невинным, обыкновенным видом, понимаешь? Чтобы все было окончательно с толку сбиты, начиная с твоего почтеннейшего родителя. Это непременно. Молодец, Ольга!.. Умница!.. Что дело, то дело!

— Карета уже подана,— слегка притворив дверь, объявил камердинер.

Барышня Ухова поспешно поднялась с места и стала собираться, надевать шляпку, зашпиливать пред зеркалом вуаль, поправлять волосы, натягивать длинные шведские перчатки.

Каржоль невольно залюбовался плавным изгибом и вообще всем этим красивым рисунком ее соблазнительно стройной фигуры, которая, что греха таить! — нравилась глазу и говорила его чувственности несравненно более, чем нервная фигурка Тамары, хотя и Тамара тоже была очень и очень красива, только совсем в другом роде.

Наконец, окончив сборы, Ольга подошла к нему проститься и протянула свою красивую руку, изящно затянутую далеко выше кисти в серую замшевую перчатку.

— Что будет дома, вечером постараюсь написать; ты не приходи сегодня,— сказала она и на прощание подарила графу поцелуй полного примирения.

— Фу-у!.. вывернулся! — с облегченным вздохом, потягиваясь всеми членами и от души зевая, сказал себе Каржоль после ее ухода.

По-видимому, дела его начинали устраиваться недурно!

Между тем Ольга, никем не замеченная усевшись в экипаж, ради предосторожности от посторонних взглядов спустила все створки и без всяких приключений благополучно доехала до дому.

## XI. АУНУС НЕФОШОС

Талмуд вещает всем добрым евреям, что кто в «шаббос» предается «тайныгим», т.е. удовольствиям и сладостям душевным и телесным, тот в награду за это будет вечно наслаждаться Богом<sup>1</sup>, а раввины вдобавок еще обещают, что такому простятся все его грехи и освободится он от судьбы «гегенема»<sup>2</sup>

Сон составляет также одну из принадлежностей шаббасовых «тайныгим» и потому рабби Соломон проснулся сегодня несколько позже обыкновенного. Мечтая о том, каким образом проведет он этот праздничный день и сколь приятно побеседует по душе с ламданом Ионафаном, старик благодушно следил улыбающимися глазами, как его достопочтенная супруга, поспешив прежде всего троекратно облить водой свои руки, кряхтя и зевая, не без труда натягивала на свои толстые икры чистые нитяные чулки. Но прежде чем удалилась она из спальни к отправлению своих утренних обязанностей по хозяйству, поднялся рабби Соломон с мягких бебехов.

Мы уже говорили, что каждый сын Израиля обязан прямо с постели приступить к омовению рук, без чего не смеет прикоснуться ни до единого из членов собственного тела, чтобы не приключилось каждому из таковых какой-нибудь особенной мерзости, специально для каждого предназначенной именно за нарушение этого талмудического постановления. Никто, конечно, лучше рабби Соломона не знал и того, что прежде омовения нельзя сделать по комнате и четырех шагов, не рискуя за это смертной казнью свыше. Но от постели рабби Соломона до его умывального столика было ровно три с половиной шага, на меру еврейского «локтя»,— стало быть, он никак уже не рисковал возможностью быть сраженным небесной стрелой, ибо Талмуд говорит не о трех с половиной, а именно о четырех локтях<sup>3</sup>.

Не ранее, как совершив удаление нечистой силы с кончиков своих пальцев посредством троекратного и попеременного обливания их водой, нарочно приготовленной с вечера, мог рабби Соломон безгрешно взяться за мыло и приступить к основательному умыванию рук, лица и шеи. Еще не успев досуха обтереться полотенцем, почтенный рабби поспешил накрыть себе голову бархатной ермолкой,— «чтобы чувствовать на себе страх Божий»<sup>4</sup>, и, осмотрев кисти цицыса — целы ли

---

<sup>1</sup> Талмуд, Трактат «Шаббос».

<sup>2</sup> Гегенем — ад.

<sup>3</sup> Ойрах-Хаим, гл. IV.

<sup>4</sup> Талмуд, Трактат «Шаббос».



в нем все нити,— еще поспешнее надел лапсердак, совершая над цицысом положенную молитву<sup>1</sup>.

В эту самую минуту сквозь притворенную дверь донесся до его слуха встревоженный говор перебивающих друг друга женских голосов домашней прислуги и вместе с ними отчаянный вопль — именно, вопль его супруги.

Рабби даже вздрогнул при этой страшной и непонятной необычности, почуяв сердцем что-то недоброе.

Недоумевая, что могло бы это значить, поспешно насунул он на босу ногу свои бархатные туфли и накиннул на плечи шлафрок, в намерении идти и самолично осведомиться о причине внезапного переполоха, как вдруг увидел, что в спальню, шатаясь и чуть не падая на каждом шагу, вошла почтенная Сарра, с лицом, искаженным от испуга и отчаяния.

— Тамара... Тамара... простонала она задыхающимся голосом и вдруг, потеряв сознание, повалилась на пол.

— Боже мой!.. Воды!.. Доктора!.. Людей сюда!.. Кто там?!.. Скорее! — кричал растерявшийся Бендавид, взясь над недвижно лежавшей женой и тщетно сясь поднять с полу ее грузное тело.

На крик его прибежали обе батрачки и родственница-приживалка. Где бы схватиться разом да помогать, эти бабы с перепугу подняли вой с причитаньями и только всхлипывали да ломали себе руки и головами жалостливо покачивали, стоя над распростертой ниц старухой.

— Да пособите же мне поднять ее!.. Дуры! Олухи! — с мольбой и гневом отчаяния крикнул им Бендавид.

И только после этого возгласа ошалевшие бабы как бы очнулись, поняли, что надо делать и, соединив с хозяином общие дружные усилия, помогли ему перенести на постель тело старухи.

— Доктора!.. Скорее доктора! — кидался из угла в угол Бендавид.— Бегите за доктором Зельманом... бегите за ним. Кто-нибудь... Воды, Бога ради!.. Спирту!..

— Но ведь шаббос, достопочтенный рабби,— как же бежать-то?.. Ведь шаббос, подумайте! — возразила какая-то из баб.

— Так вы хотите, рабби, чтобы мы нарушили святость субботы! — присоединилась к ней и другая батрачка.— Это невозможно!.. Доктор Зельман живет за нашим ойривом — надо к нему бежать за мост, как же бежать за ойрив<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Нити цицыса служат талисманом против посягновений злого духа, а потому многие евреи никогда не снимают его, даже и ночью.

<sup>2</sup> Ойрив — соединение; бывает двух родов: ойрив-хацойрис — соединение дворов и ойрив-тхимин — соединение пространства. Евреи во время шаббоса не имеют свободы передвижения более чем на 2000 шагов и права переноса вещей из комнат во двор и наоборот (Талмуд, кн. Мугин-Эрец). Ойрив устраняет подобные стеснения. Ойрив-хацойрис состоит в том, что хозяин двора передает свой хлеб соседу, который объясняет всем жильцам дома, что хлеб этот подарен всем и все они считаются жильцами одной квартиры, где переноска вещей не возбраняется.

Что подумают, что скажут?!

— О, пропадай ты!.. «Ойрив»! — в отчаянии крикнул Бендавид.— Тут аунус-нефошос, понимаешь ли? Смертная опасность для еврейской души!

— Все ж таки, рабби, лучше послать шаббос-гойя, чем самой-то нарушать субботу.

— Аунус нефошос, говорю! — совсем уже расвирепел на дуру служанку хозяин.

Та оробела и опрометью кинулась из комнаты, но все-таки не отважилась нарушить святость субботнего дня и ограничилась тем, что, кликнув с кухни шаббос-гойя и наняв ему у ворот извозчика, растолковала тому и другому, где живет доктор Зельман и что нужно его как можно скорее к умирающей хозяйке, а сама осталась у ворот поджидать их возвращения,— пускай хозяин думает, что сама побежала.

В комнатах между тем продолжалась суматоха: одна баба бежала в кабинет за нашатырным спиртом, другая в кухню за водой; старик всячески старался привести в чувство жену: ей прыскали на лицо водой, смачивали голову, подносили к носу спирт, растирали им виски, терли под ложечкой, но никакие усилия не могли пока преодолеть глубокого обморока.

«Тамара... Она сказала Тамара», думалось в то же время рабби Соломону;

— Что такое Тамара? В чем дело?... Из-за чего все это у вас там случилось? — спросил он родственницу-приживалку.

— После, рабби, после... Некогда! — скороговоркой и как бы мимоходом отвечала та, явно желая отделаться от подобных расспросов.

— Да где Тамара? — не унимался старик.— Отчего ее нет здесь? Позовите ее... Где она?

— Н... не знаю,— смущенно пробормотала служанка, стараясь не глядеть на хозяина.

— Трите!.. Я сам пойду за ней.

И Бендавид быстрым движением поднялся с места. Предчувствие чего-то недоброго все сильней и сильней хватало его за сердце, и поэтому, все росла, все усиливалась в нем нетерпеливость узнать наконец, в чем дело, которое от него очевидно скрывают.

— Не ходите, рабби,— проворно предупредила его приживалка.— Не ходите, ее там нет.

— Но где ж она наконец?! Ступайте, сбегайте за нею!.. Где она?

— Не знаем, рабби... потом... потом все узнаете...

— Да что там у вас вышло?.. Отчего этот обморок с женою?

— Потом... потом, рабби,— смущенно лепетали обе женщины, кидая на него умоляющие взгляды.— Ничего особенного...

---

Ойрив-тхимин в случае необходимости удаления от дома на значительное расстояние заключается в том, что на расстоянии 2000 шагов в землю закапывается кусочек хлеба, и это место считается новым домом, от которого опять отсчитывается 2000 шагов и т.д.

Верьте, ничего!.. Трите, Бога ради, помогайте нам... Некогда теперь...

Бендавид только досадливо пожал плечами. «С вами, видно, ничего не поделаешь толком!» — и усевшись подле жены на край постели, послушно принялся снова за растирание.

— Это глупо, наконец! — с неудовольствием говорил он в то же время; — глупо, что вы от меня скрываете... Все равно, я же ведь узнаю... Кажись, пока еще, слава Богу, мужчина, в обморок не упаду и не расплачусь, как ребенок. Говорите! — прибавил он строго и настойчиво.— Говорите, я вам приказываю!

— Что ж делать, рабби! — слезливо завздыхала приживалка.— На все воля Божья... Всевышний знал, что творил, когда и многострадальному Иову посылал испытания... Мы должны следовать великим примерам Танаха...<sup>1</sup>.

— Не учите меня об Иове! Я и без вас знаю! — перебил се старик.— Я вас спрашиваю, что такое у нас случилось?

— Ах, рабби, в этом-то и дело... Я, по правде, и сама не знаю еще хорошенько, что именно случилось и насколько все это правда; но... так слыхала я... так посторонние говорили... Чужие люди забежали к нам на кухню справляться, правда» ли... Мы в то время еще только с постели поднялись, как они уже прибежали и спрашивают, точно ли? — А мы и не подозревали еще ничего, даже в толк себе взять не могли... И чужие-то — никто, просто, верить не хочет, хотя, кажись, весь город уже знает и кричит об этом...

— О, Боже мой! Что за бестолковая! — теряя терпение и как бы обессилев от досады, опустил руки Бендавид.— Да объясните же толком, о чем кричит, чему верить не хочет?

— Я же и объясняю, рабби... Я все как есть, по порядку объясняю... Но только вы-то сами, раоби, Бога ради, будьте поспокойнее.

— Да не мучьте же!.. Чего вы душу из меня тянете!

— Хас вешолаум, рабби! — Сохрани Боже!.. Как это можно!.. Я только хочу предварить, приготовить вас, моего благодетеля, к тяжкому удару и рассказать по порядку.

— О, мучительница! — воскликнул старик в досаде отчаяния, воздев кверху глаза и плечи.— Ну, говорите по порядку — пусть так! Но только скорее!

— Вот, я же и говорю, рабби.Они, говорю вам, спрашивают, точно ли, а мы не верим, не можем верить... Да и как поверить, чтобы девица такого благородного дома, отрасль такой благочестивой, знаменитой фамилии... А тут, вдруг входит сама балбоста и спрашивает, где Тамара? — Это балбоста, значит, вставши с постели, по обыкновению, к ней в комнату прошла. Мы ей на это и объясняем, что так и так, мол, а тут сейчас с ней и обморок этот сделался... При нас, впрочем, только вскрикнула, а уж обмороку вы сами, рабби, свидетель были... Мы ведь уж потом прибежали на ваш же зов... Мы этому не свидетели.

— Да говорите толком! — вскипел наконец выведенный

---

<sup>1</sup> Танах — Библия.

из терпения Бендавид.— Умерла она, что ли?

— О, рабби!.. Если б умерла, это бы еще ничего... Но нет, к несчастью... хуже, гораздо хуже этого...

Старик побледнел и, опустив руки, впился в приживалку неотступно вопрошающим взглядом.

— Что же хуже?., говорите... говорите все... Я готов,— с трудом переводя дух, пролепетал он почти шепотом.

— Увы, рабби!.. Она убежала.

— Как убежала?!.. Куда? — сорвавшись с места,— вскочил вдруг на ноги Бендавид.

— Не знаю в точности, но говорят... Только, Бога ради, не пугайтесь, достопочтенный рабби.

— Куда, черт возьми?! — гневно крикнул на нее Бендавид.

— В монастырь, рабби, в женский монастырь, принимать авойде зурс<sup>1</sup>.

Старик на минуту остолбенел, но потом очнулся и, словно бы пробуждаясь от тяжелого кошмара, медленно провел по лицу рукой.

— Какой вздор! — сказал он тихо и, по-видимому, спокойным голосом.— И как не стыдно болтать такие пустяки!

Разве это статочное дело, ну подумайте сами! Кто это выдумал такую глупость? Кому пришло в голову?

— Мы тоже не верим, рабби,— робко заметила служанка,— но посторонние болтают... посторонние пришли и первые сказали нам... Мы не поверили.

— Кто эти посторонние? — нахмурил брови Бендавид.— Гойи какие-нибудь, прощелыги, смутители... Над честным семейством надругаться захотелось! Кто они?

— Да все наши же, все евреи... И с таким участием прибежали... Возмущены все ужасно...

— Я не верю этому,— твердо и решительно заявил Бендавид.

— Я и сама так думаю, что тут какое-нибудь недоразумение,— поспешила вернуть слово родственница-приживалка.

В это время вошла другая служанка и доложила, что доктор Зельман уже приехал и ожидает в зале.

Рабби Соломон вышел навстречу.

— Бога ради, доктор,— простер он к нему руки.— Бога ради!.. Спасите ее... Помогите... Умирает... Может, и умерла уже...

Зельман, медлительно потирая себе ладонь об ладонь, думал было сначала методически расспросить в чем дело, что за болезнь, с чего началась и прочее; но рабби Соломон, ухватив его за руку, так быстро и энергически повлек его в спальню, что тому уже не до методики стало.

— Давно это с ней? — спросил он, щупая пульс у бесчувственной старухи.

— Идесяти минут еще нет... Но, Бога ради, что это? Обморок? Смерть?.. Ни вода, ни спирт, ни растирания — ничто не берет!.. Что это, доктор, что? Не томите!

---

<sup>1</sup> Христианскую веру.

— М-м... так, маленький удар,— объявил Зельман.— Это ничего, пройдет, надо только легкое кровопускание сделать. Пустяки, успокойтесь!

И достав из бокового кармана мягкий сафьянный футляр с хирургическим набором, он спешно и толково, как мастер своего дела, отдал прислуге приказание насчет всех необходимых ему приспособлений к операции.

Пока из разных мест появлялись на сцену то губка, то полоскательная чашка, то полотенце и горячая вода, доктор Зельман обратился к Бендаvidу.

— Без сомнения,— сказал он с видом грустного участия,— это последствие нынешнего случая? Это так подействовало на почтенную даму сегодняшнее печальное происшествие?

Рабби Соломон вздрогнул.

— Какое происшествие? — почти невольно сорвалось у него с языка, и почти невольно же выпучил он свои недоуменные глаза на доктора.

«Неужели и он, и он знает уже... Неужели и он подтвердит, что это правда?» буравила его мозг убийственная мысль,— и рабби Соломон одновременно и желал, и боялся услышать из уст постороннего человека подтверждение страшного факта. Он сам еще не вполне верил, не хотел верить этому «вздору». Его вопрос: «какое происшествие»? в упор брошенный доктору вместо ответа, и это выпучение глаз были хотя и притворны, но внутреннее движение, их вызвавшее, мгновенно явилось каким-то совсем невольным, даже искренним образом, непосредственно, само собой.

— Разве у вас в доме ничего такого... особенного не случилось? — возразил доктор.

— У меня в доме?... А что такое?

Теперь уже и доктор, в свой черед, выпучил недоумевающие глаза на Бендаvidа.

— Н-нет, ничего,— пробормотал он.— Я так думал только, полагая, что должна же быть какая-нибудь причина.

Рабби Соломон ничего на это не ответил и только глаза свои отвел куда-то в сторону.

Оба несколько сконфузились, обоим стало как-то неловко друг перед другом. Доктор, чтобы замаять как-нибудь это положение, с усиленной хлопотливостью обратился к своим приготовлениям и стал засучивать себе рукава.

— Я не могу видеть крови, доктор,— сказал меж тем Бендаvid.— Можно мне пока удалиться?

— О, разумеется! Вас позовут, если понадобится,— охотно отпустил его Зельман.

Рабби Соломон нарочно сослался на кровь — это для него был первый пришедший на ум предлог, чтобы выйти из спальни и иметь возможность пройти наконец в комнату Тамары. Его томило жгучее нетерпеливое чувство — убедиться самому своими глазами — правда ли то, что ему сказали? Но в то же самое время он боялся окончательно убедиться в этом и потому в последнее мгновение остановился перед дверью внучкиной комнаты в какой-то странной даже для

себя самого нерешительности.

«Да что же я, мужчина, наконец, или тряпка?» подбодрил он себя и с достаточной твердостью переступил порог.

Увы!.. Вид этих выдвинутых ящиков и разбросанных пещей не оставлял больше места сомнениям — «ушла... убежала... опозорила...»

Никаким внешним движением не проявил Бендавид того, что произошло в его душе в эту минуту. Он остался, по-видимому, спокоен и тихими шагами удалился из комнаты, плотно притворив за собой дверь, как бы для того, чтобы посторонний глаз как-нибудь, даже случайным образом, не проник туда и не увидел бы в беспорядке этой комнаты немых свидетельств бегства Тамары. Он прошел к себе в кабинет и сосредоточенно погрузился в свое глубокое кресло. Но лицо его не выражало ничего — ни скорби, ни гнева,— скорее в нем можно было подметить выражение тупой апатии, пришибленности и недоумения, словно бы он там где-то, в недрах своей души, вопрошал кого-то: «за что?., за что мне все это?»

В таком положении, некоторое время спустя, застал его вошедший в кабинет доктор.

— Слава Богу, привели в чувство,— сказал он с довольным видом специалиста, которому удалось хорошо исполнить свое дело.— Теперь ничего, все хорошо; надо только полное спокойствие и не говорить, даже намеком не напоминать ей ни о чем неприятном... понимаете?.. Позвольте присесть, я напишу рецепт. Через несколько дней, даст Бог, она поправится.

— Зачем? — как-то странно, не то с укором, не то с недоумением проронил слово Бендавид.

Доктор, прежде чем ответить, с некоторым внутренним беспокойством окинул его взглядом.

— Как, «зачем», говорите вы? — сказал он.— Затем, разумеется, чтобы быть здоровой.

— Зачем? — повторил Бендавид.— Для чего быть здоровой?.. Теперь это лишнее.

— Однако, как же так лишнее?

— Лишнее, доктор. Теперь умереть бы скорее. Если уж такие молодые умирают, так нам-то, старикам... Что же нам жить теперь!..

— М-м... н-да, конечно... ваше горе велико, я понимаю,— говорил сквозь зубы доктор, наскоро прописывая рецепт.— Н-но!.. Что же делать!.. Божья воля — надо покоряться...

— То-то, что Божья... Я и покоряюсь,— горько усмехнулся старик.— Бедная девочка,— прибавил он в раздумье.— Умереть так рано... Это... ужасно... Ужасно, доктор.

— О ком говорите вы, рабби? — с недоумением спросил Зельман, пытливо оглядывая старика все с большим и большим беспокойством.

— О ней... О внучке нашей... Разве вы не слышали?

— Н... нет... то есть... я слышал уже... мне сказывали,— проговорил доктор как бы нехотя и нарочно потупясь,

чтобы не глядеть на старика.

— Да, умерла, к несчастью... Бедное дитя... Мы все так ее любили...

И вдруг поднявшись с места, он как-то решительно подал Зельману руку:

— Прощайте, добрый доктор... Благодарю вас.

Зельман между тем продолжал стоять в явной нерешительности. Опасливое сомнение о самом Бендавиде начинало его беспокоить не на шутку. «Уж не спятил ли ты, чего доброго?» читалось на его лице.

Бендавид, казалось, понял его мысль и принужденно улыбнулся.

— Я здоров, доктор... Я совершенно здоров и, к несчастью, умру, кажись, еще не особенно скоро. До свидания, дорогой мой... Извините, но... мне очень тяжело на душе и хочется остаться одному... Вы меня понимаете...

И еще раз горячо пожав руку Зельмана, рабби Соломон выпроводил его из своего кабинета.

Зельман однако же не ушел, а отправился опять к больной Сарре, справедливо рассчитывая, что в такие острые минуты помощь его может еще пригодиться и ей, и самому Бендаvidу.

Снова оставшись наедине, старик наконец дал волю своему горю. В тоске стыда и отчаяния, изнемогая и задыхаясь от подступа глухих рыданий, он порывисто разодрал на себе от ворота до самого края сорочку, сбросил с ног башмаки и, забившись в темный угол своего кабинета, сел там на голом полу, как садится обыкновенно каждый добрый еврей, находящийся в шиве<sup>1</sup>. С той минуты как он убедился, что Тамары нет, он сказал себе в сердце своем, что она умерла — умерла для него, для родных, для еврейства. Но сердце его все же не могло примириться сразу с этой ужасной мыслью; голос родной крови, естественный голос любви, жалости и сострадания к заблудшей вопиял в нем не менее сильно, чем и чувство негодования к ней за ее поступок и за тот позор, что навлекла она на себя и на его седую голову и на весь род Бендавидов, в котором до сих пор не бывало еще мимеров и мешумедов<sup>2</sup>. И он чувствовал все свое бессилие спасти ее. Упершись локтями в колена и глубоко запустив пальцы с висков во включенные волосы своей понурой головы, старик долго сидел в полной неподвижности. Отяжелевший и отупевший взор его из-под мрачно сведенных бровей уставился в одну клетку крашеного пола и как бы застыл на ней. Казалось, вся жизнь этого человека сосредоточилась теперь где-то далеко, внутри тайников души, все же внешнее точно бы перестало существовать для

---

<sup>1</sup> Шива — семь, семисуточный траур по умершему близкому родственнику. Члены семьи умершего во время траура не выходят из дома, не одевают нового платья, не моют лица, сидят на голом полу в той комнате, где скончался родственник, мужчины разрывают на себе одежды. Ежедневно три раза совершается заупокойная молитва, после чего читается душеспасительный кадеш.

<sup>2</sup> Мимеры и мешумеды — выкресты и отступники.

него, точно бы он вдруг потерял способность восприятия каких бы то ни было внешних впечатлений и ощущений.

Доктор Зельман осторожно заглянул в кабинет и очень удивился, что не видит там рабби Соломона.

— Хозяин не выходил никуда? — повернувшись в дверях лицом в залу, спросил он стоявшую за ним служанку.

— Никуда, рабби.

— Странно, где ж это он?

И лишь внимательно осмотревшись во всей комнате, наконец-то заметил Зельман в углу удрученно скорчившуюся фигуру босоногого и гологрудого Бендавида.

Зельман назвал его по имени.

Старик не откликнулся, не поднял глаз и не шелохнулся, точно бы и не видел и не слышал его. Тот повторил свой призыв — и опять никакого отклика. Тогда встревоженный доктор бросился к нему и энергично схватил его за руку, пытаясь поднять его с полу.

— Полноте, рабби! — авторитетно говорил он, слегка тормоша старика, чтобы вывести его из этого оцепенения.— Встряхнитесь!.. Стыдно так!.. Ведь вы же мужчина... Горе ваше велико, но нельзя так падать духом, грех!..

Бендавид, как бы очнувшись, уставился на него сначала недоуменными глазами, потом сделал над собой усилие, чтобы собрать свои мысли и, слегка шатаясь, поднялся с его помощью на ноги. Видимо смущенный своим положением и костюмом, он только взглянул на Зельмана извиняющимся взором, попытавшись при этом слабо и как-то сконфуженно улыбнуться, и тихо проговорил:

— Прошу вас, дорогой мой, оставьте меня.

— Нельзя вас оставить, рабби, в таком положении,— с участием возразил ему доктор.— Теперь надо, напротив, мужаться как можно более. Я пришел сказать вам,— продолжал он,— что вас дожидается в прихожей шульклепер из кагала. Весь кагал собрался в полном составе и просит вас сейчас же пожаловать в собрание.

— Нет, нет, не надо... Бога ради, не надо... Зачем! — испуганно забормотал старик, отмахиваясь руками.— Зачем это!.. Что им!..

— Кагал, вероятно, желает обсудить,— начал было доктор, но старик с нервной нетерпеливостью и решительно перебил его:

— Не надо... ничего не надо, слышите!.. О, Боже мой, что это еще за мука! — вырвалось у него из души со вздохом отчаяния, и он растерянно и тоскливо заметался глазами по комнате, как бы ища и не находя чего-то.

— Вот что... прошу вас,— заговорил он умоляющим голосом, держа в обеих руках руку доктора.— Прошу вас, передайте им, что я не буду... не могу быть... что я так расстроен и болен... и прошу у них снисхождения... Словом, избавьте меня от лишнего позора... И без того уже!..

И он удрученно закрыл глаза рукой.

Почтительно снисходя к столь великому горю, доктор тихо вышел передать шульклеперу ответ рабби Соломона, присовокупив



к нему и от себя, что, по его мнению, действительно лучше бы кагалу оставить пока старика в покое.

Но не прошло и получаса, как явились новые посланцы. На этот раз прибыла от кагала целая депутация из трех человек, с ламданом рабби Ионафаном во главе. В числе депутатов были один рош<sup>1</sup> и один из тубов, что должноствовало знаменоваться особым почетом, оказываемый Бендаvidу со стороны кагала. Не принять такое посольство было нельзя, даже и в положении рабби Соломона.

— Скажите, раббосай! — собрав все свои силы, обратился к посланцам старик, когда они переступили порог его кабинета. — Скажите, разве я подсудимый какой и в чем провинился так пред кагалом, что мне не желают дать снисхождения даже в такие ужасные минуты?!.. Не могу я теперь давать никаких объяснений. Я прошу оставить меня хоть на несколько дней в покое. Не я — само горе мое, великое горе требует к себе уважения. Поймите вы это и пощадите меня.

— Горе ваше, рабби, есть общее наше горе, — почтительно и тихо начал ламдан, — потому-то вот мы и посланы к вам, чтобы просить вас рассудить сообща со всеми нашими почтеннейшими старейшинами, как помочь этому горю.

— Мертвым, рабби, нет помощи. Кто умер, тот не воскреснет, — грустно проговорил, качая головой, Бендавид.

— О каких мертвых говорите вы? Пока еще, слава Богу, никто, кажись, не умер, — с недоумением заметил ламдаи.

— О тех, кто умер для семьи, для Израиля, для Бога...

— А, да, я понимаю вас, но погодите их оплакивать! — с живостью воскликнул рабби Ионафан. — Я вижу, вы приготовились к шиве, но это рано еще. Дорогое вам существо еще живо, оно еще наше, оно обманом завлечено во вражеские сети — поймите вы, обманом! Оно не осквернено еще махинациями авойдес-элылым<sup>2</sup>. Не плакать надо, а торопиться спасти живую еврейскую душу.

— Как?!.. Обманом, говорите вы? — как орел встrepенулcя Бендавид, схватив выше кисти руку Ионафана. — Обманом?.. И это точно?.. Она, значит, не сама ушла?.. Ее увели, украли?..

— Да, да, обманом! — с силой полного убеждения, настойчиво подтвердил ему ламдан. — Обманом же, говорю вам! Поэтому энергии, почтеннейший рабби, как можно более энергии! Ободритесь! Нельзя терять и минуты лишней. Пресветлый и праведный кагал наш убедительнейше просит вас сделать ему честь пожаловать в собрание. Надо сейчас же принять меры, но без вас нельзя обсудить их. Торопитесь! При супруге вашей останется пока доктор Зельман.

— О, я, сейчас... сейчас... сию минуту, — заторопился вдруг Бендавид. — Прошу вас, господа, на минутку в другую комнату — я только переоденусь. И он в сильном волнении торопливо стал надевать на себя дрожащими руками свежую сорочку и все остальные принадлежности обычного еврейского костюма.

---

<sup>1</sup> Рош — голова.

<sup>2</sup> Авойдес-элылым — идолослужение.

Несколько минут спустя, депутация; вместе с рабби Соломоном уже быстрыми шагами направлялась к бейс-гамидрашу.

## **XII. ВЕЛИКИЙ СОВЕТ КАГАЛА**

Главный бейс-гамидраш города Украинска помещался в центре старых еврейских кварталов, в этом, своего рода, гетто, уцелевшем от времен польского господства, где сохранилось еще с XVII столетия несколько дряхлых, неуклюже оригинальной архитектуры, каменных домов (по местному каменниц), наследственно переходивших во всей своей неприкосновенности из поколения в поколение пяти-шести еврейских родов. Впрочем большинство построек этого украинского гетто состояло из жалких, косых и кривых лачуг да глинобитных мазанок, с убогими, безграмотными вывесками разных ремесленников, из кабаков и корчем, с устойчивым запахом сивушного масла, «заездных» домов с зияющими широкими воротами, ведущими непосредственно в пасть внутреннего крытого и пропитанного миазмами двора (он же сарай и конюшня) и наконец, из несчастных тесных лавчонок со всевозможным товаром, стоимость коего в каждой лавочке едва ли превышала несколько рублей; но бедный еврейский торгош за большим и не гонится: ему «абы гаидель был!» Все эти тесно скученные постройки образовали собой убого-пестрое, облупленное и заплатанное ожерелье узких улиц и кривых переулков, с вечно царящей на них вонью гниющих луж и острым запахом чернушки, чеснока, цибули и селедки, что в совокупности составляет специфический букет, известный под названием характерного «жидовского запаха». Бедность, нечистоплотность, израильская плодливость с детскими паршами и, вместе с тем, какая-то неугомонно юркая, лихорадочно алчная и внутренним огнем сгорающая жизнь, полная вечной борьбы за существование и вечно неудовлетворенной жаждой наживы, сказывалась на каждом шагу и в этих улицах, и во дворах, и за стенами домишек.

Самое здание бейс-гамидраша помещалось внутри большого двора, окруженного давно уже пришедшим в ветхость, высоким, кирпичным забором, к которому с наружной стороны, словно ласточкины гнезда, вплотную прилепились несколько строений, лачуг и лавчонок. Здание было деревянное, двухэтажное, очень старой постройки, с высокой гонтовой крышей, давно почерневшей от времени. Основание этой крыши было приподнято от венца верхних балок в виде выступа, высоким, полукругло изогнутым карнизом, в том роде как у китайских киосков. На досчатом фронтоне замечались остатки узорчатой деревянной резьбы и токарных орнаментов. Широкая веранда с навесом служила крыльцом и папертью и, кроме того, охватывала собой с двух продольных сторон наружные стены здания. В общем типе постройки сказывалось что-то восточное, азиатское. - Здесь помещалась главная городская

синагога, служившая местом не только богомолений, но и всех вообще чрезвычайных собраний по вопросам религиозным и делам общественным. Довольно обширный двор более чем наполовину был застроен разными сараями и общественными домами, где помещались кладовые, отдаваемые кагалом внаймы под склад разных товаров, эшебот (высшее училище), талмуд-тора (начальная школа), странноприимный приют и богадельня, а также еврейские библиотеки, заключавшие в себе фолианты и книги на языках древнееврейском, халдейском и на современном еврейском жаргоне. Одна из этих библиотек была общественная, остальные же принадлежали ученому братству «Хабура Шас», учрежденному для чтения и толкования Талмуда. Союзу Странноприимства — «Хабура Гахнашат Охрим» и Украинскому Отделению Общества распространения просвещения между евреями в России — «Хабура Марбе Гагаскала Ливне Изроэль». При всех этих учреждениях и около них жило и кормилось, на счет общественной благотворительности, немалое число дармоедов, которым без того, по совершенной их бесполезности для всякого иного труда, было бы решительно не к чему приткнуться и некуда деваться; здесь же все они находились как бы при богоугодном деле, под крыльями гашкино, то есть величия Господня.

Двор синагоги был наполнен большой толпой исключительно еврейского люда, когда в воротах его появилась почетная депутация, вместе с Соломоном Бендавидом. Главная масса этой толпы теснилась на крыльце, где к одному из столбов, поддерживавших навес, было прибито свеженаписанное объявление. Вся эта толпа жадно слушала, как один из грамотеев читал ей во всеуслышание:

— «Следующею скорбью да опечалится всякий! Пред нами открылась пропасть!» — и затем следовало краткое извещение о том, что внучка знатнейшего и ученейшего рабби Соломона Бендавида, девица Тамара, по обольщению гойя- нечестивца графа Каржоля и других его соумышленников, столь же бесчестных, совращена на путь гибели и идолопоклонства.

Впечатление этой новости на толпу было громадное и выражалось общим удивлением и негодованием; но в то время как одни негодовали против «нечестивцев» и «обольстителей», другие, по человеческой слабости, злорадствовали и насчет семейства Бендавида.

— Ага! — слышались в толпе замечания и толки.— Дочь знатного, внучка гвира и пожелала вдруг стать свиным мясом, хазир! Хе, хе, хе! Поучительно!..

— Вот вам и знатный род!

— Ой-вай, грехи наши тяжкие!

— Хорошие нравы пошли, нечего сказать!

— Тамара?! Фрейлен Тамара? Возможно ли?!.. Да это гафле фефеле, чудеснее всяких чудес!

— Э, недаром мудрецы наши сказали, «кто дочь свою обучает наукам, тот научает ее бесстыдству».

— Вот, вот именно! А она у них была такая цаца, ученая, с нашими дочками и знаться не хотела — все с генеральскими, все с дворянами и господами.

— И поделом ей! Пускай подохнет без покаяния как гадина!

— Да и дедушке богачу поделом! Утучнел Иешуруп и стал лягаться, вот и его лягнули!

— Старый дуралей, до чего распустил девчонку! А большого ума человек, говорят!

— Ну, да и бобе Сорре хороша тоже...

— Сострадание, рабоосай, сострадание, господа.

— Ой-вай, Бендавид, злополучный человек!..

— Однако, раббосай, ведь это же грех великий, смертный грех, и этот грех один способен задержать геула<sup>1</sup>.

— Еще бы. За это прямо ей карет.

— Нидуй.

— Нидуй и карет!<sup>2</sup>

— Не ей, а им, совратителям, карет, а она что!..

— Ну, там уж рассудят кому! Об этом сегодня будет сделан газерот<sup>3</sup> в кагале.

— Слава Богу, чем скорей, тем лучше.

— Ш-ша,, Изроэль! Ш-ша!.. Бендавид вдет... Сам идет, сам! Смотрите, смотрите, вот он, вот!..

— Дорогу!.. Дороге достопочтенному рабби Соломону Бендаvidу и достойнейшей депутации! — энергично раздвигая на обе стороны толпу, громко возглашали кагальные мешоресы<sup>4</sup>.

Толпа раздвинулась, притихла, и сотни глаз устремились с наглым и жадным любопытством на Бендавида, как точно бы они до этого раза никогда его ни видали. Он чувствовал на себе эти пронизывавшие его взгляды и торопливо шел сквозь толпу, с глубоко потупленными глазами, весь бледный, как бы пришибленный. Вид его невольно вызывал жалость и сострадание.

— Некомаус, рабби! — сочувственно крикнул ему из народа чей-то фанатический голос,— и вдруг вся толпа, наэлектризованная этим возгласом, как один человек подхватила:

— Некомаус!.. Мщение!.. Мщение искусителю-нечестивцу! Мщение во все дни живота его! Пусть праведный кагал решает и да помогут ему все наши святые угодники.

Так кричали и взывали все: и те, что сочувствовали старику, и те, что сейчас только поносили и ругали его. У сангвинических, быстро увлекающихся семитов такие резкие переходы, под влиянием случайного впечатления минуты, являются совершенно нормальной чертой национального их характера.

<sup>1</sup> Пришествие Мессии.

<sup>2</sup> Нидуй — отлучение, карет — искоренение, те. смерть гражданская и иногда физическая, что есть высшая степень херима — еврейской анафемы.

<sup>3</sup> Газерот — постановление.

<sup>4</sup> Мешорес — служитель.

Двери бейс-гамидраша распахнулись — и толпа, вслед за Бендавидом, широкой волной стремительно хлынула в синагогу. В дверях началась давка и свалка. Шум, гам, визг и крики наполнили всю молитвенную залу, где и без того уже было тесно и душно от множества заранее набравшегося народа. Из-за решеток особых женских галерей выглядывали любопытные лица разных «мадам» Хаек, Ривок, Басск и Цирок. На обширной эстраде, известной под именем альмеморы, или бимы, и возвышавшейся посреди залы, между четырьмя подпирающими потолок столбами, восседали за длинным столом, покрытым синим сукном, все представители местного кагала: роши, шофты и даионы, менаглы, тубы и икоры, а за ними, во втором ряду, вдоль точеной балюстрады, теснились на длинных деревянных скамьях лемалоты, габаи разных братств и союзов и весь кели-кодеш, священнослужительский причт синагоги<sup>1</sup>. Сбоку, на той же эстраде, за особым столиком заседал шамеш-гакагал<sup>2</sup>, со своим толстым, раскрытым на белой странице пинкесом<sup>3</sup> готовый вписывать туда все протоколы и постановления пресветлого собора. На большом столе, против председательского места ав-бейс-дина, лежали рядом пергаментный свиток священной Торы и треххвостая ременная плетка, как символы закона и власти. Внизу же, у подножия бимы, стали катальные шамеши, шотры и мешоресы<sup>4</sup>, стремительно готовые тотчас же исполнить «во славу Божию», малейшую волю и распоряжение «праведного» кагала. Все роши, тубы и икоры сидели на креслах и буковых стульях, покрытые своими белыми саванами-талес с темно-синими каймами и священными кистями цицыса. Собрание имело вид вполне торжественный.

При усиленных стараниях двух шатров, усердно пролагавших Бендаvidу путь в толпе собственными локтями и кулаками, старик с трудом добрался наконец до своего всегдашнего, ежегодно откупаемого им места на мизрах<sup>5</sup> и смиренно стал на нем, в ожидании своего вызова к столу, опершись обеими руками и подбородком на высокий посох. Депутация между тем поднялась на биму, и ламдан Ионафан тихо заявил ав-

---

<sup>1</sup> Шофты и дайоны или дайяны — судьи кагала и бейс-дина, менаглы — предводители, икоры — действительные члены кагала (последнее звание есть младшая степень кагальной иерархии), лемалоты — выборные кандидаты на кагальные должности, габаи — старшины, кели-кодеш — причт, состоящий из кантора, или, иначе, хазана, псаломщика, певцов и шульклепера.

<sup>2</sup> Шамеш-гакагал — кагальный делопроизводитель и нотариус.

<sup>3</sup> Пинкес — кагальная книга, куда записываются в хронологическом порядке все решения, правила и постановления кагала.

<sup>4</sup> Низшие кагальные и бейс-динные должностные лица, исправляющие обязанности, частью вроде судебных приставов, наблюдателей за порядком и чиновников для мелких поручений (ишмеиш), частью вроде экзекуторов и полицейских десятских (шотры) и, наконец, несущие черные служительские работы при синагоге и ее учрежденишах (мешоресы).

<sup>5</sup> Мизрах — восточная, самая почетная сторона синагоги.

бейс-дину<sup>1</sup> просьбу рабби Соломона — не признает ли кагал справедливым и возможным удалить предварительно из бейс-гамидраша всю эту шумную толпу, которую влечет сюда одно лишь праздное любопытство и пред которой старику будет слишком тяжело выставлять напоказ, как на базаре, всю язву постигшего его стыда и горя. Ав-бейс-дин охотно согласился на эту просьбу, тем более, что утренние часы общественного богомоления уже окончились, и шум толпы мешал бы ходу самого совещания. Тотчас же подозвав к себе старшего шотра, он отдал ему приказ удалить из залы всю публику. Но это не так-то легко было исполнить. Тщетно ударяли кожаной хлопушкой по особой доске на бимс, чтобы ее резкими звуками, подобными пистолетным выстрелам, заставить толпу притихнуть и обратить внимание на заявление шамеш-гакагала о том, что заседание будет закрытое; тщетно наседали на толпу шотры и шамеши, выкрикивая во всю глотку приглашение публике очистить залу,— еврейский шум и толкотня не унимались, и толпа сзади все более и более напирала вперед, к биме. Поневоле пришлось наконец, не взирая на день субботний, пустить в дело вещественные атрибуты кагальной власти,— и шотровские треххвостки, купно с «жезлами Аароновыми», попросту палками, без церемонии загуляли куда ни попадя, по головам, плечам и спинам неподатливого Израиля. Поднялся невообразимый гвалт и галлас, посыпались либеральные протесты, горячие ссоры и ругань, пошла всеобщая сумятица, местами завязались драки с шотрами, но тем не менее, героическое средство мало-помалу подействовало, и публика, частью в синяках, частью со вздутой щекой или расквашенным носом, с помятыми боками и оборванными фалдами, очистила наконец залу. Вслед за последними, выпертыми на крыльцо любителями общественных дел и сильных ощущений, кагальные мешоресы заперли на замок двери, и в зале водворились надлежащая тишина и спокойствие. Кроме членов совета и служащих лиц (минуим), там не осталось никого постороннего, все заняли присвоенные им места, по порядку: в центре — ав-бейс-дин, на председательском кресле, по обе стороны от него — роши, по старшинству, затем тубы и далее икоры. Бендавид продолжал уединенно и сосредоточенно стоять на своем месте, не отвлекая ничем потупленные взоры. Наступила минута торжественного молчания, среди которого раздался вдруг старчески тихий, но явственный голос ав-бейс-дина:

— Да приблизится к пречистому катальному столу достопочтеннейший, достойнейший, достославнейший во Израиле морейне, реб Соломон Бендавид!

Тот встрепенулся и с покорно степенным видом поднялся на биму и стал пред столом, как призванный к ответу.

— Кресло достопочтенному реб Соломону! — распорядился председатель, обратясь к ближайшему шамешу.— Мужу столь высокочтимому не подобает стоять пред Советом, он сам член сего высокого собрания и призван не к допросу, а

---

<sup>1</sup> Ав-бейс-дин — председатель.

лишь для братского совещания.

Бендаvidу принесли и поставили против председателя кресло, в которое он опустился, предварительно повернув его несколько в сторону, чтобы не сидеть спиной к орн-гакодешу.

— Прежде всего, приглашаю почтенное Собрание к молитве,— начал ав-бейс-дин.— Встанем и помолимся, да даст нам Господь Бог благоприятное решение в предстоящем нам деле.

И все встали и тише чем вполголоса повторили вслед за старцем-председателем надлежащую молитву и славословие. Затем, когда все снова уселись, ав-бейс-дин, обращаясь к Бендаvidу, произнес подобающее случаю раввинское увещание, где напомнил ему, что Талмуд и другие древние еврейские трактаты вменяют народу Израильскому в особую и великую заслугу то, что, при откровении на Синае, он дал обет покорности прежде чем еще услышал законы Бога.

— Чувствуете ли вы себя в состоянии,— спросил он Бендаvidа,— подчиниться с покорностью тому общему решению, которое, с Божьей помощью, в духе наших священных законов и отеческих преданий, по всестороннем обсуждении дела, произнесет вам Совет кагала, как надеюсь, единогласно?

После некоторого сосредоточенного раздумья, Бендаvid, склоняя голову, тихо, но твердо произнес:

— Покоряюсь.

— Итак, раббосай, в час добрый! Приступаем к делу. Достоянейшему собранию рошей, тубов и икоров нашего города реб Ионафан, известный своей ученостью и богобоязнь, краса науки и светило мудрости, высокоученая знаменитость, соединяющая в себе науку и славу, сегодня утром, до вашего, рабби Соломон, прихода, заявил, что ваш достоуважаемый, честнейший и в Боге пребывающий дом неожиданно посетил великое горе, покрывшее душу вашу пеплом неопикуемой скорби. Для обсуждения, как помочь этому горю, и собрались сюда в полном составе члены нашего богохранимого кагала, которых очи ваши видят пред собой. Рабби Соломон, можете вы рассказать и объяснить нам все, что вам известно по сему прискорбному делу?

Тяжелое внутреннее волнение заметно сказалось на лице Бендаvidа.

— Я знаю менее всех... Я почти ничего не знаю, как и что,— начал он прерывающимся, пересохшим голосом.— Знаю только то, что единственная внучка моя сегодня умерла для Израиля. Так мне сказали.

И он угоюмо опустил на грудь голову.

— Рабби Ионафан,— обратился председатель к ламдану,— можете вы доложить Собранию, как было дело?

— С вашего позволения, рабби,— почтительно поднялся тот с места.— Я полагал бы, что самым обстоятельным образом мог бы познакомить высокий Совет с этим делом его ближайший свидетель. Это родственник достопочтенного реб Соломона, гимназист Айзик Шацкер. Шамеши, по моей просьбе, уже успели разыскать его в городе и доставить. Он здесь, если потребуется.

— Прекрасно. Да предстанет к пречистому кагальному столу гимназист Айзик Шацкер.

Двое шамешей тотчас же ввели в залу бледного, взволнованного и отчасти перетрусившего Айзика. Поставленный пред «пречистый стол», при виде столь торжественной обстановки и столь высокого собрания, он окончательно смутился и растерялся. Но председатель ободрил его несколькими ласковыми словами, и юноша начал свое показание, сначала неровно, с запинками и недомолвками, но затем, видя всеобщее к себе внимание и одобрительное покачивание головой со стороны председателя и ламдана, он приободрился и рассказал обстоятельно и подробно все, что ему было известно, с начала и до конца.

Во время его рассказа, на ресницы Бендавида раза два навертывалась слеза, которую он старался незаметно смахивать рукой. Странное чувство испытывал старик в душе в эти минуты. Когда привели Айзика, ему стало как-то жутко и неловко, даже совестно смотреть на него, и совестно не за себя, а за этого самого Айзика.— «Зачем он здесь! Лучше бы его не было»! Он точно бы боялся этого благодетельствованного им мальчика, боялся, предчувствуя, что этот Айзик своим рассказом должен нанести ему страшный, неотвратимый удар в самое сердце, что он отнимет от него лучшую, драгоценнейшую часть этого сердца, его единственную в жизни радость и надежду, какой до сего дня была для него Тамара,— отнимет и не оставит в душе на ее счет ни малейшей иллюзии, никакого сомнения. Он страшился при мысли, что из этого рассказа увидит свою Тамару, облитую грязью такого черного поступка, какого нет хуже во Израиле.— «О, лучше бы не слышать, лучше бы прямо умереть на месте!» Несколько раз, во время показания Айзика, Бендаvidу хотелось крикнуть ему. «Замолчи, несчастный! Ты лжешь! Этого не может быть! Это неправда» — но увы! Айзик рассказывал так просто и чистосердечно, что никаким сомнениям не оставалось места. И чем дальше говорил и объяснял он, тем все больше замечал в себе старик, что начинает испытывать к нему какое-то странное, неприязненное чувство досады, злобы и даже ненависти за этот самый его рассказ, за эту его обстоятельность и правдивость. Ему казалось, как будто Айзик пред его глазами живьем режет связанную Тамару на части, постепенно отхватывая ножом один за другим, все ее суставы и члены, и он, Бендавид, не может, не смеет остановить его. Это было смутное и тяжелое ощущение, похожее на кошмар. Но в то же время рассудок, вопреки гневу сердца, говорил ему, что за что же досадовать и негодовать на бедного мальчишку, который так искренен, который очевидно любит и его, и Тамару — все действия его бесспорно доказывают это — и который, сверх всего, является во всем этом деле таким примерно добрым евреем. За что же его ненавидеть? В чем виноват он?..

Когда же юноша кончил, среди общего молчания, явившегося следствием общего подавленного чувства, Бендавид встал с места и, положив ему руку на плечо, проговорил надорванным голосом:



— Спасибо, Айзик, ты сказал правду, но... ты убил меня ею. Что же спасти ее, раббосай! — обратился он к собранию,— что же тут спасти, если, вы слышали, она сама... сама, своей доброй волей ушла к этому негодяю и так легко отреклась от еврейства!.. Меня казните... Не она, а я виноват... Я, моя глупая седая голова, которая ничего не видела и своим потворством довела ее до такого конца... Судите меня, я один достоин кары!..

И он, с прорвавшимся наконец рыданием, пред всем собором упал на колени.

Собрание разом всполошилось и встало с мест. Никто не ожидал такого исхода. Некоторые заботливо бросились к Бендаvidу помогать ему подняться на ноги; кто-то из шамешей побежал за стаканом воды; со всех сторон раздались восклицания и слова сочувствия, утешения и дружеские протесты против такого самообвинения со стороны рабби Соломона, которого-де все так любят, так уважают и прочее. Один лишь Айзик остался, как стоял, на своем месте, по-видимому, спокойнее и даже безучастнее остальных; но это быть может потому, что он был ошеломлен и смущен последними, обращенными к нему, словами Бендаvida «ты убил меня».

Ламдан Ионафан с председателем и некоторыми друзьями успели наконец успокоить несколько старика и уговорили его удалиться на время в канцелярию, отдохнуть там и успокоиться вполне, пока Совет, знающий теперь хорошо все дело, успеет обсудить надлежащие меры,— тогда-де мы снова попросим вас сюда и окончательно решим все, как следует, с вашего одобрения.

Двое шамешей увели старика под руки в смежную комнату, где помещалась кагальная канцелярия, и оставались при нем все время, пока шло заседание, ухаживая и предупреждая малейшее его желание. Айзика тоже выслали из залы, приказав ему дожидаться в сенях, на случай, если еще окажется в нем надобность для каких-либо дополнительных разъяснений.

Спустя часа полтора, Бендаvida опять пригласили в Совет и снова усадили с почетом в то же кресло.

— Достопочтеннейший рабби Соломон! — обратился к нему председатель.— По соображении всех подходящих правил, законов и установлений наших великих мудрецов и на основании оных, высокий Совет нашего кагала единогласно постановляет...

При этих последних словах, все члены Совета торжественно и в полном молчании поднялись с места и как бы замерли в немом благоговейном чувстве. Приостановившийся на минуту председатель продолжал:

— Первое. Талмуд вещает: «Три венца есть: венец закона, венец священства и венец царственный! Но венец доброго имени выше всех их вместе!» Ваше доброе имя, рабби, во всем этом деле признается выше всяких нареканий, оно останется по-прежнему кристально чистым, несокрушимо твердым и высокочтимым, как драгоценный алмаз, если вы сообразовали последовать всем тем глубоко искренним и дружеским

советам, какие, по решению сего высокого Собрания, будут вам преподаны.

Бендавид почтительно поклонился в знак своего беспрекословного согласия.

— Второе,— продолжал ав-бейс-дин, методически и последовательно загибая пальцы левой руки указательным правой.— Внучка ваша, девица Тамара, признается пока еще не оскверненной безвозвратно ни душой, ни телом, а потому священнейший долг каждого еврея — способствовать всеми средствами и стараться всеми силами, как можно наипоспешнее, вырвать ее из нечестивых когтей гегенема. Приступить к этому каждый обязан немедленно же, невзирая на день субботний, ибо тут дело идет о спасении от смертной погибели души еврейской.

Бендавид вторично поклонился еще почтительнее. Это постановление подавало ему нить некоторой надежды. Было утешительно уже и то, что он получал теперь право не считать пока Тамару умершей.

— Третье,— продолжал между тем ав-бейс-дин.— Принять все меры к немедленному же удалению не только из города, но и из самого края нашего главного виновника всего содеянного зла, и да не дерзнет более этот гнусный наглец никогда и ни под каким предлогом не только возвращаться в наши места, но и где бы то ни было помышлять о вашей внучке. Чтобы согнуть его в дугу и заставить безусловно покориться справедливому постановлению Совета, в наших руках имеются все средства. Шамеш-гакагал привел в точную известность по пинкесу все долговые обязательства этого негодяя во всем районе, куда лишь простирается луч власти нашего праведного кагала,— обязательства как по векселям, распискам и верительным письмам, так и по подписным магазинным и иным счетам. Сумма всех таких обязательств оказалась в 41600 рублей. Кагал берет на себя понуждение всех евреев, приобретших на графа Каржоль де Нотрека право меропии<sup>1</sup>, немедленно же, то есть не позже пяти часов нынешнего дня, представить под страхом херима, в катальную канцелярию все такие документы, и, для облегчения вам сделки, обязать владельцев получить по оным не ту сумму, какая в них обозначена, а лишь ту, какая была действительно ими выдана. Согласны ли вы на этих условиях скупить все долговые обязательства графа Каржоля?

— Согласен,— отвечал Бендавид,— но с тем, что я плачу всю их стоимость полностью.

При этих словах, весь кагал даже рот разинул от изумления. Спятил, что-ли, старик с ума, что отказывается вдруг от такого великолепного гешефта?! Возможно ли, платить более сорока тысяч, когда человеку предлагают купить все за восемь, много за десять!.. И он не хочет!.. Сумасшествие!..

— Да, не иначе,— подтвердил Бендавид.— Я не хочу, чтобы мои братья во Израиле потеряли из-за меня хоть одну

---

<sup>1</sup> Меропия или марофия есть право эксплуатации личности нееврея, приобретаемое с торгов у кагала.

полушку из своих барышей, я не допущу, чтобы хоть один из них мог роптать на меня. Я плачу всё, до последней копейки. Я сказал.

— Делает вам великую честь,— поклонился ему в пояс председатель.— Иного ответа, впрочем, кагал и не мог ожидать от вашего всему миру известного великодушия. Поэтому,— продолжал он,— высокий Совет праведного кагала разрешает вам, если бы потребовалось, распорядиться сегодня же, невзирая на день субботний, вашими денежными средствами собственноручно, в том размере, в каком признаете нужным. Равным образом, и всем владельцам означенных документов, буде пожелают, разрешается на тех же основаниях принять за них уплату сегодня же. Шамеш-гакагал немедленно составит законное постановление, как на еврейском, так и на русском языках, что реб Соломон Бендавид есть единственный собственник всех долговых обязательств графа Каржоля, скупленных им на законных основаниях.

Бендавид снова отдал почтительный поклон.

— Четвертое, — продолжал председатель.— Разрешатся начать немедленное преследование помянутого Каржоля всеми доступными кагалу, явными и тайными способами, а равно принять все меры к успешному склонению на нашу сторону чиновников. За денежными средствами на это вы, рабби Соломон, конечно, не постоите. Для этой цели Совет с почетом избирает двух тайных преследователей в лице достойных талмуд-хахомим, рабби Ионафана ламдана и рабби Абрама, сына Иоселя Блудштейна, ибо в Талмуде сказано: «тот не талмуд-хахам, кто не умеет жалить и мстить, как змея»; мы же в этом отношении вполне полагаемся на их талмудическую и житейскую мудрость и опытность. Поручаем им действовать так, как Бог осветит их разум в пользу настоящего богоугодного, великого и заповедного дела. Да принесут они в том надлежащую присягу и да поведет их Господь по благочестивейшему и благопоспешному пути, на срам и поношение врагам и на торжество Израиля!

Рабби Соломон, рабби Ионафан и рабби Абрам Блудштейн в ответ на это отвесили, каждый по молчаливому поклону.

— Пятое. Так как со стороны настоятельницы здешнего женского монастыря это уже не первый случай способствования гибели душ евреев, то высокий Совет кагала, в справедливом гневе своем, постановляет над нею херим: искоренить ее навсегда из здешнего края какими бы то ни было способами и путями, какие раньше или позднее окажутся в нашей возможности.

— Аминь! — единодушно ответило враз все Собрание.

— Шестое,— продолжал председатель.— Впредь до возвращения девицы Тамары Бендавид в лоно еврейства, она приравняется к тем изверженным из Израиля незаконнорожденным, кои, по закону нашему, не имеют ни прав наследия, ни вообще каких-либо гражданских прав, а посему все принадлежащее ей имущество движимое и недвижимое,— последнее от недр земли и до высоты небес,— а равно и все ее наследственные капиталы объявляются под запрещением.

Собственником же их кагал города Украинска объявляет себя самого и всецело препоручает их попечению морейне Соломона Бендавида, на его ответственность, но с тем однако, что досточтимый муж сей, под страхом херима, обяжется пред пречистым и праведным кагалом — ни под каким видом, ни прямо, ни косвенно, ни полностью, ниже малейшей долей не помогать означенной девице Тамаре ни из своих, ни из отнимаемых у нее по закону средств, во все дни живота ее, пока не возвратится в еврейство.— Рабби Соломон, принимаете ли на себя такое обязательство?

— Принимаю,— тихо промолвил старик упавшим голосом.

— В таком случае, приглашаю вас к договору.

Ав-бейс-дин и Бендавид протянули друг другу через стол свои правые руки и энергично пожали их.

— Аминь! — единодушно скрепило этот акт все Собрание.

— Да будет же лист ваш зелен! — пожелал Соломону председатель с поклоном, и все остальные члены также поклонились ему и пожелали всякого благополучия, а главное, как только удастся выцарапать Тамару из клештера, немедленно же отдать ее замуж за доброго, "богобоязненного еврея, тогда-де и всем се глупостям конец!

— В заключение же,— продолжал председатель,— Совет постановляет еще следующее: для скорейшего устранения постигших нас смуты и горести, обвести белой ниткой синагогу и еврейское кладбище и, ссучив из нее фитиль, нарезать его и вставить в восковые свечи, которые будут зажигаться в синагоге во время молитвы. При совершении сего испытанного, верного средства, каждому предоставляется сделать доброхотное пожертвование, на основании притчи Соломона «Милостыня спасает от смерти».

— Аминь! —ответило Собрание.

— Еще одну минуту! — остановил ав-бейс-дин нетерпеливых членов, готовых уже встать из-за стола и лететь поскорее домой, где их давно ожидали вкусные кугли, щупаки и цымисы.— Раббосай! Одну минуту терпения!.. Да предстанет пред пречистый кагальный стол гимназист Айзик Шацкер!

Шамеши тотчас же ввели и поставили Айзика на надлежащее место.

— Сын мой! — милостиво обратился к нему председатель.— Пречистое Собрание единогласно признает, что ты в настоящем деле, от начала и до конца, вел себя, как подобает истинно доброму и честному еврею, а посему, в пример прочим, благосклонно жалует тебя званием илуйя<sup>1</sup>.

Взыгравший от радости Айзик бросился почтительно целовать полу талеса и руку ав-бейс-дина. О, теперь карьера его, можно сказать, обеспечена, теперь он знает, что далеко пойдет во Израиле!.. Такое лестное отличие, да еще данное самим Советом кагала, выпадает на долю немногих.

Соломон Бендавид тоже, с видом благосклонности, погладил

---

<sup>1</sup> Илуй — превосходный во всех отношениях молодой человек.

по голове своего приемыша, и Айзик облобызал также и его руку. До нынешнего дня старик и не подозревал, что в его семье обретается такая будущая «краса Израиля», на которую он и внимания-то мало обращал, давая этому бедному родственнику приют и образование, лишь ради богоугодного дела.

Члены между тем столпились у столика шамеш-гакагала для подписи протокола нынешнего заседания по известной формуле, которая гласила, что «для полного скрепления сначала и до конца всего изложенного, а также дабы все оно сохранилось до скорейшего пришествия нашего праведного освободителя Мессии — да ускорится оно в наши дни! — мы, роши, тубы и коры города, ныне подписываемся пером железным и пером свинцовым, твердо и навеки. Первым подписался ав-бейс-днн, с необходимым прибавлением к своему имени условного эпитета «смиранный», за ним остальные, но уже без эпитетов, а в заключение шамеш-гакагал скрепил и удостоверил собственноручной подписью «славного и великого раввина, государя нашего Боруха, сына великого раввина Иоселя Натансона.

— Итак, мы покончили! — провозгласил председатель.— Принесем же теперь молитву об искоренении христианства, как нельзя более подобающую нам в настоящих прискорбных обстоятельствах.

И обратясь лицом к орн-гакодешу, ав-бсйс-дин воздел свои руки горе и вдохновенным голосом громко стал читать наизусть молитву:

— «Слава Тебе, Боже, сокрушающему врагов и покоряющему нечестивых! Клеветникам да не будет надежды и да сгинут в миг все миним!<sup>1</sup> Да искоренятся сейчас все враги народа Твоего! Искорени, сокруши и истреби мгновенно в наши дни всех смутителей! Слава Тебе, Боже, сокрушающему врагов и покоряющему нечестивых!»

— Аминь! — откликнулся весь кагал, и затем Собрание объявлено закрытым.

### **XIII. РАББИ ИОНАФАН И РАББИ АБРАМ, ХОДАТАИ**

Был час обеденный. Господин Горизонтов возвращался из консисторского присутствия домой хотя и усталый, но в самом игривом расположении духа. Он был вполне доволен собой. «Дело» графа Каржоля было уже им «очищено»,— бумага подписана владыкой и тотчас же отправлена с консисторским рассылным по назначению, к игуменье Серафиме. Из ста рублей, оставленных ему графом сегодня утром, конечно, не перепало консисторской братье «на молитву» ни полушки; зато дебелая стряпуха его будет с обновой. Она уже давно приставала к нему с просьбой купить ей на платье зеленого полатласу, и он обещал ей, да все откладывал до получения «наградных»,

---

<sup>1</sup> Мин, множ. ч. миним — одно из названий, даваемых евреями христианам и, в особенности, выкрестам из евреев.

а теперь, благодаря нежданно перепавшей «благостыне», вдруг открылась возможность побаловать бабу подарком и ранее обещанного срока. Можно будет благоприятелей, «друзжков» созвать «на вечерушку» побаловаться в стуколку да попеть хором под гитару бурсацкие песни. И заранее уже представляя в собственном воображении, как хорошо все это выйдет, господин Горизонтов не без приятности напевал себе тенорком под нос:

«Не дивитесь, друзья,  
Что не раз  
Промеж вас  
На пиру веселом я  
Призадумывался».

Вдруг, в коридоре, почти перед самыми дверьми его квартиры, он был остановлен неожиданным вопросом:

— Извините, чи то не ви будете гасшпидин закретарь ад консшистория?

Горизонтов удивленно поднял глаза и увидел пред собой сухощаво-длинную, вихлявую фигуру какого-то пожилого еврея, с почтительно приподнятой фуражкой.

— Нет, это я буду секретарь. А тебе что? — спросил он.

— Балшова дела до вас иймеем, интэресново дела... очень, очень даже интэресново,— выразительно подчеркнул проситель.

— Ну, любезный,— лениво зевнул ему на это секретарь,— с делами приходи завтра, а теперь я есть хочу и дел никаких слушать не стану.

— Гхарашьо! — охотно согласился еврей, с предупредительным поклоном.— Ви себе кушайте, а ми себе будем ждать. Как ви покушаете, то ми поговорим.

— Как я покушаю, то лягу спать и ни о чем с тобой разговаривать не стану,— слегка насмешливо впадая в его тон, заметил Горизонтов.

— Ой-вай! — с тонкой улыбочкой помотал головой проситель.— Извините, гасшпидин, но это таково делу, что ви как только вслышите, то не захотите спать... Может, и кушать не захотите.

— Да ты кто такой? — недоверчиво оглядывая его, спросил Горизонтов.

— Я-а?.. Я Ионафан ламдан, пленипотент ад гасшпидин Соломон Бендавид... Понимаете? — выразительно подмигнул еврей, подняв к прищуренному глазу указательный палец.

Горизонтов кисло наморщился. Догадаться было не трудно, что дело должно идти о Тамаре, и хотя предупредительное напоминание об очень большом интересе этого дела давало ему некоторые намеки на весьма привлекательные перспективы, тем не менее, ввиду только-что отправленной бумаги к Серафиме, перспективы эти туманились и несколько досадными «заковыками». Во всяком случае, казалось необходимым выслушать Бендавидовского «пленипотента».

— Хорошо, потолкуем,— согласился он, и пригласил ламдана войти в квартиру. Рабби Ионафан, очутившись в знакомой уже нам комнате,

прежде всего попросил хозяина, из предосторожности, притворить поплотнее дверь и никого не принимать, а затем прямо приступил к делу. Он без обиняков пояснил, что граф Каржоль «закрутил» внучку Бендавида, чтобы женившись воспользоваться ее состоянием и только с этой целью хочет «навертать ее на православие»; что со стороны Тамары, кроме увлечения наружностью и блеском такого большого «пурица»<sup>1</sup>, нет никакого более серьезного побуждения изменять своей религии; что увлечение, разумеется, скоро пройдет, а несчастье останется, тем более, когда Каржоль разочаруется в своих ожиданиях, не получив ровно ничего за Тамарой, и изо всего этого «кепского дела» ничего не выйдет, — кроме «ногх грейсер шкандал», а потому-де Бендавид готов сделать какое угодно «благодарное одолжение», если ему помогут вернуть из монастыря его внучку; он готов даже пожертвовать за это самой игуменье на монастырь несколько тысяч и, кроме того, заплатить за совет и содействие «добрым людям», что, во всяком случае, составит для них нечто более существенное, чем приобретение души какой-нибудь глупенькой евреечки. — «И на сшто васшему Богу таково пустово душа, извините!..»

— Все это понятно, заметил Горизонтов. — Не понимаю только одного: с какой стати со всем этим делом вы собственно ко мне обращаетесь? При чем я-то тут?

— Ой, васше внсокоблагородие!.. — Как не ви, то хто же?!.. Мы вже знаем, за какво дела до кого обернуться. Пускай тольке поскорейш вертают нам ее назад из клештер — абы только нехрещену — а мы вже будем благодарить вам, как Богу... Бендавид аж тысяча рубли не пожалеет за таково дела.

При этих словах Горизонтов снова наморщился и раздумчиво запустил пальцы в свою подбородную шерстину.

«Эка досада, право!» думалось ему. «И дернула ж нелегкая поторопиться с этой бумаженкой!.. Ведь не пошли мы ее, можно бы сейчас же дать строжайшее предписание возвратить девчонку родным, и всему бы делу конец... Тысяча... Нет, черт возьми, тут не тысячью пахло бы: поприжаться малость, так и все три дали бы... Да неужто же нельзя поправить?» задал он внутренне самому себе подбадривающий вопрос.

А рабби Ионафан достал между тем из бокового кармана старый бумажник и молча, неторопливо и отчетливо принялся отсчитывать из него, одну за другой, пять сотенных бумажек. Отсчитал и положил на стол перед Горизонтовым.

— Это что же такое? Зачем? — спросил последний как бы удивленно и даже несколько сурово.

— На хлопоты, — не смущаясь, пояснил еврей с тою спокойно самоуверенной и деловито деликатною манерой, которая вообще присуща сынам Израиля в подобных щекотливых положениях. — А как, даст Бог, покончим дело, — прибавил он еще деликатнее, — то гасшпидин закретар иймеет получить еще пьятсот за хлопоты.

---

<sup>1</sup> Пуриц — господин, барин.

— Ну, это ты, любезный, убирай назад... Убирай, убирай! — торопливо и грубо заговорил Горизонтов, отодвигая к ламдану пачку бумажек.— Больно вы притки, как погляжу я! В этакое деле да захотели какой-нибудь тышченкой подмаслить! Нет, брат, шалишь! Я и рук себе марать не стану... Ты думаешь, это легко устроить?.. А прогонят меня за эту вашу паршивую жидовку со службы, так я с чем же останусь? С твоею тысячью? На нее и живи?.. Нет, брат, себе дороже!.. Проваливай!

— Ваше високоблагородное благородие! — поднял Ионафан к пейсам обе ладони.— Зачиво ви сердитесь?.. Ну, зачиво?!.. Зжвините! Насшево дело дать, васшево дело взять. Ви скажите сколько?

Горизонтов, засунув руки в кармашки брючек, озабоченно прошелся несколько раз по комнате. Ламдан выжидательно следил за ним глазами. Он, как опытный охотник, спокойно наблюдал свою дичь, зная, что в надлежащий момент она сама подойдет к нему на верный выстрел.

— Вот что,— сказал наконец секретарь, остановясь перед поднявшимся с места евреем.— Чем даром-то бобы разводить, так лучше начистоту.

Рабби Ионафан молчаливым поклоном выразил покорную готовность выслушать условия Горизонтова.

— Денег мне от вас покуда никаких не нужно,— внушительно продолжал этот последний.— Мое правило, коли взять, то надо уж и сделать, по совести, а дело ваше, повторяю, трудное... очень трудное... и едва ли что удастся тут поправить... Но так и быть, похлопочу, попытаюсь...

Ионафан поспешил вторично поклоном выразить свою благодарность.

— Пускай гасшпидин закретар тольке захочет, а поправить, он завиерно поправит,— почтительно проговорил он таким тоном, в котором так и сквозило, что ты, брат, басни-то мне не рассказывай!

— Если хлопоты мои пойдут на лад,— продолжал Горизонтов,— в таком случае ты мне выдашь тысячу в задаток, а затем, коли дело выгорит, то при окончании еще две тысячи. Согласен — ладно, а нет — проваливай!

— Уй, васше високоблагородие... Трох тысячов! — ужаснулся ламдан, всплеснув руками.— Ну, и за сшто тут трох тысячов?! — Завеем пустова дело! И скудова взять нам таких деньгов, подумайтю!.. Каб вы были один — ну, гхарашьо. А то когда вам трох тысячов, то правитель с губернаторского кинцелярия скажет, давайте и мне трох тысячов, и гасшпидин палачмейстер захочет тоже трох тысячов,— ну, и сколько же тогда тысячов надо положить на гибернатор?!.. Может, и сам гибернатор захочет, а может и вице-гибернатор, и увсе советники, и прекарор, а может и еще хто... и сколько же это будет тысячов?!..

— Ну, ну, ну, ничего, брат! — с циническим смешком похлопал его по плечу Горизонтов.— Ничего, у Бендавида, говорят, денег-то куры не клюют, мошна толстая, вытянет, не обеднеет...



Рабби Ионафан с сокрушенным вздохом и горькой усмешкой покачал головой.  
— Н-ну! Верить полторы! — предложил он решительным образом.— Тысяча пятьсот рубли — гхарошаво деньги... Ей- Богу, гхарошаво!

— Сказано три, и ни копейки меньше! — отрезал Горизонтов.— А нет,— продолжал он полушутя, полусерьезно,— так завтра же окунем вашу жидовочку в купель и капут! Тогда уже на всю жизнь потрефим ее, и ничего не поделаешь, хе-хе-хе... Так-то!

Проблеск негодования и презрения мелькнул было на один миг в глазах еврея; но он смолчал и тотчас же постарался подавить в себе всякое внешнее проявление этого невольно сказавшегося чувства.

Горизонтов, между тем, продолжал, руки в кармашки, шагать по комнате.

— Васше високоблагородие! — минуту спустя, убедительно начал ламдан, глядя на Горизонтова умильно заискивающими глазами.— Верьте на честю, кабы можно, ми бы радыи были дать вам и пъять тысячов — такому гхарошому, благородному гасшпидину зачэм не дать! — дали бы и десять, дали бы и двадцать! Но когда же не можно... Как Бога люблю, не можно!

Горизонтов, молча и как бы не слыша, продолжал маячить по диагонали из угла в угол.

— Н-ну! — после минутного колебания, решительно поднял голову ламдан.— Пускай вже будет так: тысяча на задатек, тысяча на кинец. Васше високородие! Берите двоих тысячов... га?.. Двоих!.. Каб мне хто дал таких денегов,— ой- вай! — я был бы самый счастливый чаловек на свете... Н- ну, кончаймы на двоих!.. Ну, и прошу вас, как благероднаво чаловека... Подумайтю, какие деньги!

— У меня что сказано, то свято,— нетерпеливо и резко оборвал его Горизонтов.— Или три, или убирайся к черту,— я есть хочу!

В это время он уже обдумывал план предстоящих действий и, чтобы не путаться с Каржолем в виду таких крупных денег, даже великодушно решил себе, что не жаль будет и возратить ему несчастную его сотнягу, с извинением, что при всем-де старании, ничего не мог поделатъ, так как владыка решительно не пожелал подписать бумагу. Это даже благородно будет! — По крайней мере, пускай не думает, свинья он этакая, что только одни, мол, графы благородны бывают! — Горизонтовы тоже благородны!

— Что ж ты стоишь еще?! — повернулся он к переминавшемуся на месте ламдану.— Чего ждешь-то?.. Ведь тебе сказано!

— И это вашево последняво слова? — грустно, почтительно и тихо спросил еврей.

— Разумеется, последнее.

— Ну, то я так и скажу Бендаvidу,— может, он и будет согласный. А вы, васше високоблагородие,— прибавил он вкрадчиво просительным тоном,— зараз начинайте вже ваших хлопотов... пожалуста! Бо время, знаете, дорого.

— Эге! — рассмеялся ему в глаза Горизонтов.— Шутник ты, любезный, как погляжу... «Зараз»... Нашел дурака! Они еще думать будут дать ли не дать ли, а я им хлопочи!.. Вишь, какие гешефтмахеры!.. Хе-хе!.. Уж и то, кажись, благороднее поступать, как я с вами, невозможно. Иной, на моем месте, потребовал бы сейчас же все деньги на стол, вперед, а без того и разговаривать не стал бы. А я, между тем, не беру с вас ни копейки. Поведи-ка вы это дело судом, так адвокатам-то не три тысячи переплатите. Да и дело-то такое, что его никакой адвокат не выиграет. А он еще торгуется!

Еврей потупился в колеблющемся раздумьи.

— Н-ну, хай будет так! — решительно махнул он, наконец, рукой, убедясь, что у этого кремня ничего не выторгуешь.— Пускай по-вашему, только принимайтесь же за зараз...

— Так, стало быть, три? — доточно переспросил его Горизонтов.

— Три,— подтвердил ламдан, склоняя голову.

— Ну, вот, и давно бы так! А то все в вас эта проклятая манера жидовская поторговаться, терпеть не могу!.. Только вот что,— как бы спохватясь, прибавил он внушительно,— уговор лучше денег. Если ты теперь соглашаешься с тем, чтобы потом понадуть меня, так знай наперед, что в моей воле во всякое время повернуть дело и так, и этак, и что хотя я его и оборудую, но девица будет возвращена вам не раньше, как ты принесешь мне все деньги, до копейки. Понимаешь?

Ламдан на это лишь поклонился, приподняв к лицу обе ладони.

— Вы только делайте ваше,— проговорил он методически и веско,— а наше мы уже издаем как надо. То верно.

— Ну, то-то же! Начистоту лучше! — внушительно кивнул ему Горизонтов, и они расстались.

---

В то самое время как у рабби Ионафана происходило это свидание с Горизонтовым, другой катальный уполномоченный, Абрам Иоселиович Блудштейн вел переговоры по тому же делу с правителем губернаторской канцелярии, у которого он был «своим человеком», ссужая его иногда под расписки кое-какими деньжонками. Здесь вопрос шел о том, каким бы образом склонить симпатии губернатора к евреям настолько, чтобы он захотел повлиять своим авторитетом на игуменью и убедить ее в необходимости немедленно же возвратить Тамару ее дедушке. Абрам Блудштейн, как человек, живавший в Петербурге, и даже не без успеха ведший там одно время какую-то тяжбу с казною, считался среди своих украинских единоверцев третьим калачом, юристом и дипломатом, которому в его гешефтах много помогает умение не только говорить довольно бойко, но и писать по-русски. Благодаря знакомству с Петербургом, он усвоил себе некоторые цивилизованные привычки,

носил чистое белье, жилеты и сюртуки современного покроя, коротко подстригал бороду и волосы на висках, оставляя лишь некоторый намек на пейсы, и, вообще, мнил о себе, как о человеке вполне цивилизованном, столичном, причем, однако, все эти его новшества не мешали ему на деле быть самым ревностным евреем и пользоваться уважением своих соплеменников, даже настолько, что он состоял членом украинского кагала, коему был в иных случаях весьма полезен именно в качестве тертого калача по части дипломатики. В результате его переговоров с правителем дел губернаторской канцелярии было слезное прошение, составленное им вместе с кагальным шамешем. Это прошение, в качестве уполномоченного от городского еврейского общества, Блудштейн должен был представить губернатору не позже как завтра утром. На нынешний же день надлежало исполнить предварительную часть задачи, а именно, осторожно и ловко воздействовать на губернатора со стороны гуманных чувств и либеральных симпатий, так, чтобы не только прошение было принято благосклонно, но еще сам губернатор взял бы на себя роль убеждателя Серафимы и думал бы при этом, что таковая роль принята им по собственной своей инициативе! Эту часть задачи любезно согласился выполнить правитель дел, который давно уже в совершенстве изучил всю натуру, все привычки и слабые стороны своего патрона и потому не опасался в душе за успех своей миссии, хотя и представлял ее пред Абрамом Иоселиовичем крайне трудною и даже опасною. Но ведь нельзя же иначе: по труду и вознаграждение.

«Ваше превосходительство, высокопросвщенный наш начальник губернии!» гласило прошение Абрама Блудштейна. «С болезненным и горестным впечатлением от вчерашнего инцидента, мы предстали пред вашею превосходительною особою, как к представителю целого, всего правительства, чтобы пред вами выразить нашу скорбь, облегчить наше удрученное сердце и просить вас о помощи в нашем страшном горе, в каком мы находимся теперь. Вчера нас постиг один из самых чувствительных ударов, и на эту страшную весть все наше еврейское общество прозвучало болезненным стоном и поразило тревогою ввиду небывалого и неслыханного события». Вслед за сим приступом рассказывалась вся интрига Каржоля с Тамарой и особенно выставлялись на вид его своекорыстные цели, как равно и то, что никакое серьезное побуждение, кроме легкомысленного увлечения, не руководит несовершеннолетнею девицею Бендавид в намерении изменить вере своих отцов.— «Означенный граф», говорилось далее в прошении, «поранил так чувствительно наши религиозные и народные чувства, что мы стоим в остолбенении и немом гневе. Поэтому, приближаемся к вашей губернаторской милости с надеждой и верой, что ваша известная гуманность и справедливость никогда не допустит к тому, так как вы обеспечены официальным разрешением правительства, чтобы удовлетворять наши основательные желания. А потому слезно просим вас не лишать нас вашим доверием к нам, как и мы продолжаем быть уверенны на ваше превосходительство».

По мнению нескольких членов кагала, имевших случай прослушать предварительно это произведение рабби Абрама из уст самого автора, ничего не могло быть лучше по силе трогательной чувствительности и неотразимой убедительности.

#### **XIV. ДАЛЬНЕЙШИЕ ХОДЫ КАРЖОЛЯ**

Выпроводив от себя в карете Ольгу Ухову, измученный граф тотчас же разделся и бросился в постель; но спалось ему недолго. В третьем часу дня он проснулся, и первая мысль, тотчас же пришедшая ему в голову, была об Ольге и Тамаре.— А что, если жида какими-нибудь путями постараются довести до сведения Тамары, что они рано утром застали у него в запертой квартире «генеральскую барышню»?

«Невозможного в этом нет ничего», должен был он сознаться самому себе, и эта мысль встревожила, его не на шутку.

«Да, это совершенно возможно. Это они даже с особенным удовольствием нарочно постараются сделать. Да если при этом сама Ольга, спасая себя, начнет сегодня же благовестить в обществе о своем участии в Тамарном приключении, и если об этом как-нибудь дойдет до Тамары еще с другой стороны,— ой-ой, черт возьми! Ведь этим все дело, пожалуй, будет погублено... Закрадется подозрение, думать станет, явятся сомнения, ревность, недоверие к нему, а затем — кто знает! — может быть, родные добьются свидания с нею, а раз допустят родных — ну, тут уж дрянь дело!.. Пойдут все эти слезы, мольбы, убеждения, станут изображать его черт знает в каком свете и, пожалуй, успеют расхолодить девчонку...

«Хорошо еще, если ему удастся в эти дни свидеться с нею, тогда ничего; тогда он постарается и сумеет все это как-нибудь перевернуть по-своему, объяснить, представить ей в должном свете,— ну, словом, «зарядить» Тамару снова, и этим подогреет в ней и ее чувство, и ее веру, в самого себя. А если не удастся?..

«Все дело, надо сознаться, пока еще на волоске висит и вся эта великолепно задуманная им комбинация может вдруг, из-за какого-нибудь пустяка, просто в прах развеяться... Да еще выйдет, пожалуй, скандал, который пошатнет его репутацию, создаст ему фальшивое положение в обществе... Эх, черт возьми, скверно!..

«Как бы предупредить Тамару?.. Самому идти и просить свидания неловко: игуменья очень уж странным, пожалуй, покажется. Разве написать?.. И написать в таком тоне, что если бы даже письмо попало как-нибудь не в ее руки, а хоть бы и в руки самой Серафимы, то чтоб оно оставило впечатление не более, как теплого дружеского участия, но чтобы в то же время, для самой-то Тамары истинный смысл его был вполне ясен.

«Что ж, разумеется; написать — порешил Каржоль.— Так будет лучше всего, благо на этот счет есть уже заручка в послушнице Наталье».

И присев к письменному столу, он обдуманно написал Тамаре следующие строки:

«Ваше исчезновение из дома, как и следовало ожидать, переполошило всех евреев. Какими-то судьбами они успели пронюхать о моем участии в этом деле. "Сплетен и басен по этому поводу пошло уже по городу множество. Приплетают к делу даже одну из ваших приятельниц, распуская на этот счет невообразимый вздор. Можете себе представить, как злы теперь на меня евреи и какие мины поведутся ими против меня. Хотя я несколько их не боюсь, но тем не менее, ввиду всего этого, предупреждаю и прошу вас об одном: какие бы слухи, сплетни и клевета на меня и на других ни дошли до вас, с какой бы то ни было стороны,— не верить ничему ни на одно слово и быть твердо убежденной, что я безукоризненно чист пред вами и что как был, так и впредь навсегда останусь самым надежным, преданным и бескорыстным вашим другом. Умоляю вас верить в меня, несмотря ни на что, и оставаться непоколебимо твердою в принятом вами благом намерении, тем более, что вы пришли к нему в силу своего собственного внутреннего убеждения. Верьте, что дни передряг и испытании скоро пройдут и тогда наступит для вашей души желанный мир и покой, каких вы не найдете более в покидаемом вами еврействе, а с этим миром явится и невозмутимо светлое счастье».

«Ваш Валентин Каржоль».

Заклеив конверт, граф надписал на нем: «Послушнице Наталье, для передачи» — и позвонил своего «испытанного» человека.

— Вот что, голубчик,— сказал он,— на тебе это письмо и сейчас же отнеси ты его в Свято-Троицкий монастырь. Вызови там под воротами старика-сторожа, дай ему рубль денег, а если мяться станет, дай два, дай три, наконец, во что бы то ни стало уломай его вызвать к тебе послушницу Наталью, игуменьину келейницу, а сам дожидайся у него в сторожке, чтобы лишнему народу на глаза не попадаться,— понимаешь?.. Ну, и когда придет к тебе эта Наталья, шустрая такая, остроглазенькая, ты отдай ей это письмо и скажи, что от давешнего, мол, господина, который утром был у матушки с барышней; просят, мол, передать, а она уж там знает. Смотри ж ты мне, обваргань это дело живо и ловко! Тебя, впрочем, не учить как, сам понимаешь. Да чтоб письмо непременно было самой ей из рук в руки передано, не иначе!

Отправив таким образом своего надежного посланца, граф, не дожидаясь его возвращения, сам поспешно принялся за свой туалет. Он решил, что теперь было бы недурно проведать, говорят ли уже в городе о его ночных и утренних похождениях, и как и что именно говорят, как относятся в обществе ко всему этому делу. А если молва и не успела еще проникнуть во все гостиные, то было бы весьма полезно предупредить возможность ее невыгодного для него направления. Для этого лучше всего отправиться к губернаторше, благо у нее теперь как раз приемные часы, и постараться привлечь ее

на свою сторону. А раз она будет за него, то одно уже это намного обессилит всякие дурные толки и сплетни.

В начале пятого часа граф Каржоль де Нотрек уже входил в мягкую гостиную украинской губернаторши.

— Ah, le voici!.. Легки на помине! — не вставая с диванчика, лениво протянула она ему руку из-за раздвижного чайного столика, на котором стоял перед нею серебряный спиртовой самоварчик и севрский чайный сервиз с лотком, наполненным какими-то миниатюрными крендельками и воздушными сухариками.

У губернаторши, в ее дневные приемные часы, сообразно петербургскому обычаю, обыкновенно появлялся чайный столик, вносимый лакеем, причем она собственноручно разливала чай в маленькие чашечки своим посетителям. Это была благотворительная и авторитетная «особа с весом», лет уже под сорок, сохранившая, вместе с привычкой «меланжировать» французское с нижегородским, еще следы тщательно реставрируемой красоты и потому днем садящаяся не иначе, как затылком к свету.

Каржоль, кроме хозяйки, нашел в ее гостиной еще двух губернских барынь: одну «контрольную», другую «акцизную» и — совершенно неожиданно для себя — Ольгу Ухову. Впрочем, встреча с последнею хотя несколько и озадачила, однако же явно не смутила его. Он только подумал про себя с некоторым опасением, не наплела бы она тут чего-нибудь такого, не совсем сообразного... Влопается, пожалуй.

Но Ольга сидела совершенно спокойная, как ни в чем не бывало.

— Садитесь и рассказывайте, comment von! les affaires?., у a-t-il du nouveau? — приветливо пригласила его хозяйка, принимаясь наливать ему чашку.— Olga nous a raconte déjà, как это вы с нею пристроили cette petite juive au couvent.

— Да, но если бы вы знали, чего мне это стоило и как меня напугали утром эти противные евреи,— ввернула кстати свое слово Ольга.

— А что такое? — с любопытством повернулась к ней губернаторша.

— Да как же! Мы условились, что граф отведет ее к Серафиме и сейчас же вернется за мной, чтоб еще до рассвета проводить меня домой. Понятно, что мне вовсе не было охоты афишировать себя с ним на улице засветло,— из этого у нас вывели бы Бог знает какие заключения... И вот, жду, жду его, сижу час, сижу два — не возвращается. Наконец, меня сон сморил, и я, как сидела на оттоманке, так и заснула, как убитая. Вдруг какой-то шум, голоса, стуки в дверь,— что такое?!.. Просыпаюсь, слышу какой-то гвалт жидовский и спросонья не могу даже сообразиться, где я и что со мной... Перепугалась ужасно, кричу: отворите! выпустите меня! — Вдруг дверь открывается... на пороге — граф, а за ним — целая орава жидов... Можете представить себе мое положение и до чего я смешалась! С перепугу наговорила им, кажется, какого-то вздора, но слава Богу, они убедились, по крайней мере, что это не Тамара, и то хорошо.

— Однако, какие смелые нынче барышни,— не без ядовитости заметила акцизная дама.— Я бы, кажется, ни за что не решилась...

Дама же контрольная ничего не сказала, а только ехидно усмехнулась и, скромно потупив глаза, стала разглаживать на своем стеклярусном доломане какую-то бахромку.

— Non, cela me plait,— авторитетно поддержала Ольгу хозяйка.— В своем роде.c'est de l'heroisme, и в таких случаях, мне кажется, надо смотреть на побуждения и цели, а не на то, чем это может показаться городскому злословию... Non, chere Olga, j'approuve votre conduite. Это прекрасно,— то, что вы сделали с графом... А я и не знала, граф,— обратилась она к Каржолю,— que vous etes aussi parmi les ревнители de l'Orthodoxie?

— Ce n'est qu'une eventualite,— скромно пожал Каржоль плечами.— Но вообще, почему же не помочь благому намерению, раз ко мне обратились с этим?

— О, разумеется! И всякий из нас, я уверена, сделал бы на вашем месте то же. Но это great attraction нынешнего дня... и скажите, граф, как же теперь эта евреечка? В монастыре? Приютили ее там?

— Все, как не надо лучше,— отозвался Каржоль. — Seraphine — une femme de soeur, celle-la! — разве она могла отказать!.. Правда, сначала она было несколько затруднялась, но, увидя слезы и мольбы этой бедняжки, elle a dit: «так Богу угодно» и приняла ее. Дали ей там отдельную келийку, рядом с самой Серафимой, где она, по крайней мере, проживет спокойно jusqu'au baptême. Вероятно, вас будут просить крестною матерью. Vous ne refuserez pas, sans doute?

— Certainement,— с благочестиво скромным достоинством повела головой губернаторша.

— Вообще, вы бы сделали un vrai bienfait a cette pauvre petite, если бы взяли ее немножко под свое покровительство,— продолжал он просящим и убеждающим тоном.— Надо бы было прежде всего оградить ее от всех этих жидовских посягательств. Ведь они, наверное, будут теперь всячески домогаться помешать ее обращению, вырвать ее так или иначе из монастыря, чтобы вернуть в свой кагал, а раз это случится,— вы понимаете,— жизнь ее будет ужасна, невозможна, невыносима просто!

— Mais c'est commence deja, les домогательства! — выразительно веским тоном объявила ему губернаторша.

— Как так?! — удивленно вскинулся на нее глазами Каржоль.— Какие домогательства?

— Comment, разве вы еще не слыхали? — удивилась в свою очередь хозяйка.

— Ровно ничего не знаю. В чем дело?

— О, как же!.. Mon Simon «так губернаторша обыкновенно называла своего супруга» давеча за завтраком рассказал мне целую историю. Figurez vous, часов около десяти утра, еще к поздней обедне звонить не начинали, как у монастырских ворот собралась откуда-то целая толпа de jeunes juifs, d'eleves et d' оборванцы, и настойчиво стала требовать, чтобы их допустили к игуменье.

Привратник им, конечно, отказал, и так как ворота были заперты, то они принялись разносить их, ломиться силою; но это не удалось — ворота оказались достаточно крепки. Тогда они стали кидать в них грязью и камнями,— horreur! — это в святые-то лики, *aux saintes images, qui se trouvent la!*.. Каково!?!.. А затем камни полетели через стену во двор и одним из них чуть было не зашибло какую-то старушку-монахиню. Ну, словом, *on a bloqué et bombarde le couvent*, формальным образом, в продолжение чуть не целого часа, пока не явилась наконец полиция. Пришлось собрать целую дюжину полицейских, чтоб разгонять их.

— Ну, и что ж, захватили кого-нибудь из негодяев? — спросил Каржоль с видом будто бы негодования.

— Представьте, никого,— все разбежались.

— Это ужасно... Но, по крайней мере, заметили кого-нибудь в лицо?

— Н... не знаю, может быть. *Mon Simon* не говорил мне. Он сам ничего не знал, пока не приехал к нему полицмейстер. Ну, тогда, конечно, *Simon* распорядился *a la minute* поставить к обоим воротам полицейские посты, *pour la defense*, и с тех пор, слава Богу, эти безобразия не повторились более. Но каковы евреи!., а?.. *Et voilà se qu'on appelle une* «угнетенная нация»... Как вам это понравится?!

— Возмутительно! — пожал плечами Каржоль, уверенный, что к монастырю направились именно те самые жидки, которые осаждали и его квартиру.— Надо бы *couste que couste*, открыть и арестовать зачинщиков. Вы бы настояли на этом, право,— заботливо посоветовал он.— Это необходимо. Ведь подумайте, после этого и нам, да и никому не безопасно выходить на улицу... Что ж это за безобразии!

«Хорошо, что я в карете!» подумалось ему кстати.

В это время пробило пять часов — урочная пора, когда у губернаторши прекращался ее прием — и поднявшиеся гости стали откланиваться.

— Ну что, как дома? — вполголоса спросил Каржоль Ольгу, по выходе из гостиной.

— Ничего, все уладила,— назамерно обронила она ему мимоходом и проскользнула вперед, к акцизной и контрольной дамам.

Каржоль считал, что для обеспечения Тамары сделано им пока все, что надо, и потому с более легким сердцем отправился домой, забившись в глубь своей кареты. Ему не хотелось, чтоб его замечали не столько евреи, сколько просто знакомые. Вообще, лучше бы было, если бы о нем теперь поменьше говорили.

## **XV. СКРУТИЛИ!**

К пяти часам пополудни, оба «ходатая», рабби Ионафан и рабби Абрам, сошлись уже в нотариальной конторе у шамеш-гакагала. К этому сроку все долговые обязательства графа



Каржолы были уже собраны. Ни единый человек не дерзнул ослушаться или замедлиться в исполнении постановления катального Совета,— и шамеш оформил переход этих документов в единовладение Бендавида надлежащим нотариальным актом, с которого его помощник спешно снимал теперь копию для ходатаев. Полчаса спустя по их прибытии, копия была готова, тут же засвидетельствована нотариусом и вручена рабби Ионафану, вместе с доверенностью от имени Бендавида. После этого оба ходатая немедленно же отправились к Каржолю.

Граф незадолго до этого вернулся от губернаторши и теперь чувствовал себя много спокойнее, чем два часа назад, потому что, с одной стороны, Ольга, по-видимому, не только не провралась, но еще заслужила одобрение и благоволение губернаторши, а с другой — возвратившийся из монастыря человек доложил, что поручение его сиятельства исполнено в точности, письмо отдано келейнице Наталье им самим, из рук в руки, и она обещала сейчас же передать его кому следует, пускай-де граф не сумлеваются, все, мол, будет сделано в аккурате, и напередки милости просим.

Чувствуя себя довольно благополучно, Каржоль намеревался уже отправиться в клуб обедать, когда все тот же человек доложил ему о приходе Абрама Блудштейна с товарищем.

Абрам Иоселиович был известен графу довольно близко: чрез его посредство граф уже трижды занимал деньги «на перехватку», в ожидании, пока двинется в ход его акционерное «предприятие», и из этих трех раз уже в двух случаях ему приходилось прибегать к доброму содействию все того же обязательного Абрама Иоселиовича. для пересрочивания и переписки своих векселей, причем Абрам Иоселиович всегда являлся самым любезным и предупредительным посредником, а может быть, и заимодавцем, лишь прикрывающим ролью посредника. Последнее было даже вероятнее, потому что за свои хлопоты он никогда не брал с Каржолы никакого куртажа, уверяя, что оказывает ему эти «маленькие услуги» лишь по знакомству, «из уважения». И Каржоль охотно эксплуатировал «уважение» Абрама Иоселиовича, как и этот последний, в свою очередь, эксплуатировал карман Каржолы, в счет будущих барышей от его «предприятия», а также, отчасти, и его общественное положение, когда являлась надобность интимно «замолвить слово» о чем-нибудь губернатору или кому-либо из прочих тузов губернского мира. Сам Абрам Иоселиович Каржолевскому «предприятию» не верил, но это не мешало ему ссужать его деньгами, так как на каждое «предприятие» всегда находится довольно простаков, готовых ухлопать в него свои сбережения, и Абрам Иоселиович хотя и рисковал, конечно, но все-таки был уверен, что деньги свои вернет с хорошим процентом, если только не упустит для этого надлежащую минуту. А он надеялся, что не упустит.

Вспомнив, что на сих днях наступает срок третьему векселю, граф Каржоль не удивился приходу Блудштейна и нашел только, что принесла его нелегкая совсем некстати теперь, в такую минуту, когда и есть ему хочется, да и мысли его заняты совсем другим. Но отказать в приеме такому всегда «нужному человеку»

было бы неполитично, а потому, хотя граф и состроил кисло-досадливую гримасу и даже чертыхнулся от всей души, тем не менее приказал человеку впустить его.

— Ах, почтеннейший Абрам Осипович! — с «обворожительно» приветливой улыбкой встретил его Каржоль, слегка приподымаясь, но не вставая с оттоманки.— Очень рад вас видеть. Что прикажете, милейший?.. Садитесь, пожалуйста.

Каржоль всегда чествовал Блудштейна русским «Осиповичем» вместо жидовско-польского «Иоселиовича», давно уже заметив, что в сношениях с русскими оно ему больше нравится и даже как бы льстит его самолюбию, в качестве бывшего «петербуржца», тем более, что Блудштейн сам иногда любил называть себя «русским евреем».

— Дело имеем до вашего сиятельства,— заявил он, кланяясь с таким безразличным и сдержанным видом, что пытливый глаз Каржоля никак не мог определить сразу, какого рода могло бы быть это дело — приятное или неприятное?

— Дело?.. Ого! Даже несмотря на шабаш?! — любезно и шутливо продолжал граф все в том же своем «обворожительном» тоне.— Значит, что-нибудь отменно важное, если уж такая экстренность?

— Очень важное,— все так же сдержанно подтвердил Блудштейн, опустив глаза в землю.

— Ну, что ж, делу всегда рад — на то мы с вами и «деловые люди» называемся... Да берите же кресло, почтеннейший!

— Но прежде всего позвольте представить... мой товарищ, господин Ионафан Бриллиант, ламдан.

— Очень приятно,— издали послал тому граф комплиментный жест рукою.— Прошу садиться.

Оба еврея молча и скромно присели против него — один в кресло, а другой на кончик стула.

— Это ваша фамилия такая, Бриллиант? — продолжал Каржоль, барски благосклонно обращаясь к Ионафану.

— Фамилия,— ответил за промолчавшего товарища Блудштейн.

— Прекрасная фамилия... очень оригинальная и даже, можно сказать, блестящая... Ну-с, однако, в чем же ваше дело, господа? Чем могу быть полезен?

— Мы доверенные от господина Бендавида,— заявил деловым тоном Блудштейн.

При этом неожиданном имени Каржоль слегка вздрогнул и серьезно сдвинул брови. По лицу его разлилась некоторая бледность. Стараясь превозмочь, в себе внезапно екнувшую в сердце тревогу и сознавая, что надо как можно скорей овладеть собою, чтобы казаться вполне спокойным, он ни словом, ни даже кивком головы не отозвался в ответ на заявление Блудштейна и только продолжал вопросительно глядеть на него выжидающим взглядом.

— Теперь,— продолжал тот,— ваше сиятельство, конечно, додумали, зачем мы вас беспокоим нашим визитом и какое наше дело.

Каржоль не переменил ни позы, ни выражения.

— Старик Бендавид узнал сегодня все... Он знает ваше участие до его внучки и считает, что вы ему поможете...

— Какое участие?., и в чем помочь?.. Я ничего не понимаю,— пробормотал граф и стал заботливо закуривать папиросу, чтобы хоть этим немножко замаскировать свое замешательство.

— Он рассчитывает на вашу помощь,— пояснил Блудштейн,— что вы, как благородный человек, сделаете так, чтобы девочка поскорей вернулась домой. Это дело, граф, надо бросить... Совсем пустое дело, несостоящее... И мой совет вам, лучше оставьте... Право, лучше будет!

— Во-первых, любезнейший,— начал с достоинством и напускным холодом граф, успевший несколько оправиться,— не благодарю вас за совет, потому что я не просил его. А во-вторых, какое мне дело до вашего Бендавида! Я его совсем не знаю, да и знать не буду... И по какому это праву он вдруг рассчитывает на мою помощь? Если я знаком отчасти с его внучкой, то в отношении его это еще ровно ни к чему меня не обязывает и никак не дает ему прав присылать ко мне своих «доверенных» и «советников» с подобного рода... странными требованиями. Удивляюсь, как это вы, почтеннейший, решились взять на себя такую неподходящую роль. Мало ли кто что будет «считать»,— мне-то что!.. Я даже не понимаю, с какой стати вы мне все это говорите и — признаюсь вам — если у вас нет ко мне другого, более серьезного дела, то об этом лучше перестанем. Я, по крайней мере, на эту тему не желаю более продолжать никакого разговора.

А надо будет продолжать, граф, хотя и не желаете, — проговорил Блудштейн каким-то загадочным, не то ироническим, не то предостерегающим тоном.

Этот странный, как будто даже дерзкий тон окончательно уже не понравился Каржолу. «Наглый жид забываться, кажись, начинает» Граф вспыхнул и молча смерил глазами своего собеседника.

Послушайте, Абрам Осипович,— начал он с некоторою выдержкой,— вы очень милый человек и ссориться с вами мне совсем не хотелось бы. Н-но... я не люблю, когда со мной начинают говорить подобным тоном и не советую продолжать его!

— А я же, граф, тоже не люблю, но что делать!.. Вы думаете, что мне это так приятно?

— А неприятно, так прекратите.

— Не имею права, граф. Я должен так или иначе кончить с вами.

Каржоль опять напустил на себя высокомерную холодность и сухость.

— Что это значит «должен»,— спросил он, пофыркивая.— И что, собственно, позвольте узнать, намерены вы «кончать» со мной?

— А все то же, насчет Бендавида.

Граф начинал уже внутренне кипятиться и выходить из себя, но пока все еще старался по возможности сдерживаться.

— Да позвольте, однако,— внушительно возвысил он голос,

— по какому это праву вы — именно вы — являетесь ко мне с подобного рода требованием? Что я вам такое? Свой брат, что ли?.. Я никому не обязан давать отчета в своих поступках и ничего не сделал такого, что давало бы кому-либо право требовать от меня отчета.

— Я уже заявлял вашему сиятельству, что мы уполномочены от господина Бендавида,— спокойно и деловито заметил на эту вспышку Блудштейн.

— Ну, а я еще раз вам повторяю, что Бендавида вашего не знаю, никаких отношений и дел с ним не имею, а потому, если вам угодно говорить со мной о наших с вами личных делах, или о каком-нибудь собственно вашем деле, сделайте одолжение, я к вашим услугам... Все, чем могу, и советом, и содействием — вы знаете, всегда готов помочь вам. Ну, а что до Бендавида, то после всего сказанного мною, надеюсь, вы поймете, что нам больше разговаривать не о чем. Это будет совершенно бесполезная потеря времени, а его, кстати, у меня очень мало, так как я сейчас же должен ехать обедать.

И Каржоль поднялся с оттоманки, явно показывая этим, что беседу с ним пора кончить...

Евреи тоже поднялись с мест и многозначительно переглянулись между собою.

— В таком случае,— начал Блудштейн, приняв вполне официальный тон,— позвольте заявить вашему сиятельству, что от сегодняшнего числа господин Соломон Бендавид есть единственный владелец всех ваших долговых обязательств в здешнем городе, на сумму сорок одна тысяча шестьсот рублей.

Каржоль точно обухом по лбу хватили. Он сразу как-то осовел и как будто не совсем даже понял, что ему сказали.

— Каких долговых обязательств? — пробормотал он, хлопая глазами.

— Всех вообще, векселей, расписок, магазинных и прочих счетов, одним словом, всего, что было выдано вами на здешних евреев за вашей подписью, всего.

— Позвольте, это вздор какой-то... Этого не может быть! — недоверчиво усмехнулся Каржоль принужденною улыбкой.

— Напротив, совершенная правда. Господин Соломон Бендавид скупил сегодня все эти документы от владельцев, и сделка оформлена в нотариальном порядке.

— Этого не может быть! — воскликнул граф, приходя понемногу в себя от первого ошеломляющего впечатления.— Это невероятно!.. Вы запугать меня хотите, я понимаю... Только нет, господа, ошибаетесь, не на того напали!.. Да-с!.. Это называется шантаж!.. Это... Это черт знает что!..

— Пугать вас не имеем цели,— спокойно возразил Блудштейн.— Мы явились только заявить вам. А что это верно, так вот — не угодно ли взглянуть на засвидетельствованную копию с акта. Рабби Ионафан, покажите.

Достав из бокового кармана бумагу, ламдан развернул ее и подал Каржолу. Тот пробежал ее глазами, взглянул на печать и, не говоря

ни слова, весь бледный и точно пришибленный, опустился в кресло. Рука его, державшая бумагу, нервно дрожала, на лбу выступили капли холодного пота, растерянный взгляд остановился на лице Блудштейна.

— По одному из векселей,— продолжал Абрам Иоселиович,— вы помните, срок на уплату послезавтра. Вексель в пять тысяч. Вы можете уплатить?

— То есть, это тот, по которому я получил от вас всего две с половиной тысячи,— попытался было поправить его Каржоль.

— Это все равно, сколько получили. Я спрашиваю, имеете вы чем заплатить?

— Нет, позвольте,— вступился за себя граф, уклоняясь от прямого ответа,— условие было такое, что я обязан платить лишь то, что взял, то есть две тысячи пятьсот с процентами, а вексель в пять тысяч вы потребовали только так, «для спокойствия кредитора».— Вы сами это говорили и обещали возратить его при уплате, не взыскивая остальных... Вы это помните?

— Я спрашиваю ваше сиятельство, угодно вам будет заплатить или не угодно? — спокойным, ровным голосом, но весьма настойчиво повторил Блудштейн.

Припертый этим вопросом, что называется, к стене, Каржоль в очевидном смущении заискал чего-то растерянно бегающими глазами по комнате, точно бы это неизвестное что-то могло и должно было выручить и оправдать его.

— Если я беру деньги, я всегда, конечно, плачу их... Это мое правило... Но... на этот раз... я, признаться, рассчитывал на перенос срока — залепетал он, как бы оправдываясь и извиняясь.— Вы всегда были так снисходительны, охотно соглашались переписывать... я думал и нынче...

«Да, то был я»,— усмехнулся Блудштейн,— а теперь Бендавид. Это немножко разницы. Бендавид переписывать не станет,— добавил он с видом твердого убеждения.

— Тогда, значит, что ж это?! — возмущенно и чуть не со слезами в голосе развел граф руками.— Меня, значит, зарезать хотят, погубить... подорвать все мое предприятие, все дела мои?.. Выходит, я банкрот?!..

— Сами вы подвели себя на то, себя и вините,— иронически пожал плечами Блудштейн.— Впрочем, что ж! — прибавил он с усмешкой.— Спасение в ваших руках, оно от вас зависит.

— Как от меня?.. Что же я-то тут, если меня связали по рукам и ногам и душат за горло!.. Смеетесь вы, что ли?!..

— Зачем смеяться, дело серьезное.

— Так что же, по-вашему, должен я сделать? — уставился на него Каржоль нетерпеливо ожидающим и пытливым взглядом. В словах Блудштейна пред ним мелькнула как будто легкая тень какой-то смутной еще надежды, нечто вроде той соломинки, за которую рад ухватиться утопающий.

— Вы видите, что вам теперь не дохнуть,— начал ему доказывать Абрам Иоселиович.— Вы весь с головой, как есть, в руках у Бендавида: что захочет, то с вами и сделает, куда ни подумает, туда и обернет...

Ну, и куда же вам после того с ним тягаться?!.. Подумайте!.. И что ему какие-то там сорок тысяч! — Пфэ!.. захочет, весь город будет сидеть у него в кармане со всеми вашими губернаторами, а не то что ваши векселя!.. И с таким человеком вы вдруг затеяли такое, извините меня, совсем пустое, глупое дело!.. Я всегда думал себе, что вы умный человек, и мне жаль вас!.. ей-Богу, жаль!

Каржоль, точно бы пристыженный мальчишка, сидел, понурился и уткнувшись между коленями сложенные руки. Весь его внешний блеск, весь апломб его как рукой сняло. Озадаченный, сконфуженный и растерянный, он был просто жалок и выслушивал теперь всю эту журьбу и наставления торжествующего Блудштейна, как пойманный на месте преступления школьник, который ждет в душе, что, может быть, его сейчас высекут, а может, даст Бог, и помилуют. По крайней мере, в словах и тоне рабби Абрама слышалась, ему отчасти и эта последняя возможность.

— Угодно вам выслушивать предложение от господина Бендавида? — обратился к нему между тем еврей с решительным вопросом.

— Пожалуйста, очень буду рад,— пробормотал Каржоль, у которого от этих слов еще более вспыхнула искорка надежды.

— Ну, так вот что, ваше сиятельство. Одно из двух: или Бендавид скрутит вас в бараний рог, и всю жизнь крутить будет, потому что вы ведь никогда ему таких денег не заплатите; или же вы должны раз и навсегда оставить всякие ваши мысли и фокусы насчет мамзель Тамары и сегодня же обязаны уехать из города и даже из краю — куда хотите, но только чтобы духом вашим здесь больше не пахло. Вы никогда больше не будете ни желать видеться с мамзель Тamarой, ни писать до нее, ни передавать ей с посторонними людьми о себе никаких известий, и вообще, забыть, что она есть на свете. В противном же случае, чуть только что — векселя ваши в тот же час выпускаются на сцену. Ну, и тогда, берегитесь! Бендавид шутить не будет. Вот вам его решение. Согласны или нет?

— Н... надо подумать,— сказал Каржоль нерешительно.— Как же так сразу...

— Извините, думать некогда. Надо решать в сию минуту. Да или нет — одно слово!

— Но как же так, право!.. Ведь у меня здесь дела, городской водопровод,, поземельная агентура — целое предприятие, в котором замешаны очень крупные финансовые и общественные интересы... Не могу же я бросить все это так, на фу-фу!..

— Э! Оставьте, пожалуйста!.. Никаких таких дел у вашего сиятельства, по правде говоря, здесь нет. Одни проекты да разговоры, да в клубе в карты обыгрывать — вот и все ваши дела! — резко перебил его Блудштейн.— Дуракам вы это можете рассказывать, а не нам. Мы тоже знаем кое-чего, и все ваши предприятия, извините, одно только шарлатанство, добрых людей морочить!

— Ну, не вам об атом судить, положим,— презрительно огрызнулся граф тоном обиженного достоинства.

— А как не нам, то и не вам,— заплатил ему Блудштейн той же монетой.— Но это все не та музыка! — продолжал он.— Нам нет время ждать, и говорите, пожалуйста, прямо: да или нет?

— Да ведь я же представляю вам мои резоны!.. Как вы не хотите понять! Войдите в мое положение!.. Я не отказываюсь, я выеду, но мне необходимо хоть - несколько дней на приведение моих дел в порядок...

— Да или нет, ваше сиятельство? — настойчиво перебил его Блудштейн.

— Фу, ты, Господи!.. Но, наконец, надо же мне собраться, покончить кое-какие мелочные счета, уложиться, сдать квартиру и мало ли что... Всего этого в несколько часов не успеешь.

— Счета, какие есть, Бендавид берет на себя,— удостоверил его Блудштейн.— Бендавид уплатит все, до копейки, можете быть спокойны. Квартиру мы сдадим и без вас, по доверенности — оставьте только нам доверенность, на простой бумажке. А что упаковаться, так чемоданы же вы имеете и людей имеете, с ними и упакуетесь. А хотите, и мы даже поможем.

— Да, но... куда же и как я, однако, поеду?.. Надо ведь это сначала сообразить, обдумать, согласитесь сами!

— Поезжайте, куда знаете: в Петербург, в Москву, в Варшаву или за границу — это уже ваше дело, абы только ни в один город в здешнем крае.

— Легко сказать, поезжайте!.. А с чем же я выеду? — грустно усмехнулся Каржоль.— У меня нет ни копейки,— сами же вы меня поставили в такое невозможное положение.

— Ну, прекрасно! Сколько вам надо на выезд?

— Это трудно сказать. Да и как же так, наобум, не сообразивши!.. Тут ведь не один только проезд, а надо же мне, по приезде хотя бы в Москву, положим, ну, хоть на первое время... надо же прожить чем, руки за что зацепить... Ведь вы меня всего лишаете! Благодаря вам, я разорен теперь!..

— Хорошо. Говорите сколько?

— Да, по крайней мере, столько, чтобы в новом месте я мог бы приличным образом начать новое предприятие.

— Н-ну, это слишком широко! Кладите умеренной. Тысяча вам довольно.

— Как тысячу! Помилуйте! — взмолился Каржоль, разводя руками.— Да что же я на тысячу могу сделать?!.. Чтoб завести дело, я прежде всего должен жить прилично, иметь порядочную обстановку... Вы меня мало того что здесь разоряете, да еще и там хотите по миру пустить!.. Я полагал бы, тысяч пять, по крайней мере.

Рабби Абрам и рабби Ионафан переглянулись и заговорили о чем-то между собой на еврейском жаргоне. Каржоль напрасно вслушивался в звуки-непонятного ему языка, напрасно даже старался по выражению их лиц и по интонации разга

дать смысл таинственных переговоров: лица оставались совершенно бесстрастны, тон безусловно ровен и спокоен. При этом ему как-то само собою пришло на мысль одно уподобление, а именно, вспомнилось, что таким точно образом переговариваются председатели с членами суда во время заседаний, и он теперь, в неизвестности, ожидал их решения, с чувством, близко похожим на томительно сосущее под ложечкой чувство подсудимого.

— Вы говорите, пять тысяч? — обратился к нему, наконец, Блудштейн.— Извольте. Пускай по-вашему. Вы можете получить от Бендавида пять тысяч, но тогда, когда подпишите вексель на пятьдесят. Вексель будет хоть на мое имя. Согласны?

Каржоль почувствовал, что начинает как будто воскресать. Он понимал, что подобным условием жида рассчитывают затянуть над ним еще крепче мертвую петлю, но досадно ему было лишь одно: зачем он назначил им только пять, а не десять, не пятнадцать, не двадцать тысяч! Заломил бы больше, было бы, по крайней мере, с чего спустить, и если они так легко сдались на пять, то очень может быть, что согласились бы и на большее, но увы! — промах сделан и теперь его уже не поправишь. А впрочем, не поторговаться ли?.. Авось-либо!..

И он рискнул заявить евреям, что цифра пять тысяч сказана им только так, примерно, что, собственно говоря, прежде чем изъявить на нее свое согласие, ему следует сообразиться, достаточно ли будет такой суммы.

— Ну, нет, извините, больше ни одной копейки! — решительно оборвал его Блудштейн.

Ламдан же Ионафан не сказал ни слова, но зато усмехнулся прямо в глаза Каржолю такой тонкой, иронически язвительной улыбкой, которая прямо показала ему, что этот человек до глубины разгадал всю некрасивую сторону его последнего психического побуждения.

Граф моментально вспыхнул до ушей и невольно опустил глаза перед этой улыбкой. Ему стало вдруг досадно — отчасти на самого себя, за эту неуместную и невольно выдающую его краску в лице, а главным образом, досадно чуть не до истерической злости на ламдана за то, что как «это животное» смеет улыбаться подобным образом, как оно смеет давать ему чувствовать, что понимает всю его сокровенную внутреннюю сущность! Будь его воля и власть, Каржоль охотно избил бы его теперь как собаку, но увы! опять-таки увы! — несмотря на весь прилив такого негодования, он сознавал, однако, что, позволив себе малейшую несдержанность в этом отношении, легко может окончательно испортить свое дело и не получить ни копейки. В сущности, ему было решительно все равно, на какую бы сумму ни подписывать вексель, лишь бы заполучить в руки сколько-нибудь денег, которых, кстати, в данную минуту, у него совсем не было, и он очень хорошо понимал, что отныне, при таком враждебном отношении к нему здешних жидов, нечего уже рассчитывать на дальнейшую возможность каких бы то ни было займов и «перехваток» в Украинске.



Стало быть, оставалось только соглашаться на предложение Блудштейна. Но, приходя к такой печальной необходимости, Каржоль — сколь это ни странно — все-таки питал в душе утешительную надежду, что, может быть, и не все еще потеряно, что, уехав отсюда, он авось-либо оседлает свою судьбу, как-нибудь раздобудет — ну, хоть в карты, что ли, выиграет — столько денег, чтобы разом выкупить у Бендавида все свои документы. Ему даже казалось, что все это непременно должно случиться в самом скором времени, и тогда Тамара будет все-таки его, со всеми ее капиталами, которые сторицею вознаградят его за все эти оскорбления и убытки, и тогда-то настанет полное торжество его над всем жидовством!.. О, да это такое выгодное, блестящее дело, что под него, наверное, найдутся и деньги,— даже нарочно можно отыскать денежных компаньонов,— ведь находятся же адвокаты, которые на свой риск берутся отыскивать разные американские наследства, а тут совсем реальное дело, у себя дома, на своей почве; так неужели же тут-то не найдется ни людей, ни денег на предварительные расходы?! — Всего каких-нибудь сто тысяч, да это такие пустяки!.. Лишь бы только Тамару-то за это время не сбили с толку, лишь бы она оставалась тверда в своем намерении и в своем чувстве, а остальное все пустяки!.. И это вздор, будто кагал, как она думает, может лишит ее наследственного состояния,— на это у нас есть закон, да и адвокатские головы найдутся, было бы им только из-за чего потрудиться!.. И так, надо, значит, отступить теперь шаг назад, чтобы вслед за тем смелее сделать «выпад» и прыгнуть на два.— И Каржоль изъявил Блудштейну свое согласие на его ультиматум.

— Да, но это не конец, ваше сиятельство,— возразил ему тот.— Это не конец, я еще не досказал моих условий. Вы дадите вексель на пятьдесят тысяч и, кроме того, еще одно маленькое обязательство, так, небольшую подписку.

— Это еще что такое? — удивился граф, почувствовав с досадой и замешательством, что его планам и предположениям опять, кажись, намереваются ставить какие-то новые барьеры.— Какую еще подписку хотите вы? Разве недостаточно, что я уезжаю отсюда?

— Так, но без этого невозможно. И это же совсем пустяк для вашего сиятельства,— принялся уговаривать его Блудштейн.— Вы просто напишите нам маленькое обязательство, на двух строчках, с таким смыслом, что я, нижеподписавшийся, получив от господина Соломона Бендавида пять тысяч рублей, с сим обязуюсь навсегда прекратить всякие отношения к девице Тамаре Бендавид,— вот и только.

— Нет, такой подписки я не дам,— решительно и резко отказался Каржоль.

— Почему? — удивился Абрам Иоселиович.— Разве вам не все равно?!.. Это же только старику для спокойствия,— ну, и что такого?!

— У старика «для спокойствия» остаются мои векселя, чуть не на сто тысяч, если я подпишу вам теперь еще один на пятьдесят,— возразил ему Каржоль,— стало быть, чуть что,

он всегда может представить их ко взысканию, и я никогда не буду в состоянии заплатить ему сразу такие деньги,— вы это понимаете, надеюсь. А подобная подписка, это будет только компрометировать меня в глазах порядочных людей — не евреев,— прибавил он с ударением.

— Ну, а когда так, то извините, вы и пять копеек не получите,— поприжался Блудштейн, нарочно показывая вид, будто собирается уходить, считая после этого переговоры оконченными.

— Ну, что ж? В таком случае, будь, что будет! Я остаюсь в городе,— отозвался на это Каржоль с напускным равнодушием.— Можете делать все, что вам угодно, я с своей стороны тоже приму некоторые меры.

— Ну, и какие меры, позвольте узнать? — недоверчиво спросил Абрам Иоселиович, с легкой иронической усмешкой.

— А, это уже мое дело,— сухо уклонился граф, принимая загадочный и многозначительный тон, хотя в душе и сам не знал, какие такие меры могли бы быть им приняты.

— Жаль, жаль,— продолжал Блудштейн, покачивая головою с тою же усмешкою, хотя сам в то же время думал себе: «А черт его знает, может и в самом деле успеет еще чего-нибудь напаскудить».— Очень жаль,— повторил он со вздохом,— а я был бы очень любопытный послушать, что вы можете?..

— Да, так я вам и высказал! Нашли дурака! — усмехнулся ему и Каржоль в свою очередь.

Настала короткая пауза. Оба противника, казалось, обдумывали и соображали каждый свое положение и силу взаимных ударов.

— Ну-ну, ваше сиятельство, оставьте эти шутки! — заговорил наконец Блудштейн.— Делайте как знаете, принимайте меры, какие вам угодно, только знайте наперед: когда вы добром не уедете, мы сделаем так, что через трое суток вас с жандармами вышлют отсюда. Вы не знаете, с кем вы шутите.

Каржоль, между тем, все еще продолжал свою паузу. Он понимал вполне ясно всю невозможность оставаться наперекор евреям в Украинске, после того, что все его векселя в руках Бендавида и что здесь источник добычи каких бы то ни было средств для него уже кончился, а без средств он бессилён сделать что-либо и «в пользу» Тамары. Он не сомневался, что жида сумеют «подмазать» и Горизонтова с консисторией, и всевозможных чиновников, даже «голубое управление», и могут в самом деле подстроить против него какую-нибудь такую каверзу, которая наделает ему массу хлопот и неприятностей и, вдобавок, не получит он с них не то что пяти тысяч, а и пяти шишей. А тут еще послезавтра срок этому проклятому векселю,— значит, протест, вызов в суд, опись «собственного» имущества, когда и всего-то имущества этого на два пятиалтынных,— ну, словом, полный скандал... А с другой стороны, еще эта барышня Ухова с ее беременностью и приставањьями... Того и гляди, еще и тут вся истина всплывет наружу... Значит, грозит ему полное падение в глазах общества.

Во все дома все двери закрыты, конец кредиту, подрыв всех, так отлично задуманных, предприятий... Скандал, скандал со всех сторон и ниоткуда больше ни поддержки, ни копейки денег, так что и скрыться, бежать от этого позора не с чем и некуда будет. Остаться ему долее в Украинске действительно невозможно. Но невозможно тоже дать и требуемую подписку. Каржоль отлично понимал, что подписка эта нужна его «мучителям» вовсе не для «спокойствия». Бендавида, а только для того, чтобы при первой же возможности предъявить ее Тамаре и тем уронить, уничтожить его в ее глазах,— это ясно!.. Стало быть, выдавая на себя такой позорный документ, надо окончательно уже отказаться от борьбы и всякой надежды, поставить над всем этим крест и бежать, бежать поскорей к какой-нибудь новой жизни и деятельности. А разве легко так отказаться, когда клад, в лице Тамары, очевидно, сам дается ему в руки и требует от него только энергии для необходимой борьбы с противниками. Нет, Каржоль не откажется, он сделает еще одну попытку, он готов для этого даже «унизиться» перед жидами и не то что убеждать, а просить, умолять их, если бы оказалось нужным. Ради такой цели он приносит им «в жертву» даже собственное свое «самолюбие».

— Ну, что же, граф, надумали вы? — спросил его наконец Блудштейн.

Каржоль точно бы очнулся.

— Любезный друг,— спокойно обратился он, вслед за своим размышлением, к Абраму,— оставимте всю эту тактику. Очевидно, ни вы моих угроз, ни я ваших не испугаемся, а неприятностей друг другу можем наделать еще немало. Так не лучше ли пойти на взаимные уступки? Я охотно готов махнуть рукой на всю эту глупую историю с вашей Тамарой и сегодня же уехать навсегда вон из края, но и вы, в свой черед, не требуйте от меня невозможных подписок. Моя честь,— понимаете ли, честь не позволяет мне поставить под таким документом мое имя. Зачем вы хотите мстить мне еще и этим позором? Разве одно мое внезапное исчезновение из города уже само по себе недостаточно скандально? Разве не подымутся об этом громкие сплетни в обществе и завтра же не дойдут до Тамары? — Разумеется, дойдут и вы же сами, первые, постараетесь о том. Повторяю вам, на сто тысяч векселей и без того уже, слишком крепкая узда на меня в, ваших руках; так будьте же великодушны, сделайте, мне одну только эту уступку и я, получив ваши пять тысяч, сейчас же уеду из города.

Все это было высказано очень убедительным, и, по-видимому, даже искренно сердечным тоном. Каржоль, когда нужно, умел хорошо говорить, мастерски владея интонацией своего голоса и совершенно входя в принятую на себя роль. Он, вообще, был человек не без артистической жилки и с положительным, хотя и манкированным, актерским талантом. И этот талант — он был уверен — должен был и в настоящем случае сослужить ему свою службу.

Выслушав его речь, рабби Абрам и рабби Ионафан опять

не стали переговариваться между собою на своем непонятном жаргоне.

— Хорошо, мы согласны,— объявил ему наконец Блудштейн.— Господин Бриллиант сейчас пойдет за вексельным бланком и принесет деньги, а я останусь здесь. Уж извините, ваше сиятельство, а со своих глаз мы вас теперь не выпустим аж до вагона. И знайте наперед: где вы ни будете, еврейский глаз всегда будет следить за вами. Мы будем знать каждый ваш шаг, и чуть что,— сейчас векселя до взысканья! Так вы это и знайте!

«Ладно!» подумал себе Каржоль, с облегченным сердцем.— «Хоть вы, голубчики, меня и скрутили, а все же я вывернулся и... посмотрим, чья-то еще возьмет!.. Пять тысяч в кармане и надежда пока не потеряна!»

## **XVI. МАТЬ СЕРАФИМА С ТАМАРОЙ**

Подкрепившись после ранней обедни чаем с просвиркой, мать Серафима зашла проведать Тамару в отведенном ей помещении.

— Ну что, дитя мое, отдохнули ль вы? Хорошо ли вас тут устроили, — просто и ласково обратилась она к поднявшейся навстречу ей девушке.

Та отвечала, что всем совершенно довольна и не знает, как благодарить ее за все, для нее сделанное.

Игуменя присела на один из двух плетеных стульев, у простого деревянного столика, приставленного к стене, пред углубленным окошком. Ей хотелось познакомиться с Тамарой поближе, приглядеться к ней, узнать хоть немного черты ее нравственного облика и причины, побуждающие ее к разрыву с еврейством. Заботливым взглядом внимательной хозяйки она оглядела всю комнату и, видимо, осталась довольна. Проворная келейница Наталья своевременно успела прибрать все как следует, привела комнату в опрятный вид, застелила постель чистым бельем и белым пикейным одеялом, затеплила перед образом лампадку и позаботилась даже напоить Тамару чаем, к которому принесла ей из монастырской пекарни пару вкусных белопшеничных хлебцев.

— Что это за книжка? Ваша? — спросила между прочим Серафима, заметив на подоконнике, рядом с узелком Тамары, довольно толстую тетрадку в корешковом переплете.

При этом неожиданном вопросе Тамара несколько смутилась и покраснела.

— Моя,— проговорила она, невольно конфузясь и как бы оправдываясь.— Это... это «Дневник» мой... гимназический еще... но я ни за что не хотела оставлять его дома... Там он, наверно, попал бы теперь в чужие руки... Стали бы читать, а я не хотела, чтобы посторонние знали мою душу и все, что я думаю... Там это, кроме глумления и злобы, ничего не встретило бы.

— О, в этом случае ваше побуждение совершенно понятно, как понятно и то, что девушки в ваши годы нередко ведут дневники... Кто в этом не грешен! — снисходительно заметила Серафима, и ласковый, добросердечный тон ее слов приободрил Тамару.

— Скажите мне, дитя мое,— продолжала все так же сердечно игуменья,— давно это вам запала мысль переменить религию?

— Нет, недавно; всего лишь несколько недель.

— И что же, собственно, побудило вас к этому?

Последний вопрос не удивил Тамару: раньше или позже, она, во всяком случае, должна была ожидать его; но тон, каким был он теперь предложен, инстинктивно подсказал ей, что никакого неискренного или даже уклончивого ответа с ее стороны быть не должно, что всякая фальшь невольно выдаст сама себя, с первого же слова, и глазами, и голосом, а потому надо говорить правду, так как только правда может доставить ей сочувствие и поддержку такой женщины, как Серафима, которая в своей нравственной чистоте и простосердечной искренности, как казалось Тамаре, глубоко читает в ее душе в эту самую минуту. И она решилась сказать правду, хотя высказывать ее казалось ей нелегко.

— Побудила меня любовь,— проговорила она застенчиво потупив глаза.— Я люблю христианина и хочу быть его женою. .. Делаю это с обоюдного нашего согласия.

Серафима задумчиво и внимательно посмотрела на девушку.

— Любовь... Одно только это? — проговорила она серьезно и несколько строго.— Но ведь вы еще так молоды, это может пройти, и тогда, почем знать,— быть может, вы не раз еще и горько раскаетесь в своем шаге... А его ведь уже не поправишь!..

— Нет, не раскаюсь,— уверенно и твердо сказала Тамара, подняв на игуменью открытые, ясные глаза.— Не раскаюсь. Я вполне знаю, что делаю, знаю, что мне предстоит, и... тем не менее... решение мое бесповоротно.

— Вы так думаете... Но, во всяком случае, причина кажется мне слишком еще недостаточной,— возразила Серафима.— Я не спрашиваю вас,— продолжала она,— кто именно избранник вашего сердца и охотно готова верить, что это человек, достойный во всех отношениях — да иного отзыва о нем с вашей стороны, конечно, и быть теперь не может,— но из ваших слов я вижу, что вера Христова не есть для вас цель сама по себе; вы избираете ее лишь по необходимости, как средство к достижению ваших личных влечений, и то потому только, что между этими влечениями и их предметом стоит препятствием церковный и гражданский закон, которого нельзя обойти иначе, не так ли?

— Нет... простите меня, но не совсем так,— убежденно возразила Тамара.— Из-за одних только своих влечений я еще не решилась бы переменить веру, если бы у меня не было внутреннего убеждения.

— А, это другое дело! Внутреннее убеждение... Но, извините меня, откуда в вас могло взяться такое внутреннее

убеждение? Ведь чтобы убедиться, надо сначала хорошо узнать то, в чем убеждаешься. Чтобы сказать себе «эта вера лучше моей», надо сперва изучить и ту, и другую, надо исследовать, сравнить их основания, а это такая задача, что едва ли она под силу такой молодой девушке. Да и где у вас средства на это?

— Средство тут одно: Евангелие, и других мне не надо,— спокойно и просто ответила Тамара.— И разве те евангельские женщины, что стояли у креста на Голгофе, были ученые? — продолжала она.— Разве они сравнивали, изучали? — Они просто слышали слова Спасителя и уверовали сердцем.

Такой ответ поразил Серафиму. Ничего подобного она не ожидала от «современной» еврейской девушки и потому невольно остановила на ней удивленный взгляд.

— А вам знакомо Евангелие? — спросила она.

— Да, знакомо. Мне дал его однажды человек, которого я люблю. Это было еще на первых порах нашего знакомства. Я заинтересовалась Евангелием, сначала не более как и всякой «запрещенной» книжкой,— то есть запрещенной для еврейки, потому что в еврейском кругу сочли бы крайне предосудительным для женщины такое чтение. Я стала читать по ночам, запершись у себя в комнате, и тут неожиданно раскрылись мне такие идеи, такие истины, которые перевернули весь мой внутренний мир...

Серафима продолжала смотреть на нее все тем же удивленным взглядом, в котором, однако, затеплилась теперь тихая внутренняя радость христианки, нежданно обретшей «душу живу» там, где и не чаяла.

— Кроме того,— продолжала Тамара,— первое детство свое провела я за границей, затем воспитывалась в русской гимназии; подруги у меня все русские, я постоянно бываю в их обществе, и все это настолько сблизило меня с христианами, с их жизнью и обычаями, что переход в их веру вовсе не кажется мне чем-то чудовищным... Наконец, должна вам сказать еще и то, что я, богатая наследница моих родных, навсегда лишаюсь с обращением в христианство всего, всех своих материальных средств и благ, и тем не менее я все-таки решаюсь, я знаю на что иду... А после моего побега к вам, назад мне уже нет возврата, хотя евреи, по всей вероятности, и будут добиваться этого. Но для чего? Чтобы вконец измучить меня нравственно... Еврейство никогда не простит мне этого поступка; в его глазах на мне уже лежит самое позорное клеймо, и если вы меня теперь отвергнете, что же мне останется?!.. Самоубийство?

— Господь с вами, дитя мое, что это вы говорите! — издали перекрестила ее Серафима.— Отвергнуть вас я не могу, раз вы уже мною приняты, Я хотела только немножко ближе познакомиться с вами, узнать ваши побуждения, душу вашу, чтобы знать, за кого я стою и как стоять мне, потому что тут без борьбы не обойдется, я это предвижу.

— Душу мою — задумчиво повторила Тамара.— Душу мою я от вас не скрываю и не хочу скрывать. Все, что я думала,

все, что я почувствовала, все это вот здесь, в этой тетрадке.

С этими словами она взяла с подоконника свой «Дневник».

— Тут все... вся моя жизнь, вся задушевная исповедь... Хотите знать ее, возьмите и читайте... Я не таюсь перед вами, я вся тут, как есть,— худа ли, хороша ли — судить не мне. Примите это как мою исповедь, я прошу вас об этом.

— Благодарю вас за доверие,— сказала с некоторым внутренним колебанием Серафима.— Но только зачем же это? До чужих мирских тайн я не хочу касаться, а чтоб узнать вас, так ведь это я могу гораздо скорее из простой, откровенной беседы... То, что мне нужно было знать, я уже знаю, и с меня довольно.

— Господи Иисусе-Христе, Сыне Божий, помилуй нас! — раздался из коридора встревоженный голос келейницы Натальи, сопровождавшийся осторожным стуком в дверь.

— Аминь,— ответила игуменья на этот обычно условный, по монастырскому уставу, предваряющий возглас, и вслед за тем запыхавшаяся послушница вошла в келью.

— Матушка! Беда у нас чуть не случилась,— доложила она, остановившись у двери и отдавая игуменье, по уставу, поясной поклон со сложенными ниже груди руками.

— Что такое? — серьезно сдвинула брови Серафима.

— Евреи ломаются во святые ворота... целая толпа... камнями швыряют во двор через стену... в сторожке стекла вышибли... А одним булыжником старицу Агнию чуть-чуть в висок не хватило.

Игуменья вскользь взглянула на Тамару. Та мгновенно вся побледнела и глядела на нее глазами, полными испуга, мольбы и тревоги, Углы губ ее заметно вздрагивали от нервного гребета.

Ворота заперты? — спросила Серафима келейницу.

— Все на запоре, как сами давеча приказать изволили, и святые и черnodворские.

— Ну, так остальное до нас не касается; это дело мирской власти,— спокойно сказала игуменья.— Да передай еще всем старицам и сестрам, что я прошу их не ходить пока по двору, а сидеть по своим кельям.

— Будьте покойны, дитя мое! — ободрила она Тамару, поднимаясь с места.— Тревожиться тут нечего: сюда они ни в каком случае не доберутся, и все это, я уверена, кончится сейчас же... их разгонят. А что выдать вас, я никогда не выдам,— подтвердила монахиня твердым тоном.— Никогда! Так это и знайте!.. Никто как Бог! Будем мотаться и надеяться, что все устроится к лучшему.

Тамара без слов ответила ей одним только глубоко благодарным взглядом.

— Хотите читать или рукодельем каким заняться, так я могу прислать вам книг и работу,— предложила, уже стоя в дверях, Серафима.

Успокоенная девушка охотно изъявила свою готовность на все, что ей будет указано, и монахиня, ласково кивнув ей головою, скрылась за дверь в сопровождении своей келейницы.

## XVII. ИЗ «ДНЕВНИКА» ТАМАРЫ

Оставшись одна и взволнованно ходя мелкими шажками по комнате, Тамара некоторое время не могла совладать с хаосом внезапно взбудораженных в ней мыслей, впечатлений и ощущений; чувствовала только, что теперь ей в одно и то же время и хорошо, и жутко,— так хорошо и так жутко, что плакать хочется,— и что сердце переполнено радостным умилением и щемящею болью какой-то. Впечатления беседы с Серафимой смешивались в ее душе с мыслью о доме, о покинутых стариках и с потрясающими ощущениями, только что испытанными ею при известии о ломящихся в монастырь евреях. С одной стороны ярко представлялись ей вся величавая в своей простоте фигура Серафимы, строгий и в то же время сердечный, прямо в душу проникающий тон ее речей, спокойно твердая сила и точно целебно-успокаивающее веяние на душу ее простых, бесхитростных слов, ее сдержанные, но прямо бьющие в цель вопросы, ее тихая приветливая улыбка и эта удивительная манера держать себя, где, при всей простоте, невольно, сами собою сказываются прирожденное благородное достоинство и порода, где под суровую рясой монахини все же чувствуешь женщину, принадлежавшую некогда высшему обществу. Для Тамары это было впечатление, полное какого-то благоговейного очарования личностью Серафимы. С другой же стороны вспоминались и бессознательным шепотом повторялись ею некоторые слова и отдельные выражения ее собственных ответов игуменье, каких она как будто и сама не ожидала от себя, и даже до такой степени, что теперь сама себе дивилась, откуда вдруг взялись у нее такие мысли, такая решимость и смелость высказывать в самозащиту все, что было высказано ею. Теперь она сама уже убежденно чувствовала в душе, что бесповоротное решение ее принять христианство действительно бесповоротно, что это не фраза, а сама истина и что после ее разговора с Серафимой, иначе и быть не может.

Наконец, она мало-помалу совсем успокоилась, присела к столу и почти машинально раскрыла подвернувшийся ей под руку «Дневник». Перелистывая его, от нечего делать, в ожидании обещанной работы, принялась она перечитывать кое-какие попадавшиеся на глаза страницы.

\*\*\*

«10-е июня 1874 г. Сегодня день моего торжества. У нас в гимназии был торжественный акт. Я кончила курс первую ученицей и меня выпустили с золотой медалью. Все поздравляют, говорят разные приятные вещи, учителя приятно улыбаются и пожимают нам ручки, классные надзирательницы



совсем изменили тон, не брюзжат, не обрывают, а обращаются совсем как с равными себе, точно бы мы всегда были им самые задушевные приятельницы. А уж товарки мои, в особенности из средних классов, чуть не молятся на меня, называют «божественною», «очаровательною», «счастливицею» и уж не знаю, как еще... Подруги-сверстницы обнимают и целуют,— иные, правда, немножко и завидуют, но это ничего: это, говорят, даже так и следует, по человечеству. Ольга Ухова, Сашенька Санковская, Маруся Горобец и я дали себе взаимное слово продолжать между собою те же дружеские отношения, какие все семь лет связывали нас в гимназии. Дедушка тоже присутствовал на акте во всех своих медалях. Он горд и счастлив своею внучкой; даже прослезился, когда меня торжественно вызвали к столу и вручили золотую медаль вместе с дипломом. И отчего это, право, дедушка не хочет сделать себе фрак! — он так шел бы к его представительной наружности... Все были в мундирах и во фраках, один только он в своем патриархальном долгополом сюртуке. Впрочем, это не мешало тому, чтобы все, начиная с самого губернатора, относились к нему с должным почтением. Его тоже все поздравляли с такою внучкой «умницей и красавицей», и дедушка был этим очень растроган. Белое батистовое платье с прошивками и кружевом — *ma premiere robe de grande demoiselle* — сшитое не по условной гимназической форме, ко мне очень идет. Оно просто, но изящно, и в этом отношении наша *m-me Sophie* Пшиборовская постаралась приложить к делу весь свой варшавский шик и искусство. Она очень хорошая портниха, с большим вкусом, и я буду постоянно у нее одеваться. Все находили, что в этом наряде я прелесть какая хорошенькая! Губернаторша подходила ко мне познакомиться, сделала мне несколько комплиментов и заявила дедушке, что ей будет очень приятно видеть у себя его «милую внучку». Словом, мне везет,— везет с первого же шага на житейском поприще. Успех полный, и я совершенно счастлива».

\*\*\*

5-е июня. Вчера Санковские делали *grande soiree*, по случаю выпуска Сашеньки. Я приехала к ним с *m-me* Горобец, так сказать, под ее крылом, вместе с Марусей. Не может же бабушка Сарра сама вывозить меня в свет: это не ее общество, да и не привыкла она к тому же. Дедушке также было бы утомительно, а между тем, добрые мои старики понимают, что мне нужны развлечения, и именно в кругу моих подруг, к которому я привыкла еще с гимназии. Поэтому они не препятствуют мне продолжать мои дружеские отношения к «нухрим» и к «гойишес некэвес».<sup>1</sup> По моей просьбе, решено, что я буду выезжать в свет под покровительством *m-me* Санковской или *m-me* Горобец, вместе с их дочерьми. Обе эти милые дамы были так добры и любезны, что сами первые предложили мне это.

---

<sup>1</sup> К иноверцам и неверным (христианским) девушкам.

«На вчерашнем вечере было очень весело, я очень много танцевала, так что сегодня просто ног под собою не чувю. И здесь опять-таки у меня полный успех, начиная с костюма. На мне было впервые надето белое газовое платье, с трэном, подхваченное местами небольшими букетиками бутонов чайной розы; открытый лиф *carre*; на груди, с левой стороны, букет живых чайных роз, в волосах тоже две живые розы — *et c'est tout!* Эти розы, мои первые бальные розы, я спрятала себе на память. Некоторые кавалеры высказывали мне свое удивление, как это я, новичок на бальном паркете, так ловко умею управляться со своим трэном (!) и на этом основании пророчат мне в будущем великие успехи. Уланы и пехотные, и штатские из правоведов просто забросали меня ангажементами. Кое-какие злые язычки говорят, будто при этом на кавалеров магически действует то, что я «богатая невеста»; но это вздор: они же знают, что я еврейка и потому ни в каком случае не могу быть для них невестой. А впрочем, пусть их болтают, что хотят! — Это несколько не препятствует моему успеху».

«Третьего дня мы с дедушкой делали визит губернаторше. Она очень мило приняла нас в своей гостиной, сама наливала нам чай и вообще была очень любезна. Немножко было натянуто, но ведь нельзя же иначе: на то она и «особа»... «*Mon Simon*» (кстати заметить, его весь город и не зовет иначе за глаза, как *Mon Simon*'ом а ее — *Mon Simon*'шей) тоже присутствовал и все уговаривал дедушку, отчего бы ему опять не пуститься в казенные подряды, доказывал и пользу государственную от этого, и пользу общественную, и требования прогресса нашего времени, и еще что-то такое; но я не вслушивалась, потому что была занята губернаторшей, которая рассказывала мне свои воспоминания о своем собственном выпуске из Екатерининского института. Говорят, будто она чопорная и скупая, но мне кажется, что, в сущности, все же добрая женщина».

\* \* \*

«... Приобрела еще одного поклонника. Это наш бывший учитель физики и математики, Охрименко. Вот не ожидала-то!.. Говорит, что я ему очень нравлюсь, что я, «красивая» и «с задатками» (так-таки прямо это и высказал), но что мне не хватает еще настоящего развития. Это, говорит, еще ровно ничего не доказывает, что я кончила курс с золотой медалью, потому что нас учили одной дребедени, которую следует поскорее забыть и начать учиться сызнова. Советует в Петербург, на курсы, а еще бы лучше в Цюрих. «Вы, говорит, барышня, пожалуйста, много о себе не мечтайте и кисейность-то эту надо бы вам побоку, коли хотите, чтобы вас уважали порядочные люди». Я даже немножко с толку сбилась, не понимая, говорит ли он мне любезности или выговор делает в качестве прежнего моего учителя. Оказалось, однако, что любезности. Предложил мне, что если я хочу, так он, пожалуй, согласен меня развивать «заправским манером» и доставлять мне хорошие,

честные книжки, которые откроют мне глаза и научат, что, собственно, нужно в жизни для мыслящей интеллигентки. Все это прекрасно, и я не прочь учиться, только зачем он всех и все так ругает, сплеча и без разбора! Это делает неприятное впечатление и выходит у него как-то особенно грубо. А он как будто этим-то именно и кичится».

\*\*\*

«Кстати о поклонниках. Ольга Ухова тоже заполонила себе одного и преинтересного, даже, можно сказать, блестящего. Уланский офицер, мужчина лет двадцати пяти, красив и статен, усики — прелесть, глаза — целое море страсти, вальсер и мазурист, каких нет других в Украинске, цыганские романсы поет дивно, ездит верхом как центавр, лихо и красиво.— на лошади это просто картина!.. Затем, что еще?.. Ах, да! — отчаянно смелый охотник, стреляет из пистолета в туза, имел уже несколько романов с нашими барынями и одну преинтересную дуэль, держит тройку лошадей в русской упряжи, пользуется хорошим, не расстроенным состоянием и, наконец, влюблен в Ольгу, как кот. Но при всем этом — увы! — у него невозможная фамилия. То есть, совсем невозможная, хоть и дворянская: Пуп!.. Поручик Пуп!?!.. Может ли быть что-нибудь хуже?! Можно ли даже носить такую неприличную фамилию и мириться с нею!.. Ну, будь еще как-нибудь иначе, хоть немножко иначе, вроде Пупов, Пупский, Пупинский,— все бы ничего; или, например, Пупа, Пупе — это походило бы на что-то французское, Пупо — на греческое, но Пуп, просто так-таки малороссийский Пуп — это, это Бог знает что, даже оскорбительно как-то, тем более, что имя у него прекрасное, самое поэтическое,- Аполлон; но чуть попробуешь сочетать имя с фамилией, выходит что-то смешное, карикатурное!.. И нужно же такое несчастье человеку!.. Пронесся слух, будто он собирается сделать Ольге формальное предложение. Мы с Марусей и Сашенькой сообщили ей об этой новости и поздравили с блестящей победой. Но Ольга, что называется, и руками, и ногами против этого, даже в ужас пришла: «Нет, нет, говорит,— ни за что на свете, ни за какие конфетки! Он интересен, он прелестен, он — само божество, он все, что угодно; увлечься им, влюбись в него,— да, это все возможно, это я все понимаю и даже, пожалуй, готова; но сделаться его женой и называться m-me Пуп,— нет, это сверх моих сил, это невозможно, это просто скандал! Никогда, никогда и никогда!» — Мы ужасно много смеялись, а она даже сердится. Вот потеха-то!»

\*\*\*

«... До чего, однако, ревнивы и наглы наши евреи!.. По секрету узнаю вдруг сегодня от Айзика (он у нас такой проныра, все узнает, как гончая собака, чутьем каким-то), что к дедушке являлись утром двое кагальных рошей с упреками,

под видом дружеских советов и доброго участия,— зачем это он позволяет мне знать с моими христианскими подругами и бывать на их вечерах и балах, где я легко могу «потрефиться», и почему бы мне не избрать для себя подруг между еврейскими девушками. По их мнению, такое поведение с моей стороны даже неприлично и может скандализировать все благочестивое еврейское общество. Вот еще удивительная претензия! Если только Айзик не лжет, я нахожу, что это просто дерзость — осмелиться распространять свою катальную цензуру даже на личные знакомства и частные отношения людей, потому только, что люди эти принадлежат к семитской расе и записаны в ревизских списках местного еврейского общества. Хотят предписывать, с кем я могу и с кем не должна быть знакома. Это ни на что не похоже! И что за нетерпимость, что за нелепый деспотизм!.. Айзик говорит, однако, что дедушка успел их урезонить. Удивительно мне только одно: на месте дедушки, при его общественном положении и независимых средствах, я бы не задумалась тотчас же указать этим господам на дверь, а он, по старым традициям, настолько еще благоговеет пред своим общественным управлением, что счел нужным убеждать рошей и доказывать им, что ничего особенно дурного в моих знакомствах не видит, что мои подруги принадлежат к честным и самым уважаемым в городе домам, к семьям людей влиятельных по своему общественному и служебному положению, что надо, наконец, и им, старикам, делать некоторые разумные уступки духу времени и своему молодому поколению, которому, видимо, придется жить при других условиях; уверял даже рошей, что я, кроме чаю и белого хлеба, ничего не ем у моих подруг и потому никак не могу потрефиться (а я-таки преисправно там ужинаю!), затем объяснял им, что на то была воля моего отца, чтобы я воспитывалась непременно в казенной гимназии, дающей известные образовательные права, которые — почему знать! — быть может, на что-нибудь еще и пригодятся мне в жизни, а раз уж я по своему образованию и развитию перешагнула за общееврейский женский уровень, то жестоко было бы требовать от меня, чтобы я не смела выбирать себе подруг по своему вкусу, из девушек одинакового со мною развития; если бы наши еврейские отцы и матери отдавали своих дочерей не к домашним меладам<sup>1</sup>, а в гимназии, то, без сомнения, нашлись бы для меня подруги и между еврейскими девушками; теперь же это, во всяком случае, не моя вина и стеснять меня в этом отношении он не может. Словом, выходит так, что дедушка точно бы оправдывался пред этими рошами. Ссориться с ним из-за этого вопроса, конечно, не в их расчетах, неполитично, потому что дед не кто-нибудь, а всеми уважаемый «гвир»,— но ушли они едва ли убежденные его доводами. Теперь мне ясно, почему в еврейском обществе начинают на меня коситься.— Ну, и пускай их, на здоровье, лишь бы носу больше не совали со своею непрошенной цензурой!

---

<sup>1</sup> Меламды — вольнопрактикующие еврейские учителя, стоящие по своему образованию, большей частью, на низком уровне.

Айзик уверяет, будто они имеют на это законное право, но неужели так? Ведь, в сущности, если вдуматься поглубже, так это просто возмутительно!»

\*\*\*

1-го июня. Сегодня у нас великая семейная радость. Неожиданно приехал из Вены мой отец, которого я уже несколько лет не видала, и намерен прогостить у нас около месяца, ради своих стариков. Дедушка написал ему о моем выпуске из гимназии первую лауреаткой, и он, оставив на время все свои дела, прилетел полюбоваться на свою дочку. Милый мой папа! Как я ему благодарна!.. Нечаянный приезд его был истинным и самым дорогим сюрпризом, как для меня, так и для бабушки с бабушкой.— Ведь он у них единственный сын. И какой он все еще элегантный, изящный, держит себя настоящим барином, интересуется всем, и политикой, и литературой, и музыкой,— я просто и не ожидала. Со своим появлением он точно бы внес к нам в дом еще больше света, тепла и оживления. Господи, за что меня так балует судьба!.. А какие подарки!.. Привез мне мой папочка фамильные бриллианты покойной мамы моей, которые, по ее завещанию, должны были перейти ко мне по достижении мною совершеннолетия или при выходе замуж, а кроме того, привез еще и от себя в подарок несколько роскошных золотых вещиц венской работы,— прелесть, какие изящные! Одних таможенных пошлин на границе пришлось уплатить больше пятисот рублей. Можно бы было, конечно, и так провезти, но папа не захотел рисковать, в особенности материнскими бриллиантами. Со мной он чрезвычайно ласков, добр, внимателен и просто не налюбуется на меня. Зовет с собой в Вену, говорит, что мне необходимо посмотреть на жизнь большого европейского центра и отшлифоваться окончательно среди избранного общества, а затем и замуж,— у него будто есть уже на примете хороший жених, который, он уверен, непременно мне понравится: молодой, красивый, светский и богатый, и при всем том хороший делец, человек с головою, за которым не пропадешь.— «Не здесь же, говорит, в самом деле, не между Украинскими хасидами<sup>1</sup> искать тебе мужа!» — Что ж, в Вену, так в Вену! Я очень рада прокатиться и рассеяться, только насчет замужества пока еще не думаю и так прямо и высказала отцу, что выйду не иначе, как за того, кого изберет мое собственное сердце. А он мне на это: «Баронессой, говорит будешь».

— Как так баронессой? — спрашиваю его.— Почему баронессой?

---

<sup>1</sup> Хасидим — благочестивые, добродетельные праведные. В сущности, это выродившаяся секта фарисеев. Учение их составляет странную смесь еврейства, пифагорщины, диогенщины и крайнего цинизма. Хасиды — это еврейские спириты. Они веруют в переселение душ в людей и животных, и главный предмет изучения для них составляет Кабалла, носящая вполне мистический характер.

— Потому — говорит,— что мой, проектируемый жених барон.  
— В таком случае, стало быть, он христианин?  
— Нет, зачем же непременно христианин? Напротив, он чистокровный еврей и из очень почтенного семейства.  
— Так как же это, еврей и вдруг барон?!  
— Что ж тут удивительного, коза ты этакая! Уж если у вас в России есть бароны «из наших», так у нас, в Австрии, ими хоть пруд пруди! Разве ты не слыхала, например, хоть про Ротшильдов?  
«Я даже руками всплеснула от удивления.  
— Так неужели же это будет один из Ротшильдов? — спрашиваю отца, а сама думаю, что он шутит надо мною. А он мне на это: «почему бы и нет,— говорит,— древний род Бендавидов таков, что сам по себе может сделать только честь, любому Ротшильду, генеалогия которых еще не Бог весть какая важная».  
«Это» конечно, не более, как разговор, и папа, как выяснилось затем, прочил, мне в женихи хотя и барона, только вовсе не Ротшильда, тем не менее слова его заставили меня несколько призадуматься. Я люблю подмечать в себе кое-какие слабые стороны, так сказать, ловить саму себя на отрицательных чертах своего характера и потому должна теперь сознаться, на ушко, самой себе, что во мне есть изрядная доля тщеславия. Пускай род Бендавидов и очень древен, а все же приятно носить громкий титул баронессы, графини, маркизы и т. п.. Хотя, в сущности, быть может, это не более как пустой звук, с философской точки зрения, но.... грешный человек,— это так красиво, так звучно, так подымает над толпой, и это мне нравится.  
«Какая, однако, я, еще пустая девчонка!.. Да, пустая, вот знаю это, а все же нравится. Вот и поди ж ты!»

\*\*\*

«5-е июля. Третьего дня папа поехал представиться губернатору, в качестве временного гостя в его городе и, кстати, поблагодарить за любезное внимание, оказанное мне его супругой, а вчера (о удивление!) «Mon Simon» сам, лично, ответил ему визитом,— нарочно приезжал для этого в открытом фаэтоне. Такой «чести» он даже и дедушку никогда еще не удостоивал, а присылал к нему обыкновенно только свою карточку. В еврейском муравейнике по этому поводу большая сенсация. Во время вчерашнего своего визита «Mon Simon» пригласил на сегодня папу и меня к обеду. Папа моq, как *libre penseur*, не наблюдает кашера и трефа, и мы поехали. Да и неловко было бы отказаться. Общество было небольшое, но отборное, сливки губернской чиновной аристократии, и папа премировал между гостями. Удивительное, право, дело, что значит в глазах людей золотой мешок!.. Ну что такое казалось бы, для всех этих важных господ мой папа? — Случайный, мимолетный гость нашего города, совсем посторонний и даже не интересный человек. А между тем, все, не исключая самого

Mon Simon и его супруги, за ним ухаживали, как за каким-нибудь «знатным иностранцем», а некоторые столь явно и вовсе не тонко льстили и, можно сказать, лебезили пред ним, почти до подобострастия, что мне, иными минутами, в душе просто совестно за них становилось. И подумаешь, из-за чего все это?.. Даже и не из-за «Гекубы»!.. Я понимала бы еще, если бы хоть денег, что ли, рассчитывали они занять у него, а то ведь и этого нет,— бескорыстно! Из-за того лишь, что он «известный венский банкир», «de la haute finance»,— и только! И эти же самые люди, без сомнения, самым искренним образом презирают и осуждают между собою евреев (и моего отца в том числе, конечно) за будто бы искони присущее нам поклонение «тельцу златому».— Господи! Да разве это не то же самое?!

«А впрочем, это с моей стороны выходит злость, и даже не «маленькая». Люди нас радушно пригласили и накормили, были с нами отменно любезны, и я же их браню и осуждаю за это. Нехорошо!.. Но вырывать или тщательно зачеркивать страницу не стану, хоть и хотелось бы, после того как перечла и пораздумала над нею. Некрасивая страница. Но пускай уж так и остается она для меня достойным уроком и уликой нехорошего душевного движения».

\*\*\*

7-е июля. Оказывается, однако, что ухаживание за папой со стороны Mon Simon'a было вовсе не бесцельно и приглашение на обед устроено не без тонкого расчета. Мон-Симонша устраивает в городском саду большое общественное гулянье и бал в летнем клубе с лотереей *allegri*, с благотворительной целью, в пользу «*mes chers pauvres*», как она выражается, и с нас по этому поводу нужна контрибуция. Вот и разгадка. Папа получил еще позавчера официальное приглашение на бланке, где изображено, что «ее превосходительство, супруга г. начальника губернии, просит вас, милостивый государь, пожаловать сего числа в восемь часов вечера, в совещание особого благотворительного -комитета, по поводу предполагаемого ее превосходительством устройства общественного праздника». Папа, конечно, «пожаловал» и должен был «доброхотно» подписать на это устройство пятьсот рублей, да, кроме того, вперед записаться на двести лотерейных билетов, по полтиннику каждый. Но и этим дело еще не кончается, так как и меня тоже «привлекли к ответственности». В числе нескольких «избранных» молодых дам и девиц из общества, я удостоена «места» вертеть колесо или продавать в одном из киосков какую-то дребедень. Впрочем, впоследствии, по распределении ролей, оказалось, что мне, вместе с Марусей Горобец, досталось продавать десерт — фрукты, ягоды и конфеты, Сашеньке торты и тартинки, а Ольге — шампанское. Мон-Симонша, в виду сокращения расходов, решила, чтобы каждая дама и девица, назначенная к какой-либо торговле, озаботилась заблаговременно приобрести на собственный счет, по силе возможности, и самые предметы

той торговли. Нам-то с Маруссй оно с полгоря, потому что ягоды да конфеты не Бог вещь чего стоят, а у бедной-Ольги, хотя она и очень польщена честью играть роль Гебы-разливательницы, все же вытянулась физиономия: несколько дюжин шампанского — это чувствительно для кармана. Желая выручить ее из затруднения, я предложила ей поменяться со мною ролями, и судя по первому ее движению, она готова была согласиться, но вдруг запнулась, как бы сообразив что-то, и отказалась.— «Нет, говорит, милочка, merci! Неловко... Уж нечего делать, когда так досталось, а ты вот что: если уж хочешь оказать мне большую дружескую услугу, так устрой так, чтобы дедушка отпустил нам шампанское в кредит, из своего бакалейного склада». Я пообещала, но устроила это сегодня гораздо проще: дедушка согласился прямо пожертвовать от себя все шампанское, сколько там его выпьют. Таким образом, Ольга вдвойне довольна и счастлива, и я тоже очень рада, что могла доставить ей это удовольствие. А Мон-Симонша, оказывается, пожертвовала для лотереи какую-то склеенную фарфоровую вазу, которая будет венчать собою всю красную горку выигрышных вещей. Вот, что называется, и дешево, и сердито.

\* \* \*

«... В среду, утром, к папе являлась еврейская депутация от главной синагоги и нескольких благотворительных союзов нашей городской общины, с предложением — не угодно ли ему сделать в пользу их учреждений некоторые пожертвования. Тут были представители и от погребального братства, и от братства странноприимного, и от ссудной кассы для бедных, и от Союза помощи бедным, и даже две еврейские дамы-представительницы Союза помощи бедным невестам. Отец пожертвовал пятьсот рублей на синагогу, пятьсот в Большую благотворительную кружку погребального братства и всем остальным тоже по пятисот, итого три тысячи. Пожертвование бедным невестам было сделано папой от моего имени. Все депутаты и депутатки, конечно, рассыпались в тысячах благодарностей и благих пожеланий, а синагогальный староста выразил, между прочим, надежду, что-отец не откажется в наступающую субботу от почетной алиа<sup>1</sup>, которую синагога намерена предложить ему в воздаяние за столь щедрое пожертвование, и тем более, что он имеет на это право, как возвратившийся в дом отца своего с дороги.

«От столь высокого почета не отказываются, и потому вчера утром мы всею семьею отправились в синагогу к субботнему богомолению. У бабушки давно уже откуплено в синагоге свое место, в женской галерее, и когда мы отправляемся с

---

<sup>1</sup> Алиа — собственно поднятие на биму (возвышенная эстрада посреди синагоги) и знаменует собою восхождение на Синай, изображаемый в каждой синагоге бимой, откуда возвещают собравшейся общине законы, данные самим Богом (Тора) и читают Пророков. Обряд алиа установлен Ездруо, а по мнению других даже самим Моисеем.



нею вдвоем, то обеим нам приходится там тесниться,— поэтому я бываю в синагоге довольно редко, тем более, что посещение ее для еврейки и не считается обязательным; но сегодня пришлось потесниться и дедушке, так как он уступил свое место папе. Впрочем, ему было подано особое почетное кресло. Входить во внутрь синагоги женщины не имеют права и потому, пропустив своих мужчин вперед, в главные двери, а сами направляясь вправо, по лестнице на галерею, мы с бабушкой поневоле должны были несколько замедлиться в сенях, за невозможностью продраться сквозь тесную толпу, скучившуюся пред габайским прилавком, и в это-то время мне пришлось быть свидетельницей одной из возмутительнейших сцен, которые, к сожалению, разыгрываются в этих сенях чуть ли не каждую субботу. Мне это тем прискорбнее, что на этот раз история вышла из-за папиной алии. Папе предназначалась шелиши, третья алия, как самая почетная после священнических, но вдруг, во время аукциона остальных мирских алий, выискался неожиданный претендент, один из самых вздорных и несговорчивых здешних хасидов, некто Иссахар Бер, который стал доказывать, что третья алия принадлежит ему по законному праву и что он не допустит нарушения своего права кем бы то ни было, а тем более, когда это делается из лицепрятия к какому-то приезжему денежному мешку, который не удостоил его даже своим визитом и вся заслуга которого только в том и состоит, что он — денежный мешок, тогда как сам он, реб Иссахар Бер, имеет честь быть представителем общины и талмуд-хахамом. Габай стал отстаивать право отца, как человека, возвратившегося с дороги в отчий дом и сделавшего к тому же столь значительное пожертвование в пользу синагоги, и тот ему принялся возражать, что он невежда, позволяющий себе произвольно толковать Колбо и Орах-Хаим, и что в пожертвовании отца сказывается не уважение, а презрение к синагоге, потому что точно такое же пожертвование он сделал и губернаторше, в пользу нухрим. Тут пошел между ними крупный спор, превратившийся сначала во взаимные упреки и перебранку, затем в горячую ругань и, наконец, в пощечины. Присутствовавшая толпа тотчас же разделилась на сторонников того и другого из спорщиков и приняла участие в драке; одни бросились разнимать, другие защищать, поднялись крики, визг и гвалт, пошла всеобщая потасовка,— нас совсем затолкали, бабушке отдавили ногу, меня приперли к стене так, что я чуть не задохнулась, и кончилось тем, что шотры и шамеши, чтоб унять драку, должны были пустить в толпу струю воды из ручного брандспойта и бить направо и налево своими треххвостками, по ком попало. Как мы только уцелели, и сама уж не знаю. А когда шамешам удалось, наконец, прекратить эту свалку, то нам с бабушкой было уже не до богомоления, и мы рады-радехоньки были, что вырвались из этого ада во двор, на свежий воздух. Бедная бабушка захромала и почти захворала — ее сильно-таки помяли в толпе — и я, сама расстроенная чуть не до истерики, кое-как довела ее под руку до дому. Так мы и не видели, как отец совершал свою алию. Но эта ужасная

сцена,— я ее никогда не забуду. Что за возмутительное безобразие, и где же?!.. Невольно приходит на ум сравнение с христианскими храмами и, увы! — далеко не в пользу и не к чести наших синагогальных порядков».

\*\*\*

«...И вот он состоялся, наконец, этот Мон-Симоншин «праздник». Народу было множество, всякого. Даже несколько евреек расщедрились на входные билеты, кажется, нарочно только затем, чтобы посмотреть, как это я чувствую себя среди «гойев» и управляюсь в киоске, в роли продавщицы. Несколько раз они — видимо, нарочно — проплывали медленным шагом мимо нашего киоска, под руку со своими супругами, и поглядывали на меня с выражением завистливой иронии. То-то, я думаю, перемывают теперь все мои косточки!..

«Праздник, вообще говоря, вышел довольно удачен. Иллюминация сада и фейерверк, два военных оркестра, полковые песенники, какие-то наезжие из Одессы певицы русских шансонеток и рассказчики народных сцен и сцен из еврейского быта, наконец, лотерея,— все это привлекало толпы разного люда. Украинский beau-monde предавался благотворительным танцам в открытом павильоне летнего клуба, а плебеи довольствовались тем, что глядели на танцы снаружи. Мы, продавщицы, добросовестно и всецело приносили себя в жертву своим благотворительным обязанностям и потому не танцевали. Торговля наша шла недурно, но главный успех выпал на долю Ольги с ее сотрудницами, двумя разбитными военными дамочками. У их киоска просто отбою не было от кавалеров. Мы, бедненькие, сидим себе с Маруськой при своих десертах и ждем, когда-то еще наклюнется какой-нибудь лакомка, а через площадку, напротив нас, у Ольги то и дело хлопают пробки, и сама она, точно вакханка, такая пышная, румяная, вся сияющая весельем, едва успевает разливать шампанское в бокалы. Просто даже глядеть-то завидно! И как это она грациозно и ловко умеет наливать, чтобы показать всю свою красивую, обнаженную руку! Знает, чем взять... А впрочем, решительно не понимаю, что в ней такого особенного находят эти мужчины... Неотлучным ассистентом при ней состоял ее «Аполлон в уланском мундире», но он весь этот вечер был как-то сумрачен, не в духе, и на это, как мы догадываемся, есть своя причина. Дело в том, что на сих днях на Украинском горизонте появилась одна новая личность, сильно заинтересовавшая собою все общество. Это некто граф Каржоль де-Нотрек, из Петербурга. Красив и элегантен до совершенства,— даже Ольгина Аполлона затмевает этими качествами, в особенности своею аристократичной элегантностью, потому что от Аполлона, сколь он ни блестящ, а все же как будто уланской конюшней немного отзывается, тогда как этот — барин, совсем барин, как есть, до конца ногтей. Он, говорят, очень богат и приехал сюда по каким-то делам,— учреждать какую-то поземельную агентуру, в видах распространения русского землевладения в крае, и еще что-то

такое «общественное», но что? — я не могла хорошенько понять, не вслушавшись толком, когда об этом говорили... Вообще отзываются о нем, как о человеке очень солидном, деловом и с большими связями в Петербурге. Он сразу сумел стать здесь на надлежащую ногу и завоевать симпатии вершин губернского мира. У мон-Симонши он, говорят, уже свой человек, и она от него в восторге, а этого довольно, чтобы и сам Мон Симон весь был к его услугам. На нашем благотворительном празднике состоялся, так сказать, первый дебют графа в Украинском mond'e, когда этот monde находился почти весь налицо, в полном своем составе; но граф, конечно, большую часть своего вечернего досуга должен был отдавать обществу «сливок». — Мон Симон почти не отходил от него, как бы ревниво оберегал, его от «недостойных», а Мон-Симонша выказывала явное стремление «пришпилить» его к себе и заставить заниматься только ею, чтобы другим ничего не доставалось; они даже сидели, как «хозяева», на особом возвышении, покрытом коврами, где был устроен род гостиной для «избранных» и куда проникали только те, кого губернаторская чета удостоивала особым приглашением. Это, по обыкновению, очень многих злило и заставляло исподтишка шипеть. Как некая новинка, граф Каржоль, конечно, привлекал к себе общее внимание, тем более, что все уже заранее были им очень заинтересованы по рассказам и слухам. Слышно, что по делам своим он намеревается поселиться у нас в городе на довольно долгое время, хотя и должен будет уезжать порою, по делам же.. Стоит пока в гостинице, но приискивает себе подходящий дом со всеми удобствами и хозяйством, потому что желает жить на привычную ему ногу. Мон Симон, между прочим, представил его Ольге, и когда та, с обычной своей бойкостью, предложила ему бокал, граф выпил и положил ей сторублевую, бумажку, не потребовав сдачи. Там, где платили за бокал от одного до трех рублей, такая щедрость, конечно, произвела на всех окружающих внушительное впечатление в пользу жертвователя. Он оставался пред Ольгиной выставкой, около получаса, непринужденно и весело болтая с нашей «златокудрою Гебой» и потом, в течение вечера, подходил к ней еще раза два. Все это его маленькое внимание и было причиной, что бедный ее Аполлон пощипывал усы и кусал себе губы. А Ольга от такого внимания графа, конечно, на вершине блаженства и воображает, что она вскружила ему голову.

Chere Olga, не слишком ли уже самонадеянно?»

\*\*\*

«9 июля. Сегодня у меня с отцом был разговор, вследствие которого я настроена очень грустно. После обеда, когда мы отдыхали у себя дома на террасе, он обнял меня за талию и спустился со мною в сад, в большую нашу липовую аллею. Там он сказал мне, что давно уже собирался поговорить со мною серьезным образом обо мне и о себе и начал несколько издали, но так было нужно, чтобы познакомить меня поближе с его жизнью, перипетии которой и внутреннюю сторону,

признаюсь, до сих пор я знала очень мало. Сущность разговора этого была вот в чем:

«Древний род Бендавидов был знаменит не столько своими материальными богатствами, сколько богатством ума и благочестия. В нем насчитывается несколько ученейших мужей достигших не только в своих, но и в отдаленных еврейских общинах почетнейшего положения и оставивших следы своего ума и знаний в нескольких трактатах теологического и философского характера. Материальное богатство наше, сравнительно говоря, недавнего происхождения. Первый из Бендавидов, который сделал себе некоторое состояние, был мой прадед Елиезар Бендавид, бывший некогда домашним поверенным, а потом и банкиром у таких старопольских магнатов, как Браницкие, Потоцкие и Сангушко. Дед мой, Соломон еще умножил это состояние, доставшееся ему в наследство, тем, что очень счастливо исполнил несколько крупных казенных подрядов и затем, в течение многих лет держал винный откуп в двух губерниях. Отец мой у него — единственный сын. Из двух сестер отца одна умерла еще в детстве, другая же замужем, в Вене, за негоциантом. Рассчитывая иметь в лице отца ближайшего и сведущего помощника в своих делах, чтобы не держать наемных управляющих, не всегда к тому же честных, дедушка дал ему образование в русской гимназии, что в те времена случалось в еврейской среде не часто, но что было совершенно необходимо, так как без основательного знания русского языка и законов невозможно было самому вести деловую переписку по откупным делам с губернскими властями. Затем дедушка отправил его доканчивать образование в Вену, где отец слушал лекции на юридическом факультете. В Вене он встретился с прелестною девушкой хорошего семейства (впоследствии моею матерью), и это порешило его дальнейшую судьбу. Они полюбили друг друга, и отец написал деду, прося его благословения на брак. Вследствие этого письма, дед сам нарочно приехал тогда в Вену, чтобы собственными глазами убедиться, достойна ли невеста быть принятою в дом Бендавидов, хороша ли она, какого происхождения и какого достатка. По всем этим статьям дело оказалось подходящим. Отец невесты принадлежал к известной фамилии Мендельсонов и занимал весьма приличное место в администрации банкирского дома Ротшильда, имел некоторый достаток и хорошие связи, с помощью которых мог предоставить и моему отцу место в той же администрации. Поэтому дед согласился на брак, тем более, что после Крымской войны откупная система, видимо, доживала уже свой век, готовясь уступить поле действий новой системе, акцизной, а стало быть, в непосредственной помощи сына по откупным делам для дедушки уже не было более особенной надобности. Родители обеих сторон условились между собою насчет приданого, подписали тноим<sup>1</sup>, причем, как требует стародавний обычай,

---

<sup>1</sup> Тноим — предварительные условия брачного контракта. Самый же брачный договор, кетуба, заключающий в себе изложение обязанностей мужа относительно жены, пишется на халдейском языке и громогласно читается хазаном (кантором) во время самого обряда венчания.

разбили несколько уже ранее надтреснутых тарелок из домашнего хозяйства и, наконец, сыграли свадьбу, а затем дедушка выделил отцу, по брачному условию, порядочный капитал и уехал домой, в Украинск. Тогда же, благодаря тестю, отец поступил на службу в администрацию Ротшильда, не столько из-за жалованья, сколько собственно для практики в финансовых делах и, главное, в самой технике финансовых операций, а через три года открыл в Вене и свою собственную банкирскую контору. Открыл он ее сначала в небольших размерах, но с течением времени дело все крепло, расширялось, росло, так что в 1866 году, благодаря необыкновенно счастливым биржевым операциям, отец был уже миллионером.

«Я родилась в 1857 году и сознательно начинаю себя помнить с седьмого года жизни, в роскошной обстановке нашего венского дома, всегда разодетую, как куклолка, с бонной-француженкой и гувернанткой-англичанкой, которые почему-то вечно грызлись между собою. Других детей, кроме меня, у отца с матерью не было, и потому на мою долю безраздельно падали все их ласки и все баловство. К несчастью, мать моя была хрупкого здоровья, и, схватив себе зимою 1865 года воспаление легких, умерла от скоротечной чахотки. Мы с отцом осиротели. Мне было восемь лет, я понимала уже, что значит смерть и, помню, много плакала и долго не могла утешиться после этой потери. Известно, что «беды не ходят порознь, но толпою», и эта толпа бед, после такого довольства и полного счастья, вдруг, со смертью матери, обрушилась на голову моего бедного отца. Вслед за матерью умирает ее отец, состояние которого, поделенное между остальными членами многочисленной семьи, представило из себя какие-то мелкие дробы. Затем, не прошло и трех месяцев, как разразилась австро-прусская война, после которой отец, благодаря некоторым операциям, неверно рассчитанным, в связи с политикой, потерпел в один прекрасный день жесточайший крах. Ему грозило полное банкротство, но он успел кое-как ликвидировать дела, продал с молотка все, что было, весь дом, экипажи, всю обстановку, целую галерею картин,— словом, решительно все, за исключением только завещанных мне материнских бриллиантов, и, пополнив почти до копейки свой пассив, сам очутился буквально нищим. Заложив бриллианты, он спешно собрался вместе со мною в дорогу и привез меня к дедушке, в Украинск.

«Потеряв по собственной вине состояние, отец не смел просить у деда помощи, даже и не заикнулся ему о ней; но дед был сам настолько великодушен, что предложил крупную сумму, которая помогла отцу снова подняться на ноги. Взамен этой услуги, дедушка с бабушкой попросили его только об одном: оставить меня при них, в Украинске, как единственную для них радость, единственное утешение на старости лет, в их одинокой жизни. Отец, конечно, должен был согласиться на это из чувства признательности и уехал в Вену один. Спустя около полугода, он уведомил дедушку письмом, что намерен

вступить во второй брак с очень богатою вдовой одного венского negociанта, но делает это не по влечению сердца, а по расчету, в надежде приобщить ее капиталы к своим оборотам и таким образом завоевать себе прежнее свое положение в финансовом мире. Обзаводясь новым семейством и предвидя, что у него могут пойти новые дети, отец просил деда и бабушку, чтобы они оставили меня у себя и на дальнейшее время, чему старики несказанно обрадовались. При этом он выразил им одно только непереносимое желание, чтобы я получила образование не домашним способом, как большинство еврейских девушек, а в русской гимназии, которая со временем даст мне известные права, и обещал высылать ежегодно известную сумму на мое учение. Старики согласились на это, и тогда-то у меня появились русская учительница, для практики в языке, а затем двое русских же учителей, которые общими силами и подготовили меня к гимназии. При моих способностях и некотором старании, да имея к тому же особых репетиторов у себя на дому, я всегда училась очень порядочно, так что постоянно стояла в числе первых учениц, а с течением времени, быть первой между первыми стало для меня вопросом даже личного самолюбия и честолюбия. Кроме гимназического курса, я обучалась дома еще музыке, рисованию и французскому языку, и на все эти занятия уходила большая часть моего времени, так что даже наша начальница не раз высказывала и мне, и дедушке, что я чересчур уж много учусь, что умственное развитие идет у меня за счет физического и что она даже опасается, как бы не было у меня мозгового переутомления. Но домашние занятия меня не утомляли,— напротив, я отдавалась им как бы шутя, скорее для развлечения, и находила еще время посещать кое-когда своих гимназических подруг и принимать их у себя. Я всегда была очень общительной девочкой. В первое время по поступлении в гимназию было, конечно, не без того, чтобы иные товарки не задирали и не дразнили меня, показывая мне кончик платка, либо передника, в виде свиного или «гаманова» уха, и называя «жидовицей». В душе мне это было очень обидно, тем более, что, со своей стороны, я ничем не заслужила такого недоброжелательства; но, чувствуя всю горечь обиды, я в то же время если не умом, то инстинктом каким-то понимала, что не следует показывать им, насколько это задевает меня за живое, потому что, покажи я это раз и расплачусь,— пристававшим им и конца не будет, и мне вечно придется разыгрывать жалкую роль «несчастненькой». Поэтому я всегда старалась в таких случаях овладевать собой и делать вид, будто отношусь ко всем задираньям сверху вниз, не достаивая их своим вниманием. Хотя меня и прозвали за это «гордячкой», но зато вскоре отстали со своими «гамановыми ушами» и оставили меня в покое. По характеру своему я всегда была доброю товаркою, не выделяясь из толпы сверстниц ничем, кроме отличных баллов за предметы, и всегда, где только могла, старалась не отказывать им в разных маленьких услугах, вроде того, чтобы для одной сделать заданный перевод с французского или немецкого, для другой решить математическую

задачу и т. п. Вследствие этого, со мною не только все примирились, как бы позабыв даже мое еврейское происхождение, но, благодаря своей уживчивости и независимости, я приобрела себе еще несколько добрых подруг, которые меня искренно полюбили и с которыми я сохранила самые дружеские отношения и до сих пор.

«За все семь лет моей гимназической жизни отец только один раз заглянул в Украинск, и то на самое короткое время, проездом по делам в Одессу. Я была тогда уже в третьем классе, а он к тому времени имел от второго брака уже двух детей и — Бог знает, поэтому ли, по другому ли чему, но только мне тогда показалось, будто он уже не так сердечно ласков, со мной как прежде, даже менее, чем в своих письмах, которые от поры до времени я получала от него из Вены,— точно бы он отвык от меня, точно бы новые привязанности вытеснили меня из его сердца. Сегодня я ему откровенно все это высказала и увидела из его объяснения, насколько я тогда ошибалась. Проездом, в Одессу, ему было не до меня, так как призывали его туда крайне важные дела, от оборота которых в ту или другую сторону зависело все его состояние, опять повисшее было на волоске, и, к счастью, ему удалось тогда уладить эти дела, как нельзя лучше. Что же до детей от второго брака, то, конечно, как отец, по чувству крови, он любит их; но все же я, его Тамара, стою пред ним как бы живым воплощением покойной моей матери, на которую, по его словам, я очень похожа, и уже по одному этому не могу быть вытеснена из его сердца. Он не говорил мне подробно о своей нынешней семейной жизни, многое даже заминал или вовсе замалчивал, но из этих самых умолчаний, из выражения его глаз, из его нервной, порою горькой улыбки, из некоторых, невольно прорывавшихся ноток в его голосе, наконец, из всего; тона его беседы со мной я догадалась, я сердцем своим почуяла, что во втором своем супружестве он далеко и далеко несчастлив. Мачеха моя, кажись, женщина пустая, с мелочным характером и сухим сердцем. Правда, расчеты отца оправдались:, капиталы ее сильно помогли его банкирским оборотам, и теперь он опять стоит в числе биржевых корифеев; но того тихого светлого счастья, какое знавал он когда-то с моею матерью, для него уже нет, да и не бывало во втором браке. И это, мне кажется, втайне его грызет и мучит. Он решил построить свою новую жизнь на одном лишь материальном расчете и незаметно попал под домашнее ярмо, стал рабом этого расчета и несет теперь за это в сердце своем собственную свою кару. Бедный отец!.. Финансовые дела его идут отлично, он давно уже с процентами возвратил дедушке взятые у него после краха деньги, коммерческий кредит его, по-видимому, прочен; но эта жизнь изо дня в день среди биржевого ажиотажа, как бы под Дамокловым мечом, этот вечный риск азартного игрока, вечное напряжение всех умственных способностей на одну и ту же цель, на крупную биржевую игру, эти пертурбации в собственной его судьбе, когда из миллионера он вдруг очутился нищим и из нищего опять миллионером, рискуя чуть не ежедневно вновь обратиться в нищего,

— такое существование, полное душевных тревог, нервных волнений и беспокойств, да еще при этом вечные домашние сцены,— все это, к несчастью, надломило отца, отравило его жизнь и отразилось в нем недугом, который раньше или позднее должен свести его в безвременную могилу. У него развилась в сильной степени болезнь сердца,— ужасная, беспощадная болезнь, которая напоминает о себе чуть не каждую минуту. Следовало бы давно уже бросить эту проклятую биржу, эти жгучие дела, совершенно переменить образ жизни, уехать куда-нибудь от жены, хотя на время, чтоб успокоиться, забыться, но увы! — ничего этого невозможно. К несчастью, отец до того уже втянулся в такое существование, что без биржи, без ее проклятой лихорадочной атмосферы, как для китайца без опиума, для него нет жизни. Это что-то затягивающее, роковое, и в этом он мне признался сегодня.— «Я чувствую, сказал он, что мне остается уже недолго жить, и это такого рода болезнь, что смерть может захватить меня внезапно, в любую минуту... Да если и не умру, то как знать! — быть может, опять потеряю все (это всегда так возможно, пока у человека нет Ротшильдовских миллиардов) и тогда... тогда с чем ты останешься?!.. Потому-то — говорил он — я и позаботился теперь выделить тебе из моих собственных — заметь это: не из мачехиных, а из собственных моих денег — триста тысяч рублей, в банковых билетах, которые на сих днях передал дедушке, вместе с засвидетельствованной копией с духовного завещания. Что бы там ни случилось, умру ли я или обанкрочусь, ты, по крайней мере, будешь обеспечена. А если, даст Бог, умру без банкротства, то на твою долю придется еще около пятисот тысяч... ну, да и дед не обидит, он сам сказал мне». Вот почему — пояснил мне отец — ему так хотелось бы выдать меня поскорее замуж, при своей еще жизни.— «Я бы тоща — говорит — смерти своей ждал гораздо спокойнее, я бы знал, по крайней мере, что ты у меня пристроена за хорошего, надежного человека, с которым можешь быть счастлива». И он с увлечением уговаривал, почти умолял меня ехать с ним в Вену, уверяя, что я не раскаюсь. Растроганная до глубины души, я плакала, я целовала ему руки, утешая и, в свою очередь, умоляя его бросить свою биржу, обещала ему выйти замуж за любого, за кого лишь он мне прикажет, но с тем, чтобы он закончил свои дела и уехал бы с нами куда-нибудь подальше из Вены отдохнуть, полечиться; я говорила, что, Бог даст, новая жизнь освежит его, придаст новые силы, и болезнь пройдет, и мы проживем с ним еще долго, долго... А он так грустно улыбался мне на это, так ласково гладил мою голову и тихо повторял все: «поедем, поедем в Вену, но только поскорей дорогая моя, поскорее!..»

«Господи как мне тяжело, как мне грустно все это!..»

\*\*\*

«...Несколько дней ходила я, как убитая, под впечатлением разговора с отцом. Милый папочка! — он заметил это и



всячески старался утешить меня и развеселить. Я упросила его посоветоваться с нашим доктором Зельманом, который здесь считается лучшим, да и в самом деле, он, говорят, превосходный и очень сведущий доктор. После диагноза, я сама спросила Зельмана, умоляя не скрывать от меня правду, в каком положении нашел он сердце отца? — Он уверил меня, что дело не так плохо, как я думаю, и определил болезнь каким-то латинским названием, сказав, что это нервное и что отцу нужно только полное успокоение при строго правильном режиме, и тогда, с Божьей помощью, все пройдет. Слава Богу! После этих отрадных слов я почувствовала, точно бы воскресаю».

\*\*\*

«...Ах, до чего надоел мне этот несносный Охрименко! Каждый раз, что встретится со мною, все пристаёт со своими Цюрихами да с моею «кисейностью», а сегодня в клубе, на семейном вечере, подсев ко мне, завел вдруг такой разговор, который вывел меня наконец из терпения.

— Вот, вы — говорит — считаетесь богатейшею невестой, и в самом деле вы ведь богатая; ну, а какое употребление думаете вы сделать из своих денег?

«Я отвечала, что на этот счет ровно еще ничего не думала и не думаю.

— Жаль,— говорит,— курица, и та думает. А вы, что же, замуж, небось, рассчитываете?

— Что ж,— говорю,— если будет хороший жених, почему и не рассчитывать?

— Так-с, разумеется... К роли насадки готовитесь. Разумная роль, достойная интеллигентки. Ну и что ж, выйдете за какого-нибудь жида и будете плодить ему ребят, и капиталы, пожалуй ему вручите,— самое настоящее дело! Ну, а потом- то что?.. Так и закиснете?.. А вы — говорит — вот что: за- муж-то выходить это вздор. Порядочные девушки нынче и без этих легальностей обходятся, и благо им! — По крайней мере, не путают ни себя, ни другого лишними узамы. Любовь по существу своему должна быть свободна, и только в таком случае она чего-нибудь стоит и достойна уважения мыслящих людей. А вы бы лучше посвятили себя «общему делу». Капиталы то, по крайней мере, получили бы надлежащее применение, а без того, владеть такими капиталами, ведь это подлость. подумали ль вы об этом?

«Я на него даже глаза вытаращила от удивления.— С ума сошел он, думаю, что ли? А он мне: — «Вам — говорит — слышно, родитель брильянты какие-то привез в подарок?»

— Слышно,— говорю,— а что?

— Да ничего... Ими-то вот вы загодя, пока что, и воспользовались бы.

— Я ими и пользуюсь: когда хочу, тогда и надеваю.

— Эка польза!.. Какая же порядочная интеллигентка наденет на себя брильянты! Я не такую разумею.

— А какую же?

— А такую, что взяли бы вы эти самые камешки, не говоря ни папенькам, ни бабинькам, да и заменили бы их стразами, а камешки обратили бы в деньги,— не здесь, конечно; здесь сейчас же все узнают, а можно бы чрез надежных людей живо устроить это самое дело хотя бы в Одессе. И как обратили бы в деньги, так и пожертвовали бы их на «общее дело». Это, по крайней мере, с вашей стороны было бы честно.

«Я возразила ему, что напротив, подобный поступок, совершенный тайком, походил бы скорее на воровство и уж никак не мог бы быть назван честным. А он мне на это: «Ну, говорит и честность, и подлость, это все понятия относительные, это как кто понимает. Еще Прудон сказал, что собственность есть кража, а я говорю, что воровство ничуть не подлее и не честнее всякого другого обыкновенного поступка. Тут важна цель, ради которой вы известный поступок совершаете, а вовсе не самый поступок».

«Меня такое нахальство наконец взорвало, и я сказала, что подобные теории он может проповедовать кому угодно, только не мне.

— Нет, именно вам — говорит — потому что вы богатая и с задатками, которые дают повод рассчитывать, что из вас мог бы выйти прок для «общего дела». И затем прибавил, что если он проповедует мне такие вещи, то это только потому, что считает меня порядочным человеком и что я ему даже нравлюсь.

«Нравлюсь»... «Даже нравлюсь». — Подумаешь, честь какая!..

— Ну, а мне — сказала я — ни такие проповеди, ни сами проповедники вовсе не нравятся.

«Озлился.

— Кто же вам нравится — говорит.— Уланские лоботрясы, небось? Ну хорошо, так и запишем. Я, говорит думал, что вы в самом деле порядочная, а вы как есть кисея, кисеей так и останетесь!

«Я заметила ему на эту грубую дерзость, что менторство его мне еще в гимназии надоело, а теперь после его слов, навсегда прошу его не подходить ко мне более ни с какими разговорами и вообще считать всякое знакомство между нами поконченным. Он спохватился и вздумал было оправдываться, говоря, что я шуток не понимаю и что он хотел только испытать меня, но я решилась круто оборвать его и, с презрением бросив ему в глаза название нахала, отошла прочь. Он даже позеленел от злости, и с этой минуты, конечно, уже не поклонник мой, а величайший враг. Но, Бог с ним, я не жалею о своем поступке».

## **XVIII. НОВЫЕ НАСЛОЕНИЯ**

(Из "Дневника" Тамары)

«1-е октября 1874 года. Как давно не бралась я за свой «Дневник», даже и не заглядывала в него! — Не до того мне было.

Собственно говоря, времени-то прошло и не особенно много, но сколько за это время пережито! И какие все ужасные, потрясающие впечатления! Лишь теперь начинаю я от них оправляться и настолько приходить в себя, что смогу снова приняться за свою заветную тетрадку.

«Мы схоронили моего дорогого отца, и смерть его застигла нас совершенно неожиданно. Это было в начале августа. Я уже совсем было собралась в дорогу, чтобы ехать вместе с отцом в Вену, и он был совершенно этим доволен, чувствуя себя в отличнейшем настроении духа и даже как будто здоровее обыкновенного, как вдруг 4-го числа, накануне нашего отъезда, получает из Вены телеграмму от своего главного конторщика о том, что предпринятая по его приказанию операция с какими-то акциями, которую он считал совершенно верною, ожидая от нее больших барышей, лопнула, принесла ему более чем на миллион убытку. Это неожиданное известие, в котором он усмотрел начало нового своего банкротства, поразило и взволновало его до такой степени, что с ним тут же сделался страшнейший припадок всегдашней его болезни, и припадку этому на сей раз суждено было стать роковым. Через несколько минут отец умер от разрыва сердца. Дедушка сейчас же дал об этом телеграмму в Вену, к моей мачехе. С этого же несчастного дня начались у нас препирательства с нашим погребальным братством и целый ряд возмутительных сцен, придирок, прижимок и вымогательств со стороны последнего. Очередным габаем братства в этот месяц был Иссахар Бер, кирпичный заводчик, имевший против отца какой-то зуб, еще при его жизни,— кажется за то, что отец не удостоил его своим визитом,— и к этому-то человеку пришлось нам теперь обращаться за разрешительной запиской на похороны<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Похоронный обряд у евреев не считается в числе обрядов духовных и потому не имеет строго религиозного значения. По закону Моисея, духовенству еврейскому даже запрещено заниматься похоронами, чтобы не оскверняться прикосновением к трупам, а первосвященник не смел даже прикасаться к трупу родного отца или матери. Поэтому у евреев вообще и до сих пор сохранилось традиционное отвращение к мертвым и боязнь их. В силу этого чувства, даже близкие родственники стараются, по возможности, избегать личного обращения с телами своих умерших и передают приготовление их к похоронам особого рода специалистам, каброним. С этой целью, в каждом месте еврейской оседлости непременно существуют особые союзы, известные под именем "Хабура-Кадisha" или, иначе, "Хабура-Хевро" т.е. святые или погребальные братства. Цель их, по-видимому, благотворительная: убирать и хоронить мертвых и доставлять средства к погребению неимущим; но, в действительности, эти братства — одна из грозных сил кагальной организации еврейского общества. В ведении Хабура-Хевро всегда находятся и еврейские кладбища; поэтому продажа могильных мест составляет как бы их прерогативу, и деньги поступают в пользу учреждения. Братства имеют своих старост или габаев, выбираемых по баллотировке общим собранием членов, в числе трех или четырех человек, сроком на один год. Члены погребальных братств делятся на действительных членов, хаберим, и служителей, каброним, к коим относятся гробовишки, могильщики, обмывальщики, уборщики и носильщики мерт-

Дедушка отправил к нему своего старшего приказчика с просьбой отвести покойному место для могилы в почетном ряду и прислать кабронов для приготовления тела к погребению<sup>1</sup>. Часа через два приказчик вернулся совершенно смущенный и доложил деду, что Иссахар Бер велел ему кланяться с изъявлением полного своего почтения и передать, что, по решению Совета габаев Хевро, похороны будут стоить двадцать пять тысяч рублей и что пока в кассу братства не будут внесены сполна либо деньги, либо вексель на эту сумму, он не выдаст разрешительной записки<sup>2</sup>. Сколь ни был дед потрясен и убит горем, однако же такая наглость возмутила его до глубины души. Он вторично отправил приказчика к габаю с запиской, где выразил, что считает ответ его за оскорбительное издевательство над убитою горем семьей и предупреждает, что если не будут тотчас же присланы в дом каброны, то

---

вых. Первые принадлежат к еврейской знати, талмудической и денежной аристократии, вторые же — из низшего сословия. Размер платы за место и погребение определяется, для каждого случая особо. Советом габаев, и без разрешительной записки очередного габая нельзя приступить к похоронам. Братства Хевро действуют всегда самостоятельно, — кагал может иметь на них только косвенное влияние. Денежные суммы, выручаемые братством за погребение, кагалному контролю не подвергаются, а учитываются лишь Советом своих же габаев, в карманы коих и поступает обыкновенно львиная доля этих сумм. Возможность крупной наживы и служит причиной того, что габаи выбираются не более, как на год, дабы и остальные хаберим имели случай поживиться на габайской должности. По этой же причине, братства Хевро весьма редко и неохотно принимают в свою среду новых членов, и то не иначе, как за большие деньги. Звание члена, по большей части, передается по наследству, от отца к сыну, так что эти союзы являют собой род совершенно особой, замкнутой и как бы кастовой корпорации.

<sup>1</sup> Места на еврейских кладбищах всегда разделяются на почетные — для патрициев, ординарные — для людей среднего состояния, низшие — для плебеев (ам-гаарец) и наконец, последние, вне разряда — для разного рода отверженцев еврейской общины. Чем ближе к какому-нибудь знаменитому раввину, тем место считается почетнее и тем цена ему дороже. Но чтобы получить право на такое соседство, необходимо или быть признанным в качестве талмудического ученого, мудреца, или же обладать очень большими денежными средствами. По замечанию Я. А. Брафмана (ч.1, 283), новые богачи, т. е. евреи из бедного и низшего слоя, которым улыбнулась фортуна, очень дорого платят за такое право; купить же им это право необходимо по той причине, что этим они упрочивают и как бы закрепляют положение свое и своего потомства среди еврейской знати. Благодаря этому обстоятельству, "святому союзу" иногда удается получать значительные суммы без особого затруднения.

<sup>2</sup> Цены за места доходят не только до нескольких сотен, но и до нескольких тысяч рублей, по желанию габаев Хевро, и определяются эти цены их Советом безапелляционно. Так как запрос Совета, по большей части, оказывается не по силам для семейства покойника, то очередший габай, указывая на известное ему движимое или недвижимое имущество покойного, оказывает семье снисхождение готовностью принять оное в залог, для обеспечения требуемой Советом суммы.

поступок габая будет немедленно представлен им на суд бейс-дина. На этот раз Иссахар Бер сам явился к дедушке с объяснениями, что напрасно-де он на него, Иссахара, обижается, что покойник сам был человек состоятельный, а потому сумма, назначенная братством, падает на него и на его наследников; но отнюдь не на дедушкин карман; что святое братство и сам он, Иссахар Бер, преисполнены к дедушке глубочайшего уважения и когда умрет сам дедушка, то в доказательство этого уважения он увидит очами души своей, что братство с величайшей готовностью похоронит его на самом почетном из почетнейших мест и устроит такие торжественные похороны, каких еще и не видывал Украинский Израиль, и не возьмет за это, пожалуй, ни одной копейки, но для сына его, к сожалению, никак не может оказать ни малейшего снисхождения, потому что покойник был совсем эпикурейс, который вольнодумно позволял себе «немцовать»<sup>1</sup>, т. е. не только брить бороду и плотно стричь на висках волосы, или нарушать субботу, нося в этот день носовой платок в кармане и преступая закон Эйрува и т. п.<sup>2</sup>, но и вообще не соблюдал в своей жизни еврейского закона, хотя бы относительно кошера и трефа, охотно знался с гойями, даже благодворил им наравне с евреями, оскорбляя этим уравнением сих последних; что за все это нечестие он не только не может быть удостоен места в почетном ряду, но братство, по настоящему, должно бы было даже предать его тело на поругание<sup>3</sup> и если не делает этого, то единственно из уважения к деду; что наконец сумма в двадцать пять тысяч очень еще умеренна, так как, на основании существовавшего обычая, братство должно бы брать за погребение десятую часть всего достояния покойника в пользу своей благотворительной

---

<sup>1</sup> Ортодоксальные евреи называют эпикурейцами не только людей, предающихся исключительно наслаждениям жизни, но и всякого, кто позволяет себе какое-либо отступление от их традиционных привычек, обычаев и взглядов, или малейшее сомнение в какой бы то ни было талмудической нелепости. Людей, одевающихся в европейский костюм и усвоивших некоторые европейские привычки и обыкновения, те же ортодоксалы презрительно обзывают «немцами», «немчиками», и отсюда у них глагол «Немцовать».

<sup>2</sup> О законе Эйрува или Ойрива подробно изложено в примечании к главе XI. Что же до ношения платка в кармане в день субботний, то это считается грехом на том основании, что, будучи положен в карман, платок составляет ношу, а всякая ноша в шабаш запрещена. Обойти это запрещение можно только тем, чтобы обвязать платок вокруг талии, так как в этом случае, по объяснению талмудистов, он считается уже не ношею, а поясом; подпоясываться же не запрещается.

<sup>3</sup> Если покойник, при жизни своей, позволил себе поведение, не соответствующее понятию о «добром еврее», а в особенности, если он выступал против незаконных поступков кагала, бет-дина или союза, то кроме окончательного ограбления его семейства, которое союз производит под предлогом платы за могилу, останки покойного, по свидетельству Я. Брафмана и других еврейских же писателей, как напр., гг. Богрова и Исаака Эртера,— предаются на глазах семейства и посторонних зрителей самым непростительным кошунственным поруганиям.

кассы, а в таком случае ему следовало бы получить не двадцать пять, а по крайней мере двести тысяч, и однако же великодушное братство не домогается этого, довольствуясь самым скромным процентом. Дедушка веско возразил ему на это, что он жестоко заблуждается, так как еще 176 лет тому назад знаменитый великий раввин Иуда-Лейб Парцевер блистательно опроверг подобные доводы и признал погребальный налог настоящим грабежом, а взимателей его сущими грабителями, которые не могут быть допускаемы ни в свидетели, ни к присяге, а потому со стороны Иссахара и его друзей бесчестно грабить убитую горем семью во имя сомнительной благотворительности. Иссахар однако же не убедился этими доводами и спокойно, с неменьшей ученостью, стал доказывать, что хотя собор раввинов и принял тогда взгляды Парцевера и даже подтвердил новый устав о похоронном налоге, но признал его лишь временным и не присвоил ему законной, навеки обязательной, силы, а потому Украинское святое братство вольно брать сколько ему вздумается и никакой в мире бейс-дин не имеет права запретить ему это<sup>1</sup>. Долго еще продолжались у них эти споры и пререкания, но Иссахар Бер оставался непреклонен, а тело отца, давно уже остывшее,

---

<sup>1</sup> Грабеж святых братств Хевро доходит нередко до такой степени, что против него возмущаются сами евреи, несмотря на всю свою кагальную дисциплину и на свой понятный страх перед неумолимым и грозным братством. В «книге Кагала» Я.А.Брафмана, представляющей только сборник самых разнообразнейших кагальных документов и постановлений, во II части, на стр. 463, находится под № 1,050 замечательный протест сорока одного лица из жителей города Вильны против местного погребального братства. Документ этот относится к 1863 г.,— стало быть, вполне принадлежит нашему времени, и многие из подписавших его лиц живы еще и по сей день. Мы встречаем в нем следующие строки: «Под маской добровольных приношений и пожертвований, в нашем городе вошло в обычай принуждать находящегося в трауре к уплате за погребение по произволу старшин, которому нет границ. Разбитые семейным несчастьем, члены семейства покойника, при рассеянном и печальном своем положении, сами никак не в силах защищаться от произвола этих габаев: связанный не освобождает сам себя от уз; поэтому каждый из них вынужден удовлетворить требование габаев и уплатить, сколько они приказывают и, кроме сего, уплаченную сумму записать в братскую книгу, как добровольное пожертвование, сделанное им без малейшего с чьей-либо стороны принуждения. Всем известно и то, что при взимании платы за погребение этим способом, габаи часто так далеко заходят, что некоторые состоятельные люди, которые вынуждены были внести за погребение наличную сумму, превышавшую их силы, совершенно обнищали». Что дело это ведется таким образом с давних пор, мы находим свидетельство в том же источнике, в Постановлении от месяца Хившон 5458 (1698) года, где сказано, что это "безнравственный", "постыдный" обычай «сделался страшнейшим бичом, и конца нет сему преступному грабежу, которому подвергают живых и мертвых», что «несчастные наследники, благодаря этому обычаю, впадают в нищету, и никого, однако ж, этот грех не пугает». Но несмотря на все вопли и протесты самих евреев, погребальные братства продолжают свою деятельность в том же самом характере и в настоящее время.

лежало между тем на диване в той комнате, где он умер, необмытое, неприбранное,— потому что без кабронов никто не знал, как к нему приступить. При виде этого, бабушка просто изнывала от скорби, потому что, по ее старозаконным верованиям, чем скорее предаются останки земле, тем легче для души покойного, и всякая задержка в погребении считается противной чести покойного, издевательством над мертвецом и посрамлением его<sup>1</sup>. Безобразные домогательства Иссахар Бера происходили частью в моем присутствии, и я, наконец, не выдержала и прямо объявила ему, что так как погребение у евреев не составляет обряда религиозного, то я обращусь к помощи русской власти и буду просить губернатора распорядиться похоронами помимо святого братства.— «Что ж, обратитесь! — отвечал он мне с насмешкой.— Обратитесь, а братство в этом случае заявит подозрение, что батюшка ваш умер неестественною смертью, и русские доктора станут потрошить его,— вам хочется этого?» — Я готова была броситься на этого негодяя и вцепиться в его гнусное лицо, но что толку?!.. Дедушка поспешил удалить меня из комнаты, так как знал, что всякая моя резкость относительно габая могла бы только осложнить и еще более испортить дело. Да и сама я сознавала в душе, что ничего не могу тут поделывать и что братство не призадумается привести в исполнение наглую свою угрозу насчет медицинского вскрытия. Этих бездушных вампиров не проймешь ни слезами, ни мольбой, ни угрозами: они — в своем праве (!), и если уже самопроизвольно определили цену, то решение их бесповоротно и безапелляционно.

«Дело шло уже к вечеру, а переговоры с габаем не привели еще ни к какому результату. Дедушка все еще пытался убеждать и торговаться, потому что в самом деле, ведь это же вопиющий грабеж.— двадцать пять тысяч за место в какие-нибудь два-три аршина!..Желая положить предел этому бесконечному препирательству и неопределенному, слишком для меня тяжелому, положению с телом отца, я наконец сказала бабушке, что прошу заплатить этим шакалам всю сумму сполна из денег, оставленных мне отцом в приданое. Но как раз в это время получилась ответная телеграмма от мачехи, которая уведомляла, что немедленно сама выезжает поездом express в Украинск и просит задержать похороны до ее прибытия. Бабушка пришла в ужас. Из Вены в Украинск можно добраться не раньше, как через 36 часов, и тело все это время должно оставаться в доме. Она даже вознегодовала на мачеху, находя, что с ее стороны это просто безбожная, кощунственная прихоть, приличная разве какой-нибудь отступнице, христианке, но отнюдь не еврейской жене, боящейся Бога и уважающей мужа. Но тут вышло нечто совсем для нас неожиданное. Так как телеграмма была на непонятном в нашей семье французском языке, то для прочтения и перевода ее потребо-

---

<sup>1</sup> Евреи обыкновенно предают земле своих мертвецов, чуть только тело успеет остыть. От этого, случаи погребения мнимоумерших у них чаще, чем где-либо.

валось мое участие, и дедушка имел неосторожность заставить меня переводить в присутствии Иссахар Бера. Этот негодяй тотчас же ухватился за телеграмму, как за прекрасный предлог к тому, чтобы отложить всякие переговоры до прибытия вдовы, так как теперь святое братство будет уже иметь дело с нею, а не с бабушкой. Как ни умоляла его бабушка поспешить успокоением бедной томящейся души её сына, предлагая даже сейчас же заплатить из моих денег требуемую сумму, лишь бы только похоронить его до захода солнца,— габай безусловно отказался, да и дед воспротивился тому, чтобы платила я, и нам волей-неволей пришлось покориться. Уклонившись от совершения сделки, габай наверное рассчитывал на возможность стащить с мачехи еще большую сумму.

«Между тем, выехав в тот же день из Вены, мачеха успела добраться к нам лишь к ночи со вторых суток на третьи, так что поневоле пришлось отложить похороны до утра. Факторы святого братства, все время поджидавшие ее приезда на вокзале и у ворот нашего дома, тотчас же, конечно, доложили Иссахар Беру, но господин габай счел себя слишком важной особой, чтобы потревожиться для беременной женщины, измученной дорогой и душевным горем, и прислал сказать ей, через нашего приказчика, посланного к нему с просьбой пожаловать к нам, что теперь, за поздним часом, он не будет вступать ни в какие переговоры, а предлагает вдове явиться к нему завтра утром, в девять часов, если ей угодно выслушать условия священного братства. Это был, очевидно, щелчок, данный нашему «аристократическому» самолюбию,— как, дескать, смеем мы звать его к себе, если имеем в нем нужду,— но нечего делать, в назначенный час мачеха была уже у габая, и он, повторив ей лишь то, что говорил уже деду, заломил за похороны тридцать тысяч, на том основании, что теперь тело, вероятно, уже испортилось и кабронам будет противно исполнять над ним свои обязанности. И действительно, тело начало уже сильно разлагаться: Дни стояли жаркие, и квартира наша заражена была трупным смрадом, с трудом уступавшим действию хлора и марганцовокислого калия. Мачеха потребовала созвать Совет габаев, и Иссахар Бер должен был наконец уступить ее настояниям; но все, чего успела она добиться от Совета, после долгих протестов, просьб и убеждений, это то, что габай великодушно согласился уступить пять тысяч, самопроизвольно накинутые Иссахар Бером без их разрешения, и остановились на прежней своей цифре, заявив, что эта последняя «добросовестная» цена за место должна оставаться как с их, так и с ее стороны, непререкаемою. Все, кто только ни приходил к нам для мнахем овал<sup>1</sup>, как и вообще все, что было честного в нашем еврействе, все это возмущалось поведением святого братства, но увы! — возмущалось про себя и как бы по секрету, не смея явно выразить свой протест, из справедливого опасения, что всесильное

---

<sup>1</sup> Мнахем овал — посещение с целью утешить по поводу смерти родителя или близкого родственника, — еврейский *visite de condolence*.



братство в отместку за это может проделать то же самое и с каждым из протестующих, в случае смерти его, или кого-либо из родственников. Мачеха не согласилась на уступку габаев и в отчаянии бросилась наконец в полицию, к защите русских властей; но полицмейстер ограничился только изъявлением ей своих соболезнований и объявил, что в эти дела, если в них нет уголовного характера или прямого нарушения полицейско-санитарных постановлений, русская власть никогда не вмешивается и ничего в данном случае сделать не может, тем более, что христианские покойники хоронятся на трети и, а то иногда и на четвертый день; в данном же случае еще не истекло и трех суток.— «Вот — говорил он — если ваш покойник пролежит еще суток двое, ну, тогда другое дело: тогда полиция примет понудительные меры, чтобы заставить родственников похоронить его, а пока и этого нельзя, так что вы уж как-нибудь постарайтесь сами уладить это дело с братством.»— После такого ответа, очевидно, дольше ждать было нечего. Пришлось сдаться на условия габайского Совета; но у мачехи не было при себе таких денег. Иссахар Бер однако и тут нашелся. Он предложил ей выдать братству вексель, за поручительством деда, сроком на один месяц. Выдали. Но и тут еще не конец нашим испытаниям и издевательствам братчиков над нами и над дорогим нам покойником.

«По получении документа, очередные каброны тотчас же были отправлены к нам и, приготовив тело к погребению, подняли его из дому на носилках, под траурным покрывалом. Но дойдя до угла Купеческой и Киевской улиц, они остановились и стали между собой переговариваться о чем-то. Видя, что остановка продолжается долее, чем сколько нужно, чтобы смениться носильщикам, мы спрашиваем их, в чем дело, и вдруг оказывается, что они послали за погребальными дрогами и ждут, пока дроги подъедут, так как нести на руках им слишком тяжело в такую жару. Вдова и мы все упрашиваем их не делать такого всенародного скандала и донести покойника честно до кладбища, носильщики соглашаются, но с условием, если вдова прибавит им за это по десяти рублей на брата. Пообещали прибавить, и шествие продолжалось до Садовой улицы. Но тут опять новый и еще больший скандал. Каброны вдруг остановились и бросили носилки среди улицы, а сами отошли в сторону, говоря, что далее они вовсе не могут нести, так как труп издает слишком большое зловоние, снова начинаются упрашивания и торг, и снова назначается вынужденная прибавка, в размере десяти рублей каждому. Но и этим еще не кончается глумление над живыми и мертвым. Принесли наконец тело на кладбище, и вдруг видим мы, что несут его, минуя почетные ряды, не на то место, за которое уже заплачены братству деньги, а прямо в самый последний конец, к могиле, вырытой у западной стенки, где обыкновенно хоронят самоубийц и всяких отверженцев. Это наконец возмутило и деда, всегда столь покорного кагалу и всяким еврейским установлениям. В сильном негодовании, он обратился с упреками к Иссахар Беру, как к очередному представителю габаев, присутствовавшему здесь по обязанности, и тот с наглостью

принялся доказывать ему, что никак невозможно похоронить заведомого «эпикурейса» и вольнодумца иначе как под забором, отдельно от остальных, потому что соседство с ним обидно будет прочим покойникам, никогда не оскорблявшим величия Божия, обидно и их живой родне, которая вправе будет предъявить к братству претензии за допущение такого бесчиния. Но после долгих споров, слез и упрашиваний и, наконец униженной мольбы со стороны всего нашего семейства, суровый габай смягчился. Видимо наслаждаясь в душе, что ему удалось-таки довести семью еврейских аристократов до публичного унижения и преклонения перед его властною особой, он сказал, что уж так и быть, берет на себя ответственность перед братством, единственно только из уважения к деду, если впрочем каброны согласятся рыть новую могилу. Опять пошли запрашивания и выторговывание прибавки со стороны кабронов, но на этот раз уже по пятнадцати рублей на брата. Разумеется, пришлось согласиться на все, лишь бы только тело было наконец похоронено на надлежащем месте.

«С растерзанной душой, изнемогая от горя и сгорая от стыда и бессильного негодования, возвратилась я с кладбища домой и...должна сознаться самой себе, что с этого ужасного дня я возненавидела не только святейшее братство со всеми его габаями, со всеми этими жадными хаберим и каброним,— нет, этого мало... В этот день я впервые почувствовала, что начинаю ненавидеть самое еврейство,— не как людей, но как общество, рабски покорное своим деспотическим кагальным учреждениям. И если уже подобные издевательства столь нагло проделываются над нами, членами семьи такого почтенного и родовитого человека, рука которого не оскудевала всю жизнь рассыпать милостыню и оказывать всяческую поддержку своей общине, то можно представить себе, какие бесстыдные мерзости и низости творятся этим святейшим братством и этим «пречистым» кагалом над людьми среднего и низшего состояния, над темною еврейскою массой, в особенности, когда захотят мстить за что-либо неугодному им человеку...

«Нет, в этой ужасной среде можно задохнуться!»

\*\*\*

«Приехав к нам из Вены, мачеха моя, можно сказать, совершила целый подвиг самоотвержения, и это мирит меня с нею, даже настолько, что я переменяю о ней свое предвзятое, заглазно составленное мнение. Дело в том, что она находилась в последнем периоде беременности и, тем не менее, это важное обстоятельство не удержало от утомительной поездки ее, женщину нервную, изнеженную, избалованную комфортом. Она непременно хотела сама присутствовать на похоронах мужа, в последний раз поклониться его праху, проститься с ним. Было ли это сделано ею ради общественного мнения, из чувства приличия, чтобы поддержать в глазах общества, у себя там, в Вене, репутацию достойной супруги, или же действительно по влечению сердца,— не знаю; но во всяком случае,

поступок ее делает ей честь. А из ее скорби и поведения во время похорон, я склонна теперь заключить, что все-таки она любила моего отца,— любила по-своему, конечно, насколько и как умела. На вид, эта женщина лет тридцати пяти, нельзя сказать, чтобы красивая, но зато вполне обладающая тем внешним элегантным лоском, которым, как говорят, будто бы по преимуществу отличаются венские уроженки. Лицо у нее не то чтобы интеллигентное, но именно «светское», если можно так выразиться, с выражением некоторой доброты и не без практической рассудочной сметливости. Самопожертвование ее, однако, не прошло ей даром. Нравственное потрясение от неожиданной вести о смерти мужа, быстрые сборы в дорогу, утомление в пути, новое потрясение при виде неприбранного трупа, затем все эти хлопоты и передряга с габаями и полицией, продолжительное шествие за гробом пешком, под нестерпимым солнечным зноем и, наконец, ряд возмутительных, оскорбляющих сцен со святейшим братством,— все это в совокупности до такой степени расстроило морально и повлияло физически на здоровье бедной женщины, что, возвратясь с кладбища, она сразу почувствовала себя очень дурно. Все эти дни и до последнего момента она жила, можно сказать, исключительно нервами, всячески стараясь крепиться и пересиливать самое себя; но тем быстрее и сильнее, с окончанием последнего акта погребения, наступила реакция, сразу сказавшаяся упадком сил и нервов. Она слегла и вслед затем явилась надобность в немедленной помощи акушерки. Бабушка Сарра, конечно, тотчас же окружила ее всеми удобствами и попечениями, чтобы по возможности облегчить ее страдания. Начались несколько преждевременные роды. Меня услала бабушка в мою комнату и просила не выходить без нужды. Никогда еще не слыхала я таких мучительных, всю душу раздирающих криков и стонов, от которых мороз подирал меня по коже. Это было ужасно, и долго еще после того порою казалось мне, будто крики эти стоят у меня в ушах... Спустя несколько часов, мачеха благополучно разрешилась, одарив дедушку с бабушкой внуком, а меня братом. Факт этих родов еще убедительней доказал мне, насколько, значит, любил меня покойный отец, если решился ради меня оставить на время не только свои дела, но и жену в таком положении. Тем дороже для меня память о нем.

«Мальчик родился недоношенный, а потому несколько хилый. Тут начались для бабушки большие заботы и хлопоты с отысканием здоровой кормилицы, а прежде всего насчет ограждения родильницы и младенца от дьявольского наваждения. Так уж это следует по старозаконным обычаям, относительно которых бабушка Сарра всегда является у нас ревностною блюстительницею. В этом отношении одна только я, с моими знакомствами в мире гойев и нухрим, составила у нее некоторое исключение, но и то благодаря лишь решительной воле покойного отца и авторитетным настояниям в мою пользу со стороны дедушки. Добрая бабушка Сарра твердо убеждена, что в момент появления на свете всякого младенца, а еврейского в особенности, сам сатана невидимо парит вокруг

него и родильницы, всячески стремясь войти к ним внутрь, чтобы околдовать их души, и что самое верное средство к избавлению от его козней, это — во-первых, положить родильнице под подушку ножик, а в ногах Сидур<sup>1</sup> и во-вторых, заготовить как можно более шир-гемалот<sup>2</sup>. Бабушка, еще как только начались родильные муки, сейчас же озаботилась сделать двум синагогальным шамешам экстренный заказ, чтобы те немедленно и как можно скорее изготовили ей достаточное количество шир-гемалот, и собственноручно понаклеивала эти чудодейственные талисманы над кроватью больной, над сочиненной из двух кресел постелькой будущего ребенка и у всех окон, дверей, печей и вьюшек,— словом, при каждой отверстии, сквозь которое нечистый дух мог бы проникнуть в комнату родильницы. Вечером того же дня, в который родился мальчик, в комнату мачехи нагрянул целый хедер<sup>3</sup>, около тридцати мальчуганов, со своим бегельфером<sup>4</sup>, в качестве будущих сотоварищей и спутников жизни новорожденного. Они всем хором прокричали ему молитву на сон грядущий, и за это бабушка Сарра, по обычаю, угостила их сладким горохово-бобовым киселем и пряниками. Сюрприз такого шумного посещения видимо не понравился родильнице, не привыкшей, а может и вовсе незнакомой у себя в Вене с подобного рода стеснительными старозаконными обычаями. На первый раз она только поморщилась, но узнав, что эти посещения будут продолжаться по вечерам и во все последующие дни, до самого дня обрезания, она просила, нельзя ли как-нибудь избавить ее от этой крайне стеснительной и беспокойной церемонии. Но бабушка Сарра у нас человек тоже своеобычный, и отказаться от какого-нибудь общепринятого, а в особенности старинного, обыкновения для нее просто невыносимое дело: что скажут после этого, что подумают о ней все добрые люди в Израиле,— о ней, которая во всю свою жизнь ни на йоту не отступила ни от какого благочестивого обычая! Да и запасы горохового киселя сделаны уже на всю неделю вперед,— не пропадать же им!.. Обе стороны сошлись однако на компромиссе: решено было, что без хедера невозможно ни под каким видом, но чтобы крик мальчишек не беспокоил больную, их будут принимать в более отдаленной комнате и выносить к ним на это время новорожденного. Но отчего уже

---

<sup>1</sup> Сидур — еврейский молитвенник. Иногда кладется также Шас-Техинот, — полный сборник всех женских молитв.

<sup>2</sup> Шир-гемалот — особый талисман, состоящий из 121 псалма, написанного на бумаге и окруженного со всех сторон таинственными именами ангелов и прочих обитателей небесных сфер, о которых повествуют Талмуд и в особенности Кабала. К этому присоединяется еще и следующее кабалистическое заклинание: "Да не останутся в живых колдуньи! В живых да не останутся колдуньи! и проч. Заготовлением подобных ишр-гемалотов занимаются преимущественно синагогальные шамешы, которые, по мере надобности, и снабжают ими рожениц, разумеется, за деньги.

<sup>3</sup> Хедер — начальная школа.

<sup>4</sup> Бегельфер — помощник меламеда (учителя).

никак нельзя было отделаться,— это от бен-захора в первую пятницу после родов, когда после вечерней шаббашовой трапезы к родильнице собрались уже не одни школьники, а и взрослые люди, из наиболее уважаемых лиц, для чтения той же молитвы на сон грядущий. Мачеха крайне стеснялась и не хотела принимать в постели посторонних, совершенно незнакомых ей людей, и из-за этого у нее с бабушкой чуть было не вышло серьезной размолвки. Бабушка, между прочим, даже заявила ей, что если в Вене эпикурейство считается, быть может, похвальным делом, то в Украинске совсем наоборот и что такое нарушение доброго обычая может на весь дом положить дурную славу. После этого, разумеется, оставалось лишь покориться не только бен-захору, но и шалом-захору и вахнахту накануне дня обрезания<sup>1</sup>.

Все эти хлопоты и заботы совпали у нас крайне неудобным образом со днями шивы<sup>2</sup> по моему отцу, когда нужно было трижды в день совершать богомоление бецибур<sup>3</sup> и когда от семейства покойного требуется полное прекращение всех житейских занятий. Но у нас один только дедушка мог исполнить, как следует, все" требования шивы, и бабушка так уже

---

<sup>1</sup> Утром, в первую субботу после родов, отец новорожденного, а в случае его дальнего отсутствия или смерти, ближайший родственник ребенка с отцовской стороны отправляется в синагогу или иную молельню, где его призывают к почетной алии, после которой кантор возглашает ему, ро дильнице, младенцу и прочим родным и друзьям (по указанию призванного) мишебейрах, т. е., многолетие. По окончании богомоления, все родственники и приглашенные лица обоего пола отправляются к родильнице на шалом-захор — принести поздравления с рождением на свете сына. Там угощают их обыкновенно водкой и пряниками, а у богатых — тортом, вареньем и ликерами. Накануне дня обрезания, т. е. с вечера седьмого дня на восьмой, после рождения младенца, у людей богатых обыкновенно бывает вахнахт, т.е. ночь стражи. В дом, где находится родильница, собираются, так называемые, клаузнеры (бедные молодые люди, изучающие Талмуд в эшеботах) и, поместясь рядом с комнатой родильницы, а то и в самой этой комнате, смотря по желанию мужа, проводят всю ночь в бдении и чтении Талмуда и Мишны. В награду за это они получают изобильный ужин и недова — дар милостыни деньгами, поровну каждому. Бедные люди, во избежание излишних расходов, обыкновенно обходятся и без вахнахта, так как обычай этот не считается обязательным, а служит лишь для состоятельных людей средством оказать лишний раз милостыню или приятно пощекотать собственное тщеславие.

<sup>2</sup> Шива — семидневный траур.

<sup>3</sup> Бецибур — богомоление, т.е. чтение установленных молитв и закона, евреи совершают бейихуд — в одиночку, и бецибур — соборно, в составе не менее десяти взрослых мужчин. Поэтому в каждом городе содержатся на счет общества десять, так называемых, батлонов, которые обязаны постоянно находиться в главном молитвенном доме для того, чтобы лица, являющиеся туда с целью совершить молитву бецибур, всегда могли беспрепятственно удовлетворить свое желание. Надобность в совершении богомоления бецибур встречается в еврейском быту очень часто, а в дни шивы оно безусловно обязательно для семьи и близких родственников умершего.

и не трогала его всю неделю, не отвлекая ничем посторонним. На седьмой день шива окончилась, а на восьмой весь наш дом приготовился к торжеству обрезания. Мне еще в первый раз в жизни доводилось быть свидетельницей этого знаменательного обряда, на который, впрочем, я смотрела как бы контрабандным образом, в щель полузакрытой двери, из другой комнаты, потому что бабушка нашла, что хотя закон и не запрещает, но мне, как девушке, лучше бы не присутствовать явно, а еще лучше — сидеть в своей комнате, пока не позовут к закуске. Женское любопытство мое, однако же, превозмогло, и, к сожалению, не могу сказать, чтобы то, что я видела, произвело на меня особенно симпатичное впечатление. Это обряд жестокий, мучительный, исход которого бывает далеко не всегда благополучен, как было и в настоящем случае.

«Утром повивальная бабка с нашими домашними женщинами тщательно вымыла и выкупала ребенка, чтобы приготовить его к операции. Затем, около десяти часов утра, после богомоления в бейс-гакнесете, собрались к нам в дом почтенный сандек, трое моголов, кватер, кантор, катальный шамеш, обязательные десять взрослых свидетелей и, наконец, несколько приглашенных дам, из числа близких знакомых<sup>1</sup>. Обязанность кватерины приняла на себя сама бабушка Сарра.

«Обряд должен был совершиться в зале, где разостлали посредине большой ковер и на нем поставили столик с тарелкой воды и фиалом вина, а подле столика — кресло, изображающее в этом случае трон пророка Ильи — «кисешел Элиогу», невидимо присутствующего при каждом обрезании. Когда все уже было готово и все приглашенные заняли свои места, бабушка Сарра, одетая в свой драгоценный, старосветский парадный костюм, в качестве кватерины, вынесла в залу ребенка и остановясь подняла его над головой, в ожидании, когда шамеш громко и торжественно возгласил «Кватер!» — На этот зов выступил вперед восприемник и, приняв младенца из рук

---

<sup>1</sup> Сандек или Сандуке, (по объяснению Я.Брафмана, вероятно, от греческого "Sindikos") приглашается всегда родителями из числа значительных лиц в обществе, при надлежащих к денежной или талмудической знати. Сандеку предназначается самая почетная роль — держать младенца во время обрезания. Могелы (могелим), обрезатели, всегда в числе трех человек, из которых каждый имеет свое особое назначение при операции, а именно: первый захватывает двумя пальцами левой руки *graeruteum* и быстро срезывает его особым обоюдоострым ножом; второй вслед за обрезанием срывает у края раны кожу снизу *penis'a* нарочно заостренными когтями своих больших указательных пальцев, а третий производит высасывание раны. Кватер (испорченное немецкое *Gevatler*), кум или восприемник, подносящий младенца к обрезанию. Кватерин — кума (немецкое *Gevatterin*). Шамеш-гакагал — кагальный нотариус, для записи совершившегося акта и имени новообрезанного в метрическую книгу. Обязательные десять взрослых свидетелей — из числа родных, друзей и знакомых, а за недостатком таковых — из синагогальных батлонов. Обрезание совершается большей частью в квартире родильницы, и редко когда в молитвенном доме. Все законы, касающиеся этого обряда, изложены в Тур-Иоре-деа, § § 260-266.

бабушки, со словами «борух габа!»<sup>1</sup>, громко повторенными за ним всеми присутствующими, размеренно медленными шагами торжественно понес его через всю комнату к трону Ильи, произнося вслух: «И сказал Господь праотцу нашему Аврааму: шествуй предо мною и будь праведен». — На троне восседал уже маститый сандек, на колени к которому и был положен младенец. Тут обступили его с молитвой трое могелов для совершения священной операции.

«Каким образом совершался самый процесс этой операции, я не видела за спинами обрезателей, — слышала только раздирающий, мучительный вопль ребенка, заставивший меня содрогнуться, да еще слышала голос деда, громко произносившего, вместо отца, установленное для него славословие Господу, освятившему нас Своею заповедью и повелевшему приобщить младенца к союзу праотца нашего Авраама. Но то, что увидела я вслед затем — каюсь! — невольно возбудило во мне чувство отвращения. Я увидела, как последний из могелов, приникнув губами к ране младенца, стал высасывать из нее кровь и, отвернувшись в сторону, выплевывал ее из окровавленного рта в тарелку с водою. Кровь не унималась дольше, чем бы следовало, и могелы тщетно старались остановить ее присыпкой из древесных опилок. Может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, что несколько капель крови было впущено в вино, после чего сандек, встав с места и подняв лежащего на руках младенца над фиалом, дважды повторил над ним слова Иезекииля: «Реку тебе, кровью твоею живи» и влил ему в рот несколько капель вина из фиала. Все это совершалось под звуки крикливого речитатива кантора, возглашавшего «мишебейрах»<sup>2</sup> младенцу, родильнице, родным и присутствующим (поочередно каждому), которые в свой черед прерывали его шумом своих поздравлений и пожеланий долготы дней новообрезанному, не забывая сунуть в руку «благодарность» и кантору за его лестное возглашение.

«Операция была не из удачных. После значительной потери крови, у маленького открылось местное воспаление в недоброкачественной форме, сопровождавшееся сильным лихорадочным состоянием, которое являлось тем опаснее, что ребенок и без того уже сам по себе был слаб и хил. Жестоко протерпев шесть суток, он умер ровно через неделю после обрезания. Покорно склоняя головы, все говорят при этом: «Так Богу угодно, чтобы он был принят»<sup>3</sup>; я же — грешная душа — осмеливаюсь думать, что, не будь произведена эта жестокая и опасная в столь раннем возрасте операция, ребенок остался бы жив. Эту мою мысль я высказала как-то в интимном разговоре нашему Айзику. — А почему вы знаете, — возразил он на это с какой-то двусмысленной, ехидной улыбкой. — Может, так и следовало, чтоб операция была неудачна: вам же бы меньше досталось, если бы существовал лишний наследник...

---

<sup>1</sup> Благословен грядущий (т. е. новорожденный, подносимый к обрезанию).

<sup>2</sup> Мишебейрих — многолетие.

<sup>3</sup> У евреев не принято говорить "он умер", а всегда иносказательно: "он взят", "он принят", подразумевая, конечно, что он взят Богом.

«Какое ужасное предположение! И откуда только берутся у этого Айзика такие гнусные мысли!.. Бросить тень такого безобразного подозрения, и на кого же! — на чистых совестью, моих добрых, честных стариков, которым тот же Айзик решительно всем обязан,— нет, это слишком уж гадко и подло!.. Я горячо, всей душой протестовала против его предположения и прямо высказала ему, какой это с его стороны бессовестный, черный поступок, а он только ухмыляется.— «Разве я — говорит — обвиняю дедушку с бабушкой? Разве вы можете сказать, что я высказал это? Вольно же вам так понимать меня, а только я этого вам не говорил; это ваше собственное, а никак не мое предположение, я сказал только, что вам же больше останется, и дурного в этом нет ничего. А верно сами вы так думаете, да свои мысли на меня сваливаете»... Каково! Выходит, что я же сама виновата. Он же смутил мою совесть и меня же в том обвиняет. После этой мерзкой выходки я сильно разочаровалась в друге моего детства и решила себе держаться от него подальше.

«После обрезания, спустя тридцать три дня, мачеха моя должна была исполнить обязательный обряд миквы<sup>1</sup>. Сомневаясь в опрятности нашей Украинской миквы, она хотела было отложить этот обряд до возвращения своего в Вену, но бабушка Сарра пришла в ужас от такого намерения невестки и воспротивилась ему самым решительным образом, говоря, что если это будет так, то она навеки покроет не только весь наш дом, но и память мужа своего, величайшим позором и посрамлением, так как неисполнение этого обряда здесь же, на месте, даст повод каждому не только думать, но и утверждать, что родившийся у нее ребенок был мамзер<sup>2</sup>, а потому, если она не возьмет микву здесь же, в положенный срок, то бабушка будет считать это с ее стороны жесточайшим и преднамеренным оскорблением и посрамлением всей нашей семьи, всего рода Бендавидов и памяти покойного. Поставленный таким образом вопрос этот, конечно, должен был разрешиться согласно воле бабушки Сарры. Мачеха, скрепя сердца, согласилась и просила только, нельзя ли распорядиться, чтобы по крайней мере хоть воду-то переменили в водоеме. Послали просить арендатора,— обещал переменить, и мачеха отправилась в микву, в сопровождении бабушки, которая непременно хотела сама присутствовать при этом важном обряде; но возвратилась она оттуда негодующая, просто взбешенная,— да и было отчего, если верить ее рассказу. Я, как девушка «не знающая мужа», избавлена пока от этого обряда и потому никогда не бывала в микве; но по словам мачехи, это для каждой опрятной и мало-мальски брезгливой женщины выходит нечто ужасное, отвратительное. Начать с того, что наша общественная

---

<sup>1</sup> Миква — обряд очистительного омовения после родов и известных физиологических периодов. Миквою же, в переносном значении, называется и самый водоем, в коем совершается это обрядовое омовение.

<sup>2</sup> Мамзер — незаконный. По Тур-Иоре-деа ( § 268), дитя, родившееся от матери, не соблюдавшей обряда миквы, незаконно.



миква, составляющая, по обычаю, монополию погребального братства и сдаваемая им в аренду банщику, является единственной миквой для всего города; поэтому в ней перебивает каждый вечер по несколько десятков, а то и сотня, если не больше, женщин. Помещается она, как и все почти миквы Западного края, под сводами глубокого, темного подвала, в каком-то погребе, куда надо спускаться по скользким ступеням, при слабом свете двух смальцовок<sup>2</sup>, едва освещающих эту подземную трущобу, промозглые стены которой покрыты какой-то грязной слизью и копотью, где ползает мокрицы. Мачеха пришла туда, разделась, распустила волосы, как это требуется по закону, и предоставила себя в распоряжение негельшнейдеке<sup>3</sup>, для узаконенной стрижки ногтей на руках и ногах. Та поусердствовала отстричь их до самого мяса, так что бедной женщине больно было даже ступить на ногу; но иначе, говорят, нельзя: по уставу, надо, чтобы ничто не мешало «пречистой» воде совершенно омыть все тело, а без того и самый обряд считается недействительным<sup>4</sup>. После стрижки ногтей очищаемая спускается в водоем, вместимостью около кубического метра<sup>5</sup>, где она должна помутить воду и, произнеся установленную краткую молитву, троекратно окунуться с головой таким образом, чтобы на поверхности не оставалось ни одного волоска, и каждый раз оставаться под водой до тех пор, пока стоящая над миквой тукерке<sup>6</sup> не подаст ей разрешительный возглас: «кошер!»<sup>7</sup>. Но когда мачеха спустилась к микве, она увидела, что воду и не думали переменять, так как ее мутная поверхность подернулась даже каким-то радужно-сизым налетом, в роде больших жировых пятен.

---

<sup>1</sup> Почти повсюду, в местах еврейской оседлости в России, еврейские бани и миквы составляют монополию святого союза, который и пользуется с них доходами, сдавая в аренду, причем в контракте с арендатором обуславливается и плата за совершение миквы, от 5 коп до 3 руб. и более. Цена увеличивается или уменьшается сообразно состоянию нуждающейся в совершении обряда и служит, таким образом, для арендаторов предметом произвольной эксплуатации женщин из более зажиточного круга.

<sup>2</sup> Смальцовка — особого вида небольшие сальные свечи.

<sup>3</sup> Негельшнейдеке — надзирательница миквы.

<sup>4</sup> Все постановления относительно миквы заключаются в книге Орах-Хаим. § § 183-203.

<sup>5</sup> Согласно уставу о микве, водоем должен быть наполнен водою непременно живой, проточной, взятой из реки или ручья. Но так как зимой погружаться в холодную воду не безопасно для здоровья, то обыкновенно перед началом обряда вливают лишь небольшое количество свежей воды в прежнюю, которая нагревается посредством жестяной трубы, проходящей внутри водоема. При этом, вследствие экономических соображений арендатора, священная вода миквы, с разрешения кагала, меняется только раз в месяц, а иногда и того реже.

<sup>6</sup> Тукерке — помощница надзирательницы. Та и другая определяются на свои должности по представлению святого братства и утверждаются в них кагалом.

<sup>7</sup> Чиста, очищена.

На ее замечание об этом, надзирательница с тукеркой даже в амбицию вломились и загалдели, что вода у них переменяется только по распоряжению кагала.— «Отчего же всегда-де и все моются и никто не жалуется, а вы одни только!.. Переменять воду для одной, другим будет обидно. Здесь ни для кого-де не делается исключений,— перед Богом в Израиле все равны,— а не угодно, так как угодно! Или мойтесь, или уходите, не задерживайте прочих!»<sup>1</sup>.

«Даже сама бабушка Сарра поразилась такой, непривычной для ее уха, дерзостью, чтобы какие-нибудь негельшнейдеке и тукерке смели говорить подобным тоном с женщиной, принадлежащей к семье Бендавида! Но для меня оно понятно: это, конечно, отраженное последствие того неуважения к несчастному телу моего отца, какое, при его погребении, выказало святое братство, в лице Иссахар Бера, который, по своему званию габая, является в некотором роде, патроном и этих заседательниц миквы. Я уверена, что эти твари только потому и позволили себе отнестись подобным образом к вдове оглашенного «эпикурейса», что знают о том унижении, какое пришлось нам перенести тогда от их патронов, и убеждены в своей безнаказанности, полагая, что с тех пор относительно нас все можно. Быть может, они даже думают, что совершают этим «благочестивое деяние».

«Нечего делать! Скрепя сердце, пришлось окунаться в эту зараженную миазмами муть. Но это ничто, в сравнении с последним актом очищения, который требует, чтобы женщина, не выходя из водоема, еще выполоскала себе рот той же водой. Боже мой, какая невообразимая гадость!.. И чтобы быть «доброй еврейкой», необходимо по крайней мере раз в месяц подвергаться этой пытке. Я без ужаса и подумать не могу, что с выходом замуж, и мне предстоит то же самое. Какие, в самом деле, жестокие обряды, какие отвратительные обычаи!.. И неужели же это не могло бы быть изменено к лучшему, как-нибудь иначе? Неужели же именно так и надо, так и требуется законом? Отчего же у христиан, которых мы считаем «нечистыми», нет ничего подобного!.. Удивляет меня, впрочем, одно: как это наши еврейские мужья и жены, сознавая, что причиной множества их кожных болезней, в большинстве случаев, служит именно миква, оставляют ее порядки без малейшего протеста. Что за тупая, овечья апатия!.. Мне кажется, я никогда не помирюсь с этим, или никогда не выйду замуж».

\*\*\*

«... Мачеха моя и после шести недель все еще чувствует себя слабой. Доктор Зельман говорит, что с весной ей непременно надо на воды, а без того она и не поправится. Между тем, на днях было получено из Вены письмо от моей тетки, Розы Беренштам, где она с радостью извещает, что предполагавшийся

---

<sup>1</sup> По положению, две женщины сразу не могут совершать обряда; надо, чтобы каждая исполнила его отдельно, в очередь.

крах моего покойного отца вовсе не так опасен, как казалось в первую минуту, и так как в этом деле существенно замешаны интересы более крупных банкирских фирм, то общими их усилиями удалось кое-как спасти всю операцию настолько, что потеря, приходящаяся на долю собственно нашей фирмы, не превысит пятисот тысяч гульденов. Это, конечно, очень и очень чувствительно, но все же не крах, и мачеха считает себя настолько опытной в банкирском деле (оказывается, что, вручив отцу свои капиталы, она всегда самолично вникала во все его дела и контролировала его операции), что намерена сама продолжать деятельность фирмы. Когда дедушка показал ей копию с отцовского завещания, по которому мне следует выделить пятьсот тысяч, то она возразила лишь одно, что соответственно последней потере цифру эту, без сомнения, придется уменьшить, но на сколько именно, трудно сказать пока, без личной проверки сумм и счетов; что, может быть, ей затруднительно будет выделить мне эти деньги сейчас же все разом, без существенного нарушения баланса, но что по прошествии некоторого времени, как только дела поправятся и придут в нормальный порядок, она выплатит все, сколько придется по расчету, или частями, или разом, смотря по обстоятельствам; а что интересы мои не пострадают, то гарантией в том могут служить тетка Роза и ее муж, которые, находясь на месте, конечно, не откажутся последить за правильностью раздела. А самое лучшее, по ее мнению, было бы, если б меня самую отпустили теперь вместе с ней в Вену, где я могла бы приютиться на время в семье тетки. Дедушка с бабушкой не нашли ничего против последнего предложения, тем более, что тетка Роза в последнем письме своем приглашала меня погостить к ней в Вену. Таким образом, на семейном совете решено, что я еду вместе с мачехой. На сих днях мы выезжаем. Грустно мне расставаться с моими стариками, грустно и им,— быть может, даже гораздо грустнее чем мне,— но дед находит, что так лучше, вернее, что это даже необходимо для большего обеспечения моих интересов, и что, наконец, разлука будет лишь временная; стало быть, особенно печалиться нечего,— ну, а бабушка Сарра никогда в жизни не позволяет себе ему перечить, в особенности в делах серьезных. С их разрешения, у меня все уже готово, все уложено. Завтра схожу на могилу отца проститься, затем повидаюсь с подругами,— и в путь... Прощай, милый Украинск!»

\* \* \*

«5-е апреля 1875 года. Вот уже полгода, как я в Вене. В высший еврейский круг я не попала: он принадлежит здешней аристократии, которая, по-видимому, считает за особую, честь и счастье сочетать посредством брака свои древние гербы и титулы с еврейскими капиталами. В свою очередь, и капиталы тоже не прочь приобретать себе тем же путем титулованных родственников и покупать дворянские дипломы. Но я возвращаюсь здесь в том подслое высшего круга, к которому

принадлежат второстепенные банкиры, журналисты, адвокаты, депутаты, доктора, артисты, художники и т. п., а этот-то подслон и составляет ядро здешней интеллигенции, к которой более или менее примыкают все остальные слои среднего круга. Еврейство здесь, кажись, многочисленней и могущественней чем где-либо. Вена — это, можно сказать, наша столица; мы здесь у себя дома, мы здесь сила и даем свой тон всей местной жизни, но... если бы, например, пустить сюда мою добрую бабушку Сарру, она наверное стала бы отплевываться и решила бы, что здесь все, решительно все «потрефились» и стали теми же «нухрим» и «гойями». И бабушка Сарра до известной степени была бы права. Действительно, под общим уровнем европеизма тут все шероховатости еврейства сгладились, все характерные краски, его старозаконности стерлись, и все до такой степени перемешалось между собой, что нередко даже по типу лица христианин кажется мне евреем, а еврей христианином. В сущности говоря, тут нет ни христиан, ни евреев, а есть одни только «добрые венцы», — тип совершенно особенный. Так, по крайней мере, в том кругу, где я вращаюсь. Казалось бы, это-то и должно мне нравиться при моих эмансипационных симпатиях, при моих гуманных все-человеческих идеалах, а между тем, нет, и далеко нет. Дело в том, что тут еврей, хотя и крепко поддерживает «брата своего», но не чуждается и христиан, и при этом столько же заботится о своем Иегове и законах Моисея, сколько христианин о Христе и папе: и тот и другой просто игнорируют религиозную сторону своей жизни, или относятся к ней чисто формалистически. Но не веря ни в Бога, ни в черта и не имея в душе никаких идеалов, тот и другой одинаково поклоняются Ваал-Фегору. Это истинное царство Ваала, где решительно все, все продается и покупается, так сказать, с публичного торга, где вся жизнь, все духовные, умственные, общественные и другие интересы, нравственные побуждения и стремления, и даже сами таланты меряются и оцениваются только на деньги, где о человеке не спрашивают, хорош ли он, умен ли, честен ли, а интересуются лишь тем, сколько у него годового дохода, сколько он «зарабатывает» и как стоят его дела на бирже, где, наконец, даже сама благотворительность, общественная и частная, является не столько побуждением сострадательного сердца, сколько актом тщеславия или внешней обязанностью известного общественного положения. По деньгам здесь и честь, и почет, и положение. В жизни, конечно, много блеску, много роскоши и шику, но весь этот блеск и шик только снаружи, на показ, а внутри, в домашнем обиходе, такая скарденность, такое мелочное, грошовое скопидомство, эгоизм и нередко такая грязь, что просто противно становится. Нет, не по душе мне этот склад жизни и, положив руку на сердце, скажу откровенно, что если наши украинские хасиды не совсем-то мне симпатичны, то здешние «цивилизованные израэлиты» еще противнее. — У тех внутри хоть что-нибудь есть, у этих ничего. Не понимаю даже, как отец мой, человек с сердцем, с идеалами, с любовью к добру, к прекрасному, к искусству, мог жить в такой атмосфере и мириться с ней!.. Или я заблуждаюсь?..

Или он тоже был такой?.. Но нет, нет, этого не может быть! Против этой мысли возмущается и протестует все мое существо, вся моя душа, все сердце.— Прочь сомненья! — Нет, отец мой не был, не мог быть таким. Я верю, я хочу верить, что он был только жертвой обстоятельств своей жизни, сложившихся роковым для него образом. Он все-таки сохранил среди этой ярмарки Ваала свою искру Божью, и память о нем для меня священна».

\*\*\*

«...Проектируем мы с тетей маленькое путешествие, которое, по ее словам, необходимо для меня не только ради развлечения, но и с образовательной целью, чтобы завершить образование, полученное мною в гимназии, взглянуть воочию на те страны и их живую жизнь, о которых доселе я знала лишь из книжек и, наконец, развить свой изящный вкус картинами природы и произведениями искусства. Мы предполагаем отправиться в Тироль, затем в Швейцарию, оттуда перенестись в Италию, посетить Венецию, Милан, Флоренцию, Рим и Неаполь. Видеть эту дивную природу и все эти чудеса искусства, chefs-d'oeuvre-ы человеческого гения,— о, какое счастье, какое высокое наслаждение!»

«...Сказано и сделано. Как задумали, так сейчас же списались с дедушкой. Он вполне одобрил нашу затею и прислал мне на дорогу деньги. Послезавтра выезжаем с тетей в путешествие».

\* \* \*

Тетка Роза с мужем, да и мачеха тоже, очень желали бы «пристроить» меня замуж, и на руку мою уже являлось несколько претендентов-христиан и евреев — и молодых, и пожилых, и солидных, и вертопрахов... Был даже один прогоревший венгерский магнат, ради которого мачеха, из-за его графского титула, советовала мне переменить религию, а именно, принять протестанство, потому что, во-первых, здесь это самое заурядное дело, а во-вторых, решительно все равно-де молиться так или иначе, или вовсе не молиться; такая перемена — это-де одна пустая формальность, так как, будучи наружно христианкой, я в душе, сколько угодно, могу оставаться еврейкой, если мне это так нравится, даже посещать синагогу, и муж меня в этом отношении нисколько стеснять не станет; конечно, можно бы было и еще проще: при существовании в Австрии Confessionlos, ограничиться одним гражданским браком, не меняя религии; но переход в протестанство необходим собственно как уступка взглядам высшего общества, требующего для брака церковного благословения. Но ведь за эту уступку муж-магнат даст мне блестящее положение в свете,

а я, взамен того, буду содержать его на всем на готовом и ежемесячно выдавать на его «маленькие нужды» приличную «карманную» сумму, не подпуская, впрочем, к непосредственному распоряжению моими капиталами, чтобы не прогореть с ним вместе. Во всем этом очень характерно сказался весь практический «пшат»<sup>1</sup> моей мачехи. Ну, и разве я не права была, говоря когда-то, что тут во всей красе процветает культ Ваала?!.. Самое сватовство есть также одно из действий этого культа. Со мной, например, во всех случаях сватовства дело носило до такой степени откровенно циничный характер коммерческой сделки, все эти господа-претенденты столь явно желали жениться только на моих деньгах, а меня брали в приданое, как неизбежное зло, что я, ни минуты не думая, отвечала на каждое предложение вежливым отказом. Да и как выходит, хотя бы и в виду так называемой «блестящей партии», если сердце мое молчит и сама я совсем-таки равнодушна ко всем этим искателям! Тетка наконец даже надулась на меня и прямо высказала, что я хочу чего-то невозможного, витая где-то в заоблачных сферах, и что с такой разборчивостью легче легкого рискуешь остаться весь век в старых девах. А я отвечала, что такая перспектива нисколько меня не ужасает, и я предпочитаю лучше быть старой девой, но независимой, чем играть жалкую роль приданого к своему золотому мешку, и если уж выйду замуж, то не иначе, как за человека, которого изберет мое собственное сердце,— безразлично, кто бы он ни был, бедняк или богач, еврей или христианин, лишь бы мы только любили друг друга. После этой отповеди, приставания родных с проектируемыми женихами, слава Богу, покончились. В этом отношении и тетка и мачеха махнули на меня рукой, как на безнадежную, и оставили наконец в покое. Тетка, впрочем, высказала, что ей все-таки очень жаль, что я столь легкомысленно пренебрегаю «такими женихами», так как, по возвращении в Украинск, дедушка с бабушкой, все равно, сами отыщут мне жениха, по своему собственному вкусу, и выдадут меня, не справляясь с моим желанием или нежеланием.— Ну, это мы еще посмотрим. До сих пор не принуждали, надеюсь, и впредь принуждать не станут».

## **XIX. ПЕРЕЛОМ**

(Из "Дневника" Тамары)

«6-е февраля 1876 г. Слава Богу, наконец-то я опять в моем милом Украинске, под крылом своих стариков, в своей светлой, уютной комнатке, где мне всегда так хорошо живется, так легко дышится!.. Дедушка с бабушкой все такие же милые, добрые и даже как-будто нисколько не постарели за эти шестнадцать месяцев, что мы не виделись, и ничто у них в доме не переменялось, ни одна даже вещица не сдвинута со

---

<sup>1</sup> Пшат — еврейский здравый смысл

своего обычного места, все то же, все по-прежнему, точно бы я вчера только уехала.

«Последние месяцы в Вене, по возвращении из Италии, я очень много веселилась и выезжала в свет с теткой Розой. Балы, рауты, вечера, гулянья, спектакли, опера и концерты, выставки, благотворительные базары, литературные конференции и популярные лекции — все это следовало одно за другим какою-то блестящей и шумной вереницей, каким-то радужным калейдоскопом, так что я, можно сказать, просто закружена, ослеплена, оглушена и по горло пресыщена всеми этими удовольствиями.

«По разделу отцовского имущества, наконец-то последовавшему месяц тому назад, мне досталось не пятьсот, как предполагалось в духовном завещании, а только двести тысяч, да и то неполные. Но раздел, за покрытием убытков от последней биржевой неудачи, был произведен, под наблюдением тетки и дяди Беренштамов, совершенно добросовестно, и я не имею никаких причин претендовать на мою мачеху. Расстались мы с ней и с двумя моими маленькими сестрами вполне дружески; с теткой и дядей точно так же, и звали они меня поскорее опять приезжать к ним, в их «веселую добрую Вену». Но с меня пока довольно, — хочется по-прежнему пожить с дедом и бабушкой, где каждый уголок смотрит для меня родным, старым другом, точно бы рад моему возвращению. — И я сама рада. Отдохну, по крайней мере, от всего этого угара удовольствий и впечатлении, вернусь всей душой к прежней жизни, к моим старым подругам. Каковы-то они? Переменились ли?.. Что до меня, то в себе я чувствую большую перемену. Теперь уж я далеко не та, что два года назад, прямо из гимназии. Сумма впечатлений и некоторого житейского опыта, переиспытанных мною с того блаженного времени и в особенности со смерти отца, конечно, не могли не произвести на меня своего влияния, и влияния довольно резкого. — Венская жизнь, встречи и знакомства со множеством лиц, между которыми встречались и люди замечательные, очень умные, даровитые, составившие себе известность и на поприще политическом, и в мире науки, литературы и искусства, затем путешествие по Италии, где я не пропускала на своем пути ни одной местной достопримечательности, ни одного музея и галереи, в особенности в Риме и Неаполе, и наконец чтение (я за это время, несмотря на развлечения, успела и прочесть немало), и чтение не праздное, все это дало мне такую школу, которая развила меня и в умственном, и в эстетическом, и в житейском отношении, заставила вглядываться в жизнь, и в людей, и в самую себя, научила вдумываться и размышлять о таких предметах, о которых до того времени и понятия не имела, — словом, не хвалясь, я чувствую, что стала за это время гораздо зрелее, серьезнее и самостоятельнее, — настолько, что о многом могу «сметь свое суждение иметь», но суждение без того детского задора, какой иногда прорывался у меня во время оно. Одно только меня удивляет: мне скоро уже исполнится двадцать лет, а между тем сердце мое все еще никем не затронуто и спит себе

преспкойным образом. Ну, хоть бы шутя влюбилась в кого, за это время, хоть немножко увлеклась бы кем! — Нет и нет... Такого человека еще не встретила,— не судьба, значит... Или я уже слишком серьезно смотрю на это чувство, или же вовсе неспособна к нему? — Но нет, последнего быть не может. Я женским инстинктом своим чую, что сила эта во мне есть и нужно только, чтобы явился наконец человек, который сумел бы пробудить ее. В этом-то вся и задача. Одно знаю только, что я не могу смотреть на любовь, как на легкую и приятную забаву, и если уж полюблю, то полюблю вся, беззаветно, а потому лучше спи спокойно пока, мое сердце, и продолжай по-прежнему любить бабушку с дедушкой!»

\*\*\*

«...Навестила всех своих подруг и каждой из них подарила на память по изящной венской или неаполитанской безделушке. Такие маленькие подарки, как известно, имеют свойство отлично скреплять дружеские отношения. Все меня приняли с распростертыми объятиями, очень обрадовались моему возвращению,— я и сама не менее рада встрече со старыми друзьями. Расспросам и рассказам с обеих сторон не было конца. Узнала несколько новостей и в том числе одну, совсем для меня печальную, а именно,— Ольга Ухова поссорилась с Сашенькой Санковской, и они больше не бывают друг у друга. Это очень грустно, тем более, что причина ссоры совсем пустячная: маленькая rivalité из-за кадрили. Дело в том, что граф Каржоль еще за две недели до губернаторского бала проиграл Сашеньке пари a discretion, и она назначила ему в виде штрафа за проигрыш, третью кадрили на этом бале, а Ольга, не зная о том, в свою очередь предложила ему в начале бала танцевать третью с собой, и он, совсем позабыв о пари, имел неосторожность пообещать ей, да спохватился уже, когда Сашенька сама напомнила ему о проигрыше. Вышла неловкость. Не зная, как поправить свой промах, Каржоль очень извинялся перед обеими и предложил решить вопрос на узелки, но ни та, ни другая не согласились и в то же время не пожелали и добровольно уступить друг дружке. По-моему, тут комичнее всего положение самого Каржоля. Он, однако, танцевал с Сашенькой, так как обещание дано было раньше ей, чем Ольге. А Ольга, вместо того, чтобы обратить свой гнев на графа, по какой-то совершенно особенной логике, перенесла его на Сашеньку,— что называется, с больной головы на здоровую,— и с тех пор объявила себя заклятым врагом ее. Так и не видятся больше. Это очень досадно, и надо будет постараться как-нибудь их помирить, хотя это и не совсем-то легко, потому что Ольга, вообще говоря, упряма. Говорят, будто граф очень ухаживает за ней, и не без успеха, но это не мешает ему по-прежнему бывать и у Санковских.

«А бедный Аполлон Пуп все еще вздыхает по Ольге и кусает усы от ревности. Говорят, он уже дважды делал ей предложение и оба раза неудачно,— но, к удивлению, это его не охладило: влюблен по-прежнему. Вот постоянство-то!.. Не по тому ли, впрочем, что Ольга,



отказывая ему в руке, продолжает в то же время порой слегка кокетничать с ним в «дружбу» или, как она выражается, «быть добрым товарищем». Зачем это нужно ей держать его у себя на привязи, раз ей нравится другой,— решительно не понимаю. Это просто жадность какая-то на поклонников».

\*\*\*

«...Нарочно была сегодня у Ольги, чтобы уговорить ее помириться с Сашенькой. Но увы! — попытка оказалась совершенно тщетной. Она и слышать о ней ничего не хочет. Уж нет ли тут какой-нибудь причины посерьезнее, чем кадриль? Не влюблена ли Ольга, в самом деле, в этого Каржоля и не ревнует ли его к Сашеньке? — Чего доброго!.. Я решила по дружбе высказать ей эту мою догадку. Она вся вспыхнула, но тотчас же овладела собой и смеясь стала уверять меня, что это совершенный вздор.— «Правда, в городе — говорит — болтают что-то такое, но мало ли какие сплетни ходят по городу, даже без всякой причины, и про кого только их не сочиняют!» — Но на деле, по ее словам, Каржоль будто бы занят ею столько же, сколько китайской императрицей, а она им и того менее; если же он бывает иногда у них в доме,— очень редко, впрочем,— или оказывает ей некоторое внимание в обществе, то это-де ровно еще ничего не доказывает, да и внимания-то никакого особенного с его стороны она, будто бы, не видит,— просто себе, любезен человек и мил, как со всеми прочими, а с тех пор как пошла по городу эта сплетня и дошла до него, он даже стал по отношению к ней держать себя в обществе гораздо дальше, чтобы не подавать лишнего повода к болтовне наших кумушек; вообще же она подозревает и даже знает, что эта сплетня пущена по злобе к ней не кем иным, как Сашенькой, которая сама-де влюблена по уши в Каржоля, чуть не вешается ему на шею, ревнует его к ней и ко всем на свете, и позволяет себе даже клеветать на нее, и это-де причина, почему она не желает мириться с нею. Я, как могла, вступалась за бедную Сашеньку и всячески старалась доказать ей полную несостоятельность такого недостойного подозрения,— но ведь ее не переубедишь, раз что она забрала себе что-нибудь в голову. Характер тоже, нечего сказать!— Как есть папенькин!... Все это очень прискорбно и кончилось даже тем, что из-за Сашеньки мы с Ольгой несколько посчитались и расстались на сей раз гораздо холодней, чем встретились. Что до меня, то после этого я не пойду к ней больше, пока она сама не пожалует ко мне первая».

«...Отношения мои с Ольгой продолжают быть как-то натянутыми. Превжняя искренность и непринужденность куда-то вдруг исчезли. Встречаясь в обществе, мы, по-видимому, все так же дружны, но инстинктивно как-то чувствуется, что это

уже что-то не то. К удивлению моему, и Маруся Горобец испытывает на себе со стороны Ольги тоже нечто похожее на охлаждение. Вообще, она замечает, что Ольга в последнее время как-то переменялась, сделалась скрытней, раздражительней и как будто стала отдаляться от нас. Что все это значит,— не понимаем. Неужели обида на нас за то, что мы, ради нее, не разорвали наших отношений с Сашенькой? Но почему ж бы это мы должны предпочесть Сашеньке ее?.. Вообще, странно все это как-то... Ну, да Бог с ней! Не хочет,— как хочет. Мы тоже навязываться не станем».

«...Да что это, в самом деле, за чудеса такие! К кому ни придешь, везде только и слышишь, что Каржоль да Каржоль, и такая-то он прелесть, и так-то он хорош, и так-то умен, и роль-то такую видную играет, и та-то за ним ухаживает, и эта ухаживает... или Каржоль сказал то-то, Каржоль на это смотрит так-то... Фу, ты, Господи! Да пощадите вы с вашим Каржолем! Точно бы во всем Украинске только и свету в глазах, что Каржоль. Очевидно, он здесь лев какой-то, маг и волшебник, который владеет даром всех очаровывать собою. И замечательно, что не только молодежь, мои сверстницы, но и особы уже солидных лет, даже старушки — и те в восторге от Каржоля. Любопытно, однако, посмотреть бы поближе, что это за светило такое, этот граф Каржоль де Нотрек?..»

«...В городе распространились слухи, что я получила миллионное наследство. Это двести-то тысяч разрослись в миллион! Правда, что с прежними они составляют пятьсот, но услужливая молва постаралась эту сумму удвоить, да еще прибавляет к тому, что и после дедушки я унаследую по крайней мере столько же. Ну, и пускай их болтают, что хотят! Ни опровергать, ни подтверждать я, разумеется, не стану. Какое мне дело до этого! Да и не разуверишь. На днях было попыталась разуверить Сашеньку,— куда тебе!— «Ни, ни, ни,— говорит — не скромничай, не поверю, мы уж это знаем от людей самых достоверных!» — Так-то вот легко создается иногда слава миллионерства.»

«...Наконец-то я встретила и познакомилась с этим фениксом Украинским, с графом Каржолем. Встретились мы с ним вчера вечером у Санковских. У них запросто и почти невзначай собралось несколько человек и в том числе он. Он почему-то пожелал быть мне представленным, и m-me Санковская это желание его исполнила. Он был очень внимателен ко мне и с интересом расспрашивал про мои венские и итальянские впечатления, да и сам много рассказывал о своих

заграничных путешествиях (он тоже бывал в тех местах, что и я) и рассказывал очень мило, забавно и порой весьма остроумно, так что впечатление о нем на первый раз сложилось у меня очень симпатичное. Между прочим, желая проверить, насколько основательны Ольгины рассказы и подозрения насчет Сашеньки, я весь вечер старалась исподволь подмечать за ней и за графом и пришла к полному убеждению, что это все совершеннейший вздор и что здесь ни с той, ни с другой стороны нет решительно ничего, кроме самого обыкновенного доброго знакомства. Ни у него, ни у нее за весь вечер не проскользнуло ни одного взгляда, ни одной нотки в голосе, которые давали бы право заподозрить между ними какое-либо особенное чувство, так что со стороны Ольги — я вижу теперь ясно — это чистая клевета, а может быть и ревность, но ревность совсем неосновательная».

\*\*\*

«.. У меня уже было несколько встреч с графом Каржолсм: то у Санковских, то у Горобец, то в клубе,— и мне кажется, что эти встречи доставляют ему удовольствие; он как будто даже ищет их,— по крайней мере, каждый раз, что мы видимся, он старается узнать у меня, когда и где располагаю я быть в ближайшем будущем, и если я говорю, что завтра или послезавтра буду там-то, он непременно туда является. Но назвать это ухаживаньем нельзя,— нет, он не ухаживает за мною, но он так мил и говорит всегда так просто, так сердечно и всегда так интересно, что невольно заставляет симпатизировать себе. В обращении своем он совершенно ровен и, конечно, строго приличен как с Сашенькой, как с Маруськой, так и со мной, и вообще со всеми. Он ни за кем не ухаживает, да и слово-то это было бы для него так пошло! Но тут есть некоторые маленькие, для постороннего глаза едва ли даже заметные, нюансы, которые позволяют мне не то чтобы догадываться, а скорее чувствовать, что быть со мной или в моем присутствии ему приятнее, чем с другими. Это подсказывает мне иногда то, едва уловимое, нечто, которое-сказывается у человека в глазах, в улыбке, в оттенке голоса... Женщина всегда понимает, и не столько, пожалуй, понимает, сколько чувствует, как на нее смотрит мужчина, говоря с нею или даже находясь только в ее присутствии,— чувствует, совершенно ли он к ней равнодушен, или же, напротив, ее наружность, ее разговор, самая близость ее к нему делают на него известное впечатление, возбуждают в нем что-то особенное,— словом, что женщина ему нравится. И вот это-то особенное я и чувствую порой в глазах Каржоля. (А что, если и он в моих подмечает то же?) Этот его мимолетный взгляд, может быть, неуловимый для других, но понятный только для меня,— в особенности, если случается так, что присутствующие не обращают некоторое время на нас внимания,— этот взгляд невольно заставляет меня вспыхивать. Я понимаю, что он смотрит на меня, как на женщину, и это еще первый мужчина, который смотрит и как бы имеет право смотреть на меня

именно такими говорящими глазами. И что же? — К собственному моему удивлению, меня это несколько не шокирует, не оскорбляет,— напротив, мне это нравится. Мне нравится, что он смотрит на меня так. Мне нравится то, что я произвожу на него такое впечатление, и именно на него...»

«Как это странно, однако! Когда Охрименко вздумал как-то смотреть на меня чуть-чуть подобными глазами, мне стало противно, и я его оборвала; но когда смотрит Каржоль... О, это совсем другое дело!.. И как он, при всем этом, умеет держать себя, владеть собою! Какой такт, какая осторожность и тщательная заботливость о том, чтобы и виду не подать посторонним людям, будто между ним и мною может быть что-либо большее, чем случайные светские встречи и обыкновенные салонные разговоры.

«Да, увлечься таким человеком,— это я понимаю. Тут есть все данные: и ум, и такт, и образование, и красота, и элегантная внешность, и наконец имя,— ну, словом, все, все решительно. И если вот такой-то человек обращает на девушку свое предпочтительное внимание, если он даст ей чувствовать, что она ему нравится,— что ж, это может только льстить его самолюбию.

«Но неужели я взаправду нравлюсь ему?.. Не заблуждение ли это?..

«Если и заблуждение, то мне бы не хотелось в нем разочаровываться».

«...Разговоры наши с графом не исчерпываются одною лишь ничего не значащею *causerie*,— нет, мы нередко говорим и о вещах очень серьезных. Вчера, например, у Санковских (где предпочтительно мы и встречаемся), в присутствии Сашеньки и Маруси, поднялся как-то разговор на религиозно- философскую тему, по поводу многочисленных церковных процессий, виденных мною за границей в дни Страстной недели прошлого года. Я рассказывала про эти блистательные шествия, с музыкальными хорами, касками и штыками военного эскорта, с хоругвями и поднятыми над толпой позолоченными, деревянными мадоннами в белокурых париках, с драгоценными колье на шее, разряженными в парчевые и бархатные платья со шлейфами и кружевами, сшитые нередко известными портнихами, которые, для привлечения к себе клерикальных клиенток, иногда титулуют себя даже на своих этикетках «модистками мадонны такой-то», и — так как между нами не было католиков, то я и позволила себе высказать, что, по моему мнению, высокая, чисто отвлеченная идея богочитания не совместима с подобным, грубо материальным олицетворением божества, что это своего рода идолопоклонство. Из этого возник маленький спор, в течение которого у нас явилось наконец сопоставление религиозной идеи иудаизма и христианства. Я защищала первую, мои подруги отстаивали вторую. Видя, что дальнейший разговор может принять несколько острый характер, граф поспешил перевести

его отчасти на другую почву, полушутя спросил меня:

— Ну, а если бы вы «имели несчастье» (потому что для еврейки это должно считаться несчастьем) серьезно полюбить христианина и, предположим, что и он вас тоже,— что бы вы сделали и каким образом примирили бы свою религиозную совесть со своим и его чувством?

— Что ж,— отвечала я. — В этом случае пришлось бы поступиться одним из двух: или религией, или чувством, смотря по тому, что сильнее, что перевесило бы.

«Он посмотрел на меня серьезно и пытливо, как бы взвешивая мои слова и стараясь проникнуть, брошены ли они мною только как фраза, или выражают мое действительное убеждение.

«В это время нас позвали в столовую, к чаю. Граф улучил минутку и, пропустив Сашеньку с Марусей вперед, нарочно замедлился на ходу и спросил меня, знакомо ли мне Евангелие? — Я отвечала, что никогда не читала его.

— Жаль,— говорит,— это значительно осветило бы для вас предмет сегодняшнего спора и вообще расширило бы ваши взгляды.

«Я возразила, что Евангелие для еврейки книга запрещенная.

— Да, но ведь случалось же вам когда-нибудь иметь в руках другие запрещенные книжки, не из духовных?

— Разумеется, случалось.

— И вы не стеснялись потихоньку читать их, не опасаясь за свою совесть и нравственность?

— Не стеснялась.

— Тогда почему же такое исключение в данном случае? Попробуйте отнестись и к этой книге не более как к тем и прочтите ее хотя бы из любопытства.

— Охотно,— согласилась я. — Но у меня для этого не было до сих пор случая.

— Если так, то позвольте вам его представить и влить в вас несколько капель «христианского яда»,— прибавил он шутя. — Хуже от этого не будет для такой девушки, как вы; этот «яд» вас не убьет, а только ближе познакомит с таким миром, о котором вы теперь имеете самое смутное понятие.

«Я согласилась, и он обещал дать мне, при следующей же нашей встрече, маленькое карманное издание Нового Завета».

\*\*\*

«Он исполнил свое обещание. Я запрятала эту книжку в карман и, придя домой, принялась за нее. Читала я, запершись в своей комнате, по ночам, когда никто из домашних не мог бы даже случайно захватить меня за этим занятием, и с жадностью, в две ночи, прочла всех четырех евангелистов. Странное дело,— чем дольше я вчитывалась, тем завлекательнее становилось для меня это простое, бесхитростное повествование, тем больше чувствовала я, что не могу от него оторваться, что оно всецело захватывает меня всю, до глубины, всю душу, весь разум мой, и вдруг открывает мне такой

свет, такие широкие горизонты и такую глубину мысли и чувства, о каких я и понятия до сих пор не имела. Это могучая, неотразимая книга, и я удивляюсь только одному: как мало знают ее христиане!

«Что же более всего меня в ней поразило? — Необычайная простота и ясность, а в особенности вот эти слова, которые я, читая, отмечала себе карандашом, и теперь, под неостывшим еще, ярким и сильным впечатлением прочитанного, вписываю их сюда. Я хочу, чтоб они всегда, во всякое время были со мною, чтоб для меня самой они служили свидетельством высшей истины, до которой столь неожиданно подняла меня эта книга. Граф Каржоль, может, и сам не подозревает, какое он дело совершил надо мною.

«Прежде всего, совершенно новое для меня понятие о Боге, как о любящем, всеблаготворителе Отце: «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? И так, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш небесный даст блага просящим у Него». Как это далеко от нашего еврейского представления о Боге, которое вспоминается мне теперь по словам «Исхода»: «И сказал Господь Моисею: сойди и предостереги народ и священников, пусть они не порываются восходить к Господу, чтобы он не поразил их!»<sup>1</sup> И как, значит, чужда была евреям самая идея о Боге как о всеблаготворителе Отце всего сущего, если они искали убить Иисуса не за то только, что Он «нарушал субботу», но еще более за то, что называл Бога своим Отцом и учил обращаться к нему в молитве словами: «Отче наш!» — По их близорукому мнению, это значило делать себя равным Богу!..

«А какое высокое сопоставление нравственного кодекса Ветхого и Нового Завета нахожу я у Матфея! — «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб... вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, а Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, да не судимы будете, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете, давайте и дастся вам».

«А затем, этот любвеобильный призыв ко всему страдающему человечеству: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо его Мое благо и бремя Мое легко». — Так учил и призывал Тот, для которого у нас в еврействе нет иного имени, как презрительное «тулый»<sup>2</sup>. Какая

---

<sup>1</sup> Исход, гл. 19, ст. 21, 24.

<sup>2</sup> Тулый — повешенный, висельник. Талмудисты же никогда не называют Иисуса Христа по имени (Иошуа амоишах или Мошиах бек Иосиф), а только «Ойсой-оиш», т.е. известный человек, или «Нойцри», имеющее двоякое значение: сотворенный (от слова вайцор) и отомщенный (от цорой, мечь). Слово же «тулый» наиболее употребительно в языке обыденном.

утешительная и великая, в божественной простоте своей, проповедь всечеловеческой любви и всепрощения! — Ничего подобного не слыхала я в нашем еврействе, которое «ближним своим» признает только еврея, да и то еврея лишь правоверного, тогда как притча о добром Самарянине — какой широкий ответ дает на вопрос: кто ближний мой? — Израиль весь во внешности и до сих пор мечтает лишь о царстве Божием видимом, земном, а здесь прямо сказано «царствие Божие внутри вас есть». Я задумалась над этими словами и чем дольше размышляла в сердце своем, тем глубже пришла к убеждению, что это так. Действительно, оно в нас самих, в гармоническом согласовании собственной нашей внутренней жизни с жизнью, нас окружающей, на основах евангельской любви и духа.

«А отношения Евангелия к женщине, к той самой несчастной, бесправной, едва лишь терпимой женщине еврейской, для которой и до сих пор, как для существа низшего, несовершенного, не только знание своего закона не обязательно, но и строжайше запрещен самый вход внутрь синагоги, чтобы она не осквернила собою место молитвы «избранных», «чистых», сынов Израильских! — Здесь же, в лице Девы Марии женщина вознесена на высоту величайшего мирового идеала во всем человечестве — «ибо отныне будут ублажать Ее все роды». В лице Марии Магдалины восстановлено нравственное достоинство женщины падшей, после того как она покаялась и очищенную любовью своею — любовью в духовном высокохристианском смысле — искупила свое падение. «Прощаются грехи ее многие за то, что возлюбила много»... В лице Марии, сестры Лазаря, признано и право женщины на участие в высшем развитии, в высшем знании, каким является познание закона, после того как было о ней сказано, что она «благую часть избрала себе», слушая слова Спасителя, ибо это «едино есть на потребу». В лице грешницы, приведенной на казнь, человечество призвано к снисхождению к слабости женской: «Кто сам из вас без греха, первый брось в нее камень»!.. «Женщина, где твои обвинители? Кто осудил тебя?» — Никто, Господи. — «И Я не осуждаю тебя, иди и впредь не согреси». Когда же фарисеи, искушая Христа, вопрошали его, можно ли по всякой причине разводиться с женою, на том основании, что Моисеем разрешены разводы,— какой высокопоучительный ответ дан им! — Вот оно где истинное-то учение о равноправии женщины!.. А сколько примеров сострадания и милосердия Христа собственно к женщинам: воскресение сына вдовы Наинской и дочери Иаира, исцеление кровоточивой, исцеление скорченной, исцеление тещи Симоновой, исцеление дочери Хананеянки и множество других деяний милосердия и примеров отношения к женщине, как к человеку, а не к рабе. И как понимали, как глубоко чувствовали женщины еврейские это новое, небывалое дотоле,

отношение к ним,— чувствовали и всем сердцем исповедывали новое учение в лице Марии Магдалины, сестры ее Марфы, Иоанны Хузовой, Марии матери Иакова, Марии Клеоповой, Соломин, Сусанны и множества других, которые ходили за Иисусом и служили Ему, и поучались, и, подобно вдове Самарянке возвещали славу Его. А какое множество их шло за крестом Его к Голгофе, плача и сострадав Ему!.. И немудрено: Он был первый, который с тех пор, как существует Израиль, воззвал к еврейской женщине: «Дерзай, дочь! вера твоя-спасла тебя, иди с миром!» — Ни слов подобных не слышала, ни подобного отношения к себе не видела с тех пор еврейская женщина, да и по сей день не видит и не слышит больше...

«А затем эта умирительно трогательная любовь Его к детям, которых Он велел всегда свободно допускать к Себе, «ибо таковых есть царство Божие», и заповедал любить их, потому что кто примет единого от малых сих, тот Его самого примет, и горе тому человеку, так что лучше бы ему и не родиться, если кто развратит хоть одного из них!

«Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие»,— вот о чем предостерегал Христос учеников. А разве эта закваска не сильна и до нашего времени? Весь наш кагал и все его действия и постановления,— разве это не те же «бремена неудобноносимые», налагаемые на людей и ныне, как тогда?.. Но в этом отношении в особенности поразило меня то место у Луки, где Иисус говорит: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поядают дома вдов и лицемерно долго молятся». — Да разве это не те же Иссахар Беры, Борухи Натансоны и тысячи им подобных?! И разве не те же Иссахары и Борухи осуждали Иисуса за то, что исцеляет в субботу? И разве вопросы о том, позволительно ли врачевать в субботу и им подобные не составляют для этих людей и до сих пор высший предмет неразрешимых словопрений?.. «Поядают дома вдов»,— Боже мой, да ведь это оно, оно самое и есть воочию, все то же «святое» погребальное братство, наше «Хевро», доводящее до нищеты осиротелые семьи и тяжкую руку которого мы сами на себе испытали! Значит, оно и тогда уже не только было, но и отличалось такими же точно деяниями, если Христос находил нужным обличать его. Как все это старо, однако, и вместе с тем, как живуче в своей закоснелой неподвижности!. И больно становится, когда подумаешь, что это несчастное еврейство до сих пор пребывает еще во «бременах неудобноносимых». в рабстве у своих «книжников и фарисеев», тогда как истина тут же, рядом, и стоит лишь в нее взглядеться, чтобы узнать и понять ее — «и познаете истину, и истина сделает вас свободными».

«Да, это так! И я, еврейка, я верую вместе со Христом, когда Он говорит, «настанет время, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе», ибо «Бог есть дух и поклоняющийся Ему»



ему должны поклоняться в духе и истине». И Он обещает послать верующим «Духа истины», «Утешителя», да пребудет с ними вовек. Каким умилением после этого повеяли на мою душу слова: «Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме, и если кто услышит слова Мои и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир». В чем же спасение? В чем эта «заповедь новая», завещанная человечеству? — «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». И это все,— все, что нужно. Как просто, но и как необъятно велико в то же время! — «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам». — «мир оставляю вам, мир Мой даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». — «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: Я победил мир».

«Да, религия мира, любви и духа истины, конечно одна, только и может быть настоящею религией и должна рано или поздно стать религией мировой, всечеловеческой, потому что выше этого ничего не сказала человечество. Да, Он победил его».

## **XX. НОВЫЕ НАСЛОЕНИЯ**

(Из «Дневника» Тамары)

«...С какой-то нервной нетерпеливостью и лихорадочной поспешностью захотелось мне после Евангелия как можно скорей, скорей и больше познакомиться со всем, что есть еще в Новом Завете, и я схватилась за апостола Павла. Но этот великий мыслитель оказался слишком глубок для меня: к сожалению, я далеко не все в нем поняла; хотя то, что было мною понято, еще более расширило мой новый кругозор. У него нашла я несколько ответов как раз на те самые вопросы и сомнения, которые возникли во мне после Евангелия. — «Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? — Конечно, и язычников, потому что один Бог, и что в церкви Христовой нет ни иудеев, ни эллинов, ни рабов, ни свободных, а есть одни верующие, братия по вере во Христа, ибо все они одним Духом крестились и в одно тело, и все напоены одним Духом». Далее, мне пришла мысль, что, освоюсь с Евангелием, я уже тем самым перестала быть доброю иудеянкой, что я как бы отреклась от своего закона,— и он мне ответил на это: «Ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». — После этого подумалось мне: хорошо, но можно ли служить в обновлении духа, не принимая формальным образом христианства? и в чем тогда будет заключаться такое служение; — Он ответил: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви: ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди:

не убивай, не укради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, итак, любовь есть исполнение закона». А затем, какое глубокое определение смысла и сущности этой великой христианской любви! — «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею,— нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится... Теперь же пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше».

\*\*\*

«...Несколько дней ходила я под обаянием прочитанного, пока-то наконец все эти внезапно поднятые во мне мысли и впечатления не улеглись мало-помалу в душе и не усвоились ею как нечто вполне сознательное, продуманное и переработанное внутри самой себя. Даже родные заметили, что я за эти дни как-то странно изменилась, стала сосредоточеннее, задумчивее; на вопросы, обращаемые ко мне, иногда вовсе не отвечала, потому что не слыхала, о чем меня спрашивают и что говорят мне, или же отвечала невпопад, так что бабушка спросила наконец меня, что со мной, что это за странная рассеянность у меня? Уж не больна ли я чем? Не огорчена ли? Не влюблена ли, чего доброго?.. Увы! со всем своим участием ко мне, она была слишком далека от истинной причины моего нравственного состояния, и не мне, конечно, было объяснять ей, в чем тут дело. Насколько могла, я старалась успокоить ее, уверяя, что ничего особенного со мной не случилось и что всем я совершенно довольна, а если кажусь рассеянной, то это потому, что хочу писать один роман и обдумываю его сюжет. Что делать! — пришлось солгать на самое себя, но она по крайней мере успокоилась, добродушно посмеявшись над моею «ребяческой затеей».

«Теперь я могу более спокойно, а потому и с большим анализом проверить собственное свое отношение к прочитанному. Евангелие пленило меня не столько мистическою (к которой я и не подготовлена), сколько гуманною своею стороною, т.е. именно тем, чего так мало в нашем слишком исключительном, слишком еврейском законе, который гуманен только для еврея. Для настоящего уразумения первой стороны, я чувствую, что я далеко еще не созрела, не прониклась духовностью этого учения, да и не могу сделать этого сама,

без помощи надежного руководителя. И кроме того, мы, евреи, вообще мало склонны к отвлеченному,— такова уж наша натура,— и самая религия наша более заботится о земном, чем о загробном мире. Но эта мировая широта христианского учения, это представление о Боге, как и всеблаготворителе Отце и бесконечном Источнике любви и милосердия ко всему сущему без различия племен, пород, состояний и т.п., эта всеобъемлющая любовь, этот призыв ко всему человечеству во имя высшей истины, правды, любви, братства и всепрощения,— словом, эти, если можно так выразиться, земные задачи и земные идеалы христианства,— вот что главнейшим образом перевернуло меня нравственно. Тогда пришла мне охота перечитать еще раз нашу Библейскую историю, которую — надо сознаться — вообще, мы, еврейки, занимаемся или очень мало, или совсем не занимаемся, хотя она и существует в переводе на наш современный язык. В этом отношении все мы более близки к евангельской Марфе, чем к Марии, и о библейском прошлом своего народа если и знаем что-то, то большею частью с наслуху, от наших отцов, мужей и братьев, из их разговоров между собою, или из того, что уловим, через пятое в десятое слово, из-за своих решеток, во время чтения в синагогах. Еврейская женщина, можно сказать, живет вне религиозных знаний, а потому и вне религиозного развития. Для нее обязательны только три известные мицвот и молитвы, изложенные в Техинот<sup>1</sup>. Большого с нее не требуется, и я сама выросла и воспиталась на том же. О чем говорили мне в детстве? О Боге-создателе мира, Отце всего сущего? — Нет. О нашей священной истории, о ее великих уроках? — Никогда. О законах нашей религии, о нравственных началах жизни, о совести, истине, справедливости? — Нимало. И моя первая нянька-еврейка, и моя добрая бабушка пичкали мою голову сказками о реке Самбатьене, неведомо где находящейся, но о которой, тем не менее, известно, что вода ее шесть дней в неделю изрыгает пламя и камни, а по субботам утихает,— шашашует, значит. Говорили мне, что за этою рекою Самбатьеном существует некое еврейское царство, жители которого ростом не более детей, но зато все красивые, сильные и воинственные, и что здешние евреи, будучи пока грешными, не могут еще с ними соединиться; но зато когда придет наконец Мессия и все народы станут нашими вассалами, и нам же будет принадлежать всемирное богатство, в которое вольются все без исключения богатства и сокровища

---

<sup>1</sup> Три обязательные заповеди (мицвот), существующие для еврейских женщин, состоят из нида, хала и гадлокот-ганер. Первая — это строгое соблюдение правил относительно очищения в живой воде (миква), вторая — бросать в огонь кусочек теста, приготовленного для субботних хлебов, в воспоминание дани, которая во времена существования храма иерусалимского приносилась первосвященнику, и третья — зажигать свечи в пятницу вечером и при вступлении праздников, с произнесением извечной молитвы, благословляющей грядущий день отдохновения. Этот обряд «осенения огня» на современном жаргоне называется лихт-беншен. Техинот — сборник молитв, составленных исключительно для женщин.

всех стран и народов,— тогда и мы соединимся с нашими братьями-лиллипутами. Но перед этим будет-де страшная война: все нации соединятся, чтобы сражаться с евреями, а евреи все же останутся победителями. Воюющие сойдутся у широкого Самбатьена, чрез который им необходимо будет переходить, и на этой страшной реке будут два моста,— один бумажный, другой чугунный. Все народы пойдут по чугунному мосту и провалятся, а Израиль благополучно переберется по мосту бумажному, потому что под ним, вместо свай, будут стоять ангелы, и тогда наш народ торжествуя вступит в рай, где всех благочестивых евреев ожидают рыба Левиафан-левиосон<sup>1</sup>, дикий буйвол и старое кашерное вино, сохраняющееся для нас еще от создания мира. Что касается собственно Иеговы, то о Нем говорили мне только или страшая, что Он меня убьет, или же о том, как Он проводит на небе свой день, разделяющийся на двенадцать часов,— и я строго помнила, что первые три часа дня Иегова, надев на себя тфилин и талес<sup>2</sup>, читает Тору, вторые три часа судит весь мир и, увидев, что все достойны проклятия, встает с престола справедливости и садится на престол милосердия; третьи три часа занимается попечением об Израиле и всех тварях, а четвертую часть дня отдает собственному развлечению и играет с левиосон-левиафаном<sup>3</sup>. Кроме того, из тех же рассказов мне было известно, что Господь на небе каждый день режет и буйвола, и Левиафана, и отбирает лучшие куски для нынешних обитателей рая, а на следующее утро и буйвол, и Левиафан уже опять живы и здоровы, дабы снова покорно подвергнуться той же операции, при которой Иегова самолично исполняет обязанности шохета, менагра и маргиша<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Левиосон — значит-обетованный. Талмуд с подробностями рисует картины, как, с пришествием Мессии, евреи будут кушать Левиафана.

<sup>2</sup> Тфилин или тефилин — хранилище, т.е. кубические кожаные коробочки, хранящие в себе четыре главы из Пятикнижия (Тора), написанные на пергаменте. Эти знаки каждый совершеннолетний еврей (имеющий более тридцати лет от роду) обязан прикреплять один ко лбу, а другой к правой руке, выше локтя, во время утренней молитвы, за исключением субботних и праздничных дней. Талес или талет — облачение или мантия, которою женатые и вообще взрослые евреи накрываются во время утреннего богослужения. В первый раз надевает еврей талес во время своего венчания и в эту же мантию облачают его труп при погребении.

<sup>3</sup> Рабби Иегуда, Иойвумес, стр. 24.

<sup>4</sup> Шохет — особый еврейский резник, специально изучивший все талмудические постановления о резании скота и птицы, менагр или менакер — специалист, занимающийся, также на основании талмудических правил, очищением мяса от жил, не дозволенных в пищу евреям. Маргиш — ученый испытатель шлифовки ножей, приготовленных для резания скота и птицы на кашер. Маргиш отыскивает зазубрины на ноже, проводя ногтем указательного пальца по острию и ощущая, при известной опытности, мельчайшую зазубринку, и если таковая окажется до резки, то шохет обязан продолжать шлифовку лезвия, до полного изглажения, потому что если бы скотина оказалась зарезанною ножом, на котором была хотя бы самая микроскопическая зазубрина, то мясо уже становится трэф, т.е. негодным в пищу евреям. В Талмуде очень строго и подробно изложены правила, по которым мясо может считаться кашерным или трэфным, и благодаря этим правилам еврейское население вполне гарантировано от употребления в пищу больной скотины и птицы; но дабы последнее не пропадало даром, закон разрешает продавать его иноверцам, и делается это на основании Второзакония (гл. XIV, ст.21), где сказано «не ешьте никакой падали; отдайте ее на съедение чужестранцу, живущему посреди вас, пусть он ест, или же продайте ее ленахри (иноверцу), ибо вы народ святой у Бога вашего». А так как у нас, в России, в черте еврейской оседлости, мясные лавки держат почти исключительно евреи, то местные христиане обречены ими есть большое, иногда даже зараженное мясо.

Вот и все, чем ограничивалось в детстве мое понятие о Боге. Но не более расширилось оно и в дни отрочества, в дни моего учения, которое заключалось в выучке наизусть, по Техинот, некоторых, обязательных для еврейки, молитв, так что в религиозном отношении, собственно говоря, я росла как былина в поле. И вот, теперь, после Евангелия, впервые в жизни сознательно принялась я за Библейскую историю народа нашего и, чтобы не возбудить дома лишних вопросов,— зачем и с какой целью вздумалось мне заниматься таким серьезным делом,—стала читать ее в русском издании, которое нашлось у Маруси.

«И что же я вычитала?! К сожалению, много и много такого, что не раз до глубины возмущало и переворачивало всю мою душу!..

«Прежде всего, во многих местах этой священной для нас истории народа нашего поражали меня характернейшие черты современного нам еврейства, во всей их — надо сознаться — непривлекательности. А непривлекательных черт — увы! — у нас много, и этого не скроешь, да и кто же их не анает! Я даже неверно употребила здесь слово «еврейства» — точнее следовало бы сказать: черты жидовства<sup>1</sup>.

.....

.....

.....

Сколько низостей, хитрости, обмана, предательства, вероломства — и все это ради своекорыстных, необыкновенно практических целей! Сколько эпизодов, полных насилия, жестокости, грабежа и крови, крови и крови... Самая Пасха наша, этот праздник праздников еврейских, есть праздник крови, в память не одного лишь исхода из Египта, но и избиения первенцев земли Египетской<sup>2</sup>. Таков-то весь исторический период вождей и судий израильских, который можно назвать периодом захвата чужих земель и городов, коих Израиль не строил, домов, которых не наполнял, колодцев, которых не вырывал, и садов, которых не насаждал, дабы «все поядать вокруг себя, как вол, траву поядающий»<sup>3</sup>. Затем, период царей израильских и иудейских — это специально период крамолы, являющий ряд незаконных захватов власти, ряд придворных заговоров, народных бунтов и войн против своих же царей, и наконец, ряд цареубийств, соединенных с огульным избиением всего царского «дома» или рода и всех друзей их, причем главный заговорщик садился на престол и сам, в свою очередь, бывал предательски умерщвляем..

---

<sup>1</sup> Здесь несколько страниц не могут быть напечатаны по независящим от автора причинам.

<sup>2</sup> Исход, гл. 12, ст. 5 — 14.

<sup>3</sup> Числа, гл. 22, ст. 4.

При этом поведение самих царей было одно хуже другого: чудовищный разврат, жестокосердая тирания, кровавые междоусобицы и удивительная легкость впадения в идолопоклонство являются самыми характеристическими чертами этого периода, где решительно не знаешь, кто хуже: правители или управляемые? — Оба хуже, как говорится. Народ вечно в каком-то лихорадочном беспокойстве, вечно среди самой тревожной деятельности и подвижности, — нигде ни в чем никакой устойчивости, ни спокойствия, ни порядка общественного и государственного

Этот народ как бы сам бежал от своего благополучия и мирной жизни к беспрестанным заговорам, бунтам и самоистреблению. Один только Давид и, отчасти, Соломон являются счастливыми исключениями, светлыми точками на мрачно-кровавом фоне этого несчастного и позорного периода, да и в этих-то двух обликах, лучших во Израиле, поражает та легкость, с которою оба впадали в нравственные пороки и обагряли руки свои убийством. Под конец почти каждого правления народ падал в нравственном отношении и совращался в идолопоклонство. Эти совращения являются как бы хроническим недугом народа еврейского, начиная еще с баснословного допотопного периода «исполинов» книги Бытия и продолжая Содомом и Гоморрой, идолами Лавана, культом тельца золотого, несколько раз восстанавливаемым, затем культом Ваал-Фегора, Молоха, Астарты, Хамоса и т.д., и т.д., до самого периода распада еврейского государства, с которого уже начинается тысячелетняя агония народа. Тщетны были все увещания, все громы и проклятия пророков. И в то же время, при каждом временном бедствии, при малейшей неудаче, постигавшей этот народ, какой ропот подымался в нем, какие вопли издавал он, какое малодушное отчаяние овладевало им и, вместе с тем, какая мстительная злоба! — «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень, дочь Вавилонская!» — И замечательно, что всегда, всегда вопия против гонений и несчастий, народ наш никогда не признавался чистосердечно, что сам же он, собственными своими поступками, навлекал их на свою голову. Всегда и во всем виноваты другие, но не он сам. Я с едкой горечью в сердце пишу все это, потому что я все же еврейка, кость от кости и плоть от плоти моих отцов и — к счастью или несчастью, — не знаю, лишь теперь только сознательно познакомилась со всеми этими истинами и научилась размышлять над ними. Читая историю нашу, до вавилонского плена, я вижу один только дух несокрушимой гордыни, побуждающей Израиль считать себя, без всяких заслуг, патрицием мира, «избранным народом», а в то же время нравственное и религиозное шатание и бесконечную братоубийственную войну между царствами Израильским и Иудейским

Перед пленом вавилонским евреи перестали даже праздновать Пасху, и только при Эздры и Нозмии у отпущенников из Вавилона восстанавливается служение Богу Единому и строится великая синагога, затем учреждается синедрион, появляются раввинизм с его Талмудом и первые зачатки кагала. Но увы! — все это было уже поздно... Храм выстроили, но огонь небесный уже не сошел на жертвенник, как при Соломоне, и в Вавилоне была утрачена не только скиния завета, но и самый древнееврейский «священный» язык, сильно испорченный халдейскою примесью; в самые верования вкрались чуждые учения и толки, и самостоятельная государственная жизнь исчезла навеки. Позднее раскаяние и жажда вернуть утраченное заставляют евреев сосредоточить все помышления свои на прошедшем, чтобы в нем искать пророческих обетований и знамений для лучшего будущего; все надежды устремляются на ожидание Мессии... Но проходят века за веками, проходят целые тысячелетия, а Мессии нашего все нет как нет, и все еще Израиль его ожидает...

«А что, если он проглядел Его? Что, если Мессия уже давно пришел и еврейство не признало, отвергло Его, потому что пришел Он не в том внешнем блеске и не с тем наследием всемирного царства земного, какого оно чаяло в гордом своем самообольщении? Вот ужасная мысль, которая невольно закрадывается мне в душу и смущает мою еврейскую совесть. Что, если это так, если это уже «совершилось»?.. Как быть тогда? Куда идти, куда деваться? Во что верить? В нигилизм с материализмом, или... во Христа?

«В нигилизм, конечно, легче всего. В нем есть к тому же некоторые заманчивые стороны,— социалистические идеалы, например,— но как осуществить их? Тем путем, что предлагал мне когда-то Охрименко? — С этим не мирится мое нравственное чувство. Говорят, идти в народ. Хорошо. Но с чем и в какой народ пойду я, и что скажу ему? Для русского народа я чужая, для здешних хохлов еще того хуже: я жидышка, пеявира, пеяхуха, и что бы ни говорила им, что бы ни делала, мне не поверят и, в наилучшем случае, станут только смеяться надо мной. Идти к своим, к евреям и проповедовать им... что проповедовать? Освобождение от деспотического кагала, от Хевро, от коробочного сбора? — Но за такую проповедь свои же, в первом местечке, схватят меня, как безумную, и отправят в сумасшедший дом. А затем, вне социалистических идеалов, самый нигилизм — да что же в нем остается?.. Нет, голый нигилизм, сам по себе, слишком груб и черств, он претит моему чувству женственности, чувству изящного... Стриженные волосы, синие очки, отрепанная черная юбка, серый плед и в руках лекции эмбриологии,— все это мне противно, потому что в этом нет идеала, нет красоты, изящества, поэзии нет, а я страстно люблю и то, и другое, и третье, и со своей прекрасной волнистой косой ни за что не расстанусь.

«Мучительные вопросы духа и коса,— вот сопоставление-то!..

«Да, но я говорю это как женщина и как женщина чувствую,

что жертва в пользу внешнего безобразия была бы для меня невозможна. Идеал голого нигилизма — это Охрименко. Этим для меня все сказано.

«Итак, если не социализм, не нигилизм, то что же? Еврейский муж из здешних хасидских илуев или из венских рафинированных израэлитов? Гандель и гешефт в более или менее крупных размерах? Великолепная домашняя обстановка, роскошь и комфорт, но при этом уже самая прозаическая жизнь, без всяких идеалов и верований, кроме трех обязательных мицвот? — Нет, с этим я и прежде не мирилась, а теперь и подавно. И чувствую, что никогда, никогда не помирюсь.

«Но если ни то, ни другое, то что же?.. Боже мой, что же наконец остается?! Неужели...

«Нет, страшно и вымолвить!

«Это так трудно, с этим сопряжено столько горя и позора для тех, кого я так люблю, для моих добрых стариков... С этим надо одти уже на полный и окончательный разрыв и с ними, и со всем тем миром, в котором я родилась.

«Ах, хорошо бы ни о чем таком не думать!.. Хорошо бы, если бы не было для меня никаких таких вопросов и сомнений!..

«Но раз они явились,— куда от них денешься и как разрешишь их?

«Я чувствую, что очутилась вдруг на каком-то распутьи, и не знаю, в какую сторону двинуться?

«Но и так оставаться тоже невозможно».

\* \* \*

...«Я решила на крайне рискованный и, быть может, опрометчивый шаг. Обо всех своих мучительных сомнениях и вопросах, явившихся последствием прочитанных мною Евангелия и Библии, я написала письмо Каржолу, прося его совета, как мне быть,— потому что он первый подал мне мысль об этом чтении, сам натолкнул меня на него и, таким образом, стало быть, явился вольной или невольной причиной переживаемого мной теперь нравственного кризиса. Письмо вышло, быть может, несколько длинно, но написала я его сгоряча, от сердца и с полной откровенностью,— пускай же оно так уж и остается, как есть! Отправила по городской почте. Не знаю, что теперь будет»...

\* \* \*

...«Получили мы сегодня из Вены, от тетки Розы, печальное известие. Обе мои младшие сестры в течение одной недели скончались от дифтерита. Жаль бедных девочек, они были такие милые, славные дети, и я за время моей венской жизни от души полюбила их. Мачеха в отчаянии от этой потери, но тетка думает, что рано или поздно она утешится, потому что есть один искатель ее руки и состояния, которому она, может быть, и готова будет отдать свою благосклонность. Таким образом, со смертью девочек, порвалась последняя связь между



мачехой и нами, и я остаюсь теперь единственной представительницей рода Бендавидов, в нисходящем поколении. Тетка пишет, что доля покойных сестер, доставшаяся им из отцовского состояния по разделу, должна на законном основании перейти ко мне, и поздравляет меня, что я становлюсь теперь действительно миллионной наследницей и невестой. Но это меня несколько не радует и не занимает. Есть ли у меня что, нет ли,— к этому вопросу - отношусь я теперь совершенно равнодушно. Не то настроение, не те мысли»...

\*\*\*

«...Наконец-то удалось мне сегодня встретиться с Каржолем у Санковских и поговорить несколько минут без помехи. Глядя на меня ласковыми глазами, он сказал, что письмо мое несколько его не удивило, так как он был уверен, что Евангелие не могло не поднять целую бурю вопросов, сопоставлений, сравнений и, наконец, новых стремлений в уме такой девушки, как я; но как быть с этим, оставаться ли на своем берегу или приставать к другому и сжечь корабли за собой,— это уже другое дело.

— Помните ли вы,— продолжал он,— назад тому несколько недель я задал вам один вопрос, а именно, что бы вы сделали, как еврейка, если бы «имели несчастье» полюбить христианина? Как поступили бы? — И вы ответили мне, что это зависит от того, что пересилило бы, любовь или религия.

— Помню,— сказала я,— и настолько даже хорошо, что могу в свою очередь напомнить вам одно маленькое, но существенное упущение в вашем вопросе: вы сказали тогда, что если не только я люблю христианина, но и он меня то же.

— Совершенно верно,— согласился граф. — Но вот в этом-то и разрешение всех ваших сомнений. Видите ли,— пояснил он,— я привожу в связь тогдашний свой вопрос с вашим письмом потому, что вы спрашиваете, что вам слать. Мне кажется, дело ясное. Если вы никого еще не любите, тогда, конечно, нет причины менять свою веру. Постарайтесь отнестись ко всему прочитанному настолько спокойно и индифферентно, как отнеслись бы вы к каждой философской теории, находя, что, может быть, она и прекрасна, и справедлива, но к личной вашей жизни неприложима. Мало ли есть на свете прекрасных философских систем и теорий!

— Ну, а если я полюбила? — отважно бросила я вопрос, и сама почувствовала, как сильно забилося при этом мое сердце и как все лицо мое залилось горячей краской.

— Что ж, если вы полюбили своего единоверца, тогда дело остается на тех же основаниях,— сказал он с легкой усмешкой.

«Очевидно, это был ответ уклончивый. Я поняла, что тут одно из двух: или граф думает отыгаться этой фразой от прямого ответа, или же хочет заставить меня сделать ему вопрос еще более ясный,— и я решила на последнее.

— А если я, выражаясь вашими же словами, «имела несчастье» полюбить не единоверца?

«Прежде чем ответить, он поглядел мне прямо в глаза тем же самым пытливым, пронизывающим взглядом, каким глядел уже и в тот раз.

— В таком случае,— сказал он, несколько размеря свои слова и не сводя с меня взгляда,— вам остается только взвесить, что сильнее. Это ведь ваше же собственное мнение.

— Да, и если чувство сильнее?

— Ну, тогда смело жгите ваши корабли, и дай вам Бог всякого счастья!

«Вторая половина этой фразы мне не понравилась. Она больно кольнула мне сердце и царапнула по самолюбию. Мне показалось, что, говоря это, он как будто отстранял не только себя, но и меня от самой мысли даже, что предметом моего чувства может быть он сам. Что это? Излишняя ли скромность, или своего рода игра со мною в кошку и мышку, или же менторское желание дать мне маленький деликатный урок, с целью предупредить, чтобы я и не мечтала о невозможном. В замешательстве я опустила глаза и в первую минуту не находила, что ему ответить.

«А он как будто любовался моим смущением и глядел на меня (так показалось мне) поощряющими, влюбленными глазами, теми самыми глазами, какими и прежде порой смотрел на меня, что всегда мне так нравилось в нем, потому что я чувствовала, что это смотрит человек, сознающий за собой право и власть смотреть на меня с таким выражением. В настоящую минуту это меня несколько ободрило.

— Сжечь корабли и быть счастливой,— раздумчиво повторила я его слова. — Хорошо, если бы это от одной меня зависело...

— А то от кого же еще? — спросил он с оттенком некоторого удивления.

— Полагаю, и от него тоже. Этого еще недостаточно, если только одна я люблю,— надо знать, любит ли он меня.

— А разве вы этого не знаете? — выразительно проговорил граф, как бы подчеркивая каждое слово.

— Не знаю... или, по крайней мере, сильно сомневаюсь.

— Почему так? — спросил он с особенной живостью.

— Потому что, говорят, он любит другую...

— Хм!., «говорят»! — раздумчиво усмехнулся он и не без укоризны слегка покачал на меня головой. — Мало ли что «говорят» на свете и в особенности в таких скверных городишках, как наш Украинск!.. И неужели же на одном только этом «говорят» вы основали все ваши сомнения? Разве вы сами не могли бы удостовериться, правда ли то, что «говорят», раз что вы любите?

«Я возразила ему на это, что, напротив, пыталась удостовериться, и даже неоднократно.

— Вот!.. Ну и что же?

— Признаться, ничего особенного не замечала,— в обществе, по крайней мере.

— Вот то-то же и есть!.. А «говорят»!.. У нас достаточно на двух вечерах протанцевать мазурку с одной и той же особой, чтобы сейчас уже и заговорили. Нет, бросьте вы это пошное

«говорят» и не верьте больше ничему подобному! — горячо и дружески проговорил он самым искренним, убеждающим тоном.

«Каждый про себя, мы оба отлично понимали, о ком идет речь и — слава Богу — я из его собственных уст услышала и окончательно убедилась теперь, что это неправда,— то, что «говорят» насчет его и Ольги.

— Любит ли он вас, говорите вы,— продолжал граф, возвращаясь к прежней теме; — но Боже мой, разве так трудно нам самой в этом убедиться!?. Знаете пословицу: «сердце сердцу весть подает». Если сердце ваше подсказывает вам, что он любит,— значит, любит. Тут и слов не нужно.

«Я посмотрела на него долгим благодарным взглядом и молча протянула ему для пожатия свою руку.

— А чтобы сжечь корабли,— продолжал он,— вы лучше проверьте наперед сами себя, настолько ли серьезно сами-то вы любите, чтобы решаться на такой подвиг,— и если да, и если притом вы верите в этого человека, в его честность, в его намерения, тогда сжигайте смело! Ведь счастья в жизни так немного, и оно так редко дается...

«К крайней досаде моей, наш разговор на этом был прерван рара-Санковским, пришедшим, с колодой карт в руках, звать графа на партию в «ералаш».

\*\*\*

«...Проверить самое себя, настолько ли сама люблю его. — О, да! Я его люблю, и после вчерашнего разговора это для меня выяснилось окончательно.

«Да, я люблю его.

«Но как это случилось?..

«Насколько помню, с самого начала, по возвращении из-за границы, меня подзадорило то, что все говорят о нем, а между тем я его не знаю, и он, живя уже почти два года в Украинске, по-видимому, ни разу не поинтересовался мной. Ведь обратил же он внимание на Ольгу еще тогда, на Мон-Симоншином празднике. Отчего ж не на меня?.. Ну, положим, в то время, как новый еще человек, он мог и не заметить меня, только что выпущенную гимназистку. Положим, я вслед за тем долго была в отсутствии,— ну, а по возвращении?.. Неужели же я такая уже ничтожность, что и внимания его не заслуживаю? Отчего же Ольга...

«Да, вот этот вопрос об Ольге подзадорил меня еще более. Что делать.— надо сознаться, что по отношению к ней у меня всегда было чувство некоторой зависти, хотя я и любила ее от всей души. А как дошли до меня эти слухи, будто Каржоль «ухаживает» за ней, это нехорошее чувство получило во мне еще более определенную, более осязательную форму. «Господи!» — думалось мне. — «Да за что же все это ей да ей?! Отчего же не другим, не мне, например? Разве я хуже?» — И я старалась умять этого Каржоля в своих собственных глазах, относиться к нему несколько иронически и даже не без некоторой скрытой враждебности, совершенно, впрочем,

беспричинной, если не считать за достаточную причину то самое побуждение, которое заставляет Крыловскую лисицу находить высоко висящий виноград зеленым. Но все это было так лишь до первой с ним встречи, до первого знакомства, когда он подарил меня особенным своим вниманием и когда я убедилась, что это вовсе не такой пустой фат, каким я его почему-то себе представляла. Он мне понравился своей изящной простотой, своим умением быть всегда интересным в разговоре, своей непринужденностью и, вместе с тем, этой сдержанностью, этим приличием высшей пробы, которое знает себе цену и дается, как мне кажется, только рождением и с детства воспитанной привычкой к хорошему обществу. Не скрою, внимание его с первого же раза очень польстило моему самолюбию, и я из этого заключила, что, стало быть, я если не лучше, то по крайней мере не хуже других, не хуже Ольги, и если он «ухаживает» за ней, то по отношению ко мне это пошлое слово к нему неприменимо. И это мне нравилось.

«Несколько встреч в обществе, несколько вечеров, проведенных вместе в кругу наших общих друзей, несколько случайных, но выходящих из сферы обыкновенной светской болтовни, интересных разговоров, некоторое сходство во взглядах, во вкусах, а главное, это — постоянное его внимание ко мне в скромных пределах строгого приличия, и это умение смотреть на меня порой, когда можно, безмолвно говорящим и только мне одной понятным взглядом,— всего этого было достаточно, чтобы я, остававшаяся до сих пор совершенно равнодушной ко всяким ухаживаньям за мной, вдруг, незаметно для самой себя, поддавалась увлечению этим красивым, умным, блестяще светским и родовитым человеком. Я замечала, что он ищет встреч со мной, и я сама искала их и чувствовала, что нам хорошо вместе. Что из этого выйдет,— в то время я еще не задавала себе вопроса. Мне просто было хорошо, и я внутри самой себя наслаждалась этим состоянием, не пытаюсь проникнуть глубже в свое сердце и далее в будущее. Так продолжалось до того вечера, когда он поставил мне вопрос — что бы я сделала, если бы «имела несчастье» полюбить христианина? При этом вопросе, представление о «христианине» как-то невольно, само собой, тотчас же слилось во мне с представлением о самом графе Каржоле, и с тех пор его образ стал у меня неотделим от его вопроса. «Что бы я сделала, если бы полюбила его?» — вот какую форму принял тогда же данный вопрос в моем сознании. Но когда он дал мне Евангелие, и я с жадностью, как запретный плод, поглотила его в две бессонные ночи, и когда эта книга озарила меня новым, неведомым дотоле светом,— вот когда почувствовала я, что этот человек становится дорог мне не за свои только внешние качества, как казалось мне до этого, а за то, что, давши мне эту книгу, он открыл для меня новый нравственный мир, который поднял меня на высоту таких идеалов, до каких никогда бы не добраться мне ни с помощью современных учений, ни даже с помощью тех чудес христианского искусства, какими я наслаждалась в Италии, потому что они

могли развивать только мой вкус, но оставались для меня мертвы со стороны духа, вдохновлявшего их создателей, и только теперь я уразумела, что все эти великие произведения могли быть созданы лишь силой веры, силой христианских идеалов. После Евангелия все это озарилось для меня совсем иным светом, как и многое из того, чему я училась раньше, и я поняла, наконец, чем обязано человечество идеям христианства.

«Хотел ли он этого, или не хотел,— не знаю; но во всяком случае, этим внутренним своим перерождением я ему обязана. Правда, оно заставило меня подвергнуть беспощадному анализу то, на чем я воспиталась,— наше еврейство, нашу Тору, нашу Библейскую историю,— оно сделалось для меня источником величайшей нравственной пытки,— пытки раздвоения внутри самой себя и полного разлада не только с миром прежних верований, но и с окружающей меня средой, с домашней жизнью, с моими родными, с которыми после этого у меня не раз уже выходят легкие стычки и пререкания из-за разных мелочных обрядовых формальностей. Это меня очень огорчает, и хотя я всячески стараюсь избегать таких столкновений, но тем не менее они все-таки наворачиваются чуть ли не на каждом шагу, почти невольно, сами собой, и не столько с дедом, сколько с бабушкой Саррой. Все это тяжело, но зато и искупается все это сторицей моим чувством к нему.

«Вчера он задал мне вопрос,— настолько ли сама я люблю, чтобы решиться сжечь свои корабли? Проверив теперь самое себя, отвечаю смело: да, настолько. Да, я люблю его, и если он тоже любит меня, я горжусь его любовью, я счастлива ей.

«Но как сказать ему об этом, как признаться?.. И что, если с его стороны я не встречу такого же ответа?..»

\* \* \*

...«В четверг, на страстной неделе, я случайно встретила с графом на бульваре, и он остановился на минутку, перемолвиться парой слов со мной. Я сказала ему, что никогда еще не видела, как русские празднуют ночь Светлого Воскресения и поэтому непременно хочу отправиться в ограду собора посмотреть. Он сказал, что тоже будет у заутрени и непременно постарается отыскать меня. «Будьте — говорит — в соборном сквере, в правом углу и ждите меня». Я обещала, и мы расстались.

«Русская Пасха в этом году пришлась на 4-е апреля, а дни установились совсем весенние еще с Вербной недели. С томительным нетерпением, в ожидании условленной встречи, переживала я эти трое суток первых апрельских чисел, и никогда еще обрядовый обиход нашего шабаша не казался мне так досадно скучен и длинен, как в этот раз. Но, слава Богу, наконец-то домучилась я кое-как до того момента, когда после шулес-сыдес дедушка зажег обычные благовония и рассмотрел свои ногти при свете гавдуле-лихт, и все домашние перездоровались

между собой «а гите вох»<sup>1</sup>. Встав из-за стола, я потихоньку предложила Айзику прогулку к собору, чтобы посмотреть на русскую Пасху. Аизик охотно согласился быть моим кавалером, и мы условились, что после того, как наши улягутся спать, он будет ожидать меня в саду, под окном моей комнаты, а я спрыгну к нему в окно, и мы отправимся через садовую калитку, чтобы никто не знал о нашей ночной экскурсии, так как иначе бабушка ни за что бы нас не отпустила, почитая грехом не то что смотреть на авойдеэлыл, но и находиться даже, без крайней надобности, вблизи бейс-гоим<sup>2</sup>. Как мы условились, так все и устроилось отличным образом: нас не заметил никто из домашних.

---

<sup>1</sup> Шулес-сыдес, или шолес-судес называется третья (последняя) субботняя трапеза, состоящая, по большей части, из остатков от предшествовавших шабашовых трапез, но зато обильная субботними песнями и славословиями. Пение продолжается до сумерек, после чего читают вечернюю молитву и переходят к обряду гавдуле, знаменующему собой отделение субботы от будней. Гавдуле, как и пятничный обряд кидуша (в начале шабаша), совершается над чашей вина или водки, и заключается в произнесении молитвы, славословящей Иегову за то, что Он отделил святые праздники от будней, свет от тьмы и Израиля от всех остальных народов. При совершении гавдуле зажигают одну восковую свечу, сплетенную из трех тонких свечек и приготавливают небольшою металлический или серебряный сосуд, наполненный благовонными веществами. Вино или водку наливают в чашу не иначе, как через край, пока не прольется на стол, в знак того, что изобилие должно царствовать в доме сем во всю неделю. Глава семейства произносит вышеупомянутую молитву нараспев, громким, но плаксивым голосом, после чего прикладывает ногти обеих рук к гавдуле-лихт и произносит молитву благословения Бога за то, что Он создал свет огня, затем — молитву благословения за создание благовонных мастей, причем берет в руки вышесказанный сосуд и нюхает из него аромат и, вконец, - зажигает пролитую на стол водку или коньяк. В то время, как спиртуозная жидкость загорится, хозяин обмакивает в нее свои мизинцы и обводит ими вокруг глаз, что повторяют за ним и все домашние. После этого все присутствующие здороваются с хозяином и между собой словами «а гите вох! а гите вох!», т.е. на добрую неделю. Талмудические мудрецы установили обыкновение нюхать ароматы при окончании шабаша для того, чтобы укрепить духовной пищей душу, грустящую о кончающемся празднике и об отходящей нишуме исойре, добавочной душе, отпускаемой еврею свыше на дни праздников и суббот, которые по сему и называются «удвояющими душу». Следует поэтому утешить и развеселить скучающую душу благовониями. Молитва над гавдуле-лихт установлена в память того, что свет огня создан в ночь при окончаша первого на земле шабаша таким образом: Адам взял два камня, ударил ими один о другой, и явился огонь (Талмуд, трактат Брухес). Присмотреться же к ногтям при обряде гавдуле следует, во-первых, для того, чтобы почувствовать удовольствие света, а во-вторых, различить разницу между ногтем и телом и, кроме того, еще потому, что ногти суть символ благословения, так как они постоянно растут (Орах-Хаим).

<sup>2</sup> Авойде-элыл — идолослужение, бейс-гоим — дом нечистых, христианский храм.

«Ночь была дивная, теплая, в воздухе ни малейшего колебания, в глубоком темно-синем небе — ни облачка, и звезды горели ярко. В садах зацветали яблони, черешни и сливы, и стояли осыпанные белыми цветами, точно снегом. Запах смолистого тополя мешался с тонким ароматом фиалок и молодой полыни. Соловьи уже прилетели в наши места и громко, с разных концов, вблизи и вдали, оглашали чуткий воздух своими первыми весенними песнями. Все это дышало какой-то таинственной торжественностью и вместе с тем южной негой,— и на душе у меня испытывалось чувство весенней истомы, доходившее порой до замирания сердца. И вот мы наконец у собора. По сторонам главного проезда пылают площадки, на площадке, окружающей самую церковь, стоят, в ожидании начала службы, массы одетого по-праздничному народа; тут же расположились под стенами тесные ряды подносов и корыт с куличами, пасхами и крашеными яйцами. В сквере тоже очень людно, но крайние боковые дорожки его пустыньны. Я нарочно прошла по ним предварительно, вместе с Айзиком, чтобы заранее, про себя, ознакомиться с местом ожидаемой встречи, и после этого мы с ним вернулись опять к толпе. Экипажи, один за другим, то и дело подъезжали к иллюминированным воротам сквера, выпуская нарядных, в белом, дам и мужчин в полной парадной форме.

«Ждать нам пришлось недолго. Ровно в полночь взвилась ракета и рассыпалась в темной вышине дождем огненной пыли. В толпе, стоявшей вокруг собора, тотчас же затеплилась у кого-то восковая свечечка, за ней другая, третья, еще и еще, а затем, не прошло и минуты, как вся площадка озарилась множеством маленьких мигающих огоньков. Над куличами и пасхами тоже зажглись целые вереницы восковых свечек,— и над толпой, как бы вынырнув из-под темных дверей храма, вдруг поднялись и заколыхались длинные хоругви, засиял большой крест в золотых лучах, на паперти засеребрились светлые ризы духовенства, сверкнула камнями и золотом блестящая митра,— и крестный ход, сопровождаемый бесчисленным множеством сияющих и колеблющихся огненных точек, словно огненный поток, двинулся вокруг белого собора, на озаренных стенах которого заходили большие, неясные тени креста и хоругвей, и обнаженных голов человеческих. Торжественный звон колоколов раздался с высоты опоясанной колокольни и, казалось, точно бы несется он с высоты темного звездного неба. Пели что-то такое,— не знаю что... Но вот, обойдя вокруг собора, хоругви опять появились перед запертыми дверями; огненный поток остановился. Прошла еще минута, и вдруг большие, почти совсем темные доселе, окна храма мгновенно озарились изнутри ярким светом; в широко распахнувшиеся двери тоже хлынул оттуда свет, игравший среди храма множеством сверкающих алмазов на хрустальной люстре,— и вся площадь разом огласилась торжественно-радостным гимном «Христос воскрес из мертвых». Я не знаю, что сделалось тут со мной,— я рванулась от Айзика вперед, в толпу и в ней затерялась. В эту минуту мне так хотелось принадлежать к ней, к этому ликующему народу...

«В груди точно струны какие-то дрожали, и закипали слезы восторга.

«Опустившиеся хоругви скрылись в дверях, и вслед за ними огненный поток полился внутрь храма. Меня подхватила волна толпы и понесла к паперти. Я отдалась этому течению и была рада, что чем дальше несет оно меня, тем больше отдаляюсь я от Айзика. Но вот толпа остановилась: церковь была уже переполнена и дальше двигаться некуда. Я очутилась перед папертью и несколько минут не могла ступить ни вправо, ни влево, ни податься назад. Но, спустя некоторое время, стало посвободнее, и я, хотя и с большим трудом, все же успела кое-как протиснуться сквозь толпу на простор и тотчас же скользнула с площадки в сторону, к боковой дорожке, и с замирающим сердцем пошла к условленному месту.

«Я почти задыхалась от волнения и раза два должна была останавливаться, чтобы перевести дух и осмотреться. Здесь уже не было никого, а от густых кустов сирени и акации на дорожке казалось еще темнее, после освещенной площадки. Колокола умолкли. С одной стороны доносились из церкви светлые звуки пасхальных напевов, с другой — соловьи рокотали. И вновь прихлынуло ко мне захватывающее чувство только что испытанного мной восторга и, под обаянием его, не помню как, очутилась я в правом углу сквера. Он уже ждал меня и быстро пошел навстречу. Я не столько узнала глазами, сколько сердцем почуяла, что это он, и быстро побежала к нему.

— Христос воскрес! — вырвалось у меня из сердца и, вне себя от счастья, я боросилась ему на шею.

«Что говорили мы затем — не помню, не знаю. Это был какой-то прерывистый от страха и от волнения лепет любви, восторга, счастья, лепет первых признаний, первых поцелуев, первых объятий... Очнулась я от этого сладко-одуряющего упоения лишь тогда, когда вдали от нас, по всей площадке, точно внезапный порыв бурного ветра, пробежал троекратный гул ответного возгласа: «Воистину воскрес!» Я бы всю ночь не ушла отсюда, от этого лепета, от этих соловьев и пасхальных аккордов вдали, от этой мягкой, темно-синей ночи и аромата цветущих деревьев, но Айзик... Где этот Айзик?.. Что он теперь думает? Он, верно, ищет меня и беспокоится... Что я скажу ему, как объясню свое долгое отсутствие?.. Пора домой,— надо отыскать Айзика. Я пошла по крайней аллее, граф — в двух шагах за мной, и... каково же было мое смущение, когда на самом выходе из аллеи к освещенному проезду столкнулась лицом к лицу с Айзиком. Он ступил шаг навстречу, пристально взглянул мне в лицо, затем глянул мимо меня вперед и, кажется, узнал графа. По крайней мере, лицо у него вдруг сделалось злое и сумрачное.

— Айзик, куда это вы пропали!?. — проговорила я, притворяясь недовольной и подавая ему руку. — Целый час хожу и ищу вас!.. Это ни на что не похоже!.. Как это вы от меня отбились и бросили одну?!. Разве это можно!.. Давайте вашу руку и пойдем скорей домой, уж поздно.

«Но он сделал вид, будто и не слышит моих упреков и,



молча подав мне руку, всю дорогу не проронил ни одного слова. Очевидно, он догадывается»...

## XXI. НЕ ВЫГОРАЕТ

Расставшись с Ионафаном-ламданом, господин Горизонтов позабыл даже об обеде, ожидавшем его в другой комнате, и озабоченно зашагал из угла в угол, обкусывая себе ногти. Свидание с Бендавидовским «пленипотентом» привело его в нервное состояние, и потому он более обыкновенного поддавался теперь произвольным движениям своего бессознательно тика: то и дело хватался рогулькой из двух пальцев поправлять на носу очки и «мазал» при этом в стороны косящими глазами, выделявая ртом какую-то невозможную гримасу.

«Да неужто же никак нельзя поправить?!» — гвоздила его все одна и та же досадная мысль. «Черт возьми!.. Подумаешь, этикие деньги, и вдруг легче легкого могли бы теперь лежать в кармане, кабы не торопливость дурацкая... Вот дурак-то!» — ругал он самого себя. «Вот болваниссимус! Такого маху дать... И из-за пустяка-то какого!»

И в самом деле, попридержи только Горизонтов бумагу к Серафиме хотя бы до вечера, все разрешилось бы как нельзя проще. Бумагу можно бы было и вовсе не отправлять, пред Каржолем отговориться несогласием владыки, деньги благородным манером возвратить ему, а владыке завтра доложить, что, по выяснившимся обстоятельствам, все дело и самое участие в нем Каржоль представляется совсем в ином свете; даже самую игуменью можно бы было понудить возвратить девчонку родным, дать ей на этот счет самое строгое формальное предписание. Да, все это весьма было бы возможно, и так легко, так просто. А теперь... Что теперь поделаешь?! Но нет, как-никак, а поправить промах надо. Главное, бумагу бы только выцарапать назад: остальное же все пустяки, остальное все можно перевернуть по-своему.

— Митрофан Миколаич, шти-то уж совсем почитай простымиши,— напомнила ему об обеде высунувшаяся в дверь стряпуха.

Это нечаянное напоминание вернуло его из сферы досадливых размышлений к повседневной действительности, и ему вдруг стало ужасно досадно — бог весть с чего и за что, но досадно так, что своими руками готов был избить эту толстую дурищу. Однако не избил, а удовольствовался тем, что ни за что ни про что ругательски изругал ее, лишь бы на ком-нибудь зло сорвать. Впрочем, за стол все-таки сел и обычный «опрокидонт» учинил, «вонзив» в себя рюмку «очищенной», и хотя ел со всегдашним своим чавканьем и цмоктаньем, но совсем без удовольствия, наскоро и с досадой, все швыряя от себя и на все фыркая, потому что в голове неотступно вертелась все та же проклятая мысль о Бендавидовских трех тысячах и Каржолевской сторублевке, на которую он, болван из болванов, польстился как Исав на чечевичную похлебку. Попадись ему в эту минуту Каржоль, да он бы, кажись, все глаза

ему проплевал. Этак вдруг подвести человека самым бессовестным образом, да это черт знает что за подлость! Этому имени нет! И дернула же его нелегкая связаться с таким прощелыгой, с аристократишкой! Не видел он, что ли, с кем имеет дело! Да и как это затмение такое на него вдруг нашло! Как было не догадаться, что не оставят же жида этого дела без того, чтобы не прийти к нему понюхать, нельзя ли как поправить его?!. Так нет же, радужная все мозги отшибла! — «Богу-де на масло, братье консисторской на молитву!» — бескорыстием, вишь, щегольнуть захотелось... Но досаднее всего было Горизонтову то, что, сознавая необходимость поправить это дело как можно скорее, он никак не мог еще придумать, каким бы способом половчее это сделать.

— Э, была не была! — махнул он после обеда рукой и, против обыкновения, не ложась соснуть, угрюмо надвинул до бровей свою мягкую поярковую шляпу и отправился пешком в женскую обитель. — По дороге, на вольном воздухе, он авось-либо придумает подходящий способ действия. Надо поторопиться, пока там не ударили ко всенощной.

---

Был в исходе пятый час дня, когда келейница Наталья доложила «матушке» о приходе консисторского секретаря, — очень-де просят принять, потому как им по очень важному делу.

Внутреннее чувство почти инстинктивно подсказало Серафиме, что этот необычный в такую пору визит не к добру — вероятно, каверза какая-нибудь затевается, но, уповая на свою твердость и сдержанность, она приготовилась в душе ко всему худшему и приказала просить господина Горизонтова.

Горизонтов вошел очень скромно, с некоторым почтительным согбением шеи и даже с любезной улыбкой на бесцветных, тонко растянутых губах. Что до почтительности, то он вообще не баловал ею духовных особ, сознавая, что он и сам, в некотором роде, если и не «особа», то «сила», ворочающая не только консисторскими делами, но подчас и самим владыкой. В качестве консисторской «силы», он, напротив, привык, чтобы епархиальное духовенство ему оказывало известное почтение; но тут секретарь понимал, что любезность и почтительность с его стороны не будут излишни, дабы тем легче расположить игуменью к уступчивости.

Серафима предложила ему садиться и, сев сама на диван, повернулась к нему с тем вопросительно-ожидющим видом, с каким обыкновенно изъясняется молчаливая готовность выслушать деловую просьбу или заявление от человека, с которым желают остаться на несколько официальной ноге.

— Мы тут к вам... нынче... одну бумажку отправили, — мягко начал секретарь, несколько поеживаясь и заминаясь. — Изволили получить?

— Получила, — слегка кивнула ему головой Серафима,

продолжая глядеть на него все с тем же вопросительно ожидающим выражением.

— Оказывается, мы несколько поторопились... Тут, изволите ли видеть, открываются некоторые обстоятельства, совсем изменяющие дело... Оно тут совсем даже в другом свете выходит...

— Какие обстоятельства? — спросила игуменья, не выходя из своей несколько официальной сдержанности.

— Да видите ли, прежде всего-с, эта девица Бендавид оказывается несовершеннолетней... значит, действует не с полным разумением... Да и участие к ней некоторых особ, вам известных, далеко не бескорыстно... Ее просто сбили с толку, вскружили голову, чтобы воспользоваться ее состоянием... Тут деньги-с, вот что! И на нас с вами может пасть очень даже нехорошая тень: нас просто могут обвинить в пособничестве.

Игуменья вспомнила свой давешний разговор с Тамарой и, на основании его, возразила Горизонтову, что что до денег, то может смело уверить его в совершенной неосновательности такого предположения: сама-де Тамара сказала ей, что, с переходом в христианство, она лишается всего — и наследства, и всех своих собственных средств — и, тем не менее, это ее не останавливает, она знает, на что идет и что теряет, а потому и у тех людей, которые будто бы «вскружили ей голову», едва ли есть какие-либо расчеты на ее состояние,— не могут же они не знать об этом!

— Ну, это еще, знаете, темна вода во облацех,— недоверчиво усмехнулся секретарь,— есть ли там какие расчеты, нет ли — судить мудрено, в чужую душу не заплзешь... Да и не о том, собственно, речь,— продолжал он. — Я, главное, забочусь, как бы на нас-то с вами тени какой не пало... тем более, что никакого внутреннего убеждения у этой девочки нет, да и быть не может,— одно только пустое увлечение.

— Я говорила с ней,— возразила ему игуменья; — я спрашивала ее насчет ее побуждений, и могу уверить вас, что и в этом вы точно так же ошибаетесь. Напротив, тут именно внутреннее убеждение, и такое глубокое, такое христианское убеждение, какого я даже и не ожидала.

— Хорошо-с, но ведь родные ее поднимут скандал, они — я знаю — этого дела так не оставят...

— А потому? — проговорила Серафима, как бы приглашая этим вопросом замявшегося секретаря не стесняться и договаривать свою мысль до конца. В тоне его последних слов ей слишком явно сказалось намерение запугать ее, под видом дружеского предупреждения.

— А потому,— подхватил Горизонтов,— мое мнение, лучше не доводить до скандала.

— То есть, что же?

— Да просто умыть себе руки — возвратить ее родным... Достигнет совершеннолетия, тогда пускай себе и делает, что хочет.

— Об этом вам следовало подумать раньше, до присылки мне бумаги,— веско заметила ему Серафима.

— Да, но... раньше нам, к сожалению, не были известны все обстоятельства.  
— Да вы откуда же их узнали, эти обстоятельства, и почему вы думаете, что они справедливы, когда я вам дала уже, кажется, достаточно доводов, что это не так?

Припертый таким вопросом, что называется, к стене, Горизонтов замялся еще больше.

— Так говорят... так слышно,— неопределенно промолвил он, пожав плечами.

— Хм... «говорят»... этого еще слишком недостаточно,— слегка усмехнулась Серафима.— Надо знать, кто говорит?

— Говорят ее родные,— поправился Горизонтов,— родные, которым это дело, полагаю, ближе всего известно.

— А вы говорили с ними? Вам самим они это высказывали?

Снова припертый к стене, Горизонтов, при всей своей привычке к беззастенчивому обхождению с духовными лицами, даже сконфузился,— насколько это было для него возможно. Он не знал, как ответить на последний вопрос, предлагаемый, как показалось ему, с какой-то особенной целью: признаться ли, что сам лично слышал это от Бендавидовского «пленипотента», или отделаться опять какой-нибудь неопределенностью? Признаться — значит дать подозрение (а она, кажись, уж и так подозревает), что он тут в стачке и потому-де стал вдруг ткнуть руку евреев. Конечно, подозревает, иначе к чему бы эти настойчивые вопросы!.. Нет, уж лучше не признаваться.

Между тем, от пронизательного взгляда монахини не скрылось это внутреннее колебание Горизонтова, и она приняла его к сведению.

— Я так слышал,— уклончиво вильнул он от прямого ответа,— но слышал от людей, которые могут знать все это дело довольно близко.

— Кто же именно эти люди? — с выдержкой полного спокойствия, но настойчиво продолжала она допытывать.

— Это безразлично-с. Вы все равно их не знаете... Люди доброжелательные, поверьте.

— Нет, далеко не безразлично,— возразила Серафима. — В моем положении относительно этой девушки нельзя принимать во внимание одни только темные слухи и анонимные разговоры. Но не в том дело,— перебила она самое себя,— я желала бы знать, по какой собственно надобности вы ко мне пожаловали?

— Да вот... насчет бумажки-с, которую мы к вам препроводили.

— Она получена, я уже вам сказала.

— То-то, что получена! — слегка хихикнул Горизонтов, опять принимая на себя, как вначале, тон несколько развязной любезности. — То-то и беда-с!.. Надо бы вернуть ее обратно-с.

— Это зачем? — удивленно подняла на него глаза Серафима.

— Владыко беспокоиться будут... Собственно, оно бы и ни к чему, но... ввиду всех, этих обстоятельств, о которых я вам докладывал, владыке, конечно, было бы приятнее, если бы он тут был в стороне... Уж вы, мать игуменья, будьте так добры, возвратите нам эту бумажку!.. Это ведь, собственно, в интересах владыки я прошу вас...

— Странно... очень странно,— как бы про себя проговорила монахиня. — Всего час, как получили бумагу, и вдруг назад. Владыко у нас, кажется, пока еще не слабоумен и, надеюсь, дает себе отчет в своих поступках,— не зря же он, в самом деле, кладет свою подпись...

— Да, но тут, повторяю, эти обстоятельства, которые час тому назад не были еще нам известны.

— Я уже вам сказала, что эти обстоятельства совершенный вздор, и я имею основания не верить им ни на волос,— убежденно подтвердила ему Серафима. — Полагаю, что и вы могли бы мне поверить.

— Да, но владыко... — начал было Горизонтов и вдруг запнулся, как бы затрудняясь продолжать.

— Что же владыко? Он сам послал вас ко мне?

Секретарь, в затруднении потирая себе руки и потупив глаза, оставил этот вопрос без ответа, точно бы не дослышал.

— Признаюсь вам, все это кажется мне очень странным,— проговорила она после некоторого молчания. — Здесь, очевидно, какое-то недоразумение, по которому надо бы лично объясниться с преосвященным...

И, подумав, она прибавила решительно:

— Я сама поеду к нему.

Горизонтов встрепенулся и быстро поднял на нее глаза, как будто даже с некоторым испугом.

— Сами-с?.. То есть как же это?.., завтра после литургии?

— Зачем же завтра? — Сейчас.

— Да, но как же так?.. Надо бы предупредить... Преосвященный не совсем-то здоров, это может его встревожить...

— Какая же тревога? Дело ведь ему известно?

— Да, конечно, но не совсем... Владыко, собственно, пока еще не знает про эти обстоятельства, о которых я...

— Не знает? — удивленно перебила его Серафима. — Тогда о чем же мы с вами столько говорили?

— То есть, видите ли,— пояснил Горизонтов, как бы оправдываясь и впадая даже в несколько минорный тон,— я прошу вас, собственно, от себя, потому как мне дорого, с одной стороны, спокойствие владыки, а с другой — и свое собственное служебное положение... Если владыко, не дай Бог, прогневаётся на меня, скажет «ты подвел меня»,— что же, я, значит, последнего куска хлеба должен лишиться... Я человек бедный, подумайте... у меня в Вологодской губернии мать есть, старуха... Должен же я позаботиться... Ведь потому только и прошу... Уж будьте так снисходительны, благоволите возвратить!

— Но как же я могу возвратить? — в недоумении пожала она плечами. — Бумага официальная, за номером; в рассылной книге вашей есть расписка в ее получении, да и в

монастырский входящий журнал она занесена уже.

— Это ничего не значит,— с живостью подхватил секретарь убежденным тоном знатока и доки. — Если вы только об этом беспокоитесь, так поверьте, это пустяки-с. Дело домашнее... Мы вам за тем же самым номером завтра другую бумажку пришлем насчет того же предмета, только задним числом и в несколько измененной редакции... Вот и все-с.

— То есть, другими словами, вы предлагаете мне быть участницей подлога,— холодно глядя в упор на него, пояснила Серафима.

— Зачем же-с подлога!? Помилуйте, как можно! — захихикал он с самым невинным видом. — Какой же тут подлог! Дело, говорю, домашнее... Если бы еще с другим каким посторонним ведомством, а то у себя же... Смею вас честью заверить, никакого тут подлога и тени нет, просто исправление маленького промаха, и только. Дело самое чистое-с.

— На этот счет позвольте мне остаться при моем взгляде,— сдержанно и твердо отрезала ему Серафима. — Я смотрю на это как на подлог, и потому ни в каком случае бумагу не выдам.

Горизонтов даже позеленел от злости и нервно заерзал на стуле, тыча в очки своей рогоулей.

— Это очень странно-с,— заговорил он пофыркивая. — Если вы видите тут мой личный расчет, так очень ошибаетесь... Лично мне нет никакого интереса... и смею вас уверить, мне решительно все равно. А если я хлопочу, так ради вас же, из расположения к вам, чтобы обитель не компрометировать... Тут дело общее. Если, не дай бог, какой скандал,— на вас же все обрушится, ваше же имя будет страдать...

— Позвольте,— остановила его игуменья. — При чем тут мое имя и что такое может компрометировать обитель?

— Как что?!. — Да вас прямо назовут участницей во всей этой грязной истории; скажут, что обитель все это из своекорыстных целей, чтобы воспользоваться состоянием этой богатой дурочки, да и нас с владыкой приплетут... На чужой роток не накинешь платок, а на еврейский тем паче.

— Это меня не беспокоит, и никакой клеветы я не боюсь, раз моя совесть чиста перед Богом,— возразила монахиня тоном, исполненным спокойного достоинства.

— Эх, матушка игуменья, да добро бы было из-за чего! — с душевно убеждающим видом принялся доказывать ей Горизонтов. — Если бы еще девчонка была действительно убеждена, но тут этого нет... Ей-Богу, вы ошибаетесь!.. Не убеждение, а блажь, одни фокусы, штуки амурные... Родным уж это, поверьте, лучше знать чем нам с вами... Да и что за корысть возиться вам с ней?!. Пускай бы еще пользу церкви какую могла она принести своими капиталами,— ну, это я еще понимаю. Но вы сами же говорите, что у нее ничего больше нет. Уж будемте говорить откровенно: если брать вопрос с материальной стороны, так гораздо же выгоднее иметь дело с самим Бендавидом... Я вернее верно знаю, что старик готов пожертвовать вам на обитель — сколько хотите?

— ну, десять, двадцать, тридцать тысяч?.. Он не постоит за суммой, он даст, сейчас же даст, только возвратите ему внучку.

Этот довод, высказанный даже с некоторым азартом, был последним козырем в игре Горизонтова, и он был уверен в душе, что перспектива такой выгодной сделки непременно должна поколебать Серафиму. Но каково же было его удивление, когда вместо ожидаемой податливости или, по крайней мере, раздумья, он увидел, что монахиня, вся бледная от негодования и боли нанесенного ей оскорбления, поднялась со своего места.

— После этих слов,— сдержанно заговорила она, выпрямившись во весь рост и водимо подавляя в себе взрыв возмущенного чувства,— после этих слов, господин Горизонтов, нам не о чем больше говорить с вами. Прошу вас удалиться отсюда.

— Это за что же-с? — удивился опешивший секретарь, тоже вставая с места. — Я, кажется, не сказал вам ничего такого... О ваших же пользах радею... Мне дорога только честь епархии, чтобы на епархию нашу не было каких нареканий в неблагоприятных действиях... Мы ведь здесь, не забывайте, на окраине-с...

— Прошу вас удалиться отсюда,— настойчиво повысив голос, повторила монахиня.

Горизонтов молча пожал плечами и хихикнул с обычной своей ухмылочкой. Он убедился, что дело его окончательно не выгорело, и три тысячи улыбнулись...

— Извольте-с, я удаляюсь,— проговорил он, силясь придать себе равнодушно-саркастическую улыбку, тогда как сам чуть не захлебывался от злости и досады. — Я удалюсь... Но помните, как бы вам не пришлось покаяться... жестоко покаяться, да уж поздно будет!..

И, повернувшись, без поклона игуменье, Горизонтов раздраженно быстрыми шагами вышел из кельи.

## **XXII. ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА**

Оставшись одна, Серафима несколько времени стояла, как ошеломленная, в полном оцепенении, и затем медленно провела по лицу руками, точно бы приходя в себя от какого-то подавляющего кошмара. Для нее было теперь совершенно ясно, что Горизонтов подкуплен евреями и что подкуп этот состоялся уже после отправления к ней бумаги, им же самим скрепленной. Из его оскорбительного предложения сделки с Бендаводом, будто бы готовым бросить на это дело несколько десятков тысяч, ей не трудно было уразуметь, что евреи не отступятся легко от своей задачи — вырвать из монастыря Тамару какими бы то ни было способами. Точно так же было ясно, что Горизонтов — их полный союзник и что он не кончит на этом визите свою попытку; напротив, он теперь настойчиво и ловко станет действовать на владыку, и весьма вероятно,

что тут со всех сторон будут пущены в ход разные влияния и давления на нее, Серафиму, и бороться с этими влияниями ей одной будет трудно, может, и совсем невозможно. Кто знает, может быть, тот же Горизонтов завтра убедит владыку подписать новую бумагу, в отмену сегодняшней; может быть, с другой стороны, в дело вступятся губернская власть, прокурорский надзор, жандармы, благотворительные дамы, и все они, вместе с епархиальным начальством, настойчиво станут приставать к ней, просить, советовать, требовать и понуждать ее отступить от Тамары, выдать ее головой еврейскому кагалу...И нет сомнения, что под давлением еврейских происков — где лестью, где тайным соблазном, где во имя либерализма и Бог весть чего еще — все они примутся ковать это железо, пока оно горячо,—дремать и медлить, конечно, не станут... А между тем из своего разговора с Тамарой она вынесла полное убеждение, что в ней действует глубокое внутреннее влечение ко Христу, что для нее окончательно уже нет возврата в еврейство, что выход из монастыря в покинутую среду равносителен для нее самоубийству. После этого выдача ее была бы предательством, осуждением живой, стремящейся к свету души на конечную гибель, великим грехом, который лег бы тяжелым и вечным бременем на совесть самой Серафимы,— нет, этого она не сделает, не в состоянии сделать.

Серафима понимала, что кроме нее у Тамары нет теперь прибежища и защиты, что если бы даже она ушла отсюда к своему жениху,— кто бы он ни был,— это не спасет ее от преследований, напротив, еще ухудшит ее положение потерей доброго имени. В качестве кого войдет она к нему, не будучи христианкой, не имея права стать сейчас же его законной женой? Это та же погибель. Но как же тут быть? Чем защищаться?.. Ясно одно, что медлить и ждать невозможно, надо принимать меры, надо действовать, не теряя ни минуты.

— Господи!.. Помогите и вразумите, что мне делать? — скорбно прошептала Серафима, вскинув глаза на образ.

И, войдя в свою спаленку, она пала на колени пред озаренным лампадой киотом и горячо стала молиться — без слов, одним внутренним порывом души, той мысленной молитвой, для которой ни на каком языке человеческом нет выражений. Благоговейно склоняясь челом до земли, она как бы ждала себе наития и просветления свыше. Да и кроме того, молитва эта была для нее не только отвлечением в другую сторону, но и победой над тем чувством возмущения и негодования, которое невольно, по человеческой природе, поднялось в ее душе от оскорбительных слов Горизонтова. Недолга была молитва, но после нее Серафима встала успокоенная, примиренная внутренне сама с собой, укрепленная на дальнейшую борьбу духом бодрости, с запасом новых нравственных сил и с бесповоротной решимостью.

Она присела к письменному столу и стала составлять телеграмму в Петербург, на имя одной из своих высоких покровительниц, где обстоятельно изложила все дело и положение, как Тамары, так и свое в данном случае и, ввиду энергично и



всеми путями действующей еврейской интриги, умоляла ее безотлагательно взять беззащитную девушку под свою высокую руку, и тем доставить ей возможность спокойно и без помехи принять святое крещение, чего в Украинске достигнуть едва ли будет возможно, так как озлобление и дерзость евреев дошли уже до того, что независимо от тайных происков кагала еврейская уличная толпа держала сегодня обитель некоторое время в осаде, бросала в святые ворота и через стену во двор монастырский камня, повышибала в сторожке стекла и даже разбила камнем стекло на надвратном образе Живоначальной Троицы.

Серафима очень осторожно и редко, только в исключительных и важнейших случаях монастырской жизни, позволяла себе обращаться с просьбами и представлениями в Петербург, к тем высокопоставленным особам, которые сохраняли к ней свое благоволение, в память ее прежней близости ко двору, на что некогда, до монашеского кlobука, давало ей право и ее происхождение, и положение в высшем обществе, соединенное с придворным званием. Но настоящий случай был сочтен ею настолько важным, что она решилась безотлагательно прибегнуть к этому чрезвычайному и последнему своему средству.

Прежде, однако, чем отправить свою телеграмму, она призвала к себе Тамару и откровенно объяснила ей, что происки о возвращении ее домой, к родным, уже начались и, без сомнения, пойдут еще дальше и выше, и неизвестно, где и на чем остановятся. Можно ожидать всего худшего, даже того, что игуменье просто прикажут удалить ее из монастыря на попечение родственников, как несовершеннолетнюю и, стало быть, еще несамостоятельную, неполноправную особу, и она, Серафима, не в силах будет бороться одна против напора с разных сторон и особенно со стороны официальной, если и последняя вмешается в дело. А что вмешательство ее возможно, на это, к сожалению, уже имеются некоторые признаки. По ее мнению, есть одно только средство защиты, которое кажется ей наиболее верным, это — обратиться в Петербург и там просить покровительства. У Серафимы есть надежда, что в этом покровительстве не встретится отказа, и в таком случае, вероятно, последует одно из двух: или Тамаре будет совершенно обеспечено ее дальнейшее пребывание в монастыре, пока для нее будет в том надобность, или же ей придется уехать по вызову в Петербург, где не оставят ее без надежного крова и крепкой защиты, и там уже спокойно готовиться к крещению. Согласна ли она на это?

Тамара отвечала, что примет с покорностью и благодарностью все, что угодно будет делать для нее Серафима, так как уверена, что это может быть ей только к добру. Она еще раз просила игуменью верить, что решение ее принять христианство есть результат не легкомысленного увлечения, а очень сложного душевного процесса, очень трудной и мучительной работы над собой, что оно в ней совершенно добровольно и твердо, как вполне сознательное, продуманное решение; а потому она еще и еще раз повторяет, что в еврейство никогда и

ни при каких обстоятельствах более не возвратится.

Тогда Серафима прочитала ей свою телеграмму, — и обрадованная Тамара со слезами на глазах бросилась благодарить ее, целовала ей руки и просила ускорить отправление депеши. Письмо Каржоля, незадолго до сего переданное ей по секрету келейницы Натальей, она успела не только хорошо прочитать, но и хорошо запрятать его у себя на груди, еще ранее призыва своего к игуменье. Теперь она еще более верила в этого человека и была убеждена, что как только он узнает о ее отъезде в Петербург, — если этому суждено случиться, — то и сам не замедлит приехать туда же, чтобы вести ее от купели к венцу. О, там они наконец будут невозмутимо счастливы!.. Новая, глубоко искренняя вера во Христа, светлая первая любовь, новая радостная жизнь, новое общество, новый мир и новый житейский разумный труд доброй жены, а со временем, даст Бог, и матери, — вот та заманчивая заря тихого, честного семейного счастья, которая, казалось ей, начинается уже для нее заниматься... А там, узнав о ее счастье, о маленьких правнуках, даст Бог, и дедушка с бабушкой когда-нибудь примирятся с ней, простят ей, — ведь есть же у них сердце, ведь они же так ее любят!..

Спустя около получаса после того, как растроганная Серафима, поцеловав и успокоительно обласкав Тамару, с миром отпустила ее от себя, Украинская телеграфная станция уже передавала по назначению длинную и подробную телеграмму игуменьи.

### **XXIII. ОТЪЕЗД КАРЖОЛЯ**

В этот же день, вечером, спешно уложив свои чемоданы и рассчитавшись, при помощи Блудштейна, с домашней прислугой, граф Каржоль, со своим датским догом, в последний раз уселся в свою «собственную» карету, на козлах которой, рядом с кучером, поместился его излюбленный камердинер, и отправился на железную дорогу, под конвоем все тех же двух своих «мучителей», Блудштейна и Бриллианта, которые следовали сзади него на извозчике.

На вокзале милейший и обязательнейший Абрам Иоселиович сам взял в кассе билеты прямого сообщения до Москвы — один первоклассный, для графа, другой — собачий, для его дога, и два третьего класса, для камердинера и еще для одного «человечка», — но этот последний уже, так сказать, «по секрету», как для графа, так и для слуги; затем сам сдал в багаж графские чемоданы, сам занял для его сиятельства удобное место в отдельном купе, сам расплатился с носильщиками и даже сам приглядел, как рабочие, при содействии графского камердинера, усаживали и подпихивали датского дога, не желавшего лезть в собачью конуру, за решетку.

А рабби Ионафан, между тем, издали следил за самим Каржолем, который равнодушно, с фланирующим видом человека, приехавшего от нечего делать развлечься на вокзал,

прогуливался по платформе. Пять тысяч рублей, приобретенные ценой подписи пятидесятитысячного векселя, лежали теперь в его бумажнике, и это обстоятельство значительно способствовало внутреннему успокоению графа. Он был уверен, что и с такими маленькими деньгами не только не пропадет, но в конце концов даже восторжествует над всем Украинским кагалом. Хотя в душе и было ему очень досадно и больно, что дело, начатое им столь ловким и блестящим образом, затягивается на неопределенное время, благодаря такой неожиданной случайности, как эта скупка векселей, но нечего делать, приходится пока уступить. Он уступает, но в душе далеко не отказывается от своего стратегического плана. Уступка его лишь временная,— в этом он сам твердо уверен, или, по крайней мере, ему так кажется, будто это и в самом деле уверенность. Принимая на себя равнодушно-спокойный вид, граф сознавал, что иначе ему нельзя, что надо казаться спокойным, как бы на высоте своего всегдашнего положения, «faire bonne mine a mauvais jeu», для поддержания собственного «престижа», тем более, что на вокзале встретилось ему двое-трое знакомых, один из которых даже спросил его, не едет ли он куда-нибудь, и куда именно? Граф отвечал, что получил сегодня телеграмму, вследствие которой ему необходимо экстренно съездить в Москву, по одному важному делу, но что едет он совсем налегке, так как рассчитывает через несколько дней вернуться. Сказано все это было таким естественным тоном, что для знакомых не осталось никаких причин усомниться в истине слов Каржоля.

Между тем, рядом с наблюдавшим за ним Бриллиантом, стоял родной племянник Блудштейна, молодой еврейчик в «цивильном», т.е. общеевропейском костюме, с дорожной сумкой через плечо, и этому еврейчику, не спуская глаз с Каржоля, ламдан наскоро, но внушительно передавал на еврейском жаргоне некоторые инструкции и наставления. Еврейчик, отъезжавший как бы по собственным делам, должен был отконвоировать Каржоля до самой Москвы, не подавая ему, однако, и тени подозрения, что он за ним наблюдает, но в то же время зорко следя на каждой станции, чтобы граф не вздумал дать стрекача куда-нибудь в сторону, в пределах края. В этом случае соглядатай должен следовать за ним и тотчас же известить о сем Блудштейна по телеграфу. Для наиболее удобного, так сказать, ежеминутного наблюдения, надо непременно сесть в один вагон с графским человеком, и как можно ближе к сему последнему, вступить с ним в случайный разговор и постараться выведать, что можно, о планах и намерениях его барина. В Москве еврейчик точно так же должен не упускать Каржоля из виду, остановиться, по возможности, в одной с ним гостинице, в наиболее дешевом, конечно, номере, и вообще тайно следить за ним повсюду, пока наконец граф не осядется вполне в каком-либо определенном пункте, где можно будет устроить дальнейшее негласное наблюдение за ним посредством кого-нибудь из тамошних местных евреев. Только в этом случае еврейчик будет вправе считать свою миссию оконченной. Паспорт соглядатай давал

ему право на пребывание вне черты еврейской оседлости,— стало быть, с этой стороны, насчет полицейских придирок, он мог быть вполне спокоен, а деньги на путевые и прочие расходы были в достаточном количестве вручены ему на вокзале дядюшкой Блудштенном, за счет Бендавида. Таким образом, предупреждение, сделанное сегодня Каржолю «милейшим» Абрамом Иоселиовичем, о том, что где бы он ни был, еврейский глаз всегда будет следить за ним,— очевидно, не было одной лишь фразой, угрожающей впустую. Еврейская «полиция вне полиции» и в этом случае, как всегда, оставалась на высоте своего особого назначения в Израиле.

По второму звонку граф спокойно вошел, в сопровождении того же Абрама Иоселиовича, в занятое им купе, где Абрам Иоселиович передал ему с рук на руки билет с квитанцией от багажа, а так как это случилось в присутствии одного из знакомых графа, тоже отъезжавшего куда-то поблизости, то даже простился с его сиятельством самым любезнейшим образом, пожелав ему всякого благополучия «ув его путю». Глядя на это, посторонние люди могли бы подумать себе, что, без сомнения, у Каржоля с Блудштейном какие-нибудь дела, и что Блудштейн состоит у него даже на маленьких дружеских послугах, как у такого гросс-пурица<sup>1</sup>.

В то же самое время, еврейчик-соглядатай, вслед за графским камердинером, юркнул в соседний вагон третьего класса,— и по последнему звонку поезд медленно тронулся с места. Абрам Иоселиович стоял на платформе и, приподняв свой «петербургский цилиндр», как самый цивилизованный еврей, «деликатно» посылал Каржолю приятные улыбки и прощальные поклоны, тогда как остававшийся поодаль Ионафан-ламдан выразительно грозил пальцем высунувшемуся в окошко еврейчику,— дескать, смотри же ты мне, гляди в оба!

С вокзала оба они полетели к Бендаvidу сообщить радостную весть, что шейгец Каржоль уже благополучно сплавлен из Украинска под надежным надзором, и Абрам Иоселиович передал при этом старику последний пятидесятитысячный вексель графа, сделав на нем передаточную надпись.

## **XXIV. ПЕРЕД ГРОЗОЙ**

В тот же вечер, по заходе шабаша, то есть с закатом солнца, когда обыкновенно весь Украинский Израиль высыпает «на шпацер», наполняя бульвар и улицы еврейских кварталов пестрыми, по-праздничному разряженными группами евреек и евреев, со чады и домочадцы,— между всеми этими «шпацерирующими» группами только и разговора было, что о побеге Тамары. Вся история, при передаче ее из уст в уста, со множеством пояснений, догадок и дополнений, принимала, конечно, самые чудовищные, даже фантастические размеры. Израиль,

---

<sup>1</sup> Гросс-пуриц — большой барин.

видимо, волновался, и особенно женская его половина. Для одних все это дело представляло интерес величайшего скандала, для других давало приятный повод позлорадствовать над Тамарой и семейством Украинского гвира, но зло-радствовать, разумеется, не иначе как со вздохами фарисейского сокрушения и сожаления о случившемся, как того требует еврейское приличие. Большинство же усматривало в приключении Тамары величайшее оскорбление всему Израилю. Одни утверждали, что это кара за грехи, за то, что евреи, забыв отеческие заветы, стали воспитывать своих детей не по-еврейски, отдавать их, вместо хедеров и эшеботов, в гимназии и на разные «курсы-фурсы»; другие же озлобленно звинчивали себя по этому поводу на самый фанатический лад против гойев.

Но в то же время среди волнующегося Израиля замечалось и еще одно, совершенно новое течение. В некоторых кружках и группах — где таинственным и боязливым шепотом, а где и громко — высказывались порицания и даже прямые обвинения Украинского кагала в том, что он не только допустил, но и сам соборне совершил вопиющее, да еще мало того — публичное нарушение святости дня субботнего. Кагал оскорбил и осквернил святую субботу тем, что повелел под страхом херима<sup>1</sup> безотлагательно произвести в этот день сделки по обязательной передаче векселей Каржоля в руки Бендавида, разрешил, вопреки закону, давать и принимать за них деньги, то есть совершать в субботу куплю и продажу, писать и подписывать акты и документы и т.п. Передавалось из уст в уста, что весь этот ряд сегодняшних противозаконных действий поднял большие толки, ропот и протесты в некоторых минионах<sup>2</sup> и вызвал истинное возмущение в среде хасидов; при этом называлось имя известного Иссахар Бера, как человека, который имел мужество первым поднять благочестивый голос против такого религиозного бесчинства. Говорили, что Иссахар Бер, в качестве бывшего парнеса<sup>3</sup>, нарочно посетил несколько хасидских собраний, чтобы объяснить своим друзьям ужасный смысл и истинную подкладку всех этих беззаконий кагала, что у Иссахара образовалась уже целая партия единомышленников, которая теперь, по заходе шабаша, распространяя его идеи и взгляды, агитирует везде, где можно, против

---

<sup>1</sup> Херим — проклятия и отлучения, после него отверженец ставится вне закона.

<sup>2</sup> Минион — частная молельня. Каждый желающий еврей может, с разрешения кагала, открыть у себя временную или постоянную молельню, куда могут собираться для совместной молитвы, духовного чтения и душевспасительных бесед родственники, друзья и соседи хозяина, в числе не менее десяти совершеннолетних мужчин (считая совершеннолетие с 13 лет и 1 дня). За право открытия и существования минионов вносится в кагал определенная сумма денег хозяином дома, или сообще, по раскладке между постоянными посетителями молельни.

<sup>3</sup> Парнесы — избранные представители и попечители еврейских общин. О значении хасидов и хасидизма говорилось ранее, в примечаниях к главе XVII.

кагала и все больше и больше вербует Иссахару сторонников между всякими «мальконтентами» и разными ремесленниками; что все святое Хевро стоит уже на его стороне и что против такой силы пречистому кагалу, пожалуй, несдобровать.

Все это, разумеется, не могло не дойти стороной и до некоторых членов кагала, которые учуяли тут серьезную опасность и для авторитета самого учреждения, и для себя лично, для собственного привилегированного положения.— Как!.. Осмелиться колебать народное доверие к непогрешимости кагала, подрывать незыблемость его авторитета, подводить интригу и мины под всех и каждого из его членов,— да это что ж такое?! — ниспровержение всех вековых основ религиозного и общественного строя, посягательство на личное положение (это главное) и личную честь каждого из членов кагала, чтобы дискредитировать их, и самому, со своими гнусными друзьями-хаборами<sup>1</sup>, сесть на их место... Да это разбой, грабеж,— более того: это бунт, революция! — Нет, этого так пропустить невозможно! Надо пресечь зло сейчас же, надо с корнем вырвать опасный дух возмущения, согнуть в дугу крикунов, в бараний рог возмутителей, чтобы другим неповадно было! — И члены кагала, как черные тараканы в потемках, повылазили из своих щелей и, под покровом вечерней тьмы, забегали один к другому сообщать и совещаться об опасности, грозящей пречистому кагалу.

Иссахар Бер представлялся врагом серьезным. Во-первых, он сам дока в законе, талмуд-хахом, бороться с которым на гибкой и зыбкой почве талмудической казуистики очень трудно; во-вторых, он один из габаев погребального братства и притом бывший парнес,— стало быть, занимает видное и влиятельное положение, способное создать ему сильную партию из разных недовольных лиц — мало ли есть таких! — а главное, из хасидов, потому что и сам он хасид. Он из честолюбия давно уже добивается избрания в члены кагального Совета, но это такой беспокойный и желчный человек, и такой у него вздорный, неуживчивый нрав, да притом еще такое адское самомнение, такая сатанинская жажда первенствовать, главенствовать, считать себя умнее и учнее всех, что члены Совета, при каждых выборах в выпускные дни Пасхи, пускали в ход — конечно, негласным и подпольным образом — все свое влияние на асифа и борерим<sup>2</sup> и все махинации

---

<sup>1</sup> Хабор — товарищ, братчик, член какого-либо союза или братства. В прежние времена название хабор присваивалось, как титул, членам ученой корпорации; но позднее этих ученых начали титуловать «морейне» и с тех пор словом хабор стали уже обозначать лиц, не получивших специально талмудического образования.

<sup>2</sup> По свидетельству Я.Л.Брафмана (Кн. Кагала, т.1, 90), еврейская община представляет собой в настоящее время систему правильно организованных учреждений с совершенно ясным разграничением между ними власти и с выборным началом. Учреждения эти распадаются на административные, судебные, духовные, учебные и союзные. Совокупность всей власти сосредоточена в руках «асифа» — общего собрания, состоящего из всех полноправных членов общины, из мор ей не. Из этого уже ясно, что управление еврейской общины носит на себе аристократический характер, ибо человек, не получивший талмудического образования, как плебей, считается лицом неполноправным и не принимает участие в асифа. Дела, подлежащие обсуждению асифа, решаются по большинству голосов, но решения подписываются не всеми участвовавшими в собрании лицами, а лишь семью тубами, т.е. лицами, признанными избранием общины в качестве почетных членов.

к тому, чтобы помешать избранию Иссахар Бера, или провалить его. Довольно, мол, с него и того, что успел пролезть в габаи Хевро! Но теперь... теперь они не могли не сознавать, что дали против себя сильное оружие в руки Иссахар Бера... Надо бороться, надо совокупить для борьбы все свои силы, все средства и, так или иначе, сокрушить рог противника и оторвать от него весь его гнусный хвост всех этих пустосвятов, пустозвонов и приспешников.

Председатель кагального Совета, «смиренный» Борух-бен-Иосель Натансон сделал по этому поводу секретное словесное распоряжение, чтобы завтра все члены кагала собрались в бейс-гакнесет к шахрису<sup>1</sup>, после которого общими силами они обсудят, что делать.

## **XXV. БОГУЛЕС У-МАХЛЕЙКЕС**

Еще до начала шахриса, зала бейс-такнесета, к удивлению членов кагала, оказалась почти полна, вовсе не по-будничному, да и во время самого богомоления разный еврейский люд продолжал наполнять ее все более и более. Во всех присутствовавших там замечалось сильное возбуждение, взрывы которого пока еще сдерживались только уважением к самому акту богомоления; но разные многозначительные взгляды и улыбки, кивки, перемигивания и перешептывания среди лиц этой публики показывали, что нервно подвижная семитская натура еле перемогает себя и ждет не дождется момента, когда, на конец, можно будет сбросить с себя узду обязательной сдержанности. Ожидалось, в некотором роде, генеральное сражение между двумя лагерями, созданными вчерашним случаем. Одни из публики, подстрекаемые зудом семитского любопытства, пришли сюда лишь за тем, чтобы посмотреть, что и как будет и чем кончится; большинство же явилось с целью принять живейшее участие в борьбе двух партий. Все члены кагала были налицо, и по их озабоченным, недовольным и кислым физиономиям можно было догадываться, что они чувствуют себя не совсем-то хорошо. Особенно было досадно им это необычное стечение публики, которое одно уже, само по себе, ясно показывало, что вчерашнее словесное распоряжение ав-бейс-дина<sup>2</sup> не сохранилось в тайне и что противники их, узнав о нем заблаговременно, успели предупредить его.

---

<sup>1</sup> Шахрис, или шахрит — утреннее богомоление.

<sup>2</sup> Ав-бейс-дин — председатель кагала и суда, главный раввин. В буквальном смысле — отец судилища.

Но принять против всей этой публики крутые меры, выгнать ее по-вчерашнему, члены кагала сегодня уже не отваживались: это могло бы только породить еще новых недовольных, озлобить большинство, создать новых противников, которые, имея в виду вчерашний опыт, сегодня, пожалуй, оказали бы шамешам и шотрам более серьезное сопротивление. Кагал опасался кровавой свалки и драки в стенах самой синагоги. Но как ни неприятно было присутствие лишней публики, удалять ее казалось ему тем более неполитичным, что вместе с противниками пришлось бы удалить и своих сторонников, а кагал нуждался в их поддержке, потому что ему нужно было, во что бы то ни стало, оправдать себя перед всей общиной. Но он рассчитывал сделать это иначе: он думал, что ему удастся обсудить свое положение келейно, в закрытом заседании, и затем уже опубликовать особым манифестом, во всеобщее сведение, объяснение всех мотивов своих действий, согласно с подходящими статьями и пунктами талмудических постановлений. Увы! Эта надежда, по-видимому, оказывалась тщетной.

Между присутствующими замечалось немалое число сторонников Иссахар Бера, как заведомых, так и предполагаемых: много членов братства «Хевро», еще больше разных хасидов, но самого Иссахара еще не было. Он явился только в конце богомоления и не без труда протискался вперед, к ступеням амвона, с высоты которого обыкновенно раздается слово проповедника. Появление его, видимо, произвело известное впечатление, как между членами кагала, так и в публике, где сейчас же прошла колеблющаяся волна общего движения вперед и пробежал легкий гул сдержанного полусшепота. Почти каждый приподымался на цыпочки и вытягивал шею, чтобы получше разглядеть предмет всеобщего внимания и любопытства. С появлением его напряженное ожидание толпы дошло до крайней степени нервности и нетерпения.

Но вот едва закончилось богомоление, как Иссахар Бср быстро взбежал на амвон и, простерев к народу руки, зычно воскликнул:

— Бней Изроель! — Дети Израиля! Братья мои! К вам мое слово! Прошу внимания!

В народе тотчас же обнаружилось сильное движение и пошел гул возбужденного говора. Кто-то из членов кагала крикнул: «Что за самовольство!?! Долой с амвона! Снять его!» — и шотры с мешуресами уже бросились было исполнять это приказание, как вдруг толпа сторонников Иссахара быстро бросилась вперед, с гвалтом оттеснила шотров и стала живой стеной между амвоном и остальной залой, готовая защищать своего вожака от всяких покушений. У многих из этой толпы виднелись в руках даже кастеты и торчавшие из-под рукава безмены и медные пестики от кухонных ступок,— на случай, если бы шотры, по-вчерашнему, вздумали пустить в ход свои треххвостки и «жезлы Аароновы».

— Шша!.. Тише вы!.. Слушайте!.. Дайте благочестивому мужу сказать свое слово! — раздавались убеждающие возгласы в разных концах залы, тогда как другие, махая



руками, кричали: «Не надо!.. Не хотим!.. Долой его!

В таком положении прошло несколько минут. Общее волнение и гул голосов не унимались. Тогда торжественно и важно поднялся на биму<sup>1</sup> сам ав-бейс-дин, высокоумный раввин Борух Натансон и высоко поднял вверх правую руку, в знак того, что хочет говорить к народу. Вслед за своим председателем поднялись на биму, один за другим, и все остальные члены кагала. Говор, между тем, ввиду поднятой раввинской руки, наполовину стал тише, и раввин, собрав все силы своего старческого голоса, сказал:

— Успокойтесь и слушайте!.. Пусть этот человек на амвоне скажет все, что имеет сказать! Не будем мешать ему!

Такой ловкий прием, менее всего ожидавшийся от представителя обвиняемой стороны, поразил толпу всеобщим удивлением и многих из числа безразличных людей даже расположил в его пользу: во-первых, это-де в высшей степени беспристрастно и великодушно, а во-вторых, значит, кагал не боится и, должно быть, стоит на твердой почве, если так смело решается дать вперед столько шансов своему обвинителю. После этого волнение мало-помалу улеглось, и когда наконец водворилась достаточная тишина, Иссахар Бер начал сразу весьма патетическим ораторским приемом:

— Я оглушен общим ропотом против неслыханного, небывалого нарушения святости субботы, и кем же? — Теми, кто наиболее строго и точно обязан блюсти ее!.. О, горе, горе Израилю!.. Этот величайший из великих грехов может на целые тысячелетия отдалить геула<sup>2</sup>, даже совсем отвратить от Израиля лицо Господа — Гашем йисборейх!<sup>3</sup> Талмуд учит нас, что кто нарушает публично субботние обряды, тот считается, как аким<sup>4</sup>. Или забыли это вы,— вы, члены пречистого кагала?! Скажите, что сделали вы вчера, во имя кого и чего решились вы взять такой ужасный грех, не только на свои души, но навести его черную тень и на других, на всю нашу злополучную общину, которая, в силу вашего херима, была принуждена совершать вчера куплю и продажу, брать деньги, писать документы, испытывать соблазн и смятение духа, вместо того, чтобы пребывать в светлорадостном спокойствии и молитве?.. Что случилось такого особенного, из-за чего вы посягнули на это страшное преступление? Что какая-то девка со своим любовником сбежала в монастырь?.. Только-то??. Отчего же вы раньше никогда не подымали такого гвалта, когда другие девки сбегали? — А ведь такие случаи бывали. — Отчего вы тогда не принимали и сотой доли тех мер,

---

<sup>1</sup> Бима — возвышенная эстрада посреди залы, с которой читаются во время богомоления Тора и Пророки.

<sup>2</sup> Под словом геула понимается у евреев пришествие Мессии, долженствующее сделать их владыками вселенной.

<sup>3</sup> Да будет благословенно имя Его!

<sup>4</sup> Аким — христианин, т.е. человек, хуже и презреннее которого нет для еврея.

что вчера, несмотря даже на то, что такие побеги к ленухрим<sup>1</sup> случались и в будни?.. Да, я понимаю,— это все оттого, что то были девки простые, плебейских или бедных семей, а тут вдруг объявилась девка-аристократка, внучка известного гвира, родовитого богача-миллионера. Поэтому? Да?.. Небось, сбегі моя дочь — хас вешолаум!<sup>2</sup> — вы бы и пальца о палец не ударили, чтобы спасти ее, а тут вдруг и самую субботу даже нашли возможным нарушить! Почему так? — Отвечайте!.. Молчите?.. Ну, так я отвечу за вас. Потому что вы — презренные холопы, Хамы нечестивые, надругавшиеся над отцом своим Ноахом в лице всего еврейства настоящего, прошедшего и будущего! Оттого, что вы не евреи, не слуги Господа и народа избранного, а слуги Ваала, пресмыкатели перед тельцом золотым — вот вы кто, нечестивцы! Акимы вы, гойи!.. Поэтому и суббота для вас ничто; вы ее и за ломаный шелег продать готовы. Господи, Боже наш, Бог Израилев! И это наши избранники,— Ты видишь их,— наши «представители», наши «лучшие люди»!.. Ха, ха, ха!.. Позор... позор!.. Душа моя покрыта пеплом скорби... И Ты, о Господи, сносишь еще в долготерпении Своем их присутствие в этом месте?! И Ты не сотрешь их с лица земли ударом Твоего громоносного гнева?! О, ад-моссай, ад-моссай,— доколе еще сносить нам такое нечестие, такое попрание святого Твоего закона, такое поругание священнейших установлений вождя и пророка нашего Мойше — олов гашалом<sup>3</sup> — и всех отеческих заветов!.. Плачь, Израиль, сокрушайся, рви на себе одежду скорби, посыпь главу свою пеплом и возгорись праведным гневом — ты никогда еще не был посрамлен и оскорблен более, чем ныне. Шилхен Урих<sup>4</sup> глава 72-я, гласит, что суббота столь же важна, сколько все заповеди Божьи, вместе взятые, и что поэтому кто соблюдает субботу, как следует, тому воздастся за это, как бы за выполнение всего закона; кто же нарушает правила субботы, тот поступает как отступник от всего закона. На основании сего, объявляю вас, весь Совет Украинского кагала, в полном его составе — мойхалым шаббес, нарушителями и осквернителями субботы, отступниками от святого закона еврейского, и торжественно, во всеуслышание заявляю вам, что отныне ни единый честный и богобоязненный человек, не только нашей, но и никакой общины не может признавать вас кагалом, и не будет более повиноваться никаким вашим постановлениям. Долой с бимы, богоотступники! Вон отсюда, нечестивцы!

— Вон! Вон!.. Не признаем вас больше! — раздались вдруг горячие крики в толпе сторонников Иссахара. — Вон! Долой!.. Собрать асифа!.. Асифа!.. Пусть

---

<sup>1</sup> К чужим, иноверцам.

<sup>2</sup> Сохрани Боже!

<sup>3</sup> Блаженной памяти, или мир его праху — выражение, всегда прибавляемое к имени святых и пророков, чтимых евреями.

<sup>4</sup> Собственно Шулхон Орух, но наши южные евреи, отличаясь от северных несколько иным произношением, говорят Шилхен Урих.

назначает новые выборы!

Опять поднялся общий гам, и пошла сумятица, и снова поднял вверх свою руку Борух Натансон. Но теперь унять толпу оказалось гораздо труднее, тем более, что и на многих сторонников кагала речь Иссахара навела раздумье и сомнения в законности действий Совета. Иссахар торжествовал и считал уже свою битву выигранной. Одни кричали за него, другие против, но последние были уже в меньшинстве, и дело ежеминутно грозило дойти до общей свалки. Еврейские «бегулес» и «махлейкес» — то есть смуты и раздоры, казалось, достигли полного разгара. Тщетно раздавались с бимы громкие удары кожаной хлопушки, чтобы возбудить внимание толпы; тщетно шамеши и шотры молили эту возбужденную толпу успокоиться хоть на время и выслушать оправдания и доводы другой стороны... Наконец-то, после долгих усилий, ав-бейс-дину удалось восстановить спокойствие настолько, что стало возможно держать к собранию слово.

— Вы требуете асифа? — начал Борух Натансон. — Хорошо, будь по-вашему, мы соберем его. Но прежде во имя справедливости и беспристрастия вы должны выслушать и нас, как мы слушали вашего витию. Он сказал все, что ему хотелось, и Совет пречистого кагала, сильный сознанием своей правоты, не только не прервал его ни разу, но с кротостью и смирением, подобающими чистой совести, имел терпение выслушать до конца все неслыханные оскорбления и поносные ругательства этого человека. Опираясь на Талмуд, человек этот говорит, будто кагал нарушил субботу. Это неправда. Тот же Талмуд и великие учителя наши, Маймонид и другие свидетельствуют иное...

— Хасиды не признают Маймонида, — резко перебил оратора Иссахар Бер. — По уставу хасидов, мудрования его считаются под запретом, и ссылки на него для нас не обязательны<sup>1</sup>.

— Когда хасидам на руку, они его признают, когда же нет — отвергают, мы это знаем. Но хасиды не суть еще все еврейство, — спокойно возразил ему раввин! — Еврейство признает его. Мы же стоим на твердой почве еврейства, а не на зыбкой поверхности той или другой партии. Итак, раббосай, — продолжал он, — великие учителя еврейства свидетельствуют иное. Пусть тот, кто знаком с Талмудом, заглянет в трактат «Иума», в трактаты Маймонида о субботе и запрещениях, и он найдет там ясное толкование, что никакая работа не возбраняется в день субботний, когда есть секонас-нефошос — опасность жизни, или опасность для души еврейской. В субботу разрешается помогать больному, тушить пожар,

---

<sup>1</sup> Маймонид — еврейский ученый, мыслитель, философ, медик и теолог. Г. Богров («Записки еврея», стр. 7, изд. 1874) говорит, что сочинения Маймонида по всем исчисленным предметам так противоречивы, что, читая одно, полагаешь иметь дело с вольнодумцем, тогда как в другом сочинении он — ярый поклонник Талмуда. Ставя его на степень великого авторитета, хасиды вместе с тем презирают некоторые из его сочинений и, по своему уставу, относят книгу его к числу запрещенных.

сражаться против врагов отечества и т. д. Гаоны<sup>1</sup> наши говорят: «Суббота, как и другие заповеди, преступаются, если только соблюдение оных может стоить нам или другим жизни» и «Тот достоин хвалы, кто, преступая субботу, спешит на помощь находящимся в опасности». В подлежащем случае имеются налицо все данные, чтобы не только оправдать нарушение субботы, но и заслужить хвалу за это».

Среди хасидов раздались насмешливые и негодующие возгласы протеста.

— Позвольте, не торопитесь с вашими возгласами!— спокойно остановил их раввин.— Здесь была явная опасность и для жизни, и для души еврейской. В этом случае чуть не лишилась жизни достойная фрау Сарра, супруга досточтимого реб Соломона Бендавида, да и сам он был на краю той же опасности.

— Это дело доктора, а не ваше. Доктор и подал ей помощь,— грубо перебил раввина Иссахар Бер.

— Талмуд не понимает секонас-нефошос так узко, как угодно этому человеку,— продолжал Борух Натансон, с тою же замечательною выдержкой хладнокровия.— Талмуд, к счастью для евреев, понимает опасность не только физическую, для тела, но и моральную, для души. А разве нет такой опасности, когда живая, Богом вдохнутая, еврейская душа готова погибнуть для еврейства, для нашей святой религии и обратиться в нечестие, в конечную гибель? Во что же мы ценили бы тогда это дыхание Божие?!.. Разве не должны все мы всемерно стремиться спасти ее, удержать на краю пропасти, сохранить ее для еврейства?.. Если мы молимся и читаем особый кадеш<sup>2</sup> за души наших усопших, дабы облегчить им поднятие хотя бы на одну ступень из мрака кафакала<sup>3</sup> ко свету престола Господня, то как же было допустить гибель души живого существа человеческого, души еще не пропавшей, не осужденной, а только стремящейся в преисподнюю, к нравственному самоубийству?.. Душа этой несчастной девушки — заблудшая душа, стоящая на пути потемнения рассудка. Это — то же помешательство, сумасшествие или, как говорят ныне, невменяемый аффект страсти. Ну, а сумасшествие — болезнь, вы сами это знаете. Стало быть, мы обязаны подать помощь болящему, ибо сказано: «Не должно колебаться и медлить ни на минуту для совершения в субботу всякой работы ради больного».

— Бефереиш! Ясно, толково сказано! Очень хорошо! Верно! — раздались сочувствующие возгласы с разных сторон залы. Хасиды молчали и пасмурно переглядывались между собою, не находя подходящего возражения.

— Иду далее,— продолжал, между тем, раввин.— Разрешено тушить пожар и сражаться против врагов отечества. Но что разуметь под «пожаром» и «врагами»? Один ли только

---

<sup>1</sup> Гаоны — великие учителя, мудрецы.

<sup>2</sup> Кадеш — заупокойная молитва.

<sup>3</sup> Кафакал — блуждающее состояние душ грешников, не осужденных еще в ад, но не попадающих и на небо.

пожар материального достояния нашего отводимого огня и одних ли только солдат неприятельской армии? — Нет, всякий пожар — пожар лжемудрых и вольнодумных идей, пожар суесловия, пожар строптивости, возмущения и бунта, пожар преступных и пагубных страстей, а в том числе и страсти беззаконного любовного увлечения, и т. д. Вот против этого- то пожара страсти, охватившего больную душу несчастной девушки, мы и боремся, мы и стремимся потушить его. Для Этого и были вчера приняты против нее сильные и решительные меры, благодаря которым она, с Божьей помощью, быть может, образумится. Затем, что до «врагов отечества», то, увы! — отечества у нас нет в настоящее время, куда Израиль несет иго голуса. Наше отечество ныне — это наши еврейские общины, рассеянные по лицу земли, и у этих общин есть свои заклятые враги, явные и тайные, и не только между неверными, но, к несчастью, и между своими. Один из таких врагов явился соблазнителем названной душевнобольной девицы, чтобы окончательно погубить ее душу и завладеть ее громадным состоянием, которое, если б ему удалось его козни, было бы навеки потеряно для еврейства. Сколько наших бедных лишились бы помощи! Сколько прекрасных благотворительных и просветительных дел и учреждений не осуществились бы!.. Памятуя священный принцип еврейства «один за всех и все за одного», скажите сами, должны ли мы были бороться против такого врага, или нет?.. Отвечайте!.. Должны ли мы были сидеть сложа руки и ждать, когда время не терпит, когда дорог не только день, но каждый час, каждая минута?.. Что ж молчите вы?!.. Отвечайте, должны или нет, по- вашему?

Но ответ аудитории сказался лишь в ее смущенном молчании. Головы оставались потупленными, глаза опущенными в землю. При виде такого настроения толпы, Иссахар Бер, весь бледный, дрожал от волнения и кидал вокруг себя злобные и растерянные взгляды. Он ждал и искал между друзьями поддержки, столь необходимой именно в эту критическую минуту,— друзья безмолствовали.

— А, вы молчите, вам нечего сказать! — воскликнул торжествующий раввин.— Что ж, благодарите Господа,— стало быть, в вас есть еще здравый смысл и совесть. Нехорошо, дети Израиля!.. Стыдно!.. Стыдно лишать своего доверия тех, кто всю душу за вас полагает. Но вы раскаиваетесь, я вижу это по глазам вашим, и это мирит меня с вами. Ну, а что до обвинения нас в разрешении, якобы, купли и продажи,— продолжал он уже изменившимся, почти небрежным и слегка насмешливым тоном,— то обвинения эти, после всего мною сказанного, так ничтожны, так жалки, что на них, по- настоящему, и возражать-то не стоило бы. Но все равно, заодно уже! деньги воспрещается брать в субботу голыми руками. Да, воспрещается, это верно. Ну, а если твои руки в перчатках, можно ли назвать их голыми? Или если ты принимаешь монету в полу одежды твоей, или в какой-либо сосуд, например, в блюдечко, и с блюдечка, не касаясь сам до нее руками, спускаешь ее в твой кассовый ящик, как делает в день

субботний сам суровый наш обвинитель, что нам доподлинно известно,— значит ли это, что ты брал деньги руками твоими? Конечно, строго говоря, в шабаш все грех, даже и то, что еврей делает майгл<sup>1</sup>, но может ли, по законам природы, человек избежать своей собственной тени! Ведь для этого пришлось бы и в пятницу не зажигать шабашовых светильников,— стало быть, прямо не исполнять закон, а Господь Бог должен был бы запретить солнцу своему светить по субботам. Так точно и это. Да и, наконец, Талмуд говорит только о деньгах металлических, а не о бумажках и документах, бумажка же не есть собственно деньги, а только кредитный документ государственного банка, которому ты волен верить или не верить. Монета — иное дело, монета, раз что она не фальшивая, имеет свою постоянную, незыблемую ценность, а курс на бумажки подвержен биржевым колебаниям, и объявись государственный банк банкротом, ты за все твои бумажки ни гроша не получишь. Стало быть, бумажка не деньги, и принять или отдать ее, хотя бы даже голою рукою, может и не считаться нарушением закона.

Последний аргумент, разыгравшийся на самой чувствительной и достолюбезной для евреев струнке, не только успокоил, но даже приятно развеселил аудиторию, которая ответила на него легким гулом единодушного смеха, видимо, выражавшего удовольствие и чувство внутреннего удовлетворения. После таких «неотразимых» аргументов, ловко подкупавших инстинкты своекорыстия и стяжательности, еврейская совесть примирилась с фактом вчерашних нарушений субботы.

— Ага! Верблюду захотелось иметь рога, ему обрезали уши<sup>2</sup>,— громко заметил кто-то из сторонников кагала. Все поняли, что это по адресу Иссахара Бера и расхохотались. Иссахар побледнел еще больше от злости. Полчаса назад уже торжествовавший свою победу, он понял, что этот смех — вернейший признак его поражения.

В это время выступил вперед шамеш-гакагал, с открытым пинкесом в руках, и громко заявил, что он тоже «имеет сказать свое слово», а затем объяснил «всему благородному и благочестивому собранию», что хотя известные постановления Совета и были сделаны, в силу чрезвычайных обстоятельств, вчера, но запись о них в пинкесе значится под сегодняшним числом,— вот, глядите и читайте сами: «Первый день недели,

---

<sup>1</sup> Суббота у евреев, по свидетельству г. Г. Багрова (стр. 19), пользуется таким невообразимым изобилием запрещений, что нет почти человеческой возможности по субботам ступить ногой, сделать малейшее движение, раскрыть рот, произнести звук, чтобы не согрешить при этом против Гилхес Шаббас (устав субботний). Ступил нечаянно еврей ногою в рыхлую землю — грех, нечаянно скрипнул стулом или дверью — грех, нечаянно убил насекомое, сломал соломинку, порвал волос — грех, грех и грех. Чтобы как-нибудь не согрешить в субботу, еврею следовало бы висеть целые сутки в воздухе, безгласно и неподвижно, но и тогда он согрешил бы, потому что он своею особой делает тень — майгл, а это тоже грех.

<sup>2</sup> Талмудическая пословица.

Отдел Бейалейско, 18 Сивана 5636 года»<sup>1</sup>.

— Это ложь! Обман! Подлог! — завопил с амвона Иссахар Бер, понимая, что эту канцелярской уловкой предусмотрительный катальный нотариус сбивает его и с последней боевой позиции.— Писали вчера,— надрывался он во все горло, обращаясь к толпе;— да, вчера, а выставили сегодняшнее число, чтобы не было формальной улики!.. Не только народ морочат, самого Господа Бога обмануть хотят!.. Я утверждаю, что это подлог!

— Подлог? — иронически обратился к нему шамеш.— Его честь изволит говорить «подлог»? Его честь может доказать это?.. Было бы очень любопытно послушать — его честь так хорошо доказывает. Докажите, пожалуйста!

— Подлог! Наглый подлог! — вопил, между тем, вконец обозленный Иссахар, теряя последнее самообладание.

— Никто доказать этого не может,— спокойно отвечал ему шамеш.— Никто! Потому что запись сделана мною уже по заходе шабаша. Свидетельствуюсь, раббосай, вами всеми,— обратился он к толпе,— что реб Иссахар Бер своими словами нанес тяжкое оскорбление моей чести, за которое я призываю его к суду бейс-дина.

— Куда хотите! Хоть к отцу вашему, дьяволу! — сильно жестикулируя и вне себя от бешенства, кричал Иссахар охриплым, надорванным голосом.— Все вы мерзавцы, мошенники!.. Я не боюсь вас и ни одному вашему слову не верю!.. Все, что вы здесь говорили, все это ложь, софизмы, натяжки!.. Я протестую против таких бесстыдных доводов!.. Я предаю поступок ваш гласности, я обращусь открытым письмом ко всем нашим цадикам<sup>2</sup>, ко всем гаонам всех четырех стран света, и пусть они рассудят между нами!

Некоторые из наиболее горячих и убежденных сторонников Иссахара снова было заволновались и подняли говор и «галлас»; но в это самое время послышались вдруг какие-то новые крики, не внутри, а снаружи бейс-гакнесета. То были громкие вопли паники, скорби и отчаяния, где сливались голоса детей, мужчин и женщин,— и в ту же минуту в синагогу ворвалась со двора толпа бледных, окровавленных

---

<sup>1</sup> При общественных богомолениях, три раза в неделю, а именно: по понедельникам, четвергам и субботам, равно и в праздники, совершается чтение из Торы. Для этой цели, согласно числу субботних дней в году, все Пятикнижие разделяется на 54 отдела (сидрос), из коих один, иногда два (указанные в еврейском календаре) читаются каждую субботу в синагогах и молитвенных домах, так что вся священная Тора должна быть прочитана в течение года. Для этих чтений каждый отдел разделяется, в свою очередь, на отделения — наршос, и носит свое особое название, напр. Берешит, Ноах, Лех, Ваэра и т. д. Именем отдела обозначается вся неделя, предшествующая субботе. В годы, заключающие в себе 55. субботних дней, отдел Шемина читается два раза. Первый же отдел Пятикнижия (Берешит) читается осенью, в первую субботу после праздника Кущей, знаменуя собою начало еврейского года.

<sup>2</sup> Цадики — современные еврейские святые и чудотворцы.

и ошалелых от ужаса людей.

— Ой-вай!.. Вай-мир!.. Гевалт! — неистово вопили они дикими, перепуганными голосами.— Спасайтесь! Спасайтесь! Беда! Нас бьют и грабят... врываются в дома, ломают лавки... Погром!.. Погром всеобщий!..

— Кто?.. Где?.. Что такое? — вопрошали их всполошенные члены кагала и другие лица.

— Акимы, гойи бьют и режут... Разорили базар, шинки поразбивали... преследуют по всем улицам... Цорес!.. цорес грейсе!.. Конец Израилю! Михшауль — погибель!..

Вид ворвавшихся в синагогу людей был ужасен. У одних — изодранные и перепачканные грязью и кровью одежды, у других — синяки под глазами, или разбитые в кровь носы и зубы, вырванные наполовину бороды, исцарапанные лица и руки... Все это слишком красноречиво свидетельствовало о какой-то страшной, нежданно стрясшейся беде и как будто пророчило еще большие беды. Вой, стон, плач и рыдания оглашали стены молитвенной залы. У всех присутствующих дрогнуло сердце.— Рибоно шель олом!<sup>1</sup> Что там такое?!.. За что?.. Зачем?.. Почему?.. У каждого из них есть свой дом, своя семья, малые дети,— что с ними в эту минуту? Целы ли, живы ли? Господи Боже!..

И вся синагога, как один человек, стремительно бросилась к выходу спасать свои дома и семьи.

## XXVI. ЕВРЕЙСКИЙ ПОГРОМ

После того как полиция прогнала от женского монастыря толпу еврейских эшеботников и приставила к обоим монастырским воротам временные посты, беспорядки больше не возобновлялись. Остальной день прошел на улицах совершенно спокойно, и потому вечером губернатор разрешил полицмейстеру снять к ночи оба монастырских поста, ввиду вообще недостаточного числа полицейской силы в городе. Ночь прошла тоже в полном спокойствии.

Настало ясное утро воскресного дня,— и в город со всех окрестностей потянулись на волах крестьянские возы, нагруженные дровами, сеном и другими сельскими продуктами, так как по воскресеньям в Украинске, на базарной площади, обыкновенно открывали большой торг, в силу давным-давно уже установившегося обычая. Вместе с возами шло в город немало и сельского люда в праздничных нарядах. Многие бабы несли на продажу кур, сметану да яйца или рядно собственного тканья, а из мужиков — иной тащил на смычке Залипшего бычка, тот гнал поросят, этот гусей или «качек»; большинство же просто брело себе без ничего, с дымящимися люльками в зубах, степенно опираясь на дубинки, а кто помоложе — на батожки, и мирно балакая сосед с соседом.

---

<sup>1</sup> Создатель мира! — Одно из обычных еврейских восклицаний.



Шел весь этот люд, как всегда по воскресеньям, отстоять в соборе обедню и там власть послушать архиерейских певчих, а затем потолкаться по базару, купить чего-нибудь в лавках, - выпить с приятелем кручок горилки в шинке, погулять на народе, на людей посмотреть и себя показать.

Ряды возов уже громоздились на площади, и зоркие жидки пронируливо шныряли между ними, приглядываясь, принохиваясь и приценяясь к тому или другому сельскому товару, в то время как полицейские чины с базарными старостами устанавливали там и сям известный порядок между вновь прибывшими возами. Множество крестьянских баб в очипках с намитками, молодиц в ярких хустках на голове и девчат с цветущими барвинками, васылями и бархатцами в волосах,— все в чистых сорочках и в распахнутых белых свитках-сукныцях поверх шерстяных плахт и спидныц, со множеством монист и коралек на шее,— расселись говорливыми группами на траве соборного сквера и, в ожидании, когда ударят к обедне, обували свои босые ноги в шерстяные чулки и новые башмаки или чоботы, бережно пронесенные всю дорогу в руках, до этого самого места. Между ними виднелось немало и молодых парубков в смазных чоботах и смушковых шапках; иные из подгородных щеголяли даже по-городскому, в картузах и новомодных «спинжаках», или в синих сюртуках с короткою талией. Но большинство парубков держалось отдельно, своими особыми кучками, и занималось более всего разглядыванием висящих на колокольне «дзвонов», решая внизу, «який дзвон мусить быть важчий, який гучний и який самый тонёсенкий?» Все это предвещало, как и всегда, самый мирный и оживленный праздник.

Но вот, по базару и скверу пошли мало-помалу смутные слухи и разговоры, будто в женском монастыре кто-то ночью вымазал святые ворота дегтем и перепачкал грязью, даже хуже чем грязью, написанные на них святые лики.— А известно, что значит у южно-русского народа смазать дегтем чьи- либо ворота. Кто мог сделать такую мерзость и зачем? — невольно возникали в народе вопросы.— Кому же, кроме жидов! — было на это всеобщим, единомысленным ответом, и в подтверждение такого заключения, некоторые из горожан здесь же, на площади, сообщали, что вчера еще «жадюга» нападала на монастырь, разбила над вратами образ и убила камнем одну монашенку,— больно много уж воли дали жидам! Совсем сели да поехали на крещеном народе!.. Все эти разговоры и слухи, передаваясь из уст в уста, сделались вскоре достоянием всего базара. У нескольких парубков и баб явилась охота самим пойти к монастырю, чтобы собственными глазами убедиться, правда ли это? Отправились.

А перед монастырем, против святых ворот, в это время стояла уже толпа человек до ста разного взрослого еврейского сброда, поощренного вчерашней безнаказанностью. Вчера никому ничего не сделали, никого не забрали, не засадили в кутузку, не искали зачинщиков — разогнали только — значит, можно! Валяй!.. Наиболее пыльные из эшеботников и гимназистов, на основании такой безнаказанности, пришли даже

к убеждению, что их боятся, и потому ничего им сделать не посмеют. Мы-де в своем праве протестовать и требовать удовлетворения,— пускай возвратят нам нашу еврейку.

В разношерстной толпе взрослых, молодых и средних лет людей виднелись и лапсердаки еврейских рабочих, и длиннополые сюртуки ремесленников, и «цивильные» костюмы более «цивилизованных» евреев, даже несколько форменных гимназических фуражек; но преобладающим элементом, более чем на половину, являлась все-таки еврейская чернь, из числа поденщиков, носильщиков, крючников и тому подобного люда, существующего мускульным трудом и уличными «профессиями». Толпа эта стояла пока спокойно, но, видимо, издевалась над чем-то и науськивала голоштаных жиденят в ермолках и лапсердаках, поощряя их выходки смехом и одобрительными возгласами. Уличные мальчишки взапуски швыряли в ворота комками грязи и камнями, вертелись перед ними, как стая чертенят, вприпрыжку и вприпляску, и кричали: «Шварце тыме! Шварце тыме!.. Бейс-гойим и сах Адоиной!»<sup>1</sup> или напевали нестройными крикливыми голосенками известные каждому школьнику песни: «Какк ин клештер мах ацейлем» и «Цейлем фацейлем, а тохес ацейлем, ун галэ гунд»<sup>2</sup>. Случайные и редкие прохожие из христиан приостанавливались на минутку в изумлении, при виде этой кривляющейся толпы и, не понимая, в чем дело, или только удивлялись про себя: — где же, мол, эта полиция и чего она смотрит! — проходили мимо, тогда как другие, держась поодаль, оставались на месте и ждали, что будет дальше. Но скромное присутствие пяти-шести таких человек нисколько не смущало толпу еврейских озорников; напротив, это бездействие, это отсутствие протеста со стороны таких случайных свидетелей как бы подмывало их еще более показывать свою удаль.

В это-то время подвалившая с базара кучка парубков и женщин приблизилась к монастырю и видит воочию разбитое стекло на образе, мазки дегтя на воротах, лики святых угодников, забросанные грязью, и эту самодовольно издевающуюся ораву. Чувство негодования охватило крестьян, пораженных видом такого безобразия.

— Господы Боже ж мий! Що се таке? — качая головами и крестясь, загомонили возмущенные женщины.— Хиба ж начальство не бачить?!.. Чи то ж можно так?!.. Яку шкоду наробыли, та-й ще рыгочуть!.. Хлопци! Та чого ж вы мовчки стоите? Та накладыть бо им, пархатым, по горбу!

— Гэть видсюды! До биса, псяюха! — кинулись на жидовскую ораву подзадоренные парубки и стали здорово накладывать, кому по чем попало, и по шеям, и по морде.

Евреи было подались сначала, но видя себя в большинстве,

---

<sup>1</sup> Черная нечисть (т.е. монастырь и монахини). Дом гойев (т.е. церковь) Бог сокрушит! Последнее изречение из Притчей Соломоновых, гл. XV, 25, примененное евреями к современности.

<sup>2</sup> Приведенные стихи, хорошо известные каждому еврею, начиная от самого закоренелого невежды и фанатика и до самых образованных, заключают в себе хулы на св. Крест.

остановились и, в свою очередь, подзадоренные кем-то из своих, бросились с кулаками и камнями на парубков. Завязалась горячая драка. Сознывая перевес силы на своей стороне, озлобленные евреи вошли в азарт и дружным натиском поперли христиан к базару. При этом досталось от них и женщинам. Некоторые из последних, опередив своих отступавших и отбивавшихся парубков, первыми прибежали в полурастерзанном виде на базар и подняли крик: «Рятуйте, хто в Бога вируе! Жиды наших хлопцов бьют!»

Как нарочно, в это самое время, на базарной площади, какой-то пьяный великоросс рабочий был вытолкнут взащей из жидовского шинка на улицу, и так неудачно, что, при падении со всех ног расквасил себе нос до крови.

— Братцы! Народ хрещеный! — слезно взмолился и завопил он, поднявшись кое-как на ноги.— За что же так?!.. Майстрового человека бьют.. Сами, значит, обсчитали, сами ограбили, да еще — во как, в кровь...

Сторону пьяненького собрата тотчас же приняли другие великорусские рабочие,— а было их тут немало: и железнодорожные, и фабричные с сахарозаводскими, и землекопы. Пошел промеж них ропот: «Что ж это, и в сам-деле! Жид ноне Рассею уж обижать стал,— нешто это порядок?!.. Да чего глядеть-то им в зубы!.. Проучить жидову! На царап ее! Не дадим рассейских в обиду!.. Нут-ка! На уру!..

И живо образовавшаяся толпа рабочих бросилась разбивать жидовский шинок, из которого за минуту пред сим был вышвырнут их сотоварищ.

Этот момент случайно совпал с криком прибежавших от монастыря женщин. Вопли их подняли на ноги и всю малорусскую публику. Раздались по базару призывные крики: «Гей, панове-громада! Жиды церкву разбыли! Святой хрест спаскудыли! наших хлопцив бьют!.. Гайда жидыв бить».— И одна гурьба бросилась на выручку своих отступавших парубков, другая стала тут же, на площади, бить жидов-торговцев, скупщиков и перекупщиков, разбивая и разнося в размет их ятки, лари и рундуки, а затем накинулась на скученные вокруг базара мелкие лавчонки со всякой всячиной,— и через несколько минут вся еврейская торговля, как на площади, так и в окружающих ее лавочках, уже не существовала. Работавшие сначала как бы вразброд, независимо одни от других, хохлы и «кацапы»<sup>1</sup>, покончив с базаром, соединились в общую дружную массу и разлились отдельными толпами по разным, выходящим на площадь, улицам, направляясь в особенности в узкие и тесные еврейские кварталы. В улицах слышался глухой шум, гул и стук от спешно запиравшихся еврейских лавок и магазинов и раздавались тревожные крики, мешавшиеся с перекатным «ура» наступавших крестьян и рабочих. Позатворив лавки, евреи спешили расходиться по домам, но толпа кидалась вслед за бегущими. Впереди ее, по большей части, работали мальчишки и подростки, выбивая на пути стекла в еврейских домах и магазинах. Евреи торопливо

---

<sup>1</sup> Так на Украине зовут великорусам.

запирали у себя ставни, ворота и двери, и старались запрятаться на чердаках, в подвалах или в домах и квартирах обывателей-христиан, в особенности у русских. Видя, что в этих квартирах, как и в русских домах, выставлены в окнах образа, и что-то толпа, яростно набрасываясь только на еврейские дома и лавки, заботливо обходит тут же, рядом, отворенные магазины русских купцов, где все товары оставались на выставке, в обыкновенном порядке, и где хозяева нисколько не боялись за свою безопасность,— более состоятельные евреи молили русских снабдить их на время своими образами и предлагали купцам за подержание икон большие деньги. Кроме того, они усердно чертили мелом на своих дверях и воротах кресты, забыв, что изображением этого ненавистного им «шесы-войэрев» наносят величайшее оскорбление своим собственным верованиям, и вымаливали у русских купцов отпустить к ним за деньги своих приказчиков, в том расчете, что авось-либо толпа, увидя за прилавком русского человека, примет и лавку за русскую. Но толпу обмануть было трудно: она чутьем угадывала, и всегда безошибочно, что действительно принадлежит христианам и что жидам. Не трогая ничего у первых, она останавливалась перед каждой еврейской лавкой или магазином и, прежде всего, при помощи камней из разобранной мостовой, разбивала у ставен и дверей железные болты и запоры, сбивала замки, или просто высаживала теми же болтами и кольями дверь, открывая себе таким образом вход вовнутрь помещения. Те, кто были ближе и руководили атакой, входили первыми в магазин и выбрасывали товары на улицу толпе, тесно облежавшей вход. Все, что попадало в ее руки, немедленно ломалось, разрывалось на части и в испорченном, исковерканном виде топталось на мостовой. Целые штуки голландских полотен, сукна и материй предварительно надрезывались вдоль на несколько частей, затем раздирались и смешивались с грязью. Из бакалейных складов вылетали и бились вдребезги бутылки шампанского, ликеров, дорогих вин и прованского масла, банки с вареньем и разные консервы, бочонки и ящики со сладостями, пряностями, сигарами и сушеными фруктами; головы сахара кидались в сточные канавы, цибики чая и бочки кофе рассыпались по улице. В шинках и винных подвалах разбивались и выливались на землю бочки с водкой, так что в подвалах этих люди ходили буквально по колена в «жидывьской горилци». Прилежавшая к базару Соборная улица, на которой находились лучшие магазины, положительно сплошь была устлана перепачканными коврами, мехами, сукнами, бархатом, шелковыми и другими материями, кружевами и лентами. Все, что не могло быть втоптанно в прах и в грязь водосточных канавок, несло на базар и там втискивалось в бочки с дегтем. Осколки фарфора и хрусталя из посудных лавок, духи и косметика, разные изящные вещицы и «галантереи», принадлежности мужского и дамского туалетов,— покрывали все тротуары, всю улицу. Медная и жестяная посуда, кастрюли и самовары летали как мячи и бросались о камни до тех пор, пока не принимали вид бесформенного металла...

Покончив где-либо с нижним этажом, несколько вожаков, по внутренним лестницам, а мальчишки даже по водосточным трубам, добирались до верхнего этажа. Стоящая внизу толпа несколько отступала, в ожидании, чем-то сейчас обнаружится верхняя деятельность застрельщиков. Эти же не заставляли долго ждать ее результатов: быстро, со звоном и дребезгом, вылетали одна за другой несколько оконных рам, и вслед за тем на улицу летело все, что могло пролезть в окна; остальное же портилось на месте. Письменные столы и денежные кассы взламывались и опустошались. Все, что там хранилось — документы, банковые и деловые бумаги, коммерческие и иные книги, записи и счета, даже кредитные бумажки — все это разрывалось в мелкие клочки и пускалось по ветру. — «Не добром нажите, не добром и погине!» — говорили при этом крестьяне. Появление в разбитых окнах ценных и громоздких вещей, вроде люстр, зеркал и ваз, или столов, пианино и швейных машин, шумно приветствовалось радостными криками толпы, которая доканчивала внизу разрушение этих предметов. Но наиболее оживленную веселость возбуждали те минуты, когда появлялись в окнах «жидывьски бѣбехи» — подушки и перины, и из них выпускали тучи мягкого пуха, долго носившегося потом в воздухе и покрывшего собою крыши, деревья и улицы, точно снегом. «Ото жидывьска зима!» острили между собою крестьяне. Бебехам еврейским доставалось чуть ли не больше всего остального.

Проходя всесметающим ураганом по улицам, великорусов в толпе обыкновенно шли впереди, сильно жестикулируя и ободряя других: «Не отставай, братцы! Вали дружнее!..

Раз, два, три, бери! Ура-а!» — Малороссы не отстают, но идут спокойно и, принявшись за работу, продолжают ее не горячась, с настойчивостью и уверенностью в успехе. «Кацапы», соединясь с «хохлами», как бы восполняли друг друга: первые начинали и производили погром наскоро, быстро, лишь бы успеть разгромить побольше домов и лавок; вторые — шли за ними и разрушали, но так, что после них не оставалось уже ровно ничего, что можно было бы еще испортить. В тех домах, которых коснулась их рука, уцелели буквально одни лишь полы да стены; все же остальное — окна, рамы, двери, посуда, одежда и рухлядь — все это разрушено, поломано, выкинуто и изодрано. Женщины неистовствовали не менее мужчин. — «А то за усе вже разом, тряця их матери!» — И замечательно, что несмотря на совершаемые бесчинства, настроение толпы, в общем, было вовсе не злое, — напротив, скорее веселое, даже, можно сказать, добродушное. Побои, более или менее жестокие, ограничивались только первыми минутами, когда надо было отстоять своих и отомстить за «майстрового человека», но затем, толпа уже не была, кроме как при встрече со стороны евреев особого сопротивления, а только истребляла товары и имущество. — «Та я б его й не бив, може вин и добрый чоловик; та дѣ ж там було взноваты, який вин! Хиба ж я винен, що вин жидом вродывся!» оправдывались потом арестованные крестьяне. Вообще, видно было, что против каждого еврея, в отдельности, толпа и

ничего, пожалуй, не имеет, а тешится и кружит коршуном над «жидовством» вообще, вымещая на нем заодно уже все, что накопело долгими годами от него на крестьянской шкуре, все жидовское презрение к ней, все плутни, обман, обмер, недовес, экономический гнет шинкарей и «посессоров» и всяческую эксплуатацию.

Погром начался около десяти часов утра, когда не начинали еще благовестить к обеду. Узнав о «беспорядках», начальство страшно переполошилось. Губернатор в первую минуту совсем было потерял голову и не знал, что делать, на что решиться. Полицмейстер поставил на ноги весь штат городской полиции; но что могли тут сделать какие-нибудь два-три десятка городских и пожарных!.. Наконец, супруга надумала «Мон-Симона» обратиться к помощи войска. Он тотчас же полетел к командирам уланского полка и стрелкового батальона и потребовал от них содействия для усмирения «бунта», последствием которого может быть «социальная революция». В городе, при штабе полка, находились только дежурный эскадрон да учебная команда, которые тотчас же были выведены по тревоге в конный строй, а остальным эскадронам, расположенным по деревням, посланы с нарочными повестки о немедленном прибытии в город. Батальон тоже выслал от себя, на первый раз, две роты, держа остальные, про всякий случай, в полной готовности, в казармах. После того, как войска были выведены на площадь, появился там и губернатор, не забыв накинуть на себя форменное черное пальто на красной подкладке, со жгутами, и фуражку с красным околышем. Командиры выведенных частей ожидали его распоряжений, но как и чем распорядиться, он и сам пока еще не знал. Пред его глазами лежала почти пустая площадь, с нетронутыми возами дров и сена, но зато усеянная остатками яток и ларей, обломками всякой мебели, разметанными повсюду товарами, жизненными припасами, лоскутьями и пухом. В воздухе стоял спиртуозный запах от изобильно выпущенной на землю водки. Толпы тут не было, но гул ее победных криков долетал сюда из разных улиц и еврейских кварталов. Наконец, полицмейстер предложил, чтобы уланы, разбившись на несколько разъездов, охватили угрожаемую часть города с ее окраин и наступали по главным улицам к центру, навстречу толпе, тогда как пехота и полицейские частями будут напирать на нее в тех же улицах от центра к окраинам и, стеснив таким образом с двух сторон каждую из громительских партий, принудят их, так или иначе, сдаться. Губернатор согласился и рекомендовал командирам частей употребить все усилия к прекращению беспорядка, но отнюдь не прибегать к силе оружия, а заставить толпу повиноваться лишь силою увещаний и убеждений; вообще принять меры, какие угодно, смотря по обстоятельствам, но только не оружие. Войска разбились на мелкие отрядцы — где взвод, а где и меньше,

— и направилась по указанию полиции, в разные стороны. Один полувзвод остался на площади, в виде резерва, и к нему присоединились главные административные силы. Военские отрядцы вскоре натолкнулись там и сям на несколько партий. Офицеры приступили к увещаниям, но толпа нигде не слушала их и продолжала свою разрушительную работу.— Ну, и что ж теперь делать?.. Каждый командир, не смея употребить оружия, решал этот важный вопрос по-своему, смотря по темпераменту: одни безучастно смотрели, как громят дома и лавки и выпускают пух; другие бросались в толпу и надсаживали себе грудь и глотку, уговаривая в поте лица своего перестать безобразничать и разойтись, пока до беды, мирно; третьи, видя бесплодность увещаний и не будучи в состоянии оставаться в пассивном и бесполезном ожидании, командовали наступление на толпу, стараясь ее оттеснить, а когда это не помогало, приказывали бить прикладами, только не особенно сильно. Последнее, впрочем, излишне было и добавлять,— достаточно было взглянуть на солдатские лица, чтобы убедиться, насколько им не по нутру такая роль. Сочувствие солдат, видимо, оставалось не на еврейской стороне, а потому и приклады, по большей части, действовали только «примерно», не нанося никакого существенного вреда своим прикосновением.

Между тем, многие евреи, увидя появление войска, сильно приободрились и стали собираться сначала в отдельные кучки, а там и в целые сборища, ще преобладала, впрочем, еврейская чернь и, отчасти, виднелись баалеватим — люди среднего класса. Некоторые из таких сборищ, в ослеплении горести от своих потерь и в озлоблении против громителей, решались давать им дружный отпор, при нападении на жилища и лавки, еще не тронутые. Из этого, естественно, возникали драки; солдаты и полицейские бросались разнимать их и старались, по возможности, захватывать и арестовывать, как с той, так и с другой стороны, главных-коноводов и зачинщиков, отправляя их затем, под надежным конвоем, на базарную площадь, к резерву.

## **XXVII. МОВЭС-ЭЙЛЕГО! - СМЕРТЬ ГОЙЯМ!**

Иссахар Бер, опрометью прибежав из синагоги к своему дому, нашел его уже вконец разгромленным. Быстро обежал он все комнаты, отыскивая свою семью и призывая жену, детей, всех домашних,— никакого ответа. В доме никого не было. Иссахару вообразилось, что жена и дети его схвачены и уведены толпою, которая их избивала и, может быть, уже замучила до смерти. К несчастью для себя, ему не пришло на ум заглянуть в тёмный подвал, где в это самое время пребывала целой и невредимой вся его семья, забившаяся в самый темный угол, за пустые бочки и ящики, не смея в страхе и ужасе подать о себе голос. Но ужас и отчаяние Иссахара дошли до крайнего предела, когда, вбежав в свой кабинет, он увидел

взломанный стол, пустые ящики и разбросанные по полу все свои документы и деньги в мелких клочках. Возбужденный и оскорбленный до крайности еще в синагоге, при поражении всех своих надежд и планов, он дошел теперь до полного иступления и, схватившись за голову, побежал по улице, сам не зная куда, как помешанный, потрясая кулаками и громко взывая, неведомо к кому: «Нейкомо! Нейкомо!..»<sup>1</sup>

В конце улицы он наткнулся как раз на одно из еврейских сборищ, поджидавшее в сильном волнении толпу громителей из соседнего переулка. Евреи были еще в нерешительности — отступить ли им назад, или дать отпор на этом самом месте, где оставались еще нетронутыми несколько шинков и лавчонок, хозяева которых слезно умоляли заступиться за их добро, не дать его на разорение. В еврейской толпе были и вооруженные,— кто ломом, кто дубиной или колом, а большинство просто уличными камнями. Подбежавший Иссахар, как раненый бык на арене, тяжело дыша всею грудью, пасмурно, исподлобья, огляделся вокруг помутившимся, мрачным взором, и вдруг, увидев в переулке громителей, с дикою радостью воскликнул.— «Ага! Наконец-то!..» И, вырвав у одного из рабочих дубину, он стремительно выбежал с нею вперед, пред толпу своих единоверцев и, в каком-то фанатическом экстазе, начал произносить слова из известных пасхальных молитв.

— «Услыши, Господи, вопль и ярость утеснителей Твоего народа!» — громко взывал он, подняв глаза и правую руку к небу.— «Напитай их край собственной их кровью! Удобри их землю собственным их жиром, и да восходит к небу смрад их трупов!..» «Излей, о, Господи, на них злобу твою, зане Израиля поругали и жилища его разорили! Да постигнет их разъяренный гнев Твой! Гони их яростию и сотри из-под небесного Твоего свода!»<sup>2</sup>

И с последним словом, ухватив в обе руки свою дубину, он высоко замахнулся ею над головой, и в иступленном самозабвении, с криком «Мовэс эйлего!»<sup>3</sup> яростно бросился на приближавшуюся толпу громителей.

Увлеченные этим примером, евреи кинулись вслед за ним — и началось новое побоище.

— Ага! — кричали они,— вы з нас выпускали пугх, мы з вас будем выпускать дугх!

К счастью, в самом начале столкновения налетел на дерущихся уланский разъезд и энергично стал разгонять их напором своих лошадей и тупыми концами опущенных пик Остервенелый Иссахар, не разбирая уже, по ком и по чем бить, замахнулся было дубиной на врезавшегося в схватку лихого вахмистра. Но тот, заметив это, вовремя успел отпарировать страшный удар, полоснув саблей по концу дубины с такой силой и так ловко, что сразу вышиб ее из рук противника.

---

<sup>1</sup> Нейкомо — отмщение, возмездие.

<sup>2</sup> Первая из этих молитв читается в утро второго пасхального дня; вторая — при торжественном обряде пасхальной вечера.

<sup>3</sup> Смерть гойям!



В это время с тылу успел подбежать целый взвод стрелков и, с ружьями на руку, оцепил всех перемешавшихся в свалке евреев и русских. Ввиду склоненных на толпу штыков, драка прекратилась. Двое улан, соскочив с коней, схватили Иссахара Бера и, скрутив ему чумбуром руки назад, передали, как арестанта, своим товарищам, вместе с дубиной, захваченной, кстати, в качестве вещественного доказательства. Свободный конец чумбура принял один из всадников, и Иссахар очутился на привязи. «кацапы» и «хохлы», а отчасти и сами евреи, из наиболее малодушных и перетрусивших ввиду собственного ареста, единогласно указывали на него, как на зачинщика и вожака последней драки. Всем окруженным, без различия национальности, приказано было бросить на месте все свои дреколья, безмены, ломы и камни, и затем, обезоруженные, они, все вместе, были отведены под сильным конвоем на базарную площадь. Иссахар, как полупомешанный, блуждая налитыми кровью глазами, шел между двух опущенных пик впереди прочих совершенно твердым шагом, как бы гордясь и даже рисуясь своим положением народного героя-борца и мученика, и всю дорогу не переставал фанатически взывать к небу громким голосом:

— «Напитаи их край собственной их кровью! Удоби их землю собственным их жиром!»

По приводе на площадь, административная власть распорядилась отправить тотчас же всех арестованных в тюремный замок.

### **XXVIII. МИН ГОШО МАИМ - ТАК СУЖДЕНО СВЫШЕ**

Не избег погрома и дом Соломона Бендавида, даже подвергся ему одним из первых, благодаря своей близости к центру города, в одной из лучших улиц.

Ничего не зная и не подозревая о происходящем в городе, старик оставил больную, только что заснувшую жену на попечение старой родственницы-приживалки и одной из служанок, а сам на цыпочках удалился в свой кабинет, чтобы разобраться в ворохе доставленных ему Каржолевских документов. Он был удручен двойной скорбью: и по внучке, и по жене, у которой, последствием вчерашнего нервного удара, оказался паралич всей правой половины тела. Окосневший язык ее и наполовину скосившиеся губы уже не могли произносить слов, а лепетали лишь какие-то невнятные звуки, похожие больше на мычанье; но левая рука сохранила еще слабую способность движения. Доктор Зельман, навестивший больную вчера еще раз, вечером, утешал старика, что это-де хороший признак,— все-де ничего, бывает и хуже, да проходит, а тут, с Божьей помощью, электричество да поездка на воды еще так поправят почтенную фрау, что она и до ста лет доживет, пожалуй. Но в душе доктор Зельман не верил собственным словам, и утешал рабби Соломона лишь для того, чтобы поддержать в нем надежду и необходимую бодрость духа.

Старик, между тем, и сам видел, что дело плохо, но старался верить обнадеживаньям доброго доктора.— «Никто как Бог», думал он. «Захочет спасти и спасет, как спасает других». Сегодня утром показалось ему, как будто старухе несколько лучше, как будто взгляд ее стал яснее и бодрее, даже на его утренний привет постаралась она ответить ему некоторым подобием улыбки, взяла свободную рукой его руку и поднесла к своим губам для поцелуя, и держала ее, не выпуская, пока, наконец, не заснула. Рабби Соломона это очень обрадовало, так как почти всю ночь она провела без сна, лежа недвижимо, с открытыми глазами. Воспользовавшись минутами этого отдыха, он ушел в кабинет, приказав дать ему знать, как только жена проснется. Он сам тоже нуждался в отдыхе, но... это успеется,— думалось ему,— это после; организм его так силен, что выносил до сих пор всякие передрыги,— авось, и теперь не крикнет... Подождем сперва доктора, что доктор скажет, тогда и отдохнем, если все будет ладно.

Засев за письменный стол, рабби Соломон мало-помалу так погрузился в разбор документов и сведение по ним счетов, что не обратил и внимания на глухо доносившийся с улицы отдаленный, необычный гул, который между тем постепенно становился все ближе и ближе. Он тогда только откинулся в недоумении от стола, когда послышалось хлопанье спешно затворявшихся в его доме ставень, и когда они, одна вслед за другой, захлопнулись и в кабинете, внезапно оставив его в темноте. Не понимая, что могло бы это значить, и негодуя, кто осмелился таким шумом нарушить покой жены, он пошел сам справиться у дворника, но уже в кухне наткнулся на только что вбежавших туда двух своих приказчиков, которые, в совершенно растерянном, смятенном виде, объявили ему, что в городе бунт, христиане грабят и режут евреев. Не успел рабби Соломон распорядиться, чтобы спустить с цепи дворовых собак и подпереть изнутри кольями ворота и двери подъезда, как послышался страшный стук разбиваемых с улицы ставень, и вслед за тем в кухню быстро вошла перепуганная родственница-приживалка:

— Рабби, Бога ради, ступайте скорее... Там что-то ужасное. .. к нам кто-то ломится в парадные комнаты, в ваш кабинет...

— Балбосте очень дурно... Скорее к балбосте! — кричала, между тем, бежавшая из внутренних покоев служанка.

Бендавид бросился в спальню, к жене. Неподвижная, бледная как смерть, старуха, с выражением страшного испуга, недоумения и ужаса в глазах, глядела на него из своих белых подушек. Заплетавшийся язык ее как будто силился что-то сказать, но вместо того из захлебывавшейся глотки вылетало одно только булькающее хрипенье. Рабби Соломон, перемогая собственный испуг и волнение, заботливо и любовно припал к ее постели, взял ее руки и бормотал какие-то ободряющие и успокоительные слова, а сам отыскивал глазами на столике капли, прописанные на случай кризиса доктором. Помочь ему было некому. — Куда же, однако, девались обе эти дуры? Убежали, и не идет ни одна!

— Эй!.. Кто там!.. Подите же сюда скорее! — крикнул он в полный голос, но никто ему не отозвался. Он еще громче повторил свой призыв,— никто не идет. А между тем, в комнатах, выходящих на улицу, уже раздавался треск разлетавшихся рам и дребезжащий звон стекол... Прошло еще несколько ужасных мгновений,— и вслед за тем послышались неистово веселые, торжествующие крики «ура!» и грубый топот чьих-то многочисленных шагов в зале. Вот шаги приближаются... вот они разбредаются уже по соседним комнатам... кажись, направляются сюда, в спальню. — Рабби Соломон подбежал к двери и только что успел запереть ее на ключ, как чья-то рука стала сильно дергать с той стороны дверную ручку. Вслед за этим раздались удары дубин и камней в самую дверь, от которых она сотрясалась и трещала. Старик схватился за тяжелый старинный шкаф и изо всех сил надрывался, чтобы передвинуть его в самую дверь и тем загородить вход грабителям. Но громоздкая вещь туго поддавалась его усилиям. Видя, что одному не справиться, он бросил, наконец, этот напрасный труд и — будь что будет! — кинулся к жене. Умирать, так уж вместе!..

И со словами: «Сарра! Милая!.. Никто как Бог! Его святая воля!» — он припал к ее груди, как бы стараясь и тут еще охранить ее и успокоить.

Но Сарра ответила на его порыв каким-то странным, неестественным спокойствием.

Он пристально заглянул в ее глаза, дотронулся до ее лба рукой,— все то же неподвижное, мертвое спокойствие. Перед ним лежал уже труп, с лица которого как бы сбегала какая-то тень, оставляя по себе восковую желтизну и застывающее во всех чертах выражение какой-то серьезной, недосказанной мысли.

Старик поднялся на ноги и, став у изголовья, вполголоса начал читать Виддуй<sup>1</sup>, — отходную.

С треском распахнулась, наконец, выломанная дверь,— и в комнату ворвались два-три громителя.

Рабби Соломон даже не дрогнул, даже не взглянул на них. Глаза его были устремлены на лицо жены, губы лепетали слова молитвы.

Пораженные столь неожиданным зрелищем, громители остановились на полушаге, точно что отшатнуло их назад, и замерли в безмолвном смущении. Присутствие только что совершившейся смерти, незримо-таинственное, как бы чувствовалось еще в этой комнате и обвевало находящихся в ней своим тихим веянием. А вместе с тем невольно также поражало и это величавое спокойствие старика-еврея. Этот, видимо, их не боялся и готов был умереть от их руки хоть сию минуту, так же спокойно, как стоял, не сопротивляясь и не моля о пощаде.

Громители тихо и молча попятились назад. В это время несколько человек, веселой гурьбой проникших в смежную

---

<sup>1</sup> Виддуй — сознание или покаяние в грехах, которое читается в смертный час.

комнату, с шумом и гамом готовы были уже идти и в спальню, как один из присутствовавших здесь «кацапов» остановил их предупреждающим движением руки:

— Нишкни, ребята!.. Не ходи сюда, здесь мертвец лежит.

Бесшабашное настроение гурьбы разом упало, как бы рухнуло.

— Мертвец?.. Где мертвец? — слышались среди нее недоумевающие вопросы, но тон их был уже не буйно веселый, а какой-то опешенный, точно бы все эти люди вдруг опомнились, отрезвились от чада своих безобразий. После этого некоторые из них входили из любопытства в спальню, и, посмотрев, какой такой мертвец, и постояв там с минутку, безмолвно удалялись осторожными шагами.

— Ив самом деле, мертвец... Ну его, ребята!.. Оставим.

— А и справди, що так. Не ворущь его, хлопци! Ходьмо липий до сосида,— там багацко добра,— знайдемо що робыти.

— Як до сосида, то-й до сосида, нехайдак... Гайда, братики-соколыки!

И гурьба спокойно направилась вон из комнаты.

Некоторое время после этого слышались еще топчущие шаги, вместе с треском, шумом и возней, в зале и в кабинете, где остальные люди той же партии доканчивали еще свою работу. Но вскоре стихло все и там. Громители покинули дом Бендавида.

Докончив Виддуй, старик сам закрыл веки над мертвыми глазами жены, сам задернул лицо ее простыней и тихо вышел позвать кого-нибудь из прислуги. Но ни в кухне, ни в людской не было ни души. Во дворе тоже нет. Все куда-то разбежались, попрятались; на окрик не отзываются. Он обошел все комнаты,— пусто... Повсюду следы страшною погрому. В кабинете все шкафы разбиты, старинные редкостные вещи переломаны, драгоценные древние фолианты, все книги его дорогой библиотеки сброшены с полок и многие перерваны, ящики письменного стола взломаны и опустошены... Уцелел один лишь металлический несгораемый шкаф, с секретным замком, где хранились все банковые билеты и важнейшие бумаги Бендавида. С этим мудреным, тяжелым шкафом, как ни старались, ничего поделат не могли,— ни отворить его, ни взломать, и ограничились тем, что опрокинули его с досады на пол. Но зато все документы Каржоля, оставленные на письменном столе, увы! — исчезли. Ничтожная часть их валялась в мелких разрозненных клочках на полу, остальное пущено по ветру.

— Мин гошо маим — так суждено свыше,— тихо прошептал Бендавид, покорно склоняя голову. — Бог дал, Бог и взял,— да будет Его святая воля!..

И одинокий, покинутый всеми, он возвратился к телу жены своей.

## XXIX. РЕШАЮЩЕЕ СЛОВО

К двум часам дня, когда наконец прибыли в город на полных рысях остальные эскадроны улан и были выведены еще две роты стрелков, оставшиеся в запасе, погром стал стихать и вскоре совсем прекратился. На площадь то и дело приводили теперь под конвоем то отдельных вожakov, то целые партии погромщиков, среди которых немало попадалось и евреев, захваченных в драках. Между арестованными христианами более чем наполовину было теперь пьяных, напившихся даром еврейской водки. Наиболее пострадавших, избитых и раненых отводили в городскую больницу в военные лазареты; остальных же препровождали, впредь до разбора, под арест, на гауптвахту, на полицейский двор, в пожарную команду или в тюремный замок. Все места заключения в городе были переполнены «невольниками», как называли их крестьяне. Но многие успели и разбежаться еще до ареста.

— Ваше превосходительство,— обратился к губернатору правитель его канцелярии, тоже присутствовавший, в числе властей, на площади. — Сейчас вот проехала к монастырю карета преосвященного... Это он, должно быть, к матери Серафиме.

— Так что же? — повернулся к нему губернатор.

— А как я давеча докладывал вам, что вся причина этих бед — внучка Бендавида, и вы выразили готовность уговорить игуменью, чтоб она ее отпустила, так вот теперь, мне кажется, было бы самое настоящее время отправиться к ней вашему превосходительству... Вместе бы с преосвященным. Он, вероятно, тоже поехал уговаривать ее.

— Почему вы так думаете?

— А мне секретарь консисторский сказывал,— недавно вот встретился здесь, на площади; тоже поглядеть приходил на побоище.

— Так вы полагаете, что теперь было бы удобно? — раздумчиво спросил губернатор.

— Самое время, ваше превосходительство, самое настоящее время. С двух-то сторон принявшись, верней ее уломаете.

— Что ж, пожалуй,— согласился губернатор и, передав на время распоряжение всеми действиями вице-губернатору, велел подать себе свою коляску.

У Серафимы он застал уже преосвященного.

— Какое ужасное происшествие! — соболезнующе качая головой, обратился к нему владыко.

— Фу-у!.. Слава Богу, уже покончилось! — облегченно вздохнул на это губернатор, с видом человека, только что свалившего с шеи громадный груз. — Но это что! Это только инцидент,— продолжал он,— а главная-то возня пойдет только теперь: все эти донесения в Петербург, объяснение причин, разборка всех арестованных, следствие... Это все такие неприятные хлопоты.

— Вы упомянули об объяснении причин,— отнесся к нему преосвященный. — Скажите, ваше превосходительство,

как по-вашему, что было причиной? — Меня этот вопрос весьма интересует.

— Мм... многое,— ответил тот, принимая на себя значительный и даже государственно глубокомысленный вид. — Очень многое... Это вопрос весьма сложный... Тут замешаны и экономические, и социальные, и национальные стимулы... Но главная причина, так сказать, причина всех причин, это — побег внучки Бендавида.

— А что, мать Серафима, не моя правда? — обратился архиерей к игуменье. — Что я вам говорил?.. Только что перед вашим превосходительством, я, чуть не слово в слово, говорил то же самое,— повернулся он к губернатору. — Вот, убедите, пожалуйста, мать игуменью.

— Но в чем же ею превосходительству убеждать меня? — вмешалась монахиня. — Что оскорбили святыню обители,— это я знаю; что сделали это из-за девицы Бендавид, мне тоже известно. В чем же еще?

— Н-нет, знаете, не то,— слегка заминаясь, мягко начал губернатор. — Мое мнение, если позволите откровенно высказать, лучше бы развязаться с ней, и чем скорей, тем лучше.

— То есть как это? — спросила Серафима.

— Да просто, возвратите ее родным, и конец.

— Вот, вот, в одно слово! — перебил владыко. — И я ведь говорю то же самое... Шутка ли сказать, из-за какой-то девчонки, и вдруг такое ужасное побоище... Да Бог с ней и совсем.

— Этого я сделать не могу,— решительно и твердо отказала игуменья.

— Mais... pardon, si je ne vois pas des raisons... Почему же, собственно? Что вас останавливает?

— Именно, это побоище,— пояснила она. — Выдать им ее теперь, подумайте, что ее ожидает, когда все так озлоблены против нее.

— Да Бог с ней и совсем! — отмахнулся обеими руками владыко. — Какое нам дело, что там кого ожидает! Свои люди, сочтутся!..

— Что ожидает? — подхватил губернатор. — Ничего не ожидает. Moins que rien! Родные ее любят, я знаю их,— ну, пожурят немножко, и конец. А что до остальных, то, поверьте, Бендавид настолько богат и влиятелен, что никто ничего ей сделать не посмеет... И, наконец, я-то на что же? Разве я, как представитель власти, допущу, чтобы кто-либо смел ей сделать какое зло!?

— О, для зла путей много! — заметила с горькой усмешкой Серафима. — Но и кроме того,— продолжала она,— выдать им ее после того, что они сделали над православной святыней, это значило бы показать слабость... Для них, конечно, это будет торжество, но для нас...

— Нет, позвольте,— возразил губернатор,— воля ваша, но я нахожу, что евреи здесь правы.

— Правы?! — удивленно откинулась в кресло Серафима.

— Правы-с. Поставлю себя на их место: если бы они вдруг

вздумали подобным образом обращать в иудейство мою дочь, да я... я не знаю, на что бы я решился!.. Нет, как хотите, это даже и не политично. Наша, так сказать, государственная задача здесь, на окраине,— не раздражать *les elements de la Imputation*, а умиротворять, смягчать, как можно более, *toutes ces rudcses des antipathies nationalcs et des* народные страсти. Ведь мы тут на виду<sup>1</sup> у Европы... Что Европа скажет, что заговорит вся пресса, подумайте!.. Ведь это выходит с нашей стороны какой-то средневековый фанатизм, ведь мы этим компрометируем наше отечество в глазах всего просвещенного мира... *Au rond*, я вовсе не либерал, но в этом смысле разумно либеральные уступки духу времени,— это наш долг, *notre devoir le plus sacre*, если мы любим свое отечество и желаем, чтоб и другие его уважали.

— Откажитесь, матушка; право, лучше будет... бросьте! — убеждал со своей стороны и владыко. — Бог знает еще, как в Петербурге на все на это взглянут...

— Н-да; к сожалению, я должен буду представить в своем донесении всю правду,— предупредил губернатор с многозначительным и даже несколько внушающим видом. — Сколь ни неприятно,— продолжал он,— но нельзя же умолчать о причине, потому что, раз эта причина не устранена, я не отвечаю за спокойствие моей губернии... Такие катастрофы, как сегодня, могут повториться, и тогда что же?!

— Да позвольте нам взглянуть на эту госпожу Бендавид,— предложил архиерей,— любопытно было бы порасспросить ее, поговорить... что за убежденная такая девица?

— Это лучше всего,— прекрасная идея! — с живостью подхватил губернатор. — Ив самом деле, поглядим, поговорим — я, кстати же, знаком немножко с ней — может, общими силами, даст Бог, и разубедим ее.

— Это ее только расстроит, но ни в чем не разубедит,— возразила ему Серафима. — Она слишком уж убежденная христианка.

— А почем знать... Вы все-таки, будьте так добры, разрешите позвать ее.

В это время у входной двери игуменьи послышался обычный предупреждающий стук и молитвенный возглас.

— Аминь,— ответила Серафима.

Почтительно вошла келейница Наталья и, отвесив по поясному поклону владыке и игуменье, подала ей телеграмму.

— К вашему превосходительству тоже есть,— обратилась она с таким же поклоном к губернатору. — Рассыльный нес было к вам, да увидел здесь коляску и просит доложить — не угодно ли будет принять, заодно уже, и расписаться.

— Очень рад, отчего же,— если мать игуменья позволит,— охотно согласился губернатор.

Келейница принесла и ему телеграмму. Губернатор прочитал ее про себя и удивился,— очень удивился даже, так что перевернул листок на другую сторону, чтобы убедиться, точно ли к нему адресовано?.. Гм... несомненно, к нему — «Начальнику Украинской губернии»... Внимательно перечитал

еще раз и, совершенно опешивший, выжидающе взглянул на Серафиму.

— Опасения ваши, владыко, насчет того, как взглянут в Петербурге, напрасны,— обратилась она к архиерею. — Там уже взглянули... Не угодно ли послушать?

И она прочитала телеграмму, где ей предлагалось немедленно же снарядить и отправить Тамару в Петербург, в сопровождении благонадежной сестры, которая доставит и сдаст новокрещаемую в приют Богоявленской Общины. Расходы будут возмещены.

— Ну-с, а я,— вставил слово губернатор,— я получил от подлежащего ведомства предложение оказать вам в этом деле все зависящее от меня содействие.

— Стало быть, ваше превосходительство, все наши рассуждения, как видите, были тоже напрасны,— с легкой усмешкой заметила игуменья. — Что же до содействия,— продолжала она,— то при иных обстоятельствах я, конечно, попросила бы вас командировать надежного полицейского офицера, чтобы он проводил моих путниц до границы края, но теперь, после погрома, полагаю, евреи так притихнут, что едва ли в этом есть надобность.

— Нет, нет, отчего же!.. Все-таки понадежнее будет,— с живостью возразил губернатор. — Я все-таки сделаю распоряжение, сейчас же, и рад, от всей души рад, как русский, как христианин, наконец, что вопрос кончается таким образом! Прекрасно! Превосходно!..

И он откланялся Серафиме вместе с преосвященным, который на прощанье преподал ей свое благословение, сказав, что умолкает пред волей, выше его поставленной, тем более, что еще вчера своей бумагой доказал полную свою готовность содействовать столь благому делу.

Таким образом, господин Горизонтов и ловкий правитель губернаторской канцелярии окончательно остались «при печальном интересе».

### **XXX. ОТЪЕЗД ТАМАРЫ**

Снарядить Тамару было недолго и нетрудно, оставалось лишь пополнить кое-чем необходимым тот узелок, который она захватила с собой из дома, да снабдить ее на дорогу саком для вещей и более теплой верхней одеждой. Это все нашлось в самом монастыре, так что не надо было обращаться и в лавки. Губернатор был так любезен и внимателен, что за час еще до прихода вечернего поезда прислал в монастырь свою собственную карету — отвезти путниц на вокзал. Мон-Симонша тоже почтила Тамару самым радушным заочным приветом, которого, конечно, не было бы, если бы не известная телеграмма из Петербурга. Привет изложен был по-французски на прелестном листке раздушенной парижской бумаги, и заключал в себе пожелания Тамаре всяких благ и успехов «dans le monde», с изъявлением сожаления, что досадная



«neuralgie» не позволяет Мон-Симонше лично проводить ее на поезд, с уверениями, что сохранит к ней навсегда «les plus beaux sentiments d'araitie et les meilleurs souvenirs». К письму было и приложение, в виде бомбоньерки с конфетами и коробки со сладкими пирожками.

Когда все уже было готово к отъезду, игуменья позвала Тамару к себе в келью проститься. Девушка была очень взволнована, хотя и старалась казаться спокойной.

— Ну, дай вам Бог всего хорошего. Очень рада, что могла для вас что-нибудь сделать,— сердечно сказала ей Серафима. — Прощайте, моя дорогая.

Тамара, под давлением некоторого внутреннего колебания, замедлилась перед Серафимой. Ей чувствовалось, что в этом прощании чего-то недостает, что надо еще что-то такое, что окончательно удовлетворило бы и успокоило ее духовно, так сказать, осватило бы первый шаг ее на новом жизненном пути, где видны ей пока только ближайшие вехи, а что за ними, что будет дальше — неизвестно...

— Благословите меня,— тихо проговорила она, опустилась перед монахиней на колени и наклонив вперед голову.

Серафима троекратно осенила ее крестным знаменем, и умиленная девушка схватила и покрыла благодарными поцелуями благословившую ее руку.

— Не оставляйте, не забывайте меня в сердце вашем,— говорила она сквозь слезы,— позвольте мне хоть изредка писать к вам, как к матери... у меня нет ее... Вы так много для меня сделали, не откажите и в этом... Будьте мне матерью!..

— Всегда, дитя мое, всегда! — с чувством проговорила монахиня, прижав ее голову к своей груди, и поцеловала ее добрым, материнским поцелуем.

И затем она прошла на минуту в свою спальню и вынесла оттуда образок Богородицы.

— Вот тебе мое материнское благословение,— сказала она, осенив им девушку, и надела его ей на шею. — Ну, теперь поезжай с Богом... Пора. Господь с тобой!

### **XXXI. ПЕРВАЯ КАПЛЯ ЯДУ**

Хотя южные вечера темны, а украинские уличные фонари не отличаются особенно ярким светом, тем не менее еще не прибранные следы погрома, в некоторых, наиболее освещаемых местах, были видны довольно ясно: черные дыры выбитых окон, зияющие пасти ворот без створ и входов без дверей, обломки громоздкой мебели на мостовой,— все это не могло не броситься в глаза проезжавшей мимо Тамаре.

— Что это такое? Отчего это? — в недоумении отнеслась она к своей спутнице.

— А погром же был,— простодушно отозвалась монахиня.

— Какой погром? Когда? — еще более недоумевающая, переспросила Тамара.

— Сегодня утром. А вы разве не знаете?

— Ничего не знаю, и не понимаю даже, что за погром такой?

— Как же, большой погром, сказывают... Евреев били.

При этом слове Тамару точно бы что кольнуло в самое сердце.

— Евреев?! — подхватила она, внутренне вздрогнув, — вы говорите, евреев?.. Кто бил? За что?

— А вот, кацапы да мужики... Вообще, христиане били.

— Христиане? — недоверчиво повторила Тамара. — Христиане?.. Может ли это быть?!

— Да вот, видите, какое разрушение, спаси, Господи... Очень сильно, говорят, били; много раненых, войска вызывали...

— Но за что же?., за что? — допытывала встревоженная девушка.

— Не знаю в точности, — пожалала та плечами. — Наше дело монастырское, не в миру живем... А только говорят, будто драка какая-то вышла перед нашей обителью, — с того и пошло.

«Перед обителью»... А, это значит, из-за нее, из-за Тамары? Вчера тоже было что-то такое, — в обитель ломились... Значит, что же, причина бедствия для соплеменников, — это она, Тамара?..

И девушка почувствовала, как в душе ее что-то болезненно сжалось и заныло, точно бы вдруг прозвучал там какой-то резкий диссонанс, мгновенно нарушивший всю, только что налаженную, гармонию ее внутреннего мира. — «Христиане»... те самые христиане, к которым она так стремится...

И видит она по всем улицам, где проезжает карета, все те же ужасные следы разорения, те же обломки, мостовые белые от пуха. — Значит, это действительно было что-то большое, громадное, на весь город... избиение какое-то... Может быть, та же участь постигла и дом ее стариков... «Били»... Господи! Неужели и их тоже били!?. Из-за нее, из-за ее поступка!..

Тоскливая мысль о стариках, о том, что и они, вероятно, не избегли общей участи, обдала ее холодом ужаса. В сердце ее защемило что-то жгучим укором себе и жалостью к ним, одиноким, покинутым ею, — заговорил голос родства, голос крови и, вместе с тем, порыв негодования против тех извергов, что смели совершить такое страшное злодеяние. В душе ее кричал призыв к своим родным, и всю ее подмывало стремление бежать скорее к ним, — хоть бы взглянуть только, что с ними? Целы ли, спокойны ли?.. О, что бы дала она теперь за возможность утешить дедушку, приласкаться к бабушке Сарре, опять водворить своим присутствием мир и спокойствие в их душах, увидеть их довольными и примиренными с ней. — Да нет, где уж!.. Хоть бы знать только наверное, что с ними ничего не случилось, — и это одно уже было бы счастьем. Но, увы! — Тамара сознавала, что и такая малость в настоящую минуту неосуществима. — Кому какое до них дело и какой кому интерес узнавать в точности, что было с ними! Да и кто, наконец, может сообщить ей об этом за несколько

минут до отъезда, на станции? — Не евреи же, которые все отвернутся от нее со злобой и презрением. А ей бы так нужно об этом знать, чтобы хоть чуточку успокоить свою душу, свою совесть... Но вот уже и станция — сейчас отъезд, сейчас прощай, прощай всему прошлому, навеки!.. Тамара знала, что решающее слово уже произнесено, роковой шаг сделан, и назад нет возврата. Рыдания подступали ей к горлу, хотелось бы выплакать всю свою боль и кручину; но она стеснялась, ей совестно было плакать и тем обнаруживать состояние своей души в присутствии посторонней свидетельницы, которая, вдобавок, и не поймет тут ничего, или объяснит все это себе совсем иначе. — И Тамара перемогала себя всеми усилиями собственной воли, чтобы только не разрыдаться. О, как хотелось ей быть одной в эту минуту! Но есть нечто другое, что выше и больше ее личного хотения и чему она — хочешь не хочешь — должна теперь подчиниться: она уже не свободна, не вправе располагать собой; она связана своим словом, своим внутренним убеждением, своей любовью и волей любимого человека, своим поступком, наконец, и всем тем, что ради нее уже сделано чужими добрыми людьми, — этой Серафимой, например, которую всего лишь несколько минут назад она молила быть ее матерью... Да, она сама связала себя, своей доброй волей, и назад ей опять-таки нет, нет и нет возврата, — потому что иначе, где же правда, и в чем она?

С этой роковой минуты Тамара почувствовала, что в душе ее водворилось какое-то ужасное, непримиримое раздвоение и что оно не пройдет, — нет, оно будет жить в ней всегда, ибо это она — сама. Раздвоение это будет отравлять собой лучшие, самые светлые и радостные минуты ее существования. Оно, как внутреннее противоречие с самой собой, как вечный диссонанс будет нарушать гармонию ее души и вечно служить источником еще многих и многих нравственных страданий в ее жизни.

Это еще только первая капля яда.

Но... жребий брошен, «корабли сожжены», — остается только кидаться вперед, в это новое «море житейское», и — будь что будет!

Спустя несколько минут, Тамара, без всяких приключений со стороны евреев, тихо и благополучно уехала из Украинска. На станции, впрочем, не было ни одной души еврейской, — Израиль еще не успел опомниться от погрома.

### **XXXII. ТОРЖЕСТВО КАГАЛА**

Спустя двое суток после побоища, в час утреннего приема просителей, к губернатору явилась депутация от городского еврейского общества. Он был уже подготовлен к ней своим правителем канцелярии, которого еще накануне не оставил на этот счет в неизвестности все тот же «милейший» Абрам Иоселиович Блудштейн, — и не только в неизвестности, но и

не без некоторых тонких внушений и обещаний.

В составе еврейской делегации находились все члены катального Совета, in corpore, но уже не в качестве членов этого учреждения, считаемого, по законам Российской Империи, якобы упраздненным повсеместно еще с 1844 года, а только в качестве общественных избранников, собственно ради настоящего случая. На сей раз «для виду» кагал прихватил с собой, в составе «делегации», и так называемого «казенного раввина», обыкновенно считаемого в еврейской среде за ничто или, пожалуй, за нечто вроде правительственного чиновника, на жалованьи от общества, который получает его не столько за исполнение обязанностей, возложенных на него русским законом, сколько именно за то, чтобы не исполнять их и действовать всегда и во всем согласно велениям и пользам кагала. Это, в некотором роде, официально признанный фантош, служащий для кагала, в иных случаях, «козлом отпущения» перед русской властью.

На сей раз, представляя губернатору благодарственный адрес, делегация даже заставила этого официального «козла» держать за нее слово пред его превосходительством.

Губернатор, конечно, принял евреев во всем благосклонном величии своего положения,— нарочно даже надел вицмундирный фрак со звездой, и вышел в залу, сияя государственным глубокомыслием и в то же время самой приветливой, обворожительной улыбкой. Свиту его составляли полицеймейстер в полной форме, правитель канцелярии с портфелем, и дежурный чиновник, с бумажкой для записывания имен и просьб просителей.

— Ваше превосходительство! — торжественно обратился к нему «казенный раввин», отчасти держа речь «своими словами», а больше — заглядывая в текст раскрытого адреса. — Позвольте вам выразить, что общество наше спешило и не медлило избрать своих излюбленных представителей к вашему превосходительству.

Губернатор сделал благосклонный кивок головой и одобрительно шевельнул бровями.

— Вы знаете,— продолжал оратор,— как всегда мы вас любили, а теперь продолжаем излюблять вас еще больше, за тово, что вы нас так энергически защитили. Да воздаст вам Бог за это щедрой десницею воздаяния! Да сохранят вас ангелы Его на великом пути вашем, как самого царя Давида, да не споткнитесь с ногой вашей на камень! И да возносится фимиам богомолений наших за здоровье и благополучность вашего превосходительства и драгоценнейшей супруги вашей, ее превосходительства!

Опять сановно благосклонный кивок и комплиментный жест со стороны губернатора.

Оратор шморгнул носом, быстро проведя под ним указательным пальцем, и продолжал:

— Сшправедливые действия ваши относительно нас, верноподданных российских евреев, заслужили вам общего нашего особенного одобрения и благодарностью, и заставляют нас даже наворачивать сшлиозы на глаза наши.

Для пущей наглядности оратор полез даже в задний карман за платком, нарочито чистым, и сделал вид, будто действительно оттирает «сшлиозы».

— Н-но! — вздохнул он как бы из глубины сердца,— все-таки дышать нам оставалось и остается трудно, по той самой причине, что в самом обществе нашем существуют ядовитые змеи-искусители, плевелы в доброй пшенице израильской» которых мы желаем сштреблять и вырвать с корне'м из себя.

Губернатор многозначительно и удивленно поднял брови.

— Так, ваше превосходительство. Говорим с откровенностью, что если в воскресенье было такое вжасное побоище, то небезгрешны в этом и сами евреи. С охотным сердцем сознаемся в том. У нас были даже свои зачинщики, и если бы их не было, то ничего бы не было. Поэтому мы не намерены скрывать их от взоров закона и сами спешим и не медлим на помощь закону, да покарает он виновных! Мы бы не осмелили себя представлять и с такой просьбой пред Лицо вашей губернской особы, кабы могли устоять настоятельнейшим просьбам всего общества, которое вполномочило нас передать к вашему превосходительству благодарственный адрес и общественный приговор, за надлежащими подписями, что мы, Украинское еврейское общество, не желаем больше иметь на своей среде таких плевелов и зжеюв, как обыватель Иссахар Бер и другие, поименованные в приговору, которые давно уже заставляли опасаться наши сердца за свою даже палитыческую неблагонадежность и которые при злополучном погроме проявили так живописно свою фанатизму и сшвирепый характер. Мы будем кричать большим криком к вашему превосходительству, чтобы вы избавили нас от них!

Вся депутация, с почтительными поклонами, руку на сердце, единогласно подтвердила и повторила эту просьбу, добавив, что ей «вже невмочно».

— Наш общественный приговор,— продолжал «казенный раввин»,— присуждает их ув ссылку на Сибирь, как злокачественных прыщов, дабы не зачумляли собой нашево молодова поколения. А засим, как будет увгодно мудростью вашего превосходительства, но мы иметь их ув своем обществе больше не желаем и за них не отвечаем.

Вся депутация вторично, в один голос, подтвердила слова своего красноречивого оратора и почтительно представила начальнику губернии вместе с адресом и формальный общественный приговор, осуждавший на выселение в Сибирь Иссахар Бера и пять человек наиболее видных его сторонников. Такое заявление пришлось губернатору как нельзя более на руку. С помощью его он, так сказать, убивал трех зайцев разом. Во-первых, «Европа», то есть венская жидовская «пресса», которой он очень боялся, не посмеет уже так бесшабашно кричать о «русском варварстве», да и там, в Петербурге, не так легко поверят этим крикам, после того, что сами же евреи документально заявляют, что первыми зачинщиками были их соплеменники и даже указывают на личности. Во-вторых, и для Петербурга — те же самые евреи своим

благодарственным адресом выдали ему, так сказать, аттестат зрелости, за его энергичные действия по прекращению «беспорядков», не прибегая к оружию, и за его гуманность, такт и справедливость, покоряющие ему все сердца и симпатии всего населения. Наконец, в-третьих, этот общественный приговор значительно облегчает и сокращает разбор всего дела, все следственное о нем производство: виновные указаны прямо и уличаются авторитетным свидетельством своих же единоверцев,— чего же еще более! Остается найти несколько «зачинщиков» из русских, но это никогда не трудно, и, таким образом, является счастливая возможность покончить все это неприятное дело в самый непродолжительный срок. Виновные понесут заслуженную кару, общественная совесть получит должное удовлетворение; услужливые корреспонденты прославят в отечественных, а может, даже и в самих еврейских газетах примерную деятельность и распорядительность местной администрации; в петербургских еврейских салонах барона Мюнцбурга и «генералов» Шмуйлова и Паршавского заговорят о том же и в таком же духе,— а к этим салонам, как известно, очень и очень прислушиваются — и... и, в конце концов, Мон-Симон получит благодарность. Во всяком случае, фонды его там, в Петербурге, несомненно повысятся.

Он отвечал еврейской депутации изъявлением своей сердечной благодарности за адрес, прибавив, что такая лестная и беспристрастная оценка его служебной деятельности, именно со стороны их, обывателей-евреев, весьма ему приятна и служит даже утешительным воздаянием за все его труды и заботы о пользах и спокойствии граждан вверенной ему губернии. Затем добавил, что общественному их приговору немедленно же даст законный ход, благодарил их за то, что они сами так охотно помогают правительственному правосудию в раскрытии истины и, в заключение, сообщил, что вчера еще назначил особую комиссию, куда войдут и члены от еврейского общества, для разбора и определения суммы понесенных евреями убытков.

Таким образом, обе стороны расстались в полном взаимном удовлетворении.

Евреи депутаты были в восторге.

— Ай, хицшес гибернаторес! Дас-ис айн вирклихес начальникес! — восклицали они между собой при выходе из губернаторской залы, нарочно для того, чтоб и эти, так сказать, интимные похвалы их были услышаны посторонними и переданы по назначению.

Иссахар Бер, как уличенный «зачинщик», взятый к тому же с поличным, не был выпущен из тюрьмы, когда выпускали всех арестованных «статистов» этого погрома, как христиан, так и евреев. На поруки же взять его было некому, так как ни один еврей не отважился бы на это, под страхом херима. Через несколько недель ему «вышло решение» — и общественный

приговор всецело был исполнен, как над ним, так и над пятью его единомышленниками — нужды нет, что эти ни в чем не попались и ни в чем даже не были уличаемы. Общественный приговор — и довольно! Семьи их остались в круглой нищете, потому что недвижимое имущество их было секвестровано кагалом, якобы за неуплаченные их долги еврейскому обществу.

По поводу этой кары Украинский кагал объявил следующий манифест ко всему местному Израилю:

«Мазел-тов! Следующей радостью да возрадуется всякий! 18-го Сивона истекающего года, все добропорядочные обыватели нашей благочестивой общины — да процветет она и возвеличится! — были поражены неслыханной дерзостью, с какой бывший морейне, ныне ам-гаарец Иссахар Бер и его гнусные сотоварищи такие-то (перечисляются поименно) осмелились публично, в доме молитвы, поносить весь Совет пречистого кагала и обличать его якобы в нарушении и осквернении святой субботы. Высокомудрый, высокочтимый, достойнейший и великий наш раввин и господин, Борух-бен-Иосел Натансон — сей ослепительный свет иудейства и перл всякой учености, мудрости и благочестия — да возвысится слава его! — тогда же неопровержимо изобличил, с непреложной очевидностью и изумительным остроумием, всю жалкую слепоту и непонимание этих грубых невежд и интриганов. Десница Всевышнего не оставила их без воздаяния и достойно покарала сих нечестивцев, за оскорбление пречистого кагала, рукой адоне-гаареца<sup>2</sup>. Да уразумеют это и остерегутся все остальные единомышленники этих негодяев, и да ведомо им будет наперед, что пречистый кагал знает их всех наперечет, и неусыпно станет следить за ними, по вся дни живота их,— ибо такая же кара от руки адоне-гаареца ожидает и их скудоумные головы, при малейшем оказательстве с их стороны строптивости или вольнодумства. За малейшее нарушение постановлений кагала, за порицание их, за сомнение в их безусловной правильности и за колебание кагального авторитета — виновные беспощадно подвергнутся ссылке в Сибирь, или иному тяжкому наказанию, по уставу о нарушении херима. На таких отступников от Израиля и Закона будут прежде всего наложены большие штрафы и не пощадятся ни личная честь нарушителей, ни честь их жен и семейств, и никакие отговорки и оправдания не будут приняты. Покорным же да будет приятно, да низойдет на них доброе благословение и да возрадуются они на праздниках и торжествах своих и сыновей своих, и дочерей своих, и внуков. Мир Израилю! Да будет на то воля Господня! Аминь».

Манифест этот, равно как и самая кара, разразившаяся над Иссахаром и его друзьями, произвели громовое впечатление на все, не только Украинское, но и дальнее еврейство.

---

<sup>1</sup> Еврейский кагал как возводит угодных ему людей в морейне, так и раз- жалывает их в ам-гаарецы.

<sup>2</sup> Адоне-гаарец — не еврейское, официальное правительство; в буквальном смысле — невежественное, некомпетентное.

А в городе водворилась просто паника. Противники не смели и рта разинуть, держались ниже травы, тише воды, даже на улицу показаться боялись... Да и сами «верные» и «благочестивые» хотя и ликовали, но тоже держали ухо остро и опасались за каждое свое неосторожное слово. Зато кагал,— кагал торжествовал.



# ТАМАРА БЕНДАВИД

## I. НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ

Октябрь 1876 года. Слегка морозное утро. Реденький снежок мелькает в воздухе и ложится на первую порошу, мягко запушившую собою озимые поля и щеткою торчащие пожни.

Пассажирский поезд одной из второстепенных железнодорожных ветвей центральной России движется по широкой равнине, пересеченной небольшими сосновыми лесками. В отдельном купе первого класса сидят четверо пассажиров. Старик генерал, в «тужурке» с красными лацканами, на которой отсутствие погон прикрывалось накинутою сверху шинелью — маленькая невинная хитрость, к какой прибегают многие отставные военные, не желающие казаться отставными. В петлице тужурки у генерала видна полосатая оранжево-черная ленточка, и белеет георгиевский крестик. Рядом с ним, запрокинувшись головой в бархатную спинку дивана и вытянув вперед ноги, сидит молодая элегантная женщина, одетая в дорожное платье с широким *gaatine*, которое, однако, не в состоянии скрыть ее интересное положение. На лице этой особы заметно некоторое утомление — быть может, от дороги, быть может, от этого ее «положения». Против этой пары сидят два молодых офицера, один — армейский улан, другой — гвардеец. Последний, с кисловатым видом не совсем выпавшегося человека, апатично позевывает и равнодушно глядит в окошко на мелькающие мимо кусты и столбы телеграфа, тогда как чуткое внимание его соседа всецело сосредоточено на сидящей против него элегантной особе. Он старается незаметно для нее уловить в ее лице малейшее движение нервов, малейший взгляд или складку бровей, чтобы предугадать ее мысль, ее желание, ее каприз и стремительно исполнить все, что ей хочется.

Общее молчание. Генерал время от времени нервно поводит скулами, покусывая набегающие на губы кончики длинных седых усов, и пробегает глазами смятый номер «Голоса», но видно, что мысли его озабоченно вертятся на чем-то ином... Порою он нетерпеливо, с недовольным видом взглядывает то в окошко, то на свои часы и сердится на медленно ползущий поезд. Соседка его будто дремлет в своей покойной полулежачей позе, а, сама тоже думает о чем-то неотвязном и неприятном. В лице ее при этом сказывается порою как будто тень сомнения, сгоняемая затем выражением непреклонной, твердой решимости. В этом купе, по видимому, сидят все «свои» — или

родные, или близкие между собою люди, едущие в одно и то же место, за одним и тем же делом.

— Ага! Вот он, наконец!— громко произнес гвардеец, ни к кому собственно не обращаясь, и с более живым вниманием приблизил лицо свое к стеклу. Вслед за ним и все остальные устремили оживившиеся любопытством взгляды в то же окошко.— Где? Что такое?

— Город Кохма-Богословск — русский Манчестер, так нас в географии учили.

Пред вышедшем из леска поездом вдруг открылась оригинальная картина.

На склоне равнины, покатою к излучине левого берега реки Уходи, и на другом, приподнятом и несколько всхолмленном берегу ее раскинулся среди небольших садов город, производящий совершенно своеобразное впечатление. Множество высоких фабричных и заводских закоптелых труб, попеременно с высокими белокаменными колокольнями и златоглавыми куполами старинных церквей,— это сочетание неугомонной, кипуче-прогрессирующей промышленной деятельности нашего века с величавыми, вековыми символами «древнего благочестия», смешение грохочущего шума ткацких станков и паровых машин с гулом церковного благовеста — все это делает оригинальный город совсем непохожим на другие города России. Разве только в наших двух столицах встречается такое сочетание фабричных труб и церковных колоколен, но там оно, в общей картине, вовсе не кажется чем-либо особенным, среди обширных предместий и городских окраин, раскинувшихся на многие десятки-верст по окружности,— там оно как бы ступенчато и расплывается в самой обширности и широте всей панорамы той или другой столицы; здесь же все это является скученным на весьма небольшом, сравнительно, пространстве, и все эти фабрики и заводы составляют самый город, самое ядро его, характернейшую его черту как в центре, так и на окраинах.

Поезд замедленным ходом приближался к станции. Пассажиры первого класса купе, приготовляясь к выходу, принялись торопливо разбираться в своих дорожных вещах и помогать укладке в широкий плед подушечек и баулов своей спутницы. Еще минута, еще последний толчок от эластично столкнувшихся между собой буферов и — стоп, машина! Приехали.

Нагрузив вещами втиснувшихся в купе носильщиков, четверо первого класса пассажиров сошли, вслед за ними, на людную платформу, оглядываясь по сторонам с тем несколько недоумевающим и озабоченным видом, какой всегда является у людей, впервые приезжающих в совершенно незнакомый город,— к кому ж, мол, теперь обратиться? Куда рядить извозчиков, в какую гостиницу?— Черт их знает!

В эту самую минуту, откуда ни возьмись, навстречу им вынырнул из вереницы сновавших в обе стороны людей — молодой, жиденький еврейчик в «цивильном» костюме, и, с подобострастной любезностью приподнимая с головы свой котелок, бойко обратился прямо к улану.

— И здравствуйте вам, гасшпадин поручник! Не узнаете?  
Тот с некоторым удивлением окинул его с ног до головы недоумевающим взглядом.

— И когда ж вы меня не узнаете? Я же с Украинску. Может, помните гасшпадин Блудштейн, Абрам Иоселиович? Ну, то я как раз буду его пильмянник, мордка Олейник... Олейник,— может, помните? Я даже очень довольно хорошо знаю вас, и гасшпадин енгирал знаю, и барышня знаю... Здрастуйте вам, ваше первосходительство!— говорил он с любезной улыбкой, кланяясь поочередно и остальным путникам, точно бы и в самом деле обрадовался старым знакомым.— Может, вам извозчики надо?.. Может, ув какая гасштиницу?— то все это зайчас!.. Позвольте вслужить... Я же издесь комиссионер и все знаю.

— Ну, вот и прекрасно,— согласился поручик.— Нанимай четырех извозчиков и вези,— какая у вас тут лучшая гостиница?

— Московски нумера, купец Завьялов держит... Самый лучший гасштиницу, будете довольный.

— Валяй! Да гляди, живее!

Поручик даже обрадовался, что так неожиданно встретил знакомого человека.

Мордка Олейник добросовестно доставил новоприезжих в «московские нумера» купца Завьялова, где он заняли под себя четыре невзрачные комнаты, считавшиеся «лучшими». Суетясь более даже, чем следовало, и с необыкновенно значительным и самодовольным видом помогая вносить их вещи, Мордка успел мимоходом сообщить не только «номерному», но и торчавшему у подъезда полицейскому хожалому, что это-де очень важные господа, и он-де их очень хорошо знает, старый знакомый с ними, и даже заранее знал, что они должны приехать, потому что ему нарочно телеграфировали об этом родные из Украинска,— он уже двое суток поджидал-де их на станции. Пускаясь в такие откровенности, Мордка тешил этим собственное самолюбие. Он вообще был очень доволен и даже горд собою по случаю приезда столь «важных гостей» и спешил поделиться своим гордым чувством с «номерным» и хожалым, дабы в их глазах поднять свое собственное значение,— вот мы-де с какими господами знакомы, вы что-себе думаете!

Хожалый, не дожидаясь дальнейших подробностей, тотчас же побежал доложить полицеймейстеру, что какое-то важное начальство наехало — генерал с двумя офицерами и при них барыня. В полиции это произвело некоторую сенсацию, и хотя усердному хожалому пришлось съесть дурака за то, что не узнал толком, какое начальство и как его фамилия, тем не менее, на всякий случай, полицеймейстер приказал приготовить себе мундир с орденами,— может, и в самом деле, кто-нибудь из важных экспромтом нагрнул — нужно будет явиться, значит, и представиться. Но, чтобы не зря натягивать мундир и не спороть горячку впустую, он наперед командировал более умного полицейского чина узнать обстоятельно, кто именно приехал и по какой надобности.

Этот же вопрос не менее интересовал и хозяина «номеров», а потому, как только новоприезжие успели осмотреться и расположиться по-домашнему в своих комнатах, к генералу явился «номерной» с графленою книгой и почтительно потребовал «пачпорта» для записи в книгу и заявки в полицию.

Генерал сначала было поморщился.— На кой черт сообщать это сейчас же! Не успели приехать, уж и имена подавай, чтобы сорока на хвосте сию же минуту по всему городу разнесла! Генералу хотелось бы лучше сохранить, до поры до времени, полное инкогнито, и потому, с привычным ему начальническим апломбом, он коротко отрезал номерному, что это-де успеется и после. Но номерной заявил, что таков порядок — «очень уж ноне строго стало» — полиция, значит, требует и, чуть что, с хозяина штраф берет.— Нечего делать, пришлось генералу подчиниться местному «порядку».

— Пиши!— с досадой приказал он номерному.— Генерал-лейтенант Ухов с дочерью и племянником, гвардии корнетом Засецким.

Тот записал и даже с кляксой, вытащив, по нечаянности, на пере заплесневшую муху.

— А другой господин тоже с вами будут, или сами по себе?— осведомился номерной.

— С нами,— буркнул генерал.— Поручик Пуп, пиши.

— Пуп-с?— переспросил тот, не доверяя собственному слуху.

— Пуп, говорю. Кажется, ясно. Аполлон Михайлович Пуп, поручик... «Порядок» тоже, черт возьми, завели!— ворчал он себе под нос, похаживая по комнате, пока тот записывал.— Дохнуть людям не дают и уж с «порядками» лезут... Записал?— Ну, и убирайся к черту:

— Насчет пачпортов еще доложить осмелюсь,— пачпорта пожалуйста?

— Тфу ты, дьявол! Как банный лист пристаёт!— вспылит сердитый генерал, однако достал из бумажника свой вид и ткнул его номерному.— На, и проваливай!

— А тех господ как же будет?.. Насчет пачпортов, то есть?

— У тех и спрашивай, болван! Нянька я тебе за ними, что-ли!?

Оторопелый номерной поспешил убраться.

Между тем у поручика Пупа в это время шла другая, весьма для него интересная беседа. Мордка Олейник, покончив с переноской дорожных вещей, явился к нему в номер за получением «благодарности» и в то же время, осведомился, не будет ли еще каких приказаний?— Может, дело какое? Может, купить что, или сбегать к кому, или сведения какие господину угодно?— то за всеми такими комиссиями он просит обращаться к нему, Мордке Олейнику,— дать ему «заработать»,— потому как он все это знает и все это может лучше всякого другого.

— Ты давно в Кохма-Богословске?— спросил его поручик.

— Кто? ми?.. Ми вже три месяцы издес,— с достоинством ответил Мордка, которого в душе корбило, что Пуп третирует его, такого цивилизованного еврейчика, на «ты», вместо того,

чтобы говорить ему «вы» и «господин Олейник».

— Эк тебя куда шагнуло из Украинска? И чего ради?!— покачал на него поручик головою.

— Што делать, надо кушать, надо хлеба заработать,— вздохнул, подернув плечом Мордка.— Издес жить ничего, можно. Насши тоже есть, за восемьдесят человек будет.

— За восемьдесят?! Ого!— удивился поручик. Даже и сюда пробрались... Ну, и что же, все восемьдесят шахруете?

— Нет, зачем шахровать,— увсе при деле: которово портные, которово часовщики, скорняки, ювелиры, мало ли там...

— Ну, и закладчики, конечно?

— Н-ну, и што я знаю?.. Я ж не закладывал,— неохотно и поеживаясь процедил Мордка сквозь зубы.— А издес тоже ваш старый знакомый ест, тоже з Украинску,— круто свернул он вдруг на другую тему, принимая прежнии развязно любезный тон.

— Кто ж такой?— притворно любопытствовал поручик, догадываясь о ком идет дело.

— Кто?.. Граф Каржоль. Помните?.. Издес!

— Да?— спросил Пуп, с видом полного равнодушия.— И давно он здесь?

— Три месяцы. А до того все на Москва жил, в гасштиничу

— Хм... И что ж он здесь делает?

— Шахрует... Когда ж вы его не знаете,— увсегда шахрует. Ув Москва кимпаниона себе найшол — богатый купец один — отец недавно помер... И дурак же такой, звините,— вместе тепер анилиновый завод строят за пятнадцать верстов от города, когда у нас и свой ест ув городу. За чиво?.. Глупий купец верит и всево дела ему передал, даже и чековая книжка, а сам больше все с арфянками на Москва гуляет... Совсем глупий купец, как ест глупий... А Каржоль уже и служащих наймает, берет задатков, обезпеченьев... Комэдия!.. Пфе!

— Что ж он там и живет, на заводе?

— Нет, живет издес, а только ехает на туды; каждаво дня почти ехает... Лошади завел, харошаво квартэра,— этово он все умеет, сами знаете.

— И здешние фабриканты... ничего, верят ему?

— Кто ж его знает!.. Издес народ, звините, такой, чтог ему все равно. Ув карты з ним в хозяйском клубе займаются,— значит, верут.

И Мордка мало-по-малу рассказал про Каржоля всю поднаготную: и что он, сверх завода здесь делает, и как живет, и с кем знаком, и у кого бывает, даже за кем ухаживает. На этот последний счет оказалось, что ухаживает он за женою мирового судьи,— «таково красшивенькаво мадам»,— а сам «морозная сшудья» ничего этого не замечает, только спит себе после обеда, да пиво пьет; но есть у Каржоля соперник, и соперник этот никто другой, как сам полицеймейстер здешний — тоже большой «зух» насчет сердечных дел,— нужды нет, что сам женатый, только жена у него вечно больна, всегда с флюсом ходит, подвязанная. И полицеймейстер сначала имел было у судьи успех,

пока не было здесь Каржоля, а появился Каржоль, и все это «переверталось», судья дала полицмейстеру отставку и занялась Каржомем. Полицмейстер и рад бы ему какой ни-на-есть подвох устроить, подножку подставить, да все никак не удается. А между тем, со стороны поглядеть на них — друзья, совсем друзья, и в карты вместе играют, и друг у друга бывают, и даже покучивают порою.

Аполлон Пуп все это слушал и принимал к сведению, находя, что судьба послала ему в лице Мордки Олейника истинный клад.

Спустя около получаса, когда все прибывшие собрались в комнате генерала пить чай и закусывать, нумерной доложил, что приехал полицмейстер и просит позволения войти, желая представиться его превосходительству.

## II. КАК ВСЕ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ

Внезапное исчезновение Каржоля из Украинска прошло в местном обществе почти незамеченным, особенно в первые дни, ввиду почти совпавшего с ним еврейского погрома, который исключительно занял собою все умы, интересы и толки. Да и самим евреям не до Каржоля уже было. В обществе тем не менее обратили внимание на его отсутствие, что графу и прежде не раз случалось уезжать на время по делам в разные места, и потому внезапный отъезд его был сочтен за самое обыкновенное дело. Несколько странным показалось исчезновение это одной только Ольге Уховой: как в самом деле, удрать чуть не тайком, не предупредив ее ни словом, ни запиской, и особенно зная ее «положение», — это что-то подозрительное. Уж не вздумал ли милейший граф избавиться таким маневром от женитьбы на ней, и от нее самой, и от своего будущего ребенка?.. Но нет, это было бы слишком уж подло, на такой поступок он не способен. Так думала Ольга и в первое время все еще чего-то ждала, на что-то надеялась. Но вот, улеглась сенсация и затихли толки, поднятые в Украинском обществе погромом; разбитые дома поспешно приводились в надлежащий вид, местное еврейство успело опомниться от страха, оправиться, успокоиться и вступить в колею обычной своей жизни, и вместе с сим, мало-по-малу, по городу пошли из еврейской среды кое-какие слухи и толки по поводу Каржоля и его участия в деле Тамары Бендавид. Евреям, на первых порах, казалось выгодным компрометировать его и всех предполагаемых его сообщников, подразумевая под таковыми игуменью Серафиму. Прежде всего, в обществе обратили внимание на то, что в окнах дома, который занимал Каржоль, появились белые билетки, свидетельствовавшие о сдаче его внаймы; стало быть, граф уехал окончательно или на очень продолжительный срок, если счел нужным сдать свою квартиру. Затем, в «Украинских Губернских Ведомостях», в отделе объявлений, появилась публикация о продаже лошадей и экипажей, принадлежавших графу — это еще очевиднее свидетельствовало,

что граф Каржоль де Нотрек в Украинск более не вернется. Что за странность?! Почему? Отчего? По какой причине?— задавались вопросы во всех гостиных и кабинетах украинского mond'a. Даже в канцеляриях разных присутственных мест интересовались этим-вопросом; всех невольно интриговала загадка такого странного исчезновения, всем хотелось знать, в чем дело?

Никто не ведал ничего положительно верного, но тут-то вот, тем охотнее и схватились все за нити разных слухов и толков, шедших под сурдинку из еврейского и польского мира. Заговорили, что граф, пронюхав о миллионном состоянии Тамары Бендавид, задумал на ней жениться и для того вскружил ей голову и убедил принять христианство; другие передавали, что мать Серафима была с ним в заговоре, и он обещал ей за пособничество огромный куртаж; третьи добавляли, что не только Серафима, но были подкуплены и консистория, и сам преосвященный, да кажись, и сам губернатор с Мон-Симоншей не совсем-то чисты в этом деле. Говорили, что тут была- де целая облава, на еврейские капиталы, целый комплот против Тамариных миллионов, но что старик Бендавид успел вовремя предупредить интригу, купив все векселя Каржоля, и только этим путем принудил его отказаться от дела и уехать из Украинска и, наконец, что Каржоль согласился-де на все, выговорив себе, однако, пятьдесят тысяч отступного, которые и были ему с рук на руки переданы Бендавидом. Все либеральные чиновники, адвокаты, судьи и великовозрастные гимназисты приходили в благородное негодование,— вот, дескать, каковы у нас представители православия и правительства! Ясно, что и то, и другое отжили свой век и находятся в процессе разложения, от которого может спасти только одна конституция,— конституция и ничего кроме конституции; другие же, и в том числе Охрименко, находили, что не конституция, а ничего кроме революции и «черного передела». Но дамы,— все акцизные, судебные и проч., и проч. дамы решали вопрос по-своему. Каржоль, в их глазах, не был виноват нисколько, или — как крайняя уступка противному мнению — виноват несравненно менее прочих, даже менее Мон-Симонши. Причем тут, собственно, Мон-Симонша, этим вопросом никто не задавался.— Разве при том только, что она губернаторша, задающаяся «тоном», перед которой все эти «шерочки», «дущечки» и «милочки» лебезят в глаза и всласть ругают ее заочно. По мнению акцизных «шерочек» и контрольных «милочек», Каржоль, как мужчина, вправе был увлечься Тамарой (ах, зачем только ею, а не ими!), но она... она,— о, для нее нет оправданий! Она преступна, она безнравственная, беспринципная девчонка,— вот он истинный нигилизм-то где, вот он! Удивительно, право, как это ее принимали в обществе, как это находились такие матери семейства, которые позволяли своим дочерям дружить с такой тварью, с жидовицей... А все кто — все Мон-Симонша, все она,— она первая всегда ей протезировала. Но тут акцизные и контрольные дамы, кстати, вспомнили, что не совсем-то одна Мон-Симонша, что есть еще и барышня Ухова, которая сама

рассказывала всем и каждому про то, как она была в заговоре вместе с Тamarой и Каржолем, как сама привела ее к нему ночью — horreur — (воображаем, что там было!..) и как жида застали ее утром в квартире Каржоля.— Да, но позвольте, какими же судьбами могла она сводить его с Тamarой, если мы все — entre nous soit dit по секрету — очень хорошо знаем, что не только до Тamarы, но и до последнего времени Каржоль ухаживал за Ольгой, и даже не просто ухаживал, а был так-таки прямо «в интишках» с нею, что уж греха-то таить! Ведь Ольгина горничная знакома с горничной Марии Ивановны и с прачкой Дарьи Степановны, и все, как есть все, разболтала им по секрету,— отсюда и узнали всё их мистэры.— Все это так, возражали этим милым дамам их мужья и поклонники,— все это так; но какая же цель могла быть в таком случае у Ольги сводить графа с Тamarой?— Как какая?! Как это какая?!— кипятились дамы.— Очень понятная: Каржоль женится на Тамаре, прибирает к рукам все ее капиталы, а Ольга... Ольга с левой стороны пользуется и Каржолем, и капиталами. Но ведь у Ольги свое собственное состояние!— Фу, какой вздор! Состояние!.. Велико состояние, какие-нибудь несчастные сто тысяч, когда тут миллионы. Они бы составили между собою преинтересное трио, пока у этой еврейской дурочки не открылись бы наконец глаза. Но что ж, ведь она нигилистка, и к свободе любви должна относиться сочувственно; зато у нее был бы графский титул... и красивый муж, добавьте, которым, время от времени, она все-таки могла бы пользоваться.

Расходившиеся дамы и матроны, в своем благородном негодовании не замечали даже, в какие нелепые противоречия становятся они сами с собою, среди вороха всех этих обвинений и предположений. Но это ничего не значит: сплетня, своим порядком, все разрасталась, разветвлялась во все концы, как пышное растение; вчерашние догадки и предположения сегодня превращались уже в непреложные факты,— и катилась эта сплетня по базару житейской суеты все дальше, забиралась все глубже, раздувалась все чудовищнее и дошла наконец не только до самой Ольги Уховой, но и до старика генерала, которому какие-то «ваши добродетели», как водится, сочли нужным написать об этом анонимное письмо,— принимайте, дескать, ваши меры.

\*\*\*

Крутой генерал вспылил и опрокинулся было всеми громами своего негодования на Ольгу, но...

Странное, хотя и зауряд встречающееся обстоятельство: этот храбрый кавказский воин, привыкший когда-то командовать полком, бригадой, дивизией и деспотически властвовать во вверенном ему округе над покоренными азиатами, а потому и в отставке сохранивший заматерелую привычку относиться к людям «по-генеральски», брюзжать, приказывать, кипятиться и обрывать их порою своим начальственным тоном,— пред Ольгой как-то смирялся и стихал, уступая ей во всем, чуть



только она принимала с ним твердую и независимо настойчивую ноту. Генерал до обожания любил свою дочь и в то же время как будто боялся ее, пасовал перед нею,— он, человек, который не боялся ни турецких пуль, ни черкесских шашек, ни даже самого черта в образе известной всему Тифлису и сильно влиятельной в свое время восточной княгини Нины Мцхичварчидзе, которой все боялись. Это бывает с людьми подобного закала. Ольга знала свою нравственную силу над отцом и широко пользовалась ею во всех случаях, когда ей было надобно. Она командовала им, как хотела. Никто лучше ее не мог ему втереть какие угодно очки, заставить глядеть на все ее глазами, думать ее мыслями и укрощать порывы его вспыльчивости. Он сам поэтому называл ее своею командиршей и укротительницей. В одном только старик не уступал ей,— это во взгляде своем на графа Каржоля, в котором не только своим житейским опытом, но и отцовским инстинктом чувствовал неподходящего для Ольги и вообще ненадежного человека.— «Черт его-знает, от него как будто припахивает скамьей подсудимых!»— таково было интимное мнение генерала о графе, которого он если и принимал у себя, то потому лишь, что «все принимают» и что не находилось никакой достаточной причины не принимать его. Но когда Каржоль попросил у него Ольгиной руки, старик отказал ему очень вежливо, но наотрез и без объяснения причин, и не сдался потом на все настояния дочери. Это был единственный раз в его жизни, когда он сполна выдержал перед нею характер. Что же до позднейших сплетен и анонимного письма, то ей не стоило особого труда направить гнев генерала в другое русло,— на безымянных «доброжелателей» и сплетников; но так как они безымянны, то генералу оставалось только платить им презрением, да и то молчаливым, потому что в глаза ему никто не отважился бы сказать и сотой доли тех мерзостей, что были наворочены в анонимном послании.

Ольга, как и прежде, продолжала показываться в обществе; но теперь она стала замечать, что большинство благородных матерей и дочерей разных гражданских ведомств и даже некоторые «военные дамы» относятся к ней очень сдержанно, сухо точно бы сторонятся от нее или стесняются ею. Одна Мон-Симонша — надо отдать ей справедливость — почему-то продолжала еще относиться к ней по-прежнему,— быть может, потому, что среди всех этих контрольных и акцизных аристократок, по воспитанию и рождению своему, она все-таки была более порядочным человеком. Но «шерочки», со свойственной им пронизательностью, объяснили себе это тем, что и Мон-Симонша-де была в заговоре, вместе с Каржолем и Ольгой, против Тамариных миллионов. Заметив охлаждение к себе со стороны разных дам и барышень и странные взгляды, которые начинают кидать на нее в обществе мужчины, а также встречая порою от иных матрон приторно притворные выражения Сочувствия, вроде фраз; «как нам жаль вас, шерочка, как мы все вам сочувствуем:; что делать, мы понимаем ваше положение»,— заметив все это, Ольга более всего не выносившая никаких «сожалений» по отношению к своей особе, решила себе,

во-первых, осаживать подобных ядовитых сердобольниц, а затем — не бывать больше в обществе. Последнее было благоразумнее всего, потому что беременность ее понемногу начинала уже сказываться и наружными признаками. Она подумывала, что надо бы во всем признаться отцу и уехать с ним поскорее за границу, чтобы там скрыть естественные последствия своего опрометчивого увлечения. Но как сказать, как признаться ему,— такой шаг даже и Ольге казался тяжело трудным, и она долго, но тщетно обдумывала, каким бы образом сделать его полегче, поудобнее, чтобы не слишком уж поразить старика этим ударом. Ей все-таки было жалко его.

В первые недели по исчезновении Каржоля, она ждала от него какого-нибудь известия — письма или телеграммы, которая успокоила бы ее хоть тем, что она, по крайней мере, знала бы, где он, и потому могла бы написать ему, объяснить свое положение, потребовать, наконец, от него откровенного да или нет,— но он молчит, исчез куда-то, без следа, а время, между тем, идет да идет, и Ольга, наконец, убеждается, что она обманута и брошена. Не столько горе душило ее при этом сознании, сколько оскорбленное самолюбие, негодование и жажда, так или иначе, отомстить за себя графу Каржолю. Ее опасения, что он, того и гляди, в самом деле женится на Тамаре, усилились в особенности с тех пор, как по городу пошли слухи, выдаваемые за безусловную правду, что все документы Каржоля, скупленные Бендавидом, погибли во время разгрома, а потому граф теперь совершенно-де свободен от всех своих обязательств перед евреями, узда с него спала и, конечно, не дурак же он, чтобы не воспользоваться во всей широте своей свободой, чуть лишь проведаст об этом счастливом для него обстоятельстве. Этого же опасались еще в большей мере и сами евреи, в особенности Бендавид и члены Украинского кагала, которые готовы были рвать на себе «святые пейсы» от досады, что черт его знает как и через кого вышел из замкнутого круга еврейской общины и огласился среди гойев ужасный факт гибели Каржолевских документов. Они всячески старались отрицать это и уверять в противном, но не могли представить ровно ничего в доказательство своих уверений,— и христиане им не верили. В христианском обществе, напротив, сложилось твердое убеждение, что не только графские, но и множества других лиц долговые документы совершенно погибли. По именам называли даже людей из местных мещан и рабочих, которые сами были в числе их истребителей, и не скрывают этого. Кагал чувствовал, что все его голословные отрицания бессильны и что Тамарин миллион висит для него на волоске, готовый достаться Каржолю,— стоит лишь ему протянуть руку, при помощи женитьбы и столичных «знаменитостей» адвокатского мира. Самым лучшим, самым желанным исходом для кагала, конечно, была бы смерть Тамары или Каржоля; но смерть последнего устроить очень трудно и рискованно, раз что он выпущен из Украинска; о Тамариной

же смерти нечего и мечтать: Тамара теперь обставлена в Петербургской Богоявленской общине так, что до нее не доберешься. Ввиду всего этого, кагал сознавал, что надо бороться против грозящей опасности, надо, во что бы то ни стало, одолеть ее, но только более тонкими и легальными путями.

К этому времени Абрам Иоселиович Блудштейн уже получил от Мордки Олейника известие, что Каржоль, кажись, окончательно оселся в Кохма-Богословске, занявшись там анилиновым заводом, а потому-де Мордка считает миссию свою законченной и просит выслать ему денег на возвращение в Украинск. Малая толика денег хотя и была послана Мордке, за счет Бендавида, но с тем, однако, чтобы Мордка и думать не смел пока о возвращении, а продолжал бы оставаться в Кохма-Богословске и еще зорче следить за Каржолем, давая своевременный отчет о каждом его существенном шаге. В находчивой голове Абрама Иоселиовича уже назревал один план, который если — даст Бог — осуществится, то весь Украинский Израиль воспоеет его творца и в гусях, и в тимпанах. Объектом этого плана был Каржоль, а средством к достижению — барышня Ухова.

Абрам Иоселиович знал, что она беременна и от кого; знали об этом и в кагале, и знали очень просто, как и все вообще, что творится в обществе гойев. благодаря обыкновенной системе пронырливого жидовского факторства и шахрования, содействием коих кагал искони пользуется, в случае надобности, ради собственных интересов.

Проживала в Украинске одна, пожилых лет, бездетная еврейская вдовица, Перля Лившиц, которая «шахровала» тем, что шлялась с заднего крыльца по всем дамам и барышням Украинского mond'a и брала у них старые платья, шляпки, башмаки и т.п. на комиссию до «предажи» или в обмен на разные принадлежности туалета, блонды и перчатки, попадавшие к ней в руки тоже на комиссию, по знакомству ее с содержателями контрабандных складов; мужчинам же, холостым и женатым, Перля носила безбандерольный табак и «цигарке контрабандове». Это была, так сказать, гласная сторона ее деятельности; негласная же состояла в том, что «мадам Перля», зная от разных «шерочек», из числа своих клиенток, и от их горничных, о том, кто за кем ухаживает и кто с кем в связи, «по дружбе» оказывала нуждающимся неоценимые услуги по части переноса от «предмета» к «предмету» любовных записочек, или передавала на словах об условном часе и месте секретного свидания и т.п. Дружескими услугами мадам Перли пользовались более или менее все, кто не безгрешны по части «фигли-мигли» и «закретных амуретов», и эти интимные услуги оплачивались ей обеими заинтересованными сторонами гораздо лучше и щедрее, чем ее гласная профессия. Благочестивые еврейские балбосты, конечно, относились за это к Перле с презрением, многие из них даже и на порог к себе не пускали ее; но благочестивый кагал смотрел на ее секретную деятельность более снисходительно, находя, что зазорное по отношению к своим — не зазорно или, по крайней мере, допустимо по отношению к гойям, в разносторонней и всевозможной

эксплуатации коих для еврея, в сущности, нет ничего зазорного. Кагал находил, что секретная профессия Перли Лифшиц, при случае, может быть небесполезна и для каких-либо катальных целей и интересов, а потому негласным постановлением своим продал ей, за известный ежегодный взнос в катальную кассу, право меропии на этот род эксплуатации гойев, подобно тому, как он продает своим однообщественникам-евреям право на содержание разных гласных и негласных публичных заведений, шинков, ссудных касс и т.п. Благодаря такому отношению к негласной профессии мадам Перли, в руках кагала сосредоточивались, между прочим, сведения о всех тайнах и грешках Украинского общества; он знал, так сказать, всю поднаготную всех этих «шерочек» и «душечек», с их «ферлакурами», «хахалями» и «халахонами», которые не подозревая ничего подобного, считали Перлю золотым человеком, за ее будто бы дознанную скромность,— на Перлю-де в их делах можно побожиться, как на каменную гору, Перля никогда ни в чем не проболтается, это — сих дел могила.

Захаживала Перля со своими узлами и коробками, с заднего крыльца, и к Ольге Уховой, для комиссии по части старых тряпок, и она же была первою посредницею между ней и Каржолем, еще в самом начале их романа, перенося к ним взаимные записочки; продолжала захаживать к обоим и впоследствии, под тем же благовидным предлогом блонд и табаку, и не прекратила своих визитов к Ольге даже по исчезновении Каржоля из Украинска. Таким образом, мадам Перля, естественно, была посвящена во все перипетии их связи. Когда у Ольги обнаружились первые, заметные на глаз, признаки ее интересного положения, мадам Перля «по дружбе» предложила ей даже одно «закретное средство», такое хорошее, верное средство, что если принять его один только раз, то все ее «положение» как рукой снимет и ничего больше не будет, никаких последствий, и стоить это будет самые пустяки, всего каких-нибудь двадцать пять рублей. Ольга колебалась... ей и хотелось бы избавиться от своего «положения», а в то же время страшно было довериться фармацевтическим секретам мадам Перли,— она знала из книжки доктора Дебе, жадно поглощенной ею еще в гимназии, какими последствиями могут грозить такие «секреты», при мало-мальски неумелом их применении, и потому в конце концов отказалась. Она слишком любила себя и жизнь, слишком хотела еще жить и наслаждаться жизнью, и положение ее еще не казалось ей таким отчаянно безысходным, чтобы решиться подвергнуть себя столь рискованным экспериментам.

По получении Блудштейном известия из Кохма-Богословска о Каржоле, когда в мудрой голове Абрама Иоселиовича созрел уже его план, он повидался по секрету с мадам Перлей, поговорил с нею по душе и кое-что внушил ей. Вскоре после этого, сидя у Ольги, Перля, по обыкновению, завела с нею соболезнующий разговор о ее «положении» и вдруг, как бы экспромтом, говорит ей:

— А знаете, что я себе додумала? Вам бы надо, как наискорейш выходить замуж за Каржоль.

— Глупый совет, моя милая,— грустно усмехнулась ей Ольга.— Как же я выйду, если мне неизвестно даже, где он находится?

— Ну, вам неизвестно, а ми знаем где,— многозначительно подмигнула Перля.— Завернаво знаем, недавно узнали. То вже так. И как мы узнали,— продолжала она вкрадчиво,— то я тым часом и додумала себе. Хорошо бы, думаю, кабы барышню зараз поехала до него и з папиньком, з енгерал, тай покрутила его за себя! Ай, как хорошо бы!

Ольга так и встрепенулась. Счастливая мысль как нельзя удачнее была заброшена в ее голову.

— Где, же он? Где?— с живостью схватила она Перлю за обе руки.

— А, ув одном городе, в России... Пойдите, как этово город называется... у меня записано.

И порывшись в своем заношенном ридикюле, мадам Перля достала оттуда сложенный клочок бумажки.— Читайте, бо я по русско не знаю.

На клочке было прописано мужским почерком: «Боголюбской губернии, город Кохма-Богословск, Вознесенская улица, дом купца Исполатова».

— Он там,— с безусловной уверенностью подтвердила Перля.— Вже улоковалсе завсем до житья, фабриков заводит...

Обрадованная Ольга чуть не бросилась к ней на шею.

— Я напишу к нему!— было ее первую мыслью.

— Ай, нет! Боже збав!.. Когда же так можно!?— спохватилась еврейка.— Вы из таким манером всего дела скассуете.

Несколько сбитая с толку, Ольга воззрилась на нее недоумевающим взглядом.

— Надо, штоб он а-ничего не знал,— внушала ей Перля даже с некоторой таинственностью.— А-ни-ничего! Понимаетю?.. Ехайте просто, тай захапайте. А то, каб он часом знов куды не заховалсе... Додумали?

— Да, это правда.— подумав, согласилась Ольга.

— Ага, правда?.. Мадам Лившиц наувсегда правда говорит. Вы только слушайте мадам Лившиц, то увсе хорошо будет.

Мадам Лившиц вам злово не хочет.

\*\*\*

С этого разговора, Ольга точно бы заручилась в игре крупными козырями. Чем дольше думала она об этом, тем более убеждалась, что и в самом деле не придумаешь лучшего исхода из своего фальшивого положения и лучшего мщения Каржолю, как заставить его на себе жениться. Какое бы это было торжество над ним, и над этой негодяйкой Тamarой (поделом,— не отбивай!), да и над всеми украинскими сердобольницами, над целым обществом!— Вернуться вдруг сюда графинею Каржоль де Нотрек... О, как бы тогда все заплясали перед нею! Какие со всех сторон посыпались бы уверения в дружбе, в преданности, в уважении!.. А он-то, он — все эти его махинации, все широкие замыслы и расчеты на Тамарины

миллионы — в трубу!.. Да, это одно уже было бы ему достойным наказанием. Сбежал, и вдруг заставили жениться.— И все рухнуло!.. Что взял!?!— Конечно, кроме полного презрения, этот милый супруг никогда уже ничего больше от нее не добился бы, но зато она носила бы громкое аристократическое имя, с которым сумела бы впоследствии распорядиться собой и своею карьерой. Только бы имя,— для нее довольно и этого! Имя — и она отомщена. Да, выйти замуж,— конечно, так. Но как добиться, как исполнить это?— И Ольга стала серьезно думать над своею задачей.

Вскоре и в этом отношении помогло ей одно совершенно случайное обстоятельство.

\* \* \*

Поручик Пуп, несмотря ни на что, по-прежнему, все еще был безнадежно влюблен в Ольгу и продолжал мечтать о ней, вполне сознавая впрочем, что для него такое счастье недостижимо. Это было даже несколько смешно в таком лихом улане, за которым бегали чуть не все украинские барыни, и маманьки, и дочки. Не сломила его упрямое чувство даже огласившаяся история Ольги с Каржолем. Любящее сердце упорного поручика нашло в себе достаточно извинений и оправданий для своего идола.— Она-де жертва, во всем виноват Каржоль, которого он с удовольствием вытянул бы на барьер и всадил пулю в лоб,— рука не дрогнула бы. Он давно уже, с самой первой встречи с ним на знаменитом Мон-Симоншином празднике, молча ненавидел этого счастливого своего соперника, который, однако, держал себя по отношению к нему и ко всем вообще «господам офицерам», с таким безукоризненным тактом, что решительно не оставлял поручику никакого повода придраться к нему и покончить дуэлью. Придраться, конечно, можно было бы и без повода, если уже на то пошло, но Аполлона Пупа удерживало от этого другое, более глубокое и великодушное побуждение: он видел прежде всего, что сама Ольга равнодушна к Каржолю, стало быть, что ж тут поделаешь? Оскорбить или убить его — это значило бы нанести оскорбление или жестокий удар ей, в ее собственном чувстве, заставить ее страдать, без всякой пользы для себя, а он слишком любил ее, чтобы решиться на такой поступок. В первое время, полагая, что граф все-таки порядочный человек и вероятно, вскоре женится на ней, Аполлон Пуп хотел уверить самого себя, что он может быть даже не настолько самоотвержен, чтобы желать ей полного счастья с ее будущим мужем, и старался дать понять ей это «тонким намеком», напевая иногда пред нею с особенным выражением романс:

"Нет, нет, не должен я, не смею, не могу  
Волнениям любви безумно предаваться" .

Ольга слушала, как в этом романсе он желал ей «все... даже счастья того, кто избран ей, кто милой деве даст название супруги»,— слушала и благосклонно, но не без коварства улыбалась певцу, посмеиваясь в душе над его странною сентиментальностью,

которая — надо сознаться — менее всего шла к бравому улану. В таком положении оставалось это дело до самого бегства Каржоля.

Однажды, в конце сентября, в ресторане гостиницы пана Пушета, куда все уланы обыкновенно сходились обедать и ужинать, вышла «история», даже «сконапельная история», как выражались украинские шутники. Началось с того, что молодой чиновник из правоведов, сидевший за общим столом напротив Пупа, громко стал распространяться в пикантно-легком роде и вовсе недвусмысленных выражениях насчет «барышни Уховой», о ее «доступности» и «интересном положении». Побледневший Аполлон сдержанно и сухо остановил его, напомнив, что имеет честь считать себя в числе добрых знакомых госпожи Уховой и потому просит прекратить разговор на эту тему. Правоведах натопорщился и заметил в ответ, что если кому не нравится, тот может не слушать или уйти, но никто не имеет права запрещать ему иметь о ком бы то ни было свое собственное мнение.

— А я считаю,— возразил улан,— что каждый порядочный человек имеет не только право, но обязан остановить нахала, который позволяет себе позорить по кабакам имя девушки, и без того уже несчастной.

За слово «нахал» тот вломился в амбицию, и кончилось тем, что поручик бросил ему в лицо свою визитную карточку, заявив, что он всегда к его услугам, и затем немедленно удалился домой, в ожидании прибытия к себе секундантов от оскорбленного правоведа. Ожидание его продолжалось двое суток, но секунданты так и не явились; оскорбленный же ограничился тем, что перестал кланяться с «господином Пупом».

Между тем, история эта разнеслась по городу и, через ту же мадам Перлю дошла до Ольги. В настоящем своем положении, более чем когда-либо ценя подобное проявление участия к своей «компрометированной особе», она вспомнила, что этот самый Аполлон делал ей когда-то предложение и получил отказ, за что, казалось бы, более всех имел право теперь относиться к ней безучастно, и вдруг он-то первый и подымает единственный голос в ее защиту! В порыве благодарного чувства, Ольга написала к нему коротенькую записку, где высказала, что она искренне тронута благородным его поступком и от всей души благодарит его. Ответом на это со стороны улана было письмо, в котором он изъяснял уже давно известные ей свои чувства, не поддающиеся ни времени, ни обстоятельствам, и заявлял, что, несмотря на полученный однажды горький для него отказ, он все-таки отваживается еще раз сделать ей предложение своей руки и сердца, в надежде, что авось либо теперь она их не отвергнет, хотя бы только, ради того, чтобы этим путем сразу положить конец всем гнусным сплетням.

По прочтении этого письма, у Ольги блеснула новая мысль, в которой она увидела наконец возможность осуществить свою заветную задачу, лучше чем предполагала доселе,— и на другой же день Аполлон получил от нее в записке приглашение по поводу его предложения. В назначенный час улан явился.

Ольга приняла его одна, без родителя. Она сразу и прямо высказала ему горячую свою благодарность, говоря, что лучшего мужа и желать не могла бы, что быть его законной женой составило бы для нее счастье и гордость всей ее жизни, но...

— Вы видите, однако, в каком я положении,— смущенно продолжала Ольга.— Скрывать не приходится... Позднее раскаяние было бы напрасно, да я и не из тех, что каются и хнычат. Что делать, не сумела оценить вас раньше, а теперь... простите, но быть вашей женой не могу... теперь даже более, чем коща-либо.

Бедный улан, за минуту еще полный самых радужных упований, вдруг затуманился и почти безнадежно опустил голову и руки.

— Если вас только это смущает... это ничего не значит... ровно ничего... поверьте... я все-таки..., повторяю мое предложение,— смущенно говорил он прерывавшимся от волнения голосом.

— Нет, Аполлон Михайлович. Спасибо вам, но это невозможно,— порешила Ольга.

При всей сердечности тона, каким были сказаны эти слова, в нем звучала твердая, бесповоротная воля, и поручик понял, что дальше добиваться нечего.

— Мой будущий ребенок должен носить имя своего отца,— продолжала она,— это моя цель, мое единственное желание, помогите осуществить его! Помогите мне выйти замуж за графа, и тогда — я ваша... берите меня, делайте со мной, что хотите,— я буду вам самой преданной рабой, самой горячей любовницей, но женой — никогда. Я должна быть графиней Каржоль де Нотрек, этого требует моя честь, мое оскорбление... Докажите же вашу любовь и помогите, мне нужна ваша помощь.

Выслушав все это молча и очень серьезно, точно бы взвешивая и запечатлевая в себе каждое ее слово, улан сделал ей глубокий поклон и мог проговорить только одно:

— В огонь и в воду!.. Приказывайте.

Тогда Ольга взяла его за руку и повела в кабинет к отцу.

— Папа,— сказала она решительно и твердо, отчасти даже как бы приказывающим тоном,— потрудись, пожалуйста, выслушать... брось свою газету.

Старик послушно отложил в сторону газетный лист, поднял на лоб очки и повернулся в кресле к дочери.

— Что, дружок, прикажешь?

Но увидев стоявшего рядом с ней улана, он тотчас же «подтянул» самого себя, принял генеральскую осанку и, точно бы принимая своего адъютанта, явившегося к нему с докладом по службе, заговорил, протягивая ему руку, совсем уже иным, отрывисто военным тоном:

— А, поручик!.. Здравствуйте. Очень рад. Прошу садиться. Что скажете-с?

— Вот что, папа,— тем же своим тоном продолжала Ольга.— Аполлон Михайлович сделал мне предложение.

— Как?! Второе?— удивился генерал, откинувшись в кресло и окидывая взглядом обоих.



— Да, вот его письмо,— можешь прочесть его.

Генерал спустил на нос очки, осанисто насупился и быстро стал пробегать глазами отчетливые строки Аполлонова предложения.

— С своей стороны, ничего не имею против,— разрешил он по-военному, передавая письмо обратно.— Вы, друзья мои, стало бытъ уже порешили? Ну, что ж, очень рад. Поздравляю!

— Не в том дело,— остановила его Ольга.— Лучшего зятя, конечно, ты и желать не мог бы, но... к несчастью, я не могу быть его женой.

Генеральские очки опять очутились высоко на лбу, а лицо приняло выражение человека, совершенно сбитого с толку.

— Вот те и на!.. Что же это такое?

— Видишь ли,— продолжала Ольга.— Мне трудно... тяжело говорить, но надо же наконец решиться. Постарайся выслушать спокойно.

И наклонившись к отцу, она обняла рукой его шею и поцеловала в голову.

— Я скрывала от тебя, пока было можно, мое положение, думала, ты сам догадаешься. Ну, а теперь больше незачем. Прости, дорогой мой, я... я...

И Ольга, превозмогая себя, объяснила ему о своих отношениях с графом и о том, что она решила — во что бы то ни стало — заставить этого негодяя на себе жениться. Это должно быть так, и это будет. Аполлон Михайлович знает все и готов содействовать.— Помоги же и ты, если тебе дорого имя твоей дочери.

Старик до того был ошеломлен всем этим, что забыл даже рассердиться. Он только бессильно уронил руки на валики своего глубокого «вольтеровского» кресла и, весь как-то осунувшись — точно бы в нем что рухнуло — глубоко и тяжело задумался, устремив глаза на одну какую-то арабеску растянутого по полу персидского ковра, меж тем как Ольга, рассказав ему где и как находится Каржоль, продолжала развивать свой замысел и свои предположения, каким образом возможно осуществить его.

— Да, пожалуй, что другого ничего и не остается больше,— со вздохом проговорил наконец старик, после долгого, сосредоточенного раздумья.— Что ж тут!... Снявши голову, по волосам не плачут. Хорошего, однако, муженька приготовила себе дочка, нечего сказать!— с горькой иронией покачал он на нее головой.

— Мой грех, мой и ответ,— покорно пожала она плечами.

— Да, но ты должна будешь жить с таким мерзавцем.

— Я?.. Никогда!— гордо выпрямилась Ольга.

— То есть, как же так, однако?

— А, это уже мое дело.

— Но и его, полагаю. У него будут известные права на тебя, как у мужа.

— Повторяю тебе,— настойчиво подтвердила она,— я должна быть графиней Каржоль де Нотрек, а там уже, в остальном, предоставь распорядиться мне, как знаю. Ни тебя, ни

себя я не обременю его особой.

Старик еще раз задумался.

— Так как же, папа? Могу я рассчитывать на тебя?

— Делай, как знаешь,— развел он руками.— Господь с тобой! Мне, как отцу, бросать тебя, конечно, не приходится. Нужна моя стариковская помощь, я готов. В случае чего, и сам на барьер вытяну этого негодяя!

Решено было втроем ехать в Кохма-Богословск, а там... Там уже видно будет.

Стали готовиться к отъезду. Генерал взял, по текущему своему счету, из банка две тысячи рублей на дорожные и иные расходы. Он понимал, что медлить с этим делом нельзя — Ольга ходит на шестом месяце,— и удивлялся только самому себе, как это он, старый дурак, до сих пор не догадывался, в чем дело, а только радовался, что дочка-де так полнеет, здоровеет, значит, слава Богу.— Вот-те и поздоровела. А ведь после анонимного-то письма, кажись, не трудно было бы раскрыть глаза себе. Так вот, поди ж ты, слепота какая!— и во сне даже не допускал подобной возможности.

\* \* \*

Через день после этого, неожиданно для старика, но вполне жданно для его дочери, приехал к ним из Петергофа в двухмесячный отпуск родной племянник генерала, корнет Засецкий, большой приятель Ольги, с которым она одно время росла в своем детстве. Незадолго до предложения Аполлона, явившегося для нее совершенной нечаянностью, Ольга предполагала осуществить свои замысел именно с помощью кузена Жоржа, и потому, по секрету от отца, написала к нему в Петергоф, чтобы он непременно брал возможно более продолжительный отпуск и как можно скорее приезжал к ним в Украинск, так как присутствие его здесь серьезно составляет для нее вопрос почти жизни или смерти; отец ничего-де пока не знает об этом, а в чем дело, она объяснит на месте. Кузен Жорж не заставил долго ожидать себя и явился к дяде как снег на голову, не предупредив о себе даже телеграммой, потому что Ольга попросила его не делать этого. Хотя роль, предназначавшаяся ею для Жоржа, была отдана теперь Аполлону, как наиболее подходящему для сего человеку, но раз кузен уже приехал, тем лучше: у Ольги вместо двух будет трое защитников. Гвардеец сразу же сошелся с уланом, как добрый малый и товарищ по оружию, а Ольга объяснила Аполлону, что надо и его посвятить в дело, тем более, что отъезд отлагать нельзя, да и «положения» своего перед ним не скроешь, и наконец — не оставаться же ему одному в Украинске. Авось-либо и он на что-нибудь пригодится.

— Превосходно!— согласился поручик.— Взять, непременно взять и его! Вдвоем-то мы как приступим к его сиятельству такими архангелами, да еще с генералом в резерве,— много разговаривать не станет.

Мадам Лифшиц, между тем, продолжала с заднего крыльца навещать по утрам Ольгу и, таким образом, находилась в курсе

всего, что делается в генеральском доме, помогала ей даже в приготовлении к дороге и знала заранее предназначенный день отъезда.

— А што, маво милаго барышню, и когда ж мадам Лифшиц не хорршаво совет вам давала?.. Ага!.. Ви только слушйите мадам лифшид, и у все гунц-хипш будет!.. Зер хипш! Вот посмотритю!.. Бо мадам Лифшиц любит вас, как свово дитю.

И после каждого своего визита к Ольге, она аккуратно захаживала, с заднего же крыльца к Абраму Иоселиовичу Блудштейну, «до кабинету», и секретно докладывала ему о положении дела. Тот уже заранее потирал себе руки от удовольствия,— как все это пока хорошо налаживается,— ну, точно бы они по нотам разыгрывают его музыку!

Спустя около недели после того, как в генеральском доме произошло решительное объяснение, четверо спутников экспромтом нагрянули в Кохма-Богословск, где Мордка Олейник, вовремя извещенный Блудштейном, уже два дня поджидал их, бегая каждый раз на станцию к приходу пассажирского поезда.

### **III. ПО-КАВКАЗКИ**

Мы оставили наших путников за чаем и закуской в номере генерала Ухова, в тот момент, когда «номерной» доложил его превосходительству о приезде полицеймейстера. За несколько минут перед этим, все они с живейшим интересом внимали Аполлону Пупу, который, в отличнейшем расположении духа, сообщал им целый ворох новостей о Каржоле, только что почерпнутых им из рассказов Мордки Олейника. Генерал однако слушал скептически, далеко не разделяя розовых надежд поручика, воображавшего, что теперь все пойдет прекрасно, лишь бы поскорей захватить Каржоля. Он понимал, что, сколь ни подробны Мордкины сведения, сколь ни близки они, пожалуй, к истине, но одних только этих «сведений» слишком еще недостаточно для того, чтобы немедленно же приступить к надлежащему действию в совершенно чужом и незнакомом городе.— Что ж из того, что Каржоль открывает где-то там завод, или ухаживает, в ущерб полицеймейстеру, за какую-то судыхой?!— Тут главный вопрос в стратегии — с какой стороны ловчее подойти, чтобы прямо взять этого быка за рога и принудить его венчаться немедленно без отговорок и отвиливания. Для этого, конечно, нужен прежде всего целый план, и план настолько хорошо и верно рассчитанный, чтобы не получилось ни малейшей осечки. А такого-то плана и не имелось еще в голове ни у генерала, ни у его спутников. Поэтому генерал даже впал в ипохондрическое настроение, полное мрачных сомнений. Он стал испытывать такие сомнения еще в дороге, и чем ближе подвигался к цели, тем сильнее начинал глодать его этот червяк, но генерал хранил пока свои думы про себя, даже боялся высказываться, чтобы не раздражать и не печалить преждевременно Ольгу, у которой и без того на душе было несладко. Но тут его уже, что называется, прорвало: не совладал

с собой и высказался весь наружу.— «Заставить!» Легко сказать «заставить», но как это исполнить на деле?.. Не возьмешь же человека за шиворот и не потащишь прямо к аналю! Да и аналой-то надо еще наперед приготовить — попа найти, который согласился бы... Дуэль;— Прекрасно. А если этот негодяй как-нибудь извернется и улизнет из города до дуэли, даже раньше объяснения с ним, чуть лишь пронюхает о приезде генерала с ассистентами?— Ведь это так возможно, особенно в таком городишке, где каждый шаг на виду у всех, и где поэтому приезд их не может остаться тайной, а стало быть и молва о нем легче легкого дойдет до Каржоля, пожалуй, прежде еще, чем тут успеют сообразить насчет плана. Генерал тем более чувствовал себя не в духе, что теперь по прибытии на место, ему вдруг представилось с поразительной для него самой ясностью — насколько, в самом деле, легкомысленно была задумана и исполнена сгоряча вся эта поездка, и насколько нелепо было ему на старости лет, поддаться сумасбродной идее своей дочери, не взвесив наперед всех шансов за и против ее осуществления. Там, в Украинске, под влиянием Ольги и в пылу собственной негодования против Каржоля, это «заставить» казалось ему не только осуществимым, но и довольно легким делом — возьмем, мол, да и заставим!— Но тут, на месте, оно превратилось в огромный знак вопросительный. Как его заставишь?.. А если не удастся, тогда что?.. В Украинск вернуться на смех добрым людям,— поехали-де не по что, приехали ни с чем! Здравствуйте!.. Вся эта затея казалась ему теперь более чем сомнительной, даже глупой, и он чувствовал себя в дурацком и беспомощном положении.— Ну, вот и приехали, и сидим в каких-то «московских номерах», ну, и узнали, положим, кое-что,— а дальше-то что же?.. Не к судыхе же этой обращаться за помощью и советом!.. Но к кому-нибудь да надо,— надо непременно, без этого не обойдешься. К кому же?!.. Если бы еще тут был хоть один знакомый человек более или менее своего круга, или если бы можно было, по крайней мере, предварительно пожить здесь несколько дней в полнейшем инкогнито, поосмотреться, поразмыслить,— но ведь об этом и думать нечего! Ольга и слушать никаких резонов не хочет,— наладила себе одно «сейчас» да и баста!— Сейчас-де отправляться всем к Каржолю на квартиру и ждать; или же пускай Аполлон Михайлович отправляется один и поджидает его приезда на улице, около дома, и когда даст нам знать,— мы все и нагрянем. Генерал только руками отмахивался, точно бы от назойливых мух, жужжащих у него над ушами.

— Это только в водевилях так бывает!— говорил он с горечью и досадой.

— Ну, да однако что же иначе?— раздраженно возражала ему Ольга.— Раз, что мы уже здесь, сидеть и ждать сложа руки еще глупее!

В эту-то минуту как раз и вошел «номерной» с докладом.

— Кто такой, говоришь ты?— с неудовольствием обернулся на него Ухов.

— Полицеймейстер здешний... Вашему превосходительству представиться желают,— повторил тот у дверей, понижая голос до какой-то особенной таинственности, проникнутой почтительностью.

— Эх, черт возьми, вот уж некстати!— досадливо проворчал про себя генерал.— Тут едва кусок в рот, а он «представиться»... Скажи, что я извиняюсь... А впрочем,— передумал он вдруг,— постой... Где он?

— Тут-с, в коридоре дожидаются,— еще таинственнее кивнул тот на дверь головой и глазами.

— Хм... в коридоре?.. Нечего делать, проси!

Генерал хотя и был недоволен, что посторонний человек набивается к нему со своим визитом в такую неподходящую минуту, но в то же время, как «отставной», он остался в душе приятно польщен изъявлением такой «аттенции» к своей превосходительной особе, тем более, что отставные на этот счет у нас далеко не избалованы. Это даже предрасположило его в пользу «почтительного» полицеймейстера, да и кроме того, генерал сообразил, что авось-либо он может быть в чем-нибудь полезен «по делу».

В комнату вошел представительный и несколько дородный мужчина — что называется в провинции, «бэль-ом»,— лет сорока «с хвостиком». Это был высокого роста курчавый брюнет, с высокоподстриженным, воловьим, красным затылком, и тщательно расчесанными, надушенными подусниками, которые вполне можно было назвать роскошными. Полицейский мундир его, с гражданскими жгутами вместо погон, был украшен несколькими орденами и, в том числе, крестом за покорение Кавказа.

— Позвольте иметь честь представиться вашему превосходительству,— заговорил он несколько катаральным, но приятным баском, щелкнув по-военному шпорами.— Надворный советник Закаталов, местный полицеймейстер... Узнав о прибытии вашего превосходительства, счел долгом...

— Очень приятно,— поднялся навстречу ему генерал, с достоинством протягивая руку,— оччень приятно... Прошу извинить,— застаете нас несколько в неглиже, в такой... обстановке, по-семейному... Прошу садиться.

Полицеймейстер снова прищелкнул шпорами.

— Ваше превосходительство, не узнаете меня?— задал он вдруг вопрос, ослабляясь приятно мистифицирующей улыбкой.— Неужели не узнаете?!. А я так вот сразу узнал вас.

На лице генерала отразилось некоторое замешательство, вместе с вопрошающим недоумением.

— Позвольте... виноват,— пробормотал он, пожимая плечами.— Судя по вашему кавказскому кресту, вероятно, мы с вами когда-нибудь на Кавказе встречались?

— Так точно, ваше превосходительство. Не изволите ли припомнить, когда вы еще командовали 1-м батальоном Шушенского полка, я у вас в батальоне был юнкером.— Закаталов... Под вашим начальством, так сказать, службу свою начал.

Лицо генерала вдруг озарилось радостью, точно бы он

сделал необычайную находку.

— Батюшки-светы!.. Дорогой мой!.. Да неужели это вы?!.. Вот встреча-то!..— И он от всей души заключил «бэль-ома» в свои широкие объятия и расцеловался с ним совсем по-родственному, вlepив в его здоровенные щеки три звонких поцелуя.

— Старый боевой товарищ!.. Закаталов!.. юнкер Закаталов!.. Как же, как же!— восклицал Ухов, радушно взяв его за руки и как бы дивясь на него ласковыми глазами.— Вот, уж подлинно гора с горой, говорится... Да какой же вы молодец еще!.. Хо-хо!.. Присаживайтесь-ка к нам, без церемоний,— по-нашему, по-кунацки!.. Позвольте вам представить моих.

И генерал познакомил его с дочерью и офицерами.

— Мне как только доставили ваши виды.— объяснял меж тем полицеймейстер,— смотрю, что такое!?!— «генерал-лейтенант Орест Аркадьевич Ухов».— Батюшки, думаю себе, да ведь это мой отец-командир!.. Сейчас же разумеется, мундир на плечи и самолично... самолично-с к вашему превосходительству. Какими судьбами, скажите пожалуйста?

— Ну, о судьбах мы потом. А пока — рюмку водки и... чем Бог послал... побивачному. Помните, как бывало в Дагестане-то?.. а?..

Завтрак прошел, как и всегда в подобных случаях: отрывочные и смешные воспоминания о том, о сем, о прежней службе и сослуживцах прерывались разными расспросами о самом Закаталове, о его житье-бытье, о городе Кохма-Богословске, а промежутки между такими разговорами восполнялись обычными восклицаниями, вроде «так-то!» «так вот как, батюшка!»— восклицаниями, в сущности, бесцельными, но в общем изъяслявшими обоюдное удовольствие и удивление по поводу столь неожиданной и приятной встречи.

После завтрака полицеймейстер стал уже было откланиваться, но генерал удержал его, сказав, что хочет переговорить с ним по одному делу. Остальные, по самому тону этого предупреждения, поняли, что будут, пожалуй, лишними при предстоящем разговоре и потому удалились из комнаты. От старика не ускользнул несколько удивленный, недоумевающий взгляд, мимолетно орошенный Закаталовым на фигуру Ольги, когда та поднялась со своего места. Он понял причину и значение этого, быть может, нечаянного взгляда, и его невольно передернуло. Затрудняясь первым приступом к такому щекотливому делу,— как и с чего начать,— генерал сам заглянул в коридор — нет ли там кого лишнего — и плотно затворил дверь, А затем, насупясь с серьезным, обдумывающим видом, стал озабоченно и медлительно скручивать себе папиросу. Ему было и неловко, и совестно, и в то же время он чувствовал, что иначе нельзя, что это надо, потому что никто лучше Закаталова не может помочь ему, на первых порах, хотя бы насчет необходимых справок и точных сведений. Надо было превозмочь, переломить самого себя, и — сколь ни трудно — старик решился на это.

— Скажите, пожалуйста,— начал он деловым тоном,

— проживает у вас тут некто граф Каржоль де Нотрек, Валентин Николаевич? Полицеймейстер отвечал утвердительно.

— Вы его знаете сколько-нибудь?

— Как не знать! Очень хорошо знаю. А что?

— Да видите ли... Впрочем, может быть, он вам приятель?

— Приятель, это слишком много сказать, а так, знакомый.

— Как по-вашему, что это за человек?

— По-моему?.. Как вам доложить?— пожал Закаталов плечами,— по-моему, человек легкий и... едва ли обстоятельный.

— Ну-с, а по-моему, просто-таки мерзавец,— резко порешил генерал своим обычным безапелляционным тоном.— Скажите, что он здесь делает? Завод какой-то, слышал я, открывает?

— Да, анилиновый, на счет купца Гусятникова.

— Хм... А затем?..

— А затем, что ж ему делать? С фабрикантами в мушку играет, жуирует, за барынями ухаживает...

— И только?

Закаталов опять пожал плечами.

— Другого пока ничего не замечено,— сказал он,— по внешности, по крайней мере.

— Хм... Ну, а насчет женитьбы?.. Думает, на ком жениться?

— Насчет женитьбы не слышал... Впрочем, едва ли думает,— непохоже на то.

Генерал озабоченно потер лоб рукой, как бы облегчая этим внутренние потуги какой-то тяжелой, беспокоящей его мысли. По выражению его лица можно было заметить, что ему очень трудно комбинировать свои дальнейшие вопросы, которых впереди у него еще очень много и которые, тем не менее, далеко не исчерпывают собой главный, заботящий его предмет, а все только бродят вокруг да около, не решаясь, или не зная, как подойти к нему прямо.

— Видите ли, дело вот в чем... Как старый сослуживец, я буду говорить с вами откровенно и, надеюсь, вы мне поможете?— сказал он, наконец, крепко пожав Закаталову руку.

— Готов, ваше превосходительство,— отвечал тот, прищелкнув, с коротким поклоном, шпорами.

Генерал, в явном затруднении, насупясь и нервно поводя скулами, прошелся по комнате.

— Дело очень серьезное,— веско начал он, обдумывая, как бы получше объяснить его и, в то же время путаясь в собственных мыслях, потому что должен был перемогать внутренний конфуз, претящий ему высказать наголо самую суть этого дела.

Полицеймейстер, между тем, стоял в полном молчании, изображая всей фигурой своей готовность почтительного внимания, и это молчание смущало старика еще более.

— Н-да-с... очень серьезное... очень серьезное?.. Оно конечно... бывает и хуже, н-но... все же как порядочный человек вы меня поймете,— отрывисто бормотал старик, шагая по

комнате и избегая при этом глядеть прямо в глаза собеседнику — Давеча, просматривая наши виды,— продолжал он, круто повернувшись вдруг к Закаталову и чуть не в упор остановясь перед ним,— вы... вы, конечно, заметили, что дочь моя показана девицей?

— Так точно, ваше превосходительство,— с тем же коротким поклоном подтвердил Закаталов.

Н-да... девицей... А между тем,— вы ее видели, в каком она положении.

И для пущей изобразительности, генерал округло развел перед собственным животом руками.

Полицеймейстер промолчал, только состроил очень серьезную, сострадающую мину и скромно потупил взор.

— Н-да-с... Так вот, этим самым ее положением мы обязаны графу Каржолу,— поклонился вдруг Ухов.

Закаталова, при этом имени, точно бы что отшатнуло назад, и он невольно вскинул на генерала изумленные глаза.

— Может ли быть?! Скажите пожалуйста!.. Каржоль?!?

— Да-с, как видите. Сорвал банк и удрал... Тайком удрал, как самый последний трус и негодяй!.. Мерзавец!., мерзавец, говорю вам!

Генерал начинал уже кипятиться и пофыркивать сквозь натопорщившиеся усы. Полицеймейстер сочувственно покачивал головой.

— Что ж теперь делать предполагаете вы?— озабоченно спросил он.

— Хм!.. В этом-то и вопрос, что делать!— Одно из двух: или заставить его жениться, или убить, как собаку,— что ж тут больше! Мы для этого и приехали.

— Первое, конечно бы, лучше всего,— раздумчиво заметил Закаталов,— но... боюсь одного: как бы он не пронюхал да не удрал бы загодя. Если уж удрал из Украинска, пожалуй, удерет и отсюда... Тут надо действовать живо.

— Так, так,— подхватил генерал.— Именно, как вы говорите, живо, немедленно.— Это и моя мысль.— Чтоб и опомниться не успел! Главное, никаких оттяжек и проволочек! Никаких!

Закаталов задумался. В глубине души, ему очень улыбалась заманчивая мысль — поставить своего счастливого соперника в критическое положение перед коварной судыхой: это и ей было бы мщением. Нагрянули вдруг,— трах!— и окрутили молодца, как мокрую курицу. Вот-те и Дон Жуан! Прелестно!.. Это было бы истинное торжество и для самого Закаталова, для его уязвленного самолюбия. Весь город потешался бы над графом, и уж, конечно, после такого сюрприза, едва ли бы он остался в Кохма-Богословеке.— Нет, уж ему тут не жить! Всеобщим посмешищем быть не захочет, это верно. Ну, а после его провала, полицеймейстер останется единственным «бэль-омом» в городе, и тогда ему не трудно будет помириться с легкомысленной судыхой, утешить ее, возобновить старую дружбу... Теперь он пока только друг с ее мужем, но это тем легче поможет ему опять подружиться и с ней. О, да это просто сама судьба посылает Закаталову такой счастливый случай,



— надо им воспользоваться, надо помочь бедному генералу. И ему тем приятнее будет помочь, что этим он оказывает существенную услугу бывшему своему отцу-командиру.— «Черт возьми, тут надо по-военному!»

— Так как же вы думаете, ваше превосходительство?— обратился он к Ухову, который, между тем,ажитированно похрустывая пальцами, продолжал ходить по комнате.

— Я?— круто повернулся тот на каблуках к Закаталову.— Да что ж тут думать!... Я полагал бы сейчас же ехать к нему и объясниться решительным манером: или в церковь, или на барьер!

— Это напрасно, теперь вы его все равно не застанете,— предупредил полицеймейстер.— Он теперь на заводе и, вероятно, раньше как к вечеру не возвратится.

— Все равно! Будем дожидаться у него в квартире.

— Ну, это, я полагал бы, неудобно. Ведь у него люди дома, лакей... Мало ли что,— предупредят, пожалуй, на завод-то смахать недолго.

— Ах, черт возьми, и в самом деле!— хлопнул себя генерал по лбу.— Но как же быть тогда?

Полицеймейстер опять призадумался.

— Мне казалось бы, не лучше бы вот как,— начал он, поразмыслив с минутку,— во-первых, я сейчас же отдам строжайшее приказание здешнему хозяину и всей прислуге — не выставлять на доску ваших фамилий и никому, ни под каким видом, не сообщать, кто приехал и сколько,— чтобы ни гу-гу! Это первое. Во-вторых, попросил бы вас и всех ваших не показываться пока на улицах, потому лакей ведь у него из Украинска,— не ровен час, как-нибудь встретится, узнает в лицо,— и весь план тогда, пожалуй, насмарку! Тут, по-моему, важнее всего — сохранить до поры до времени строжайшее инкогнито. Да кстати!— как бы вспомнив что-то, прибавил Закаталов.— В коридоре здесь я видел комиссионера-еврейчика... Он, помнится мне, тоже из Украинска?

Генерал подтвердил, что этот их знает и даже сам в номера их доставил, и Каржоля знает также.

— Прекрасно! В таком случае, я его, без разговоров, прямо с места в кутузку и продержу, пока будет нужно, чтобы часом гоже не проболтался где. Ну, а свадьбу надо будет сыграть сегодня же.

— Вы полагаете?— спросил генерал, как будто даже оторопел несколько от такой стремительной поспешности.

— Обязательно-с,— подтвердил полицеймейстер. — Обязательно. Сами же вы изволили согласиться, что надо как можно живее.

— Да, но разве это возможно? Ведь тут же должны быть предварительно разные формальности, оглашение там, и прочее?..

— Насчет формальностей не изволите сомневаться, все будет в порядке,— поспешил успокоить старика Закаталов,— у меня тут по соседству батька-приятель есть, в селе Корзухине — это всего в четырех верстах. Катеринку в руку — и готово!

Генерал даже развеселился.— Только-то?! Я готов и две дать!

— Зачем? Баловать не нужно,— возразил полицеймейстер.— Ведь сомнений насчет правильности брака возникнуть не может, потому тут на лицо, во-первых, вы сами, как родитель невесты и, наконец, я, как лицо официальное; со стороны вашей дочери двое свидетелей есть, со стороны жениха буду я... Ну, а четвертым, если позволите, приглашу мирового судью здешнего — тоже приятель и, надеюсь, не откажет. Кстати, как раз и будет четверо шаферов.

— Дорогой мой! Голубчик! Отец-благодетель просто! Это вот по-нашему, по-кавказски!.. Вот что значит кавказцы-то!— восклицал обрадованный старик, заключая Закаталова в свои объятия и снова вплепляя в обе его щеки по сочному поцелую.— Нет слов благодарить! Ведь это просто само провидение принесло вас ко мне! Бй-Богу, провидение!

— Документы вашей дочери, конечно, с вами?— продолжал Закаталов.— Позвольте-ка мне их сюда, я сейчас же духом смахаю в Корзухино и подготовлю всю музыку заблаговременно.

— Да, но как же насчет мерзавца-то, будущего зятя моего,— спохватился вдруг генерал.— Ведь надо же предварительно встретиться где-нибудь с ним, объяснить?..

— Об этом опять же не беспокойтесь, вы встретитесь у меня,— предупредил его самым уверенным тоном полицеймейстер.— Это я уже все обработаю, чтобы к назначенному часу все было готово... Положитесь на меня и ждите моего возвращения.

Генерал тут же передал Закаталову метрические документы Ольги, и они расстались.

#### **IV. ПОЛИЦЕЙМЕЙСТЕР В ХЛОПОТАХ**

Арестовав мимоходом, в коридоре, Мордку Олейника и сдав его городовому для отвода в кутузку, Закаталов от генерала на минуточку только заехал к себе домой — переоблечься в сюртук и сказать два слова жене, чтоб она, на всякий случай, приготовилась, так как у них будут сегодня или обедать, или ужинать гости — человека четыре, а может и шесть,— поэтому чтобы все было хорошо, в порядке, уха стерляжья, прекрасный ростбиф, дичь и прочее, а главное, не забыть послать в погреб к купцу Харлашкину, чтобы прислал вин да бутылок шесть шампанского,— полицеимейстер-де требует!

М-ме Закаталова, страдавшая вечными флюсами и насморками, не любила вылезать из своего фланелевого капота и потому кисло поморщилась при этом, не совсем-то для нее приятном, известии, тем более, что оно так неопределенно,— или обедать, или ужинать! Уж что-нибудь одно бы! Она сочла себя вправе узнать, по крайней мере, что за гости, ради которых такие вдруг хлопоты?— Но заторопившийся супруг, впопыхах, только руками замахал на нее.— После, матушка, после! Теперь некогда... лечу, стремлюсь... Не до тебя!.. Одним словом,

важные гости, очень важные,— смотри, лицом в грязь не ударь... Да чтобы шампанское-то заморожено было!

И лихой полицеймейстер полетел в село Корзухино.

\* \* \*

Корзухинский батюшка был дома и, конечно, только руками развел от приятного удивления, при виде такого редкого и неожиданного гостя.— Откуда мне сие?— говорит,— и чем чествовать? Рябиновкой или вишневкой?

— Ну, батя, выручай!— изображая из себя повинную голову, обратился к нему гость.— Выручай, голубчик, будь другом!

— Кого, из чего и как?— систематически отозвался ему на это хозяин, довольный посещением своего городского и столь сановного друга.

— Это тебе все равно кого,— заметил полицеймейстер.— А главное, можешь ты мне сегодня покрутить одну пару?

— Одну? Могу и десять, только не сегодня.

— Вот те и на!.. Почему не сегодня? День ведь не под праздник и не постный!

— Не постный, а только не порядок. Надо наперед оглашение троекратное сделать, без того нельзя.

— А ты без оглашения валяй,— лукаво подмигнул ему Закаталов.

— Эво что выдумал!.. Без оглашения!.. Нашему брату за это и под запрещение попасть можно.

— Да ведь никто ж на тебя доказывать не пойдет.

— Не в том сила, а не порядок, говорю,— вот что.

— Да плюнь ты на свои порядки. Чего там!— шутливо махнул тот рукою.

— Эге! Не бойсь, ты на свои не плюешь, голова-то одна на плечах... Ну, да уж что с тобой антимонии разводиться!— согласился, подумав, батюшка.— Уж если тебе и в самом деле так до зарезу пришло, можно будет нарочно отслужить сегодня вечерню и огласить единожды, да завтра дважды, после заутрени и обедни,— уж так и быть, нарочно отслужу. Дело-то, по крайности, в порядке будет, а после литургии и повенчаем.

Закаталов наморщился и озабоченно закусил губу.

— Необходимо сегодня,— проговорил он серьезно и решительно. Но батюшка на это только пожал плечами да руками развел.

— Слушай, батя, не ломайся,— продолжал он дружески убеждающим тоном.— Оглашение вовсе уж не такая важная формальность, если все остальное в порядке. Не брата же на родной сестре венчать будешь и не жену от живого мужа,— за это я тебе головой ручаюсь, и подводить ни тебя, ни себя, конечно, не стал бы. А дело вот в чем: хочешь заработать сотнягу рублей так венчай сегодня. Детишкам на молочишко годится. Подумай-ка сам, когда-то еще тебе благостыня такая перепадет! Ведь сто рублей не шутка!

«Батя» с каким-то сладко меланхолическим выражением,

раздумчиво устремил взор в пространство и медленно стал поглаживать себе сивенькую бородку.

— Милый человек, ведь я это только по дружбе к тебе,— сердечно продолжал доказывать ему полицеймейстер, — потому мужик ты хороший и приятель к тому же. Люблю я тебя, вот что!.. А станешь артачиться, к другому поеду,— другой и ахти не молвя повенчает. Сотня рублей на голодное поповское брюхо, особенно вашему брату, попу деревенскому, сам понимаешь, что значит!

— Так-то так, а все же... как будто сумнительно,— тряхнул бородкой батюшка.

— Ну, вот те и здравствуй!.. Что же тут «сумнительного»? Да и чего опасаться-то?! Документы, говорю тебе, все в порядке, жених с невестой совершеннолетние, при венчании будет сам отец невестин — почтенный, заслуженный генерал, четверо свидетелей налицо, да и я сам — понимаешь ли,— сам буду в свидетелях-то, вместе с мировым,— уж чего тебе, значит, законнее?! Приедем без шума, вечером, попозже,— село-то ваше все спать, поди чай, будет,— в церкви, значит, лишнего народу ни души, освещения парадного не надо,— ну, и знать никто не будет, да и про оглашение никто не домекнется,— было ли, нет ли, Господь его знает! Раз в книгу записано, стало быть, было, вот и конец. Ну, а уж хочется оглашать, огласи, пожалуй, за вечерней,— полторы старухи услышат, и удовольствуйся!

Батюшка уже не возражал, а только головой порою потряхивал, с выражением, которое ясно говорило: «ишь ты, поет-то как, соловушкой курским!»

— Документы невестины можешь хоть сейчас получить,— продолжал между тем Закаталов,— ну, а жениховы с собой привезем. Ведь запись-то в метрику сделать и пятнадцати минут работы не надо,— и все будет в порядке! В полчаса всю свадьбу отваляешь и получай радужную... Дьячку с пономарем тоже улагодворим хорошо, останутся довольны, и все это, как говорится, по-тиху, по-сладку, самым душевным манером... Подумай-ка, право!

Батюшка, все с тем же сладко меланхолическим выражением продолжал глядеть в неопределенное пространство и поглаживать бороду.

— Что уж больно таинственно? Роман, что ли, какой?— спросил он наконец, со скромной, но несколько лукавой усмешкой.

— Последствия романа,— вздохнул с такой же усмешкой Закаталов.— Главная причина, что невеста-то с кузовом,— добавил он, выразительно понизив голос.— Понимаешь?

— Ясно. Грех, стало быть, прикрыть законом желают?

— Во-вот, оно самое и есть! Ты у меня, батя, догадливый!— подмигнул ему полицеймейстер, весело потирая руки.— Именно, прикрыть его, аспида, пока еще время.

— Хе-хее... Понимаем. Что же они, здешние будут, аль как?

— Приезжие, и даже издалека... Ну, да тебе-то что!

— Повенчаются и укатят себе восвояси, поэтому и желательно без огласки,— пояснил полицеймейстер.— Тебе даже лучше: уехали и с плеч долой!.. Так как же, батя? Согласен?

— Ну, да уж-что с тобой поделаешь!— покорно вздохнул батюшка.— Змей-искуситель ты, одно слово! Иерея в соблазн привел, греходник эдакой!— с шутиливой укоризной покачивал он головой.— Разве уж для тебя только, для друга, а то ни за что бы!

— Ну, ладно, разводи бобы-то!.. Стало быть к вечеру приготовься.

\* \* \*

Несколько минут спустя, полицеймейстер уже катил обратно в город. На этот раз, его лихая пара впристяжку остановилась перед домиком, на стене которого была прибита известной формы овальная вывеска «мирового судьи», а на дверях подъезда блестела медная дощечка с надписью «Аристарх Иванович Сычугов». Зная, что в этот час мировой судья обыкновенно разбирает дела, Закаталов прошел к нему прямо в камеру и выразительно перемигнулся с ним,— дело, мол, есть. Судья сейчас же объявил перерыв заседания,— ибо здесь это делается патриархально,— и удалился с полицеймейстером в свой кабинет «покурить».

— Большая просьба к вам, любезный друг,— приступил к нему Закаталов, не забыв предварительно вплотную притворить дверь в гостиную, на случай излишнего женского любопытства.— Можете вы не поспать сегодняшней вечер?

— Не поспать вечер... хм... трудновато!— усомнился мякишеобразный и белотелый судья.— Трудновато-с... А впрочем, было бы из-за чего. Дело, что-ли, какое?

Закаталов объяснил, что оно, пожалуй, и дело, а вместе с тем и пикничок выйдет превеселый, соединенный с маленькой экскурсией за город, потому что парочку одну повенчать ему надо экспромтом, преинтересную,— так вот, не угодно ли вместе с ним в свидетели,— «по женихе, мол, ручаюсь».

Сычугов, естественно, полюбопытствовал узнать наперед, кого с кем венчать предполагается? Но Закаталов решительно заявил, что это пока секрет, а только свадьба будет прекуръезная,— конечно, с выпивкой,— и как судья потом будет сам хохотать, да пухляшки свои потирать от удовольствия, так просто мое почтение! Ему же спасибо скажет!

Усомнившийся Сычугов принял, однако, все это предложение за приятельскую мистификацию, потому что, в самом деле, кому с кем у нас венчаться? Невесты все наперечет, женихи тоже, и ежели бы взаправду предстояло что-либо подобное, то заранее всему городу было бы известно.

— Да уж стало быть есть кому, коли говорю!— с жаром твердой уверенности вступился за себя Закаталов и принялся убеждать и упрашивать судью — сделать это в личное ему одолжение, за которое он и в свой черед отслужит при случае.— Ведь не трудно же! А уж зато какая потешная штука выйдет, и как кутнем-то! Напропалую!

— Да что ж, я бы пожалуй,— согласился податливый судья,— вот, как жена только, не знаю...

— Нет уж вы, пожалуйста, жене ни гу-гу!— поспешил серьезно предупредить его Закаталов.— Попридержите пока про себя... А ежели спросит, скажите, по делу, мол, нужно; полицеймейстер нарочно сам заезжал... Я и мою бабу в это не путаю. Повенчаем,— тогда пускай их звонят хоть на весь город! —

И он взял с Сычугова честное слово, что тот не проболтается, а затем уговоренный судья дал ему окончательное свое согласие быть свидетелем на неизвестной ему свадьбе. Для судьи тут были три подкупающих обстоятельства: во-первых, любопытство,— что за таинственная свадьба такая? Затем дружеское одолжение приятелю и, наконец, заманчивая перспектива чего-то потешного с хорошей выпивкой.

— Ну, вот и прекрасно! М-манифик!— горячо потряс ему за это руку Закаталов, и предупредил, что в достодолжную минуту придет за ним, экипаж и вестового; костюмов-де не нужно никаких: в чем есть, в том и валите,— поезжайте прямо в Корзухино, к бабке в дом, а мы следом за вами.

\* \* \*

От Сычугова полицеймейстер отправился к Каржолю и, не застав его, конечно, дома, настроил на клочке бумаги самое дружеское приглашение приехать к нему тотчас же по возвращении с завода, по крайне спешному и очень интересному для самого Каржоля делу, а затем полетел в «московские номера», к генералу.

— Готово, ваше превосходительство, все готово!— объявил он, сияя весь радостью и, как нельзя более, довольный самим собою.— Теперь только распорядиться на почте насчет лошадей и экипажеи, но это плевое дело, это мы мигом!

Обрадованный старик с чувством протянул ему обе руки для энергичного пожатия.

— Не имею слов и прочее... вы понимаете,— пробормотал он своей обычной отрывистой манерой.

Закаталов тут же пригласил генерала пожаловать к нему, вместе с остальными-его спутниками, в четыре часа, откушать попросту чем Бог послал, и предупредил, что после обеда они, по всей вероятности, встретятся у него с графом, объяснение с которым гораздо лучше-де иметь в частной квартире, чем здесь, в «номерах»; дом же Закаталова, на этот случай, весь к услугам его превосходительства. Генерал, за себя и за своих, с благодарностью принял это любезное приглашение,— и полицеимейстер полетел домой приготовиться к надлежащему приему своих гостей и распорядиться насчет кое-чего к вечеру.

## **V. В ЗАПАДНЕ**

Возвратясь домой в седьмом часу вечера, Каржоль нашел у себя на столе записку полицеймейстера и пробежал ее глазами не без некоторого недоумения.

— Сами заезжали,— пояснил ему камердинер,— и мне даже наказывали доложить вашему сиятельству чтобы непременно пожаловали, очень просят.

— Не говорил, зачем?.. Игра верно? Гости?

— Не могу знать, а только сказывали, что очень нужное дело и просили, чтобы сейчас же.

Граф призадумался.— Что за экстренность такая? И по какому такому делу могло бы это быть?.. Что-нибудь неприятное верно?— И он стал перебирать в уме, какая неприятность и с какой стороны могла бы угрожать ему? Долг кому-нибудь, что ли? Вексель, взыскание? Уж не жида ли опять что затеяли?.. Или кто-нибудь из нанятых для завода должностных лиц, у которых он для верности забрал денежные обеспечения... может, кто из них подал на него? Или рабочие с какими-нибудь жалобами и претензиями?— Но нет; кажись, ничего такого быть не должно бы,— по крайней мере, граф даже и припомнить не может себе чего-либо подходящего, да и наконец, со всеми такими делами обратились бы к судье, а не к полицеймейстеру. Не политическое ли что-нибудь?— Но это последнее предположение показалось ему даже смешным,— что он за политический человек, и какая такая политика вообще может у него быть! Знакомств таких он тоже не помнит за собою... Нет, тут что-нибудь другое. И что за дурацкая манера писать загадками какими-то!— «по крайне спешному и очень интересному для вас самих делу».— Ну, напиши хоть в двух словах, по какому! А то заставляет человека только тревожиться и черт знает из-за чего ломать себе голову, тогда как, может быть, это сущие пустяки. Да и вернее всего, что пустяки, ничего серьезного и быть не может.

В нерешительности, как быть, граф снова перечитал записку, на этот раз внимательнее первого, и убедился теперь, что совершенно дружелюбный, даже несколько легкий тон ее, по-видимому, исключает всякую возможность какой бы то ни было неприятности,— скорее напротив, даже приятное что-нибудь, веселое. А это одна только глупая мнительность его создает себе такие вздорные предположения. Это все жида виноваты, все они: с тех пор, как граф попал к ним в лапы, он стал гораздо мнительней и подозрительней, чем прежде,— нет-нет да вдруг и представится ему что-нибудь скверное,— а что, мол, если они возьмут да и сделают с ним то-то или то-то?.. И пойдет его фантазия разыгрываться на эту тему, и он создает в уме свои планы, каким образом мог бы быть отпарирован им тот или другой воображаемый удар. Но в данном случае, кажись, никакого такого удара и быть не может. Вернее всего, что милейший Закаталов устраивает экспромтом какую-нибудь пирушку, или веселый пикник,— и вообще, затевает что-нибудь в приятно легкомысленном роде,— это так на него похоже. Стало быть, беспокоиться и поддаваться первому безотчетно неприятному впечатлению нет решительно никаких резонов. Напротив, будем думать, как Панглос, *que tout est pour le mieux dans ce meilleur des mondes!*

— Скажи кучеру чтоб отпрягал лошадей, а мне пошли за

извозчиком и дай умыться и переодеться,— приказал он своему человеку.

\* \* \*

Орест Аркадьевич Ухов и остальные гости Закаталова, приехавшие вместе с генералом, сидели после обеда в гостиной, рассеянно рассматривая от нечего делать альбомные карточки совершенно незнакомых им лиц и слушая через пятое в десятое слово какие-то, вовсе для них не интересные рассказы хозяйки дома. М-ме Закаталова, известная в городе более под названием «флюсовой дамы» (на том основании, что существуют же дамы трефовая и пиковая, так почему же не быть и флюсовой?), все еще оставалась в полной неизвестности насчет цели-приезда в Кохма-Богословск своих «важных гостей» и, несмотря на все свое желание, не решалась спросить их об этом, потому что предусмотрительный супруг еще загодя попросил ее вовсе не касаться этой темы и вообще избегать всяких подобного рода вопросов,— «иначе ты мне, матушка, ужасно напортишь». Это донельзя заинтриговало флюсовую даму и подстрекнуло ее любопытство, в особенности когда она увидела «интересное положение» m-me Ольги,— но, помятуя зарок своего мужа, покорная супруга превзошла даже самое себя в борьбе с собственным любопытством и, пересиливая себя, выдерживала все время роль скромной, ничего не замечающей и любезной хозяйки.

Ольга ввиду предстоящей встречи с Каржолем,— сколь ни был он ей теперь ненавистен, все же, по чисто женскому чувству, не упустила позаботиться о том, чтобы показаться перед ним поинтереснее, тщательно обдумала свой наряд и даже стянулась, насколько было возможно, шнуровкой.

За исключением хозяйки, все сидели теперь как на иголках, в ожидании, что вот-вот сейчас должен появиться Каржоль... Всех заботила в душе одна и та же мысль — приедет ли? и что, как вдруг не приедет?., и как произойдет первая с ним встреча?., и чем то все разыграется? Чем дольше тянулось время, тем нетерпеливей становилось это ожидание; у Ольги же оно доходило чуть не до нервной тоски и едва сдерживаемой тревоги, тем более что в присутствии непосвященной в дело хозяйки нельзя было и поделиться ни с кем своими мыслями и сомнениями, поэтому нет ничего мудренного, что флюсовая дама под конец даже устала «занимать» своих малоразговорчивых, видимо озабоченных чем-то гостей и уже подумывала про себя, да скоро ли унесет их нелегкая?!

Но вот, около семи часов вечера в прихожей раздался звонок.

Гости с хозяином многозначительно переглянулись между собой, и все неволью как-то подтянулись. У Ольги екнуло и забилося сердце; Аполлон Пуп закусил губу и мрачно нахмурился, с решительным, на все готовым видом; генерал, нервно побряхывая, заерзал на своем кресле; полицеймейстер, с чувством автора хорошо поставленной пьесы, одобрительно и несколько лукаво улыбался, поглядывая в некоторой ажитации то на дверь в залу, то на своих гостей; даже корнет Засецкий



принял серьезный и строгий вид, и только одна флюсовая дама, с выражением какого-то индюшечьего недоумения, вытянув шею по направлению к двери, думала про себя — кого это еще принесла нелегкая?..

Минута напряженного, но сдержанного ожидания.

Ничего не подозревая, Каржоль довольно быстрыми шагами, развязно и даже весело вошел в гостиную — и вдруг, в тот самый момент, как хозяин радушно поднялся к нему навстречу, он точно бы запнулся на полушаге и стал, совершенно озадаченный, посреди комнаты. Беззаботная улыбка мигом слетела с его оторопевшего лица, которое вдруг побледнело и даже осунулось как-то под гнетом полной растерянности и недоумения. В остановившихся глазах его, сквозь мгновенно заволокнувший их туман, у него смутно выделялись глядящие на него лица и фигуры Ольги, генерала и еще кого-то. Он не понимал даже, как будто спросонья, что все это значит, какими судьбами они вдруг, здесь, у Закаталова, зачем и почему, — и только чувствовал, как упало в нем сердце, да зазвенело в ушах, точно бы ему дали пощечину. Это было не более как одно мгновение, но мгновение для него в полном смысле ужасное. Ни вперед, ни назад. — Исчезнуть бы, провалиться лучше на месте!.. Он чувствовал, что все взоры обращены исключительно на него, как бы говоря — «нут-ка, что, брат?!» — что все смотрят и чего-то ждут от него, что ему в эту минуту надо что-то такое сделать, или сказать, но что именно и, вообще, как быть теперь, — этого он не знал и не мог сообразить. Внутреннее сознание говорило ему только, что положение его отчаянно глупое, смешное, подлое и безысходное.

— Я, граф, хотел нарочно сделать приятный сюрприз, — любезно заговорил Закаталов, подходя к нему, в качестве хозяина, — поэтому уж извините, не предупредил вас ни словом... Но надеюсь, вы рады такой неожиданной встрече со старыми добрыми знакомыми?

Лицо Каржоль искажилось вынужденной и потому донельзя глупой улыбкой, с которой он издали поклонился общим поклоном гостям и поспешил к хозяйке дома, чая почему-то в ней одной свой якорь спасения в эту отвратительную скверную для него минуту. Та усадила его подле себя и не нашла ничего лучше, как спросить:

— А разве вы, граф, знакомы?! Я и не подозревала.

Каржоль пробормотал ей в ответ что-то невнятное и, чувствуя, что надо же наконец обратиться с какою ни на есть фразой к своим «добрым, старым знакомым», повернулся к Ухову все с тою же вынужденной улыбкой:

— Давно изволили пожаловать?

— Сегодня, — отрывисто буркнул ему генерал.

— И надолго?

— Не знаю, смотря как.

Каржоль чувствовал, что все эти ненужные вопросы выходят у него ужасно глупыми и совсем некстати, а между тем нужно же ему говорить о чем-нибудь, чтобы хоть этим прикрыть свое смущение. Сознательнее всего царило в нем теперь

одно лишь помышление,— как бы удрать, удрать отсюда скорее, под каким ни на есть благовидным предлогом. Он уже стал было объяснять хозяевам, что заехал лишь на минутку, так как ему необходимо, к сожалению, спешить по одному неотложному делу, но едва лишь заикнулся об этом, как Закаталов, сделал вид, будто не расслышал его слов, любезно захлопотал о чем-то около генерала и сейчас же поспешно обратился к жене:

— Душечка, ты бы распорядилась насчет чая, поди-ка, пожалуйста,— предложил он ей, выразительно показывая глазами на дверь, а затем, повертевшись с минутку в гостиной, пока предлагал Каржолю и другим гостям папиросы да спички, поспешил и сам, с озабоченным видом радушного хозяина, выйти вслед за женою из комнаты.

С уходом их, Каржоль почувствовал, что он покинут, одинок, беспомощен и совсем уже предается на жертву чему-то ужасному, неизбежному, как рок, что должно наступить для него сию минуту,— и он сидел, как истукан, в своем кресле, не зная, куда глядеть, куда девать свои руки и ноги, почти не смея шевельнуться. Несколько секунд общего тяжелого молчания, вслед за уходом притворившего за собой дверь Закаталова, показались ему целой вечностью невыносимого нравственного гнета.

— Мне надо с вами объясниться, граф,— сказала ему, наконец, Ольга сухим и довольно твердым тоном, а затем обратившись к остальным, попросила их удалиться на некоторое время в залу,— она позовет их, когда понадобится. Те молча поднялись со своих мест и вышли в смежную комнату. Каржоль сообразил, что этим выходом ему отрезается всякий путь отступления как от объяснения с Ольгой, так и из дома полицеймейстера. Он понял теперь, что тут была устроена ему западня, в которой очутился он, как пойманный мышонок,— и мятущееся чувство какой-то заячьей тоски и почти страха невольно овладело им при этом. Что Ольга с отцом здесь, это ему еще понятно; но с какой стати с ними эта свита, эти молчаливые офицеры, Аполлон Пуп с его зловещим каким-то видом?.. Им-то что надобно? Чего хотят они? Зачем, зачем они здесь и что все это значит? Но все-таки среди своего мятущегося чувства, граф был смутно рад и тому уже, что объяснение с Ольгой произойдет, по крайней мере, с глазу на глаз.— Оно все же легче как-то...

— Надеюсь, вы угадываете цель нашего приезда,— начала Ольга тем же сухим и сдержанным тоном.— Отцу моему известно все. Я не могла, да и не имела надобности скрывать от него... Точно так же и мне, граф, известно не только ваше отношение к Тамаре Бендавид, но и все, что заставило вас бежать из Украинска... Об этом теперь весь Украинск знает,— знает и то, что вы в кабале у евреев и за какую цену...

При этих словах, удивленный Каржоль невольно откинулся назад, и лицо его вспыхнуло краской стыда от жгучего сознания, что он пойман и обличен в самых сокровенных и постыдных для его самолюбия обстоятельствах, о которых знают теперь все,— и она, и даже эти офицеры.

— Укорять вас за ваши поступки, за весь обман ваш я не стану. Но...

При этом последнем слове Ольга выпрямилась и глубоко вздохнула всей грудью, как словно бы ей нехватало воздуха.

— Я имею право потребовать от вас одного,— размеренно продолжала она голосом почти задыхающимся от волнения, чувствуя, как оно все более и более спазматически подступает ей к горлу!— наш будущий ребенок должен быть вашим законным... Понимаете ли, законным,— я этого требую.

— Что ж,— покорно склонил граф голову,— если вам так угодно, я... я против этого ничего не имею... Я готов усыновить его.

— Усыновить?— с презрительной иронией повторила Ольга.— Нет, граф, это слишком мало. Он должен быть уже рожден законным,— вы обязаны на мне жениться,— твердо добавила она, как свою последнюю и непреложную боль.

Каржоль молча потупился, видимо, соображая что-то. Он начинал мало-помалу оправляться от ошеломившего его смущения и овладевать собой и своими мыслями.

— Ольга Орестовна, я прошу вас, однако, вспомнить,— залепетал он, все еще не смея взглянуть ей прямо в глаза,— однажды я уже имел честь просить вашей руки, но... не моя вина, если вашему батюшке угодно было отказать мне. У каждого человека есть тоже свое самолюбие, и не могу же м...

— Да, отказать,— прервала его Ольга,— и вы после отказа не задумались, однако, воспользоваться мною. Но не в этом дело,— продолжала она.— Теперь, зная мое положение и что ;этим я обязана вам, отец не откажет,— он потребует, напротив, чтобы вы женились.

— То есть, как же это «потребовать»,— усмехнулся Каржоль с деланной иронией.— Извините меня, но вы, мне кажется, употребляете не совсем точные выражения... Поступить так или иначе,— это дело моей доброй воли, моей совести, и обратиться к моей доброй воле,— это я понимаю; но «требовать»... Требовать, Ольга Орестовна, можно от человека только имея против него веские юридические доказательства.

— Ах, так вы вот на какую почву становитесь!— нервно усмехнулась она.— Прекрасно!.. Так не угодно ли же вам припомнить, что у меня в руках целая коллекция ваших писем и записок, которые вы пересылали мне через Перлю Лифшиц.

— Да, но что ж?.. Записки мои я очень хорошо помню и знаю, что в них нет ничего компрометирующего вас или меня с этой стороны,— почему же вы непременно хотите сделать ответственным за свое положение меня?!

— Как? У вас еще хватает духу оскорблять меня?!— встrepенулась Ольга, сверкнув на него гневными глазами.

— Нет, не оскорблять,— поспешил увильнуть Каржоль.— Боже меня избави!.. Зачем?.. Вы не так меня поняли,— я только защищаюсь, я ни от чего не отказываюсь, ничего не отрицаю, но желаю только, чтобы вы поняли, что

подобные вопросы разрешаются не путем насилия, а доброй волей человека... Если вы обращаетесь к моей доброй воле,— извольте, я готов говорить с вами.

— Я, со своей стороны, сказала все, и говорить мне более не о чем. А не угодно ли вам поговорить теперь с моим отцом и с этими господами. Папа!— кликнула в залу Ольга.— Ступай сюда!..Аполлон Михайлович! Жорж!— Войдите...

Только что оправившийся Каржоль опять почувствовал приступ тоскливого заячьего страха.— Что же теперь хотят еще с ним делать?

— Мои разговоры с вами, сударь, будут коротки,— круто приступил к нему, чуть не в упор, генерал,— или под венец, или на барьер.

— Позвольте,— заикнулся было граф.

— Без позволений-с!— прервал его Ухов.— Объяснений не нужно. Я все знаю и так. Достаточно и того, что вы сейчас говорили,— я слышал. В церковь, или на барьер,— выбирайте!.. Я, сударь, сумею постоять за честь моей дочери... Посчастливится убить меня, на мое место станет он,— указал генерал на Жоржа,— его убьете, будете продолжать с поручиком. Выбирайте, говорю, сейчас же — то или другое!

— Позвольте, генерал,— попятился от него Каржоль, брезгливо обтирая платком брызги слюны, попадавшие ему на лицо сквозь усы раскипятившегося старика.— Позвольте, вы нападаете на меня и слова сказать не даете... Я уже сказал Ольге Орестовне, что ни от чего не отказываюсь, но дайте наперед сообразиться!.. Нельзя же так, с ножом к горлу...

— Без отговорок, сударь! Без уверток!.. Я вам отлынивать не позволю-с!— грозил генерал пальцем перед самым его носом.— Вам предлагается на выбор честный исход: или дуэль, или свадьба; откажетесь,— суди меня Бог и мой государь,— убью вас на месте, как паршивую собаку! Выбирайте!

— Авенир Адрианович!— возопил отчаянным голосом граф, взывая к отсутствующему хозяину и поспешно ретируясь за спинку тяжелого кресла, на случай покушения на свою особу.— Авенир Адрианович!.. Авенир Адрианович!! Пожалуйте, наконец, сюда... Что ж это такое!

— Что-что?.. Что такое?.. Что случилось?— вбежал на его призыв Закаталов.— В чем дело, граф?.. Что с вами?

— Помилуйте! Да что ж это такое!— взмолился к нему граф, с негодующим протестом,— на меня нападают, мне угрожают здесь... Я прошу вас оградить меня от насилия в вашем доме... Ваши гости... Это ни на что не похоже!.. Я обращаюсь к вам, наконец, как к официальному лицу и прошу защитить меня от их оскорблений!

Голос его нервно дрожал, и слышались в нем даже подступающие слезы — слезы испуга, обозленности и обиды.

— Успокойтесь, успокойтесь, граф, Бога ради!— ублажал его полицеймейстер.— Никто и ничто вам не угрожает,— решительно ничто!.. Если генерал и погорячился немножко,— это так понятно... Вы даже должны извинить ему, потому, согласитесь, поставьте себя на его место... Он имеет на это право...

— Но нет, позвольте мне объяснить вам,— вступился было за себя Каржоль.

— И объяснять ничего не нужно,— поспешно перебил его Закаталов,— ничего не нужно... Я все знаю, граф,— поверьте, все, все решительно и понимаю ваше положение, но вхожу также и в положение генерала... Прежде всего, успокойтесь,— воды сельтерской не хотите ли?

— Я предлагаю одно из двух,— вмешался тоном ультиматума расходившийся генерал, носясь, как кот с салом, с понравившейся ему лаконичной фразой.— Одно из двух: или под венец, или на барьер! Сейчас же!

— Ну, вот видите, граф, что ж тут оскорбительного?— мягко принялся уговаривать полицеймейстер.— Вам предлагают, как джентльмену,— прохвостов ведь на дуэль не вызывают, а прямо бьют — выбор зависит от вас и, как порядочный человек, вы, конечно, не задумаетесь... Вы сами понимаете, что нужно.

— Или в церковь, или на барьер,— повторял меж тем генерал в азарте.

— Ну, конечно, в церковь, ваше превосходительство!— конечно, в церковь! Зачем тут барьер?! Бог с ними, с барьерами!— поспешил ответить за Каржоля Закаталов.— К чему нам рисковать и доводить дело до крови, когда можно кончить к общему удовольствию.. Не так ли, граф?

— Я уже говорил им, что не отказываюсь, ни от чего не отказываюсь, повторяю еще раз и при вас,— с жаром принялся оправдываться Каржоль,— но позвольте же, дайте мне сообразиться, спокойно обсудить мое положение, приготовиться, наконец... Теперь я ничего не в состоянии... Я слишком потрясен и взволнован... Завтра я весь к услугам этих господ; но сегодня... я вас прошу, Авенир Адрианович, избавьте меня от этой сцены и позвольте мне удалиться.

И Каржоль, взявшись за шапку, направился было решительными шагами из комнаты, но генерал заступил ему дорогу и стал, вместе с офицерами, между ним и дверью.

— Нет-с, вы не выйдете отсюда, не порешивши,— заявил он графу настойчиво и твердо.

— Но что ж это!.. Опять насилие!— расставив руки и чуть не плача,— взмолился Каржоль к Закаталову.

— Эх, граф, извините меня, я вас право не понимаю!— с дружески досадливой укоризной стал уговаривать его последний.— Ну, и чего тут ломаться? Человек вы холостой, свободный, ну, увлеклись, положим — кто Богу не грешен!.. Но вам представляется случай исправить свое увлечение. В чем же дело? Над чем тут думать-то еще?.. Как честный человек,— конечно, тут нет иного выхода,— вы должны жениться.

— Но я... я ведь и не отказываюсь... Я готов... чего ж еще хотят от меня!?!— оправдывался Каржоль, окончательно, что называется, припертый к стене.— Я прошу только дать мне время — не сейчас же я буду венчаться!

Нет, сейчас, сейчас,— замотал на него головой и замахал руками полицеймейстер.— Именно сейчас, сию минуту! Надо эту историю кончать сегодня же. Раз вы уже

решились — медлить нечего.

— Но позвольте, сегодня уже поздно, полагаю?

— Это не ваша забота, мы за вас уже тут позаботились обо всем. Еще и восьми нет,— успеем!

— Однако, надо же подготовиться? Нельзя же так!..

— Все, все, все уже готово. Об этом не беспокойтесь, все уже заранее, говорю, подготовлено, остается только сесть и ехать в церковь. Тройки во дворе,— не будем терять времени.

Каржоль даже рот разинул от удивления и обвел всех вопрошающим взглядом, точно бы желая удостовериться, не морочат ли его, в самом деле?

— Вы меня изумляете, Авенир Адрианович,— обратился он, пожав плечами, к Закаталову,— ей-Богу, все это на мистификацию какую-то похоже... Нельзя ли отложить хоть до завтра, по крайней мере?!

Полицеймейстер даже уши себе закрыл ладонями.

— Ни-ни-ни, ни под каким видом!— заговорил он дружески-безапелляционным тоном.— Сегодня, сегодня, дорогой мой, сейчас же! Все уже готово, говорят вам, и священник в церкви ожидает.

— Но без документов венчать ведь не станут... Со мной нет моих документов, попытался Каржоль еще раз вильнуть в сторону.

— Ничего не значит,— отразил и эту попытку Закаталов.— Заедем к вам по дороге и захватим, а в крайнем случае, на слово поверят.

— Да я и не одет, наконец... Позвольте же мне хоть переодеться-то!

— Лишнее, батюшка, лишнее! В чем есть, в том и венчайтесь,— народу в церкви никого не будет.

Окончательно сбитый с позиции, Каржоль только хлопнул себя об полы руками и покорно опустил голову. Он был точно в чад у каком-то.

Закаталов, между тем, пользуясь моментом, озабоченно засуетился, потирая себе от удовольствия руки.

— Марья Ивановна!— кликнул он в дверь супругу,— готов, что ли, у тебя там хлеб-соль-то?.. Неси скорей сюда, вместе с образом!— Благословить жениха с невестой,— пояснил он, обратившись к Ухову.

Но против этого восстали одновременно и Каржоль и Ольга, почувствовав оба какую-то неловкость и конфуз перед перспективой подвергнуться такой церемонии. В их положении оно казалось им даже комичным.

— Зачем еще! Полноте, что за благословение!— сконфуженно возражали они упрашивая и протестуя.— Нельзя ли, право, без лишних церемоний?.. Это смешно даже будет...

— Нет, нет, невозможно!— наотрез им взбудоражился полицеймейстер.— Как это! Помилуйте! Без благословения?! Не-ет, мы это уж по-обычаю, по-божески, как след... Чтобы Бог дал любовь да совет молодым... Вам жить, а нам на вас радоваться... Нет-с, уж это не извольте кобениться,— это святое дело. Пожалуйте-с!

И, приняв из рук жены покрытый чистой салфеткой

поднос с положенным на него образом и ржаным караваем, в который была сверху врезана серебряная солонка, Закаталов обратился к Ухову:

— Ну-с, ваше превосходительство, приступите. Станьте сюда вот и берите в руки образ, а ты, Марья Ивановна,— уж извините, жена будет за мать посаженую,— ты бери хлеб-соль... Станьте рядышком,— вот так. Прекрасно!.. Теперь, ваше сиятельство, пожалуйста вы.— Ольга Орестовна, не угодно ли?.. Нет, нет, пожалуйста уж вы конфуз отбросьте в сторону... Становитесь рядом с женихом на ковер,— против папаши... Становитесь, становитесь, нечего уж тут!.. Дело законное. Вот так. Ну-с, теперь опуститесь на коленки и — ваше превосходительство, не угодно ли!

И генерал вместе с флюсовой дамой, благословили Каржоля С Ольгой по всем правилам извечного обычая.

— Ну-с, а теперь в церковь... Пора, пора, господа,— торопитесь! Мой батька уже, поди-чай, замерз, ожидаючи!— хлопотал и весело суетился полицеймейстер.— Вы, граф, поедете вместе со мной. Аполлон Михайлович, вы тоже с нами,— ничего, что втроем,— сани широкие, как-нибудь усядемся, а то я и на киндерзиц приткнусь,— кстати, буду за мальчика с образом. Ольга Орестовна, вы с батюшкой и братцем. Ну, с Богом! Господи благослови! Пожалуйте!

Через пять минут после этого, двое больших саней, покрытых коврами и запряженных почтовыми тройками, с «малиновыми» бубенцами, лихо выкатили из ворот полицеймейстерского дома и взяли по направлению к селу Корзухину.

\* \* \*

По дороге заехали только к Каржолю за документами. Закаталов, однако, себе на уме — не спустил его с глаз и, из предосторожности «на случай дерка», вылез сам, вслед за ним из саней и вместе вошел в квартиру. Мрачный и убитый, граф при нем достал из шкатулки свои документы, и полицеймейстер не постеснялся даже попросить у него поглядеть их,— точно ли те, которые в данном случае нужны, что- бы не вышло в церкви какой ошибки. Каржоль испытывал против него чувство бессильной придавленной злобы и, наедине, решился, наконец, высказаться.

— Это я вам должен быть обязан всей этой комедией?— саркастически спросил он.— Благодарю покорно. Когда-нибудь сочтемся...

— Полноте, граф!— возразил ему Закаталов, принимая на себя добродушнейшую личину.— Чего там «сочтемся»! Вы мне еще спасибо скажите, что кончается водевилем, а не трагедией,— шутки-то с ними плохие были бы. И подумайте сами, рассудите-ка: вы покрываете, во-первых, ваш собственный грех,— поступок вполне благородный, честный... Ну-с, а затем,— красивая жена, хорошей фамилии, с солидным состоянием,— Господи, Боже мой, да чего же вам еще-то надобно?! Какого рожна?.. Ведь это просто завидный брак и, не будь я жнат, да я, на вашем месте, считал бы себя счастливейшим человеком!

Сколь ни странно, но эти доводы Закаталова подействовали на Каржоля успокоительно и как бы примиряющим образом. И в самом деле, если уж этот проклятый брак неизбежен, то что же остается человеку, как не утешиться хотя бы и на таких существенных данных? Но, покоряясь силе обстоятельств внешне, граф все-таки питал в душе какую-то смутную, ровно ни на чем не основанную и даже нелепую надежду, что авось-либо в эти роковые полчаса и, может быть, в самую последнюю минуту, случится еще что-нибудь внезапное, непредвидимое, что помешает свадьбе, и он опять почувствует себя свободным... Увы!— граф сознавал рассудком, что это глупая, ребяческая надежда, а все ж таки надежда! И почему бы ей не осуществиться?— Так, приговоренный к виселице, до последнего мгновения, надеется и думает, что его не повесят. В таком-то смешанном душевном настроении, доехал он молча весь остальной путь, до самой паперти Корзухинской церкви.

## VI. ЧАС ОТ ЧАСУ НЕ ЛЕГЧЕ

Одна из троек, вместе с полицейским вестовым, заблаговременно, еще до сцены благословения жениха с невестой, была отправлена Закаталовым к Сычугову. Но тут вышло нечто такое, что и сам Закаталов никак не мог предвидеть. Надо же было случиться так, что госпожа Сычугова, по поводу каких-то хозяйственных распоряжений, находилась в кухне как раз в ту минуту, когда под окнами раздался веселый звяк бубенцов подкатившей к крыльцу тройки и, вслед за тем, в кухню вошел примчавшийся на этой тройке вестовой полицеймейстера.

— Что тебе?— не без удивления обернулась на него госпожа Сычугова.

— К господину судье от их высокоблагородия,— отрапортовал полицейский.

— С бумагами?

— Никак нет-с, прислали доложить, что лошади готовы.

— Какие лошади:

— Почтовые-с, три тройки.. Одну со мной за господином прислали.

— Куда же это ехать?

— Не могу знать, а только давеча посылали меня на почту рыдить в Корзухино, чтобы, значит, непременно три тройки были.

Судьихе все это показалось довольно странным: три тройки... в Корзухино... с ее мужем и в такую пору,— зачем это? Уж наверное какой-нибудь кутеж затевается,— Закаталов ведь без этого не может... И она спросила у вестового, есть ли у полицеймейстера гости, и кто да кто именно?

— Не могу знать, приезжие какие-то... Сказывали, генерал с офицерами и барышня с ними.

— А из здешних никого нет?

— Граф Каржоль недавно приехали.

«Каржоль?— Наверное, какой-нибудь пикник», подумала себе судьиха, и с самым невинным, якобы ничего не подозревающим



видом, прошла в кабинет к супругу, только что вставшему от послеобеденной высыпки.

— Мои друг, за тобой тройка какая-то приехала.

— Ах, тройка?— встрепенулся Сычугов.— Это от полицеймейстера.

И он поспешно стал одеваться.

— Куда это ты намерен ехать?— спросила супруга, спокойно усевшись в кресло.

— Мм... с полицеймейстером тут, недалеко, по делу,— вяло проговорил Сычугов, с кислою гримасой, долженствовавшей наглядно изобразить собою перед супругой, сколь неохотно он снаряжается в эту досадную, скучную поездку.

— Какое ж это «дело» вдруг вечером?— скептически продолжала супруга.

— Ах, матушка, мало ли у нас дел-то есть!.. Известно, судебно-полицейское...

Акт составлять.

— Хм... Акт? Какой же это акт?

— Ах. Бог ты мой! Ну, что тут интересного! Не все ли равно тебе какой!.. Ну, по беспатентной торговле,— легче тебе от этого?

— Кто же да кто поедет?

— Как кто?— Он да я разумеется; письмоводителя, может, прихватим,— кому ж больше!

— Аристарх Иванович, вы лжете!— вымолвила судьяха, вдруг переменяв невинно благодушный тон на торжествующий и строгим.— Вы собираетесь не по делу, а у Закаталова теперь гости, с которыми вы на трех тройках едете в Корзухино.

Ошарашенный судья попался, как кур во щи и, не находя слов для возражения, уставился только на супругу виновато улыбающимися глазами да усиленно засопел от волнения.

— Зачем это вы едете?.. Отвечайте мне, зачем? для какой цели?

— Ах, матушка!.. Ну, просто так! Пригласил человек, и еду, какая там цель еще!

— Те-те-те, позвольте! Так вы «так»? Просто «так»?.. Скажите, какой агнец!—

А для чего ж это вы сочли нужным скрывать от меня, если это так невинно?

— Что такое скрывать? Ничего я не скрываю,— слабо оправдывался судья.— Не все же я обязан докладывать тебе... Просили не говорить,— ну, я и молчал... Не понимаю даже, что тут для тебя интересного!

— А то, что же вы, женатый человек, едете кутить с какой-то веселой компанией, что вам вовсе не к лицу ни как судье, ни как мужу!— веско отчеканила каждое слово судьяха.— Извольте мне сознаться, с кем и для чего вы едете?

— Голубушка, право, и сам не знаю.

— Вот это прекрасно! Он и сам не знает!.. Да что вы меня за дуру считаете, что ли?

— Ей-Богу же не знаю! Вот тебе крест, не знаю!— от искреннего сердца побожился судья.

— Ну, это уже слишком. В таком случае, вы, Аристарх Иванович, не поедете.

— Вот те и раз!.. Как же это... Извини, мамочка, но этого

я не могу, я дал слово.

— А я вам говорю, вы не поедете, и я сейчас же велю отправить тройку назад и сказать, что вы благодарите, но ехать не можете,— вот и все.

— Ну, уж нет! Бога ради, прошу тебя не делать таких скандалов,— взмолился к ней супруг.— Это уж ни на что не похоже будет... Это выходит, просто срамить меня!.. Что я вам, мальчишка дался, что ли?

— Ого?.. Что это за тон такой!.. Откуда это вы прыти такой набрались, разговаривать со мной подобным тоном?

— Ну ну, мамочка... ну голубушка... ну, не сердись, пожалуйста!— масляно и сладко заезжил вдруг перед женой испугавшийся супруг.— Ну, прости меня, дурака,— не буду больше!.. Ну, полно же!

— А, так изволь говорить, зачем, если хочешь, чтобы я тебя пустила. Зачем ты едешь? Зачем?— настойчиво пристала к нему неподатливая супруга,— и бедный мякиш должен был наконец сознаться ей, что Закаталов просил его быть свидетелем на чьей-то таинственной свадьбе. Судьиха даже с места подскочила — что за свадьба такая? Кто с кем? Почему так таинственно?— Но ни на один из этих вопросов он не мог уже ответить ей ровно ничего, за исключением разве, что венчается, по словам Закаталова, какая-то «интересная парочка» и что свадьба будет «прекурьезная».

— Прекрасно, в таком случае я еду вместе с тобою,— быстро решила супруга. Этого только и не доставало к довершению всех удовольствий. Сычугов чуть не в ужас пришел и снова взмолился к жене пощадить его, не делать этого, так как Закаталов просил именно ей-то и не проговориться на этот счет, и она своим появлением там поставит его, Аристарха, черт знает в какое неловкое положение перед приятелем. Но судьиха и слышать ничего не хотела.

— Еду, еду и еду! Или мы едем вместе, или ты останешься дома,— делай как знаешь, а в крайнем случае, я могу и одна поехать. Паша! подай мне пуховый платок и ротонду!

Как ни бился, как ни упрасивал и что ни доказывал ей Аристарх,— любопытная судьиха поставила-таки на своем.— Еще бы! Каржоль вдруг там будет, да чтобы она не поехала!.. Однако, и граф тоже хорош — не сказал ей ни слова!.. Что ему там делать между ними? Зачем и он туда? С какой стати?.. Нет,— думала она себе,— это штуки какие-то, тут что-то есть!.. Гм... Секреты вдруг завелись!.. Может, он там за кем ухаживать вздумал?— Ну, нет, это мы посмотрим!..

Покорившемуся Аристарху, в конце концов удалось склонить ее лишь на одну уступку, что в церкви она не станет выставляться напоказ, а пристроится в каком-нибудь более темном уголку, потому что иначе — почем знать — быть может, присутствие ее, как постороннего человека, смутило бы венчающихся и было бы им неприятно. Судьиха согласилась на это, и они покатали вдвоем в Корзухино. Сычугов беспокоился только об одном, что из-за этих глупых пререканий он потерял ужасно много времени и

заставил людей ожидать напрасно себя, а может, и совсем опоздал к венчанию.

\*\*\*

Войдя вместе с Каржолем и остальными спутниками в слабо освещенную церковь, где уже поджидал их за свечным прилавком священник с дьячком и пономарем, Закаталов не без досады увидел, что Сычугова еще нет.— Экой пентюх! ни в чем-то на него нельзя положиться! Пропал задаром эффект нового сюрприза для Каржоля, на который он так рассчитывал!.. Но все равно, не ждуть же из-за этой сонной тетери. И он озабоченно отвел священника в сторону — посоветоваться, как быть без судьи, потому что поджидать его нет времени? Но тот успокоил, что это ничего не значит,— за четвертого свидетеля, по крайности, может-де расписаться и дьячок. После этого тотчас же приступили к записи, а затем и к венчанию. За графом, в качестве шафера, стал Закаталов, за Ольгой — Жорж с Аполлоном. Генерал поместился несколько поодаль, в полумраке левого клироса.

Каржоль с момента прибытия в церковь, ни одним словом еще не обмолвился ни с Ольгой, ни с остальными, держась все время в стороне, как человек несправедливо оскорбленный, но знающий себе цену, и только на дрогнувших губах его принужденно замелькала саркастическая презрительная усмешка, когда ему пришлось расписаться в метрической книге, под непосредственно наблюдавшими за ним взглядами Закаталова и Пупа, которые, стоя над ним у стола, зорко глядели, чтобы он и в своей подписи не вздумал как ни на есть вильнуть или умышленно сделать какую-либо неточность. Каржоль понял это их побуждение, которое было принято им как явное и оскорбительное недоверие к нему,— точно бы он мазурик какой!— и потому постарался с молчаливым достоинством показать им свое презрение. Но те ни мало не смутились, а Закаталов, как ни в чем не бывало, счел даже уместным подбодрить его после этого приятельским кивком с добродушно веселою улыбкой.

Во время венчания граф стоял перед аналоем рядом с Ольгой, печальный, бледный и сумрачный, с сосредоточенным видом оскорбленного благородства. Пока не надели на них венцы, он все еще ждал в душе, что вот-вот сейчас случится то неведомое нечто, которое должно спасти его и сделать вновь свободным. Когда священник обратился к нему с обычным вопросом — добровольно ли берет он за себя свою невесту и не обещался ли кому другому?— он всем существом своим порывался было протестующе крикнуть: «нет, меня венчают насильно!» и на этом, в последний еще возможный к отступлению момент, прервать дальнейший ход обряда; но вместо, того, на первый вопрос сконфуженно и тихо ответил да, а на второй едва слышно нет, точно бы губы его прошептали эти два слова помимо собственной его воли и сознания. Здесь ему впервые показалось пред самим собой, что он как-будто смалодушничал в последнюю решительную минуту, что стоило бы сказать

«не хочу», и с ним ничего бы не поделали, но... перспектива дуэли,— неужели же он боится их угрозы дуэлью?! При этом сознании вся кровь бросилась ему в голову, но тем не менее, он не возмущился против собственного своего малодушия, не нашел в душе сил побороть его, и даже не шевельнулось в нем ни малейшего презрения к самому себе,— нет, он видел в себе только несчастную жертву рокового и грубого случая, даже шантажа,— жертву, над которой совершается возмутительное нравственное насилие и которая, по безвыходности своего положения, поневоле должна подчиниться ему. Когда же почувствовал он над собой венец, коснувшийся своим краем его лба, ему показалось, точно бы голову его охватило холодным металлическим обручем, прикосновение которого пронизало весь организм его нервной дрожью. Он знал, что теперь все уже кончено: важнейшая для него часть обряда, в течение которой в нем жила еще смутная надежда на что-то, долженствующая спасти его, даже помимо его самого,— эта часть уже совершена, и вот, ничего такого не случилось... За что же, за что такая несправедливость судьбы?!— Теперь, он знает, назад уже нет возврата,— конец всем мечтам и надеждам, ради которых он жил и боролся!.. А какие это были золотые, радужные надежды! Как прекрасно все шло и развивалось согласно его планам, на пути к задуманной цели! Когда он встретился в Москве с молодым купцом Гусятниковым (точно бы сама судьба столкнула их!) и так удачно подбил его в компаньоны на предприятие, обещающее, как казалось графу, по крайней мере двести процентов на каждый затраченный в него рубль (граф сам совершенно искренно верил в это) и когда тот с полупьяна имел наивность тоже поверить всем его «вернейшим расчетам» и выдал ему, ничтоже сумняшеся, доверенность и средства на постройку завода, Каржоль был твердо убежден, что к концу года, а может и раньше, он «совершенно честным образом» сколотит необходимые ему сто тысяч, чтобы сразу выручить все свои векселя у Бендавида, и тогда... тогда между ним и Тamarой не будет более никаких преград: он явится к ней свободным и влюбленным, он сумеет оправдаться пред нею, опять покорить ее сердце и волю, если бы оказалось, что она стала к нему холоднее,— затем, сейчас же обвенчается с нею и, с помощью знаменитых адвокатов, начнет громовой процесс против жидов за ее миллионы. А что он их выиграет, в этом для него не было сомнений!— Только этой мыслью граф и жил, только на нее и надеялся, ради нее боролся и энергично работал, решившись даже на такое «самопожертвование», как жизнь в глуши, на заводе, или в этом невозможном Кохма-Богословске, не имеющем понятия ни о порядочном обществе, ни о порядочных привычках... Да, он героически решился на все эти «лишения», он «сократил» себя и свои потребности и вкусы, на сколько лишь было возможно, он якшался «на ты» с разными здешними Кит Китычами, играл в мушку и трынку с этими хамами, отравлял черт знает чем свой желудок в их клубе,— и что же!.. Вдруг все надежды и планы его лопаются как мыльный пузырь и, вместо всех этих радуг и блеска заманчивой будущности, он — насильно

обвенчанный муж Ольги Уховой! Где же, где же после этого справедливость!

Да, то были мечты, а это действительность — горькая, обидная, безобразная, но с нею надо считаться,— мало того: надо мириться с нею.

Он тупо глядел на огонь своей свечи, и ему с горькой иронией думалось, что для него в ее пламени горит не воск,— горят Тамарины миллионы и все его лучшие надежды, все его счастье... Надо считаться, надо мириться с действительностью.— Что ж, быть может, Закаталов и прав, говоря, какого рожна еще ему надо?!.. Сто тысяч Ольгиного приданого — тоже деньги, небольшие, положим, но и не малые... Можно и с ними кое-что поделаться. Сто тысяч в кармане,— это, при умении, значит на пятьсот тысяч кредита. У генерала земля есть к тому же, целое имение, да дом в Украинске,— все это, по оценке, гляди, составит капитал более двухсот тысяч... И странное дело, ведь был же граф даже рад, как счастливой находке, этому самому капиталу всего лишь несколько месяцев назад, до встречи с Тамарой! Оборотливый, находчивый человек, каким он считал самого себя, разве не сумеет и из такой малости создать себе целое состояние?! Все-таки это более чем ничего. Надо, в самом деле, мириться с действительностью, ничего не поделаешь!.. Сто тысяч наличных, да в перспективе, по смерти старика, остальные сто в земле и в доме,— ну, а затем, в приданое к этому, жена, хоть и не Бог-весть какой громкой, но все же дворянской фамилии, дочь заслуженного генерала, элегантная, красивая женщина,— что ж, в крайнем случае, можно помириться и с этим. Ведь Ольга же в самом деле красива, даже теперь, в настоящем своем положении; ведь нравилась же она ему и — что греха таить пред самим собою!— красота ее всегда говорила его чувственности несравненно более, чем красота Тамары — даже до самого последнего времени в Украинске... Ольга всегда казалась ему красивее, пластичнее, пикантнее этой жиденькой нервной евреечки... В Ольге есть рисунок, и рисунок очень изящный, плавный, округлый— теперь даже слишком округлый, но ведь месяца через два все это кончится, пройдет, и пред ним явится прежняя Ольга, всегда для него столь обаятельная, столь умеющая заставить человека желать себя...

И в самом деле, раз что Тамарины миллионы горят,— какой интерес в ней без этих миллионов и какого рожна еще ему надобно?!— Можно помириться с судьбой и на Ольге.— «Рожна» — *c'est le mot!*— Это мне даже нравится, усмехнулся про себя Каржоль.— Конечно, можно помириться и на Ольге. Тут самая простая логика. То — журавль в небе, а это — синица в руках. Правда, Ольга зла теперь на него, но... тем не менее, она сама же захотела идти за него, даже заставила на себе жениться,— стало быть, как ни как, а все же любит его (так думалось Каржолю), а раз что в ней есть еще это чувство, разве ему будет стоить большого труда оправдаться пред нею, объяснить свои обстоятельства, представить причины своего несчастного бегства из Украинска в «истинном», а не в таком подлом свете, в каком она смотрит на

них и на него теперь? И разве он в самом деле так виноват во всей этой истории с Тamarой?— Ведь он же не более как жертва гнусной жидовской интриги, жертва клеветы и мщения родных этой жалкой девочки,— побуждения его были самые чистые и бескорыстные... Ольга смотрит на него сквозь жидовские очки; но когда он объяснит ей наконец всю истину, она поймет, она увидит свое заблуждение и оценит в нем человека, всегда столь ей преданного, никогда не перестававшего любить ее... Да, это все он сумеет сказать и оправдать себя, а там... там уже само время возьмет свое и довершит остальное. И размышляя таким образом, Каржоль слегка покосился на профиль рядом стоявшей Ольги.— «А ведь она, в самом деле, не вредная, даже и теперь!»— лукаво подумалось ему не без плотоядно сластолюбивой *arriere-pensee*, и тут же вспомнились хорошие минуты их первых таинственных свиданий и восторгов...

Но глядя на Ольгу, Каржоль вдруг почувствовал, что с левой стороны на него пристально уставились и смотрят неотводно чьи-то два посторонние глаза. Он быстро и не без некоторой тревоги перевел взгляд с профиля Ольги в ту сторону, зорко вгляделся в постороннюю фигуру, которой там не было в начале венчания, да вдруг так и обмер, побледнев и конвульсивно сжав свою свечку. На него насмешливо и зло глядели сквозь золотое пенсне удивленные глаза хорошенькой судьи. Да, это она,— несомненно она стоит и нагло смотрит в упор, точно бы издевается молча над ним и его «интересною» невестой. Что ж это значит? Каким образом она здесь? Кто сказал ей? Кто впустил ее сюда? Зачем, с какой стати?

Встревоженный и сбитый с толку всеми этими, столпившимися в нем, вопросами, Каржоль, недоумевая, обернулся с вопрошающим взглядом назад, на Закаталова,— но что ж это такое?— Закаталов стоит уже не за ним, а несколько в стороне, и с явным самодовольством, весело и точно бы торжествуя, глядит на судью. Кто ж, однако, держит вместо него венец?— Граф еще раз нервно оглянулся назад и — о, ужас!— не веря собственным глазам, увидел вдруг мякишеподобную пивоналивную фигуру господина Сычугова. Это уже показалось ему ударом жесточайшей насмешки над собой.— Как! этот самый Сычугов, счастливый рогоносец, которому с такой спокойной совестью, как бы совершая даже нечто должное, он наклеивал его супружескую «прическу», стоит теперь за его спиной, с глупо удивленною и лукаво улыбающеюся рожей, и держит в поднятой руке над его головой «эмблему супружеского счастья», точно бы пророча и ему такую же участь в будущем.— Нет, это уже слишком!.. Каржоль невольно и злобно отшатнулся было из-под венца в сторону, но в этот самый миг священник повернулся лицом к нему, взял в епитрахиль его руку, соединил ее с рукою Ольги и повел их вокруг аналоя, подпевая дребезжащим голосом дьячку с пономарем «Исайя ликуяй». Граф шел за ним машинально, как автомат, всецело подавляемый чувством какого-то жгучего, всепроникающего стыда и унижения. Ему казалось, что он должен быть смешон и жалок в эту минуту, как никогда еще

в жизни, смешон до последней степени смешного, до крайней оскорбительности. Не помня себя, почти не давая отчета во всем окружающем и происходящем около него, достоял он кое-как до конца обряда. И когда священник, поздравляя молодых, предложил им в заключение поцеловаться между собой, Каржоль, машинально следуя его предложению нагнулся было к лицу Ольги, но та холодно от него отвернулась. Он так и клюнул впустую воздух на несостоявшемся поцелуе, и это сконфузило его еще более. Ольга отошла от него в сторону, к своим, а он между тем все еще продолжал стоять на своем месте, ошеломленный всем случившимся и, с совершенно безразличным, тупым выражением в лице, принимал обращенные к нему поздравления и рукопожатия Сычугова и Закаталова. Подошла к нему и судьяха.

— Поздравляю вас, граф, с супружеским счастьем!— нагло сказала она с саркастически любезной улыбочкой, в упор оглядывая его сквозь свое пенсне.— Вы, однако, недобрый, даже не предупредили. Впрочем, все это, кажется, случилось для вас довольно неожиданно?

— Что ж, и отлично!— добродушно подхватил Сычугов.— Покрайности, нашего полку прибыло.

— «Вашего»?— иронически подчеркнула судьяха.— Да, это, кажется, несомненно... По крайней мере, я — от всей души желаю вам, граф, быть «одного полку» с Аристархом Ивановичем.

Окончательно растерявшийся Каржоль проглотил без ответа и эту горькую пилюлю. Он был так пришиблен в особенности неожиданным появлением в церкви четы Сычуговых, и до того чувствовал над собою тяготение какой-то беспощадной, точно бы извне приходящей иронии, что ему казалось будто все вокруг него — и эти люди, и эти лики, глядящие со старинных образов, и даже самые стены, как бы уходящие в сыроватый мрак, враждебно и холодно издеваются над ним и его положением. Точно бы все замкнулось пред его внутренним состоянием в каком-то каменном безучастии, и он стоит одинокий, оплеванный... Под гнетущим давлением этого нравственного ощущения, всю его элегантную внешность, всю привычную манеру держать себя с непринужденным достоинством и выдержкой светского человека — как рукой сняло. В данную минуту это была какая-то мокрая курица, с которой без сопротивления можно сделать все, что угодно.

Закаталов, между тем, отойдя к свечному прилавку, помогал пока генералу рассчитываться с причтом, как вдоуг в это время подошел к нему Аполлон Пуп, сказать, что Ольга Орестовна просит его на два слова. Полицмейстер предупредительно поспешил к Ольге, и та отвела его подальше в сторону.

— Я бы хотела получить сепаратный билет,— тихо обратилась она к нему.— Как это сделать?., и нельзя ли устроить сегодня же?

— Мм... Сегодня?— в затруднении замялся несколько Закаталов.— Сегодня-то оно довольно мудрено,— поздновато уже, да и письмоводитель мой, не знаю, дома ли. Не удобнее ли отложить до завтра?

— Но завтра утром мы рассчитываем уже выехать в Москву,— возразила Ольга.

— Так скоро?!— удивился полицеймейстер.

— Непременно,— подтвердила она и попросила, нельзя ли ему будет по возвращении домой, нарочно послать за письмоводителем и, вообще, распорядиться насчет этого дела, чтобы поскорее?

— Отчего же, всегда возможно,— согласился Закаталов.— Но ведь об этом деле вам, полагаю, надо бы переговорить сначала с супругом?— Это ведь от него зависит.

Ольга попросила, не может ли Закаталов взять переговоры на себя, и тот отвечал, что со всем удовольствием, но, быть может, супруг пожелает сам объясниться с нею?— Теперь ведь между вами это дело, так сказать, семейное-с.. Во всяком случае,— продолжал он,— я попрошу вас теперь к нам в дом, выпить, как водится, по бокалу, поздравить вас, пожелать всего лучшего, а там, заодно уже, и переговорим... Кстати, вы мне позволите представить вам моих друзей,— судью здешнего и... его супругу?

Ольга никак не ожидала последнего. В особенности неприятно поразило ее это открытие насчет «супруги», сделанное каким-то полусмущенным, как бы извиняющимся тоном. Заметив еще во время венчания какую-то вошедшую женщину, она тогда же подумала себе, что это, вероятно, попадья или поповна, явившаяся просто поглазеть на свадьбу из бабьего любопытства, и хотя непрощенное присутствие посторонней зрительницы пришлось ей и не совсем-то по душе, но ее можно было еще игнорировать,— не все ли равно, если там поглазет какая-то совершенно неизвестная особа! А тут оказывается вдруг судьяху,— в некотором роде, ее «соперница». Эта стало быть, пожаловала сюда неспроста, а нарочно, с какой-нибудь предвзятой и, быть может, даже враждебной для Ольги целью! Поэтому Ольга, не без удивления, но вполне деликатно дала понять Закаталову, что никак не рассчитывала на встречу с этой особой. Тот несколько смутился и стал усиленно заверять и божиться, что появление Сычуговой было для него самого полнейшею неожиданностью, что он приглашал, в качестве четвертого свидетеля, судью, но никак не судьяху, даже нарочно просил его не говорить ей, а уж каким образом и почему она попала сюда, он пока еще сам не знает, и не понимает даже, и что это для него, поверьте, крайне неприятно,— более неприятно, чем кому-либо, и потому ему остается - только принести Ольге тысячу самых искренних извинений за эту не совсем удобную случайность и уверить ее своим честным словом, что он тут решительно ни при чем. Но раз уже так случилось, не гнать же ее, согласитесь сами...

Ольга подумала и согласилась в душе, что и в самом деле ей теперь это все равно.— Она ведь достигла своего и во всяком случае, если кто и в проигрыше, то уж никак не она, а скорее «соперница», с которой, впрочем, из-за обладания «таким сокровищем» Ольга спорить никак не станет (слишком много чести!) и предоставляет ей графа всецело.

Закаталов, меж тем, повторил ей свою просьбу пожаловать



к нему на бокал шампанского и ужин. Она попыталась было уклониться от этого приглашения. И в самом деле, ей очень неприятно было таскать свое «положение» в чужой дом, да еще как бы напоказ посторонним свидетелям, причем, конечно, она служила бы мишенью для их пытливых взглядов и темой их интимных перешептываний, скабрёзных догадок и разных предположений насчет этой «странной свадьбы». Положим, никто и в глаза ничего не выскажет, даже, и виду не покажет, но все же... для самой-то себя, по отношению к другим, ужасно все это шероховато как-то будет, неловко, совестно, даже комично как-то. Поэтому, поблагодарив полицеймейстера за его любезное приглашение она стала было отговариваться усталостью и нездоровьем, прося уволить ее с отцом от этого церемониала, и выразила желание ехать из церкви прямо домой, в номера купца Завьялова. Но Закаталов энергично воспротивился этому.— Как! Помилуйте! Там уже все приготовлено, жена ждет, ужин на столе, шампанское... Как угодно, конечно, настаивать не смею,— предупредительно продолжал он деликатным покорным тоном, в котором однако чувствовалась некоторая обиженность.— Но ведь подумайте, если вам желательно сегодня же получить отдельный вид на жительство, то как, же я устрою это без вашего батюшки и без вас? Извините, но один я не беру на себя уговорить графа... Тут необходимо именно ваше присутствие, чтобы вы сами лично переговорили с ним, а без вас невозможно, воля ваша. Мне и то дай Бог уломать его, чтобы он ко мне-то теперь поехал,— заартачится, пожалуй, не захочет.

Ольга сообразила все это и согласилась, что Закаталов прав. Если добывать сепаратный билет сейчас же, то надо ехать. А ждать,— чего же тут, в самом деле, ждать, в этом Кохма-Богословске? Лишних сплетен да пересудов, а может, и лишних сцен с графом?— Да Бог с ним и со всем! А лучше окончить все разом, сегодня же!.. А что если эта судьяха будет там, так что же!.. Какое ей дело до этой особы и ее мужа!— Ну, встретимся случайно и разойдемся, чтобы никогда потом не встречаться, и не знать друг друга, и не слышать, и позабыть даже, что существуют такие-то на свете. В сущности, не все ли равно?!— И Ольга дала свое согласие ехать в дом к Закаталовым.

Обрадованный этим, полицеймейстер сейчас же хлопотливо побежал приглашать всех остальных, не исключая и т-те Сычуговой, а затем подхватил под руку Каржоля, шепнув ему на ходу, что Ольга Орестовна желает дружески переговорить с ним о чем-то важном, и усадил его в сани, вместе с собой и Аполлоном Пупом, так что граф опять очутился как бы под конвоем этих двух своих «архангелов». Закаталов был очень рад и даже счастлив,— счастлив вдвойне: во-первых, тем, что так быстро удалось ему обработать все дело и повенчать графа, а во-вторых, тем, что сюрприз, приготовленный им для него в лице Сычугова и неудавшийся вначале, увенчался, благодаря неожиданному приезду судьяхи, самым эффектным и полнейшим успехом, какого он и предполагать не мог бы. Он не сомневался, что после этого вся

позолота графа и все его донжуанские шансы у судьихи провалились окончательно.

\* \* \*

Три тройки, между тем быстро катили по первопутку из села Корзухина в город. Генералу тоже не хотелось ехать к Закаталову: он стеснялся не менее дочери присутствием посторонних лиц, его коробило как-то перед чужими и за нее, и за себя, и за всю эту скоропалительную свадьбу — право, лучше бы домой!— но Ольга убедила его, что эта жертва (даст Бог, последняя!) нужна ей ввиду необходимости добыть сегодня же сепаратный билет, чтобы завтра ничто уже не задерживало их отъезда,— куй железо пока горячо!— и генерал, по обыкновению, должен был подчиниться ее воле, тем более, что и сам сознавал на этот раз ее резонность.

В городе всех поезжан ожидал новый сюрприз, подготовленный, по распоряжению расторопного полицеймейстера, еще днем, а теперь лишь объявившийся во всем своем блеске. Весь полицеймейстерский дом был ярко иллюминирован: по бокам ворот пылали плашки, на подоконниках снаружи горели стеклянные шкалики, крыльцо было унизано рядами цветных бумажных фонариков, а внутри двора, по самой середине, трещал целый костер, усердно поддерживаемый пожарными. Против дома стояла уже и глазела на иллюминацию целая толпа любопытных зевак из обывателей-мещан и фабричных, которые, по собственному своему почину, дружно орали «ура!» когда трое саней с поезжанами, одни за другими, лихо вкатили в полицеймейстерские ворота. Но и этим еще не кончилось. Едва «молодые» вступили в прихожую, как на встречу им грянул из залы «фестиваль-марш». Несколько местных евреев-музыкантов, «зарабатывавших» обыкновенно на «семейных вечерах» в «хозяйском» клубе, дружно, со всеусердием и во всю еврейскую прыть наяривали теперь общеизвестные звуки самого популярного у наших евреев «Константин-марша» на своих «виолях», «секундах», «флютках» и цимбалах. Даже тромбон откуда-то появился. И между ними, к удивлению Аполлона Пупа, торчал сам Мордка Олейник, еще к вечеру выпущенный из кутузки. Забыв оказанную ему «несправедливость», он с истинным энтузиазмом гудел теперь намусленным слюною пальцем по туго натянутой шкуре бубна и не только выколачивал на ней всей пятерней барабанную дробь, но ухитрялся еще ударять и локтем, в подражание турецкому барабану.

Все эти сюрпризы, а в особенности последний, очень не понравились генералу, и не только генералу, но и Ольге, и офицерам, и более всех Каржолю. Генерал даже нахмурился и стал пофыркивать, находя, что все это вовсе некстати и просто бестактно со стороны Закаталова, который мог бы, кажись, сообразить, что свадьба вовсе не такого сорта, чтобы радоваться ее и праздновать. Нашел что праздновать, дурак! Думали кончить все тихо, в секрете, а тут вдруг — на-ко-тебе!— выходит скандал на весь город! Просто черт знает что!.. Закаталов,

по мнению генерала, чересчур уже пересолил в своем усердии и — сколь ни крепился старик, однако же не выдержал и обратился к нему с просьбой — нельзя ли сейчас же прекратить все эти музыки и иллюминации, потому, сами согласитесь, радости тут никакой, а только лишний шум да чесанье языков по городу. Тот принялся всячески извиняться и с добродушным видом уверять генерала, что он никак не думал, чтобы это могло стеснять или не понравиться, — напротив, он это все от чистого сердца любя и желая угодить бывшему отцу-командиру, доставить дорогим гостям удовольствие, но если его превосходительству не угодно, то, конечно, все эти плошки и Мошки сейчас же будут спроважены к черту, чтоб и духом их тут не пахло, хотя отчего бы, в сущности, и не повеселиться, раз что все дело устроилось самым счастливым образом, к общему удовольствию?

Генерал так и принял, что Закаталов устроил все это хотя по недомыслию, но от чистого сердца. Зато Каржоль понял его выходку совсем иначе. Он хоть и не высказывался, но про себя знал очень хорошо, что шельмоватый полицеймейстер подстроил все эти штуки нарочно, с той целью, чтоб насолить ему еще больше, до конца, чтобы скандал его подневольной женитьбы с наибольшим треском и блеском распространился по всему городу и дальше... Пожалуй, еще в газетах, скотина эдакая, хватит, — с него станется!.. Недаром графу так не хотелось ехать к нему после венца, словно бы предчувствуя что-то скверное, но он склонился на его уговоры и убеждения, единственно в силу уверений, что сама-де Ольга Орестовна этого желает, так как она намерена переговорить с ним о чем-то очень важном и сама-де поручила Закаталову просить его. Не следовало бы соглашаться, но опять же и самому ему хотелось объясниться с Ольгой, оправдать себя, насколько возможно в ее глазах, предложить ей известный *modus vivendi*, — словом, выйти как ни-на-есть из настоящего неопределенного и крайне фальшивого положения. Граф понимал, что со стороны Закаталова, все эти иллюминация и «фестиваль-марши» не более как грубое мщение ему за успех у судьихи, и он не ошибся: «гроссшкандал» действительно был устроен полицеймейстером именно ради его и именно с этой целью. Теперь же цель была достигнута, скандал произведен, а потому желание генерала, чтобы иллюминацию погасить и жидов отпустить, было исполнено немедленно. Вся работа жидовского оркестрика только и ограничилась одним «фестиваль маршем», — даже торжественный туш не удалось ему сыграть в честь «молодых», когда флюсовая дама встретила их с подносом, уставленным бокалами шампанского.

## **VII. СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК КАРЖОЛЮ**

Каржоль отказался от бокала, но Закаталов до того пристал к нему с «усерднейшими» просьбами, что граф вынужден был чокнуться с ним и с Сычуговым, лишь бы только отвязались. Безучастный ко всему, что делается вокруг, он удалился в кабинет

хозяина и сидел там один, с выражением тупой и скучающей покорности на утомленном лице,— дескать, что ж делать, надо пить чашу до конца, хуже, кажись, ничего уже не будет.

В это время подошла к нему Ольга и села рядом.

— Поговоримте, граф, пока мы одни, без желчи и раздражения,— начала она тихо и даже кротко, с серьезной, но почти благосклонной улыбкой.— Теперь, когда я уже графиня Каржоль де Нотрек, ссориться с вами, без особых причин, мне не к чему, и я готова поддерживать с вами самые мирные отношения. Зла против вас я несколько больше не имею и желала бы даже, чтобы это было взаимно.

При этих словах, граф невольно вскинул на нее взгляд, полный удивления. После всего, что произошло в этом самом доме каких-нибудь два часа назад, он менее всего мог ожидать с ее стороны такого приступа и тона. Этим тоном своим и смыслом сказанного ею она как будто первая шла навстречу тем примирительным соображениям, какие впервые закралась в него самого во время венчания.

— Еще раз прошу вас верить, граф,— продолжала между тем Ольга,— что если я стала вашей женой, то это лишь ради нашего будущего ребенка; но затем... раз что вы по каким бы ни было причинам, предпочли разойтись со мной,— я не хочу стеснять вас собою, и знайте наперед, что не стану предъявлять к вам никаких своих супружеских прав и претензий ни на вашу личность, ни на ваши средства, будь вы сам Крез... Живите себе, как жили, любите, кого любили,— это ваше дело; я сюда не путаюсь. Я не хочу мешать вам и... надеюсь, что и вы мне мешать не станете. Будемте жить каждый сам по себе, своею особою жизнью, не портя ее больше друг другу. Что было, то прошло, и за прошлое мы уже с вами сквитались,— сегодня мы его ликвидировали. Согласны вы на такие условия?

Судя по началу, Каржоль ожидал вовсе не этого. Смущенно запинаясь в словах, отчасти даже путаясь и делая скачки в мыслях, он стал высказывать ей, что она жестоко заблуждается насчет причины его отъезда из Украинска, что он готов открыть ей истинную суть этого дела, и тогда она сама оправдает его... что он не переставал любить ее, любит и теперь, как тогда, и думает, что если уж судьба соединила их, то расходиться незачем,— лучше жить вместе, на те скромные средства, какие он может предоставить ей пока своим честным трудом, в надежде на лучшее будущее... Если она считает его в чем виноватым пред нею, он просит простить его, как и сам он готов простить и забыть оскорбления, нанесенные ему сегодня стариком, готов искренно примириться с ним,— словом, забыть все прошлое, все горькое и начать вместе с нею новую жизнь, как муж с женою.

В свою очередь, и Ольга менее всего ожидала с его стороны подобного предложения. Но оно пришлось ей вовсе не по вкусу,— планы ее были совсем иные, и надежды насчет будущего витали в совершенно других сферах. Ей нужно было только громкое, титулованное имя Каржоля; а вовсе не сам Каржоль,

готовый, со своими будто бы «средствами», трутнем посещать к ней на содержание. Настолько-то она его уже раскусила, а потому все его уверения и оправдания оставались для нее только словами, бьющими в воздух, не задевая сердца. Но раз уже взяв с ним мягкий тон, в том предположении, что этим скорее достигнешь его добровольного согласия на выдачу сепаратного билета, ей не хотелось резко и круто обрывать и осаживать этого жалкого человека, в особенности после только что принесенного им покаяния. В искренность этого покаяния она не совсем-то верила, так как недостойная уклончивость и изворотливость его поведения во время первого сегодняшнего объяснения с нею слишком живо еще стояла в ее памяти, но все же ей стало немножко как будто и жаль его. Поэтому, поразмыслив несколько, она отвечала ему, что не отвергает его предложения безусловно, но думает, что сразу и сейчас оно едва ли осуществимо: для этого прежде всего нужно время, нужна проверка самих себя,— и не столько для нее, сколько для самого графа,— действительно ли он в состоянии переломить самого себя и начать ту новую жизнь, какую ей предлагает? Не есть ли это с его стороны один минутный порыв увлечения и великодушного самопожертвования, за который, быть может, вскоре он сам бы стал раскаиваться и укорять ее, что она связала его свободу?.. Жертв с его стороны она никаких больше не хочет,— довольно и той, какая принесена им сегодня. Надо дать теперь всему улечься, успокоиться, прийти в себя,— а для этого нужно время...Пройдет год, другой, а может и меньше, и если граф убедится в душе, что побуждения и чувства его действительно серьезны,— ну, тогда другое дело... тогда можно будет подумать об этом... Вообще время, даст Бог, все уладит и укажет, как сделать лучше,— А пока, заключила Ольга,— не будем мешать жить один другому и расстанемся друзьями.

Каржоль припал к протянутой ему руке и поцеловал ее, по-видимому, с чувством.

— Итак, вы, граф, согласны?

Он, без слов, покорно склонил в ответ свою голову.

— Я очень рада за нас обоих,— продолжала Ольга,— потому, ей-Богу, это самое умное, что мы можем пока сделать. Но дело вот в чем: завтра утром мы уезжаем отсюда,— объявила она,— поэтому вам нужно подписать мне... как это называется... отдельный вид на жительство, что ли?

При этих последних словах, Каржоль несколько опешил и, в замешательстве, с недоумением посмотрел на Ольгу.

— Разве это так необходимо?— неопределенно спросил он.

Той показалось в его вопросе опять как будто что-то уклончивое, точно бы он сомневается, или не желает давать ей паспорт. Поэтому она тотчас же выпустила слегка свои когти.

— То есть, что это «необходимо»? Уезжать, или вид на жительство?— в свой черед спросила она вполборота к нему, гордо и холодно вдруг нахмутив брови.

— Н-да... то есть... если хотите, и то, и другое, пожалуй...

— Совершенно необходимо,— подтвердила Ольга самым

деловым и решающим тоном.— Согласитесь сами, оставаться здесь дольше — значит, вас же ставить в фальшивое положение и давать только повод к лишним разговорам. Ну, а без вида не могу же я теперь жить!.. Положим,— продолжала она, опять показывая ему чуть-чуть свои когти,— в случае чего, мы с отцом, конечно, всегда можем обратиться в Третье Отделение, и мне там все равно выдадут сепаратный билет, помимо вашего согласия; но раз вы не хотите ссориться со мною, зачем же нам осложнять и затягивать дело, если можно сейчас же кончить это любовно?

Каржоль сидел в затруднительном раздумье, точно бы его смущала какая-то мысль, которую он и хотел бы, и не решался высказать. Ольге показалось, что она ее как будто угадывает.

— Бывают, конечно, мужья, которые делают из этого для себя выгодный гешефт,— сказала она не без иронии,— то есть, попросту, продают своим женам за известную плату свое согласие на *separation de corps*; но граф Каржоль де Нотрек, надеюсь, не может принадлежать к людям подобной категории. Не так ли?

Тот, как ошпаренный, откинулся от нее назад, с безмолвным выражением благородного протеста. Если бы в нем и шевелилась даже подобная мысль, то после таких слов, для нее, конечно, не осталось уже места. При этом своем движении, он, как породистая лошадь, гордо встряхнул головой, точно бы отстраняя от себя самую возможность такого недостойного предположения.

— Я совсем не о том, что вы думаете... Бог с вами!.. Это уж самое последнее дело!— заговорил он, возвращаясь к своему затруднительному раздумью.— Я хотел сказать только... что вы... вы так заботливо оговариваете условие не мешать жить друг другу, что я... Конечно, после всего, что было, я в ваших глазах... может, и не имею права требовать... но все же... ведь мы носим теперь одно имя...

— Ах, вы вот что!— догадалась Ольга,— понимаю!.. Но для вашего успокоения,— прибавила она, принимая вид снисходительного достоинства,— могу вас уверить, что за мое поведение вам краснеть не придется,— я не скомпрометирую ни себя, ни вашего имени; можете быть спокойны.

— Извольте, я согласен,— покорно проговорил Каржоль со вздохом, видя, что ничего другого ему и не остается больше. Он только повторил ей свою просьбу — не лишать его последней надежды, что со временем она может еще сойтись с ним, а пока позволит ему хоть изредка писать к ней. Та ничего не нашла возразить против, но, впрочем, еще раз подтвердила, что не обязывает его ни к чему и не намерена стеснять его интимные отношения к кому бы то ни было, так как ей нет до них никакого дела. В последних словах ее Каржоль почувствовал полное и несколько, быть может, презрительное с ее стороны равнодушие к его особе. Это его невольно покорило. Ему лучше бы хотелось, чтоб она проявила хоть чуточку ревности, даже, пожалуй, злости, так как это все же бы показывало, что в ней, по отношению к нему, не все еще умерло,

что возврат к прошлому возможен.— Но это равнодушие... оно ведь убийственно!— И потом, этот Аполлон Пуп,— зачем он здесь? в качестве кого и чего?.. Смысл его роли что-то подозрителен... Не для того же, в самом деле, чтобы только попугать или подразнить им!.. Что он ей такое?... Но ни одного из этих вопросов Каржоль не посмел предложить Ольге даже намеком, сознавая, что после всего, что разоблачилось о нем в Украинске, он потерял всякое право требовать от нее отчета. Да и духу у него на это не хватило бы, потому что она вообще забрала уже над ним какую-то доминирующую ноту,— это он чувствовал. Но зато в душе его тем сильнее поднялось теперь вдруг, каким-то психическим рикошетом с Ольги на Аполлона, чувство ревнивой злобы и ненависти к этому «mon-cher'u с уланской конюшни», тем более, что граф нехотя, но невольно создавал внутри себя, насколько он, в то же время, бессильно и почти инстинктивно боится его.— Это животное, мол, на все способно, лучше от него подальше!

Ольга, между тем, позвала в кабинет Закаталова и сообщила ему о согласии графа на выдачу ей отдельного паспорта. У Закаталова все уже было наготове к этому, так как он не забыл, тотчас же по возвращении из Корзухина, послать за письмоводителем и объяснить ему наедине, в канцелярии, все, что требовалось. Тот живо составил по известной формуле бумагу на право жительство жены такого-то «во всех местах и городах Российской Империи и за границей» и ожидал теперь только подписи графа, чтобы засвидетельствовать и скрепить ее надлежащим образом, с приложением казенной печати.

Пока у Ольги шло в кабинете объяснение с Каржолем, полицеймейстер, в роли любезного и радушного хозяина, все время оживленно суетился, то знакомя между собою и занимая своих гостей, то бегая туда и сюда с разными распоряжениями и осведомлениями по хозяйственной части и все торопил жену и прислугу насчет ужина и закуски. Со стольких-то хлопот, ему уже есть захотелось. В столовой все уже было готово, но Закаталов не хотел мешать объяснению «молодых» и ждал только, когда они кончат, чтобы торжественно вести их к ужину. Хотя генералу было вовсе не до ужина и хотелось бы поскорее домой, но он создавал себя настолько обязанным Закаталову всем нынешним днем, что отказаться от его хлеба и соли, особенно ввиду таких усиленных просьб хозяев, счел окончательно неловким и — нечего делать — остался. Хозяева настояли, чтобы Ольга села подле графа в середине стола, как «молодые»,— потому таков уж у нас Кохма-Богословский обычай, и нарушать его не следует. Каржоль не противился, Ольга тоже, и их усадили рядом. Ужин прошел довольно натянуто, хотя сам Закаталов изо всех сил выбивался, чтобы как ни на есть подбодрить и оживить «дорогих гостей»: он и угощал, и подливал им, и в то же время болтал, тараторя почти безумолку, острил, рассказывал анекдоты, вспоминал про кавказское житье-бытье и в особенности старался усиленно громко смеяться, как можно чаще и больше, чтобы хоть этим наэлектризовать своих состольников. Сычугов больше все сопел и основательно прохаживался насчет напитков, не забывая впрочем

накладывая себе и от каждого блюда по полной тарелке. Не смущалась никем и ничем одна только бойкая судьяха. Она видимо старалась показать, что ей «решительно все равно», и потому как бы не замечала Каржоль и почти не обращалась к Ольге, но зато так и рассыпалась мелким бесом перед Закаталовым и офицерами, кокетливо стреляя, сквозь нахально вздернутое пенсне, то на того, то на другого самыми «выразительными» глазами и, наконец, в исходе ужина, находясь уже в румяном подпитии, демонстративно предложила Закаталову тост «за старую дружбу». Тот принял его с истинно торжествующим видом, и от души чекаясь с нею через стол расплеснувшимся при этом бокалом, не утерпел, чтобы не подчеркнуть тоном легкого назидания: «Так-то, барынька, старый друг всегда лучше новых двух, говорится,— зарубите вы себе это!»— Судьяха многозначительно сказала на это «зарубаю», а Сычугов, ровно ничего не понявший в сути ее тоста, со своей стороны согласился, что это святая истина и тоже чокнулся с ними. Каржоль сделал вид, будто и не слышит, а флюсовая дама ничего не сказала, только меланхолично посмотрела на мужа. Будучи постоянно обременена флюсами и насморками, она давно уже привыкла снисходить к легким не-верностям своего бравого Авенира Адриановича, которые к тому же нисколько не нарушали строя супружеской их жизни и не мешали ей продолжать любить его пассивно и безропотно какою-то чисто коровьей любовью.

\* \* \*

После ужина Каржоль подписал в кабинете женин паспорт, Закаталов подмахнул свою фамилию под удостоверение его подписи, и затем граф тут же вручил эту бумагу ожидавшей Ольге. Та внимательно прочла ее, сложила вчетверо и спрятала к себе в маленький изящный баульчик, поблагодарив Каржоль благосклонным движением головы.

— Ну, граф,— сказала она после этого, как бы на прощание,— когда мы с вами совсем уже квиты, могу порадовать вас такую новостью, какой вы никак не ожидаете. Примите ее как свадебный мой подарок,— лучший подарок, какой только я могла бы для вас сделать... Вы можете поздравить себя.

— С чем это?— пробормотал несколько оторопелый Каржоль, не зная, в каком смысле понимать ее слова,— в прямом ли и благоприятном, или же опять как нечто злостное, потому что судя по тону, каким они были сказаны, можно было в равной степени думать и то, и другое.

— Вы,— продолжала она,— совершенно свободны от всех ваших долговых обязательств Бендаvidу.

Граф даже вздрогнул, как бы от испуга, и недоверчиво уставился на нее расширенными глазами.

— Да, совершенно свободны,— подтвердила Ольга.— Вы, конечно, из газет знаете, что в Украинске был еврейский погром?— Это случилось как раз после вашего отъезда,— и вот, в этом-то погроме погибли все ваши документы: толпа изорвала их в клочки и пустила по ветру.



— Это... это правда?— проговорил упавшим голосом Каржоль, почти задыхаясь.

— Это верно, как то, что мы сегодня повенчаны,— твердо и убежденно заявила Ольга.— Наконец, справьтесь, если не верите — об этом весь Украинск знает. Ни одного клочка, говорю вам, не осталось! Вы совершенно свободны от вашей кабалы и не должны им ни копейки. Прощайте!

И, поклонясь ему издали плавным поклоном, она спокойно вышла из кабинета.

Обессиленный Каржоль так и рухнул в глубокое кресло. Самая ужасная весть не могла бы сразить его более, чем эта, в сущности, радостная новость.— Господи! Пять месяцев!.. Целые пять месяцев уже, как он свободен, и не знать, не подозревать даже этого!.. Да за эти пять месяцев он бы давно уже мог быть женат на Тамаре и вести процесс за ее миллионы... Может быть, евреи даже не захотели бы доводить дело до процесса и охотно сами пошли бы с ним на крупную сделку, помирились бы на половине всего состояния, и он был бы теперь уже миллионером,— цель стремлений и алканий всей жизни, всех исканий и трудов была бы достигнута, и так легко, так просто, без помехи,— и все это разбито в прах и вдребезги! И, вместо миллионерства, он — насильно обвенчанный муж, у которого, вдобавок прямо из-под венца увозит жену какой-то уланский поручик! Господи! Да знай только о своей свободе сегодня перед свадьбой, да он, не знаю, на что пошел бы,— лучше пускай бы его избил, как последнюю собаку, но он ни за что не женился бы; он стал бы кричать, он бы в церкви наделал скандалу, лег бы пред аналоем на пол, стал бы кусаться как волк,— из-под венца, наконец, убежал бы, все село поднял бы на ноги, но никакими силами не дал бы повенчать себя «этим шантажистам»!

Вот когда только вполне почувствовал и уразумел Каржоль всю силу и коварство Ольгиной мести. Да, она сумела отомстить за себя,— жестоко, беспощадно... Она, как червяка, раздавила его в собственном его самолюбии, во всех, самых заветных упованиях и стремлениях.— Что же остается ему после этого!?! Убить, задушить ее собственными руками, или самому пустить пулю в лоб?.. Против этой ненавистой женщины в нем поднялся теперь прилив бешеной злобы, но увы!— злобы бессильной, безвольной и, к довершению всей горечи, он не мог не сознавать это свое бессилие, отсутствие характера и воли. Легко сказать — убить, задушить! Да прежде чем до нее доберешься, будешь, как собачонка, вышвырнут на улицу этими уланскими лоботрясами,— и в результате ничего, кроме скандального процесса в суде! Что может он сделать ей? Чем отомстить за себя?— Ничем, буквально ничем,— она даже вечный паспорт ухитрилась выманить у него заблаговременно и уж тогда только добить его. Глотать свой позор, молча нести свои цепи и бежать, бежать подальше от этого проклятого Кохма-Богословска,— это все, что остается ему.

Удрученный до крайней степени всем, что произошло с ним за нынешний вечер, разбитый, измученный морально и физически граф,

спустя несколько времени, с трудом поднялся с кресла и, шатаясь от слабости, вышел из кабинета в залу, за шапкой. Там никого больше не было. Генерал с семейством уже уехал, а супружеская чета Сычуговых досказывала в прихожей, у выходных дверей, последние свои добрые пожелания провожавшим ее хозяевам.

— Что с вами, граф? На вас лица нет!?!— заботливо бросился к нему вернувшийся в залу полицеймейстер.— Позвольте помочь вам, Бога ради!.. Воды не хотите ли?

Но Каржоль молча отстранил его руку и, не прощаясь, вышел в прихожую. Он был близок к истерике и едва сдерживал себя, чтоб не разрыдаться. Вестовой накинул на него шинель, заботливо свел под руку с лесенки и усадил в те самые сани, в которых давеча возили его в церковь. Граф доехал домой, как в бреду, почти не сознавая, где он и что с ним делается.

\* \* \*

На другой день генерал Ухов с дочерью и оба офицера благополучно уехали из Кохма-Богословска, провожаемые на поезд Закаталовым и комиссионером Мордкой. За буфетом, на станции, Закаталов приказал подать бутылку шампанского и просил своих «дорогих гостей» чокнуться с ним в последний раз, на прощанье, принять, так сказать, «дружеский посошок на дорожку» и позволить ему выразить от всей души свои чувства, поблагодарить их за приятные минуты и пожелать всякого счастья и благополучия в жизни, в особенности ее сиятельству Ольге Орестовне. Каржоль при этих проводах не присутствовал, и Ольга не поинтересовалась даже спросить у полицеймейстера, не знает ли он, что с ним? Вообще, даже имя его произнесено не было, и отъезжающие держали себя так, как словно бы для них и на свете его не существовало. Аполлон Пуп совершенно просветлел и ходил гоголем, как человек, находящийся в зените своего счастья,— и шельмоватый Закаталов опытным нюхом своим не преминул заметить про себя, по кое-каким тонким нюансам, что у Ольги, по отношению к этому счастливому поручику невольно проскальзывает особенная благосклонность, так что, со стороны глядя, можно бы, пожалуй, подумать, что не с Каржолем, а с ним сделалась она со вчерашнего дня новобрачной.

По отходу поезда, полицеймейстер покати́л прямо к суды́хе скреплять возобновленную вчера «старую дружбу», и делиться с нею на свободе всеми впечатлениями, да кстати и рассказать неизвестные подробности вчерашнего дня. Что же до Мордки, то этот побежал прямо на телеграф и дал условную телеграмму в Украинск, на имя дядюшки Блудштейна. Немногословное содержание ее было следующее:

«Все хорошо. Гросс-пуриц вчера покручен. Подробности письмом».

## **VIII. НОВОКРЕЩЕНА**

Без всяких приключений, вполне спокойно доехала Тамара до Петербурга. Сопровождавшая ее монахиня привезла ее в дом

Богоявленской общины сестер милосердия, помещавшейся в одном из отдаленных и наиболее тихих концов города, и сдала ее там с рук на руки начальнице общины. То была маленькая, худощавая, но живая старушка, которая встретила Тamarу очень приветливо и радушно.

— Добро пожаловать, милая гостья! Для вас уже все приготовлено,— и комнатка, и постелька. Вы поместитесь пока вместе с сестрой Степанидой: она вам все наши порядки укажет, да и веселей вдвоем-то будет попервоначалу.

Сестра Степанида — женщина лет под сорок, с добродушным русским лицом, оказалась тоже очень приветливою и даже веселою. Всякое дело в ее руках спорилось и шло просто и толково. Она с первого же шага обласкала Тamarу, привлекла ее к себе своим простым, сердечным обхождением и тем облегчила ей вступление в новую жизнь и неведомый быт среди совершенно незнакомых ей людей и порядков.

С самого выезда из Украинска, Тamarу глодала и грызла одна беспокойная и ноющая мысль,— не случилось бы чего с ее стариками во время погрома? Целы ли они, живы ли, здоровы ли? Поэтому, по водворении в Богоявленской общине, она, с помощью сестры Степаниды, в тот же день отправила на имя Украинской губернаторши телеграмму, прося уведомить, не пострадали ли ее родные от погрома?— На следующий день получился ответ: «Дом несколько пощипали, но родных не тронули». Быть может, губернаторша не знала о смерти старухи Бендавид, а может и не без цели ограничилась такими рамками ответа, из нежелания нанести Тамаре удар столь ужасным извещением в такое время, когда той более всего нужно нравственное успокоение. Как бы то ни было, смерть бабушки осталась для Тamarы пока неизвестною, а ответная телеграмма губернаторши, при всем своем лаконизме, все же значительно успокоила ее: она, по-крайней мере, знала, что родные, слава Богу, живы и целы. Теперь, после такого успокоения, для нее на первом плане стало ее собственное чувство к Каржолю. Письмо его, переданное ей по секрету в Украинске послушницей Натальей, всегда было с ней, и она перечитывала его почти каждый день, находя в нем для себя как бы живительный источник, укрепляющий ее волю и силы, ее любовь и надежды. Особенно отрадны для нее были те строки, где граф умолял ее верить в него, несмотря ни на что, и оставаться непоколебимо твердою в принятом ею благом намерении — «Верьте», читала она далее, «что дни передряг и испытаний скоро пройдут, и тогда наступит для вашей души желанный мир и покой, каких вы не найдете в покидаемом вами еврействе, а с этим миром явится и невозмутимо светлое счастье». Она свято верила в эти слова, и ей всеми силами души хотелось как можно скорее приблизить к себе момент этого счастья, насколько это от нее зависело; она поэтому всячески торопила приготовления к своему крещению, живо и старательно, под руководством общинского священника, выучила наизусть Символ веры и наиболее необходимые молитвы и просила, как его, так и начальницу общины, не откладывать надолго исполнение обряда и совершить его, по возможности,

в первое же воскресенье. Торопилась она еще и потому, что в глубине души своей как будто боялась, чтобы ее не одолели вдруг какие-нибудь расхолаживающие обстоятельства, сомнения, разочарования, сожаления о покинутых родных или чтобы не случилось неожиданно чего-нибудь такого, что, помимо ее самой, помешало бы осуществлению ее перехода в христианство: она знала, на что способна всесильная еврейская интрига и боялась, как бы интрига эта не добралась до нее и сюда, через близорукое посредство каких-либо влиятельных и сильных людей мира сего, вмешательство которых затормозило бы дело, а то и совсем бы расстроило его. По ее просьбе, решено было совершить крещение через неделю, в следующее воскресенье.

В один из дней этой недели посетила общину ее высокопоставленная покровительница, в сопровождении одного из почетных опекунов. Она осведомилась, между прочим, у начальницы о той еврейской девице, за которую ходатайствовала перед нею игуменья Серафима, и пожелала ее видеть. Тамара была ей представлена начальницей и удостоилась нескольких милостивых слов и вопросов со стороны высокой посетительницы.

— Просите ее быть вашей крестной,— шепнула ей начальница, когда та, удостоив девушку благосклонным движением головы, отошла от нее, направляясь по широкому коридору далее.— Вашество! У нас к вам просьба,— обратилась к ней вдогонку живая старушка, подводя за руку и Тамару.

— Что такое?— обернулась посетительница, окидывая обеих ласково вопросительным взглядом.

Но Тамара, которой еще в первый раз в жизни довелось говорить с такою особой, почувствовала вдруг смущение и, потупив глаза, в замешательстве, не могла произнести ни слова. Просить быть крестною... Но как же так?.. В сравнении с собою, это представилось ей так недостижимо высоко, что даже страшно стало, как бы подобная просьба не показалась чересчур уж дерзким притязанием. К счастью, ее выручила начальница.

— Девица Бендавид просит вас,— сказала она,— не отказать ей в милости быть ее восприемною матерью.

— А, очень охотно.— Когда же это будет:

— В это воскресенье, перед литургией.

— А крестный отец есть?

— Нет еще, ваше-ство... Пока еще не знаем, кого бы просить.

— Да вот, чего же ближе!— указала она на сопровождавшего ее сановника.— Борис Николаевич, вы, конечно, не откажете?

Тот почтительным поклоном выразил полную свою готовность.

— Ну, вот и прекрасно. Значит, часов в девять утра, не так ли?

— Как прикажете, ваше-ство. Отец Александр предполагал бы именно в девять,— пояснила начальница,— чтобы новокрещаемая могла причаститься за литургией.

Княгиня еще раз благосклонно подтвердила свое согласие, и, вслед за ее отъездом из общины, все сестры поздравляли Тамару с высокою милостью и честью, называя ее счастливицей. В тот же день, к вечеру, в общину была прислана от будущей восприимной матери портниха, чтобы снять с Тамары мерку для ее крещального платья.

Нетерпеливо все эти дни ждала Тамара воскресенья. Каждый день к ней являлся настоятель общинной церкви и в течение часа или двух беседовал с нею, объясняя ей истину и догматы православной веры. Он даже очень удивился, когда узнал из этих бесед, насколько уже близко и хорошо знакомы ей не только Евангелие, но и апостол Павел.— Да вы уже готовая христианка в душе, вы так глубоко все это сердцем своим почувствовали,— сказал он ей однажды и беседовал с ней тем охотнее, что воочию видел, как живо и с каким величайшим интересом усваивает она себе его толкования. Последнюю неделю она постилась, а в субботу выдержала даже строгий пост, читая положенные покаянные молитвы о прощении «согрешений прежде содеянных» и о «еже сподобится ей святое крещение прияти». Наконец настало для нес давножданное и желанное утро воскресного дня. Тамара проснулась рано. В душе ее господствовало какое-то смешанное настроение: то она радовалась, что все уже, слава Богу, пришло к желанному концу, и через два-три часа она станет христианкой, то вдруг начинала как будто сомневаться в самой себе, в своей готовности и решимости переменить веру, и ей становилось вдруг страшно сделать последний решительный шаг, как будто жалко и грустно было разорвать все и навсегда со своим прошлым, в котором не все же сплошь являлось ей в черном и отталкивающем виде,— было же в нем и хорошее кое-что, были и светлые, счастливые минуты... Вспоминалось родное гнездо, старый дом, тенистый сад, дедушкин кабинет и ее собственная уютная комнатка с кустами цветущей сирени под окнами... Вспомнились и родные, дедушка с бабушкой, и ясно представлялось их нынешнее горе и отчаяние, их одиночество, осиротелость на старости лет... Они точно бы глядели на нее печальными, укоряющими глазами, точно бы говорили ей: «Это ли отплата за всю нашу любовь и ласки, за все попечения и заботы!»— Затем представлялся ей целый еврейский мир, возмущенный, негодующий, осыпающий ее своими страстными и страшными проклятиями; но к этому последнему миру и его злобе осталась она равнодушною: он ничего не дал ей дорогого и заветного, ничем не смог и не сумел привязать ее к себе,— напротив, она чувствовала в себе силы даже на борьбу с ним, и было ей жалко совсем не этого черствого мира, а своей семьи — только ее одной,— жалко до щемящей боли тех, кого она любила и продолжает любить до сих пор все так же, как и прежде... Не отказаться ли?.. Не вернуться ли к ним домой, в их объятия, опять принести им с собой покой и тихое счастье?.. Еще не поздно, еще есть время!.. Но нет, это безумие, это невозможно. Она теперь, как камень, пущенный меткою рукою, уже в силу одной лишь инерции должна долететь до цели. Она не властна над собой более. Надо быть последовательной.

К прежнему возврата нет и быть не может. Вера в него подорвана, отношения все порваны, а без этого как жить в том мире?!. Где же, наконец, истина — там, или здесь?— Истина здесь, во Христе, в Его Евангелии,— это ей давно уже подсказало ее собственное сердце и собственная совесть, и неужели же от этой истины вдруг отвернется она в последнюю, решительную минуту и на всю жизнь останется блуждать на каком-то темном распутье, отбившись от одного берега и не пристав к другому?!— Нет, это невозможно. Оставаться в еврействе, веря во Христа,— что за малодушие!.. Нет, прочь все сомнения! Впереди светлая, разумная жизнь и любовь,— любовь к человеку, который первый сумел зажечь в ней это чувство, разбудить ее мысль и дать ей первый толчок на истинную дорогу... Там, впереди, ждет ее жизнь с этим любимым человеком, в своем собственном гнездышке, среди своей собственной новой семьи... у них будут дети... О, как она будет любить их и гордиться ими и своим мужем!.. Он такой достойный, такой благородно-гордый, мужественный, красивый — как не любить, как не обожать его!.. Да, там, впереди — покой и счастье, «невозмутимо светлое счастье», как пишет он в своем письме. Там истина, там свет и все добрые радости жизни... Туда, туда, скорей туда — навстречу этому добру и свету!— и все сомнения и колебания Тамары мигом отлетели прочь, и в душе, вместе с решимостью, воцарилось торжественно спокойное и тихо радостное настроение. Затем, порой опять находило облако темных сомнений и грустных, щемящих душу воспоминаний, но через несколько мгновений опять оно таяло и исчезало в лучах ее любви и веры, ради которых снова чувствовалась в душе бодрая, сознательная готовность на всякие жертвы.

Было без пяти минут девять часов утра, когда по коридорам и залам общины пошло некоторое торопливое, волнующееся движение. Сестры озабоченно и спешно выходили из своих помещений и собирались все вместе на главной площадке парадной лестницы, по которой еще более озабоченно И торопливо спускалась вниз сама начальница, вместе с приехавшим за несколько минут ранее почетным опекуном, в мундире, залитом золотым шитьем, с синею лентой и звездами...

— Приехала, приехала,— полушепотом передавалось из уст в уста между сестрами. Тамара стояла среди них на площадке. Сердце ее сильно билось от ожидания, что вот-вот сейчас начинается...

Княгиня — вся в белом — благосклонно поздоровалась с сестрами и с нею, поприветствовав ее несколькими милостивыми словами. Затем все направились в домашнюю церковь. Одетые в одинаковые темные платья с белыми пелеринами, каждая в косынке, ниспадавшей с головы на спину и плечи, с красным крестом, нашитым на белый миткалевый нагрудник, сестры в чинном порядке прошли вперед и заняли свои места, рядами, против левого клироса; Тамара же была остановлена начальницей в аванзале, перед раскрытыми дверями церкви, для предварительного обряда оглашения. Непосредственно за нею стали рядом восприемники, а не сколько в стороне — начальница общины.

На клиросе раздалось стройное женское пение псалма «Благословлю Господа на всякое время»,— и священник, в полном облачении, с «Требником» в руках, вышел из алтаря и, в сопровождении всего клира, направился к дверям, по ту сторону которых ожидала его новокрещаемая. Причетник подал ей лист с писанными ответами на предстоявшие ей вопросы «оглашения».

.— Кто еси ты?— спросил ее в дверях священник.

— Человек есмь, истинного познания Истинного Бога не имеющий и пути спасения не обретший,— машинально прочла в ответ Тамара по поданному ей листу и то потому лишь, что начальница догадалась подшепнуть ей,— отвечайте же! Мысли ее были беспокойно рассеяны и мелькали в голове какими-то урывками, почти без всякой связи между собою, останавливаясь часто на совсем посторонних мелочах, или на случайно подвертывавшихся под рассеянный взгляд предметах.

— Что пришла еси ко святой Божией церкви,— продолжал вопрошать священник,— и чего от нея желаеши?

— Пришла, дабы от нея научиться истинной вере, и к ней присоединиться желаю,— отвечала девушка уже более сознательно, успев несколько овладеть собою.

— Какую пользу надеешься получить от истинной веры?

— Жизнь вечную и блаженную,— проговорила Тамара, и, при этих словах, представление о блаженной жизни невольно как-то совпало в ее уме с воображением жизни не столько небесной, сколько здешней, земной, и именно, жизни с любимым человеком и со счастьем среди своей будущей семьи. Поэтому в ответе ее невольно прозвучало какое-то радостное увлечение.

После довольно продолжительного разъяснения по «Требнику», самой сущности православно-кафолической веры,— разъяснения, закончившегося вопросом, хочет ли новокрещаемая принять эту веру «истинно от сердца и неотступно следовать ей до конца живота», священник повелел ей преклонить колена «перед Господом Богом нашим», сложив крестообразно руки на персях и, осеняя ее крестным знамением, нарек ей в молитве имя Тамары, при котором пожелала остаться новокрещаемая, в честь святой, память коей празднуется 24-го мая. Затем, после нескольких молитв, огласительный обряд дошел до самого торжественного и страшного для оглашаемых момента «отрицательств».

— Вопрошаю тя,— возгласил священник торжественно повышенным тоном,— отрицаеши ли ся от своего зловерия Иудеев и от всех богоборных их, яже на Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, истинного Сына Божия и на Пречистую Его Матерь, и на вся Святыя Его, хулений и проклинаний, яко лживых и богопротивных, и душепагубных, и проклинаеши ли я?

— Отрицаюсь и ... проклинаяю!— проговорила с некоторым усилием над собой Тамара, подавляя в себе внутреннее волнение и вся побледнев при этом ответе.

— Отрицаеши ли ся обрезания, субботства, опресноков и всех праздников иудейских, и всех обрядов Ветхого завета?..

Отрицаеши ли ся от богопротивных учений, яже христоненавистнии раввини изложиша в книгах, нарицаемых «Талмуд», и их богохульных древних и новых толкований, яже на Божественное Писание и противу Господа нашего Иисуса Христа?

— Отрицаюсь и отметаю, и проклиная их!— ответила Тамара с возрастающим все волнением.

— Отрицаемши ли ся ложнаго учения Иудеев, аки бы Мессия еще не прииде, от тщетнаго ожидания их?— продолжал вопрошать священник.

— Отрицаюся чаемого Иудеями ложнаго Мессии, антихриста, и проклиная его!— проговорила Тамара совсем упавшим голосом. В эту минуту ей казалось, что, отрицаясь от всего прежнего, она, вместе с тем, отрицается и от всех своих кровных связей, от своих ровных и близких, от деда и бабушки, даже от дорогой памяти своего отца и матери,— отрицается и проклиная их всех безраздельно и безразлично. Это показалось ей самым жестоким нравственным испытанием, и опять она почувствовала в себе внутренний разлад и раздвоение, словно бы в ней одновременно существует два человека, два противные течения, вечно борющиеся, непримиримые, которым суждено вечно нарушать гармонию ее духовного мира.

Между тем, обряд оглашения продолжался своим порядком. После отрицательств и проклинаний, следовал целый ряд вопросов и ответов на тему «веруеши ли и исповедуеши ли», относительно догматов восточно-кафолической веры, и наконец — торжественно клятвенное обещание, громко прочтенное новокрещаемому, где, между прочим, свидетельствуется, что если она приходит к исповеданию христианской веры лестию и с лицемерием и восхочет потом от этой веры отречься и вновь к иудейской вере возвратиться и, тайно с евреями беседуя, христианство укорять, то да постигнет ее ныне и во все дни живота ее гнев Божий, и клятва, и вечное осуждение!— «К сим же и гражданских законов суду и прещению да буду повинна неотложно. Аминь!» заключила она свою клятву, чувствуя, как кровь стучит у нее в висках, как сильно и тревожно бьется сердце и дрожат ее руки и ноги, и голос, и с трудом перемогая в себе упадок нервов, потрясенных всем этим обрядом.

Затем, после чтения над новокрещаемую еще нескольких молитв, обряд оглашения был окончен,— и восприемники ввели Тамару в самую церковь и поставили по середине храма, перед купелью, прикрытою с трех сторон ширмою. Немедленно же начался обряд св. крещения. Перед погружением в купель, восприемница взяла свою крестную дочь за руку и отвела ее за ширму. Сестра Степанида помогла ей там раздеться, распустить косу и сойти в чан с водой, где и накрыла ее сверху, со всех сторон простынею. Тогда, по знаку восприемницы, вошел за ширму священник и, наложив, через простыню, руку на голову новокрещаемой, совершил троекратное погружение ее в воду — «во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Затем он удалился из-за ширмы на свое место, а несколько минут спустя, восприемница вывела оттуда и Тамару, уже переодетую в белое батистовое платье,



сшитое капотом и стянутое в талии широкой розовой лентой, в виде пояса. Влажные волосы ее оставались распущенными по плечам, ворот отстегнут на груди для миропомазания, на босые ноги надеты белые атласные туфельки; в руке — горящая восковая свеча. Священник возложил на нее золотой крестик на розовой ленте, осенив им предварительно ее голову. Девушка была бледна, но, по-видимому, спокойна. Душевное волнение, овладевшее ею при обряде оглашения, отступило и улеглось перед ясным сознанием, что теперь все уже кончено,— сомнения, нерешительность, нравственные колебания, страх перед последним актом,— все это осталось уже позади; самый трудный, решительный шаг в новую жизнь фактически уже сделан,— стало быть, что ж тут?!— Она достигла того, чего сама пожелала, к чему так стремилась, ради чего принесла столько тяжелых жертв: она — христианка. Этим шагом куплено ее личное счастье, не могущее осуществиться, пока она пребывала в еврействе,— остается, стало быть, только верить и надеяться на осуществление его в будущем... Такая надежда, вместе с сознанием совершившегося факта, принесла ей некоторое успокоение.

По окончании крещения и миропомазания, немедленно же началась литургия. Когда раскрылись царские двери и раздался возглас: «Со страхом Божиим и верою приступите», восприемники подвели Тамару ко св. Дарам, и священник причастил ее. После обедни восприемная мать, поздравив и поцеловав причастницу, вручила ей футляр с какой-то драгоценной вещицей на память и, между прочим, спросила ее, как предполагает она распорядиться со своею дальнейшею судьбою?

— Не скрою ваше-ство, у меня есть жених,— скромно ответила Тамара.— Он женится на мне, как только позволят обстоятельства... я думаю, что это не замедлит случиться.

— Кто такой?— и когда Тамара назвала графа Каржолья, княгиня задумчиво, как бы стараясь представить себе или сообразить что-то, проговорила про себя: «граф Каржоль де Нотрек?.. Фамилию слыхала, но самого не знаю... Он русский?»

— Русский подданный, ваше-ство.

— И что же, со средствами?

— Да, он имеет некоторое состояние... Но главное, человек способный, деятельный.

— Служит где-нибудь?

— Прежде, кажется, служил... Теперь своими делами занимается.

— Хм... Ну, что ж, дай Бог вам счастья. А пока, до выхода замуж... у вас ведь нет никого здесь родственников или знакомых?

— Ни души, ваше-ство.

— И средств, вероятно, тоже немного?

— Никаких. С уходом из еврейства, я потеряла все свои права на состояние, какое мне могло бы достаться.

— Это почему же?— с некоторым недоумением спросила княгиня.

— Потому что родные, по наследству, мне его уже не оставят, да если бы и хотели, еврейство им не позволит, кагал...

Впрочем, что ж, я знала, на что иду и что теряю,— спокойно и без тени сожаления прибавила Тамара.

— Хорошо, но что же однако предполагаете вы делать до замужества? Ведь надо же где-нибудь приютиться, жить, заниматься чем?

При этом, совершенно простом и естественном вопросе Тамара несколько смутилась. По сей день она до того всецело была поглощена своей главной заботой о предстоящем ей крещении и религиозными приготовлениями к нему, что он как-то не приходил ей в голову.

— Признаюсь, до сих пор я еще хорошенько не подумала об этом,— тихо проговорила она, точно бы виноватая и как бы извиняясь.

— Пока что,— продолжала, подумав, княгиня,— могу предложить вам одно: оставайтесь, если хотите, в общине. Надеюсь, что Екатерина Павловна не будет ничего иметь против?— повернула она голову в сторону начальницы.

Живая старушка со всем радушием поспешила выразить ей полное свое согласие и готовность быть полезною молодой девушке.

— Надеюсь, это вас устраивает?— обратилась княгиня к Тамаре, ответившей ей признательным и глубоким поклоном.— Вы, конечно, будете писать к матери Серафиме?— продолжала она.— Передайте ей, кстати, и мой привет и скажите, что я, как могла, постаралась исполнить ее просьбу.

И благосклонно простясь со всеми высокая покровительница общины удалилась из залы.

— Может быть, ей нужны какие-либо вещи,— говорила она, спускаясь с лестницы, провожавшей ее начальнице,— вы, пожалуйста, узнайте все это и сообщите мне, я пришлю все, что нужно, чтоб она ни в чем не нуждалась. Таким образом, Тамара осталась пока жить в Богоявленской общине сестер милосердия и, чтобы не даром есть хлеб, просила начальницу дозволить ей, наряду с остальными сестрами, нести все те обязанности по дому и уходу за больными, какие будут ей назначены. В этом ей не встретилось отказа, но на первое время начальница ограничилась тем, что поручила ей вообще приглядываться под руководством сестры Степаниды к практической деятельности сиделок и фельдшериц в состоявших при общине больничных бараках. На другой же день после этого разрешения Тамара оделась в обычный костюм сестры с красным крестом на груди и белой косынкой на голове, решив про себя не изменять ему до самого выхода замуж, и ретиво, с полным увлечением отдалась своим новым обязанностям, так что начальнице и сестре Степаниде пришлось скорее умерять ее рвение, чем понукать ее. Остальные сестры, почти все, отнеслись к ней дружелюбно, и будничная жизнь в их простой, несколько монотонной, но работающей среде показалась ей на первое время даже очень привлекательной. Здесь обрела она ту тишину и успокоение, в которых нуждалась ее душа после всех перенесенных ею передряг за последнее время.

На другой же день после своего крещения, Тамара написала игуменье Серафиме письмо, исполненное горячей благодарности, где извещала ее об этом событии, а равно и о теплом участии, какое приняла в ней княгиня, и о своей новой жизни и деятельности в общине. Но этого было ей мало. Естественно, хотелось, чтоб и граф Каржоль узнал поскорей, что она уже окрещена. Тамара оставалась твердо убеждена, что как только он узнает об этом, то не замедлит тотчас же приехать в Петербург и обвенчаться с нею. Но как устроить это, каким образом дать ему знать? Писать прямо на его имя ей не хотелось: от этого удерживала ее самолюбивое чувство деликатного опасения, как бы не показаться ему навязчивой, чтобы не подумал он, будто она сама первая ищет его теперь и спешит напомнить ему данное ей обещание. Она, со своей стороны, сделала уже все, чего он от нее ждал и требовал,— теперь очередь за ним, но пусть же он делает свое сам, добровольно, по собственному почину. Обдумывая, как поступить ей, Тамара остановилась на мысли, что лучше всего будет написать к своей подруге Сашеньке Санковской, которая, кстати, ничего еще не знает о ее внутренней борьбе и всех приключениях, Приведших ее в конце концов к христианской купели. Все это описала она Сашеньке довольно подробно, умолчав лишь о своем чувстве к Каржолю и о степени его интимного участия в ее приключениях, равно как и об его планах насчет их супружества. Объявлять о том и другом находила она преждевременным, чтобы не возбуждать лишних городских толков, которые, без сомнения, сейчас же дошли бы и до еврейского мира, и со стороны этого последнего она могла ожидать всяких помех и препятствий к ее браку, из одной лишь мести, даже и после принятия ею христианства. Поэтому, относительно Каржоля Тамара ограничилась лишь одною коротенькой припиской: «Если увидишь графа,— кстати, передай ему мою благодарность, так как, надо тебе знать, ему первому обязана я мыслью прочесть Евангелие. Мысль эту бросил он мне как-то мимоходом, вскользь, у вас же в доме и, конечно, едва ли мог предполагать тогда, что из этого выйдет. А вышло то, что я теперь христианка и считаю, что ему первому обязана этим».

Отправив письмо, Тамара рассчитала себе все дни и чуть ли даже не часы, когда оно должно получиться в Украинске и как скоро может после этого явиться в Петербург Каржоль, или, по крайней мере, прислать ей телеграмму о дне своего выезда. Вернее, что он сам приедет экспромтом.— О, да! Без сомнения, он бросит все и поспешит к своей невесте!.. С каждым днем ее надежды и ожидания становились все сильнее и терпеливее. Но вот, прошло около десяти суток, а от Каржоля,— к удивлению,— ни малейшей вести! И бедная девушка мерялась в мучительном недоумении, что это может значить? Дошло ли письмо? Не перехватил ли кто его? Может, еврей?.. Или неужели Сашенька не обмолвилась графу ни одним словом? Или не успела еще видеть его? Или уж не болен ли он? Не случилось ли с ним чего,— несчастья какого?.. Но наконец, на одиннадцатый день получилось два письма разом. Одно было от игуменьи Серафимы,

где она выражала свою духовную радость о принятии св. крещения Тамары и по поводу теплого участия, принятого в ней великою княгиней, в котором, впрочем, заранее была уверена, и посылала девушке свое благословение. Другое письмо было от Сашеньки. Тон этого последнего уже с самого начала неприятно поразил Тамару своим плохо скрытым недобрым чувством, даже как будто злорадством каким-то.— За что?! Чем провинилась она? И возможно ли, чтобы так писала та самая Сашенька, которую столько лет она считала своею лучшею подругой! Что же случилось такого, что могло повлиять на перемену их отношений?..

Поздравляя довольно холодно Тамару с переходом в христианство, Сашенька писала, что напрасно только она думает, будто сообщает ей что-либо новое, так как побег ее в монастырь с первого же дня обратился в секрет Полишинеля, наделав в городе большого переполоха, и что напрасно также она хитрит в своем письме, стараясь дать ей понять, будто граф Каржоль не при чем в ее деле, тогда как весь город, с первого же дня, прямо называл графа непосредственным в нем участником, и в этом отношении все приключение ее ни для кого не составляет тайны. Удивилась ему одна только она, Сашенька, недоумевая, почему это Тамара, будучи так дружна с нею, предпочла скрыть свою «тайну» от нее и посвятить в нее Ольгу Ухову, с которою последнее время, по-видимому, была вовсе не в дружеских отношениях,— по крайней мере, в городе все говорят, что Ольга принимала во всей ее истории, вместе с графом ближайшее и даже непосредственное участие; что евреи поутру нашли Ольгу даже в квартире графа, под замком, и она сама не отрицает этого.— «Впрочем, тебе ближе знать, что тут правда и что нет, а мне, не скрою, очень было обидно даже, что ты предпочла Ольгу мне, которая с тобою была, кажись, всех дружнее, и тем более, что ты, насколько я теперь понимаю, не стеснялась по дружбе избирать наш дом, по преимуществу, местом своих встреч с твоим графом-апостолом. Что же до поручения передать ему твою благодарность, прибавляла Сашенька, то, к сожалению, исполнить этого не могу, так как он тайком и бесследно исчез куда-то из Украинска почти одновременно с тобой. Уверяют, что твой дедушка, узнав, насколько Каржоль замешан во всей твоей истории, с целью будто бы жениться на тебе после твоего крещения, поспешил скупить все его векселя и этим принудил его отказаться от своих намерений и бежать из Украинска. Говорят также, что граф взял с него пятьдесят тысяч отступного и дал подписку прекратить навсегда все свои домогательства насчет брака с тобою. Но я этому не верю,— он всегда казался мне слишком джентльменом, чтобы решиться на подобную низость, и если ты точно рассчитываешь выйти за него замуж, желаю тебе полного успеха, хотя не могу не прибавить, что носятся слухи, будто Ольга находится в «интересном положении» и будто этим обязана она все тому же «очаровательному» графу. Тебе, впрочем, ближе знать, насколько тут правды, если Ольга точно принимала в тебе такое близкое участие и если ты с нею так интимна. Но это все одни

только разговоры и злые сплетни, быть может, не имеющие никакого основания в действительности. А вот, из твоего вопроса насчет твоих родных, как поживают они,— я вижу, что ты ничего не знаешь о смерти твоей бабушки Сарры, которую хватил паралич в ту самую минуту, как она узнала о твоем побеге, и которая затем на другой день умерла от испуга, во время погрома, когда толпа громителей ворвалась в вашу квартиру. Дедушка твой, конечно, очень удручен, но, как слышно, переносит свое двойное горе стоически, с безмолвной покорностью своей судьбе или воле Божьей. Он остался на попечении какой-то, проживающей у вас в доме, старой родственницы и твоего кузена Айзика Шацкера, который на сих днях с успехом окончил гимназический курс и вскоре уезжает и Петербург, в университет, рассчитывая посвятить себя юриспруденции, чтобы быть адвокатом,— так сообщили мне его товарищи».

Письмо это произвело на Тамару невыразимо тяжелое, удручающее впечатление. Умышленно, или нет, но Сашенька Санковская нанесла ей страшный удар. Та внутренняя раздвоенность, которую впервые почувствовала она в себе в вечер Украинского погрома, при виде неприбранных следов его на улицах, сказала в ней опять, но уже с удвоенной силой. Не зная истинных причин погрома, глубоко коренившихся во всесторонней, кровопийственной эксплуатации жидовством христианского работающего мира, или забывая о них, Тамара вообразила себе, что единственной причиной этой катастрофы была только она,— она сама и никто больше, а стало быть, она же виновница и бабушкиной смерти. Это было убийственное сознание. Голос родства и крови вдруг заговорил в ней сильнее ее христианских убеждений,— но что ж ей теперь остается?!.. Бросить все и лететь к деду? С чем же, однако, придет она к нему, какое утешение принесет ему, раз что она уже отреклась от него и стала христианкой? Да и захочет ли дед принять ее, после всего, что случилось? Вместо прощения и приветия, не услышит ли она от него скорее проклятья?.. Ведь по-своему он будет прав, отвергая и проклиная в ней отступницу, насланницу зол и бед на Израиль и убийцу жены его.— Нет, назад ей уже всякий путь отрезан,— остается лишь сознавать себя невольной убийцей и вечно мучиться в душе этим ужасным сознанием. Тамара впала в мрачное отчаяние. Такое настроение ее духа, конечно, было замечено окружающими. Начальница попыталась было позондировать ее насчет причин такой внезапной перемены, но ничего не добила, кроме уклончивого ответа, что она всем, решительно всем довольна, а что причины эти чисто домашние, родственные дела, и только, но что помочь им или изменить обстоятельства, так уж сложившиеся, никто и ничто не в состоянии. Подозревая, не одолевают ли девушку, вследствие полученных ею писем, какие-либо сомнения религиозного свойства, не смущают ли ее совесть внутренние колебания или даже раскаяние в совершенном ею шаге, начальница обратилась за советом и духовной помощью к общинному священнику. Это был человек, от природы обладавший даром внушать к себе доверие и симпатию,

и то, чего не могла достигнуть своими участливыми расспросами начальница, было достигнуто отцом Александром: он сумел вызвать откровенность Тамары, раскрывшей, наконец, ему, как своему отцу духовному, все обстоятельства, которые так смущали ее душу и мучили совесть. Но немало пришлось употребить ему теплого участия и убеждений, чтобы хоть сколько-нибудь утешить ее и отогнать от нее гнетущую мысль о своем, будто бы преступлении. Он умел утешать и убеждать не по шаблону известных духовных приемов, а глубокой силой своей собственной веры и христианской любви, невольно сообщаемых им и своему слушателю; слова его были просты, но убедительны и западали прямо в сердце, примиряя его с самим собой и освежая верой и надеждой на милосердие Божие. Тамара успокоилась нескоро, но все же успокоилась, отдавшись вся молитве и вынося из каждой беседы с отцом Александром нечто светлое, примиряющее и бодрящее ее душу.

Когда же, наконец, настало для нее полное успокоение в главном, то тут незаметно и как-то сама собою выступила для нее на первый план другая сторона Сашеньки Санковской.— Неужели правда всё то, что она пишет про Каржоля и Ольгу? Если так, то зачем он проделал с Тамарой всю эту комедию, зачем было ему вырывать ее из ее среды, бросать в новый мир и увлекать ее сердце? Что за цель была у него? Ее миллионное состояние?— Но ведь она же сама и притом заранее предупреждала его, что, с уходом ее из дедовского дома и с переменой религии, все ее богатство отпадает, и она остается нищей,— ведь он же знал это, как равно знал и то, что она не протянет более руки за этим богатством, не станет домогаться его.

Из лабиринта этих сомнений помогло выйти Тамаре все то же заветное письмо Каржоля.— «Ваше исчезновение из дому, как и следовало ожидать, переполошило всех евреев,— читала и перечитывала она про себя его дорогие для нее строки.— Какими-то судьбами они успели пронюхать о моем участии в этом деле».— Для Тамары, однако, «судьбы» эти были совершенно ясны и представлялись не иначе, как в образе давно уже подозревавшего и подкараулившего ее Айзика Шацкера: только он один и мог открыть деду и евреям всю ее тайну,— в этом для нее не было сомнения, тем более, что Айзик сам предупреждал ее об этом тогда, ночью, в саду, после ее свидания с Каржолем, что и заставило ее в ту же ночь порешить свою дальнейшую судьбу.— «Сплетен и басен по этому поводу пошло уже по городу множество,— читала она далее в письме Каржоля.— Приплетают к делу даже одну из ваших приятельниц, распуская на этот счет невообразимые вздоры».— А, это ясный намек насчет Ольги, теперь оно понятно!— комментировала себе это место письма Тамара.— «Можете себе представить, как злы теперь на меня евреи и какие мины поведутся ими против меня. Хотя я несколько их не боюсь (Бедный Валентин!— подумалось ей при этом.— «Не боюсь»... Он не знал и не подозревал, с какой страшной силой вступает в борьбу и чего она будет ему стоить!), но тем не менее, прошу вас об одном: какие бы слухи, сплетни и клеветы

на меня и на других («других»... то есть, это значит на Ольгу?) ни дошли до вас с какой бы то ни было стороны,— не верить ничему ни на одно слово и быть твердо убежденной, что я безукоризненно чист перед вами и что как был, так и впредь навсегда остаюсь самым надежным, преданным и бескорыстным вашим другом. Умоляло верить в меня, несмотря ни на что»... И Тамара в него верила. В этих строках почерпнула она для себя новую силу и уверенность для борьбы, зная, что она любима и что хотя еврейская интрига сильна всяческими своими ходами, хотя дед и скупил векселя Каржоль и, быть может, заставил его бежать из Украинска, но Каржоль все-таки любит ее и верит, что «дни передряг и испытаний пройдут, и тогда настанет желанный мир и покой, а с этим миром явится и невозмутимо светлое счастье». Тамара понимала, что, скованный своими долговыми обязательствами и прикрученный в самую критическую минуту Бендавидом и всем кагалом, Каржоль мог на время удалиться из Украинска, не успев никого о том преуведомить, но она была убеждена, что он, со своим умом и средствами, вскоре найдет возможность расплатиться со всеми этими обязательствами, и тогда между ним и ею уже не встанет более никакая помеха. Она верила в это, потому что верила в самого Каржоль, и решила терпеливо переносить пока его неизвестную отлучку. Очевидно, евреи так быстро его скрутили и заставили уехать, что он пока еще не знает, ни где находится теперь Тамара, ни что с ней случилось, ни того, что она уже христианка. Худа подать ему весть о себе? Как узнать, где он находится?— Увы! Все это надо пока предоставить времени. Не может быть, чтобы он сам не вспомнил о ней, не постарался бы при первой же возможности разузнать, где она и что с ней, и не откликнулся бы ей о себе теплой вестью.

## **IX. ПЕРЕД ВОЙНОЙ**

Эпоха, к которой относится, по времени, наш рассказ, отмечена в исторической жизни русского народа и государства совершенно особенными, яркими чертами, как в положительных, так и в отрицательных сторонах этой жизни. В целях подвешего повествования, автору необходимо напомнить и, отчасти, уяснить ее читателю.

В начале 1875 года общий мир казался совершенно упроченным. В Европе не замечалось никаких тревожных вопросов, или так называемых «черных точек»: она отдыхала после целого ряда изменивших ее карту потрясений и погромов, нанесенных Германией последовательно на севере, юге и западе. Россия очутилась тогда в положении очень благоприятном: со всех сторон ей улыбались все, от малых до великих, искали ее дружбы или благосклонности. Князь Горчаков олимпийски самодовольно считал себя «господином положения», у которого мог бы, не без пользы для себя, поучиться и сам Бисмарк. Но вот, среди глубокого мира и всеобщей идиллии, вдруг, откуда ни возьмись, пронеслись по газетным столбцам зловещие слухи.

Это было весной 1875 года. Слухи шли не с Востока, а с Запада. Франция, едва начавшая оправляться от бедственной войны, только что уплатившая победителю пять миллиардов, вдруг не на шутку встревожилась, считая, что Германия начинает вновь угрожать ей серьезным образом, и поспешила обратиться ко всем державам, и прежде всего к Англии и России. Англия подняла газетный и парламентский шум, но действительные заботы о сохранении мира и ходатайство за Францию в Берлине великодушно предоставила одной России. Эта последняя вступилась за Францию, дав своевременно понять Берлину, что положение 1870 года с ее стороны повториться более не может. Таким образом, мир нарушен не был, опасения в Европе улеглись быстро, не оставив, по-видимому, никакого следа, и России отовсюду была воздана благодарность за ее миротворное действие. Окрысились на нас только германские «рептилии», но и то ненадолго.

Не прошло, однако, после этого и трех-четырех месяцев, как в каких-то Баньянах, гористом уголке Герцеговины, о существовании которого до тех пор едва ли подозревал кто-нибудь в «цивилизованном мире», начались, по-видимому, ни с того, ни с сего, какие-то смуты, что-то вроде маленького восстания против турецких чиновников. Даже злейшие враги России, готовые ко всякой клевете на нее, на сей раз не решились обвинить ее в этих смутах, сознавая, что Россия не могла иметь ни малейшего интереса в возбуждении Восточного вопроса в данное время. Со всеми державами она находилась тогда в наилучших отношениях, Турция оказывала ей полное доверие, и султан Абдул-Азис готов был делать все ей угодное; посол наш первенствовал в Константинополе, что, конечно, возбуждало зависть и опасения у наших всегдашних соперников на Востоке. В Оттоманской империи до сего времени все было спокойно, и не из России поднялись тогда возгласы о близости Турции к падению: речь об этом завели в Англии, и без всякого повода. Яростно посыпались вдруг изобличения султана в чрезмерной расточительности, в намерении изменить порядок престолонаследия, выставлялись на позор его капризы и причуды, его внимательность и угодливость по отношению к России, оплакивалось ослабление благодетельного английского влияния и предсказывалась близость финансового и политического крушения Турции,— словом, султан оказывался виноват тем, что верил больше России, чем Англии, а потому надо было всячески дискредитировать его в глазах не только Европы, но и его собственных подданных. Россия не имела интереса разжигать не ею начатое дело герцеговинского восстания, а Порта обнаруживала готовность на всякие добрые меры, какие присоветовала бы ей Россия, так что казалось, будто все может уладиться еще в самом начале простым соглашением между Россией и Портой. Но вдруг кому-то понадобился «европейский концерт»,— какой-то невидимый маг и волшебник очень искусно стал передергивать нити и пружины общеевропейской политики,— и вот, в Берлине, в Лондоне и Вене сочли за лучшее не дать России один на один договориться с Портой а созвать для этого «всю Европу». К тому же



Австрия, видимо поощрявшая восстание, начатое даже почему-то под ее черно-желтым флагом, поспешила принять деятельное участие в вопросе. На ее территории, тем временем, приютилось множество герцеговинских и боснийских беглецов с семьями, которым вначале выдавались даже пособия от австрийского правительства, а специальный комиссар австрийский, барон Родич, убеждал главарей герцеговинских, «устатей», взирать на одну Австрию, как на их единственную покровительницу, и от нее одной ждать спасения. В венских газетах запретили имена Пеко Павловича, Богдана Зимонича, Лазаря Сочицы, Любибратича и других, купно некоей девицей Маркус, воспылавшей вдруг любовью к славянскому освобождению.

Но вместо ожидаемого упрощения задачи, «европейский концерт», благодаря все той же Австрии, и именно пресловутой ноте графа Андраши, только затруднил, запутал и раздул дело. Начались своекорыстные соперничества и взаимные помехи. Полгода резни в восставших провинциях и столько же времени, потраченного в пустых дипломатических совещаниях дали однако же знать себя: ни бежавшее население Боснии и Герцеговины не соглашались возвратиться домой, ни усташе не хотели положить оружие без надежной гарантии, а в то же время, с другой стороны, и мусульманский фанатизм разгорался все сильнее и обнаружился наконец, в начале мая 1876 года, буйным взрывом в Салониках, когда мусульманская чернь убила германского и французского консулов из-за какой-то, вырванной ими из гарема, болгарской девицы, при полном бездействии турецких властей. Случай этот оживил болтавшую дипломатию; на Салоникском рейде ото всех держав появилось по несколько военных судов, и затем состоялся дипломатический съезд в Берлине, разрешившийся «берлинским меморандумом». Но тут вдруг Англия с шумом отделилась от «концерта», отвергнув вовсе этот меморандум, и злые языки говорили тогда, что сделано это ею не без предварительного (оглашения, по крайней мере, с графом Андраши, если не с самим Бисмарком. Австрия тоже переменяла свою политику относительно усташей: вместо прежнего мирволения и заискиваний в них, она вдруг заперла для них границу, усилила по ней военный кордон, не пропускала даже жен и детей беглецов на свою территорию и стала арестовывать и сажать в тюрьмы самих усташей, если они искали в ее пределах убежища от преследования турецких войск. Главари недоумевали, что ж это значит?— Черно-желтое знамя, поощрительные подмигивания, сладкие слова, соблазнительные обещания, льготы и деньги вначале, когда нужно было поднять тяжелого на подъем славянина, и вдруг изгнание и недопущение босняцких семейств, угрозы, крутые меры, аресты и тюрьма, когда восстание разгорелось уже всерьез? Впрочем, с уст австрийской дипломатии и теперь не сходили соблезнования к участи славян и обещания защитить их от турецкого фанатизма впоследствии, в туманном будущем, между тем как на деле Австро-Венгрия уже выступила союзницею Турции. Арест Любибратича послужил яркой иллюстрацией ее двусмысленной политики

иудиных лобзаний. В то же время в Безике, у входа в Дарданеллы, появился английский броненосный флот, для защиты якобы британских вездесущих интересов, а в Стамбуле, словно бы по чьему-то волшебному мановению, начался целый ряд заговоров и революций с новоявленными турецкими «софтами», последовало предсказанное английскими корреспондентами низложение Абдул-Азиса, затем явились на сцену знаменитые «английские ножницы», пресекшие жизнь этого неугодного Англии государя; провозглашен султаном Мурад V, но сейчас же сочтено нужным объявить его почему-то сумасшедшим и запрятать в Чарыган, а вместо него провозгласить Абдул-Гамида... Новое турецкое правительство, во всем послушное англичанам, вместо реформ начало деятельно готовиться к войне и, будучи прославляемо хвалебными гимнами французской, австро-венгерской и английской печати, принялось применять свои «просвещенные взгляды» в Болгарии. Но наконец крик негодования раздался в самой Англии, когда в печать ее проникли сведения о «болгарских ужасах», совершаемых Шефкет-пашою, Ахмет-агою и их сподвижниками. Таков-то был первый плод «европейского концерта».

А тем временем народное волнение в Сербии и Черногории все росло и росло. Население этих двух княжеств давно уже едва сдерживало свое сочувствие к родным братьям Боснии и Герцеговины, побуждавшее броситься к ним на помощь. Европейская дипломатия настойчиво давила на князей Михаила и Николая, предлагая им унять крутыми мерами «партию войны». Милан рассыпался перед дипломатами в самых миролюбивых уверениях, а в то же время должен был подписывать указы о сборе милиции одного призыва вслед за другим. С каждым днем правителям обоих княжеств становилось все труднее сдерживать пыл своих подданные тем более, что вполне обнаружившееся бессилие «европейского концерта», благодаря Англии, перемигнувшейся с Веней, втайне направляемой, в свою очередь, из Берлина, сделало войну совершенно неизбежной. Растерявшийся Милан еще колебался в ту или другую сторону; Ристич, призванный им к управлению Сербией чуть не накануне войны, тоже медлил, потому что у правительства не было ни благоустроенной армии, ни денег. Но горячее сочувствие к славянскому делу в России и, наконец, появление в Белграде генерала Черняева ускорили решение помимо дипломатии. Сербия и Черногория героически ринулись в неравную борьбу со всею силой благоустроенных армий Оттоманской империи и стойко выдерживали ее в течение четырех месяцев. Тут Англия вскоре спохватилась, что неосторожно зажгла пожар, который может разлиться слишком далеко, а главное, преждевременно, и на этот раз взяла переговоры в свои руки. Переговоры эти, впрочем, совершенно бесплодно продолжались во все время августовских боев и даже до самого боя в октябре под Дюнишем и Алексинцем. Мысль о новой «конференции» подала опять же Англия, но Порты не приняла английских предложений, стараясь лишь выиграть время, и таким образом новый «европейский концерт» опять повис в воздухе... Минута была самая критическая: Сербия уже вконец изнемогала.

Но вот, 18-го октября русский посол предъявил Порте довольно-таки запоздалый ультиматум о заключении перемирия с княжествами на два месяца, требуя ответа в сорок восемь часов, а через два дня после того в Московском Кремле произнесены были царские слова, высоко поднявшие дух России и произведшие свое впечатление на Европу. Вместе с тем повелено было мобилизовать часть русской армии. В Берлине, втихомолку, радостно потирали руки: Россия вела себя совсем так, как того втайне хотелось Берлину. Но иначе вести себя ей и возможности не было.

Вслед за русским ультиматумом, британское правительство возобновило свое предложение о конференции, к чему присоединилась вдруг и Австрия, прежде на нее не соглашавшаяся. Причина такой перемены со стороны Австрии лежала в расчете, что после ультиматума, в случае неудачи конференции (в чем, впрочем, и не сомневались в Вене), для России не оставалось бы иного выхода, кроме войны,— а это все, что и было нужно для подпольных венско-берлинских планов и махинаций. Конференция означала собой третий акт «европейского концерта». Пока английский уполномоченный, маркиз Сольсбери разъезжал целый месяц по европейским дворам, да другой месяц прошел в «предварительных совещаниях» делегатов, для установления программы конференции, наступил срок перемирия, а дипломаты еще ни к каким решениям и не приступали. Пришлось перемирие продолжить и тем волей-неволей исполнить первое, заявленное еще в октябре, желание Порты, стремившейся более всего выиграть время, чтобы, с негласной помощью Англии, лучше подготовиться к войне. На предварительные совещания делегатов Турция не была допущена, но ее сторону представляла вполне Австро-Венгрия, делавшая нсвозможные возражения и старавшаяся сократить и всячески урезать программу требований, которые должны были быть предъявленными Порте «концертом». Но прежде чем открылась конференция, в Берлине озаботились дать заблаговременно понять туркам, что из нее ничего не выйдет, а потому—де бояться и уступать им нечего. Ради этого, князь Бисмарк произнес в рейхстаге свою знаменитую речь, где хотя и заявил о святости дела, защищаемого Россией, и о полной платонической солидарности с ней Германии, но в то же время подчеркнул, что Германия, при всей святости и справедливости этого дела, останется к нему равнодушной и не пожертвует ради него костями ни одного померанского мушкетера, пока не увидит в нем прямой для себя пользы. В Лондоне, еврей де' Израэли, возведенный в звание лорда Биконсфильда, еще ранее с парламентской трибуны объявил во всеуслышание, что «Англия есть великая мусульманская держава» и, по его же старанию, парламентом был присвоен королеве громкий титул «императрицы Индии». Во Франции, между тем, одно министерство падало вслед за другим, а что касается Восточного вопроса, то в отношении его все французские политические партии оказались замечательно единодушными: клерикалы и радикалы, республиканцы, бонапартисты и монархисты с озлоблением накидывались в своих речах и газетах на турецких славян, осмелившихся подняться против своих законных повелителей.

Италия держалась совершенно пассивно и если принимала участие в «концерте», то разве из дипломатической вежливости. А в то же самое время Австро-Венгрия приняла вдруг задорное и гордое положение относительно Сербии, желая своими мелочными придирками терроризировать это маленькое княжество и грозно дать ему почувствовать всю его зависимость не от России, а от ее австро-мадьярской воли. В самой же двуликой монархии положение дел было такое, что славянская ее половина, за исключением поляков, нравственно тянула все на сторону балканских славян и России, что и выразилось вскоре в грандиозной, всенародной овации в Праге, сделанной первого января 1877 года генералу Черняеву народом Чешским; другая же половина, мадьярская, в лице почетной депутации пештских аристократов и студентов, подносила почетную саблю Абдул-Кириму-паше за отличное избиеание христиан балкано-славянских.

Последние дни 1876 года были заняты заседаниями европейской конференции в Константинополе. В самый день ее открытия турки, словно бы на смех, провозгласили пресловутую шутовскую конституцию Митхада-паши. Хорошо зная меру и должное значение «европейского концерта», они мастерски делали пробы над безмерной уступчивостью дипломатии, а сами тем временем спешно готовились к войне, при широкой и уже открытой материальной помощи Англии. Глядя со стороны, казалось, что константинопольская конференция своим бестактным поведением и уступками как будто нарочно задалась целью раздражить Порту елико возможно более и, в то же время, дать ей возможность серьезно подготовиться к военным действиям. Русский представитель шел до крайних предлогов миролюбия и уступчивости, на которые, в конце концов, не могли бы не согласиться и сами турки. Казалось, дело в последнюю минуту все-таки кончится миром. И вот в это-то самое время, к общему удивлению, представитель Германии, державшийся до сих пор пассивно, вдруг, ни с того ни с сего, всполошился и стал настойчиво требовать от Порты, чтоб она дала самый скорый и решительный ответ. Причины такого неожиданного и странного вольтфаса были объяснены сначала в английской, а затем и во французской печати тем, что уступчивость, проявленная на конференции представителем России, заставила-де князя Бисмарка опасаться, как бы дело не кончилось, пожалуй, и взаправду мирным образом; опасался же он такого исхода потому-де, что никто другой, как только он же сам, и желал втянуть Россию в войну с Турцией. У нас такому объяснению не придали ровно никакого значения и отвергли его, как совершенно вздорное, не заслуживающее ни малейшего внимания; газеты мимоходом уделили ему лишь по краткой заметке, в виде курьеза. В то время у нас еще твердо веровали в искренность Бисмарка и прочную дружбу Германии... Как бы то ни было, но неожиданное и резкое давление на Порту германского представителя задело за живое самолюбие турецкого правительства и послужило причиной решительного отказа его от всех сделанных ему предложений. Таким-то образом,

конференция,— эта недостойная и позорная для Европы комедия,— потерпела в начале 1877 года полное фиаско.

\* \* \*

В России, между тем, вся душа народа была захвачена поднявшейся на Востоке борьбой. Минуты, подобные пережитым нами в 1876 году, не часто встречаются в жизни народов. Еще в начале герцеговинского восстания, когда мы не задавали себе труда вникнуть, кем и с какой целью оно подуськано, в наши Славянские Комитеты и редакции русских газет стали стекаться некоторые пожертвования. Весною же 1876 года, когда в Боснии и Герцеговине возобновились военные действия востанцев, пожертвования усилились, а как стало известно, что сербский национальный заем не удался, раздались голоса, настаивавшие на необходимости поместить его в России. Мерным, наиболее могучим средством для возбуждения у нас движения в пользу славян послужили послания митрополитов Сербского и Черногорского, которые через русское духовенство были доведены до сведения народа, и тогда уже пожертвования приняли размеры небывалые. Со всех сторон посыпались и мелкие и крупные лепты, с целью доставить сербам средства на войну с турками. Кроме того, в Сербию отправились поодиночке несколько офицеров медиков и добровольцев, в числе которых первым был генерал Черняев. Этот отъезд человека, стяжавшего себе лавры в войне с мусульманами в Средней Азии, произвел самое радостное впечатление во всем русском обществе и примирил с ним искренно многих его политических противников. Можно сказать, что вся Россия напутствовала Черняева самыми задушевными благословениями. За ним пошли и другие,— и, таким образом, славянское дело, благодаря этим личным узам, сделалось родным русским делом. Чувство милосердия и живая вера были чистым источником движения, могучей волной охватившего русский народ и подвигшего его на помощь страдающим братьям его во Христе,— движения, не только поразившего иностранцев, но смутившего многих и в самой России своею чисто стихийной неожиданностью.

В Англии, одновременно с этим, созывались «митинги негодования» и «митинги сочувствия», произносились пылкие речи,— ничего подобного у нас не было. Хотя там собирались даже кое-где и маленькие пожертвования в пользу славян, но при этом, преимущественно платоническом, сочувствии некоторой части английского общества, сила действия была на стороне противной, откуда раздавались яростные осуждения христиан в их борьбе с притеснителями. Некоторые духовные лица английской церкви не только в журналах, но и со своих кафедр превозносили ислам, английские офицеры подвизались в рядах турецких войск вместе с мадьярами и поляками, герцог Садерландский основал комитет для пособия нуждам оттоманской армии... Сочувствие христианам в этой «великой мусульманской державе» было только на словах; содействие же туркам широко осуществлялось на деле и притом организовано было отличнейшим образом.

Русская помощь христианам, напротив, не имела строгой и стройной организации. По свидетельству человека, стоявшего, можно сказать, в центре народного движения этой эпохи— «когда сербские войска испытали первую неудачу, когда на почву возбужденного народного сочувствия пала первая капля русской крови, когда совершился первый подвиг любви и принеслась первая чистая жертва во имя России от русского за веру и братьев, тогда дрогнула совесть всей Русской земли... Известие о смерти Киреева, первого русского, павшего в этой войне, разом двинуло сотни охотников, да и впоследствии этот факт постоянно повторялся: стоило только огласиться новым смертям в среде русских добровольцев,— на место каждого умершего являлись десять живых, с готовностью заступить на его место. Смерть не отпугивала, а как бы привлекала».— Что же заставляло идти на смерть этих простых людей, которые «со смиренною настойчивостью, как бы испрашивая милости, со слезами, на коленях молили об отправлении их на поле битвы?».— «Не корысть, не личная выгода, а высокое в своем смирении чувство. Их предваряли о суровости предстоящего жребия, и получали в ответ: «Положил себе помереть за веру», «сердце кипит», «не терпится», «хочу послужить нашим», «наших бьют», «к нашим, заодно постоять»,— вот краткие ответы, звучавшие спокойной искренностью и такой душевной простотой, в которой слышалась неодолимая мощь. Чувствовалось, что перед вами, в смиренном облике, без горделивой самодовольной осанки, стояли герои,— скажу больше: люди того закала, из какого выходили мученики первых времен христианства. Да, нам приходилось сподобиться узреть самую душу народную?»...<sup>1</sup> Другой крупный деятель эпохи, М.Н. Катков, прямо высказывал, что «будь малейшее руководство со стороны правительства, малейшее пособие государственной организации, этой силой народного чувства можно было бы совершить дела великие». Но правительство наше, оставаясь верным своим международным обязательствам, не принимало никакого участия в направлении добровольного движения русских людей на личные жертвы. Оно только не препятствовало ему,— по убеждению одних,— потому что никто же не мог ожидать, чтобы русское правительство, единое со своим народом, шло против лучших и святейших его стремлений; по объяснению же других,— потому что в этом движении оно будто бы усматривало удобную возможность сбить из России немало, так называемых, беспокойных, шатущихся и пролетарных элементов, как и вообще дать выход или открыть клапан, с одной стороны — для народного воодушевления, а с другой — для накопившихся, будто бы, внутри России опасных политических газов. Но эти последние газы, как увидим ниже вовсе не помышляли воспользоваться открытым для них клапаном: дома им казалось «вольготнее». Как бы то ни было, правительство осталось во всем этом движении в стороне, предоставив инициативу и направление его самому обществу.

---

<sup>1</sup> И. С. Аксаков. Речь в заседании Моск. Славянск. Комитета 24-го октября 1876 г.

— И вот, немногим людям из общественной среды, людям вовсе к тому не готовившимся, пришлось волей-неволей исправлять обязанности интендантства, комиссариата, инспекторского департамента, военно-медицинского и артиллерийского ведомств. Все это носило на себе печать чистой случайности и руководствовалось одним лишь великим, все захватывающим чувством увлечения братской помощью, и таким образом возникло то удивительное беспримерное явление, что война против обширной империи велась добровольными усилиями, на частные средства, собираемые пожертвованиями, без всякой организации. Но в этой неподготовленности движению по мнению Каткова, «была его внутренняя сила, свидетельствующая о его неподдельности и чистоте». Наконец, нравственный подъем народного духа в этом направлении достиг такой высоты и напряженности, что правительство увидело себя в необходимости, быть может, и против собственного желания, идти с ним душа в душу, рука об руку. Знаменательные слова, произнесенные 20-го октября в Кремлевском дворце, вызвали единодушный отклик всей Русской земли, сказавшийся с неудержимой силой. Возвещенная вслед за тем мобилизация была встречена всеми с живейшей радостью. О трудностях и финансовых средствах в увлекшемся обществе как-то не думалось, о не готовности нашей к войне почти и совсем забывалось. А между тем, армия наша, с недавним введением всеобщей воинской повинности, именно в ту-то самую эпоху находилась еще в переходном состоянии: в ней не было ни достаточного обоза, ни даже односистемного вооружения, не говоря уже, что то, какое было, во всех отношениях далеко уступало турецкому; наши железные дороги вовсе не были приспособлены к военным целям, и большая часть их построена в один путь; притом мобилизация происходила уже в зимнее время, когда движение по дорогам и без того замедлялось снежными заносами. Но подъем всех сил народного духа был таков, что и невозможное становилось и достижимым, и легким,— все казалось нипочем! Несмотря на массу трудностей и помех, мобилизация двинутых частей войск совершилась исправно в две недели, хотя одновременно с нею пришлось передвигать громадные транспорты для вооружения наших черноморских, совершенно открытых портов и для снабжения всем необходимым военных корпусов, стягивавшихся к нашим бессарабским и закавказским границам.

\* \* \*

В это-то время, 6-го декабря 1876 года, в Петербурге совершенно неожиданно разыгралась известная демонстрация на Казанской площади. Казанский собор, по случаю праздника, на обедней был полон молящимися, среди которых резко кидалась в глаза, по своей внешности и неприличному поведению, толпа человек до трехсот молодых людей обоего пола. Судя по рубахам-косовороткам, штанцам, запущенным в высокие сапоги, пледам, накинутым на короткие пальтишки, очкам, лохматым шевелюрам мужчин и стриженным волосам женщин, присутствовавшие

богомольцы не затруднились сразу же отнести их к числу «студентов» и вообще «учащихся». Они стояли, разбившись на кучки, составлявшие однако довольно заметную однородную массу в самом центре храма, шептались, пересмеивались, делали у себя в записных книжках какие-то заметки, переходили с места на место, как будто о чем-то сговаривались. Когда соборный вахтер, по настоянию некоторых прихожан, спросил одного из молодых людей о цели их прихода в собор, ему грубо ответили: «Не твое дело!» По окончании обедни, депутация от этой молодежи обратилась к причту с заказом панихиды по убитым в Сербии, а когда ей было в том отказано, под предлогом «царского дня», то она пожелала отслужить молебен о здравии политических ссыльных и арестованных. Но служба ограничилась, как и всегда, одним только общим молебном, по окончании которого демонстранты густою толпой довольно шумно двинулись вон из храма, на площадь. Здесь, из среды этой толпы выступил какой-то высокий блондин, снял шапку и начал громко говорить, горячася и размахивая руками. Остальные образовали около него тесный круг. Удивленные этим зрелищем богомольцы и посторонняя, проходящая публика, недоумевая, стояли поодаль,— кто в портике храма, кто на ступенях лестницы и на самой площади. Блондин во всеуслышание разглагольствовал о несправедливостях и гнете правительства, о ссылках всех «лучших людей», каковы : Чернышевский, Долгушин, Нечаев и другие, и сожалел, что, благодаря таким возмутительным мерам, революционное дело в России тормозится, тогда как Чернышевский, не будь он сослан, один мог бы подвинуть его на несколько лет вперед, что эти-де «лучшие люди» пострадали «за народ», у которого правительство отнимает последнюю корову и курицу. Речь была окончена при громких криках «браво!» «живио!» и аплодисментах столпившейся вокруг говоруна молодежи. В тот же момент был выкинут над этой толпой красный флаг с белой на нем надписью «Земля и Воля», но так как он был не на древке и взлетел комком, то шумевшая толпа подняла и подбрасывала несколько раз какого-то парнишку в полушубке, который, взлетая на воздухе, держал флаг развернутым в обеих руках. Эта выходка сопровождалась бросанием в воздухе шапок и криками «ура!» «живио!» «vivat Communa, pereat politia!» Несколько, прибежавших на место полицейских чинов были встречены ударами кулаков, палок и кастетов в голову, сбиты с ног, притиснуты к земле и топтаны каблуками. Видя, что полиция уже известилась о происшествии, и слыша учащенные призывные свистки поспешавших к месту действия городских, в толпе демонстрантов одни стали кричать: «Расходись по домам! Довольно!», и призыву этому немедленно последовало более половины всей толпы; другие же взывали: «Братцы! Идите плотнее! Не расходитесь! Кто подойдет к нам, тот уйдет без головы!»— Этот последний призыв, сочувственно принятый всеми оставшимися, в числе до полутора человека, выдвинул вперед молодую девушку, рыжую блондинку семитического типа, с растрепавшимися косами, которая сильно жестикулируя, кричала с явным еврейским акцентом: «Вперод!.. За мною!»



и вела всю толпу по направлению к памятнику Кутузова. Когда же подоспели сюда несколько новых городских с околоточным надзирателем, девица эта с яростью накинулась на последнего, вцепилась ему в лицо и начала бить по нему кулаком. Толпа не отстала от своей вожачки и снова принялась в кровь избивать ничтожную горсть полицейских. Женщины при этом отличались наибольшим остервенением в драке и цинизмом своих площадных ругательств. Только тут случайная публика, смотревшая до этого на происшествие с пассивным недоумением, вступилась за полицейских чинов и начала помогать им и сама забирать драчунов, которых и отводила в местный полицейский участок. Тогда уже толпа бунтарей, не довольствуясь избиением городских, вступила в драку и с публикой, и не только с помогавшей полиции, но и с посторонней. Избили у памятника какого-то случайно подвернувшегося старика, избили чьего-то кучера, переходившего через площадь, избили чуть не до полусмерти одного из носильщиков, а одна кучка, десятка в два человек, вдруг бросилась бить совершенно посторонних, безучастно стоявших зрителей, пытаясь проложить себе сквозь их живую стену дорогу на угол Невского. Некоторые, совершенно ошарив от собственного озорства, выскакивали из толпы и просто зря накидывались с кулаками на публику — «по морде бить». Поэтому публика задерживала преимущественно драчунов подобного сорта, тогда как более осторожные или трусливые из демонстрантов,— а таковых и в этой оставшейся толпе было большинство,— видя, что сочувствие общества и сила не на их стороне, спешили бросать на произвол судьбы своих зарвавшихся азартных сообщников и разбегались в разные стороны, так что перед судом из трехсотенной (вначале) толпы, предстало всего лишь двадцать обвиняемых. Юная Мегера, кричавшая в расхлестанном виде «вперед за мною!» оказалась еврейкою Фейгой Шефтель, «готовящеюся» на женские медицинские курсы. Эта «благородная еврейская девица», вместе с другими забранными девками, на ходу царапалась ногтями, таскала за волосы и хлестала по щекам людей, ведших всю их компанию в участок. Впрочем, приказчики с Милютина двора, вместе с ломовиками, извозчиками и носильщиками Казанской артели порядком-таки и в свой черед «поучили» демонстрантов и демонстранток, попадавших к ним в руки. Арестованных приводили в участок большей частью посторонние лица, из публики. Как на площади, так и на Малой Конюшенной улице, и в сенях самого участка были находимы кастеты, гирьки, ножи и револьверы, брошенные арестованными. Один из последних, уже в участке, пытался было даже застрелить из револьвера полицейского сторожа, которому было приказано обыскать его.

Демонстрация 6-го декабря, изумившая решительно всех не только своей неожиданностью, но главным образом — совершенной дисгармонией с господствовавшим тогда настроением русского общества, замечательна тем, что это была демонстрация по преимуществу польско-еврейская,— обстоятельство, мало обратившее на себя внимание в то время, но тем не менее,

весьма веское и характерное. Еврейская «учащаяся» и «протестующая» молодежь принимала в этом деле наиболее деятельное участие. В прежних политических процессах еврейские имена мелькали в одиночку, спорадически, а здесь они всплыли вдруг целой группой. Участие евреев удостоверено и совершенно точно установлено было и на суде несколькими свидетельскими показаниями, из которых в особенности характерно показание почтенного купца Гукова, еще в соборе обратившего внимание на непристойное поведение окружавших его кучек и на то, что никто из этих лиц не крестится.— «Я осмотрелся,— говорит он,— и вижу, что тут все не русские типы, а большей частью польские и еврейские». Другие удостоверляли, что слышали среди этих кучек разговоры на польском языке и еврейском жаргоне. Замечательно также, что и в другом, почти одновременном с этим, политическом процессе «ходебщиков в народ», раскинувших свою сеть, с целью пропаганды среди рабочего класса, по губерниям Владимирской и Саратовской и в городах: Туле, Киеве и Одессе, наиболее деятельную роль играли инородческие элементы. Среди этих «ходебщиков» и устроителей «фиктивных браков» так и кидаются в глаза армянские, грузинские и еврейские фамилии разных Кардашевых, Чекоидзе, Кикодзе, Гамкрелидзе, Джабадари, князя Цицианова, княгини Тумановой, Гесси Гельфман, m-lle Фигнер, Млодецкого и прочая.

Хотя главная масса «учащихся» еврейчиков, фигурировавших на Казанской площади, успела, из присущего этой расе инстинкта чуткого самосохранения, благополучно ускользнуть ранее, чем публика стала хватать и арестовывать драчунов, тем не менее, из числа находившихся там, были привлечены к дознанию Янкель Гурович, студент медицинско-хирургической академии, Хаим Новоковский, сапожник с женой своею Софьей, студенты: Виленц, Бибергаль, Геллер, Герваси, еврейки: Фейга Шефтель, Копилевич и другие, причем удостоверено свидетелями, что наиболее кипятились, лезли в драку и наносили удары полиции и публике Шефтель, Новаковский и Бибергаль. Из показаний всех этих евреев и евреек на суде выяснилось, что между ними еще за месяц до демонстрации ходили слухи, что устраивается-де панихида в Исаакиевском или Казанском соборе по убитым в Сербии и «о славянах вообще», что при этом будет устроена большая процессия с целью требовать от правительства объявления войны, что в панихиде и процессии будут участвовать не Одна «учащаяся молодежь», но и люди солидные, профессора и военные, и все-де они будут требовать войны, и, наконец, что главным центром всех агитационных слухов и толков этого рода служила «Студенческая кухмистерская». Тут с полной очевидностью сказалось стремление еврейских агитаторов связать чисто русское народное дело братской помощи Восточным христианам с революционным делом «Земли и Воли», и замечательно, что некоторые иностранные органы, во главе с «Journal des Debats» в Париже и «Naplo» в Пеште, имевшие надобность чернить русское движение в пользу турецких христиан, грозившее революционными последствиями его для самой России,

внушавшее русскому правительству, что революционные комитеты и панславистское, движение, будто бы, одно и то же,— органы эти точно так же знали вперед о готовившейся демонстрации и предсказывали ее еще за месяц. Следствие и суд, по замечанию Каткова, «по-видимому, не имели намерение доходить до корней этого дела и ограничились, как всегда, наличностью: оборваны попавшиеся в руки гнилые сучки, а пень оставлен в покое, но из тех данных, которые раскрылись на суде, достаточно выяснилось политическое значение гадкого фарса». Направляющие нити этой жидовской демонстрации, очевидно, протягивались сюда из-за границы, где расчет двойной игры был ясен: если испугается русское правительство движения, охватившего его народ, и отступится от славянского дела,— оно станет крайне непопулярно, антипатично у себя дома, а престиж России в славянстве и вера в нее на всем христианском Востоке будут надолго, если не навсегда подорваны и через это расчистится дорога на Балканский полуостров его соперникам; если же это правительство очертя голову ринется в войну,— тем лучше; война существенно ослабит военные и финансовые силы России, лишит ее на некоторое время свободы действий и даст громадные заработки европейским, особенно германским, биржам и тому же еврейству, поставит русские финансы в рабскую зависимость от разных Блейхредеров et consorts.

Вообще, евреи были за войну, в особенности наши, предвидя в ней счастливую для себя возможность великолепных, грандиозных гешефтов. Во многих синагогах раздавались высокопарные речи казенных и иных раввинов, призывавшие «русских евреев» быть в готовности к услугам «отечества» и правительства; в штаб действующей армии и другие правительственные учреждения сыпались проекты разных «выгодных» предложений и «патриотических» изобретений вроде греческого огня из Бердичева, подводных лодок из Шклова, мышеловок для турецких часовых, неувядаемого сена и неистощимых консервов для армии, и т.п. Более крупные евреи, вроде «генералов» Поляковых и Варшавских, делали даже «бескорыстные пожертвования» и все вообще тщились заявлять себя «балшущими патриотами». Для полноты этой картины, следует прибавить, что в газете «Русский Мир», считавшейся органом генерала Черняева и потому имевшей тогда весьма крупное значение в Славянском вопросе, самые бойкие и остроумные критики на действия тогдашней дипломатии, самые горячие статьи по Восточному вопросу, самые патриотические ламентации и муссирование «активной политики», равно как и самые пламенные воззвания в защиту «братий-славян», принадлежали — по странной случайности, или нет,— перу публициста-еврея, ныне пользующегося почетной известностью в лагере мумий доктринерского либерализма. Это, впрочем, доказывает только ту истину, что у каждого из нас есть свой особенный «еврейчик», которого мы прикармливаем и уверяем своих друзей, будто он не такой, как все остальные.

Во всяком случае, один из расчетов двойной игры Запада, в союзе с жидовством, оправдался. Отступить России было уже поздно,

да и некуда,— и 12-го апреля 1877 года война была объявлена. Но выжидательное положение наших,— это, так называемое, «Кишиневское свидание», в течение почти полугода, с объявления мобилизации до манифеста 12-го апреля, уже само по себе стоило хорошей войны, не в одном только материальном отношении: оно и нравственно составляло для России весьма тяжелую жертву, вынужденную двоедушием тех, с кем ей пришлось действовать на константинопольской конференции как будто заодно, тогда как этим quasi-дружным собранием, в сущности, и была поставлена Россия в неизвестность — против кого из них, в конце концов, может быть, придется ей сражаться?

Такова-то была отместка нам за неожиданное заступничество наше в 1875 году за Францию.

\* \* \*

Энергичная и разносторонняя, но направленная к одной общей цели, деятельность кипела не только в Кишиневе, но и по всей России, особенно же в Москве и Петербурге. Во дворцах, под непосредственным ведением августейших учредительниц, открывались общедоступные добротные мастерские, где шилось на машинах белье для раненых и госпиталей; устраивались запасные склады госпитальных принадлежностей; в городах Империи учреждались на городские и добротные сборные средства и пожертвования приюты, питательные и санитарные пункты для раненых и больных воинов; по всем церквам ежедневно собиралась лепта ради тех же страдальцев; общество Красного Креста проявляло наибольшую деятельность.— Вместе с особами императорской фамилии, оно снаряжало целые санитарные поезда, обставленные всеми удобствами; учреждало подвижные лазареты; беспрестанно высылало на театр войны своих уполномоченных с громадными транспортами медицинских, хирургических, санитарных, перевязочных средств и питательных продуктов; партию за партией, отправляла туда же хирургов, медиков, фельдшеров и фельдшериц, братьев и сестер милосердия. Не было того уголка России, даже в самых отдаленных местностях, где не была бы организована посильная помощь Красному Кресту добротными местными средствами.

Сестры Богоявленской общины, в числе прочих, тоже готовились к отъезду в Румынию, а затем — куда Бог приведет и надобность укажет. Военные хирурги и профессора медицинской академии читали им доступные лекции для предварительного ознакомления их с уходом за ранеными, с приемами наложения и снятия лубков и повязок и т.п. Для этого был назначен сестрам шестинедельный курс обучения, вслед за которым следовало испытание их знания и способности к делу.

Тамаре, ввиду предстоящего отъезда общины, в полном ее составе некуда было деваться, да и совестно было устранять себя от общего труда, и она тем охотнее просила взять и ее «на войну», в качестве сестры, что все эти месяцы о Каржоле не было ни слуху, ни духу.

В начале мая месяца все Богоявленские сестры со своею начальницей было привезены во дворец и представлены их высокой покровительницей государыне императрице в прощальной аудиенции. Каждая из них была обласкана высочайшим вниманием и получила из рук государыни по образку, в виде благословения. Напутствуемые на вокзале многотысячной толпой народа, снявшего шапки и провожавшего их громогласным пением «Спаси, Господи, люди Твоя», сестры двинулись в путь в особом санитарном поезде в сопутствии особого уполномоченного от Красного Креста. Все они бодро и радостно, со смирением и верой, шли на предстоящий им тяжелый, самоотверженный подвиг.

## **Х. ПОД САМЫМ ПРЕДАННЫМ НАДЗОРОМ**

После своей несчастной свадьбы, разбитый и нравственно, и физически, Каржоль на другой же день утром почти через силу уехал из Кохма-Богословска к себе на завод и засел там, как байбак в норе, в своей «комнате для приездов», рядом с конторой, никого не желая видеть и никуда не показываясь. Он был сильно потрясен и сконфужен всем случившимся и не знал пока, что ему делать, как быть и как держать себя по отношению к разным городским и уездным дельцам, с которыми у него существовали деловые и коммерческие сношения по заводу? Как они все отнесутся к случившемуся с ним казусу, и какую роль по отношению к этому казусу было бы всего приличнее принять ему на себя перед ними?.. Состояние его духа становилось тем угнетеннее, что у него не было ни одного сердечо близкого к нему человека, с которым можно бы поделиться своим горем, отвести душу, посоветоваться.

Всю эту страшную над ним иронию судьбы и все муки собственного раздавленного самолюбия и порвавшихся надежд он должен был одиноко переживать и перерабатывать в себе самом, не видя пока никакого просвета и возможности вернуть потерянное или поправить порванное хотя бы в более или менее отдаленном будущем. В таком состоянии духа ему хотелось бы куда-нибудь забиться подальше от людей и жизни, чтобы ничего не знать, никого не видеть, ни о чем не слышать и поскорее забыть о всех и обо всем и чтобы о нем тоже все позабыли. В первые дни в особенности он чувствовал себя глубоко несчастным человеком, жестоко и беспричинно обиженным и оскорбленным какою-то глупой роковой судьбой. В город его не тянуло более,— там все и вся стали ему как-то противны, и все преувеличенно казалось, что-не только знакомые, но каждый встречный уличный мальчишка, каждая торговка базарная непременно должны знать и перетряхивать всю подноготную о его свадьбе, заниматься его особой и издеваться над ним; а уж о встрече с Закаталовым или Сычуговым нечего и говорить. Одно воспоминание об их противных, самодовольных рожах коробило его нервы и будило в нем желчь. Что же до эмансипированной бойкой судьи, то ее он просто возненавидел, так как она всех больше царापала его самолюбие на

свадьбе и, будучи ему столь близкою, вдруг так легко, с таким бессердечным равнодушием повернула свой фас в противную сторону, сразу предоставив себя в распоряжение прежнего своего «друга». Это уж, в самом деле, чересчур было обидно и больно для самолюбия графа. Не то чтобы он ревновал ее, но досадно ему было сознавать, как бесповоротно шлепнуто в ее глазах его достоинство и как он должен казаться ей теперь самым смешным и жалким «мужчинкой», — он, такой элегантный, блестящий джентльмен, избалованный поклонением женщин, одну улыбку которого эта захолустная львица должна была бы считать за величайшую для себя честь и счастье. Брезгливо, желая уйти от всего этого кохма-богословского мира и его атмосферы, пропитанной «хозяйским клубом», Сычуговыми и Закаталовыми, граф даже приказал камердинеру сдать свою городскую квартиру и перебраться с чемоданами и датским догом на завод, — пускай-де ничто не напоминает о нем в этом противном городе! Долгое время он решительно не хотел видеть никого постороннего, кроме своих рабочих и служащих при заводе. Каждый новый посетитель, вроде станового, волостного старшины или приходского батюшки, невольно заставлял его как-то съеживаться внутренне и глядеть на гостя подозрительными глазами, — уж не пожаловал ли, мол, и ты полюбоваться, каков я стал после скандала?

Впрочем в замкнутом одиночестве Каржоль оказалась со временем и своя целительная сторона. Оно скорее, чем в городе, с его сутолокой и сплетнями, помогло ему придти в себя и успокоиться. Здесь он чувствовал себя, как говорится, «на лоне природы», куда не доходили до него никакие раздражающие слухи и вести, так что, с течением времени, мало-помалу улеглось в нем и это чувство подозрительной недоверчивости к посторонним посетителям. Но беда в том, что, вместе с этим успокоением, Каржоль стал как-то апатично равнодушен ко всему — и к делу, и к людям. Не только в «чужое место» не тянуло его более, но и в заводские помещения стал он заглядывать все реже и реже; конторские книги тоже подолгу не проверялись им и вообще все дело, несмотря на его личное присутствие, велось спустя рукава и шло через пень в колоду. Компаньон Гусятников пропадал в Москве у Ермолая да в Грузинах с цыганками и в последние месяцы ни разу даже не заглянул на завод, словно бы его не существовало; на письма и телеграммы по целым неделям не получалось от него ответа, и Каржоль понимал, что дело так продолжаться не может. В начале ему казалось даже очень удобным такое беспутство его денежного компаньона, так как он надеялся, поставить завод на ноги, взять его со временем за себя одного на льготных условиях; но на практике оказалось совсем иначе. Не будучи сам специалистом дела, граф мало-помалу очутился в руках своего техника и мастеров и чувствовал, что они обстоятельно надувают его; но как проверить и уличить их, — на это не было у него ни сноровки, ни знания. Да и сам он потерял теперь всякий «смак» к этому делу. Оно не интересовало его более, потому что после подневольной женитьбы — какой смысл оставался для него в работе, долженствовавшей, по первоначальному плану,

дать ему капитал на выкуп документов у Бендавида и средства на процесс за миллионное наследство Тамары, тотчас же вслед за браком с нею! Все эти планы разрушились, стало быть, что же? Оставаться всю жизнь чем-то вроде старшего приказчика у господина Гусятникова?!— Но пока ничего другого, даже в отдаленной перспективе, не представлялось Каржолю. Жил он теперь так, что день да ночь, сутки прочь — и слава Богу, жил, стараясь не думать о будущем и ничего больше не желая и не ожидая от жизни. Так, по крайней мере, самому ему казалось в то время. Он, видимо, начал опускаться и даже о собственной наружности и костюме не заботился более.

Мордка Олейник одно время совсем было потерял его из виду и ничего не мог корреспондировать в Украинск дядюшке Блудштейну, кроме того, что живет-де Каржоль, как слышно, на заводе, никуда не показывается и что там делает,— неизвестно. Но для Блудштейна вопрос о том, что именно граф делает, и был всего интереснее. Оставил ли он окончательно свои намерения насчет Тамары? Не затевает ли втихомолку опять какую-нибудь каверзу? Может, он, и без женитьбы на ней, подуськает ее искать судом своих прав и капиталов и станет тайком помогать ей? Хотя и трудно допустить чтобы такая штука удалась ему, но — как знать, чего не знаешь?.. Осторожность не мешает, наблюдение, до поры до времени, все еще необходимо.— В силу таких соображений дядюшки Блудштейна и его новых инструкций, Мордка Олейник, в одно ноябрьское утро явился вдруг на завод к Каржолю, с которым до тех пор лично совсем даже не был знаком, и сразу попросил у него для себя место приказчика, или иное какое,— на что милость его графская будет,— «абы только хлеба кусочек кутить». Тот объявил ему, что мест свободных нет и что вообще без залога он на места по заводу никого не принимает.

— Но и каково таково залог?!.. И на что вам залог?.. Я сам за себя буду залогом,— возражал ему Мордка.— И места же у вас не казенные,— абы только воля ваша была, а место для бедного человека всегда сделать можете... А может, я вам буду еще очень даже полезный, зато что я все знаю и все могу, каково дела не спросите, я все могу...

Ничего не подозревавший Каржоль сначала было не хотел брать его, просто как жида, и тем более, когда прочел в его билете, что он из обывателей города Украинска,— тут уже против Мордки оказался и личный «зуб» Каржоля на всех украинских жидов вообще. Мордкино дело казалось совсем уже «швах», но Мордка пристал к Каржолю так слезно и канючил у него себе место так назойливо и убедительно, говоря, что он «все может», и сопровождая свои просьбы такими уморительными ужимками, подмигиваниями и вздохами, что в конце концов тому стало и противно, и смешно, и жалко глядеть на этого несчастного еврейчика. Каржоль давно уже не знал, что такое улыбка на своем лице, а Мордка, с его уморительною мимикой, впервые заставил его рассмеяться. Это был признак очень утешительный в пользу Мордки. Кроме того, графу пришла еще мысль, нельзя ли будет со временем через этого

еврея навести в Украинске справки насчет своих векселей?— Идея показалась ему «подходящей», и он решил себе (черт с ним! один еврей куда ни шло!)— оставил Мордку при заводе в должности... ну, хоть второго помощника у старшего конторщика. А Мордке только этого и нужно было.

Проползя на место ужом, Мордка через несколько времени мало-помалу оперился, вкрался в доверие к Каржолю, показывая ему вид бескорыстной преданности интересам его дела и кармана, нашептывая порою на техника, конторщика и мастеров и, вообще, подкупая его своей, на все готовой, услужливостью. Он даже сумел сделаться для графа необходимым развлечением — отчасти, как собеседник, отчасти как шут,— среди однообразия и скуки заводской жизни зимою, в глуши и в ближайшем соседстве с деревней, из которой все взрослые мужчины и девки обыкновенно уходили на заработки в Кохма-Богословск, по фабричному делу. Достаточно же оперившись, Мордка Олейник не замедлил открыть в своем новом гнезде гешефтмахерскую деятельность. Под сурдинку, негласным образом стал он снабжать рабочих деньгами под залог вещей и на хороший «пурцент»; затем под величайшим секретом начал продавать им беспатентную водку, хотя и разбавляемую им водой, но сдабриваемую для крепости перцем и отчасти табаком; продавал также по мелочам фабрикованный чай пополам с капоркой — продукт успешно производимый его сородичами в Кохма-Богословске, сахар и мыло, махорку и свечи, даже красный товар из бракованных кусков, и гармоники. Делалось это даже с разрешения Каржоля, которого Мордка успел уверить, что для рабочих гораздо выгоднее покупать все необходимые им вещи на заводе, у себя дома, на книжку в счет заработной платы, чем шататься за ними в город. Умолчал он перед графом лишь о негласной продаже фабрикованной водки и негласной кассе ссуд; но тому, по мнению Мордки, и знать этого не следовало.— «Зачэм?!» Таким образом, почти незаметно открыл Мордка при заводе свою собственную лавочку, а затем, мало-помалу распространил свою коммерческую, ростовщичью и негласно-корчемную деятельность не только на соседние селения, но и на всю ближайшую округу. Он как клещ присосался к этой местности, обеспечив себя, разумеется, «хорошими отношениями» с местной полицией (для Мордок, вообще, это никогда не лишнее) и уже через какие-нибудь три-четыре месяца почувствовал под собой, до известной степени, твердую почву. Не было на заводе того рабочего, а в округе той мужицкой семьи, что не состояли бы так или иначе в долгу у Мордки, считая его при этом еще необходимым, золотым человеком, с которым очень сподручно иметь дело. Сделалось это как-то само собой, необычайно быстро и, в то же время, почти незаметно. Каржоль был им доволен, дядюшка Блудштейн тоже, потому что получал от него теперь, время от времени, самые обстоятельные и успокоительные корреспонденции,— и Мордка во всех отношениях чувствовал себя благополучнейшим евреем в местности, совершенно недозволенной для еврейской оседлости. Но с легальной стороны Мордка был чист: он и не покушался на прочную оседлость



— он только «ремесленник», «интеллигент», служащий при своем деле, как «шпициалист», на заводе, а к тому же и билет у него такой, что дает ему право на проживание вне пресловутой «черты».

Но если дела Мордки Олейника шли в гору, то дела завода все более и более спускались по наклонной плоскости, так что не оставалось ничего, как только ликвидировать их поскорее. Купцу Гусятникову, прожигавшему унаследованные капиталы, было все трын-трава: не удалось, так и побоку! ликвидировать, так ликвидировать, только с одним условием, чтобы ему не приплачивать к этому делу ни копейки. При этом последнем условии, Каржоль очутился в очень неприятном положении. Дело и самому ему надоело по горло, и он рад был развязаться с ним; но беда в том, что за уплатой всех, к счастью, не особенно еще крупных, долгов да расчетом всех рабочих и служащих, по распродаже всего заводского инвентаря и недвижимого имущества, по расчету графа, в собственном его бумажнике должно остаться всего на все лишь триста с небольшим рублей, и впереди — ровно ничего определенного. С таким капиталом далеко не уедешь, а оставаться в Кохма-Богословске не было больше никакой цели. Купец Гусятников, к которому граф нарочно даже ездил в Москву, уламывать его, уперся, как бык, и, швыряя на цыганок да на француженок по тысячи в вечер, не дает больше на «дело», на «приличное» окончание его ни полушки.— «Ты, говорит, и то еще спасибо скажи, что я тебя самого к суду не тяну, потому некогда мне такими скучными пустяками заниматься!»— Положение для Каржоля выходило совсем скверное: пришлось ни с чем возвратиться на завод и заканчивать дело на нет, почти впустую. Куда ж теперь ему деваться?.. На казенную службу разве?.. Но куда и на какую?.. Взять какое ни на есть, первое попавшееся место для него невозможно: он не кто-нибудь, ему нужно жить прилично, поддерживать отношения,— нечего больше халатничать да киснуть! это хорошо было на заводе... теперь надо встряхнуться, взять себя в руки! Надо жить, и жить не по-свински, а для этого нужны хотя скромные, но приличные средства,— тысяч шесть, семь в год жалования, по наименьшей мере. Но это уже директорские да губернаторские места, с подобным содержанием,— для них нужна особая протекция, особый случай, нужно самому быть в Петербурге, на виду, напоминать о себе,— ну, а для всего этого необходимы время и деньги. Первого у него — сколько угодно, а денег — *moins que rien!* Какие-нибудь триста рублей, разве это деньги?.. Концессию какую заполучить бы, что ли, с правительственной гарантией... Хорошо бы! Или вот, если бы в директоры-учредители какой-нибудь акционерной компании, страхового общества или банка какого-нибудь, что-нибудь в таком бы роде?.. Да, конечно, это бы лучше всего, и его громкое имя дает ему все права на такое солидное положение: громкое, аристократическое имя во главе акционерного предприятия уже само по себе составляет крупный шанс его успеха; это хорошо позирует самое дело, привлекает к нему доверие вкладчиков... Но для этого, прежде всего, нужны опять-таки счастливый случай

и приличная обстановка, то есть все те же деньги, деньги и деньги...

К этому времени Каржоль совсем уже примирился со своим положением «соломенного мужа» и даже нравственно успокоился и оправился настолько, что вновь почувствовал в себе аппетит к какой-либо «продуктивной» и «зарабатывающей» деятельности. Куда бы только направиться за этим?.. В Украинск разве, на хлеба к законной супруге?— Но нет, это слишком унижительно, да и Ольга едва ли примет его, да и еврей в Украинске, Бендавид...

По мере нравственного успокоения, Каржоля все более и более начинал существенно интересоваться вопросом: правда ли то, что Ольга преподнесла ему в виде свадебного подарка? Действительно ли векселя его исчезли во время Украинского погрома, или же это была не более, как злая шутка с ее стороны?— Мысль эта стала занимать его еще с февраля месяца, и чем дальше, тем больше. Но как бы узнать это в точности? Каким бы путем удостовериться?.. Одно время он думал было позондировать на этот счет Мордку Олеиника,— нельзя ли через него проведать хоть что-нибудь, навести в Украинске заочные справки,— ведь есть же там у Мордки, вероятно, какие-нибудь родственные связи или знакомства,— он мог бы списаться, спросить... И граф однажды повел с Мордкой речь, несколько издав: давно ли Мордка из Украинска? Слышал ли что о тамошнем погроме? Не знал ли там известного богача Соломона Бендавида?— Но Мордка, как только услышал слово «Украинск», сейчас же смекнул, что такой вопрос предлагается ему, вероятно, неспроста и что поэтому надо быть начеку и держать себя очень осторожно. На первый из этих вопросов он, с добродушным видом, отвечал одним лишь неопределенным «давно» и прибавил в пояснение, что он хотя и значится по билету украинским мещанином, но это лишь по месту приписки его к обществу, а самого его вывезли-де из Украинска еще маленьким, и он с тех пор не бывал там; что же до погрома, то знает о нем только из газет, а Бендавида и вовсе не знает: слышал, правда, что есть такой богач, благочестивый человек, но и только. Таким образом, расчет Каржоля на Мордку оборвался по первому же приступу; Мордка же про себя принял это к сведению и стал еще осторожнее и внимательнее следить — не затевает ли граф какой штуки?.. Но штук, по-видимому, никаких не затевалось, и Мордка успокоился, продолжая «верой и правдой» служить своему «графскому сиятельству» и обделывать свои гешефты между рабочими и крестьянами.

Когда наконец дела завода были ликвидированы, граф увидел себя на таком жизненном распутье, что, казалось, куда ни кинь, все клин выходит. Надо на что-нибудь решаться: или пулю в лоб, или... Нет, впрочем, пулю еще рано,— *ce n'est qu'une phrase!*— да и вообще, что за решение такое пуля, когда организм еще полон сил, и человеку умирать еще не хочется!.. Напротив, не киснуть надо, а действовать, и действовать решительно, смело, наступательным образом,— словом, ставить игру свою ва-банк! Он обдумал и решил себе, что лучше

всего ему, пока еще триста рублей в кармане, ехать прямо в Украинск теперь же, сразу. Если векселей точно не существует, то жида ничего с ним не поделают, и он, по крайней мере, удостоверится в своей свободе,— и то уже великое благо! Если же векселя есть, то хотя бы Бендавид и представил их к взысканию, взять с него, все равно, нечего... Ну, да тогда можно будет или на компромисс какой-нибудь пойти, или еще загодя благоразумно ретироваться. Одним словом, поездка в Украинск — это будет своего рода рекогносцировка. Кстати же, там живет и его теща, а может быть и сама супруга. В случае чего, если им присутствие графа в Украинске покажется неудобным,— что ж!— они должны будут дать ему личную возможность выбраться оттуда без скандалов. Это даже не будет с их стороны подачкой,— подачек граф Каржоль де Нотрек, слава Богу, пока еще не принимал и не примет ни от кого, но в долг взять — это иное дело! В долг он может позаимствовать у них и, как порядочный человек, конечно, Постарается отдать при первой же возможности. И так, в Украинск!.. Кстати, война только что объявлена,— на всем юге такое движение, такое скопление войск, оживление промышленной деятельности, жизнь ключом кипит, и золото льется... Там теперь нужны люди с головой, деятельные, предприимчивые... Теперь-то там и делать дела... Что ж, авось-либо и выгорит что-нибудь подходящее?— Да, именно,— «Dahin, dahin wo die Citronen blühen!» решил себе граф, уже увлекаясь этой последней идеей, и приказал своему человеку живо укладывать чемоданы,— завтра-де уезжаем.

Мордка Олейник, хотя уже и рассчитанный графом, но все еще проживавший на заводе, впредь до ликвидации своих собственных гешефтов, как только увидел возню графского камердинера с чемоданами, немедленно же проюрокнул в контору и скромно стал у притолоки дверей, ведущих в графскую комнату.

— Что скажешь?— обернулся на него Каржоль.

— Так... ничего,— подернув плечом, замялся несколько Мордка.— Может, помочь чего нужно?— продолжал он после некоторой паузы.— Ваше сиятельство уезжаете, слышно?

— Уезжаю, братец, уезжаю!— подтвердил Каржоль, с веселым и довольным видом потирая руки.— Надоели вы мне все по горло,— ну, да Господь с вами! Не поминайте лихом!

— Пфссс!..!— покачал головой Мордка.— Так скоро?! Ай-яй!.. И мне ж это очень довольно грустно... Я так уже привыкал до вашего сиятельства... мне так жалко из вас, так жалко, что я аж плакать готовый!..

И испустив печальный вздох, Мордка замолчал, как бы подавленный собственным грустным чувством, но затем, слегка ступив шаг вперед, спросил осторожно, почтительно и тихо:

— А куда ехать думаете!

— Ох, далеко, брат, отсюда,— на твою родину!— весело объявил Каржоль, ничтоже сумняшеся в преданном ему Мордке.

Тот так и встрепенулся, точно бы его шилом кольнули.

— На моя родина?— удивленно и как бы в полном недоумении повторил он за графом.

— Звините, на какво таково родина, говорите вы?

Это в самом деле, было совершенной неожиданностью для Мордки.

— В Украинск, пояснил ему граф, — в город Украинск, понимаешь?

— В Украинск?! — словно бы в испуге, выпучил глаза Мордка, совершенно ошарашенный точной определенностью последнего ответа, и затем, подумав, деликатно и осторожно добавил: — звините, то, может быть шутки?.. Зачиво вам в Украинск?

— Да ведь надо же куда-нибудь ехать! Не сидеть же здесь!

— Так, но... зачиво в Украинск?.. И что вашему сиятельству, такому большому барину, там делать!?!— Совсем даже пустой и глупый город!.. Лучше же на Москва, а не то на Пизтер,— там скорее хороших делов можно найти себе.

— Ну, а мне Украинск больше нравится,— там у меня тоже не без дела!

Озадаченный Мордка стоял у притолоки, закусив губу, и ничего не возражал более.

— И ваше сиятельство позволите мне завтра провожать вас?— почтительно и как бы с грустью проговорил он после некоторого молчания.

— Если желаешь,— согласился граф,— отчего же!

— Благодарю вам,— скромно поклонился ему Мордка и тихо вышел из комнаты.

На следующий день, рано утром, Каржоль действительно выехал в Кохма-Богословск, но, не останавливаясь в городе, приказал везти себя прямо на железнодорожную станцию. К его удивлению, первый, кто встретил его там, был Мордка Олеиник, умудрившийся какими-то судьбами поспеть сюда за-благовременно, еще чуть ли не до свету. Он все время предупредительно суетился теперь около графа с разными своими услугами,— то чемоданы помогал перетаскивать и направлял их к весам, то наблюдал за мелкими дорожными вещами и, следуя за Каржолем к кассе, чутко прислушивался, в то же время, до какого именно пункта станет он спрашивать себе билет? И когда граф взял билет прямого сообщения до Украинска, для Мордки уже не осталось никакого сомнения, что он именно туда и направляется. До сих пор ему все как-то не хотелось верить этому, все казалось, не шутит ли с ним граф; но теперь еврейчик озадачился уже не на шутку и даже очень встревожился!— «Зачем, в самом деле, ехать Каржолю в Украинск? Чего забыл он там, и что за дела такие у него вдруг открылись в Украинске?.. И как же это он так смело, даже дерзко... Точно бы и знать не хочет, что ему запретили въезжать туда,— сам же слово давал и носу туда не показывать,— и вдруг... Уж не пронюхал ли, Боже избави, чего?.. Вот так штука будет!.. О, тут что-то неспроста, что-то недоброе», решил себе Мордка и, проводив графа, сейчас же пошел на телеграфную станцию дать необходимую депешу.

«Гросс-пуриц сегодня выехал в Украинск», сообщил он дядюшке Блудштейну.— «Принимайте ваших мер. Олейник».

## XI. НА НОВЫЕ РЕЛЬСЫ

Хотя бы и на последние свои деньги, но граф Каржоль «не привык» ездить по железным дорогам иначе, как гран-сеньором, с полным комфортом, в отдельном купе для себя, с местом во втором классе для своего «человека» и отдельной конурой в собачьем отделении для дога.— Так было и в настоящем случае. С полным удобством совершив почти весь свой путь и находясь уже в последних его стадиях, граф сошел в столовую залу пассажирской станции, в Киеве, намереваясь хорошо здесь пообедать, как вдруг, почти нос к носу, столкнулся — и с кем же?! — не более, ни менее, как с самим Абрамом Иоселиовичем Блудштейном.

— Граф!.. Из какими судьбами?!— изумленно растопырив руки, загородил «цивилизованный» еврей ему дорогу.— Вот встреча!.. Не ожидал, никак не ожидал!.. И здравствуйте ж!..

Во всех этих возгласах и приветствиях Блудштейна, к удивлению Каржоль, не только не было ничего враждебного или иронического, но напротив, звучала нота удовольствия, даже чуть не радости такому приятному сюрпризу. Каржоль невольно опешивший было в самом начале, сразу оправился, услышав этот дружелюбно приветливый тон и, в свою очередь, тоже приветливо, но не без оттенка барской благосклонности, подал руку Блудштейну.

— Здравствуйтесь, почтеннейший,— проговорил он ласково, но несколько небрежно.— Вы это как сюда попали?— продолжал граф на ходу, направляясь к отлично сервированным обеденным столам.

— Я?.. Н-ну, што я попал, это не удивительно,— весело ответил Блудштейн.— Тут теперь у нас такие балшущие дела, такая коммерция,— Бог мой!.. А вот вы из какими судьбами, ваше сиятельство?— Это гораздо любопытнейше... Куда ехать изволите?

— А вы куда?— спросил Каржоль, уклоняясь как бы невзначай от прямого ответа.

— Я?., я к себе до дому; в Украинск,— уже и билет имею.

— С этим поездом?

— С ним самым, в первом классе.

Каржолью это не совсем-то понравилось, но — делать нечего — шила в мешке не утаишь: раз что уж такая встреча случилась — скрываться, стало быть, не за чем.

— Значит, нам по дороге,— небрежно обронил он слово, просматривая обеденную карточку.

— Как по дороге?.. А вы разве тоже в Украинск?— изумился Блудштейн, по-видимому, непритворно.

— Тоже,— кратко кивнул ему головою граф, занятый в эту минуту более существенно заказом официанту какой-то порции.

— Вот как!— еще с большим удовольствием подхватил Абрам Иоселиович.— Значит, вас можно поздравить?

— С чем это?— в недоумении, слегка нахмурил тот брови.

— Ну, и как с чем!.. Значит, вы при больших капиталах?

— При капиталах?.. Почему вы так заключаете?

— А как же ж! Очень просто: из-за того, что едете в Украинск... Значит, вы хотите расплатиться из кредиторами, с нашим бедным Бендавид?.. Этово очень, очень хорошо с вашей стороны!.. Такое время, знаете, што деньги теперь очень нужны,— ай, как нужны!

Каржоль с некоторым удивлением скользнул по нем взглядом и ничего на это не ответил.

— Однако, я есть хочу,— пробормотал он как бы про себя.— До свидания, почтеннейший, еще увидимся.

И с ласковой небрежностью кивнув головою Блудштейну, граф с аппетитом принялся за поданную ему тарелку малороссийского борща, с ватрушками и гренками.

«Однако, надо будет по дороге пощупать этого Иоселиовича», решил он себе, ввиду некоторых, сейчас лишь беспокоивших его, сомнений.— «Почему это он с такой уверенностью заключил вдруг, что я при больших капиталах и еду расплачиваться?.. Неужели же документы целы?..»

Увы!— он был слишком далек от понимания истинного положения дела... Ему и в голову не могло придти, что тотчас же по получении последней телеграммы от Мордки Олейника, Абрам Иоселиович и Бендавид с их друзьями страшно всполошились и даже перепугались.— Как?! Каржоль возвращается в Украинск!— Гевалт!.. Что ж это значит?.. Верно, до него дошли сведения о гибели документов,— иначе как бы он осмелился?.. Хоть и женили они его на барышне Уховой, однако она с ним не живет, он свободен и — почем знать!— может, еще не бросил свои шашни с Тamarой?.., может, они даже переписываются иногда между собою,— хотя, казалось бы, Мордка должен был знать про то, если б оно было так!.. Ну, а если это у них как-нибудь так хитро делалось, что даже и Мордка не заметил?.. Ох, все, все может быть в этом ужасном, испорченном мире, даже чего и не придумаешь! Может, граф едет сюда нарочно, чтоб убедиться на месте, точно ли документы его не существуют больше?— О, это почти наверное так, потому что Мордка в последнем письме своем сообщал, что за ликвидацией завода, Каржоль остался ни при чем, с самыми ничтожными деньгами. А если едет без денег,— значит рассчитывает, что документов нет, что мы против него бес- сильны?.. Нельзя, невозможно допустить, чтоб такое убеждение его оправдалось!— Он должен оставаться в узде. Зачем ему ехать сюда, с какой целью? Какие его намерения? Вернее всего, что хочет разведать почву, узнать в каком положении Бендавид и Тамарины капиталы! Уж не стакнулись ли они вдвоем поднять дело судом? Может, он уже успел убедить и науськать эту погибшую, на все способную девчонку, чтоб она начинала иск, а сам делает для этого предварительную разведку? Друзья Бендавида, с Блудштейном во главе, остановились на этом последнем предположении, как на самом, по их мнению,

логичном и вероятном, ввиду такого поразительного факта, как отъезд Каржоль в Украинск. Что тут делать, какие меры принимать? Они решили, что прежде всего, конечно, надо помешать его приезду, не допустить его до Украинска, где он мог бы так или иначе добраться до правды,— значит, надо перехватить его где-нибудь на дороге и успеть переубедить, если он думает, что векселя исчезли, а затем сейчас же, с дороги, либо заставить его повернуть назад, либо направить куда-нибудь в другую сторону. Главное — не допустить до Украинска и убедить, что векселя целы. Задача хитрая и нелегкая; но в «мондрой головы» Абрама Иоселиовича, словно по вдохновению, опять мелькнул чудесный план, по которому выходило, что не только приезд Каржоль не должен быть допущен, не только сам Каржоль обязательно будет направлен на иной путь, но и из всего этого приключения Украинский Израиль должен еще извлечь для себя особую пользу,— да, именно пользу, и даже из самого Каржоль!

Хотя у Абрама Иоселиовича, с объявлением войны, оказалась на руках масса дел и хлопот огромного значения, ибо он вступил видным деятелем в «Товарищество» Грегера, Горвица и Когана, как крупный представитель Украинского еврейского общества, вверившего ему значительные капиталы на это баснословно выгодное дело,— тем не менее, Абрам Иоселиович не доверил никому свой план уловления Каржоль и решил взять исполнение его на себя самого, «потому что дело очень деликатное, тонкое и, Боже избави, испортить его!»— Ради этой цели, он выехал в Киев, куда, кстати, призывали его и собственные денежные дела, и положил себе дожидаться там приезда Каржоль, который никоим образом не мог миновать этого пункта. Перед приходом каждого курьерского и пассажирского поезда из Курска, он аккуратнейшим образом самолично дежурил на дебаркадере и был столь удачлив, что на другой же день как раз и захватил тут Каржоль.

Между первым и вторым звонком, прогуливаясь с сигаретой в зубах по платформе, граф опять встретился с Блудштейном.

— Вы, кажется, говорили, что едете в первом классе?— остановил он его.— Не хотите ли вместе?.. У меня отдельное купе, просторно,— потолкуем на дороге от скуки...

Абрам Иоселиович, конечно, не преминул с величайшим удовольствием принять это приглашение. Каржоль как будто сам облегчал ему его «деликатную задачу».

— Ну-с, так как же это, почтеннейший?— с веселою улыбкой и шутливым тоном, но немножко высокомерно начал Каржоль, с покровительственной фамильярностью похлопав Блудштейна по колену, когда поезд уже тронулся от станции.— Расскажите-ка, расскажите, почему это вы предполагаете, что я при «больших капиталах»?.. а?

— Я же сказал, вы же знаете,— уклончиво возразил Блудштейн, также принимая тон любезной, но сдержанной шутки: зово, што вы в Украинск ехаете. Я так думаю,— пояснил он с ударением, подчеркивая последнюю фразу.

— Хм!.. Так, по-вашему, без «капиталов» я не мог бы ехать туда?— продолжал Каржоль, ухмыляясь и как бы подсмеиваясь дружески над собеседником.

— Я так думаю,— повторил тот не без веской значительности, хотя и постарался придать своему ответу как можно более еврейской «деликатности», чтобы — Боже избавь! — не оскорбить как-нибудь своего титулованного vis-a-vis.

— Почему же так? — весело подзадоривал его граф, продолжая вызывающе глядеть на него дружески наглыми, смеющимися глазами, словно бы нашел себе в лице Блудштейна маленькое развлечение, потеху от дорожной скуки. — Нет, нет, в самом деле, почему вы так думаете?

— Ну, и сами же вы знаете,— продолжал уклоняться еврей, с легким лукавым подмигиванием. — Что же мне говорить!

— Ну, нет, однако?

Тот только плечами пожал, как на совсем пустые речи, не стоящие даже траты слов на них.

— А представьте себе,— продолжал в том же тоне Каржоль,— что я без всяких «капиталов» и вдруг все-таки еду?.. Ну-с, милейший мой, что вы на это скажете?

— Скажу, что никак этому не можно быть,— ответил еврей с полной уверенностью.

— Ну, а если?

— Пфсс!.. Каково тут «если»?.. Никаково тут «если» не может и быть!.. Никто за своей доброй воли до волка в зубы не полезет... и вы же для того слишком умный человек.

— Мерси за лестное мнение! — с легкой иронией кивнул головою граф; — только, видите ли, почтеннейший, мне думается, что никакого там у вас волка нет, а если и есть, то беззубый, которого и бояться нечего.

— Што ви хотите тим сказать, граф? — как бы недоумевая, спокойно спросил Абрам Иоселиович.

— Не более того, что сказал,— то есть, что «волчьи зубы» — это пустые страхи, плохое пугало, которого птица перестала бояться.

— Звините, но я вас не понимаю, граф — переменяя шуточный тон на серьезный, заметил Блудштейн. — Зачем мы будем говорить баснями! Будем лучше прямо! — Если вы едете, чтобы расплатиться на квит, ну, то так, этово я понимаю. А если нет, то зачем? Разве же вы забыли условия?!

— Мм... Я думаю, что эти условия не действительны более.

— Значит не действительны? — спокойно удивился Блудштейн. — Вы же сами знаете, тут документы!

— Хм!.. Документы!.. А если вот именно документов-то этих и нет.

— Не-ет?.. Как нет?.. Куда ж им подеться?

— Мало-ль куда! Предположим, что исчезли.

— Счезли?.. Но куда ж они могли счезнуть?.. И зачем им счезнуть?

— А если их, например, во время вашего погрома толпа на мелкие клочки изодрала?.. Ну-с?

— Ха-ха-ха! — засмеялся Блудштейн, небрежно махнув на это рукой, как на самый детский вздор и величайшую нелепость.



— Неужели и до вас дошли эти глупый слухи?! И не вжели ви, такой умный человек, могли поверить такому глупству?! Ай-яй, граф, этого завеем даже на вас не похоже!.. Это удивительно мне даже слушать!..

— Однако, знаете пословицу, нет дыма без огня, — возразил Каржоль, недоумеая в душе, правду ли говорит Блудштейн, или только ловко притворяется?— Если такие слухи есть,— добавил он,— то на чем-нибудь они да основаны, согласитесь сами.

— Это правда, основаны,— согласился и охотно подтвердил Абрам Иоселиович, приподымая к лицу ладони,— но на чем основаны?.. Вы знаете, на чем? Вы можете сказать этово?

— На том, что толпа, ворвавшись в дом к Бендаvidу, нашла у него документы и уничтожила их,— вот на чем!

Блудштейн молча и серьезно, чуть-чуть лишь подернув углы губ легкою улыбкой, которая, казалось, говорила: «мне жаль тебя, братец, какой ты легковерный и легкомысленный!» медленно покачал в отрицательном смысле головою.

— Слухи есть основаны на том,— начал он объяснять самым методическим образом,— што у каких-то там мелких ремесленников,— ну, скажем портных, сапожников ну, у лавочников, там, действительно, толпа находила разных счетов, даже векселей, ну, и рвала их... Это так, это верно. Но штоб у Бендаvid она рвала,— это, звините, глупость! Такой серьезный человек не будет держать своих докумэнтов так, на фуфу, как афишке на столе, а запрячет их в надежнаво месту... И я вам скажу толпа очень даже старалась разбить его кассу жалезную, но — слава Богу, не могла, как не билась!.. То так, поверьте!.. И докумэнты ваши — могу заверить вас честным моим, словом — целешеньки!— Бендаvid не такой дурак, как, может, ви себе думаетю!

Этот спокойный, авторитетно уверенный тон, каким серьезно и твердо говорил теперь Блудштейн, невольно заставил Каржоля внутренне дрогнуть и поколебаться.— «А что, как и в самом деле правда?»

— То так!— еще раз солидно подтвердил еврей, слегка дотронувшись до его руки ладонью.— И ежели вы только на таком, звините, легком основаны додумали себе ехать в Украинск, мне очень жаль вас..

— Почему же?— спросил граф с напускной улыбкой равнодушия.

— Потому што Бендаvid скрутит вас, как только вы покажетесь, и дохнуть не даст!.. Вот увидите!

Каржоль поглядел на него пытливыми, но уже далеко не наглыми глазами, точно бы желая проникнуть, в какой мере слова его искренне и согласны с истиной.

— Ну, и што же затем?— продолжал собеседник тоном несколько презрительного сожаления.— Обвяжут вас через полицию с подпиской о не выезде; может, заарестуют, все узнают,— сшкандал!.. Ни честию, ни ужитку, только страм один!.. Пфуй!.. И какой вам интэрсс, не понимаю!

И он с оттенком уже брезгливого сожаления еще раз покачал головою.

Каржоль сознавал себя в душе совсем сбитым с позиции. Веская убедительность и, по-видимому, полная искренность слов и доводов Блудштейна сильно-таки смутили его. Он не сумел даже притвориться, как следует, чтобы скрыть свои расстроенные мысли и чувства, и призадумался довольно уныло, вперив рассеянный взгляд в окошко, на приближавшиеся и уходившие мимо пашни, луга, столбы и деревья...

— И чего вам? Какая охота, скажите на милость?— продолжал, между тем, Блудштейн, с видом того же брезгливого сожаления.— Человек вас не трогает, оставляет, кажется, в покою,— чево вам еще?! Самому лезть до быка на роги!.. Пхе!..

— Да мне, по своим личным делам, нужно с женой повидаться, я к жене собственно еду,— сделал вдруг Каржоль слабую попытку к оправданию, первую, какая сейчас пришла ему в голову.

— К жене-е?.. К сюзруге вашей?— переспросил Блудштейн, словно бы не доверяя собственному слуху.— Ну, когда так, то, звините, вы немножко ошиблись вашим маршрутом: сюзруга ваша проживает в Петербурге, а не в Украинске... А сам гэнерал,— не думаю штобы он вас принимал,— вы же его знаете... И все же, чуть вы покажетесь, Бендавид вас скрутит.— Не гэнерал же будет платить за вас!.. Вот попомните мои слова, што скрутит!..

Нахождение Ольги в Петербурге оказалось совершеннейшею новостью для Каржоля. Он никак не ожидал этого и очень удивился.

— Ага!.. Вот видите, мы знаем на этот счет немножко больше, как ви сами!— не воздержался, чтоб не похвалиться пред ним, с торжествующей улыбкой, Абрам Иоселиович.— И как же ви хотите, штоб ми не знали после тово, што целые ваши докумэнты у Бендавид!?!— Ха!.. Ну, подумайте!

И Каржоль узнал из рассказа Блудштейна, что генерал Ухов, вернувшись с Ольгой после свадьбы в Украинск, тогда же выделил ей сполна всю ее часть, все, что предназначалось ей в приданое, после чего она вскоре уехала в Петербург, одна, и с тех пор там живет — и живет, кажется, «очень прекрасно».

От всех этих новостей, а главное, от внушенной ему уверенности, что векселя его целы, Каржоль совсем поджал крылья и нахохлился. Поездка его в Украинск, при таких условиях, представилась ему в самом деле величайшим сумасбродством, которое, кроме вреда и скандала, ничего ему не принесет, а заставит, между тем, непроизводителью истратить последние деньги, и тогда что же?— Круглая безвыходность и нищета!.. Как легко и высоко подымал он крылья при удаче, или при полном бумажнике в кармане, так еще легче падал духом и поджимал хвост при безденежьи и неудаче, а тем более при крушении своих мечтательных надежд и эфемерных планов, основанных, как казалось ему, всегда на «самой реальной» и «практической» почве.— Достаточно было спокойно уверенного, ясно определенного тона, каким говорил с ним Абрам Иоселиович, чтобы граф не только разубедился в несуществовании своих векселей,

но разочаровался и в первоначальной своей идее, будто жида все равно с ним ничего не поделали, если даже и представят на него ко взысканию, ибо взять с него нечего.— Тут он уразумел, однако, что поделать-то поделают, и даже больше, чем можно было бы предполагать, по- тому что они благодаря подписке о невыезде, какую обяжет по полиция, заставят его черт знает сколько времени жить в городе и без толку проживаться там до последней копейки, и тогда уже приготовят ему крах полный и окончательный!.. Это грозная перспектива более всего смутила Каржоля.

— Да, да, граф, жаль мне вас, очень жаль!— со вздохом продолжал, после некоторого молчания, Блудштейн, не перестававший все время исподволь наблюдать за психикой своего собеседника и отлично подметивший на его лице ту внутреннюю перемену мыслей и настроения, что совершалась в нем в данную минуту.— И как это вы так легко мыслите!— продолжал он, с сожалением и укоризной покачивая головой,— мне даже, право, удивительно!..

— Да, но что ж делать!.. Я никак не предполагал, что жена в Петербурге... Это для меня такой сюрприз... Мне, напротив, писали, что она здесь, и я сам был уверен, что здесь... Мне так нужно было ее видеть!..— оправдывался граф не совсем уверенным тоном человека, чувствующего, что язык его как то сам собой лжет, а он не может ни удержать его, ни замаскироваться личиною правды.

Но Абрам Иоселиович, про себя, очень хорошо понимал, что весь этот жалкий лепет его — не более, как пустая оправдательная увертка, пришедшая графу в голову только сейчас при разговоре.

Чего же вам так захотелось вашей графини? То верно «пенендзе» думали раздобыть у нее?.. А?— с бесцеремонным подсмеиванием спросил он вдруг, ободрительно и фамильярно похлопав в свой черед, графа по колену.

Того ужасно покорило и даже царапнуло внутри по самолюбию, как от самого вопроса, так еще более от этой фамильярности, но он сдержал себя, как-то съежился малодушно и промолчал, будто и не заметил или не расслышал, предавшись весь досадно-печальным размышлениям о своей неудаче.

Это пустое делу: «пенендзе» от графиню вы никак не получите,— продолжал со своею спокойной уверенностью Блудштейн.— А когда вам так нужно, то можно добыть гораздо простейш... Заработать можно, и больших денег даже, очень больших!— абы только была ваша охота!

При этих последних словах, Каржоль чутко поднял голову, как лягавый пес, почуявший дичь, и поглядел испытующим взлядом на собеседника: в шутку ли он это, или в серьезную?

- Знаете, что, граф!?!— подумав с минутку, заговорил Блудштейн даже с некоторым воодушевлением.— Вы знаете, я же всегда любил вас и, сколько мог, был до вас полезный... помните?— Бывало, вы только одно слово: «Абрам Осипович, как бы на перехватку?»— И Абрам Осипович завсегда выручал вам,— помните?.. Н-ну, то я вот что скажу вам: хотите вы заработать себе денег?.. И таких денег, што вы и с

Бендавид расплатитесь аж до копейку, и себе еще целого састоянья составите,— большое састоянья!.. Хотите?

— Да вы шутите, что ли?— отозвался ему Каржоль с недоверчивой усмешкой.

— Зачем шутить!.. Я говорю совсем серьезно, каких тут шуток!.. Вы мне скажите только,— хотите?

— Ну, разумеется, хочу,— излишне и спрашивать.

— Так... Н-ну, когда так, то слушайте.

И Абрам Иоселиович, приняв на себя значительный вид и тон, начал несколько издали, объяснять ему, что вот, война объявлена, а русское интендантство сразу оказалось «пфе!»— ничего-де не сумело ни устроить, ни заготовить, и русская армия, конечно, погибла бы на первых же шагах своих от отсутствия продовольствия, если бы на спасение ее не пришли евреи. Три знаменитых еврейских патриота Греггер, Горвиц и Коган, умоляемые штабным начальством армии, великодушно согласились утвердить «Товарищество» по продовольствию войск, и теперь, благодаря им, армия спасена и обеспечена. Тут Абрам Иоселиович почему-то счел возможным пуститься в довольно интимную откровенность, что была-де, по правде сказать, одна группа московских купцов-миллионеров, которые еще гораздо раньше, чем появился на сцену Греггер, предлагала штабу свои услуги в виде «Русского Товарищества», и московский купец Осипов составил даже проект всей операции и послал его в Кишинев, но куда им!.. «Разве таково дела насшим можно было выпустить за своих рук!»— «Насши» не дремали, успели вовремя разведать через «своих людей», в чем дело, и приняли меры. Пока проект Осипова лежал у кого-то в портфеле, какой-то таинственный «некто», воспользовавшись его идеей и некоторыми основаниями, сообщил их Греггеру, близкому к себе человеку, и подал ему счастливую мысль, что недурно бы взяться за такое патриотическое дело!— Ну, Греггер подумал, конечно, снесся кое с кем из «насших», посоветовался с самыми дошлыми адвокатами и составил компанию, которая сейчас же привлекла к себе массу еврейских капиталов и деятелей — «агэнтов» — со всего юга и юго-запада России, «затаво, што это таково дела, с котораго пагхнет маллионами, десятками, сотнями маллионов, и увсе на чиставо золота!»— И вот Абрам Иоселиович Блудштейн является теперь крупным деятелем этого самого «Товарищества», как представитель интересов Украинского еврейского общества, почтившего его «за своим довериём». «Товарищество» поставлено-де на самую широкую ногу и пользуется громадным влиянием,— ему-де «обязательно», в силу условия, должны быть, по крайней мере, за неделю вперед сообщаемы все маршруты и конечные пункты движения всех корпусов и отдельных частей армии, их названия и наличный состав<sup>1</sup>, то есть то, что нередко составляет секрет даже для высших командиров и управлений, так что «Товарищество» владеет государственными и военными тайнами — вот оно какое важное и каким необычайным довериём пользуется!

---

<sup>1</sup> Пункт 3-й условия «Товарищества» с главным полевым интендантством, заключенного 16-го апреля 1877 г.

И вы понимаете, какие гешефты можно бы из этого делать, если бы «ми» были не так патриотичны!... Конечно, по силе своего значения «Товарищество» нуждается в известной, бьющей в нос представительности, и ради этого пригласило к себе на службу не только евреев, но и русских,— людей непременно с известным общественным положением и именами: у Грегера, Горвица и Когана служат по вольному найму и штатские генералы, и бывшие губернаторы, и чуть ли не сенаторы, да еще как добиваются, как кланяются, чтобы только удостоили их взять! Но «Товарищество», конечно, принимает к себе с разбором,— не каждый легко удостоится этой чести... По мнению Абрама Иоселиовича, граф Каржоль обладает всеми подходящими данными, чтобы быть не бесполезным «представительным агентом» «Товарищества»: он человек с громким именем, титулованный, образованный, светский, видный собой, вполне обладающий манерой держать себя с высоким достоинством и притом ловкий и изворотливый, так что в хороших руках, под руководством опытных дельцов, может не без успеха обделывать кое-какие дела и поручения «Товарищества».

— Нам такие люди нужны,— говорил ему Блудштейн,— затово што, знаете, докудова иногда нашего брата, обнаковенного еврея и не допустят, а то и разговарувать не захочут,— князю, или графу, как вы, двери до кабинету заувсегда открытые,— ну, и наконец, это, знайте, люди з важными чинами из титулами — это хорошо позует самаво дела, самаво «Товарищества», мы это хорошо понимаем!

И вслед за сими предварительными подходами и объяснениями, Абрам Иоселиович предложил графу — не хочет ли он поступить в агенты «Товарищества», что он, Блудштейн, легко может устроить ему это выгодное место, где граф будет получать очень хорошее содержание золотом, которое даст ему возможность жить вполне прилично, представительно и, кроме того, он будет, как агент, пользоваться известными процентами с поручаемых ему дел и операций.— «А вы знаете што з одново этово пурценту можно будет шутем заработать себе сто, двухстов, трохстов тысячов рубли,— затово што тут сотни маллионов циркулуют, и казна аничего не жалеет, абы армия была сытая!»

— Н-ну, и вы не думайтю,— счел нужным добавить еще Блудштейн, не без самодовольной похвальбы,— вы не думайтю, што вы у нас будете первый агэнт с таким титулом,— вы найдете себе самую благородную компанию, што у нас уже служат и князья Турусовы и князья Оголенские, и фоны, и бароны.— и вы, таким образом, попадете в самое вийсшее общество!— это все наши, агэнты для представительности.

Предложение было слишком ярко, слишком соблазнительно и неожиданно, чтобы Каржоль мог от него отказаться, в особенности в таком крайнем положении, какое переживалось им в настоящее время. Он с увлечением бросился горячо пожимать обе руки Блудштейна и, в порыве благодарного чувства, назвал его даже своим благодетелем и спасителем.

— Ага!— заметил на это скромно торжествующим и отчасти

назидательным тоном Абрам Иоселиович.— Теперь вы не будете себе думать, што всякий еврей — то «пархатый жид»?— Ми тоже умеем быть велькодушни!

Он тут же условился с Каржолем, что этот последний, минуя Украинск, немедленно же направится прямо в Одессу, куда не далее, как через день после него приедет и сам Блудштейн,— ему на одну только минутку надо заехать домой,— а там, в Одессе, он представит графа одному из трех главных тузов «Товарищества», и этим представлением будет, так сказать, санкционировано его определение на службу. По всей вероятности, в тот же день будет заключено с ним формальное условие и с того самого числа начнет он получать свое жалование, а кроме того, в счет будущих процентов, ему, вероятно, будет выдан авансом некоторый куш на представительность,— уж Абрам Иоселиович позаботится и сам похлопочет об этом! Что же касается его долга рабби Соломону Бендаvidу, то Абрам Иоселиович берет на себя уговорить старика на сделку, в силу которой граф будет уплачивать ему этот долг частями, из своих процентов и куртажей, которые, при расчетах с ним, будет удерживать у себя сам Абрам Иоселиович,— «затова, знаете, штоб не компроментовать вас перед другим,— это будет нашего домашняво делу!»

Граф был совершенно счастлив. Фортуна опять поворачивается к нему лицом,— и впереди ему уже мерещатся целые груды золота и банковых билетов, его роскошная походная обстановка, венские фаэтоны на резинах, парижские дорожные несесеры, эффектные картины боевых лагерей русских войск на Дунае, интересные знакомства и сношения с деятелями армии, высокие сферы, Яссы, Букарешт, румынские красавицы, рулетка и шампанское...

Через день Абрам Иоселиович, как сказал, так и действительно прибыл в Одессу, отыскал там в «Петербургской гостинице» графа, не преминувшего, конечно, в счет будущих благ, занять себе роскошный номер, и, тотчас же заставив своего сиятельного protege переодеться во фрак с белым галстуком, сам повез его в щегольском фаэтоне представляться высокому еврейскому патрону. Этот последний, хотя и заставил графа изрядно-таки подождать в приемной, беседуя тем часом в затворенном кабинете с Блудштейном, но затем все же принял его весьма любезно и сказал даже несколько комплиментов, главнейшим образом, насчет того, что «ми» всегда-де рады «таким людям» и надеемся остаться взаимно довольными друг другом, потому что «ми сами живем и хотим другим давать жить и заработать». Затем, откланявшись еврейскому магнату и спустясь вместе с Блудштейном в его «контору», граф подписал там предложенные ему условия и получил из кассы аванс, а вечером того же дня, на «Приморском бульваре», где гремела военная музыка и толклось множество международного пестрого люда, моряков и военных всех родов оружия, нарядных дам и «цивилизованных» евреев, он сидел на воздухе, у бульварного ресторана, в кругу Блудштейна и нескольких «самых элегантных» израелитов, уже как их новый сослуживец. Любуясь безбрежною далью озаренного лунным светом

спокойного моря, граф наслаждался за крюшоном шампанского мягкой, вечерней прохладой и совершенно искренно, от всего сердца уверял своих собеседников, что насколько он до сих пор заблуждался в своем предубеждении против евреев, настолько же теперь сознает, какие это все прекрасные, благородные и даже высоко патриотичные люди!

## **XII. СРЕДИ «ДРУЗЕЙ» И «СОЮЗНИКОВ»**

Санитарный поезд с сестрами Богоявленской общины двигался по равнинам Румынии, от Ясс к Букарешту.

Проснувшись ранним утром, Тамара почти все время не отрывала глаз от раскрытого окна: до такой степени все в этом крае казалось ей новым и интересным, все так свежо и ярко запечатлевалось в ее душе, раскрытой, уже в силу окружавшей ее обстановки и самих событий, к восприятию этих новых, еще неиспытанных впечатлений. Сама она в это утро ощущала в себе живительную бодрость и силу молодого здоровья, а иными минутами безотчетно находило на нее даже какое-то особенно светлое, жизнерадостное настроение.

Яркое солнце, широкая, раздольная степь, бальзамический воздух, вдали — слегка синеющие в воздушной дымке абрисы Карпатских гор. По степи кочуют оборванные цыгане, невольно приводя собою на память Тамары стихи из Пушкинской поэмы. Там и сям пасутся стада крупного рогатого скота и отары овец, оберегаемые волкообразными овчарками и конными пастухами. Во все стороны виднеется много колодцев с высокими «журавлями». Цветущая степь была полна самых разнообразных птичьих свистов, ястребиного клетка и урчания лягушек, мириадами наполнявших каждую лужу. Пестрые сороки и голубые сивораки беспрестанно мелькали перед глазами. Бледно-розовые мальвы и золотистый дрок, васильки, гвоздика и пунцовый мак бесконечным пестрым ковром растилались во все стороны по равнине. Около дороги, кроме катков, державших разъезды вдоль железнодорожного пути, попадалось не мало и поселян в длинных белых рубахах, подпоясанных широкими красными шальями. Занятые с раннего утра полевыми работами, они отрывались на минутку от дела, при виде несущегося мимо них поезда, и приветливо махали пассажирам своими широкополыми шляпами, а румынские поселянки посылали во след им благословения и сами крестились при этом. Встречались по сторонам дороги и конные еврейчики в белых фуражках военной формы. Это все были «агенты» пресловутого «Товарищества», которые рыскали теперь по краю, обделывая насчет русских войск свои выгодные гешефты.

Уже со вчерашнего дня, с самого переезда за черту границы, сестрам неоднократно и с разных сторон волей-неволей приходилось, во время остановок на станциях, слышать, среди случайных разговоров с военными людьми, многочисленные жалобы на то, что жидки эти торопятся задешево скупить повсюду продукты, не разбирая их качества, и что чуть лишь успеют они в какой-либо местности благополучно сделать эту операцию,

как тотчас же, с помощью взяток румынским чиновникам, искусственно поднимают на эти продукты тройные, пятерные, а при удобном случае даже и большие цены, по которым и предъявляют предметы продовольствия нашим войскам, заручившись предварительно «оправдательными» документами за надлежащей подписью и печатями местных румынских властей, а то и просто по расписке самого продавца продуктов, даже никем не засвидетельствованной, на что давал им полное право и самый контракт, заключенный «Товариществом» с полевым интендантством<sup>1</sup>. Из всех этих разговоров всегда оказывалось одно и то же, а именно, что дело крупного мошенничества и обирания казны делается «чисто», так что с юридической стороны никакой «контроль» не придерется и под «Товарищество» иголки не подточит, в этом с наглостью уверяли даже и сами «агенты», похваляясь тем что войска «не смеют» браковать их продукты, какого бы ни были они качества<sup>2</sup>.

Будучи невольно свидетельницей таких разговоров и нареканий, Тамаре не раз приходилось краснеть, испытывая в душе жгучее чувство неловкости, стыда и досады. Ей все казалось, будто по типу лица все непременно должны угадывать в ней еврейку, плоть от плоти и кость от кости этих самых «товарищей» и «агентов», и что все эти укоры и все презрение, с какими говорят о них, косвенным образом относятся и к ней, как еврейке. Ей было больно и стыдно за этих своих «братий» по происхождению; она чувствовала, что ненавидит и презирает их за такие дела может быть более, чем те, которые говорят, но высказывать это вслух претило ей какое-то особенное нравственное чувство,— не то самолюбие, не то гордость,— а что, мол, как мне скажут или подумают на это: что вы возмущаетесь, чего бранитесь, ведь вы сами еврейка!— Она чувствовала, что от такого отношения к ней не защитит ее даже принятое ею христианство, что по крови она все-таки «жидовка» и, в глазах большинства, в глазах толпы, навсегда «жидовкой» и останется. Скрывать свое происхождение, или отречься от него?— Но это казалось ей малодушием, низостью, даже смешным. Поэтому оставалось только молчать и таить в себе свое болезненное чувство неловкости и стыда, которое становилось от этого еще колющее и больнее.

Присутствие русских войск было заметно повсюду. Там и сям белели в стороне палатки больших лагерей и серели обозы, расположившиеся на биваках. По шоссе, которое местами шло рядом с железной дорогой, тянулись эшелоны войск, артиллерия, парки и длинные обозы. В авангардах шли казацьи сотни в белых фуражках. Ротные собаки, высунув язык, понуро плелись за своими кормильцами. Удушливая жара уже с семи часов утра нестерпимо донимает и людей и животных. Не слышать ни говора, ни песен.

---

<sup>1</sup> А именно, пункт 6-й условия, заключенного «Товариществом Греггер, Горвиц и Коган» с полевым интендантством действующей армии 16-го апреля 1877 г.

<sup>2</sup> Пункт 9-й условия «Товарищества» с полевым интендантством, заключенного 16-го апреля 1877г.



Батальоны двигаются молча, медленно, но безостановочно, словно бы ползут, как гигантская змея, свиваясь и развиваясь длинной лентой. Из вагона, и нескольких шагах от шоссе, видно очень ясно, как с усталых, запыленных лиц катится пот; белые рубахи не только мокры, но даже посерели от поту и липнут к плечам, к рукам, к груди; молодые солдаты изогнулись, что называется, в три погибели под навьюченную на них тяжестью ранцев, подсумков с боевыми патронами и скатанных через плечо шинелей. Но отсталых что-то не видать. Хотя и тяжело, очень тяжело людям, но заметно, что они успели уже постепенно втянуться в трудное дело похода. И глядя на них, Тамара невольно преисполнялась сочувствием к этим людям и почтительным удивлением к их бесконечной выносливости и упорному терпению, к их молчаливой и безропотной, но великой страде.

Изредка мелькали по пути румынские города и местечки, где в зелени садов виднелись бледные стены глинобитных хаток, черепичные и белые жестяные кровли уютных домиков и жестяные купола церквей, как серебро сверкавшие на солнце. Неподалеку от станции, по большей части, располагался временный базар, наполненный множеством неуклюжих «каруц», разномастных лошадей, пепельно-серых волов и пестрым народом, в широкополых шляпах или высоких бараньих шапках, среди которого мелькали знакомые фигуры русских солдатиков, отлучившихся за покупками с ближайшего бивака. На станциях разводные пути обыкновенно были заставлены несколькими военными поездами, ожидавшими своей очереди к дальнейшей отправке; на одном из них казаки с лошадьми, на другом артиллерия, на третьем саперная команда вместе с моряками, морские цепи, якоря, канаты и сети для вылавливания торпед: на нескольких платформах — лодки-миноноски, покрытые брезентами. Из вагонов несутся звуки солдатских песен с бубнами, «ложками» и гармониками. Галереи дебаркадеров всегда кишели народом, среди которого преобладал военный элемент — русский и румынский. Но последний, даже и на женский взгляд сестер, в сравнении со своим, русским, мало отличался молодцеватостью и военной выправкой.

— Куда им до наших!— говорила сестра Степанида, особенно ревнивая ко всему «своему», «русскому» — И сравнения нет! Как можно!.. Ну, поглядите, на милость, что за фигуры!

И глядя на эти румынские «фигуры», столь невыгодно для себя щекотавшие патристическое чувство сестры Степаниды, Тамара находила, что они и в самом деле похожи скорее на мирных граждан, вроде булочников, писцов, сапожников и парикмахеров, переряженных для чего-то в очень красивые военные костюмы и старающихся придать своим физиономиям и манерам бульварно французский характер. Ей все казалось, будто она уже видела их где-то за границей, на сцене, в какой-то оперетке Оффенбаха.

В дебаркадерной толпе всегда сновало несколько еврейских «агентов» компании «Греггер, Горвиц и Коган» и множество красивых «кукон» — румынских горожанок несколько животненного

типа, напоминающего собою откормленных пулярдок. Одни из них были одеты по последней, но несколько утрированной, парижской картинке мод, а другие щеголяли яркими, резко кидающимися в глаза нарядами, где преобладали желтый и пунцовый цвета. Русский говор раздавался повсюду, — даже с козел стоявших у станции щеголеватых «бирж», на которых восседали безбородые сектанты-возницы бабьего вида, в русских кучерских армяках, приглашавшие на чисто русском языке прокатиться по городу. Все это производило яркое, пестрое и веселое впечатление, которое однако везде отравлялось все тем же ропотом и жалобами на непомерную алчность «друзей и союзников». Торговцы и, преимущественно, евреи драли с офицеров и даже с солдат за трехфунтовый пшеничный хлеб по три франка. С сестер за стакан сельтерской воды из сифона брали на станциях по франку. Сразу почувствовали «друзья и союзники» безнаказанную возможность быстрой и наглой наживы на счет русского кармана. Жаль было в особенности солдат, которые сильно жаловались, что румыны и жида всячески надувают их при каждой покупке, при каждом размене денег, — и обмеривают, и обсчитывают самым безбожным образом. И, действительно, обирание в лавках и магазинах — офицеров, а на базарах — солдат, производилось в грандиозных размерах, по совершенно произвольному, фантастическому курсу. Наши полуимпериалы пошли вдруг ниже своей металлической стоимости. На протесты и старание так и сяк объясниться, в ответ следовало одно лишь пожимание и неизменное «нушти» (не знаю, не понимаю). В особенности жутко приходилось солдатам, у которых наши кредитки принимали по произвольному курсу, считая рубль за 2 франка и 35 сантимов, а от разменного серебра и вовсе отказывались. Во всем этом отличались настолько же румыны, насколько и евреи, в руках у которых сосредоточивается наибольшая часть румынской торговли и промышленности. Евреям же армия наша была обязана и тем неслыханным подъемом цен на все предметы первой жизненной необходимости, какой появился здесь после перехода русских войск через границу. Произошло это по предварительному негласному соглашению местных крупных евреев и административных чиновников с еврейскими агентами и уполномоченными компании Грегера, Горвица и Когана. Русские люди присутствовали тут при замечательном, небывалом доселе явлении: в прежние времена, когда какая-нибудь наполеоновская «grande armee» вступала в «дружественную» страну и начинала ее грабить посредством реквизиций, это никого не удивляло, почитаясь вполне естественным и чуть ли даже не легальным делом; теперь же, благодаря всемогущим жидам, «дружественная и союзная» страна грабила русскую армию, всецело и беспрекословно отданную на произвол самой бесшабашной и всесторонней эксплуатации алчной жидовы, и своей, и румынской. Эти мелкие «агенты» пресловутого «Товарищества», не довольствуясь крупным дождем серебряных рублей и полуимпериалов, ежедневно перепадавших в их укладистые карманы, с истинно жидовской скурпулезностью выгадывали в свою пользу каждый медный грош,

если им можно было попользоваться на счет безответного солдата. Отвратительнее и позорнее этого высасывания грошей и полушек трудно было представить себе что-либо, особенно в первое время. Потом уже наши пообтерлись и свыклись, но и до конца войны все же слышался глухой ропот, что армия в кабале у евреев.

\* \* \*

В Букарешт сестры Богоявленской общины приехали под вечер и остановились в заранее нанятой для них поместительной квартире, на одной из второстепенных, более тихих улиц. Впрочем, румынский «маленький Париж» (ибо румыны называют свою грязноватую, полуцыганскую-полужидовскую столицу не иначе, как «маленьким Парижем») и здесь давал-таки себя чувствовать. В окрестных садиках разных кабачков и кафешек, начиная с пяти часов пополудни и до четырех часов ночи, без усталости и почти без перерыва раздавались взвизгивания, свисты, нытье и завывание то цыганской музыки, то швабских певиц и арфисток, поощряемых шумными «браво», «бис» и неистовыми аплодисментами многочисленной и не совсем-то трезвой публики. То был чисто Содом музыкальный, всю ночь не дававший покою усталым сестрам. Соседние трактирчики и кофейни с утра и до поздней ночи были переполнены местными чиновниками, щеголеватыми офицерами, докторами, адвокатами, депутатами и.п.— вообще, людом среднего сословия, для которого наивысший интерес представляет политика и политическое пустословие. В тех же кофейнях, вместе с этим пустословием, почерпавшим свое вдохновение из венской «Neue Freie Presse»— самой распространенной здесь галеты,— с раннего утра шла уже публично самая жестокая игра в кости и карты. Международных шулеров при этом, конечно, было пропасть, и все они алчно пытливыми взглядами окидывали всякого русского офицера, когда тот заглядывал в кофейню или случайно подходил к игорным столикам. Вся эта Трактирная жизнь совершалась открыто, в садах и на улице, так что сестрам нашим поневоле приходилось быть ее свидетельницами из окон своих комнат. На той же улице, как и на тех остальных, с утра до ночи толклось немало праздного народа из низших сословий, преимущественно перед гостеприимными и широко раскрытыми дверями разных «кычурмы» (распивочных), заражавших окрестный воздух отвратительно спиртуозным запахом «ракии» и «мастики». Тупо глаза на что-нибудь, случайно обратившее на себя их внимание, они, бывало, стоят на месте словно пришибленные подавляющей апатией, скукой и ленью. Юркость уличному движению сообщили только вездесущие жидки, которые сновали туда и сюда, вынюхивали, высматривали, выслеживали и назоиливо приставали к русским офицерам с разными предложениями, в качестве факторов, комиссионеров, штучных продавцов, ручных торговцев и всевозможных гешефтмахеров. Иногда улица оживлялась также очень своеобразным шествием гражданской гвардии и резервистов на учебный плац. В среде этого воинства царил самый пестрый сброд всевозможных костюмов:

от крестьянской рубахи до щегольской жакетки и фрака, сплошь обритые лица и рядом — физиономии, украшенные всевозможной растительностью, цилиндры, смушковые шапочки, долгополые шляпы, очки, пенсне и монокли, пестрые штаны и жилетки, лакированные ботинки и рядом голые ноги какого-нибудь санюлота. Высокие и низенькие, толстые и тощие фигуры этих граждан-воинов, поставленных в ряды, без разбора и ранжира, вооруженных тесаками и ружьями, преважно шествовали по улицам не иначе, как под звуки рожков и барабанов, с развернутым батальонным знаменем и пестрыми ротными значками, в сопровождении досужей уличной толпы и прыгающих между рядами мальчишек. Спустя дня три по приезде, несколько сестер отпросились у начальницы в город. У каждой нашлась надобность в кое-каких маленьких покупках, а главное, каждой хотелось поближе посмотреть на большой незнакомый город, куда привела их судьба среди совершенно исключительных обстоятельств, взглянуть хоть мельком на его жизнь и характер. Сестер отпускали поочередно, небольшими партиями, и не иначе как в наемных фаэтонах, по здешнему — «биржах». В одной из таких партий отправилась и Тамара, на полезность которой в таких экскурсиях товарки ее особенно рассчитывали потому, что зная языки, она могла, в случае надобности, служить переводчицей при объяснениях в магазинах и лавках.

Как раз в это время в Букареште стоял самый развал его ежегодной весенней ярмарки, которая продолжается целую неделю с 9-го по 15-е мая. В эти дни весь Букарешт — плебейский и фешенебельный — одинаково стремится на ярмарочную площадь смотреть общую пляску простонародных охотников до подвижничества, подготовляющих себя к этому, своего рода, факирству сорокодневным постом и молитвою. Вереницы карет, фаэтонов, ландо, нетычанок и бричек тянутся цепью между густыми толпами народа. Музыка гремит в десяти, в двадцати местах разом и все разное; бухают турецкие барабаны, звякают металлические тарелки, визжат цыганские скрипки и дудки-нуи, тромбоны режут ухо своим усердным, но не всегда стройным аккомпанементом,— все это вместе с шумом игрушечных трещеток и кри-кри, звоном бубенчиков и колокольчиков, песнями и возгласами народной массы представляет хаос невозможных музыкальных диссонансов, но все это дышит таким весельем, такую жаждою жизни, которая сказывается и в этих диссонансах, и в яркой пестроте нарядов, и в этом неугомонном движении с раннего утра до поздней ночи, и все это вместе с тем так красиво и оригинально, что невольно подкупало в свою пользу посторонних зрителей, какими тогда являлись тут русские люди, заставляя и их увлекаться столь кипучею жизнью. При этом еще весенняя прозрачность лазурных небес, чудная нежащая теплота майского воздуха, яркое солнце и масса роскошной зелени,— везде фиалки, розы и жасмины; белая акация цветет на каждом шагу и разливает в воздухе свое одуряющее благоухание; постоянно снует перед глазами множество красивых женщин в национальных

костюмах или в весенне легких, прозрачных туалетах, множество мужчин в народном румынском, в ловком венгерском, в красивом арнаутском или славянском нарядах; множество горячих, страстных черных глаз юга...

9-е, 12-е, и 15-е числа мая месяца — это по преимуществу дни обетных плясунов на ярмарке, и в эти дни они пляшут свои народные пляски роману, хору и киндию уже до упаду, с утра и до поздней ночи. Тут обыкновенно посещает ярмарку княжеская чета со своим двором и вообще все высшее общество Букарешта в богатых национальных костюмах.

Путь наших сестер, отпросившихся на ярмарку, лежал чуть ли не через весь город, и улицы на всем протяжении их пути были переполнены народом. Открытые окна домов, балконы и террасы во вьющейся зелени были унижены рядами дам с живыми цветами в волосах, по большей части не покрытых шляпками, с букетами и веерами в руках. Мужчины преимущественно толпились внизу, на тротуарах. Конные жандармы в металлических шишаках, с карабинами, взятыми «на изготовку», стояли шпалерами. Вагоны трамвая, переполненные внутри и наверху пассажирами и изукрашенные гирляндами и флагами, порою едва могли двигаться за толпою; с высоты их имперялов раздавались звуки детских трещоток, погремущек и высвисты глиняных «уточек», которыми забавлялись не только дети, сколько взрослые, кричавшие почему-то ура и махавшие платками и детскими воздушными шарами. И над всею вереницей экипажей, всадников и пешеходов, над этими пиджаками, цилиндрами, барашковыми народными шапками и широкополыми шляпами, широкими интереу и тульпанами<sup>1</sup>, поповскими камилавками греческой формы и военными кепи,— над всем этим пестрым и веселым людом летали в воздухе бумажные змеи, красно-желто-синие (сочетание румынских государственных цветов) воздушные шары и, вместе с гомоном людских голосов, стоял гул от множества самых разнообразных возгласов продавцов дульчац (сластей), свежей воды, прохладительных напитков, табаку, игрушек и от множества не менее разнообразных высвистов, щелканья, звяканья трескотни и т.п. Длинным рядом тянулись палатки и балаганы с товарами, лотереями, народными ресторациями и разными представлениями заезжих фокусников, жонглеров, буфонов, магов и чревовещателей. Карусели кружатся, там и сям скрипит перекидные качели... Множество крестьянских возов с сельскими товарами протянулись длинными рядами; множество пестрых флагов на высоких шестах развеваются в воздухе... Все это было ярко, шумно, пестро и производило самое веселое впечатление. О турках здесь словно позабыли и думать.— За спиною русской армии, приблизившейся к Дунаю, все теперь были спокойны,— не то что две-три недели назад, когда столичное население в страхе помышляло о возможности турецкой переправы на левый берег под Журжевым. Но была и еще причина такой беззаботной веселости, причина самая веская, это — золотой дождь полуимперялов, который в изобилии

---

<sup>1</sup> Интереу — мужской кафтан, тульпан — женский головной убор.

лился в то время на Румынию из русских офицерских карманов и казенных денежных ящиков.

Следуя по Calea Mogochoy<sup>1</sup>, где тянулись две цепи экипажей,— одна в ту, другая в обратную сторону,— Тамара вдруг заметила в этой последней цепи фигуру графа Каржоля. Она вся встрепенулась, точно бы что радостно толкнуло ее в сердце, точно бы внутри ее вдруг электрическая искра пробежала. Он двигался ей навстречу в щегольском фаэтоне,— изящный, цветущий, элегантно одетый, как и всегда, с бутоньеркой из живых цветов в петлице легкого пальто и, как кажется, очень довольный собой. Да неужели он?!. Не может быть! Откуда ему взяться!.. Тамара всмотрелась в него пристальнее,— да, он! Он несомненно. Но какими судьбами? Как, почему он здесь, по какому случаю?.. Он, однако, не один: рядом с ним еще кто-то... сидят вдвоем и так оживленно разговаривают между собой... С кем это? Боже мой, да неужели?!.. И не веря даже собственным глазам, Тамара узнала в этом втором господине столь хорошо знакомого ей по Украинску, Абрама Иоселиовича Блудштейна. Тут она уже ровно ничего и понять не смогла. Каржоль и Блудштейн — вместе, вдвоем, что за странное явление?! Что между ними может быть общего? Не обманывается ли она?.. Может быть, это только случайное сходство, или игра ее собственного воображения, род галлюцинации какой-то:— Но нет, тысячу раз нет!— Это действительно граф и действительно «дядюшка» Блудштейн, напяливший для чего-то себе на затылок белую офицерскую фуражку с кокардой.— При довольно медленном движении экипажей, она имела достаточно времени, чтобы хорошо разглядеть и того и другого. Вся вспыхнув от радостного волнения, она во все глаза глядела на Каржоля, ожидая и даже будучи убеждена, что вот-вот сейчас он почувствует на себе ее взгляд, обернется в ее сторону: и взоры их встретятся... Она готова была закричать ему, даже выпрыгнуть из экипажа и броситься ему навстречу, но от этого порыва удержало ее присутствие сестер и, еще более,— странное, непонятное для нее присутствие Блудштейна. Пристально провожая графа глазами, после того как их экипажи разминулись между собой, она обернулась назад и несколько времени смотрела ему вслед, все еще надеясь, что авось-либо он оглянется и увидит ее... Но увы!— то было напрасное ожидание. Граф ее не заметил. Он настолько был поглощен каким-то, вероятно, очень деловым разговором с Абрамом Иоселиовичем, что казалось, ничего и никого, кроме своего собеседника, не видит. Но для Тамары и то уже было утешительно, что он здесь, в одном городе с нею, что она наконец нашла его... Стало быть, можно будет разыскать его, узнать его адрес, дать ему знать о себе, написать к нему. О, да! Она непременно все это сделает, сегодня же, сейчас же, как только вернется с сестрами домой,— она во что бы то ни стало с ним увидится она должна видеться... завтра, послезавтра, но во что бы то ни стало! Ей так много есть о чем передать ему, поговорить с ним, облегчить, отвести наконец свою душу, насладиться самим лицезрением милого, желанного человека.

---

<sup>1</sup> Главная улица Букарешта.

Тамара не сомневалась, что граф поспешит откликнуться ей в ту же минуту, как только узнает, что она здесь. Как удивится-то, как обрадуется!.. Но зачем сам-то он здесь? По каким делам?— Может быть, поступил в «Красный Крест» и назначен «уполномоченным»? Или приехал определяться волонтером в армию?.. Что ж, он так мужественен, так благороден, у него такие честные, гуманные убеждения, он так способен на увлечения, на самопожертвование... Война, бой — это такое, казалось ей, обаятельное для каждого мужчины, такое влекущее, притягивающее к себе явление, что было бы вполне естественно, если б на него откликнулся и граф — *la noblesee oblige*,— как откликнулись уже многие, добровольно переменившие свою блестящую гражданскую карьеру на мундир армейского солдата. Но в таком случае, зачем с ним тут этот Абрам Иоселиович? Что у них может быть общего, какие такие дела? О чем они могли так серьезно и озабоченно разговаривать?— Все это оставалось для Тамары странной, сбивающей с толку загадкой.

### **XIII. У ЕГО ЭКЦЕЛЕНЦИИ, ГОСПОДИНА МАРЗЕСКУ**

Граф действительно не заметил Тамару. В ту минуту он весь-был поглощен серьезным разговором с Абрамом Иоселиовичем по очень важному и интересному для них обоим гешефту. Абрам Иоселиович, взявший на себя часть громадного подряда по поставке на армию сухарей, желал бы открыть одну из своих сухарных фабрик в окрестностях Букарешта, близ одной из станций железной дороги, чтобы иметь возможность доставлять сухари частям войск в скорейший срок и кратчайшим путем. Но одно только это удобство не представляло еще для Блудштейна особенной выгоды, и даже самая фабрика сухарная была нужна ему не столь для дела, сколь для виду, для отвода глаз.— *Die Hund war nict hier begraben.*— Интимная сущность дела заключалась в том, что составленная Блудштейном «сухарная компания», во главе которой фиктивно фигурировало титулованное имя графа Каржоля де Нотрека (Сам Блудштейн оставался в тени и как-будто в стороне) договорилась с интендантством поставлять сухари с доставкой на места по 2 р. 80 к. за пуд. Интендантство за ценой не стоило,— благо деньги казенные и потребность для войск неотложная. Некоторую часть этой операции Абрам Иоселиович устроил в России, в Украинской губернии, где ему удалось передать производство выпечки крестьянам, по цене от 60-ти до 80-ти копеек за пуд, а самому явиться лишь в роли посредника между крестьянами и казною. Но главный «кунштстик» и ого дела состоял в том, что у Абрама Иоселиовича в самой Румынии оставались еще на руках значительные запасы хлеба в зерне и муке, которые он задешево скупил здесь, на месте, еще в то время, когда цены на хлеб не успели подняться,— хотя в «оправдательных» документах, засвидетельствованных ему разными румынскими «шефулами», «гувернорами» и «префектами» цены эти,

ради русской казны и были показаны выше действительных — и вот, теперь-то, в виду этих запасов, Абраму Иоселиовичу чрезвычайно хотелось бы привлечь к выпечке румынских крестьян, но привлечь так, чтобы их заставить покупать муку на сухари у него же, из его собственных складов, и покупать, разумеется, уже не по той дешевой цене, по какой он сам скупал свои продукты, а по нынешней, значительно повышенной. Расчет Блудштейна строился на том, что крестьянин, покупая муку у него и перепекая из нее хлеб в сухари, получал бы от «компании» за свой труд чистого барыша по 10 копеек с пуда, тогда как сам Блудштейн, кроме прибыльной разницы в цене на муку, выгадывал бы свой барыш еще на расстоянии и времени доставки, отправляя главную массу своих сухарей к войскам из Букарешта, вместо того, чтобы возить их из Украинской губернии.— Это, по крайней мере, втрое сокращало бы ему расходы по доставке. А так как подряд был взят его «компанией» почти на миллион пудов, то понятно, какие крупные барыши стянул бы он с казны не за что иное, как только за свое любезное посредничество или, собственно говоря, за «остроумие», за свою «игру ума» в выдумке ловкого фокуса. Но убедить румынских крестьян в «выгоде» для них покупать муку у Блудштейна и печь из нее сухари для него же, а в случае надобности, даже заставить их делать это, возможно было не иначе, как только при помощи известного давления на них со стороны подлежащих румынских властей. Требовалось, ни более, ни менее, как оплести и облапошить простодушного румынского «плугаря», связать его предварительно особым письменным условием. Но дело это казалось настолько щекотливым, что даже всепродажная и малоцеремонная мелкота румынской администрации не решалась брать его на собственный риск, несмотря на довольно крупные посулы Блудштейна. И таким-то образом, для Абрама Иоселиовича поневоле явилась необходимость втянуть в свое предприятие кого-либо из «крупных», заинтересовать этого «крупного» перспективой блестящих выгод, сделать его или участником будущих компанейских барышей, или дать ему одновременно хорошую взятку,— словом, так или иначе, «купить» его. Собственная богатая опытность в делах подобного рода, а отчасти и молва местных дельцов-евреев, указали ему на подходящего для него человека в лице одного из парламентских и министерских воротил, члена Братиановского правительства, через которого, буд-то бы, и не такие еще дела проходили и, главное, сходили с рук безнаказанно: он-де и для самого князя не раз устраивал не совсем-то легальным путем выгодные аферы по скупке государственных и частных земель и угодий, так что и сам-де князь, из боязни быть скомпрометированным, лично заинтересован в благополучии и безнаказанности этого своего фактотума,— стало быть, если кто и может помочь Блудштейну обработать его смелый гешефт, то это только «алуи экцеленц домнул Мерзеску». Первая удочка в указанном направлении была предварительно закинута Блудштейном личному секретарю этого крупного туза.— Ничего, клюнуло. Спустя два дня,



удовлетворенный секретарь на словах сообщил графу Каржолу, что «son excellence» изъявил благосклонную готовность выслушать «представителей» русской «сухарной компании» и даже сам соизволил выбрать для интимной аудиенции такой день и час, когда весь Букарешт был отвлечен ярмарочным празднеством и торжественным проездом на ярмарку румынского двора: меньше глаз, меньше шума. Между Блудштейном и Каржолем весь вопрос был теперь в том, как обработать половчее этого господина Марзеску, к которому в данную минуту они и направлялись, в качестве «представителей»,— удовлетворить ли его кушем теперь же, или завлечь барышами в будущем, в качестве компаньона? Каржоль стоял за первое, Блудштейн же более склонялся ко второму. Хотя подобного рода «деликатные» дела Абрам Иоселионович предпочитал обрабатывать с глазу на глаз, но тут, при предстоящем объяснении, никак не мог обойтись без Каржоля: граф был необходим ему, во-первых, как официальный представитель компании и, во-вторых, как человек, могущий объяснить, потому что сам Блудштейн, кроме «bonjour», «merci» и «charmant», ничего не понимал по-французски. Таким образом, все дело поневоле возлагалось им на дипломатическое искусство графа Каржоля.

«Дженераль» Мерзеску обитал в собственном, благоприобретенном небольшом, но очень уютно расположенном доме, с садом и разными архитектурными выкрутасами в наружных украшениях и пристройках, вроде бельведеров, фонариков и т.д. Когда наши «представители» подкатили к завитому виноградом подъезду внутри двора, их встретил швейцар с булавой и в министерской ливрее, довольно впрочем потертой. В украшенном лепной работой вестибюле, на массивных дубовых скамьях, частью дремали, частью резались между собой в карты несколько курьеров, ординарцев и каких-то домашних челядинцев, не удостоивших посетителей ни малейшим вниманием. Здесь сильно припахивало жженым «тютюном»<sup>1</sup> и на прекрасном мозаичном полу валялись папиросные окурки. Сразу было видно, что вся эта распушенная домашняя орда привыкла не стесняться присутствием в доме самого высокопоставленного хозяина и живет себе патриархально-халатною жизнью. Каржоль и Блудштейн подали швейцару свои визитные карточки и просили доложить о себе его превосходительству. Тот кликнул одного из дремавших курьеров. Этот последний, в расстегнутом форменном сюртуке, с грязным галстуком и манишкой, нехотя и огрызаясь на потревожившего его швейцара, поднялся с места, с неудовольствием принял от него карточки и понес их во внутренние «апартаменты», даже не потрудившись застегнуться. Спустя минуту, он возвратился в том же виде и, проговорив «пuffedим»<sup>2</sup>, взмахом головы пригласил гостей следовать за собой и проводил их через две приемные до запертых дверей кабинета. Тут курьер приостановился и, не столько ради самого себя, сколько для внушения гостям надлежащей почтительности к сановнику, сделал им вдруг таинственно предостерегающий жест,

---

<sup>1</sup> Тютюн — простонародный табак вроде махорки.

<sup>2</sup> Прошу, пожалуйста.

осторожно приоткрыв дверь и с благоговением по адресу его превосходительства, почти шепотом проговорил им: — Пуфтим! ынтратэ...<sup>1</sup>

Граф с Блудштейном тихо вступили в обширный кабинет сановной особы, где первые мгновения им показалось, что тут никого нет; но затем, осмотревшись, они заметили в глубине комнаты на широкой, низенькой оттоманке какую-то, лежащую задом к ним, жирнолядвенную мужскую фигуру, в легком чичунчовом пэтанлерчике и в одних носках, без сапог. Озадаченные и несколько смущенные такой неожиданностью, они остановились в нерешительности близ дверей, не зная уйти ли им, или оставаться. Но тут жирная фигура грузным увальнем повернулась в их сторону и, лениво приподнявшись с оттоманки, через плечо обратилась к ним по-французски с приглашением присесть, прибавив, что через минуту она к их услугам и, вслед затем, преспокойно приняла опять свою прежнюю выпяченную позу, каржоль с удивлением посмотрел на Блудштейна,— Блудштейн на Каржоля, а жирная туша занялась между тем чтением какой-то форменной деловой бумаги и, дочитав до конца, принялась лежа писать на ней сбоку карандашом свою резолюцию.

Каржоль, от нечего делать, поневоле занялся пока осматриванием обстановки этого кабинета. Посредине — большой письменный стол великолепной резной работы, с кипами деловых бумаг; вокруг него — несколько роскошных бархатных кресел, но уже с потертыми и обсаленными спинками. Между окнами — книжные шкафы и на них гипсовые бюсты Гарибальди и Кавура, как наглядное доказательство симпатий хозяина к либеральной и национально-объединительной политике. На полу — французские и азиатские ковры, из которых одни совсем еще новенькие, тогда как другие сильно уже потасканы и пообтрепаны. В стороне, на круглом столе куча разных румынских и иностранных, преимущественно венских газет. Из подпоровшегося бока оттоманки торчит мочало. На этажерках и покрытых богатыми, но уже запятнанными салфетками столах стоят разные венские безделушки, фотографические портреты и лампы двоякого сорта: или чересчур уж роскошные, или самые обычные. На стенах — несколько картин в тяжелых, роскошно золоченых рамах, и между ними, на первом месте, большой фотографический портрет князя, а против — объемистый масляный портретище самого господина Мерзеску, в залитом солнцем министерском мундире, со всеми регалиями и с рукою, внушительно наложенною на книги законов и конституционную хартию. Затем, между остальными картинами — ни одной сколько-нибудь порядочной: все какое-то шаблонно-рыночное малеванье, вроде швейцарских пейзажей, или даже венские олеографии, изображающие дородных, полуобнаженных, с вызывающими улыбками, красавиц с венской Rings-Strasse, да немецких католических патеров в комическом виде, отправляющих в нос понюшку табаку,

---

<sup>1</sup> Входите.

или самодовольно смакующих винцо перед бочкой в монастырских подвалах. Окна кабинета выходили в сад, наполненный клумбами прелестных цветов, которые однако же ужасно портило присутствие разноцветных зеркальных шаров всевозможных размеров, в поражающем изобилии насаженных среди этих клумб на зеленые тычинки. Словом, как в кабинете, так и в саду решительно на каждом шагу кидалась в глаза неуклюжая смесь банальной европейской роскоши с халатно-азиатскою грязцой и на всем этом лежала яркая печать неизмеримой пошлости, неизменного безвкусия и импонирующей претенциозности.

Жирная туша, кряхтя, пыхтя и сопя, лениво и грузно поднялась наконец с оттоманки, обтерла грязноватым носовым платком обильный пот с лица и шеи, насунула на ноги стоптанные туфли и, не позаботясь даже привести в приличный порядок свои панталоны и расстегнутый ворот крахмальной сорочки, вразвалку двинулась к письменному столу, приглашая вместе с тем и графа с Блудштейном занять места против себя в креслах.

— Извините, господа, задержал вас несколько,— начал Мерзеску по-французски небрежно оправдывающимся тоном.— Что делать, вы понимаете, дела государственной важности... А благодаря нашествию на нас ваших «дружественных» войск, дел еще больше стало... Просто, мочи нет! Не дают покою ни днем ни ночью... Да, могу сказать, эта ваша «освободительная» война нам уже вот где сидит!

И он похлопал себя ладонью по жирному красному затылку.

Все это ужасно коробило элегантного Каржоля, тем более, что он, по настоянию Блудштейна, разлетелся к Мерзеску во фраке и белом галстуке (Блудштейн тоже был во фраке и даже с полунатянутой на руку перчаткой), а этот румынский «хам» вдруг принимает их в туфлях и расстегнутых панталонах, ничуть даже не смущаясь такую бесцеремонною неряшливостью и даже руки не протянул ни тому, ни другому,— не удостоил!

Сановник, между тем, зевнул, почесал всею пятернею свою волосатую грудь, причем кстати пожаловался на ужасную жару и блох, от которых нигде, даже в княжеском дворце, нет спасения, а затем, как бы вспомнив о чем-то, громко захлопал п ладоши и закричал по направлению к двери:

— Гей!.. Чине акало?!.. Ла службэ!.. Куриере!.. Вин ынкочэ!<sup>1</sup>

На этот зов появился курьер и остановился в дверях, вопросительно глядя на сановника.

— Дэм ачестор домулор де дульчац ши ракиу!<sup>2</sup>— приказал ему сановник, указав пальцем на своих посетителей.

Через минуту какой-то небритый, но ливрейный гайдук, с продранным локтем и с сильным чесночным букетом от собственного дыхания, принес на мельхиоровом подносе блюдечко

---

<sup>1</sup> Эй, кто там?! Чиновник! Курьер! Поди сюда!

<sup>2</sup> Подай этим господам дульчац и ракии.

розового варенья с одной ложечкой на обоих гостей и два стакана холодной воды. Тут же стоял и граненый графинчик ракии. Гайдук принялся было наливать гостям по рюмке водки, но от нее отказались, ограничились одной водой с вареньем, от которой, в силу обычая, отказаться было нельзя. Сановник достал из своего портсигара две самодельные вечерние папироски и предложил их гостям, а сам закурил из большого янтарного мундштука третью.

— И так, господа, что вы скажете? в чем ваша просьба?— начал он деловым тоном, после того, как необходимая церемония была окончена и гайдук удалился из кабинета.— Только предупреждаю: более десяти минут не могу уделить вам,— дела, нетерпящие дела, вы понимаете.

Каржоль изящным французским языком обстоятельно начал излагать ему дело, не забывая вставлять в свою речь титул «excellence», который отчеканивал с особенной, ласкающей ухо грацией и почтительностью, и следя в то же время, какое впечатление производит его доклад на господина Мерзеску.

Господин Мерзеску слушал внимательно и только наматывал себе на ус, не выражая никакими внешними проявлениями ни своего одобрения, ни своего несогласия. Это был коренастый и тучный брюнет лет пятидесяти, с сиво-курчавой шевелюрой над низким лбом, с плотоядно широкими скулами и пронизательно хитрыми черными глазками, которые нагло выглядывали из припухлых век и мешковатых подглазий, осененные густыми, широкими бровями. Подкрашенные черные усы и такая же французская «люишка», на мясистом подбородке придавали ему скорее типичный характер какого-нибудь видавшего виды курзального крупье, чем государственного сановника. Господин Мерзеску являл собою продукт той печально-знаменательной эпохи, когда после 1856 года взоры боярской Молдо-Валахии отвернулись от Востока и всецело обратились на Запад, ища и чая исключительно там своих идеалов и своего спасения и обновления, причем «интеллигентное» правительство и «либеральная» палата прежде всего постаралась изгнать свою древнюю кириллицу и заменить ее латинским алфавитом, и когда, сообразно такому началу, пошла радикальная ломка почти всех остальных форм и порядков прежней самобытной жизни. Для господина Мерзеску, как и для современного «цивилизованного» румына, необходимо воспитавшегося на венской Rings-Strasse или на парижских бульварах, наивысший социальный и нравственный идеал, к которому он стремится всею душой и всеми помыслами, составляют оппортунистический либерализм и Париж, но не столько нынешний, сколько наполеоновский,— Париж Второй империи, со всем его мишурным блеском, нарядной внешностью и внутренней пустотой и гнилью разврата общественного и семейного, с его широкою продажною — от высших сфер и министерских кабинетов до сокровенных сфер супружеского алькова включительно,— с его скаредностью и жадностью, с бесшабашным стремлением к быстрой, хотя бы и темной наживе, с легкомысленным поверхностным отношением ко всему на свете, кроме интересов собственного кармана, с полным индифферентизмом к религии,

к семье, к гражданским обязанностям и, наконец, с его громким, но пустым газетным и парламентским фразерством. Оффенбаховщина и бульварность в жизни, в нравах, в модах, в идеях и стремлениях вместе с полуцыганско-полуазиатскою неряшливостью, гряззой и цинизмом во внутренней своей сущности и в домашних, непоказных порядках,— такова была нравственная физиономия господина Мерзеску, этого столпа румынской государственности.

Выслушав внимательно, с министерскою миной, деловой Доклад Каржолья, «алуи экцеленц», прежде чем дать какой-либо ответ, широковещательно пустился нести околесную, мало и вовсе даже не касавшуюся изложенного ему дела, и высказал при этом столько беспредельного фанфаронства, столько самомнения, самонадеянности, хвастовства и замечательной легкомысленности, что даже у Каржолья засосало под ложечкой от нервно-тоскливого нетерпения, «да когда же, черт тебя возьми, ты кончишь, когда наконец перейдешь к делу!» А Мерзеску, между тем, забыв про свои «нетерпящие дела», говорил и говорил без конца обо всем, что взбрело ему на мысль, кроме самого дела, кроме его сущности. Как будто нарочно желая истомить своих слушателей, он распространялся о своем «дорогом отечестве», о Румынии и румынах, которые-де справедливо почитают себя высшею культурной расой в Европе, как прямые потомки древних Римлян (и европейская наука согласна с этим) и как преемственные носители идей европейской цивилизации, свободы и т.п. Много и долго говорил он и о «великой, священной миссии» румынского народа и правительства, о его важном и государственном значении для Европы,— на чью-де сторону политических весов будет брошен румынский меч, тому и достанется победа,— даже почему-то счел нужным успокоить Каржолья, как русского, словами «N'ayez pas peur, nous sommes avec vous!» покровительственно похлопав при этом его по плечу,— и затем перешел к пространному самовосхвалению: нашу-де страну нельзя трактовать, как вашу или какую-нибудь, с позволения сказать, Турцию, мы-де конституционное государство,— не забывают этого: «кон-сти-ту-ционное!»— наш парламент один из самых образцовых в мире, наши ораторы блещут демосфеновским и Цицероновским гением и к их заявлениям должны-де прислушиваться, а нередко и сообразоваться с ними «кабинеты» и политики целой Европы, даже сам Бисмарк!.. Наша журналистика «высоко держит свое знамя» и играет выдающуюся, почетную роль даже за пределами Румынии, наша армия, наши финансы, наше просвещение и т.д. и т.д. Но важнее всего, по словам Мерзеску, это то, что румынская нация, будучи «самою древней» нацией Европы, есть в то же время и ее самая молодая, самая передовая и самая либеральная нация, стоящая-де твердым оплотом культурной Европы против наплыва варварства. В этом-то, по объяснению «алуи экцеленцы», и состоит «великая миссия Румынии».

Если Каржоль изнемогал, слушая всю эту бесконечную болтовню, то Абрам Иоселиович, ровно ничего в ней не понимавший, но тем не менее заставлявший себя любезно улыбаться

и поддакивать кивками каждый раз, когда сановный оратор удостоивал его своим благосклонным взглядом,— этот несчастный Абрам Иоселиович впал в окончательное уныние и, жарясь в собственном соку, только отпыхивался да обтирал пот, ручьями катившийся у него по лицу от духоты знойного дня, а еще более от столь продолжительного напряжения в бесплодном ожидании,— чем же, наконец, и когда все это разрешится?!

Уловив удобную минуту, Каржоль решился еще раз спросить его превосходительство,— как же быть насчет дела, по которому собственно они удостоены его превосходительством аудиенции? Может ли «компания» рассчитывать на благосклонное содействие его превосходительства?

— То есть, видите ли,— многозначительно начал Мерзеску, подумав и вновь напуская на себя всю министерскую важность.— В принципе, я ничего не имею, напротив, даже очень рад, чтобы наш крестьянин получал от «компаний» лишний заработок,— это уже дело его свободного соглашения с вами. Ровно ничего не имею и против того, чтобы крестьянин покупал муку из ваших складов, если это будет ему выгодно. Но заставить его покупать только у вас, это... это... согласитесь, как же так!? Мы ведь, не забываяте, живем в конституционном государстве... Это значило бы стеснять и ограничивать свободу граждан распорядиться своими экономическими действиями. Это невозможно!— категорически порешил Мерзеску.— Может быть, оно мыслимо в какой-нибудь Турции,— продолжал он с усмешкой презрительного снисхождения,— или у вас в России, где революция социальных и экономических отношений еще не стерла следов крепостного рабства; но в свободной Румынии... Нет, господа, это вы заблуждаетесь! У нас этого нельзя!..

Каржоль переглянулся с Блудштейном и взялся за шляпу, полагая, что после такого решительного отказа дальше разговаривать незачем; но господин Мерзеску, заметив это, поспешил предупредить его дальнейшее движение.

— Предложите крестьянам просто известную цену за пуд сухарей,— заговорил он тоном доброжелательного советника,— возьмутся они — прекрасно... Ведь вам лишь бы были сухари, а там из какой уж муки они напекут их,— это их дело, лишь бы сухарь удовлетворял условиям... А хотите непременно печь из своей, ну тогда нанимайте крестьян просто работниками к себе на фабрику. Кажется, это так ясно!

— Но тогда что же делать с нашими складами?— возразил Каржоль.— Одна фабрика не в состоянии перепечь такое количество к обусловленному сроку.

— Не в состоянии, так что ж?— Заводите другую, заводите третью, четвертую,— это уж ваше дело.

— Да, но это требует времени,— вздохнул Каржоль.— Времени и таких громадных затрат, которые значительно уменьшили бы выгоды подряда, даже свели бы их на нуль, а между тем время не ждет, мы связаны сроком,— это главное.

Сановник только пожал плечами: очень жаль-де, но

ничего тут сделать не могу.

Каржоль опять взялся за шляпу.

— Очень прискорбно,— заговорил - он суховатым тоном сдержанного сожаления.— Придется, значит, всю операцию перенести в Россию... А мы было рассчитывали заинтересовать более существенным образом ваше превосходительство лично,— прибавил он с заманчиво загадочным выражением.

— То есть, как это?— поднял брови и насторожил уши Мерзеску.

— Мы было думали... предложить участие,— пояснил граф самым мягким и деликатным образом.— И мы считаем, что были бы счастливы, если бы ваше превосходительство сооблаговолили принять от нас крупный пай, в качестве нашего компаньона.

— Благодарю вас, господа, но... к сожалению, я не имею свободных денег на покупку ваших паев,— улыбнулся Мерзеску с видом притворной скромности.— В маленькой Румынии министерские должности оплачиваются далеко не такими крупными суммами, как в России.

— О!... денег не требуется,— поспешил предупредить его Каржоль.— Совсем не требуется... Зачем тут деньги, помилуйте!— Вместо известной суммы, вы вложили бы в дело ваше благосклонное покровительство, ваше нравственное содействие нам своим могущественным влиянием, своим высоким положением... Это одно уже настолько обеспечило бы нам успех дела, что «компания» охотно могла бы считать вас дольщиком четвертой части ее барышей.

— Очень благодарен,— коротко поклонился Мерзеску.— Но... мой официальный пост... мое ответственное положение перед палатой и перед короной... наконец, наше свободное общественное мнение, которым конституционный министр не может пренебрегать,— все это лишает меня возможности гласно связывать свое имя с частным предприятием такого рода.

— О, поверьте, ваше превосходительство,— убедительно и веско заметил Каржоль, с видом благородного достоинства,— поверьте, «компания» сумела бы строго и свято хранить тайну вашего участия... Мы гарантируем вам полнейшее инкогнито. .. Да и разглашать а нем вовсе даже не в наших интересах.

— Пусть так,— согласился Мерзеску уже несколько колеблясь.— Но... подумайте, господа,— у меня и времени нет, чтобы посвящать его, кроме государственных дел, еще и вашей «компании»... Ведь тут надо будет уже постоянно и непосредственно следить за ходом ее операций, за учетом, за бухгалтерией и прочее... А это все такие для меня мелочи, заниматься которыми при моих трудах, я решительно не имею возможности... И потом,— продолжал он.— Вы говорите, барыши. Хорошо, ведь это барыши в более или менее отдаленном будущем... Бог весть, какие это еще будут барыши,— будут ли они соответствовать всем хлопотам и трудам, да и самому риску, какие потребуется внести в дело теперь же, сейчас... Это все весьма и весьма еще проблематично.

— «Компания» готова избавить ваше превосходительство от всех подобных забот и хлопот,— заявил Каржоль.— Это, разумеется, черная работа, и не государственному же уму заниматься ею, мы это хорошо понимаем. Но тут дело не в этом,— дело лишь в маленьком нравственном содействии. Вот и все. Да и зачем подвергать вас долгим ожиданиям и риску?!— Позвольте заявить вам, что для «компании», в виду верности ее предприятия, ничего не составило бы, в обеспечение интересов собственно вашего превосходительства, как негласного компаньона, выделить вам известный капитал, в счет будущих барышей, теперь же, еще до начала дела.

— А, да, это другое дело,— глубокомысленно согласился Мерзеску и несколько призадумался, как бы соображая что-то.

— А как могут быть велики ваши барыши?— спросил он деловым тоном, пытливо прищурясь на один глаз.— На сколько, примерно, вы рассчитываете;

— Приблизительно, на миллион рублей... Может быть, несколько менее, но в среднем — миллион.

— Хм... Стало быть, четвертая доля — двести пятьдесят тысяч, так?

— Двести пятьдесят, ваше превосходительство,— слегка поклонился граф.

— Хм... А может быть и триста?— с плутоватой улыбкой подминал ему Мерзеску.

— Может, и триста, но может быть и двести, и полтора... Это пока еще трудно определить,— дело риска.

— Так. Но может быть и четыреста?.., а?.. Четыреста тысяч, что вы на это скажете, мой милый?

— Нет, на четыреста «компания» ни в каком случае не рассчитывает: это уже превышало бы размеры ее предприятия,— решительно отрезал ему Каржоль с деловитой твердостью. Он ясно видел, что Мерзеску торгуется и думает сорвать с них побольше, и хотя виды «компании», в сущности, простирались более чем на полтора миллиона чистой прибыли, но не в ее расчетах было уделять одному Мерзеску свыше двухсот пятидесяти тысяч, особенно принимая во внимание, что придется еще дать тысяч пятнадцать его личному секретарю, да тысяч пятьдесят раздать разным министерским чиновникам, провинциальным префектам, цинутным исправникам, с которыми, по отношению к крестьянам, «компания» придется иметь непосредственно дело: надо, чтобы все рты были замазаны, а на это, еще до начала дела, выходит уже более трехсот тысяч. Поэтому Каржоль решил дать твердый отпор Мерзеску и не прибавлял к назначенной сумме ни одной полушки.

— Вы говорите, ни в каком случае?— с недоверчивой усмешкой переспросил сановник.— Полноте, милеиший!.. Я уверен, что «компания» ваша сдерет с русского правительства на одном этом деле, по крайней мере, два миллиона. Дело ясное. Ведь вы только одна из секции Грегеровского «товарищества»? Ну, а там дело пахнет десятками, сотнями миллионов... Ха-ха!.. Parlez-moi de ca!.. Et au fond,— прибавил Мерзеску, с покровительственной фамильярностью похлопывая графа по плечу,— для такого тароватого правительства как



ваше, pour l'armee des liberateurs (последнее слово было произнесено с явно насмешливой иронией), что такое значит одним-двумя миллионами больше или меньше... Peuh!.. Ведь вы воюете не из-за благ земных, а «из-за идеи»!

Сколь ни беззаботен, в сущности, был граф в качестве, «просвещенного человека» к «узким» понятиям о национальной гордости и национальном достоинстве, почитая их продуктом «Катковского патриотизма» (он был постоянный читатель и поклонник «Голоса»), но тут, при виде такой наглости, даже и его взорвало, так что впыхнув он едва удержался, чтобы не бросить в лицо «этому хаму» на его же родном языке «а фиу де кынэ», то есть собачьего сына. Впрочем, памятуя интересы своей «компании», граф ограничился лишь тем, что поживаясь, с явным неудовольствием, высвободил свое плечо из-под фамиллярной ладони Мерзеску и сдержанно заметил ему, что как бы то ни было, однако же, и сама Румыния, тем что она есть, обязана, кажется, все той же «идее» и той же «l'armee des liberateurs».

Мерзеску с удивлением поднял свои брови, точно бы услышал нечто чудовищно невероятное и нелепое. Последовала даже некоторая пауза.

— Румыния, милостивый государь,— проговорил он внушительно-размеренным тоном,— Румыния, тем что она есть, обязана не чему иному, как Парижскому конгрессу 1856 года,— примите к сведению эту историческую справку.

— Ну, на это много чего нашлось бы возразить,— заметил Каржоль,— но мы явились сюда не для политических диспутов; поэтому позвольте мне, ваше превосходительство, возвратиться к нашему делу.

— Et bien, mon cher?

— Позвольте повторить, что на четыреста тысяч — ни в каком случае,— подчеркнул Каржоль решительно и сухо.— Мы потому и кладем на долю вашего превосходительства двести пятьдесят, что это и для вас, и для нас безобидно. А нет,— мы переносим всю операцию в Россию.

— Ха-ха-ха!.. Quelle blague! quelle blague!.. Шутники вы, право!— рассмеялся Мерзеску принужденным смехом, принимая опять дружески фамиллярный тон.— Mais, tout de meme, vous etes bon garçon,— продолжал он, снова норовя покровительственно похлопать по плечу графа Каржоля,— et c'est pour ca que je voudrais faire quelque chose pour vous. Так двести пятьдесят, вы говорите?.. Что ж, все равно, пускай по-вашему!— Но только помните!— остерегающе поднял он указательный перст, украшенный крупным брильянтовым перстнем.— Я готов помогать вам, но прежде всего, инкогнито!.. Малейшая нескромность,— и я умываю руки, я бросаю вас, даже более, я разрушу все!.. Понимаете ли, все. Надеюсь, вы должны оценить мою снисходительность.

Каржоль сделал глубоко почтительный поклон в знак согласия и признательности.

Сделка была заключена к обоюдному удовольствию. Условились, что Каржоль официально представит «алую экзеленцу» докладную записку, с изложением своего проекта, где постарается

особенно оттенить всю выгодность этого дела для румынских крестьян и, вообще, всю великую пользу его для народного благосостояния, при том условии, если крестьяне возьмутся перепекать для «компаний» сухари, покупая муку из складов г-на Блудштейна, так как г-н Блудштейн готов уступать муку этим крестьянам несколько дешевле против существующих справочных цен. Абрам Иоселиович, действительно, готов был сделать маленькую скидку, копеек на пять с пуда, ибо по его расчетам, даже и при такой уступке, барыши его все-таки будут громадны. Да и нужно же было чем-нибудь мотивировать необходимость забирать муку исключительно из его складов!— Господин Мерзеску, со своей стороны, обещал благосклонно принять к исполнению проект Каржоль и, ввиду народных польз и выгод, особо рекомендовать префектам, чтобы те, в свою очередь, приложили старания внушить, растолковать крестьянам эти пользы и выгоды, убедить и даже нравственно понудить их братья за столь благое дело. Кроме того, Мерзеску обещал не препятствовать «компаниям», если она, при заключении своих сделок с крестьянами, будет обязывать их особым маленьким условием, в форме печатного контракта, где, между прочим, будет включено и обязательство брать муку из таких-то и таких-то складов по такой-то цене, впредь до изменения обстоятельств, и что крестьяне, в случае нарушения ими сего условия, или непредоставления в срок взятого на себя мелкого подряда, ответственны перед «компанией» своим имуществом; «компания» же, ввиду возможной перемены военных или политических обстоятельств, вроде отступления русской армии в пределы России, или внезапного заключения мира, оставляет за собой право прекратить дальнейший прием уже выпеченных крестьянами сухарей и за них денежно не отвечает.— «Но понятно, пояснил Каржоль, что это предложение едва ли осуществимо и вставляется только так, ради формальности. Что же до пункта об имущественной ответственности крестьян, то и это только так,— более в смысле известного стимула, чтобы побудить их быть аккуратными в сроках доставки и сдачи сухарей «компаниям».

Мерзеску почти не возражал и, в конце концов, на все согласился. Блудштейн тут же вынул и положил ему на стол пятьдесят тысяч рублей банковыми билетами, в виде задатка, и обещал, что следующие сто тысяч будут вручены его превосходительству при начале дела,— то есть, когда его превосходительство отдаст все надлежащие по сему делу распоряжения, и, наконец, остальные сто тысяч — при конце операции, приблизительно, месяца через четыре. Расстались они совершенными друзьями, и господин Мерзеску, на прощанье, очень благосклонно стал пожимать руку тому и другому и даже сам любезно проводил их до дверей кабинета.

#### **XIV. ПО ПРИМЕРУ СТРАУСОВ**

На улицах уже стемнело и зажигались фонари, когда граф Каржоль возвращался вместе с Блудштейном от господина

Мерзеску в «Hotel Metropol» — лучшую гостиницу в Бухареште, где они занимали рядом одни из первых номеров бельэтажа.

При входе, немец-швейцар доложил графу, что его уже около часу времени ожидает человек с каким-то письмом, на которое просят-де ответа, и указал ему на посыльного в форменной фуражке с бляхой. Тот приблизился и почтительно подал Каржолу небольшой заклеенный конвертик. Граф посмотрел на адрес, — рука женская и как будто есть в ней что-то знакомое. Странно... Не понимая, от кого могло бы это быть, он вскрыл конверт и, при свете газовых рожков, быстро стал пробегать глазами небольшую записку. Лицо его вдруг побледнело и брови тревожно нахмурились.

«Я в Бухареште, в числе сестер милосердия Петербургской Богоявленской Общины», читал он в этой записке. «Случайно встретив вас сегодня на «Mogochou», узнала ваш адрес и спешу дать вам о себе весточку. С нетерпением жду ответа, и завтра целый день буду ожидать вас. Тамара». Далее следовал ее адрес.

Не веря собственным глазам, Каржоль еще и еще раз перечитал письмо и, в досадливой озабоченности, не зная, как быть, невольным движением схватился за голову.

— Што такое? В чем делу? — любопытно приступил к нему Блудштейн, от которого не ускользнула внезапная перемена в лице и встревоженность графа. — Письмо?.. а?.. От кого письмо?

— Нет, так... пустяки, — вскользь ответил ему Каржоль, пряча записку в карман. — «Не достает только, чтоб и этот скот узнал, что она здесь!» подумалось ему по адресу Блудштейна и, вместе с тем, в голову пришло справедливое опасение, что узнай это, в самом деле, Блудштейн, — он непременно подстроит тайком какую-нибудь жидовскую каверзу и, чего доброго, найдет возможность сообщить стороною Тамаре о женитьбе графа на Ольге. Такая мысль впервые смутно мелькнула у него в уме еще во время чтения записки, — и граф почти инстинктивно испугался и этой мысли, и того, что Тамара здесь, в Бухареште, и что она может узнать всю правду... Из самого тона ее письма, скорее, однако, можно было заключить, что ей пока ровно ничего не известно. — «А что как вдруг... как вдруг она все, все узнает?!. Придет сюда, или случайно встретится с Блудштейном — даже может встретиться здесь, в этой самой гостинице, в коридоре, на лестнице, мало ли где! — и тот ей все расскажет... Господи!» — одно уже это ужасное предположение, что Тамара может узнать про него всю неприглядную, не прикрашенную правду, обдавало его холодом, точно бы он преступник, видящий, что его скверное преступление вот-вот готово раскрыться и беспощадно уличить его во всей его мерзости, а он не имеет ни сил, ни возможности помешать этому... Фу! точно кошмар какой-то.

— Нет, в самом деле, от кого это?.. Кажется неприятное што-то?.. Уж не по нашему ли делу?.. а?.. — приставал к нему, между тем, Блудштейн с видом заботливого участия, снедаемый в душе зудом чисто жидовского любопытства.

— Ах, да отстаньте!— досадливо оборвал его Каржоль.— Никакого тут «дела» нет,— просто, от женщины... от знакомой одной, и только.

— От женщины?— с шутливым лукавством кивнул на него Блудштейн.— Н-ну, это другое дело!.. Какой ви однако зух, насчет женщинов!.. Ай-яй, какой зух!.. Все женщины, везде у вас женщины... Н-ну!?

Граф, не обращая больше на него внимания, повернулся к посыльному и спросил, говорит ли он по-русски?

— Русешти нушти,— пожал он плечами,— aber ich kann etwas deutsch sprechen, Excellenz.

— Ну, и прекрасно. Ступай за мною.

Он привел его в свой номер и запер дверь на ключ, чтобы, часом, не сунул сюда свой нос этот проныра Блудштейн. Надо было обстоятельно расспросить посыльного — от кого, как и где получил он письмо для передачи? Оказалось, что какая-то русская барышня,— судя по костюму сестра милосердия,— проезжая в «бирже» с тремя другими «сестрами» по «Салеа Могочоу», приказала извозчику остановиться на углу, где в ту минуту стоял этот посыльный, подозвала его к себе, написала карандашом на листке из записной книжки фамилию графа Каржоль и приказала ему сейчас же узнать в префектуре его адрес и немедленно сообщить ей в улицу такую-то, дом N такой-то, где живут русские «сестры». Он исполнил поручение, за что барышня дала ему два франка и вручила для передачи графу записку, прося непременно дожждаться от него ответа.

«Ответа... Гм!..» призадумался граф и стал озабоченно и сумрачно шагать по комнате.— Как же тут быть?.. Отвечать... но что отвечать? Отвечать надо что-нибудь определенное... Одно из двух: или порвать все прошлое сразу и навсегда, не объясняя даже причин, или же видеться... сегодня — завтра, во всяком случае, не позже завтрашнего дня. Видеться,— но что сказать ей при свидании? Как и чем объяснить и оправдать свое исчезновение из Украинска и все дальнейшее поведение свое относительно нее, после этого несчастного бегства?— А объяснить неизбежно придется,— она наверное спросит об этом... Признаться во всем, раскрыть всю горькую правду, не щадя себя,— но в каком же, однако, свете изобразит он себя пред Тамарой? Что она после этого может подумать о нем и как будет смотреть на него, на человека, ради которого принесла в жертву все, самое дорогое, самое заветное, тогда как он до сих пор ни разу не подал ей о себе вести, даже не подумал узнать, где она и что с ней! и вдруг, такой неожиданный, негданный случай,— эта встреча некстати на «Могочоу»... Господи, что ж теперь делать?!

Решительно не придумав, как ему быть, и не будучи в ту минуту в состоянии решиться ни на свидание, ни на отказ, ни даже на какой бы то ни было ответ Тамаре, Каржоль, как страус, при виде опасности, прячущий голову в куст, остановился на мысли, что лучше всего не видеться и не отвечать ей вовсе, до тех пор, пока он не обдумает спокойно и на досуге — как оправдать себя в ее глазах и, вообще, какого плана

держаться относительно ее на будущее время,— рвать ли все разом, или... почем знать, может обстоятельства впоследствии сложатся еще как-нибудь так, что вдруг представится какой-либо иной лучший исход... Какой это мог бы быть исход, Каржолю самому еще не было ясно. Ему казалось только, что надо все предоставить времени,— время-де все выяснит, устроит и сгладит так или иначе все шероховатости и шипы нынешнего его положения... Время, быть может, и оправдает его пред Тамарой, но пока, в настоящую минуту и при настоящих обстоятельствах, когда еще и этот Блудштейн тут под боком, лучше не видется и не отвечать ей ни слова. А еще лучше — уехать бы на несколько дней из Бухарешта... ну, хоть в Плоэшты, что ли, да и Блудштейна, кстати, прихватить с собой. Так-то, кажись, по-надежнее будет. А тем временем, князь Черкасский<sup>1</sup>, может быть, и этих богоявленских сестер куда-нибудь сплавит подальше.

— Вот что, любезный,— решительно остановился граф перед посыльным, кладя на плечо ему руку.— Ты, надеюсь, малый смысленый. Вот тебе золотой,— получай!.. Ты сейчас же отправишься к этой барышне и скажешь ей, что в гостинице меня уже не нашел, что я сегодня после обеда уехал по делам на несколько дней из Бухарешта, но номер свой удержал за собой — так, мол, тебе сказали в конторе — и что ты поэтому оставил письмо до моего возвращения. Понимаешь?

— Ja wohl, Excellenz!.. Дело знакомое, будьте покойны.

«А затем», подумал себе Каржоль, «надо будет сейчас же распорядиться, сказать швейцару, кельнеру и в конторе, что если меня будет спрашивать какая-либо русская дама или девушка, в костюме «сестры», то говорить, что уехал-де, и кончено! Оно и кстати, так как дня на два, на три придется засесть за сухарную записку для Мерзеску, а там,— там будет видно... там уже что Бог даст,— авось, что-нибудь и придумаем».

И он, в заключение, приказал посыльному, чтобы тот, по исполнении своей задачи, опять явился к нему — доложить, что и как исполнено, и тогда, коль скоро все будет обделано им умно и ловко, получит в награду еще столько же.

Осчастливленный столь необычайно щедрою подачкой, посыльный с глубочайшими поклонами рассыпался в уверениях о своей готовности служить его сиятельству верой и правдой до гроба и, с видом чуть не благоговейного почтения, приседая на ходу в коленках, удалился из графского номера.— О! Excellenz может быть спокоен: он, конечно, исполнит в строгой точности все, что изволил приказать ему его сиятельство.

## **XV. ПРИ ПЕРЕПРАВЕ**

К ночи с 14-го на 15-е июня, сестры Богоявленской общины прибыли в местечко Зимницу, где к этому времени уже были втайне сосредоточены войска 8-го корпуса.

---

<sup>1</sup> Главноуполномоченный от Красного Креста.

По распоряжению военного инспектора госпиталей, сестер, вскоре по прибытии, направили на передовые перевязочные пункты. Под Зимницей, у возвышенно обрывистого берега Дуная, отделяясь от него узким протоком, лежит широкая низменность, в то время еще не вполне освободившаяся от воды весеннего разлива. На этой низменности, несколько восточнее Зимницы, находится небольшой лесок, подбегающий к самому берегу главного дунайского русла. Из-под этого леса должна была производиться ночью переправа войск на турецкий берег, а в самом лесу, в лазаретных шатрах 9-й и 14-й пехотных дивизий устраивался главный перевязочный пункт. «Передовой» пункт, на той же низменности, находился западнее «главного», в расстоянии от него около трех верст, и между ними был раскинут еще один пункт — «промежуточный».

Небо уже с вечера начало хмуриться, и ветер, налетавший порывами, стал свежеть и крепчать все больше. Можно было опасаться к ночи значительного волнения на Дунае. В десятом часу вечера, на турецкой стороне, в Систове, было заметно много огней, а слева, из Вардарского турецкого лагеря, довольно хорошо доносились по воде звуки военного оркестра. На зимницком берегу, напротив, господствовали мрак и тишина. В одиннадцатом часу турецкая музыка прекратилась, а вскоре после этого стали гаснуть, исчезая один за другим, и огоньки в Систове. К спуску на воду 208-ми понтонов у нас приступили еще с девяти часов вечера, как только совсем стемнело, и с того же времени, по зимницкой низменности, увязая в илистом грунте, уже двигались войска к месту посадки. Все приготовления и подход десантных войск, разделенных на шесть рейсов, совершался в полной тишине. Запрещено было даже курить, чтобы светящимися точками папирос и трубок не привлечь на себя внимание противника. В полночь у места посадки, сосредоточились уже войска первых трех эшелонов десанта. Турецкий берег, погруженный в мертвое молчание, смутно обозначался темною массой в легком ночном тумане. Смутный призрак луны изредка неясно просвечивал белесоватым пятном среди клубившихся облаков. Всплески волн, вздымаемых расхлывшимся ветром, с легким шумом плавно били в берега, и этот шум помогал скрывать громыхание нашей приближавшейся к переправе тяжелой артиллерии, которая занимала свои прибрежные позиции вправо и влево от опушки леса, избранного для главного перевязочного пункта. На той стороне — ни огонька, ни звука. Турки, казалось, спали, не подозревая близкой опасности.

На главном перевязочном пункте, в тишине и потемках, также шли деятельные приготовления. Сюда были доставлены солома, матрацы, пятьсот циновок, и подвижная кухня. Сестры доставали из тюков походного госпитального склада чай, сахар, спирт, вино, белый хлеб и плитки бульона, расстилали в назначенных местах тюфяки, набивали сеном подушки, готовили постели... Врачи и фельдшера раскладывали на операционных столах свои инструменты, бинты, гигроскопическую вату и все прочие принадлежности для перевязок и ампутаций.

У военных священников, на складном походном столике, уже были приготовлены эпитрахили, кресты и запасные Дары для последнего напутствия умирающих. Санитары готовили свои лубки, косынки и носилки; лазаретные служители возились около походной кухни, кипятили воду в кубах и наставляли большие медные самовары. Всем было работы немало, и работа эта шла ходко, быстро, и в полном порядке, так что спустя часа два, все приготовления были уже покончены,— оставалось только ожидать прибытия раненых. Пользуясь наставшим роздыхом, Тамара закуталась в серый шерстяной платок и вышла с несколькими сестрами на опушку леса посмотреть, что там делается, как идут военные приготовления к переправе. Нервы ее были возбуждены, нравственное настроение приподнято. Пока занята была работой, она не чувствовала этого возбуждения; но теперь, при виде безмолвно двигавшихся войск, из коих некоторые части уже стояли на самом берегу в полной готовности к переправе, при виде этих орудий, уже выставленных на позицию и окруженных расставленными по своим местам артиллеристами, она впервые почувствовала, что тут готовится что-то важное, большое и грозное, чему еще впервые в жизни приходится ей быть свидетельницей. Тишина почти мертвая, нарушаемая только тяжелым шлепаньем мерных шагов по топким болотам, да изредка какой-нибудь командой, подаваемой то там, то здесь тише, чем вполголоса; сумрак облачной ночи и грозная томительная тишина смутно выступавшего турецкого берега — все это заставило усиленно биться сердце девушки. Но это не было чувство страха опасности и неизвестности, и тем менее, чувство слабодушной себялюбивой боязни,— нет, о себе она совсем забыла в эти мгновения, полные чудной и грозной таинственности. В ее возбужденной душе ясно царил один лишь высокий порыв,— одно непрестанное молитвенное желание: «Господи! дай, чтоб удалось!.. Господи, помоги, помоги им... и сохрани их!..»

Правильно, тихо и без малейшей суеты сели на понтоны люди первого рейса и, перекрестясь, отвалили от берега. Это было ровно в час ночи. Генерал Драгомиров в последнюю минуту еще раз предупредил людей, что отступления нет, разве в Дунай, а потому — так или иначе, но нужно идти вперед: впереди — победа, назад — во всяком случае гибель, если и не от пули, то в воде. Он тихо послал вослед отплывающим свое благословение крестным знаменем. В небольшой группе лиц окружавших генерала, находился и молодой Скобелев, которого прикомандировали к нему без всякого определенного назначения, вроде ординарца.

Ветер, между тем, разыгрывался все более и более, волнение на середине реки значительно увеличилось, так что усилия гребцов становились почти напрасными. К тому же луна, окончательно заволкнувшаяся густыми тучами, уже не давала и того скудного отсвета, который во время посадки еще проникал порою сквозь туман облаков,— и понтоны, отваливая от берега, один за другим, вскоре совсем терялись из виду, как бы вдруг таяли и исчезали. Турецкий берег, закутавшись мглю,

тоже совершенно исчез из глаз, и на воде стала такая темень, что судам десанта почти невозможно было следить друг за другом. Более получаса прошло уже в напряженном, безмолвном ожидании. Сердце Тамары изнывало в какой-то, ей самой непонятной, тоске; в теле ощущалась нервная дрожь, глаза и щеки лихорадочно горели. Она-отдалилась несколько от группы сестер, зашла за кусты к самому берегу и, быстро крестясь, стала горячо, порывисто молиться, без слов, одною лишь мыслью, и эта мысль была все та же: «Господи, помоги им! Защищи их!.., донеси их счастливо и скорее... скорее!.. Господи!..»

Но вот раздался в мертвой тишине одиночный выстрел. Турецкий часовой, стоявший на посту у караулки, близ мельницы на ручье Текир-дере, заметил подозрительное присутствие на своем берегу посторонних людей и открыл тревогу. Тамара вся встрепенулась и чутко стала прислушиваться. В ту же минуту до нашего берега слабо донеслись встревоженные голоса, возгласы и крики турок на мельнице... Раздались еще два-три выстрела — и пошла пальба, сначала редкая, потом все чаще и чаще... Влево, на выдающемся возвышенном пункте турецкого берега ярко вспыхнула вдруг большим пламенем сигнальная вежа... Издалеча, с восточной стороны, от села Вардар уже доносятся звуки сигнальных рожков в турецком лагере. Поднялась общая тревога. Прибрежные турецкие позиции на кручах, по обе стороны Текир-дере, вскоре засверкали бегучими, учащенными вспышками выстрелов,— точно огненные змейки или зигзаги молнии судорожно перебегали там с места на место, то справа, то слева, и выше и ниже. По поверхности Дуная был открыт усиленный ружейный огонь, и звуки турецких выстрелов раздавались мелкой непрерывной дробью.

В это время на облачном горизонте засерел первый просвет утренней зари. Темная поверхность реки стала мало-помалу светлеть, а вместе с тем начали проясняться и очертания противоположного берега. Это был первый момент борьбы ночной тьмы с утренним светом, когда в природе только что начинают неясно и несколько фантастически вырисовываться общие очертания наиболее крупных предметов. Но уже при этом смутном освещении, на белесоватой поверхности реки сделались заметными черные точки и черточки отдельных понтонов. Чуть только они выяснились, как в небе вспыхнула точно молния и вслед за тем гулко прокатился по воде красивый звук первого артиллерийского выстрела. То была турецкая пушка,— и граната, направленная с батареи, прикрывавшей город Систово, шлепнулась в воду среди понтонов, подняв целый фонтан брызг. Вместе с этим и ружейный огонь противника, по мере того как цели очерчивались все более и яснее, становился сильнее и метче. К первому орудию вскоре присоединились и три другие, с батареи, находившейся на восточных высотах, близ Вардарского лагеря. Таким образом огонь сделался перекрестным — и на понтонах люди стали нести довольно чувствительные потери. Но вот, и на нашей стороне, вправо от того места, где стояла Тамара, вдруг треснул звучный удар первого выстрела. Девушка даже вся вздрогнула от



неожиданности. Через несколько секунд,— второй удар, затем третий, а там уже пошла и пошла мерная канонада нескольких 9-ти фунтовых батарей, поставленных по обе стороны леска, у опушки, на самом берегу низменности.

Между тем, рассветало все более, так что можно было уже различать не только очертания отдельных предметов, но и их краски. Еще в первом рейсе, происходившем, благодаря потемкам, в наилучших условиях относительно турецкого огня, оказались уже весьма серьезные потери; а с рассветом несколько понтонов положительно изрешетило пулями, так что некоторые из них вместе с людьми пошли ко дну. Немало доставалось от огня и людям. С того места, где стояла Тамара, ей и теперь вполне было видно, как на каком-нибудь понтоне, избранном целью, того или другого подразделения турецких стрелков, начинали падать наши солдаты. При рассвете, все более и более вступавшем в свои права, это в особенности было заметно по штыкам: частокол их бодро и прямо торчит над головами сидящих людей; но вот, случайно попадает понтон под сосредоточенный огонь — и штыки начинают все более склоняться книзу, редеть, падать; вместе с ними склоняются и падают люди — то ничком вовнутрь понтона, то навзничь, опрокидываясь в воду,— и вот, на понтоне пусто... виднеются только сидящие фигурки каких-нибудь двух-трех гребцов, но и те, одна за другою, никнут и падают вниз; вместе с ними валяются в воду весла,— все это происходит в течение одной, много двух минут,— и быстрое течение свободно подхватывает и несет куда-то вниз по Дунаю понтон, издырявленный пулями и наполненный телами убитых и раненых... Тамара стоит и смотрит во все глаза; сердце ее зохолонуло, дыхание спирается в груди, в горле судорога какая-то; все существо ее преисполнено одним ощущением ужаса и щемящей жалостью к этим беспомощно и молча погибающим на ее глазах людям... Эти черные железные понтоны кажутся ей какими-то большими гробами, уплывающими куда-то в пространство, в неизвестную могилу... Она простирает руку к реке, к другим плывущим мимо плотам и понтонам, еще наполненным людьми, указывает им на погибающих и кричит во весь голос:— «Спасите!.. Помогите вон тем!.. Вон там,— там...Помогите им!— Тонут!..» Но «черные гробы» плывут себе мимо, по своему назначению,— им некогда спасать гибнущих братьев — надо самим спешить к тому берегу, на подмогу к изнемогающим в борьбе товарищам первого десанта... А тот несчастный, издырявленный и опустелый понтон, меж тем, плывет себе, все более и более - погружаясь в воду, которая струями вливается в него сквозь пробоины,— плывет, кружась по воле прихотливого течения, и, наконец, тихо тонет, тонет, исчезает... и на поверхности реки не остается никаких следов только что совершившейся катастрофы. Эта поверхность, то и дело, рябится только фонтанчиками и снопиками брызг от шлепающихся в нее турецких пуль, да иногда шипящая граната, падая в воду, подымет целый столб водяной пыли. Страшно... Холодно... Какая ужасная могила!..

— Сестра!., а, сестра! Да что это с вами?.. Столбняк нашел, что ли?..

Кричу, кричу ей, а она хоть бы что!— раздался подле Тамары ласковый голос сестры Степаниды, которая подбежав к ней, стала слегка поталкивать ее в плечо, стараясь вывести девушку из овладевшего ею оцепенения.— Да очнитесь же, наконец!.. Чего вы это, в самом деле!— Пушек испугались, что ли?

Тамара, с растерянными от ужаса глазами, молча указала ей рукой на новый, подхваченный течением и уже тонущий понтон.

— Там... люди... люди есть,— с усилием проговорила она с каким-то странным, точно бы сдавленным голосом и вдруг разрыдалась, припав на плечо Степаниды.

— Ну, вот!.. Ну, что ж это!.. Тамарушка, да что вы!?!.. Господь с вами!.. Чего это?— в недоумении спрашивала та, поддерживая девушку в своих объятиях.

Тамара продолжала рыдать, конвульсивно вздрагивая грудью и плечами.

— Ну, полноте нервничать!— внушительно заговорила, наконец. Степанида с дружеской строгостью,— не место и не время. Эдак то, вместо раненых, да с вами еще придется возиться. Перестаньте, милая, нехорошо!.. Ну, какая же вы сестра после этого!? Спрячьте ваши нервы в карман, утрите слезы и пойдете дело делать,— начальница и то уж спрашивала, где вы. Нас с вами на «передовой пункт» назначили,— идите!.. Или вы, в самом деле, боитесь?

Последнее слово царапнуло самолюбие Тамары. Она словно бы очнулась, глубоко вздохнула всей грудью, как дышется всегда после рыданий, и энергично подняла голову.

— Я?., боюсь, говорите вы?.. Боже избави!— возбужденно сказала она — стараясь преодолеть самое себя и подавить свои слезы.— Нет, я так... это... это сейчас пройдет... Это оттого, что я в первый раз еще вижу, как погибают люди... Это ужасно!.. Но я... я сейчас возьму себя в руки,— вы увидите... Голубушка, простите меня, не сердитесь,— мне совестно... Эти слезы... Ах, теперь глоток воды, и все прошло бы... Пойдемте!

Она быстро отерла платком свои глаза и бодро пошла впереди Степаниды.

На главном пункте стояла уже готовая лазаретная линейка, чтобы отвезти их, в числе восьми сестер, на «передовой» и «промежуточный» пункты, куда, через нарочно присланного ординарца, просил их пожаловать инспектор,- так как там есть уже раненые, и врачи крайне нуждаются для них в женской помощи. Тамара только успела в несколько жадных глотков выпить стакан воды и, подойдя под благословение начальницы, поспешила вслед за Степанидой сесть в линейку, где уже поджидали их остальные назначенные сестры.

— Господи, благослови!— перекрестилась она и с ясным взором улыбнулась Степаниде, как бы говоря этим,— вот видите, все прошло уже.

Был пятый час в начале. Уже совсем рассвело, ночные тучи рассеялись, и яркое солнце блистательно и весело подымалось все выше и выше среди голубого, теплого неба. Линейка с сестрами

местами с трудом двигалась по болотистой почве вдоль берега или среди войск, подходивших, к переправе. Тамара с живым любопытством глядела на всю окружающую ее обстановку. Из-под роскошных ветвей и кустов тамаринда, купавшихся в самой воде, выглядывали, покачиваясь, наши понтонные лодки — в ожидании посадки следующего эшелона. По всей низменности, обходя затоны, тянулись длинными косыми зигзагами колонны пехоты и 4-х фунтовые батареи артиллерии 8-го корпуса. Люди, тяжело нагруженные боевым и походным снаряжением, в суконных мундирах, со скатанными шинелями через плечо, тяжело ступали по глубокой топи, на каждом шагу уходя в густую грязь по колено и, несмотря на солнечные лучи, начинавшие уже с раннего утра по-южному припекать все сильней и сильней, энергически преодолевали все эти тяжелые препятствия — лишь бы скорей дойти к переправе. Лошади тоже грузли, артиллерийские колеса увязали по ступицу; но охочие люди, забыв про усталость беспрестанно вытягивали на плечах орудия и ящики из болота. Раза два помогли они и лазаретной линейке наших сестер выбраться из густого месива глубокой грязи, с которым, без их помощи, не могла сладить четверка добрых артельных лошадей. Головы этих колонн направлялись в пространство низменности, прикрытое спереди леском. Гранаты, между тем, и справа, и слева продолжали рассекать воздух сверлящим, спиральным шипением своего полета; они бултыхались в воду, свистали через ивняк и рвались между деревьями, ломая сучья и ветви, шлепались в самый берег, среди наших 9-ти фунтовых батарей, обдавая пространство вокруг себя илистой грязью, рвались иногда и между колонн, двигавшихся по топи. Самому леску доставалось от гранат чуть ли не больше, чем остальным местам низменности: здесь на траве валялось много клочков и обрывков белья, платья, амуниции... Санитары с носилками быстро сновали по всему берегу, подбирая раненых и убитых; последних сносили они на северную окраину леска, в кустарники, где и складывали рядком. Но глядя на все это, Тамара, к собственному удивлению, уже не испытывала такого ужасного, потрясающего впечатления, как там, на берегу, когда в ее глазах тонули черные понтоны. Она действительно, «взяла себя в руки» и несколько пообтерпелась, да и яркое солнышко, как бы наперекор всему, что делалось в ту минуту на этом клочке земли, светило так весело и приветливо, что невольно прогоняло с души всякие страхи, вливая в нее бодрость, уверенность и надежду, что все, даст Бог, кончится сегодня хорошо для наших,— будет победа.

Сдав половину сестер на «промежуточном» пункте, линейка доставила, наконец, остальных на «передовой», и тут для них тотчас же началась энергическая работа. Перекатный гром пушечных выстрелов, непрерывная, неумолкаемая трескотня ружейного огня на том берегу; бледные страдальческие, и по большей части спокойные лица раненых; обнаженные, иногда окровавленные члены и части человеческого тела, окровавленные лица, головы, рубашки, тряпки и вата; кровь на столе, в тазах и чашках, кровь на полотенцах, на руках врачей и фельдшеров...

Даже в самом воздухе как будто запах или пар свежей крови... То тут, то там иногда тяжелый сдержанный стон, или подавленный страдальческий вздох, иногда чье-то предсмертное хрипение, или последние конвульсии бьющегося, по земле человеческого тела— все это каким-то ужасным кошмаром опять, стало-налегать на Тамару, когда она очутилась на передовом перевязочном пункте. Но здесь рассудок и добрая воля подсказали ей, что надо опять преодолеть, переломить себя и делать дело,— иначе стыдно будет перед другими сестрами.— «Ведь ничего же, они делают что следует и не нервничают... вон и доктора тоже, как спокойно и внимательно справляются со своей работой,— неужели ж одна я такая малодушная?!» И Тамара, стараясь не слышать этих ужасных звуков и не глядеть по сторонам на эту кровь и конвульсии, принимается, засучив рукава, за работу, какая указана ей врачом,— осторожно, мягко промывает тепленькой губкой запекшуюся кровь на чьей-то руке, где зияет черная сквозная рана, держит доктору бинт, подает ему ножницы, вату, компрессы... Вот замечает она следы чужой крови и на своих собственных пальцах, и на своем белом переднике, но это ей уже не страшно и не противно,— она уже переломила себя и помнит лишь одно, что надо, надо работать, что дела впереди еще много, а время не ждет, и нечего, значит, отвлекать свое внимание посторонними вещами. Спустя какие-нибудь полчаса, она работала уже так исправно и ловко, что старый, сивоусый военный врач даже похвалил ее.— «Молодец сестра! Такая молоденькая и так твердо работает!.. Хорошо!» Тамара слегка улыбнулась. Это первая, хотя и грубовато выраженная, похвала польстила ее самолюбию, подняла ее в своих собственных глазах,— и в ней зародилась уверенность, что, в самом деле, здесь ничего нет страшного, или, по крайней мере, не так страшно, как казалось вначале.

Все перевязочные пункты на низменности неоднократно подвергались большей или меньшей опасности от неприятельских гранат, но «передовой» больше других находился в сфере артиллерийского огня и потому три раза должен был переместить свое место, нигде однако не спасаясь от залета неприятной гостыи. Все пространство сырой, еще непросохшей земли вокруг него было изрыблено яминами и бороздами разрыва. Но и в этих условиях медики и сестры спокойно и твердо исполняли свое дело. Одна граната лопнула среди самого перевязочного пункта, убив осколком на месте одного санитаря и обдав Тамару с головы до ног комками земли и брызгами грязи. Мимо нее прозвенел в воздухе один из осколков, что невольно заставило ее пригнуться к земле с легким криком испуга; но врач, которому она помогала, не выпустил даже пинцета из рук, делая лигатуру, и продолжал как ни в чем не бывало доканчивать работу.

— Вы не ранены, сестра?— спокойно и как бы между прочим спросил он, видя, что та присела к земле.

— Кажется, нет... А что?— отозвалась ему Тамара, подымаясь на ноги.

— Да так... курбет вы этот сделали, а я подумал было...

Только вы это напрасно: кланяться этим гостям бесполезно, а вот бинт вы мне выпачкали, это нехорошо. Вперед не кланяйтесь.

К часу дня деятельность на «передовом» и «промежуточном» пунктах уже значительно сократилась и сосредоточилась на «главном», куда к этому времени было уже передано наибольшее количество раненых, получивших первоначальную помощь. Поэтому и сестры, по распоряжению инспектора, были теперь сняты с обоих передовых пунктов и доставлены на главный, где начинал уже сказываться недостаток женских рук для ухода за множеством страдальцев, нуждавшихся в их помощи. И на главном пункте, все равно как и на передовых, сестры в течение всей ночи и всего дня не имели ни минуты покоя: сначала им надо было все приготовить к приему раненых и уходу за ними, а затем ухаживать и помогать еще врачам. Первые раненые стали доставляться на главный пункт к шести часам утра,— сначала довольно редко, а потом все чаще и чаще, и такая доставка продолжалась вплоть до вечера, так что в первый день на главном пункте всех раненых было 382 человека. Тут, в операционных шатрах, их сортировали по роду и характеру ранения и затем размещали в прочих помещениях и, частью, на открытом воздухе. Все эти помещения были распределены между наличными врачами и сестрами. Последние все свое время проводили, большей частью, на коленях у постели: надо было ежеминутно поправлять под больными соломенные мешки и подушки, покрывать разметавшихся в бреду одеялами, прикладывать к ранам компрессы с карболовою водою, давать пить больным, которых томила жажда, кормить их; перекладывать слабосильных на другой бок или менять на них заскорузлое от крови белье, помогать при наложении и перемене повязок, иногда утешить и обнадежить ласковым словом, этому написать под диктовку коротенькое письмо на родину, того успокоить, если у него расходились нервы,— словом, работы было, как говорится, по горло, так что самим не оставалось, буквально, минутки свободной, чтобы отдохнуть и подкрепиться пищей. Работа хирургов тоже не прерывалась до тех пор, пока медицинская помощь не была подана постепенно, по мере прибытия, всем без изъятия раненым, что и продолжалось до одиннадцати часов вечера, когда была наложена последняя повязка, и тут лишь первый раз за весь день выпала хирургам и их ассистентам возможность на четверть часа успокоиться, выпить по стакану чая, закусить чем попало. А затем, едва лишь к часу ночи успели все кое-как окончательно справиться с делами.

Тамара, наряду с другими сестрами, работала целый день, не замечая, или даже не чувствуя особенной усталости. Нервы ее точно бы закаменели, и все внимание, все мысли были устремлены лишь на то дело, какое надлежало исполнить в ту или другую данную минуту.

Через ее руки прошел сегодня не один десяток раненых, между которыми было несколько ран очень серьезных и тяжелых, и ее все время невольно поражали замечательная выносливость и терпение русского человека. Во время переноски и

некоторых ампутаций не было слышно не только жалоб, но и стонов мало раздавалось. Иные при ампутациях не желали даже хлороформироваться и стоически выдерживали мучительную операцию, куря трубочку махорки или стиснув между зубами носовой платок, чтобы, часом, не закричать от боли.

В двенадцатом часу вечера, когда врачи и несколько, освободившихся сестер сошлись за большим походным столом, где кипел самовар и стояла кое-какая холодная закуска, один из медиков невольно обратил внимание на крайне утомленный вид, запавшие глаза и бледное лицо Тамары.

— Сестра, вы, как видно, очень устали,— заметил он ей с участием.— вам бы лечь теперь да выспаться поскорее.

— Я?.. Нет, нисколько!— подбодрилась девушка.

— Ну, уж не нет, а да! Я ведь вижу,— на вас просто лица нет... Смотрите, не переутомитесь да не заболите еще!

— Нет, ничего; я чувствую себя прекрасно.

— Какое «ничего»!.. Тут и у опытного хирурга, а не то что у вас, окончательно истощится вся нервная сила, когда приходится восемнадцать часов без перерыва ампутировать, резать да налагать гипсовые повязки, а вам, при вашей молодости... Вы, конечно, первый раз в такой передрыге?

— Да, это мой первый опыт,— отвечала Тамара не без некоторого чувства внутреннего удовлетворения.

— Ну, так мы, врачи, положительно запрещаем вам продолжать сегодня какую бы то ни было работу!— безапелляционно порешил доктор.— Подкрепитесь-ка стаканом красного вина и сейчас же спать, или я на вас пожалуюсь начальнице.

Врачи и сестры в один голос подтвердили требование своего коллеги. И в самом деле, на первый раз было слишком уже достаточно всего, что пришлось переиспытать и переделать в эти сутки Тамаре. Но, все-таки, спать она пошла не ранее того, как начальница разрешила сестрам отправляться на отдых, и только улегшись в постель, устроенную на освободившихся санитарных носилках, почувствовала, наконец, всю силу и тяжесть своего физического утомления. Зато на душе у нее было теперь хорошо и спокойно. Она не без достойной гордости сознавала внутри себя, что совершила сегодня нравственную победу над собою, над своею женскою немощью, переломила самое себя, выдержала характер и честно до конца исполнила свой добровольно принятый долг,— значит, в будущем она будет не хуже других... Никто больше не скажет ей, что она нервничает или боится. И она заснула крепким, здоровым сном молодости, с самодовлеющим чувством нравственной удовлетворенности и с бодрой готовностью завтра и впредь, до конца войны, продолжать свое дело. Опыт нынешнего дня был для нее то же, что для молодого солдата первое «огненное крещение» в бою; она чувствовала, что вышла из этого испытания с честью и получила спасительную уверенность в себе и в своих нравственных силах на трудный подвиг боевой сестры милосердия,— уверенность, которая до сего дня для нее самой оставалась еще под сомнением.

16-го июня утром посетил главный перевязочный пункт великий князь главнокомандующий, а два часа спустя, неожиданно приехал туда-же и государь император, вместе с государем наследником и великими князьями Алексеем и Сергеем Александровичами, в сопровождении военного, министра и многочисленной свиты. Августейшие посетители не пропустили без внимания ни одного страдальца,— причем врачи лично докладывали государю о свойстве и степени опасности каждой раны. Его величество подходил к каждому из раненых, находя для каждого приветливое слово ласки и ободрения,— но останавливался дольше около тех, кто получил более тяжелые или более многочисленные раны, и с участием расспрашивал их, где и как с каждым было дело. В числе последних особенное внимание государя обратил на себя Волынского полка штабс-капитан Бряннов, который вчера, с людьми своей 12-й роты, в один из самых критических моментов боя, успел вскарабкаться на утес и первый, с криком «ура», бегом бросился во фланг туркам. Аскеры навстречу ему подставили стальную щетину — девять штыков вонзились в геройски смелого Бряннова. Он был поднят штыками на воздух, но и в этом положении — как свидетельствовали государю очевидцы — успел хватить саблей по голове какого-то турка. Из девяти ран, доставшихся на долю Бряннова, две были в животе. Когда подоспели его солдаты,— а это было два-три мгновения спустя,— турки сбросили его со штыков им навстречу и, не дожидаясь рукопашной расправы, кинулись бежать. Истекая кровью, Бряннов, однако, не потерял сознания и, приподнявшись с земли на локте, нашел еще в себе достаточно сил, чтобы подбодрять и направлять своих солдат словами. Это была могучая натура... Через день он умер, имея перед смертью утешение в георгиевском кресте, который был собственноручно надет на него императором. Немало в этот счастливый для раненых день 16-го июня было роздано георгиевских крестов лично самим государем и другим героям; многим из них он сам наспиливал на рубаху крест, с которым они потом ни на минуту не расставались, держась за него рукою и любясь на драгоценную награду. Те из раненых, что были на ногах или могли кое-как двигаться, порой обступали государя толпой, как дети, и многие умиленно просили его разрешить поскорее отправить их в свои палки, уверяя, что рана-де «пустяшная» и что они еще не успели исполнить свой долг как следует. Все врачи и сестры были осчастливлены выражением высочайшей благодарности. Государь в каждом шатре отечески милостливо, в простых, сердечных выражениях обращался к раненым и благодарил их за службу, а при словах его: «показали себя момодцами; сдержали то, что обещали мне еще в Кишиневе», раздавался везде такой здоровый и бодрый отклик «рады стараться, ваше императорское величество», что трудно было поверить — неужели это голоса раненых, из которых многие за несколько минут перед тем еще стонали и глядели уныло или апатично. Это посещение царя всех вдруг подняло ободрило, оживило физически и воскресило нравственно.

Откуда вдруг взялись и энергия, и силы, и готовность опять в бой хоть сию минуту! словно магическая перемена совершилась на глазах Тамары: и те же люди, да не те! При виде столь теплого участия монарха, у раненых и многих из присутствовавших навертывались на глаза слезы умиления. Государь, при отъезде, поблагодарил еще раз провожавших его врачей и сестер, выразил им надежду, что они в другой раз так же усердно помогут раненым, как помогли теперь. Общий, неудержимый крик восторга и целая буря «ура!» сопровождали отъезд государя и цесаревича с перевязочного пункта. На Тамару, не ожидавшую ничего подобного, даже не могшую до сих пор вообразить себе такого отношения царя к своим подданным и такого единодушного порыва любви и беззаветной преданности этих подданных своему царю, все эти сцены произвели потрясающее впечатление, полное восторга, увлечения и умиленного чувства. Вчера и сегодня она воочию увидела и впервые поняла, что такое русский царь и русский народ, что это за сила и какие великие нравственные узы неразрывно связывают их воедино. Как еврейке, ей до сих пор это было чуждо и непонятно; как христианка, она сердцем своим уразумела эту силу и связь в настоящую минуту.

## **XVI. ВСТРЕТИЛИСЬ**

С переходом войск через Дунай, Зимница, это ничтожное, обыкновенно сонное местечко, вдруг оживилась, олюднела и закипела необычайным движением и лихорадочной деятельностью. Чуть только прослышали в тылу о состоявшейся переправе, как тотчас же налетели сюда целыми стаями и оравами всевозможные иудеи, эллины, румыны, армяне, немцы и иные западные и восточные человеки, алкавшие и жаждавшие русского золота, взамен своих товаров и продуктов, подчас более чем сомнительного качества. Маркитант Брофт, разбивший свою палатку на каком-то навозном заднем дворе, между двумя-тремя повозками, торговал великолепно и драл за все про все немилосердно, чуть не десятерные цены. Кабачки и лавчонки стали расти, как грибы после дождя. В двух скверных трактиришках, битком набитых проходящим офицерством, визгливая цыганская музыка с утра и до утра наигрывала «Постильона» и «Копелицу». Агенты Грегера, Горвица и Когана нагло заняли под себя и свою «контору» одно из лучших, после царского, помещений, вывесили над ним на высоком шесте свой собственный «товарищеский флаг» и принялись щеголять по улицам в белых офицерских фуражках с кокардами, в длинных ботфортах с огромными настезными шпорами и с нагайками через плечо, а некоторые жидки понавешивали на себя даже офицерские револьверы и шашки. В это время не в редкость было встретить на зимницких улицах возмутительную расправу подобных кокардированных жидов с закабалившимися к ним южно-русскими мужиками поганцами, которых они хлестали своими нагайками по спине, по лицу и по чем ни попало,



уверяя, что только таким образом и возможно поддержать среди них «спасительную дисциплину». И все это, к стыду нашему, сходило им с рук безнаказанно: русские поганцы, как вольнонаемные люди жидов, оставались вне покровительства и защиты штабного начальства действующей армии,— пускай-де жалуются румынским властям, или в русское консульство!— и таким образом, единственными судьями и начальниками этих несчастных людей оставались разные Ниньковские, Миньковские, Сахары, Айзенвайсы и тому подобные «уполномоченные» «генерала» Варшавского. Словом, в Чимнице стоял жидовский «гвалт» и «гармидер», царил жидовский «гешефт» и раздавалось всеобщее ликование. В Зимнице жилось весело, не то что там, впереди, на позициях. Да и как было не радоваться? Переправа — эта заветная и томительная мечта всей действующей армии, наконец совершилась и, говоря относительно, обошлась нам очень дешево: многие, и даже весьма компетентные люди, рассчитывали положить здесь тысяч тридцать народа, а вместо того мы не потеряли и тысячи. Массы войск придвинулись теперь к Зимнице и бивакировали вокруг местечка, в ожидании своей очереди к переправе. Другие массы всех родов оружия наполняли улицы, ведущие к спуску, и всю низменность вплоть до понтонного моста на Дунае, утопая в глубокой и густой, чисто первобытной пыли, тучами стоявшей над дорогами. В лагерях под вечер раздавались звуки песен и музыки. Разная международная саранча, а в особенности жидова, наша и румынская, сейчас же образовала здесь самую бесшабашную и безобразную ярмарку со всеми ее «прелестями», рулеткой, картами, шулерами, арфистками, артистками и проч. Все гостиницы и вообще свободные помещения в обывательских домах до такой степени переполнились вдруг известного сорта женщинами, которых повезли сюда целыми транспортами особого рода антрепренеры из евреев, армян и греков, что нередко больным офицерам и сестрам милосердия, а также врачам, чиновникам и офицерам, следовавшим к армии, приходилось ночевать в повозках, под открытым небом. Тут же в изобилии очутились вдруг и пронырливо толклись повсюду разные подозрительные личности из поляков, венгерцев, «высокоцивилизованных» жидов и т.п., которые, не имея никакого определенного занятия, «временно» проживали в Зимнице по совершенно, по-видимому, «законным» паспортам, под видом всевозможных промышленных агентов, туристов, антрепренеров различных предприятий сомнительного существования, а также и под видом иностранных корреспондентов, тогда как в сущности все они были не более, как австрийскими, английскими и турецкими шпионами. Войска, как элемент подвижный, приходящий, то прибывали, то убывали, меняясь почти ежедневно; интенданты же и еврейские агенты «Товарищества», представляли собой в Зимнице элемент более устойчивый, осевшийся и потому заметно играли там премирующую роль. Этих агентов всегда можно было видеть, у Брофта и в других «аристократических» ресторашках за одним столом с интендантскими чиновниками и «транспортными» офицерами, где у них кипело море разлитое, дюжинами

хлопали пробки от шампанского, по два золотых за бутылку, и из рук в руки переходили свертки червонцев и пачки банковых билетов: тут было царство интендантско-жидовской биржи, вершились крупные дела и заключались «обоюдновыгодные» сделки. А по вечерам лихие интенданты, в обществе всяких проходимцев и декольтированных женщин, обыкновенно закладывали в трактирах банк, высыпая на зеленые столы грудки золота и вороха кредиток, и жестоко резались в штосс и ландскнет до рассвета, под звуки того же «Постильона» и скабрёзных шансонеток. Русское золото лилось и швырялось зря направо и налево, быстро хватаемое жадными и грязными, заgreбистыми руками, и, казалось, что и конца этому морю разливанному не будет.

Спустя несколько дней после переправы, главный перевязочный пункт был упразднен, и сестры Богоявленской общины переведены пока в Зимницу для работы в одном из подвижных госпиталей, который раскинул свои шатры на краю местечка.

В это же время экспромтом прибыл в Зимницу и граф Каржоль, командированный «Товариществом» в штаб армии по «сухарному вопросу». Да кроме того, ему поручено было войти в переговоры с госпитальной инспекцией, по поводу поставок в придунайские госпитали дров, соломы и разных жизненных припасов, которые «компания» желала бы взять на себя «en masse et en gros». Поехал он по этому делу к инспектору и не застал его,— говорят, через час будет дома. Приезжает через час,— и опять дома нет. Граф оставил свою карточку и в приписке на ней просил известить его, когда может быть он принят по такому-то делу? Спустя два часа, приезжает он в третий раз, и тут ему сообщают, что инспектор был да уехал в зимницкий подвижной госпиталь, где и теперь находится, и что уезжая он приказал передать графу, буде ему необходимо теперь же видеть его по делу, то пусть пожалует, в госпиталь до четырех часов дня, так как в четыре часа инспектор уже уедет за Дунай, в главную квартиру, и не возвратится ранее завтрашнего вечера. Нечего делать,— не желая оттягивать в напрасном ожидании время и упускать удобный случай для переговоров сегодня же, граф немедленно отправился по назначению.

Он застал инспектора на дворе, между шатрами, среди какого-то делового разговора с главным доктором и военно-административным персоналом госпиталя, и тут же ему представился. Впрочем, объяснение его, происшедшее, по желанию инспектора, на месте, в присутствии названных свидетелей, продолжалось не особенно долго. Выслушав до конца предложение, обещающее будто бы большие удобства и выгоды для казны, генерал наотрез отказался содействовать «компании» в проведении и осуществлении ее планов. Нравственный кредит всяких жидовских «товариществ» и «компаний» в это время был уже подорван в общественном мнении армии, и порядочные люди избегали иметь с ними какое-либо дело.— Все, что мог сделать инспектор, это разве порекомендовать Каржолю обратиться к начальнику штаба: прикажут-де,— мы исполним; но предупредил, что если в штабе сочтут нужным справиться

с его взглядом, в чем едва ли может быть сомнение, то он всеми силами будет против, по весьма веским причинам, изъяснять которые теперь считает излишним. После такой отповеди, что называется, не солоно похлебавши, Каржоль сухо откланялся генералу и, в испорченном настроении духа досадливо и смущенно направлялся уже к своему фаэтону, как вдруг его что-то передернуло, отшатнув даже несколько назад, и он стал на месте, не то удивленный, не то даже испуганный чем-то неожиданным.

Перед ним стояла Тамара.

Уйти ему было некуда, уклониться от встречи невозможно: девушка, очевидно, поджидавшая его заранее, вышла теперь из шатра прямо на него и стала пред ним в трех шагах расстояния, обдавая его лучами радости и счастья, блиставшими в ее зоре.

«Ах, черт возьми!.. Положение!» мысленно выбранился он, еще в большей досаде.

— Господи!.. Наконец-то!.. Наконец-то я вижу вас... Здравствуйте!.. Как я рада!— лепетала она, не сводя с него ясно улыбающихся глаз и нервно сжимая его руку.

Он, в замешательстве, нерешительно и как-то вяло ответил на ее пожатие, ничего не промолвив, и только улыбался ей какой-то странной, растерянной улыбкой. Тамара сразу заметила, что ему как-то не по себе, и во взгляде ее выразилось серьезное и подозрительное недоумение.

— Что с вами, граф?.. Вы как будто не рады нашей встрече.

— Нет, как можно... Как не рад?! Напротив, я... очень, очень рад... ужасно рад,— залепетал он, вдруг покраснев до ушей от ее прямого вопроса.— Но я так поражен, так удивлен... Я никак не ожидал встретить вас здесь, в такой обстановке, в таком костюме...

— Как!., удивленно перебила она.— Разве вы не получили моей записки.

— Записки... Какой записки?— притворился граф, будто не понимая, о чем его спрашивают.

Тамара объяснила ему обстоятельства своей встречи с ним Calea Mogochoy и все, что за тем с ее стороны последовало.

— Какой однако досадный случай!— промолвил на это Каржоль, с видом и жестом досадливого сожаления, уже успев за время ее рассказа несколько оправиться и овладеть собой и своими мыслями.— Представьте,— объяснил он,— ведь я приехал сюда прямо из Плоэшт, не останавливаясь в Букареште,— меня экстренно вызвали телеграммой,— и значит, ваша записка преспокойно лежит себе, в ожидании меня в гостинице... Ах, какая досада!

Тамара пытливо и с некоторой затаенной тревогой посмотрела на Каржоля. По чисто женскому чутью, ей показалось в самом тоне его «досады» и во всем этом его объяснении что-то неискреннее, будто сейчас им придуманное. Вообще, она испытывала теперь некоторое разочарование, потому что, сама преисполненная радости, ожидала и с его стороны более живого, более отзывчивого порыва на свой открытый, сердечный привет,

а вместо того, встречает вдруг какое-то странное смущение и сдержанность. Вся эта встреча и в особенности ее первые моменты произошли совсем не так, как она их заранее воображала себе, поджидая графа с замиранием сердца, за приспущенной полою шатра.

— Но я рад, я необычайно рад нашей встрече,— продолжал между тем Каржоль, пожимая ей руку.— скажите, однако, что ж это значит, какими судьбами вы здесь и почему на вас этот костюм сестры милосердия?— Кстати, он очень идет к вам.

Тамара усмехнулась с некоторой горечью. Последний «комплимент» показался ей и пошловатым, и совсем «некстати».

— Мы с вами так давно не виделись, граф,— начала она уже с некоторой сдержанностью,— что вы, очевидно, совсем не знаете ничего, что было со мной за все это время... Ну, так поздравьте меня: благодаря вам, я уже христианка, и за это мое вечное, душевное вам спасибо!

— Вы помирились с вашими родными?— спросил он вдруг с заметно большим оживлением и интересом.

— С родными? Нет. Моя бабушка умерла, а дед... едва ли он даже знает, где я и что я.

— Но разве вы не делали никакой попытки к примирению, не писали ему?

— Нет. Да и зачем?.. Все равно, из этого ничего не вышло бы.

— Ну, нет, почем знать!.. Ведь он вас так любит, вы его единственная внучка... и наконец, тут замешаны ваши материальные интересы...

Это упоминание об «интересах» — то есть, понятно, о ее наследстве, чуть не прежде всего и притом в такую минуту, невольным образом покорило внутренне Тамару. Ей было неприятно, зачем именно он вспоминает об этом.

— Мои «интересы»!— грустно усмехнулась она.— Вы знаете, я уж давно махнула на них рукой, и они меня несколько не соблазняют,— проживу и так, даст Бог!.. Добрые люди — спасибо им!— приняли во мне живое участие, приютили меня в Общине, где я и крестилась, полюбили меня, и вот почему я теперь сестрой. Я поехала на войну вместе с ними, да иначе мне и деваться было бы некуда. История моя, как видите, очень проста и немногословна.

Все это было сказано не без оттенка грустной горечи, потому что в душе ей было несколько обидно, досадно и больно, что он — он, по-видимому, так мало высказывает интереса к ее внутреннему, нравственному миру, к ее заветному чувству, которое, казалось бы, должно быть для него всего дороже. И зачем ему так торопиться с этими практическими намеками на «материальные интересы»!

— Да впрочем, что обо мне!— слегка махнула рукой Тамара, как бы отгоняя от себя невеселые мысли и вдруг переменяв свой тон на приветливо любезный и веселый.— Мне гораздо интереснее,— продолжала она,— спросить вас, какими вы судьбами здесь, у нас в госпитале? Вы, вероятно, назначены уполномоченным от «Красного Креста»?

— Я?.. Нет... Почему вы так думаете?— удивленно спросил Каржоль, даже несколько смутясь таким вопросом.

— Да именно потому, что вы здесь,— пояснила Тамара.— Что ж иначе могло бы привести вас в действующую армию?— Само собой, или «Красный Крест», или желание подраться с турками. И я, еще как встретила вас в Букареште, сейчас же подумала себе, что вы или к Черкасскому, или поступаете волонтером в армию.

— Волонтером!?— принужденно рассмеялся Каржоль, задетый за живое таким предположением.— Нет, к сожалению, ни то, ни другое,— слегка вздохнул он,— но... можно ведь быть полезным и не на одних только этих двух поприщах.

Тамара молча взглянула на него вопросительным взглядом, видимо ожидая дальнейшего пояснения этих неопределенных и несколько даже загадочных слов.

— Я здесь, действительно, в роли уполномоченного,— несколько принужденно продолжал Каржоль,— только не от «Красного Креста», а от... «Товарищества».

— «Товарищества»?.. То есть, как это?.. Какого «Товарищества»?— с недоумением переспросила Тамара. Ей и в голову не могло придти «Товарищество Грегера, Горвица и Когана»,— до того далека была она от возможности сопоставления имени графа с этими ославленными на всю Россию именами.

Но граф, как раз их-то и назвал, да еще так-таки прямо глядя ей в глаза, точно-бы он бравировал этим своим положением жидовского «уполномоченного».

— Полноте, вы шутите, граф,— серьезно сказала она с недоверием и даже как будто с некоторым испугом.

— Ни мало,— отвечал он.— Да и что ж тут такого!.. Я действительно состою агентом «Товарищества» и являюсь даже специальным представителем «сахарной компании».

И говоря это, он заметно старался даже утвердиться в тоне бесстыжей серьезности, точно бы в этом его «представительстве» какая-то особая честь заключается.

— Как! Вы пошли служить к этим вампирам!?— невольно вырвалось у Тамары прямо из сердца. Ей вдруг стало больно, оскорбительно и стыдно за этого, столь дорогого ей человека.

— Почему же непременно к «вампирам»?— снисходительно усмехнулся Каржоль.— Люди как люди,— ничего себе.

— Да разве вы не слышали, не знаете, что говорит о них вся армия?

— Какое же мне до этого дело!— пожал граф плечами.— Я исполняю свою обязанность, и только... Исполняю ее честно, добросовестно,— с меня и довольно.

После этих слов, уже и для Тамары настала очередь смутиться.

— Да нет, вы меня мистифицируете. Этого быть не может!— решительно проговорила она, засматривая в глаза Каржолю, точно бы моля его, чтоб он ее разуверил, и ожидая что граф сам сейчас вот рассмеется и скажет: «Ну разумеется, шутка! А вы и поверили?»

Но он не сказал этого. Напротив, он возразил, что почему

же «быть не может?»— что ж тут такого особенного?

— Как, что особенного!?!— горячо вступилась за него самого Тамара.— Граф Каржоль де-Нотрек пошел служить к господам Грегеру, Горвицу и Когану? Это ли еще не «особенное»?!. Простите меня, я, может быть, слишком резка... Ну, что ж делать,— простите эту невольную мою резкость, но... вы до сих пор были слишком близким, и дорогим мне человеком, чтоб я могла думать и говорить иначе.

— Что ж из того, что «граф» Каржоль де-Нотрек!— иронически усмехнулся он.— Чем же хуже или лучше графа Каржоля какие-нибудь князя Турусовы и прочие?! Да ведь они точно так же служат у Грегера и Когана!

— Извините меня, граф, но это не оправдание,— возразила Тамара решительно и твердо.— Я вам говорю это как ваша невеста, которую вы сами избрали. Я имею право говорить так. Князя Турусовы вам не указ,— я слишком высоко ставлю вас, чтоб допустить такое сравнение, вы слишком порядочный человек для этого?

— А, вот оно что!— сложив на груди руки, протянул Каржоль с каким-то злобным и горьким выражением.— «Слишком порядочный человек»... Ну, так узнайте же все до конца, коли так!.. Узнайте же, что я — раб евреев, я в кабале у них, я куплен ими,— понимаете ли, куплен с аукциона, и они теперь вьют из меня веревки. Вы не знали этого,— ну, так скажу вам более: я закабален вашему деду... Да, да!— ему, Соломону Бендаvidу, «достопочтеннейшему», который в тот же день, как я отвел вас к Серафиме, скупил все мои векселя и расписки до последнего даже счета из мелочной лавочки, скрутил меня в самую критическую минуту, когда я был буквально без копейки, дал мне пять тысяч, взявши вексель на пятьдесят, и когда заручился таким образом против меня документами на сто тысяч,— ну, тут уже не трудно было принудить меня нравственным насилием выехать в ту же ночь из Украинска, с обязательством никогда и носа туда не показывать! И с тех пор он держит меня за горло, под вечной угрозой засадить в долговую, тюрьму,— и это все за то, что я люблю вас, что я смел мечтать сделать вас своей женой!.. Я бежал в глушь, в Боголюбскую губернию, как вол работал на фабрике, живя одной мыслью — сколотить, наконец, капитал, чтобы швырнуть его этому... вашему дедушке и выкупить свои документы, но... к несчастью, дело не удалось, провалилось... и тогда ваш же сородич, господин Блудштейн, явился ко мне с предложением идти служить к этим, как вы говорите, «вампирам», чтобы погасить свои долги Бендаvidу, который, к слову сказать, тоже участвует своими капиталами в «компании» с этими самыми «вампирами»... Что-с?.. Вы не знали этого?— Ну, так знайте! Этот ваш «достоинейший», «благороднейший» рабби Соломон не считает предосудительным высасывать кровь и пот из русского мужика и солдата,— кодекс еврейской нравственности ничего против этого не имеет.— Так вот почему я выкупаю этот проклятый долг ценою унижения, ценою позора своему доброму имени!.. Вот почему я здесь!.. Можете теперь презирать меня, если хотите!.. Я, действительно,

я стою презрения, потому что лучше бы было тогда же пустить себе пулю в лоб, чем терпеть такую рабскую жизнь; но — что прикажете делать!— я слишком любил вас, слишком надеялся, глупец, в возможность еще счастья в будущем... Я откупаюсь теперь потому, что до сей минуты продолжал жить все той же надеждой... А если она потеряна, если им презираете меня за это,— что ж?— вы свободны, я возвращаю вам ваше слово.

Граф говорил горячо, с увлечением и так убежденно, веруя сам в истину своих слов, что взволнованная до глубины души Тамара дослушивала его уже с крупными слезами на глазах. Она поняла, что эта служба его в «Товариществе» есть величайшая нравственная жертва, которую он приносит ради нее, что он любит ее все так же, как и тогда, и несет свой ужасный крест только потому, что не утратил еще надежды когда-нибудь соединиться с ней. Могла ль она после этого негодовать и бросать в него камень!?!— Нет, он нравственно еще более вырос в ее глазах, и теперь ей стали понятны и это смущение, и эта сдержанность, как будто даже холодность, какие обнаружил он в первые минуты их неожиданной встречи.

— Презирать вас, оттолкнуть вас... О, нет! Я слишком люблю вас... люблю все так же... Нет, больше даже!.. Я еще больше уважаю вас теперь!— с увлечением говорила она, горячо сжимая его руку.— Правда, я слыхала, что дед скупил ваши векселя и что вы должны были оставить Украинск, но я не знала всех обстоятельств, всей подкладки этого дела и вашего молчания. Теперь мне все ясно. Простите, я виновата перед вами, я смела усомниться в вас... Это ужасно!

— Я не сержусь, Тамара,— растроганным голосом произнес Каржоль.— Я только хотел сказать вам всю правду, чтобы вы знали,— и с меня довольно. Ваши слезы эти, ваша улыбка, все это говорит мне, что все недоразумения между нами кончены.— Не так ли?

— Да, да,— повторяла она ему с улыбкой счастья сквозь слезы.— Да, кончены... и навсегда!.. Я верю в вас и не усомнюсь более.

Но тут для Каржоля встал весьма интересный и тревожный вопрос. Она сейчас упомянула, что ей было известно о скупке векселей и о его побеге из Украинска. Откуда она могла узнать об этом? Через кого и как?.. И если она знает это, то не знает ли чего-нибудь и больше?.. По-видимому, не знает. Но если?., если этот услужливый кто-то постарается как-нибудь сообщить ей и остальное? А он, между тем, не отважился сказать ей теперь о своей женитьбе. Весь его горячий монолог как-то так был построен, по внезапному вдохновению, чисто, экспромтом, что в нем не оказалось и тени намека на это прискорбное обстоятельство. А ведь оно может открыться...И что же тогда?!. Нет, надо теперь же узнать, кто ей сказал о векселях и, смотря по тому, кто именно,— принять сообразные меры.

Но Тамара сама предупредила его намерение. Ей точно так же был интересен вопрос об Ольге, об ее будто бы участии в устройстве побега к Серафиме,— почему городские толки

стали приплетать сюда Ольгу и в чем тут дело? Не разъяснит ли ей это Каржоль?

— Что дед скупил ваши вексекля и что вы уехали,— это мне писала в Петербург Сашенька Санковская,— заговорила она, уже несколько успокоившись.— Признаюсь, тон ее письма очень удивил меня...тем более, что там были какие-то странные намеки на Ольгу, которых я окончательно не понимаю.

— Что же такое?— серьезно спросил Каржоль, несколько нахмурясь и внутренне настораживаясь, на всякий случай. При имени Ольги, сердце его невольно екнуло тревогой.

— А вот, прочтите.

И Тамара передала ему письмо Сашеньки, которое она нарочно достала из своей походной шкатулочки и спрятала в карман, чтобы показать его графу, еще в то время, как поджидала за шатровой завесой конца его разговора с инспектором.

Каржоль нарочно неторопливо развернул сложенный вчетверо листок и принялся читать его мелкие строки с нетерпеливо жадным любопытством, но стараясь выдерживать полнейшее наружное спокойствие, чтобы не подать Тамаре повод заподозрить свое внутреннее, далеко не спокойное состояние. При словах письма, что жида застали Ольгу утром в его квартире, графа невольно передернуло, но он постарался при этом пренебрежительно улыбнуться, равно как подобная же улыбка проскользнула у него и при фразе «твой граф-апостол».

— Барышня, как видно, очень зла на вас, что вы не посвятили ее в свою тайну,— спокойно и равнодушно заметил он со снисходительной усмешкой, возвращая письмо.— Ну что ж, это еще не беда. Вы отвечали ей?

Тамара объяснила, что она первая написала к Сашеньке, и то потому лишь, что не находила иного способа узнать хоть что-либо о графе, но после этого не отвечала ей ничего.

— Ну, а она? Не писала больше?

— Ни полслова. Да и о чем же, после такого злого письма, переписываться!— Отношения, очевидно, порваны.

— Разумеется,— согласился граф.— Ну, а что касается Ольги,— продолжал он,— то признаться, я и сам не понимаю, с чего ей вдруг вздумалось впутывать во всю эту историю себя?! Разве из желания выставиться, что и я, мол, что-нибудь да значу,— «мы-де пахали»... Удивительна эксцентричная голова!— пожал он, в заключение, плечами и призадумался, чувствуя сам слабость своей аргументации в объяснении «необъяснимого» поведения Ольги.

— Я и сам,— снова заговорил он с усмешкой, после минутки раздумчивого молчания,— я и сам слышал, еще тогда же, эту нелепую сплетню, будто ее застали у меня, и мне думается, что она нарочно пущена евреями, не столько ради меня, разумеется, сколько для вас, чтобы смутить вас.

— А что ж, это возможно,— согласилась Тамара.

— То-то мне и кажется. И потому-то, помните ли, я и писал вам тогда в монастырь, что к делу приплетают одну из ваших подруг... Я не хотел называть по имени но, помнится,



просил вас не верить ничему, что бы вы ни услышали.

— И я свято исполнила вашу просьбу,— подтвердила ему Тамара,— я ни на минуту не поверила, и если заговорила об этом теперь, то только потому, что хотела знать, с какой стати припуталась тут Ольга?

— Психопатка, что ж вы хотите!— развел граф руками.— Страсть выставиться, порисоваться, заставить говорить о себе во что бы то ни стало,— вот это что такое. О, вы еще не знаете, что это за женщина и чего она одному человеку стоила!.. Когда-нибудь, со временем, я расскажу вам... Это ужасная женщина!..

— Но ведь она вам нравилась?— лукаво улыбнулась Тамара.

— Н-да, нравилась *entre autres*,— небрежно согласился Каржоль.— Но и то лишь пока я не встретился с вами и не узнал, что вы за девушка. Впрочем, за это «нравление» я уж достаточно наказан...

При этих нескольких загадочных словах, Тамара с вопрошающим удивлением вскинулась на него глазами.

— Ну, да не стоит вспоминать!— махнул он рукой.— Когда-нибудь со временем узнаете, я расскажу вам.

— Да в чем же дело?— спросила она, решительно не понимая, чем могла так насолить ему Ольга.

— После, после... со временем, говорю,— с улыбкой поспешил он уклониться от ответа.— Я ничего от вас не скрою, все расскажу вам, но теперь не хочу отравлять ни вам ни себе счастливого дня нашей встречи. Это грустная история,— ну, ее!.. Вообще, прибавил он с притворно скромным видом,— на свои отношения к Ольге я никогда не смотрел серьезно, тем более, что не я за ней, а она за мной гонялась.

Последняя фраза опять неприятно резанула по нравственному чувству Тамары, которой показалось в ней что-то вроде не то фатовства, не то хвастовства какого-то и, во всяком случае, поползновение бросить сомнительную тень на ее старую подругу.— Зачем, ведь она девушка!— Нехорошо это!..— ей теперь хотелось бы всегда видеть его серьезным, положительным, рыцарски честным и идеально нравственным,— словом, таким, каким должен бы быть ее будущий муж, а не общедоступным легким ловеласом, хотя бы это ловеласничество и относилось к его прошлому.

В это время по дорожке мимо них прошла начальница общины, и Тамаре не трудно было тотчас же подметить в ее лице сдержанно-строгое и недовольное выражение. Она поняла, что та недовольна именно ею за продолжительное отсутствие ее из палаты и еще более за этот продолжительный интимный разговор с каким-то посторонним мужчиной, на явный соблазн остальным сестрам. Проходя мимо, старушка покосилась в сторону Тамары, деликатно давая этим понять ей, что пора бы уж и кончить, неприлично-де для сестры так долго... Но Тамара тут же нашлась, как ей выйти из неловкого положения.

— Матап!— окликнула она ее вслед по-французски.

Старушка, удивленно подняв брови, остановилась и повернулась

к ней несколько натопорщись, с немым вопросом во взгляде.

— Permettez moi de vous presenter mon fiance,— подвела она его к ней за руку,— граф Каржоль де Нотрек, о котором, помните, я говорила вам и великой княгине еще в Петербурге, после крещения.

Начальница сложила губы в официально любезную улыбку и несколько церемонно ответила плавным склонением головы на глубоко почтительный поклон графа.

— Вы мне позволите, сударыня,— скромно и серьезно заговорил он, не покрывая головы приподнятою шляпой,— вы мне позволите время от времени посещать мою невесту?

Старушка несколько замялась.

— Изредка, пож-жалуй,— с некоторой неохотой согласилась она,— в свободное время, отчего же, раз что вы жених и невеста... Но вообще, я бы просила вас, сестра Тамара, не отрываться на продолжительное время от ваших обязанностей.

И церемонно поклонясь издали графу, она прошла назад, по направлению к своей палатке. Каржоль ей видимо не понравился почему-то, и он сам инстинктивно почувствовал это. Почувствовала также и Тамара, и это сердечно ее смутило и огорчило.

— О го-го, какая, однако, она у вас строгая. С душком!— заметил он в насмешливом тоне.

— О, нет,— вступилась за нее девушка,— она предобрая, она прекраснейшая, благородная женщина... Это, просто, ангельская доброта; но, конечно, старушка с капризами некоторыми,— нельзя же без того... Но мы все ужасно ее любим и уважаем, и вы сами увидите потом, что это за сердце золотое...

— Ну, да Бог с ней!— небрежно махнул он слегка рукой и затем спохватился с озабоченно торопливым видом.— Однако нам с вами дано уже первое предостережение,— не будем сердить ее и простимся.

На прощанье они условились, что Каржоль время от времени, по мере возможности, будет навещать ее в качестве жениха. А чтобы знать всегда, где оба находятся, они условились переписываться между собою.

## **XVII. ПОСЛЕ СВИДАНИЯ**

Часов около шести вечера, когда часть отбивших свою очередь сестер и врачебно-административный персонал госпиталя, по обыкновению, сошлись к чаю за большим столом, один из ординаторов обратился к комиссару с вопросом, что это за франт приезжал давеча к генералу?

— Агент жидовский,— отвечал тот.

— Подъезжал было с «наивыгоднейшими» предложениями насчет поставок,— пояснил командир санитарной роты,— и уж так-то соблазнительно расписывал — «ай-вай!» Но наш — спасибо — турнул его достоподобным манером. Вперед не сунется.

— Удивительно бесстыжий народ!— заметил кто-то из медиков.— Ты его в шею, а он все лезет, точно овод какой!..

— Жиды, батюшка... На то и жиды, ничего не поделаешь!

— Да разве этот, что приезжал, жид?

— Хуже-с: соотечественник, да еще титулованный.

— Кто такой, говорите вы?

— Граф Каржоль де Нот рек.— Так графом и отрекомендовался, с форсом,— вот как!

Услышав это имя, Тамара, сидевшая за тем же столом, против начальницы, тревожно и чутко насторожилась и невольно стала внимательнее прислушиваться к перекрестному разговору.

— Хо-хо, какая громкая фамилия!— заметил кто-то.— Натощак, сразу и не выговоришь.

— Н-да-с, чуть не трехэтажная...

— И неужели же он тоже в «агэнтых»?

— Как видите.

— Экой срам какой!.. Экой позор!.. Дворянин, аристократ, и вдруг к такой пархатой шушере на послуги!— Воля ваша, это вчуже обидно даже!

— Мало ли их тут, титулованных-то!.. «Сыны отечества» тоже, «патриоты»... У этого хоть фамилия нерусская, а вот, как свои то, да не стесняются родовые имена волочить по жидовской грязи,— это много похуже будет.

— Времена, однако!

— Что ж, самые практические, без предрассудков, по крайней мере.

— Э, полноте, господа, причем тут «времена»!— Мерзавцы всегда были и будут. Это уж, так сказать, вне времени и пространства.

— Так этот трехэтажный граф действительно жидовский агент, наряду с Ицками и Шлемхами?!..

— Что ж, и наряду, коли выгодно.

— Экая подлость какая!

Тамара наконец не выдержала. Ей больно и страшно было слушать свободный поток всех этих осуждений и горько язвительных замечаний по адресу дорогого ей человека. Она сидела вся бледная, нервно встревоженная, крутя в пальцах свой носовой платок, и готова была чуть не разрыдаться. Рассудок подсказывал ей, что лучше воздержаться и сейчас же уйти, но сердце не выдержало.

— Господа,— сказала она с дрожащей ноткой страдания и укоризной в голосе.— Осуждать со стороны легко... Но справедливо ли?.. Назвать кого мерзавцем, право, не велика еще заслуга!.. Надо знать причины, какие побудили человека на такой тяжкий шаг... человека честного... Почем вы знаете, может из его положения не было иного выхода.

— Те-те-те... скажите, пожалуйста! Выхода не было... Это уж мы, кажется, в область неумолимости заходим... Эдак-то всякую мерзость можно оправдывать.

— Да вы что, сестра, заступаетесь? Вы его знаете?

— Знаю,— едва перемогая себя, подтвердила Тамара,— потому и говорю, что знаю.

— Да, и ведь и в самом деле, Тамарушка с ним разговаривала давеча,— вспомнила сестра Степанида.— Знакомый ваш, что ли?

— Знакомый... и смею уверить вас всех, человек порядочный.

— Сестра Тамара, у вас прекрасное сердце, мы в этом уверены,— шутя отнесся к ней ординатор ее палаты,— но смею думать, вы берете на себя напрасный труд оправдывать дрянью-людей, будь они хоть раззнакомые ваши. Порядочный человек в такую «компанию» служить не пойдет.— Это уж «ах, оставьте ваш характер!»

Тамара побледнела еще более, губы ее затряслись, на глазах выступили слезы.

— Господа, мне этот разговор очень тяжело слушать,— с усилием и мольбой в голосе, обвела она всех просящими глазами.

Все с удивлением посмотрели на нее и увидели, что с нею что-то неладное.

— Сестра, да что это с вами?! Или ваше христианское милосердие уж так велико, что вы готовы расточать его даже на всех проходимцев?.. Полноте, не смешите, пожалуйста! Что он вам, друг, брат, сват, что ли, или родня какая?

Но тут сочла уже нужным вступить в дело молчавшая доселе начальница общины, которая про себя давно уже заметила, насколько случайный этот разговор неприятен девушке.

— Граф Каржоль де Нотрек— жених сестры Тамары,— внушительно и веско заметила она, ни к кому собственно не обращаясь.— Теперь вы знаете и, надеюсь, можно больше не продолжать.

Граната, упавшая среди стола, казалось, не произвела бы такого эффекта, как эти слова добрейшей старушки. Все голоса вдруг оборвались, все взгляды с удивлением — иные с недоверчивостью и любопытством, иные с сожалением и состраданием — устремились на бледную девушку, точно бы они ее до сих пор не знали и не видали.

Минута тяжелого, смущенного молчания.

— Бога ради, простите, сестра, великодушно!.. Мы ведь не могли же знать, а вы молчите... Вам бы давно сказать, и конец!— первым заговорил сконфуженный ординатор, стараясь как-нибудь оправдаться. Конечно, должны быть причины,— вы, правы, но кто ж их знает!.. По наружности судить трудно... Во всяком случае, позвольте от души пожелать вам всякого счастья...

Общий разговор после этого порвался и уже не возобновлялся ни на какую тему. Положение вдруг стало тяжелым, натянутым. Всем было как-то не по себе, неловко и совестно, и каждый досадливо укорял себя в душе.— «Вот влопался-то!.. Обидел ни за что, ни про что хорошую девушку»...

Но всех неловче и тяжелее было самой Тамаре. Ей даже досадно стало на начальницу,— зачем, с какой стати было объявлять это во всеуслышание! Кто просил ее!— досадно и на самое себя, зачем вмешалась в разговор и выдала свою душу, зачем не ушла ранее! Она торопливо, через силу допила

свою кружку и, встав из-за стола, поспешно направилась к своей палате, глотая подступившие к горлу слезы.

— «Несчастный!»— думалось ей про Каржоля. «Какой страшной ценой — ценой позора и общего презрения — приходится платить ему за свою любовь!.. И все это самопожертвование ради меня... Ведь это из-за меня он терпит... Из-за меня!.. Одна я,— я всему причиной... Я виновата... Господи, да что же я за бесталанная такая, что всем приношу одно только горе да несчастье!.. Деду — горе, бабушке — смерть, всей семье — несчастье, ему — тоже несчастье... Тут, просто, роковое что-то».

\*\*\*

А граф, между тем, ехал из госпиталя как нельзя более в духе, совершенно довольный собой. Он никак не мог ожидать, что вся эта встреча и объяснение с Тамарой, которых он так боялся, разыграются для него столь благополучно. Нет, ему решительно везет,— он счастливейший человек в мире! Тамара ничего не знает, она по-прежнему любит и верит в него, готова ради него на всякую жертву... О, нравственный авторитет его очень силен над нею!— так думалось графу.— Она как воск в его руках: все, что захочет, то с ней и сделает, во всем убедит ее и заставит смотреть своими глазами,— в этом он окончательно сегодня убедился. Компанейские дела, несмотря на нынешнюю неудачу с инспектором, в общем тоже идут превосходно... Блудштейн и теперь уже загребаёт громадные дивиденды, да и сам Каржоль — что ж!— он пока совершенно обеспечен, может жить не стесняясь, как прилично в его «представительном» положении, а по окончании войны, с ликвидацией компанейских дел,— по его расчету, это уже и теперь можно предвидеть,— он не только до копейки расплатится с долгами, но и вывезет еще капитал тысяч в двести, по крайней мере, и тогда... О, тогда он знает, что ему делать! Промаху больше не даст!

И вот в голове его вдруг, точно бы по вдохновению, создается новый, чрезвычайно смелый и ловкий план, и он уже заранее вполне верит в его удачу, потому что верит в себя, в свою счастливую «талию», привалившую к нему теперь на зеленом поле житейского штосса.— И он идет ва-банк, черт возьми!.. Да, в конце концов, Тамара будет принадлежать ему со всем своим миллионным наследством — деньги ее улыбнутся-таки «благороднейшему» Соломону. О, он знает теперь, как это сделать! Ему важно было только убедиться в самой Тамаре, да вот, лишь бы выручить у Бендавида свои документы, а там — го-го, какой спектакль ему устроить!— «Eh bien, messieurs les juifs! Voyons nous!.. Rira bien qui rira le dernier!»

И он с удовольствием подкатил к ресторану Брофта утолять свой разыгравшийся аппетит бараньими котлетами с трюфелями и шампанским.

## XVIII. В ДНИ «ТРЕТЬЕЙ ПЛЕВНЫ»

В сумерки 25-го августа транспорт сестер Богоявленской общины прибыл на ночлег в болгарское селение Порадим, где в то время находилась главная квартира румынской армии, призванной из-за Дуная к нам на помощь.

По распоряжению военно-медицинской инспекции и «Красного Креста», сестер поспешно направляли теперь под Плевну, где по слухам, готовилась на днях новая атака укрепленных позиций Осман-паши. Две предшествовавшие неудачи наших войск под Плевной, равно как и обширные приготовления заставляли всех догадываться, что на этот раз здесь, вероятно, произойдет нечто грандиозное и решительное,— поэтому и сестры уже заранее готовились к предстоящей им большой и трудной работе. Вокруг них, в Порадима, как и в Радынце, где стоял тогда русский штаб, высказывалось почти всеобщее убеждение в успехе ожидавшегося боя, с таинственным видом, под величайшим секретом, передавалось из уст в уста людьми, далеко не посвященными в стратегические тайны штаба, об «именинном пироге», будто бы готовящемся на 30-е августа: почти никто и не думал о возможности третьей неудачи,— напротив, заранее были уверены, что уж теперь-то наверное принудят Османа или сдаться или очистить Плевну. Одни только люди, испытавшие на себе две первые «Плевны», сомневались в легкости этого дела и говорили, что будет трудно и жарко...

26-го августа, ровно в шесть часов утра, когда сестры уже трогались в путь, в Порадима послышался грозный гул громадного залпа, после которого на минуту воцарилась полная тишина, а затем начался довольно редкий огонь отдельных орудий. Громовой звук, услышанный в Порадима, был произведен залпом нашей большой осадной батареи и возвестил начало боя под Плевной. Канонада началась с обеих сторон без торопливости, с выдержкой, как подобает серьезной канонаде, рассчитывающей на меткость своих выстрелов. В продолжение всего пути к русским боевым позициям встречались сестрам по сторонам дороги таборы болгар, успевших бежать из-под Плевны, а около Порадима все громадное поле было наполнено их убогими пожитками, возами, буйволами, овцами и волами. Мужчин в этих таборах было очень мало,— повсюду виднелись одни лишь женщины да дети, сидевшие группами у своих возов, или уныло бродившие около дороги.

Когда санитарные линейки с сестрами выбрались на высоту за деревней Сгалсвицей, выстрелы стали слышны весьма ясно, а вскоре из Гривицкой лощины открылась некоторая часть и наших, и турецких позиций; но и там и здесь местами видны были только белые клубы нескольких дымов, медленно поднимавшихся в небо. Поезд двигался по грунтовой дороге, между стоявшими наготове артиллерийскими парками, повозками военно-походного телеграфа, разными обозами и кавалерийскими резервами. Вдруг между всеми, этими частями проявилось какое-то особенное движение людей, и позади поезда сестер раздались несколько громких окликов военного приветствия.

Тамара оглянулась в ту сторону, откуда неслись эти клики, да так и впилась туда глазами. На крупных рысях быстро приближалась оттуда многочисленная кавалькада свитских всадников, впереди которой развевался по ветру белый значок главнокомандующего с голубым восьмиконечным крестом посередине, а позади этой группы мелькали, сквозь поднятую пыль, папахи и блестящие газыри целого эскадрона конвойных линейцев и красные пики лейб-казаков. Вот из этой группы ясно выделилась спереди легкая коляска, запряженная четверкой вороных, и в ней Тамара узнала государя рядом с великим князем главнокомандующим. По мере того, как они приближались, свободные люди от всех ближайших парков и обозов спешили к дороге, наскоро выстраивались отдельными группами и радостным кликом отвечали на обращенное к ним царское «здорово!» Вот, наконец, коляска поравнялась с линейками сестер,— Тамара совсем близко от себя увидела несколько похудевшее лицо государя, с большими, добрыми глазами, скользнувший взгляд которых на мгновение она почувствовала и на себе... Вот лицо это озарилось приветливой улыбкой, и до слуха ее долетели ясно слова: «Бог помочь, сестры!»

— Бог помочь вам, государь!— неудержимо вырвалось у Тамары полное восторга восклицание, тотчас же подхваченное возгласами остальных сестер. Раздались «ура!» и клики радостных женских голосов, и белые платки приветственно замелькали в воздухе.

А белая фуражка государя уже мелькала сквозь пыль впереди,— и блестящая густая вереница сановников в колясках, генералов и флигель-адъютантов верхом на ретивых конях, уже проносилась, бряцая саблями и шумя подковами, мимо санитарного поезда.

— Вот умница! Вот молодец! Нашлась что ответить государю!— со слезой восторга в глазах хвалила между тем Тамару неразлучная с ней сестра Степанида.

Как это случилось, как вырвалось у нее это и для самой себя неожиданное восклицание, Тамара не могла дать себе отчета, чувствовала только, что вырвалось оно прямо из сердца и как-то невольно, само собой. Она не видела государя с самой Зимницы, с того раза, как он был на перевязочном пункте, и ей показалось, что с тех пор лицо его несколько похудело, побледнело и слегка осунулось. В этом дорогом лице, несмотря на ясную, приветливую улыбку, ей сказалось как будто затаенное внутреннее страдание, и ей вдруг стало так жаль его, так больно за него самой, что всю душу, кажись, отдала бы за него, лишь бы он был спокоен, светел и радостен.

Сестры, передавая друг дружке свои впечатления и замечания, говорили между собой, что в свите были: великий князь Алексей Александрович, Милютин, Адлерберг, Суворов, Грейг... называли и еще несколько громких имен; но Тамара, кроме государя, решительно никого и ничего не заметила. Все внимание, все чувства и мысли ее были всецело поглощены одним только им,— и все это наплыло на нее совершенно неожиданно и внезапно, точно бы вызванное каким-то видением, так что когда она, спустя минуту, очнулась от этого состояния,

то даже сама себе удивилась: с чего это вдруг с нею? Прежде, в Украинске, совершенно равнодушная к тому, есть ли царь в России, нет ли его, она до Зимницы почти не имела о нем понятия, а тут, при встрече на дороге, впервые почувствовала вдруг, что этот «посторонний» человек почему-то ей дорог, как может быть дорог отец, что в нем есть для нее что-то «свое», родное, чего ни купить, ни продать невозможно, и что это чувство ее к нему — общее со всеми другими сестрами, со всеми этими солдатами, офицерами, погонцами, со всем тем, что называется русским народом. И здесь она впервые сознательно нашла в себе ответ, что это от того, стало быть, что сама она в душе сделалась русской и перестала быть еврейкой. А сделалась русской, потому, что поближе узнала русскую веру, русского Бога, русского человека, покорооче сошлась, сжилась и сдружилась с русской средой и с русским солдатом в минуту военных жертв и испытаний, и воочию увидела и на себе самой почувствовала, что это все далеко не то и не так, как рисует его себе еврейство, ожесточенное и высокомерное в своем презрении к гойям.

Санитарный поезд медсестер поднялся, между тем, на ту высоту, где остановился государь со свитой, и проследовал позади спешившегося конвоя далее, за молодой лесок и кустарники. С этой центральной высоты, названной впоследствии «Императорским холмом», открывался широкий вид на наш левый фланг и на турецкие позиции, лежавшие против нашего центра. Самый город Плевна был совершенно скрыт в котловане, и виднелись только на вершинах холмов окружавшие его редуты, а еще далее на запад — часть отлого поднимающихся возвышенностей за рекой Видом. Кругозор всей этой картины хватал верст на тридцать от одного края до другого.

Государь поместился на одном из наиболее удобных пунктов «Императорского холма», и Тамара издали видела, как, сидя на складном деревянном стуле, он наблюдал в бинокль за ходом артиллерийского боя. Почти рядом с ним отчетливо вырисовывалась во весь рост высокая характерная фигура великого князя главнокомандующего, а позади толпилась несколькими группами царская и великокняжеская свита. Выстрелы раздавались довольно редко — от семи до десяти в минуту — в тихом воздухе отчетливо было слышно то приближающееся, то удаляющееся шипение гранат. Густые белые клубы отдельных дымов, освещенные ярким солнцем, беспрестанно выкатывались вверх в нескольких местах, на всем протяжении широкой картины, лежавшей перед глазами, и, вместе с ними, то у противника, то у нас взвивались желтые столбы дыма и пыли, производимые разрывами снарядов.

По прибытии на место сестры нашли уже перевязочный пункт вполне готовым к приему раненых. Место было выбрано довольно удобное в лощине и близ фонтана с хорошей водой. Но раненых еще не было. Все военные действия первого дня «Третьей Плевны» ограничились одной оживленной канонадой, на которую турки отвечали весьма энергично и преимущественно шрапнелью, лопающейся в воздухе над нашими батареями. Впрочем, люди наши в тех местах, где поблизости



находились фонтаны или колодцы, преспокойно варили себе обед на позиции. Перед вечером государь вместе с великим князем главнокомандующим отправились на ночлег обратно в Радынец.

\*\*\*

Редкая канонада с обеих сторон не прекращалась и ночью, а на рассвете, после часового затишья, возобновилась с нашей стороны весьма бойко, и таким образом дело шло до сумерек. Около трех часов пополудни государь с великим князем опять прибыли на ту же высоту, где присутствовали вчера, и оставались на ней до седьмого часа вечера, все время, пока на нашем левом фланге, в отряде князя Имеретинского, шел у Скобелева упорный бой на Зеленых высотах. В остальных частях войск потери были самые ничтожные, и потому перевязочные пункты и подвижные лазареты отдыхали. В свободные от своей очереди часы несколько медиков и богоявленских сестер с ближайшего к «Императорскому холму» перевязочного пункта всходили на его высоту посмотреть, как идет дело на позициях, и здесь Тамара опять видела издали государя, сидевшего повчерашнему на том же бугре и на том же складном стуле, со взглядом, задумчиво и пристально устремленным вперед,— туда, где шло дело. Время в бою летит незаметно: внимание наблюдателя постоянно приковано к происходящему впереди, где каждый отдельный эпизод — насколько можно следить за ним в общей картине — всегда бывает исполнен живейшего интереса. Тамара, в группе сестер и врачей, следила с холма по белым дымам, как вдали у Скобелева идет стрелковое дело. Сначала линия оружейного дыма Скобелсвской цепи видимо продвигалась вперед; порой линия эта приостанавливалась на некоторое время, а затем опять вперед и вперед, к зеленоватой высоте, занятой турками. «Слава Богу!»— слышались вокруг Тамары замечания мужчин,— «Кажется, бой идет успешно». И она испытывала при этом в душе успокоительное и довольное чувство. Ей было даже досадно, зачем слепой случай устроил так, что ей приходится быть не там, а здесь, на правом фланге, где ни вчера, ни сегодня не представилось для сестер решительно никакой работы. Но вот взаимный огонь противников на Зеленых горах дошел до высшей степени напряженного развития, после чего, минут двадцать спустя, линия русских дымов стала подаваться назад, все более и более уступая покидаемые места туркам, наступление которых точно также было заметно по непрерывной линии надвигающегося дыма. Чувство досады в душе Тамары усилилось еще и горечью и болью за видимый неуспех Скобелевского дела.

— Неужели турки опять победят?! Ведь это же несправедливо,— вырвалось у нее чуть не со слезами замечание, женская наивность которого вызвала благодушную улыбку у медиков.

В это время турецкие шрапнели стали лопаться в воздухе правее и невдалеке от высоты, на которой находился государь.

Эти снаряды направлялись против нашей батареи на склон «Императорского холма», замаскированный кустарниками,— и несколько картечей прожужжало над царской свитой.

— Ну, вот вы печалились, что у нас ничего нет,— обратился к Тамаре стоявший рядом с ней доктор,— кажись, и тут начинается...

Вскоре после этого в турецком редуте, расположенном левее Гривицкого шоссе, мгновенно поднялся густой белый столб дыма и принял ту характерную форму, грибок, которая служит обыкновенным признаком пороховых взрывов, и вслед за тем, через три-четыре секунды, послышался глухой и протяжный гул грома.

— Это, наверное, либо в ящик зарядный, либо в пороховой погреб хватило,— заметил сосед Тамары.— Утешьтесь, сестра: Скобелевская неудача хоть чем-нибудь да отомщена-таки!

Ночью неприятель нас не тревожил и не отвечал на редкие выстрелы наших орудий. Двое последующих суток прошли довольно монотонно, под гул почти не прерывавшейся канонады, без особенных потерь, но и без особенных для нас результатов. К вечеру 29-го числа погода, до сего времени сухая и теплая, вдруг изменилась. В воздухе засырело, небо подернулось сплошными тучами, и пошел мелкий, совсем осенний дождик, не прерывавшийся в течение всей ночи, и сразу, в какие-нибудь два-три часа, испортивший дороги до такой степени, что движение повозок сделалось крайне затруднительным.

В этот же вечер начальнику Западного «Плевненского» отряда, генералу Зотову, было доложено, что при такой усиленной стрельбе, какую за все эти дни вели наши орудия, на дальнейшую канонаду у нас, пожалуй, не хватит снарядов, а на своевременный подвоз их и вообще на правильное движение артиллерийских парков рассчитывать трудно при этой распутице, которая обратила дороги в глубокое месиво густой и липкой грязи. При таких обстоятельствах продолжать дальнейший артиллерийский бой было неудобно, и приходилось либо отказаться от штурма, либо начинать его завтра же. На военном совещании было решено последнее.

## **XIX. 30-Е АВГУСТА**

Граф Каржоль, проживавший в последнее время при «Агентстве» в Систове, получил от своих высоких принципалов некоторое «деликатное поручение» по поводу довольно крупных неисправностей «Товарищества», которые нужно было лично разъяснить в штабе армии. Поэтому высокие принципалы рассчитывали, что в данном случае, где надо было представить дело в их оправдание и пользу и смягчить неудовольствие штаба,— титулованное имя графа и его дипломатические способности могут наиболее повлиять на благосклонное для них решение. При том же высокие еврейские принципалы были сами по себе слишком большие господа, чтобы кому-нибудь из них стоило лично утруждать себя дальними поездками по неудобным дорогам и подвергаться не всегда приятным объяснениям.

Для подобного рода поручений они и держали у себя «представительных агентов» с громкими титулами и светским положением. Предложение патронов пришлось Каржолю как раз на руку. Он и сам был не прочь немножко «проветриться» от «тыловой» жизни в Зимнице и Систове, проехаться по новой незнакомой стране, воочию увидеть, как идут там военные дела, испытать новые впечатления,— может быть, даже посмотреть, если удастся, на картину какого-нибудь сражения... Как же, в самом деле, быть на театре военных действий, так близко от боевых дел, и ни разу не слышать боевого выстрела!— слушать только все рассказы других, а самому, в смысле очевидца, не иметь никакого понятия! Кончится война, вернутся все в Россию,— и рассказать будет не о чем, кроме бухарешских да зимницких походов с «куконицами». Нет, это даже неприлично! И граф, снабженный к тому же достаточной суммой на экстренные расходы по поездке, с удовольствием отправился под Плевну в нанятом удобном фаэтоне. В предвидении, что, может быть, придется проехаться в виде *partie de plaisir*, по бивакам и позициям, он захватил с собой английское седло и даже надел на себя кобур с револьвером,— неравно нападут башибузуки. Не забыл он также и плетеную корзину с вином и закусками,— потому что не портить же ему свой желудок какой-то, черт ее возьми, болгарской чорбой и паприкой!

Граф поехал не один. К нему пристегнулся некий мистер Пробст, отрекомендовавший себя корреспондентом какой-то второстепенной английской газеты,— ему-де крайне нужно спешить под Плевну, где на сих днях должна произойти «*great attraction*» всей кампании, а эти проклятые румынские «каруцары» и «суруджии» не везут дешевле как за двести франков; он же, мистер Пробст, не уполномочен своей редакцией тратить такие сумасшедшие деньги, а потому... а потому выходило, что граф из любезности должен довести его даром.

Граф это понял и, как «*a true Russian gentleman*», сам предложил ему свои услуги. Благодарный мистер Пробст доставлял ему за это развлечение в дороге, рассказывая специально английские анекдоды.

29-го, под вечер, приехали они в Радынец, но там графу прямо сказали в штабе, что теперь не до него и не до «Товарищества», что начальник штаба под Плевной, правитель походной канцелярии тоже, помощник его тоже, а потому и разговаривать с ним в Радынце некому, да и некогда; а уж если графу так дозарезу нужно их видеть, то пусть отправляется под Плевну,— может быть, там как-нибудь и удастся ему улучшить удобную минутку для разговора.

Граф так и сделал. Переночевав у маркитанта в Радынце, он на рассвете 30-го числа выехал с мистером Пробстом под Плевну.

\*\*\*

Утро 30-го августа было холодное и сильно туманное. Моросило. Когда Каржоль, в десятом часу утра, дотащился кое как в своем фаэтоне до «Императорского холма»,

впереди ничего не было видно: все и повсюду застилалось беловато-мглистой пеленой, сквозь которую даже и пушечные выстрелы с ближайших батарей отдавались глухо, а вдали уже и ровно ничего невозможно было слышать. Каждый звук глож и исчезал в этом густом и плотном тумане. У «Императорского холма» придворные служители спешно разбивали палатку, в которой должно было совершаться молебствие по случаю дня тезоименитства государя. Великий князь главнокомандующий прибыл со свитой около десяти часов утра и, почти одновременно с ним, появился в открытой коляске и князь Карл Румынский. Государь прибыл на холм в половине двенадцатого часа. Приняв поздравления, он спросил диспозицию, составленную на нынешний день, прочел ее и затем направился к палатке, где ожидал уже августейшего именинника протоиерей императорской квартиры в полном облачении. Раздалось стройное пение небольшого походного хора придворных певчих. Русская и румынская свиты столпились вокруг палатки, обнажив свои головы. Тут же стояли и кучки наших русских солдат, кучеров, служителей и группы местных болгар. Во время молебна дождь на некоторое время прекратился и канонада стала гораздо слышнее. Когда раздалось слово: «Преклоните колена, Господу помолимся», все тихо склонилось к земле, и священник с глубоким чувством произнес взволнованным голосом молитву о ниспослании победы русскому воинству. Эти слова как бы наэлектризовали всех присутствовавших, многие утирали слезы. Видно было, что каждый глубоко чувствовал в сердце своем значение переживаемой минуты, глубоко проникся смыслом возносимой к богу молитвы и дал полную волю своему святому чувству... Ко тот момент, когда дьякон возгласил, а певчие подхватили многолетие государю, исполнен был особой торжественности. В Петербурге в этот момент обыкновенно раздаются праздничные салюты с бастионов Петропавловской крепости, в Москве — со стен кремлевской Тайницкой башни, здесь же, на боевой позиции, ввиду неприятеля, под этим хмурым, ненастным небом, салютовал русскому царю перекатный гром боевых орудий, которому вторило шипение взрывающихся снарядов. Никогда еще русским государям не доводилось встречать день своего ангела в подобной обстановке, никогда еще не доводилось им и проводить его с утра до ночи на боевом поле.

После молебствия государь пригласил всех присутствовавших к завтраку. Для императорской фамилии и почетнейших лиц русской и румынской армии накрыт был на холме небольшой стол; остальные же поместились кто как мог. На земле были раскинута скатерти, на скатертях поставлены блюда, тарелки, бутылки, и вокруг них кое-как потеснились все наличные офицеры: кто на коленях, кто на корточках, кто стоя,— и наскоро принялись за холодный завтрак. Тут же, около английского военного агента, полковника Веллеслея, торчали два типичных гороховых англичан в пробковых шишаках с белыми повязками. Говорили, что это какие-то члены парламента, воспользовавшиеся каникулярным временем для экскурсии на театр военных действий.

К ним тотчас же пристроился и мистер Пробст, отрекомендовавшись как соотечественник, представился Веллеслию и, кстати, представил ему и своего спутника — графа Каржолья. Походный гофмаршал, приняв мимоходом всех четверых за знатных иностранцев, очень радушно пригласил и их принять участие в завтраке,— и, таким образом, Каржоль неожиданно для самого себя, очутился у конца одной из разостланных на земле скатертей, среди русских и румынских офицеров. Как общительный человек, он тотчас же перезнакомился со всеми своими ближайшими соседями и *vis-a-vis*, успел оказать одному-другому несколько маленьких застольных услуг, тому передать бутылку шампанского, этому подвинуть хлеб, и уже чувствовал себя в их среде совсем «на полевом положении»,— легко и непринужденно, *en camarade*, как вдруг, взглянув в сторону, запнулся на полуслове и даже несколько побледнел, не будучи в состоянии сдержать невольно передернувшее его нервное движение. Обеспокоенный взгляд его на некоторое время так и остался устремленным мимо своих собеседников, в направлении к царскому столу, где что-то особенное приковало к себе его внимание. Некоторые невольно тоже повернулись в ту сторону и увидели, как только что прискакавший ординарец, какой-то статный уланский офицер, лихо соскочив с лошади, бросил поводья первому попавшемуся казаку и, подойдя — руку под козырек — к царскому столу, стал что-то докладывать великому князю. Появление его обратило на себя внимание государя. Его подозвали ближе, внимательно выслушали повторенное им донесение, сделали несколько вопросов и затем милостиво отпустили. Походный гофмаршал тотчас же, подойдя к этому офицеру, любезно пригласил его закусить и указал ему как раз на ту скатерть, за которой сидел граф Каржоль с гороховыми англичанами.

Для графа не осталось более никаких сомнений. В приближавшемся улане он ясно узнал теперь Аполлона Пупа. Офицеры потеснились и очистили новоприбывшему местечко за скатертью, как раз напротив Каржолья. Взгляды их встретились и в них одно мгновением мелькнула, как холодная сталь, какая-то злая, враждебная друг другу искорка. Графу, кроме того, показалось, что вместе с этой искоркой, во взгляде его врага сказалось также и какое-то насмешливое удивление,— дескать, ты как попал сюда?! Но оба они сдержались и не показали, что знают друг друга.

Ближайшие офицеры, наперебой один другому, с живейшим любопытством обратились к улану с расспросами, в чем дело и что нового, какие известия он привез. Тот едва лишь успел отрекомендоваться ординарцем начальника Западного отряда генерала Зотова, как раздался звучный голос поднявшегося великого князя главнокомандующего, который провозгласил тост за здоровье державного именинника, единодушно покрытый восторженным и задушевым кликом.

Едва умолкло это дружное и продолжительное «ура», как поднялся государь император.

— За здоровье наших славных войск, которые в эту минуту дерутся с неприятелем!

— громко произнес он.— И да дарует Бог нам победу!

Новое восторженное «ура!» зашумело по всему «Императорскому холму» и было подхвачено стоявшими тут же болгарскими селяками, казаками и солдатами.

Не долго длился этот скромный походный завтрак, по окончании которого все опять отдали все свое внимание бою. Государь потребовал коня и, в сопровождении главнокомандующего, с самым ограниченным числом свиты, по-вчерашнему выехал версты на две вперед, чтобы ближе следить за ходом сражения. Все остальные лица, в ожидании его возвращения, оставались на месте.

\*\*\*

Вести, привезенные ординарцем, были не особенно радостны. Диспозиция на 30-е августа предписывала начало штурма в три часа пополудни, а между тем, благодаря увлечению одного не в меру ретивого полковника генерального штаба, вышло то, чего никак не ожидали. Около одиннадцати часов утра полковнику этому с чего-то вдруг показалось в густом тумане, будто турки закопошились в ближайших ложементях. Приняв почему-то это воображаемое копошенье за намерение броситься на наши батареи, он с места же, мгновенно и не предупредив никого из начальства, по собственной своей воле, повел целых два полка в атаку. Остальным же двум полкам дивизии ничего этого не было видно за туманом, и они остались на своих местах. Поднявшиеся батальоны, предводимые все тем же полковником, устремились против Радищевского редута, но тут их встретил такой убийственный перекрестный огонь, что они, не имея за собой никакой поддержки, должны были отступать в беспорядке, потеряв в несколько минут напрасно две трети своего состава и почти всех офицеров. Таким образом, из общего состава сил, предназначенных для общей атаки, далеко еще не урочного часа, целая бригада уже не существовала. Неуместного храброго полковника в тот же день отчислили от его должности, но это, разумеется, не поправило испорченного дела.

Ровно в три часа дня все назначенные для атаки войска перешли в наступление. Движение их на приступ было встречено со стороны турок на всех пунктах таким ужасным огнем, что с первой же минуты он слился в один непрерывный гул и треск, в котором отдельных выстрелов уже невозможно было слышать.

После четырех часов пополудни дождь перестал на некоторое время и туман мало-помалу начал рассеиваться. Вместе с этим явилась возможность наблюдать поле сражения. И в центре, около Радищевского редута, и на левом фланге, у Скобелева, видны были в перспективах, один за другим, ряды и линии белых оружейных дымов, над которыми там и сям поднимались высокие плотные клубы дыма, выкатывавшегося из орудий, и все это при непрерывном треске пушечных выстрелов, шипении гранат и рокоте неумолкаемой перестрелки.

Шрапнели все чаще и чаще красиво лопались на воздушной высоте, надолго оставляя после себя в небе густое маленькое облачко. Около шести часов вечера вся эта широкая картина озарилась особенным светом восходящего солнца. На западе, там, где грозно дымившиеся и рокотававшие позиции турок скрывали за собой притаившийся город, густые тучи, принявшие сразу свинцовый, а сверху темно-лиловый оттенок, вдруг в одном месте разорвались и образовали длинную узкую щель, которая вся горела красно-золотистым блеском, а из самой середины ее как-то зловеще глядело своим багровым диском большое солнце, наполовину перерезанное тучей. Вся картина боя, поля, кусты, холмы, отдаленные плоскости и перспективы линий этих боевых дымов на некоторое время окрасились и как бы прониклись, пропитались таким же багрово-золотистым, словно бы кровавым, светящимся колоритом...

На вершине «Императорского холма» сидел государь один и с сосредоточенным вниманием смотрел вдаль, на битву. У подошвы холма стояла группа высших представителей нашей армии и несколько лиц императорской свиты, а немного в стороне — группа иностранных военных агентов; позади же толпились наши и румынские офицеры разных родов оружия, ординарцы» адъютанты, полковые казаки и болгарские поселяне. Все эти группы отчетливо вырисовывались силуэтами своими на фоне озаренного неба, и все устремляли взоры на запад, туда, где кипело горячее сражение...

Каржоль стоял тут же. Он видел, сколько упований и какое нетерпеливое ожидание горело в этих взорах; он чувствовал, сколько сердец, так же, как и его собственное сердце, тревожно билось в чаянии близких результатов дела. И ему сделалось вдруг так больно и стыдно, так обидно и гадко за самого себя, за свое положение «постороннего» здесь человека, за свою презренную роль жидовского агента, в ту самую минуту, когда столько крови и столько дорогих жизней беззаветно приносится в жертву высокому долгу сынами того народа, к которому и он считается принадлежащим. Зачем он не с ними, не там, где они надрываются из последних сил, чтобы вырвать у противника победу, и бесповоротно умирают! А он, что он такое? Что привело его сюда? Какие «высокие» интересы? Защита плутов и казнокрадов, отстаивание гнусных гешефтов всех этих жидов, которых он сам презирает... Презирает и, однако, служит им, служит как раб,— нет, хуже, как лакей, за милостивые подачки! Не в тысячу ли раз лучше теперь же, сейчас вот, сию минуту кончить со всей этой гадостью, со всем своим позором и унижением, кончить все разом и навсегда? Стоит лишь броситься туда, в самый кипень боя, и честной смертью искупить всю свою бесполезную, жалкую и дрянно мелочную жизнь... На что она ему? Ведь она и так уже вся изломана, исковеркана... Кому нужна она и для чего?

Граф почувствовал, что атмосфера боя носит в себе нечто великое, нравственно очищающее и возвышающее человека,— и едкие, жгучие слезы навернулись на его глаза. Ведь вот, хоть бы этот Аполлон Пуп, подумалось ему. И вспомнив про Аполлона Пупа, про этого своего «врага» и — кто их знает!

— может быть, даже и любовника его жены, граф, которому и прежде иногда казалось и думалось, что он, по всей вероятности, должен быть ее любовником, вспомнил теперь всю свою, невольно сробевшую перед ним злобу и подавленную ненависть, закопошившуюся, вместе с чувством какого-то стыда, в его душе сегодня утром при встрече за завтраком. И ему стало завидно теперь этому Аполлону Пупу,— завидно не потому, что он, в некотором роде, его счастливый соперник и победитель,— нет, если бы это даже и так, черт с ним и с нею! Пускай их! Но завидно тому, что этот Аполлон, сколь ни скромна и ограничена его роль, а все же что-нибудь да значит, все же он дело делает, и делает его по совести,, честно и доблестно, как порядочный человек, как русский... Ну, а он- то,— он-то что такое, в сравнении даже с этим Аполлоном Пупом?

Две крупные слезы покатались по щекам Каржоля,— и ползучее, слегка щекочущее кожу, ощущение их вывело его чисто рефлексивным образом из этого горько самоуглубленного состояния. Он как бы пришел в себя, и ему сделалось вдруг стыдно этих самых слез,— неравно, еще другие заметят... Глупые нервы! Ребячество какое! Граф отвернулся в сторону и поспешно смахнул их рукой.

Как раз в это время на холме опять появился Аполлон Пуп, прискакавший с донесением к находившемуся тут же начальнику Западного отряда. Он весь был забрызган и перепачкан грязью, ремень с револьверной кобурой оттянулся на нем как-то вкось и съехал в сторону, мокрые волосы на висках слиплись от пота, на утомленном, и в то же время возбужденном лице, заметны были следы пороховой копоти, размазанной по щекам потом и пальцами; но все-таки, даже в этом виде, он был гордо и мужественно красив и глядел молодцом настоящим. По всему было видно, что это человек, сейчас лишь вышедший из адски горячей свалки. В эту минуту Каржоль понял и даже самому себе сознался, что такого могут и должны любить женщины,— есть за что! И в нем опять невольно шевельнулось злобное чувство зависти и ненависти к этому офицеру «с невозможной фамилией», как называл он его, бывало, в Украинске.

— Поезжайте сейчас же к генералу Крылову,— громко приказал между тем Аполлону генерал Зотов,— и узнайте непременно, взят ли, наконец, Радищевский редут и что там делается.

— Слушаю, ваше превосходительство,— спокойно проговорил тот, подымая руку к козырьку, и тотчас же ловко повернув на месте своего взмыленного коня, дал ему шпоры, перекрестился уже на ходу и поскакал вниз по склону возвышенности.

С отъездом его, как-то легче на душе стало Каржолю. Ему тяжело было быть в его присутствии и неприятно даже смотреть на него. Теперь он спокойно огляделся вокруг себя — и снова увидел на каждом лице все то же выражение томительного нетерпения и то же тревожное ожидание во взглядах; но надежда и уверенность в счастливом исходе боя стали в них как будто слабеть и колебаться.



Среди свиты заметно стихли разговоры, все сделались как-то молчаливее, сосредоточеннее, и лица принимали все более серьезное и пасмурное, даже угрюмое выражение. Все вокруг стали уже понимать про себя, хотя еще и не высказывались, что ставка нынешнего дня, кажется, проиграна... Только некоторые из иностранных военных агентов оставались безучастно, равнодушно спокойны. «Посмотрим, что-то из этого выйдет;» — как бы невольно говорило выражение физиономий этих господ, не то сдержанно-злорадных, не то прилично-сомневающих, но во всяком случае, далеко нам не сочувствующих и только старающихся из приличия скрыть истинное свое настроение.

— Как хотелось бы этим господам, чтобы нас и в третий раз поколотили, — заметил близ Каржоля один из почтенных генералов Императорской свиты.

— И именно сегодня, — добавил к этому замечанию другой собеседник.

Каржолю показалось, что они и его принимают тоже за иностранца, тем более, что около него все время вертелся и приставал со своими расспросами на английском языке мистер Пробст, то и дело заносивший свои замечания в записную книжку. Графу стало и досадно, и неловко, и в первый раз в жизни захотелось заявить себя русским, хотя бы перед этими незнакомыми ему генералами, чтобы не думали о нем так. Но увы! К подобному заявлению в данную минуту не представилось решительно никаких удобных поводов, а вмешиваться в их разговор он не считал приличным. Оставалось только отойти подальше от них, с досадливым чувством неловкости и смущения в душе, при сознании, что он и в самом деле, выходит, как будто «чужой» и «посторонний» всем и всему, что тут происходит, и что если бы даже кто-нибудь полюбопытствовал справиться, кто он такой, то те, кто его знают, вероятнее всего отвечали бы: «агент жидовский». Он чувствовал, что эта проклятая кличка должна лежать на нем, как клеймо отвержения, в глазах каждого порядочного человека, — но... что же тут делать, если на его шее затянута мертвая петля!

Между тем, на «Императорском холме» все еще нетерпеливо, почти лихорадочно ожидали известий с пунктов атаки. Но известий — ни радостных, ни печальных — не приходило ни откуда.

К семи часам солнце скрылось, багровое небо померкло и вновь задернулось густыми тучами, и вновь заморосил дождик — холодный, скучный, совсем осенний, и вскоре полная темнота сменила осенние сумерки.

Государь грустный уехал с позиции в Радынец около восьми часов вечера, и уже после его отъезда пришли известия, что вторичный приступ к Радищевскому редуту был отбит, так же как и утром, с громадным для нас уроном; первый приступ к Гривицкому редуту — тоже. Великий князь в ожидании известий об окончательном исходе штурма остался ночевать на месте. На холме был разложен большой костер из соломы, пламя которого, обозначая местонахождение главнокомандующего, должно было служить маяком для адъютантов и

ординарцев, ожидаемых с донесениями. Лейб-казаки усердно подкладывали в костер сноп за снопом и в течение всей ночи поддерживали большое пламя, несмотря на дождь.

К одиннадцати часам вечера было привезено, наконец, на бивак главнокомандующего первое точное известие о взятии Гривицкого редута, с которым, после вторичного приступа, было покончено еще в семь часов вечера, и это было первое благоприятное известие, каким можно было за весь день порадовать государя.

Великий князь и Карл Румынский поместились на ночлеге на «Императорском холме» в своих колясках, а свита расположилась где и как возможно: кто у костра, кто под экипажами или в повозках, а кто и просто на мокрой земле, завернувшись в гуттаперчевый плащ или в кавказскую бурку. Каржоль с мистером Пробстом, закутавшись в пледы, тоже расположились в своем фаэтоне, подняв его верх и фартук. Переговорить с кем следовало о деле графу сегодня не удалось, да он и сам понимал, что это было бы не к месту и не ко времени. Надо было дожидаться более удобной минуты,— может быть, завтра, может — послезавтра. Он еще днем успел заказать болгарским селякам, чтобы они привели ему на завтра, за хорошую плату, двух лошадей под седло, для него и для мистера Пробста, с которым вместе он намеревался проехать по нашим позициям, чтобы посмотреть поближе, как было и как будет дело,— если оно повторится.

Не многим спалось в эту памятную ночь. Осенняя сырость и дождь пронизывали до костей, вокруг ни зги не видно, а тут еще томительная неизвестность об исходе штурма... Для ограждения бивачного места главной квартиры от возможного ночного нападения к «Императорскому холму» был призван один батальон, который и окружил эту местность цепью аванпостов.

Было уже за полночь, когда, наконец, к великому князю привезли известие о положении дел на левом фланге, у Скобелева. Оказалось, что отряд его к шести часам вечера взял, последовательно, один за другим, два турецкие редута, причем Скобелев каждый раз сам водил в атаку свои штурмовые колонны, как на парад, с музыкой и развернутыми знаменами, и первым вскочил верхом на бруствер одного из редутов. Турки несколько раз пытались выбить его из этих укреплений, но «скобелевцы» отбрасывали их каждый раз с большим уроном.

Тотчас же по получении последнего известия великий князь при слабом свете фонаря карандашом написал записку об этом новом, благоприятном для нашего оружия событии и отправил ее к государю.

Всю ночь после этого известия слышна была на левом фланге, а порой и за Гривицей, почти непрерывная и сильная перестрелка, и всю ночь глубоко-темное, пасмурное небо озарялось молниеподобными вспышками, когда орудия с наших батарей посылали редкие выстрелы по линии турецких укреплений.

## XX. ПЕЧАЛЬНАЯ НАХОДКА

С рассветом, 31-го августа вновь началось дело по всей линии канонадой и ружейным огнем. Звуки выстрелов разбудили Каржоля, который все-таки успел поспать кое-как часа четыре. На рассвете было еще холодно и серо; дрожь пронимала его с мистером Просбстом, что называется, до костей, и они оба, вылезши из-под фордека<sup>1</sup> своей коляски на землю, поеживаясь от холода и зевая со сна, представляли собой довольно несчастные фигуры с помятыми, кислыми физиономиями. Но тут над ними сжалились лейб-казацьи офицеры, пригласив обоих подсесть поближе к костру, у которого, на нескольких подложенных камнях, уже кипел большой медный чайник. Казаки радушно предложили им горячего чая, взамен которого граф, со своей стороны, предложил им свою запасную бутылку коньяку, лимон и галеты. Два стакана чая с коньяком достаточно подкрепили и согрели его, а тут, кстати, явились вскоре и вчерашние «братушки» с заявлением, что заказанные лошади уже готовы и ожидают «иегову милость».

Не желая терять времени, граф сейчас же приказал одну из них переседлать своим английским седлом (мистеру Пробсту, нечего делать, пришлось удовольствоваться болгарским), и через несколько минут оба они отправились вперед, к боевым позициям. Хозяин одной из этих маленьких поджарых лошадок местной породы, болгарин Райчо, предложивший себя в проводники, бодро и мерно зашагал в своих опанках впереди них, опираясь на высокую палицу.

Вскоре выглянуло солнышко и пригрело своими лучами плажную землю.

На наш артиллерийский огонь неприятель отвечал редкими выстрелами, сосредоточив все свои усилия против одного лишь скобелевского отряда, где поэтому трещала неумолкаемая перестрелка. В ту сторону и направились теперь наши путники.

Пересекши Гривицкую лощину, они поднялись на противоположную возвышенность, покрытую кустарником и молодым леском, за которым на следующем, более высоком холме, виднелась большая осадная батарея, с наблюдательной вышкой-лестницей. Пробираясь по направлению к ней по опушке леска они вдруг наткнулись в кустарнике на труп коня, успевший уже заоченеть и порядочно вздуться. Бок его был разворочен страшной раной, из которой вывалилась часть внутренностей, болгарские лошадки невольно шарахнулись в сторону и захрапели. Успокоив их, наши путники уже намеревались было объехать подалее этот неприятный для лошадей труп, как вдруг в ближайших кустах послышался слабый стон человека. Они остановились и стали прислушиваться. Вскоре стон повторился тяжелым страдальческим вздохом. Каржоль сейчас же повернул своего конька в ту сторону, продолжая прислушиваться и искать впереди и по сторонам глазами — кто и где это стонет? За ним последовал шагком англичанин, а Райчо

---

<sup>1</sup> Фордек — складной подъемный верх у экипажа.

зашел несколько вперед, раздвигая руками ветви кустарников,— и менее, чем через минуту, они наткнулись на человека, распростертого на земле, в нескольких шагах от мертвой лошади.

Каржоль остановился над ним, пристально заглянув с коня в его страшно-бледное лицо и, почти не веря собственным глазам, узнал в нем Аполлона Пупа. Ослабевшие веки офицера были закрыты, в осунувшемся лице выразалось тоскливое томление.

В первое мгновение в душе Каржоля скользнуло враждебное чувство злорадного торжества: «Что, доскакался?!». Но ему тут же стало гадко и стыдно за самого себя, за это чисто животное движение своей души перед беспомощным, умирающим человеком. «Фу, какая подлость!»— мысленно осудил он самого себя и, тотчас же соскочив с лошади, нагнулся на коленях над Аполлоном, стараясь приподнять его голову.

Тот раскрыл свои веки и, блуждая глазами, остановил свой взор на лице Каржоля. Сначала выражение этого взгляда было страдальчески-бессознательное, безразличное, но затем в нем выразилось вдруг величайшее удивление. Граф почувствовал в этом взгляде, что Аполлон узнал его.

— Вы ранены?— спросил он его с участием.

Тот молча продолжал глядеть на него удивленными глазами, точно бы недоумевая, сон ли это или действительность.

Каржолю пришлось повторить свой вопрос.

— Ранен,— проговорил улан слабым голосом, не сводя с него взгляда.

— Куда именно? В какое место?

— Не знаю... в бедро, кажись... или в живот... осколком. ..

Граф осмотрел его внимательней и увидел пробитую полу мундира, а под ней окровавленные и пропоротые рейтузы. Под раненым стояла лужа черной, уже сгустившейся крови, и тут же, в двух-трех шагах расстояния, заметил он на земле взрытую черную борозду и ямину,— следы взорвавшейся гранаты.

— Пить хочу... пить,— слабо пролепетал раненый, поводя в томлении головой.

Каржоль заботливо огляделся вокруг себя: нигде поблизости воды не было... Хоть бы лужа дождевая, но и той, как на зло, не случилось.

— С вами есть коньяк?— обратился он по-английски к мистеру Пробсту.

— Oh, yes!— отозвался англичанин, хлопнув по висевшей на нем сбоку походной фляге, обтянутой желтой кожей, и затем, отвинтив ее металлическую крышку, имевшую назначение служить чаркой, налил в нее коньяку и подал Каржолю.

Граф, заботливо поддерживая голову улана, поднес чарку к его посиневшим губам и заставил его выпить два-три глотка. Тот сразу почувствовал себя бодрее, лицо его несколько оживилось.

— Давно это случилось с вами?— участливо спросил его Каржоль.

— Вечером... как ехал к Крылову... Рядом лопнула, подле... Всю ночь тут... Холодно...

Граф стал советоваться с англичанином — как теперь с этим несчастным, что делать? Оставить его и дольше так, очевидно, нельзя; надо нести на перевязочный пункт, а где этот пункт, они и сами не знают. Но на чем нести? Где взять носилки? Поблизости не видать ни одного санитаря... Ехать отыскивать их,— куда? И при том это будет сопряжено с потерей времени, когда тут дорога, может быть, каждая минута. Довести его под руки? Но при такой ране, даже с их обоюдной помощью, едва ли он будет в состоянии идти... Разве верхом?

— Вы в состоянии сесть на лошадь?— спросил граф Аполлона.

— Не знаю... надо попробовать.

— Мы вам поможем, а пока... Нельзя ли чем-нибудь перевязать его рану?— обратился он к мистеру Пробсту.

— Oh, yes!— отвечал запасливый англичанин и тотчас же достал из походной кожаной сумки свернутый бинт и пиналь с кровоостанавливающей ватой.

С помощью болгарина они разоружили и расстегнули улана и кое-как сделали ему перевязку, затем поставили его на ноги и подняли на руках в седло, на лошадку Каржолья. Аполлон невольно закричал при этом от мучительной боли, однако же нашел в себе достаточно еще энергии и силы воли, чтобы перенести здоровую ногу через круп лошади и кое-как усесться в седло. Зубы его стучали от нервной лихорадки, в теле ощущался озноб. Граф снял с себя осеннее драповое пальто и накинул его на плечи страдальца. Тот молча поблагодарил его признательной улыбкой. Мистер Пробст, вскочив после этого на свою лошадь, стал рядом с Аполлоном, поддерживая его объятием на своей правой руке, а Райчо, с другой стороны, держал его левой рукой под локоть, и таким образом они тронулись с места. Каржоль шел впереди, ведя за повод свою лошадь, озабоченный вопросом, где найти ближайший перевязочный пункт и как бы попасть на кратчайшую к нему дорогу. Шел он по направлению к осадной батарее, в надежде, что там ему всего скорее укажут, что следует, как вдруг, на спуске с возвышенности, увидел какую-то казачка, трусившего рысцей по тропинке. Граф окликнул его и спросил насчет перевязочного пункта,— не знает ли он, как попасть туда?

— А вот, влево, по этой самой дорожке,— указал каик,— у фонтана, так прямо и придёте,— тут и двух верст не будет.

Граф сказал ему «спасибо» и пошел в указанном направлении.

\*\*\*

Странное, незнакомое доселе чувство наполняло теперь его душу; странные, смешанные мысли вертелись в голове. Урывками вспоминались ему Украинск, «благотворительное гулянье» Мон-Симонши в городском саду и первая встреча его с Ольгой, и этот самый Аполлон Пуп — за ней, в глубине киоска, мрачный, молчаливо ревнующий его к Ольге и молча ненавидящий его за Ольгу еще в те времена, с самой первой их встречи... Затем мелькнули воспоминания о городе Кохма-Богословске,

вспомнилась эмансипированная судьяха с полицеймейстером Закаталовым, и опять Аполлон Пуп, готовый по первому слову Ольги, не рассуждая, подставить за нее свой лоб на дуэли или даже просто убить его, Каржоля, как собаку...

Припомнились горькие минуты своего насильственного венчания с Ольгой, и жуткие, оскорбительные сцены всего того вечера, темная сельская церковь, и опять, опять все тот же Аполлон Пуп, молча торжествующий с венцом в руке над Ольгой... А этот вчерашний его презрительно насмешливый взгляд, при встрече за завтраком? Все это мелькало теперь в воспоминаниях Каржоля, и все убедительно говорило ему, что этот уланский поручик — его инстинктивный враг, с самой первой встречи и до последней, может быть, минуты. «Какая судьба, однако», — думалось ему среди этих воспоминаний, — «какой удивительный случай!» И нужно же было, чтобы не кто другой, а именно он наткнулся на этого несчастного, беспомощного и помог ему, — ему, врагу своему, и — как знать! — быть может, даже любовнику женщины, носящей его имя. И вот, он ведет теперь за повод его лошадь. Какая ирония судьбы! И зачем он остановился над ним, в этих кустах, когда мог бы проехать мимо, оставив его на произвол судьбы, — ведь ему все равно умирать-то, там ли, в кустах, или в госпитальном шатре! Не выживет, нет! Что же, тем лучше, одним врагом меньше, — и одним ударом больше для Ольги, если точно они так близки. Но поймав себя на этой эгоистически гадкой мысли, Каржоль поспешил отогнать ее, с укором самому себе. «Радоваться смерти, — *ti quelle infamie!* Это недостойно порядочного человека! Нет, Бог с ним, пускай живет себе! Почему знать, может, и выживет. Но тогда что же это? Я, оскорбленный и ненавистный ему человек, являюсь вдруг его спасителем. О, если бы это знала Ольга! Если б могла она видеть его и меня и всю эту картину в настоящую минуту! Граф Каржоль де Нотрек — спаситель Аполлона Пупа!» Но именно мысль, что он спасает своего заклятого врага и, стало быть, поступает великодушно, «*en gentil homme*», эта-то мысль и увлекла Каржоля более всего. Она приятно щекотала его самолюбие, и чем больше он думал над этим, тем больше нравилось ему быть великодушным, и именно, в отношении этого самого человека. «Что-то он думает себе в эту минуту? Хватило ли бы у него духу посмотреть еще раз вчерашним язвительным взглядом?» Да, граф был уверен, что отомстил Аполлону за этот его взгляд, и что он вообще мстит ему теперь за все прошлое, и хорошо мстит, — лучше, чем мог бы отомстить в другой раз и при других обстоятельствах, хоть на десяти дуэлях! И Аполлон, казалось ему, должен теперь это чувствовать. Каржолю нравилась эта мысль, он радовался ей и любовался ею, как ребенок красивой игрушкой. Он сознавал, что это поступок человека гуманного и порядочного, и что теперь он нравственно отомщен и удовлетворен совершенно. И, наконец, какую прекрасную страницу доставит весь этот маленький эпизод мистеру Пробсту! Его корреспонденцию, конечно, переведут и прочтут в России... Прочтет, разумеется, и Ольга... Хорошо, пускай-ка прочитает!

С 29-го августа, по распоряжению главноуполномоченного «Красного Креста» сестер Богоявленской общины перевезли с правого русского фланга в центр, за Радищевские высоты, на главный перевязочный пункт, так как, ввиду предстоявшей 30-го числа атаки, там предвиделось наибольшее количество раненых. И действительно, за один только этот день через лазарет центрального пункта прошло около двух тысяч человек, раненых при двукратно неудачном штурме Радищевского редута. При такой массе людей, требовавших немедленной помощи, врачи, фельдшера, санитары и сестры просто сбились с ног, работая без передышки весь день и всю ночь, и под утро уже изнемогали от усталости. Линейки «Красного Креста», телеги русских погонцев и болгарские возы чуть не каждый час отъезжали целыми транспортами с центрального пункта, под прикрытием казаков, увозя в тыловые лазареты сотни раненых, мало-мальски способных выдержать тягости продолжительной перевозки. И все-таки ближайшая местность вокруг лазаретных шатров была еще усеяна множеством сидевших и лежавших людей в ожидании своей очереди к перевязке и отправлению. Всю ночь эти несчастные мокли под дождем и дрогли от холода, несмотря на разложенные для них костры и чай, предлагавшийся каждому. Всю ночь раздавались глухие стоны и предсмертное хрипенье. Шатры были переполнены более тяжело ранеными. Следы крови виднелись повсюду — на земле, на сенниках, подушках и матрацах... Лазаретные служители то и дело сбрасывали в особую яму, позади шатров, ампутированные части человеческого тела, а несколько поодаль десятка два нанятых болгар рыли большие, широкие могилы, около которых рядами лежали скончавшиеся воины. Людям, работавшим при такой обстановке, приходилось совсем забыть про свои собственные нервы. На утро 31-го числа около половины всех раненых за вчерашний день, после оказания первоначальной помощи, было уже отправлено в тыловые лазареты; но вывозные транспорты все еще продолжали свое дело, увозя партию за партией. На центральном пункте мало-помалу становилось просторнее, и хотя санитары все еще приносили время от времени новых страдальцев, отысканных и подобранных ими на полях, но эти приносы были уже не так часты. Ввиду того, что работа несколько полегчала, измученные от усталости сестры вынуждены были, наконец, учредить между собой очередь для кратковременного отдыха, сменяясь через каждые два часа.

Тамара только что ушла было отдохнуть в одну из сестринских палаток, освободившихся из-под раненых, как к ней заглянула сестра Степанида.

— Тамарушка, вы спите?

— Нет, а что?

— Никак, ваш жених здесь,— тихо сообщила ей приятельница, склонясь к ней на сенник, посланный прямо на землю.

— Какой жених?— недоуменно спросила Тамара, вовсе не

думавшая в эту минуту о Каржоле и слишком далекая от мысли о возможности его присутствия под Плевной.

— Как какой?! Да граф-то, что в Зимнице был... Как его?

Тамара очень удивилась и даже не совсем поверила.

— Здесь, говорите вы?— быстро переспросила она.— Где здесь? Зачем?

— Привез офицера какого-то, раненого.

— Да не может быть,— усомнилась девушка.— Вы, верно, ошибаетесь...

— Не знаю, только сдается мне, как будто он, насколько помню его... Да вы, лучше, выгляньте сами, и увидите.

Тамара, все еще сомневаясь, поднялась с сенника и поспешно накинула на голову свою форменную белую косынку.

— Где он?— спросила она, выходя из палатки.

— А вон, у операционного шатра... Ну, что? Убедились?

Но Тамара, увидев, что это действительно Каржоль, уже не отвечая Степаниде, поспешными шагами направилась в ту сторону. Она подошла к нему как раз в ту минуту, когда санитары, бережно сняв Аполлона с седла, укладывали его на носилки, чтобы нести в палату. Молча протянув руку свою графу, стоявшему в головах носилок, девушка заглянула сбоку в лицо раненому.

— Узнаете?— тихо спросил ее Каржоль, указав на него глазами? —.

Та еще раз посмотрела на лежащего офицера, несколько внимательнее вглядываясь в его черты, и вдруг отшатнулась назад, видимо, пораженная совершенной неожиданностью.

— Аполлон?— удивленно прошептала она графу, точно бы не доверяя самой себе.— Господи! Да неужели!

Каржоль утвердительно и грустно качнул головой.

— Моя случайная находка,— пояснил он ей тише, чем вполголоса;— в кустах набрел на него, и вот,— как видите.

— Опасная рана?— озабоченно спросила шепотом Тамара.

— Un e'clat d'obus dans l'estomac,— ответил граф нарочно по-французски, полагая, что Аполлон, едва ли знает этот язык.— Et je crois, que c'est un homme mort!— добавил он с безнадежным жестом.— Примите его на свое попечение.

— О, разумеется!— сочувственно отозвалась девушка.— Я сама буду ходить за ними.

В это время двое санитаров подняли на руки носилки с раненым.

— Погодите, братцы,— остановил их Аполлон и, повернув слегка голову, подозвал к себе графа.

— Благодарю вас,— проговорил он, протягивая ему ослабевшую руку.— Я не ожидал... Я виноват перед вами... и много даже... Вы знаете, о чем я говорю... Простите... и прощайте!

Не ожидавший таких слов и растроганный ими граф сочувственно ответил на бессильное, но выразительное пожатие его похолодевшей руки и взглянул на него примиренным взглядом.

— Вот так,— продолжал Аполлон, тихо улыбнувшись ему признательной улыбкой.— Так... Это хорошо! Благодарю вас... Ну, теперь несите,— приказал он санитарам с таким



облегченным, успокоенным видом, что казалось, будто с души его спала какая-то тяжесть.

С недоумением видя, что Аполлон просит у графа в чем-то прощения, Тамара в душе очень удивилась этому, не понимая, что могло бы оно значить? В чем Аполлон может быть так виноват перед ним? Но расспрашивать и, вообще, разговаривать было теперь некогда,— не такое время. Да вероятно, граф и сам, при случае, расскажет ей впоследствии.

— Ну, не взыщите, теперь недосуг,— наскоро проговорила она, прощаясь с ним сердечным пожатием руки.— Надо идти за этим несчастным, принять его... Мы еще увидимся, конечно?

Граф обещал ей непременно заехать завтра или послезавтра, как только позволят ему обстоятельства, призвавшие его под Плевну, да и самой ей тогда, вероятно, будет досужнее, чем нынче,— и они дружески расстались.

\*\*\*

Уезжая с перевязочного пункта, Каржоль чувствовал себя так светло и примиренно в душе, как никогда еще с самого своего детства. В этом чувстве, казалось ему, было именно детски-хорошее что-то,— давно, давно уже им не испытанное и позабытое даже. В этом светлом и, в то же время, тихо-грустном настроении, поехал он с мистером Пробстом к левому флангу, где кипело, между тем, отчаянно горячее дело. Пройдя мимо селения Радицево, Райчо вывел их на возвышенность, покрытую виноградниками и кое-где фруктовыми деревьями, откуда пред их глазами обрисовался левый обрывисто скалистый берег Тученицкого оврага, к которому примыкала Скобелевская позиция. С этого пункта отлично можно было наблюдать в бинокли значительную часть турецких позиций и отчасти видеть в котловине даже самый город, с кучами его черепичных кровель и некоторыми минаретами; видны были и два редута, взятые вчера Скобелевым, из которых ближайший упирался своей открытой горжей прямо в край высокого обрыва и как бы висел над городом. На эти-то редуты и направлялись теперь не только перекрестные, с трех сторон, выстрелы турок, но и беспрестанные их атаки. С осадной нашей батареи, к которой позднее перебрался Каржоль со своими спутниками, были ясно видны две линии ружейных дымов, из которых левая упорно оставалась на месте, а правая, турецкая, волнуясь зигзагами, то подвигалась вперед, то вытягивалась на некоторое время на месте, но неправильно подавалась назад и вновь подвигалась все ближе и ближе к дымам левой линии,— и вот, наконец, они сошлись и слились вместе, в одну белую тучу... Есть невозможное и для героев! Целые 30 часов отряд Скобелева не выходил из непрерывного боя; овладев же редутами, целые сутки держался в них, в надежде, что авось-либо пришлют подкрепление, авось-либо не пропадут задаром все эти нечеловеческие усилия и самопожертвования, которые проложат путь остальным войскам к победе, не запоздавшей еще и теперь. Но увы!— помощи не было, послать ее было не из чего, и турки вновь овладели редутами. Так окончилась «Третья Плевна».

## XXI. НАХОДКА БОЛЕЕ СЧАСТЛИВАЯ ДЛЯ КАРЖОЛЯ

Графу Каржолю удалось благополучно окончить свои объяснения со штабными лицами лишь вечером 1-го сентября в Порадимае, и он мог бы теперь свободно ехать в Систово, телеграфировать своим высоким принципалам, что гроза миновала, но ему не хотелось уехать из-под Плевны, не повидавшись еще раз с Тamarой. На это явились у него причины весьма уважительные. Во-первых, он обещал ей; но это бы еще ничего,— самое существенное было не в этом...

Под влиянием деловых разговоров в штабе, войдя в свою обыденную колею и освободясь от своего нравственно-приподнятого на известную высоту настроения и от всех исключительных, так сказать, экстраординарных впечатлений и дум, навеянных картинами боя последних августовских дней и всем эпизодом с Аполлоном Пупом,— граф возвратился в свое обыкновенное, нормальное состояние духа, которому довели его всегдашние «злобы» и заботы дня. И вот тут-то он прежде всего спохватился, что сделал, пожалуй, крупный промах, поручив Аполлона особому вниманию и попечениям Тamarы. А ну, как Пуп проживет еще несколько дней, или, чего доброго, почувствует себя лучше, начнет вдруг поправляться, и пойдут у него с Тamarой, как у старых знакомых, разговоры да воспоминания о прошлом, об общих друзьях и т.п. А ну, как он обмолвится ей как-нибудь невзначай, что граф женат? Простой вопрос с ее стороны,— что поделявает Ольга,— и готово! Это так естественно, так возможно. Наконец, он может высказать что-нибудь и в бреду, упоминая имя Ольги, и мало ли что? Ведь пришла же ему мысль просить прощения у графа. Эта же мысль может вернуться и в бреду.

Конечно, бред больного еще не Бог-весьма какое веское доказательство, но все же у Тamarы могут возникнуть разные сомнения; подозрение, пожалуй, закрадется, а там и пойдет навинчивать себя на этот лад, станет доискиваться, правда ли, и... чего доброго? Ведь женщины так склонны создавать себе фантазии и мучения даже из ничего, а тут есть из-за чего всполошиться.

И нужно же было ему привезти Аполлона как раз в тот самый лазарет, где работают эти богоявленские сестры! Да знай он это раньше,— ни за что не повез бы! Конечно, это лишь случайность, но она может, пожалуй, сделаться для графа роковой. И всему виной его дурацкое великодушие! Или уж во всем этом судьба,— так -называемый «перст Провидения», с его «высшей иронией»?

Но судьба ли, случайность ли,— что бы там ни было, а граф решил себе, что, во всяком случае, оставаться ему в неизвестности на этот счет невозможно: самого себя измучаешь только мнительностью да сомнениями, которые на самом деле, быть может, окажутся совершенно напрасными. Возможно, и так, возможно, и этак.

А лучше знать уж наверняка что-нибудь определенное. И нельзя же, наконец, всю жизнь изображать собой страуса, прячущего в куст свою голову. Надо решить этот вопрос так или иначе теперь же,— надо приготовиться, на всякий случай что сделать, что сказать и как держать себя, если она уже знает. Может быть, придется открыть ей всю горькую правду, все как было, и пусть тогда сама решает — отвернуться ли от него навсегда или рука об руку идти вместе напролом, наперекор всем препятствиям. Если она точно любит графа,— она предпочтет последнее, а если нет... Ну, что же? Он будет, по крайней мере, знать, что игра его проиграна, поставит над ней крест насмарку и удовольствуется тем, что дает ему сама жизнь, в связи с интересами «товарищества» и его светским положением. Неужели же он и этим не сумеет воспользоваться?

Но вот вопрос: найдется ли у Тамары достаточно времени и спокойствия, чтобы выслушать его исповедь и оправдания? Им могут помешать, у нее может случиться досуг, да и мало ли что. А недосказанное объяснение — это хуже всего.

И граф решил себе, на всякий случай, что вернее всего будет — изложить всю эту исповедь в письме, которое, вместо всякого объяснения на словах, он вручит Тамаре в том случае, если ей уже все известно, и попросит ее прочесть его спокойно, без гнева, и затем уже положить свое окончательное решение. Если же это окажется не нужным,— письмо останется у него в кармане, и только.

Ночуя в Порадими у маркитанта, он воспользовался остатком вечера и частью ночи, чтобы заняться сочинением письма, и окончив его, нашел, что оно написано, как следует, в благородном тоне, достаточно откровенно, убедительно, с чувством и даже красиво,— хоть в любой роман! Местами он не щадил в нем себя; но всегда выходил из этого самобичевания так, что Тамара необходимо должна была убеждаться, будто иного выхода для него и не было, будто в каждом таком поступке он был лишь жертвой несчастного стечения обстоятельств, оставаясь «au fond» всегда благородным и, главное, беспредельно любящим ее человеком, на которого все его беды опрокидывались в последний год исключительно из-за этого чувства его к ней. Не встретиться он с нею, не полюби ее, ничего бы этого не было.

— Ну, что будет, то будет!— фатально решил он себе, ложась в складную походную постель, которую всегда возил с собой в футляре.

\*\*\*

На утро, оставив мистера Пробста в Порадими, граф один поехал в своем фаэтоне к Радищевским высотам. Погода уже третьи сутки стояла сухая и теплая, дороги поправились, и потому поездка его не потребовала продолжительного времени и обошлась без затруднений, если не считать целые обозы с ранеными и больными людьми, медленно двигавшиеся навстречу ему из-под Плевны.

Центральный перевязочный пункт все еще оставался на своем прежнем месте, но там стало теперь совсем уже просторно. В шатрах оставались раненые только двух категорий: или самые легкие, которые могли возвратиться в строй к своим частям после самого непродолжительного лечения, или окончательно уже безнадежные, которых незачем было отправлять в тыл, так как неизбежность смерти являлась для них вопросом лишь нескольких часов или суток.

Подъезжая к перевязочному пункту, граф еще издали заметил на пригорке, шагах в трехстах в сторону от шатров, группу людей, состоявшую из нескольких сестер и лазаретных служителей, впереди которых виднелся священник в скуфье и черной ризе с серебряными позументами. «Верно, хоронят кого-нибудь»,— подумалось графу. Остановись у шатров, он увидел около каких-то вскрываемых ящичков саму начальницу Богоявленской общины, распорядившуюся вместе с уполномоченным «Красного Креста» приемкой по реестру разных госпитальных принадлежностей и запасов. Каржоль все-таки прямо к ней и направился.

— Я приехал узнать, что мой раненый, которого я доставил сюда третьего дня утром?— обратился он к старушке, почтительно приподымая свою мягкую шляпу.

— Какой это?— деловито и, несколько прищурясь, осведомилась начальница.

Граф назвал ей имя, фамилию, чин и полк, прибавив, что это был ординарец генерала Зотова.

— Ах, поручик Пуп?— припомнила старушка.— Как же, как же, знаю... Но только вы опоздали.

— А что, разве его увезли уже?

— Нет, умер... и его сейчас вот хоронят,— вон там,— указала она по направлению группы людей, на пригорок.

При этом известии Каржоль выразил на озадаченном лице своим чувство печаленности и сожаления.

— Как жаль!— вздохнул он, раздумчиво качая головой.— Это был мой хороший, давний знакомый... Впрочем, этого надо было ожидать,— такая жестокая рана...

— Если угодно, можете отправиться туда, поклониться праху,— предложила старушка, возвращаясь к своим прерванным на минуту занятиям.

— Благодарю вас, я... непременно, сейчас же,— проговорил он с поклоном.— Но прежде, сударыня, позвольте мне вам напомнить себя: я граф каржоль де Нотрек, жених сестры Тамары Бендавид.

— Как же, я помню,— промолвила она безразличным тоном, кивнув утвердительно головой.— Вы хотите ее видеть?

— Если позволите.

— Она там, на погребении. Это ведь был ее раненый: она ходила за ним, она и хоронит.

Каржоль еще раз почтительно поблагодарил старушку и пешком направился к пригорку, на котором желтелось несколько могильных насыпей и кое-где торчали деревянные крестики. Он пришел туда в момент, когда покойника только

что опустили в яму, и священник читал над ним последнюю литию. Протеснившись из-за солдатских спин вперед, граф первым делом отыскал глазами Тамару, и взгляды их встретились. Лицо ее было серьезно, как подобает при таком печальном религиозном обряде, и на приветливый поклон Каржоль она ответила издали одним легким кивком головы, без малейшей улыбки. При виде этого лица, которое показалось ему холодным и строгим, и при этом поклоне, который он нашел сухим, у него тревожно екнуло сердце. «Знает! Все уже знает!»,— подумалось ему.— «Неужели он успел сказать ей?!»

Но вот замолк последний печальный звук «вечной памяти», и Тамара, перекрестясь, первая захватила с насыпи горсть земли и крестообразно посыпала ее на покойника. За нею стали кидать на него пригоршни земли остальные сестры и солдаты. Граф последовал их примеру и, кидая, заглянул в глубь могилы. Там, без гроба, на голой земле лежал покойник, весь завернутый в холщовый саван, который закрывал и его лицо. Каржоль стоял над ним, поникнув обнаженной головой, и невольно задумался. Судьбе, как видно, опять угодно было, чтобы он встретился с ним еще раз,— в последний уже раз в своей жизни. Но что приносит ему эта встреча? Какое возмездие оставил ему в наследство покойник, если он сказал Тамаре то, чего Каржоль более всего не хотел, чтобы она знала? Неужели и тут, умирая, Аполлон, быть может даже не преднамеренно, еще раз отомстил ему за Ольгу уже после того, как сам просил его простить и забыть все? Так ли это, граф узнает сейчас, через минуту. Подойдет ли к нему Тамара, или нет? Знает ли она, или не знает? Все это сейчас должно обнаружиться и разрешиться так или иначе,— надо приготовиться.

Священник снял и передал солдату-причетнику все свое облачение; лазаретные служители принялись быстро засыпать могилу рыхлой землей. Три-четыре присутствовавшие здесь сестры, перекрестясь в последний раз, направились вместе с «батюшкой» к шатрам,— осталась над могилой одна Тамара.

«Знает или не знает?»— болезненно занывал роковой вопрос в душе Каржоль, между тем как сам он продолжал стоять в нерешительности — подойти ли к ней первому, или пускай она сама подходит. Он избегал теперь встретиться еще раз с ее взглядом, боясь, как бы не прочесть в нем заранее свой приговор, и старался упорно глядеть в зарываемую могилу.

Но вот, она сама подошла к нему и молча протянула руку. Каржоль почувствовал ее пожатие, которое показалось ему искренне дружеским, добрым, но он не смел еще вполне поверить своему ощущению. А вдруг он ошибается?

— Конечно...— тихо произнесла Тамара.

«Что кончено? Что она хочет этим сказать?»— тревожно и подозрительно подумалось ему; но он постарался перемочь себя и выдержал приличное случаю грустное спокойствие, сообщив при этом Тамаре, что видел сейчас ее начальницу, и она-де разрешила ему видаться с ней.

— Что ж, хорошо,— согласилась девушка.— Мы можем остаться здесь, пока зарывают могилу.

И оба замолчали, как будто им было не о чем больше говорить между собой.

Это еще более озадачивало графа, которому положение его начинало уже казаться неловким и тягостным. «Если знает, то чего ж молчит она!?»

— Когда умер?— спросил он наконец, чтобы хоть чем-нибудь нарушить неприятное молчание.

— Сегодня, в седьмом часу утра,— ответила она совершенно просто, но Каржолу в его разыгравшейся мнительности показалось, что сказано это было каким-то неопределенным, сдержанным тоном, точно бы она против него настороже.

— Вы были при его последних минутах?— продолжал он.

— Все время. Ужасно мучился.

— В памяти был или нет?

— Мало. Порою приходил в сознание, но ненадолго... Едва лишь узнает, скажет несколько слов, и опять все бред и бред,— так в бреду и умер...

— В бреду?— задумчиво повторил граф.— И что же такое... о чем, собственно?

— Да разное... Кто ж его знает! Скомандовал громко что-то такое странное: «повзводно направо жай»,— и это было его последнее слово.

— Так и не пришел в себя?— с живостью переспросил граф, у которого несколько отлегло от сердца, «Слава Богу, в бреду, значит, не проболтался, или она не поняла».

— Нет, не пришел,— ответила Тамара.— Но в ясные минуты сознавал, однако, свое безнадежное положение,— продолжала она.— Ведь к этой ужасной ране присоединилась еще и простудная горячка.

— Немудрено, всю ночь пролежавши под холодным дождем,— согласился Каржоль.— Но скажите, говорил он что-нибудь с вами? Узнал вас?

— Как же, узнал, почти с первой минуты, как я стала ходить за ним, и очень удивился даже, что я тут.

— Да? Ну, и что же?— продолжал он, едва скрывая свое жадное нетерпение разрешить поскорей мучившую его загадку.

— Да, ничего,— спокойно и просто ответила Тамара.— Был очень тронут, благодарил меня... даже успел завещать свою волю.

— Волю?— Насторожился Каржоль, внутренне встрепенувшись.— Какую волю?

— Да разные там посмертные распоряжения.

— Вот как! Хм... В чем же дело? Ведь это не тайна, надеюсь?

— Нет, какая же тайна! Деньги у него оставались в кошельке,— пятнадцать золотых,— ну, приказал переслать в полк, чтобы там раздать людям его взвода; я уже передала их начальнице. А потом еще медальон золотой был у него на шее, на цепочке,— просил похоронить себя вместе с ним. Это удивительно даже, как он любил ее!— добавила Тамара после маленького раздумья.

— Любил? То есть, кто это? Про кого говорите вы?

— Да все Ольгу же.

Задавая этот вопрос, Каржоль, уверенный ранее, о ком

идет дело, все-таки невольно вздрогнул, когда было произнесено это имя, и закусил губу, чтобы скрыть свое волнение. Ему подумалось, что вот теперь-то Тамара и выскажется.

— Когда он скончался,— продолжала между тем девушка,— я, признаться, сделала маленькую нескромность: раскрыла его медальон и — и представьте — вижу вдруг Ольгин портрет! Это меня даже тронуло,— такая идеальная привязанность, такое постоянство...

Каржоль успокоился,— «нет, она ничего не знает». Но его болезненно царапнуло по сердцу злобно ревнивое чувство. Он хоть и догадывался про себя, что покойник, вероятно, был близок его жене, но открытие насчет медальона, как бы подтверждавшее его догадки, было ему неприятно. Бог знает, может быть, в глубине души у него все еще таилась какая-то искорка, если не любви, то страсти к этой женщине, и даже только к ней одной,— насколько мог и умел он любить, не смея самому себе в том сознаться,— любить, ненавидя ее в одно и то же время всей своей душой.

— Ну, и что ж, в этом только и вся воля его заключалась?— спросил он со снисходительной улыбкой напускного равнодушия.

— Нет, Ольгины письма еще остались.

— Что? Письма?

Каржоль внутри точно варом обдало. Он увидел, что слишком поторопился успокоиться, что, может быть, из этих писем Тамара узнает гораздо больше, чем мог бы сказать ей умирающей, и что настоящая опасность для него была не там, а вот только теперь наступает. Но он понимал, что малейшее неосторожное движение или необдуманное слово с его стороны теперь-то и может легче всего выдать его внутреннее состояние перед Тамарой и навести ее на подозрения, а потому ему надо быть или, по крайней мере, казаться как можно спокойнее и вести дальнейшую свою тактику в разговоре с ней очень обдуманно и осторожно.

— Он сказывал,— продолжала Тамара,— что под подушкой у него есть бумажник с письмами и карточками Ольги, и просил, когда умрет, переслать его к ней, как есть.

— Вы видели их?— спросил граф как бы вскользь, совсем безразличным тоном.

— Что это? Письма-то?— отозвалась Тамара.— Нет, когда же тут? Не до того... У меня и то полны руки хлопот. Я только успела, как умер, вынуть бумажник, чтобы в чужие руки не попал еще... Он говорил,— продолжала она,— что письма все в одном пакете, и там есть адрес. Бедняге, очевидно, хотелось, чтоб Ольга знала, что он и, умирая, помнил и думал о ней.

Упоминание об адресе заронило в Каржоль новое опасение, как бы этот предательский адрес не выдал ей все сразу. Это, конечно, нынешний, петербургский адрес Ольги, где она, без сомнения, названа прямо графиней Каржоль де Нотрек. Тамара еще не видала его, но не все ли равно,— она увидит сегодня же, через час, через два, и тогда все кончено! Во что бы то ни стало надо выманить у нее этот бумажник теперь же, оставлять его долее в ее руках невозможно.

— Что ж вы теперь намерены с этим делать?— спросил он как бы между прочим.

— Да вот, не знаю... Надо будет, конечно, отправить при первой возможности, как-нибудь на днях, когда подосушее будет.

— Хотите, отдайте мне, я отправлю?— предложил он совсем просто, с самым невинным видом.

— Да нет, что же вас беспокоить, я сама уж...

— Какое же тут беспокойство!— возразил граф.— Ведь вы, конечно, будете отправлять посылкой, через полевую почту?

— Конечно, как же иначе?

— Ну, вот видите! Во-первых, это вам большие хлопоты,— рассудительно принялся он высчитывать ей все доводы.— Будь оно еще простое письмо — ну, так; а то ведь посылка,— значит, надо сдавать в полевой почтамт и ехать для этого в Горный Студень, а вам не до того. Во-вторых, это самый неверный путь: такая маленькая посылка может легче легкого где-нибудь застрять, затеряться и совсем не дойти по назначению,— попадет еще Бог весть куда и к кому! Ведь тут масса писем и посылок пропадает.

— Будто?— удивилась Тамара.

— О, разумеется! Разве вы не слышали, что на Унгенской станции просто сожгли более двадцати тысяч писем из-за невозможности разобраться с ними? Что за охота подвергаться этому риску!

— Но как же это сделать иначе?— в затруднении спросила она.

— Очень просто: давайте мне, я перешлю завтра же, как только приеду в Систово, и не с полевой, а с румынской почтой через Австрию. Это самый верный путь, и будьте спокойны, не далее как через неделю посылка будет у Ольги.

— Что ж, пожалуй,— согласилась, подумав, Тамара.

— Это всего короче,— убежденно подтвердил граф.— Где у вас бумажник-то?

— Здесь, со мной,— слегка хлопнула она себя по карману.— Я как взяла, так прямо в карман и положила, не поглядевши даже.

— Вот и прекрасно! Давайте-ка его сюда, а то, при вашем бивачном существовании, еще потеряете, пожалуй.

Она передала ему элегантный сафьяновый бумажник, по изящной наружности которого граф туг же сделал себе догадку, что это, вероятно, Ольгин подарок. Лишь мельком взглянув на него и точно бы боясь упустить такое сокровище, но более всего опасаясь, как бы она не вздумала полюбопытствовать, что там такое,— он сейчас же аккуратно засунул его во внутренний боковой карман своей жилетки и, для большей сохранности даже застегнулся.

— Так-то вернее будет!— с успокоительной улыбкой кивнул он ей головой.— А почтовую расписку вы от меня получите, я потом перешлю вам.

Теперь Каржоль был уже совершенно спокоен и даже счастлив,



что и не замедлило невольным образом отразиться на всем лице, на всем существе его, хотя он и продолжал усиленно сдерживаться, чтобы не слишком уж резко дать заметить Тамаре происшедшую в нем перемену.

— Ну, проститесь с могилой и займитесь собой,— у нас ведь времени не много,— предложил он Тамаре, подавая ей руку.

Девушка опустила перед насыпью на колени и, осенив себя крестом, положила последний земной поклон за упокой души погребенного.

Воспользовавшись этой минутой, граф достал из кошелька золотой и передал его солдатам, зарывавшим могилу, приказав поделиться со всеми их товарищами, принимавшими участие в погребении. Надо отдать ему справедливость, он вовсе не был скуп на деньги, когда они у него водились, и любил бросать их «по-барски», особенно, когда был в духе.

— «Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий!»— философски продекламировал он, спускаясь под руку с Тамарой с пригорка, и добавил, что это самый благой совет и самое мудрое изречение, какое только он знает в жизни.

Они медленным шагом, как бы гуляя, отправились вдоль по тропинке, и тут, когда очутились одни, без свидетелей, явилась у него и нежность, и самая внимательная предупредительность к своей спутнице, даже тембр голоса переменялся, сделавшись мягким, сердечным, и во взоре зажглась искорка теплой, нежной страсти. В эту минуту, ощущая близость Тамары к себе, прикосновение ее руки и плеча, ему совершенно искренне казалось, будто он в самом деле влюблен в нее и готов ради нее на всякий подвиг, на всякую жертву. О покойнике, о письмах, об Ольге не было уже и помину,— он говорил теперь только о том, как любит ее, как рад и счастлив, что удалось ему снова увидеть ее, как ему грустно и тяжело без нее, и когда-то, наконец, настанет то счастливое время, когда они будут уже вместе, вдвоем, неразлучно, и никакие «родственники», никакие евреи не помешают больше их браку,— вот только бы кончалась поскорей эта несносная война, а там... О, там он сумеет уже взять свое счастье! Тамара слушала, как сладкую музыку, этот страстный лепет и верила, и таяла под лучами его нежного взгляда, и горячо отвечала на пожатие его руки. Она глядела на его красивую, изящную фигуру, и ей вспомнились при этом встреча с ним в Зимнице и тот недружелюбный, полный предубеждения разговор о нем, какой вели при ней, за вечерним чаем, ее госпитальные сотоварищи, не зная, что граф жених ее; но рядом с этим вспомнилась и та сцена, как доставил он на перевязочный пункт раненого Аполлона, вспомнился и рассказ его, как он нашел его в кустах,— и сопоставляя тот и другой момент его появления в их госпитале, Тамара находила про себя, что последний поступок графа так благороден, так человечен, так великодушен, что ни у кого больше не посмеет подняться рука, чтобы бросить в него камень, и что все те, кто отзывались о нем так нехорошо, должны воочию убедиться теперь, насколько они были неправы. Начальнице он тоже тогда как будто не понравился,

— ну, а что она скажет о нем теперь?! Тамара тогда заступилась за него перед всеми, она всем заявила тогда, что он человек вполне порядочный и честный, что так судить нельзя, не зная его обстоятельств, и вот ее слова оправдались. О, теперь она с гордостью может всем и каждому говорить о женихе своем! Он тоже был в бою, в огне, и своим благородным поступком доказал, что он вовсе не то, чем его считали. И Каржоль, действительно, поднялся после этого в ее глазах еще выше. Она любила его, она гордилась им.

\*\*\*

Возвращаясь в Порадим, граф нетерпеливо ждал, когда экипаж его отъедет подальше от перевязочного пункта и скроется в ложине за первым перевалом, чтобы свободно предаться рассмотрению Ольгиных писем. И вот, наконец, этот желанный момент настал: он один, среди волнисто-всхолмленных полей, на вольном просторе,— здесь нет постороннего глаза, никто не помешает ему.

Граф достал из кармана бумажник Аполлона и раскрыл его. «Ну-с, посмотрим, что-то за тайны здесь заключаются?» Бумажник великолепен, изящной парижской работы, и первое, что бросилось ему там в глаза, был портрет Ольги, вставленный под шлифованное стекло с золоченым ободком в темно-вишневую кожу, в одной из внутренних створок. То была фотографическая карточка, прелестно разделанная легкой акварелью, где Ольга изображалась в виде чудной пепельно-кудрой головки, поэтически окутанной, точно легкой дымкой, газовой вуалью, из-под которой соблазнительно-прозрачно сквозило тело обнаженной груди и роскошных плеч.

— *Quelle impudence!*— благонравно возмутился Каржоль — скорее, впрочем, в качестве задетого этим супруга, чем строгого пуриста вообще. Он попытался, нельзя ли вынуть «неприличную» эту карточку,— оказалось, что очень возможно и даже легко. Такие карточки, находимые в подобных секретных местах, обыкновенно бывают с какими-нибудь интимными надписями на обороте,— это граф знал и по собственному опыту,— и взглянув на ее обратную сторону, он, действительно, нашел как раз подобного сорту надпись, сделанную рукой Ольги: «*A mon bien-aimé Poupitchik ta fidele Olga, en souvenir du 17 octobre 1876*». Надпись показалась ему пошлой, тривиальной, в особенности это ласкательное «*Poupitchik*» и это вульгарно-сентиментальное «*fidele*», вовсе не вяжущееся с положительным, реалистичным характером Ольги. Но что за значение имеет это «*17 octobre*»? Какой смысл под ним кроется, какое воспоминание? И подумав, он с негодованием вспомнил, что это был день его собственной свадьбы. Колючая боль обиды, взрыв оскорбленного самолюбия, сознание своего осмеянного человеческого достоинства и желчь ревности — все это разом поднялось и разом возопило в душе Каржоля, первым движением которого было намерение скомкать, порвать и вышвырнуть эту ненавистную карточку. Но он тут же опомнился, смекнув, что она может еще ему пригодиться и сослужить

впоследствии свою службу, тогда как уничтожить ее из-за минутной вспышки было бы непоправимой глупостью. И граф осторожно задвинул ее в надлежащее место.

Затем в одном из отделений бумажника он нашел большой незаданный конверт с надписью на нем рукой Аполлона: «В случае моей смерти прошу вложенное сюда письмо переслать по адресу вместе с этим моим бумажником. А.Пуп».

Граф вынул из этой обложки второй конверт, наглухо заклеенный и запечатанный гербовой печатью покойного и, взглянув на адрес, увидел, что не ошибся в своем давешнем предположении: письмо действительно было адресовано в Петербург, на имя «ее сиятельства графини Ольги Петровны Каржоль де Нотрек, в собственные руки». На ощупь оно казалось довольно плотным, давая возможность предполагать, что в нем упрятан не один лист почтовой бумаги. Граф, не взламывая печать, осторожно взрезал перочинным ножиком верхний край конверта и вынул оттуда небольшую пачку модных разноцветных листков небольшого формата, каждый с красивым шифром Ольги под графской короной. Пачку эту охватывал снаружи перегнутый листок обыкновенной почтовой бумаги, на котором было написано несколько строк рукой Пупа, и за них-то прежде всего схватился Каржоль. «Ты просила,— прочел он,— чтобы я сжег или возвратил тебе твои письма, потому что мало ли что на войне может случиться. Ты права. Может быть, мне и суждено быть убитым, но пока я жив, я не могу решиться уничтожить их и не могу расстаться с ними,— они слишком мне дороги, они для меня все,— пойми, все, самое заветное, что есть у меня в жизни. Ты знаешь, я суеверен, и мне кажется, что если их не будет со мною, то и сам я пропаду. Они мне все равно, как талисман, охраняющий меня не только «от измены и забвенья», но и от вражьей пули. Может быть, это смешно, но что же делать! Впрочем, желание твое будет исполнено, и когда ты получишь свои письма, то это будет значить, что меня уже нет на свете. Прощай, дорогая!»

— Ну, талисман-то, однако, не надежен оказался, не спас!— иронически подумалось каржолю.

Затем он обратился к пачке элегантных листков, где нашел целую коллекцию писем и записочек, и принялся прочитывать их, одно за другим, с нетерпеливым, жадным любопытством. Все они были собственноручно писаны Ольгой, все были «на ты», все относились к периоду времени уже после ее брака и все выражали более или менее откровенно ее нежные чувства к улану и разоблачали интимную близость их между собой, как любовников. В этом отношении, в особенности знаменательными оказались два письма, в последовательном порядке, относившиеся уже к более близкому времени. В первом Ольга со страхом и опасением сообщала, что она, кажется, беременна и не знает, что теперь делать и как избавиться от этого неприятного положения, а во втором уведомляла, что хотя ее милому Пупчику и очень хотелось бы, судя по его последнему письму, быть папашей их будущего «bebe», но увы!— она должна разочаровать его, так как страхи и опасения ее насчет беременности оказались фальшивой тревогой.

Невольно чувствуя в каждом из этих писем как бы косвенное поругание над собой и над своим именем «волочимым этой женщиной», граф, тем не менее, продолжал читать их с каким-то злорадным и мучительным наслаждением, точно бы растравляя в себе боль и зуд воспаленной раны. Дочитав же все листки, он положил их в прежнем порядке, в тот же конверт и в ту же наружную обложку, и спрятал все это в бумажник, снова упокоившийся в глубине его бокового кармана.

В первые минуты он просто не мог опомниться и овладеть собой от охвативших его двойственных чувств негодования, ревности и радостного торжества; но последнее, наконец, возоблагодало над первым. О, как жестоко отомстит он теперь Ольге,— за все: и за шантажную свадьбу, и за «волоченье по грязи» его имени, и за издевательства над ним, и за связь с Аполлоном, за все, за все, что до сих пор по ее милости служит ему каторжным ядром на его дороге и мешает ему в жизни... О, как он будет торжествовать над ней! Теперь она вся, вся в его руках,— улики налицо, и какие улики!— документальные, неопровержимые, подлинные,— и то, что было задумано им в Зимнице, на пути из госпиталя к Брофту, но что до сего дня казалось так трудно осуществимым, гадательным, почти невозможным, если бы Ольга не пожелала дать согласия на его план,— все то разрешается теперь так легко и просто, благодаря этой, убийственной для нее, пачке писем. Нет, судьба решительно благоволит к нему и, несмотря на неприятное, мало лестное для самолюбия положение рогоносца, он все-таки, в конце концов, уже и теперь может считать себя счастливейшим из смертных, а будет и еще счастливее, когда весь грандиозный план его осуществится, на посрамление всем жидам и врагам его.

## **XXII. В БОГОТЕ**

28-го ноября Плевна, наконец, пала. После отчаянной, но неудачной попытки прорваться к Виддину, Осман-паша со своей сорокатысячной армией сдался у Видского моста генералу Ганецкому.

В это время сестры Богоявленской общины работали уже в Боготе, в одном из подвижных госпиталей. В этом же селении, с 12-го октября, помещалась и главная квартира великого князя главнокомандующего.

На третий день после падения Плевны, около пяти часов дня, в виду Боготы показался довольно длинный и пестрый поезд всадников. Тут были и румынские калараши, и наши бугские уланы со своими красно-белыми значками. За каларашами ехала коляска, а за ней тянулась верхами, в красных фесках, длинная вереница турецких пашей, штабных чинов, адъютантов и офицеров плевненской армии, оцепленных нашими уланами, с пиками через седло. То привезли пленного Османа и большую часть его офицеров. Вся Богота, русская и болгарская, высыпала из хат, землянок и палаток смотреть на это

необычайное зрелище. Осман-паша был встречен у приготовленной для него юрты комендантом действующей армии, а взвод почетного караула отдал ему воинскую честь, как главнокомандующему.

Не успели еще в Боготе угомониться от впечатлений этой встречи, как к шатрам подвижного госпиталя приблизился другой поезд, под охраной казаков, состоявший из целого ряда лазаретных фургонов и линеек. То привезли офицеров и, частью, солдат гренадерского корпуса, раненых в бою 28-го за Видом. Все они были рачительно приняты врачебно-санитарным персоналом госпиталя и сестрами милосердия и размещены на койках по большим шатрам, где все уже заранее было приготовлено к их приему и накормлению. Офицеров поместили в особую палату, по возможности, с наибольшими удобствами. Между ними находился некто капитан Владимир Атурин, раненый довольно серьезно пулей в правую руку. Это был сильный, здоровый мужчина, лет тридцати пяти, с симпатичным и умным выражением мужественного лица.

Первый уход за ним достался на долю Тамары, которая привычной, мягкой рукой осторожно и нежно разбинтовала и промыла ему рану для новой перевязки. Он ласково поблагодарил ее за это в простых и сердечных выражениях.

— Вы так хорошо это делаете, особенно после наших фельдшеров с их грубыми лапами,— сказал он ей,— что я уж попрошу вас, будьте так добры, не откажите и вперед в вашей помощи.

И после этого каждый раз, когда ему нужно было перебинтовывать раненую руку, он не давал никому до нее дотронуться, кроме сестры Тамары,— и она, охотно исполняя этот маленький каприз раненого, не заставляла его долго дожидаться своего прихода и всегда являлась к его постели как раз к тому времени, когда врач должен был накладывать ему повязку. Таким образом, с первого же дня между ними установились как-то сами собой добрые, почти дружеские отношения, скрепляемые с одной стороны признательностью за услугу, с другой — охотной готовностью всегда оказать ее. Дня через три, чувствуя себя уже значительно бодрее, капитан Атурин, после утренней перевязки, обратился к Тамаре с просьбой.

— У меня к вам большая просьба, сестра,— сказал он,— помогите мне написать маленькое письмо,— сам, как видите, пока не в состоянии... Я вам продиктую.

Освободясь от своих обычных утренних обязанностей, по уходе врачей, Тамара сейчас же принесла к его постели складной столик и свой маленький бювар с почтовой бумагой, конвертами и походной чернильницей, присела на табурет и приготовилась писать под диктовку.

— «Дорогая моя тетушка»,— диктовал ей Атурин.— «В газетах вы, без сомнения, увидите в числе раненых 28-го ноября офицеров и мое имя. Знаю наверное, что вас это очень встревожит, и потому спешу предупредить, что рана моя, в правую руку, вовсе не опасна. Я уже и теперь чувствую себя совсем хорошо и надеюсь недели через две совершенно поправиться. За мной ухаживает добрая

сестра Тамара, без попечения которой, конечно...

Девушка приостановилась и посмотрела на него с выражением некоторой нерешительности и затруднения.

— Ну, это зачем же?— тихо проговорила она тоном немножко смущенной просьбы.— Этого не надо... позвольте не писать.

— «Без попечения которой»,— настойчиво продолжал офицер, улыбнувшись ей доброй и ласковой улыбкой,— «конечно, я никогда не поправился бы так скоро, как теперь».

Тамара все еще не решалась продолжать.

— Ну, что же, сестра? Пишите...

— Нет, право, это лишнее... Мне даже неловко... Во-первых, я делаю только то, что обязана делать, и никакой тут особенной заслуги с моей стороны нет, а во-вторых, писать своей рукой похвалу себе же... согласитесь, как-то странно выходит.

— Ничуть не странно,— возразил он,— во-первых, пишу я, а не вы,— вы только записываете. Во-вторых, я пишу к особе совершенно вам неизвестной, к своей родной тетке, которая у меня одна только и есть на свете самый близкий мне человек,— ни отца, ни матери у меня нет,— она одна только, и любит она меня, как сына... Я пишу ей все равно как к матери... и наконец, ведь это же правда, что я обязан вам,— почему же вы не хотите, чтобы мою признательность к вам заочно разделяло вместе со мной близкое мне лицо? Нет, уж я прошу вас, пишите не споря, как я диктую — прибавил он в заключение тоном ласковой, но решительной просьбы.

Тамара с улыбкой пожала плечами и принялась записывать, как бы исполнять этим каприз больного.

Он в кратком рассказе изложил обстоятельства, при которых был ранен, и извещал далее, что находится теперь в боготском госпитале, где врачи решили оставить его до окончательного излечения, и что при первой возможности, как только в состоянии будет вполне свободно владеть рукой, напишет ей сам, собственноручно, и со всеми подробностями, а пока просит еще раз не тревожиться о нем и обещает давать о себе известия почаще.

Письмо было кончено. Тамара вложила его в конверт, заклеила последний и приготовилась писать на обороте адрес.

— «В город Украинск»,— продиктовал ей Атурин,— «Игумении Серафиме, настоятельнице Свято-Троицкой женской обители».

У Тамары невольно опустились руки и, откинувшись несколько назад, она уставилась на него изумленным взглядом.

— Что вы так смотрите, сестра? Что с вами?

— Мать Серафима ваша тетка?— проговорила она, все еще ошеломленная этой неожиданностью.

— Да, тетка, а что? Разве вы ее знаете?

— Я-то? Очень хорошо; даже более скажу вам: она и для меня самый близкий человек на свете... Нравственно я считаю ее за мать,— вот она мне кто!

— Да что вы!— обрадованно удивился в свою очередь Атурин.— Вот не ожидал-то!

— Я ведь сама из Украинска, продолжала Тамара,— и многим, многим хорошим обязана матери Серафиме... Одно время я даже жила у нее в монастыре, и мы иногда переписываемся.

— Вот как! Ну, это просто судьба, наша встреча, и вдвойне рад за свою настойчивость, что упросил вас писать все: теперь она будет знать, что ходите за мной именно вы, и это еще более ее успокоит и утешит... Так вы ее близко знаете?— переспросил он в радостном волнении.

— Да как же! У меня даже образ есть, которым она меня на прощанье благословила, как мать, и я никогда не разлучаюсь с ним.

— Но расскажите, Бога ради, как же это? Какими судьбами, что и почему?

— Ну, это длинная история... Когда-нибудь потом, на досуге,— ласково уклонилась от расспросов Тамара.— Вам теперь еще вредно много разговаривать,— прибавила она как бы в оправдание своей уклончивости,— и то уже вон как разволновались! Доктор придет, журить меня станет за это.

— Нет, вы не поверите, как я рад!— искренне продолжал Атурин, протягивая ей левую, здоровую, руку.— Ведь это, в самом деле, какой счастливый для меня случай,— ну, подумайте! Мы, значит, с вами все равно как родные,— недаром у меня с первой минуты инстинктивно как-то душа легла к вам... Вот и подите, не верьте после этого предчувствиям!

— Да что ж тут особенного?— скромно улыбнулась и в несколько смущенном недоумении от последних его слов пожала плечами Тамара, которой, однако, в душе эти слова его были очень приятны.

— Как что особенного?— возразил он.— То и особенного, что, значит, хороший вы человек и сердце у вас золотое, если мать Серафима вас любит и вы ее тоже,— ведь вы же знаете, какая это женщина!

Тамара сказала ему: что сама напишет ей сегодня же, еще и от себя, и постарается окончательно успокоить ее насчет его здоровья и расскажет, как неожиданно разъяснилась для них обоих близость их взаимных к ней отношений. И она, действительно, написала к Серафиме подробное письмо, где последовательно объяснила ход лечения и состояние здоровья Атурина с самого прибытия его в госпиталь и обещала ходить за ним до полного его выздоровления, как за братом, и извещать ее по возможности чаще о всех переменах в состоянии его здоровья и раны, в память всего добра, которым так много обязана ей, Серафиме.

С этой минуты между Атуриным и Тамарой установились еще более теплые, сердечные отношения, точно бы между родными. Она отдалась уходу за ним со всем энтузиазмом своей отзывчивой души, делая это в благодарную и сердечную память о матери Серафиме; да и кроме того, ей просто приятно было братски ухаживать за симпатичным человеком, который чувствует и ценит в ней это. И сама она, предрасположенная к нему уже одним тем, что он племянник Серафимы, с течением времени, чем больше узнавала его, тем живей ценила

симпатичные душевные стороны этой открытой, простосердечной и мужественной натуры. Она узнала от него, что его покойная мать была родной сестрой Серафимы, связанной с ней самой тесной любовью и дружбой, что Серафима, до своего монашества, была поставлена обстоятельствами своей жизни в близкие отношения ко двору, к высоким сферам, мать же его вышла замуж более скромно, за помещика Атурина, занимавшего до конца своей жизни место предводителя дворянства в своей губернии, что сам он, Владимир Атурин, служил прежде в гвардии, а потом, женившись, вышел в отставку и был в своем уезде тоже предводителем, но с объявлением войны бросил все: и свое предводительство, и свое сельское хозяйство,— и снова поступил на военную службу, в один из полков гренадерского корпуса. Узнала Тамара и то, что, похоронив жену четыре года назад, он теперь бездетный вдовец, а из письма к ней Серафиме, полученного через две недели в ответ на ее первое письмо из Богота, она убедилась, что Серафима действительно любит его как сына. В этом письме своем игуменья не находила слов, как благодарить Тамару за ее самоотверженный, истинно христианский уход за ее бедным Володей и относилась встречу его с ней к особенной милости божией,— точно бы самому Провидению угодно было послать и сделать ее добрым гением-хранителем ее милого племянника, дороже и ближе которого у нее, после смерти незабвенной сестры, не осталось родного существа в мирной жизни.

Чем дальше шло время, тем больше заживлялась рана Атурина, и дело близилось уже к выписке его из госпиталя. Он то и дело мечтал о том, как возвратится в свой полк, примет опять свою роту и снова станет драться с турками. Но к этим мечтам его невольно примешивалось раздумье и чувство грусти от предстоящей разлуки с Тамарой.

Женским чутьем своим она угадала под конец, что это чувство в нем более, чем братское или просто дружеское, что он, быть может, даже незаметно для самого себя, поддавался увлечению и полюбил ее не как сестру, а как женщину. Это открытие сначала даже испугало Тамару. Она смутно почувствовала, как будто между ней и Каржолем вдруг становится что-то третье, какая-то новая нравственная сила, которую она не в состоянии ни отразить сама, ни отстранить от себя, с которой надо будет считаться и которая одним уже тем, что она есть, что она существует и стоит между ними, как будто наложила на Тамару какие-то нравственные бремена и путы. «Это несчастье»,— невольно думалось девушке. «Это идет беда какая-то...» Кому беда,— ей ли, ему ли, или всем троим,— Бог весть, но лучше, если бы этого не было! Зачем, для чего все так случилось, и что тут ей делать!? Оборвать все разом, нарочно перемениться к нему, оттолкнуть его? Но за что же? Что сделал он, чем виноват перед нею? Оттолкнуть... Но как это сделать, да и хватит ли духу и совести, если человек не подает к тому никакого повода, если он держит себя по отношению к ней с таким тактом, что до сих пор не обмолвился ей о своем чувстве ни единым словом, не выдал себя ни малейшим нескромным намеком? Может быть, однако, она ошибается?



Может быть, ей все это только вообразилось почему-то, и она создала себе нечто кажущееся, призрачное, чего в действительности не существует? Но нет, это чувство невольно сказывается у него и во взгляде, и в тихой улыбке, когда Тамара подходит к нему и говорит с ним. Она женским инстинктом чувствует в нем каждый раз это чувство, как невольно чувствуют иные люди с первого взгляда, с первой же встречи и часто даже без всякого внешнего повода, безо всякой видимой причины, кто их друг и кто недруг и кому сами они симпатичны или противны,— точно бы между ними, независимо от них, образуется сам собой какой-то магнетический ток притягательного или отталкивающего свойства. Этот взгляд его и улыбка лучше и доказательнее всяких слов говорили Тамаре, что то чувство, которого они служат выражением,— чувство глубокое, чистое, полное самоотверженности и беспредельною к ней уважения,— словом, не такое, как у Каржоля. Каржоль более, как будто позволял ей любить себя, чем сам любил ее. В самых ласках его, как и вообще, во всем его обращении с ней не чувствовалось равенства; в нем скорее сказывалось к ней какое-то отношение сверху вниз, точно бы к ребенку, звучала как будто снисходительная нотка, что объясняла она себе разницей их возраста и житейского опыта. Для Каржоля, казалось ей теперь, она была только интересной, милой девочкой, для Атурина — мадонной. А между тем, ведь Атурин, кажись, ровесник Каржолю. Явилось сравнение — невольное сравнение между тем и другим,— и Тамара с испугом поняла, что это уже плохо, что сравнение нехороший признак, что ему вовсе не должно бы быть у нее места, если она так любит Каржоля. Отчего же раньше никогда никакого сравнение ей и в голову не приходило? Уж не сама ли она виновата, что допустила случиться всему так, как оно случилось? Но эта чистота и глубина безмолвного и совсем не притязающего на нее чувства совершенно обезоруживала ее против Атурина. Полюбил человек,— ну, что ж с этим делать! Может ли она тут взаправду упрекнуть себя в чем-либо? Старалась ли она вызвать в нем это чувство, дразнила ли его каким-нибудь, хотя бы легким, самым невинным кокетством, хотела ли хоть чуточку в душе ему нравиться, думала ли даже, что это может случиться? Нет и нет. Такой мысли не было у нее и тени. С первой и до последней минуты по отношению к Атурину она оставалась и остается только доброй сестрой.

Но размышляя таким образом, Тамара в то же время поймала самое себя на одном очень тонком внутреннем ощущении, несмотря ни на что, ни на испуг перед любовью Атурина, перед этим своим неожиданным открытием, ни на искренность сознания, что было бы де гораздо лучше, если бы ничего этого не было, ни на усиленно призываемый, как бы на помощь и защиту против самой себя, образ Каржоля, ни на упреки самой себе, ни даже на искреннее желание избежать последствий того, что случилось, и не давать дальнейшего развития отношениям к ней Атурина, ни своим к нему, остановиться, прервать или уйти куда ни на есть ото всего этого,— в глубине души ей все-таки было приятно самолюбивое сознание, что ее любит «такой человек»

и что она, помимо собственной воли и хотения, могла внушить ему «такое» чувство.

Порой, в минуты подобного самолюбия, вместе с упреками за него самой себе и при виде своей обезоруженности против любви Атурина, Тамаре так усиленно хотелось, чтобы Каржоль был теперь здесь, подле нее,— хоть бы на день, на час один приехал повидаться! Ей казалось, и даже она была уверена или, по крайней мере, старалась уверить себя, что стоит лишь ей увидеть его — и все это, как тень от облака, сейчас же пройдет само собой, исчезнет без следа, и она почерпнет себе в своем любимом человеке новую нравственную силу и стойкость, освежит свое, искушаемое без него, чувство... Но он, как на зло, не ехал и даже с последнего их свидания на похоронах Аполлона ни разу не написал ей. Что все это значит, Тамара не понимала и терялась в догадках и предположениях: уж не болен ли, не уехал ли в Россию, не увлекся ли другой? Как же это так, в самом деле, больше трех месяцев не подал о себе никакой вести! Хотя бы телеграмму, что ли, прислал, если уж писать некогда,— болен, мол, или уезжаю,— а то вдруг ни слова! Как в воду канул! Обещал было выслать сейчас же почтовую расписку об отправке к Ольге портсигара,— и той не высылает! Что за странное дело! Написать самой к нему,— хорошо, но куда? Где он находится теперь? В Систове, в Букареште? в ином ли каком городе? Ведь он тоже не сидит на месте. Где и когда найдет его ей письмо? В прежних своих, правда, далеко не многочисленных, письмах (горячо любящий человек, думалось теперь Тамаре, особенно жених к невесте, должен бы был и мог бы писать гораздо чаще и больше) он каждый раз указывал, куда именно отвечать ему, а в последний приезд даже не сообщил своего систовского адреса,— позабыл, вероятно, да и она его не спросила, за множеством тогдашних хлопот. Выходит, что и писать-то некуда.

А между тем, кое-какие слухи о нем доходили до Тамары. С месяц тому назад возвратился из Букарешта один из ординаторов их госпиталя, сопровождавший туда партию больных и раненых,— тот самый ординатор, что так нелестно обмолвился при ней, в Зимнице, насчет Каржоля и так ужасно сконфузился тогда, узнав тут же, что граф жених ее. По возвращении в Богот, думая, что Тамаре будет приятно услышать весточку о своем женихе, он сообщил ей, что видел его дважды в Букареште: раз в театре и раз за ужином в ресторане «Metropole», что граф, по видимому, процветает, что за ужином их даже познакомил между собой один русский корреспондент, причем граф оказался очень милым человеком и веселым собеседником, но что о Тамаре ординарец ему не упоминал, полагая, что это было бы нескромно. Таким образом, Тамара знала, что месяц тому назад Каржоль был жив и здоров и даже веселился; но тем удивительнее казалось ей, что он не пишет. Такое продолжительное молчание она желала и старалась объяснять себе тем, что, вероятно, с ним случилось что-нибудь особенное, или же письма его пропадают на почте. Но странно,— не могут же они пропадать все подряд! Получают же другие, почему же у них не пропадают?

Чем дальше тянулось время, тем все чаще молчание это начинало казаться ей просто невниманием, даже равнодушием к ней со стороны Каржоля, после чего писать к нему первой выходило уже неловким, как будто и собственное самолюбие не позволяло этого. Напишешь, а он — Бог его знает — не сочтет ли это даже за навязчивость? Угодно ли, наконец, ему получать ее письма? Захотел бы вспомнить, так уж, конечно, нашел бы время и возможность написать, или хотя бы телеграфировать,— для этого, кажется, немного нужно времени. А то, значит, не хочет и не вспоминает... Значит, не болит ему это... значит, ему все равно! И это последнее сознание, больно задевая самолюбие Тамары, было ей и горько, и обидно, так что порой, под его влиянием, начинала она испытывать против графа даже чувство некоторого раздражения.

А Владимир Атурин все здесь, налицо, и все такой же...

\*\*\*

Стояла уже вторая половина декабря. Главная квартира собиралась уже покидать Богот, предполагая направиться пока в Ловчу, потом в Сельви, а потом — куда укажет ход последующих военных действий. Все были рады этому передвижению, потому что дальнейшее пребывание в Боготе становилось если не окончательно невозможным, то тягостным до последней крайности.

До 3-го декабря многие еще кое-как жили здесь в палатках, мирясь поневоле с ночными морозами. Приходилось, конечно, спать, не раздеваясь, но это все казалось сноснее, нежели жить в болгарских подземельях, которые именно скорее подземелья, чем землянки. Но с 3-го числа загудела вьюга, которая длилась без перерыва двое с половиной суток и за это время намела страшные сугробы. Снег на пол-аршина покрыл все поля, ночные морозы доходили до 17-ти градусов,— одним словом, зима стала сразу и притом зима суровая, совершенно скверная. Такая резкая перемена не обошлась без жертв. На пути от Систова в Боготу замерзло в поле много лошадей и шесть человек вольных погонцев; погибло и несколько одиночных солдат, заблудившихся среди вьюги, которая перемела все дороги. Около Богота, почти в самом селении, нашли восемь закоченелых трупов, занесенных снегом близ своих повозок; замерз в пути целый транспорт раненых и больных; замерзла и целая партия, человек в тысячу, пленных турок.

Обитателям палаток поневоле пришлось, наконец, переселиться в болгарские подземелья. Переселились в них и сестры боготского госпиталя. Тамаре, вместе с сестрой Степанидой и еще двумя другими сестрами досталась «кешта» (жилище, хата) из числа ближайших к госпитальным шатрам. Ничего хуже, непригляднее и неудобнее не встречали еще они у себя в России. Чтобы попасть в болгарскую кешту, к себе или к своим товаркам, им приходилось спускаться по скользким, грязным или обледенелым и обыкновенно очень крутым ступенькам аршина на три в землю. Здесь они наталкивались на

низенькую дверцу, какие в России бывают разве в самых бедных свиных и овечьих хлевах. Это — самое предательское место, где они с непривычки стукались о косяк теменем. Болгарские землянки все почти на один образец. Когда Тамара, перешагнув за порог дверки, впервые попала сразу в какое-то темное и вонючее пространство, ощущая липкую грязь под ногами, она даже растерялась, точно бы неожиданно очутилась вдруг в каком-то заброшенном погребе. Прошло с минуту времени, прежде чем глаза ее привыкли к этим потемкам и пообгляделись в них, и только тогда, сквозь дым и пар, неисходно стоящий здесь от ужасной сырости, начала она понемногу различать окружавшие ее предметы. Налево от входа стояла пара рабочих буйволов на навозной подстилке; направо шли вдоль стены две или три полки, где помещалась скудная домашняя утварь; в следующей стене, тоже направо от входа, был устроен ничем не огороженный очаг, где просто на земляном полу тлел кизяк вместе с обугленными древесными сучьями, дым выходил в широкую прямую трубу, ничем не прикрытую сверху. У основания этой конусообразной трубы была сделана деревянная поперечина, на которой висел на цепи медный котел, «казан», для варки «чорбы», — бобовой похлебки со стручковым перцем. Других печей не существовало и, стало быть, о тепле сестры не могли и думать. Потолка тоже не было; грубые стропила образовывали прямо кровлю, покрытую кукурузными стеблями и комлями и засыпанную землей. К довершению всех удовольствий сестры узнали еще, что эта кровля служит вечным приютом тарантулам, скорпионам, мышам, крысам, ужам и змеям. У основания крыши пролегал поперечная балка с перпендикулярно вдолбленным в нее бревном, которое подпирало верхнюю балку, где сходятся стропила. Здесь были подвешены кочны капусты, лук, чеснок, пучки кукурузы и стручкового перца, составляющего излюбленное лакомство болгар — от годовалого ребенка до глубокого старца. Здесь же висели для просушки бараньи и воловьши шкуры, издававшие вместе с живыми буйволами убийственно смердящий запах. В целой хате не было ни малейшей мебели — ни стола, ни скамейки, ни кроватей или нар для спанья. Весь житейский обиход совершался на грязном, смоклом полу. Выбеленные когда-то стены были покрыты потеками и узорами сырости, которая искрилась теперь на них серебристым налетом изморози. Из этой хаты вела низенькая дверь в смежное помещение, служившее кладовой, где стояли разные кадушки, плетенки с запасами и хранились высушенные бараньи шкуры да лишнее платье. Эту-то кладовую, из которой было сейчас вынесено все громоздкое и излишнее, и пришлось занять для жилья сестрам. Вместо окошка в ней была проделана на уровне наружного грунта просто сквозная дыра без рамы и, конечно, без стекол, о которых тут, кажется, и понятия не имелось. В оконную дыру валил снег, сочилась дождевая вода или уличная грязь, и это помещение даже очагом не согревалось. Для тепла надо было довольствоваться «мангалом» — железной или глиняной жаровней, где тлели угли. Вонь в кладовой стояла ужасная, потому что около оконной дыры, снаружи, обыкновенно совершались,

как и везде, всю семью хозяев всякие нечистоты. Но и за такое помещение приходилось еще благодарить Бога, потому что «кешты» брались чуть не с бою. Подобные кладовые, напоминающие скорее могильные склепы, чем жилье, вынуждены были занять под себя не только офицеры и чиновники главной квартиры, сестры и медики, но и сам начальник штаба имел помещение не многим лучше прочих, а великий князь главнокомандующий предпочел остаться в юрте, несмотря на все неудобства. Все же сестры постарались кое-как устроиться и в этих невозможных условиях,— поневоле приходилось мириться с тем, что есть. Здесь все дни напролет надо было им проводить при свечах. Выйдет, бывало, Тамара на свет Божий подышать немного свежим воздухом,— серебряный блеск снегов, особенно под солнечными лучами, ослеплял и до боли, до крупных слез, резал ей глаза, так что приходилось зажмуриваться и постепенно привыкать к свету; а войдя опять в свою конуру — в глазах, бывало, становится до того темно, что в первые мгновения не различался даже огонь свечи. Теснота внутри такая, что и повернуться почти негде было. Но все это переносилось сестрами стоически, при сознании своего святого долга, добровольно на себя принятого. В свободные от дела часы, оставаясь у себя в кеште, Тамара поневоле приглядывалась к окружавшей ее обыденной жизни и обиходу семьи своих хозяев, так как здесь ей впервые еще с начала войны пришлось войти в непосредственное соприкосновение с болгарами. Женщины этой семьи три или четыре раза в день принимались печь себе на очаге кукурузные лепешки вместо хлеба и пекли их самым первобытным способом, зарывая тесто прямо в горячую золу. Ни вилок, ни ложек эти «селяки» не употребляли, а ели из общей миски руками, или же макая в жижицу куски лепешек, которые заменяли им ложки. Но до чего все это было неопрятно! Мясной пищи у них она и не видела, а сказывали ей «сеструшки», что разве уж на Рождество или на Светлый праздник зарежет хозяин барана, да и чорбу-то они ели только по праздничным дням, а в будни довольствовались всухомятку кукурузными лепешками и перцем. Вся семья обыкновенно ютилась вокруг очага,— старый и малый сидят себе, бывало, на корточках и греются. Стена, противоположная входу, имела посередине углубление, вроде печуры, где помещались грубо намалеванные образа: св. Димитрий, Пантелеймон Целитель и другие. У этой стены валялась большая камышовая циновка, которая на ночь перетаскивалась поближе к очагу, и на ней укладывалась спать вся семья, вповалку, вокруг неугасаемого огня. Спали, не раздеваясь, как и вообще все сельские болгары, имеющие обыкновение никогда не раздеваться и никогда почти не мыться,— разве уж перед каким-нибудь большим праздником. В семье изрядно-таки наплодилось малых ребят, и годовалые младенцы бросались матерью у очага без всякого призора, часто нагишом, без малейшей одежды. И так-то вот, в этой кеште, на пространстве каких-нибудь двух, много трех квадратных сажень, проводила всю свою жизнь болгарская семья, в самой гнетущей, убийственной обстановке.

А между тем, Тамара знала, что люди они далеко не бедные,— напротив, зажиточные, и у хозяина в кошеле за пазухой было припрятано не мало-таки «желтиц» — турецких лир, австрийских дукатов и русских червонцев. Она сама видела их, когда хозяин однажды раскошелился при ней, чтобы дать сестре Степаниде сдачу за купленное у него «свинско масло», то есть топленое свиное сало для жарева. Особенного расположения к русским, как и особенной ненависти к туркам, к удивлению Тамары, у всех этих болгар не замечалось. «И руси-ти добры, и турци-ти добры, сички добры!»— лукаво и уклончиво, себе на уме, высказывались они в ответ на вопрос, каково им жилось под турками. В их тупой эгоистической замкнутости проглядывало, скорее, безразличное равнодушие к русским «освободителям» и к их успехам или неудачам, если даже не затаенное недружелюбие и предубеждение против скверных «братушек», с которых почти все они и повсюду старались только за все про все драть втридорога: даром ни малейшей услуги! А их «чорбаджи», «мухтары» и многочисленные турецкие чиновники из болгар относились к «освободителям», где можно было не боясь за собственную шкуру, даже прямо с враждебностью и охотно служили туркам, чуть лишь представлялся удобный случай, наилучшими шпионами. Ввиду всего этого, а главное, ввиду удивительной инертности этого народа, в душе Тамары, как и у большинства русских людей за Дунаем, возникло, наконец, сомнение,— да полно, точно ли болгарский народ так несчастен и угнетен, как прокричали перед войной во всех русских и многих английских газетах? В ближайшей к ней среде ее товарищей по госпиталю, между больными и ранеными и между знакомыми офицерами, все чаще и откровеннее подымались разговоры и толки на эту, щекотливую в начале войны, тему, и возникали, полные сомнений, вопросы,— точно ли болгары сознают себя «братьями» русских и так ли жаждут, все поголовно, освобождения из-под турецкого «ига», да и чувствуют ли, на самом деле, это «иго»? Нет ли тут какого недоразумения, миража, идеалистически созданного себе нами самими? Не было ли напущено во все это дело наркотического чада, который под влиянием неприкрашенной жизненной действительности и при ближайшем знакомстве с ней начинает теперь проходить? Ведь вот, кричали же и считали за непреложную правду, что болгары разорены, обобраны турками до последней крайности, доведены до страшнейшей нищеты, до полного отчаяния, а на поверку оказывается, что каждый из этих «селяков» куда зажиточнее среднего русского мужика, только жить привык он скаредом и, что называется, по-свински, как ни один русский мужик жить не станет. Кому, собственно, нужно это «освобождение»?— уж не горсти ли болгарских «интеллигентов» и политиканов, которые, с помощью досужих или не в меру доверчивых корреспондентов взмывали пену общественного мнения в «либеральной» Европе и в России, не остывшей еще от увлечений добровольческой войны в Сербии? Таким образом, война далеко еще не была доведена до конца, а у «освободителей» явилось уже значительное разочарование в «освобождаемых»;

но это, впрочем, скорее, было разочарованием в своих собственных иллюзиях, возникших из собственного же незнакомства со страной и народом, на освобождение которого все ринулись было вначале с таким беззаветным, братским увлечением.

Между тем, жизнь в Боготе с каждым днем становилась все несноснее. Лошади стояли во дворах, без конюшен, и мерзли. Сена уже около двух месяцев нигде не было ни клочка, кормили соломой, но теперь в окрестных плевненских деревнях уже и вся солома вышла, и потому лошади глодали соломенные и кукурузные кровли сараев, и этим способом была уже съедена добрая половина кровель в Боготе. Об услугах пресловутого «Товарищества» забыли и думать; на деле, его здесь не существовало, хотя Зимница и Систово кишели этой жидовской саранчой, обделявавшей в тылу свои бесшабашные гешефты за счет государственного казначейства. Дороговизна стояла страшная. За черствый пшеничный хлеб величиной с обыкновенную трехкопеечную булку, маркитанты драли по франку, за фунт рублевого чая — по полуимпериалу, и в подобном же размере за все остальное. Носились слухи, что вскоре всей армии предстоит зимний переход через Балканы, и все этому радовались, потому что иначе здесь, если не людям, то лошадям уж наверное предстояло подохнуть с голода. Придунайская Болгария была уже съедена, и голод, так или иначе, должен был способствовать нашему перевалу через хребет в неистощенные еще долины Румелии.

\*\*\*

Рана Атурина совсем зажила, он мог уже свободно владеть рукой, и теперь ничто уже, кроме собственного сердца, не задерживало его в госпитале. Надо было возвращаться в свой полк, ушедший из-под Плевны в окрестности Тырнова и Габрова.

Он написал матери Серафиме подробное письмо, добрая половина которого была, однако, наполнена не его личной жизнью и не подробностями его участия в деле 28-го ноября, а только одной Тамарой, только горячими похвалами ей и рассказами о ее стоическом характере и самоотвержении, о том, как она живет здесь, как бодро и с какой замечательной энергией и твердостью характера переносит тяжелые условия и убийственную обстановку здешней жизни, и как внимательно и усердно она ходила за ним во все время лечения, как часто предметом их разговоров и воспоминаний была она, мать Серафима, какое глубоко почтительное и сердечное чувство питает к ней Тамара, полагая себя бесконечно ей обязанной, и говорит о ней не иначе, как о матери, за которую и считает ее для себя, в нравственном смысле, а в заключение, в письме высказывалась заветная мысль, что именно такая девушка, как Тамара, представляется ему идеалом хорошей жены и матери семейства, и что если бы когда-нибудь он задумал жениться вторично, то конечно, лучшей подруги жизни незачем было бы и искать. В содержание этого письма Атурин, понятно, не посвятил Тамару,

но, отправляя его на почту, не воздержался, чтобы не сказать ей, полушутя-полусерьезно, что оно почти сполна посвящено ей и что это с его стороны лишь слабая дань признательности за всю ее доброту и попечения,— пускай-де и мать Серафима узнает об этом все и порадуетя.

Накануне выписки из госпиталя он и сам был обрадован неожиданною наградой. Ему принесли из штаба свежий приказ, где между прочим, значилось, что такого-то гренадерского полка капитан Атурин, за особое отличие и храбрость, оказанные в бою 28-го ноября, при выбитии турок штыками из наших траншей и отбитии,— переводится тем же чином в гвардию. Этот приказ произвел общую сенсацию, как между больными и выздоравливающими офицерами, так и между сестрами и врачами,— все они, более или менее, порадовались за Атурина и все поздравляли его с царскою милостью. Больше всех была рада, конечно, Тамара, которая испытывала в душе даже некоторое горделивое за него чувство:— вот он, мол, какой! Подвиг его самим государем признан за особое отличие, и храбрость его засвидетельствована этим приказом пред всею армией, пред целой Россией! Как должна быть горда им и рада за него мать Серафима!— Самого же Атурина особо обрадовало то обстоятельство, что перевели его в тот самый гвардейский стрелковый батальон, где он служил прежде, до отставки, и где еще и поныне находились налицо некоторые из его старых друзей-сослуживцев, которые его хорошо помнили и любили,— и таким образом, он снова, нежданно-негаданно, попадает как бы в свою родную семью, где его встретят тепло, по-товарищески. В переводе своем именно в этот самый батальон Атурин справедливо усматривал знак особой к себе милости и внимания: стало быть, не забыли, что он некогда служил там, вспомнили об этом обстоятельстве в подобающую минуту и пожелали показать ему это. Вот что было особенно ему дорого! И чего-чего не сделает он теперь, чтобы оправдать на деле столь высокое к себе внимание! Надо торопиться, надо нагонять поскорей свой батальон, находящийся уже с отрядом генерала Гурко в Балканах, на пути к Софии. Он завтра же отправляется туда, только надо сперва заехать в свой гренадерский полк,— откланяться начальству, получить жалованье, рационы, сделать кое-какие расчеты, забрать свой необходимый багаж и проститься со своей ротой и с товарищами. Пред отъездом Атурин явился в главную квартиру — представиться великому князю главнокомандующему и благодарить его за награду. Здесь он был очень ласково принят и приглашен к завтраку, который, впрочем, по местным условиям, оказался очень и очень скромным, так как и сам великий князь не был избавлен в Боготе от множества почти таких же лишений, какие терпели и все остальные.

Ротная повозка, нарочно присланная за Атуриным, по его просьбе, отправленной в полк телеграммой еще за несколько дней, уже со вчерашнего вечера была на месте и, совсем готовая, дожидала его теперь перед госпиталем,— оставалось проститься со всеми и ехать...



— Ну, сестра, прощайте!— подошел он, после всех остальных к Тамаре.— Даст Бог, может, еще и свидимся... если жив буду...

Та молча протянула ему руку и дружески ответила на его пожатие.

— Спасибо вам за все, за все... Слов у меня нет,— продолжал он задушевым растроганным голосом,— говорить я не мастер... Одно скажу, отныне и навсегда вы будете для меня самым светлым, самым дорогим воспоминанием моей жизни... Дайте еще раз вашу руку,— позвольте поцеловать ее.

И он приник губами к ее руке, и Тамара почувствовала на ней горячий и влажный след скатившейся слезы.

Атурин, со смущенной улыбкой, поспешил вытереть ладонью свои глаза, еще раз, уже в последний, горячо и молча пожал руку девушки и, быстро вскочив в свой немудреный экипаж, снял фуражку и перекрестился.

— С Богом!— сказал он солдату, сидевшему за кучера.— Трогай!

И тут Тамара увидела и почувствовала что последняя улыбка, последний прощальный взгляд его, невольно полный любви и грусти, остановился на ней и был посвящен одной только ей, всецело.

Она перекрестила его вослед, и в эту минуту вся душа ее была полна одною безмолвною молитвою, чтобы Бог сохранил его целым, здоровым и невредимым.

\*\*\*

С отъездом Атурина, ей вдруг показалось все вокруг как-то пусто, как будто чего-то не стало, чего-то ей не хватает, или точно бы в ее нынешней обыденной жизни вдруг образовался какой-то необъяснимый, неясный еще ей самой, но уже чувствуемый пробел. И это странное для нее самой ощущение к вечеру еще усилилось примесью к нему совершенно, по-видимому, беспричинной грусти; оно не прошло в ее душе даже и на другие сутки. Тамара объясняла его себе тем, что успела за все это время привыкнуть к Атурину, к его присутствию в госпитале, к своему уходу за ним, даже к его голосу, к его улыбке, с какою он встречал ее появление в палате, к его разговорам. Он такой простой, такой хороший, сердечный... Что ж, может она и любит его, как брата,— но только как брата, не более. Ведь между ними есть нравственное, объединяющее их в этом чувстве звено — мать Серафима. А между тем, и в первый, и в последующие дни мысль ее, с некоторым щемящим сердечным беспокойством, неоднократно и невольно, как-то сама собой все возвращалась к Атурину.— Где-то он теперь? Что с ним? Доехал ли? Хорошо ли ему там? Все ли благополучно?.. Не дай Бог, как опять ранят или заболит,— кто-то будет тогда ходить за ним, и так ли, как она ходила?.. Нет, Бог милосерд... Бог услышит ее бескорыстную молитву, Он сохранит его... Ведь она любит его как брата!

В это время дошло до нее новое известие о Каржоле, которое оказалось уже совсем не из приятных. Случайно попал ей в руки номер одной одесской газеты,

где какая-то корреспонденция «с театра военных действий» в очень мрачных и антипатичных красках изображала деятельность жидовской сухарной компании, во главе которой стоит-де некий граф К. де Н. Сухари-де отвратительны: промозглые, затхлые, наполовину с песком и с какою-то глиной, так что не только людям, но и собакам сеть их не безопасно; но компания, заручившись-де и теперь уже громадными барышами от казны, даже и в ус себе не дует, а ее подставной титулованный представитель и знать не знает, каковы у него сухарики, да и не хочет знать, бесшабашно жуируя себе то в Бухаресте, с опереточными француженками и за рулеткой, то в Зимнице, с известною Мариуцей и за «зеленым столом», с интендантами.

Корреспонденция эта очень огорчила Тамару. Ей было тяжело читать эти, на ее взгляд убийственные строки о своем женихе, но еще тяжелее думать, что их уже все читали, или могут прочесть,— все, в особенности, сестры и сотоварищи ее по госпиталю, которые знают, что граф жених ее и сейчас же догадаются, о ком идет дело, кто именно скрыт под этими прозрачными инициалами «К. де Н.» — «Господи! Что они могут теперь думать и что будут говорить между собою!» И как она будет смотреть в глаза им!.. Не будет ли всяк из них, глядя теперь на нее, думать про себя: а что, не правы мы были?— И при этой мысли ей становилось больно и стыдно как за него, так и за себя, точно бы и она тоже прикосновенна к этому делу, про которое так нехорошо пишут... И зачем, зачем в эту грязь и подлость замешано его имя!

Стараясь как-нибудь оправдать Каржоля пред собою, хотя бы только в своих собственных глазах, она уверяла себя, что эта корреспонденция, по всей вероятности, чистый вздор, что она несправедлива, пристрастна, преисполнена предвзятой злости и личного недоброжелательства к Каржолю, что это писал, очевидно, или его личный враг, или человек, легковерно поддавшийся клеветническим слухам,— ведь на этих «компанейских», поди-ка, чего-чего только не плетут и какой только грязью в них не кидают, не разбирая, кто из них и насколько может быть тут виноватым!

Но, как-никак, а инсинуации насчет опереточных француженок и какой-то «известной» Мариуцы все же оказывали на Тамару свое подтачивающее действие.— Неужели это правда?— не раз задавала она самой себе вопрос, полный горечи и сомнений.— Не может быть!..

Но решая, что этого не может быть, все же продолжала сомневаться и думать — неужели правда?.. И отчего обвиняют его именно в этом, а не в другом чем?.. Ей бы лучше хотелось, чтоб обвинение заключалось в чем-нибудь другом, даже в более тяжком, пожалуй, но только не в этом.— Так эгоистически вести легкую жизнь, лишь в свое удовольствие, в то самое время как здесь люди — и какие люди!— самоотверженно умирают под пулями, страдают по госпиталям, думалось ей.— Развлекаться с какими-то француженками, когда я, когда все мы тут выносим массу всяческих невзгод и лишений, голод и холод,— неужели он способен на это?! Неужели он в состоянии забыть,

что в таких же суровых условиях находится здесь и она, его невеста, которую он, казалось, так любит?— Нет, это вздор, это недостойная клевета на него, это невозможно!

Но сколь ни хотелось бы ей разуверить самое себя и как ни старалась она в этом, как ни решительны были все ее отрицания и негодующие отвержения взведенных на Каржоля инсинуаций и обвинений, а мутный и горький осадок этих последних, несмотря ни на что; оставался в душе и разъедал се. И каждый раз, при невольно возвращавшейся к ней мысли и о француженках и какой-то Мариуце, осадок этот вдруг подымался со дна души и бродил, бродил в ней всю свою мутью. Не то, чтобы это была у нее настоящая ревность,— нет, ревновать к каким-то опереточным певицам и прыгуньям — это уж, казалось ей, чересчур: это значило бы слишком мало давать цены себе самой,— просто не уважать себя,— но то было скорее чувство досадного и несколько брезгливого сожаления о самом Харжоле.— Как он решается, как он может, любя ее, пачкаться во всем этом нравственно нечистоплотном мирке!.. Француженки, рулетка, шансонетка — все это так низменно, так пошло, так не ко времени... Господи, что за малодушие! Что за бесхарактерность!.. Легковесность какая-то в человеке, и как мало уважения к самому себе!— Неужели же он такой, что чуть из глаз вон — и из сердца вон? Казалось бы, это так на него не похоже.

Да, не похоже, а между тем пишут... Отчего ж про других не написали этого!.. Дыму, говорят, без огня не бывает... Вероятно, уж что-нибудь такое да есть!.. Нельзя же, в самом деле, писать такие вещи без всякого повода.

Борясь, таким образом, сама с собою,— то за, то против Каржоля, всячески изыскивая себе доводы в его оправдание, но невольно сознавая их шаткость и потому сдаваясь пред силою обвинений его газетного обличителя, Тамара чувствовала, что как-то путается в изгибах своей собственной души и не может пока разобраться с возникшей там двойственностью какою-то.

Что она любит Каржоля, в этом она не сомневалась: за это говорило ей все ее прошлое; но не могла она также обманывать и себя в том, что к этому ее чувству, доселе столь светлому, примешалось теперь еще и другое, несколько сложное и мутное чувство, в котором смешивались между собою и сознание оскорбления своему самолюбию, и раздражение, и горечь, и некоторая обида на графа, и — что всего важнее — сомнение в нем. Он уже не был для нее таким безупречным, высоко стоящим идеалом, как прежде,— идеалом, ради которого она беззаветно решила бы на все, на самые тяжелые жертвы. Вера в него была уже отчасти подорвана, и подорвала ее не только газетная статья, сколько его собственная небрежность и невнимательность по отношению к Тамаре. Статья эта лишь объяснила ей причины его продолжительного молчания. Значит, не болезнь, не удрученность каким-либо горем или неприятностями, не обременение массою деловых занятий, как думалось ей прежде,— а просто-напросто, рассеянная

жизнь и «жуирство» мешают ему писать к ней.— Вот что обидно! Невольное разочарование в человеке, в идеале, созданном себе из него,— вот что горько!

Быть может, со временем, он восстановит в ней эту подорванную веру в него, разъяснит ей как-нибудь иначе причину своего странного молчания и все свои действия и поступки, ясно и доказательно опровергнет все возведенные на него обвинения и вернет себе в ее душе свое прежнее место...

Да, быть может. Хорошо, если бы так. Проблеск какой-то смутной надежды на это не покидает еще Тамару.— А проклятое сомнение все же пока остается! И Тамара чувствует, что оно сильнее надежды.

### **XXIII. МИР**

Мы в Сан-Стефано, на берегу Мраморного моря, в виду Константинополя. По старому календарному стилю значится день 19-го февраля 1878 года.

Уже за несколько предшествовавших дней, не без внутренней тревоги и волнения ожидали все исхода мирных переговоров. Турки медлили, тянули, как бы отлынивая от последнего решительного момента, что заключался лишь в росчерке пера... Взоры, мысли, ожидания и упования их обращались к красивой группе Принцевых островов, за скалами которых прятались броненосцы английской эскадры. По направлению к тем же островам, были обращены и жерла наших гвардейских батарей, выдвинутых на высокий мысок, между маяком и Сан-Стефано. Казалось, будто турки ждут последнего решающего слова и дела оттуда, из-за этих скал. Наши тоже были готовы ко всякой случайности. Но англичане затаились за Принцевым архипелагом, точно бы их и нет в Мраморном море... К завитой плющом и розами вилле, занятой в Сан-Стефано графом Игнатьевым, то приезжали, то отъезжали от нее щегольские кареты, привозя или увозя в себе дипломатических джентльменов, в черных застегнутых сюртуках и темно-красных фесках. Между русскими ходили слухи, будто мир уже подписан 17-го, и только объявление его отложено до 19-го числа. Уже накануне сего последнего дня было известно, что парад нашим войскам назначен в два часа пополудни, на маячном поле. Ровно в полдень войска с музыкою стали стягиваться к указанному пункту, и через час были уже вытянуты в три линии массивных колонн, протянувшихся от маяка до железной дороги. День был теплый, но пасмурный и встрепанный; поминутно накрапывал мелкий дождик, словно бы не зная, разразится ли ему ливнем, или зарядит по-осеннему на целые сутки. На площади, перед домом великого князя, с утра уже стояла громадная толпа красных фесок, цилиндров и поярковых шляп под распущенными дождевыми зонтиками; любопытные женские головки выглядывали из окон скучившихся карет, прикативших сюда из Константинополя. Перед подъездом верхами ожидали многочисленная свита и конвойные казаки. Весь городок был запружен пестрыми толпами народа, кипел лихорадочною жизнью и деятельностью.

Множество магазинчиков, лавок и лавчонок порастворяли свои окна и двери и наперебой зазывали к себе прохожих русских. Всех этих торгашей, как и толпившуюся публику интересовал один и тот же вопрос: как и что? Точно ли подписан мир, или же войска прямо с парада двинутся на Константинополь? Многие были убеждены, что готовится торжественное вшествие в древнюю Византию. Бьет два часа — время, назначенное для парада, а у подъезда графа Игнатьева все еще стоят турецкие кареты с дремлющими арнаутами на козлах. Ординарец скачет на Маячное поле объявить, что парад отлагается до трех часов пополудни,— и войскам дается команда «вольно». Проголодавшееся офицерство, из тех, что не находились непосредственно в строю, разбрелось по соседним кабачкам и тавернам, которые здесь, с появлением русских, как грибы росли и множились.

Капитан Атурин, с несколькими своими батальонными товарищами, отправился, с разрешения командира, за фронт, на поиски какого-нибудь ходячего маркитанта и, отойдя на некоторое расстояние от батальона, вдруг завидел впереди толпившейся публики небольшую группу русских сестер милосердия.

«А вдруг между ними Тамара?»— мелькнула у него инстинктивная надежда, и он пошел по направлению к этой группе.— Батюшки! Да так и есть!.. Действительно она!.. И сестра Степанида, и сестра Мочалова, и Ахлебинина... и сама старушка здесь,— все знакомые!»

И он почти бегом приблизился к сестрам.— Здравствуйте!

— Ба!.. Капитан?!. Капитан Атурин!.. Господи! Вот встреча-то!.. Какими судьбами?.. Живы? Здоровы?.. Что рука?— посыпался на него град приветливых восклицаний и вопросов со стороны приятно удивленных женщин.

Тамара вся зарделась и засияла радостью. Случайно глядя в другую сторону, она не заметила его приближения и обернулась лишь на его голос, на его первое «здравствуйте», которое он произнес, уже подбегая близко к группе сестер. Почти не веря своим глазам, она едва сдержала себя, чтобы не броситься к нему навстречу.

Он тоже взглянул на нее радостными глазами, и от чуткого сердца и взгляда его не скрылись ни ее невольно восторженное движение к нему, ни эта краска, мгновенно вспыхнувшая в ее лице, ни теплый, светорадостный луч, блеснувший в больших, выразительных глазах девушки, вместе с удивлением и даже испугом каким-то. Нервное, горячее пожатие руки еще больше подтвердило ему, что для нее эта неожиданная встреча далеко не безразлична.

И действительно, встреча сестер с Атуриным была самая искренняя и душевная. Все они ему обрадовались точно родному, потому что за время пребывания его в боготском госпитале все успели к нему привыкнуть и полюбить его, как покладистого, совсем не капризного, всегда простого с ними и всегда веселого пациента. Подошло и еще несколько офицеров того же батальона и других гвардейских частей. Между ними нашлось три-четыре человека из числа раненых под Горным Дубняком, которые в свое время тоже прошли через боготский госпиталь,

— оказались знакомые, и тут уже не было конца обоюдным перекрестным вопросам, весело шутливым замечаниям и сообщениям разных маленьких новостей, касавшихся то сестер и их госпитальной жизни, то самих офицеров, то боевого похода, сломанного теми и другими от Плевны до Сан-Стефано. Оказалось, что сестры здесь уже несколько суток и находятся при подвижном госпитале, расположенном тут же, у Маячного поля.

— Э, да мы тут с вами, выходит, ближайšie соседи!— заметил на это приятно удивленный Атурин.— Вон, видите чифлик?— указал он по направлению к одному хутору.— Наш батальон как раз около него и расположен. Тут и двух верст не будет, совсем близко.

— Будем стало быть видеться?— благосклонно отнеслась к нему начальница.

— Если позволите?— поспешил он приложить с легким поклоном руку к шапке и, как бы вскользь, взглянул после этого на Тамару. В глазах девушки, показалось ему, будто опять мелькнуло при этом радостно довольное и как бы благодарное ему выражение.

— Вам всегда мы рады, вы хороший,— приветливо обращаясь к нему, вставила свое слово сестра Степанида.

— Даже и больному?— пошутил Атурин.

— Ну, вот! Зачем больному?!— восстали разом все сестры.— Нет, нет, больше не надо болеть! И думать не смейте!.. Здоровому! Здоровому рады мы вам,— приезжайте к нам здоровым, как гость... Больных теперь, слава Богу, немного, времени поэтому у нас в досталь.

«Смирно-о-о!»— пронеслась вдоль по войскам команда, подхваченная командирами отдельных частей,— и все офицеры, уже на ходу посылая сестрам прощальные поклоны, бегом бросились к своим местам.

Было уже три часа дня. Все ждали, что вот-вот сию минуту покажется из устья Сан-Стефанской улицы великий князь со свитой, но с недоумением видят вместо того, что снова скачет к командующему войсками один из ординарцев его высочества,— и через пять минут войскам опять было подано «вольно». Оказалось, что парад отлагается на неопределенное время, но с тем однако, чтобы войска оставались на поле.

Выждав несколько времени, Атурин вместе с двумя-тремя товарищами опять направился к сестрам, под предлогом раздобыть где-нибудь в толпе маркитанта, на розыски которого и был командирован им один из нестроевых нижних чинов батальона. Но — маркитант маркитантом, а офицеры и помимо того рады были поболтать с сестрами, как со своими, с русскими, рады были видеть самое обличие русской женщины, от которого отвыкли за время долгого похода, слышать мягкие родные звуки русского женского голоса,— ведь все это как бы воочию напоминало им далекую родину, семью, милых сердцу... Атурин же надеялся про себя, что авось либо удастся ему перемолвиться словом, другим и с Тамарой, под шумок общего разговора.

Теплое чувство к этой девушке, не покидавшее его с минуты их разлуки в Боготе,

еще теплей и светлей вспыхнуло в нем теперь, при этой неожиданной встрече. В данную минуту он весь был преисполнен особого жизнерадостного настроения. Для него, уже без всяких сомнений в самом себе, стало ясно, что чувство его к Тамаре не было случайной вспышкой от госпитального безделья, или одним лишь хорошим, благодарным воспоминанием о ней за время, проведенное вместе, за весь ее добрый уход на нем, как думалось порою прежде, в минуты сомнений,— нет, Атурин понял, что он действительно любит ее не как сестру только, но как женщину, даже влюблен в нее, и это окончательно уяснила ему сегодняшняя встреча. Любит ли она тоже?— вот вопрос, который еще настойчивее, чем прежде, встал теперь перед Атуриным, и ему страстно хотелось бы разрешить его для самого себя, убедиться в этом окончательно. Судя по всему, что невольно, хотя и молча обнаружила Тамара сегодня, ему казалось, что да, любит... Но точно ли? Не обманывается ли он одним лишь предположением? Не преувеличивает ли? Не кажется ли это ему потому только, что ему хотелось бы, чтоб оно было так? Всегда ведь приятно верить в то, чему хочется верить... А может, с ее стороны все это не более как выражение простого удовольствия от встречи со старым знакомым, ее боевым пациентом... может быть просто даже рефлекс от соединенного с ним воспоминания о матери Серафиме?.. Почем знать!

Когда подошедшие к сестрам офицеры объявили им, что парад опять отсрочен, тут уже всех взяло сомнение, что едва ли мир был подписан 17-го, а не вернее ли будет предположить, что он не подписан еще и в настоящую минуту. Иные призадумались, офицерская же молодежь даже обрадовалась, усмотрев в этом обстоятельстве возможность немедленного боевого движения в Царьград, а стало быть, и возможность новых подвигов и отличий. Опять устремились иные бинокли на Принцевы острова, но там все мертво по-прежнему и нет ни малейших признаков какого-либо движения спрятанного флота... Проходит еще час, проходит два часа, а войска все стоят в своих грозных колоннах... Офицеры, оборачиваясь к востоку, поглядывают на ближние турецкие лагеря, что белеют своими конусообразными палатками тут же, сейчас вот за ручьем, на толпы турецких аскеров, любопытно высыпавшие к самому берегу этого ручья, на Царьград с его минаретами и куполом Айя-Софии, с его Серальским мысом, входом в узкий Босфор и черным лесом кипарисов Скутарийского кладбища... Что-то будет? Чем-то кончится?.. Казалось бы, с этого поля до Царьграда рукой подать! Один шаг — и готово!.. Впереди фронта, перед аналогом, ожидает в полном облачении военное духовенство, еще с двух часов, готовое петь благодарственный молебен. По сторонам фронта стоят громадные толпы самой разнообразной публики, собравшиеся сюда и пешком, и верхом, и в экипажах из Константинополя, Сан-Стефано и со всех окрестных деревень и местечек. Турецкая полиция изо всех сил старается сдерживать на известной линии всю эту публику, с живым любопытством напирющую вперед, поближе к невиданному еще русскому войску. Время, меж тем, клонится к сумеркам.

Проголодавшиеся перотские кавалеры и дамы начинают мало-помалу покидать маячное поле, с разочарованным и усталым выражением на лицах. Досадливая нетерпеливость и озабоченность начинают появляться и у начальников, медленно разъезжающих по фронту; солдатики позевывают и скучая переминаются с ноги на ногу, а дождик — нет-нет, да и начинает накрапывать редкими, мелкими капельками, и порывистый, почти бурный западный ветер с шумом треплет почтенные лохмотья гвардейских знамен; зеленые пенистые волны Пропонтиды прядают одна на другую и с грохотом разбиваются о каменистый берег. Этот непрерывный мерный шум тоже становится монотонным и как бы усыпляет.

— Скоро ли же это кончится!?!— досадливо вырываются восклицания у иных офицеров.

— Тянут, проклятые!— отзываются на это другие, посылая туркам эпитеты далеко не лестного свойства.

Сестры хотят уже уходить — проголодались тоже, да и время скоро иным из них заступать в госпитале свою очередь. Но тут, на счастье, одному молодому офицеру удалось захватить маркитанта-разносчика и притащить его к группе стрелков, разговаривавших с сестрами. Плетеная корзина его в миг была опустошена, зато кошелек значительно пополнился офицерскими пиастрами и франками,— многодогольный этим хитрый грек, поминутно крестясь, для доказательства того, что он православный, только посылал во все стороны сладкие гримасы и вежливые «сеямы» своим неторгующимся покупателям, да приговаривал то по-гречески, то по-турецки: «Эвхаристо!.. Шюкюрлер, эфенди!.., эвхаристо!..»<sup>1</sup> Таким образом, офицерам удалось и сестер вдосталь угостить пирожками да тартинками, и самим подкрепиться.

— Как часто вспоминал я о вас, сестра!— с застенчивой улыбкой и несколько понизив голос, обратился Атурин к Тамаре, воспользовавшись удобною минутой, когда все так усердно занялись пирожками и комичным балагуром-пирожником.

— Значит, это было взаимно,— дружески просто ответила она.— Я тоже вспоминала... и не раз...

Это признание словно удар морской волны, так и взмыло всю его душу.— Она вспоминала... она!.. И это он слышит из ее уст,— она сама сказала это... И не раз, говорит, вспоминала!— Значит, он для нее не совсем-таки ничто, или нечто проходящее в жизни мимо и бесследно; значит, он стоил ее воспоминаний, значит... значит...

И радужные надежды вновь окрылили его душу.

— Спасибо вам,— тихо проговорил он с благодарным чувством.— Знаете ли, много о чем хотелось бы поговорить с вами... серьезно, откровенно...

— Что ж, приезжайте к нам и поговорим, я рада,— все с тою же милой простотой отозвалась ему Тамара.

— Завтра, например, можно?— спросил Атурин.

---

<sup>1</sup> Благодарю.



— Почему же нет?— ведь вам дано разрешение, вас звали...

— В котором часу вы будете свободны?

Тамара назначила ему время между пятью и семью часами вечера,— и они опять обменялись между собою сердечно теплым и светлым взглядом, выразившим обоюдное довольство их друг другом за то, что каждый из них угадал невысказанную мысль и желание другого, и этим обмененным взглядом оба они как бы закрепили свое условие завтрашней встречи.

Атурин был счастлив.— О! Поскорей бы только настало это желанное завтра! В душе он был уверен, что завтра же прямо и честно выскажет ей все, все, что у него на сердце и — пускай тогда сама решает!

«Смирно-о-о!» опять пронеслась по полю команда начальников,— и разом все встрепенулось,— и все эти массы грозных колонн как бы застыли в мертвом, но напряженно внимательном молчании.

Была половина шестого часа. Великий князь, окруженный многочисленной свитой, показался верхом на выезде из Сан-Стефано и остановился вдали от войск, как будто поджидая кого-то. Минут десять спустя, на поле промчалась открытая коляска, в которой, держась за ободок козел, стоял граф Игнатьев. В приподнятой левой руке его белел сверток бумаги,— мирный договор с Турцией. Через минуту, когда главнокомандующий подскакал галопом к войскам, по полю уже шумело могучее, восторженное «ура!» и гремела военная музыка. И чем дальше следовал вдоль фронта войск великий князь, тем все больше и громче оглашались победными кликами и поле, и берег, и море, усеянное белыми парусами...

После объезда войск, главнокомандующий вызвал на середину, к аналою, всех офицеров, поздравил всех с миром и благодарил войска. С восторженным воодушевлением раздалось новое «ура», не смолкавшее долгое время и подхваченное толпами собравшегося народа, из среды которого, так же как и из военных рядов, полетели вверх шапки. Заметив впереди той толпы русских сестер милосердия, комендант главной квартиры любезно провел их вперед и с почетом поставил на видное место, в свиту, близ аналая.

Уже наступили сумерки, когда после благодарственного молебствия начался церемониальный марш колоннами, когда же дошла очередь до стрелковых частей, проходивших мимо великого князя бегом, под звуки красивой музыки, Тамара, с непонятным ей самой волнением, жадно устремила ищущие взоры вперед, ожидая, что вот-вот сейчас должен показаться Атурин, и боясь, как бы не проглядеть его. И точно: вот он — вот на фланге своей роты. Как стройно, легко и красиво бегут эти лихие солдаты!.. И что за прелесть эти музыкальные звуки!.. Как хорош он сам! Как выразительно его благородно мужественное лицо! Какое одушевление во взоре!

— Наш-то, наш-то сокол,— смотрите!— слегка толкая под локоть Тамару, увлеченно шепчет ей сестра Степанида.— Экая прелесть! Экой молодец какой!..

И Тамара с гордостью в душе сознает, что действительно

молодец,— еще бы не молодец, он-то!..

— Хорошо, ребята!— раздается вдруг с коня звучный голос главнокомандующего, как раз в этот момент, когда рота Атурина поравнялась с его высочеством.— Спасибо!

И весь батальон, как один человек, ретиво и дружно ответил ему громким «рады стараться!»

И Тамара довольна. Ей приятно, что и Степанида, и другие сестры заметили Атурина, любят им и хвалят, а еще приятнее, что сам великий князь благодарил и похвалил его роту,— точно бы эта рота родная ей... Да, родная, потому что это его рота, и самый батальон как будто ближе ей и роднее, чем все остальные, потому что он в нем служит.— Ведь мать Серафима, будь она здесь, наверно чувствовала бы то же!— Почему собственно она так горда Атуриным и почему ей приятно все это, в данную минуту она не отдавала себе в том отчета,— чувствовала только прилив какого-то бессознательного счастья, среди которого ее личное существо и все, что вызвано в нем встречей с Атуриным, да и он сам гармонически сливаются в ее душе с общим восторженным настроением. Она чувствовала, что и ее подхватила и несет куда-то могучая волна общей радости от этого мира, от славно законченной войны, которая, слава Богу, уже осталась в прошлом, позади, со всеми своими ужасами и лишениями! И чувствуя все это, с невольными проступавшими на глаза слезами восторга, она точно бы в забытьи каком-то наслаждалась и любовалась всем, что было пред ее глазами: и видом этих бодро проходящих войск, и их молодецки дружными откликами на похвалу своего вождя, и самим вождем на его кровном красавце-коне, и торжественными звуками музыки, и всею картиной окружающей природы. Никогда еще, казалось ей, мир не был празднуем в более драматической и живописной обстановке. Эти две армии, стоящие на расстоянии менее ружейного выстрела, друг против друга, эти шумные порывы довольно бурного ветра, убывающий свет сумерек, сильный плеск волн, сейчас лишь перемежавшийся с возгласами священнослужителей и пением солдат, отдаленный гул и точно бы ропот взволнованного моря, то возвышающего, то понижающего свой грозный голос, и наконец — там вдали, на востоке, стройные минареты и купол святой Софии, образы которых одни только и выделялись отчетливо над смуглым профилем Стамбула, озаренные косыми красноватыми лучами солнца, сквозившего из-за тяжелых свинцовых туч.

Еще не успели пропарадировать пехотные колонны, как вечер стемнел уже окончательно, и можно сказать, наверное, что до этого знаменательного дня ни одна армия не участвовала в столь торжественно настроенном и единственном военном торжестве,— единственном потому, что оно доканчивалось уже в вечерней тьме и происходило на глубоко исторической почве побережья Пропонтиды, в виду мерцавшего вдали множеством огоньков Царьграда и на том самом месте, близ «монастыря святого Стефана», где почти тысячу лет назад находился стан русских дружин Олега.

Глубокое впечатление оставил весь нынешний день в душе

Тамары, точно бы некая великая поэма, из-под обаяния которой она все еще не могла достаточно освободиться. Была уже поздняя ночь, но ей не спалось в своей сестринской юрте, да и никому не спалось сегодня. По всему городку и по всем окрестным бивакам горели огни, раздавались русские песни, звуки веселой музыки и «ура» ликующего войска.

#### **XXIV. ПЛАНЫ АТУРИНА**

Наконец настало и это «завтра», столь нетерпеливо жданное Атуриным. И ему тоже всю ночь не спалось. С вечера не до сна было за веселым товарищеским ужином со жженкой,— нельзя же было не sprysнуть мир!— а под утро, когда очутился наедине с самим собою в палатке, на своей походной койке, сну мешали взволнованные думы. Все представлялось ему это предстоящее свидание с Тамарой, которое — он был уверен в том — должно решить его и ее судьбу. Он обдумывал, что и как будет говорить ей; в голове его слагались целые импровизации, целые потоки красноречивых признаний, полные блеска и страсти, и нежности, но ни одним из этих потоков не оставался он доволен: все казалось, что это не так и не то, что нужно... А что именно нужно и как все это у него выйдет,— Бог весть... Этого он не знает и сообразить пока не может. С первой его женой оно вышло совсем просто и даже шаблонно как-то, объяснился во время мазурки, та направила его к татам,— он приехал к ним на другой день после бала, сделал формальное предложение и получил согласие родителей. Но тут, с этою скромной и так просто себя держащей сестрой милосердия выходит что-то совсем другое. Тут этот прием не годится, некстати,— это он чувствовал. Первая жена его была светская девушка хорошей фамилии, обладавшей известными связями и положением в обществе, и вдобавок она ему нравилась. В этих условиях брак не представлялся неравным ни для той, ни для другой стороны,— напротив, с светской точки зрения, он был совершенно естественным и резонным. Но Тамара,— Тамара совсем другое дело. Она представлялась ему точно бы на какой-то высоте, точно бы осиянная каким-то светлым и чистым ореолом подвижничества и самоотвержения. В ней, казалось ему, есть нечто такое, к чему надо подходить с чистым сердцем и чистыми помыслами, с оглядкой, как бы не смутить, не оскорбить ее грубым или пошлым прикосновением к ее внутреннему миру. Но создавая себе из нее такой святой, чисто мечтательный идеал, Атурин в то же время понимал простым рассудочным образом, что в ней есть все задатки быть хорошей женой и матерью, что она закалена уже немалыми испытаниями, выпавшими на ее долю за время этой войны, и потому ее не смутит, не заставит опустить руки никакая жизненная борьба, никакой труд, никакие неприятные случайности или лишения.— Нет, думалось ему, она сумеет прямо смотреть в глаза жизни, не станет ни ныть, ни хныкать, ни нервничать по пустякам, да и в серьезном чем не растеряется по-бабьи,— словом, будет для мужа не женой-

игрушкой, не роскошью дорого стоящей и подчас несносной, а действительным другом и товарищем на жизненной дороге. В этой изящной и, казалось бы, такой хрупкой фигурке ему чувствовался большой характер, большая выдержка, энергия и сила воли. Выжить почти год в таких условиях, как выжила она и не сломиться, выдержать себя все время на высоте своего подвига и глядеть на него, как на самое простое, обыкновенное дело, не замечая и не признавая собственного героизма,— это не шутка, на это не всякая способна!.. Но что ж он скажет ей? Как приступит к делу, к объяснению?!. И Атурин снова начинал рисовать себе разные предположения, как это должно или как может случиться, и снова чувствовал, что как ни гадай, а все это не то, не так, и все его блестящие, придуманные импровизации никуда не годятся. Совсем не это нужно!

Долго он ворочался на своей жиденькой койке под хаотическим наплывом своих дум и мечтаний, и когда наконец заснул, уже на рассвете, те же думы и грезы назойливо мерещились ему и во сне и витали вокруг образа Тамары. В этот день войскам дан был полный отдых, и потому выспаться можно было вволю. Проснувшись, против обыкновения, довольно поздно, Атурин чувствовал себя свежим, бодрым и много спокойнее против вчерашнего; все разнородные и сильные впечатления знаменательного дня уже поулеглись, и, возвращаясь мыслями к предстоящему объяснению с Тамарой, он попросту решил себе, что придумывать нечего, а пусть будет как будет, как само оно выйдет,— это, мол, лучше всего! Но чем ближе подходило время к условному часу, тем более начинал он испытывать внутренне какое-то лихорадочное беспокойство и нервную нетерпеливость.— «Что за притча такая!» думалось ему; «и рвешься туда всей душой, и боязно как-то... На «турку» идти было куда как проще! А тут — вот поди же ты!»

Почти за час еще раньше срока приказал он заседлать себе саврасого жеребчика турецкой породы, купленного им у какого-то болгарского попа, и чуть не каждые пять минут поглядывал на свои часы, так что даже некоторые товарищи шутя заметили, что сегодня наш капитан как будто сам не свой,— то рассеянный какой-то, то озабоченный и нервный,— уж не влюблен ли часом? Но Атурин безразлично пропускал мимо ушей все эти дружеские шутки,— не до них ему было. За несколько минут до пяти часов он живо вскочил в седло, вlepил жеребчику для бодрости здоровую нагайку и стрелой помчался по направлению к госпиталю.

Все свободные от дела сестры и сама начальница встретили его очень радушно, за своим вечерним чаем, видимо были рады ему, и он с первой же минуты очутился в положении их общего гостя. С одной стороны, это ему очень улыбалось, в виду будущих своих посещений, с другой — было немножко досадно, потому что он вовсе не рассчитывал быть гостем всех, а ехал лишь для одной Тамары; но раз, что так уже вышло, ничего не поделаешь. Тамара была тут же вместе со всеми, и все с тою же приветливой улыбкой, с тем же «хорошим» выражением в глазах, видимо довольная в душе его посещением. Но увы!— остаться с нею наедине хоть на минутку и высказать по душе все,

что хотелось, так и не удалось сегодня Атуруину. Из всех его мечтаний, планов и предположений так-таки ровно ничего и не вышло — на этот раз, по крайней мере. Может быть, удастся в следующий?..

Но и на следующий раз вышло не лучше. Хоть и выдалась такая счастливая, казалось бы минутка, что они случайно остались вдвоем, но... на «турку» идти, действительно, было ему много проще, чем тут начать желанный разговор с этой видимо симпатизирующей ему девушкой.— «Просто ни на что не похоже!» досадливо упрекал он потом сам себя. «Ну, что тут такого особенного, казалось бы?! Сказал бы на «да» или «нет», и конец. А между тем, язык, что называется, прильп к гортани... Дурак дураком стоишь и только!»

Так это дело у него и затянулось «втемную», на неопределенное время.— «Не выгорело сразу, теперь и жди у моря погоды».— Раза два в неделю он уже непременно посещал госпиталь, но всегда на положении общего гостя. Иногда, бывало, хоть на несколько минут мимоездом завернет к сестрам, по пути в Сан-Стефано, или обратно; порою привезет им оттуда каких-нибудь гостинцев, греческих сладостей, египетских бананов, яффских апельсинов; иногда возьмется для той или другой сестры исполнить в городке какое-нибудь маленькое поручение, и в результате всего этого было одно, весьма выгодное для него, обстоятельство,— это то, что с ним окончательно освоились, привыкли к нему, считая как бы за «своего», и если, бывало, он почему-либо дней пять подряд не показывается, сама начальница замечала иногда за вечерним чаем: «А что ж это наш Владимир Васильевич запропал куда-то?.. Уж здоров ли?.. Точно бы и скучно без него как-то.»

Но как-никак, а удобной минуты для разговора с Тamarой наедине решительно не представлялось Атуруину. Приедет он, бывало,— и общей беседе нет конца. Подсядут к сестрам за чаем медики, чиновники госпитальные, санитарный капитан, офицеры из числа выздоравливающих,— и разговор невольно, как-то сам собою переходит на далекую родину, по которой почти каждый, особенно после мира, начинал уже в душе испытывать некоторую тоску: домой тянуло. Газеты получались теперь скоро, особенно одесские, а перотские французские липки, своим чередом, каждое утро доставляли в Сан-Стефано самые свежие новости,— и все, как один человек, жадно накидывались на вести из России; всех живейшим образом интересовало, что там делается, как живется, тем более, что, судя по всем этим вестям, на родине, кажись, что-то не ладно, происходит что-то странное... С недоумением узнали все, что еще в январе стреляла в генерала Трепова какая-то Вера Засулич, девица; но как, за что, почему,— неизвестно... Узнали, что и в Одессе было какое-то вооруженное сопротивление чинам полиции и солдатам, со стрельбою по ним, при обыске квартиры некоего Ковальского, захваченного с тремя мужчинами и четырьмя женщинами, служащими в магазине «Общества потребителей», что в Ростове-на-Дону совершено политическое убийство какого-то рабочего Никонова, за донос, а в начале апреля прочли, не веря собственным глазам, что Вера Засулич,

при полной наличности преступления, торжественно оправдана судом присяжных и что приговору этому рукоплескали в зале суда первые сановники государства, газеты же радостно восклицали, что теперь все пойдет легко и прекрасно, ибо дело Засулич не может пройти и не пройдет бесследно... Все это здесь, в Сан-Стефано, после блистательно оконченной войны, казалось странно, дико, непонятно; все это смущало и повергало в тревожное недоумение,— из-за чего там это делается? Верить не хотелось известиям...

## **XXV. ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ В САН-СТЕФАНО**

Пасха в 1878 году прилась на 16 апреля. К нашим войскам, еще за несколько дней до Светлого воскресенья, особый пароход привез из Одессы массу куличей, пасок, красных яиц, окороков и прочего, чтобы солдаты могли разговеться и на чужбине так же, как у себя на родине.

В пасхальную ночь Сан-Стефано было переполнено народом, нарочно пришедшим из окрестных деревень, причисленных к местному приходу, и даже из Константинополя. Сюда же, в ожидании заутрени, собралась масса русского офицерства, верхами и в экипажах. Все дома в городке были иллюминированы свечами, цветными фонарями, шкаликами и убраны над входами и по стенам гирляндами лавров и мирт. Суда, стоявшие на рейде, тоже подняли на снасти гирлянды цветных фонариков и пестрых флагов, а русские военные пароходы все время жгли ослепительно блестящие фальшфайеры; поэтому вид на море, при чудном лунном освещении, был необыкновенно эффектен.

Ночь была совершенно ясна, тепла и столь тиха, что свечи не гасли на воздухе и горели ровным пламенем.

Минут за пять до полуночи великий князь пешком пришел в сан-стефанскую греческую церковь, и ровно в полночь из дверей-ее двинулся крестный ход, с великокняжеским стягом, обошедший вокруг храма. Вся площадь, ближайšie улицы и морской берег были усеяны мигающими звездочками разом зажегшихся свечек. Толпы молящихся солдат и народа густо наполняли всю местность, прилегающую к церкви. Заутреню совершало русское и греческое духовенство; на обоих клиросах пели два хора: один из русских любителей, другой — из походных певчих придворной капеллы. На внутренней церковной галерее стояли сестры милосердия и русские военные дамы, недавно приехавшие к мужьям из России. Весь храм, залитый светом, был переполнен офицерами в парадной походной форме, и так как своды его были низковаты, а размеры далеко не просторны, то от множества народу и свечей в нем стояла жара и духота ужасная. Атурин, поместившийся у стены, в заднем конце внутренней галереи, недалеко от выходных дверей, заметил вдруг, незадолго до конца заутрени, что, пробираясь по галерее между дамами и генералами к выходу, сестра Степанида ведет под руку бледную, ослабевшую Тамару. Он бросился к ним навстречу узнать, что такое и не надо ли в чем помочь ей?

— Ах, пожалуйста!— озабоченно отозвалась ему Степанида.

— Дурно ей стало от духоты этой. Помогите вывести на воздух,— тут не продерешься.

Атурин принял их под свое покровительство и кое-как успел провести через сплошную толпу на паперть. Здесь, усадив Тамару на каменные ступени церковного помоста, он бросился в ближайший дом за водой. Вольный воздух и несколько глотков прохладной воды освежили девушку и помогли ей собраться с силами; она жаловалась только, что в виски стучит ей.

— Не хотите ли пройтись немного?— предложил ей Атурин.

— Здесь все-таки толпа и теснота — на просторе это пройдет сейчас же.

— И в самом деле, прошлись бы немного, Тамарушка, лучше будет

— посоветовала Степанида. — Владимир Васильевич проводил бы вас, а я пока здесь побуду... Ступайте-ка, право!

Атурин подал ей руку, и они пошли, пробираясь сквозь толпу солдат и греков, к морскому берегу.

Здесь было уже просторно. Пройдя несколько шагов к более открытому месту набережной, Тамара остановилась в невольном восхищении пред открывшеюся ей картиной. Чистое, прозрачное небо и глубоко тихое море были залиты светом полной, по-южному яркой луны, отражение которой дробилось в освещенных полосах водных пространств рябью золотистых блесков и трепетно блещущим столбом от края до края прорезывало часть моря. Казалось, будто это небо и море, пропитанные фосфорическим светом, гармонично слились в одно целое и дышат одним таинственно торжественным дыханием чудной, обаятельной ночи.

В отдалении, темные силуэты русских судов сияли по бортам целыми рядами голубых бенгальских огней. Все окна высоких каменных домов на набережной тоже залиты были изнутри ярким светом, а мириады огоньков от пасхальных свечек, все еще как и в начале заутрени, наполняли пространство вокруг церкви и все ведущие к ней ближние проулки.

— Господи, какая прелесть!— в невольном восторге прошептала Тамара, окинув взглядом всю эту дивную, широкую картину. Она облокотилась на каменный барьер набережной и, не отрывая глаз от моря и неба, задумалась.

Атурин, между тем, купил у мальчика-грека, проходившего мимо с корзиной цветов, букет свежих фиалок и предложил его Тамаре.

Вдыхая нежный аромат этих первенцев южной весны, она молча продолжала глядеть в озаренное луною пространство, и в памяти ее невольно воскресла теперь другая пасхальная ночь, какую два года назад она встречала в далеком Украинске. Тогда тоже вся площадка вокруг собора сияла множеством маленьких мигающих огоньков и тоже пахло в недвижимом воздухе фиалками,— и этот знакомый запах, более чем все остальное, вдруг напомнил ей и помог воскресить теперь в ее душе с такою осязательностью и яркостью все подробности прошлого, всю картину той ночи и все, что тогда чувствовалось и переживалось ею...

Тогда тоже была дивная, теплая ночь; в глубоко синем небе, как и здесь теперь,— ни облачка, и звезды горели ярко. В украинских садах зацветали вишни, черешни и сливы, и стояли, осыпанные белыми цветами, точно снегом. Запах смолистого тополя мешался с тонким ароматом фиалок и молодой полыни. Соловьи с разных концов, вблизи и вдали, громко оглашали чуткий воздух своими первыми весенними песнями и доносились из храма, как и теперь вот, светлые звуки пасхальных напевов. Здесь не слышать соловьев; но зато здесь ритмически раздается этот сладко баюкающий лепет волны и легкий шумок небольшого прибоя, ласково набегающего на каменный парапет хрящеватого берега. Вспомнилось ей, что и тогда, как теперь, все вокруг дышало какою-то таинственною торжественностью и вместе с тем южной негой, от которой на душе у нее испытывалось чувство весенней истомы, доходившее порой до замирания сердца. Вот и теперь — то же самое чувство, та же истома... Тогда, под обаянием их, она первая, вне себя от счастья, бросилась к поджидавшему ее в глубине сквера Каржолю,— и первое «Христос воскрес!» вырвалось для него из ее сердца. А теперь... Где-то теперь этот Каржоль, этот идеал, кумир ее в то время?.. От него все еще нет никакой вести, вот уже восьмой месяц, и никаких слухов о нем не доходит более... Но странно: ей это не так уже больно, как было в Боготе; она уже пообтерпелась, привыкла к его молчанию,— оно не тревожит и даже не огорчает ее больше. Что ж это, неужели равнодушие?.. Но нет,— казалось бы, ведь она любит его, должна любить, как невеста; она привыкла к мысли и к убеждению, что ее судьба должна быть связана с ним, а если нет,— что ж, не она в том виновата!.. Она не давала ему поводов измениться к ней, если он действительно изменился. Но ей все еще думается — правда, все реже и реже,— что со временем все это объяснится и он оправдается перед нею. Она не нарушала и, что бы то ни было, не нарушит первая данного ему слова; она все ж остается и пред Богом, и пред людьми его невестой, а там — что Бог даст!.. Выйдет за него,— хорошо, не выйдет,— что ж, не судьба, значит...

И тут опять невольно вспомнилась ей «обличительная» статья одесской газеты, хлебная операция, сухарная операция, опереточные француженки, рулетка, Мариуца и вся эта грязная муть, с которой мешается имя графа и от которой поэтому невольным образом брезгливо коробит ее нравственное чувство.

Да, тот ли это Каржоль, каким он казался ей два года назад, в ту пасхальную ночь, когда из ее уст для него первого вырвался первый лепет любви, восторга, счастья, когда она все, все готова была отдать для него и все за него выстрадать!.. Увы!.. Кумир ее потускнел, ореол исчез, идеал низведен до каких-то Мариуц и зимницких трущоб с кутящими интендантами...

«Ах, хорошо бы было теперь чувствовать себя совсем, совсем свободно, как вольная птица;..»

И странный он человек!— Ну, если разлюбил, зачем не



сказать прямо, зачем не написать,— ведь написать еще легче, чем в глаза сказать,— и она бы, по крайней мере, знала, что все кончено. Она бы не стала упрекать его,— Бог с ним!.. Он бы сам по себе, она — сама по себе. Разве не лучше бы было?.. Но эта неизвестность, эти путы данного слова,— ах, как тяжело все это!

— Послушайте, сестра, — неожиданно раздался вдруг подле нее несколько взволнованный, но решительный голос Атурина.— Что я хотел спросить вас... давно уже...

— Что такое?— как бы очнувшись обратилась к нему Тамара.

— Скажите откровенно, пошли бы вы за меня, если б я сделал вам предложение?

— Предложение?— почти машинально повторила за ним ошеломленная этим девушка.

— Ну, да, предложение выйти за меня замуж,— пояснил он с некоторым внутренним напряжением, как бы пересиливая себя, чтобы поскорей уже высказать все разом и разрешить свою душу.— Простите, что я так прямо... но... что ж тут!.. За правду — правдой... Пошли бы?

Она взглянула ему прямо в лицо. Озаренное луною, оно показалось ей бледным и несколько взволнованным, но как всегда с открытым и честным выражением в глазах, где просвечивала теперь как будто затаенная боль и томление за да или нет, которым сейчас должна решить ему этот вопрос Тамара.

— Пошла бы,— ответила она ему прямо и просто, несколько подумав.

— Да?!— сделал он невольное движение к ней, весь мгновенно озарясь восторгом безграничного счастья.

— Пошла бы,— подтвердила она,— если б я не была невестою другого.

Атурина так и отшатнуло назад. На лице его всецело отразилось величайшее, сразу поразившее его удивление и даже как будто испуг и замешательство, так что руки его невольно опустились, точно обессиленные. Всего, казалось ему, можно было ожидать, только не этого...

— Другого?— повторил он так же машинально, как и она за минуту перед этим.

— Да, Владимир Васильевич, я невеста другого,— проговорила Тамара с подавленным вздохом, и в звуке ее дрогнувшего голоса невольно прорвалось при этом точно бы сожаление о чем-то непоправимом и что-то горькое, недосказанное, но бесповоротное.

— Кто ж он?.. Могу я знать его имя?— глухо и сдержанно спросил Атурин упавшим голосом.

Тамара не совсем-то охотно в душе, хотя и не показывая этого, назвала ему фамилию графа.

— Каржоль де Нотрек!?— воскликнул он с новым удивлением.— Который это? Штатский?

— Да, он не военный... Зовут его Валентин Николаевич,— пояснила ему девушка.— А что?.. Вы его знаете?— прибавила она не без скрытого внутреннего беспокойства за ожидаемый ответ,

боясь, что он будет не в пользу ее нареченного.

— Н-да, отчасти... встречались когда-то в обществе, в Петербурге,— проговорил как бы нехотя Атурин, меж тем как лицо его приняло несколько хмурое и озабоченное выражение.— Ведь он теперь в «Товариществе» служит?— спросил он после некоторого раздумья и колебания.

Тамара вся вспыхнула. Никогда еще не было ей так стыдно за Каржоля и так досадно на него за эту «службу» его в «Товариществе», как в эту минуту. Она не знала, что ей ответить,— сказать ли «да», сказать ли «нет» или «не знаю», словом, солгать,— но на последнее язык не поворачивался, и потому, прижав к губам букет фиалок, она старалась глядеть куда-то мимо Атурина и сделала вид, будто не расслышала его вопроса.

— Осенью, когда наш полк переходил за Дунай,— продолжал он,— мне как-то показали его в Зимнице.

Тамару всю передернуло нервной дрожью, точно бы от холода. В голове ее опять мелькнули развеселые интенданты, зеленый стол и Мариуца.

— Вы что-нибудь знаете про него?— не подумав, спросила она вдруг Атурина, с трудно скрываемым беспокойством, и тут же почувствовала, что этот вопрос сорвался у нее с языка совсем, кажись, не кстати,— точно бы она обнаружила им какое-то подозрительное недоверие к своему жениху и дала понять, что за ним есть или может быть что-нибудь не совсем хорошее.

— Я?.. Про него?.. Н-нет... что же?.. Ничего такого,— проговорил Атурин, несколько замявшись и вопросительно взглянув на нее отчасти удивленным и испытующим взглядом.

Ей показалось в этом неопределенном и не совсем твердом ответе что-то уклончивое, точно бы он знает, да не желает высказаться,— и это обстоятельство чисто по-женски подстрекнуло ее на дальнейшую настойчивость, с целью допытаться, тем более, что первый, невольный сорвавшийся, вопрос уже сделан,— хотя, может быть, его и не следовало касаться,— но все равно уже!.. Может быть, Атурин знает про Каржоля что-нибудь такое, что сразу могло бы покончить все ее иллюзии и сомнения на его счет и разъяснить ей наконец, что это за человек, в самом деле? Теперь ей даже хотелось этого. Может быть, это будет та брешь, которая поможет ей возвратить себе свою свободу.

— Нет, скажите мне откровенно!— дружески вкрадчиво приступила она к нему, с женски-кошачьим ласковым движением беря его руку.— Вы как будто стесняетесь чем-то... Не бойтесь огорчить меня, говорите прямо.

— Что ж я могу сказать, раз что это ваш выбор, и вы его невеста?— пожал он плечами.— Одно разве: дай вам Бог всякого счастья!.. Это от души говорю, поверьте!

Тамара осеклась и замолкла. Она поняла, что дальнейшая настойчивость в этом направлении не приведет ни к чему, потому что, в самом деле, странно было с ее стороны и думать,

что такой человек, как Атурин, только что сделав ей предложение и узнав, что она невеста другого, стал бы порочить ей этого другого, даже если б и знал про него что-либо. Ей стало досадно на самое себя за то, что, позволив себе увлечься своим, в сущности, нехорошим относительно Каржоля, побуждением, она обнаружила своими неуместными пристаиваниями с этим вопросом большую несдержанность и даже просто бестактность. Разве не вправе будет Атурин подумать после этого, что она, соблазняясь его предложением, рада искать и ловить первый попавшийся повод, чтоб отделаться от Каржоля? И если Каржоль действительно легковесный или недостойный человек, то какую пустою и легкомысленною должна казаться Атурину девушка, которая могла увлечься подобным, внешне блестящим человеком, даже до решимости быть его женою!.. Он должен переменить теперь о ней свое мнение, и эта мысль была Тамаре всего больнее. Понизиться в глазах такого человека — это ужасно! Желая проверить свое предположение и убедиться в нем, она искоса и тихо взглянула на Атурина: что он молчит и о чем думает?.. И как странно, в самом деле, это внезапно водворившееся между ними молчание, как будто у обоих у них не стало более ни слов, ни предмета для обмена мыслей, даже для самого ничтожного разговора.

И действительно, оба они в душе чувствовали себя как-то не совсем ловко и свободно друг перед другом. Атурин стоял, облокотясь на барьер, и раздумчиво глядел куда-то в сторону, в морскую даль, с пасмурным и грустным выражением во взоре.

— Пойдемте, однако, пора уже,— подала ему руку Тамара, чтобы как-нибудь кончить эту тяжелую для обоих сцену.

И они молча тронулись по набережной, думая каждый свое и не глядя друг на друга. Но пройдя десятка три шагов, Атурин вдруг остановился и положил свою ладонь на ее руку.

— Вот что, сестра,— заговорил он сердечным и твердо решительным тоном, глядя ей прямо в глаза и как бы ободряя ее ласковым взглядом.— Что бы с вами ни случилось в жизни, знайте одно: у вас есть надежный, искренний друг, который вас никогда не забудет... Одно ваше слово — и я явлюсь к вам... Помните, что бы ни случилось, подчеркнул он.— Вот вам рука моя в том — верная рука! На нее можете положиться.

Она взглянула на него глазами полными слез, с глубоко признательным и верующим в него выражением, которое глубоко запало ему в душу, и без слов, горячо ответила на пожатие протянутой ей руки. Да слов тут и не нужно было. Этот серьезно сердечный тон его и взгляд, каким может смотреть только взаправду и крепко любящий человек, сняли с души ее всю тяжесть только что возникших в ней мучительных сомнений.— Нет, он не переменял о ней свое мнение,— она в его глазах все та же!— И с этою мыслью струя отрадного успокоения влилась в сердце Тамары.

После этого они молча, но с облегченною душою, пошли далее и молча же дошли до церковной паперти, где уже с некоторым беспокойством поджидала Тамару сестра Степанида.

## XXVI. ЗА ВРЕМЯ ТОМЛЕНЬЯ ПОД ЦАРЬГРАДОМ

Глядя из «прекрасного далека», трудно было верить странным и смутным вестям из России, а между тем, там все более и более разыгрывалась в самом состоянии общества какая-то тревожная драма с оттенком бесшабашной оргии.

Политические процессы размножились до такой степени, что даже внутренние хроникеры либеральных газет, по их собственному сознанию, начинали путаться в их числе. Прежде, по крайней мере, эти процессы ограничивались одними столицами, теперь же стали появляться и в провинциях, и не было того уголовно-политического дела, в котором не оказались бы замешанными евреи и еврейки, из категории «учащихся». То было время, когда не то что суд присяжных, а даже военно-окружной суд в Одессе, в марте месяце, по делу какого-то Фомичева о преступной пропаганде в войсках, приговаривал фельдфебеля, за имение у себя книг преступного содержания, к трехнедельному аресту и оправдывал главного пропагандиста, Фомичева, которого тут же «молодежь» подхватила на руки и торжественно понесла из суда кутить в тот самый трактир, где прежде он был арестован, а затем отправилась гурьбой к его защитнику Вейнбергу и устроила последнему уличную овацию.

С 20 марта начались сходы и беспорядки в Киевском университете, возбужденные извне людьми «известного направления». Поводом к ним послужило покушение 23-го февраля на жизнь товарища прокурора Котляревского, повлекшее за собой несколько студенческих арестов.— И вот, в тот самый день 31-го марта, когда в Петербурге была оправдана Вера Засулич, и оправдание это было встречено уличными овациями «интеллигентной толпы» в честь «героини» и ее защитника, при выстрелах на Шпалерной из толпы в полицию,— в тот самый день в Киеве был объявлен приговор университетского суда, которым 134 человека исключались из университета. Между виновными значительный процент принадлежал евреям. После этого, в воздаяние за такой приговор, 5-го апреля было сделано на университетском крыльце нападение на ректора Матвеева, которому нанесен камнем удар в висок, сваливший его без чувств на помост. Тот же приговор отразился и в Москве. Когда 3-го апреля привезли по Курской дороге в Москву пятнадцать киевских студентов, высылаемых в дальние губернии, то ко времени их прибытия на вокзале собралась «молодежь», которая встретила привезенных криками «ура!» и двинулась гурьбой провожать их арестантские кареты до пересыльной тюрьмы. У Охотного ряда толпу эту жестоко избили мясники и приказчики, рыбники, лабазники и т.п. Замечательно, между прочим, что самые либеральные газеты разразились за это побоище страстными нареканиями на правительство: оно должно-де было выслать жандармов и войско для укрощения приказчиков. А для укрощения бунтарей?— об этом умалчивалось.

Рядом с явлениями преступно политического и агитационного характера, разыгрывались не менее замечательные явления и другого разлагающего,

в общественном смысле, порядка. Еще у всех свежо было в памяти, как в «Московском ссудном и учетном банке», при заправительстве жида Ландау, было расхищено в пользу берлинского жида Струсберга семь миллионов рублей, выданных ему под заведомо фиктивные ценности, как вдруг, в конце марта, обнаружилась и в петербургском «Обществе взаимного поземельного кредита» более чем двухмиллионная растрата, сделанная кассиром-бонвиваном Юханцевым, а там и пошло: петербургское «Общество взаимного кредита», обобранное кассиром Бритневым, Киевский банк, разворованный своими жидами Сиони, Либергом и Шмулевичем, банки Тульский, Орловский и проч., и проч. Об огульном воровстве, которому подвергается общественный и казенный сундук, приходилось слышать и читать чуть не каждый день: там подкопались под казначейство, здесь вытащили деньги из окружного суда, тут из городской думы, тут из земской управы, там из духовной консистории... Одновременно с этим шли и крупные святотатства — ограбление церквей, икон... На Святой неделе в Петербурге, в Исаакиевском соборе обнаружено похищение бриллиантов с иконы Богородицы, на четыре тысячи рублей, а в Одесском соборе, в самый день Пасхи, украдена архиерейская митра с драгоценными камнями, — прямо с престола, сейчас же по окончании литургии. Следы многих таких покраж обнаруживались потом у еврейских ювелиров, закладчиков и кабатчиков. И замечательно, что мотивами всех этих бесшабашных хищений являлись не бедность, не нужда, а самое пустое тщеславие, минутные прихоти, жажда безумной роскоши, утонченных оргий и разврата. Даже либеральная печать при всем ее предубеждении против «отцов», — и та признавала, что «при наших отцах мы что-то не запоем подобных колоссальных краж», что «мы, очевидно, развитее, образованнее наших отцов, но из этого выходит только то, что куши наших краж достигли колоссальных размеров». Даже из дел благотворительности ухитрились люди делать себе выгодные гешефты. Так, белостокские суконные фабриканты, сделав пожертвование в пользу «Красного Креста», через неделю или две подняли на 20% цены на свои товары и, таким образом, свои грошовые, сравнительно с их торговыми оборотами и барышами, пожертвования переложили с избытками не только на своих потребителей, но и на рабочих, уменьшив последним задельную плату. Но тут, впрочем, удивляться нечему, так как все эти фабриканты — или евреи, или немцы.

Все это были вести из отечества. Но и свои «тыловые» известия оказывались не лучше. У одного интенданта бурный ветер уносит пять тысяч четвертей муки (по десять рублей за четверть), у другого исчезает, по причине «порчи», склад сена в триста тысяч пудов, в таком пункте, где его совсем не было нужно. А уж о пресловутом «Товариществе» нечего и говорить. Оно поставляло овес зеленее сушеного горошка, хлеб совершенно сырой, сухари — буквально, наполовину с землю, муку с 10% рожков (спорынья), спирт в 32 градуса крепости и т.д. 17-го мая в Одессу прибыл целый груз таких образцов,

тщательно упакованный и опечатанный, для экспертизы, в следственную комиссию. Собраны были все эти вещественные доказательства в пятнадцати пунктах складов и запасов в Румынии.

Одновременно с этим, взялись и за специально сухарные дела; но тут, на первых же порах, явилась и некоторая препона: в Букареште сгорела сухарная фабрика Власова и Изенбека, вследствие умышленного поджога, а там пошли и другие, всякого рода, препоны...

После движения нашей армии за Балканы, приготовление ржаных сухарей было передано крупным товариществам, прикрывавшимся громкими именами: Шереметев, Оболенский и К, Баранов, Данилевский и К, Посохов и К. — Еврея, по наружности, тут уже не было видно, кроме как в числе мелких агентов. Одна из этих компаний напала на благую мысль: передать производство выпечки южно-русским крестьянам, а самим явиться только посредниками. Опыт вполне удался. Сама компания получила с казны за пуд сухарей 2р. 55к.; передала же мелким производителям по 1 р. 70 к., но так дорого потому только, что обязала этих производителей покупать муку у себя же, из своих компанейских складов, по неимоверно высоким ценам, почему производители и получили барыша по 10 копеек с пуда. Но это еще не все. Патриотическая компания благоразумно предоставила весь риск ведения дела мелким предпринимателям; те понастроили печей, сушилок, иные убили на это последние крохи и все вообще понаделали у евреев долгов за значительные проценты, в ожидании грядущих заработков. Но тут компания выкинула неожиданный фокус. Она не устояла в подряде с казной, но об этом умолчала перед производителями— ведь не она рискует!— а затем, в январе, когда, по условию, оставалось еще два месяца производства, внезапно объявила, что больше не принимает сухарей и не считает себя связанною какими-нибудь «условиями». Эффект вышел чрезвычайный.— Отчаяние и разорение для крестьян. Толпы рабочих по 800 человек, тщетно добиваясь управы, ходили по улицам южно-русских городов, с воплем о том, что они разорены и не вознаграждены компаниею; несколько дней они оставались в этих шатаниях без крова, а затем и без хлеба, так как испеченных сухарей хватило им в пищу лишь ненадолго.

Точно так же и букарештская «контора перепечения сухарей для армии», действовавшая якобы от имени князя Оболенского, отпуская по ненадобности своих работников, нанятых в калужской губернии, произвела им расчет на бумаге, но денег не выдала, на том заботливом основании, что рабочие могут-де пропить их дорогою, и объявила, что они получают свою плату в Унгенах, куда и отправила 129 человек рабочих, снабдив их на прокорм ста рублями. Но в Унгенах никаких денег не оказалось; ждали их там рабочие семь дней,— кормиться наконец стало нечем. Кое-как добрались они до Кишинева и подали просьбу,— пошла бесплодная, длинная переписка, и пришлось христарадничать.

В июле добралось наконец следствие и до киевского сухарного завода.

Капитал на это дело был вложен известным Поляковым, орудовал делом Персвошиков и евреи, а снаружи все оно прикрывалось титулованным именем князя Урусова. Хлеб оказался горьким и кислым на вкус, и выпекался так, что его нельзя было резать,— на куски крошился; приготавливался он, как доказал химический анализ, на гнилой воде, с примесью золы, песка, глины и других дешевых веществ. Из показаний свидетелей и рабочих обнаружилось, что вода на сухари бралась из канавы, протекающей по кладбищу тифозных пленных турок, или из пруда, где стирали больничное белье и купали лошадей, что стены завода были покрыты плесенью, и вообще, сухари, разложенные химически, заключали в себе столько вредных примесей, что предполагавшиеся сначала физиологические опыты были отменены, из опасений вредных последствий. А между тем, эти опыты в течение войны, ежедневно производились над солдатскими желудками, и даже не «во имя науки», а просто потому, что, по мнению жидов, солдатское брюхо все переварит. Принимал от завода и сдавал сухари армии доктор Шейнфельд, а компания оправдывалась тем, что если на заводе и попались-де сухари «не совсем удовлетворительные», то из этого еще не следует, чтобы они предназначались к сдаче,— «мы-де докажем, что у «Товарищества» не только не было злонамеренности, но даже не было простого намерения сдать те сухари, которые киевская экспертиза нашла неудовлетворительными, а если часть их и проникла в армию, то это по ошибке, по недосмотру мелких агентов-отправителей». Выходило, что вредные сухари пеклись так себе, для собственного развлечения компаньонов. Одесская экспертиза тоже признала сухари никуда не годными даже для свиней, если б и мешать их наполовину с мукою. Благодаря В.И. Левковичу<sup>1</sup>, человеку, знающему дело и неподкупному, одесское следствие над деяниями «Товарищества» пошло было энергически и беспристрастно, несмотря на ранги и капиталы подследственных лиц; привлечены были к ответственности самые сильные и крупные тузы в мире поставок. Вообще, крупные факты наглейшего обирания казны и армии, в различных видоизменениях, проходившие безнаказанно с самого начала войны, проявляясь то в виде картонных малкиелевских подметок и гнилого сукна, то в виде испорченного когановского сена, подмоченного овса, никуда не годных консервов, пропавших вагонов с полушубками,— факты эти начали теперь получать надлежащее освещение. Но тут неожиданно встретилась препона: Левкович, привлекий «самых сильных», вдруг должен был подать рапорт о болезни и выехать за границу. Израиль, крупный и мелкий, возликовал и возрадовался. С плеч его скатилась тяжелая гиря,— Дамоклов меч был искусно отведен в сторону, чтобы разить только мелкую интендантскую сошку.

Не менее печальное зрелище представляли собой и «вольные погонцы». Известный Варшавский получил - с казны за подводческое дело более двадцати миллионов рублей. Крупный подряд

---

<sup>1</sup> Председатель Одесской следственной комиссии.

его был раздроблен им самим по частям и очень выгодно роздан для эксплуатации, или как бы на откуп, множеству малых предпринимателей из евреев. В Одессе устроено было даже нечто в роде «акционерного общества» для найма погонцев. Акционеры, в расчете на пожизну, вносили свои паевые доли с тем, чтобы после получить на них из общей суммы барышей крупный дивидент, и все подобные взносы поступали к некоему Миньковскому. Погонцы, нанявшиеся в «конторах» Варшавского, были поряжены с хорошими подводами и крепкими лошадьми по 90 и по 100 кредитных рублей в месяц, не подозревая, по большей части, разницы между бумажкой и золотом. Местными властями не предпринималось никаких мер к ограждению их от невыгодных сделок; напротив, было получено распоряжение от начальства — оказывать агентам г. Варшавского «всевозможное содействие» к успешному заготовлению подвод и не допускать ни в чем задержек. Впрочем, местным властям и трудно было предотвратить обманы, так как договоры делались агентами Варшавского на местах словесно, а оформлялись уже потом в Николаеве и в других городах, у нотариусов евреев, когда погонцы уже были на походе. Содержание контрактов никому из нанимавшихся доподлинно известно не было, так как они прочитывались им — если еще жида достаивали их прочтением — наскоро, с упущениями, умолчаниями и разными увертливыми объяснениями сомнительных пунктов. Так же не была им известна и курсовая разница в цене денег в России и за границей. Когда же некоторые из погонцев возбуждали, по слуху, вопрос об этой разнице, то агенты уверяли их, что все это вздор, который пускают в народ разные смутьяны, враги России, что деньги везде имеют одинаковую цену. О том, что они вконец обмануты и отданы на жертву жидам, догадывались погонцы только за Дунаем, а иные уже и за Балканами. Кормить лошадей и продовольствовать себя они, по условию, должны были сами, из своего жалованья. Но тут дороговизна, а подчас и полное отсутствие фуража, падение кредитного рубля, тяжелая, невыносимая для животных работа, неаккуратные расчеты агентов, всевозможные обсчитывания и жидовские штрафы за все — про все вскоре довели погонцев до нищенства. Жалованье выдавалось им несвоевременно, — обыкновенно, спустя три, четыре недели после срока, и случалось даже, что выплачивали его не русскими кредитками, а турецкими кайме, не имевшими тогда уже ровно никакой цены. В ответ же на свои требования, они нередко получали от жидов только брань, пинки да нагайки, — на то ведь жида и офицерские кокарды носили — и лошади погонщицкие безвременно падали от изнурения и голода. Многие не получали денег и потому еще, что в их расчетных книжках подложно записывались агентами небывалые выдачи и штрафы. Когда же погонцы, дойдя до крайности, вынуждены были продавать лошадей и фургоны, то все это было скуплено у них за бесценок самими же нанимателями-подрядчиками, которые, кстати, остроумно приняли вынужденный ими уход погонцев за нарушение условий. Истинно еврейская «игра ума»: не платить, вынудить продать «худобу» и фургоны,



самим же их купить и потому эту самую сделку выставить нарушением контракта со стороны ими же разоренных погонцев! Агенты-наниматели: Айзенвайс, Найбарец, Гирнит, Бидерман и другие — воспользовались впоследствии услугами адвоката Рихтера, который и на суде не стыдился утверждать, что нарушители условия — не кто иной, как сами погонцы. Впрочем, дело это, тянувшееся Бог знает сколько времени, за разными оттяжками, проволочками и адвокатскими увертками, было поднято только ничтожной горстью погонцев (42 человека); остальные, видя его безнадежность, махнули рукой и даже не питали мысли тягаться с ловкими нанимателями, имеющими средства, умеющими находить готовых к их услугам адвокатов и действующими по плану, тогда как погонец умеет только жаловаться на судьбу и не дерзает рассчитывать на свое право. В марте и апреле, около двух месяцев, слонялись эти несчастные по Сан-Стефано, валяясь в грязи без крова, по улицам, огородам, полям и болотам. Собралось их там три «отделения», около тысячи человек, состоявших в распоряжении агента Пинковского. Жаловались они несколько раз и в штаб, и в комендантское управление, и в интендантство, после чего всегда следовало строжайшее приказание рассчитать их и отправить в Россию с ближайшим пароходом; но приказание каждый раз оставалось без исполнения. Постоянно оказывалось, что самого Пинковского нет в Сан-Стефано, живет он где-то в Константинополе, а погонцы между тем бедствуют, к стыду нашему, на глазах у иностранцев и турок. Последние деньжонки, какие имелись еще в запасе, и те прохарчили они в Сан-Стефано в ожидании получения окончательного расчета по книжкам. Напрасно ездили они в Константинополь искать Пинковского, — его там не оказывалось; он скрывался и может быть уже уехал в Россию. А дома поля этих несчастных оставались тем временем невспаханными и незасеянными... Бывши до войны зажиточными хозяевами, погонцы вообще потеряли за Дунаем все и должны были под конец побираться на чужбине у своих и чужих именем Христовым. Ужасное их положение приняло уже в глазах иностранцев характер настоящего скандала для русских, для управления действующей армии, для самой России. Стыд и срам были за русское имя и достоинство при виде этих оборванных, разоренных нищих, протягивающих руку за подаванием к туркам, грекам, англичанам и немцам. Им и самим было совестно, да голод не свой брат! И рады-радехоньки были они, когда начальство, потеряв уже всякую надежду на жидовских агентов, распорядилось наконец само отправить их на казенных пароходах в Россию, куда вернулись они пешими, голыми, босыми и без гроша денег. Хорошая половина их вымерла в Турции от тифа и изнурения голодом. Никто из крестьян на службу погонщицкую больше не поступал, несмотря на новые заманчивые приглашения евреев и обещания золотых гор. Но в конце концов потерпели не одни погонцы. Хотя слухи о печальной участи их стали довольно быстро распространяться по югу России, но это нисколько не смущало акционеров жидовского одесского «общества», а скорее распаляло их мечты о значительных дивидендах.

Вышло, однако же, не совсем так, как предполагалось. Заправлявшие делом агенты объяснили своим доверителям, что страдали не погонцы, а напротив — интересы самого акционерного общества; погонцы же отличались только жадностью, неисправностью, кляузничеством и т.п., почему и надежды на дивидент не оправдались. И вышло, что погонщицкая операция, на которую казна отпустила Варшавскому 20 миллионов рублей, была эксплуатацией не только темных крестьян, но и людей, падких до наживы. Зато в липких жидовских руках на этой ловкой операции оказались десятки миллионов.

К августу «Товарищество» Гререра, Горвица и Когана прекратило в Бухареште платежи и было признано там несостоятельным. Общая сумма его долгов обозначилась пока в 26 миллионов франков. Предварительное дознание, производившееся в Бухареште особо присланной из Сан-Стефано комиссией, с первых же шагов следствия раскрыло ужасные злоупотребления по поставке не только испорченных, но умышленно фальсифицированных припасов, что отразилось в чрезвычайно большом проценте болезненности в войсках, и злоупотребления эти, — как оказалось уже тогда, на первых же порах, — превысили цифру 12 миллионов рублей золотом. Тем не менее, несмотря на эти раскрытия и даже на формальную несостоятельность «Товарищества», почему-то было признано возможным выдать ему из русской казны, впредь до расчета, еще 6 миллионов рублей золотом! До того же времени было уплачено казной «Товариществу» 70 миллионов металлических рублей, но не довольствуясь этим, оно собиралось предъявить казне иск еще на 28 миллионов тех же металлических рублей, для какой цели и пустило в газетах слух, что вызывает к себе на помощь грозного правительству адвоката, — самого Спасовича. В защиту жидовской компании выступили в Бухареште специальные публицисты, издававшие для этого особые брошюры и газетные листки вроде «Записок гражданина» некоего жидка Лернера. Да и в самой России, не говоря уже о чисто еврейских изданиях, за этих компаньонов стояла часть либеральной печати, и даже в числе солидных не либеральных органов были такие, что обходили эти дела молчанием или ограничивались только перепечаткой строго официальных сведений, без всяких комментариев. Компаньоны не унывали: никакой суд для них не мог быть страшен, ввиду самого условия их с интендантством и массы оправдательных документов, какими, в силу условия, считались даже никем не засвидетельствованные записки и счета частных лиц. Да и кроме того, по условию же, «Товарищество» за свою неисправность «во всяком случае», отвечало перед казной «только представленным в обеспечение исправности залогом, в размере 500 тысяч рублей». Таким образом, жида взыскали за эту войну громаднейшую контрибуцию с русского народа. Даже второстепенные и третьестепенные агенты вроде Громбаха, Сахара, Меньковского и т.д., приехавшие в Румынию нищими и несостоятельными должниками, а иные даже бежавшими от долгов, возвращались теперь в ту же Россию домовладельцами, землевладельцами,

крупными помещиками, богачами с сотнями тысяч в карманах, а порой и «кавалерами» некоторых орденов, чуть ли даже не с мечами, «за особые заслуги». Потому-то жида и были так недовольны скорым, по их мнению, заключением мира. Продолжайся война,— контрибуция их с России могла быть вдвое, втрое, вдесятеро больше. Как же тут не жаловаться! Пролезли они всюду, даже в уполномоченные «Красного Креста», занимаясь в то же время и выгодными поставками в армию. С «Красным Крестом» был, между прочим, такой случай: керченские граждане отправили с душевным усердием две значительные посылки по семи тюков с платьем и вещами для дунайской армии на имя г.Рафаиловича. уполномоченного «Красного Креста» в Будапеште. И что же! Через несколько месяцев первая посылка возвращается по почте обратно в Керчь, «за неявкою получателя», а о другой — ни слуху ни духу. «Хотят ли подобные господа благотворители, спрашивалось тогда по этому поводу в печати, хотят ли они подорвать в самом корне побуждения к патриотическим жертвованиям со стороны русского общества, его порыв к облегчению участи наших страждущих воинов»,— и тут же, по поводу известия о взятии одесским почетным гражданином А.Рафаловичем подряда на доставку в Сан-Стефано прессованного сена, по 73 коп. за пуд, замечалось, что «если это тот самый Рафалович, уполномоченный «Красного Креста», на которого недавно жаловались керченские жители, тогда понятно: не явился за получением тюков, будучи занят более интересными поставками».

Все это читалось, передавалось из уст в уста, и хорошо замечалось и даже чувствовалось в Сан-Стефано. И в самом деле: в политических процессах — жида, в мятежных уличных демонстрациях — жида, в либеральной печати и адвокатуре — жида, в банковских крахах — они же; в разных хищениях и святотатствах, в огульном ограблении казны и армии — тоже жида, в сухарном и погонщицком деле, пустившем по миру тысячи русских крестьян — опять-таки жида, даже в «Красном Кресте» — и там без них не обошлось! Все это до глубины души возмущало русских людей под Царьградом. Особенно, видя, как эти жида и здесь ходят с нагло торжествующими физиономиями и знать себе не хотят никаких распоряжений и приказаний начальства, если они им не выгодны. И вот тут-то, под Царьградом, впервые невольно призадумались о «еврейском вопросе в России» даже и те, кто о нем до сих пор никогда и не думал. Тут впервые всеми сознательно почувствовалось и сказалось остерегающее слово «жид идет!»— и этот «жид» казался страшнее всякой войны, всякой европейской коалиции против России. Слишком уж больно и оскорбительно это было!

\*\*\*

Еще более угнетающим образом действовали на общий дух русских под Царьградом политические вести из Европы, в которых теперь не было недостатка. Тотчас же вслед за миром

укоренилась было уверенность в будто бы состоявшемся тесном союзе Турции с Россией против Англии и Австро-Венгрии; но уже в марте, когда турки возвели вокруг Константинополя сильные укрепления, эта уверенность уступила место более основательному сознанию, что турецкое правительство совершенно подчинилось видам наших противников. В то же время пошли первые слухи о том, что Россия согласилась на какой-то общеевропейский конгресс и что на близкое осуществление его будто бы подает большие надежды ее неожиданная уступчивость, которой однако же в Европе не доверяли, предполагая в этом какое-нибудь скрытое коварство. Знаменитое бисмарковское «*Btati possidentes*» как бы подстрекало косвенным образом Россию к неуступчивости, в предвидении англо-австрийского союза, который или вынудил бы нас на новую войну, или заставил бы делать новые непосильно напряженные приготовления к ней и нести новые жертвы, расстраивающие и финансы и вообще благосостояние страны. Но мы еще крепко веровали в Бисмарка и его дружбу.

Англия, между тем, будто бы готовила полуторатысячную десантную армию для действий на Балканском полуострове совместно с Турцией — армию, в действительности изображенную всего лишь семью тысячами каких-то привезенных на Мальту несчастных синайцев; Андраши потребовал кредита в шестьдесят миллионов гульденов за мобилизацию; в Венгрии будто бы готова уже восьмидесятитысячная армия, да в Галичине сорок тысяч войск в двух лагерях. Но всего знаменательнее оказался в то время неожиданный поворот общественного мнения во Франции относительно восточных дел и России. Предания Крымской войны, казалось, снова вступают у французов в свою силу. Еще недавно господствовавшее у них свежее сознание, что Россия в 1875 году остановила своим словом новый, уже занесенный было над Францией удар Германии, вдруг как будто позабылось, исчезло, — а вместе с тем исчезла и подготовленная герцогом Деказом почва для франко-русского союза. С победой оппортунистской партии все это вдруг изменилось. Вчерашние симпатии к России сменились враждебным к ней и дружественным к Англии настроением. В этом направлении сильно работали органы Гамбетты и оппортунистов; «*Republique Francais*», «*Temps*», и «*Jurnal des debats*», а под их влиянием и вся французская печать все более и более проникалась неприязненным чувством к России.

В это же время крайнее неудовольствие против той же России проявляли и Сербия, и Румыния, и Греция, пальца о палец не ударившая, чтобы помочь в войне за освобождение балканского христианства. Ристич, в своей речи в скупщине прямо высказывал, что Сербия под австрийской эгидой может достигнуть такой силы, какой она никогда не дождется при покровительстве России, что с помощью австрийской политики сербы получат возможность основать большое южно-славянское государство, простирающееся от Дуная до Эгейского моря и от берегов Искера до Адриатического моря, и что только этим путем можно положить предел безграничному русскому произволу и поставить под мощную охрану Габсбургской монархии национальное сербское достоинство,

сербский язык, литературу, веру и в особенности конституционный образ правления, и этим самым-де явится деятельный противовес московским тайным замыслам. Румыния тоже возгремела против России. В Бухаресте вновь раздались речи о «великой миссии» Румынии как передового моста Европы против «московского варварства». По вопросу о возвращении России отторгнутого у ней в 1856 году клочка придунайской Бессарабии, сенат и палата депутатов единогласно постановили поддерживать целостность румынской территории и не допускать отторжения какой бы то ни было ее части, хотя бы за земельное или какое-либо другое вознаграждение. С этой целью Румыния начала даже готовить против России свою армию, намереваясь присоединить ее к австрийцам. Даже болгарские политики, у которых еще не зажили спины от вчерашних турецких канчуков,— и те уже заносчиво мечтали, что будущее на Босфоре принадлежит не «отживающей» России, а им, в смысле великой болгарской империи, со столицей в Царьграде, что пускай только Россия поможет им окончательно стать на ноги, а там они уж расправятся с ней без церемонии и сделают из своей великой Болгарской империи навеки твердый оплот для европейской цивилизации против «московской азиатчины». Выходило, как будто Россия жестоко виновата в чем-то перед всеми, и большими и малыми,— все вдруг оскалили против нее зубы и зарычали или затыкали.

Положение было какое-то странное, двусмысленное, полное лжи и предательства. В Сан-Стефано, приглядываясь и прислушиваясь ко всему этому, не знали, чему верить, чего ожидать, кто друг, кто недруг. Мирное настроение смешивалось с боевой тревогой. С одной стороны, расточаются отовсюду мирные уверения, с другой, — все напряженно спешат вооружаться в громадных размерах. Из всего этого получалась томительная и странная противоречивость слов и действий, ряд каких-то логических абсурдов. Австрийская официозная печать еще во время самой войны весьма знаменательно высказывалась, что «Россия и Турция обе почувствуют, что хотя обе они достаточно сильны, чтобы наносить друг другу чувствительные удары, но слишком слабы, чтобы воспротивиться воле Европы при устройстве восточных дел». Очевидно, что выражаться подобным образом можно было только при полной уверенности, что для Австрии обеспечена поддержка Германии и что со временем эта австро-германская солидарность обнаружится наяву.

И при таких-то обстоятельствах должен был собраться в Берлине европейский ареопаг, с Россией в роли подсудимой,— точно бы она была обязана теперь заключать новый мир, не с Турцией, а с Европой, которая оставалась только зрительницей русско-турецкого поединка. И это в то время, когда в самой Европе, в своих домашних делах, было очень беспокойно, когда в Англии шли колоссальные стачки и забастовки рабочих, а в Германии велась ожесточенная внутренняя борьба с социал-демократами, и когда в Берлине, на расстоянии десятидневного срока, дважды стреляли по императору Вильгельму.

В России вновь возникло патриотическое воодушевление, выразившееся во всенародных единомышленных пожертвованиях на приобретение крейсеров добровольного флота для войны с Англией, причем кое-где не обошлось, конечно, и без некоторых курьезов, вроде того, например, что одно из нарочных собраний различных представителей судебного ведомства порешило соорудить особый крейсер судебного ведомства, и так и назвать его «крейсером судебного ведомства».

Но между общественным настроением России и деятельностью ее дипломатов уже невольно сказывался внутренний разлад. Общество и народ были готовы на новые жертвы, даже на новую войну, чтобы отстоять результаты Сан-Стефанского мира; дипломаты же делали все новые и новые уступки наглым притязанием Европы. Заседания Берлинского конгресса открылись 1-го июня, но еще ранее конгресса, чуть не накануне его, русская дипломатия, в особом соглашении с Англией, признала за последней право протектората над мало-азийскими турецкими провинциями и дала ей уверение, что в будущем границы России со стороны азиатской Турции не будут более расширяемы. В самый же день открытия конгресса австро-венгерское правительство издало указ о мобилизации своей армии, чтобы оказать этим большее давление на податливость русской дипломатии, зная, что Родопское восстание — эта подшепнутая Европой неофициальная война Турции против России, оттягивает значительную часть наших сил и, до известной степени, связывает нам руки.

Главным действующим лицом, блестящим героем, деятельным фактором и авторитетным вершителем на конгрессе явился не князь Бисмарк, удовольствовавшийся для видимости скромной ролью «честного маклера», а возведенный в сан лорда Беконсфильда еврей Бенъямин д'Израэли,— и одной из первейших забот его было доведенное до счастливого конца стремление отстоять полное гражданское равноправие и свободу эксплуатации для евреев в Румынии, Сербии и в прочих вновь возникающих политических организациях на Балканском полуострове. Это был первый положительный и крупный результат конгресса, заставивший возликовать все еврейство, сразу почуявшее, какое широкое новое поле открывается для его высасывающей деятельности! Затем конгресс с редким единодушием разрешил Австрии бессрочно занять Боснию и Герцеговину, подразумевая под этим, как естественное следствие такого занятия, вассальное подчинение австрийским видам и независимой Сербии, и независимой Черногории, и всей западной части Балканского полуострова вплоть до Эгейского моря. И русская дипломатия, по замечанию И.С.Аксакова, видела во всем этом «даже какое-то особое торжество своей политики, и с увлечением, которому граф Аддраши даже и не вдруг поверил, приветствовала как новую эру разграничение сфер влияния России и Австрии на Балканском полуострове». В конце концов выходило, что мы дрались как бы за тем только, чтоб отдать во власть Австрии славян, даже и тех, которые до сих пор пользовались относительной свободой, да еще для того, чтобы предоставить евреям полную свободу эксплуатации

всех этих христианских народностей, до сих пор не знавших еще этой язвы египетской. Уже во время самого конгресса между Англией и Турцией была заключена особая конвенция,— в сущности, оборонительный союз,— в силу которого Англия забрала себе остров Кипр. Сюрпризное объявление этой конвенции из уст самого Беконсфильда и завершило собою, 1-го июня, Берлинский конгресс, по выражению дипломатии, «самым неожиданным и блестящим образом». Это был настоящий финальный *coup de theatre* всего конгресса. «Неужели все это сон, не просто страшные грезы, хотя бы и наяву?»— с чувством ужаса и горечи восклицал И.С.Аксаков<sup>1</sup>,— «Неужели и впрямь на каждом из нас уже горит неизгладимое клеймо позора? Не мерещится ли нам все то, что мы будто слышим, видим, читаем? Или наоборот, прошлое было грезой? Галлюцинация, не более как галлюцинация — все то, чем мы утешались и славились еще менее полугода тому назад?! И пленные турецкие армии под Плевной, Шипкой и на Кавказе, и зимний переход русских войск через Балканы, и геройские подвиги наших солдат, потрясшие мир изумлением, и торжественное шествие их до Царьграда — эти необычайные победы, купленные десятками тысяч русских жизней, эти несметные жертвы, принесенные русским народом, эти порывы, это священнодействие русского духа,— все это сказки, миф, порождение воспаленной фантазии... Вот к чему послужила вся балканская страда русских солдат! Стоило для этого отмораживать ноги тысячами во время пятимесячного Шипкинского сидения, стоило гибнуть в снегах и льдинах, выдерживать напор бешеных Сулеймановских полчищ, совершать неслыханный, невиданный в истории зимний переход через досягающие до неба скалы!»

Нигде, может быть, не чувствовалась живее и ближе вся горечь и скорбь этих слов, как в Сан-Стефано и на русских позициях под Царьградом, на виду этих минаретов и купола св.Софии. Нигде не сказывалась так явно перемена отношений к нам со стороны всех этих разношерстных представителей Европы и местных населений, так как именно там, где еще так недавно все они были преисполнены удивления и почтения к русской силе, а теперь глядели на нее, эту силу, с нескрываемой пренебрежительной насмешкой. И все это приходилось терпеть молча, с болью горькой обиды в ежечасно оскорбляемом русском сердце. Дух уныния, озлобленной скуки и апатии все более и более овладевал русскими под Царьградом. Нравственно удушливое положение их становилось невыносимым,— хотя бы домой скорее, что ли, от этого жгучего стыда и позора!— вот каково было всеобщее чувство. Бежать, бежать прочь и дальше от всех этих немых и живых свидетелей вчерашних наших торжеств и подвигов,— вот было общее желание. И с какой завистью гляделось на тех счастливцев, которые могли тогда же совсем уехать в Россию!

К этой мертвящей, томительной скуке и апатии, еще усиливавшейся от

---

<sup>1</sup> В известной речи своей, произнесенной 22 июня 1878 года в Московском славянском благотворительном обществе.

продолжительного бездействия и стоянки в нездоровых местностях, присоединились болезни,— болотные лихорадки, сыпной и пятнистый тиф, близкий к чуме. Солдаты ежедневно мерли десятками по госпиталям, русские кладбища позади лагерных позиций все разрастались и разрастались... Жара стояла убийственная. Плохо зарытые болгарами трупы людей и животных на полях сражений, внутри страны, распространяли зловоние и грозили чумой. Кроме строевых учений начальство старалось занимать войска обширными работами на пристанях, по выгрузке различных предметов довольствия, улучшением путей сообщения в районах их расположения, закрытием падали, лежащей по всем дорогам и вблизи селений, и т.п. Но несмотря ни на что, эта двусмысленная неопределенность положения и полная безвестность насчет ближайшего будущего все-таки накладывали на всех и все в русских станах печать унылой скуки, а вести с Запада и в особенности из Берлина плодили глухое раздражение и горечь сдержанной злобы и на чужих и на своих,— «Вот они, наши настоящие нигилисты!»— повторялось тогда на чужбине вслед за Аксаковым,— «Нигилисты, для которых не существует в России ни русской народности, ни православия, ни преданий, которые, как и нигилисты вроде Боголюбовых, Засулич и К, одинаково лишены всякого исторического сознания и всякого живого национального чувства; и те и другие — иностранцы в России!» И действительно, «самый злейший враг России и престола не мог бы изобресть чего-либо пагубнее для нашего внутреннего спокойствия и мира». Берлинский конгресс действительно казался, в особенности там, в Сан-Стефано, «открытым заговором против русского народа,— заговором с участием самих представителей России», этих «государственных нигилистов», как определил тогда и конгресс, и наших дипломатов, Аксаков.

Но что же! Зато Берлин добился своей цели: Россия была временно ослаблена войной, ее расстроены финансы стали в еще большую зависимость от Берлина, и Франция от нее отвернулась; между ней и Россией возникло недоверие и охлаждение; славяне ускользнули из-под русского влияния; в среду балканских христиан и их молодых государственных организмов, благодаря умышленному их расчленению и нарочно несправедливому определению их этнографических границ, было брошено злое семя взаимной зависти, вражды и будущих раздоров и усобиц, Австро-Венгрия получила подачку за свой позор Садовой и Пражского мира, и естественным образом должна была отныне пристегнуться к Германии, Англия прикарманила Кипр, ограничила Россию в Малой Азии,— и ликующий еврей Беконсфильд возвратился в Лондон истинным триумфатором. «Всемирный Еврейский Союз» — эта новая великая держава — окрылился и расправил свои когти, а «честный маклер» в Берлине потирал от удовольствия руки: Россия получила от него «достойное возмездие за 1875 год: «не заступайся вперед за Францию!»



## XXVII. ПРАВДА СКАЗАЛАСЬ

Общая апатия и скука под Царьградом, общее нравственное недомогание, глухое раздражение и недовольство невольным образом отразились и на сестрах милосердия. Пока кипела война, пока совершались все эти изумительные переходы и подвиги и приносились великие жертвы народом и армией,— нравственное настроение сестер оставалось приподнятым на ту высоту, где они являлись олицетворением самоотверженности и героизма; там не было среди них места никакой мелочности, ни дрязгам, напротив, все они единодушно были заняты своим общим великим делом, все великодушно помогали в работе одна другой, христиански носили тяготы друг друга, и в этом дружеском единодушии и в сознании своего святого призвания и долга крылся тот великий стимул, который нравственно облегчал этим женщинам их великие, часто сверхсильные, труды и лишения, побуждая переносить все это бодро и охотно. Но замолкли громы войны, прошли дни подвигов и торжеств, началась долгая, бездейственная стоянка под Царьградом, полная лишь самых будничных и однообразных злоб и забот текущего дня,— сегодня, как вчера, вчера, как сегодня, все одно и то же без малейшего просвета и разнообразия, при полной неизвестности, что будет впредь и долго ли протянется такое скучное положение,— и вот мало-помалу в среде сестер невольно стали обнаруживаться, незамечавшиеся прежде, последствия несходства личных характеров, темпераментов и лет, неравенства в степени образования, развития, разницы их прежних общественных положений, среды и т.п. Житейская, нередко чисто женская, мелочность под влиянием однообразия и скуки в обиходе вступала между ними в свои права, и тут уже начинали разыгрываться в своем мирке мелочные страсти, самолюбия, эгоистические побуждения,— пошли кое-какие взаимные столкновения, неудовольствия друг на друга, мелкая зависть, мелкие дразги, мелкие сплетни и ссоры,— и вся эта перемена сделалась исподволь, так обыкновенно, просто и незаметно, как самое естественное дело, точно бы так тому и следовало быть.

Добрая доля всех этих мелочей обрушилась и на голову Тamarы. Заметилось вдруг, что она хороша собою,— красивее и моложе всех,— чего прежде как-то не замечалось. Заметилось, что она будто бы слишком уже стала заниматься своим скромным туалетом,— зачем, например, завелись у нее эти духи «violette de Parme», это тонкое парижское мыло, как будто нельзя мыться обыкновенным яичным или кокосовым! Зачем появились эти маленькие boucles l'amour на лбу и висках? Каждый бантик, черная бархатка на шее, какой-нибудь цветок в волосах, манера носить головную косынку и т.п.,— все это относилось на счет ее кокетства, неприличного для сестры милосердия. Заметилось также, что Ахтурин «ухаживает» за ней, да и сама она тоже, кажется, равнодушна к нему, а это уже прямое бесстыдство — кокетничать с человеком, завлекать его, будучи невестой другого! Вспомнилось, что, как-никак, и все-таки она «жидовка», «из насих», и что, в сущности, она в общине, как говорится, сбоку припека,

— чужая, пришлая особа, временная доброволка, сегодня здесь, завтра упорхнула,— не то что настоящая «штатная» сестра милосердия, коренная общница, которая всю жизнь уже посвятила этому делу. А из всего этого, по женской логике, выводилось заключение, что Тамара вообще слишком много о себе думает и ведет себя не так, как прилично бы сестре, не мешало бы-де поскромнее, так как ее ветреность может, пожалуй, компрометировать всю общину. Правда, далеко не все сестры разделяли насчет Тамары такое мнение, но довольно уже было и того, что в их среде образовалась такая «партия», и это тем хуже, что в «партии» оказалась и старшая «сестра», имевшая по своему положению немалое влияние на старушку-начальницу. Пошли разные «шпильки», намеки и даже замечания, поселявшие взаимную рознь и охлаждение между Тамарой и «партией», и все это с течением времени начинало все больше и больше досаждать и надоедать ей, так что нужно было немало самообладания, чтобы подавлять в себе чувство раздражения и сносить покорно, как требовала общественная дисциплина, замечания старшей сестры, часто не совсем справедливые и придирчивые. Тамара, наконец, стала замечать, что и сама начальница как будто переменилась к ней, сделалась как-то суше, официальнее, и это ее глубоко огорчало. Хорошо еще, что при ней оставалась неизменно добрая и преданная сестра Степанида, с которой она могла порой в откровенном разговоре облегчить свою душу, зная, что всегда встретит в ней искреннее к себе сочувствие и утешение в своих лечалях и досадах. И действительно, сестра Степанида своим сердечным словом и простым, здравомысленным отношением к делу всегда, бывало, хоть на время вносила нечто примиряющее и целебное в ее мучимое сердце. Это одно только и поддерживало Тамару, не имевшую и даже не видевшую пока никакого исхода из своего зависимого положения. Куда она пойдет здесь, на чужбине, что предпримет, на что решится, не имея ни достаточно влиятельной поддержки, ни средств, кроме того скромного жалования, на свои личные маленькие нужды, какое временно дает ей «Красный Крест» за госпитальную службу? Поневоле приходилось пока терпеть и смиряться в ожидании лучшего... Но лучшего ли!— вот вопрос, все еще покрытый для нее полной неизвестностью.

С Атуриным, после объяснения в пасхальную ночь, отношения ее остались по-прежнему добрые, дружеские, только он сделался несколько сдержаннее, даже еще почтительнее к ней с виду, и уже ни словом ни взглядом не пытался более выражать или напоминать свои чувства. Тем не менее его посещения давали «партии» пищу к разным шпилькам и известному злословию между собой насчет Тамары, что иногда прорывалось обиняками даже в его присутствии. Заметив это, он стал бывать гораздо реже, не желая ни ее подвергать этим шпилькам и сплетням, ни в самом себе напрасно беречь серьезное чувство, невольно пробуждаемое самым видом и присутствием любимой девушки, так как после объяснения с ней знал, что все равно из этого ничего не выйдет. Тамара понимала его побуждения и причины,

заставлявшие его поступать таким образом, и потому оставалась в душе очень ему благодарна за это, хотя видеть его реже, чем прежде, и не иметь возможности ни разу даже поговорить, как хотелось бы, казалось ей досадным лишением и несправедливой жертвой, которую оба они, как бы по безмолвному соглашению между собой, вынуждены приносить ее «доброжелательницам», чтобы не давать лишней пищи их умозаключениям и злословию. Но понимая все это и подчиняясь такому положению, она, однако же, с сожалением убеждалась в душе, что жертва эта, кажется, совершенно напрасна, так как несмотря ни на что, доброжелательницы из «партии» все равно ведь говорят и говорить от этого не перестанут.

— Господи, до чего все это мне надоело! Просто, рада бы бежать, куда глаза глядят!— говорила однажды Тамара сестре Степаниде.— Тут никакого терпения не хватит!

— А знаете, что я себе думаю?— поразмыслив, ответила ей на это сестра.— Ведь Атурин-то, давно уже замечаю я, любит вас серьезно, и сдается мне так, что готов бы, пожалуй, хоть сейчас жениться.

— Ну, и что ж из этого?— грустно усмехнулась Тамара.

— Как что?! Одно ваше слово — и готово. Вот вам и выход.

— Дорогая моя, но вы забываете, что у меня уже есть жених, которому я дала слово,— возразила девушка.

— Э, полноте, пожалуйста!— досадливо качнула головой Степанида.— Жених, жених! Чего же он медлит-то, жених этот? Где он? Шутка сказать, столько месяцев ни слуху ни духу! Ни строки не написать, не интересоваться, как и что с моею невестой! Да разве это любовь, извините меня?! Да я бы, на вашем месте, на такого-то жениха давным-давно плюнула бы, да и вся недолга!

— Это легко сказать,— раздумчиво заметила Тамара.— Будь я уверена, что он действительно не любит, или забыл меня, я бы это сделала, но... почему знать! — быть может, есть какие-нибудь обстоятельства, которые вынуждают его поступать таким образом, быть может, иначе ему невозможно, и он даже не виноват в этом... И пока во мне есть еще такие сомнения, я не нарушу своего слова.

— И буду ждать у моря погоды?— с усмешкой подсказала ей подруга.

— И буду ждать,— убежденно подтвердила девушка.— Буду ждать, пока не разберусь окончательно.

— Сами себя только напрасно мучите — с дружески укоризненным сожалением заметила Степанида.

— Почему напрасно?

— Да потому, что вы его ведь не любите.

— Кого это? Графа?— вскинула на нее удивленный и несколько встревоженный взгляд Тамара.— Почему вы так думаете?

— Потому что любите Атурина.

— Атурина?!— невольно воскликнула она, вся мгновенно вспыхнув при этом слове.

— Ну, разумеется!— спокойно и просто, со свойственной ей прямою подтвердила сестра Степанида.— Разве у меня глаз нет? Давно я это про себя, голубушка моя, замечаю.

— То есть, как люблю?! Как друга, как брата, как очень, очень хорошего человека,— да, пожалуй!— согласилась Тамара, пытаюсь подбирать подходящие объяснения в оправдание своего чувства.— Он, к тому же, самый близкий родной матери Серафиме, женщине самой дорогой для меня на свете, которую я почитаю за мать... С этой точки зрения, если хотите, я действительно люблю его, но... не более!

— Полноте, милая!— слегка махнула рукой Степанида,— «Как друга», «как брата»! Все это пустяки, придуманные слова и только! А на сердце-то совсем не то!

— Да зачем же я стала бы лгать вам?— возразила Тамара,— Вам-то, подумайте!

— Не мне, мой друг,— самой себе лжете! Сами себе признаться не хотите, или боитесь, вот что!— теплым тоном искреннего убеждения заметила ей Степанида.— Говорите-то вы одно, а лицо выдает совсем другое. С чего же это вы вся вдруг вспыхнули, как маков цвет, чуть только я назвала его имя?

Тамара замолкла и опустила голову, точно бы уличенная. И в самом деле, до этой минуты никогда еще вопрос о том, что она любит Атурина, и какой именно любовью, не вставал перед нею так прямо и с такой неотразимой ясностью. Если этот вопрос и шевелился когда в ее душе, то всегда более или менее смутно, и всегда она старалась при этом разуверять себя в этой смутно чувствуемой истине, объясняя себе свое чувство к Атуруину именно дружескими, братскими побуждениями,— словом, всеми посторонними причинами, только не тем, чем оно есть на самом деле в глубине ее сердца. И на этих, придуманных самой себе, объяснениях и разуверениях ей удавалось до поры до времени как бы обманывать себя и баюкать в себе подозрительную мысль и тревожный вопрос об истинном значении своей перемены к Каржолю. То, что доселе чувствовалось смутно и отгонялось ею от себя, как некий тревожащий признак, вдруг получило теперь силу и осязательность действительного факта. Слово сказано, и этим словом все осветилось и все определилось для самой Тамары, и она чувствует в душе, что все возражения против него будут несостоятельны и бессильны. Но что же делать ей? «Плюнуть», как говорит Степанида, на Каржоля и идти за Атурина? Да, но если бы ей не встретился на жизненной дороге Атурин, разве она бы на него «плюнула»? Разве без этого обстоятельства она разлюбила бы графа из-за того только, что он несколько месяцев не пишет, по причине, которая и до сих пор остается еще неизвестной?— Нет, она наверное мучилась и терзалась бы этим, сомневалась бы и досадовала,— все это так, но разлюбить... едва ли такая мысль пришла бы ей в голову, не будь тут Атурина. А что, если причина молчания графа окажется уважительной? И если, к тому же, он все еще любит ее по-прежнему? Чем, в таком случае, оправдывает она перед собственной совестью свое отступничество? Только своим личным, эгоистическим чувством?— Понравился, мол, другой, и этого довольно!

— Да имеет ли она право,— нравственное право на это? Ведь это было бы преступно, низко, подло с ее стороны,— ведь это измена, за которую она сама себя всю жизнь презирала бы.— Нет, что бы там ни было, но пока все вопросы относительно Каржоля не выяснятся для нее окончательно, она не изменит раз данному слову. Перед богом и людьми она все-таки его невеста, и если лукавый попутал ее этой любовью к другому, она найдет в себе силы заглушить, убить со временем это несчастное чувство, и все-таки останется верна своему долгу.

— Что же вы так задумались, Тамарушка, и головку повесили?— обратилась к ней Степанида, ласково кладя ей обе руки на плечи.— Может, на меня рассердились, что я там попросту брякнула вам?— Простите, дорогая, ведь я от сердца...

— Нет, не то,— успокоила ее Тамара.— Я знаю, что от сердца, и знаю, что вы меня любите... А раздумалась я над вашими словами.

— Что ж так?— вопросительно взглянула на нее Степанида.— Слова, кажись, не мудреные...

— Видите ли, может быть, вы и правы,— принялась объяснять ей девушка,— но идти мне за Атурина невозможно: я уже отказала ему, и он знает причину, почему — я не скрыла от него... Стало быть, и говорить об этом больше не станем... никогда, слышите, никогда, дорогая моя, я прошу вас!— говорила она тоном убедительной дружеской просьбы, пожимая ей руки.— Тяжело мне все это! Ужасно тяжело! А что до графа,— прибавила Тамара,— пусть будет, что Бог даст, но первая своего слова я не нарушу.

— Неисправимая вы идеалистка, как я погляжу!— с ласковым укором покачала на нее головой Степанида. А впрочем", Бог чистую душу видит и знает, куда ведет. Его святая воля!

И в заключение этой откровенной беседы, обе они от души расцеловались друг с дружкой.

## **XXVIII. ПОЗДНИЙ ОТКЛИК**

Долго крепившийся нервный организм Тамары наконец не выдержал,— она заболела.

Сколько раз, бывало, во время войны, особенно среди зимних лишений, почувствует она вдруг недомогание и думает себе — вот-вот расхвораюсь; но тотчас же добрый прием хины, потогонное или иные подручные средства, а главное — нравственное возбуждение и подъем духа, при сознании, что нечего нежничать и баловать себя, что хворать не время и некогда,— помогали ей переламывать болезнь в самом начале; затем, день-другой полного спокойствия, отдыха, и она опять чувствует себя бодро и весело, и снова спешит уже к обычным своим обязанностям. Но здесь, теперь, при изменившихся обстоятельствах, это, по большей части, угнетенное состояние ее духа, монотонная жизнь, сильная дневная жара и влажные ночи, пропитанные болотными испарениями, самый воздух, не чувствительно

насыщенный миазмами разных болезней,— все это одолело наконец и ее здоровую, выносливую натуру. Она схватила себе довольно серьезную болотную лихорадку.

Немедленно же принятые энергичные меры, внимательное отношение врачей и заботливый уход сестры Степаниды, вместе с несколькими другими сестрами, при естественных силах молодого организма Татары, помогли ей в конце концов справиться с этой изнурительной болезнью, и недели через две она уже заметно стала поправляться.

Начальница общины навещала ее каждый день, в ее особой, отведенной для заболевших сестер, юрте, и здесь больная воочию увидела, что если у старушки и были прежде какие-то причины к некоторому охлаждению к ней, то теперь все это прошло, уступив свое место самому доброму и сочувственному вниманию. Это ее сердечно радовало и утешало. Питательная, вкусная пища и хорошее вино, в которых у «Красного Креста» не было недостатка, помогали, в свою очередь, восстановлению и укреплению сил девушки.

В период своего выздоровления она получила однажды с почты письмо и, взглянув на надпись, сразу узнала почерк Каржолья. Оно было адресовано на имя начальницы «для передачи сестре Тамаре Бендавид». Эта неожиданная посылка не только удивила, но даже встревожила и как-то испугала ее,— точно бы в письме наверное должно заключаться что-нибудь неприятное, а может и роковое, и поэтому она несколько минут оставалась в нерешительности — вскрывать ли и читать ли его сейчас же. Но тут же, упрекнув себя в малодушии, Тамара пересилила свое неприятное и колеблющееся чувство и, дрожащими от волнения руками сорвав конверт, развернула мелко исписанный листок бумаги.

Граф начинал свое послание, конечно, с испрашиваний у нее прощения за долгое молчание, которое старался оправдать множеством причин, где фигурировали и его будто бы тяжкая болезнь, и подавляющая масса неотложных и важнейших дел, и страшные неприятности с интендантством, с казной, с тыловым начальством, со следственной комиссией, и необходимость двукратных экстренных поездок в Россию, по делам «Товарищества», а главное — по этому нелепому следствию, которое испортило ему много крови, но от которого, в конце концов, лично ему удалось отделаться довольно благополучно, так как следственные и судебные власти не могли не убедиться из дела, что он играл лишь подставную, декоративную роль, не имея никакой возможности сам влиять на доброкачественность поставок. Но главнейшая из причин молчания, к удивлению Тамары, относилась насчет жидовского шпионства. Каржоль писал, что первое, чем встретил его Блудштейн по возвращении из-под Плевны, был вопрос,— для чего он виделся с Тамарой?— вопрос, который будто бы совершенно смутил неподготовленного к нему графа.

Это очень удивило Тамару. Каким образом мог Блудштейн узнать о ее свидании с Каржолем так скоро, если из госпиталя положительно некому было передать ему об этом? Да и о чем тут передавать? Что за важность, в самом деле, какое-то случайное свидание,

не продолжавшееся и полчаса? Кто мог обратить на это внимание, и кому какой интерес в этом? Насколько она теперь припоминала, в это время не было у них ни между фельдшерами и служителями, ни между больными солдатами никого из украинских евреев, относительно которых еще можно было бы с большой натяжкой допустить, что кто-нибудь из них мог, пожалуй, знать в лицо и ее, и графа, и быть знакомым с Блудштейном; точно так же и из агентов «Товарищества» никто, кроме графа, не приезжал в госпиталь ни в тот, ни в последующие дни. Откуда же вдруг такая электрическая быстрота и спиритическое ясновидение у «дядюшки» Блудштейна?! Все это показалось ей очень странным, и ссылка Каржоля на Блудштейна довольно подозрительной, тем более, что он не давал в письме объяснения, каким образом могло это произойти, а говорил только, что и сам не понимает, откуда все это стало известно Блудштейну. Он удивлялся лишь дьявольски ловко организованному шпионству евреев, чему, однако, Тамара плохо верила, будучи убеждена, что из ее товарок и сослуживцев по госпиталю решительно никто не знаком с Блудштейном и решительно никому из них неизвестна ее украинская история с Каржолем и кагалом, а еще менее могло быть известно кому-либо отношение к этой истории Блудштейна, о чем и сама-то она узнала лишь в Зимнице от самого же графа. Да едва ли и сам Блудштейн мог знать, что она находится в числе сестер Богоявленской общины и что была в те дни под Плевной. Да и наконец, что за дело всем этим евреям, занятым обработкой своих крупнейших гешефтов, до какой-то там «выкрестки», навсегда уже потерянной для еврейства и совсем не претендующей к тому же на свои капиталы?! Хотя ранее, из желания объяснить и оправдать молчание Каржоля, она и делала себе разные догадки и предположения, даже самые невозможные, но теперь, пораздумав,— эта ссылка графа и жидовское шпионство Блудштейна показалась ей натянутой и маловероятной. Невольным образом приходило на мысль, уж не нарочно ли придумана им такая история?

Далее граф писал, что Блудштейн, заметив при своем вопросе его невольное смущение, тут же поставил ему категорический ультиматум: прекратить всякие дальнейшие сношения с Тамарой, личные и письменные, или иначе он будет немедленно уволен со службы «Товариществу», и все долговые обязательства его тотчас же представятся к взысканию.— «Попятно, прибавлял граф, что имея такую петлю на шее и видя уже на себе пример изумительного шпионства евреев, не оставалось ничего иного, как только подчиниться, скрепя сердце, этому ультиматуму и дать Блудштейну требуемое им слово, тем более, когда я был убежден, что отныне тайный присмотр за мной станет еще строже и что малейшая попытка с моей стороны подать вам о себе весть неизбежно повлечет за собой окончательное разрушение всех самых дорогих, самых заветных моих надежд на будущее счастье. Из двух зол пришлось избрать меньшее и временное, чтобы сохранить эти святые надежды. Теперь же,— продолжал Каржоль,— когда все мои дела и счета с евреями кончены и я опять свободен, мне уже

незачем насиловать себя и скрываться, и я пишу вам это письмо совершенно открыто»; Граф извещал, что он находится теперь в Петербурге, где первым же делом по приезде поспешил справиться в правлении «Красного Креста» о местонахождении сестер Богоявленской общины, последствием чего и является его настоящее письмо. Он писал, что истосковался по Тамаре, исстрадался от мнительности за ее судьбу и здоровье, что любит ее все так же глубоко и свято, и ждет не дождется того блаженного часа, когда, наконец, опять увидится с нею для того, чтобы впредь никогда уже не разлучаться больше. Он выражал надежду, поданную ему в «Красном Кресте», что богоявленские сестры вернутся в Петербург, вероятно, осенью, и обещал приготовить к тому времени для Тамары уютное, изящное гнездышко, где она с полным комфортом отдохнет от всех своих трудов и где он постарается всем своим существом доставить ей возможно полное счастье, а главное — поскорее жениться. Он-де и сам бы приехал к ней в Сан-Стефано, но, к сожалению, некоторые новые, крайне важные и нетерпящие дела, о которых скучно было бы распространяться, лишают его пока этой возможности. Затем шли пламенные уверения любви, заочные поцелуи, объятия и пр., но адреса, куда именно отвечать ему,— к удивлению Тамары, приписано не было.

Странное, какое-то двойственное и даже неприятное, впечатление произвело все это письмо на девушку,— точно бы позабытый долг, неожиданно предъявленный к уплате, когда уплатить его нечем. С одной стороны, несмотря на свои сомнения в правдивости оправданий Каржоля, ей все-таки было несколько утешительно думать, что его молчание имеет за собой совокупность причин более извинительных, чем легкое жуирство с француженками и картежные кутежи с интендантами. Все же, по крайней мере, в этом письме своем, столь полным нежности к ней, он обнаруживает себя не совсем уже таким пустым, легковесным человеком, как думалось ей порою, в долгий период его молчания, и все же он любит ее. Но с другой стороны, эта-то вот любовь и пугала Тамару. Она сознавала себя теперь в страшном, неоплатном долгу-тперед Каржолем и видела неизбежную необходимость принести себя, ради него, в жертву на всю свою жизнь, когда сердце ее — страшно подумать! — охладело уже к этому человеку. Что это будет за жизнь! Что ждет ее впереди, когда она свяжет навеки судьбу свою с человеком, которого даже и уважать-то не совсем может... Придется делать над собой страшную нравственную ломку, выходить замуж, любя другого, скрывать и давить в себе это чувство, отвечать на немилые ласки, обрекать себя, быть может, на притворство, лгать... О, Господи!— Нет, ни лгать, ни притворяться она не сможет и не сумеет,— это не ее натура. Что тут делать? Объяснить ему напрямик, что она больше не любит его?— Но за что же тогда он, ради нее, перенес все эти нравственные пытки и материальные жертвы, оскорбление своего достоинства, унижение своего имени, всю эту еврейскую кабалу свою, службу в позорном «Товариществе»? За что? Ведь он же прямо говорил ей еще в Зимнице, что весь этот крест несет только ради нее. Ведь он тогда же возвращал ей,



если она разочаровалась в нем, ее слово, и она отвергла это,— она любила его. И если он после этого выдержал свой тяжкий иску до конца, то как же она-то? Кто же теперь прав и кто виноват между ними?

До этого письма она втайне думала и надеялась, что Каржоль разлюбил и позабыл ее, и что рано или поздно это обстоятельство снимет с нее путы нравственно обязательных к нему отношений, что, может быть, они друг с другом и не встретятся-больше в жизни, а там уже время так или иначе довершит остальное, и она вздохнет, наконец, свободно..

Суждено ли ей быть за Атуриным, или нет — это другой вопрос, но она надеялась, что будет, по крайней мере, свободно располагать своей судьбой. Хотя она и твердо была убеждена, что первая ни в каком случае не нарушит данного слова и что если придется, то до конца исполнит свой долг,— но с течением времени ей все более и более начинало казаться, что едва ли придется когда исполнять это нравственное обязательство. И вдруг долг предъявляется ко взысканию!

В душе ее закипело смешанной чувство злобной досады и на судьбу, и на Каржоля, и на это слишком позднее письмо, и на самое себя — зачем все это так случилось!— и даже на сестру Степаниду — зачем та глаза ей раскрыла, зачем ее чувство к Атурину так-таки и назвала прямо любовью! Минутами она чувствовала теперь к Каржолю даже ненависть. Но если он виноват, то и она ведь не права перед ним тоже,— быть может, еще более, чем он. Ей смутно чувствовалось, что в письме этом есть какая-то фальшь, что-то неискреннее, переиначенное, недоговоренное, но сама-то она разве не лгала все время перед собою, перед собственной совестью и, мысленно, перед тем же Каржолем? Разве она не старалась столько раз уверять себя, что любит его, должна любить, и что чувство ее к Атурину ничего общего с этого рода любовью не имеет? Разве не виновата она в том, что, любя одного, допустила себя увлечься другим? Разве не преступно это? Скажи она Атурину еще в Боготе, чуть только заметила в нем первые проблески его увлечения, что у нее есть жених и что она этого жениха любит, наверное он не дал бы этому увлечению дальнейшего развития, постарался бы притушить его в самом начале, и на том бы все кончилось. Однако же, она тогда не сделала этого,— напротив, ей было приятно, самолюбию ее льстило, что она могла внушить «такое» чувство «такому» человеку. Стало быть она сама поощряла его, сама играла с огнем — и доигралась... Но в сущности, к чему все эти поздние упреки и сожаления! Что толку-то!? Будь что будет! И если действительность не оправдала ее тайных надежд и ожиданий, если судьба требует теперь от нее расплаты,— что ж, надо иметь мужество исполнить данное слово, надо переломить себя всю, до самых сокровенных изгибов и тайников души, честно примириться со своей долей и, во имя долга, заставить себя быть честной женой.

Тяжко было решение это для Тамары, но обсуждая по совести и беспристрастно данное положение, она убедилась, что другого ничего не остается. Это был как бы приговор ее над самой собой.

## XXIX. НА ОТЛЕТЕ

В тот же день под вечер, во время вторичного посещения врача, навестила Тамару и начальница общины.

— Ну вот, слава Богу,— ласково заговорила старушка,— теперь вы и на мой взгляд заметно поправились.

— Теперь сестра Тамара у нас совсем молодец!— весело подтвердил и доктор.— Еще денька два, три на поправку, и конец. Только вот что,— прибавил он серьезным тоном, обращаясь к начальнице.— Болотная лихорадка, это, как вы сами знаете, такая серьезная вещь, что раз заполучивши ее, уже никоим образом нельзя оставаться в лихорадочной местности, надо как можно скорее вон, вон и вон отсюда! И мой вам добрый совет,— как только сестра поправится, сейчас же ее, по первому абцугу, отправить в Россию. Там, в привычном климате, есть много шансов рассчитывать, что болезнь больше не вернется, а здесь — не дай бог!— здесь она рискует каждый день схватить ее вновь, благо, почва-то в организме подготовлена.

— Что ж, можно будет отправить с первым пароходом,— согласилась начальница.— Сестра Тамара за всю компанию столько потрудилась, что ей не грех и отдохнуть. Я готова даже просить у главноуполномоченного об особом пособии для вас,— обратилась она к девушке.— Надеюсь, не откажут. Вы куда предполагали бы лучше отправиться? В Одессу, или на родину, в Украинск?

— В Петербург,— заявила Тамара.

— Да?! Вот как!— удивилась старушка.— Ну что ж, и прекрасно! Приют для вас в доме нашей общины всегда готов.— Надо будет списаться только... ну, да это завтра же можно. Вы как же?— прибавила она, несколько подумав,— предполагаете остаться в общине?— тогда мы зачислим вас в комплект штатных сестер, благо, теперь есть вакансии.

Предложение это далеко не обрадовало Тамару. Вспомнив все женские дразги и сплетни «партии» и придирки старшей сестры, она имела все поводы рассчитывать, что при таких условиях дальнейшая жизнь в общине будет для нее совсем не сладка, и потому поблагодарила начальницу за ее доброе предложение, объяснив при этом, что жених ее теперь уже в Петербурге и что поэтому приют в общине, по всей вероятности, потребуется для нее лишь на непродолжительное время.

— Ну, это уж как знаете, это ваше дело, а мы, со своей стороны, чем богаты, тем и рады,— благодушно заметила старушка.— Да!— вспомнила она,— я получила сегодня письмо на ваше имя, вам передали?

Тамара поблагодарила ее и объяснила, кстати, что это письмо от ее жениха.

— Ну вот и прекрасно! Стало быть, для вас есть все причины радоваться

и спешить с отъездом... Ну, дай вам Бог всего хорошего! Дай Бог! Поправляйтесь же, милая, поскорее... А насчет пособия я завтра же, непременно!— подтвердила ей, уходя, старушка.

\* \* \*

Случайно узнав о болезни Тамары, Атурин очень встревожился. Известие это сильно его печалило, тем более, что пока она больна, он не мог уже ее видеть, когда как тут-то вот и хотелось бы помочь ей хоть чем-нибудь, быть подле нее, утешать, облегчать ее страдания. Он чаще прежнего стал наведываться в госпиталь, а в те дни, когда из-за службы не мог быть сам, нарочно присылал к сестре Степаниде денщика или вестового узнать, как здоровье Тамары.

— Вас, однако, это очень интересует? — как бы в шутку, но не без цели уязвить, заметила ему однажды старшая сестра.

— Что ж,— возразил он,— надеюсь, в этом нет ничего странного, если вам угодно будет вспомнить, как сестра Тамара ходила за мной в Боготе.

— Ну, конечно!— согласилась та с кисло-сладкой миной.— Понятно, из чувства признательности.

— Именно из-за этого самого,— сухо и выразительно подтвердил ей Атурин.

И он продолжал каждый день справляться о ее здоровье, решившись пренебречь какими бы то ни было пересудами и умозаключениями «партии». Что ему было до них и до всей этой «партии», если она, его дорогая, страдает и если этим только он и может выразить ей свое участие!

Зато как же и обрадовался Атурин, когда, заехав однажды, часов около девяти утра, неожиданно увидел саму Тамару, которой после болезни разрешено было уже выходить из юрты на легкую прогулку. Она сильно похудела, побледнела и осунулась, хотя легкий румянец воскресающей жизни уже играл на ее щеках.

Обрадовалась ему и она, но к этой радости, в глубине души у нее примешалось и горькое чувство от сознания, что после письма Каржоля все уже кончено и что это свидание ее с Атуриным, быть может, последнее.

К счастью, случилось так, что кроме сестры Степаниды, водившей Тамару под руку, никого из посторонних в ту минуту поблизости не было,— можно, значит, вполне воспользоваться той редко счастливой минутой,— и Тамара решила сказать Атурину, как другу, все: и про письмо, и про свой вскоре предстоящий отъезд в Петербург, и про вероятность своей близкой свадьбы, хотя и была заранее уверена, что ему будет очень горько узнать все это. Но что же делать! Ей казалось, лучше высказать прямо самой, чем скрывать, замалчивать или предоставлять ему узнать впоследствии от других, от «партии», которая, конечно, не пожалеет при этом своих собственных красок. И Тамара сказала ему все, но сказала так, что в ее словах, в выражении ее грустных глаз, в звуке мягкого, тихого голоса,

— во всем он живо почувствовал, насколько дорог он ей и как тяжело ей было решиться на эту бесповоротную жертву, приносимую ею лишь из чувства своеобразно понимаемого долга.

— Да вы знаете ли, наконец, человека-то этого? Хорошо ли знаете его?— не выдержав, горячо воскликнул Атурин с чувством, похожим на то, с каким бросаются на помощь к утопающему или чтоб удержать стоящего на краю пропасти.

— Владимир Васильевич,— кротко, но веско остановила она его, наложив слегка ладонь на его руку,— раз, что я решилась, мне ничего больше знать не следует. Во всяком случае, решения своего я уже не переменю, я обязана исполнить свое слово,— поймите, обязана. Что делать! Видно, так надо,— судьба!

— Эту судьбу мы сами себе создаем из своих собственных заблуждений или капризов!— с чувством едкой горечи проговорил, отвернувшись в сторону, Атурин.

— Останемся навсегда добрыми, любящими друзьями!— сердечно старалась утешить его Тамара, сопровождая свои слова ласково просящим взглядом.— Никто, как Бог, почем знать...

Но он безнадежно и грустно махнул рукой, очевидно, не веря в ту слабую нить какой-то смутной надежды, которую в этих последних словах как будто подавала ему Тамара.

Значит, и моя судьба решена тоже,— как бы про себя, задумчиво и тихо проговорил он, после некоторого молчания.

— Как решена? Что это значит?— с несколько тревожным недоумением спросила его Тамара.

— Так. Значит, я остаюсь в Болгарии?

— В Болгарии?— удивилась она.— Это почему? Зачем в Болгарии?

— Вызывают офицеров, желающих на службу в болгарские войска,— объяснил Атурин.

— Да вам-то что ж от того?— спросила сестра Степанида, удивленная не менее Тамары.— Вызывают,— ну, пускай себе вызывают, а вы, слава Богу, и у себя в батальоне, кажись, не обижены.

— Как вам сказать? Конечно, не обижен,— согласился Атурин,— но дело в том, что пока была война, все и у нас шло как по маслу, а теперь вот, как началось это сан-стефанское безделье проклятое, так и пошли между молодежью разные карьерные соображения да расчеты,— когда кому быть произведенным, или кто мог бы уже быть, да не производится и тому подобное. Между прочим, додумались себе и до меня, что я, мол, хоть и хороший товарищ, а все же пришлый человек, сел им на шею, закрываю собою производство, ну, и прочее там...

И Атурин сообщил обоим сестрам, что все эти сетования и соображения батальонной молодежи, по его мнению, вероятно, дошли до командира, и были приняты последним в некоторое внимание. Это свое предположение он основывал на том, что третьего дня командир пригласил его к себе, чтобы сообщить, что вот-де, требуются лучшие достойнейшие офицеры для болгар,

а потому не желаете ли прямо получить болгарскую дружину?— Содержание отличное, золотом, права — командира отдельного батальона, а вместе с назначением последует и переименование в чин полковника болгарской службы, и все это при том еще важном условии, что Атурин, служа в болгарских войсках, будет в то же время числиться, не занимая вакансии, в своем гвардейском батальоне, с правом всегда, когда ни пожелает, вернуться в него опять на службу, а потому, если он хочет, то командир с особенным удовольствием будет рекомендовать его, как образцового во всех отношениях офицера, и заранее уверен, что ему вполне удастся устроить это дело.

— Я понял,— говорил Атурин,— откуда дует этот ветер, и обещал подумать... А теперь и думать, значит, нечего,— прямо решаюсь!

— Да что ж, если и чин полковничий, и жалованье хорошее, и все прочее, почему ж не остаться? Дело выгодное!— одобрительно решила сестра Степанида.

— Выгодно, нет ли, а если ничего лучшего не имеешь в виду, поневоле останешься. В Петербург возвращаться теперь мне не хотелось бы... Уж лучше в Болгарии!

— Но разве вы намерены всегда продолжать военную службу?— спросила Тамара.

— Всегда ли, не знаю; но теперь, по крайней мере— намерен. А что?

— Нет, я думала, что, может быть, вы возвратитесь опять в свой уезд, в имение, будете по-прежнему предводителем.

Атурин только рукой махнул с горько-иронической усмешкой.

— Во-первых,— объяснил он,— поступая в полк, я сдал свое имение на несколько лет в аренду, а во-вторых, на место меня избран в предводители уже другой, человек той партии, которой я сочувствовать не могу, так что в деревне мне пока делать нечего. Но это все бы ничего,— прибавил он,— а главное...

И он замолк, не решаясь договаривать.

— Главное... что?— несмело спросила Тамара.

— Ах, сестра, неужели это не понятно?!— с плохо сдержанным горько-досадливым порывом вырвалось восклицание у Атурина.— Ведь вы будете жить в Петербурге, не так ли?— спросил он.

— По всей вероятности, да.

— Ну, так что же и спрашивать!? Поверьте, что мне гораздо легче будет в Болгарии,— подальше, по крайней мере.

Тамара поняла, что он не хочет возвращаться в Петербург, потому, что ему было бы слишком тяжело жить вблизи ее, в одном городе, и встречаться в одном обществе, видя ее женой другого. И действительно, мучиться вечным сомнением о непоказной стороне ее жизни, о ее счастии, быть может, о ее затаенных страданиях, и тем самым вечно и напрасно мучить и растравлять, как больную рану, и свое и ее сердце,— напрасно потому, что она ведь не пожалуется никому, не выдаст своих нравственных мучений, все затаит в себе, все будет сносить молча и до конца, из принципа, что «так надо», что это требует от нее и самолюбие,

и чувство добровольно взятого на себя долга. Все это было бы невыносимо, и все это будущее так живо и ясно представилось теперь Атуруину. Встречаться с нею далее, когда она уже будет женой другого, это значило бы только терзать ее душу, вечно искушать, вечно поджигать и дразнить ее чувство, не давая успокоиться ей и забыться, тогда как из искушения этого ничего быть не может, кроме разве катастрофы. Он знал Каржоля слишком мало,— более по наслышке,— но и того, что ему было известно об этом человеке и чего так упорно не желала знать Тамара, казалось ему достаточным, чтобы заставить его сомневаться в ее будущем супружеском счастье.

— Однако вот что, сестра,— обратился он к ней на прощание,— вы помните мои последние слова? Тогда... в ту ночь... на Светлое воскресенье?

— Помню, подтвердила ему девушка, с полным сознанием, о чем говорил он.

— Ну, так я еще раз повторяю: что бы ни случилось,— вот моя рука, рассчитывайте смело и не забывайте.

\*\*\*

Несколько дней спустя пароход «Русского общества» принял на борт несколько сот больных и слабосильных солдат, десятка два офицеров и четыре сестры милосердия, в числе которых была и Тамара. Все они уезжали в Россию «на поправку». Старушка-начальница и большая часть сестер проводили девушку до парохода и сердечно простились с ней. Ввиду ее отъезда все мелкие дразги и неудовольствия против нее даже и среди «партии» умолкли, тем более, когда всем уже было известно, что она не остается в общине и, стало быть, ни у кого ничего не перебивает и перебивать не будет. Начальнице удалось исходатайствовать для нее свидетельство на бесплатный проезд по железным дорогам и денежное пособие, достаточное для того, чтобы при готовом помещении в доме общины обернуться на первое время в своих нуждах в Петербурге.

Сестра Степанида была, конечно, огорчена более всех,— она давно уже так привыкла к Тамаре и так сердечно успела полюбить ее, оставаясь с нею неразлучно в течение всей компании.

Атурин тоже приехал, но здесь уже некогда и негде было ему поговорить и проститься с Тамарой, как хотелось бы. На народе и в присутствии сестер пришлось ограничиться только тем, что они сердечно пожали друг другу руки.

— Помните же мои последние слова, Тамара!— тихо проговорил он ей при этом.

Девушка молча, но выразительно поблагодарила признательным взглядом.

Вахтенный офицер, между тем, попросил всех провожающих и остающихся удалиться с палубы. Затем подали долгий свисток, убрали сходни — и дали «ход вперед» машине. Пароход, пыхтя и пеня винтом зеленую воду, тронулся с места — и множество белых платков и фуражек прощально замелькали

в воздухе; одними из них махали с бортов парохода, другими — с легких каюков и с пристани.

Часа полтора спустя пароход уже плыл мимо очаровательных берегов Босфора, с каждой минутой приближая своих путников к дорогой родине.

### **XXX. ВОСХОДЯЩЕЕ СВЕТИЛО БЛУДШТЕЙНА**

Румынская часть сухарной операции Абрама Иоселиовича Блудштейна, благодаря влиятельной поддержке «экселенца» Мерзеску, закончилось блистательно. «Экселенц» был удовлетворен сполна условленным в начале дела куражем в двести пятьдесят тысяч рублей, а потому облапошенные румынские крестьяне, несмотря на все свои жалобы и домогательства по судам, остались ни с чем, встречая повсюду один лишь ответ: «Вольно же вам было добровольно заключать такие условия!»— зато в кармане Абрама Иоселиовича миллион пятьсот рублей остались чистогадом, за покрытием всех расходов, и так как эта часть его казенного подряда была выполнена своевременно, и сухари, сколь ни плохи они были, все же не браковались приемщиком, военным врачом Зунделиовичем, то Абрам Иоселиович рассчитывал за свою аккуратность и патриотизм получить даже орден, и с этой целью уже «запустил жуков» куда следовало. Он вполне был уверен, что «жуки» сделают свое дело — и орден наверно украсит собою его благородную грудь, а может и шею. Ведь украшают же других благородных евреев — и скольких еще!— почему ж бы ему быть исключением?

Другая, менее значительная часть сухарной операции — что была исполнена в Украинской губернии, хотя закончилась для него не так блистательно, но и тут, несмотря на все старания следователей и прокуратуры «упечь» достойнейшего Абрама Иоселиовича вместе с официальным представителем его фиктивной «компании», графом Каржоль де Нотрек, ничего нельзя было поделаться, и все начеты на него остались без результатов, так как все, что лишь можно было ему вытянуть и получить с казны, он уже вытянул и получил заранее, да и главная масса сухарей украинской поставки была своевременно принята казенными приемщиками и — худо ли, хорошо ли, но давно уже съедена войсками.

Для окончания этих своих «маленьких неприятностей» со следственной комиссией, Абраму Иоселиовичу пришлось на время переехать в Одессу, куда вместе с ним прибыл, разумеется, и граф Каржоль, как ответственный представитель «компании». Там же пребывали теперь, по случаю подобного же следствия, и главные тузы пресловутого «Товарищества». Сюда были выписаны ими лучшие, «talанты» российской адвокатуры для совета и защиты «справедливых интересов» еврейских предпринимателей против «недобросовестной» казны, а менее известные адвокаты из жидов, полячков и армян, греков и русаков, сами налетели, как воронье на падаль, с предложением своих услуг «потерпевшим» и «несправедливо обвиняемым».

Местные адвокатские «силы» только щелкали на них зубами, видя, как это воронье пытается перебить у них добычу. Абрам Иоселиович, конечно, не преминул воспользоваться одной из «лучших сил» и, с помощью ее казуистики, успел кое-как выкрутиться сам и даже спасти Каржоля. В силу этого он уже считал себя прямым его благодетелем, хотя в начале следственного производства и думал себе, что я-де в стороне, пускай отдувается один Каржоль, на то он и официальный представитель, на то его и нанимали! Но следователи добрались до сути и, под прикрытием фиктивной фирмы Каржоля, открыли самого Блудштейна. Такая не деликатность с их стороны поневоле вынудила Абрама Иоселиовича обратиться к искусному адвокату, который, при внимательном рассмотрении всех данных дела, нашел, что можно выручить Блудштейна и не топя Каржоля, а лучше совершенно обелить в юридическом отношении «честь» их совместной компании,— и обелил, за приличный гонорар, конечно. Уголовная часть обвинения, касавшаяся умышленной фальсификации муки, подмешанной известью, глиной и т.п., благополучно отпала, а гражданский иск был Блудштейну не страшен. По точному смыслу заключенного с казной контракта, «компания» графа Каржоля ответствовала «во всяком случае» только суммой представленного ею в обеспечение исправности залога, который ограничивался всего лишь сотнею тысяч рублей. Ввиду же того, что, вся в совокупности сухарная операция Блудштейна, раскинутая в России и Румынии, принесла ему более двух с половиной миллионов чистого барыша, он и спорить не хотел из-за таких пустяков, как сто тысяч, и великодушно предоставил казне воспользоваться ими, если угодно, в виде неустойки. Но в конце концов, при помощи ловкого адвоката, даже и этим не пришлось ему поплатиться, и вся неустойка ограничилась лишь сорока с чем-то тысячами.

Два миллиона пятьдесят тысяч — это был его собственный, личный барыш по отдельному сухарному предприятию, которое он взял на свой собственный риск, вложив в него свой собственный капитал, хотя, впрочем, и воспользовался для него же частью чужих денег, порученных ему Украинским еврейским обществом как своему доверенному представителю в операциях главного «Товарищества». Но это «позаимствование» было уже его, так сказать, домашнее дело, маленький коммерческий секрет, в который, по его мнению, никто не имел права совать свой нос, раз операция удалась и он аккуратно выплачивает вкладчикам проценты. Впрочем, и по операциям главного «Товарищества», в качестве представителя крайнего общества, Абрам Иоселиович тоже лицом в грязь не ударил, и поддержал свою «честь» перед единоверцами-однообщественниками. За время всей войны он успел-таки доставить им дивидент из прибылей «Товарищества» в размере восьмидесяти на сто. Были, правда, разочарованные и недовольные, которые рассчитывали получить, по крайней мере, триста на сто; но, по справедливости, кто же мог сказать, что Абрам Иоселиович обманул общественное доверие? Во мнении большинства Украинского Израиля, и восемьдесят на сто были



признаны довольно удовлетворительным процентом, хотя, конечно, сто на сто было бы еще лучше. Все, однако же, помирились на восьмидесяти очень охотно, когда узнали, что в Одессе мелкие акционеры-вкладчики по погонной операции, рассчитывавшие на очень большую наживу, в результате не поживились ровно ничем, и даже свои собственные вклады потеряли, хотя «агенты» этой операции и вернулись домой богачами. Ввиду этого, действия Абрама Иоселиовича были признаны не только добросовестными, но заслуживающими даже общественной благодарности, которая и была поднесена ему Украинским еврейским обществом в виде почетного адреса.

Таким образом, ловкий Абрам Иоселиович и капиталы приобрел, и невинность сохранил. Всем его заслугам пред Отечеством оставалось только увенчаться орденом. Но и за этим дело не стало. «Жуки», запущенные куда следовало, возымели свое действие — и шея благородного Абрама Иоселиовича вскоре украсилась блестящим Станиславом, данным ему «за пожертвование» хотя и по другому ведомству, но в сущности, для него это было решительно все равно,— был бы Станислав на шее! Нужды нет, что орден был «з птицом», как знак для нехристиан установленный,— «птицу» в кружке не всякий различит сразу, а в общем рисунке все же видно, что Станислав, и все должны будут теперь титуловать Абрама Иоселиовича «кавалером» и «его высокородием». Но мало того: польстясь на знаки отличий, он сумел доставить себе и орден Румынской «звезды», исходатайствованный для него, за особый гонорар, «экселенцем» Мерзеску, в воздаяние за споспешествование подъему экономического благосостояния румынских земледельцев. Чтобы быть вполне декорированным, оставалось только получить орден бразильской «розы» и персидского «льва и солнца», но он не сомневался, что и это вскоре последует, стоит лишь захотеть. Словом, Абрам Иоселиович воссиял и возвеличился, и уже начинал подумывать о том, что ему, как большому кораблю, надлежит и большое плавание — не в мелких водах какого-нибудь Украинска, а в море финансовых и иных важных тузов Петербурга. Ведь если плавают там такие киты, как «генералы» Пошляков и Паршавский, бывшие в начале своей карьеры не более как жалкими пескарями, то почему бы не плавать и Абраму Блудштейну, особенно имея уже за собою фонд свыше, чем в два с половиной миллиона? И почему ж бы ему тоже не быть генералом? Чем он хуже каких-нибудь Паршавских и Пошляковых?— Пхэ!... были бы деньги, а генералом будет!

И Абрам Иоселиович решил себе перенести главный штаб своей деятельности в Петербург, не разрывая, однако, связей и с Украинском. Он был убежден, что в новом своем положении, в Петербурге, он может быть даже полезнее для дел Украинского Израиля, чем там, на месте. Там он имел дело лишь с губернатором да с крупными губернскими чиновниками, которые не всегда-то еще и допускали его до себя,— здесь же, может быть будет иметь дела с сенаторами, с членами разных высоких советов, с министрами... Чем черт не шутит! Были бы деньги, в кармане, была бы на плечах голова, а остальное

всё придет в свой черед и само собою, все: и роскошный палаццо на Английской набережной, и почет, и генеральский чин, и титул австрийского барона, и звезды, и ленты... И будет у него своя приемная, полная в назначенные часы разных дельцов, тузов и звездоносцев, терпеливо ожидающих его аудиенции; и будет он задавать блестящие банкеты и рауты с разными «артистичными жзнаменитоштями», аристократами, дипломатами, министрами, сановниками; и будет у него свои собственный «Петербургско-Украинский» банк и своя большая газета, покорному редактору которой он будет «внушать своих вжглядов и мисшлюв насчет финанцы, палытика и еврейшкий вопрос», и при все том будут еще у него и дела, дела — миллионные дела и гешефты!

У Абрама Иоселиовича порою просто дух захватывало от мечтательного предвкушения всех сладостей этого будущего своего блеска и величия. Он не сомневался, что выгодно купит себе по дешевой цене и славу, и популярность, приобретет и вес, и влияние, силу и могущество, что министры и сановники будут интимно обращаться к нему за советами и с маленькими просьбами по их личным биржевым и акционерным делам, или за протекцией в пользу каких-нибудь своих бедных родственников, вроде погоревших ротмистров или вылетевших в трубу губернаторов, о предоставлении им приличного местечка по его обширной администрации. А он за это, в свой черед, будет влиять через таких сановников в пользу своих собственных дел и еврейского вопроса. Да, его ожидает высокопочетная, почтенная старость, и когда он умрет, наконец, окруженный, как патриарх, своими многочисленными благодетельствованными родственниками, то великую тяжесть этой «общественной утраты» живо почувствует весь российский, а может и германский Израиль, а за траурной колесницей его, отягченной множеством венков, повалится, как бурный поток, вместе с генералами, сановниками и депутациями, многотысячная, бесконечная толпа петербургского еврейства, имеющего и неимеющего права жительства в столице, а еврейские газеты, в обширных хвалебных некрологах его на первой странице не напишут о нем просто, что он «скончался», как всякий обыкновенный смертный, но изобразят в горестно высоком стиле, что наш незабвенный Абрам Иоселиович, наш неутомимый филантроп и народный печальник «спустил дух свой». Но это будет не скоро, и хотя подобная «кончина» представляется даже в увлекательных красках, но лучше думать не о ней, а о предстоящих в недалеком будущем и богатых гешефтах. Это гораздо практичнее. И Абрам Иоселиович думал.

### **XXXI. НЕПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ**

Благополучно покончив дела с казной, Блудштейн пригласил к себе Каржоля и с приятной улыбкой заявил ему, что «Товарищество» не нуждается больше в его услугах и поручило ему, Блудштейну, выразить графу благодарность за его службу, что он и исполняет-де с особенным удовольствием.

— А как же расчет-то?— заикнулся было граф, огорошенный этим внезапным заявлением.

— Расчет? Какой расчет?— с видом недоумения отозвался на это Блудштейн.— Расчеты все кончены.

— Да, то есть вы хотите сказать, кончены с казной,— поправил его Каржоль.— Но я не про казну говорю, а про себя, про расчет компании со мной.

— З вами?— удивился Абрам Иоселионович.— Но каково же з вами расчет?! Вы же получали свое жалованье и, кроме того, вам выдавалось и на прогоны, и на суточные, и на представительности, когда нужно было.— вы же все это получали! Каково же еще расчет? Бог з вами! што ви!?

— Как какого?— возразил Каржоль, поняв, что его хотят спустить ни с чем, и потому едва сдерживая в себе негодование.— По условию, я должен быть участником в пяти процентах вашей чистой прибыли.

— Должны,— согласился Блудштейн.— Это так, но вы и участвовали.

— Хорошо, так позвольте мне эту пятую долю!

— А долг ваш нашему бедному Бендавид вы забывали?— прищурясь на один глаз, спокойно и размеренно спросил Абрам Иоселиович.

— Нет, не забыл, положим, но... ведь не вся же моя доля, надеюсь, пошла на покрытие этого долга?

— Вся!— категорически отрезал Блудштейн, с несмущаемой наглостью глядя ему прямо в глаза.

— Как так! Ведь вам одному очистилось, по моим расчетам, более двух миллионов рублей?

— По вашим — может быть,— усмехнулся невозмутимый еврей — а по моим нет.

— Однако позвольте! Этого не может быть!— загорячился Каржоль.— Я вам с карандашом в руках докажу! Расчет тут самый ясный, арифметический! Как же так?

— Так,— хладнокровно подтвердил тот, углубясь в свое кресло и тихо пощелкивая пальцами левой руки по краю письменного стола. Так. Мне мой карман лучше знать, как вам, и когда я говорю так, то так. Абрам Осипович Блудштейн до ветру слова не кидает,— заметьте!— и никому не позволит считать в своем бумажнике.

— Я для вас не посторонний человек,— заметил на это граф тоном задетого достоинства.— Я, кажется, ваш компаньон.

— Пхе!... компаньон!— пренебрежительно усмехнулся еврей.— Пазжволте взнать, ви много денег в компанию вложили?

— Я вложил мое имя,— заметил граф с оттенком благородной гордости, надеюсь, что это что-нибудь да значит!

— Н-но! За ваше имя вам и платили... Вы были такой же наймит, как и всякий другой... Кому за труды, а вам за имя.

— Я основываю мое право не на найме, а на нашем договоре,— веско подтвердил Каржоль.— По договору, я ваш дольщик.

— А по документам, звините, вы должник гаспадина Бендавид,

который полномочил меня получить з вас долг, и я это сделал. Н-ну?

— Хорошо,— согласился несколько опешенный граф,— но в таком случае, где же мои документы? Если вы были посредником между мной и Бендавидом, так возвратите мне их!

— О, неприменно!— с видом благородного достоинства, подняв к лицу обе ладони, заявил Блудштейн, и затем, отперев ключом свою конторку, вынул из нее деловой портфель, порылся в нем с минуту и достал две бумаги.

— Вы любопытны были видеть ваш расчет,— вот ваш расчет, извольте!— подал он одну из этих бумаг Каржолю.— Тут прописано все, чево вы получили, и все чево вам следует,— можете проверить в конторе по книгам, по вашим распискам, как хотите. А вот и ваше условие с «Товариществом»,— продолжал он, подавая другую бумагу,— потрудитесь расписаться на нем, что вы вдовлетворены сполна, а затем и документов зайчас получаете.

— Но где же эти документы,— спросил граф, внутренне колеблясь.— Я бы хотел видеть их.

— И увидите. Докумэнты здесь,— похлопал еврей по портфелю,— будьте сшпакойный!

— Так покажите наперед,— ведь вам все равно, а я желал бы убедиться, все ли они тут, прежде чем подписывать.

— Што это?! И где мы? И с кем мы?— с видом обиженного и негодующею достоинства вступился за себя Блудштейн.— И когда же я после всего не заслужил еще вашего доверия!? Это мне удивительно даже! Мы з вами, кажется, по-радочнии люди, и когда я вам говорю, что докумэнты здесь, и что вы их сейчас имеете получить, то я правду говорю! И прошу мне верить и не оскорблять меня таким манером!

Наткнувшись на такой благородно-самолюбивый отпор со стороны Абрама Иоселиовича, Каржоль сейчас же сообразил себе, что лучше, пожалуй, не доводить пока дело до ссоры и польстить жиду своим доверием,— авось еще он пригодится! Поэтому граф поспешил успокоить его, что вы-де совсем не в таком смысле поняли мои слова,— и зачем же, мол, понимать таким образом, когда у него и в помышлении не было оскорблять такого почтенного человека, или не доверять ему, после стольких лет знакомства и т.д.

Тот успокоился, и Каржоль принялся после этого внимательно проверять поданный ему расчет, где красивым конторским почерком были прописаны все произведенные ему авансы, выдачи, жалованье и т.п. Итог составлял довольно изрядную сумму, и граф не мог не согласиться, что все прописанное было верно, до единой копейки.— Неужели же, в самом деле, он за всю кампанию проухал такие деньги?! Тридцать девять тысяч с лишком! Да ведь это целый куш! Одного жалованья за это время получено тринадцать тысяч... И где все это? Куда истрачено? Как, когда?— И сам теперь не понимает! Деньги процедились между рук, как вода сквозь сито, точно бы их и не было... А и в те времена, когда они были, графу никогда не казалось, что их у него достаточно; он всегда более или менее нуждался и чувствовал постоянную потребность «призанять»,

«перехватить», так что теперь, вместо «куша», у него остаются только там и сям новые «должишки», сделанные то у того, то у другого «на перехватку». Из представленного ему расчета он мог убедиться, однако, что жида, когда им было нужно, не жалели ему денег «на представительность», и будь он порасчетливее, поэкономнее, то добрая половина, если не две трети, полученной им суммы, легко могла бы остаться у него в кармане, и «представительность» от этого нисколько бы не пострадала бы. Кто же виноват, если вышло иначе? На кого пенять?

Но это еще не все. Просматривая расчетный лист далее, он добрался и до итога причитавшихся ему пятипроцентных прибылей, в количестве 101.000 рублей. Из этой суммы 91.600 рублей были отчислены в уплату долга Бендаvidу, с прибавкой к ним 9.160 рублей процентов за два года, по пяти в год,— итого 100.760 рублей. В остатке значилось 240 рублей. Но последним авансом, неделю тому назад, было выдано ему 1.000 рублей, и таким образом выходило, что он еще в долгу у «Товарищества» на 760 рублей. Это поразило графа непритворным горем, тем более, что явилось для него совершенной неожиданностью. Беспечно цедя между рук притекавшие к нему деньги, он все время жил мечтательной уверенностью, что денег у него впереди еще много, так как пятипроцентная его доля должна принести ему тысяч двести, по крайней мере,— и если около ста из них пойдут на уплату Бендаvidу, то все же у него останется чистых не менее ста тысяч. И вдруг, вместо того, 760 рублей долгу! Какая злая насмешка! Из-за чего человек трудился, давал напрокат свое имя, принимал на себя помои газетной печати, мытарился и отписывался в следственной комиссии, рисковал угодить в «места не столь отдаленные», бегал, как гончая собака, хлопотал, надрывался и унижался более года ради этих людей,— из-за чего?! Чтобы в конце концов им же остаться должным! Граф молча, с удрученным видом положил расчетный лист на стол перед собой и задумался. При чем же он теперь остается? Что ждет его впереди? На какие средства существовать далее, и где они, эти средства?

— Проверили?— обратился к нему Блудштейн.— Как видите, все верно, аж до копейка.

— Но ведь долг Бендаvidу составляет всего 91.600,— возразил Каржоль, — Да и то еще, какой это долг! Из него пятьдесят тысяч приходится на вексель, под который мне было выдано вами на выезд из Украинска всего только пять тысяч.

— Да, но ведь вэксюль был подписан вами?

— Так что ж из этого?

— Как что? Вы же не сможете оспаривать свою подпись,— значит, документ законный. О чем разговаривать?

— Юридически, может быть, и законный,— согласился граф,— но он, во всяком случае, фиктивный, дутый, как и многие другие.

— Другие?— с неудовольствием нахмурился Блудштейн.— Какие это другие?

— Там есть, например, один вексель на пять тысяч,

— продолжал граф,— за который я получил от вас только половину, и вы сами честным словом обещали мне когда-то не требовать с меня больше.

— Ян не требовал!— нервно поднял еврей к лицу обе ладони, как бы защищаясь и оправдываясь,— и разве ж вы можете сказать, что я требовал?— Я не требовал, пока вексоль был мой. Но теперь он не мой и гаспадина Бендавид. А гаспадин Бендавид не хочет знать никаких частных сделок, он желает уплаты по наличная цифра. Это же его дело, я тут ни причем... И я думаю так, что вы еще должны быть рады и счастливы, что кончаете так легко за своими долгами. Благодарите Бог и меня, что я вам дал такую возможность!

Каржоль снова удрученно задумался.

— Спустите мне хоть проценты!— взмолился он наконец,— Ведь я, даже и по вашему, должен всего девяносто одну тысячу, а вы начли тут слишком сто!— Девять тысяч для меня не шутка, в моем положении!

Блудштейн только головой-покачал, с усмешкой печального сожаления.

— Ай-яй, какой же вы, звините меня, неблагодарный! Когда же вы видели, чтоб капитал не давал никакого процента? Что ж это будет за капитал?! Пфэ! Бендавид и то был такой великодушный, что взял с вас только по пять процентов на год,— то само, что казна дает. Это же с его стороны, согласитесь, савсем безкорыстно. Девять тысяч за два года,— помилуйте, да это антык! Найдите, пажалуста, теперь за такой процент, кто вам даст? Нет, оставьте! Мы об этом с вами и разговаривать не станем,— заключил он самым решительным и непреклонным образом.

Каржоль опять замолк и потупился... На душе у него было очень скверно.

— Там есть еще маленькаво должок за вами,— продолжал между тем Блудштейн, указывая на расчетный лист.— Пустяков каких-то, семьсот с чем-то рублей, кажется... Когда прикажете получить?

Граф только плечами пожал, выражая этим окончательную невозможность рассчитаться в настоящее время и даже полную неизвестность насчет уплаты в будущем.

— Н-ну, я, пожалуй, попрошу «Товарищество», чтобы вам отсрочили,— предложил Абрам Иоселиович.— Может они будут согласны взять с вас вексель.

И говоря это несколько небрежным тоном, он был уверен, что поразил Каржоля таким необычайным великодушием и тот рассыплется перед ним в тысяче самых признательных и прочувствованных благодарностей. Но, к удивлению его, Каржоль не поразился и не рассыпался.

— Однако, это выходит,— начал он после грустного и тяжелого раздумья,— выходит, что за всю мою службу, за все мои труды и старания, я вышвырнут вами на улицу, как выжатый лимон, без средств, даже без гроша в кармане! Другие там, разные Сахары, Миньковские вернулись богачами, а я — круглый нищий, хоть руку протягивай! И это за то, что служил вам добросовестно, честно, не обворовывал, как другие, «Товарищество»... Спасибо! Нечего сказать, наградили!

— А кто ж вам виноватый?— с непритворным удивлением расставил ладони Блудштейн.— Кабы мы не платили вам, а мы же платили хорошо!— Ну, вы и копили бы себе! Сахар! Вы говорите, Сахар.— Сахар, может, меньше вашего получал, но Сахар в карты не играет. Сахар з артистками не знаком, шимпанскаво не пьет... Сахар начал с маленького гешефт, заработал на нем, стал делать гешефт побольше; сделал побольше,— принимайся за большой гешефт, а там и пошло, и пошло,— зато Сахар, звините, обстоятельный человек,— ну, зато и богач теперь. Были бы вы такой, как Сахар, были бы и вы богач. Когда ж тут кто, кроме вас самих, виноватый?!

— Но ведь мне, поймите, завтра есть нечего будет! Я даже выехать отсюда не могу!— ударяя себя в грудь, патетически доказывал Каржоль.— Выгонят меня из гостиницы, я на тротуаре ночевать должен.

Блудштейн только плечами пожал, сопровождая это движение закрытием век,— дескать, что же делать с этим! Мы не виноваты!

Граф нервно сорвался с места и в волнении заходил по комнате. Положение его представлялось ему мрачным, безнадежным, ужасным... и тем более ужасным, что не далее как час назад он еще надеялся на свою пятипроцентную долю, как на каменную гору, никак не думал получить так скоро отказ от службы в «Товариществе» и рассчитывал почему-то на это «Товарищество», как на неиссякаемый источник... Он полагал, что за покрытием долга Бендаvidу ему с избытком хватит остатков этой пятипроцентной дата, чтобы начать и кончить в самом непродолжительном времени свое бракоразводное дело, прожить, как следует приличному человеку, до возвращения Тамары в Россию, приготовить и обдуманно устроить для нее «изящное гнездышко»— «un nid commode, pareil a'un corbeille ravissante»,— жениться на ней, нанять блестящего адвоката и начать против Бендаvidа процесс за ее миллионы. И вдруг все это лопается, как мыльный пузырь, и он опять остается на жизненном распутьи ни с чем и ни при чем, как год тому назад, после ликвидации анилинового завода, и даже хуже, чем тогда; в то время у него, по крайней мере, было хоть триста рублей, которых не потребовал с него шалый купец Гусятников, а теперь и трехсот копеек нет. Да что ж это, наконец, судьба,— издевается над ним она, что ли!? Неужели же надо унижаться перед этим жидом, выпрашивать, вымаливать у него, как милости, какую-нибудь подачку, и видеть, как он будет при этом над тобою ломаться?

Но как ни раздумывал Каржоль, а печальная действительность беспощадно указывала ему, что больше ничего не остается, как только смириться и покорно обратиться к великодушию Абрама Иоселиовича. Он знал, что разбогатевшие и проползающие в знатность жидаы любят его.

Пересилив себя, граф стал просить его войти, по чувству гуманности, в его безвыходное положение и исходатайствовать ему у «Товарищества» за всю его службу хоть какую-нибудь награду — ну, хоть три тысячи рублей! Ведь для «Товарищества»,

в сущности, это ничего не стоит, ведь это пустяк, какие-нибудь три тысячи, а для него они теперь огромные деньги! Абрам Иоселиович так добр, так благороден и всегда был к нему так благосклонен и столько раз уже выручал его из беды, что наверно и теперь не откажет оказать ему это истинное благодеяние!

Еврейское самолюбие Блудштейна было польщено в высокой степени. Все эти величания его «благородным», «гуманным», «великодушным», «благодетелем» ласкали его слух и радовали сердце. Видеть перед собой титулованного «гойя», который перед посторонними людьми держит себя с таким барским достоинством, видеть теперь его чем-то вроде червяка, во прахе ползущего и униженно вымаливающего, как милости, его протекции, заставить этого «гхарисштократа» кланяться себе и ухаживать за своею «осьшобой»,— о! это было высокое наслаждение, истинный «симхас ганешеф»— праздник души для Абрама Иоселиовича, который усматривал в этом факте лишь легкое начало того, что со временем ожидает его в Петербурге, где и не такие еще графы Каржолы будут лебезить перед ним и кланяться, и заискивать его милостивого внимания и покровительства.

— Н-ну, харашо! Это, я думаю, можно будет устроить... я поговорю,— с благосклонной снисходительностью обнадежил он графа.— Заходите ко мне завтра, хоть в это время, мы и покончим.

Обрадованный Каржоль схватил в обе руки протянутую ему потную, волосатую длань Блудштейна и выразительно, с большим чувством потряс ее.

— Вы — моя надежда, единственная надежда!— чуть не захлебываясь от полноты чувства, патетически проговорил ему граф.

Тот усмехнулся с полупрезрительной, полудовольной миной и махнул рукой.

— Оставьте, пажалуста, эти басни! Што я для вас таково?— заговорил он, как бы в шутку, тоном напускного смирения, сквозь который, однако, так и прорывалось наружу торжествующее ликование его души.— Вы же такой важный барин, а я для вас — пархатый жид, Абрамка! Хе-хе-хе... Не так ли?

И он с покровительственной фамильярностью слегка похлопал по плечу Каржолы.

— Абрам Иоселиович! Ну, как вам не стыдно!— солидно запротестовал последний против его слов, точно бы и взаправду возмущаясь в душе таким безобразным предположением.— Что это вы говорите, право! Разве ж я вам давал когда повод думать обо мне подобное!? Я, который вас так уважаю...

— Ну, ну, харашо!— самодовольно бормотал во след ему Блудштейн, провожая его из комнаты.



## XXXII. В ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ

На следующий день в назначенный час Каржоль деликатно постучался в дверь номера, занимаемого в гостинице Блудштейном.

— Антре!— возгласил ему изнутри Абрам Иоселиович, научившийся этому «образованному слову» еще в Букареште и полагавший, что отныне, при его капиталах и высоком положении, ему надлежит употреблять как можно больше таких «хороших образованных слов».

— Прошу,— указал он графу на кресло, стоявшее против письменного стола, за которым сам восседал в эту минуту, не потрудившись приподняться навстречу гостю и ограничась лишь протягиванием ему левой руки для пожатия.

Граф скромно присел на указанное место и, молча улыбаясь какой-то неопределенной улыбкой, вопросительно смотрел на хозяина, с тем нерешительно ласковым и ожидающим выражением в пытливых глазах, какое бывает у умных псов, когда они приближаются к занятому едой человеку, не будучи уверены, обласкают ли их и бросят ли косточку, или дадут пинка.

— Н-ну, паздравляю! Випросил!— торжествующе объявил ему Блудштейн, с покровительственным видом.— Трудно было, а випросил, удалось, слава Богу! И я очень рад, я хочу, чтоб вы видели, как «Товарищество» поступило з вами благородным манером!

Обрадованный Каржоль вздохнул свободней, отвесил признательный поклон и насторожил уши.

— «Товарищество»,— продолжал еврей тем же манифестирующим тоном, точно бы объявляя невесть какую высочайшую милость,— прощает ваш долг в семьсот шестьдесят рублей и, кроме того, жертвует вам одна тысяча рублей! Довольны?

Физиономия графа, вопреки ожиданиям Блудштейна, не только не расширилась в восторженно-счастливую улыбку, а напротив, разочарованно вытянулась, с видом замешательства и недоумения.— Как же так. Ведь он рассчитывал на три тысячи! Ему менее трех не обойтись! Конечно, он в высшей степени признателен достопочтеннейшему Абраму Осиповичу за его милостивое участие к нему и ходатайство, и, конечно, тысяча рублей все же лучше, чем ничего, но тем не менее, ему нужны именно три тысячи,— нужны до зарезу,— иначе, он погибший человек! Бога ради, нельзя ли исходатайствовать три!? Ведь как он и служил, как старался, как работал в интересах «Товарищества»: И неужели же «Товарищество», за всю его службу поскупится на какие-нибудь три тысячи?!

— Н-ну, так и быть! Я вам прибавляю еще одна тысяча от себя! Не пищите!— согласился, наконец, махнув рукой, Блудштейн. Но в снисходительно милостивом и, в то же время, пренебрежительном тоне, каким были произнесены эти слова, сказалось нечто жестоко оскорбительное для самолюбия Каржоля.— О! Не нуждайся он в такой степени в деньгах, он показал бы этому хаму, как говорить с собой подобным тоном!

Но — нужда его проклятая... Что поделаешь! Надо глотать обиду и улыбаться, кланяться и благодарить!— И Каржоль улыбался.

— Вот ассигновка от «Товарищества»,— продолжал, между тем, Блудштейн, достав из портфеля совсем уже готовый, подписанный бланк.— А вот зайчас и от меня чек напишу вам, но болше, пожалуста, не приставайте! Болше ни одна копейка! Вы и то нам сто пятьдесят тысячов стоите,— довольно с вас! Будет!

Каржоль только нервно сжимал ручку своего кресла, чтобы сдержать и перемочь внутри себя подымавшееся негодование и — нечего делать!— выслушивать все эти бесцеремонные выходки «зазнавшегося жида», скрепя сердце, да еще и с приятной улыбкой на лице,— дескать, ничего, дружеская шутка! Блудштейн, между тем, написал чек и, вырвав из тетрадки, присоединил его к «товарищеской ассигновке». Поднявшийся с места Каржоль уже протянул было к ним руку, как вдруг Абрам Иоселиович, заметивший это движение, поспешно прикрыл их на столе своей ладонью.

— Пазвольте!— внушительно остановил он графа.— На перод ви должны расписаться на вашем условии, что получили сполна все, что вам причиталось и, сверх того, двух тысяч в награда от «Товарищество», и никаких болше претензий до него не имееете.

— А как насчет моих... документов?— не совсем-то уверенно заикнулся граф.

— А вот сначала распишитесь, а там и получите,— не задержу, не бойтесь.

Ввиду соблазна, представляемого чеком и ассигновкой, по которым сейчас же можно получить нужные до зарезу деньги, Каржолю не оставалось ничего более, как беспрекословно исполнить волю Блудштейна, потому что, заспорь он еще теперь,— жид, пожалуй, рассердится, закапризничает и, чего доброго, возьмет назад свой чек, и тогда уже ничего с ним не поделаешь. Надо, стало быть, пользоваться редкой минутой его «великодушного» настроения,— и граф немедленно же написал на своем контракте все, что от него требовалось, и расписался под этим.

— Н-ну, вот теперь дело в порядке!— весело заключил Блудштейн, и оседлав свой нос плохо державшимся на нем, по непривычке, золотым пенсне, взял контракт из рук Каржоля, внимательно перечитал все написанное сейчас последним, не торопясь, аккуратно сложил бумагу и понес ее к своей конторке, из которой по-вчерашнему достал портфель, бережно запрятал в него документ и затем, порывшись немного, достал оттуда какую-то сложенную бумагу, а портфель запер опять в конторку и ключ положил к себе в карман.

— Н-ну, вот вам чек, вот ассигновка,— заговорил он после этого самодовольно любезным тоном, передавая графу из рук в руки одно вслед за другим.— А вот и документ ваш на квит из Бендавид.

—Это что ж такое?— выпучив глаза на лист бумаги, в полном недоумении спросил Каржоль, как-то не решаясь даже взять его из рук Блудштейна.

— Это? Документ,— говорю вам.— Прочитайте.

Граф недоверчиво развернул бумагу и, не вполне понимая, в чем тут дело, наскоро пробежал ее глазами. То было засвидетельствованное нотариальным порядком заявление от имени Соломона Бендавида, в коем этот последний собственноручной своей подписью засвидетельствовал, что весь долг ему гофа Валентина Николаевича Каржоль де Нотрек на сумму 100.760 рублей получен им сполна и что засим он, Бендавид, никаких претензий к нему не имеет.

— Я не понимаю, что ж это такое?— совершенно ошарашенный, проговорил граф, вскидываясь глазами то на Блудштейна, то на бумагу.

— Чево же тут непонятново?— спокойно пожал тот плечами.— Заявление, что долг ваш уплачен.— кажется, ясно!

— Да, но документы? Где же, собственно, документы, векселя и все прочее? Пожалуйте мне документы!

— А документов же нет,— развел руками Абрам Иоселиович.

— Как нет?— воскликнул Каржоль, в высшей степени удивленный и пораженный этим нагло спокойным признанием.

— Так, нет и только.

— Да что вы меня морочите! Где ж они?

— Ну, вот вам заместо докумэнты!— ткнул он на бендавидовское заявление.— Вот эта самая бумага! Вам не все равно?

— Позвольте, как все равно?!— Далеко не все равно! Я выдавал известные документы и желаю получить их обратно,— именно, те самые, которые я выдавал. Я не хочу, чтобы они оставались Бог-весть где и в чьих руках. Позвольте мне именно эти самые документы.

— А когда ж я вам говорю, что их нету. И чего ж вы еще хотите?! Откудова я их возьму?

— У кого ж они?— продолжал настойчиво допытывать граф.— У Бендавида?

— И у Бендавид нету.

— Так где ж, наконец?

— Ай, Бог мой, и чего ви так до меня чипляетесь!— с легким оттенком досады нетерпеливо дернулся в сторону Блудштейн.— Где, где! Ну, как где? Когда же вы не знаете? Сами же говорили мне — помнило?— что исчезли во время погрому, что их кацапы на клочки порвали... Еще спрашивали меня, правда это? Когда ж не помните?

— Да, но вы тогда божились мне, что они целешеньки, и я вам поверил, как порядочному человеку, уверениям вашим, слову вашему честному...

— А я же и сам тогда думал, что целешеньки,— оправдывался Блудштейн, принимая на себя вид наивной невинности,— я и сам так думал, божусь вам, а потом оказалось, что нету... Я даже очень был удивленный с того... Я сам только недавно узнал,— чеснаво слова!

— Так за что же я, черт возьми, целый год тянул вашу лямку, гнул свою спину, унижался перед вами!— вспылал граф.

— За что вы сок из меня выжимали, всю душу мою выматывали? За что?

— Пазвольте! Не горячитесь, прошу вас!— дружески хладнокровно, но с достоинством остановил его Блудштейн.— Выслушайте меня. Ведь вы же согласный в том, что были должны гаспадину Бендавид? Так?

— Так что ж из того?!— нетерпеливо возразил граф, не понимая еще, к чему тот клонит свои доводы, но уже заранее ожидая какой-нибудь чисто жидовской уловки.

— Пазвольте! Значит так?— Н-ну, а когда так, то и документов никаких не надо, зачем тут документы, помилуйте?! Кабы мы имели дело с каким прахвост, из ширлатан, з мазурик,— ну, то так. А вы же порабочный гаспадин, благородный человек,— одного вашего чеснаво графскаво слова в тысяча раз больше и верней, как всяких документов! Я так думаю, по крайней мере. Невжели же я ошибалсе? И в ком? Подумаитю. В графе Каржоль! И можно этому быть?! Пфсс! Што мои уши слышат?! Ай-яй-яй! Кто это говорит? Сам себе не веру!

И «дядюшка» Блудштейн, закрыв себе уши ладонями и качая головой, дружески стыдил самого же Каржоля. Он рассчитывал задеть в нем этим самую чувствительную струнку насчет его благородства и личного достоинства, думая, что после этого граф наверное плюнет и не станет больше разговаривать о документах.

Того это наконец взорвало не на шутку.

— Да!— подступил он с искаженным от негодования лицом почти в упор к еврею, грозя ему обозленными глазами.— Да, я тоже не думал, что буду иметь дело с мазуриками и прохвостами, однако же ошибся!

— Што ви хотите этим сказать?— отскочил от него Блудштейн, как резиновый мячик, но все еще не теряя своего «гонору».

— То, что сказал, не более и не менее!— подтвердил граф, грозно продолжая наступать на него размеренно медленными шагами.— А! Так вот что! Теперь я понимаю,— говорил он, сжимая свои кулаки,— понимаю, почему вам надо было вынудить мою расписку на контракте прежде, чем отдать мне эту бумагу. За такие подлые проделки бьют!

— Нно! Шыпа!— подняв обе ладони, моментально отскочил еврей к дверям своего номера и схватился за пуговку электрического звонка.

Каржоль, при этом последнем движении опомнясь, остановился посередине комнаты.

— Ежели ви хотите сделать скандал,— пригрозил ему, в свой черед, Блудштейн,— я пошлю за палыция, за кельнер, за люди и составлю претакол! Это одно, а другово — дам знать в банк и до контора, чтоб вам не выдавали деньги — ни по чеку, ни по ассигновка!

Последняя угроза окончательно отрезвила графа. Руки его опустились, кулаки разжались и, отойдя неверными шагами к своему креслу, он бессильно и молча погрузился в него, опустив удрученную голову на руку. Он только теперь понял, насколько был одурачен жидами, которые воспользовались им как выгодной вещью

для своей эксплуатации, и еще чванятся над ним своим же великодушием! Хорошо великодушие! Но что же остается ему в своем положении?! Не распишись он так легкомысленно десять минут назад на своем контракте,— о! тогда бы совсем другое дело! Тогда бы он заставил этих жидов отдать себе всю свою пятипроцентную долю, судом заставил бы! Проклятая доверчивость! И как было не догадаться, что Блудштейн не даром отвиливает с документами, не хочет показать их! О, будь он уверен, что их действительно не существует — не жида, а он теперь был бы господином своего положения! Но ведь как же ловко провели его! Мастерски провели! И теперь что же остается? Сказать самому себе дурака и благодарить судьбу, что удалось вырвать хоть две тысячи да еще этот документ в придачу. И опять, выходит, надо смириться, а то еще, чего доброго, эта жидовская морда, озлившись и в самом деле, распорядится, чтобы не выдавали деньги.

И подняв голову с руки, граф искоса бросил несмелый взгляд на Блудштейна, который, нервно похрустывая пальцами, шагал из угла в угол по диагонали своей комнаты, с благородным видом «всшкорбленного» достоинства.

— Простите меня, добрейший Абрам Осипович,— тихо произнес он с глубоким покаянным вздохом, поднимаясь с места.— Я невольно оскорбил вас... Виноват! Я... я... сумасшедший... безумный... я сам себя не помнил... Что делать! Виноват! Мне совестно... и стыдно...

— Ага! Додумали?— с полупрезрительной усмешкой и не глядя на него, отозвался Блудштейн.

— Простите,— повторил еще тише и глуше Каржоль, покорно опуская повинную голову. И вдруг, мускулы его лица нервно задергались, нижняя губа затрепетала, и он поспешил достать свой носовой платок, чтобы скрыть в нем горькие слезы, невольно хлынувшие из глаз. То были слезы обиды и разочарования — плач над иллюзией, слезы безмолвной досады и на судьбу, и на этих людей, и на самого себя, слезы оскорбленного самолюбия, которое должно переживать в эту минуту такое ужасное унижение... и перед кем же, вдобавок!

— Н-ну, Бог з вами! Я же не злой человек!— махнул рукой Блудштейн.— Берить документа, берить деньгов, и ступайте с Боггом! Так лучше будет, повертю!

И Каржоль с опущенной головой тихо вышел из комнаты, не удостоенный пожатия руки Блудштейном.

\*\*\*

По уходе его, у Абрама Иоселиовича точно гора с плеч свалилась. Он никак не думал разделаться так дешево с графом. Он ожидал с его стороны более бурных сцен и настойчивых домогательств, может быть, даже судебного процесса, и вдруг, вместо всего этого один маленький «пшик»! Стоило только показать некоторую выдержку, и дело кончилось на каких-то пустых двух тысячах! Теперь граф Каржоль достаточно уже изучен Блудштейном. Женатый на Ольге и вечно нуждающийся в копейке,

полуголодный пролетарий,— он, по мнению Блудштейна, не мог быть более опасен для Бендавида и Украинского кагала своими притязаниями на Тамару. Прошло уже с тех пор, как случилась эта история, два года; за это время и у графа, и у девчонки пыл поохладел, вероятно. По крайней мере, что касается графа, то у него, казалось Блудштейну, судя по его бухарестским и зимницким похождениям, даже наверное нет никакого пыла! А что до девчонки, то Бог знает, где она находится, может быть, тоже успела уже позабыть Каржоля. Словом, думалось ему, это дело можно считать поконченным. Предусмотрительный «мондры Абрам» успел вовремя отвратить грозившую опасность, ловко направив Каржоля год тому назад в новое русло, воспользовался им для еврейских же выгод и интересов, выжал из него все, что можно, получил с него для Бендавида деньги, которые иначе, при отсутствии документов, никогда бы не были получены, будь Каржоль даже состоятелен,— словом, Абрам исполнил все, что подобает доброму сыну Израиля, и граф может идти себе теперь на все четыре стороны. И как хорошо, как предусмотрительно сделал Абрам, списавшись своевременно с Бендавидом, чтобы тот выслал ему поскорее это формальное заявление! Как оно пришло кстати и как пригодилось! Получить таким образом безнадежные сто тысяч, получить их из ничего — вот истинная «игра ума», достойная «мондрого Абрама»!

Но вот вопрос: отдавать или не отдавать эти деньги Бендаvidу? Стоит ли отдавать? Ведь старик все равно считал их безнадежными, погибшими. Прибавится ли к его капиталам эта лишняя сотня, нет ли,— что ему, в сущности!? Не разбогатеет он с того и не обеднеет,— так же будет, как и был. А с юридической точки зрения, он даже и права не имеет требовать их. Ведь он с Блудштейном не заключал на этот счет никакого особого формального условия и не выдавал ему никакой доверенности. Сделка Блудштейна с Каржолем состоялась с глазу на глаз, без свидетелей,— кто знает, кто может доказать? Скажут, что у Каржоля было условие с «Товариществом» на пятипроцентную долю,— да, но как это считать прибыли в карманах «Товарищества», когда оно и само еще должно тягаться с казной? Может, и никаких еще прибылей не окажется; может, «Товарищество» еще «сбанкрутует»? Со стороны «Товарищества», ввиду такой возможности и вообще ввиду неопределенного положения его дел, было бы очень неосторожно выдавать Каржолю его проценты, и оно, положим, могло кончить с ним на какой-нибудь, более выгодной для себя частной сделке, в чем он и расписался в контракте. Это уже его дело соглашаться на такую сделку. Не пойдет же Бендавид искать Каржоля и справляться у него! А потребует старик возвратить ему его заявление,— что ж, можно пообещать — завтра да послезавтра, а там и затянуть, позабыть за разными хлопотами... И наконец, разве не могло бы это заявление затеряться где-нибудь между бумагами, особенно в такой массе бумаг? Когда-нибудь, со временем, оно, может быть, и отыщется,— и Бендавид может быть спокоен, что как только отыщется, Блудштейн сейчас же возвратит его. Во всяком случае,

Бендавид должен быть ему благодарен, что он обезопасил его от происков Каржоль, вполне обезвредил последнего. Это ли еще не услуга?! Это ли не благодеяние?!

Итак, что же? Отдать или не отдавать? Вопрос, над которым следует еще крепко подумать. Сто тысяч — не шутка! И особенно, когда старик за все графские документы заплатил только сорок! Сто пятьдесят процентов барыша — не слишком ли жирно уже будет? Что ему! Куда ему такие деньги? Он уже дела свои, можно сказать, закончил, он одинок и живет на покое, в могилу смотрит, а Блудштейн только что начинает, у Блудштейна семья, Блудштейну надо еще жить, работать, зарабатывать, расширять и развивать свои гешефты, ради семьи. Конечно, Блудштейну деньги нужнее! И он извлечет из них гораздо большую пользу не только для себя, но и вообще для Израиля. Разве в этом может быть какое-нибудь сомнение?

Во всяком случае, торопиться с отдачей пока еще нечего. Время терпит, и время же укажет, как поступить «залучше».

И на этом решении Абрам Иоселиович успокоился, вполне примиренный со своей совестью, и в полном убеждении, что исполнил все, что мог и что ему следовало сделать как доброму отцу семейства и доброму еврею,— все, даже великодушие свое показал презренному «гойю»! Ибо сказано, «пускай и псы пользуются крохами от трапезы вашей».

### **XXXIII. НОВЫМ ПУТЕМ - К СТАРОЙ ЦЕЛИ**

Каржоль в тот же день с вечерним поездом уехал из Одессы. Ему больше нечего было там делать, а проживаться без цели,— пожалуй, опять все деньги незаметно процедишь сквозь пальцы. Здесь ожидать ему больше нечего, надеяться и рассчитывать больше не на что. «Товарищество», его «конторы», жида, их дела и гешефты, их вечно мятущаяся, лихорадочно-суетливая деятельность, даже самые жидовские физиономии, самый вид жидов и запах,— все это омерзело графу после вчерашних и сегодняшних его крушений до такой степени, что даже самый город этот жидовский, со всей его показной, нарядной роскошью «à la france», раздражающе действовал ему на нервы, стал противен, невыносим,— и он поспешил выбраться из него как можно скорее.

Уезжал он с удрученным, пришибленным состоянием духа, еще и сам не зная, что предпримет и даже куда направит свой путь — в Петербург ли, в Москву ли. В сущности, для него было теперь совершенно безразлично, куда ни ехать. Чувствовал он себя только глубоко несчастным человеком, как и в те дни, когда бежал из Кохма-Богословска к себе на завод, после свадьбы с Ольгой. В таком угнетенном состоянии только и оставалось одно, что самоуслаждаться минорным ропотом и в нем черпать себе скудное утешение. И он роптал,— роптал и на судьбу, и на жидов, на их коварство и даже отчасти на самого себя, но на себя всего менее,— разве на свое «рыцарское» доверие к людям. За что судьба, в самом деле, так к нему несправедлива?

Что сделал он такого ужасного, что она так его преследует? Он не вор, не разбойник, не убийца; он никому, кажется, не сделал никакого зла, никакой подлости, за которую могли бы его клеймить и указывать на него пальцем,— напротив, при своих отношениях с людьми он всегда старался быть джентльменом и, где мог, с удовольствием делал им приятное и разные одолжения. Убеждения его тоже не крайние: он не нигилист, но и не ретроград, Боже избави!— напротив, симпатии его всегда на стороне прогресса, гуманности, всякой эмансипации и вообще либеральных веяний современной эпохи. Призовите его к служебной, к общественной, к какой угодно, к государственной даже деятельности, он за все возьмется и все будет делать когда не лучше, то и не хуже других. Служил вот в «Товариществе»; другие там плутовали, надували, воровали, тащили где и что можно, а он ничего не накрал, честно довольствовался лишь тем, что ему платили. И что же? В конце концов, еще им же должен остался! В чем же его можно упрекнуть, по совести? Если он не лучше, то и не хуже других. Уж во всяком случае, не хуже: он такой же, как и все. Но нет ему ни в чем удачи до конца! Другим везет, а ему нет. И сколько раз уже замечал он, что за какое дело не возьмется, все у него, кажись, идет прекрасно, но вдруг, ни с того ни с сего,— трах!— обрывается, где и не чаешь! Безо всякой с его стороны вины,— само обрывается! Точно бы тут что-то роковое... Судьба проклятая!

Но от этого минорного настроения переход к чувству досады и бессильной злобы подымался в нем каждый раз, чуть только мысль его возвращалась к воспоминанию о том, как оболванил и облапошил его «мерзавец» Блудштейн. Это, в самом деле, было оскорбительно. Он рад был бы отомстить «этому негодяю» жестоко и беспощадно, и с наслаждением исполнил бы свою «справедливую месть», но в то же время — увы!— с прискорбием сознавал, что мстить ему нечем, что Блудштейн не только силен своим положением, карманом и юридическим правом, но и совершенно неуязвим для него. Поэтому граф утешался ребяческой надеждой, что ничего, мол, рано или поздно, так или иначе, а уж отомщу! Будет помнить! И в воображении его точно так же ребячески рисовались неопределенные картины, как он уже отомстил и торжествует над Блудштейном, и как этот уничтоженный, поверженный во прах, презренный жид пресмыкается у его ног и вымаливает себе пощады. Но это были лишь краткие минуты злобного мечтательного забытья. Возвращаясь же к действительности, граф испытывал только беспокойное занывание сердца, отражавшееся тоскливо-сосущим чувством под «ложечкой», и нравственную удрученность, усталость, точно бы разбитость какую-то. Весь свет казался ему постылым, и жизнь представлялась не имеющей ни цены, ни смысла.

Но вот прошел день, другой в дороге,— острый прилив горечи и разочарования у графа за это время несколько ослабел, притупился, нервы его поуспокоились, и он как будто приобвык к последствиям своей одесской неудачи и к новому своему положению. Постоянно свежий, здоровый летний воздух; разнообразные,



непрестанно меняющиеся в вагонном окошке картины мирной русской природы, в которой уже как будто самой уже есть что-то ровное, спокойное, умиротворяющее; эти обширные поля, волнующиеся нивы, тихие леса — сначала разнообразно кудрявые, потом все сосновые,— селения в садах, с деревянными трехглавыми церквями, торговые местечки, уездные городишки, все новые и новые лица, мелькающие на станциях, все это — кроме неизбежных жидов, один вид которых поднимал в нем чувство ненавистного омерзения,— невольно развлекая мысль и внимание графа, мало-помалу и незаметно, однако же в достаточной мере подействовало на него успокоительным, умиротворяющим образом, и он, не доезжая еще до Проста, уже решил себе, что в Москву не стоит, незачем, а лучше ехать прямо в Петербург. На это нашлись у него и достаточно веские причины. Во-первых, рассуждая теперь хладнокровнее, положение его уже не представлялось ему таким безысходным и отчаянно мрачным, как в день выезда из Одессы; напротив, у него есть даже некоторые благоприятные шансы, и первый из таковых — это, конечно, деньги. Все-таки, около двух тысяч в кармане для первого начала кое-что значат; с ними, при некоторой сдержанности, можно кое-как обернуться, тем более, что бельем и современно модными, даже достаточно свежими костюмами (предмет его постоянной и тщательной заботливости) он пока обеспечен, и эта важная статья, значит, исключается из расходов... Во-вторых, успокоившись душевно, граф все-таки далеко не отказался от мысли отомстить или, по крайней мере, насолить жидам, и более всех, конечно, Бендаvidу с Блудштейном. И в самом деле, стоит ли ему из-за какой-нибудь одесской неудачи окончательно отказываться от своих видов и планов насчет Тамары! С какой стати? Что случилось такое, из-за чего он был бы вынужден поставить над этими планами крест? Напротив, теперь-то он и может действовать гораздо смелее и свободнее, так как над ним нет уже сдерживающей узды, какой были его векселя в руках Бендаvida. Теперь его таким фокусом не запугаешь! И если сообразить хорошенько, то какого маху дали эти жида, выдав ему формальное заявление Бендаvida! На сто тысяч, дураки, польстились и не сообразили того, что сами же себя продают за чечевичную похлебку! Теперь он свободен и покажет им себя. Нет, господа евреи, мы еще поборемся и — посмотрим, чья-то возьмет! Плохой тот игрок, кто до конца не надеется выиграть. И как знать, может быть, счастливая талия вернется к нему снова; но уж теперь-то он дураком не будет!— нет, excusez du peu, уже выучен! Баста!

Но для осуществления планов насчет Тамары надо прежде всего начать бракоразводное дело с Ольгой, и вот для этой-то цели и необходимо ехать в Петербург,— там он ее и захватит врасплох, как снег на голову. Говорят, эти бракоразводные дела без денег не делаются,— ну что же, на первый раз у него для начала есть свободная тысяча рублей, а там, если впоследствии потребуется еще, можно будет как-нибудь извернуться, добыть, занять на проценты, предложить дельцам векселя в обеспечение насчет будущих капиталов, вообще устроить что-нибудь в таком роде.

Это, впрочем, уже детали. Главное, надо как можно скорее начинать и скорее кончать процесс. Но с такими вескими доказательствами, как Ольгины письма к Пупу, дело не может замедлиться: улики так ясны, так недвусмысленны и неопровержимы, что никакой, самый дошлый адвокат, не выкрутит из них Ольгу. А раз, что граф будет свободен от брачных уз,— о!..тут уже на его улице праздник! Тут только поскорее женись и заваривай жидам кашу. Ура!

Правда, и здесь опять-таки понадобятся деньги, на эту кашу, но граф рассчитывал, что добыть их будет уже менее трудно. Если бы у него для начала и не было даже средств, то и это ничего не значит: на такое дело, как юридически бесспорный миллионный иск, да что б не найти денег? Какой вздор! Всегда можно подыскать человечка, который согласится рискнуть своим капиталом, если будет уверен что получит вдвое больше. Да стоит лишь найти какого-нибудь хорошего, состоятельного адвоката, с которым заключить условие на выгодный для него куш, и он охотно поведет процесс, в ожидании будущих благ, даже на свои собственные средства, так что все дело не будет стоить графу предварительно даже ни копейки. Ведь такие примеры бывали и бывают. Адвокаты даже ищут подобных дел,— это их слава, их имя, их счастье, своего рода биржевая игра... О! Адвокаты всегда найдутся, было бы болото, говорит пословица... И вот, это вторая причина, ради которой надо ехать в Петербург. Там это дело скорее устроишь, да и с адвокатом надо будет заблаговременно познакомиться, сойтись, объяснить ему дело, заинтересовать его. Все это железо надо ковать, пока горячо. А у графа энергии еще много, и вера в себя не утрачена! Стало быть, падать духом и кукситься нечего, не такое время!

И мечтательное воображение уже рисовало ему самые радужные картины будущего...

Черт возьми, он должен быть богатым и он будет! Перебиваться со дня на день из кулька в рогожку и вечно быть в зависимости от случайных обстоятельств ему уже надоело. Он давно уже поставил себе эту цель жизни, и он ее добьется. Он желает, наконец, жить «в свое удовольствие», *comme disent les Apraksintzi*,— жить хорошо, спокойно и не стесняясь, как прилично в его прирожденном положении, с его именем, с его прежними связями в обществе, которые, конечно, постарается возобновить. Ведь в чем же и весь смысл и весь смак жизни, если не в этом? А иначе, черт ли в ней! До сих пор он служил только вольной или невольной ступенью для других: для Ольги, для Блудштейна, для «Товарищества», и все эти «другие» эгоистически пользовались им для своих собственных целей. Довольно! Теперь и он, в свою очередь, хочет сделать из них ступени для себя, чтобы придти, наконец, и к своей собственной цели.

Что до Тамары, то о ней Каржоль думал менее всего. Он совершенно был уверен в ней и спокоен насчет ее любви к нему, которая представлялась ему даже чем-то вроде обожания его особы. Да и как ей не обожать? Ведь что она, в сущности?— жалкая, хоть и богатая, еврейская девочка — совсем

еще девочка, выросшая в каком-то захолустном еврейском Украинске, под ревнивым крылом старозаконной семьи, не имеющей настоящего понятия ни о жизни, ни о людях, ни о свете, кроме как по книжкам, разве. Кою она знает, что она видела, что понимает? И кого же, наконец, могла она встретить в своей монотонной, почти замкнутой жизни лучше и обаятельнее Каржоля? Правда, она не глупенькая, в ней есть кое-какие задатки, подающие надежду, что, взяв ее в умелые руки, из нее можно будет впоследствии выработать приличную для света жену; но пока ведь она совсем еще ребенок, над ней еще работать надо, шлифовать ее. Она должна считать себе за счастье быть его женой, потому что, что ж у нее?— одни только деньги, да и те еще в перспективе, а он даст ей родовитое, титулованное имя и положение в свете,— разве этого мало?! Граф был убежден, что и до сих пор, как прежде, он для Тамары все — кумир, божество, идеал, что она все так же слепо любит его первой любовью и слепо верит в него, что в его руках она, как мягкий воск: какую фигурку ни пожелает, ту из нее и вылепит, что каждое слово для нее закон, и она всегда послушно пойдет за ним и сделает для него все, что он ни захочет. Ведь он уж это видел и испытал на деле; она столько раз доказывала ему это, начиная с побега в монастырь и кончая хоть бы бумажником Аполлона Пупа. Нет, она вся в его руках — вся в его воле. О ней пока заботиться нечего.

Правда, он виноват перед Тамарой. Среди своих «товарищеских» дел и в вихре рассеянной, легко скользившей жизни в Румынии, он давненько-таки не подавал ей о себе никакой вести. И черт знает, просто, как это так случилось?! Не то, чтоб он совсем забыл ее,— нет,— хотя порою, говоря по совести, и забывал-таки, но все же, ее «глупенькая головка» приходила ему иногда на память, и даже не редко, и ему было тогда как будто жалко ее и совестно перед нею, и он, с укоризной самому себе, вспоминал в такие минуты, что надо бы порадовать девочку, написать ей, давно бы уже следовало,— и каждый раз давал себе твердое слово, что завтра же напишет непременно. Но приходило «завтра» и непременно приносило с собой свои нетерпящие дела и безотлагательные хлопоты,— то то, то другое,— интендантство, «Товарищество», тыловое начальство, Блудштейн, Мерзеску, румынские власти, сухарное дело, какие-нибудь неприятные официальные ищросы, экстренные отписки, объяснения и проч. и проч. А там опять вдруг какая-нибудь приятельская компания случайно подвернулась... Человек еле успел покончить кое-как должностные дела, проголодался, спешит в ресторан,— глядь, навстречу ему уже дружески несутся из-за какого-нибудь уставленного бутылками столика знакомые, покушавшие голоса: — *Hah! eher comte! Vous voila! Здорово, дружище! Подсаживайся Граф, только вас и не доставало!»* И граф поневоле подсаживается, и ест, и чокается, и сам «ставит», в ответ приятелям, и идесь его непременно заговорят, закружат, увлекут... театр, актриски, ужин с шансонетками, рулетка или зеленый стол. Глядь,— ан день и прошел, как точно бы его и не бывало! И возвратясь домой, пресыщенный, усталый, измочаленный, граф с досадой вспоминает,

что и сегодня опять не написал Тамаре! Так и не успел — завертели, черти проклятые и, нечего делать, приходится отложить письмо до завтра. Завтра уж, мол, непременно, во что бы то ни стало напишу! И успокоившись на этом благом решении, он засыпал тяжелым, одурманенным, беспокойным сном. Но наступает новое «завтра» — и повторяется все та же старая история. А там прошло уже незаметным образом столько дней, недель и месяцев, что и писать стало как-то неудобно. Все-таки, ведь это труд, и не малый, да и тяжелый: надо оправдываться, сочинять, придумывать извиняющие причины, насиловать свой мозг, настраивать себя на собственный «нежно-пламенный» лад и прочее,— а когда ему все это делать?— положительно нет времени. Ну да ничего! Со временем как-нибудь напишет, что-ни- будь, да придумает и оправдается. Или еще лучше: если ему опять дадут командировку в штаб действующей армии (можно будет даже нарочно выпросить ее), он непременно разыщет там Тамару, постарается увидеться с нею и на словах объяснить все дело,— на словах это гораздо проще и скорее выходит, да и выскажешь гораздо больше, лучше и полнее, чем в письме. Ну, разумеется! Ведь она добренькая, она любит его и, конечно, простит,— разве ж она в состоянии сердиться?

Но тут, как на зло, подошла вскоре такая полоса в его жизни, что граф на несколько месяцев просто голову потерял. Началась она осенью, со встречи его в Зимнице с некоей «известною» Мариуцой. Он и сам понять не мог, что за притягательная сила кроется для него в этой женщине, в которую влюбился с первого же раза и увлекся ею, как сам же говорил, до безобразия, точно бы она околдовала его. В ней было что-то напоминавшее ему физически Ольгу. И все равно, как к той испытывал он некогда неодолимое чувственное влечение, так и к этой,— только к этой еще больше. Лицо ее, тело ее, склад, походка, движения,— словом, вся она задорно вызывала в нем жажду обладать ею, и если это называется любовью, то только двух женщин и любил он в своей жизни,— Ольгу да Мариуцу. Он видел или воображал в ней то, чего другие не замечали и чего, может быть, в ней даже и не было, и, наконец, создал себе из нее какой-то культ желаемого тела. До такой степени даже с Ольгой у него не доходило. Хитрая пройдоха, не то полуцыганского, не то полу жидовского происхождения, вкусившая от бухарестской и даже венской «цивилизации», она сразу поняла, что с таким обалделым человеком можно делать все, что угодно, хоть веревки вить из него, и — легко благосклонная ко всем другим, она систематически мучила и томила одного лишь Каржолья, оставаясь только для него недоступною, и тем все больше и больше разжигала его страсть и дразнила самолюбие: неужели же ее-то он не добьется! Он!!! Ведь это даже оскорбительно! Каржоль понимал, что вся цена этой женщине пять золотых, что и в Зимницу-то она приехала нарочно за тем, чтобы «зарабатывать» себе эти золотые,— и тем не менее, готов был чуть не молиться на нее, изнывал перед нею, только бы она снизошла к нему. Он во что бы то ни стало, уже чисто из самолюбия,

хотел добиться своего и потому безрасчетно швырял на подарки ей и на ее всякие прихоти бешеные деньги, брал вперед в «Товариществе», занимал, выигрывал,— все на нее! Это была какая-то странная, животная страсть на подкладке психического каприза, но она была выше его воли. Когда же Мариуца, рассчитав, что такую игру надолго затягивать нельзя,— а то, пожалуй, плюнет человек и пойдет прочь — подарила его, наконец, своей благосклонностью, то сумасшедшему счастью Каржоля, казалось, не было меры и пределов. Здесь он уже забыл не только Тамару, но и все на свете, кроме текущих дел «Товарищества», да и о тех-то помнил лишь потому, что они дают ему средства к жизни, которые ему нужны на Мариуцу. Теперь он мог гордиться тем, что покорила ее сердце или тело — это все равно ему,— и хвастаться ею перед приятелями-интендантами, как своей любовницей. Наконец, Блудштейн, давно уже знавший и терпевший это, даже радуясь в душе такому состоянию Каржоля (о Тамарке, значит, больше не думает!), внушительно заметил ему однажды, что зимницкий климат, очевидно, вреден для его здоровья, так как он стал очень «манкирывать за своими служебными обязанностями, а между тем денег все просит вперед да вперед, и потому одно из двух: или служит как следует, или «Товарищество» уволит его без расчета,— это-де поручено ему дружески передать графу. Ввиду такого ультиматума Каржоль как будто образумился, стал жить поскромнее, заниматься делами, и Абрам Иоселиович, воспользовавшись этой переменной, не замедлил дать ему командировку в Одессу, будучи уверен, что на том и конец шалым его похождениям с Мариуцой. Заботился же он об этом потому, что граф нужен был еще и ему лично, и «Товариществу». Но «мондры Абрам» ошибся: Мариуца тайком поспешила вслед за графом в Букарешт, а оттуда вместе с ним в Одессу, а там у них продолжалось все то же, до тех пор, пока Мариуца не встретилась с богатым еврейским банкиром Рафиновичем, на которого, конечно, не замедлила сейчас же бесповоротно променять Каржоля. К счастью для служебных отношений последнего, это случилось довольно скоро, через какую-нибудь неделю,— но самолюбие, и ревность, и страсть его долго не могли помириться с таким предпочтением. Граф готов был наделать из-за этой женщины тысячу новых глупостей, если бы телеграмма «Товарищества» не вытребовала его спешно опять в Букарешт для важных деловых объяснений с высшим тыловым начальством. Здесь встретили его опять масса дел и поручений, актриски, оперетка, приятели,— все это помогло ему, наконец, отрешиться от своего угара и забыть Мариуцу, но оно не заставило его вспомнить Тамару. Он до такой степени все это время прожигал свою жизнь, что Тамара отошла от него на самый дальний план, как нечно смутное, бледное, даже неприятное для воспоминаний. К тому же он совсем потерял ее из виду,— Бог знает даже, где она теперь находится. Да впрочем, в сущности, и беспокоиться ему в особенности не о чем: Тамара, конечно, все такая же, и стоит ему лишь поманить ее,— она сейчас же все позабудет и прискачет хоть куда угодно.

Но вспоминая обо всем этом теперь, в купе вагона, Каржоль спохватился, что скоро, однако, год — целый год, как он ее не видел и не писал к ней. Это стало ему крайне досадно, но — что же делать!— надо как ни на есть поправить свою проруху. И он решил себе, что, по приезде в Петербург, сейчас же напишет ей длинное, горячее послание, разукрасив его всеми возможными доводами в свою пользу, и еще в пути стал придумывать на досуге, как и чем оправдываться в письме перед нею.

#### XXXIV. ПО «СПЕЦИАЛИСТАМ»

Подъезжая к Петербургу, Каржоль долго колебался, остановиться ли ему «по привычке» у Демута, или избрать на сей раз какие-нибудь скромненькие, но приличные «нумера», по рублю в сутки. Хоть это и свинство, собственно говоря, жить в рублевых нумерах, черт знает где и черт знает с кем, но, во внимание к тому, что фонд его, и без того уже не великий, с каждым днем неизбежно должен был все таять, граф решил «выдержать характер», смирить себя на время и удовольствоваться какими-нибудь «chambres garnies», пока судьба не пошлет чего-нибудь лучшего. Таким образом выбор его пал на меблированные комнаты, содержимые в четвертом этаже громадного дома на Вознесенском проспекте рижской молодящихся лет девицей, Амалией Францевной Шписс. Доставил его сюда «номерной» прямо с вокзала, вместе с чемоданами. Рижская девица, с подведенными глазами и взбитой прической, была польщена тем, что у нее останавливается «граф», да еще такой красивый,— «ganz zierlich, fein und ein so hofflicher Cavalier!»— и потому уступила ему довольно приличную комнату за тридцать рублей в месяц,— «aber so bulig nur fur den Herrn Graf».— и даже предложила некоторые удобства, вроде утреннего Milchcaffe und das Friihstuck, und den Mittag, ganz complet, oder auf Portionnen — как угодно — за очень умеренную плату. Граф нашел, что и это все, по нужде, будет очень ему кстати, хоть и придется, вероятно, морщиться от жареных подошв и глотать эссендукские лепешки против последствий чухонской кухни, но — что же делать! — надо пока смириться и привыкать. С его стороны это было чисто героическое решение, и он сам удивлялся своему стоицизму.

Fraulein Schpiess с первого же дня стала особенно усиленно ухаживать за графом, как за самым почетным, самым знатным своим жильцом и всячески заботиться о его комфорте. «Ах! В свое время она тоже была знакома и с графами, и с баронами!» Она даже собственноручно по утрам пыль обмахивала петушиным султаном с его письменного стола и цветы в его комнате поливала, а встречала и провожала его не иначе, как книксенами, и ежели говорила с ним, то непременно со сладкой ужимкой и играя глазами. Граф находил, что хотя это и глупо в таком солидном возрасте, но не мешает, ибо лучше пусть ему сентиментально и благосклонно улыбаются, чем глядят букой: от благосклонности зависит кредит, в котором никогда не лишнее иметь заручку,

и потому он милостиво позволял ухаживать за собой, принимая это со стороны «Fraülein Amalia» даже как должное.

Освоившись в новом своем положении и разобравшись с чемоданами, он на другой же день отправился в Правление «Красного Креста» за справкой насчет Тамары и узнал не только о месте ее нахождения в сан-стефанском военно-подвижном госпитале, но и еще то, весьма важное для него обстоятельство, что сестры Богоявленской общины возвратятся в Петербург не ранее осени. Это последнее обстоятельство истинно обрадовало графа. До осени, слава Богу, еще далеко и, значит, в это время он успеет покончить свое бракоразводное дело ранее приезда Тамары, чтобы встретить ее уже настоящим женихом и — сейчас же под венец, без проволочек! А уж потом, женившись, можно будет как-нибудь, в подходящую минуту, открыть ей свои прошлые «ныне пока еще — увы! — настоящие» отношения к Ольге, представить нею низость ее шантажного с ним поступка, совершенного при помощи внезапности и наглого насилия, и все, чего ему стоило сбросить с себя брачные узы ради Тамары, — но открыть и представить, разумеется, насколько это нужно и в таком освещении, в каком ему выгодно.

В тот же день вечером он воздержался даже от искушения прокатиться в «Ливадию», где шла «Barbe bleue» с очень интересными «новыми» француженками, или отправиться, по старинке, в любезный сердцу «Демидрон» с его Филиппо, Грендор и Кадуджами, — всем этим стоически пренебрег он и засел за известное уже письмо к Тамаре, которое на следующее утро и пошло по назначению — в Сан-Стефано..

Видеться с Ольгой он находил пока преждевременным. Она не должна и подозревать о его присутствии в Петербурге; пусть лучше этот процесс нагрянет на нее совершенно неожиданным сюрпризом. Но вот вопрос: где найти адвоката? Граф как давно уже расстался с Петербургом, что теперь совсем «pas au courant» относительно его жизни, общества, дел и знаменитостей. Не по календарю же разыскивать их, тем более, что по этим бракоразводным делам есть свои особые «специалисты», которые в дела другого рода, по большей части, уж и не путаются. Вот напасть на такого-то «специалиста» ему и важно, а где возьмешь его без рекомендации, да и за рекомендацией к кому обратишься? — Дело все-таки щекотливое, свое, интимное, в которое посвящать без особенной надобности и прежде времени посторонних людей не следует. Положим, он мог бы разыскать кого-нибудь из прежних своих светских приятелей и к ним обратиться за советом, но лучше пока этого не делать: почем знать, а вдруг кто-нибудь знаком с его женой? Раздумывая, как ему быть в своем затруднительном положении, граф напал на счастливую мысль: не лучше ли всего ехать ему прямо в консисторию, обратиться там к кому-нибудь из «подходящих» чиновником и просить его указать хорошею адвоката? Ведь кому как не им известны все такие «специалисты»! И граф на другой же день так и сделал.

В консистории он, однако же, поступил «en diplomate», то есть, не выложил так-таки прямо,

что специалист-де нужен ему для себя самого, но, на всякий случай, «pour sauver les apparences» и из предосторожности, свернул дело на «одного приятеля», который желает-де начать с женой бракоразводный процесс и просит его справиться насчет подходящего адвоката, так вот — не можете ли указать, какого, только хорошего?

Там были так любезны, что указали ему даже нескольких — и «поважней», и «попроще». Если дело, мол, сложное, затруднительное, то нужен специалист «поважней», чтобы, неровен час, не провалить его; а если обыкновенное, то можно и «попроще». Каржоль записал себе в книжку несколько адресов и, поблагодарив, решил отправиться сначала к адвокату «поважней» — посмотреть, что это за птица и чего она может стоить. Смutilа его немножко только фамилия: жидом что-то пахнет. Яков Моисеевич Смаргунер. Неужели же и по этим делам нынче жида орудуют?! Господи, уж и в консисторию пробрались, к пресвитерам!

Господин Смаргунер занимал очень приличную квартиру на Литейной в бельэтаже одного из домов затейливой архитектуры, — и первый же взгляд на его приемную, где графу пришлось подождать несколько времени до аудиенции, убедил его, что здесь дело пахнет, должно быть, не кушами, а уймами денег. Куда ни плюнь — все или роскошный буль, или дивная бронза, группы Либериha в углах, кантонские инкрустации на разных эбеновых этажерках, севр на лампах, вьюсаксы на стенных кронштейнах; на каждом буфе драпировки, на каждой мебели так и лежит печать Лизере или Лавотона. Но — странное дело! — все это носит такой случайный, смешанно-сбродный характер, что невольно наводит на подозрение — не приобретены ли вещи эти задешево и по случаю с аукциона, или куплены зря у Дарзанза, Давида, Юнкера только потому, что в глаза по своему блеску оросились? Во всяком случае, это истинно «адвокатская» обстановка, видимо, была устроена на тщеславный показ и рассчитана на то, чтобы сразу бить ею в нос каждому вновь являющемуся клиенту.

— Прошу покорно! — высунул адвокат по направлению к Каржолю свой нос из дверей кабинета, откуда только что вышла перед ним какая-то стройная дама в черном шелковом платье под густой опущенной вуалью.

Тот вошел в кабинет, где на каждой вещи точно так же лежала печать жирных кушей, но уже в характере роскошно комфортабельной простоты, солидности и серьезности.

— Граф Каржоль де Нотрек? — в виде вопроса, прочел «специалист» на визитной карточке, еще раньше переданной ему через приличного фрачного лакея.

Граф утвердительно кивнул на это кротким поклоном.

— Прошу садиться. Дело имеете?

— Н-да... то есть... приятель один... хотелось бы посоветоваться, заговорил Каржоль, несколько путаясь и стесняясь.

Господин Смаргунер с видом делового человека взглянул на свои золотые часы, как бы давая этим чувствовать посетителю, что время мое — деньги мои, и расположившись за роскошным письменным столом,



сосредоточенно приготовился выслушать.

— Прошу объяснить,— предложил он несколько суховатым, как бы официальным тоном.

Граф, невольно чувствуя какую-то внутреннюю неловкость и потому смущаясь, принялся кое-как и не без запинок излагать ему сущность своих намерений и обстоятельства дела, а сам в то же время, вглядываясь порою в тонкие и несколько хищные черты гладко выбритую и выхоленного лица его, обрамленного одной лишь «американской» бородой, без усов, все более и более убеждался, что перед ним сидит человек непременно семитского происхождения. Это был плотный мужчина лет под пятьдесят, безукоризненно и солидно одетый весь в черное, с солидным и даже внушительно важным выражением лица, которое точно бы давало заранее чувствовать, что человек знает себе цену и считает ее на очень крупные цифры. «Черт его разберет, что он теперь себе думает!»,— с некоторым беспокойством шевелилось в душе Каржоль,— «Точно сфинкс какой, сидит и глазом не моргнет! Разбери его!»

Изложение дела дошло, наконец, до писем Ольги к Аполлону Пупу, в смысле самых существенных и важных доказательств.

— Письма с вами?— коротко спросил господин Смаргунер.

— Со мной,— предупредительно сделал граф движение рукой к боковому карману.

— Попрошу показать.

— Позвольте, я вам прочту их,— это не долго...

— Виноват, я должен видеть их и... вникнуть в степень их важности.

Граф понял, что Смаргунер желает читать сам и...— хоть и не совсем-то это было ему приятно, но нечего делать,— передал адвокату известный пакетец.

Тот солидно вздел на нос золотое пенсне, неторопливо развернул письма и записочки, с видом опытного следователя осмотрел их внешность и систематически стал прочитывать про себя одно за другим, подкладывая их по мере прочтения в прежнем порядке, и затем, вложив опять все в пакетец, передал последний графу.

— Это все?— спросил он.

— Все.

— Гм... Не много. Других доказательств не имеете?

— То есть... каких же еще?— спросил Каржоль с недоумением.

— Более веских, в смысле юридическом.

— Помилуйте,— воскликнул граф, удивленный и озадаченный донельзя.— Это ли еще не доказательства?! Чего ж еще весче?

Но господин Смаргунер только головой покачал отрицательно, с легкой иронической усмешкой на своих тонких, растянутых губах.

— Письма не суть прямые улики,— пояснил он докторальным тоном,— при случае они могут, пожалуй, сыграть роль некоторых косвенных доказательств, но не более.

Каржоль так и опешил, даже рот, как дурак, на него раскрыл.

— Закон требует улики положительных,— продолжал между тем разжевывать ему адвокат,— и точно определяет при том, каких именно.

— То есть, что же, собственно, я не понимаю,— в тоскливо досадливом затруднении пожал плечами граф.

Тот посмотрел на него холодно строгими и удивленными глазами,— точно бы перед ним младенец какой несмысленный: что ты, мол, батюшка, с луны свалился, что ли?

— *En flagrant delit*, при двух достоверных свидетелях,— внушительно отчеканил он.— Понимаете?

— Да, но, согласитесь, что это... это... это требование невозможное!— заговорил граф, весь покраснев до ушей от смущения перед взглядом Смаргунера и при мысли, что он пойман на собственной, довольно-таки наивной недогадливости, хотя, казалось бы, нетрудно было понять еще с первого намека.— Какая же порядочная женщина решится... в присутствии свидетелей, подумайте!— лепетал он, чтобы поправиться, но чувствуя сам, что говорит, кажется, глупости, и чем дальше, тем больше.— И, наконец, разве же могут быть свидетели подобных положений! Мыслимое ли дело допустить...

— Извините, если я уклонюсь от бесцельного диспута по этому предмету,— вежливо, но сухо вато поспешил предупредить его Смаргунер.— Я не вхожу в рассмотрение, что мыслимо или что немислимо, я только сообщаю вам, чего в данном случае требует закон. Есть у вас такие доказательства, или вы можете их представить,— прекрасно; а нет, то письма ваши ровно ни к чему не послужат.

— Значит, по-вашему, это дело безнадежное?— разочарованно спросил граф, сбитый с последней своей позиции.

— Я этого не говорю,— значительно поднял свои птичьи, дугообразные брови Смаргунер.— Безнадежных дел я, как юрист, вообще не признаю. Всякое дело может быть и надежным и безнадежным, смотря по тому, как за него взяться и как повести.

Каржоль несколько ожил.

— Итак, вы могли бы взяться, значит?— спросил он.

— Мм... отчего же! Если вам угодно поручить его мне, я не вижу причины к отказу.

— В таком случае, я уже буду просить вас,— качнулся граф к нему корпусом, в виде любезного поклона.

— Хорошо-с,— согласился Смаргунер и устремил на него холодный, испытующий взор, как бы соображая что-то, прибавил неторопливо размеренным тоном.— Это будет стоить тридцать тысяч рублей.

— Так много!— пришел граф в неподдельный ужас.

— Это не много,— спокойно возразил Смаргунер.— Дело очень сложное и крайне трудное,— пояснил он,— Будь обе стороны согласны на развод, тогда и разговоров нет: вы бы приняли на себя известную роль, как это обыкновенно делается,— и в две-три недели мы бы кончили. Но картина вопроса совсем изменяется, когда одна сторона, как в данном случае,

например, ищет развода, а другая не желает его. Ведь здесь является уже борьба; здесь надо, так сказать, из ничего создать целую обстановку, и обстановку, в юридическом смысле, солидную, доказательную, а это стоит недешево.

— Но у меня, к сожалению, в настоящую минуту нет таких денег,— вздохнул граф, думая про себя, не поторговаться ли,— авось-либо, спустить добрую толику.

— Это уже ваше дело,— безразлично пожал плечами Смаргунер.

— Но, может быть, мы смогли бы сойтись с вами на несколько меньшей сумме?

— Меньше ни копейки,— вежливо-сухо и непоколебимо отпарировал адвокат.

— Или разве вот что?— предложил ему граф с таким видом, будто ему только сейчас пришла в голову счастливая идея.— Не могли ли бы вы удовольствоваться пока известными обязательствами, которые я вам охотно выдал бы на себя, кроме, конечно, той суммы, что придется дать еще наличными для начала дела? Это меня бы устраивало.

— Гм... Какого же рода обязательства?— опять поднял Смаргунер на него свои дугообразные брови.

— Какого вам угодно,— условие, вексель, расписка, что знаете.

— У вас есть достаточное имущественное обеспечение под такой вексель?— все так же пунктуально и невозмутимо ровно осведомился адвокат, глядя на графа таким взором, точно бы он изучает его и, судя по ответу, сейчас безошибочно выведет себе опытное заключение, с кем имеет дело,— с человеком ли обстоятельным, или с ничего не стоящим щелкопером.— И Каржоль невольно, инстинктивно как-то, почувствовал сокровенный смысл этого взгляда.

— То есть, видите ли,— поспешил он объясниться, внутренне поеживаясь,— надо вам сказать, развод нужен мне, собственно, для того, чтобы жениться на особе очень состоятельной... то есть такой состоятельной, что какие-нибудь тридцать тысяч являются тут совершенными пустяками... Тут миллионы,— вы понимаете,— миллионы! Свадьба сейчас же вслед за разводом, а затем, хоть на другой же день, вы бы получили все, что следует.

— Гм... Значит, вы могли бы представить за себя надежных поручителей?

— Видите ли,— замялся несколько граф.— За поручителями, конечно, дело не стало бы, но... признаюсь, мне не хотелось бы обращаться к приятелям по такому щекотливому вопросу,— сами согласитесь...

— Зачем же к приятелям! Разве родители вашей невесты не могли бы поставить свой бланк?

— Да, но у нее нет родителей, она сирота.

— Значит, опекун есть, он мог бы.

— Мм... н-нет, и опекуна нет... никого нет,— сирота, говорю.

— Стало быть, совершеннолетняя?— Тогда это еще проще: пускай сама поставит.

— О! Она с удовольствием! Но... к сожалению, ее нет теперь в Петербурге, она придет только осенью, а мне надо, чтобы дело к ее приезду было уже закончено.

— В таком случае, вам остается поискать достаточных средств, суховато посоветовал Смаргунер и поднялся со своего рабочего кресла, явно давая этим Каржолю понять, что далее разговаривать им не о чем.

Тому оставалось только встать, в свой черед, и молча откланяться.

Итак, первый блин, что называется, комом. Граф вышел от господина Смаргунера крайне обескураженным. Что же это такое?! Он, который рассчитывал, что имея в своих руках такие поразительные доказательства,— ему бы, по-настоящему, даже и адвокатов никаких не надо,— оказывается вдруг в дураках! Опять-таки в дураках! Господи, да доколе же! «Косвенные улики!» Это-то косвенные? Прошу покорно! Да нет, этого быть не может! Тут что-нибудь да не так! Не вернее ли будет, что жид просто запугать его рассчитывал, чтобы содрать побольше? Тридцать тысяч тоже! Экие ведь кушища валяют, как ни почем! Бессовестный народ! Он, граф Каржоль де Нотрек, подумашь, за тринадцать тысяч жалованья более года трудился, как почтовая лошадь, жизнью своей даже под Плевной рисковал, а тут какому-нибудь Смаргунеру за то, что две-три крючкотворные бумажки составит, тридцать тысяч вдруг отваливай! Господи, да где же справедливость, наконец?! «Косвенные!» Нет, это все «музыка»: Это ясно! Нечего, значит, падать духом, а лучше попытаться счастья у других, что «попроще». Попроще-то, пожалуй, посговорчивей. Да и ну их к черту, всех этих Смаргунеров! И без них надоело с жидами вечно возиться! Пойдем к православному.

И граф на другой день поехал к специалисту «попроще».

\*\*\*

Специалистом «попроще» оказался Василий Иванович Красноперов, кандидат прав и присяжный стряпчий Коммерческого суда, не брезгающий при случае и бракоразводными делами. Место жительства — Кабинетская улица, поближе к купечеству. Квартира уже не в бельэтаже, а поближе к небесам, в четвертом этаже, но приличная. Обстановка — ординарная, но солидная. Кабинет, рядом с комнатой «помощников» и «клерков», носит характер чисто деловой, но несколько беспорядочный, небрежный. Наружность Красноперова такая, что всякому мимоходящему как будто говорит: «Голубчик, расцелуй меня! Я цыганист, я гитарист, я душа-человек, я весь нараспашку!»— Большая рыжая борода, умеренная лысина, золотые очки, и вдобавок — уже и некоторый округлый сальничек начинает образовываться. Имя Красноперова как защитника никогда не гремело ни в одном из громких, знаменитых процессов, на которых другие его собратья по профессии составляли себе славу и деньги; ни одна из защит его не блистала перлами и алмазами красноречия, ни одно из выигранных им дел не могло быть названо выдающимся по эффективности,

но в том совершенно особенном и не всем доступном мире, где «работают» кураторы и председатели конкурсов, «действуют» присяжные попечители лиц, впавших в несостоятельность и, наконец, где «орудуют» члены торговых администраций,— там имя «многоуважаемого» и «милейшего» Василия Ивановича встречалось гораздо чаще других. Он знает, где раки зимуют. По купечеству «душа-человек» был очень и очень известен и про него там говорили многозначительно: «дошел!» При этом, однако, несмотря на цыган, и вечные купеческие свадьбы, поминки и именные кулебяки, неизбежно сопровождаемые бесчисленными «опрокидонтами» очищенной, хересов и мадерцы, Красноперов, к удивлению своих товарищей, всегда оказывался вровень с «последним словом науки» и с последним влиянием практических приемов юриспруденции, собственно по ведению процесса, и являлся иногда, в своем роде, даже новатором, прокладывал новые пути и русла, по которым за ним, уже ничтоже сумняся, следовали прочие его собратья. И новаторство это нередко просто поражало именно необычайной практичностью своих приемов.

Каржоля с первой же минуты расположили в его пользу эта простота и необыкновенное открытое добродушие в обхождении с ним, как с клиентом,— точно бы Василий Иванович всю душу свою перед ним выкладывает, точно бы так вот и желает от всего сердца сразу посвятить его во все тайны, махинации и возможные стадии процесса и даже как будто слить его с собой в одно существо,— точно бы это процесс его собственный, кровный. Он и не говорил о нем иначе, как «наш процесс», «наше дело», «мы так-то поведем», «мы то-то сделаем». Словом, Каржоль чувствовал себя как будто его сотоварищем, другом, сотрудником или даже соучастником на все добрые и недобрые. Относительно Ольгиных писем Красноперов выразился прямо, что это, мол, не существенно, они-де, и не понадобятся, потому что мы прямо докажем факт.

Граф, однако, выразил сомнение, что едва ли это будет так просто. Ведь сочиненный «факт», как ловко ни сочини его, все-таки может вдруг обнаружить свою несостоятельность там, где и не ожидаешь. Свидетели, например, будут утверждать, что видели там-то и тогда-то, а она вдруг возьмет да как раз и докажет фактически свое *alibi*,— ну, и что же тогда?

Краснопёрое на это только рассмеялся, как на речи совсем детские.

— Голубчик мой!— убедительно принялся он урезонивать Каржоля, даже как будто пристыживая его дружески.— Да разве же мы станем заниматься сочинением глупых накрытий и гостиницах, в ресторанах и тому подобное? Это все старые, рутинные приемы, которые мы с вами бросим. Да и зачем вам запутывать посторонних людей? Тут ведь сейчас противная сторона схватится за швейцара, за коридорного, за татарина там,— ну, и перепутаются, конечно! Сбить-то не трудно! Ведь подобные грубые приемы уже не один процесс проваливали! Нет мы это сделаем гораздо проще: не в ресторане, а в театре, в ложе литерной,— понимаете?

Граф, не совсем понимая, однако, вскинулся на него вопросительным взглядом.

— Свидетели у нас будут тоже ведь не какие-нибудь, а порядочные люди — люди из общества, интеллигентные, достойные всякого доверия,— продолжал Красноперов.— Ну, и предположите теперь, что свидетели эти сидят в соседней ложе, рядом, видят в ней pardon! — вашу супругу, невольно обращают при этом на нее внимание, как на интересную особу... А затем, уж вы не беспокойтесь: они и услышат и увидят все, что следует, и не сойдутся. В Мариинском театре, например, это хоть в любой ложе могло случиться,— там все они ведь с аванложами и с драпировками. В этом и вся суть, все, что требовалось доказать! Понимаете?

— Понимаю, поддакнул граф.— Но все-таки alibi проклятое! Мне кажется, что все это, сколь оно не остроумно, не устраняет, однако, возможность доказывать alibi.

— Батенька мой! Полноте!— убедительно дотронулся Красноперов ладонью до его колена.— Позвольте вас спросить, как это она докажет свое alibi в театре? Хотел бы я знать! Тут ведь ни швейцаров, ни татар! А спектакли весь сезон каждый день бывают,— значит, и дня даже в точности помнить не требуется, а просто — приблизительно, когда-то, мол, в таком-то месяце. Ну-с, поди-ка, возражай на это!

Каржоль даже весело расхохотался, потирая руки, от такой ловкой находчивости милейшего Василия Ивановича и понял из сего, что имеет дело с такой тонкой и продувной бестией, что перед ней и сам Смаргунер, пожалуй, спасует.

— Ну, и скажите же откровенно, что это будет стоить?— спросил он.

— По совести, десять тысяч, голубчик.

— Ой-ой!— почесал граф за ухом, поморщась.

— Зато наверняка, без осечки!— похвалился Красноперов.— И весь процесс окончим — много, если через месяц! Потому тут, сами видите, никаких разговоров!

Каржоль, из деликатности и по некоторой уклончивости своей натуры, не хотел на первый раз портить ни ему, ни себе приятного впечатления и потому не стал сегодня торговаться, но решил себе прежде попытать еще кого-нибудь из «попроще», а Красноперова, на всякий случай, иметь в виду с тем, чтобы предложить ему впоследствии, когда еще покороче сойдется с ним, сделку на вексель.

Расстались они самым дружеским образом, крепко пожимая друг другу руки, и даже расцеловались.

На следующий день граф отправился отыскивать специалиста «еще попроще», решив себе попытать уже всех, чтобы уже затем с наибольшей основательностью остановить свой выбор на самом подходящем.

В сообщенном ему адресе значилось: «Ассинкрит Смарагдович Малахитов. Пески, Болотная улица, дом номер такой-то».

Отыскивая по бесконечной Болотной улице данный номер, Каржоль наконец увидел его на воротах одноэтажного деревянного домика о семи окнах по фасаду. Ниже номера золотая

надпись на синей жестяной доске гласила: «Дом жены коллежского асессора, госпожи Малахитовой». Ворота были заперты, подъезда или крыльца с улицы не имелось. Расплачиваясь с извозчиком, Каржоль бросил взгляд на домик: ничего себе, старенький, но крепкий и поддерживается в порядке; стекла в окнах чистые, видно, что моются; внутри видны белые тюлевые занавески, а на подоконниках фуксии, герань, золотое деревце, бальзаминчики, турецкая гвоздичка и даже «розаны». Граф толкнулся в калитку — отворилась наполовину, а дальше цепь не пускает. Но ничего: нагнувшись под цепь, удалось кое-как проникнуть во двор со внутренним палисадником из двух берез и нескольких кустов акации. Во дворе ни души, но зато бродит утка с утятами у врытого в землю корыта, да куры у сарайчика роются. Совсем идиллия! Кудлатая старая собака на цепи, при будке, тотчас же, конечно, добросовестно облаяла незнакомого человека, и вскоре на этот лай недоверчиво выглянула из-за угла какая-то баба, видимо, из породы «куфарок».

— Вам кого надо будет?

Граф назвал имя хозяина.— Дома?

— Дома, дома.— Пожалуйста сюда, на парадное! Обождите малость, сейчас отворю.

И через минуту, отомкнув ему изнутри «парадную» дверь, запертую, кроме замка, еще на крючок и цепочку, та же «кухарка» впустила его в полутемную прихожую, куда сию же минуту любопытно заглянула из смежной кухни в стеклянную дверь какая-то женская голова в белом чепце,— вероятно, сама хозяйка. Графа сразу обдало тем особым кисловато-прелым и немножко затхлым запахом, который присущ воздуху старых, десятками лет обжитых деревянных домишек: не то здесь капусту недавно квасили, не то лампадное масло пролили, не то сушеную треску варили. А кроме того, еще и тараканами пахло.

— Пожалуйста в зал, они сейчас выйдут.

Каржоль вошел в «зал». Светлая комната в три окна, на которых подвешены клетки с поющими «кинарейками». В переднем углу большой висячий старокупечески киот с образом в серебряном окладе и лампадка теплится. По крашеному на лощеному полу, чистоты ради, постлана от дверей до дверей половиковая дорожка. Старинная мебель,— диван с овальным столом, под ковровой салфеткой, и вокруг шесть мягких стульев; на диване гарусная подушка с вышитой на ней черной собакой, у собаки бисерные глаза. В простенках два ломберных стола, покрытых белыми вязаными салфетками, и на каждом по паре необожженных стеариновых свечей в «апликейных» шандалах. У другой стены старинный стеклянный шкафчик с зеркалом сзади, и в нем — столовое и чайное серебро, серебряные стопки, чарки, солонки, живописные фарфоровые чашки невской прежних времен фабрики, пастушок фарфоровый, такие же яйца пасхальные, чучело зимородка на сучке, игрушечная мышка на колесиках и еще что-то в подобном же безделушечном роде. На стенах — живописные премии «Нивы», фотографические семейные портреты, два литографированных

святителя в белых клобуках, а под портретами — гимназический похвальный лист, за отличные успехи и поведение, полученный, вероятнее всего, сыном хозяина и выставленный, в черной рамке под стеклом, как гордость семьи, на почетное место.

Пока Каржоль дожидался, через «зал» прошмыгнула «куфарка» с сюртуком для барина и вбежала вслед за ней старая-престарая подслеповатая болонка, подозрительно обнюхала «чужого» и хрипло протявкала на него, но больше «для проформы», чем в силу необходимости. Старый кот вышел тоже,— жирный, ленивый, заспанный,— и не удостоив никаким вниманием гостя, тотчас улегся в клубочек на одно из мягких кресел.

Из соседней комнаты время от времени слышалось катаральное покашливание и побряхтывание хозяина, и вот, наконец, появился он сам — благоуветливый, елейный старичок, выстриженный под гребенку, с выцветшими табачного оттенка глазами, но еще бодрый, с краснинкой в лице и крепкий.

Каржоль представился и объяснил, что является к нему в силу рекомендации, данной в консистории.

— Ага, по супружеским обстоятельствам, значит?— сразу же домекнулся Малахитов.— Что же, располагайте, готов к услугам, всегда готов. Прошу покорно, на диванец, на диванец пожалуйте.

Граф уселся и, без дальних околичностей, приступил к объяснению своего дела. Старичок слушал с приятной улыбкой, сложив ручку на ручку и склонив на бочок голову, и в каждом подходящем случае одобрительно вставлял свои немногословные восклицания, вроде: «прекрасно-с!», «бесподобно-с!», «благородно-с!», «очень хорошо-с!» Говорил он немножко певуче, слегка протягивая в каждом слове ту гласную, на которую следует ударение, отчего сама речь его получала очень подкупающий своим елейным благодушием характер.

Как и с первыми двумя «специалистами», вопрос дошел-таки до вещественных доказательств: писем, бумажника и карточки.

Ассинкрит Смарагдович благосклонно пересмотрел все это, полюбовался даже на соблазнительную карточку Ольги, заметив при этом: «Особа благовидная!» и на вопрос Каржоля, имеет ли все это цену в смысле доказательств, дал ответ совершенно убедительный.

— Еще бы-с! Помилуйте, как же не имеет? Непременно имеет! Надо всем воспользоваться, всем-с, дабы предстать во всеоружии. Я никогда никакой мелочишкой в этих делах не брезгаю-с. Как можно! Сам во Славнобубенской консистории некогда пятнадцать лет без малого секретарем состоял, так уж дела-то эти, могу сказать, до тонкостей знаю. Это уж с тем и возьмите!

— Стало быть, можно обойтись и без свидетелей?— спросил обрадованный граф.

— Без свидетелей? Э-э, не-ет! Без свидетелей невозможно- с! Свидетели тут первое дело. А вот, ежели в дополнение к свидетельским показаниям да выдвинем мы еще и эти доказательства,— ну, тогда бесподобно!



А без того, они ломаного шелега не стоят и ни в какое внимание не примутся, это уж поверьте.

Быстротечная радость графа сменилась досадой и озабоченностью, и он — просто уже, чтобы душу себе облегчить, с саркастической горечью начал изъяснять Малахитову то же, что и Смартунеру, что это-де требование закона чистейший абсурд, не выдерживающий ни малейшей критики; какие же могут быть в таких делах свидетели, которые действительно видели бы все собственными глазами! Это или насмешка над здравым смыслом или одна комедия.

— Комедия! Совершенная комедия-с, вот как на театрах все равно представляют!— не преминул сейчас же согласиться с ним Малахитов.— И разве же кто-нибудь думает серьезно, что свидетели точно все видели? Никогда-с! Им ведь ни на волос не верят.

— Господи, что вы говорите? Ни на волос?! Так зачем же они?— горячился и возмущался Каржоль.— Ведь это же выходит сознательное допущение лжесвидетельства!

— Что же делать — закон-с!— полушепотом проговорил Малахитов, разводя руками.— И непременно сознательное, как же иначе!?

Возмущенный и точно бы подавленный негодованием, граф замолк и погрузился в досадливое раздумье,— как ни кинь, все клин ему выходит.

— Да вы, впрочем, на этот счет не беспокойтесь!— утешил его, махнув рукой, Малахитов.— Это все пустяки-с! Мы вам подыщем самых, что называется, достоверных лжесвидетелей, что хотите, покажут! Хе-хе-хе! Есть тут у меня такие дружки, под Лаврой живут, так и поселились, чтобы уж, знаете, поблизости было, не далеко ходить чтоб... Это я вам предоставлю сколько угодно!

— Признаюсь, я решительно не понимаю,— заговорил Каржоль, как бы в ответ на свою собственную, давящую его мысль,— как это отвергать доказательство прямое, неопровержимое и требовать заведомо ложного! Что за дичь такая!

— Это ничего-с, поверьте!— улажал его Малахитов.— Только надо сообразоваться с законом. Закон требует, чтобы был лжесвидетель,— прекрасно-с! Исполним закон: лжесвидетель будет. Закон требует двух — бесподобно-с! Удовлетворим ему, представим и другого, это все в нашей власти. Сколько бы закон ни потребовал, столько и представим!

Ассинкрит Смарагдович говорил так благодушно спокойно и так уверенно, с неподдельным духом человека, умудренного громадным опытом и многолетней практикой, что у графа сложилось полное внутреннее убеждение в его пользу. Этот, мол, будет, пожалуй, понадежнее самого Красноперова! Не юрист, не краснобай, ученых степеней не имеет, к «сословию» не принадлежит, а дело, кажется, знает в корень, и даже насчет писем утешил, сказал, что пригодятся! Вот что значит опытность-то! Недаром пятнадцать лет в консисторских секретарях сидел! Может, и выгнали-то за взятки по этим самым делам,— ну, да что до того! Главное,— дока и, очевидно, «свой человек»

у консисторских, все печки-лавочки знает, все хода-выходы, вот что важно! И какой предусмотрительный! «Закон», все «закон», даже и домик-вон «по-закону», из предосторожности, на женино имя перевел... Нет, прекрасный старичок, «бесподобный»! Только что-то заломит он за дело? Тоже, поди-ка, что-нибудь вроде десяти тысяч хватит? Вот и крутись тогда, как знаешь!

— Ну-с, а как же насчет вознаграждения за труды?— спросил Каржоль.— Только предупреждаю,— поспешил он прибавить,— я человек небогатый и много дать не могу. Душевно бы рад, но не из чего!

— Зачем много? Я многого не возьму,— успокоил его Малахитов.— Мы это по-божески, по-христиански, чтобы никому не обидно, ни вам, ни мне,— а что только самое дело стоит, то и положим.

— Ну, и как по-вашему?— осведомился граф.— Сколько оно может стоить?

— Да что ж, три тысеночки положите; и довольно-с.

Тот только крякнул на это, с досадливым жестом прищелкнув пальцами.

— Разве много-с?— благодушно удивился старец.— Это уж, кажется, по совести, чего нельзя дешевле. Ведь с вас другие, поди-ка, не то заламывали! У господина Смаргунера, к примеру, изволили быть?

— Н-нет,— слегка замялся Каржоль,— а что?

— Ну, как нет!— недоверчиво мотнул головой вверх Малахитов.— Уж наверное были! Без того невозможно-с.

— Да почему вы так уверены?

— Я-то? Хе, хе, хе, батюшка мой! Потому и уверен, что знаю. Не побывавши у Смаргунера и у других, сюда никто не заворачивает оглобли. Это уж такой порядок. Ну, а как нарвутся-с, тогда и к Ассинкриту Смарагдовичу! Тогда и он хорош! Ведь правда-с?

Каржоль должен был сознаться, что так, но ведь он почем же знал? Ему в консистории рекомендовали.

— Так, так, конечно-с! Ну, и у Васьки Красноперова были?

— Был и у Красноперова.

— Та-ак-с. Вот жох, так жох, скажу я вам! Ай-ай какая выжига,— и не дай ты, Господи!— качал головой и отмахивался руками Малахитов.

— мне, напротив,— заметил граф,— он показался очень милым, душевным человеком.

— Ну, еще бы!— иронически согласился старец.— Без мыла в любую душу влезет,— тем и берет! Все мои ученики-с,— похвалился он,— ей-Богу-с! И Смаргунер, и тот же Красноперов — все мои!. Нынче-то — ух, какие важные стали! На рысаках с резинами разъезжают, на нашего брата с благородным пренебрежением смотрят, а спервоначалу-то, как только-что пошли было по этим самым бракоразводным делам, так, верите ли, редкую неделю, бывало, не заглянет с поклоном.— «К вам-де, Ассинкрит Смарагдович, батюшка! Поделитесь своей опытностью, поучите нас, молокососов, как и что!

Боюсь, мол, дело не провалить бы!»— Ну, и наставишь бывало по христианскому-то чувству. А теперь, гляди-ка, кушища какие загибают,— ума помрачение!., ну, скажите откровенно, поисповедуйтесь старику, подмигнул он поощрительно Каржолу.— Шмаргун-то этот много заломил с вас?., а?..

Тот признался, что тридцать тысяч, а Красноперое — десять.

— Так, так! Это по-ихнему, по-новомодному! Совсем как следует быть!— слегка замахал старец ладонями на графа.— Ну, и судите же сами: Шмаргун — тридцать, Васька — десять, а я-грешный,— только три тыщонки! А ведь дело-то все одно же. Что за тридцать, что за три,— работа все та же!.. Дурак и даст пожалуй тридцать, коли богатый, а не богатый, или который порассудительней, плюнет, да ко мне же придет. От того и дел этих у меня больше-с. Ястреб и высоко летает, да редко хватает, а курочка по зернышку клюет, да сыта бывает. Так-то-с!

Каржоль согласился, что три тысячи, конечно, немного, но беда в том, что сразу дать такую сумму он никак не может.

— Зачем же сразу?— Сразу не надо, я и не прошу сразу!— убедительно принялся уговаривать его Малахитов.— Что я хриstopродавец какой, что ли, чтобы взять человека за горло и душить?!. Я же ведь понимаю,— всякий дает по силе своей возможности: может человек сразу — прекрасно-с! не может,— и пречудесно! Все равно, частями получим в рассрочку.

Граф сознался, что это для него самое удобное.

— Ну, все конечно-с удобнее! еще бы!.. Сначала на подъем дела, на посошок, что бы ходчее шло, вы, разумеется, выдадите мне малую толику, рублишек эдак триста, пятьсот даже, коли не трудно, а там — по мере течения, сами будете видеть. Где нужна подмазка, там подмажем, но в меру, без баловства, и все это, даст Бог, кончим-с миром, благородно, по-божески, как следует.

Каржоль был внутренне в восторге.— Вот сговорчивого человека судьба послала! Не человек, а просто клад!.. Ни к кому больше и ехать не стоит,— с ним кончать сейчас же!

И он протянул Малахитову руку в знак своего окончательного решения, даже предложил задаток, если тому угодно.

— Зачем же задаток?— Это излишне-с, отказался деликатно старец.— Мы все это оформим законным порядком,— пояснил он.— Сначала между собой условьице заключим-с, вы мне установленную доверенность выдадите, затем прошеньице по пунктам составим, вы его представите в консисторию,— вместе пойдем,— там его в очередь подвергнут рассмотрению-с и составят постановление о начатии дела, равно как и о вызове супруге вашей к заслушанию прошения вашего, ну, и так далее, по порядку-с. А при подписании условьица, вот вы мне тогда сотняжки три-четыре пожалуετε,— это я не откажусь, потому тут сейчас же кое-какие расходы будут.

Каржоль, удивляясь в душе нелюбостыжательности Малахитова, охотно согласился на его предложения и только просил как можно скорее начинать и еще скорее кончать всю эту консисторскую процедуру.

— Хе, хе, хе! Раньше срока не кончим,— пожал плечами старец.— Всякому овощу свое время, говорится,— так и тут: пошлют супруге через полицию позывную повестку, к заслушанию то есть,— ну, а она может и уклониться, конечно; медицинское свидетельство представит,— вот и заковыка-с!.. Глядь,— неделя, другая и уплыла, а дело пока стоп!.. Затем иерея пошлют еще, и к вам, и к супруге-с.

— Это зачем еще?— удивился граф.

— А как же-с? Непременно иерея! Без иерея нельзя, таков порядок, потому как он должен увещевать вас пастырским словом своим, чтобы склонить стороны к миру. Ну, вы тогда, конечно, сейчас же царя Алексея Михайловича ему в руку — красненькую то есть,— знаете, по докторски, при пожатии; он и отрепортует в консисторию, что увещевал, мол, и склонял, но стороны остались, упорствуя в закоснении своих враждебных чувств. Вот тогда уж и пойдет настоящий процесс! Вызовут свидетелей, потом супругу-с для законных возражений с ее стороны, очной свод им сделают, те будут уличать, она отрицать и, быть может, даже своих собственных свидетелей выставит,—ну, тогда уже мы возражать будем, в дополнение-с. Потом судоговорение,— тут уж вы только на меня смотрите и делайте то, что я вам заранее укажу,— все хорошо будет!.. Ну-с, а затем, консистория постановит свое определение-с; недельки через полторы нам его объявят в окончательной форме, и тогда-вот мы вас поздравим и выпьем, пожалуй, вкупе по бокальчику-с. Вот, дело-то и в шляпе будет. Чудесно-с!..

И на этом Каржоль расстался с ним — до скорого свидания, совершенно успокоенный, уверенный в успехе, полный самых радужных надежд на будущее и как нельзя более довольный своим «специалистом». Судьба как будто начинает опять ему улыбаться, счастливая талия снова идет ему в руку.

### **XXXV. «СУДЬБА» ОПЯТЬ СТАВИТ БАРЬЕРЫ**

Через три дня формальное условие и доверенность были уже составлены Малахитовым и подписаны графом у нотариуса, а еще через три дня он, вместе со старцем, представил прошение свое в консисторию, и дело пошло обычно практикуемым порядком.

Прошло дней двенадцать. Каржоль за все это время успел уже совершенно войти в свою нормальную колею, вполне приспособился к условиям новой своей жизни и к «нумерному режиму» Амалии Францевны, шутил и забавлялся в одинаковой мере и с нею, и с ее попугаем: попугая дразнил и переучивал с немецкого на французский язык, против чего всегда восставала хозяйка, в качестве прирожденной тевтонки, а перед самою тевтонкой в шутку вздыхал сантиментально и не без тонкого комизма отвечал порою на ее кокетничанье, что не мешало ей, однако же, принимать это в несколько серьезную сторону и питать про себя некоторые сладкие надежды. Словом, он обжился в «шписовских нумерах»,

сделался там как бы своим, человеком, даже принимал, при посредстве Амалии Францевны, платоническое участие в интересах и быте своих соседей и соквартирантов, то есть, попросту, слушал о них ее разные сплетни, в особенности «пикантного» характера, с удовольствием пил по утрам «Milchcaffé», читал «Петербургскую газету», чтобы быть au courant новостей дня и репертуара, «фриштыкал» вместе с Fraulein Amalia, затем где-нибудь фланировал до обеда,— и этот беспечный и дешевый образ жизни даже очень ему понравился. Препрежних знакомств своих он пока еще не возобновил, не желая стесняться перед бывшими приятелями нынешнею своею «номерною» обстановкою, но не удержался, чтобы несколько раз за эти дни не побывать и в «Ливадиях», и в «Аркадиях», и в «Демидронах»,— нельзя же без того: сердце не камень, да и что иначе делать в Петербурге летом!

Беспечно сидел он однажды после завтрака у себя в комнате, просматривая по «Петербургской Газете» дневной репертуар загородных театров и раздумывая, каким образом убить бы ему сегодня свое время до обеда, как вдруг в его дверь постучались. Он пригласил войти,— и на пороге, к удивлению его, оказался запыхавшийся от высокой лестницы Малахитов.

— Ассинкрит Смарагдович! Драгоценнейший гость! Какими судьбами?! Что скажете, почтеннейший.

— Да что, батюшка, скверно-с!— вздохнул тот, хлопнув себя об полы руками. Физиономия Каржолья недоумело вытянулась.

— Что такое?— спросил он упавшим голосом.

— Заковыка-с!.. какой и не чаяли,— вот какая-с!

— Да в чем дело?.. Не томите, Бога ради, говорите прямо!..

— Я и то прямо-с. Ея сиятельство, супруга-то ваша-тю-тю!..

— Как тю-тю?!— вскочил Каржоль с места, точно ошпаренный.

— Так-с! На месте жительства не оказалась,— объявил старец, обтирая фуляровым платком со лба обильную испарину,— послали эта ей из консистории позывную повестку, а участковый пристав возвращает ее вдруг вчера с сюрпризом, надписью на сем же: «отмечена такого-то числа выбывшею за границу». Вот-те и свечка!

— Да быть не может!— воскликнул взволнованный Каржоль.— Это какая-нибудь увертка!.. Непременно увертка, не иначе!

— Я и сам так думал,— подхватил Малахитов,— я и сам-с, а потому сегодня же утречком, желая удостовериться, самолично поскакал к ним, то есть к ее-то сиятельству, на квартиру, на площадь Большого театра. Был-с!

— Ну, и что же?

— Никаких сомнений. Я было и за старшего дворника, и за швейцара, и за книгу даже домовую — покажи-ка! для убеждения совести, знаете,— ну, и никаких! В Париже-с. Уехали еще в мае, квартиру за собой оставили, и раньше как к концу сентября не будут.

—Что-ж теперь делать?— воскликнул в истинном отчаянии Каржоль, в конце пораженный и ошеломленный этим ужасным для него известием.

—Ждать!— развел руками Малахитов.— Что ж тут больше?.. Ничего не поделаешь!

—Ждать... да если невозможно ждать!..

Вам-то ждать хорошо, а каково мне!.. Я к осени непременно — поймите вы,— не-пре-менно должен быть разведен, от этого вся судьба моя зависит!.. Если нужно денег — возьмите, пожалуйста, я не постою за этим, только Бога ради не затягивайте!.. Нельзя ли как-нибудь без нее порешить?

— Без ее сиятельства-с?— Невозможно. Об этом и думать нечего.

—Разве не может быть постановлено заочное решение?

—Заочное?— Что вы помилуйте!.. Ведь это не у мирового судьи-с! Тут должны быть в самой точности соблюдены все формы и требования закона, дабы обвиняемой стороне предоставлено было право самоличной защиты. А иначе, святиший синод не утвердит решения. Это так не делается-с.

Каржоль в отчаянии схватился за голову и заходил по комнате. Что ж теперь делать? Боже мой, что делать ему?! До осени.— Шутка ли, терять задаром столько времени!.. А осенью нагрянет Тамара, и процесс совпадет как раз с ее приездом... Как он будет изворачиваться тут перед нею? Чем отговариваться? Придется опять затягивать, откладывая со дня на день свадьбу.— Но какие же причины представит он в оправдание этой затяжки? Поневоле ведь она может усомниться в нем наконец, подумать, что он отлынивает и только морочит ее. Господи, да что ж это такое?!

Малахитов, как мог, принялся было утешать его и представлять свои «резоны», что дело, мат, от этого нисколько не пострадает, и что осенью, чуть только супруга препожалует сюда, ее сразу же привлекут, и тогда уже не отвертится! А он, со своей стороны, постарается повести дельце как можно энергичнее, на всех парах, и в заключение все будет бесподобно.— Но что могли значить все эти «резоны» и утешения добрейшего Ассинкрита Смарагдовича пред внутренними соображениями Каржоля, которыми не мог же он откровенно и, так сказать, наголо с ним делиться!

В это время вошла в комнату кухарка-чухонка и подала графу письмо со штемпелем городской почты. Но тот, в пылу своей острой озабоченности досадным оборотом обстоятельств, не обратив внимание на штемпель, и только неприятно удивился,— кой-черт еще вздумал нехстати присылать ему письма? Откуда это и от кого принесла нелегкая?— Быстро сорвал с досадой конверт, он пробежал письмо глазами и просто остолбенел от внутреннего ужаса. «Третьего дня», прочитал он, «я приехала в Петербург и, справясь в адресном столе о вашем адресе, спешу уведомить, что последнее письмо ваше было получено мною в Сан-Стефано незадолго до моего отъезда. Если желаете видеть меня и переговорить, назначьте время, я буду ожидать вас.

Самым удобным местом для нашей встречи, мне кажется, могла бы служить приемная зала нашей общины, в здании которой я и живу теперь временно. На всякий случай, прилагаю адрес общины. Тамара.»

«Этого только недоставало!»—мысленно воскликнул Каржоль, опуская обессилившие руки. «Той нет, эта прискакала!.. И какой странный, холодный тон письма, сухость какая-то,— даже не похоже на Тамару, точно бы это совсем другая женщина пишет! Поразительно даже!.. Что бы это значило? Гневаться изволит? Но нет, каким образом, вместо осени, и почему это вдруг теперь она прискакала? Неужели же вследствие его последнего письма?— Очевидно, не иначе. Да, гневаться изволят, но прискакать не замедлили.— Ах, и дернула же его нелегкая поторопиться с отправкой этого несчастного письма!.. Это черт знает что такое!.. Сунуться в воду, не спросясь броду, не справясь сначала здесь ли Ольга, не начавши бракоразводного дела, не сообразившись со своим положением,— то есть, глупее, смешнее, мальчишнее поступить было невозможно! И все это наделал он — он, считающий себя таким умным, таким тонким человеком!.. Какая неосторожность! какой жестокий промах!.. Ну, и что ж теперь?— Надо отвечать, спешить на свидание, лгать, притворяться, изображать собою счастливейшего смертного, когда у самого кошки скребут на сердце... Отвечать... Что отвечать?.. А не ответить — еще хуже: зная адрес, она, пожалуй, сама прискачет к нему завтра, послезавтра,— не все-ль равно, когда!— каждую минуту может, хоть сейчас!.. Нет, тут остается одно: бежать, бежать, скорей из Петербурга, бежать сегодня же, пока она не успела еще накрыть его. Куда?— все равно! Хоть в Москву.

«Да, в Москву! Это — идея!— И там, в Москве, выждать событий. Из Москвы, обдумав хорошенько, он может дать ответ Тамаре. Можно будет уверить ее, что письмо ее уже не застало его в Петербурге и было переслано ему квартирной хозяйкой в Москву, куда он накануне вечером должен был выехать экстренным образом, по крайне важному для него делу,— ну, и так далее, там уже что-нибудь придумаем.»

«Да, это так. Ничего иначе не остается, и надо ехать сегодня же.»

«Судьба, как видно, ставит ему новый барьер, но он через него перескочит.— Он не сдастся! En avant, sapristi!.. и нечего больше раздумывать!»

Малахитов все время молча «пристойным образом» следил за Каржолем и замечал про себя, что с ним как будто творится «нечто неподобное»: должно быть, получил еще какую-то загвоздку,— даже в лице переменялся. Но «вопрошать» его он не считал «благоуместным» и потому делал вид, будто ничего особенного не замечает, хотя самому, в душе, очень хотелось бы знать, для разных своих «приватных» соображений, что случилось и что за письмо получено графом?

Но граф начал первый, и тем отчасти удовлетворил его молчаливому любопытству, объявив, что вследствие этого письма, должен сегодня же ехать в Москву. Сколько времени придется там пробыть,

— пока и сам еще не знает; но во всяком случае просит почтеннейшего Ассинкрита Смарагдовича устроить через какого-нибудь подходящего человека наблюдение в доме графини; если неравно ей вздумается вернуться раньше осени, то чтобы знать это тотчас же.— И тогда, как только она приедет, вы сейчас же давайте мне знать телеграммой,— и я немедленно же явлюсь.

— Что ж, это возможно,— охотно согласился Малахитов.— Самое лучшее, через местного околоточного: им-то, в участке, это будет сейчас известно, и они не умедлят. Можно будет пообещать за это... поблагодарить... Это легче легкого- с, будьте покойны!

— Значит, я в надежде?— протянул Каржоль ему руку.— А пока извините, многоуважаемый!.. Некогда, надо торопиться.

По уходе Малахитова, граф сейчас же отправился к Амалии Францевне и объявил ей о своем отъезде. Та даже руками всплеснула: «Mein Gott, ist es möglich?!»— но он утешил ее, что уезжает по экстренному делу не на долгое время, и даже часть вещей своих оставляет у нее,— значит, это может служить ей ручательством за его скорое возвращение; комнату его, если хочет, может пока сдать, чтобы не стояла даром, но по приезде, он опять займет ее, непременно ее же. А главное вот что: если на сих днях будет кто-нибудь его спрашивать,— кто бы ни пришел, мужчина ли, дама ли,— говорить всем, что граф еще вчерашнего числа вечером (число заметьте! не перепутайте!) уехал экстренно в Москву и велел все письма, какие будут, тотчас же отправлять к нему в гостиницу Дюссо,— это, мол, его московский адрес,— и одно-де такое письмо уже отправлено. Не забудьте же, главное, что уже отправлено, нынешнего числа; как только было получено, сейчас же и отправили.— Понимаете?— А если спросят, когда граф будет назад, отвечать, что неизвестно. Так и прислуге всей приказать, чтобы хорошенько запомнили. Амалия Францевна, хотя и с сердечною грустью (Ах! могла ль она не грустить!..) примирилась с мыслью о необходимости временно расстаться с таким прекрасным жильцом и дала ему слово исполнить в точности все его распоряжения, а затем даже сама пошла помогать ему укладываться.

В тот же день, захватив с собой лишь один чемодан с бельем и костюмами, граф с курьерским поездом уехал в Москву. Слава Богу, критическая минута пока миновала! Авось он и совсем избежит ее!

### **XXXVI. НА РАСПУТЬИ**

Напрасно прождав два дня ответа на свое письмо, Тамара — как ни претило ей это, но нечего делать — решила отправиться сама в «шписовские номера», чтобы отыскать там Каржоля или узнать, по крайней мере, причину его странного молчания. Да и надо же было наконец объясниться с ним положительным образом, чтобы выяснить себе, во-первых, целый ряд недоумений,



невольно вызванных в ней его последним письмом, полученным ею в Сан-Стефано, а затем узнать от него что-либо определенное и насчет их предполагаемого общего будущего. Последняя задача в особенности казалась ей неприятною, неловкою (точно бы она сама навязывается ему!), но Тамара надеялась, что, вероятно, сам граф облегчит ей эту тяжелую задачу, заговорив первый о своих намерениях и шинах. Если свадьба, то когда же именно? Узнать относительно этого что-нибудь ясное и точное было ей необходимо, потому что хотя она и пользуется теперь гостеприимством общины, но оставаться в таком неопределенном положении продолжительное время, жить как бы «на хлебах из милости», не вступая в штат общинных сестер и тем, быть может, отымая место у какой-нибудь другой кандидатки из числа ожидающих, как манны небесной, открытия штатной вакансии,— казалось Тамаре не совсем удобным и справедливым. Она еще в Сан-Стефано заявляла начальнице и некоторым другим сестрам, что пребывание ее в общинном доме будет непродолжительно, лишь на первое время, пока она не устроится иначе. Поэтому, если свадьба не может почему-либо состояться в скорости, то ей надо немедленно же подумать, как именно устроиться в ожидании дальнейшей перемены своей судьбы. Все это, думалось ей, может быть решено только после объяснения с графом, и потому последнее представлялось совершенно необходимым теперь же.

В «шписовских нумерах» прислуга ей сказала как раз то, чему научил Каржоль хозяйку пред своим отъездом. Впрочем, услышав из своей комнаты, что чей-то незнакомый, молодой женский голос спрашивает графа Каржоля, Fraulein Amalia не утерпела, чтобы тотчас же не выскочить в коридор самой и не посмотреть из любопытства, а отчасти и из ревнивого чувства, кто спрашивает и зачем.

Тамаре стало очень досадно, когда она узнала от самой Fraulein Schpiess день и число отъезда графа,— досадно потому, что день этот совпал как раз со днем и даже чуть не с часом отправления к нему ее письма,— точно бы судьба нарочно устраивает им игру в прятки! Она сюда, он отсюда! Что за странная случайность!.. Но ей было утешительно, по крайней мере, узнать, что письмо ее, полученное в «нумерах» будто бы на другой день утром после его отъезда, было немедленно же отправлено к нему в Москву, как и все вообще письма, получаемые на ее имя. Славу Богу, хоть не пропало, и теперь ей можно быть уверенной, что оно дошло по назначению,— стало быть, граф не может не ответить, и ответ его, по всей вероятности, не замедлится: она получит его не сегодня-завтра. На вопрос о времени возвращения графа в Петербург, Fraulein Amalia согласно данной ей инструкции, не ответила ничего определенного: может быть скоро, а может и нет, смотря по тому, как дела позволят, так как он сказывал-де, что уезжает по очень важным и экстренным делам. Что же касается его московского адреса, то Тамаре показалось, что замывшаяся хозяйка как будто затрудняется или даже просто не хочет сообщить его,— зачем-де надо вам адрес?

— Понятно, затем, чтобы писать к нему.

— Aber alle Briefe kann man hier adressiren,— они все равно зайчас переслайт nach Moskau, к каспатин грааф.

Такая уклончивость показалась Тамаре странною и даже несколько подозрительною,— точно бы Каржоль от кого-то и зачем-то скрывается. Да не менее странным показался и самый тон, каким говорила с нею эта наштукатуренная и подрисованная особа со взбитою прической,— тон недовольный, подозрительный, двусмысленный какой-то, как будто она считает ее Бог знает за кого, или даже ревнует ее к Каржолю, и это тем более чувствовалось, что во все время разговора в прихожей, Fraulein Schpiess не переставала пытливо оглядывать Тамару довольно неприязненным взглядом. Тем не менее, эта последняя уже с некоторою настойчивостью «попросила» сообщить ей адрес Каржоля. Но та все-таки продолжала уклоняться под тем предлогом, что если граф будет отвечать ей на письмо, то, конечно, сам не преминет сообщить и свой адрес, коль скоро найдет это нужным. Это было совсем уже глупо, как и вообще все объяснение с нею немки, совершенно выходявшее из рамок инструкции, преподанной Каржомем: но Fraulein Amalia добросовестно вообразила себе, что она оберегает этим его интересы и спокойствие, так как он, уезжая, в особенности внушал ей, что, быть может, его будет спрашивать какая-то дама, и — почему знать,— уже не от этой ли самой дамы он и уехал так поспешно и такой взволнованный? Может быть, она его преследует и, может, поэтому-то ей вовсе не следует знать его адрес? Между тем, такая странная скрытность квартирной хозяйки, женщины, казалось бы, совершенно посторонней графу, еще более усилила подозрение Тамары, что отъезд его последовал неспроста, что Каржоль действительно находит нужным скрываться. Но от кого — от кредиторов? от евреев? Этого не может быть: по его словам, единственным кредитором его был ее дед, которому уже уплачено все сполна, как сам же он писал ей, а с Украинскими и «Товарищескими» евреями все дела и счета его тоже кончены, и опять-таки сам же он, в том письме своем, сообщал ей, что теперь он свободен, что ему незачем насиловать себя и скрываться и что поэтому он пишет ей совершенно открыто. Ведь это же его подлинные слова,— так от кого же и зачем ему прятаться? Уж не от нее ли самой? Больше, казалось бы, не от кого, и в особенности здесь, в Петербурге. А может быть, он и вовсе не уезжал отсюда?.. Может, он здесь,— даже и в эту самую минуту здесь, за стеной, за этою вот дверью, и только заранее, на случай ее прихода, велел сказать ей — именно ей, что уехал?.. Может, он почему-то не желает видеться с нею? Но в таком случае, зачем же ему было писать к ней в Сан-Стефано!.. Или эта немка все врет сама от себя? Зачем, с какой стати? Из ревности разве? Она смотрит так, как будто и в самом деле ревнует ее к Каржолю. Это еще что такое?!— И Тамара должна была сознаться самой себе, что изо всей этой путаницы ее собственных предположений, в связи с этим скрываемым адресом и вообще каким-то сторожким по отношению к ней поведением этой разрисованной особы, выходит что-то странное, совсем непонятное.

— Разве это такой секрет, его адрес?— с удивлением спросила она.— Или вам не приказано сообщать его?

— Нээт, эти не зекрэт, и граф не приказил, нишиво не приказил... Aber warum brauchen sie das?.. Bitte, Mamsell, sind sie eine Verwandte des Herrn Grafen, oder etwas... так только?

Оставив последний, довольно наглый вопрос без ответа, Тамара вынуждена была наконец высказать ей, что если граф точно в Москве, то скрывать его адрес более чем странно и совершенно бесцельно, так как ей достаточно послать запрос о нем открытым письмом в московский Адресный стол, чтобы через день получить его официально; но это будет только лишняя проволочка времени.

Однако умная Fraulein не вразумилась и этим аргументом. Не находя, что ответить, она только оглядела еще раз Тамару неприязненным ревнивым взглядом и, величественно повернувшись к ней спиной, удалилась, не дожидая ее ухода, в свою комнату.

Не добившись никакого толку, Тамара ушла из «шписовских номеров» расстроенная, раздосадованная и в полном недоумении, что все это значит и что теперь ей делать? Во всем поведении Каржоль относительно ее, казалось ей, было что-то загадочное. И в самом деле, это его молчание, длившееся чуть не год и неожиданно прерванное последним письмом, эти странные оправдания, какими оно наполнено, и теперь вот этот внезапный, совпадающий как раз с ее приездом, отъезд его в Москву по каким-то «делам» (и все-то у него «дела», везде «дела и дела»... Что это за «дела» такие?) это скрыванье своего адреса (Тамаре вспомнилось, что и в последнем письме своем он тоже не сообщал его) и, наконец, эта странная, двусмысленная какая-то ех-красавица с ее ревнивыми, наглыми взглядами и неприличным нахальным тоном, которая нашла уместным быть как-то настороже при объяснении с нею, точно бы это в ее интересах скрывать, где граф находится,— да что ж это такое?! Во всем этом чувствуется какая-то темная и, быть может, не совсем-то хорошая подкладка. Люди с чистыми делами и чистой совестью едва ли так поступают. Уже в письме его чувствовалось ей недоговоренное, как будто он что-то скрывает от нее, и теперь вот опять скрыванье чего-то и от кого-то. Зачем все это? И что такое, наконец, этот граф Каржоль, в самом деле? Каков его нравственный облик?

Тамара даже сама смутилась от этого своего вопроса, еще впервые поставленного ею пред собою так жестко, с такою беспощадною наготой и прямолинейностью. Правда, явился он у нее в минуту большого огорчения своею неудачей и под влиянием гневной досады на графа и на всю неприятную, подлую сцену, какой она только что подверглась «в номерах», но тем не менее, уже явился — вот что важно в перипетиях ее чувства и отношений к Каржолю,— граф сам довел ее до этого.— По крайней мере, за самую возможность подобного вопроса она не себя, а его упрекнула.

И вспомнился ей тут Владимир Атурин в минуту последнего их свидания в сан-стефанском госпитале, когда она сообщила ему о своем

отъезде в Петербург для предстоящей вскоре свадьбы; вспомнились его слова: «Да знаете ли вы, наконец, человека-то этого? хорошо ли знаете его?»— слова, горячо и невольно вырвавшиеся у него из сердца. Но увы!— она сама остановила его тогда, сказав, что если раз уже решилась на такой шаг, то ничего больше знать ей не следует. Этими своими словами она отрезала себе отступление. А ведь Атурин, по всей вероятности, знал что-нибудь про графа такое, что могло бы еще вовремя остановить ее. И она захотела этого, она предпочла отвергнуть собственное счастье с дорогим любимым человеком, чтобы «платить старый долг» и, во имя этого долга и данного слова, изломать себя всю до корня и идти до конца на неизвестное. На кого же пенять теперь, как не на самое себя!— И вот, это «неизвестное» уже начинает развертываться перед нею, и она стоит пред ним, точно бы на каком-то распутьи, в темную ночь, не зная, куда идти, на что решаться и что будет далее.

По возвращении ее в общинный дом, швейцар подал ей телеграмму, полученную в ее отсутствие.— Неужели от Каржолья?— подумалось ей с несколько тревожным чувством в душе, как словно бы она уже не ожидала от него для себя ничего хорошего. Вскрыв ее тут же на нижней площадке лестницы, Тамара прежде всего взглянула на подпись,— там стояло «Каржоль».

«Рад несказанно приезду», писал он.—«Какая досада, что лишен возможности сейчас же возвратиться в Петербург. Крайне важные, нетерпящие дела призывают немедленно в Кохма-Богословск, потом во Владимир, Нижний, может быть, Пермь. От этого все зависит. Умоляю не беспокоиться, ждать терпеливо и верить по-прежнему. Как только кончу, прилечу тотчас. До свидания, дорогая».

Известие это несколько успокоило Тамару.— Стало быть, граф действительно в Москве, и ей не солгали в «нумерах», утверждая то же самое. Это обстоятельство дало ей справедливый повод тут же упрекнуть себя за свою чересчур уже подозрительную, мрачно настроенную мнительность. Из телеграммы видно, что он вовсе и не думает скрываться, как вообразилось ей вдруг с чего-то!— напротив, поспешил откликнуться тотчас же, и так тепло, так обрадованно. Что ж, может быть, и в самом деле, выдалась такая случайность, что ему пришлось уехать как раз накануне, тем более, что не мог же он святым духом знать о ее приезде! Судя по сан-стефанскому письму, он ведь рассчитывал на ее возвращение не раньше осени, вместе с другими сестрами. А дела,— что ж, быть может, и взаправду дела эти так важны, что их невозможно бросить. Быть может, от них зависит все его будущее благосостояние. Во всяком случае, она слишком поддалась впечатлениям своей досады и слишком поспешила осудить его — может быть, даже не заслуженно. А отчего? Не оттого ли, что уже не любит его больше по-прежнему и не прочь бы отделаться от него? Это гадко. В этом ей стыдно сознаться самой себе, но это так. И теперь, если заглянуть поглубже в ее душу,— не рада ли она для этого придирается ко всякому подходящему случаю?

Не готова ли всякую свою досаду и неудачу, как и сегодня вот, вымещать на Каржоле и выискивать в нем, ради своего собственного оправдания, всякие слабости, недостатки, пороки, упрекать и винить во всем его, и только его, тогда как, в сущности, не сама ли она больше всех виновата: Нехорошая-то, выходит, она сама, потому что в глубине души ей хочется, вместо Каржоля, видеть своим мужем Атурина. Темная-то подкладка, вот она где!— не в нем, а в ней самой, в ее собственном, охладевшем к нему сердце. А он, может быть, все еще любит ее и верит в нее по-прежнему, и бьется, как рыба об лед, с этими своими «делами» из-за того только, чтобы устроить их же обоюдную будущую судьбу, чтобы для нее же, для «своей Тамары», доставить больше удобств и спокойствия в обеспеченной жизни. А она? Всю дорогу от Сан-Стефано до Петербурга, вспомнила ли она хоть раз о нем без затаенной горечи и желчи, без смутного страха за предстоящее свидание с ним и за надвигающуюся все ближе и ближе развязку, в виде неизбежной свадьбы, которую она была бы рада отдалить как можно больше? Нет, с самой минуты разлуки и до сегодня она думала и скучала только об Атурине, только его образ царил в ее воспоминаниях,— и это готовясь быть женою другого!.. И после этого она смеет еще себя оправдывать! Нет, она не права, глубоко не права пред Каржолем, и потому обязана искупить свою вину, если бы и потребовалось для этого принести себя в жертву. Что же делать, когда обстоятельства, по-видимому, слагаются так, что судьба ее — хочешь, не хочешь — должна быть связана с этим человеком!.. Надо примириться,— этого требует долг и честь ее и, наконец, по отношению к Каржолю — просто человеческое чувство справедливости.

Так думала теперь Тамара после телеграммы и рассчитывала, что эта телеграмма, вероятно, не будет последнею, что вслед за нею, конечно, придет подробное письмо, которое граф не преминет написать ей при первой возможности, и, наконец, что отсутствие его не должно быть продолжительным, особенно, когда он уже знает, что она в Петербурге. Поэтому Тамара положила себе последовать совету и просьбе самого же Каржоля и ждать спокойно его возвращения, тем более, что пристанище обеспечено ей пока в доме общины.

\*\*\*

Но вот прошло уже около двух месяцев. Сентябрь стоял на исходе, а между тем, о Каржоле, после его телеграммы,— ни слуху, ни духу! Опять словно в воду канул. Чем дальше шло время, тем сильнее становилось скрытое беспокойство Тамары пред неизвестностью о своем будущем. Маленькая искорка чего-то, вроде веры в Каржоля, вспыхнувшая было в ее душе после его отклика из Москвы, опять понемногу угасла в ней под наплывом сомнений, недоверия и даже злобы на этого человека, так бесцеремонно играющего ее судьбою. Да черт с ним, наконец! Что она за дура такая, чтобы вечно убаюкиваться его сладкими словами и обещаниями и покорно ждать редких проявлений его внимания,

когда-то еще будет ему угодно оказать ей такую благосклонность!.. Да, права была сестра Степанида, когда советовала «плюнуть» на него и не думать больше об этом браке, в котором, как видно, ничего путного не будет... Вот и опять пропал, опять упорно молчит, не пишет... Уже не опять ли какие-нибудь зимницкие интенданты да Мариуцы причиной тому?— Ведь недаром же писали тогда в газетах.— А она жди, как покорная овечка, пока соблаговолят о ней вспомнить! Нет, конечно! Пора взяться за ум, пора самой самостоятельно подумать и позаботиться о своей судьбе. Изо всей этой канители, очевидно, ничего не выйдет. И позаботиться надо теперь же, не теряя ни одного дня, потому что в общине получено уже официальное извещение, что сестры, командированные на Балканский полуостров, должны прибыть сюда в непродолжительном времени, и в доме все уже готовится к их приезду и встрече. Тамаре, стало быть, придется уходить. Оставаться в общине, памятуя интриги «партии» и придирки старшей сестры, ей не хотелось: в этом отношении довольно с нее и сан-стефанийких испытаний! Да и самолюбие не позволяло оставаться.— Как! они опять увидят ее здесь и не замужем, после того, как она, пред отъездом своим, объявила всем, что не останется в сестрах, и раз-благовестила об ожидающей ее свадьбе?— Нет, это невозможно. Подумать только, сколько предстоит ей встретить язвительных взглядов, улыбочек, удивлений и притворных сожалений, сколько новых сплетен и пересудов!.. Нет, этого она переносить не намерена и постарается уйти ранее их приезда.

Но как и куда уйти?— вот вопрос. К кому обратиться за советом и содействием.

Прежде всего ей вспомнилась высокая восприимчивая ее от купели. К ней разве?— Чего же ближе, казалось бы, и тем более, что она так добра и встретит свою крестницу, конечно, благосклонным образом. Но тут взяло Тамару некоторое раздумье. Великая княгиня и без того уже сделала для нее все, что было в ее возможности: помогла ей средствами, одела, обула ее, устроила ей обеспеченную жизнь в общине. С чем же придет Тамара к ней теперь, с какой просьбой, и что скажет на самый естественный вопрос: почему вы не хотите оставаться в общине? Разве там так нехорошо?— Ну, и что ж отвечать на это?— Да, нехорошо, мол, потому что там завелись партии, дразги, сплетни, интриги, отравляющие все существование, то есть, другими словами, нажаловаться ей на общину, на старшую сестру, на добрую старушку-начальницу. Да разве это благовидно! И разве ее высокая покровительница не вправе будет посмотреть на нее самое как на первую интриганку и каверзницу, которая поторопилась забежать к ней ранее приезда прочих? А если скрыть настоящую причину своего нежелания оставаться в общине, то чем же тогда объяснить его? Неспособностью к делу?— Об этом и заикнуться странно было бы после такого опыта в течение целой войны. Желанием перемены места и деятельности, желанием большей свободы и самостоятельности?— Но ведь тогда великая княгиня, конечно, взглянет на это как на вздорный каприз, не более, и будет совершенно права со своей точки зрения,

потому что если живут в подобном положении другие сестры — и сколько еще!— живут и не жалуется на свою участь, а делают добросовестно свое скромное дело, то чего же ей-то еще нужно!? Что она за феникс такой?!— Живи, как другие, благо тебя устроили, дали приют и кусок хлеба, и возможность честно работать,— чего ж еще больше?.. И в самом деле, с какой стати и с какого права пойдет она обременять свою высокую восприимчивую лишними заботами о себе, когда у той и без нее довольно дела? Не слишком ли это будет притязательно и даже дерзко с ее стороны?— Нет, и так и сяк, это дело не подходящее. Надо искать другого пути. К кому же? К отцу Александру, который крестил и наставлял ее в вере?— О, да, с его стороны она несомненно встретит полное к себе сочувствие, он сумеет раскрыть-всю ее душу, вызвать ее на полную откровенность, и у него наверное найдется для нее живое, теплое слово утешения и христианской любви; все это так; но он — что же может он сделать для нее, кроме как только посоветовать смирить себя и оставаться в общине! А в общине она уже ни за что не останется,— нет, самолюбие и гордость ее в этом случае сильнее. И если бы даже отцу Александру и удалось уговорить ее, то это будет лишь на время: жизнь возьмет-таки рано или поздно свое! И что же тогда?— Интриги и мелкие дразги пойдут своим чередом, а самолюбие и гордость ее возопиют снова и, кроме новых путей и новых нравственных мучений для нее впоследствии, из этого ничего не выйдет. Нет, оставаться в общине нельзя, это уже решено,— и надо, стало быть, искать исхода самостоятельно. У нее остается еще около сорока рублей из выданного ей в Сан-Стефано пособия; с этими деньгами можно, пожалуй, перебраться, хоть на первое время, на частную квартиру, нанять себе за дешевую цену маленькую комнатку со столом в каком-нибудь скромном семействе, на Выборгской или на Петербургской, и публиковаться в газетах. Ведь у нее есть диплом об окончании курса в гимназии первою ученицей, с золотою медалью,— неужели с таким веским дипломом не найдется для нее где-нибудь места домашней учительницы, гувернантки? Она может, наконец, быть приходящею и давать уроки в разных домах, по часам, или заняться перепиской, корректурой, переводами,— ведь она так хорошо знает языки,— стоит только обратиться в редакции, в типографии, в конторы, в банки, в комиссионерства,— не там, так тут наверное найдется что-нибудь подходящее.

\* \* \*

Почти в таком же положении, как Тамара, временно пребывала с нею в общинном доме и другая доброволица, Любушка Кучаева, поступившая в «Красный Крест» на время войны и работавшая вместе с Тамарой в сан-стефанском госпитале. Она возвратилась в Петербург тоже «на поправку», вследствие перенесенной болезни, но приехала несколько позднее Тамары и была помещена пока, до приискания себе места, в одной с нею комнате.

Кучаева не принадлежала к «партии», и потому отношения между обеими сожительницами были добрые, товарищеские. Общность нынешнего своего неопределенного положения поневоле сделала их откровенными между собою и заставила сочувствовать друг дружке и делиться предположениями и планами насчет устройства собственной жизни. Скромные планы эти не выходили из тесного круга забот о том, как бы и ще бы получить подходящее место, которое давало бы маленький кусочек хлеба. Кучаева была вообще гораздо практичнее Тамары, в некотором роде «кулак-девка», несравненно больше ее потерлась в жизни, вкусив от древа познания добра и зла и, как прирожденная петербуржанка из сословия разночинцев, хорошо знала условия здешней жизни и общее положение «мыслящего пролетариата». Кроме того, она сумела сохранить еще от времен своих «медицинских курсов» кое-какие отношения и связи в круге профессоров и дам-патронесс из разряда свободомыслящих.

В конце сентября, вернувшись однажды вечером из «города» и едва успев войти в комнату, Любушка радостно объявила Тамаре

— Ну, милочка, поздравьте меня — местом раздобылась!

— Да?— приятно удивилась та.— Поздравляю!.. Где же и какое место?

— В Бабьегонском земстве; еду фельдшерницей в уезд... Триста в год жалованья и казенное помещение при больнице. Отлично!

— Ну, слава Богу! Душевно рада за вас!— горячо пожала ей руку Тамара.

— Мерсишки!.. Если хотите, я и вам могу устроить?— весело предложила Любушка.

— Да что вы говорите?!— с недоверчивым, но радостным удивлением отозвалась Тамара.

— Ей-Богу!.. Да что же? Ведь, главное, себе-то самой уже обработала, а теперь и для других, значит, можно. Отчего не помочь хорошей товарке!.. Желаете?

— Еще бы!.. Но ведь вот беда только,— я не держала экзамен на фельдшерницу, а без диплома не возьмут, пожалуй?

— Да я и не приглашаю вас непременно в фельдшерницы,— им нужны и сельские учительницы, а это вы ведь можете.

— Это-то могу; но расскажите, голубушка, толком: как и в чем дело?

И Любушка «толком» рассказала ей, что еще в те годы, как училась на медицинских курсах, ее облюбовала и стала принимать в ней особенное участие некая дама-филантропка, Агрипина (по просту Аграфена) Петровна Миропольцева, которая в то время почему-то особенно специализировала себя по части курсов и курсисток. У этой Агрипины очень большой и крайне разнообразный круг знакомства, который она при случае, и эксплуатирует в пользу «учащейся и нуждающейся молодежи». Любушка, по старой памяти, объявилась к ней еще в один из первых же дней по прибытии своем в Петербург,— прямо с заявлением, что очень-де нуждается в месте,



и та обещала ей раздобыть что-нибудь подходящее. А теперь вот приехали в Петербург Бабьегонский предводитель и председатель земской уездной управы, тоже знакомые Агрипины, и Агрипина сейчас же воспользовалась ими, чтоб устроить Любушку,— ну, и устроила. А Любушка, видя, что дело ее уже слажено, закинула Агрипине доброе словцо и за свою приятельницу Тамару,— нельзя ли, мол, заодно уже и для нее что-нибудь у этих господ наладить?— Агрипина порасспросила у нее, кто и что такое Тамара, при чем Любушка, конечно, дала о ней наилучший отзыв,— и та обещала похлопотать, но выразила желание наперед лично познакомиться с Тамарой.— Так вот если желаете,— предложила в заключение Любушка,— отправимтесь вместе хоть завтра же, я вас представлю.

Выслушав все это, обрадованная Тамара не знала, как благодарить свою сожительницу и, конечно, ухватилась за ее предложение. Если бы только это удалось, то лучшего исхода, казалось ей, желать пока невозможно.

На другой же день, к трем часам пополудни, обе они поехали к г-же Миропольцевой.

### **XXXVII. СВОБОДОМЫСЛЯЩАЯ ФИЛАНТРОПКА**

Роскошная квартира в солидном казенном доме. Внизу — представительный швейцар в официальной ливрее «ведомства»; в прихожей — пара серьезных, прилично выбритых, форменных курьеров с медалями на шее. Приемная в строго выдержанном официальном стиле, с солидной мебелировкой на счет казны — как и вся квартира, впрочем,— и с надлежащими портретами в массивных золоченых рамах. Из каждого угла так и веет нагоняющею холод министерскою атмосферой. Все это невольно нагнало холод и на Тамару, возбудив в ее душе незнакомое ей доселе жуткое чувство не то страха какого-то, не то сконфуженности пред чем-то совершенно ей неизвестным. Под подавляющим впечатлением всей этой обстановки и по естественной аналогии с нею,— эта самая дама-патронесса вообразилась Тамаре особою неприступною, гордо величественною, которая непременно должна обдавать холодом своего величия каждого приходящего к ней, и потому девушка уже заранее испытывала некоторый страх перед нею и опасение как за самое себя, так и за предстоящую аудиенцию: каково-то сойдет эта аудиенция и понравится ли сама она столь важной даме, уже наверное «аристократке», каких она еще и не видывала. Но холод ощущений от всей этой внушительно импонирующей обстановки несколько смягчился для нее звуками рояля, доносившимися в приемную откуда-то из внутренних комнат. Звуки эти все же вносили сюда отголосок как будто иной, более живой и теплой жизни. Тамара обратилась было к ливрейному «министерского вида» лакею, с просьбой доложить о них генеральше. Но тот, очевидно, давно уже привыкнув к подобным посетительницам, не счел даже нужным утруждать себя лишним хождением к барыне.

— Пожалуйте, барышни, просто! К ним и без доклада можно,— пригласил он их с фамильярно благодушною ухмылкой и открыл дверь.

Любушка Кучаева, с уверенным видом освоенного в доме и привычного человека, бойко повела Тамару через несколько комнат прямо в кабинет хозяйки.

— Очень рада познакомиться!— встав из-за рояля, преувеличенно ласково и с деланною простотою протянула эта последняя обе руки навстречу Тамаре.— Э, да какая вы хорошенькая!— воскликнула она вдруг, весело вглядываясь в черты лица девушки.

Та невольно смутилась от неожиданности такого приветствия.

— Право!— подтвердила, как бы ободряя ее филантропка. Здравствуйте, Кучаева, садитесь. Хотите чаю?

И не дожидая ответа, она нажала пуговку электрического звонка и приказала вошедшему человеку подать чайный прибор и печенье.

Это была очень эффектная особа лет сорока, с припудренными волосами и лицом, сохранившая еще свою красоту и эластичность форм, очень живая, бойкая и одетая хотя и по-домашнему, но с чисто парижским шиком. Впрочем, наружность ее и манера держать себя напоминали скорее кокетку «de la haute volée», чем петербургскую «сановницу».

Кабинет ее тоже представлял смесь кокеточного изящества и роскоши с претензией на интеллигентную деловитость. Множество разных «bijouteries» и «petits riens», иногда и с немножко скабрёзным оттенком, прелестно уютные, укрытые уголки, располагающие к грешным помыслам и сладострастной неге, а с другой стороны — чисто департаментские папки и картонные ящики, с наклеенными на них крупно печатными надписями, вроде «по переплетной артели», «по дешевым столовым и ночлежным приютам», «по обществу покровительства женскому труду» и т. п. На изящных книжных полках и кое-где по столам — весь перец современной французской порнографии вперемежку с новейшим соком российской либеральной и радикальной эрудиции — по большей части, с надписями от авторов. Тут красовались, как бы небрежно и невзначай, но не без тщеславного умысла, положенные на вид книжки и брошюры, с бьющими в нос заглавиями, как например «Экономическое худосочие» г. Щелкунова, с надписью «Хорошему человеку, А.П. Миропольцевой, от автора»; «По чужим альковам», роман Сержа Недопрыгина, с надписью «От автора-поклонника»; «Социология в связи с биологией и психологией и ее методические особенности» профессора Глагольцева, и то же с надписью «Единомышленнице»; «Порабощение русской женщины», и опять-таки с какою-то авторскою надписью; «Успехи женской самостоятельности», «Руководство к упражнениям на трупе», «Оплодотворение и дробление животного яйца по современному состоянию науки», «Проституция от древнейших и до новейших времен» и т. п., и все с надписями более или менее комплиментного и лестного свойства. В сюжетах картин, висевших по стенам, тоже выражалась двойственность направления и симпатий хозяйки дома:

с одной стороны, Леда, сладострастно замирающая под крыльями лебедя, и раздетая восточная одалиска в гареме, с другой — как верх торжества российского «художественного» реализма,— Христос в образе жидовина-заговорщика, «Отравившаяся курсистка» и паршиво-плюгавый мужичонка, казнящий что-то на ногте.

— Вы ведь еврейка?— обратилась вдруг хозяйка к Тамаре, усаживаясь против нее на свою излюбленную восточную кушетку.

— По происхождению, да,— подтвердила девушка, опять невольно смутившись от такого неожиданного и, в глубине души, не совсем-то приятного ей вопроса.

— Ужасно люблю евреев!— заявила вдруг филантропка, не без расчета, вероятно, польстив этим Тамаре.— Чрезвычайно даровитая, талантливая нация!.. И притом в выражении их лиц есть что-то одухотворенное, какая-то щемящая нотка затаенного внутреннего страдания и страсти. Ужасно мне это нравится!.. У меня есть много друзей между евреями,— да вот хоть бы Шефтель. Вы знаете Шефтеля?— Он в консерватории, ученик еще, но что за талант!.. Я в его пользу концерт устраиваю, и знаете, чем я была занята перед вашим приходом?— обратилась она к Кунаевой.— Разбирала его «Marche funebre» на смерть Нечаева.

— Разве Нечаев умер?— удивилась та.

— Нет, но это все равно. Прелестная вещь! Мне даже больше нравится, чем его «Русская Марсельеза». Вы не слыхали его «Марсельезу»?— спросила она Тамару.— Нет?..

О, это пробел в вашей жизни, большой пробел! Хотите, я вам сыграю: *Vraiment, c'est une chose admiradle!*— Сколько Плеска, силы, сколько этого *entrain!*.. Так и поджигает вас невольно!..

И вскочив с кушетки, она живо пересела за рояль и бойко, с экспрессией разыграла жидовско-русскую марсельезу, а затем, заодно уже, стены ее казенной квартиры огласились и туками марша на будущую смерть Нечаева, с которым она тоже сочла нужным познакомить своих посетительниц.

— И какая он прелесть!.. Я вам покажу его карточку.

И опять сорвавшись с места, Агрипина Петровна взяла с шмаленного разными кипсеками стола большой альбом и показала в нем Тамаре кабинетный портрет молодого жидочка с откинутаю назад и всклокоченною гривой, который, позируя перед фотографом, явно старался придать своей физиономии артистически вдохновенное выражение.

*Quelle beaute! quelle exspression poetique! n'est ce pas?..* Минутами я просто готова в него влюбиться, в особенности когда он играет... О! надо видеть его, когда он играет! Это будущий Рубинштейн, наша гордость, наша слава, но только он гораздо развитей Рубинштейна, и я давно уже прошу моего друга Сквасова написать о нем критический этюд в газетах.

А ни обратите внимание на этот альбом?— перескочила она к новой мысли, адресуясь к Тамаре.— Это замечательный альбом. Мне, во-первых, поднесли его в знак признательности ученицы организованной мною

переплетной артели, а во-вторых, в нем собраны все мои лучшие друзья. Между ними вы найдете немало знаменитостей — из людей порядочно мыслящих, разумеется,— иных я сюда не пускаю.

— Ах, кстати!— неожиданно повернулась филантропка к Кунаевой— Вы, кажется, хотели видеть карточку Веры Засулич,— могу вам показать ее, мне вчера добыли из Третьего Отделения. Что вы так взглянули на меня?— перекинула она вдруг глазами на Тамару.— Это что про Третье-то я упомянула? О, у меня и там есть знакомые!.. Это, знаете, не мешает, а притом же, в настоящее время и там не без честно мыслящих людей,— это ведь не прежние времена! Я даже место там доставила одному молодому человеку и тем спасла его от надзора полиции.

— А вот, я покажу вам редкость!— Этим можно похвастаться!— порывисто кинулась вдруг, ни с того ни с сего, Агрипина в другую сторону, к своему письменному столу, и сняла с него синий бархатный альбом в изящной бронзовой отделке.— Это книга автографов. Здесь у меня собраны *des pensees, des maximes, des vers et des souscriptions* разных политических и литературных знаменитостей,— вот, полюбуйте-ка!

Тамара из вежливости начала перелистывать альбом — и перед ее глазами запестрила вереница самых разнообразных имен, подобранных более или менее в одном направлении, впрочем, не без исключений и в пользу «противного лагеря», если таковыми являлись действительные, общепризнанные знаменитости. Тут попеременно между собою, самым неожиданным, иногда просто курьезным, образом сталкивались имена Виктора Гюго и Сержа Недопрыгина, редактора-издателя Цюцюлевича и прусского министра Путкамера, Поля Касаньяка и публициста Щелкунова. Далее следовали сочетания вроде Тургенева с Альфонсом Ротшильдом и придворного пастора Штеккера с Сарой Вернар, или Гладстона с известною каскадною певицей Терезой и с начинающим еврейским поэтиком Шкловским, расчеркнувшимся под стихами:

«Вседержитель, Ты не прав,  
Ненавидя человека!»

Или вот имена Феликса Пиа, Рошфора, Луи Блана и вдруг епископа Дюпанлу, а затем, известной Луизы Мишель под афоризмом «*Ni Dieu, ni maitre!*» и имя Поля Деруледа под экспромтом:

Po ur combat a outrance —  
Vive la Russie et la France!  
En avant, tous les deux bras a bras!  
Et mille fois Hourra!!!

А там уже, далее, шли Сальвини, Клячко, Бебель и Либкнет, Верди, Леон Гамбетта, Понсон-дю-Терайль, Зорилья, Парнель, Менотти Гарибальди, «генерал» Ключере и проч. и проч. Было, между прочим, и несколько имен русских эмигрантов, вроде Драгоманова и Ткачева, подписавшихся под отрешенною фразой: «И охота вам, право, напускать сюда столько буржуйной сволочи!»

Было и несколько русских «сановников», чином не ниже тайного советника, удостоенных, впрочем, этой чести за свое строго либеральное направление, и только «Prince Gortchakoff», подписавшийся под каким-то отменно тонким, дипломатически комплиментным максимом, явился оригинальным исключением между ними. Хозяйка не без самодовольства поспешила заявить, что это все ее «друзья» и знакомые, и Тамаре стало понятно, что погоню за всеми этими «именами», выпрошенными, быть может и не без назойливости, по большей части во время шатаний непоседливой Агрипины по разным «заграницам», она устраивает только ради удовлетворения своему собственному тщеславию,— дескать, и я, стало быть, то же «знаменитость» и, в некотором роде, «политическая величина», если дружна со столькими «celebrities» целой Европы!

— Ну, что?— заговорила, между тем, филантропка с Кунаевой,— вы, поди-ка, рады, что отделались наконец от всех ваших больных и раненых?.. Ах, кстати, о раненых! Вы знаете, на днях мне очень удалась подписка в их пользу,— ей-Богу!.. Навязали было мне ее из «Красного Креста»,— ну, отказаться неловко, конечно, а только уж какая теперь подписка! Сами согласитесь, раз война кончена, кому какое дело до раненых?! Но вот тут-то и пришла мне счастливая идея: в прошлый вторник (это день, который я— нечего делать!— отдаю непроизводитительно моим светским знакомым) я объявила всем моим гостям, что выделяю голубую гостиную из числа остальных комнат и открываю доступ в нее желающим только за особый налог в пользу раненых, по пяти рублей с индивида или по десяти с каждой пары, но зато с правом вести там без цензуры самые вольные разговоры, которые в остальных комнатах воспрещаются под страхом штрафа, тоже в пять рублей. И что же вы себе думали?— в один вечер собрала со штрафами более ста рублей!— Вот что значит остроумная идея!.. И знаете, я хочу отныне постоянно применять этот метод и к другим нашим сборам.

Тамара, между тем, покончив с альбомом автографов и думая про себя, когда же-то наконец заговорит филантропка с нею о деле,— рассеянно перевела глаза на висевшие против нее картины. Агрипина сейчас же это заметила.

— Ах, вы любуетесь на моих любимцев!?!— обратилась она к ней, не dokonчив рассказ о счастливом проекте будущих сборов.— Это, можно сказать, шедевры русской школы, и мой друг Сквасов от них в восторге. Это вот— Христос, работа нашего знаменитого Фэ. Вглядитесь, какая могучая экспрессия и сколько глубокой, современной мысли в сюжете, сколько реализма при этом! Он, знаете, пропагандирует совершенно новую идею «Христа» в живописи,— это гениально!.. А этого мужичка— это мне подарил мой друг Брюквин... Тоже ведь какая сочность кисти и какова смелость замысла! Мурильевский «Мальчик с собакой» перед этим, по-моему, ничего не стоит!.. А вот это— «Курсистка», работы моего приятеля Взьерошенко... Вообще, у меня и картины, книги, и ноты,

большую часть, все от самих авторов, и все с их подписями. Такую коллекцию, могу с гордостью сказать, у нас, в матушке-России, в этой «великой Федоре», как любит называть ее мой милейший Благосветлов, вы не в каждом доме встретите.

В это время вошедший человек доложил о приезде какой-то светской знакомой г-жи Миропольцевой.

— Преси!— Вот прескучная и препустейшая баба!— с безнадежным вздохом подняв глаза к небу и как бы покоряясь печальной необходимости принимать эту «бабу», отрекомендовала ее Агрипина своим посетительницам, хотя тем до нее было столько же дела, как до китайской императрицы. Вместе с этим она несколько натянуто поднялась с места, давая понять им, что теперь они могут удалиться.

— Мне Кучаева говорила, что вы желали бы места сельской учительницы?— обратилась она уже на ходу к Тамаре.— Я думаю, это можно будет устроить. Да вот что: приезжайте послезавтра вечером; я напишу к нашим Бабьегонцам, чтобы они тоже были, и сведу вас. Это мы в два слова обрабатываем.

Тамара едва успела поблагодарить, как Агрипина Петровна, уже не обращая на нее внимания, с приятнейшей улыбкой и чуть не с распростертыми объятиями бросилась навстречу входившей гостье.

\* \* \*

— Ну, как она вам показалась?— спросила Любушка, уже выйдя на улицу.

— Да как вам сказать!.. Странная какая-то. Толком ни о чем не расспросила, а натрещала с три короба, и все только о себе,— точно бы ей хотелось не столько со мной познакомиться, сколько себя показать,— на, мол, смотри, какова я, и восторгайся!— Вот уж никак не ожидала, что такие аристократки бывают!

— Э, милочка, какая же она аристократка!— просто дурында, которою нашему брату при случае надо воспользоваться. Вы думаете, она все это по убеждению?— Вовсе нет! Какие там убеждения!— Игра в бирюльки, и только.

И Любушка при сем удобном случае рассказала всю, так сказать, подноготную своей давнишней покровительницы.

Единственная дочь и наследница воронежского прасола, шибко разбогатевшего на крупных казенных подрядах и потому возмечтавшего, что и он тоже может со своим суконным рылом пролезть в баре, Аграфена или Грушенька, обратившаяся тогда в Agrippine, а впоследствии в Агрипину Петровну, получила «блестящее», по тогдашнему времени, домашнее образование, а затем окончательно отшлифовалась уже в Париже. Тятенька мечтал было выдать ее не иначе, как за князя, или, по крайней мере, за графа, а она, после Парижа, будучи уже довольно зрелой девой, предпочла по каким-то соображениям выйти просто за господина Миропольцева, человека уже пожилого, но с известным «весом» и «положением» по службе. И господин Миропольцев оказался для нее самым удобным мужем,

потому что ни в чем ее не стеснял, и сама она нисколько им не стеснялась. Всегдашнею и самую заветной мечтой Агрипины Петровны было попасть ко двору; но когда супруг ее достиг наконец такого служебного положения, которое давало ей право быть туда представленною, то ко двору ее почему-то не приняли. Это ее крайне взбесило, огорчило и обозлило, так что с досады она и ударилась в «опозицию» и сразу сделалась великой либералкой,— только поэтому. Да и время к тому же было самое удобное для всяческого либерализма. Отсюда и все ее фрондерские бравады, и все это покровительство «учащимся» и «протестующим». Она задалась целью создать себе из этой игры в оппозицию громкое общественное «имя», не по служебному положению мужа, а свое собственное, самостоятельное и независимо от его карьеры и — сколь ни дурашна сама по себе—до известной степени добилась-таки этого. А допустить бы ее ко двору, все это фрондерство завтра же как рукой сняло бы, и она сделалась бы «plus royaliste que le roi»,— в этом не может быть никакого сомнения. И на сколько теперь ее интимный кабинет служит резервуаром всяких придворных сплетен, сенсационных слухов и пикантных анекдотов насчет высших сфер, так этот же самый кабинет при изменившихся обстоятельствах, мог бы служить палладиумом для всяких проектов насчет «спасения России» и охранительных мероприятий,— ибо от одного только никак не могла бы отказаться Агрипина,— это от игrania выдающейся «политической» роли в том или другом направлении. Это уже ее натура, темперамент, и ей непременно надо во что-нибудь путаться, совать свой нос и агитировать так или иначе. Детей у нее нет и не было, а потому роль «общественной деятельницы», при таком темпераменте, самая для нее подходящая, и она хлопотливо делит ее в своих досужих недосугах между попечениями об «учащихся» и своих мопсиках. Супруг Агрипины Петровны, в чине тайного советника, занимал очень важный пост в министерской иерархии ведомства юстиции и являл собою тип совершенно высохшей кабинетной мумии, чиновника-доктринера, так сказать, обросшего мохом либеральной благонамеренности и заморозившегося на «священной неприкосновенности» судебных уставов 1864 года, в редакции коих он принимал некогда, как член комиссии, самое деятельное и «плодотворное» участие. Гости его супруги, по большей части не были его гостями; о большинстве ее знакомых он не имел даже понятия, кто они и что они?— даже по фамилиям не знал их и потому почти никогда не выходил к ним. В то время, как в ее гостиной и столовой стоял шум, гам и дым коромыслом от разных педагогичек, фребеличек, «учащихся» и «протестующих», он уединенно сидел в своем деловом кабинете за «текущими» бумагами, и если делал когда исключения, показываясь в гостиной, то это только для «особ первых четырех классов», посещавших время от времени салон его супруги, да для хорошеньких женщин, которым поклонялся чисто платонически,— иначе, впрочем, он теперь и не мог бы,— и это нисколько не возбуждало ревность его супруги. Напротив, она сама даже охотно заботилась о том, чтобы доставлять ему

при случае такое невинное развлечение. Будучи сама красивою женщиной, она— что очень редко в женщинах,— не завидовала красоте других и не стеснялась ею; она даже любила, чтобы ее гостиная блистала хорошенькими женщинами, если только они не чересчур уже «prudes et bigotes», любят «поврать» и позволяют за собой ухаживать.

### **XXXVIII. СРЕДИ «УЧАЩИХСЯ» И «ПРОТЕСТУЮЩИХ»**

Приехав в назначенный вечер к Агрипине Петровне, Тамара застала ее в столовой, во главе длинного, сервированного для чая, стола, за которым сидело несколько, более или менее случайных и сбродных, гостей: без них же не обходилось у Агрипины ни одного вечера, если сама она оставалась дома. Нет-нет, да кто-нибудь и набезит на «огонек». От этого, в составе ее ежедневных, незваных и неожиданных гостей, за исключением только вторников, всегда оказывалась довольно странная смесь, «одежд и лиц, племен, наречий, состояний», так что нередко сама она не знала, как быть с такими разнополюсными противоположностями, в особенности, когда, в качестве хозяйки дома, ей вдруг представлялась необходимость оградить какого-нибудь почтенного тайного, хоть и либерального, советника, или какого-нибудь совершенно приличного светского снобсика, из числа ее поклонников, от бестактных и грубо задирчивых выходок кудластого семинара Нерыдаева, назойливо язвительного технолога Подкаретного или «непримиримой» девицы Цыбиковой.

Такую же «смесь одежд и лиц» застала здесь и Тамара, которую хозяйка представила всем своим гостям сразу, отрекомендовав ее «девицей Бендавид», из наших. Эта последняя прибавка несколько смутила девушку, так как она не знала, отнести ли ее к своему еврейскому происхождению, как ничем невызванную дерзость, или же к ее предполагаемому свободомыслию, что было бы неправдой, рядя ее в чужие перья. Заметив это смущение и домекнувшись по нем о своем промахе, хозяйка, чтобы загладить его и ободрить свою гостью, поспешила оказать ей особое внимание и любезность, усадив ее подле себя, на первое место.

Между гостями, в свою очередь названными хозяйкою Тамаре, находилось несколько «педагогичек», «фребеличек», «медичек», напоминавших скорее дохлых семинаристов или мордастых кантонистов в юбках, чем женщин, и те же неизменные «завсегдатели» этого дома, Нерыдаев и Подкаретный,— оба в красных кумачевых косоворотках, серых «спинджаках» и высоких сапожищах — затем, жидок-пианист Шефтель, «зжнамечный» автор «Русской Марсельезу», и стриженная, сивовласая и сизоносая девица Цыбикова, лет уже под пятьдесят, которую Агрипина почему-то сочла нужным познакомить с Тамарой отдельно, прибавив, что «имя ее вам, конечно, известно», и лестно аттестовав ее при этом «нашей русской Луизою Мишель».

— А вы из каких будете?— тут же, с места, приступила



эта «Луиза» к Тамаре.— Из учащихся, или просто из протестующих?

— То есть, как это?— немножко смешалась та.— Я, pardon, не совсем понимаю вопроса?

— Девица Бендавид — сестра милосердия,— поспешила пояснить за нее сама хозяйка.— Всю войну выдержала на Балканском полуострове, недавно только вернулась...

— Ах, это из сердоболок, значит!— мотнула головой «непримиримая» и, находя, что этим весь дальнейший интерес к Тамаре для нее исчерпан, немедленно же повернулась в другую сторону.

Тут же, в числе гостей, находились еще какой-то министерски-приличного вида тайный советник «с апломбом и с весом» и приглашенные нарочно ради Тамары бабьегонские земцы,— предводитель Коржиков и председатель управы де-Казатис. Первый из земцев являл собой мягкую фигурку вечно улыбающегося, неопределенных лет, человечка, похожего на тушканчика или вообще на какого-то грызунка, из числа тех молодежово-бесцветных белобрысеньких людей, о которых говорится, что маленькая собачка до старости щенков; второй же был сухощавый, но коренастый и несколько сутуловатый старик, с большими южными глазами и целою копной сиво-курчавых волос на большой голове, который говорил обо всем не иначе, как резким, крикливым голосом и с резкими энергическими жестами, в совершенную противоположность тайному советнику, приличные манеры коего отличались замечательной сдержанностью, а тихий и ровный голос издавал отчетливые звуки с некоторым придыхательным шипением, точно бы он внутри ехидно злорадствует чему-то. Двум бабьегонским земцам Тамара была представлена тоже отдельно, с пояснением, что это та самая девица, с которой Агрипина уже познакомила их заочно. Оба поэтому отнеслись к ней очень любезно.

Все гости,— мужчины и женщины,— за исключением тайного советника и де-Казатиса, напропалую пыхтели нарочно поставленными для них «хозяйскими» папиросами, отчего над столом стояло уже целое облако табачного дыма, и с аппетитом кушали чай из стаканов с тартинками и филипповскими калачами. С этими последними, в особенности, технолог Подкаретный распорядился «очень просто», разрывая над лотком руками цельный калач, хотя это гораздо удобней и опрятней можно было бы сделать ножом, и отправляя его к себе за щеки большими кусками. Закончив свой стакан чая, он сейчас же принялся за сливки и стал хлебать их прямо из молочника, делая это, очевидно, нарочно: по-вашему, дескать, оно неприлично, а мне «наплявать!»

Тамара застала продолжение какого-то общего разговора, прерванного на минуту ее появлением.

—Вы говорите, немцы,— возобновил тот же разговор тайный советник, обращаясь к де-Казатису,— что ж из того, что они нам угрожают?

— Как что?— горячился земец.— Не успели кончить одну войну, как придется начинать другую?

— И прекрасно-с, я очень рад!

— Да что-ж тут прекрасного?! Помилосердствуйте! —Отхватят от нас Остзейский край, Литву, Польшу, Украину...

— И прекрасно-с, пускай отхватят. Чем скорей, тем лучше.

— Да я вовсе не желаю быть под немцем!

— Напрасно-с. Под немцем, по крайней мере, порядка больше будет, культуры больше, и общество получит известные правовые гарантии, которые уравниют нас наконец с Европой.

— Да мы, молодое поколение,— мы этих гарантий и сами добьемся.

— Н-ну-с, это бабушка еще надвое говорила. Бисмарк вам даст их скорей, чем Тимашев.

— Да ведь это же, однако, новое разоренье для народа, для платежных сил! Подумайте,— шутка сказать, война! И без того уже бедствуем! У нас вон земство второй год зерно на обсеменение полей покупает!

— И прекрасно-с, и прекрасно-с!.. Пускай!.. По-моему, чем хуже, тем лучше,— по крайней мере, к развязке ближе.

Тайный советник, щеголяя своим отменным либерализмом, очевидно желал полебезить пред «молодым поколением», с целью понравиться наличным его представителям.

— Это петербургский взгляд,— возразил ему на последнюю фразу де-Казатис.— Мы, земское молодое поколение, желаем развязки, может, не менее вашего, но думаем осуществить ее иначе,— во всяком случае, без немцев.

— А вы, «дединька», тоже «молодое поколение?»— нагло бросил в упор ему неожиданный вопрос Подкаретный, явно издевающимся тоном, хотя видел его всего во второй или в третий раз в жизни.

— А вы как полагаете?— не смущаясь, ответил ему вопросом же ретивый земец, у которого, действительно, была хроническая слабость причислять себя к «молодому поколению», так что при каждом удобном случае, он непременно вставлял в свой разговор фразу «мы, молодое поколение», или «задачи наши, как молодого поколения» и т.п.

— Да вам сколько годков-то? Зубки прорезались? Покажите зубки!— пристал к нему Подкаретный.

— Годков?.. А вы как полагаете? Ну-тка?

— Ха-ха-а!.. Поди-ка, уже под семьдесят, коли не под восемьдесят?— Песок, чай, сыплется!.. Ась?.. Песочком-то подсыпаете?

— Годы тут ничего не значат, сударь!— обиженно заметил вскипятившийся земец.— Вас-то еще и в проекте не было у папеньки с маменькой, когда я уже был молодым поколеньем! Я всю мою жизнь принадлежал к молодому поколенью и всегда разделял все его лучшие стремления!

— Ха-ха-а! Стремленья!.. Это в своем-то земском курятнике сидя?

— В курятнике мы больше дела делаем и служим народу, чем иной недоучка-свистун в Петербурге!— с достоинством отрезал ему «дединька» и с недовольным видом круто отвернулся в другую сторону.

— Та-ак-с!— иронически ухмыльнулся срезанный технолог и, как бы не считая нужным спорить с ним далее, обратился через стол к хозяйке.

— Аграфен Петровна! Пляхните-ка мне малость чайку в стакашек!

Подкаретный знал, что она не любит, когда ее зовут Аграфеной, но потому-то именно и называл ее так, «чтобы позлить бабу». Он сделал себе, в некотором роде, специальность всех злить и всем говорить неприятные вещи; тем не менее, в данном кружке все терпели это, холопски побаиваясь его за язык и за совершенную беззастенчивость в словах и поступках, так как для него не существовало различия между позволительным и невозможным, честным и бесчестным, даже с кружковской точки зрения. И Подкаретный знал, что его побаиваются, и это поддавало ему еще более «форсу».

Агрипина Петровна только поморщилась, но все же очень любезно налила ему чаю и, воспользовавшись благополучным прекращением неприятного «incident» между ее «завсегдателем», и «дединькой», чтобы отвлечь мысли последнего в другую сторону, обратилась к нему с ласковым напоминанием своей давешней просьбы насчет Тамары.

— Как же, как же! Ведь вы уже говорили нам, не забуду-с!— отозвался ей земец.

— Да, так вот переговорите с ней самой,— предложила та, указав на девушку.

— Что ж, мы очень охотно! Вакансии у нас теперь есть,— повернулся он к Тамаре,— и если за вас ходатайствует сама Агрипина Петровна, то это выше всякого диплома; лучшей рекомендации нам и не надо. Мы, молодое поколение, должны поддерживать друг друга в служении общему делу,— это наша святая обязанность.

И вручив Тамаре свою визитную карточку с адресом гостиницы, где остановился, он предложил ей зайти к нему завтра, около часу дня, чтоб окончательно переговорить об условиях, подписать контракт и получить на проезд подъемные деньги. Все дело, как и предсказывала Агрипина, действительно, сладилось с двух слов, и девушка была необычайно рада этому. Теперь она, по крайней мере, может быть спокойна за свое дальнейшее существование и уехать в провинцию еще до возвращения сестер с Балканского полуострова.

### **XXXIX. ЧЕГО НИ ТА, НИ ДРУГАЯ НЕ ОЖИДАЛА**

В это время из кабинета г-на Миропольцева вышла в столовую молодая дама, вся в черном, на которую Тамара, занятая своими собственными мыслями, не обратила было в начале никакого внимания, тем более, что как-раз в эту минуту «дединька» турчал ей под ухо что-то такое насчет священных обязанностей молодого поколения, и она, глядя на него и думая о другом, машинально поддакивала ему только молчаливыми кивками.

— Ну, что, душечка, кончили?— участливо обратилась

Агрипина к подошедшей к ней даме.— Что он вам посоветовал?

— *Après!*—сдержанно ответила гостья и опустилась подле нее на свободный стул, рядом с Тамарой.

— Ах, вот позвольте вас познакомить,— представила их друг дружке Агрипина,— девица Бендавид,— графиня Каржоль де Нотрек.

При этом имени Тамара невольно вздрогнула и с недоумевающим удивлением подняла глаза на даму. Только теперь взгляделась она в черты ее лица и узнала.

Перед нею была Ольга.

— Господи!.. Тамара?! Да неужели это ты?.. Я тебя совсем не узнала... Как ты переменилась, однако, как возмужала,— совсем как будто другие черты, другое выражение!— говорила удивленная Ольга, протягивая ей руку и, вместе с этим, замаявшись на мгновение в нерешительности, ограничиться ли ей одним пожатием, или расцеловаться. Но она тут же мигом сообразила, что последнее, на всякий случай, будет, пожалуй, лучше,— и потому немедленно расцеловала ее, по-видимому, самым непритворным образом, как добрая, старая приятельница.

— Э, да вы, оказывается, знакомы и даже дружны?— удивилась в свою очередь хозяйка.

— Мы то?— Еще бы!... Мы с нею семь лет на одной скамейке в гимназии сидели! —как будто и в самом деле обрадованно, заявила ей Ольга.— Вот встреча-то!.. Ну, как и что ты? Какими судьбами? Расскажи пожалуйста,— я так рада!

— Постой,— вполголоса остановила ее побледневшая девушка, с трудом пересиливая в себе внутреннее волнение,— если я не ослышалась, тебя мне называли... графиней...

— Каржоль де Нотрек?— подхватила Ольга.— Да, ты не ослышалась, я замужем.

— Как?! За графом Каржолем?.. За которым же это?

— Да за Валентином,— за каким же еще?!

— За Валентином?— почти машинально повторила ошеломленная Тамара,— когда же это?

— О, уже скоро два года!— Вот, на днях будет. Разве же ты не знала?

Тамара побледнела еще больше и только могла отрицательно покачать головой.

— Ну, полно!— понизила и Ольга, в свой черед, голос до той степени, чтобы посторонние не могли слышать их дальнейшую беседу.— Уж будто ты не знала,— ты-то?

— В первый раз слышу,— почти шепотом, через силу проговорила Тамара, глядя какими-то странными, недоумевающими и удивленными глазами на свою старую подругу, точно бы вглядываясь в нее как во что-то совсем новое, неизвестное. Ольга со своей стороны, тоже окинула ее явно недоверчивым взглядом.

— Странно!— улыбнулась она раздумчиво,— а я была уверена, что тебе-то это ближе всех должно быть известно.

— Мне?.. Почему так?

— О, моя милая, если уж весь Украинск кричал о его

намерениях относительно тебя, то, согласишься, как же тебе-то не знать их? С кем же он мог быть более откровенен, как не с тобою?!

— Я тебя не понимаю,— недоумело проговорила Тамара,— в чем дело?., можешь объяснить мне?

— Мм... здесь неудобно. Если хочешь, пойдём в другую комнату. Pardon, chere!— обратилась она к Агрипине, вставая из-за стола.— Мы хотим немножко поговорить по душе со старою подругой.

И Ольга увлекла Тамару в один из уединенных, таинственно уютных уголков смежной гостиной, оставшейся пока совершенно свободною от посторонних свидетелей. Здесь, наедине, она могла говорить не стесняясь.

— Ведь ты же выходишь за него замуж,— напрямик и сразу высказалась она, следя по лицу девушки, какое впечатление произведет на нее эта, в упор брошенная ей, правда.

— Да, он делал мне предложение... неоднократно даже возобновлял его, даже недавно,— и я обещала. Но я не знала, что он женат, я и не подозревала этого!

— И ты это говоришь правду, Тамара?— серьезно и строго спросила Ольга.

— Убей меня Бог, если это ложь!— перекрестилась девушка.— Довольно с тебя?

— О! какой же негодяй, однако!— с негодованием воскликнула возмущенная Ольга.— Я думала, что он, по крайней мере, от тебя-то не скрывает правды, что вы вместе, с обоюдного согласия, идете к своей цели, а выходит,— ты такая же жертва его обманов, какою была и я в свое время. Но я за себя хоть отомстила: я заставила его жениться на себе, чтобы дать законное имя его же собственному ребенку.

— Ребенку?— удивленно повторила за нею Тамара, у которой только теперь начинали раскрываться глаза на истинное положение дела,— у тебя от него ребенок?.. Так это, значит, правда была — все, что болталось когда-то о ваших отношениях в Украинске?

— К несчастью,— вздохнула Ольга,— правда.

— И это все в то самое время, когда он и меня уверял в своей любви и вырывал из семьи?

— В то самое. Скажу даже более: в ту самую ночь, в тот самый час, когда он уводил тебя к Серафиме, я, не зная еще вашей истории, была в его кабинете, я пришла тогда сказать ему, что беременна.— Значит, клявшись тебе в своей любви и ломая всю твою жизнь, он уже знал это.

— Господи! Да что ж это такое?!— с чувством внутреннего омерзения и ужаса всплеснула руками Тамара.

— игра, мой друг, азартная игра, не более!— горько усмехнулась Ольга.— Ведь он игрок по натуре. Пока не было тебя, казалась ему и я выгодною партией: явилась ты со своими миллионами,— меня по боку, за тебя принял. Ему не мы, а наши деньги нужны, и только деньги, поверь мне.

— Да совесть-то... совесть-то где же?!

— Э, моя милая, что за наивность! Совесть!.. У таких людей это лишний груз, который они не задумываясь бросают за

борт. И неужели ж, ты думаешь, он в самом деле любит или когда-нибудь любил тебя?

— О, что до его любви,— махнула рукою Тамара,— я давно уже стала в ней сомневаться! И если ты видишь меня здесь, то это потому, что он подорвал во мне уже последнюю надежду и веру в нее. Я решилась лучше взять место сельской учительницы в каком-то Бабьегонском уезде, чем еще далее тянуть всю эту глупую канитель.

— Вот, признаюсь, тон, какого я от тебя менее всего ожидала!— удивилась Ольга.— Ну, и скажи мне откровенно, любишь ты его?

— Любила когда-то, но...

— Но после сегодняшнего вечера больше не любишь? Так что-ли?— с улыбкой подхватила Ольга, предполагая, что досказывает мысль подруги.

— О, нет!.. Сегодняшний вечер — это только последняя капля, переполнившая чашу. Я смущена, это правда,— да и как не смутиться пред таким сюрпризом!.. Но в то же время и рада,— веришь ли, счастлива даже, что все это кончается таким образом. Слава Богу! Теперь я, по крайней мере, вольный казак, цепей нет на мне больше!

И вызванная Ольгой на откровенность, Тамара в коротких словах рассказала ей всю историю своих отношений к Каржолу, начиная со встреч у Санковских и кончая его последнею московскою телеграммой. Она не скрыла и того, что поведение Каржоля давно уже начало казаться ей несколько странным, и что его продолжительное молчание и безучастие к ней, в связи с газетными намеками насчет его вовсе недвусмысленных отношений к каким-то актрисам, намного способствовали ее разочарованию в нем и даже постепенному охлаждению, тем более, что в это время встретился ей другой человек, более достойный, который полюбил ее, но которому она отказала, наперекор собственному сердцу, из нежелания нарушить слово, данное Каржолу, пока не убедится окончательно, что он не стоит такой жертвы. И вот теперь, благодаря встрече с Ольгой, она убедилась в этом. Теперь ей становится все понятно, все: и настоящая подкладка того письма его, что было передано ей в монастыре через келейницу Наталью, где он предупреждал и умолял ее не верить городским сплетням, приплетающим к ее делу одну из ее подруг; понятно и ответное письмо Сашеньки Санковской, полученное ею уже в Петербурге, после крещения, которое еще тогда заронило в ее душу первые сомнения в искренности Каржоля и в том, что не играет ли он с нею одну комедию, так как Сашенька сообщила, между прочим, о его интимных отношениях к Ольге, и даже о том, что Ольга от него «в интересном положении», чему, однако же, Тамара не хотела тогда поверить, имея в виду его первое письмо, и любя его, старалась рассеять в себе эти сомнения. Ей тогда казалось, что на него клеветают просто по людскому недоброжелательству или, еще скорее, из зависти к ней. Вспомнила она теперь и свою первую после годовой разлуки, встречу с ним на войне, в зимницком госпитале, когда он, вместо того, чтоб обрадоваться ей, сгарался прежде всего вызнаться,

помирилась ли она с родными, так как от этого-де зависит дедушкино наследство. Это наследство интересовало его более, чем ее чувство! Вспомнила и несколько странных, загадочных слов, сказанных им тогда же, по поводу письма Сашеньки, насчет Ольги, поведение которой в эпизоде ухода Тамары в монастырь он объяснил только ее эксцентричностью и психопатством, желанием приплести себя, ни с того, ни с сего к «интересной истории». А между тем, он в это время был уже ее мужем, отцом ее ребенка, и все это скрыл от Тамары. Теперь ей стала понятна и та изворотливость и недосказанность его оправдательного сан-стефанского письма, в котором ей невольно чувствовалось какая-то фальшь, полная умышленных, обдуманых умолчаний; понятно и все его странное молчание в течение стольких месяцев. Все эти мелкие детали, из которых каждая в свое время, бывало, так и резнет ее каким-то внутренним диссонансом, но которые затем более или менее сглаживались впоследствии и забывались в потоке его нежных и «честных» речей и в силе ее собственного чувства,— все это всплыло теперь в ее памяти и осветилось истинным, неподкрашенным светом. Совокупность всех этих, в отдельности, может быть, и мелких, обстоятельств ясно указала ей теперь, что главный интерес графа по отношению к ней заключался не в ней самой, а только в ее состоянии, добиться которого иначе как через женитьбу ему не было возможности, спомнилось ей, как ее деньги и наследство интересовали его еще до ухода ее в монастырь, как при ночном свидании с нею в дедовском саду, он старался убедить ее, что никто, ни дед, ни кагал не имеют права лишиться ее отцовского наследства, что напрасно она думает, будто кагал может секвестровать его, что при помощи наших знаменитых адвокатов, дело ее бесспорно и наверное будет выиграно ею. Да, эти расчеты на ее деньги проскальзывали у него еще тогда, сколь ни старался он их маскировать. Теперь все ясно, как ясно и то, что инсинуации одесской газеты насчет опереточных француженок, зимницких интендантов и Мариуцы были правдой. А если так, то, значит, он никогда не любил ее, и все его «пылкие» фразы и чувства были одним лишь притворством. Но только вот вопрос: будучи уже женатым, на что он рассчитывал, уверяя ее в сан-стефанском письме, что свадьба их состоится нынешней осенью? Неужели на вторичный брак от живой жены?

— Нет, гораздо проще: на развод со мною,— пояснила ей Ольга и рассказала при этом, что, возвратясь на прошлой неделе из Парижа, она была крайне озадачена, получив третьего дня через полицию консисторскую повестку по бракоразводному делу. Не зная, как быть и что с этим делать, она сейчас же кинулась посоветоваться к своему доброму другу Миропольцеву, как к замечательному и опытному юристу, и тот дал ей совет — прежде всего постараться самой повидаться с графом и уговорить его не делать этих глупостей, или узнать у него, по крайней мере, на каких основаниях ищет он развода? Ведь чтоб обвинить ее, нужны чрезвычайно веские юридические данные,— надо знать, что это за данные такие? Узнать же это можно и из его прошения, поданного в консисторию. А там уже, смотря по тому, что окажется,

будет видно, как действовать ей далее. Последовав этому совету, Ольга в тот же день узнала адрес графа и написала ему письмо, прося его приехать к себе объяснить по поводу затеянного им дела, а вчера была сама в консистории, где показали ей прошение; но прошение это самое ординарное, по обыкновенному шаблону, где он просто обвиняет ее в супружеской неверности на основании достоверных свидетельств, какие своевременно будут им представлены, в дополнение к прошению, а также просит о разводе и потому еще, что со дня их брака она живет отдельно от него, по собственному своему желанию, что может быть доказано и по документам. Таким образом, из прошения нельзя было почерпнуть никаких данных, и вся надежда оставалась лишь на личное свидание с графом. Сегодня утром он наконец был у нее.

— Так он здесь? — перебила ее удивленная Тамара.— Это значит, еще новая ложь! По московской телеграмме, я считала его или в Нижнем, или в Перми?

— Нет, он все время был в Москве, поджидая моего возвращения,— подтвердила ей Ольга,— Могу тебя уверить в этом на основании его же собственных слов.

— Господи, и зачем эти вечные враки, вечная путаница и замечание своих следов?!— с чувством брезгливого сожаления пожала плечами Тамара.

— Неужели непонятно: Просто, чтоб избежать преждевременной встречи с тобой и лишних объяснений в письмах,— для меня это так ясно!

И Ольга далее рассказала ей, что сегодняшнее свидание с графом прошло с его стороны без всяких сцен, даже в очень сдержанной и вполне приличной форме, но на все ее доводы и просьбы не подымать такого скандального дела он остался непреклонен, и когда наконец она объявила ему, что, по мнению опытных юристов, с которыми она-де советовалась, дело кончится ничем, так как у него нет и быть не может никаких фактических против нее доказательств, то он с торжествующей иронией возразил на это, что не угодно ли ей вспомнить про кое-какие свои письма,— не к нему, разумеется, а к человеку сердечно более ей близкому.

— Письма?— встrepенулась Тамара.— Кстати, ты получила прошлым летом маленькую посылку из армии?

— Из армии?— с удивлением переспросила Ольга.— Нет, ничего не получала.

— Как?!. Ничего?

— Решительно ничего. А в чем дело?

Тамара, с невольным движением внутреннего ужаса и досады на самое себя, схватилась за голову и закрыла лицо руками.

— Боже мой!.. Что я наделала! Что я наделала?!.. Теперь все понимаю... Это моя вина.

И она рассказала ей весь плевненский эпизод с Аполлоном Пупом, как он умер на ее руках в радищевском госпитале, как выразил ей свою предсмертную волю насчет Ольгина медальона и бумажника с ее письмами, и как ловко успел Каржоль на его похоронах выманить у нее этот бумажник,



прежде даже чем она успела развернуть его, и если он мог сделать тогда такую мерзость, то, нет сомнения, что сегодняшней намек его относится именно к этим самым письмам.

— Это было последнее наше свиданье,— прибавила Тамара,— и после того я уже не видела его больше, и даже от переписки со мной он себя уволил.

Весь этот рассказ глубоко поразил и до отчаяния взволновал Ольгу. Не говоря уже о том, насколько ей больно, что самые заветные ее письма попали вдруг в чужие руки — и в какие, к тому же! — но главное смутило ее то, что, заручившись такими фактическими доказательствами, граф действительно может рассчитывать на успех развода, и дело ее, стало быть, пропало!

— Нет! — энергично возразила ей Тамара, — не пропало!.. Мой был промах, мне и поправлять его. Письма эти должны быть возвращены тебе. Во что бы то ни стало! Я должна добиться этого, и добьюсь!

— Милая, — грустно усмехнулась Ольга, — неужели ты думаешь, он так легко расстанется с ними, если на этом строятся все его планы?

— Да, эти планы могли строиться, в расчете на мои деньги и мою слепоту, — согласилась Тамара, — но если я ему в глаза решительно и прямо объявлю, что никогда не буду его женой, — какой интерес для него тогда в этом разводе и на что ему письма?

— Как на что? — Не так, так иначе, он может всю жизнь шантажировать меня ими.

— Нет, я заставлю его отдать! — упрямо подтвердила ей возмущенная девушка. — Можешь ты доставить мне возможность видеться с ним?

— Возможность видеться... Но где же и как? — в затруднении пожалала та плечами.

— У тебя, понятно, и в твоём же присутствии. Ведь если он согласился быть у тебя сегодня, то ты могла бы найти предлог позвать его завтра.

— Да, но захочет ли он приехать?

— Напиши, что имеешь сообщить ему нечто крайне важное и экстренное по его же делу, заинтересуй его этим, и приедет.

— Попытаюсь, — согласилась Ольга и прибавила, что на всякий случай, все-таки зайдет сейчас еще раз к Миропольцеву сообщить об этих письмах, — может, он ей что и посоветует, — и затем они условились, что завтра Тамара заедет к ней от де-Казатиса, около двух часов дня, и чтобы к этому времени Ольга пригласила Каржоля. Если же он уклонится, то послезавтра — уж так и быть! — они сами отправятся вдвоем к нему на квартиру, а только письма, так или иначе, должны быть выручены. Это теперь долг чести для Тамары, ее ближайшая задача.

## XL. В ОЖИДАНИИ РАЗВЯЗКИ

В ней проснулась оскорбленная женщина. Она не могла простить Каржолю его притворства, этого чисто актерского и тирания своей роли при каждом свидании с нею, его систематически рассчитанных завлечаний ее, тогда еще столь неопытной и доверчивой девушки, этого двухлетнего дураченья ее своею любовью, этого снисходительного отношения к ней сверху вниз, точно к какой-нибудь ничтожной дурочке; не могла простить и его сознательного обмана с этою женитьбою, столь тщательно от нее скрываемой, и с этими письмами, которые были выманены у нее с такой иезуитской и шулерской ловкостью, тем более, что всеми этими поступками, как теперь уже вполне для нее обнаружилось, руководила одна лишь погоня за легкою наживой, стремление заполучить в свои руки крупный куш, употребив для этого ступенями двух женщин — ее и Ольгу. Но еще более не могла она простить ему того, что он так изводил и томил ее целые два года в лучших ее чувствах и побуждениях, что, оставаясь верною своему слову, она ради него пожертвовала не только своею семьею, но уже разочаровавшись в нем и разлюбив его, все-таки отвергла человека любимого, человека достойного, который мог бы составить ее счастье. Нет, этого простить нельзя! Тамаре хотелось бы теперь за все это мстить Каржолю, и если бы только представилась ей возможность отомстить ему нравственно, она исполнила бы это даже с величайшим наслаждением. Из-за чего, в самом деле, она столько выстрадала, столько намаялась своими тайными душевными муками, своими сомнениями, самоукорами и самообвинениями, своею тяжелою нравственною борьбою между сознанием долга по отношению к слову, данному Каржолю, и собственною любовью к Атурину? Из-за чего разбила и эту любовь, и свое, столь возможное, столь близкое счастье, а быть может и счастье любимого человека? Столько жертв, столько самоотречения, и для чего!— Чтоб убедиться в конце концов в одном лишь подлом обмане, и в недостойных эгоистических проделках своего бывшего «идеала»!.. Слава Богу еще, что все это открылось ей во-время! А что было бы, если о она уже стала женою Каржоля и узнала бы всю горькую правду только впоследствии? И вот, вместе с оскорбленно злобным чувством к этому человеку, она испытывала теперь и великую радость,— радость освобождения от нравственных пут, точно бы ее вдруг выпустили из мрачной тюрьмы на вольный свет Божий, радость сознания, что донесла свой крест до конца, что может теперь, как хочет, располагать своею судьбой, не насилуя себя во имя долга брачными узами с таким человеком, и что собственная совесть не сделает ей больше за него никакого упрека. Это нравственное ощущение возвратившейся к ней личной свободы и безупречной совести сказывалось в ней даже сильнее негодования против Каржоля, и оно все более и более вливалось в ее душу мир и успокоение. Бог не попустил ее совершить роковой, непоправимый шаг. Он видимо хранит ее, это — знамение Его великой милости,— да будет же Его святая воля!..

Но Ольгины письма, так или иначе, а все же должны быть выручены.

\* \* \*

Откровенно переговорив еще раз с Миропольцевым, Ольга вышла от него еще более успокоенною, чем давеча. Он разбил все ее страхи и опасения насчет писем, доказав, что для бракоразводного процесса, по действующим русским узаконениям, они не имеют значения в смысле непосредственной, прямой улики,— словом повторил все то, что высказывали в свое время и «сих дел специалисты» Каржолю. Но письма эти, по его мнению, все же не следует оставлять в его руках, потому что мало ли как могут воспользоваться ими, или он сам, или, через него, другие лица, с чисто шантажными целями! Могут даже из мести просто опубликовать их в какой-нибудь уличной газетке и тем компрометировать на весь мир ее доброе имя. Он подал ей мысль, что если на графа не подействуют никакие убеждения, то можно будет поугадать его Третьим Отделением и, в случае крайности, даже действительно обратиться туда за содействием; хотя такой путь и не Сочувственен, но... что же делать! А *coquin — coquin et demi!* Стесняться в подобном случае принципами нечего.

Успокоенная Ольга поэтому решила себе непременно воспользоваться помощью Тамары. Она была теперь очень довольна собою за свою сообразительность и такт, вовремя и кстати подсказавшие ей, что лучше встретиться с этою своею «соперницей» дружелюбно и как ни в чем не бывало, чем показать ей хотя бы тень того, что она против нее что-либо имеет. Благодаря такому дипломатическому маневру, Ольга по крайней мере узнала теперь очень важные для себя вещи, ознакомилась с истинным положением дела и даже приобрела в лице Тамары надежную союзницу. А встретиться она с нею холодно и сухо, всех этих важных шансов на ее стороне не было бы. Нет, она решительно призвана быть дипломаткой,— это ее прямая карьера!

Но обдумывая, уже у себя дома, как поступить относительно приглашения к себе Каржоля,— назначить ли ему такое время, чтоб он уже застал Тamarу у нее, или же объяснить с ним предварительно самой, *tete a tete*,— Ольга рассудила, что второе будет хотя и не так эффектно, но, по некоторым причинам, пожалуй, удобнее для них обоих, тем более, что у нее из последнего совещания с Миропольцевым возник в голове целый план относительно уловления Каржоля. Почем знать, может быть, Каржоль будет еще не бесполезен для ее целей впоследствии, и именно в качестве мужа...

В виду всех этих соображений, написав графу французское письмо, насколько возможно, любезное, взяв за основание для этого мотив, предложенный Тамарой, то есть, необходимость некоторого весьма важного и экстренного сообщения по затеянному им делу, Ольга назначила ему время свидания получасом ранее, чем условилась с нею, и просила уведомить ее хотя бы в двух словах, может ли он исполнить ее просьбу? Если же какие-либо обстоятельства

не позволяют ему приехать в предлагаемый час, то пускай благоволит сам назначить время, и она будет ожидать его. С этою целью, письмо было отправлено пораньше утром, чтобы оно успело застать Каржоля еще дома, и отправлено не по почте, а с кучером, которому приказано дожидаться у графа ответа.

\* \* \*

Самолюбие Каржоля было очень польщено этим вторичным посланием Ольги и, в особенности, его элегантно любезным тоном.— «Ага! прикрутило, значит!»— Его совершенно удовлетворяло приятное сознание, что перевес силы теперь в его руках, что Ольга видимо заискивает в нем и что он может поэтому «доминировать» над нею. Конечно, он останется непреклонен в своих решениях: развод во всяком случае должен состояться, но — в силу ли сознания этого своего превосходства, или в силу старых воспоминаний о хорошем периоде их отношений,— ему все-таки приятно лишней раз видеть эту «фатальную» женщину, а главное видеть и чувствовать самого себя пред нею в роли торжествующего, но благодарного мстителя. О! он будет в высшей степени благороден и даже, насколько возможно, великодушен перед нею! Для этого он готов даже предложить ей такие безобидные для обеих сторон условия, что развод не повлечет за собою ни для него, ни для нее никакого ограничения гражданских прав. Стоит лишь ей согласиться на его предложения, и он тогда готов, пожалуй, взять вину на себя,— пускай сама начинает процесс против него. Малахитов уверяет, что это легче легкого повернуть дело таким образом:— И граф уже заранее рисовался пред самим собою ролью такого великодушного мужа и готовился кокетничать ею пред Ольгой. Поэтому он не замедлил ответить ей на том же языке и в столь же элегантно любезном стиле, что готов исполнить ее желание и явится в назначенное ею время.

## **XII. ПЕРЕД АТАКОЙ**

Получив этот ответ, Ольга сочла его, в некотором роде, счастливым предзнаменованием: окунь идет на удочку. Поэтому она постаралась обдумать хорошенько не только свою роль в предстоящем объяснении, но даже и самый костюм свой, и прическу, и разные мелочи туалета, рассчитывая, что все это может и даже должно влиять на Каржоля в известном, желаемом ею, смысле. Она давно уже и достаточно хорошо изучила слабые стороны его природы и характера, чтобы знать, чем именно можно, при случае, повлиять на него молодой и красивой женщине. А это влияние прямо входило в расчет задуманного ею плана. Оглядев себя в большое трюмо, она, к особенному своему удовольствию, осталась совершенно удовлетворена и своим изящным домашним костюмом, и этим общим тоном своего лица, и видом всей фигуры, а затем, на всякий случай,

предусмотрительно отдала прислуге приказ не принимать сегодня никого, кроме графа и девицы Бендавид, которых впустить без доклада,— и, чувствуя себя теперь во всеоружии, удобно расположилась в гостиной, стараясь, пока есть еще время, успокоить в себе некоторое душевное волнение, невольное возбуждаемое ожиданием предстоящей решительной атаки и ее, пока еще гадательного, исхода.— Как то все кончится?..

Граф не заставил долго ожидать себя и явился почти минута в минуту, как ему было назначено. Такая примерная аккуратность тоже показалась Ольге хорошим признаком: стало-быть, очень заинтересован,— иначе, конечно, не стал бы так спешить.

— Простите, что опять потревожила вас,— любезно встретила она его, не протянув, впрочем, руки.— Но... причина слишком серьезна. Садитесь, пожалуйста, и поговоримте.

Каржоль сел на указанное ему кресло, спиной ко входным дверям, и с несколько натянутым видом особо вежливой сдержанности, изъявил готовность выслушать.

— Что прикажете?

— Вчера вечером,— начала Ольга.— Я совсем неожиданно получила самые точные сведения о Тамаре.

Тот ничего не сказал на это,— только головою кивнул, в том смысле, что принимаю-де к сведению, и вскинул на нее ожидающе вопросительный взгляд, как бы говоря им: далее?

— На основании этих сведений,— продолжала она,— я могу вам сказать, что Тамара замуж за вас не пойдет, так как ей стало известно, что вы женаты.

Каржоль, с невольным движением удивленности, откинулся несколько назад, на спинку своего кресла.

— Поэтому, мне кажется, ваши затеи с этим разводом совершенно бесцельны,— заключила Ольга.

— Да, но позвольте вас спросить, однако,— недоверчиво заметил граф,— из какого источника идут эти сведения?

— Из источника достаточно надежного, и в этом вы сейчас убедитесь. Начнемте хотя бы с того, что ни один из ваших расчетов до сих пор не оправдывается. Вы, например, рассчитывали, что Тамара вернется сюда не раньше осени, и потому поторопились написать ей в Сан-Стефано письмо, обещая приготовить ей к приезду «уютное гнездышко» и тотчас же обвенчаться,— очевидно, в надежде, что развод к тому времени будет уже кончен,— ну, а она, вместо того, приехала летом. Ведь так?.. Это верно?

Каржоль слегка побледнел, и в глазах его сказалось вдруг смутное чувство тревоги. Из этих слов Ольги он уразумел, что источник ее, в самом деле, должен быть верен; в особенности поразило его это упоминание о сан-стефанском письме, с фразой насчет «уютного гнездышка», которую он, насколько помнится, действительно употребил в нем. Откуда все это могло сделаться известным Ольге?

— О приезде своем в Петербург,— продолжала она между тем,— Тамара уведомила вас немедленно; но вы, вместо того чтоб спешить к ней на свидание, которое вам предлагалось,

поспешили уехать в Москву и из Москвы прислали успокоительную телеграмму, извещая, что должны сейчас же ехать по делам в Нижний и в Пермь. Так, или не так?

— Положим, так,— согласился несколько смущенный граф.— Но откуда вы это знаете?

— А, это уже мое дело! И если я позволила себе немножко распространиться насчет всех этих подробностей, то это только, чтоб убедить вас, что мой источник верен. Надеюсь, после этого, вы можете поверить и тому, что она знает о вашей женитьбе.

— Что ж, это еще ничего не значит, если и знает,— усмехнулся граф несколько самонадеянно и небрежно.

— Как?! Это вас не пугает?— удивилась Ольга

— Нимало.

— Тогда почему же вы от нее скрывали это?

— Очень просто: до сих пор я не имел удобного случая объяснить ей это обстоятельство; но если оно известно,— что ж!— мне остается только рассказать ей, каким образом все это случилось, и я уверен, она меня оправдает.

— Не слишком ли преждевременна, граф, такая уверенность?

— Не думаю. Тамара слишком любит меня и верит мне.

— «Слишком»?.. Смотрите, не ошибитесь. Я имею, напротив, основания думать, что она вас больше не любит.

— Ха-ха!— самонадеянно усмехнулся Каржоль, откинув назад голову.— Позвольте этому не поверить. Я слишком хорошо знаю ее, чтобы говорить с такою уверенностью. Не спорю, может быть, она и сердита на меня; но если бы даже и так, то поверьте,— полчаса интимного разговора между ней и мною совершенно достаточно, чтобы весь этот гнев ее преложился на милость, и она окажется после такого разговора еще более любящей и на все готовой.

— А если она любит другого?— не без коварства закинула ему Ольга вопрос, тоном, полным сомнений и самой язвительной подозрительности, в надежде смутить его этим.

— О, какой вздор!— засмеялся граф.— Этого быть не может!

— Ну, а если!.. Предположите себе такую возможность?

— Даже и предполагать не стану, а прямо заявляю вам, что это невозможно. Ольга только головой покачала с лукаво сомневающейся усмешкой.

— Извините, граф, я вижу, вы ее совсем не знаете. Вы думаете, это все та же наивная, доверчивая девочка, что и два года назад?.. А я слыхала, она так переменилась, так, можно сказать, выросла и нравственно, и физически, что мы бы с вами даже не узнали ее. Два года таких испытаний, как переход в христианство и война,— это в состоянии изменить любого человека, а в особенности такую натуру, как Тамара... И потому делали-ль вы сами все, для того, чтобы охладить, даже убить ее чувство? Вспомните-ка!

— Что ж я такое делал?— с недоумением пожал Каржоль плечами.— Кажется, ничего особенного... То же, что и все:

служил, работал для нее же, для нашего будущего, писал ей, когда была возможность,— правда, не часто, но она знает уже причину... Чего ж еще?

— Хм!.. «Ничего?» — Ну, это ваше дело, вам лучше знать, правы ли вы перед нею...

— Да нет, позвольте,— приступил он к Ольге,— меня гораздо более интересует, откуда все это вам известно?

— А, это уже мое дело,— загадочно улыбнулась она.

— Mais non, dites franchement, вы верно виделись с нею?

— Нет, не виделась; но вы видите, что я знаю, и знаю даже гораздо больше, чем вы думаете,— ну, да это пускай при мне и остается!.. Мне только хотелось предупредить вас, что вы напрасно будете убивать и время, и хлопоты ваши, и деньги на этот процесс. Но раз, что вы так уверены в своем могуществе над Тамарой, я оставляю этот вопрос,— делайте как знаете. Поговоримте теперь собственно о деле,— предложила Ольга.

— К вашим услугам,— слегка поклонился граф.

— Я читала в консистории ваше прошение,— продолжала она,— и, признаюсь вам, только удивлялась его... как бы это вам сказать?— его безосновательности.— Pardon mais cest une frivolite absolue — и если вы только с этим выступите против меня, то я вас поздравляю!— Там нет ни одного, сколько-нибудь серьезного, довода. В прошлый раз вы намекнули мне, правда, на мои письма,— но ведь письма не доказательство!— заметила Ольга, с пренебрежительной усмешкой, как о вещи совершенно жалкой и ничтожной.— Не знаю, известно ли вам, но я могу вас уверить, что консисторский суд, по закону, не примет их ни в какое внимание.

Слова эти в устах Ольги истинно поразили Каржоля.— «Ага! подумалось ему,— стало быть, уже успела переговорить со специалистами!»— Но он, не теряя своего апломба, многозначительно заявил ей, что принятие или не принятие во внимание будет зависеть от того, как поведется дело, и что его адвокат, напротив, находит в этих письмах самое существенное подспорье.

— Не знаю, что находит ваш адвокат, но знаю, чего требует закон, а этого вам доказать не удастся.

— Вы полагаете?— иронически спросил граф, вспомнив кстати идею Красноперова об аванложах Мариинского театра.

— Я говорю вам это со слов такого авторитета, как Миропольцев,— внушительно пояснила Ольга.— Надеюсь, это немножко повыше ваших адвокатов.

— Н-ну, как знать! Одно — теория, другое — практика,— усомнился граф, делая многозначительную мину.

— Во всяком случае, посильнее!— подчеркнула она.— И за плечами такого человека я остаюсь совершенно спокойна. При его связях и влиянии, ваши адвокаты могут в двадцать четыре часа очень далеко улететь из Петербурга, да и не одни адвокаты!., и потому мне не страшна никакая консистория. Конечно, вы можете сделать мне этим процессом скандал, но не более, да и то еще — смотрите, как бы не промахнуться!

— Ольга Орестовна, не будемте ссориться и пугать друг

друга,— начал вдруг Каржоль, переменяв свой несколько сухой и натянутый тон на более простой и искренний.— Вы знаете, что развод мне необходим, и я, *Coute que coule*, должен его добиться. Позвольте же поэтому предложить вам такие условия, которые будут безобидны для нас обоих. Я понимаю, что для женщины порядочной и тяжело, и некрасиво фигурировать в таком деле в качестве обвиняемой стороны,— что ж, я готов избавить вас от этого. Согласитесь на мои условия и начинайте сами процесс против меня,— я возьму вину на себя, проделаю всю гнусную комедию, какая в этих случаях требуется, и мы будем разведены без скандала; вы останетесь при вашем настоящем имени, графиню Каржоль де Нотрек, и получите полное право выйти замуж за кого вам угодно и когда угодно.

— Но ведь тогда вы уже лишитесь права жениться,— возразила Ольга.— Какой же вам расчет?

— О, об этом не беспокойтесь!— ответил он самым уверенным тоном.— Через неделю после развода и я женюсь преспокойнейшим образом,— ведь вы же, надеюсь, не станете преследовать меня за это судом?— Я говорил и с московскими специалистами, и со своим адвокатом; все они единогласно утверждают, что это вполне возможно, если заинтересованная сторона не возражает, а заинтересованною стороною являетесь тут только вы одна; они говорят, что консistorская практика сплошь и рядом знает такие примеры и обыкновенно глядит сквозь пальцы, коль скоро заинтересованная сторона молчит. Итак, начинайте сами, я готов сделать вам эту уступку.

— Благодарю вас,— с легкой иронией поклонилась Ольга.— Вы готовы, но я, вот видите-ли, не готова к положению разводки и вовсе не желаю его.

— Однако же это необходимо! *C'est une necessite absolue!*— я не шучу,— так и подумайте же, не выгоднее ли вам воспользоваться всеми преимуществами нападающей стороны, чем нести все последствия обвиненной?

— Нет, граф, никакой необходимости я в этом не вижу, да и вам от души советую бросить это пустое дело: обожжетесь!

— С такими доказательствами, как у меня в кармане,— уверенно похлопал он себя по левому боку,— не обожгусь, сударыня!

— Это вы все насчет писем-то?— засмеялась она.

— А хотя бы и так!— похвалился он вызывающим тоном.

— Полноте, я уже сказала вам, что они никакого значения не имеют.

— Предоставьте мне это лучше знать, Ольга Орестовна.

— Да притом же я уверена,— продолжала она, не без умысла вызнать, при себе ли у него эти письма,— я уверена, что все это только одни «страшные слова»,— своего рода «жупель», которым вы пытаетесь запугать меня, для того, чтобы я, во избежание скандала, скорее сдалась на ваши условия, а в действительности у вас никаких писем нет, да и быть не может,— откуда вам взять их?

— Представьте, что есть, Ольга Орестовна,— есть, и с этим сокровищем я даже никогда не расстаюсь, так при себе и ношу его,



из опасения, чтоб как-нибудь не пропало.

— Слова, слова и слова!— махнула она рукой.— И этим словам я не верю.

— Ан поверите!.. Придется поверить, да жаль, что поздно будет.

Ольга отрицательно покачала головой.

— Ну, чем же уверить вас? Хотите, покажу, пожалуй?

— Не покажете, граф, потому что показать вам нечего.

— Вы так думаете?— Ну, так взгляните же и уверьтесь!

И видя, что она точно бы поддразнивает его и потому желая в свой черед поддразнить и ее, он достал из бокового кармана изящный бумажник и показал его Ольге, но только издали — «а то, неравно еще, как бы не вырвала».

— Вам знакома эта вещица?— с улыбкой спросил он.— Узнаете?

Ольга взгляделась и действительно узнала бумажник, подаренный ею Аполлону, но по наружности осталась совершенно равнодушна, что отчасти даже удивило графа,— «как! неужели никакого впечатления?!»

— Ну-с, а это изящное произведение узнаете?— продолжал он, раскрыв бумажник и показывая внутреннюю его сторону, где была вставлена известная карточка Ольги.— Я могу вам напомнить даже надпись, которую вы собственноручно изволили сделать на обороте: «A mon bien-aimé Poupitchik ta fidele Olga en souvenir du 17 octobre 1876».— Довольно с вас этого? Теперь убедились?— спросил он в заключение торжествующим тоном и поспешил отправить бумажник обратно в свой боковой карман, и даже застегнулся для пущей уверенности.

— И все-таки, я повторяю вам то же, что и прежде,— спокойно и уверенно начала после этого Ольга,— бросьте это пустое дело, обожжетесь!

— Да откуда, наконец, у вас такая непоколебимая уверенность?— воскликнул Каржоль с удивлением и даже досадую в душе, что весь эксперимент его с бумажником не произвел решительно никакого эффекта. А он так рассчитывал именно на этот эффект, и для того даже нарочно захватил свое «сокровище» с собою.

— Моя уверенность,— продолжала она тем же невозмутимо спокойным тоном, глядя ему прямо в глаза,— моя уверенность основана, по-первых, на том, что у меня больше средств, чем у вас, и потому я могу перекупить всех ваших адвокатов; во-вторых, на том, что за мною стоят слишком сильные и высокопоставленные люди, с которыми бороться вам не по плечу, а в-третьих, стоит лишь мне захотеть,— и вы завтра же будете высланы из Петербурга с жандармами. Не угодно ли начинать тогда процесс из какого-нибудь Холмогорска?

— Ну, теперь уже вы начинаете, кажется, грозить мне «жупелом»,— небрежно усмехнулся граф, хотя у самого внутри немножко-таки екнуло,— «а чем, мол, черт не шутит!»— С жандармами высылают людей не так легко, как кажется,— продолжал он,— а меня к тому же и не за что. Что же касается до высокопоставленных людей,

то они тут, полагаю, не причем и в семейное дело путаться не станут, а что до моих средств, то ведь вы в моем кармане не считали и, наконец, не все адвокаты продажны.

— А, если так, оставайтесь при вашей уверенности, и посмотрим, чья возьмет!— тоном холодной и несколько загадочной угрозы заметила Ольга.

— Ну, послушайте, будемте говорить, как друзья!— предложил ей вдруг Каржоль решительным и самым искренним образом.— Скажите откровенно, что вы хотите за развод?.. Дайте мне возможность жениться на Тамаре, и я охотно выдам вам за это формальное обязательство на себя — ну, во сколько вы желали бы?.. Хотите сто тысяч? Я вам через час привезу вексель.

— Слишком дешево цените, граф, мою репутацию,— улыбнулась Ольга.

— Ну, виноват, хотите двести?.. Двести тысяч,— ведь это куш, предел мечтаний стольких обладателей выигрышных билетов!.. Подумайте!.. И за такой пустяк, как поднять против меня дело, где вы уже нисколько не рискуете своею репутацией!.. Ольга Орестовна,— совсем уже дружески и даже задушевно продолжал он, протягивая ей обе руки,— ударимте по рукам на двухстах и останемтеся друзьями!.. Я выдам вам два векселя по сто тысяч, сроком на полтора года, и по окончании процесса за Тамарино наследство вы сейчас же получите эти деньги. Согласны?

— Вы, граф, однако, продаете шкуру медведя, еще не убив его,— напомнила она не в меру увлекшемуся собеседнику.— Позвольте же вас уверить, что вам никогда — понимаете ли,— никогда не убить его! Повторяю еще раз, Тамара не пойдет за вас.

— Ну, уж позвольте мне это лучше знать!— подфыркнул он самоуверенным тоном.

— Ничего вы не знаете и знать не хотите, а потому, я вижу, разговаривать с вами об этом,— только слова терять по-пустому!

— Но нет, позвольте, я вам представлю все доводы,— горячо настаивал Каржоль.— Я разовью пред вами целую картину положения, и вы тогда сами согласитесь, что я...

Но он не успел еще досказать своей фразы, как Ольга, взглянув мимо его головы по направлению к дверям, моментально изобразила на своем лице как бы неожиданно удивленную улыбку и приветливо привстала кому-то навстречу. Он обернулся и недоумевая, кто б это мог так некстати помешать их интересному объяснению, увидел какую-то женскую фигуру, которая неслышными шагами приближалась к Ольге по мягкому ковру гостиной. Но еще одно мгновение — и граф оцепенел от ужаса.

Мимо него, как бы не замечая его присутствия, прошла Тамара.

## XLII. АТАКОВАН

Сначала он просто не узнал ее,— до такой степени, на его взгляд, изменилось ее лицо, его выражение и весь характер. В этом лице явился отблеск какой-то серьезной и строгой мысли, на нем легла печать сильной, но сдержанной, самообладающей воли, в каждой черте сказывался особенный нравственный закал,— словом одухотворилось нечто такое, чего и тени не было прежде. Она точно бы выросла и окрепла за это время, что они не виделись, и стала еще красивее.

К удивлению графа, бывшие подруги, как ни в чем не бывало, расцеловались между собою самым дружеским образом, и вслед за тем, Ольга, указывая на него, проговорила веселым, но полным, иронии, тоном:

— Позволь, мой друг, представить тебе моего мужа, а твоего жениха. Что, граф, не ожидали такой встречи?

Тамара, ничего не промолвив на это представление, только окинула графа холодно равнодушным взглядом, в котором Каржолю инстинктивно показалось, что между ним и ею как будто все уже кончено. Неужели это так, в самом деле? Ему бы лучше хотелось, чтобы этот взгляд метал на него молнии гнева, горел бы ненавистью, пускай даже презрением к нему,— это все же выражало бы хоть какое-нибудь чувство, хоть малейшую связь с прошлым, которое авось-либо можно бы было и восстановить со временем; но такое леденяще безразличное равнодушие,— оно ужасно, и его никак не ожидал он от Тамары. Ее внезапное появление, затем Ольгина рекомендация его в качестве «мужа и жениха» и, наконец, этот покончивший его взгляд,— все это ошеломило графа, что он окончательно растерялся, и даже до такой степени, что совсем некстати ответил на взгляд Тамары глупым поклоном, сопроводив его, еще того глупее, натянуто приятною салонною улыбкой, которая так и осталась на его обесмыслившемся лице.

— А мы только-что ризы твои делили,— весело заявила Ольга Тамаре.

— Ризы?— повторила та, не понимая, что хочет сказать этим ее подруга.

— Да, ризы! Представь себе,— продолжала Ольга все тем же смеющимся, весело злорадным и довольным тоном,— Граф предлагает мне за согласие на развод... Как ты думаешь, что?— двести тысяч рублей! Ni plus, ni moins!.. Но ты думаешь, это он из своих денег?— Нет, мой друг, из твоих, из твоего личного наследства, которое он рассчитывает женившись оттягать у дедушки. И знаешь,— в похвалу ему будь сказано,— даже высказал при этом примерную заботливость о твоих интересах,— ей-Богу!— Сначала было поприжался и предложил только сто, но видит, я не соблазняюсь,— нечего делать, накинул еще сто, даже через час векселя привезти предлагал. Видишь, какой он у нас расчетливый, экономный, и как это много обещает для супружеской жизни!.. Что ж вы стоите, граф?— Садитесь!

Но граф стоял по-прежнему в невозможном положении, дурак дураком,

то бледнея от внутреннего ужаса, то вспыхивая краской смущения от беспощадной откровенности Ольги, каждое слово которой точно бы резало его на части. Не находя в замешательстве, куда девать свои глаза и руки, он только время от времени нервно подрягивал в коленке ногой да дробно притоптывал носком сапога по полу, в желании заглушить этим чувство нравственной боли, похожее на то, как будто его секут или живьем на сковородке поджаривают.

— Прежде чем сказать вам что-либо,— серьезно и сухо обратилась наконец к нему Тамара,— позвольте вас спросить, что сделали вы с письмами, которые я доверила вам переслать к Ольге?

Каржоль почувствовал, что настает решительная минута, для которой ему необходимо собрать все свое самообладание и проявить хоть какое-нибудь личное достоинство,— пускай фальшивое, пускай бесстыжее, но достоинство, чтобы хоть этим спасти себя в глазах Тамары, а вместе с тем, быть может, спасти и последнюю, слабую нить надежды на примирение с нею.

— Я... я их препроводил... то есть виноват, не то... Я не то хотел сказать,— заговорил он, не зная еще, что отвечать ей, но стараясь в то же время сколько-нибудь овладеть собою, встряхнуться, подбодриться и взять прилично независимую ноту.— Письма эти,— продолжал граф,— выпрямляясь грудью вперед, с достоинством светского человека, и заложив, «par contenance», руку за борт своего застегнутого по-парижски сюртука,— письма эти... Видите ли, если вам угодно будет уделить мне полчаса на откровенный разговор *entre quatre yeux*, я вам все объясню и... смею думать, вы не бросите в меня камень, когда узнаете.

— Я желаю только знать, где эти письма?— повторила еще настойчивее Тамара.

— Письма у меня, положим, но... мне необходимо прежде объяснить вам...

— У вас?— перебила его девушка,— В таком случае, возвратите мне их сейчас же.

— Письма, можете быть уверены,— с достоинством заявил Каржоль,— будут возвращены по принадлежности, я прошу вас не сомневаться в этом.

— Они должны быть возвращены мне, немедленно же, я этого требую!— настойчиво и властно подтвердила Тамара.

— К сожалению,— возразил граф окончательно закутываясь во все неприступное величие своего достоинства,— при всем желании сделать вам угодно, я не в состоянии исполнить это сейчас же: они еще нужны мне, и повторяю вам снова, что если вы уделите мне хоть полчаса для откровенного разговора, то сами придете к убеждению, что я прав, поступая таким образом... Вы сами первая пожалели бы, если б я отдал эти письма теперь же... Умоляю вас, Тамара, прежде всего объясниться со мною!

Но на девушку нимало не подействовали эти горячо и столь благородно произнесенные фразы, хотя, возвратив себе свое самообладание, Каржоль и рассчитывал поколебать ими в свою пользу Тамару.

— Если в вас остается хоть капля совести и чести,— заговорила она тем же ледяным тоном,— вы сию же минуту отдадите их мне, из рук в руки,— понимаете?— Я напоминаю вам, граф, о вашей чести.

— Напрасно, милая! не возвратит!— вмешалась в разговор Ольга.— Они нужны ему для развода, как доказательство моей будто бы неверности.

— Vous l'avez dis, madame!— с отменной галантностью сделал ей граф комплиментное движение рукой и корпусом, как бы отдавая этим полную справедливость ее словам, и затем обратился к Тамаре:

— Ольга Орестовна отчасти облегчила мне задачу, потрудившись объяснить вам за меня, для чего собственно нужны мне ее письма,— сказал он.— Против этого объяснения я ничего не имею, хотя многое мог бы к нему еще добавить, что, надеюсь, окончательно оправдало бы меня в ваших глазах, но во всяком случае, могу дать вам слово, что по миновании надобности, письма тотчас же будут возвращены ей, вместе с бумажником и прочим.

— А, так?!— выступила вперед Ольга.— По миновании надобности?— Ну, так знайте же, милостивый государь!— обратилась она к нему решительно и веско.— Бумажник, который вы мне сейчас показывали, был подарен мною вовсе не Пупу, и я не знаю, на каких основаниях угодно вам утверждать противное.

Каржоль выпучил на нее удивленные глаза, недоумевая, к чему бы мог клониться этот странный изворот его супруги.

— Не Пупу?— проговорил он.— Так кому же?

— Вам!

— Мне?!?

— Да вам!— уверенно и смело бросила она ему это слово, глядя прямо в глаза с такую твердою наглостью, которая изумила самого Каржоля.— Бумажник был подарен мною вам самим, на память,— продолжала Ольга тем же твердо убежденным, доказательным тоном.— Карточка моя нарочно снята мною для вас же, по вашему собственному желанию,— да иначе, как для мужей, такие карточки и не снимаются. Надпись на ней посвящена мною вам же, в память дня нашей свадьбы,— понимаете?— и письма все писаны тоже к вам, как мужу, уже после нашего брака. Попытайтесь-ка доказать мне противное!

Такой неожиданный оборот дела совершенно огорошил Каржоля, так что он даже обозлился в душе, но все-таки постарался выдержать свое напускное наружное спокойствие, сознавая, что оно более всего необходимо ему в таких исключительных обстоятельствах.

— Trop d'honneur, madame, trop d'honneur!— иронически поклонился он ей.— Но вы забываете одно: в этих письмах я нигде не назван по имени,— там везде стоит или «mon Apollon», или «mon Poupitchik», а меня, кажется, зовут Валентином, если вам угодно вспомнить.

— Нет письма писаны к вам, к вам, милостивый государь,

и ни к кому другому!— с настойчивым убеждением подтвердила Ольга.— «Poupitchik», это именно вы,— вы мой Пупчик!.. «mon Apollon» c'est de meme vous, monsieur!— Кому ж не известно, что нежные супруги сплошь и рядом дают друг другу разные уменьшительные клички? Ну, мне пришла фантазия звать вас Пупчиком,— почему бы нет?— это такая распространенная кличка! И что ж тут удивительного, если я употребляла это ласкательное словцо и в нашей интимной переписке?!— Самое естественное дело!.. Точно так же, в переносном смысле, я могла величать вас и олимпийским богом,— «mon Apollon, mon idole, mon dieu»,— est-ce qu'un homme aussi beau, que vous ne pourrait etre baptise d'un nom pareil?

И откинувшись слегка назад, она остановилась в несколько театральной позе, с указывающим на него жестом простертой вперед руки.

Каржоль чувствовал, что это с ее стороны не более, как буффонада, самая язвительная насмешка, заранее торжествующее над ним издевательство, и в то же время он понимал, что наглое объяснение, изворотливо приданное Ольгой ее письмам, не только низводит их криминальное значение до нуля, но и самого его может поставить перед судом в крайне глупое, смешное и нравственно даже некрасивое положение. Однако же, несмотря на это, граф и тут не воздержался от последней попытки увернуться из-под ее неожиданного ловкого удара, хотя попытка эта моментально вспыхнула в нем чисто рефлективным образом, не столько из-за каких-либо дальнейших видов на Тамару, сколько из злости против Ольги, чтобы хоть чем ни на есть досадить и отомстить ей за ее издевательства и тем поддержать, хотя бы по внешности, пред ней и Тамарой свое шельмуемое личное достоинство.

— Все это, может быть, очень остроумно,— иронически согласился он, стараясь делать, как говорится, *bonne mine a mauvais jeu*, меж-тем как нижняя губа его уже дрожала от внутреннего волнения и мускулы лица начинали подергиваться порою нервной судорогой, в виде не то гримасы, не то улыбки.— Пусть так, но вы не разочли однако того, что я могу фактически доказать, как поручик Аполлон Пуп был доставлен мною 31 августа в радишевский госпиталь и сдан на руки сестре Тамаре, как затем я присутствовал на его похоронах, и как она вручила мне при этом его бумажник. На все на это найдутся свидетели-очевидцы — их можно будет разыскать — и из них я прежде всего мог указать на самую же госпожу Бендавид, да и смерть поручика Пупа, конечно, занесена в регистры госпиталя.

— А, вы намерены выставить свидетельницей Тамару?— с живостью подхватила Ольга.— Хорошо-с!.. А если эта свидетельница,— размеренно продолжала она с коварною вескостью, дружески обняв и кладя на ее плечо руку,— если эта свидетельница скажет, что предсмертная воля поручика Пупа заключалась только в том, чтобы переслать в полк оставшиеся у него пятнадцать золотых, для раздачи людям его взвода, и что она исполнила эту волю, немедленно же передав кошелек начальнице общины,

которая, конечно, тоже не откажется подтвердить этот факт, в случае надобности, но что никакого бумажника с письмами покойник ей не оставлял и ничего больше не поручал?.. Ну-с, как же тогда будет?

Граф пытливо взглянул на Тамару, желая прочесть в ее лице — точно ли она в состоянии сделать это? И неужели обе они обо всем уже переговорили и окончательно стакнулись между собою? Неужели он не обманулся в роковом для себя значении того убийственного взгляда Тамары, которым обдала она его сегодня при встрече, и точно ли в ней взаправду исчезла последняя искорка теплого, доброго чувства к нему, и он не встретит в ней больше никакого участия, ни малейшей поддержки себе? Но лицо девушки оставалось все так же холодно и строго,— оно даже поразило его своим бесстрастным равнодушием. И что за странное молчание с ее стороны?! Этим своим молчанием она как будто соглашается с Ольгой, она не протестует, она тоже против него, она — его враг, союзница его супруги... Господи! да где же прежняя Тамара?! Где она?..

— Что же вы замолчали, граф?— ядовито обратилась к нему Ольга, как бы поджигая и дразня его.— Я вас спрашиваю, как же будет, если вы нарветесь на такое заявление вашей свидетельницы?— признаюсь, мне очень любопытно.

— Погодите торжествовать, сударыня!— с едкой горечью, уже заметно спустивши тон, возразил ей Каржоль, побуждаемый, однако, все тем же чувством злобной досады и желанием отместки ей за все ее издевательства.— Погодите!.. Покойник мог передать мне письма и ранее, хотя бы в то еще время, как я вез его в госпиталь.

— Ах, так?

— Да, он мне передал их вместе с бумажником на дороге, иронически подтвердил ей граф в ее же уверенном тоне.

— Да?.. Ну, в таком случае, я стою на прежнем и утверждаю, что письма писаны не к нему, а к вам,— окончательно порешила Ольга.— Показание ваше совершенно голословно, и никакие ваши адвокаты свидетелей к нему не подыщут!.. И вы — вы, столь «обожаемый супруг», без стыда и совести решитесь воспользоваться самыми заветными письмами своей жены, писанными к вам в самом разгаре ее любви, чтоб извратить их в доказательство ее мнимой неверности!.. Ха, ха, ха!.. Попытайтесь-ка сделать это, рыцарь без страха и упрека!— Да вы себя шлепнете в общественном мнении так, что вам никогда уже не смыть позора этого чудовищного поступка! Все порядочные люди будут за меня, вся печать закричит об этом!.. Попытайтесь!

Каржоль, как затравленный заяц, бессильно поник, наконец, головою и тупо глядел в землю, опершись руками на спинку легкого золоченого стула.

Несколько мгновений прошло в молчании, исполненном победоносного торжества для Ольги и тяжелой удрученности для окончательно разбитого Каржоля. Битва, очевидно, была им проиграна. Последняя надежда на Тамару исчезла, и он убедился наконец в истине, которой упорно не хотел поверить до

последней минуты: теперь уже ясно, что прежней любви не осталось в Тамаре и тени, что он для нее уже совершенное ничто, и никогда, ни при каких обстоятельствах, не воскреснет в ее сердце. Из-за чего ж ему, в таком случае, городить весь этот огород, строить все эти сложные махинации, бороться, добиваться развода, стремиться к невозможному?.. К чему, когда все уже кончено, все рушится, все лопнуло, как мыльный пузырь?!— Не стоит!.. Да и в нем самом нет больше ни прежней энергии, ни охоты продолжать эту борьбу, раз уже им признана вся ее бесцельность. Он устал наконец, измочалился, истрепался весь в этой лихорадочной сутолоке, и теперь ему хотелось бы только успокоиться и забыться.— «И вот вам женщины! Верь в них после этого!» — А уж он ли не верил в любовь Тамары! Он ли не делал все, чтобы эта любовь ее увенчалась наконец полным счастьем!.. И вот благодарность!

Общее тяжелое молчание было наконец прервано Тамарой.

— Итак, граф?— обратилась она к Каржолю все тем же ледяным тоном,— спрашиваю в последний раз, угодно вам возвратить мне письма?

Он точно бы очнулся при этом вопросе, бессмысленно как-то посмотрел ей в лицо и затем молча достал из бокового кармана бумажник и молча вручил его Тамаре.

— Возвращаю тебе по принадлежности,— передала она его Ольге.— Посмотри, все ли?— я его никогда не раскрывала и не знаю, что там такое.

Ольга наскоро пересчитала и проверила все письма и записочки и, уложив их опять в бумажник, немедленно же опустила его к себе в карман.

— Все, кажись, в целости,— успокоительно заявила она Тамаре.

— Очень рада!— отозвалась девушка.— Прости еще раз мою вину и прощай, дорогая!

— Куда же ты?— встрепенулась Ольга.— Останься, пообедаем вместе... Успеешь еще!

— Некогда, милая, после завтра уже еду. Надо сделать еще кое-какие покупки, приготовиться,— хлопот полны руки...

— Разве ты уже покончила?— удивилась Ольга.— Так скоро?

— Все, все уже! И готовый контракт подписала, и подъемные получила — у них это живо! Да и чего же медлить?— чем скорей, тем лучше!

— Ну прощай!.. Сердечное спасибо за услугу!

И Ольга от души расцеловалась с нею, на этот раз уже вполне искренно и с неподдельным благодарным чувством.

— А вам, граф, скажу одно,— спокойно и беззлобно обратилась Тамара к Каржолю.— Упрекать вас пришлось бы слишком много и за многое... поэтому я предпочитаю вовсе не делать никаких упреков— Бог вам судья!

— Но я любил вас, Тамара!— патетически даже со слезами в голосе воскликнул вдруг Каржоль, которому ее смягчившийся несколько тон сейчас же подал повод восстановить хоть сколько-нибудь в ее глазах свой нравственный облик. «И в самом деле,



подумалось вдруг ему, если уж Ольга так его презирает, то пускай хоть Тамара не думает о нем так дурно, тем более, что он вовсе не так черен душою, как им кажется, благодаря этому несчастному стечению независящих от него обстоятельств. По совести же, он себя, ей-Богу, ни в чем обвинить не может!»

— Любили?— горько усмехнулась девушка на его возглас.— Это, однако, не мешает вам любить и разных Мариуц в то же время,— потеря, стало быть, не особенно велика для вас.

При имени Мариуцы Каржоль вдруг вздрогнул, и лицо его вспыхнуло краской смущения.— «Как! неужели она и про Мариуцу знает?!»— Этого последнего удара граф никак уже не чаял, и он поневоле заставил его в душе сознаться самому себе, что отношения его к Мариуце, про которые он как-то совсем позабыл теперь, не придавая им особенного значения, делают его, пожалуй, несколько виноватым перед Тамарой, но не на столько, однако, чтобы он никогда уже не мог подняться ни в ее, ни в своих собственных глазах, потому что Мариуца, в сущности, совершенно пустяк и не стоит даже серьезного разговора.

— Не презирайте меня, по крайней мере!— продолжал он в том же патетическом роде, но уже упавшим голосом.— Время, быть может, оправдает меня и докажет вам, что я не так виноват, как кажется,— я только несчастен... Сами обстоятельства так слагались, а я... Неудачник я,— вот в чем вина моя!..

Он невольно расчувствовался при этом сам над собою, и на глазах его вдруг показались крупные слезы.

— Да, я несчастен, Тамара, глубоко несчастен, верьте мне хоть в этом!.. Хоть этим слезам моим поверьте — они искренни!— говорил он, чувствуя себя в самом деле несчастным, незаслуженно гонимым человеком, у которого все, все уже отнято и все потеряно.

— Не презирать вас, ни помнить на вас зла я не стану,— продолжала девушка.— Я помню, что, благодаря вам, стала христианкой, хотя, конечно, вы сами не могли предвидеть, к чему оно приведет... Но, во всяком случае, спасибо вам за это и... на этом и кончимте!

— Нет! дайте мне возможность оправдаться перед вами!— с новым жаром воскликнул Каржоль.— Позвольте мне хоть написать к вам! Умоляю вас!..

— Лишнее, граф,— я ни в чем не обвиняю вас больше. Поблагодарите лучше Бога, что все кончилось так, как теперь: оно лучше и для вас, и для меня, поверьте!.. Одно скажу: постарайтесь поскорее вычеркнуть меня из вашей памяти, как и я, в свой черед, постараюсь забыть вас. Прощайте!

И Тамара, пожав еще раз руку Ольги, удалилась из гостиной, по-видимому, так же спокойно, как и вошла в нее.

### XLIII. ПРЕЛИМИНАРЫ И КАПИТУЛЯЦИИ

Вслед за ней и Каржоль взялся было за шляпу.

— Куда же вы, граф?.. Оставайтесь, мне еще надо поговорить с вами,— довольно любезно предложила ему Ольга.

— О чем говорить нам больше!— с горькой усмешкой пожал он плечами.

— Как знать.— Может быть, до чего-нибудь и договоримся,— отчасти загадочно улыбнулась она, опускаясь в кресло.— Присядьте и постарайтесь спокойно выслушать и взвесить то, что я скажу вам.

Он молча покорился ее предложению и сел, все с тем же удрученно усталым, апатичным видом, который, казалось, говорил: все равно уж, как ни бей, больнее не ударишь!

— Надеюсь,— начала Ольга,— теперь вы убедились окончательно, что Тамара для вас потеряна?

— К несчастью!— согласился граф со вздохом.

— А может, и к счастью, напротив. Почему знать!— возразила она с той же загадочной улыбкой.— Вы друг другу не пара, это ясно, и миллионов ее вам, все равно, не видать, как ушей своих, хоть бы вы на ней и женились. Но, по крайней мере, теперь вы видите, что я была права, когда убеждала вас бросить эту нелепую вашу затею с разводом?

— Может быть,— уклончиво согласился граф.

— Да не «может быть», а так! Это верно!— подтвердила Ольга таким тоном, как будто желала внушить Каржолю,— ты, мол, батюшка, не виляй, меня не проведешь, да и не к чему!— Ну, и что же?— спросила она,— намерены вы продолжать еще дело?

— Н...не знаю, право. Я ничего еще не решил себе.

— Так хотите, я решу за вас?

— То есть, как это?— взглянул на нес граф с недоумением.

— А так, что всю эту глупость надо бросить сейчас же, понимаете?— немедленно!— авторитетно и решительно, как бы тоном приказания, сказала Ольга.

— И что ж затем?

— А затем, взамен развода, я имею предложить вам нечто такое, что — надеюсь — устроит вас несравненно лучше.

Каржоль тотчас же поднял голову и, как лягавый пес, насторожил уши.

— Прежде всего,— начала она,— скажите мне откровенно, неужели вам не надоело это вечное мыканье по свету, в погоне за какими-то призраками и фантазиями, которые никак не даются вам в руки? Неужели вы еще не устали, не разочаровались? Или жизнь не достаточно еще вас побила и проучила?

— К чему вы меня спрашиваете об этом?— проговорил он с горечью и грустью.

— К тому, что смотря по вашему «да» или «нет», я буду знать, стоит ли предлагать вам то, что я думаю.

— Что ж отвечать вам на это?— пожал граф плечами.— Мне кажется, ответом может служить та сцена, свидетельницею

которой вы сами только что были.— Est-ce que vous n'êtes pas encore persuadé que j'ai perdu le combat et que je suis vaincu?

— Да, я это видела и даже пред-видела. Стало быть, вы сдаетесь?

— Что ж еще остается мне?!— печально усмехнулся он, склоняя голову.

— Думаю, что ничего больше. И это, с вашей стороны, совершенно искренно?

— Полагаю, лгать мне более нет нужды, и наконец, письма у вас в кармане,— это вам лучшее доказательство.

— Правда и то,— согласилась Ольга.— В таком случае, и я буду с вами откровенна.

Видите ли, в чем дело...

И на минутку она приостановилась, соображая про себя, с чего бы начать полвечер, но тут же решила себе, что лучшим дипломатическим приемом в данном случае будет плата за откровенность — откровенностью, тем более, что в случае упорства или отказа с его стороны, у нее есть еще в запасе и одна существенная угроза.

— Вот уже два года, что я замужем, и живу на положении какой-то соломенной вдовы,— серьезно начала Ольга.— Не скрою, положение это довольно-таки странное, двусмысленное,— для меня, по крайней мере. По моим делам и отношениям, мне совсем не удобно, чтобы в свете смотрели на меня, как на какую-то не то разводку, не то сепаратку... Я вовсе не желаю, чтоб на вопрос обо мне, какая-нибудь графиня Дора или княгиня Зина, которые нисколько не лучше меня, подымали нос и делали сомнительную гримаску, или сухо отвечали бы «Je ne la connais pas». Таким положением может бравировать какая-нибудь авантюрьерка или кокетка, но я ни то, ни другое, и для меня оно неудобно. Раз, что я ношу имя, которое дает мне право на известное положение в обществе, и я желаю, чтобы все двери этого общества были открыты мне, на правах равной. Мне так нужно,— у меня есть свои виды и цели, которые по моим соображениям, требуют этого, и если разные светские и сановные мужья у моих ног, то этого мне еще не достаточно: я желаю, чтоб и их жены от меня не отворачивались... Как видите, я высказываюсь пред вами довольно откровенно?— улыбнулась ему Ольга с кокетливо подкупающей грацией.

— Кажется,— согласился граф безразличным тоном, думая про себя: к чему это она клонит, однако?

— Помнится мне,— продолжала Ольга,— что в день нашей свадьбы, вы, после венца, предлагали мне забыть все прошлое, все горькое и начать новую жизнь вместе, как следует... Если помните, я не отвергла вашего предложения безусловно, но тогда оно казалось мне несвоевременным... Мне думалось, что надо прежде дать всему улечься, успокоиться, придти в себя, даже проверить самих себя, а для всего этого нужно было время, и я отвечала вам, что пусть пройдет год, другой, и тогда мы посмотрим... не так ли?

— Да, я искренно предлагал вам это,— согласился граф,— но вы-то, искренно ли вы давали мне взамен эту отсрочку?...

— Я не совсем понимаю ваш вопрос,— слегка нахмурясь Ольга.

— *Ces malheureuses lettres, qui sont là, dans votre poche, madame, vous l'expliqueront bien ce que je veux dire!*— пояснил он ей с выразительной горечью. Лицо Ольги передернулось досадливою гримаской.

— Оставьте наше прошлое!— предложила она.— Ни вам до моего, ни мне до вашего нет дела!.. Я вас не спрашиваю, как жили вы и что делали за это время,— надеюсь, чувство деликатности и вам должно подсказать то же самое.

Каржоль молча поклонился в знак согласия. Раз, что взывают к чувству его деликатности, может ли он не согласиться!

— Итак,— продолжала она,— два года назад, я предоставила наш супружеский вопрос времени. Теперь, мне кажется, время это наступило. Мне надоело жить в фальшивом положении, мне — повторяю вам — это не удобно по многим причинам и многому мешает... а потому теперь уже я сама, в свой черед, спрошу вас, угодно вам жить со мною на тех условиях, какие я вам сейчас предложу? И если да, то эту «новую жизнь» мы можем начать немедленно.

— Надо знать ваши условия, графиня.

— Ah, merci bien! Вы в первый раз еще, вместо «сударыня», удостоили назвать меня «графиней».— Принимаю к сведению,— заметила Ольга в виде любезной шутки, но не без колкой иронии.— Итак,— продолжала она,— мои условия вот в чем: для света, для общества, *partout et pour tous*, вы — мой законный муж и сожитель; это ваша общественная роль,— понимаете?... До ваших будущих грешков, *de vos petits amours* мне нет дела, я охотно буду смотреть на них сквозь пальцы, но при одном лишь условии, чтоб вы не слишком афишировались ими: *les convenances et les apparences avant tout*, это помните. Наша супружеская внешность в глазах света должна быть если не безупречной, то, по крайней мере, не подавать поводов ни к каким лишним толкам и пересудам. Это должно быть совершенно приличное супружество,— мне так нужно. В состоянии вы выполнить такое условие?

— В нем нет ничего трудного,— согласился граф.

— Прекрасно, в таком случае, я принимаю вас к себе на житье, моя квартира достаточно просторна для нас обоих; у вас будет свой кабинет и своя отдельная спальня; остальные комнаты — общие, за исключением моей спальни и будуара, туда «вход воспрещается». Мой стол (повар у меня очень хороший) всегда к вашим услугам, экипаж тоже, в те дни, впрочем, когда я сама им не пользуюсь; ваш личный камердинер будет для вас нанят,— таким образом, со стороны удобств домашней жизни вы совершенно обеспечены. Светские знакомства должны быть у нас общие; впрочем, я охотно готова принимать и ваших собственных приятелей, если только это люди совершенно приличные. В воспитание нашего ребенка вы вмешиваться не будете, это уже мое дело, а за сим, во всем остальном вам предоставляется полная свобода.

Согласны вы на такие условия,

— То есть, другими словами, я должен поступить к вам на содержание, чтоб служить для вас «светскими ширмами», не так ли?— спросил граф очень серьезно и сдержанно, но с таким оттенком, чтобы дать ей почувствовать, насколько ее предложение возмущает в нем внутренне все чувства порядочности и человеческого достоинства.

— Не торопитесь оскорбляться,— предупредила его Ольга,— и позвольте в свой черед спросить вас: как вы полагаете, если бы вам удалось жениться на Тамаре и заполучить ее миллионы, вы бы не жили на ее содержании?

— Это совсем другое,— возразил граф.— Если бы я женился на Тамаре, она, полагаю, не поставила бы мне условий насчет своей спальни, куда вход для меня, конечно, не «воспрещался» бы, и я был бы ее мужем как для света, так и для дома, а это уже исключает роль ширмы.

— Вы слишком много хотите, граф, и при том сразу,— лукаво улыбнулась Ольга.— Нам надо еще привыкнуть друг к другу. Впрочем,— продолжала она,— могу вас уверить, что «ширмой» в том смысле, в каком вы полагаете, вам быть не придется; я не сделаю ничего, за что вам пришлось бы краснеть, и не скомпрометирую ваше имя, лишь бы вы сами его не компрометировали! Это вовсе не в моих расчетах, да и дела мои, наконец, слишком серьезны для этого. Конечно, у меня есть поклонники, но у какой же красивой женщины их нет?— это еще ровно ничего не доказывает, и при том же мои поклонники — это, по большей части, или «государственные старички», как я их называю, люди *hors de soupçon*, *grâce a leur ramollissement*, или дельцы *de la haute finance*, из мира железнодорожников, концессионеров, разных прожектеров и учредителей, которые если и ухаживают за мной, то вовсе не с амурными, а с чисто деловыми целями,— стало быть, опасаться вам нечего. Со временем, я рассчитываю, что вы, в некоторых случаях, можете быть для меня даже хорошим помощником, и тогда мы, пожалуй, будем делиться барышами. Вы видите, я ставлю вопрос на совершенно деловую почву и, в сущности, предлагаю вам роль компаньона в деле, которое мною поставлено уже на довольно твердую ногу.

— Но вы, кажется, забыли, Ольга Орестовна, мои средства,— я не имею достаточно денег, чтобы быть дольщиком таких предприятий,— уклончиво возразил граф.— Не расстрой вы моего брака с Тамарой, тогда другое дело: и ее капиталы, и сам я — все это могло бы быть к вашим услугам. А теперь что я могу принести вам, кроме лишней обузы? Ваше состояние мне известно, оно не настолько велико, чтобы вы не стесняясь могли содержать и себя, и весь дом, да еще и мужа на придачу. А не имея собственных средств, даже на карманные расходы, вечно глядеть все из ваших рук, выпрашивать у вас чуть не каждую копейку,— это было бы для меня слишком тяжело и стеснительно.

— Во-первых,— приступила она к объяснению,— никаких особых средств и капиталов от вас не требуется; во-вторых,

хотя мой капитал, что получила я в приданое, еще и существует, но он отчасти уже израсходован на всю эту обстановку, какую вы видите и которая мне совершенно необходима, а затем, остальную его часть я отделила в неприкосновенный фонд, на всякий случай.— Нельзя же тоже, чтобы и наш ребенок, в случае моей смерти, остался ни с чем, а потому на этот мой капитал я вовсе не рассчитываю.— У меня есть свои особые, деловые источники, которые дают мне порядочные средства, на которые, собственно, я и живу. Что же касается до ваших личных средств, то об этом я уже подумала раньше и могу предложить вам вот что: я предоставлю вам хорошее место,— на первый случай, хотя бы в роде члена правления в каком-нибудь кредитном или железнодорожном обществе, где вы, ничего не делая, будете получать тысяч пять-шесть в год содержания,— довольно с вас этого?

— На первый случай, еще бы!— согласился граф.— Совершенно довольно!

— А затем, я полагала бы,— продолжала Ольга,— через кого-нибудь из моих милых государственных старичков определить вас на службу. Нельзя, знаете, чтобы человек в вашем положении, с вашим именем, с вашими светскими достоинствами, чтобы мой муж, наконец, оставался без всякого служебного положения,— се а nous rose, шоп cher и пренебрегать этим не следует.

— Да, но какое же место я могу получить!— усомнился граф с искренностью, делающею честь его самооценке.— Чин у меня небольшой, образование хотя и лицейское, но я так давно уже не служу, что трудно рассчитывать на что-нибудь порядочное, а тянуть лямку канцелярского чиновника,— на это меня не хватит.

— Об этом не заботьтесь,— успокоила его Ольга;— ведь вам не служить, а лишь бы числиться; вам даже и жалованья никакого не нужно, при хорошем частном месте. Чины вам, все равно, будут идти своим чередом, ордена то же,— чего же более?! Одним словом, если вы будете паинька, я определю вас в одно из министерств,— лучше всего бы, конечно, chez mon vieux prince, по иностранным делам,— там можно уже ровно ничего не делать, а между тем служба на виду, иностранные ордена идут чуть не каждый год,— все это что-нибудь да значит!— d'autant plus que je veux voir mon mari bien decore.

Граф молча поклонился ей с довольною улыбкой,— такая перспектива начинала ему нравиться.

— Но это еще не все,— продолжала Ольга.— Через год, много через два, я постараюсь доставить вам придворное звание, я сделаю вас камер-юнкером — это мне устроить легче легкого... Оно хоть и не Бог-весть что, камер-юнкерство, но все же, мундир, визитная карточка, приезд ко двору.— Я могу тогда тоже быть представленною,— это не мешает в жизни. А со временем, будьте уверены, проведу вас и в камергеры, и жизнь ваша, право, будет не хуже других!.. Угодно?

— Н...надо подумать,— ответил Каржоль, внутренне колеблясь.

— Как?!— вы еще собираетесь думать?— от всей души удивилась Ольга.

— Непременно, и как же иначе?.. Оно, конечно, очень заманчиво, но все же...

— Ну, так я вас предупреждаю,— перебила она, сразу переменив свой дружески ласковый тон на решительный и холодный,— жить с вами порознь в одном городе мне совершенно неудобно. У меня свои избранный круг знакомства, своя недюжинная обстановка, а вы там будете жить в каких-то труппных номерах, тереться в разной грязи и знаться черт знает с кем,— все это будет только компрометировать меня и делать наши отношения вечной темой для злословия. Я этого не желаю. Будет или по-моему; или вы должны уехать навсегда из Петербурга,— одно из двух. И знайте наперед,— прибавила она весьма внушительно и твердо — если не уедете сами, добровольно и немедленно, то через неделю вас вышлют отсюда с жандармами, и вы очутитесь в каком-нибудь дальнем захолустье, под надзором полиции.— Хотите вы этого?

— Как! Схватить человека и выслать ни за что, ни про что?— возмутился граф.— Да что это вы мне второй раз уже грозите все высылкой да высылкой?! Мы, славу Богу, еще не в земле кафров или готтентотов!

— Ну, это уже мне знать, где мы и будет ли за что!.. Только будьте уверены, что мои друзья не затруднятся сделать для меня такую безделицу и что с моей стороны это вовсе не пустая угроза,— я не шучу, граф!

— Да и я не шучу, графиня! Господь с вами, я вовсе и не думаю отказываться от ваших предложений, и если сказал, что надо еще подумать, то это лишь в том отношении, что мне хотелось бы несколько более выяснить... comment vous le dire... ma position intime auprès de vous, mon droit de mari,— voila ce que je veux savoir! Неужели же, в самом деле, живя под одной кровлей, мы навсегда останемся чужды друг другу pour toutes les jouissances conjugales!? Это было бы жестоко, хуже всякой пытки — жить с прелестною женщиной, называться ее мужем и не сметь прикоснуться к ней!.. Ольга! вспомните наконец наше хорошее прошлое, ведь были же в нем радости — и какие!.. Ведь я же вам нравился когда-то, и я же любил вас!.. Скажу более: вы единственная женщина, которую я любил в своей жизни, единственная, какую я в состоянии еще любить, и...если хотите знать всю правду, я не переставал любить вас,— любил и ненавидел в одно и тоже время! Я и до сих пор люблю вас в глубине сердца!

— А Тамара?., а Мариуца?— лукаво и недоверчиво усмехнулась Ольга.

— Оставьте, в самом деле,— разве можно все это брать в серьезную сторону!— возразил Каржоль в свое оправдание, солидно логическим и убеждающим тоном.— Мариуца — это не более как мимолетное увлечение, а Тамара... Тамара даже и не увлечение, а просто расчет, неудавшаяся комбинация, и только.

— Вот как!?— состроила себе Ольга притворно удивленную физиономию.— А кто же, скажите пожалуйста, полчаса

назад, патетически восклицал перед нею, что любит, ее, и со слезами умолял не презирать его? Кто-же это?

— Oh, madame, mais ce n'est qu'une maniere de pareer! ce sont des paroles! Надо же было кончить с ней сколько-нибудь приличным образом, согласитесь сами.

И насколько искренно, полчаса назад, Каржоль плакал перед Тamarой и молил ее поверить хоть этим слезам его, насколько же искренно и убежденно произносил теперь свою последнюю фразу. По его натуре, и то и другое было для него совершенною правдой в обе данные минуты. Как тогда, так и теперь, он не лгал перед самим собою.

Ольга даже от души рассмеялась при этом.

— Как же вы хотите,— сказала она,— чтобы я после этого тоже брала au serieux все ваши уверения?!

— О, это совсем другое дело!

И граф с искренним жаром, убежденно принялся объяснять и доказывать ей всю великую разницу между его чувством к ней и к другим женщинам, попадавшимся ему на жизненной дороге,— чувством, которое даже в самые враждебные минуты, несмотря на всю его злобу и ненависть к ней, каждый раз пробуждалось и пробуждается в нем, наперекор всему, какую-то даже болезненную страсть, при одном только виде Ольги, при первом прикосновении к ней. Он и ненавидел-то ее, и мстить-то желал ей именно потому, что любил ее, потому что она для него какая-то роковая женщина,— и вот почему жить с ней и не обладать ею, не сметь даже переступить за порог ее спальни было бы для него несносным мучением, адскою пыткой, из-за страха которой он невольно отступает даже перед такою заманчивой и блестящей перспективой, какую открывает ему Ольга.

— Ну, хорошо,— согласилась она.— Вопрос о наших интимных отношениях я оставляю пока открытым,— это будет зависеть от того, насколько вы будете их стоить... Я не говорю ни да, ни нет, а там, со временем, посмотрим.

— О, вы меня воскрешаете!— стремительно бросился к ней граф, ловя и целуя ее руки.— Вы подаете мне надежду,— я счастлив, я весь ваш и навсегда! Располагайте мною, как знаете, делайте из меня, что хотите. Я ваш раб, ваша собака!..

— Значит, вы принимаете мое предложение?— деловито спросила Ольга, высвобождая из-под его поцелуев свои руки.

— Безусловно!— воскликнул он в полном восторге.

— В таком случае, можете перевозить свои чемоданы,— разрешила она самым благосклонным образом.— К завтрашнему дню комнаты будут для вас очищены, а пока поезжайте в какой-нибудь хороший мебельный магазин и выберите себе приличную обстановку для кабинета и спальни. Счет прикажите доставить ко мне, я заплачу, что будет стоить.

Каржоль запротестовал было с чувством собственного достоинства, что это-де он может сделать и на свои деньги, но Ольга не захотела и слушать.

— Что раз я сказала, то так,— заметила она ему тоном, не допускающим возражений,— и если вы не желаете, чтобы



между нами выходили неприятности, вы никогда не будете мне прекословить,— примите, мой друг, это к сведению.

После этих слов, Коржоль сразу почувствовал, что он попал к ней под башмак, в безусловное подчинение. Но, к собственному его удивлению, сознание это нимало даже не огорчило его.— Что ж, может, оно и к лучшему,— подумалось ему, «по размышлении зрелом».— «Да с нашим братом иначе и нельзя, ценить не будем. А зато уж за плечами такой женщины, как за каменной стеной можно жить спокойно!»

Он только позволил себе, после этого, в ее же интересах, выразить свое сомнение, удобен ли будет ей, по отношению к своим уважаемым друзьям и знакомым, такой внезапный переезд его в дом? Не следует ли сначала подготовить их немножко к такому экстраординарному событию, а то, как бы оно не вызвало разных неосновательных комментариев и недоумений — зачем и почему, мол, в самом деле, человек вдруг ни с того, ни с сего, точно с неба свалился?!

Но Ольга возразила ему, что, напротив, если уж сходитья, то именно теперь, а не позднее, потому что теперь самое благоприятное время для этого, она только что вернулась из-за границы, а он с войны; знакомые ее, большей частью, еще не собрались к зимнему сезону, а когда соберутся, то эта их супружеская reunion будет уже совершившимся фактом, который не возбудит ни в ком особенного удивления, ни особенных толков в ее обществе; все найдут ее самым обыкновенным делом, тем более, что война — это такая веская и законная причина для продолжительного отсутствия мужа!— Словом, toutes les apparences seront sauvees,— в этом граф может быть совершенно спокоен.

И он успокоился, отдав в душе должную справедливость сообразительности и находчивости своей супруги.— «Нет, за нею, действительно, не пропадешь! Это из ряду вон женщина!»

Давно уже не чувствовал он себя так хорошо, так спокойно и в таком отличном расположении духа, как сегодня, отправляясь, по поручению Ольги, выбирать себе мебель.— «И в самом деле»,— думалось ему, «из-за чего человек столько лет мытарился в нелепой погоне за каким-то мечтательным, призрачным счастьем, когда настоящее-то самое реальное счастье и благоденствие — вот оно, тут, под боком!.. Да и надоело уже ему наткаться в жизни на одни только барьеры да капканы, встречать одни лишь неудачи да прорухи и вечно оставаться в дураках!— Нет, довольно уже!.. Basta!.. Жизнь изрядно-таки поколотила его, намаялся он, настрадался, устал... теперь ему хочется только покоя и комфорта. А тут вдруг и покой, и комфорт разом!.. И повар, говорит она, отличный, и содержание в шесть тысяч от какого-то там «Правления», и камер-юнкерский мундир в перспективе... И будет он, наконец, как все,— чего же еще ему надо!.. И если эти «все» ни за что, ни про что пользуются такими благами, то почему ж бы он один был лишен на них права! Разве же он не такой «как все»? Чем он хуже их и чем они выше его?— Все такие же дети своего века,— худы ли, хороши ли, но они так созданы, сама жизнь сделала их такими.

И вот живут же, пользуются!.. Неужели он один должен быть исключением?!— Нет, и по своему рождению, и по своему воспитанию,— словом, по всему решительно, он имеет полное право на свою долю в общем пироге избранных,— право на обеспеченное содержание, на приличное и солидное положение в обществе — естественное право *d'etre comme tous*,— *c'est-a dire, comme tous les gens comrae il faut* — потому что со всеми «иными» не может же он считаться!.. И судьба наконец-то готова отдать ему должное, что с ее стороны будет только простая справедливость, не более, за все его испытания и неудачи. Нет, вот оно, истинное-то счастье,— это подле умной женщины. А он, дурак, искал каких-то жидовских миллионов в тумане и все ждал, скоро ль придет к нему счастливая талия!— Ан глядь,— талия- то подошла вдруг оттуда откуда, никогда и не чаял!.. *Et c'est toujours la femme!.. Tout dans la femme, tout par la femme et tout pour la femme*,— *c'est de la philosophie ca!*

Все эти соображения и мысли погружали его даже в сладостно размягченное, елейное умиление, и он, за первым своим «домашним» обедом *en tete a tete*, к которому удостоила пригласить его сегодня Ольга, не воздержался, в отзывчиво сердечном порыве к откровенности, сочувствию и дружбе, чтобы не поделиться с нею, как с «женой», этими своими мыслями, высказав ей при этом, что в конце концов, после всех своих шатаний, только теперь уразумел истинное свое назначение,— это именно, быть мужем такой женщины, как Ольга.

— *Chaque vilain trouve sa vilaine, mon cher!*— ответила она ему на это, в виде шуточного нравоучения, быть может, и не подозревая, что на этот раз сама истина глаголет ее устами.

#### **XLIV. В НОВЫЙ ПУТЬ**

Возвратясь домой в несколько возбужденном состоянии от всей этой сцены, какую сопровождалось ее последнее свидание с Каржолем, и от радостного сознания, что, слава Богу, все уже кончено и с ним, и с письмами, Тамара сгоряча, под первым, не остывшим еще, впечатлением, принялась писать к Атуруину. В подробном и длинном письме она изложила ему, на первом плане, это крупное событие своей жизни и затем рассказала все, что случилось с нею после их разлуки. Радостное чувство, порождаемое сознанием своей окончательной свободы от нравственных пут Каржоля, невольно переливалось и в ее письмо, сказываясь чуть не в каждой его строчке, даже в ее нервном, порывисто быстром, на этот раз, почерке. Теперь она вольна располагать собою как хочет! И если Атурин не забыл ее, если он все тот же, то одно его слово, один призыв — и она тотчас же бросит все и примчится к нему хоть на край света, и всю, всю себя, всю жизнь свою, всю свою душу отдаст ему и посвятит на все доброе, разумное и честное, что только он ей укажет!

Письмо свое она не успела закончить и отправить в этот же день, потому что пришла Любушка Кучаева и стала торопить ее в «город»,

за необходимыми покупками к дороге, так как обе они еще вчера вечером условились между собою ехать в Бабьегонск вместе, на половинных расходах, и все покупки свои, заодно уже, делать вместе.— Любушка ведь уж гораздо вернее, чем кто-либо знает, где, что и как купить лучше и дешевле, она умеет и выбрать, и поторговаться, а без нее Тамару, пожалуй, надуют, возьмут втридорога и подсунут какой-нибудь гнили из залежалого. Времени остается им немного, а потому ехать, ехать и ехать сейчас же! Корреспонденции свои можно кончить и потом, на досуге.— Словом, она заговорила, заторопила и затормошила Тамару так, что той оставалось только, чтоб не расстраивать компанию, поскорее сложить свой бювар и беспрекословно следовать за энергичною Любушкой. Вечером тоже не удалось окончить письмо, потому что к Любушке пришли гости, какая-то ее подруга да две родственницы, и все они вместе чай пили и заболтались. На другой же день утром, после здорового, крепкого сна, проснувшись уже с успокоенными нервами, когда весь первый пыл и вся резко яркая сторона вчерашних впечатлений успели уже поохладиться и несколько сгладиться, а приподнятое, возбужденное настроение духа улеглось и заменилось более ровным, обыденным своим состоянием, Тамара снова взялась за письмо, чтобы продолжить его, но предварительно перечитав все страницы, осталась им не вполне довольна. Общий тон его показался ей теперь чересчур уже порывистым и страстным; но это бы еще ничего, а главное то, что на более спокойный, более рассудочный взгляд, у нее явились некоторые рефлексивные соображения, критическая проверка самой себя и взвес уже сложившихся известным образом обстоятельств, которые она вчера упустила как-то из виду, но с которыми во всяком случае приходится считаться.

Прежде всего, ей показалось, это этим письмом своим она сама теперь как будто навязывается Атуруину, как будто ловит его на сорвавшемся когда-то у него слове и желает воспользоваться им только потому, что у нее окончательно лопнуло дело с Каржолем. Не вправе ли он будет подумать о ней именно это?.. Отчего же раньше не вздумалось ей писать к нему! Разве для этого не нашлось бы достаточной темы и материала?— Но нет, она пишет только теперь, то есть, после того уже, как порвала с графом. Тут, дескать, сорвалось,— не клюнет ли там? Не удалось де быть «графиней» с громким именем Каржоль де Нотрек, можно в крайности помириться и со скромной кличкой «madame» Атуриной. Но ведь «madame Атуриной» она могла бы давно уже быть, если бы хотела. Отчего же она тогда отклонила простое, честное предложение этого самого Атурина? Из-за гордого побуждения остаться педантически верною своему слову, вопреки всему и несмотря ни на что! Да, это так кажется ей, и она знает, что это так,— ну, а он? почему он непременно должен думать то же самое? Потому, что ей так угодно?.. А не могло ль бы ему придти в голову, что отказ ее, пожалуй, был основан на более своекорыстных расчетах, на том, что Каржоль казался ей все-таки более «выгодным» женихом и что хотелось, к тому же, быть графиней?

Почему она остановила Атурина и не захотела его слушать, когда он, при последнем свидании в госпитале, пытался было разоблачить ей, кто и что такое этот граф Каржоль?— Не вправе ли он был после того думать, что именно поэтому?.. А теперь вдруг к нему,— теперь и он хорош, как пришла крутая минута!.. И почему она так уверена, что Атурин непременно должен и до сих пор считать ее за высокоидеальную, безупречную личность? Разве она этими своими поступками не давала сама ему повод подумать о ней и противное? Если он никогда ни малейшим намеком не высказывался ей в таком смысле, то не следует ли скорее отнести это к чувству его деликатности? И если даже в последнюю минуту разлуки он напомнил еще раз свои слова, прося рассчитывать на него, что бы ни случилось с нею в жизни, то не был ли это просто порыв великодушия, под влиянием увлечения ею, которое теперь, может быть, уже и остыло?— Ведь она не оставила ему ни малейшей надежды; она даже не в переписке с ним, и потому не знает ни что он делает, ни что думает, ни что чувствует. Очень может быть, что он считает ее уже замужем и потому постарался убить свое чувство; может быть, даже нарочно сошелся с другою женщиной, чтобы скорей заглушить его... Да и почему бы, в самом деле, не могли образоваться у него за это время отношения к более достойной девушке или женщине, на которой он мог бы жениться? Что ж тут невозможного!— Свет не клином сошелся, а он свободен...

Но если бы даже и не так, то все-таки, получив ее письмо, в каком нашелся бы он положении?— Человек прочно оселся уже в Болгарии, служит, работает там, занят своими делами; у него, без сомнения, уже образовались там свои служебные и житейские отношения, установилась определенная жизнь, есть известные виды и цели,— и вдруг, из-за ее письма, бросить все это и лететь к ней!— Да легко ль бы ему было это, раз что у него жизнь сложилась уже совсем иначе, и притом так что она, Тамара, не входит более в расчеты и планы этой жизни?..

Но, наконец, пускай он все тот же, что прежде, и все так же любит ее,— и вот, она пишет, что готова лететь к нему хоть на край света, по первому его отклику. Хорошо, но с чем же это полетит она? на какие средства?— С бабьегонским местом, конечно, пришлось бы немедленно же покончить, нарушить только-что подписанное условие, возвратитъ подъемные деньги, которые уже тронуты ею, и остаться лишь при своих собственных тридцати с чем-то рублях, на которые не далеко уедешь. Заработать не на чем, достать негде, занять не у кого,— да и кто даст ей!— Пришлось бы, значит, просить у того же Атурина,— пришлите, мол, на выезд, если желаете меня видеть,— но ведь это уже ни на что не похоже!.. И выходит в конце концов, сугубая и самая бесцеремонная с ее стороны навязчивость. Нет, этого она не сделает!

Раз, что она не хотела воспользоваться своим счастьем тогда, когда оно само шло и просилось к ней в руки, когда одного ее «да» было достаточно, чтоб это счастье прочно установилось для обоих навеки; раз, что она так решительно отвергла

его в ту пору,— теперь уже собственная гордость ее и самолюбие не позволят ей, словно бы малодушной и капризной девчонке, искать и добиваться его возврата. Что с возу упало, то пропало, говорит пословица. Пускай даже это ложная гордость и фальшивое самолюбие; пускай она сама чересчур мнительна и склонна на все скептически, даже преувеличивать все в дурную или мрачную сторону (что ж делать, таков уже ее недостаток!), но уже один тот факт, что из ее отношений к Атуруину ничего не вышло, и что она не захотела или не сумела взять и его, и с ним свое собственное счастье, когда они сами давались ей,— одно уже это доказывает ясно, что, значит, ей не судьба быть за этим человеком. А не судьба — это то же, что не Божья воля. Значит, она не была достойна такого счастья. Стало быть, нечего ей и теперь самопроизвольно насиловать жизнь, вопреки обстоятельствам, слагающимся совсем не так, как ей хотелось бы. И вспомнилась ей тут хохлацкая поговорка, которую не раз приходилось слышать в родном Украинске,— «нехай буде що буде, а буде то, що Бог даст!»— Пусть так! Он знает лучше, куда и зачем ведет ее...

И письмо так и осталось недописанным в ее бюваре.

Через день она уехала вместе с Кучаевой в Бабьегонск.

## СОДЕРЖАНИЕ

### ТЬМА ЕГИПЕТСКАЯ. Роман

I.	Шаббос-кодеш .....	3
II.	Слово рабби Ионафана .....	10
III.	Да или нет.....	33
IV.	Теперь или никогда .....	44
V.	Два сюрприза .....	51
VI.	Божья воля .....	58
VII.	Дела идут на лад .....	67
VIII.	Цорес грейсе! — Великие беды!.....	80
IX.	Не та.....	87
X.	Вывернулся .....	VU
XI.	Аунус Нефшос.....	96
XII.	Великий Совет Кагала.....	106
XIII.	Рабби Ионафан и рабби Абрам, ходатаи..	117
XIV.	Дальнейшие ходы Каржоля.....	124
XV.	Скрутили!.....	128
XVI.	Мать Серафима с Тамарой.....	140
XVII.	Из «Дневника Тамары».....	144
XVIII.	Новые наслоения... ..	162
XIX.	Перелом.....	182
XX.	Новые наслоения .....	193
XXI.	Не выгорает.....	209
XXII.	Последняя надежда .....	215
XXIII.	Отъезд Каржоля.....	218
XXIV.	Перед грозой .....	220
XXV.	Богулес у-Мархлейкес.....	223
XXVI.	Еврейский погром .....	232
XXVII.	Мовэс-эйлего! — Смерть гойям! .....	239
XXVIII.	Мин гошо маим — Так суждено свыше.....	241
XXIX.	Решающее слово.....	245
XXX.	Отъезд Тамары .....	248
XXXI.	Первая капля яду.....	249
XXXII.	Торжество кагала .....	251

### ТАМАРА БЕНДАВИД. Роман

I.	Нежданные гости .....	257
II.	Как это все случилось .....	262
III.	По-кавказски ... ..	275
IV.	Полицмейстер в хлопотах.....	282
V.	В западне .....	286
VI.	Час от часу не легче .....	296
VII.	Свадебный подарок Каржолю .....	307
VIII.	Новокрещена .....	314
IX.	Перед войной .....	327
X.	Под самым преданным надзором.....	341
XI.	На новые рельсы .....	349

XII.	Среди «друзей» и «союзников» .....	359
XIII.	У его экцеленции, господина Марзеску...	367
XIV.	По примеру страусов .....	378
XV.	При переправе.....	381
XVI.	Встретились .....	392
XVII.	После свидания .....	402
XVIII.	В дни «Третьей Плевны» .....	406
XIX.	30-е августа .....	410
XX.	Печальная находка .....	419
XXI.	Находка более счастливая для Каржоля .....	426
XXII.	В Боготе.....	436
XXIII.	Мир.....	452
XXIV.	Планы Атурина .....	459
XXV.	Пасхальная ночь в Сан-Стефано.....	462
XXVI.	За время томленья под Царьградом.....	468
XXVII.	Правда сказала.....	481
XXVIII.	Поздний отклик .....	485
XXIX.	На отлете.....	490
XXX.	Восходящее светило Блудштейна .....	495
XXXI.	Неприятные сюрпризы.....	498
XXXII.	В окончательной обработке.....	505
XXXIII.	Новым путем — к старой цели .....	511
XXXIV.	По «специалистам».....	518
XXXV.	«Судьба» опять ставит барьеры .....	532
XXXVI.	Нараспуты .....	536
XXXVII.	Свободомыслящая филантропка .....	545
XXXVIII.	Среди«учащихся» и «протестующих» .....	552
XXXIX.	Чего ни та, ни другая не ожидала .....	555
XL.	В ожидании развязки.....	562
XLI.	Перед атакой .....	564
XLII.	Атакован .....	571
XLIII.	Прелиминары и капитуляции .....	578
XLIV.	В новый путь .....	586

Печатается по изданию:  
В.В. Крестовский. Собрание сочинений  
в VIII томах. СПб.. 1900.

## **ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ КРЕСТОВСКИЙ**

Тьма Египетская. Тамара Бендавид.  
Торжество Ваала. Деда  
Том первый

Оформление художника  
И. Шиляева

Сдало в набор 10.11.92. Подписано в печать 01.04.93.

Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub> Усл- п. л 31.08. Уч. изд. л. 43.4.

Тираж 200 000 экз. Заказ № 1815



